



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

P Star 176.25



Harvard College Library

FROM THE BEQUEST OF

MRS. ANNE E. P. SEVER.

OF BOSTON,

WIDOW OF COL. JAMES WARREN SEVER,

(Class of 1817)

25 Feb. - 7 Mar. 1901.

~~Slavson~~

ВѢСТНИКЪ

Е В Р О П Ы

ТРИДЦАТЬ-ШЕСТОЙ ГОДЪ. — ТОМЪ I.

ГОДЪ LKV. — ТОМЪ CCCLXXXI. — ¹/₁₄ ЯНВАРЯ 1901.

ВѢСТНИКЪ Е В Р О П Ы

ЖУРНАЛЪ

ИСТОРИИ — ПОЛИТИКИ — ЛИТЕРАТУРЫ

ДВѢСТИ-СЕДЬМОЙ ТОМЪ

ТРИДЦАТЬ-ШЕСТОЙ ГОДЪ

ТОМЪ I

РЕДАКЦІЯ „ВѢСТНИКА ЕВРОПЫ“: ГАЛЕРНАЯ, 20.

Главная Контора журнала:
Васильевскій Островъ, 5-я линія,
№ 28.

Экспедиція журнала:
Вас. Остр., Академич. переулокъ,
№ 7.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ

1901

PSlav 176. 25

~~Jan. 30. 2~~

92³/₄ 1

Serr fund.



3008

ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЫ

ЖУРНАЛЪ

ИСТОРІИ-ПОЛИТИКИ.

ЛІТЕРАТУРЫ.

ТРИДЦАТЬ-ШЕСТОЙ ГОДЪ. — КНИГА 1-я.

ЯНВАРЬ, 1901.

ПЕТЕРБУРГЪ.

КНИГА 1-я. — ЯНВАРЬ, 1901.

Стр.

I.—КОРЬВА ЗА ЕДИНСТВО ВЪРЪН, въ IV-мъ вѣкѣ.—Римская Аурелия.—I-V.— В. П. Герье	5
II.—ОДНОКУРСНИКИ.—Повесть.—I-VII.—Н. Д. Боборыкин	51
III.—НАЗВАННЫЙ ДМИТРИЙ.—Новая постановка вопроса о немъ.—А. Пар- зинга	101
IV.—ТРИ ДОРОГИ.—Романъ.—Часть первая.—I-XXI.—Н. П. Вагнера	121
V.—ВЛ. О. СОЛОВЬЕВЪ, какъ публицистъ.—В. Д. Спасовича	211
VI.—ПОГНИВШАЯ НИВА.—Стих. А. М. Желчужникова	239
VII.—ПРУЖОКЪ „КРУГЛОЙ БАШНИ“.—Изъ воспоминаний В. Д. Хрущовой	240
VIII.—ПОВЫЕ ПУБЛИ.—La charente, par J. Rozou.—Романъ изъ современныхъ правос.—Книга первая.—I-VIII.—Съ франц. О. М.	285
IX.—ХРОНИКА.—Столетняя годовщина присоединения Грузии къ Рос- сии.—1801—1901 гг.—А. Хаханова	340
X.—ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ.—Начало XIX-го и начало XX-го вѣка.—Крѣ- постное право и крестьянскій вопросъ.—Старые и новые суды.—Состояніи общества и самоуправленіе.—Печать и общество.—Народное образованіе. —Иностранность.—Пошилка коификаціи.—Повиііе о законности.—Во- просъ объ отношеніи губернскаго земства къ уѣзднымъ въ московскомъ губернскомъ земскомъ собраніи	367
XI.—ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.—Политическое настроеніе въ Европѣ.—Воин- ственные порывы и экспансіонная практика въ Англіи.—Китайскій кри- зисъ.—Положеніе дѣлъ во Франціи.—Событія въ другихъ странахъ за истекшій годъ	384
XII.—ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.—Т. Н. Грановскій, Д. М. Левшина.—Объ изученіи славянства, К. Л. Грота.—Литературные очерки, Кр. Веселов- скаго.—А. В. Подоленко. Прогулъ по Русскому Музею или Александра III. —Т.—Историческіи монографіи, т. I, В. А. Билбасова.—А. П.—По- ши джита и брошюры	398
XIII.—НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.—I. Edm. De Amicis, Memorie. —A. 3—epte.—II. G. Rodenbach, Le Rouet des Brumes.—III. G. Pellissier, Etudes de Littérature Contemporaine.—З. П.	415
XIV.—ИЗЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ ХРОНИКИ.—Русское общество въ началѣ и въ концѣ XIX-го вѣка.—Постепенная дифференціация классовъ и сословій, общественныхъ группъ и направленій.—Нѣкоторыя черты развитія русской общественной мысли.—Возможный синтезъ въ теченіи.—Надежды на бу- дущее	432
XV.—ИЗВѢЩЕНІИ.—Отъ Общества попеченія о бѣдныхъ и больныхъ дѣтяхъ, со- стоящаго подъ Августѣйшимъ Покровительствомъ Ея Императорскаго Вы- сочества Великой Княгини Елизаветы Маріиавны	440
XVI.—БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТОКЪ.—Колонизація Сибири, въ связи съ об- щимъ переселенческимъ вопросомъ.—Наша деревня, вып. 1. Н. Д.—Полное собраніе сочиненій В. Г. Жилинскаго, л. р. С. А. Венгерова, т. III.— Итальянская Библиотека: Джузеппе Джусти, М. Ватсонъ	
XVII.—ОБЪЯВЛЕНІЯ.—I-IV; I-VIII стр.	

БОРЬБА

ЗА

ЕДИНСТВО ВЪРЫ

ВЪ IV-МЪ ВѢКѢ.

РИМСКАЯ АФРИКА.

I.

Изъ различныхъ идеаловъ, волновавшихъ сердца людей и влиявшихъ на ходъ исторіи, самымъ могучимъ можно признать идеалъ *единства веры*. Попытки осуществить этотъ идеалъ сопровождались часто проявленіемъ фанатизма и грубаго насилія. Но самый идеалъ имѣетъ великое культурное значеніе и всегда будетъ представлять глубокой интересъ для историка. Этотъ идеалъ не только одушевлялъ своихъ поклонниковъ,—какъ и другіе идеалы,—на высокой нравственный подвигъ, но его возникновеніе находится въ тѣсной связи съ величайшимъ моментомъ въ исторіи человѣчества. Древній міръ не могъ имѣть такого идеала.

Ческіе боги были богами извѣстнаго языка, т.-е. народа, властвіе ихъ ограничивалось извѣстными *мѣстными* предѣлами.

Этой почвѣ могла существовать ненависть къ поклонникамъ чужихъ боговъ, но потребность въ *единой* вѣрѣ могла явиться вмѣстѣ съ вѣрой въ *единого* Бога, вмѣстѣ съ пониманіемъ ства мірозданія и единства человѣчества.

Съ другой стороны, установленіе единобожія—не какъ отвѣченнаго философскаго воззрѣнія, какимъ мы его находимъ въ языческомъ образованномъ обществѣ римской имперіи, а какъ религіозной догмы—неминуемо должно было породить представленіе о единой вѣрѣ со всѣми послѣдствіями и проблемами, отсюда вытекавшими.

Какъ установить единство вѣры? *Кто* обязанъ это сдѣлать? Явилось невѣдомое языческому міру представленіе о религіозномъ союзѣ людей—о церкви; возникъ вопросъ объ отношеніи церкви къ государству и о роли государственной власти въ религіозныхъ вопросахъ. Зародился вопросъ, можетъ ли вѣра быть предметомъ принужденія, или она—дѣло благодати, или свободы воли? Къ этимъ религіознымъ и этическимъ вопросамъ присоединились вопросы практическіе или юридическіе. Какое положеніе предоставить въ гражданскомъ обществѣ тѣмъ людямъ, которыхъ нельзя было привлечь къ единой вѣрѣ или удержать въ ней? По какимъ признакамъ устанавливать принадлежность людей къ этой вѣрѣ, или отпаденіе ихъ, и на кого возложить право рѣшать эти вопросы?

Мы поставили себѣ здѣсь цѣлью разсмотрѣть одинъ изъ наиболѣе раннихъ и потому особенно интересныхъ эпизодовъ въ исторіи установленія единства вѣры, эпизодъ, представляющій интересъ не только самъ по себѣ, но по своимъ историческимъ послѣдствіямъ. Въ то именно время вырабатывались теоріи и формулы, господствовавшія потомъ въ теченіе многихъ вѣковъ и до сихъ поръ не утратившія своего авторитета.

Выдающееся значеніе этого эпизода обусловливается еще другимъ обстоятельствомъ. Въ рѣшеніи поднятыхъ тогда вопросовъ приняла участіе одна изъ замѣчательнѣйшихъ личностей всѣхъ временъ, въ чьей душѣ тяжело отозвалась борьба противоположныхъ воззрѣній; къ историческому интересу присоединяется интересъ психологическій: отдаленный наблюдатель этой борьбы, можно сказать, съ замираніемъ сердца слѣдитъ не только за происходящей на его глазахъ развязкой политической драмы, но и за тѣмъ, какъ великій идеалистъ тщетно борется противъ требованій среды и давленія обстоятельствъ и подъ ихъ гнетомъ измѣняетъ своему идеалу.

Эпизодъ, который мы разумѣемъ—расколъ и судьба *донатистовъ*; выдающаяся въ немъ роль принадлежитъ Августину, чьимъ письмамъ и посланіямъ мы въ значительной степени обязаны нашимъ знакомствомъ съ этимъ событіемъ.

Какъ Августинъ, такъ еще болѣе расколъ донатистовъ, при-

надлежать по существу своему исторіи церкви. Было время, когда этотъ предметъ представлялъ собою замѣнутую область, лежавшую внѣ обще-историческаго интереса. Въ наше время стѣна, отдѣлявшая церковную исторію отъ „гражданской“, пала на значительномъ пространствѣ для людей, интересующихся исторіей. Въ области исторіи церкви появились такіе замѣчательные изслѣдователи, а результаты ихъ трудовъ такъ поразительны и плодотворны, открываютъ такіа далекія научныя перспективы, что именно въ этихъ результатахъ и заключается главный прогрессъ исторической науки нашего времени. Съ другой стороны, различныя темы изъ исторіи церкви становятся заманчивыми вслѣдствіе возможности и необходимости приложить къ ихъ разработкѣ современныя научныя приемы. Какъ въ исторіи литературы многіе старинные и забытые памятники, утратившіе всякое значеніе, ожили и привлекли къ себѣ общее вниманіе благодаря этимъ приемамъ, такъ оживаютъ передъ нами многіе забытые образы изъ исторіи церкви. Какъ всякое явленіе въ области литературы или художественное произведеніе, такъ и всякое явленіе изъ церковной жизни должно быть изучаемо въ связи съ почвой, которая его породила, и средой, на него вліявшей, чтобы оно приобрѣло для насъ новый смыслъ и новый интересъ.

Такъ было и съ донатизмомъ. Недавно еще казалось, что вопросъ о возникновеніи этой ереси сводился къ указанію того догматическаго пункта, съ котораго началось отдѣленіе, или того каноническаго правила, нарушеніе котораго послужило къ нему поводомъ. Вопросъ обсуждался такъ отвлеченно, какъ будто это безразлично, въ какомъ обществѣ и въ какомъ вѣкѣ возникъ донатизмъ. А между тѣмъ донатизмъ есть прежде всего продуктъ римской Африки и не можетъ быть выясненъ безъ изученія почвы, на которой онъ возникъ. Условія для этого въ настоящее время особенно благопріятны. Страна, которая породила и вскормила донатизмъ, долгое время оставалась невѣдомой и недоступной. Но съ тѣхъ поръ какъ французы заняли Алжиръ, а потомъ Тунисъ, римская Африка снова приобщена къ Европѣ: число туристовъ, ее посѣщающихъ, растетъ съ каждымъ годомъ, и въ этомъ числѣ уже не мало русскихъ ¹⁾. А тѣ, кому не удалось побывать въ ней, могутъ съ ней познакомиться, ощутить, такъ сказать, на себѣ ея жгучій зной, увидѣть какъ наяву ея яркія краски и рѣзкія очертанія, благодаря перу такихъ

¹⁾ „Вѣстникъ Европы“ 1899 г.

художниковъ, какъ живописецъ Фромантенъ и его другъ Мо-
пассантъ ¹⁾.

Но, раскрываясь намъ въ своемъ настоящемъ, римская Африка въ то же время возрождается на нашихъ глазахъ въ своемъ прошломъ. Французскіе офицеры, проникая съ своими отрядами въ горныя ущелья Атласа, съ изумленіемъ убѣждались, какъ, напримѣръ, маршалъ Сентъ-Арно, что они идутъ по стопамъ римскихъ офицеровъ, увѣковѣчившихъ на скалахъ память о своихъ подвигахъ; а по пятамъ за офицерами шли французскіе ученые и съ каждымъ годомъ увеличивали число списанныхъ и истолкованныхъ древнихъ надписей; новые музеи Африки и старые музеи Европы наполнились множествомъ образцовъ и обломковъ римско-африканскаго искусства и домашняго быта; уже занесена на карты цѣлая сеть римскихъ дорогъ, которыя можно было узнать то по сохранившимся каменнымъ сооружениямъ, то по широкой полосѣ цвѣтущихъ асфodelъ среди пашни арабскаго крестьянина, который не былъ въ состояніи въ теченіе тысячи лѣтъ расковырять своей деревянной сохой крѣпко убитое полотно римской военной дороги. Раскрылись могилы, въ которыхъ покоились древнѣйшіе обитатели страны,—либійскіе туземцы, пунійскіе пришельцы, ветераны римскихъ легионовъ, на вербованные въ Сиріи или во Фракіи, и граждане римскихъ городовъ. Безчисленныя надгробныя надписи повѣдали намъ ихъ имена, ихъ заслуги и почести, ихъ семейное и общественное положеніе, ихъ горести и ихъ надежды въ жизни. Вся страна оказалась покрыта развалинами населенныхъ нѣкогда мѣстъ; ихъ было гораздо больше, чѣмъ сохранилось въ исторіи и въ надписяхъ—названій римско-африканскихъ городовъ и мѣстечекъ. Раскопки возстановили почти цѣликомъ нѣкоторые изъ этихъ городовъ, уцѣлѣвшихъ въ своихъ главныхъ памятникахъ, благодаря своему уединенію въ пустынѣ; раскопки раскрыли передъ нами и жизненную обстановку владѣльцевъ богатыхъ помѣстій въ ихъ усадьбахъ съ роскошными мозаичными полами, на которыхъ были изображены принадлежавшіе имъ дорогіе кони, прославившіе ихъ имя своими призами въ циркѣ. Среди полей были найдены высѣченныя на камнѣ уставныя грамоты, присланныя императорами мѣстнымъ крестьянамъ въ отвѣтъ на ихъ ходатайство объ обезпеченіи ихъ отъ несправедливыхъ поборовъ. Однимъ словомъ, всѣ классы населенія, всѣ формы жизни въ древней Африкѣ воскресаютъ передъ нами, составляя живой фонъ для

¹⁾ Maupassant. „Au soleil“.

поблѣзшаго въ богословской литературѣ образа донатистовъ. Вмеѣстѣ со страной и людьми возрождаются передъ нами и эти раскольники, появившіеся и исчезнувшіе въ глубокой старинѣ. Знакомясь съ ихъ обстановкой, мы начинаемъ лучше понимать ихъ страсти и причины, побудившія ихъ впасть въ „ересь“. Съ непонятнымъ намъ упорствомъ отстаивали они чуждыя намъ воззрѣнія, но одна ихъ черта привлекаетъ къ нимъ наше участіе и дѣлаетъ ихъ живыми, какъ бы современными намъ людьми. Жизненный идеалъ этихъ въ своей массѣ некультурныхъ людей заключался въ стремленіи *принять мучительство*. Эта черта, чуждая римскому міру и указывающая на далекій *востокъ*, — полна психологическаго интереса для историка. Разногласія между донатистами и африканской церковью, сами по себѣ не существенныя, получаютъ отъ этой черты болѣе глубокій смыслъ, а борьба за единство вѣры при этихъ условіяхъ принимаетъ еще болѣе драматическій характеръ.

II.

Страна, представляющая собою сцену, на которой разыгрывалась донатистская драма, обнимаетъ часть нынѣшняго Марокко, французскую Алжирію, Тунисъ и Триполисъ. Побережье Африки, близко подходя у Гибралтарскаго пролива къ Европѣ, идетъ выпуклой къ ней линіей на разстояніи полутора тысячъ верстъ, до Добраго мыса, насупротивъ Сициліи, затѣмъ круто отступаетъ внутрь и образуетъ глубокій заливъ Средиземнаго моря съ двумя загибами — малой и большой Сиртой, и, снова поднимаясь къ сѣверу, продолжается по направленію къ Киренаикѣ и къ Египту. Эти двѣ области, хотя и были завоеваны римлянами, не входили въ составъ *римской Африки* и подверглись греческому вліянію. Внутреннее строеніе, климатическія свойства и отчасти историческая судьба римской Африки обусловливались направленіемъ ея горныхъ хребтовъ. Изъ глубины Марокко идутъ вдоль побережья два колоссальныхъ хребта, оставляя между собою широкое степное плоскогорье съ солеными озерами и сплетаясь на востокъ, на границѣ Туниса, своими отрогами. Сѣверный изъ этихъ хребтовъ спускается къ Средиземному морю, оставляя мѣстами между нимъ и собою плодородную полосу; южный хребетъ спускаетъ свои воды въ Сахару, гдѣ онѣ застреваютъ въ озерахъ и болотахъ. Благодаря этому, римская Африка представляетъ удобныя условія одновре-

менно для трехъ формъ культурнаго быта—для приморскаго города, въ которомъ ютятся смѣлые и предприимчивые пришельцы-моряки; для мирнаго земледѣльца, воздѣлывающаго свои нивы по рѣчнымъ долинамъ, и для вольнаго кочевника, пасущаго свои стада на склонахъ горъ и по обширнымъ степямъ. Подобныя же условія жизни—береговую полосу, высокія горы и степь, но въ иномъ распредѣленіи,—представляетъ и восточная часть римской Африки, нынѣшній Тунисъ или древній Карфагенъ. Его историческая судьба предопредѣлена тѣмъ, что онъ обращенъ, такъ сказать, лицомъ къ Италіи и Европѣ, и спиной къ Африкѣ, т.-е. къ сосѣдней Нумидіи, но связанъ съ послѣдней тождествомъ географическихъ условій быта и климата. Такъ римская Африка является во всѣхъ отношеніяхъ страной рѣзкихъ контрастовъ. Вотъ какъ описываетъ ея свойства одинъ изъ современныхъ ея знатоковъ: „Здѣсь глазамъ представляется суровый берегъ, окруженный коварными морскими теченіями и бичуемый разнузданнымъ моремъ: голыя бурыя скалы, обглоданныя волнами; тамъ, передъ вами, смѣло поднимающіяся горы съ рѣзко очерченнымъ профилемъ, покрытыя оливковыми рощами, прорѣзанныя глубокими ущельями, со стѣнъ которыхъ падаютъ скудные ручейки, тутъ же на половину всасываемые цвѣтущими олеандрами. Вы огибаете мысъ—и вдругъ видите широко разстилающуюся низменность, мрачную и сухую степь, по которой влачится рѣка Шелифъ; или обширную, залитую свѣтомъ долину, совершенно ровную, поразительно плодородную, какъ долина Метиджи, близъ Алжира, или красивыя долины Сейбузы и Меджерды (близъ Туниса). Далѣе, на югъ, за неприступными горами—высокія, уединенныя плоскогорья, еще очень плодородныя, несмотря на высоту, какъ, напримѣръ, около Сетифа или Тебессы. Еще далѣе—степь, соленныя озера и, наконецъ, угрюмая пустыня, то фіолетовая, то желтая, прерываемая рябью песчаныхъ холмовъ или цвѣтущими оазисами. И надо всѣмъ и вездѣ, на горахъ и въ долинахъ, на морскомъ берегу, какъ и въ пустынѣ,—жгучее солнце, невыразимая лучезарность, рѣзкій и сухой воздухъ, беспокойныя линіи, ослѣпительныя краски“. — „Въ этомъ климатѣ быстро разгораются страсти,—любовь, ненависть или гнѣвъ. Чувства обостряются въ оргіи благоуханій, лучей и звуковъ. У подошвы Атласа солнце распаляетъ дѣятельность или воображеніе человѣка, не истощая и не сокрушая его; земледѣльцу тамъ такъ же привольно работать, какъ кочевнику—мечтать; бедуинъ, обыкновенно сонливый, проявляетъ изумительную бодрость, когда наступаетъ для него часъ дѣйствовать. Во всѣ вѣка африканецъ

готовъ ринуться съ одинаковымъ пыломъ и поочередно—то въ область мечтаній, то на поле брани“¹⁾).

Но кто же такой этотъ африканецъ? Въ рассматриваемую нами эпоху это было такое же сложное, полное контрастовъ существо, какъ и его страна. Его основу составило туземное племя, расселившееся по горамъ и пустынямъ отъ Атлантическаго океана до границъ Египта и отъ голубыхъ волнъ Средиземнаго моря до предѣловъ черной расы по ту сторону Сахары. Племя это разбилось на множество отдѣльныхъ народностей: греки называли тѣхъ, которые жили на окраинахъ Египта, либійцами, а въ сосѣдствѣ съ Караагеномъ — *номадами* (кочевниками), откуда образовалось названіе Нумидіи; въ западной части Африки преобладало названіе *мавры*; арабы прозвали всѣхъ обитателей сѣверной Африки *берберами*, по прозвищу одного изъ мелкихъ племенъ—бабары. Но существовало ли у самихъ туземцевъ древней Африки общее имя, которое служило признакомъ того, что они сознавали единство своей расы?—Это возможно, подобно тому, какъ это было съ славянами, у которыхъ это общее названіе встрѣчалось съ разными видоизмѣненіями для обозначенія отдѣльныхъ племенъ, какъ на Волховѣ, такъ и въ Альпахъ. Въ Африкѣ еще и въ настоящее время обитатели гористаго побережья въ Марокко (рифъ) называютъ себя *амазигъ*, а въ Сахарѣ одно племя носить названіе *имашегъ*, съ чѣмъ сближаютъ имя племени *максуевъ*, среди которыхъ поселились караагенине, и *мазиковъ*, упоминаемыхъ римлянами. Во всякомъ случаѣ, у берберовъ былъ общій языкъ, сохранившійся до нашего времени въ горныхъ ущельяхъ и въ оазисахъ пустыни,—вездѣ, куда не проникалъ арабскій языкъ. Древніе берберы имѣли для своего языка особый алфавитъ, и до нашего времени сохранились на этомъ языкѣ надписи, обыкновенно съ переводомъ на пунійскій или латинскій языкъ. Это указываетъ, конечно, на способность племени къ культурѣ; и дѣйствительно, берберы, будучи кочевниками, при благопріятныхъ условіяхъ почвы и подъ чужимъ вліяніемъ, легко переходили къ земледѣлію. Но не такъ легко было для нихъ подняться на болѣе высокую степень политической культуры. Этому мѣшали условія страны, навязывавшей имъ разобщеніе, и пріобрѣтенныя въ ихъ быту племенные свойства—необузданное своеволие и неспособность къ подчиненію и дружному совмѣстному дѣйствію. Если удалому вождю среди нихъ удавалось привлечь къ себѣ нѣсколько племенъ и

¹⁾ P. Monceaux. „Les africains“. 1894, стр. 44.

создать царство, то онъ всегда встрѣчалъ—и весьма часто въ родной семьѣ—соперника и врага, его свергавшаго. Поэтому же завоеватели всегда находили въ сѣверной Африкѣ союзниковъ и побуждали берберовъ набраванными изъ нихъ же ополченіями. Эта черта проходитъ черезъ всю исторію отъ карфагенскаго до французскаго владычества.

Четыре раза берберское племя подвергалось завоеванію иноземной культуры. Два раза эти завоеватели приходили съ востока и приносили съ собою семитическое вліяніе—финикійцы и арабы; и два раза семитическая культура была побуждена европейской, приносимой съ сѣвера,—римлянами и французами.

Еще въ глубокой древности появились первые семиты на берегахъ сѣверной Африки; сначала заводили торговля сношенія, а потомъ стали строить себѣ тамъ города. Пришельцы называли себя „канаанитами“ (обитателями равнины); отсюда явилось предположеніе, что первымъ толчкомъ къ эмиграціи ихъ въ Африку было завоеваніе израильтянами Канаана. Они унизали своими городами весь берегъ Африки, какъ и Испанію; особенно много такихъ колоній было въ Тунисѣ: Утика, Гиппонъ, Гадруметъ, Лептисъ и др. Въ VIII в. до Р. Хр. среди нихъ былъ основанъ выходцами изъ финикійскаго Тира *Картада*, т.-е. *Новгородъ*, у римлянъ *Carthaga*, который скоро переросъ старые города и привелъ ихъ отъ себя въ зависимость.

Морская торговля не была исключительнымъ занятіемъ пришельцевъ: канааниты (поляне) привезли съ собою виноградъ и оливу и стали сажать ихъ по склонамъ горъ, а равнины засѣвать пшеницей, которая давала роскошную жатву. Плиній сообщаетъ, что Августу были присланы однимъ изъ его управляющихъ въ Африкѣ четыреста хлѣбныхъ зеренъ, выросшихъ на одномъ корню. И результатъ этотъ достигался самыми простыми способами обработки. Тотъ же Плиній рассказываетъ, что ему приходилось видѣть въ полѣ соху, въ которую были впряжены осли и женщина. То же самое случалось не разъ видѣть и теперь французскому путешественнику Тиссо, который удостовѣряетъ, что африканскій пахарь охотно пользуется своей женой, когда она состарится, въ помощь ослу.

Въ особенности манила къ земледѣлію плодородная равнина рѣки Баграда (нынѣ Меджерды), которая, спускаясь съ узла неприступныхъ горъ на границахъ Туниса и Алжіріи, направлялась на востокъ, параллельно берегу, и впадала въ карфагенскій заливъ. Но вносить земледѣльческую культуру въ глубь страны можно было лишь съ помощью туземцевъ,—и землепашцы до-

лины Баграда образовали *смѣшанное* населеніе, называвшееся у грековъ *либобфиниками*; это были либійцы по происхожденію, пунійцы по языку и культурѣ. Опредѣлять въ процентахъ примѣсь финикійской или семитической крови въ этомъ населеніи невозможно, но въ религіи, языкѣ и нравахъ такъ сильно проявляется семитическое вліяніе, что нельзя отрицать и расовой примѣси. Такимъ образомъ, финикійская, или, по выраженію римлянъ, *пунійская* культура пустила глубокіе корни въ Африкѣ. Особенно знаменательно то, что распространеніе пунійской культуры сильно продолжалось и послѣ разрушенія Карфагена, подъ римскимъ владычествомъ. При дворѣ нумидійскихъ царьковъ господствовалъ пунійскій языкъ, изучалась пунійская литература; чеканились монеты и приносились богамъ подарки—съ пунійскими надписями. По свидѣтельству латинскаго писателя, Апулея, еще во II в. по Р. Хр. богатая родственная ему семья совсѣмъ не знала по-латыни. Императоръ Септимій Северъ, родомъ изъ Лептиса, говорилъ по-латыни съ мѣстнымъ произношеніемъ, а его сестра такъ плохо знала по-латыни, что онъ стыдился ея появленія при дворѣ. Если во времена Августина, въ концѣ IV в., благодаря латинской школѣ, знаніе латыни было болѣе распространено, то и тогда для многихъ горожанъ роднымъ языкомъ оставался пунійскій. Самъ Августинъ говорилъ съ дѣтства на этомъ языкѣ. Что же касается до простого народа, то даже въ приморскомъ, доступномъ вліянію Италіи, городѣ Гиппонѣ многіе еще въ IV в. не знали латинскаго языка, и Августину приходилось, въ интересахъ католической церкви, подыскивать для окрестностей Гиппона священниковъ, которые могли бы говорить съ народомъ на родномъ ему языкѣ.

Завоеваніе Римомъ Карфагена, въ 146 г. до Р. Хр., внесло въ сѣверную Африку новый—латинскій элементъ. Римское завоеваніе проявилось сначала въ одномъ лишь разореніи. Не только Карфагенъ, согласно настоянію Катона, былъ до основанія разрушенъ, а жители его истреблены или проданы въ рабство,—но то же случилось и съ пригородами Карфагена. Но древнихъ соперниковъ Карфагена—пунійскіе города Утику, Гадруметъ и другіе, ставшіе на сторону римлянъ, Римъ пощадилъ, объявилъ *свободными*, наградилъ карфагенскими владѣніями и назначилъ для надзора за ними *проконсула Африки* съ пребываніемъ въ Утикѣ. Власть этого проконсула не простиралась, однако, въ глубь страны: долину Баграда и прочія владѣнія Карфагена римляне предоставили сыновьямъ своего долготѣшняго союзника, нумидійскаго царя Массиниссы, всю жизнь подрывав-

шаго благосостояніе Кареагена. Римляне завладѣли кареагенскою областью не изъ властолюбія или изъ жадности: страхъ и зависть создали новую провинцію, и потому республика, по мѣткому выраженію Момсена, удерживала ее не для того, чтобы вызвать въ ней новую жизнь, но чтобы сторожить *трупъ*. Правда, двадцать-три года спустя, энергичный и дальновидный трибунъ, Кай Гракхъ, предложилъ своему народу вывести на мѣсто Кареагена римскую колонію, но его реформы были ненавистны сенату,—и Кареагенъ остался въ развалинахъ; еще сорокъ лѣтъ спустя, видъ его развалинъ заставилъ даже жестокаго Марія проливать въ изгнаніи слезы надъ скоротечностью жизни и всякаго величія.

Но Кареагену было суждено возродиться, когда узко-національная политика сената замѣнилась широкими государственными видами Цезаря. То, что задумалъ Цезарь, привелъ въ исполненіе его племянникъ, и тотчасъ послѣ побѣды при Акціумѣ, въ 29 г. до Р. Хр., три тысячи римскихъ ветерановъ возстановили разрушенный ихъ предками Кареагенъ. На удобренной старинною культурой почвѣ новое насажденіе быстро принялось, и Кареагенъ—это „украшеніе земли“,—ставши столицею провинціи, скоро развился до значенія *второго* Рима и сдѣлался расадникомъ латинской культуры на южномъ берегу Средиземнаго моря.

Между тѣмъ, предѣлы этой провинціи раздвинулись. Во время борьбы Цезаря съ сенатомъ нумидійскій царь Юба, потомокъ Массиниссы, держась традиціонной политики, остался вѣренъ сенату, а его западные сосѣди и соперники, царьки Мавретаніи, Боккъ и Богудъ, приняли сторону Цезаря. Побѣда Цезаря рѣшила судьбу Нумидіи: Юба потерялъ свое царство, которое было присоединено къ римской провинціи, за исключеніемъ западной части, предоставленной Бокку, переименовавшему свою столицу Іольтъ въ Цезарею (нынѣ—Шершель, на побережьѣ, нѣсколько западнѣе Алжира). По смерти Бокка, его царство было передано Августомъ Юбѣ II, сыну бывшего нумидійскаго царя, воспитанному при дворѣ императора и женатому на дочери Клеопатры. Этотъ царь „бедуиновъ“ былъ ученымъ и писателемъ. Будучи знатомомъ пунійской литературы, Юба писалъ по-гречески, знакомя гелленскій востокъ съ исторіей и учрежденіями Рима. Такъ соединились въ этомъ потомкѣ амазиковъ три укоренившіеся въ то время въ Африкѣ языки и культуры. Сынъ Юбы, Птолемей, былъ вызванъ своимъ родственникомъ, Калигулой, къ его двору и казненъ изъ зависти къ его статному виду, производившему впечатлѣніе на римскую публику,—или съ тѣмъ,

чтобы присвоить себѣ его сокровища. Мавретанія была присоединена къ римской имперіи и раздѣлена на двѣ области—тингитанскую (отъ города Тингиса—нынѣ Танжеръ), насупротивъ Испаніи, и цезарійскую. Впослѣдствіи изъ западной Нумидіи была выдѣлена еще особая область—*Mauretania Sitifensis*—по имени ея столицы Сетифы—въ южной Кабилии—156 вил. по желѣзной дорогѣ на западъ отъ Константины.

Всѣ эти подраздѣленія были признаками дальнѣйшаго упроченія римскаго владычества; они вызывались потребностью болѣе *интенсивной* администраціи страны со стороны римлянъ. Иными соображеніями руководились послѣдніе при раздробленіи самой *провинціи Африки*. При первыхъ императорахъ это была обширная область, обнимавшая восточную часть Алжиріи, Тунисъ и Триполисъ. Однако, только береговая полоса ея могла считаться прочно занятою римлянами; внутри провинціи проживали независимыя, воинственныя и враждебныя Риму племена. Чтобы сдерживать ихъ и защищать отъ ихъ набѣговъ мирныхъ земледѣльцевъ, нужна была военная сила, и согласно съ военной организаціей, данной имперіи Августомъ, въ Африкѣ былъ поставленъ въ укрѣпленномъ лагерѣ 3-й легіонъ. Мѣстомъ для его стоянки былъ сначала избранъ городъ Тевеста (нынѣ Тебесса), около 350 верстъ на югъ отъ Карфагена. Когда область Тевеста была признана достаточно замиренной, легіонъ былъ переведенъ западнѣе и размѣщенъ на сѣверномъ склонѣ высочайшаго хребта въ Нумидіи (нынѣ Джебель Ауресъ), передъ ущельями, изъ которыхъ разбойническіе горцы дѣлали свои вылазки. При распредѣленіи провинцій между сенатомъ и императоромъ, Африка была предоставлена первому, именемъ котораго *провинціей* управлялъ проконсулъ; командиръ же легіона былъ непосредственно подчиненъ императору. При Калигулѣ произошло дальнѣйшее усиленіе военной власти: въ управленіи проконсула подъ названіемъ провинціи Африки осталась лишь древняя карфагенская область съ присоединеніемъ къ ней на западѣ небольшой части Нумидіи; всѣ же прочія области Калигула подчинилъ императорскому легату, т.-е. командиру легіона. Такъ возникла новая провинція *Нумидія*, съ главнымъ городомъ Циртою,—прозванною въ IV в., въ честь Константина, его именемъ, которое она и теперь еще носить. При Діоклетіанѣ, раздроблявшемъ провинціи имперіи, были образованы вдоль берега Сирты еще двѣ—Бизацена и Триполитана.

III.

Мы должны были предпослать нашему разсказу этотъ обзоръ провинцій, чтобы обозначить рамки для картины римской колонизаціи, которая струилась въ Африку и въ различной степени просачивалась въ ея области. Обычный путь ея, какъ здѣсь, такъ и въ другихъ провинціяхъ, составляли проводимыя римлянами дороги. Эти дороги прежде всего служили цѣлямъ военнаго занятія страны и строились самими солдатами въ мирное время. Главной жилой, по которой проникло римское вліяніе, была военная дорога изъ Карфагена къ лагерю въ Тевесте, пролегавшая по высокимъ хребтамъ внутренней Тунезіи. Самыя разстоянія по военнымъ дорогамъ обозначались на дорожныхъ столбахъ по мѣрѣ отдаленія „отъ лагеря“. Тевесте скоро стала узломъ цѣлой сѣти дорогъ, шедшихъ какъ къ побережью, такъ и вдоль горныхъ хребтовъ. Этому городу и теперь предстоитъ великая будущность, какъ центральному пункту путей сообщенія. Но такъ какъ онъ былъ занятъ французами еще въ 1851 г., маршаломъ Сентъ-Арно, до завоеванія Туниса, то онъ соединенъ желѣзной дорогой пока не съ Тунисомъ, а съ нумидійскимъ Гиппономъ (235 килом.).

Другимъ подобнымъ узломъ былъ городъ Тиздръ въ юго-восточной Тунезіи. Точно также новый военный лагерь, изъ котораго образовался городъ Ламбезисъ, былъ соединенъ дорогой, шедшей на сѣверъ къ морю, съ Константиной и съ августиновскимъ Гиппономъ. Но не для однихъ только военныхъ цѣлей прокладывали римляне дороги; объ этомъ свидѣлствуетъ дорога изъ Симиту къ гавани Табракъ черезъ неприступныя горы въ верховьяхъ Баграда, чтобы спускаться по ней добывавшіяся въ этой мѣстности глыбы цѣннаго нумидійскаго мрамора, красовавшіеся въ императорскихъ постройкахъ. Города въ этомъ помогали съ своей стороны правительству: такъ „республика Цирта“ проложила на свой счетъ дорогу къ гавани Рузикадѣ (нынѣ Филиппиль).

Вдоль новыхъ дорогъ возникали селенія и города. Сначала римляне выводили для заселенія страны колонистовъ изъ Италіи, — какъ опору своей власти и римскаго вліянія. Такъ Августъ кромѣ Карфагена вывелъ еще четыре колоніи: три въ долину рѣки Миліаны въ Тунезіи, и Сикву, прозвище которой — *Veneria* — указываетъ на связь съ домомъ Юліевъ, въ глубь африканской провинціи. Но мы имѣемъ мало свѣдѣній о такихъ массовыхъ по-

селеніяхъ римскихъ колонистовъ въ Африкѣ; во всякомъ случаѣ императоры дѣйствовали въ этомъ отношеніи болѣе осмотрительно, чѣмъ французское правительство, приносявшее громадныя, и не разъ напрасныя, жертвы для колонизаціи Алжира европейскими земледѣльцами, какъ, напр., въ 1848 г. Притомъ окончаніе гражданскихъ войнъ устранило въ Римѣ необходимость для побѣдителя надѣлять землею служившіе ему легіоны. Военная организація, введенная Августомъ, дала иное направленіе колоніальной политикѣ Рима. Августъ завелъ постоянное войско и размѣстилъ легіоны по границамъ имперіи въ укрѣпленныхъ лагеряхъ. Около этихъ лагерей вездѣ, какъ на Рейнѣ и на Дунаѣ, такъ и на окраинѣ римской Африки, возникали римскіе города. Солдатамъ было позволено жениться; ихъ семьи жили вблизи отъ лагеря, и въ возникавшій такимъ образомъ городокъ переселялся и *ветеранъ*, отслужившій свой срокъ. Такъ римскій военный кордонъ, *линія* укрѣпленій, возведенныхъ для защиты провинціи отъ бедуиновъ, унизала нумидійскую окраину римскими поселеніями.

Другимъ средствомъ романизаціи было приобрѣтеніе богатыми римлянами громаднхъ помѣстій. Завоеваніе страны и связанная съ этимъ конфискація, гражданскія войны и сопровождавшія ихъ *проскрипціи* ¹⁾, наконецъ спекуляція землями со стороны римскихъ всадниковъ и откупщиковъ еще во время Цицерона,—все это содѣйствовало скопленію земель сравнительно въ немногихъ рукахъ. Въ извѣстномъ мѣстѣ, гдѣ Плиній жалуется, что крупныя помѣстья (*latifundia*) загубили Италію, онъ сообщаетъ, что половина Африки (Тунезіи) принадлежитъ шести владѣльцамъ. Но это крупное землевладѣніе не было для Африки такимъ несчастьемъ, какъ для Италиі. Римскіе сенаторы, проживая въ столицѣ имперіи, запускали свои земли въ Италиі подъ пастбища и этимъ обращали ихъ въ безлюдную степь; африканскіе же помѣщики, какъ свидѣлствуютъ многочисленныя развалины ихъ роскошныхъ усадебъ, проживали среди своихъ земель и, привлекая для ихъ обработки колонновъ, содѣйствовали процвѣтанію и романизаціи Африки. Особенно благоприятствовало этому то обстоятельство, что громадныя африканскія помѣстья—*saltus*—нерѣдко доставались, вслѣдствіе конфискаціи, императорамъ, которые особенно заботились о заселеніи ихъ и

¹⁾ Корнелій Непотъ рассказываетъ, что нѣкто Юлій Калидъ былъ помещенъ въ *списокъ опасныхъ* потому, что хотѣли завладѣть его громадными имѣніями въ Африкѣ.

хорошемъ управленіи. Культурная роль крупныхъ помѣстій въ Африкѣ обуславливалась кромѣ того и тѣмъ обстоятельствомъ, что въ нѣкоторыхъ областяхъ Африки по мѣстнымъ условіямъ только крупное землевладѣніе было въ состояніи дѣлать необходимыя затраты для борьбы съ климатомъ и свойствомъ почвы. Такъ южная часть Тунезіи, простирающаяся въ глубь страны равнина, въ настоящее время почти пустыня,—при римлянахъ же была покрыта на сотню верстъ сплошными оливковыми рощами. Тутенъ, одинъ изъ лучшихъ современныхъ изслѣдователей Африки, объяснилъ это тѣмъ, что, вслѣдствіе скудости и неправильности дождей, эта мѣстность не годится подъ хлѣбопашество; оливковое же дерево своими глубокими корнями способно питаться подземной влагой, сохраняющейся на глубинѣ отъ зимнихъ дождей. Но оливковое дерево даетъ плодъ лишь на двадцатый годъ и не болѣе шести литровъ масла въ годъ, требуя при этомъ пространства земли въ 120 сажень. Вслѣдствіе этого оливковая культура невозможна для владѣльца нѣсколькихъ десятинъ земли, принужденнаго двадцать лѣтъ ждать дохода съ своего насажденія.

Римское правительство сильно содѣйствовало плодородію новой провинціи своими заботами о необходимомъ для нея водоснабженіи. Римляне были издавна мастерами въ сооруженіяхъ, нужныхъ для проведенія и распредѣленія воды. Уже пунійскіе завоеватели Африки знали цѣну водянымъ сооруженіямъ и устраивали во многихъ мѣстахъ цистерны или бассейны дождевой воды для орошенія полей, городскіе водопроводы съ глиняными трубами, фильтры и т. п. Но все это—ничто въ сравненіи съ систематическимъ и искуснымъ водоснабженіемъ римлянъ, дозволившимъ строить города и возводить усадьбы тамъ, гдѣ прежде не было ни капли воды, и обезпечившимъ африканскимъ городамъ воду не только для питья, но и для роскошныхъ термъ и даже для проведенія воды гражданамъ въ дома, какъ гласитъ горделивая надпись городского магистрата въ Тиздрѣ, на краю пустыни. Такое обильное водоснабженіе подняло земледѣліе римской Африки на такую высоту, что оно стало доставлять Риму третью часть необходимаго ему хлѣбнаго запаса и обезпечило его гражданамъ, по словамъ римскаго сатирика, возможность отдаваться цирку и театру. Процвѣтаніе земледѣлія, съ другой стороны, содѣйствовало развитію торговли и привлекало въ Африку торговыхъ людей изъ Рима и Италіи. Италики давно уже обнаруживали свою склонность къ торговлѣ и стаями опускались въ провинціи, что въ значительной степени способствовало обезлю-

денію Італіа. Уже во время возстанія Митридата мало-азіатскіе города такъ кишѣли римскими гражданами, что, по избіеніи ихъ, насчитывали тогда до 80.000 жертвъ. Еще удобнѣе было ита-
ликамъ, какъ и теперешнимъ итальянцамъ, населять близкое
африканское побережье. Такъ, еще до завоеванія Нумидіи, въ
Циртѣ было столько италійскихъ выходцевъ, что они взялись
отстаивать городъ противъ Цезаря. Множество италиковъ нашли
себѣ дѣло въ возрастающемъ вывозѣ продуктовъ изъ Африки въ
Италію, и не даромъ встрѣчается въ прибрежныхъ городахъ
Сирты культъ римской *Анноны* (олицетвореніе продовольствія).
Однакоже, главнымъ средствомъ культурнаго подъема и рома-
низации Африки послужила римская политика поощренія постройки
городовъ и развитія городского быта.

Городъ—ячейка античной цивилизациі, типическая форма
государственного быта грековъ и италиковъ. Римъ, и завоевавъ
Италію, оставался городомъ: могущественная республика, по-
бѣдившая Ганнибала и азіатскихъ царей, была лишь федераціей
городовъ подъ главенствомъ города Рима. И когда, замѣнивъ
республику имперіей, римляне поднялись на болѣе высокую сте-
пень государственнаго быта, — *самоуправляющійся* городъ остался
основой ихъ политическаго строя и залогомъ мѣстной культуры
и благосостоянія. Сами императоры видѣли высшую для себя
славу въ основаніи новыхъ городовъ и лучшей организаціи ста-
рыхъ. Какъ прежде призваніе Рима сводилось къ завоеванію
чужихъ городовъ, такъ при имперіи оно стало заключаться въ
основаніи новыхъ и водвореніи городского быта у покоренныхъ
племенъ (*gentes*), не знавшихъ городской жизни. Варваръ дунай-
скаго побережья и африканской пустыни, благодаря *городу*, ста-
новился гражданиномъ и культурнымъ человѣкомъ.

Когда римляне завоевали Африку, городская жизнь почти
исключительно ютилась у побережья. Еще при первыхъ импера-
торахъ Плиній Старшій знаетъ тамъ, за немногими исключеніями,
лишь военныя укрѣпленія—*castella*; но по примѣру Августа
императоры непрестанно заботились объ основаніи въ Африкѣ
городовъ. Такъ Нерва создалъ Ситифисъ; Траянъ—Тамугадъ.
Особенно много сдѣлалъ для насажденія городской жизни Гадріанъ,
который самъ пріѣзжалъ въ Африку. Статуя Гадріана—„сози-
дателя муниципія“, воздвигнутая городкомъ Туррисъ Тамалени
на окраинѣ пустыни, служить и въ наше время живымъ дока-
зательствомъ этой его дѣятельности.

Строя городъ, римляне въ то же время старались склонять
къ тому же вождей полу-кочевыхъ племенъ. Территоріи такихъ

новыхъ городовъ были обыкновенно очень обширны и пустынно; но мало-по-малу въ этихъ пустыняхъ возникали новые города; такъ, въ территоріи города Телепте, въ выведенной Траянѣ колоніи, въ южной Тунезіи, образовалось потомъ на разстояніи 34 верстъ поселеніе изъ гражданъ Телепте,—Циліумъ,—и поселенцы добились еще въ томъ же вѣкѣ признанія ихъ „острога“ (castellum) городомъ. Гораздо быстрѣе шло заселеніе Африки городами въ сѣверной ея части. Здѣсь, на примѣръ, въ окрестностяхъ одного небольшого городка Матѣръ, въ 65 верстахъ отъ Туниса, насчитываютъ болѣе 300 развалинъ различныхъ городовъ, деревень и помѣщичьихъ усадьбъ,—а сколько изъ нихъ исчезло безслѣдно?

Но откуда же, помимо римскихъ колонистовъ, отставныхъ солдатъ и пришлыхъ торговцевъ, брались обыватели для этихъ многочисленныхъ поселеній? По счастливой случайности, одна изъ надписей, вполне заслуженно удостоившаяся помѣщенія въ луврскомъ музеѣ, является яркимъ лучомъ свѣта въ потемкахъ, скрывающихъ отъ насъ процессъ заселенія и культурнаго развитія римской Африки. Въ отличіе отъ другихъ надписей, дошедшихъ въ обломкахъ или крайне лаконическихъ, эта надпись вѣщаетъ въ пространнхъ латинскихъ стихахъ о трудовой жизни и почестяхъ одного изъ гражданъ города Мактаръ, въ 278 верстахъ отъ Туниса, въ гористомъ захолустьѣ. Старикъ говоритъ отъ своего имени въ надписи, заказанной латинскому поэту, и представляетъ себя прочимъ „смертнымъ“ образцомъ честной и безупречной жизни. „Я родился,—говоритъ онъ,—въ жалкой хижинѣ отъ бѣднаго отца, не оставившаго мнѣ ни денегъ, ни избы,—но когда косари отправлялись косить созрѣвшій хлѣбъ въ равнинахъ Цирты, или на нивахъ Юпитера, я шелъ во главѣ ихъ первымъ въ работѣ и оставлялъ за собою длинные ряды связанныхъ сноповъ. Такъ я скосилъ подъ огненнымъ солнцемъ двѣнадцать жатвъ, пока не сталъ самъ вожакомъ косарей. И еще одиннадцать лѣтъ собиралъ я съ ними зрѣлый колосъ на нумидійскихъ поляхъ“. Такъ онъ нажилъ деньги и пріобрѣлъ усадьбу, въ „которой всего было вдоволь“; скоро онъ сталъ декуріономъ (гласнымъ) въ своей общинѣ, а затѣмъ его товарищи декуріоны избрали старого труженика старшиной своего сената.

Надпись эта для насъ вдвойнѣ драгоцѣнна; она рисуетъ намъ не только экономическую картину, но въ то же время и культурно-политическую. Мы видимъ, какъ туземцы, обогащаясь посредствомъ земледѣльческаго труда, становятся землевладѣльцами и вмѣстѣ съ тѣмъ горожанами. Но мы видимъ тутъ же и при-

чину процвѣтанія африканскихъ, какъ и вообще античныхъ городовъ; она заключается въ муниципальномъ духѣ древнихъ гражданъ. Это явленіе—сложное; оно обуславливается какъ учрежденіями, такъ и правами того міра во взаимной ихъ связи. Городскія учрежденія въ римской имперіи были основаны на принципѣ свободы и автономіи. Когда въ самомъ Римѣ давно уже опустѣлъ форумъ, и народъ уже не созывался въ комиціи,—въ провинціальныхъ городахъ сохранялся и вновь вводился законами императоровъ старинный муниципальный строй. Городскіе сенаты и управители города подъ разными наименованіями, латинскими (дуумвиры) и туземными (шофеты), избирались горожанами на годичный срокъ. Такое избраніе считалось высокой честью, и, какъ свидѣлствуютъ о томъ безчисленные надписи, польщенные избраніемъ граждане, или, по смерти, ихъ родственники, не упускали случая напомнить объ этомъ потомкамъ и похвастаться передъ ними.

Но эти отличія были обыкновенно не даровыми почестями, а требовали жертвъ, и иногда немалыхъ. Декуріонъ, или мѣстный сенаторъ, а тѣмъ болѣе магистратъ города, бралъ на себя обязательство отблагодарить своихъ согражданъ какимъ-нибудь пожертвованіемъ въ пользу общества или города. И въ этомъ-то заключается муниципальный духъ, что такіа пожертвованія дѣлались охотно. Съ теченіемъ времени устанавливалось нѣчто въ родѣ опредѣленной таксы. Изъ надписи одного маленькаго городка въ восточной Тунезіи, имя котораго не сохранилось, видно, что гонораръ на званіе декуріона составлялъ тамъ 1.600 сестерцій (120 р. нынѣшней валюты); въ большомъ городѣ Тамезгадѣ за должность дуумвира платили 4.000 сестерцій. Эти деньги употреблялись обыкновенно на сооруженіе какого-нибудь общепользнаго городского зданія или возстановленіе его. Но кандидаты въ декуріоны или на административныя должности весьма часто не ограничивались обычнымъ или общаннымъ имъ гонораромъ, а тратили больше, чтобы довести до конца начатое сооруженіе. Иногда такое окончаніе брали на себя, какъ долгъ чести, родственники и потомки жертвователя. Изъ одной надписи видно, что одинъ декуріонъ не только удвоилъ сумму, которую онъ долженъ былъ внести, но и заплатилъ такую же сумму за своего брата, а внучка его окончательно отдѣлала недоконченный имъ храмъ, истративъ на это 5.600 сестерцій. Въ этомъ стремленіи „изукрасить отечество“ принимали участіе и женщины, и люди всякаго званія. Въ Катамѣ важная дама, избранная въ званіе жрицы императора, въ благодарность за то

выстроила на свой счет цѣлый театръ; а въ военномъ городѣ Тевесте высшій офицеръ потратилъ 250.000 сестерцій на постройку триумфальной арки въ честь императора Каракаллы, которая и теперь еще стоитъ среди развалинъ,—а народу завѣщала большую сумму на украшеніе храмовъ и на игры. Такія пожертвованія находили поощреніе въ обычаяхъ воздвигать жертвователямъ при жизни ихъ статуи отъ города, которыя воздвигались на форумѣ. Вышеуказанной строительницѣ театра въ Каламѣ было воздвигнуто благодарными согражданами даже пять статуй.

Этотъ развившійся въ Африкѣ, подъ вліяніемъ Рима, муниципальный духъ, преобразилъ съ половины II-го вѣка ея города и приблизилъ ихъ въ Римъ. Каждый изъ этихъ городковъ спѣшилъ обстроиться по образцу столицы міра. Всѣ они желали, на подобіе Рима, имѣть свой форумъ, окруженный магазинами, обильное водоснабженіе съ водопроводами и фонтанами, свои термы—или общественныя бани съ роскошными залами для отдохновенія и развлеченія, библіотекой и аудиторіями,—свой театръ и свой циркъ. Трудно повѣрить, какъ эта послѣдняя страсть римлянъ глубоко вошла въ нравы африканскихъ туземцевъ. Всѣ эти зданія и сооруженія—театры, термы, форумъ—вызывались, конечно, и мѣстными потребностями городовъ, помимо ихъ желанія походить на Римъ; но что особенно свидѣтельствуетъ о вліяніи Рима, это такъ-называемый *Капитолій*,—онъ встрѣчается во многихъ римско-африканскихъ городахъ; это—храмъ, выстроенный по возможности на возвышеніи и окруженный портиками—для поклоненія Юпитеру и двумъ капитолійскимъ богинямъ, Юнонѣ и Минервѣ.

Этотъ процессъ возникновенія городовъ и развитія въ нихъ римской культуры оставилъ въ римской Африкѣ болѣе очевидные слѣды, чѣмъ въ другихъ провинціяхъ имперіи. Въ Галліи и Испаніи паденіе имперіи не сопровождалось такимъ внезапнымъ сплошнымъ разрушеніемъ, какъ въ Африкѣ. Римская цивилизація не обрывалась тамъ такъ безпощадно, а болѣе постепенно исчезала и переходила въ средневѣковое варварство, заключавшее въ себѣ сѣмена новой культуры. Театры, термы, храмы и другія принадлежности римско-языческой цивилизаціи нерѣдко перестраивались въ христіанскія церкви, или феодальныя башни, или же служили каменоломнями для новыхъ городовъ и кварталовъ, возникавшихъ на развалинѣ старыхъ. Въ Африкѣ было не то. Вторженіе вандаловъ, а затѣмъ еще болѣе разрушительное завоеваніе мусульманъ, сразу снесло культурный слой, на-

ложенный въ ней вѣковымъ римскимъ владычествомъ. Цѣлые города, выжженные и опустошенные завоевателями, или же самими туземными варварами, стояли въ развалинахъ, до которыхъ не прикасалась рука человѣка, и медленно продолжали разрушаться, такъ сказать, отъ собственной тяжести развалинъ, когда обрушивались тяжелые потолки храмовъ, увлекая въ своемъ паденіи грузныя капители колоннъ и образуя цѣлые холмы обломковъ.

Но именно по этой причинѣ современный археологъ и художникъ-реставраторъ находятъ для своей дѣятельности въ французской Африкѣ болѣе благодарную почву, чѣмъ гдѣ-либо. Подобно тому, какъ изъ золы и лавы Везувія возстановленъ передъ нашими очами, насколько это было возможно, городокъ Помпеи, — мы обладаемъ подробными планами и описаніями нѣсколькихъ забытыхъ римско-африканскихъ городовъ, вновь открытыхъ въ наше время. Замѣчательный образчикъ такого воскрешаго для археологовъ и путешественниковъ города представляетъ древній нумидійскій Тамугади (Тимгадъ), въ 39 верстахъ отъ желѣзной дороги, идущей отъ Константины къ Бискрѣ, на краю Сахары. Нѣкогда это была цвѣтущая римская колонія, носившая имя Траяна—Ульпіа; затѣмъ она стала твердыней донатизма. Она лежала у подножія снѣжнаго Ауреса, въ обширной равнинѣ. Ея величественныя развалины, занимающія площадь въ 80 десятинъ, спасло одиночество и нежеланіе горцевъ селиться около нихъ. Не даромъ Тимгадъ сравниваютъ съ Помпеями; если въ этомъ, по мнѣнію иныхъ, есть преувеличеніе, то оно относится лишь къ сохранности частныхъ построекъ и памятниковъ домашняго быта, уцѣлѣвшихъ въ Помпеяхъ; тамугадскія же развалины даютъ болѣе сильное представленіе о грандіозности римской городской культуры, занесенной римскими легіонами за тысячи верстъ отъ Капитолія. „Тимгадъ, когда смотришь на него издали, производитъ впечатлѣніе цѣлаго лѣса колоннъ, поднимающихся среди пустыни; но когда приблизишься къ нимъ, тогда видно, что это—только небольшая доля того, что когда-то существовало“. И какія колонны!—Тѣ, которыя поддерживали „Капитолій“, имѣютъ 16 метровъ высоты и 1,44 метр. толщины у базы. Самый Капитолій представлялъ четырехъ-угольный храмъ въ 90 м. на 66, и былъ выложенъ драгоцѣннымъ мраморомъ въ такомъ обиліи, что, по отзыву изучавшаго его археолога-архитектора, нигдѣ въ Африкѣ онъ не встрѣчалъ такого разнообразія. Къ Капитолію вело роскошное крыльцо съ 37-ю ступенями; съ верхней площадки его можно было видѣть прочіе памятники города—его театръ на 1.500 зрителей, его термы, его форумъ, укра-

шенный безчисленными статуями, и его рынокъ, устроенный для его согражданъ, иждивеніемъ нѣкоего Серція Марка, роскошный дворецъ котораго находится по близости.

Какъ можно судить по примѣру Тамугада, самый вѣншній видъ африканскихъ городовъ показываетъ намъ, какъ естественно *тянулись* эти города къ Риму. Но и Римъ съ своей стороны поощрялъ это движеніе; онъ не довольствовался подражаніемъ ему провинціальныхъ городовъ и дорожилъ тѣмъ, чтобы привязать ихъ къ себѣ болѣе непосредственными узами. Главнымъ средствомъ для Рима въ этомъ отношеніи служила искусная политическая система, выработанная римлянами еще во времена республики. Расширяясь на счетъ другихъ городскихъ общинъ въ Италіи, Римъ ставилъ побѣжденный городъ—если онъ его не разорялъ—въ положеніе *союзнаго* города, предоставляя ему автономію сообразно съ обстоятельствами. Въ другіе изъ побѣжденныхъ городовъ Римъ выводилъ колоніи изъ римскихъ гражданъ или изъ латинянъ (латинскія колоніи). Наконецъ, въ иныхъ случаяхъ, Римъ присоединялъ побѣжденный городъ, подъ именемъ *муниципія*, къ римской землѣ, оставляя городу самоуправленіе, но въ то же время причисляя его гражданъ къ римскимъ гражданамъ.

Въ провинціяхъ, гдѣ римлянамъ пришлось имѣть дѣло съ чуждыми имъ по языку и культурѣ національностями, эта политическая система усложнилась. И здѣсь римляне предоставляли нѣкоторымъ городамъ болѣе или менѣе льготное положеніе *союзныхъ* городовъ. Остальные признавались *покоренными* городами; вся земля ихъ считалась собственностью Рима, но предоставлялась прежнимъ владѣльцамъ въ пользованіе, за что они уплачивали десятину съ дохода. Затѣмъ, по мѣрѣ умиротворенія страны, положеніе ея городовъ улучшалось въ податномъ и правовомъ отношеніяхъ. Цѣнно было освобожденіе отъ вѣншательства проконсуловъ; цѣннѣе еще—освобожденіе отъ 10% дани; не менѣе цѣнно было достиженіе римскаго права на собственность, т.-е. полное владѣніе землей (*dominium*). Высшей же привилегіей было италійское право—(*jus italicum*), предоставлявшее горожанамъ провинціи не только римское право, но и освобожденіе отъ податей. Образовалась цѣлая лѣстница, на которой покоренная иноземная община на краю пустыни могла постепенно подниматься, приближаясь къ Риму и равняясь съ нимъ. Восхожденіе по этой лѣстницѣ экономическихъ, юридическихъ и политическихъ привилегій обозначалось дарованіемъ туземнымъ провинціальнымъ городамъ въ извѣстной очереди старинныхъ названій

союзнаго города, муниципіи или колоніи. И города Африки стали, такъ сказать, взапуски подниматься по этой лѣстницѣ. Поразительный образчикъ восхожденія по всѣмъ ея ступенямъ представляетъ, напримѣръ, Утика, старая соперница Карфагена. По разрушеніи Карфагена, она была признана союзнымъ городомъ. Цезарь предоставилъ ей право *латинскаго* города; Августъ далъ ей римское право; Гадрианъ возвелъ Утику на степень римской колоніи; Септимій Северъ наградилъ ее *италійскимъ* правомъ. Не всѣ африканскіе города поднимались такъ высоко, но всѣ поднимались,—на это указываютъ надписи: въ спискѣ Плинія, наприм., Ассурасъ и Симиту обозначены муниципіями; въ надписяхъ они уже носятъ гордое названіе—*Colonia Julia Assurgas* и *Colonia Julia Augusta Numidica*. Не однѣ реальныя выгоды, податныя и правовыя, побуждали города ходатайствовать о привилегіяхъ; не одно честолюбіе или соперничество внушало имъ желаніе попасть въ болѣе почетный разрядъ городовъ. Тутъ дѣйствовало понятное желаніе покореннаго и подвластнаго поровняться съ побѣдителемъ, провинціальной общины—сдѣлаться составной частью мірового города. И императоры щедрой рукой раздавали городамъ титулы и привилегіи: не изъ одного великодушія или самолюбія, чтобы города носили ихъ родовое имя,—какъ это дѣлалъ безумный Коммодъ, который далъ не только нѣсколькимъ африканскимъ городамъ титулъ *Aurelia Commoda*, но вздумалъ-было даже Римъ переименовать *Коммодианой*. Императорами руководила при этомъ вѣрная политическая мысль, что этимъ путемъ они завершаютъ объединеніе имперіи, замѣняя матеріальную силу, покорившую провинціи, духовной связью ихъ съ Римомъ, идеей общаго отечества, олицетворяемой единеніемъ съ вѣчнымъ городомъ. Царствованіе Северовъ, династія которыхъ была особенно щедра по отношенію къ городамъ своей родины, завершаетъ собою романизацію городовъ Африки. До Северовъ въ ней число колоній было меньше, чѣмъ муниципій, а муниципій меньше, чѣмъ *подвластныхъ* (*peregrinae*) городовъ. Послѣ Северовъ въ проконсуларной Африкѣ насчитывается не болѣе 12 подвластныхъ городовъ на 100 съ лишнимъ изъ общаго числа.

„Такое прогрессивное и непрерывное развитіе муниципальнаго быта въ римской Африкѣ не было однако,—по словамъ новѣйшаго изслѣдователя этого вопроса,—исключительнымъ дѣломъ политики Рима. Этотъ порядокъ былъ результатомъ неустаннаго взаимодѣйствія побѣдителей и покореннаго населенія. Римская община была идеальнымъ образцомъ, къ которому старались при-

близиться провинціальныя города; а по мѣрѣ того, какъ они проходили черезъ различные этапы этого пути, римское правительство награждало званіемъ муниципія и колоніи добровольныя усилія прежнихъ подвластныхъ общинъ". Вотъ почему въ африканскихъ городахъ въ эпоху ихъ расцвѣта, во II-мъ вѣкѣ и въ первой половинѣ III-го вѣка, проявился такой подъемъ муниципального духа, такое патріотическое соревнованіе городовъ и гражданъ, что, несмотря на разореніе, причиненное вандалами и мусульманами, римская Африка приводитъ въ изумленіе путешественниковъ числомъ и величіемъ своихъ полу-исчезнувшихъ сооружений.

Этотъ процессъ развитія городской жизни въ Африкѣ показываетъ намъ, какъ римское правительство, заботясь объ утврѣжденіи и охраненіи своей власти въ провинціяхъ, достигало романизации ихъ не насильственными мѣрами, а возбужденіемъ въ самомъ населеніи желанія слиться съ Римомъ. Но, помимо своей общей городской политики, имперія привлекала и многихъ другихъ провинціаловъ карьерой, которую они надѣялись сдѣлать въ войскѣ или на государственной службѣ Рима отличіями и почестями, связывавшими ихъ съ Римомъ. Наиболее виднымъ изъ такихъ средствъ было учрежденіе императорскихъ фламинновъ, или жрецовъ. Въ каждой провинціи избирался на годъ изъ почетнѣйшихъ лицъ, отличившихся въ муниципальной службѣ, жрецъ, на которомъ лежала обязанность въ торжественные дни и собранія приносить жертву за благоденствіе императора. По прошествіи года, другой избирался на его мѣсто, а прежній вступалъ въ коллегію фламинновъ, представлявшую собой почетнѣйшій разрядъ именитыхъ людей провинціи. Такіе же фламинны избирались для всей африканской провинціи на *земскихъ* собраніяхъ Африки, созывавшихся въ Карфагенѣ.

Особыя мѣры для романизации страны намъ неизвѣстны. Мы знаемъ только, что въ началѣ имперіи въ городахъ дозволялось дѣлопроизводство на пунійскомъ языкѣ; во второмъ же вѣкѣ дѣлопроизводство не только у проконсуловъ, но и въ городскихъ управленіяхъ и судахъ,—ездѣ латинское; это было естественнымъ послѣдствіемъ дарованія городамъ римскаго права и возведенія ихъ въ разрядъ римскихъ муниципій и колоній.

Несмотря на эту сдержанность римскаго правительства въ водвореніи официальнаго государственнаго языка, романизация Африки дѣлала быстрые успѣхи. Самымъ сильнымъ ея проводникомъ стала школа. Мы, правда, не видимъ, чтобы римское правительство въ своихъ заботахъ о просвѣщеніи, даря про-

фессорамъ и учителямъ привилегіи и податныя льготы, а иногда назначая имъ и жалованье, обратило школу въ средство романизации провинціи. Школы были дѣломъ частной предприимчивости и любознательности. Но потребность въ школахъ ощущалась въ Африкѣ такъ сильно, что по крайней мѣрѣ въ концѣ IV вѣка мы находимъ школу даже въ такомъ маленькомъ городѣ, какъ Тагасте, родинѣ Августина, а школа въ Африкѣ была исключительно *латинской*. Греческое вліяніе, которое нѣкогда сильно боролось съ финикійскимъ, отступило передъ римскимъ. Пунійская же литература, повидимому, направленная исключительно къ удовлетворенію матеріальныхъ интересовъ, не могла соперничать съ латинской ни по своему практическому значенію, ни по своему внутреннему достоинству. Безъ знанія латинскаго языка и литературы нельзя было достигнуть почетнаго званія оратора, которому была открыта выгодная карьера адвоката и юриста. И потому маленькіе пунійцы, поступая въ школу, быстро приобрѣтали бѣглое знаніе латинскаго языка, и заучивали Вергилія не хуже природныхъ италиковъ, тѣмъ болѣе, что поэма римскаго національнаго поэта имѣла интересъ, хотя и другого рода, для потомковъ пунійцевъ, прибывшихъ съ Дидоной.

Латинизация Африки, совершавшаяся посредствомъ языка, школы и правовъ, отразилась и на самой сокровенной сторонѣ народной жизни—на религіи. Римляне, какъ и другіе язычники, не вели религіозной пропаганды; языческіе боги имѣли *національный* характеръ, а потому, конечно, и римляне не чувствовали потребности навязывать *своихъ* боговъ чужимъ народамъ. Римъ интересовался распространеніемъ своихъ культовъ среди покоренныхъ народовъ лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда они имѣли политическій характеръ. Вслѣдствіе этого императоры поощряли культъ „Риму“, „вѣчному, священному“,—и свидѣтельствующія объ этомъ надписи встрѣчаются въ глубинѣ Тунезіи. Въ этой же области магистраты нѣсколькихъ мелкихъ городковъ выражали свою преданность Риму тѣмъ, что на свой счетъ воздвигли изображение римской волчицы. Особенно удобную форму для почитанія Рима представляло римское понятіе „генія“,—какъ бы ангела-хранителя, и потому нерѣдко встрѣчаются посвященія „генію императора“, „имперіи“, „сената“. Встрѣчаются также посвященія любимымъ у римлянъ олицетвореніямъ добродѣтелей—„Миру“, „Согласію“ и т. п. Кромѣ того, римскіе колонисты, какъ мы видѣли, принесли съ собою въ Африку культъ своихъ національных боговъ, — Юпитера Капитолійскаго и чтимыхъ

вмѣстѣ съ нимъ на Капитоліи богинь. На ряду съ ними встрѣчается въ Африкѣ и культъ Марса. Но поклоненіе римской „Тріадѣ“ и Марсу здѣсь не всегда является признакомъ или наслѣдіемъ переселенцевъ изъ Италіи; сами африканцы охотно предавались этому культу: ихъ побуждала къ тому „вѣрнопопданность“ императорамъ. Привѣтствуя императоровъ по случаю одержанныхъ ими побѣдъ или счастливаго возвращенія изъ отдаленныхъ походовъ, африканскіе магистраты привыкали выражать благодарныя чувства и Юпитеру, „хранителю священнѣйшей особы императора“, и Марсу и т. д. Впрочемъ, въ только-что указанныхъ проявленіяхъ римскаго вліянія невозможно отличить официальную, показную сторону отъ дѣйствительности, и потому трудно установить, насколько слѣды римскихъ культовъ свидѣлствуютъ о романизациі Африки. Но несравненно убѣдительнѣе въ этомъ отношеніи другой фактъ — прониженіе римскихъ формъ и названій въ область самой пунійской религіи. Кароагеняне принесли съ собой изъ Азіи культъ Ваала и Астарты и широко распространили его по африканскому побережью и вездѣ, куда проникла ихъ культура. Какъ всѣ семитическіе народы, такъ и пунійцы чуждались въ религіи антропоморфизма; они не допускали изображенія боговъ и довольствовались одною символическою. Покореніе римлянами Африки не свергло власти Ваала и Астарты надъ ея обитателями; но и эти боги покорились Риму. Это выразилось прежде всего въ томъ, что имъ пришлось, такъ сказать, искать права гражданства среди римскихъ боговъ: Вааль сталъ Сатурномъ, а сидонская Астарта—Небесной богиней, или просто Целестісъ; точно также второстепенные боги Тира и Кроагена—Ешмунъ и Мелкартъ—превратились въ Эскулапа и Геркулеса. Но перемѣна имени была лишь внѣшнимъ признакомъ болѣе глубокаго преобразованія. Греко-римская пластика овладѣла семитическими богами и на безчисленныхъ памятникахъ, украшавшихъ храмы Сатурна, вытѣснила восточные символы солнечнаго диска и полудунія знакомыми классическому міру мифологическими изображеніями. Процессъ романизациі пунійской религіи совершался постепенно, но постоянно,—и его можно наглядно прослѣдить по памятникамъ. Такъ въ началѣ III вѣка Сатурнъ изображался на памятникахъ Тигники, въ долинѣ Баграда, лишь символически: то посредствомъ диска, то съ помощью заимствованнаго у древне-латинскаго Сатурна серпа и еловой шишки; а между тѣмъ въ это время въ окрестностяхъ Кароагена Вааль уже давно превратился въ антропологическое божество съ гермами Сатурна и Аполлона. Въ дру-

гихъ случаяхъ памятники даютъ возможность прослѣдить, какъ греко-римскія религиозныя представленія *проникали* въ область пунійскихъ, сочетаясь съ ними. Такіе памятники служатъ нагляднымъ проявленіемъ *перехода* отъ семитической символики въ греко-римскому антропоморфизму. Такъ на колоннахъ города Мактариса божество изображено символически посредствомъ солнечнаго круга (диска) и полулунія; но антропоморфизмъ уже завладѣлъ этими священными знаками: внутри круга и подъ луною уже изображены человѣческія головы.

Въ пунійскую эпоху каменные плиты, которыя въ большомъ количествѣ ставились около храмовъ,—по обѣту, или въ память совершеннаго жертвоприношенія,—украшались лишь изображеніемъ земныхъ плодовъ или священныхъ сосудовъ, подносимыхъ божеству; изображенія людей или животныхъ встрѣчаются рѣдко. Въ императорскую же эпоху на этихъ памятникахъ постоянно встрѣчается барельефное изображеніе не только животныхъ, принесенныхъ въ жертву, но и самаго акта жертвоприношенія. И тутъ мы имѣемъ переходныя формы; рядомъ съ пунійскимъ символомъ жертвоприношенія изображено иногда и самое животное, предназначенное для Ваала, окруженное плодами или жертвенными лепешками. Такъ пунійская религія африканцевъ мало-помалу облекается въ римскія формы.

IV.

Такимъ образомъ въ концѣ III-го вѣка Римъ совершилъ вторичное покореніе Африки. Онъ покорилъ ее на этотъ разъ не силою оружія или гениальностью полководца, какъ при Замѣ и Тапсѣ, но силой своей цивилизаціи; онъ подвергъ ее не господству своихъ легіоновъ и проконсуловъ, а подчинилъ ее власти своего языка, своей литературы, религіи и своей гражданской культуры. По мѣткому выраженію одного французскаго писателя, Африка стала „продолженіемъ Италіи, переброшенной черезъ Средиземное море“.

Но это новое торжество было обманчиво. Покореніе не было ни такъ глубоко, ни такъ прочно, какъ казалось. По наружному виду римлянинъ, прибывшій въ проконсульскую Африку, могъ воображать, что онъ не выѣзжалъ изъ Италіи; дома въ городахъ были выстроены по италійскому образцу; вездѣ возвышались храмы, театры, термы и базилики въ греко-римскомъ стилѣ; вездѣ была видна работа римскаго инженера,—въ го-

родской канализація, въ мостахъ, смѣло переброшенныхъ черезъ горныя рѣки Атласа, въ вымощенныхъ каменными плитами дорогахъ, ведущихъ отъ морского побережья къ окраинамъ пустыни. Приѣзжая по этимъ дорогамъ въ незнакомый городъ, римлянинъ встрѣчалъ знакомую ему обстановку, — онъ проходилъ триумфальными арками на форумъ, украшенный статуей римскаго императора и цѣлымъ сонмомъ статуй съ латинскими надписями; на кладбищѣ его взорамъ представлялись римскіе мавзолеи и саркофаги, — даже въ малодоступныхъ горныхъ ущельяхъ; вездѣ путешественнику слышалась латинская рѣчь; вездѣ незнакомые ему люди носили съ дѣтства знакомыя ему римскія имена и фамиліи. И все-таки римлянинъ былъ въ Африкѣ на чужой сторонѣ: въ нѣкоторомъ разстояніи отъ побережья и при нѣкоторомъ вниманіи даже и здѣсь римлянинъ встрѣчалъ культурный слой, нетронутый римскимъ вліяніемъ, и, что не менѣе важно, римскій наблюдатель могъ распознать подъ латинской личиной туземный элементъ, могъ разслышать въ напыщенной латинской рѣчи африканскаго риторика чуждый акцентъ и иноземный духъ. Это превращеніе Африки въ Италію не затронуло, однако, ея сущности. Болѣе всего оно, конечно, коснулось верхнихъ слоевъ населенія или той части туземцевъ, которые находились въ непосредственныхъ сношеніяхъ съ римскими колонистами и солдатами. Но низшій туземный слой не легко поддавался латинскому вліянію. Объ этомъ можно судить по языку. Еще во II-мъ вѣкѣ, какъ видно изъ Апулея, даже въ прибрежныхъ городахъ, не во всѣхъ зажиточныхъ семьяхъ понимали латыни. Неудивительно поэтому, что римское правительство дозволяло совершать даже римскіе юридическіе акты на пунійскомъ языкѣ. А объ употребленіи пунійскаго языка сельчанами свидѣлствуетъ византійскій историкъ Прокопій: еще въ VI вѣкѣ, наканунѣ арабскаго завоеванія. Что же касается до либійскаго языка, то онъ и теперь не исчезъ. Какъ тотъ, такъ и другой языкъ употреблялись въ надгробныхъ надписяхъ, частью сохранившихся до нашего времени.

Оплотомъ народнаго языка была и въ Африкѣ религія, которая, несмотря на сильную романизацію, сохранила своеобразныя черты финикійскаго семитизма. Несмотря на введеніе официальныхъ римскихъ культовъ, въ Африкѣ сохранился основной характеръ религіи кареагенянъ. Латинскія имена замѣнили пунійскія названія; внѣшнія формы храмовъ видоизмѣнились подъ вліяніемъ греко-римской архитектуры; восточные символы были замѣнены антропоморфическими типами; но торжество греко-

римской мифологii было болѣе мнимое, чѣмъ дѣйствительное. Подъ именами Сатурна, Юпитера, Аполлона либо-финикійцы по прежнему поклонялись Ваалу; „небесная богиня“ финикійцевъ не утратила подъ римскимъ именемъ Coelestis своего семитическаго образа; повсюду, какъ свидѣтельствуя надписи, сохранились мѣстные культы по имени божества очевидно финикійскаго происхожденiя: Адонъ, Иоклонъ и т. п. Но гдѣ бы ни совершались жителями римской Африки религіозные обряды—на вершинахъ ли горъ, или въ храмахъ коринесскаго стиля среди города; покрывались ли алтари плодами или лепешками, или были орошаемы кровью жертвенныхъ животныхъ, изображались ли боги символически, или въ человѣческой формѣ,—божества, въ честь которыхъ совершались обряды, оставались неизмѣнны: сущность религii не была затронута; идеи и религіозныя представленiя жителей римской Африки не утрачивали своего финикійскаго характера.

„Эта двойственность культуры и эта живучесть пунійскаго элемента въ ней обнаруживаются и въ области, имѣющей близкое отношенiе къ религii, — въ похоронныхъ обычаяхъ и могильныхъ памятникахъ. Подробное и тщательное изученiе сѣвероафриканскихъ некрополей указываетъ на одновременное существованiе тамъ весьма различныхъ похоронныхъ обычаевъ, истекающихъ изъ двухъ совершенно различныхъ источниковъ. Двѣ культурныя струи, различныя и независимыя другъ отъ друга, пришли во взаимное соприкосновенiе въ императорской Африкѣ и до извѣстной степени слились. Древнiе обычаи, унаслѣдованные отъ финикійскихъ колонистовъ и отъ либійцевъ, повидимому видоизмѣнились; новые обычаи, введенные Римомъ, не встрѣтили сопротивленiя и кое-гдѣ были усвоены туземцами; но это преобразование было поверхностное, а не глубокое, и оно болѣе ощутительно въ богатыхъ гробницахъ и пышныхъ мавзолеяхъ, чѣмъ въ скромныхъ, безвѣстныхъ могилахъ ¹⁾).

Имена людей, встрѣчающiяся въ надписяхъ, съ перваго взгляда всѣ носятъ чисто латинскiй характеръ. Изъ числа 10.000 именъ, сохранившихся на надписяхъ, не болѣе 200 не-латинскихъ. Можно думать, что люди, носившiе эти латинскiя имена, чисто италiйскаго происхожденiя, или колонисты изъ Италii, или же ихъ потомки. Но при ближайшемъ разсмотрѣнii оказалось, что многiя изъ этихъ именъ происходятъ, несмотря на свою латин-

¹⁾ О различii похоронныхъ обычаевъ, основанномъ на различныхъ представленiяхъ о загробной жизни, см. всю литературную главу объ этомъ предметѣ въ книгѣ Toutain: „Les cités romaines dans la Tunisie“.

скую форму, отъ пунійскихъ корней, такъ какъ встрѣчаются на пунійскихъ или либійскихъ надписяхъ въ туземной формѣ. Слѣдовательно, нужно думать, что это латинизованныя имена туземцевъ. Но что еще любопытнѣе, Тутену удалось подъ покровомъ чисто латинскихъ именъ открыть туземный элементъ. Тогда какъ латиняне, давая имена и прозвища, руководились какимъ-нибудь свойствомъ лица, или обстоятельствомъ въ его жизни, пунійскія имена всегда имѣютъ какое-нибудь религиозное значеніе, заключая въ себѣ имя какого-нибудь божества или названіе какого-нибудь дара, имъ ниспосылаемаго. Въ примѣръ можно привести пресловутое въ исторіи Африки имя Доната (Богданъ), которое весьма часто встрѣчается именно въ этой провинціи. Оно имѣетъ чисто латинскій обликъ, — но оно представляетъ лишь „эквивалентъ“ пунійскихъ именъ Ятанъ и Матанъ, означающихъ то же самое и встрѣчающихся въ различныхъ комбинаціяхъ, какъ Матанбааль (Данный Бааломъ) и т. п. Но не въ одномъ только *выборѣ* именъ просвѣчиваетъ туземный элементъ, — онъ даетъ себя знать въ *употребленіи* именъ. На мѣсто латинскаго фамильнаго имени, *nomem gentilicium*, является часто въ Африкѣ *отчество* (Imilconis f., сынъ Имилькона), т.-е. латинскія надписи представляютъ собою лишь *переводъ* пунійскихъ. И даже тамъ, гдѣ встрѣчаются всѣ три обычныхъ римскихъ имени: первое имя, имѣвшее у римлянъ личный характеръ — наприм. Sextus — становится въ Африкѣ фамильнымъ именемъ (два брата называются оба Sextus), а третье римское имя — прозвище (*cognomen*) — становится въ Африкѣ личнымъ именемъ. Несомнѣнно, въ римской Африкѣ, подъ влияніемъ римскаго завоеванія, произошла метаморфоза: туземцы усвоили себѣ языкъ, имена, обычаи завоевателей, въ особенности по мѣрѣ близости къ побережью. Но, „несмотря на это превращеніе, болѣе поверхностное, чѣмъ глубокое, они остались африканцами по расѣ и по духу“. — Это заключеніе, сдѣланное ученымъ и осмотрительнымъ специалистомъ послѣ обстоятельнаго изслѣдованія мелочнаго матеріала, имѣетъ существенное, *общее* значеніе. Оно служитъ прочнымъ основаніемъ для предположенія, что населеніе сѣверной Африки сохранило и подъ римскимъ покровомъ свою индивидуальность и, претворивъ въ себѣ чуждые элементы, творчески располагало ими. Это предположеніе нашло себѣ подтвержденіе какъ въ области искусства, такъ и литературы. Какъ въ одной, такъ и въ другой области были сдѣланы попытки — точнѣе взвѣсить и опредѣлить степень влиянія африканскаго элемента въ художественныхъ и литературныхъ памятникахъ римской Африки.

Правда, въ искусствѣ африканское вліяніе обнаруживается, такъ сказать, отрицательно. Разсмотрѣвши многочисленные памятники архитектуры, пластики и мозаики, найденные въ Африкѣ, Тутенъ отмѣчаетъ въ нихъ вездѣ греко-римскій стиль. Африканская провинція не имѣетъ оригинальнаго стиля; въ ея произведеніяхъ нѣтъ ни вдохновенія, ни самобытности. Но именно въ этомъ проявляется національное вліяніе: финикійская, или, лучше сказать, семитическая, раса не обладаетъ художественнымъ творчествомъ. Никогда не было оригинальнаго пунійскаго искусства. Какъ карфагенцы, по завоеваніи Сициліи, всецѣло подпали вліянію греческихъ художниковъ, такъ и ихъ потомки, въ римскую эпоху, ограничились лишь подражаніемъ.

Совсѣмъ иное видимъ мы въ области литературы. Здѣсь никто не оспариваетъ сильнаго вліянія африканскаго элемента; скорѣе бросается въ глаза стремленіе преувеличить его силу. Одинъ изъ горячихъ приверженцевъ теоріи пунійской самобытности, говоря о латинизаціи сѣверной Африки, предостерегаетъ читателей отъ *миражей*, свойственныхъ этой области. По его словамъ, латинизація—не чтò иное, какъ такой *миражъ*. „Потомки финикійцевъ и карфагенянъ, нумидійцы и мавры, конечно проходили черезъ официальные латинскія школы; въ нихъ они научились языку завоевателей, болѣе гибкому и богатому, чѣмъ ихъ туземныя нарѣчія, но латынь была для нихъ лишь орудіемъ проявленія ихъ національной самобытности“. Въ особенностяхъ подбора словъ и синтаксиса, въ смѣлой живописности слога, въ излишествѣ красокъ, въ преобладаніи образа надъ идеей, чувствуется скрытое вліяніе семитическихъ языковъ и восточнаго образа мысленія. Если вы будете смотрѣть на ихъ латинскихъ литераторовъ—изъ Рима, они вамъ представятся варварами, полу-нумидами, какъ они сами себя называютъ; но чтобы ихъ понять, надо ихъ брать, какъ они есть: это „африканцы съ востока“, по случайности говорящіе по-латыни. Латинская школа, черезъ которую они прошли, не укажетъ вамъ ихъ настоящаго образа, потому что въ продолженіе всего римскаго владычества національный духъ боролся въ ней съ вліяніемъ классицизма и подражанія ему. Антагонизмъ этихъ двухъ элементовъ, этихъ двухъ цивилизацій,—вотъ въ чемъ заключается вся исторія латино-африканской литературы“.

Цѣлая книга написана для доказательства этого тезиса, написана съ одушевленіемъ и знаніемъ дѣла ¹⁾. Мы не станемъ

¹⁾ Р. Monceaux. „Les africains“. 1894.

Томъ I.—Январь, 1901.

передавать особенностей, которыя авторъ отмѣчаетъ въ языкѣ и въ слогѣ латинскихъ писателей африканскаго происхожденія, и не послѣдуемъ за нимъ въ галерею его литературныхъ портретовъ, къ сожалѣнію, не оконченную. Но уже на полупути, пройдши галерею языческихъ писателей Африки, авторъ знакомитъ насъ съ своимъ общимъ выводомъ. Говоря о значеніи латино-африканской литературы, авторъ отмѣчаетъ, что съ III-го вѣка она начинаетъ вліять на всю западную Европу: въ лицѣ Апулея и Фронтонна она долго руководитъ вкусами язычниковъ Рима; въ лицѣ Тертуллиана и Августина она увлекаетъ за собой большинство христіанскихъ авторовъ. Но во всемъ этомъ вліяніи поражаетъ стойкость однихъ и тѣхъ же вкусовъ, инстинктовъ и свойствъ. Несмотря на все различіе между Маниліемъ и Флоромъ, Апулеемъ и Тертуллианомъ, Августиномъ и Марціаномъ, — всѣ эти писатели представляютъ фамиліное сходство. Всѣ они одной расы, всѣ земляки, говорятъ на томъ же языкѣ и вносятъ въ него тотъ же духъ. Чѣмъ бы они ни занимались, всѣ — они ораторы, литераторы и религіозные люди: у нихъ свой синтаксисъ, свой слогъ, высокопарный и своевольный, живописный и реалистичный, вычурный и вмѣстѣ съ тѣмъ неряшливый; никогда они не освобождаются отъ своей индивидуальности, которую наивно выставляютъ даже въ грамматическомъ или богословскомъ трактатѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ очевидно, что въ странѣ слагается особая литературная традиція, которая передается отъ одного поколѣнія другому; наслѣдіе это все растетъ и растетъ; его можно прослѣдить еще на ученыхъ и поэтахъ вандальскаго и византійскаго періода. Такимъ образомъ, съ одной стороны стойкость національнаго темперамента, съ другой непрерывная мѣстная традиція — объясняютъ единство этой латино-африканской литературы, достигнувшей своего апогея въ лицѣ Августина.

Изложенный сейчасъ взглядъ встрѣтилъ возраженія со стороны другихъ изслѣдователей этого вопроса. Извѣстный Гастонъ Буассье, годъ спустя послѣ Монсѣ изобразившій римскую Африку, старался показать, что мѣстныя особенности литературнаго языка въ Африкѣ вовсе не значительныѣ, чѣмъ въ другихъ римскихъ провинціяхъ. Буассье рѣшительно возстаетъ противъ характеристики Апулея, какъ „бедуина на конгрессѣ классиковъ“, и, указывая на разнообразіе произведеній Августина, высказываетъ мысль, что именно литературное разнообразіе, можетъ быть, и представляетъ наиболѣе характерную черту латино-африканской литературы, сравнительно, напр., съ латино-гальской. Но если чувство мѣры и побудило знаменитаго академика высказаться

противъ переоцѣнки африканскаго вліянія въ латинской литературѣ, то его собственная книга служитъ новымъ подтвержденіемъ живучести туземнаго африканскаго элемента. Въ этой живучести онъ даже ищетъ утѣшенія, какъ патріотъ, и оправданія тому, что французы такъ мало успѣли духовно покорить и „ассимилировать“ себѣ сѣверную Африку. Римляне превзошли въ этомъ отношеніи французовъ; они достигли гораздо большаго, и тѣмъ не менѣе латынь и латинская цивилизація безслѣдно исчезли въ Африкѣ. Отчего это произошло? Буассье не довольствуется общепринятымъ объясненіемъ, что въ Африкѣ варварство сохранилось на окраинѣ, внѣ предѣловъ римской провинціи, и затѣмъ послѣ паденія римской власти снова распространилось повсюду.

Истинную причину Буассье видитъ въ томъ, что, несмотря на всѣ превращенія, въ Африкѣ сохранился національный элементъ. — „Этотъ народъ, столь неустойчивый на первый взглядъ, столь измѣнчивый, столь склонный впитывать въ себя всѣ цивилизаціи, съ которыми онъ приходитъ въ соприкосновеніе—одинъ изъ тѣхъ, которые лучше всего сохранили свой первобытный характеръ и свою природу. Мы находимъ его и теперь еще такимъ же, какимъ изобразили намъ его классическіе писатели; онъ живетъ приблизительно такъ же, какъ жилъ во времена Югурты. И онъ не только не видоизмѣнился подъ вліяніемъ всѣхъ этихъ чуждыхъ національностей, которыя льстили себя надеждой его ассимилировать, но онъ ихъ претворилъ въ себѣ и остался самымъ собою: ни въ его идеяхъ или привычкахъ, ни въ его вѣрованіяхъ или бытѣ не осталось ничего отъ пунийцевъ, римлянъ или вандаловъ; уцѣлѣлъ одинъ лишь берберъ“.

Тутенъ также думаетъ, что Монсо не удалось исполнить взятой имъ на себя задачи и доказать, что особенности африканской латыни обусловливаются вліяніемъ туземныхъ языковъ, — пунийскаго и либійскаго. Но собственныя изслѣдованія Тутена вездѣ выставляютъ на видъ силу и живучесть національных элементовъ Африки, что въ данномъ случаѣ и составляетъ главный вопросъ. Такъ и относительно языковъ; „внимательное изученіе“ ихъ привело Тутена къ заключенію, что латинскій языкъ распространился по всей области не глубокимъ, а поверхностнымъ *лоскомъ* (*vernis*); безъ сомнѣнія большинство обитателей страны понимали латынь, но не она была настоящимъ народнымъ языкомъ. Латынь вошла въ богатые дома, покрыла роскошные мавзолеи и надгробные камни, украшенные барельефами; она красовалась на общественныхъ зданіяхъ, но она не изгнала изъ сердца жителей Африки ни памяти о родныхъ языкахъ, ни

любви къ нимъ“. Это значитъ, въ общемъ итогѣ, что, несмотря на всѣ успѣхи романизации Африки, ея туземные элементы сохранили свою индивидуальность.

V.

Въ этотъ міръ, раздвоенный подъ вѣшнимъ покровомъ романизации, рано стала входить новая культурная струя, которая, казалось бы, должна была прочно сплотить всѣ мѣстные элементы — туземные и пришлый, латинскій. Выходы христіанства въ Африкѣ намъ теперь не видны; но, по всѣмъ вѣроятіямъ, сѣмя его было занесено изъ Рима. Слова Августина, которые приводятся въ подтвержденіе противоположнаго мнѣнія, сказаны не въ томъ смыслѣ, какъ ихъ въ этомъ случаѣ понимаютъ. Когда, проповѣдуя донатистамъ идею единства церкви, Августинъ указываетъ имъ на земной Іерусалимъ, „откуда евангеліе пришло и въ Африку“, онъ имѣетъ въ виду общій фактъ, а не специальный вопросъ, откуда пришли въ Африку первые „вѣстники“ благодати. Во всякомъ случаѣ, въ историческую эпоху, связи африканской церкви съ восточными очень слабы, тогда какъ, съ другой стороны, торжество христіанства въ Африкѣ было вмѣстѣ съ тѣмъ и усиленіемъ въ ней латинскаго вліянія и романизации.

Это торжество шло тѣми же путями, по какимъ шла римская власть и культура. Мы можемъ прослѣдить распространеніе христіанства, благодаря новѣйшимъ раскопкамъ вдоль большихъ римскихъ дорогъ, которыя вели изъ Карфагена въ глубь страны. Изъ Карфагена христіанство было перенесено въ Тевесте, первую стоянку римскаго легіона до 120 г.; а оттуда оно проникло по радіусамъ проведенныхъ изъ Тевесте дорогъ въ сердцевины бедуинства, въ города Тамугади, Ламбезъ, Багаи и другіе, извѣстные какъ стоянки римскихъ войскъ, а впослѣдствіи — какъ оплотъ донатизма. Торжество это, однако, было куплено дорогой цѣной. Число христіанъ, *засвидѣтельствовавшихъ* свою вѣру въ Христа подъ топоромъ палача, или въ когтяхъ дикихъ звѣрей цирка, или же на каторжныхъ работахъ въ рудникахъ, — было въ Африкѣ весьма значительно. И не въ одномъ только Карфагенѣ проливалась христіанская кровь. Всѣ мѣстности Африки и всѣ классы ея населенія спѣшили принести свою дань. Перво-мучениками Африки были люди пунійскаго происхожденія, какъ видно по ихъ именамъ — Намфамо (счастливо происходящій, какъ переводить это имя Августинъ), Миггинъ и др. Вмѣстѣ съ

аристократической Перпетуей были растерзаны въ циркѣ рабы, Фелицата и Реститутъ, — несмотря на свои латинскія имена, конечно, не римскаго происхожденія.

Современныя раскопки и добытыя ими надписи въ значительной степени увеличили тотъ матеріалъ для исторіи африканскаго мученичества, который заключали въ себѣ житія святыхъ и духовная литература. Открытые археологами памятники обогатили наши свѣдѣнія въ этой области въ особенности одной драгоценной чертой; они наглядно показали, какъ рано и сильно вмѣстѣ съ мученичествомъ распространился въ Африкѣ культъ мучениковъ; повсемѣстно встрѣчаются остатки такъ называемыхъ „*shetogiae*“, т.-е. церквей и часовенъ, воздвигнутыхъ въ память мучениковъ и заключавшихъ въ себѣ тѣла ихъ, или частицы ихъ мощей, хранившіяся въ металлическихъ ларчикахъ (*capsella*). Эти ларчики помѣщались въ обложенныхъ камнемъ углубленіяхъ, покрытыхъ большими четырехъ-угольными каменными плитами, которыя въ источникахъ того времени обозначались словомъ „*stola*“ или жертвенникъ; ларчики эти иногда въ торжественномъ обходѣ носили по городу епископы, сопровождаемые народомъ. Одинъ изъ такихъ ларчиковъ былъ найденъ въ 1884 г. въ развалинахъ небольшой церкви на дорогѣ между Тевесте и Циртой; онъ изъ серебра, яйцеобразной формы — четырехъ вершковъ длины, двухъ ширины и около трехъ вышины, съ выпуклой, художественно отдѣланной крышечкой, на которой изображенъ святой, обѣими руками держащій на груди лавровый вѣнокъ. Святой стоитъ на горѣ, съ которой стекаютъ четыре райскихъ потока, а съ неба Господь спускаетъ на него другой вѣнокъ. Стѣнки ларчика, какъ снаружи, такъ и внутри, покрыты священными, символическими изображеніями.

Такой культъ мучениковъ въ эпоху мученичества не былъ выраженіемъ одного лишь благоговѣнія къ нимъ, или преданіемъ, какъ впоследствии, — но онъ былъ признакомъ сильно возбужденнаго религіознаго чувства, готоваго на подобное мученичество. Доказательствомъ такого возбужденія и всеобщей жажды подвижничества можетъ служить и весьма юный возрастъ многихъ жертвъ. Въ одной изъ кровавыхъ драмъ, разыгравшихся передъ проконсуломъ Анулиномъ, героиней драмы была четырнадцатилѣтняя дѣвочка Максима. Къ ней и ея подругъ, Донатиллъ, присоединилась двѣнадцатилѣтняя Секунда; эти дѣти встрѣтили приговоръ проконсула о казни ихъ мечомъ — обычнымъ радостнымъ крикомъ: „Богу слава!“ На такое же настроеніе указываетъ весьма строгое отношеніе въ Африкѣ къ тѣмъ христіа-

намъ, которые не рѣшались на мученичество и, чтобы спасти свою жизнь, исполняли требованія языческихъ властей. Вопросъ объ „отрекшихся“—о „падшихъ“ (*lapsi*) сталъ въ Африкѣ уже въ половинѣ III-го вѣка серьезнымъ общественнымъ вопросомъ, какъ это видно изъ сочиненія, написаннаго подъ этимъ заглавіемъ епископомъ карфагенскимъ, Кипріаномъ. Такимъ образомъ самыя преслѣдованія, которыя должны были бы сплотить христіанъ въ африканской церкви, послужили въ ней сѣменами раздора. Правда, послѣ преслѣдованій 250—260 годовъ, когда претерпѣлъ мученичество самъ Кипріанъ, христіанская община въ Африкѣ пользовалась сорокалѣтнимъ „перемиріемъ“; но на бѣду она подверглась наканунѣ своего торжества новому погрому, который имѣлъ роковыя послѣдствія для ея судьбы. Этотъ погромъ извѣстенъ въ исторіи подъ именемъ Діоклеціанова преслѣдованія и относится къ 303—4 годамъ. Императорскій указъ 303 года предписывалъ разрушеніе христіанскихъ церквей, сожженіе священныхъ книгъ и лишеніе христіанъ правъ состоянія; у знатныхъ христіанъ отнимались чины и сословныя отличія, напримѣръ сенаторское званіе, а рабы теряли право быть отпущенными на волю. За этимъ указомъ послѣдовалъ черезъ годъ другой, вмѣнявшій христіанамъ въ обязанность приносить императору языческую жертву. Такимъ образомъ выдѣляются два періода—*dies traditionis*, дни, когда дѣло шло о *выдачѣ* христіанскихъ богослужебныхъ книгъ, и *dies tutificationis*, дни совершенія жертвы—сожженія еиміама передъ бюстомъ или статуей императора,—что, между прочимъ, подтверждаетъ одна изъ африканскихъ надписей, упоминающая о погребеніи въ Мостарѣ крови (*сгвогис*) мучениковъ, пострадавшихъ въ Милевѣ „во дни сожженія еиміама“. Вопросъ о точномъ содержаніи и времени тогдашнихъ указовъ Діоклеціана—весьма спорный; для нашей цѣли достаточно отмѣтить главный моментъ въ исторіи африканской церкви—отношеніе тамошнихъ христіанъ къ требованію выдать властямъ для сожженія священныя книги. Требованіе это относилось, конечно, преимущественно къ духовенству, въ особенности къ епископамъ отдѣльныхъ городовъ;—въ самомъ маленькомъ городкѣ или мѣстечкѣ былъ тогда свой епископъ; но вопросъ о выдачѣ вскорѣ взволновалъ всю христіанскую общину, тѣмъ болѣе, что самое слово *выдача*—*traditio*—обозначало по-латыни и *измѣну*.

Изъ дошедшихъ до насъ актовъ допроса видно, что для многихъ христіанъ всякій допросъ служитъ только поводомъ открыто заявить о своей принадлежности къ христіанству и о готовности или даже желаніи заслужить мученичeskій вѣнецъ.

Такъ на допросъ у проконсула Анулина, который выразилъ надежду, что подсудимые, чтобы спасти свою жизнь, исполнять волю императора, всѣ отвѣтили въ одинъ голосъ: „Мы христіане и должны исполнять волю Господа до пролітія крови“. А когда проконсулъ на это замѣтилъ одному изъ подсудимыхъ: „Я спрашиваю тебя не о томъ, христіанинъ ли ты, а о томъ, посѣщалъ ли ты собранія и есть ли у тебя книги?“—онъ снова услышалъ: „Я христіанинъ. Нѣтъ другого имени, которое мы должны почитать, кромѣ Христова имени“.

Но не всѣ христіане находили нужнымъ обнаруживать такое беззащитное стремленіе къ мученичеству, и къ такимъ болѣе умѣреннымъ и осмотрительнымъ лицамъ принадлежали отчасти и самые вожди христіанской паствы. Къ таковымъ принадлежало и главное духовное лицо въ римской Африкѣ, кареагенскій епископъ Менсурій. Дни „выдачи“ благополучно для него миновали, и онъ самъ объяснилъ, какъ это случилось, въ письмѣ къ нумидійскому епископу, Секунду: спрятавши священныя рукописи, онъ оставилъ въ базиликѣ „разнаго рода предосудительныя еретическія писанія“; пристава проконсула захватили ихъ и унесли, и отъ епископа послѣ этого уже ничего не требовали.

Нельзя не отмѣтить по этому поводу характерной черты тогдашняго римскаго чиновничества, проявляющейся въ теченіе всей эпохи преслѣдованія государственной властью сначала христіанъ, а потомъ еретиковъ. Это какая-то странная смѣсь безчувственной жестокости съ формальнымъ исполненіемъ предписаннаго указа, которое можетъ быть, какъ въ данномъ случаѣ, истолковано нежеланіемъ проливать кровь. Тотъ самый проконсулъ, который, не поднимая вопроса о вѣрности ребенка, казнилъ двѣнадцатилѣтнюю дѣвочку за то, что она на судѣ отказалась исполнить языческій обрядъ, удовольствовался притворнымъ повинovenіемъ императорскому указу со стороны епископа, хотя ему и было донесено нѣкоторыми членами городского управленія, что пристава были введены въ заблужденіе и взяли то, что не имѣетъ отношенія къ дѣлу; писанія же, которыя подлежатъ сожженію, хранятся въ домѣ епископа; проконсулъ, однако, не разрѣшилъ имъ произвести у него обыскъ. Такъ Менсурій избавился отъ императорскаго суда; но онъ не ушелъ отъ осужденія своихъ единовѣрцевъ, которые заклеили его прозвищемъ *предателя*. Раздраженіе противъ епископа обуславливалось; однако, не столько притворной выдачей христіанскихъ книгъ, сколько тѣмъ, что Менсурій открыто высказался противъ господствовавшей *жажды мученичества* и старался противодействовать разныграв-

шемуся возбужденію религіозныхъ страстей, вѣроятно для того, чтобы *сберечь* отъ преслѣдованія какъ самыя книги христіанъ, такъ и ихъ самихъ. Намъ извѣстны два интересныхъ факта, бросающихъ свѣтъ на тогдашнее настроеніе христіанскаго общества въ Африкѣ и на различную политику его вождей.

Названный выше Секундъ, епископъ нумидійскаго городка Тигизи, состоялъ, по тогдашнему обычаю, въ качествѣ старшаго епископа, примасомъ, или архіереемъ своей провинціи. Менсурій же, какъ епископъ Кареагена, былъ митрополитомъ римской Африки. Его письмо къ Секунду имѣетъ поэтому характеръ окрѣпительнаго посланія; оно должно было служить и оправдательнымъ документомъ по обвиненію въ предательствѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ наставленіемъ по жгучему вопросу дня—мученичеству. И вотъ онъ высказывалъ въ своемъ посланіи неодобреніе тѣмъ, кто, не будучи привлечены властями (*comprehensi*), сами объявлялись „гонителямъ“ и добровольно заявляли, что у нихъ есть священные книги и что они ихъ не выдадутъ, — „хотя бы никто ихъ не требовалъ отъ нихъ“. Менсурій, далѣе, увѣщевалъ христіанъ, чтобы они такихъ людей „не чтили мучениками“. Онъ обличалъ людей преступныхъ и должниковъ казны, которые пользовались гоненіемъ, чтобы избавиться отъ жизни, обремененной долгами, или чтобы очистить себя и искупить свои злодѣянія,—или даже извлечь денежную выгоду и въ заключеніе наслаждаться всякими благами на счетъ приношеній христіанъ.

Другой фактъ намъ извѣстенъ изъ *житія* мучениковъ, Сатурнина, Датива и др., въ позднѣйшей обработкѣ, во враждебномъ Менсурію духѣ. Житіе оканчивается обвиненіемъ, что Менсурій не только самъ запятналъ себя выдачей священныхъ книгъ, но и жестоко обращался съ твердыми въ вѣрѣ христіанами, находившимися въ заключеніи. Помощникомъ его въ этомъ дѣлѣ былъ діаконъ Цециліанъ, который разставлялъ около тюрьмы людей съ плетями и ремнями, чтобы отгонять всѣхъ, кто приносилъ мученикамъ пищу или питье. Въ то время, какъ мученики томились въ тюрьмѣ голодомъ и жаждой, передъ тюрьмой разбивали кружки съ питьемъ, принесеннымъ для мучениковъ, а пищу бросали собакамъ. Отцы и матери узниковъ цѣлые дни и ночи лежали на землѣ передъ тюрьмами, не имѣя возможности проститься съ дѣтьми, и т. д. — Въ этомъ разсказѣ явно слышится голосъ партійной страсти, но въ немъ есть и ядро исторической истины. Изъ вышеприведеннаго письма Менсурія видно, что авторъ его не только самъ не шелъ на мученичество, но и осуждалъ тѣхъ, которые *напрашивались*; видно, что онъ прямо

отклонялъ христіанъ отъ того, что многіе изъ нихъ признавали высшимъ благомъ и желаннымъ концомъ жизни. Нужно думать, что Менсурій въ Карѳагенѣ и самъ принималъ мѣры, чтобы успокоить, а можетъ быть и разогнать возбужденную толпу, стоявшую передъ тюрьмой, готовую ворваться въ нее и сразиться со стражей, чтобы только удостоиться мученическаго вѣнца.

Но не всѣ африканскіе епископы такъ думали, какъ карѳагенскій старецъ. Намъ извѣстно содержаніе отвѣта епископа Секунда, главы нумидійскаго епископата, Менсурію. Письмо примаса Нумидіи написано очень осторожно и, можно сказать, политично. Онъ не осуждаетъ своего митрополита и не входитъ въ прямое обсужденіе его образа дѣйствій и мнѣній; но, съ своей стороны, восхваляетъ тѣхъ, которые, будучи задержаны (*comprehensi*), не выдавали священныя книги. А какъ онъ понималъ въ этомъ случаѣ обязанности христіанина, видно изъ того, что онъ о самомъ себѣ рассказываетъ, ставя себя какъ бы въ образецъ Менсурію: когда къ нему пришли и стали требовать священныя книги для сожженія ихъ, онъ отвѣтилъ: „Я христіанинъ и епископъ, а не предатель“, — и когда его просили дать что-нибудь негодное, онъ и въ этомъ имъ отказалъ, подобно Елеазару, не пожелавшему служить другимъ людямъ соблазномъ.

Имѣлъ ли нумидійскій примасъ право выставять такъ на видъ свое неспособное на дѣлки мужество—въ укоръ своему карѳагенскому собрату,—мы не знаемъ. Извѣстно, что и въ Нумидіи многія духовныя лица уцѣлѣли лишь благодаря исполненію указа и снисходительности мѣстныхъ властей. На епископскомъ сѣздѣ въ Цертѣ въ 305 году, на вопросъ примаса шестеро изъ одиннадцати присутствовавшихъ епископовъ признали себя виновными въ выдачѣ книгъ. Тогда одинъ изъ этихъ шести, Пурпурій, напустился на самого примаса съ обвиненіемъ, что и онъ самъ долго содержался подъ стражей и былъ отпущенъ только потому, что выдалъ книги. Услышавъ это, обвиненные начали роптать. Испуганный Секундъ послушался совѣта своего племянника — „предоставить дѣло Богу“. Спрошены были объ этомъ остальные три, которые оказались того же мнѣнія, и епископъ тогда сказалъ стоявшимъ предъ нимъ обвиненнымъ: „Садитесь всѣ“, и всѣ сѣли со словами: „Богу слава!“

Какъ бы то ни было, отвѣтъ главы нумидійскаго духовенства Менсурію указываетъ на существенное различіе въ настроеніи и въ принципахъ среди африканскихъ христіанъ и на извѣстный антагонизмъ между нумидійцами и столицей Африки. Страсти разгорались; онѣ пока еще сдерживались авторитетомъ

митрополита; но когда Менсурій умеръ, въ 312 году, вражда открыто вспыхнула, и вызванный ею расколъ быстро охватилъ Африку. Вслѣдствіе скудости современныхъ свидѣтельствъ, мы можемъ разсмотрѣть ближайшій поводъ къ расколу лишь сквозь пелену позднѣйшихъ и искаженныхъ враждою извѣстій. Но нѣкоторыя изъ обнаружившихся при возникновеніи раскола обстоятельства такъ характерны для христіанскаго общества Африки, что мы не можемъ не остановиться на этомъ вопросѣ ¹⁾.

Исходнымъ пунктомъ раскола было избраніе въ преемники Менсурію діавона Цециліана. Въ то время избраніе епископовъ происходило канонически—клиромъ, городскимъ совѣтомъ (*ordo*) и народомъ. Послѣ избранія, Цециліанъ былъ рукоположенъ епископомъ Феликсомъ изъ Антунги, въ присутствіи нѣсколькихъ сосѣднихъ епископовъ. Но и въ Карфагенѣ была въ то время партія, враждебная Цециліану и недовольная его избраніемъ. Вожди ея руководились, по свидѣтельству приверженцевъ Цециліана, личными интересами;—противъ Цециліана интриговали два пресвитера, желавшіе сами занять его кathedra, и старшины, завѣдывавшіе церковною казною, по порученію Менсурія, который передъ смертью былъ вызванъ въ Римъ. Но наиболѣе вліянія на это дѣло имѣла, повидимому, одна женщина, и въ этомъ случаѣ мы можемъ отмѣтить за личнымъ интересомъ весьма характерную съ культурной стороны черту. Въ Карфагенѣ тогда проживала богатая испанка, Луцилла, дочь или вдова чловека сенаторскаго званія. Она выдавалась своимъ благочестіемъ и щедростію на нужды церковныя и только-что передъ этимъ пожертвовала изрядную сумму на возстановленіе церквей въ Нумидіи, пострадавшихъ во время возстанія узурпатора Александра, — что указываетъ на ея связи съ нумидійскимъ духовенствомъ. Цециліана Луцилла ненавидѣла за то, что онъ оскорбилъ ее въ ея религіозныхъ чувствахъ и въ ея гордости: она имѣла обыкновеніе носить при себѣ косточку одного извѣстнаго мученика и лобызать ее передъ принятіемъ причастія. Однажды въ церкви Цециліанъ при всемъ народѣ сталъ ее осуждать за это, и она вышла изъ храма въ глубокомъ негодованіи.

Противники Цециліана не хотѣли примириться съ его избраніемъ и обратились за помощью къ нумидійскому духовенству для

¹⁾ Этому вопросу посвящено специальное изслѣдованіе: Voelter, „Der Ursprung des Donatismus“, 1883. Это—одно изъ тѣхъ критическихъ изслѣдованій, гдѣ критика источниковъ соединена съ отсутствіемъ изученія общаго вопроса и потому не можетъ дать удовлетворительныхъ результатовъ. Впрочемъ и самая критическая часть полна натяжекъ и промаховъ (напр. цитаты изъ Августина, стр. 126).

того, чтобы поставленіе Цециліана въ епископы было признано имъ неправильнымъ. Какіе же они, однако, для этого выставили доводы? Хотя этотъ вопросъ тысячи разъ обсуждался на церковныхъ сѣздахъ и въ политической литературѣ IV и V-го вѣковъ, онъ представляетъ для насъ нѣкоторыя затрудненія—по винѣ историка донатизма, епископа Оптата, писателя мало образованнаго и небрежнаго въ слогъ и въ связи мыслей, притомъ писавшаго о возникновеніи раскола шестьдесятъ лѣтъ спустя.

Главное обвиненіе, которое донатисты выставляли противъ католической церкви въ Африкѣ, состояло въ томъ, что епископъ Феликсъ, рукоположившій Цециліана, былъ *предателемъ*. Католики старались, съ документами и протоколами въ рукахъ, опровергнуть это обвиненіе. Но когда именно оно возникло и играло ли оно главную роль съ самаго начала, мы съ достовѣрностью утверждать не можемъ. По крайней мѣрѣ, самъ Оптатъ рассказываетъ, —приписывая это интригамъ враговъ Цециліана, — что на рукоположеніе Цециліана были приглашены *одни сосѣдніе епископы* (т.-е. изъ пригородовъ Карфагена), и что оно состоялось въ *отсутствіи нумидійцевъ*. Августинъ въ послѣдствіи по этому вопросу справедливо замѣтилъ, что если *римскій* епископъ рукополагается епископомъ сосѣдняго маленькаго городка Остинъ, то для карфагенскаго епископа не было надобности получать рукоположеніе отъ нумидійскаго примаса. Но мы, къ сожалѣнію, не знаемъ, какія притязанія предъявляли въ то время съ своей стороны нумидійскіе епископы въ столицѣ Африки; мы можемъ только заключить по многимъ отрывочнымъ даннымъ, что въ описываемый нами моментъ нумидійское духовенство старалось обезпечить себѣ преобладающее вліяніе въ Карфагенѣ. При такомъ настроеніи оно, конечно, охотно воспользовалось раздорами въ Карфагенѣ, чтобы присвоить себѣ это вліяніе.

Какъ бы то ни было, по избраніи Цециліана, семьдесятъ епископовъ собралось въ Карфагенѣ подъ предсѣдательствомъ примаса Нумидіи, упомянутаго выше Секунда; въ ихъ числѣ были самые отчаянныя вожаки нумидійской партіи, какъ тотъ Донатъ изъ Черныхъ-Хижинъ (Casae Nigrae), котораго Августинъ считалъ главнымъ виновникомъ схизмы. Это были люди неистовые, на все готовые, у которыхъ страсти, какъ у варваровъ, непосредственно переходили въ дѣйствія; это были бедуины, еще не переродившіеся ни подъ римской тогой, ни подъ расой христіанскаго епископа. Примѣромъ того можетъ служить упомянутый выше Пурпурій; его обвиняли въ томъ, что онъ лишилъ жизни въ темницѣ сыновей своей сестры; и когда его кто-то спросилъ,

правда ли это?—онъ отвѣтилъ: „Убилъ, какъ убью всякаго, кто пойдетъ противъ меня“.

Съ такимъ собраніемъ нельзя было придти къ соглашенію. По словамъ Оптата, Цециліанъ послалъ сказать нумидійцамъ, что если они признаютъ недѣйствительнымъ его рукоположеніе Феликсомъ, то пусть они считаютъ его еще діакonomъ и сами его рукоположатъ. Но нумидійцы объ этомъ и слышать не хотѣли, а Пурпурій съ обычной ему злобой воскликнулъ: „Пусть Цециліанъ придетъ сюда, мы такъ его рукоположимъ, что раздавимъ ему голову“. Если этотъ рассказъ исторически вѣренъ, онъ можетъ послужить подтвержденіемъ тому, что вопросъ о предательствѣ Феликса былъ поднятъ съ самаго начала. Какъ бы то ни было, соглашеніе не состоялось, и подъ вліяніемъ съѣзда нумидійскихъ епископовъ былъ избранъ и посвященъ въ епископы Кареагена чтецъ Маіоринъ, изъ „домашнихъ“, т.-е. изъ родни или друзей Луциллы. Вслѣдъ за христіанской общиной Кареагена раздвоилось и христіанское общество во всей римской Африкѣ; ея епископы, применивши къ тому или другому изъ кареагенскихъ соперниковъ, раздѣлились на два враждебныхъ лагеря; но при томъ во многихъ городахъ меньшинство, недовольное церковной политикой мѣстнаго епископа, выбирало себѣ другого епископа, такъ что почти повсюду возникали двѣ партіи, которыя враждовали за обладаніе церквей и церковныхъ имуществъ. Цециліанъ былъ признанъ, можетъ быть, еще до съѣзда нумидійцевъ, за-моремъ, въ Италіи и поддерживалъ связь съ заморской католической церковью. Но Маіоринъ и его приверженцы придавали этому мало значенія, находя, что и за-моремъ было много предателей; и когда Маіоринъ умеръ, его преемникъ, энергическій Донатъ (котораго, по указанію Августина, не слѣдуетъ отождествлять съ Донатомъ изъ Черныхъ-Хижинъ), сплотилъ приверженцевъ раскола въ непримиримую религіозную партію, извѣстную въ исторіи подъ его именемъ.

Въ то время, какъ въ Кареагенѣ разгорался расколъ между христіанами Африки, подъ стѣнами Рима рѣшался міровой вопросъ о положеніи самого христіанства въ имперіи. Въ 312 г. у мильвійскаго моста подъ Римомъ Константинъ одолѣлъ своего соперника Максенція, и его побѣда превратилась въ побѣду христіанства надъ язычествомъ. Новый римскій императоръ, между прочимъ, проявилъ большую щедрость по отношенію къ христіанамъ Африки. Къ нему и обратились донатисты съ просьбой разобрать ихъ дѣло на соборѣ въ Галліи, гдѣ не было преслѣдованій при Діоклеціанѣ, и потому между епископами не могло

быть „предателей“. Константинъ, однако, поручилъ разсмотрѣніе распри римскому епископу Мелхіаду на съѣздѣ, куда были приглашены какъ Цециліанъ, такъ и Маіоринъ съ десятью епископами отъ каждой стороны. Рѣшеніе Мелхіада (313) имѣло примирительный характеръ; онъ осудилъ лишь агитатора Доната изъ Черныхъ-Хижинъ и призналъ духовенство обѣихъ партій съ тѣмъ, чтобы тамъ, гдѣ было по два епископа, младшій долженъ былъ уступить мѣсто старшему. Противники Цециліана отвергли приговоръ римскаго епископа и потребовали новаго разбора дѣла. Чтобы ихъ успокоить, Константинъ велѣлъ нарядить мѣстное слѣдствіе надъ дѣйствіями Феликса, которое обнаружило его невиновность въ *выдачѣ*, и вмѣстѣ съ тѣмъ созвалъ новый соборъ въ Арлѣ, въ Галліи. И этотъ соборъ далъ возможность партіи Маіорина, такъ сказать, съ честью выйти изъ раскола. Онъ постановилъ, чтобы впредь духовныя лица, уличенныя *официальными* документами въ выдачу священнаго писанія, лишались своего сана,—но въ то же время призналъ участіе кого-либо изъ предателей въ посвященіи другого епископа недостаточной причиной, чтобы считать недействительнымъ рукоположеніе. Донатисты, однако, не подчинились и суду гальскихъ епископовъ, и это обстоятельство существенно измѣнило положеніе ихъ партіи. Личные вопросы, подавшіе поводъ къ расколу, отступили на задній планъ, и раздоръ среди африканскаго духовенства началъ принимать принципиальный характеръ. Донатисты стали настаивать на томъ, что духовенство должно состоять изъ людей чистыхъ, незапятнанныхъ, и отсюда выводить представленіе о церкви, какъ объ общинѣ *святыхъ*. Признавая себя представителями истинной церкви—въ противоположность партіи Цециліана,—донатисты, однако, не желали порывать связи со вселенской или каеолической церковью въ Италіи и на Востоцѣ, и потому продолжали искать опоры у императора. Константинъ, какъ представитель государственной и въ то время еще языческой власти, сначала отклонялъ отъ себя вмѣшательство въ христіанскій вопросъ, но, послѣ разныхъ колебаній и противорѣчивыхъ мѣръ, наконецъ осудилъ донатистовъ въ Миланѣ въ 316 г.

Донатисты отказались подчиниться приговору императора, какъ раньше они отвергли постановленія соборовъ въ Римѣ и Арлѣ, и такимъ образомъ вступили на путь *сепаратизма*, какъ церковнаго, такъ и политическаго. На этой почвѣ сталъ свободно проявляться и развиваться затаенный антагонизмъ между провинціей и имперіей, между либо-финикійской и латинской

расой и культурой. Если самый поводъ къ расколу—разногласіе при избраніи митрополита для Африки—обусловливался антагонизмомъ между Нумидіей и *проконсультской*, т.-е. старо-римской Африкой, то при открытой борьбѣ между католической и африканской церковью донатизмъ сталъ мѣстомъ сборища всѣхъ туземныхъ элементовъ, противившихся Риму и его цивилизаціи. На почвѣ религіозной это обнаружилось въ томъ значеніи, которое донатисты придавали мѣстному и расовому принципу. Донатистскіе богословы стали примѣнять къ своей сектѣ всѣ мѣста св. писанія, въ которыхъ они усматривали пророчество о совершившемся въ ихъ дни отступничествѣ большинства церквей отъ истинной вѣры и о правовѣрїи меньшинства, и относили къ Африкѣ слова *подемъ* въ Пѣснѣ Пѣсней, въ разговорѣ невѣсты съ женихомъ, т.-е. церкви съ Христомъ. Они даже утверждали, что Христу остались вѣрны лишь два языка—латинскій и пунійскій, такъ какъ, иронически объяснялъ Августинъ, донатистамъ извѣстны только эти два языка. Порвавъ съ приверженцами Цециліана, донатисты начали чуждаться всѣхъ другихъ церквей—гальской, римской, восточной—за то, что эти *заморскія церкви* сохранили общеніе съ предателями, и считать одну только африканскую церковь *непорочною*. На этой почвѣ расколъ скоро развился, по выраженію Августина, въ *ересь*, отрицающая значеніе таинства крещенія, совершеннаго порочнымъ или состоящимъ въ ереси пресвитеромъ.

Съ этой точки зрѣнія донатисты стали перекрещивать христіанъ, присоединившихся къ ихъ приходамъ. Такъ, африканскій сепаратизмъ получилъ свой религіозный *символъ*, свой *шуболетъ*, раздѣлившій въ каждой области и почти въ каждой африканской общинѣ христіанъ на два враждебныхъ лагеря. Но донатистское движеніе, начавшееся съ іерархическаго вопроса и перешедшее въ догматическую область, пошло еще дальше и захватило народныя массы. Въ этомъ вліяніи донатизма на низшіе слои африканскаго населенія, мало поддавшіеся латинской цивилизаціи, въ особенности ясно обнаружился мѣстный расовый характеръ этого движенія; здѣсь ярко проявилось, насколько оно было обусловлено особенностями міровоззрѣнія, культуры, обычаевъ и преданій мѣстнаго населенія, благодаря которымъ общее христіанское ученіе преломлялось здѣсь, какъ въ призмѣ, и утрачивало свое первоначальное единство и чистоту свѣта. Это проникновеніе донатизма въ сельское населеніе, въ особенности въ Нумидію, породило явленіе, извѣстное подъ названіемъ циркумцелліоновъ и выразившееся въ революціонномъ движеніи

большихъ массъ сельчанъ. Названіе „циркумцелліоновъ“ было дано имъ ихъ противниками за бродяжничество и обозначало людей, скитающихся по хижинамъ или хуторамъ сельчанъ. Сами же циркумцелліоны называли себя иначе,—*святими* и борцами противъ діавола (*agonistici*), т.-е. противъ идущаго отъ него зла. Чисто народный характеръ этого движенія обнаруживается уже въ туземномъ названіи его вождей—Аксида и Фазира. Каеолическій епископъ, сохранившій эти имена, рассказываетъ, что во время ихъ господства никто не былъ безопасенъ въ своемъ помѣстьѣ, росписки должниковъ утрачивали свою силу, никакой кредиторъ не смѣлъ требовать своего. Если же кто-либо медлил исполнять приказанія вождей святыхъ, на него налетала неожиданно толпа и заставляла умолять о пощадѣ. Даже проѣзжавшіе по дорогамъ не были безопасны,—ихъ стаскивали съ ихъ сѣдалищъ и заставляли по-холопски бѣжать пѣшкомъ; извращалось положеніе господъ и рабовъ.

Историки, занимавшіеся аграрнымъ вопросомъ и колонатомъ въ римской имперіи, воспользовались этимъ свидѣтельствомъ, чтобы приурочить движеніе циркумцелліоновъ къ крестьянскимъ возстаніямъ, происходившимъ въ IV вѣкѣ въ Галліи и Испаніи. Правда, какъ показываютъ надписи, и въ Африкѣ между помѣщиками и арендаторами императорскихъ имѣній съ одной стороны и земледѣльцами, колонами, съ другой—возникали споры, вызывавшіе указы императоровъ; а аналогія съ возстаніемъ крестьянъ въ Англіи при Виклефѣ и въ Германіи—при Лютерѣ даетъ поводъ думать, что и донатистская агитація могла породить движеніе противъ помѣщиковъ и владѣльцевъ арендныхъ договоровъ. Но если это и было такъ, то не въ этой аграрной или соціальной сторонѣ его нужно видѣть сущность движенія циркумцелліоновъ; и если они подъ предводительствомъ Аксида и Фазира и принимались исправлять житейскія отношенія между помѣщиками и ихъ должниками,—то движеніе это скоро утратило характеръ крестьянской расправы или бунта, а превратилось въ хроническое явленіе. Характеристичной чертой циркумцелліоновъ въ теченіе всего времени ихъ существованія нужно считать соединеніе аскетическаго начала съ бродяжничествомъ. Они бросали свои сельскія занятія и, побираясь по деревнямъ и хуторамъ, жили подаяніемъ; но, въ противоположность монахамъ, т.-е. отшельникамъ, съ которыми враждовали, они бродили толпами, вооруженные дубинами, называвшимися у нихъ *изразями*, готовые напасть на враговъ Господа, котораго они вездѣ славили; „Богу слава“—*Deo laudes*—стало боевымъ кликомъ ихъ,

грознымъ признакомъ ихъ появленія. Толпы эти бродили нерѣдко въ сопровожденіи такихъ же бродячихъ женщинъ. Противники постоянно попрекали ихъ этимъ и совѣстнымъ пьянствомъ. Насколько эти упреки были справедливы—трудно сказать; обыкновенно въ такихъ случаяхъ бываетъ преувеличеніе; весьма вѣроятно, что языческія тризны, справлявшіяся африканскими христіанами на могилахъ мучениковъ, подавали къ этому поводъ. Другой чертой этого бродячаго, нищенствующаго монашества,—болѣе подходящаго на дервишей, которые всегда процвѣтали на африканской почвѣ, чѣмъ на христіанское иночество,—является ихъ *двоевѣріе*. Конечно, въ эпоху перехода язычества въ христіанство такое двоевѣріе вездѣ встрѣчалось, особенно въ сельскомъ населеніи,—но двоевѣріе африканцевъ особенно подчеркивается еще Сальвианомъ, писателемъ V-го вѣка. Этотъ пресвитеръ прямо обвиняетъ африканцевъ въ томъ, что они, называя себя христіанами, продолжаютъ поклоняться Целестѣ, карагенской богинѣ; что подходятъ къ алтарю Христа, принося съ собою запахъ языческихъ жертвоприношеній. Это свое двоевѣріе циркумцелліоны внесли также въ специально-христіанское представленіе о мученичествѣ, которое они страннымъ образомъ сочетали съ языческимъ обычаемъ поминокъ на могилахъ предковъ или *манъ*. Подъ вліяніемъ жестокихъ преслѣдованій культъ мучениковъ необычайно развился въ Африкѣ, и мы видѣли, что разногласіе по этому случаю послужило даже однимъ изъ поводовъ къ возникновенію донатистской распри. Около многочисленныхъ могилъ обще-христіанскихъ и своихъ мучениковъ и собирались циркумцелліоны, справляя по нимъ тризну, причемъ надгробныя плиты могилъ служили имъ столами и алтарями. Эти *выбѣленные алтари* или *стола*, объясняя намъ „повапленные гробы“ Евангелія, указываютъ на древній національно-семитическій обычай, перенесенный пунійцами въ Африку. Но культъ мучениковъ, сливаясь съ аскетическимъ началомъ, принялъ среди африканскихъ христіанъ, подъ вліяніемъ родной, языческой религіи, еще другую, уродливую форму. Въ сердцахъ африканскихъ христіанъ жила не только небесная богиня, Астарты, но и карагенскій Молохъ, требовавшій человѣческихъ жертвъ. На этой почвѣ почитаніе мучениковъ извратилось въ почитаніе мученичества, и послѣдней оригинальной чертой циркумцелліоновъ, а отчасти и вообще донатистовъ, является искаженіе мученичества. Опьяненные религіознымъ экстазомъ, а иногда, можетъ быть, послѣ совершенія тризны, опьяненные и въ буквальномъ смыслѣ этого слова, какъ утверждали ихъ противники,—

циркумцелліоны искали смерти; то они бросались со скалы, то нападали на вооруженных людей; то умоляли мирных путников покончить съ ними. А въ то время, когда еще совершались въ Африкѣ языческія жертвы, циркумцелліоны нападали на собравшуюся вокругъ жертвоприношенія толпу, и „языческіе юноши“, отбивая нападеніе, захваченныхъ въ плѣнъ приносили въ жертву своему идолу, такъ что, по ироническому замѣчанію Августина, одна и та же жертва приносилась демону и, съ точки зрѣнія самой жертвы, Христу,—поразительный образецъ переживанія язычества въ христіанствѣ!

При возникновеніи циркумцелліоновъ, направленные противъ господъ насилія ихъ были въ тягость самимъ донатистамъ, и ихъ епископы обращались къ римскому главнокомандующему (comes) Таурину съ жалобой, что „этого рода люди“ не поддаются церковному исправленію и подлежатъ карѣ съ его стороны. Тауринъ послалъ войско по „рынкамъ“ и мѣстечкамъ, гдѣ проявлялись буйства циркумцелліоновъ; многіе изъ послѣднихъ были убиты, другіе обезглавлены, и эти жертвы можно было перечислить еще много времени спустя по *повапленнымъ* алтарямъ или плитамъ на ихъ могилахъ.

Но затѣмъ оба теченія въ донатизмѣ, верхнее и нижнее, соединились подъ гнетомъ общаго врага. Полнаго сліянія и тутъ еще не произошло: и въ самомъ лагерѣ донатистовъ мы можемъ отмѣтить тотъ дуализмъ, который вездѣ проявляется въ римской Африкѣ. Верхній слой донатистовъ состоялъ преимущественно изъ городского населенія, болѣе проникнутаго латинской культурой, своимъ латинскимъ образованіемъ отдѣлявшагося отъ массы пунійскаго сельскаго населенія. Мы знаемъ, наприм., что многимъ донатистскимъ епископамъ приходилось увѣщевать толпы циркумцелліоновъ съ помощью пунійскихъ толмачей. Но всякая рознь между ними исчезала въ борьбѣ съ общимъ врагомъ.

Желая установить единство вѣры въ Африкѣ, императоръ Констанцій отправилъ туда, въ 347 г., двухъ уполномоченныхъ, Павла и Макарія, снабдивъ ихъ большими денежными средствами. Они должны были стараться, посредствомъ царскихъ пособій разореннымъ церквямъ и царской милостыни бѣднымъ, привлечь донатистовъ къ вселенской церкви. Но византійскіе придворные были приняты донатистами недружелюбно. Глава ихъ, кареагенскій Донатъ, встрѣтилъ уполномоченныхъ императора знаменитымъ вопросомъ: „Какое дѣло императору до церкви?“ Донатисты стали вездѣ отказываться отъ царскихъ щедротъ, и когда Павелъ и Макарій проникли въ глубь Нумидіи, Донатъ,

епископъ багайскій, поднялъ противъ нихъ окрестныхъ циркум-целліоновъ. Тогда полилась кровь; милость обратилась въ гнѣвъ; посольство мира кончилось гоненіемъ, и „работники единенія“ (*organi unitatis*), какъ прозвали Павла и Макарія, оставили по себѣ тяжелую память. Донатисты съ тѣхъ поръ называли каеолическую церковь *макарьевскою*. Городъ Багаи былъ взятъ приступомъ, а его епископъ повергнутъ въ колодезь; противники донатистовъ утверждали, что онъ самъ туда бросился; Донатъ карфагенскій умеръ въ изгнаніи. Донатисты притихли, но когда, въ 361 г., вступилъ на престолъ Юліанъ, отмѣнившій законы противъ язычниковъ и еретиковъ, донатисты оказались въ прежней силѣ. Во многихъ мѣстностяхъ, особенно въ Нумидіи, они рѣшительно преобладали. Однако, благопріятная для донатистовъ пора быстро миновала. Подъ вліяніемъ христіанской реакціи, наступившей по смерти Юліана, началась эпоха систематическаго гоненія. Храбрый солдатъ на престолѣ, Валентиніанъ I, открываетъ собою новую эру принудительныхъ законовъ, издаваемыхъ по церковнымъ дѣламъ. Его эдиктъ 373 г. грозитъ лишеніемъ сана священнику, который совершитъ вторичное крещеніе. Его сынъ, Граціанъ, отбираетъ церкви у еретиковъ, а имъ самимъ запрещаетъ собираться для богослуженія подъ угрозой конфискаціи зданій и имѣній, гдѣ происходили такіа соборіи. Названіе „еретиковъ“ могло быть примѣняемо и къ донатистамъ. А въ 392 г. другой возведенный на престолъ генералъ, Θεодосій I, устанавливаетъ кровавой солдатской расправой единство вѣры въ своей столицѣ и издаетъ общій законъ, подвѣргающій еретиковъ пенѣ въ 10 ф. золота.

За годъ предъ тѣмъ въ Гиппонѣ принялъ священство Августинъ, и съ его вступленіемъ въ борьбу противъ донатизма эта борьба получаетъ общій интересъ и міровое значеніе. Наряду съ безпощаднымъ преемникомъ римскихъ консуловъ становится вдохновенный пророкъ; то, чего не добился воинскій мечъ, задумалъ совершить христіанскій епископъ силою своего краснорѣчія и того религіознаго идеала, въ который онъ самъ только-что увѣровалъ, со всей страстностью своей пламенной души.

В. ГЕРЬЕ.



ОДНОКУРСНИКИ

ПОВѢСТЬ.

I.

Яркій сентябрьскій день обливалъ веселымъ свѣтомъ площадь, гдѣ скошенная пирамида часовни стоитъ на перекрестѣ отъ Моховой къ Охотному ряду.

Въ воздухѣ разлитъ запахъ ядренныхъ яблоковъ. Онъ шелъ отъ Охотнаго. И глазомъ можно схватить рядъ столовъ съ горками фруктовъ, крымскихъ грушъ, антоновки, виноградныхъ кистей, арбузовъ, лимоновъ, кровавокрасныхъ помидоровъ.

Оттуда же доносится гулъ торго у столовъ, на троттуарѣ съ влажными, повосившимися плитами.

Трескъ дрожекъ, вверхъ и внизъ по Тверской и по Охотному, и въ сторону Моховой, ни на минуту не смолкаетъ.

По троттуару отъ университетскихъ зданій — взадь и впередъ — то-и-дѣло мелькаютъ синіе околыши фуражекъ. Это движеніе молодежи увеличивается каждый часъ, немного раньше и тотчасъ послѣ перемѣны въ аудиторіяхъ Новаго Университета.

На Кремлевской башнѣ пробило половину двѣнадцатаго.

По тому же троттуару, отъ ректорскаго дома къ церкви, выкрашенной въ краснобурюю краску, шелъ студентъ, съ поношеннымъ пальто въ накилку, рослый, худой брюнетъ, въ бордѣ; на видъ сильно за двадцать. На крупномъ носѣ неловко сидѣли очки. Волосы онъ запустилъ довольно длинные. Цвѣтъ околыша фуражки и воротника показывалъ, что онъ донашиваетъ свое платье. И сюртукъ, и пальто были подъ стать цвѣту голубого сукна.

Онъ шелъ медленно, оглядывалъ улицу, смотрѣлъ и вдаль, на Охотный,—и его продолговатое, загорѣлое, умное лицо улыбалось и сѣрыми большими глазами, и такимъ же большимъ, свѣжимъ ртомъ.

Чувствовалось, что онъ идетъ не съ лекціи, что у него нѣтъ никакой „спѣшки“.

Все его лицо говорило какъ будто о томъ—какъ ему пріятно очутиться опять въ Москвѣ, на Моховой, въ томъ студенческомъ царствѣ, которое придаетъ этой части города такой особенный характеръ.

Ему попадались студентики-новички. И онъ, улыбаясь, смотрѣлъ на ихъ форму, съ иголки, и ярко блестящія на солнцѣ козырьки и позолоченныя пуговицы. Ихъ безусые и безбородыя юныя лица, со свѣжими щеками, особенной ясностью глазъ и немного забавной серьезностью всей поведки—тѣшили и трогали его.

И онъ былъ такимъ же пять лѣтъ назадъ.

Его подмывало остановить такого юнца и заговорить съ нимъ такъ, ни съ того, ни съ сего, узнать, откуда онъ, на какой факультетъ поступилъ и гдѣ устроился квартирой.

Онъ, мысленно, давалъ имъ отмѣтки:

„Этотъ—изъ провинціи, а тотъ вонъ—здѣшній гимназистъ, а вотъ этотъ навѣрно—хватъ-лицейстъ“.

Онъ слышалъ обрывки разговоровъ:

— Завтра Римское въ десять!

— Ты куда закатишься?

— Мы въ Малый.

— А мы въ Каретный рядъ!

— „Царя Ѳедора“ не видалъ еще?

Все такъ же, какъ и въ его время. Когда ввалишься сюда „изъ губерніи“—сейчасъ же потянетъ въ театръ—вонъ туда, на площадь, въ то некрасивое, приземистое зданіе, безъ фасада, противъ гостиницы „Метрополь“, съ невзрачнымъ подъѣздомъ. Оно повито именами Щепкина, Мочалова, Садовскаго, Шумскаго. Послѣдній полтинникъ идетъ туда, особенно на первыхъ порахъ, съ художественнаго голода глухого губернскаго города, гдѣ нѣтъ даже постоянной труппы.

И имъ теперь все это въ диковинку. Да и аудиторія какъ дѣйствуетъ на первыхъ порахъ!..

„Даже и теперешняя!“—прибавилъ онъ мысленно.

Все равно—что бы они ни нашли въ этихъ старыхъ залахъ, уже тѣсныхъ для такой „уимы“ студенчества—крылатыя слова или мертвечину, самобытныя идеи или параграфы учебниковъ—

нужды нѣтъ!—они тутъ только страхнуть съ себя ненавистную узду гимназической муштры, здѣсь только почуютъ себя въ огромной семьѣ сверстниковъ, здѣсь только будутъ знать — за чтѣ стоять, чего ждать отъ жизни, кто другъ, кто врагъ; здѣсь только идейныя теченія захватятъ ихъ и потребуютъ не однихъ словъ, а и личной расплаты...

Ничего! Пускай немного поплатятся, — только бы не совсѣмъ искалечить свою жизнь.

Онъ поправилъ рукой полу своего старенькаго пальто и покосился на рядъ пуговицъ, давно поблеклыхъ.

Ему какъ бы не вѣрилось, что онъ опять принять въ студенты, опять въ Москвѣ, и будетъ ходить въ то зданіе, откуда вышелъ пять минутъ назадъ, и можетъ, въ концѣ года, приступить къ государственному экзамену.

Кто знаетъ!.. Можетъ быть, и опять на чѣмъ-нибудь „сковырнется“.

Отвѣчать за себя — трудно. И еслибъ для вторичнаго принятія въ студенты требовалась торжественная клятва — онъ бы не далъ ея.

Но все равно!

Онъ — „великовозрастный“ студентъ, Иванъ Заплатинъ — опять здѣсь, и вотъ поднимается по Тверской къ бульвару, гдѣ завернетъ въ студенческій ресторанъ, на углу Бронной. Можетъ, кого-нибудь и встрѣтитъ изъ своихъ однокурсниковъ.

Врядъ ли—сегодня! Здѣшніе, московскіе—кто на службѣ—чинушемъ, или адвокатомъ, а кто уѣхалъ въ провинцію. Человѣка два-три пошли по ученой части. Но и такихъ, какъ онъ — оказалось не мало, которыхъ „водворяли на мѣсто ихъ родины“.

И его водворили въ уѣздный городокъ, на Волгѣ, гдѣ онъ просидѣлъ больше года.

Онъ не сожалѣетъ. Много онъ кое-чего узналъ въ это небольшое сидѣнье, вошелъ въ жизнь своей родной „палестины“, побѣдилъ и по уѣзду, попадалъ въ лѣсныя трущобы, присматривался къ расколу, „бѣгалъ“ на пароходахъ вверхъ и внизъ — разумѣется, все это, болѣе или менѣе, контрабандой. Надзоръ былъ не особенно строгій. Запретъ лежалъ только вотъ на этомъ городѣ, куда его опять стало тянуть, на Моховую.

Раньше—онъ мало зналъ свои родныя мѣста. Гимназистомъ пріѣзжалъ только на вакаціи; да и то въ старшихъ классахъ бралъ кондиціи, готовилъ разныхъ барчагъ въ юнкерское училище или подвигивалъ ихъ насчетъ древнихъ языковъ и мате-

матери. Студентомъ на зимнія вакаціи не ѣздилъ, а лѣтомъ также бралъ кондиціи, въ послѣдніе два года, когда, послѣ смерти отца, надо было прикончить дѣло, которымъ держались ихъ достатки.

По отцу онъ купческаго сословія; а мать—дочь чиновника, попавшаго въ ихъ городъ, въ родѣ какъ „штрафнымъ“, изъ некончившихъ курсъ студентовъ. Въ ихъ городѣ онъ и пробивался кое-чѣмъ, больше по статистикѣ, умеръ рано, дочь осталась сиротой, и отецъ его взялъ ее „по любви“.

У отца было небольшое канатное заведеніе — изъ рода въ родъ. Кое-какъ оно держалось; а когда онъ умеръ — оказались долги, и заведеніе продали для покрытія ихъ.

Остался домикъ, въ два этажа, полудеревянный, полукаменный. Верхнее жилье отдается въ наймы. Съ этого мать его и живетъ.

Ему бы надо было поступить въ реальное училище, а потомъ идти въ техники или путейцы, а то такъ прямо въ рядчики или въ конторщики на пароходную пристань.

А въ немъ не то бродило. Должно быть, „атавизмъ“ — отъ дѣда со стороны матери. О гимназіи онъ, еще „карапузикомъ“, началъ мечтать и даже просилъ взять ему репетитора—дьякона въ соборѣ, чтобы подготовить къ классической муштрѣ.

Родомъ онъ волжскій обыватель, изъ мужиковъ; только дѣдъ приписался къ третьей гильдіи, — и лицо у него бытовое, въ отца, а душа вышла не купческая и не чиновничья, и не дворянская, а „общерусская“, какъ онъ самъ называлъ.

Не кичится онъ тѣмъ, что принадлежитъ къ „интеллигенціи“; но и не огорчается тѣмъ, что университетъ далъ ему такую „осѣчку“; не жалѣетъ и о томъ, что не готовилъ себя въ люди практическаго дѣла, не обезпечилъ себѣ никакого техническаго заработка.

По собственному выбору поступилъ онъ на юридическій факультетъ, не смущаясь тѣмъ, что и безъ него слишкомъ много народу накидывается на то же.

Ученаго призванія онъ въ себѣ не признавалъ, а учительствовать—классикомъ или преподавателемъ математики—однаково не манило его. Не хотѣлъ онъ превращаться въ одного изъ тѣхъ „исваріотовъ“, какими угостила и его гимназія.

Ничего не было выше, для него, науки объ обществѣ, о его нуждахъ и запросахъ, о тѣхъ законахъ развитія, въ которыхъ потребности ведутъ къ выработкѣ всего, чѣмъ красится и выпящается жизнь.

А чѣмъ онъ будетъ жить, когда простится съ „alma mater“ — онъ и теперь не очень-то много думаетъ.

Сколько онъ наслушался и тамъ, на родинѣ, во время подневольнаго пребыванія въ своемъ приволжскомъ городѣ, нынѣшнихъ возгласовъ:

„Не нужно намъ умственного пролетаріата! Слишкомъ много шатается по Руси всѣхъ этихъ умниковъ, ни на какое настоящее дѣло не пригодныхъ!“

Слова: „интеллигенція“ и „интеллигентъ“ — произносятся съ особымъ выраженіемъ, почти какъ смѣхотворныя прозвища.

А ему они до сихъ поръ дороги. Нужды нѣтъ, что они передѣланы съ иностраннаго. Безъ нихъ, небось, никакой разговоръ не ведется.

Не станетъ онъ самъ себя величать: „я интеллигентъ“; но не будь онъ изъ этого „сословія“, — что бы въ немъ сидѣло? Какіе устои? Какія идеи и упованія?

Не смущаетъ его то, что теперь и у насъ, и въ Европѣ, въ такой передовой странѣ, какъ Франція, раздаются такіе же голоса.

И тамъ кличка „intellectuel“ — бранное прозвище. Но для кого? Для реакціонеровъ-націоналистовъ, для тѣхъ, кто съ пѣной у рта оплевывалъ лучшихъ людей Франціи, кто цинически ликовалъ при вторичномъ незаконномъ приговорѣ надъ невиннымъ, потому что онъ — „жидъ“.

Здѣсь, вотъ въ этой Москвѣ, куда онъ опять попалъ, какъ въ землю обѣтованную, — сталъ онъ „интеллигентомъ“ и останется имъ до конца дней своихъ.

Что нужды, что эта „первопрестольная“ — какъ и въ третьемъ году, какъ и пять лѣтъ назадъ, когда онъ впервые попалъ сюда — все такая же всероссійская ярмарка. Куда ни взгляни, все торгъ, лабазъ, виноторговля, мануфактурный товаръ, „амбары“ и конторы, и цѣлый „городъ“ въ городѣ, гдѣ круглый годъ идетъ сутолова барышничества на рубли и на милліоны рублей.

А для него и для сотенъ такихъ, какъ онъ, этотъ всероссійскій городъ — очагъ духовной жизни. Здѣсь стали они любить науку, общественную правду, понимать красоту во всѣхъ видахъ творчества, распознавать: кто другъ, кто врагъ того, изъ-за чего только и стоить жить на свѣтѣ.

Вотъ тамъ, у Воскресенскихъ воротъ, въ темно-кирпичномъ зданіи, гдѣ аудиторія на тысячу человѣкъ, на одной публичной лекціи — онъ только-что поступилъ въ студенты — его охватило впервые чувство духовной связи со всей массой слушателей —

мужчинъ и женщинъ, молодежи и пожилыхъ людей, когда вся аудитория, взволнованная и увлеченная, захопала лектору.

Тутъ собралась вся та Москва, что стала ему дорога, какъ настоящая духовная родина. Пускай въ ней не сто тысячъ народу, пускай она составляетъ малый процентъ миллионнаго населенія; но безъ нея здѣсь царилъ бы „чумазый“.

Какъ человѣкъ купческаго рода—сколько разъ онъ спрашивалъ себя: будутъ ли „ихъ степенства“ владѣть и той Москвой, которая дорога ему, а потомъ и всей русской землей—какъ „тверсь-эта“, какъ третій „чинъ“ государства, выражаясь по нынѣшнему?

Какъ разъ мимо него прокатилъ на низенькой, открытой пролеткѣ, съ загнутыми крыльями, на резинахъ, такой вотъ будущій единовластный обладатель Москвы, по всѣмъ признакамъ „ихъ степенство“—круглый, гладкій, въ свѣтломъ пальто и лоснящемся цилиндрѣ, на призовомъ жеребцѣ.

И ему показалось даже, что онъ гдѣ-то встрѣчалъ этого молодого коммерсанта—только не могъ сейчасъ же вспомнить—гдѣ именно.

Пускай! У нихъ капиталъ, въ ихъ рукахъ сотни тысячъ рабочихъ, они наживаютъ по пятидесяти процентовъ чистой прибыли на мануфактурахъ и оптовыхъ складахъ. Но и они уже въ выучкѣ у интеллигенціи.

Вонъ тамъ, въ Замоскворѣчьи, купецъ завѣщаль городу первое хранилище русскаго искусства, какого нѣкто еще не собиралъ съ такой упорной любовью. А на Дѣвичьемъ-Полѣ цѣлый городокъ выстроенъ на деньги „ихъ степенствъ“.

И тутъ же вдругъ вспомнилъ онъ фамилію того молодого купца, въ свѣтломъ пальто, что прокатилъ внизъ по Тверской. Онъ—богатѣйшій мануфактуристъ; но у него страсть къ любительству. Съ нимъ они познакомились въ одномъ кружкѣ. Онъ—комикъ; и спать, и видѣть, какъ бы ему завести собственный театръ.

Барыши его уже не тѣшатъ. „Пунцовый товаръ“—для него „рукомесло“, а не жизнь. Живетъ онъ только въ театрѣ, влюбленъ въ кулисы, въ игру, мечтаетъ со временемъ создать такой „храмъ музъ“, какого не бывало еще ни у насъ, ни на Западѣ.

И такъ пойдетъ жизнь дальше. Кубышка поступитъ на службу интеллигенціи—въ этомъ онъ, Иванъ Заплатинъ, купеческій сынъ по третьей гильдіи—глубочайшимъ образомъ убѣжденъ.

Въ такихъ-то думахъ поднимался онъ на взлобокъ Тверской. Вотъ и новое Инженерное училище, гдѣ бы ему слѣдовало

быть, еслибъ онъ слушался умныхъ людей; а не былъ ни на что непригоднымъ интеллигентомъ.

Сейчасъ площадь—съ памятникомъ великаго поэта.

Точно въ первый разъ глядитъ онъ на бронзовую фигуру, съ курчавой, обнаженной головой, склоненной нѣсколько на бокъ. И сколько воспоминаній нахлынуло изъ самаго недавняго прошлаго! Давно ли чествовали столѣтнюю годовщину пѣвца „Онѣгина“ и „Мѣднаго Всадника“? А то, первое торжество, когда отрывали памятникъ и вся грамотная Россія вздрогнула отъ наплыва высшей радости! И тѣ, кто говорилъ въ великіе пушкинскіе дни—уже тѣни... Ему ихъ никогда не видать.

Вокругъ памятника разсѣлось много народа: няньки съ дѣтьми, мастеровые, старушки, студенты и молодыя женщины, въ кофточкахъ и платочкахъ, все такъ же, какъ и прежде.

Ему припомнилась цѣлая сцена. Подальше, на той площади, гдѣ кофейная, сидѣла большая компанія студентовъ. Дѣло было весной, передъ экзаменами.

Давно повелось—у нѣкоторыхъ шатуновъ бульвара—приставать, подъ вечеръ, ко всѣмъ молодымъ женщинамъ. Это его всегда возмущало. Онъ не вытерпѣлъ и далъ окрикъ на цѣлую кучку товарищей. Его хотѣли поднять на смѣхъ; но онъ себя не помнилъ, весь дрожалъ отъ возбужденнаго чувства. Тѣ постыжили и даже удалились.

Случилось это во второй годъ его студенчества.

II.

„Онъ, онъ“! — вскричалъ Заплатинъ мысленно, остановился и еще разъ поглядѣлъ впередъ.

— Наверно! — выговорилъ онъ вслухъ и прямо подошелъ къ молодому мужчине, который, идя ему на встрѣчу, держался лѣвѣе, около боковой аллеи.

— Кантаковъ,—здравствуйте! Иль не узнали?

— А вѣдь и то не сразу! Заплатинъ!

— Онъ самый.

Они поцѣловались.

Тотъ, кого Заплатинъ окликнулъ Кантаковымъ—былъ почти такого же роста и такой же худощавый, но старше, лицо загорѣлое, съ свѣтлорусой бородой. Одѣтъ точно по дорожному: большіе сапоги и куртка изъ толстаго сѣроватаго драпа; на головѣ мягкая, поярковая, помятая шляпочка.

Лицо его скрашивали каріе глаза, слегка прищуренные. Онъ немного гнулся, руки его часто приходили въ движеніе, и бровями онъ поводилъ, какъ только оживлялся въ разговорѣ. Голосъ его чуть-чуть вздрагивалъ, теноровый, пріятный, съ легкой картавостью.

— Опять въ Москвѣ... и въ формѣ?—спросилъ онъ Заплатина, все еще держа его за руку.

— Какъ видите!

Они были пріятельски знакомы передъ „удаленіемъ“ Заплатина, но не на-„ты“. Кантаковъ уже два года, какъ кончилъ курсъ.

Онъ долго считался „вожакомъ“ между юристами, сталъ славиться краснорѣчіемъ на сходкахъ и тотчасъ же пошелъ по адвокатурѣ. Его имя уже попадалось Заплатину въ газетныхъ отчетахъ.

— Значитъ... допущены до окончанія курса?

— Допущенъ.

— Небось рады?

— Не скрываю, Кантаковъ! Очень стосковался по Москвѣ... И вотъ какая мнѣ удача—сейчасъ же повстрѣчалъ васъ. Не хотите ли присѣсть... хоть на минуточку... Вамъ не большая спѣшка?

— Присядемъ, присядемъ... выкурю одну папироску. Вы, собственно, куда пробирались, Заплатинъ?

— Закусить... въ нашъ Капернаумъ.

— Въ какой? Въ „Интернаціональный“?

— Пожалуй, хоть и туда.

Кантаковъ вытянулъ часы изъ-подъ своей куртки и посмотрѣлъ.

— У меня есть еще малая толика времени. Мнѣ и самому что-то подвело животъ... раньше положеннаго срока. Посидимъ маленько, и туда!.. Тамъ еще потолкуемъ.

— Вы не на охоту ли собрались?—спросилъ Заплатинъ, оглянувъ костюмъ Кантакова.

— Ха, ха! Вы думаете, это у меня охотничья сбруя?

Пріятель спѣшно закурилъ папиросу.

— Нѣтъ, это дорожная моя форма. Я вѣдь сегодня утромъ... ввалился въ Москву... оттуда!—онъ указалъ рукой вправо.—И вчера еще трусилъ на перекладныхъ. Тамъ не такая погода, какъ здѣсь. Вездѣ грязь—непролазная.

— Защищать ѣздили?

— Это еще впереди. А для знакомства съ кліентами.

— Мужички?

— Фабричные.

— Вы... никакъ недавно защищали?.. Я читалъ.

— Какъ же! Про меня толкуютъ, видите ли, что я въ Гамбетты лѣзу... ха, ха!.. Специальность себѣ сдѣлалъ изъ фабричныхъ беспорядковъ.

— Правда это?

— Правда-то правда; но съ моей стороны тутъ умысла, первоначала, никакого не было.

Кантаковъ сильно затынулся и выпустилъ длинную струю дыма.

У его собесѣдника было особенное настроеніе. Что-то опять пріятно щекотало въ груди отъ этой встрѣчи съ такимъ даровитымъ и сильнымъ малымъ, какъ этотъ Сергѣй Кантаковъ. Что-то было въ его тонѣ, голосѣ, минахъ и движеніяхъ подмывательное и бодрящее.

— Лихая оѣда—начало, Заплатинъ. Попали на зарубку—и пошло! Первая моя защита, въ этомъ вкусѣ, подвернулась случайно. Уступилъ мнѣ ее мой принципалъ, у котораго я въ помощникахъ.

— Тоже стачка?

— Какъ же... Пустышное, въ сущности, дѣло.

— На какой фабрикѣ?

— На прядильной мануфактурѣ—какъ водится. Нашъ Манчестеръ... Ихъ степенства—разумѣется, испужались. Сейчасъ въ губернію... команду! Все—честь-честью! Буйства никакого. Ни погрома, ни хищенія... а только оказательство, и довольно толковое,—значить, съ уговоромъ, а главное—сѣпомъ!

— Удалось обѣлить?

— Не всѣхъ, но почти-что всѣхъ. Наказаніе—больше для прилики... Съ этого и началось. А потомъ—зима такая выдалась. Нѣсколько было „волненій“, выражаясь газетнымъ жаргономъ,—и все въ одномъ районѣ.

— Вы и втянулись? Еще бы! Дѣло живое!

— Палатъ каменныхъ на такихъ процессахъ не построишь. А теперь ужъ и тянетъ. Жалко народъ. Да и совсѣмъ новый для меня міръ открывается. Есть, я вамъ скажу, курьезные типы. И умственность у нѣкоторыхъ замѣчательная, особенно у молодыхъ, которымъ не больше тридцати лѣтъ. Это совсѣмъ другая полоса пошла.

— Четвертое сословіе!—вставилъ Заплатинъ.

Кантаковъ прищурился на него и повелъ своимъ подвижнымъ, нервнымъ ртомъ.

— Вы, дружище, зашибаетесь?—шутливо спросилъ онъ.

— Чѣмъ, Сергѣй Павловичъ?

— Да насчетъ этого самаго экономическаго матеріализма?

Заплатинъ поглядѣлъ въ сторону—на проходившихъ мимо, вверхъ и внизъ, по главной аллеѣ бульвара.

— Ха, ха!—тихо разсмѣялся Кантаковъ.—Опаску имѣете? Должно быть, тамъ васъ доѣзжали соглядатаи?.. На родномъ-то пепелищѣ?

Щеки Заплатина быстро порозовѣли. Ему стало немного обидно—точно онъ, и въ самомъ дѣлѣ, трусомъ сталъ. А онъ не сразу отвѣтилъ, потому что и самъ еще не вполне разобрался въ этомъ теченіи.

Но Кантаковъ не такой парень, чтобы пожелалъ его обидѣть или на смѣхъ поднять.

— Соглядатаи, вы говорите, Сергѣй Павловичъ?.. Нѣтъ, настоящаго надзора не было. Такъ, больше для проформы. Но обыватели—лютые. Какая-то хлѣстная корреспонденція явилась въ одномъ московскомъ листѣ съ обнаженіемъ разныхъ провинностей и шалѣшекъ. Поднялся гвалтъ на весь уѣздъ... Корреспонденція безъ подписи. Кто сочинилъ? Извѣстно кто—штрафной студентъ. И начался всеобщій дозоръ... Даже до курьёзовъ доходило! Мнѣ-то съ пола-горя; а матушекъ было довольно-таки неприятно.

— У васъ вѣдь отецъ умеръ?

— Давно ужъ.

Заплатинъ ближе подсѣлъ къ Кантакову.

— Вы меня вашимъ вопросомъ не то что озадачили... Теперь онъ—самая обыкновенная вещь. Только объ этомъ надо бы пообширнѣе потолковать. Вы здѣсь все время были и столько народу знаете всякаго. Навѣрно, и съ нашей братіей прежнихъ связей не разрывали.

— Дѣла анаѣемски много. Рѣдко съ кѣмъ видишься.

— Все-таки... Желалось бы имѣть вашу опѣнку того, что случилось съ тѣхъ поръ, какъ насъ расселили по весямъ российской имперіи. Вы покурили. Не айда ли въ „Интернаціональный“?

Тутъ только собесѣдникъ студента замѣтилъ, что онъ не курить.

— Вы развѣ по толстовскому согласію?—спросилъ онъ, указывая на окуркъ папиросы, который тотчасъ же и бросилъ на землю.

— Нѣтъ, этимъ не зашибаюсь. А никогда не былъ курильщикомъ, какъ слѣдуетъ; и вотъ уже больше двухъ лѣтъ и со-всѣмъ бросилъ.

— Добродѣтельно!

Они разомъ снялись съ своихъ мѣстъ и пересѣли ахлеу.

Они сидѣли за столикомъ, другъ противъ друга. Оба заказали по одной порціи какой-то кавказской ѣды и бутылку пива.

Непокрытыми—головы ихъ были выразительнѣе: у Заплатина густые и волнистые волосы заходили на лобъ; Кантавовъ остригся подъ гребенку, и очертанія очень круглаго черепа выступали отчетливѣе, съ впадинами на вискахъ.

Онъ опять уже курилъ, положивъ оба локтя на столъ, и его рѣчь текла быстро, слова какъ бы догоняли мысль и мимика лица безпрестанно мѣнялась.

— Стаднаго много во всемъ этомъ,—говорилъ онъ довольно громко;—больше моды, чѣмъ настоящаго убѣжденія. Знаете, дружище, это все равно, какъ лѣтъ сорокъ назадъ, когда стали на Дарвина молиться. Насъ съ вами на свѣтѣ тогда еще не было. Но умные старички рассказываютъ, которыхъ нельзя заподозрить въ обскурантизмъ... И тогда юнцы до безчувствія повторяли: „человѣкъ—червякъ“.

— Ха, ха! Даже и не обезьяна?

— Нѣтъ, такая ужъ была формула: „человѣкъ—червякъ“! И никакихъ другихъ разговоровъ. Такъ и теперь. Я не говорю про всѣхъ. Не похаю и того, что стали въ самую суть вдумываться, доходить до корня въ социальныхъ вопросахъ, не повторяютъ прежнихъ слащавыхъ фразъ...

— Насчетъ чего?—остановилъ Заплатинъ, жадно слушавшій.
—Насчетъ народа и деревни?

— Перепустили и тутъ мѣру. Вы вѣдь, небось, читаете?—Тамъ, въ Питерѣ, произошло нѣкоторое если и не примиреніе вплотную, то признаніе того, что и семидесятниковъ нельзя было такъ травить.

— Я это всегда говорилъ, Сергѣй Павловичъ! И сколько окриковъ на меня было! Разъ чуть не выгнали изъ одного синедриона. Честное слово!

— Вѣрю. Теперь полегче. И я той вѣры, что соглашеніе состоится не сегодня, такъ завтра. Главное дѣло: знанія нѣтъ жизненнаго, изъ первыхъ рукъ. Я кое-кому, изъ самыхъ заядлыхъ, говорю при случаѣ: поѣздили бы вы хоть съ мое, потолкались промежду рабочаго люда—вы бы и поняли, что на Руси

нельзя еще цѣликомъ прикладывать аглицкій аршинъ. Нѣтъ еще его, настоящаго фабричнаго пролетаріата. Деревня отъ фабрики уже сильно зависитъ—это вѣрно; и она ею питается, но и фабрика безъ деревни не можетъ работать. Это не идиллія: добиться того, чтобы окрестные крестьяне не разрывали съ своимъ домою, а несли въ него все, что останется отъ конторской дачки.

— Такъ, такъ!—поддакивалъ Заплатинъ.

Все это было ему сильно по душѣ.

— Книжки какія хочешь читай—въ теоріи все хорошо. Но оттого, что ты считаешь себя носителемъ безусловной экономической истины—еще не резонъ—безъ разуму смущать народъ!

Кантаковъ не договорилъ; но собесѣдникъ его понялъ тотчасъ же, на что онъ намекаетъ.

— Завелись и промежду фабричнаго люда свои Лассали... изъ настоящихъ ткачей и прядильщиковъ. Только—повѣрьте мнѣ, дружище,—они сами по себѣ ничего не могутъ добиться, если вся масса не проникнется тѣмъ, что надо отстаивать свои права. И даже безъ всякихъ запѣвалъ и зачинщиковъ толпа въ тысячу человѣкъ дѣйствуетъ стойко, умно, съ большимъ достоинствомъ и тактомъ. Краснобайствомъ нынче нигдѣ не удивишь. Я ужъ такихъ знаю ребятъ... что твой Гамбетта! Говорить, точно бирсеръ нижець. И тонъ какой, подъемъ духа, жестъ!

— Что вы?!—вырвалось у Заплатина.

— Можете мнѣ вѣрить.

Кантаковъ сдѣлалъ передышку и отхлебнулъ пива.

Много вопросовъ было у его собесѣдника „на-очередѣ“. Онъ самъ не хотѣлъ разбрасываться, но одно его слишкомъ интересовало, и онъ воспользовался паузой.

— А вообще-то, Сергѣй Павловичъ, мало утѣшительнаго въ нашей alma mater, и сверху, и снизу?

— Ну ужъ, другъ милый, времена, сами знаете, какія! О томъ, какъ читалось и что читалось десять и больше лѣтъ назадъ—и я-то съ товарищами знаемъ только по преданію. Это—сверху; а снизу—масса... Ничего не могу вамъ сказать про юнцовъ-первокурсниковъ... Тѣ, что послѣ васъ остались, разумѣется, сквозъ фильтры прогнаны.

— Прежде были на бѣлой, а теперь, кажется, на темно-голубой подкладѣ?

— Вѣрно! Ха, ха! И въ околышахъ такая же перемѣна. Прежде чтобы воротникъ былъ самый что ни на есть темно-синій, отъ чернаго не отличишь; а теперь—бирюзовый, гвардейскаго образца.

Оба громко разсмѣялись.

— Это ужъ вы никакимъ вуревомъ не выкурите. И такіе кандидаты въ земскіе начальники и драгунскіе поручики не переведутся долго. Не мало и всякаго другого народа гуляетъ въ студентской формѣ... не больно выше сортомъ этихъ рейтузниковъ. И просто баклуши бьютъ, и эстетовъ изъ себя представляютъ, и тарабарскіе стихи пишутъ. Но все это, Заплатинъ, только пѣна, изгарь, плакъ. И даже довольно обидно за молодежь (онъ произносилъ: „молодежь“), что слишкомъ у насъ скоро обобщаютъ. Сейчасъ—выводъ: нигуда негодная генерація, нѣшніе студенты дрань,—ни идеаловъ, ни идей, ни знаній, ни хорошихъ чувствъ. Это вздоръ!

— Еще бы!—горячо воскликнулъ Заплатинъ и встряхнулъ своими волнистыми волосами.

— Ядро—все такое же.

— Сергѣй Павловичъ! Спасибо! Я ждалъ отъ васъ такого именно вывода. И я понасмотрѣлся на всякій народъ въ три-то слишкомъ года моего студенчества. Но ядро—какъ вы говорите—должно быть то же. Не даромъ же отовсюду повывылали на родное-то пепелище. Положимъ, и тутъ разный былъ народъ. Однако... покойниче было кончать курсъ и приобрѣтать права, чѣмъ отпраляться въ трущобы... Инымъ—даже и безъ надежды скоро исправить свое положеніе.

— Нужды нѣтъ, Заплатинъ! Всѣ эти невольные туристы кое-что да разнесли по всѣмъ россійскимъ весямъ, прочистили воздухъ, представляли собою одну—и не пошлую идею. За ними слѣдомъ шло повсюду и сочувствіе всего, что у насъ есть, и въ печати, и въ обществѣ, честнаго и мыслящаго.

Глаза собесѣдниковъ разгорѣлись. Между ними разница лѣтъ была небольшая. Но Кантаковъ гораздо больше осялся, чувствовалъ подъ собою почву, имѣлъ уже успѣхъ, могъ считать свою адвокатскую дорогу расчищенной; а въ студентѣ, несмотря на его очень взрослую наружность, „бродило“—какъ онъ самъ называлъ,—еще не унялось, и отвѣчать за то, куда онъ придетъ и чѣмъ кончитъ—онъ не могъ бы, да какъ будто и не желалъ.

— Ну, и что жъ, Заплатинъ,—началъ Кантаковъ нѣсколько другимъ тономъ,—весь этотъ годъ съ хвостикомъ протянулся тамъ, на родинѣ, весьма туго и однообразно?

— Я все время работалъ. Что же больше дѣлать, Сергѣй Павловичъ? Книгъ съ собой привезъ, даже лекціи захватилъ. У меня была надежда, что къ этому семестру позволить вернуться

Не мало и съ народомъ возился, ѣздилъ по Волгѣ, жилъ у раскольниковъ, присматривался ко многому.

— Ну, а ужъ по части общества, интересныхъ встрѣтъ, особенно съ женщинами?

Заплатинъ опустилъ рѣсницы—темныя и пушистыя.

— Или что-нибудь нашлось?

Глазами Кантаковъ усмѣхнулся.

— И тамъ вѣдь не безъ людей...

— Даже и въ женскомъ сословіи?

— Чтò жъ...—началь Заплатинъ, тише звукомъ и медленнѣе:—я не скрою отъ васъ... вы такой душевный человѣкъ и всегда были со мной по-товарищески,—хоть мы и не однокурсники, Сергѣй Павловичъ.

— Да чтò вы меня какъ все церемонно величаете, дружище? А мы—товарищи въ полномъ смыслѣ. Не выпить ли по стакану кахетинскаго?

— Извольте! Здѣсь не дорого?

— Нѣтъ, ужъ я ставлю!

Кантаковъ спросилъ карту и выбралъ вино.

— Такъ... Значить, не безъ встрѣтъ?

Глаза его опять заиграли.

За нимъ водилась репутація человѣка влюбчиваго. Среди интеллигентныхъ женщинъ онъ всегда имѣлъ большой успѣхъ.

— Я не скрою,—началь опять тѣми же словами Заплатинъ, все еще не поднимая рѣсницъ.—Тамъ я нашелъ дѣвушку... изъ ряду вонъ... дочь врача. Уже второй годъ, какъ кончила гимназію съ медалью.

— Красива?

— Очень. Отецъ болѣзненный... Вообще неудачникъ. Матери нѣтъ. Она стремится сюда, на курсы.

— На новыя?

— Да, Сергѣй Павловичъ.

— Далось вамъ мое имя-отчество! Чокнемся и, если не побрезгаете,—выпьемъ на „ты“. Намъ давно пора бы.

— Я душевно радъ!

Они выпили.

— И вы этой дѣвицей немного увлечены?

— У меня... къ ней... серьезное чувство. И даже... я опять не скрою...

— Отъ тебя,—подсказалъ Кантаковъ.

— Что мы уже дали слово...

— Не раненько ли?

— Она подождетъ. Годъ пройдетъ незамѣтно. Можетъ, и больше.

— Что жъ! Нынѣшнія дѣвушки умѣютъ ждать... За здоровье твоей нареченной... Ея имя?

— Надежда Петровна.

Они еще разъ чокнулись.

— И ты ее ждешь?

— Ее задержали разныя разности. Черезъ недѣлю будетъ здѣсь... А если не удастся поступить сразу... она будетъ ходить на коллективные уроки.

— Совѣтъ да любви! Впору пропѣть:

„Vivant omnes virgines!“

— Впрочемъ, что я... не omnes, а одна. И какое имя для штрафного—Надежда!

Они опять чокнулись, и звонкій смѣхъ Кантакова разнесся по всей залѣ.

III.

Узкимъ троттуаромъ, въ мглистый, туманный вечеръ, пробирался Заплатинъ по Каретному ряду. Газовые рожки фонарей слѣпо мигали; но вдали бѣло-сизый свѣтъ рѣзкой полосой врывался поперекъ улицы.

Тамъ—театръ, для него еще совсѣмъ новый. До своего удаленія онъ всего разъ попалъ туда—не до того было.

И вотъ теперь — когда осмотрѣлся и вошелъ въ прежнюю колею—потянуло его въ театръ. Въ Москвѣ безъ этого нельзя жить.

Мечталъ онъ пойти въ первый разъ съ Надей. Вѣдь она никогда въ Москвѣ не бывала; но она опять на недѣлю, а то и на двѣ, отложила приѣздъ. Отецъ расхворался, и ей нельзя оставить его одного.

А на дворѣ давно уже октябрь.

Съ ней онъ, „первымъ дѣломъ“, пошелъ бы въ Малый театръ. Только тамъ она не найдетъ того, что было десять и пятнадцать лѣтъ назадъ. Да вѣдь и онъ самъ уже не захватилъ той эпохи.

На этой недѣлѣ онъ колебался—остаться ли ему вѣрнымъ традиціи и начать непременно съ Малаго, или пойти въ Каретный рядъ, въ театръ съ новымъ „настроєніемъ“ и въ репертуарѣ, и въ игрѣ, и въ обстановкѣ.

Каретный рядъ пересилилъ. О билетѣ надо было позаботиться заблаговременно. Въ студенческой братіи этотъ театръ—самый любимый, и почти каждый вечеръ въ кассѣ аншлагъ: „Билеты всѣ проданы“.

На первые два мѣсяца у него—послѣ взноса за ученіе—финансовъ хватить, если не позволять себѣ лишнихъ „роскошей“. Но еще раньше онъ—по примѣру прежнихъ лѣтъ—раздобудется и работой. Ему не то чтобы чрезвычайно везло по этой части, но совсѣмъ безъ заработка онъ никогда не оставался и не пренебрегалъ никакимъ видомъ занятій, отъ корректуръ и уроковъ до переводовъ и составленія промышленныхъ и торговыхъ рекламъ, какія печатаются на большихъ листахъ цвѣтной бумаги.

Добылъ онъ себѣ билетъ на пьесу, которую читалъ больше двухъ лѣтъ назадъ, но не видалъ здѣсь. Она въ Петербургѣ потерпѣла примѣрное крушеніе, а здѣсь вызвала оваціи въ первый же спектакль, и съ тѣхъ поръ не сходитъ съ репертуара.

Электрическіе шары всплыли передъ Заплатинымъ, когда онъ вошелъ во дворъ и увидалъ фасадъ театра. Цѣлая вереница пролетовъ тянулась справа влѣву, и пѣшеходы гуськомъ шли по обоимъ троттуарамъ круглой площадки.

Въ сѣняхъ онъ очутился точно въ шинельныхъ университетахъ: студенческія пальто чернѣли сплошной массой, въ перемежку съ свѣтло-сѣрыми гимназистовъ и съ кофточками молодыхъ женщинъ—„интеллигентнаго вида“,—опредѣлилъ онъ про себя. Такая точно публика бываетъ на лекціяхъ въ Историческомъ музеѣ. Старыхъ лицъ, тучныхъ обывательскихъ фигуръ—очень мало.

Это сразу его настроило какъ-то особенно.

Изъ обширнаго прохода съ вѣшалками, гдѣ онъ оставилъ пальто и калоши, онъ не сразу сталъ подниматься наверхъ.

Ему хотѣлось потолкаться въ этой публикѣ, настроить себя на одинъ ладъ съ нею, присмотрѣться къ лицамъ—мужскимъ и женскимъ.

Онъ уже впередъ зналъ, что та пьеса, которая не захватила его въ чтеніи, должна предстать передъ нимъ въ новомъ освѣщеніи. И навѣрное вся эта молодежь ожидаетъ того же.

Особенно пріятно было отсутствіе тѣхъ лицъ и фигуръ, съ которыми сталкиваешься, носъ къ носу, вездѣ, во всѣхъ зрѣлищахъ, той скучающей или глупо гогочущей толпы, которую онъ, съ каждымъ днемъ, все меньше и меньше выносилъ.

Чувствовалось, что публика пришла и пріѣхала сюда не отъ

одной скуки, чтобы какъ-нибудь скоротать вечеръ и пройтись сильно по водеѣ, въ буфетѣ. Она чего-то ждетъ, чего она нигдѣ въ другой залѣ не получить.

Когда раздался звонокъ, онъ почти испугался, какъ бы не опоздать сѣсть до подъема занавѣса.

И все время онъ жалѣлъ, что нѣтъ съ нимъ невѣсты. Какъ бы, для нея, все это было ново! Сколько разговоровъ поднялось бы между ними, въ антрактахъ и послѣ спектакля, за самоваромъ, въ той комнатѣ, которую онъ уже присмотрѣлъ ей!

Его охватилъ почти полный мракъ, когда онъ съ трудомъ отыскивалъ свое мѣсто.

Звукъ гонга прошелъ по его нервамъ. Занавѣсъ—изъ матеріи—раздвинулась, подхваченная съ боковъ. На сценѣ та же почти темнота. Онъ вспомнилъ, что дѣло въ саду, передъ озеромъ, гдѣ задняя декорация—только родъ рамы съ натуральнымъ нейзажемъ и свѣтомъ настоящей луны.

Онъ весь ушелъ въ слухъ и зрѣніе. Различалъ онъ съ трудомъ, по нѣкоторой близорукости; а бинокля у него не водилось; но слухъ у него былъ на рѣдкость.

Весь первый актъ онъ сильно напрягалъ вниманіе. Но онъ не могъ вполне отдаться тому, что происходило передъ сценой и что говорила актриса о томъ ужасѣ, когда все живое погибнетъ и земля будетъ вращаться въ небесныхъ пространствахъ, какъ охолодѣлая глыба.

Когда онъ читалъ пьесу, все это его не то что раздражало, а смущало. Онъ не могъ сразу выяснить себѣ: въ какомъ свѣтѣ авторъ ставитъ такое зрѣлище, какъ онъ самъ относится къ попыткѣ молодого декадента поставить эту странную вещь, гдѣ влюбленная дѣвушка раздѣляетъ судьбу убитой—изъ прихоти—водяной птицы.

Да и теперь первый актъ только вызывалъ въ немъ напряженный интересъ, но не волновалъ и не трогалъ его.

И вдругъ одинъ женскій возгласъ, полный слезъ и ѣдлагаго сердечнаго горя, всколыхнулъ его.

— Кто это?—спросилъ онъ сосѣда, также студента.

— А та, что играетъ Машу, влюбленную въ героя, дочь управляющаго.

Съ второго акта эта заѣденная жизнью дѣвушка, некрасивая, не очень молодая, пьющая водку и нюхающая табакъ—выступила впередъ. Актриса—онъ видѣлъ ее въ первый разъ—заставила его забыть, что вѣдь это она „представляетъ“. Ея тонъ, мимика, говоръ, отдѣльные звуки, взгляды—все хватало за

сердце и переносило въ тяжелую, нескладную русскую жизнь средних людей. Ее только и было ему жаль, а не ту героиню съ порывистой страстью полупсихопатки и къ сценѣ, и къ писателю-„эготисту“ съ его смакованьемъ самоанализа и скептическимъ безволиемъ бабника. Актеръ нравился ему чрезвычайно, лицо было живое; но всѣ они: и декадентъ, и мать его—провинціальная „премьерша“, и докторъ, и его любовница, и дядя—судейскій чиновникъ—всѣ, всѣ жили передъ нимъ. И общее впечатлѣніе беспощадной правды держалось неизмѣнно при чередованіи сценъ, гдѣ такъ искренно и чутко было передано „настроение“.

Но душа его просила все-таки чего-то иного! Послѣ бурной сцены между матерью и сыномъ имъ овладѣло еще большее недоумоганіе. Хотѣлось вырваться изъ этого нестерпимо-правдиваго воспроизведенія жизни, гдѣ точно нѣтъ мѣста ничему простому, свѣтлому, никакому подъему духа, никакой неразбитой надеждѣ. Насмотрѣлся онъ довольно, у себя дома, на прозябаніе уѣзднаго городишки, гдѣ людямъ посвѣжѣе и почестнѣе до сихъ поръ приходится жутко; но тамъ, въ каждомъ, кто, какъ онъ, попадѣ туда временно или собирается промаячить всю жизнь—все-таки тлѣетъ хоть маленькая искорка! Если тебѣ съверно здѣсь, то тамъ, гдѣ-то, люди живутъ по-человѣчески.

„И это еще не все,—возбужденно говорилъ онъ, спускаясь внизъ въ фойе, послѣ третьяго акта.—И это еще не все!“

Ему лично, Ивану Заплатину, эсѣ-штрафному студенту—не хотѣлось поддаваться „настроенію“ такой вотъ пьесы.

Она слишкомъ обобщаетъ беспомощную безтолочь и жалкое трепанье всего, что могло бы думать, чувствовать, дѣйствовать, любить, ненавидѣть не какъ неврастеники и тоскующія „ничевушки“, а какъ люди, „дѣлающіе жизнь“.

Вѣдь она дѣлается же кругомъ, худо ли, хорошо ли—съ потерями и тратами, съ пороками и страстями. И народъ, и разночинцы, и купцы, и чиновники, и интеллигенты—всѣ захвачены огромной машиной государственной и социальной жизни. Все въ ней перемелется, шелуха отлетитъ; а хорошая мука пойдѣтъ на питательный хлѣбъ.

Погибни всѣ они, эти нѣтвѣи, поставленные авторомъ въ рамки своихъ картинокъ—и онъ, Иванъ Заплатинъ, ни о комъ не пожалѣетъ, кромѣ вотъ той деревенской „дѣвулі“, пьющей водку; да и то, вѣроятно, оттого, что актриса такъ чудесно содала это—по-актерски выражаясь—„невыигрышное“ лицо.

„Сгиньте вы всѣ!—повторялъ онъ, все въ томъ же возбужденіи.—Я о васъ плакать не стану“.

Художественное наслажденіе онъ получилъ. Талантъ автора выступилъ передъ нимъ ярче, ни одна крошечная подробность не забыта, если она помогаетъ правдѣ и яркости впечатлѣнія. Но зритель, если онъ жаждетъ *бодрящихъ* настроеній—подавленъ, хотя и восхищенъ. Онъ это испытывалъ въ полной мѣрѣ.

А кругомъ все гудѣли разговоры. Всѣ возбуждены. Но неужели никто въ этой молодежи не испыталъ того, черезъ что онъ прошелъ сейчасъ?

Чѣмъ объяснить такой успѣхъ, такое увлеченіе? Неужели молодыя души жаждутъ картинъ, отъ которыхъ вѣсть распадомъ силъ и всеобщимъ банкротствомъ?

Онъ не могъ и не хотѣлъ съ этимъ согласиться.

Привлекали творчество, талантъ автора и небывалая чуждость сценическаго воспроизведенія. Жизнь—какова бы она ни была—всегда цѣнна и дорога, если художникъ-писатель, художникъ-актеръ и художникъ-руководитель сцены—одинаково преданы культъ неумолимой правды...

Заплатинъ ходилъ по фойе и глазами искалъ въ толпѣ знакомое лицо, чтобы высказать сейчасъ все, вызвать обмѣнъ взглядовъ, поспорить, а главное—узнать, найдетъ ли онъ въ комъ-нибудь откликъ на свое собственное „настроеніе“? Онъ не хотѣлъ бы быть одинокимъ. То, чего всегда жаждетъ его душа—должна быть не въ единицахъ только, а въ сотняхъ, если не въ тысячахъ его сверстниковъ.

И вдругъ его, сбоку и почти сзади, кто-то окликнулъ, просто по фамиліи.

Онъ быстро обернулся.

Ему протягивалъ руку небольшого роста блондинъ, съ кудельно-пепельными подстриженными волосами, видомъ купчикъ или контористъ, въ очень длинномъ черномъ сюртукѣ и свѣтлыхъ панталонахъ.

Черты лица мелкія, бородка, особаго рода усмѣшка красивыхъ губъ.

— Щелоковъ?—вопросительно вскричалъ Заплатинъ и взялъ того и за другую руку.

Онъ былъ на цѣлую голову выше его.

— А ваше степенство давно ли на Москву прибѣжали? Ась? Много довольны васъ видѣть.

— И я также. Все собирался тебя провѣдать. Да не удосужился... забѣжать въ адресный столъ.

- Зачѣмъ? Въ городѣ тебѣ всякій бы сказалъ.
- Ты все тамъ же?
- До третьяго часа... безсмѣнно въ Юшковомъ.
- Чаю хочешь выпить... коли найдемъ мѣсто?
- Согласенъ.

Мѣсто имъ удалось захватить; они примостились къ століку и спросили два стакана чаю.

— Значить, съ водвореніемъ можно поздравить вашу милость?

Щелоковъ остался все съ тѣмъ же умышленнымъ говоромъ московскихъ рядовъ. Онъ привыкъ къ этому виду дурачества и съ товарищами. Съ Заплатинымъ опъ былъ однокурсникъ, на томъ же факультетѣ. Но, въ концѣ второго курса, Щелоковъ—сынъ довольно богатаго оптоваго торговца ситцемъ—,убоялся бездны“,—какъ онъ говорилъ, а больше потому вышелъ изъ студентовъ, что отецъ его сталъ хронически хворать и надо было кому-нибудь вести дѣло.

Аудиторіи оставлялъ онъ безъ особаго сожалѣнія.

— Можно и дома книжки читать,—говорилъ онъ тогда,—а государственныхъ привилегій намъ не надо.

Такъ и остался „потомственнымъ почетнымъ гражданиномъ“ и по первой гильдіи „купеческимъ сыномъ“.

Заплатинъ могъ говорить только о пьесѣ.

— Какъ ты скажешь объ этой пьесѣ, Авивъ?

Щелокова звали старообрядческимъ именемъ „Авивъ“.

— А! Не забылъ! — усмѣхнулся онъ, отхлебывая изъ стакана.— Чтѣ скажу? — Кисленькимъ отдастъ!..

— Кисленькимъ?

Заплатинъ тихо разсмѣялся...

— Печенки больныя... И вообще клинкой отшибаетъ.

— Пожалуй!

„Столовѣръ“—такъ звали Щелокова однокурсники—хватилъ, быть можетъ, сильнѣе, но суть оцѣнки была почти такая же, какъ и у него самого.

— Право, сударикъ мой,—продолжалъ Щелоковъ, потряхнувъ—совсѣмъ по купчески—своими кудельными волосами,—господа сочинители все въ своемъ нутрѣ ковыряютъ. Хоть бы вотъ этотъ беллетристъ, чтѣ въ пьесѣ. Такъ отъ него и разить литературничаньемъ. И такъ, и этакъ себя потрошить, а внутри пакостная нотка вздрагиваетъ: хвалить-то меня хвалятъ, но...—онъ выговаривалъ это интонаціей актера, игравшаго роль беллетриста,—я не Тургеневъ, но и не Толстой! А мнѣ-то, Авиву Щелокову,

какое до этого дѣло? Табъ точно и прочія другія персоны этого дѣйства...

— На которое тебѣ, какъ человѣку древняго благочестія, и ходить-то зазорно?

— Миѣ ничто не зазорно, милый. Но дай досказать... Взять хоть бы этого декадента или дѣвицу... Могу ли я сокрушаться о нихъ, жалѣть ихъ?

— Въ одно слово!—вырвалось у Заплатина.

— А тѣмъ паче увлекаться. Чтò они представляютъ собою? Личную блажь. И я долженъ уходить въ нее душой, когда, вкругъ, въ російскомъ яво бы культурномъ обществѣ, первѣйшія потребности этой самой души попираются!

„Вонъ оно чтò! Авивъ поумнѣлъ! — подумалъ Заплатинъ.— Даромъ, что въ оптовомъ складѣ ситцемъ торгуетъ!“

Щелоконъ былъ „столовѣръ“ убѣжденный. По родителямъ онъ принадлежалъ къ „оедосѣвцамъ“, и отецъ звалъ его мать до самой ея смерти „посестріемъ“, не „пріемля“ брака, какъ таинство.

Но онъ уже гимназистомъ сталъ самъ себѣ „сочинять вѣру“, а студентомъ—когда Заплатинъ сошелся съ нимъ—любилъ говорить на тему „свободы совѣсти“. На безцеремонные вопросы товарищей, какой онъ вѣры, онъ отвѣчалъ или: „я хлыстъ“, или: „я перекувѣдланецъ“, и тому, кто расхохочется, совсѣмъ серьезно объяснялъ, что такое „согласіе“ водилось еще не такъ давно, въ Заволжьѣ, повыше Нижняго, а можетъ—и теперь водится.

— Еще бы!—согласился Заплатинъ.—Да и мало того...

Онъ хотѣлъ развить свою идею; но раздался звонокъ.

— Ахъ, досада какая!.. Надо идти.

— А опоздать нѣшто нельзя? Для меня и теперь ясно, что никакого разрѣшенія стоющаго... и быть не можетъ.

— Однако... скажи-ка, — спросилъ Заплатинъ, вставая: — чѣмъ кончить декадентъ? Отгадай, если ты не читалъ пьесы или отчета.

— Чѣмъ? Да какъ-нибудь нелѣпо... покончить съ собой? Ась? Я плакать не стану.

— Отгадай!

Они расплатились и пошли въ залу. Щелоконъ сидѣлъ въ креслахъ.

Но онъ попридержалъ пріятеля на площадѣ.

— Не хочешь ли, послѣ театра, въ заведеніе, закусить... малую толику?

Отъ такихъ „угощений“ Заплатинъ сторонился всегда, особенно отъ богатыхъ купчиковъ. Но Щелоковъ—хорошій парень и шампанскимъ „пугать“ не будетъ.

— Въ „Альпійскую Розу“... пожалуй. Тамъ цѣны демократическія.

— Ну, что еще за глупости!

— Нѣтъ, Авивъ, каждый за себя.

— Ну, ладно. Такъ въ сѣняхъ рандеву... А то какъ же такъ: столько времени не видались?!

Щелоковъ сильно потрясъ его руку и пошелъ въ кресла.

Такъ и остался Заплатинъ съ желаніемъ развить свою идею. Онъ разовѣтъ ее въ „Альпійской Розѣ“. Да и самъ „Авивъ“ всегда его интересовалъ.

— Такихъ—въ его средѣ—врядъ-ли много гуляетъ по Руси. Сочинилъ онъ себѣ „свою вѣру“ или нѣтъ, но онъ не изувѣръ, и его „столовѣрство“ и тогда—два-три года назадъ—было очень широкое.

И нота о „свободѣ совѣсти“, зазвучавшая въ немъ такъ внезапно и такъ кстати—для того, кто сразу его понял,—показывала, что онъ ушелъ впередъ, даромъ что торгуетъ ситцемъ въ Юшковомъ переулкѣ.

Опять въ полной мглѣ пришлось Заплатину пробираться до своего дешеваго мѣста, на верхахъ.

Протяжный, унылый звукъ гонга раздался какъ разъ когда онъ поднялся наверхъ.

Онъ помнилъ содержаніе послѣдняго акта. Но не фабула тянула его къ себѣ, а то—какъ будетъ передано настроеніе послѣдней картины той жизни, которая, на оцѣнку Щелокова, „отдаетъ кисленькимъ“ и „отшибаетъ клинкой“.

Все притихло. Тянь занавѣса раздвоилась на двѣ половины.

IV.

Въ „городъ“ Заплатинъ еще не попадалъ, съ тѣхъ поръ, какъ водворился въ Москвѣ.

Ему всегда нравилась Красная площадь, съ новыми Верхними рядами, особенно ночью, въ электрическомъ свѣтѣ.

Красивый пошибъ этихъ чертоговъ мирилъ его съ сущью рядской жизни.

Но сегодня онъ былъ менѣе строгъ въ своихъ чувствахъ ко всему, что отзывается „купецкой“ Москвой.

Встрѣча съ Щелочовымъ и долгая полуночная бесѣда въ „Альпійской Розѣ“, гдѣ онъ настоялъ на томъ, чтобы заплатить отдѣльно за свою порцію холодной солонины,—въ связи съ тѣмъ, что онъ идетъ къ Авиву, въ его оптовый складъ, въ Юшковомъ переулкѣ—настроивали его мысли въ такую сторону, куда, обыкновенно, онъ ихъ не пускалъ.

Передъ нимъ сталъ вопросъ: не слишкомъ ли онъ кичится званіемъ студента, тѣмъ, что сопричисленъ къ „лику интеллигентовъ“, какъ за ужиномъ въ „Альпійской Розѣ“ выразился Авивъ на своемъ рядскомъ жаргонѣ.

Взять того же Авива. Развѣ онъ что-нибудь потерялъ, что „убоялся бездны“ и вышелъ съ третьяго курса? Онъ могъ бы оставаться и въ студентахъ, повременить съ государственнымъ экзаменомъ и все-таки взять ученое званіе.

Не считъ самъ нужнымъ. Онъ очень начитанъ. По своей вѣроисповѣдной части—настоящій „начетчикъ“; греческаго не забылъ, и Новый Заветъ читаетъ каждый день въ оригиналѣ, Апокалипсисъ знаетъ чуть не наизусть. И философскія книжки любить читать и по-русски, и на двухъ иностранныхъ языкахъ.

Ну, кончилъ бы онъ? Какая разница? Только тщеславіе свое потѣшить?

Все равно—онъ на службу бы не пошелъ. На казенную службу сектантовъ не принимаютъ.

Авивъ еще на второмъ курсѣ, бывало, въ аудиторіяхъ, развивалъ идею, что главная порча нашей интеллигенціи—дипломы и права по службѣ, что не нужно ихъ вовсе. Тогда будетъ свободная наука, какъ свободна должна быть церковь, отдѣленная отъ государственной власти.

Онъ логиченъ, какъ во всемъ, что говорить и дѣлаетъ.

И остался купцомъ. И не стыдится этого.

Рядомъ съ нимъ онъ, Иванъ Заплатинъ—сынъ купца *третьей гильдіи*—выходитъ не то что межеумкомъ, а чѣмъ-то въ родѣ „высочки“. Къ „купчишкамъ“ онъ и про себя, а иногда и вслухъ, привыкъ относиться пренебрежительно. Точно онъ самъ—столбовой. Все оттого, что мать его—дочь незначащаго чиновника и высиdѣлъ онъ восемь лѣтъ на партахъ гимназіи, зубрилъ сильно адристы и сдавалъ „экстемпоралии“, а потомъ надѣлъ студенческую форму и сопричислилъ себя къ „лику интеллигентовъ“.

Авивъ гораздо дѣльнѣе. Онъ, и по смерти отца, не приеончить своего дѣла, будетъ торговать ситцемъ, сидѣть въ амбарѣ, ѣздить къ Макарію, на ярмарку, и явшаться съ „азіатами“.

Онъ держится за свою „особность“ и какъ купецъ, и какъ старообрядецъ. И въ самомъ дѣлѣ—возьми онъ „права“, поступи онъ на службу—онъ долженъ, первымъ дѣломъ, поступиться своимъ „согласіемъ“ и перейти, по малой мѣрѣ, въ единовѣріе; а второе—очутиться въ „дворянскихъ“ купцахъ, проходить табель о рангахъ, мечтать о генеральскомъ чинѣ и лентѣ черезъ плечо.

Его не сбили съ позиціи, и онъ не хочетъ никакого другого положенія.

Всему корень — экономическій бытъ; въ этомъ марсисисты архи-правы. А у него — Ивана Заплатина — сына хоть и плохенькаго, но все-таки фабриканта — нѣтъ этого корня, да врядъ-ли и будетъ.

И теперь онъ, чтобы „домаячить“ въ студентахъ до государственнаго экзамена — все-таки сидитъ на шеѣ у матери. Безъ ея поддержки ему не на что было бы пріѣхать сюда, внести полугодовую плату, заплатить за квартиру и имѣть обѣдъ до тѣхъ поръ, пока не найдетъ какую-нибудь работишку.

Авивъ — какъ человекъ жизни — сейчасъ же и допросилъ его по-товарищески — имѣется ли заработокъ и что представляется ему въ ближайшемъ будущемъ?

И на это у него здоровый взглядъ, который можетъ показаться ретрограднымъ только тѣмъ, кто не хочетъ вникнуть въ дѣло.

— Не резонъ, въ годы ученія — биться изъ-за пропитанія! — говоритъ онъ. — Надо даромъ учить и содержать всѣхъ способныхъ — самому государству или обществу — какъ придется. Кто имѣетъ право на поступленіе — того и учи даромъ. А теперь науку заѣдаетъ нужда и плодитъ интеллигентное нищенство!

Какъ онъ это разумѣетъ — съ нимъ нечего спорить.

На его вопросъ о работѣ или о видахъ на нее надо было сознаться, что ничего еще нѣтъ. Ресурсъ одинъ: печататься въ газетахъ, а клянчить въ кружкѣ земляковъ — совѣстно. Есть и бѣднѣе его. Онъ все-таки сынъ домовладѣлицы и могъ безъ помѣхи внести полугодовую плату.

Щелоковъ — душевный малый.

— Надо тебѣ пристроить, — повторялъ онъ тогда въ „Альпійской Розѣ“, — что-нибудь такое найти на всю зиму и чтобы даже осталось въ тому времени, когда начнется зубристика къ государственному экзамену.

И тутъ онъ что-то такое сообразилъ и спросилъ его:

— Ты вѣдь моему сродственнику — Элиодору Пятову — однокурсникомъ приходишься?

— Какъ же!

— Мнѣ сейчасъ одно соображенье пришло. Вотъ зайдешь ко мнѣ... такъ денька черезъ четыре... туда, въ амбаръ... въ Юшковъ переулокъ. Я кое-что нащупаю.

На этомъ они и простились.

Тотъ Элиодоръ Пятовъ—„сродственникъ“ Щелокова—приходился, дѣйствительно, однокурсникомъ имъ обоимъ. Одно время онъ даже очень льнулъ къ тому кружку, гдѣ Заплатинъ былъ въ родѣ какъ „запѣвалой“. Они собирались, читали рефераты, происходили горячія пренія.

И этотъ Элиодоръ тоже реферировалъ.

Онъ милліонщикъ, —кажется, теперь глава фирмы, и нѣкоторые изъ ихъ кружка возлагали на него особенныя надежды, думали, что онъ, со временемъ, выкажетъ себя, какъ настоящій другъ „четвертаго сословія“.

Заплатину онъ сталъ давно уже „сумнитель“ . Малый неглупый, способный, книжекъ и тогда много прочелъ, и языки зналъ, и сильно охотъ былъ до всякихъ идей и вѣяній—вплоть до символизма и декадентства; но былъ въ немъ какой-то „передѣлъ“.

Въ бурные дни, когда овецъ отдѣляли отъ козлищъ,—онъ очутился въ овцахъ и безпрепятственно кончилъ курсъ.

Мечталъ онъ, кажется, и о каедрѣ; но теперь, сдѣлавшись главой капитальнѣйшей фирмы — врядъ ли пойдетъ по ученой дорогѣ.

Когда онъ льнулъ къ ихъ кружку — ему ужасно хотѣлось сойтись съ Заплатинымъ на „ты“. Можетъ быть, они и пили брудершафтъ. Но при встрѣчѣ врядъ-ли онъ теперь будетъ съ нимъ на „ты“.

Щелоковъ всегда надъ нимъ подсмѣивался и прохаживался частенько надъ тѣмъ, что его родители, „страха ради іудейска“, перешли изъ раскола въ единовѣріе, а потомъ и совсѣмъ стали „государственниками“, какъ онъ называлъ послѣдователей господствующей церкви.

Элиодоръ выдавалъ себя за „свободнаго мыслителя“, чему Авивъ тоже не совсѣмъ-то вѣрилъ.

Пробираясь по тѣсному троттуару переулка къ складу Щелокова, Заплатинъ представлялъ себѣ—какимъ долженъ быть теперь этотъ Элиодоръ, съ тѣхъ поръ какъ снялъ студенческую форму.

Засѣлъ теперь въ креслѣ отца—въ кабинетѣ своей конторы, тутъ же въ „городѣ“. И студентомъ онъ смотрѣлъ уже „нихъ степенствомъ“, по дородству и пухлости лица и особенной усмѣшкѣ

въ карихъ глазахъ, гдѣ искрилось и „себѣ на умѣ“, и постоянное желаніе выказать себя самымъ фасонистымъ европейцемъ.

Однако, и такой Эліодоръ остался при дѣлѣ, глава фирмы, тузъ и воротила по своей части, хотя и считаетъ себя—и весьма—сопричисленнымъ къ „лику интеллигентовъ“...

По лѣвую сторону переулка тѣснились склады и конторы. Заплатинъ читалъ вывѣски, ища имени Щелокова.

Вотъ оно. Фирма значится до сихъ поръ: „Авдѣй Щелоковъ съ сыномъ и братомъ“. И дядя, и отецъ Авива—уже покойники.

До сихъ поръ та же дверь съ половиномъ; зеленая, побурѣвшая краска, узкіе два окна, гдѣ положены, для „вида“, куски ситцевъ, но совсѣмъ не для привлеченія покупателей, какъ въ зеркальныхъ витринахъ Кузнецкаго. Такъ полагалось споконъ вѣку для „городового покупателя“.

Авива онъ нашелъ въ задней комнатѣ склада—темноватой и тѣсной, съ одной конторкой и диваномъ, обитымъ волосной матеріей. Этому дивану навѣрное больше полвѣка отъ роду.

Въ складѣ два приказчика и одинъ всего прилавокъ; а полки—простыя, какъ въ первой попавшейся лавкѣ съ „панскімъ“ или „суровскимъ“ товаромъ.

— Гряди, чадо!—встрѣтилъ его Щелоковъ, вставая съ табурета.—Присядь. Чайку желаешь? Или пойдемъ въ трактиръ?

— И такъ все по трактирамъ хорожусь,—отвѣтилъ Заплатинъ, пожимая руку своеобразнаго пріятеля.

— Спасенному рай! Садись! Ты въ самый тактъ пожаловалъ. Кажется, дѣло выгорить.

— Насчетъ Эліодора?—спросилъ Заплатинъ съ усмѣшкой.

— А тебѣ это не особенно по вкусу? Понимаю. Онъ лодырѣ... это точно. Особенно въ теперешнемъ своемъ видѣ или „аватарѣ“. Они любятъ это самое буддійское слово. Ха, ха! Вѣдь ты, небось, помнишь его... Модникъ! Знаешь, вотъ какъ пшю́тты нынѣшніе воротники стали носить и манжеты, ровно хомутъ на себя засупониваютъ, такъ и нашъ Эліодша. Чтобы ему „послѣдній крикъ“ по идейной части былъ на домъ доставленъ.

— Послѣдній крикъ?—повторилъ Заплатинъ.

— А то какъ же? Это такъ на бульварахъ называется. Мы вѣдь тоже почитываемъ. Даже и непотребные парижскіе листки. А ты какъ бы думалъ, ха, ха!

— Чтò же собственно, Авивъ?

— А вотъ чтò... Дай по порядку. Эліодоръ тятенькину фирму

теперь полностью представляет. Собственно маменькѣ оставлено все въ пожизненное владѣніе; но она ему—полную довѣренность и удалась на покой... даже и въ Москвѣ не обрѣтается... а гдѣ-то никакъ около Хотькова монастыря. Онъ въ дѣлу себя никогда не припускалъ и даже пофыркивалъ на обрабатывающую промышленность, какъ на дѣло низменное, хотя и необходимое, —однако, бразды правленія сейчасъ же взялъ въ свои руки и, какъ ребята сказываютъ, довольно-таки дошлымъ себя аттестуетъ. Папенкинъ капиталъ не спустить, особенно на дѣла общественныя, альтруистическія. Нѣтъ! Да вѣдь намъ съ тобой и не нужно его подачекъ.

— Чѣмъ же онъ можетъ быть пригоденъ?

— Повремени чуточку... Помимо того, что мнѣ хотѣлось бы тебѣ поспособствовать... хорошо, чтобы около него былъ такой вотъ парень, какъ ты, Заплатинъ. Все-таки, можно его, при случаѣ, направить. Элиодоръ амбиціозенъ; надо только умѣючи подѣйствовать на его амбицію.

— Шутъ съ нимъ!

— Ты постой! Безъ всякаго лебезенья... Ты всегда съумѣешь его осадить. А сколько можно поддержать? Не такъ скоро опомлѣетъ и овостенѣетъ отъ своихъ миллионовъ. Онъ, вотъ, и со мной началъ заигрывать. Только бы я его не считалъ защитникомъ нетерпимости... Какъ мы съ нимъ свидимся—онъ мнѣ сейчасъ: „я сторонникъ абсолютно-свободной церкви“. И вотъ, на дняхъ, когда я завернулъ къ нему насчетъ тебя—онъ говоритъ: „будь я на твоемъ мѣстѣ, Авивъ, я бы собственное свое согласіе сочинилъ и занялъ мѣсто вѣроучителя“. Вотъ онъ каковъ! Однако, соловья баснями не кормятъ. Выходитъ такъ, что тебѣ, весьма и весьма, найдется работа и притомъ продолжительная... сколько влѣзетъ. Подробности онъ тебѣ объявить.

— У самого Элиодора? По какой же части?

— По самой, чтò ни на есть, умственной. Онъ задумалъ нѣчто... въ громадныхъ размѣрахъ. И предлагаетъ—повидимому съ удовольствіемъ—быть его сотрудникомъ... за приличный гоно-раръ. Я на это, первымъ же дѣломъ, поналегъ. Не знаю, очень ли онъ тароватъ; но объегоривать однокурсника мы ему не позволимъ.

— Ладно. Когда же съ нимъ повидаться?

— Айда сейчасъ же! Онъ теперь навѣрное въ конторѣ.

Они доѣхали, на извозчикѣ, до того корпуса, гдѣ помѣщалась обширная контора фирмы: „Кузьмы Пятова вдова съ сыномъ“.

Эліодора они нашли въ кабинетѣ, отдѣланномъ въ стилѣ, который указывалъ на его новые художественные вкусы—съ выписными обоями, въ родѣ фрескъ, и стильной мебелью изъ зеленоватаго дерева съ обивкой матеріей „liberty“.

Онъ сидѣлъ за большимъ бюро, лицомъ къ двери, и читалъ газету, когда они вошли.

— А! Заплатинъ! Сколько зимъ! Поздравляю съ пріѣздомъ.

Но сейчасъ же въ тонѣ слышалось то, что онъ не будетъ съ однокурсникомъ на „ты“.

Заплатину такъ было удобнѣе,—по крайней мѣрѣ, не будетъ обязательныхъ товарищескихъ отношеній.

— Вотъ насъ цѣлая троица собралась,—сказалъ Щелоковъ,—всѣ три—однокурсники.

— Какъ же, какъ же!—немного точно стѣсненный, заторопился Пятовъ.

Видъ у него былъ точь-въ-точь какъ воображалъ Заплатинъ, идя къ Щелокову по Юшкову переулку. Онъ еще поприпухъ въ лицѣ, брился на-чисто, по англійской модѣ, съ замѣтнымъ брюшкомъ, одѣтый въ заграничный сьютъ, при темнокрасномъ галстухѣ. Рыжеватые волосы на головѣ съ приподнятымъ „боксомъ“ были плотно острижены. Тревожные каріе глаза искрились изъ-за стеколъ ріпсе-пез. Толстоватія губы раскрывались часто въ усмѣшку, въ которой было больше самодовольства, чѣмъ дружескаго пріѣта.

Заплатинъ разсудилъ, безъ всякихъ прелиминарій, приступить къ мотиву своего визита. Онъ желалъ этимъ показать и то, что Эліодоръ „an und für sich“ не интересовалъ его настолько, чтобы отыскивать его и вообще искать его пріятельства.

— Щелоковъ передавалъ мнѣ,—началъ онъ,—что у васъ, Пятовъ,—онъ нарочно называлъ только по фамиліи, по-студенчески—найдется подходящая работа. Чтѣ-жъ это собственно?

И тонъ онъ взялъ суховатый, давая этимъ понять Эліодору, что знаетъ ему настоящую цѣну.

— Совершенно вѣрно,—отозвался Пятовъ и началъ играть шнуркомъ ріпсе-пез.—Совершенно вѣрно.

— Это... какая-нибудь научно-литературная работа?

— Да. Ни больше, ни меньше, какъ рядъ этюдовъ по эстетическимъ теоріямъ. Вещь будетъ обширная. Работы на цѣлыхъ три-четыре года. Теперь на очереди Адамъ Смитъ.

— Экономистъ? —остановилъ Щелоковъ.

— Онъ самый! Но ему принадлежитъ и цѣлая эстетическая

теорія... Въ свое время онъ былъ весьма авторитетенъ. Только я не знаю... вы знаете по-англійски, Заплатинъ?

— Знать такъ, чтобы ахти Боже мой—не могу похвалиться. Я началъ на второмъ курсѣ по самоучителю. Читать могу... довольно свободно... особенно прозу, научную и беллетристику.

— Кромѣ самаго текста,—продолжалъ Пятовъ, покачиваясь на креслѣ,—надо будетъ просмотрѣть цѣлую литературу... и на другихъ двухъ языкахъ. По-французски и по-нѣмецки вы читаете... я знаю. И дѣлать выписки и справки по моимъ указаніямъ. Вотъ, въ общихъ чертахъ, что бы я желалъ имѣть.

— Штука для тебя выполнимая?—подсказалъ Щелоковъ, взглянувъ на Заплатина.

— Я думаю. Ничего особенно мудренаго тутъ нѣтъ,—выговаривалъ неторопливо Заплатинъ.

— Вотъ и столкнитесь, братцы! А мнѣ пора и во-свояси.

Щелоковъ всталъ и началъ съ ними прощаться.

Уходя, онъ крикнулъ Заплатину:

— Заверни на минутку. Тебѣ по дорогѣ.

— Большихъ переговоровъ, надѣюсь, не надо будетъ,—началъ Пятовъ, когда они остались вдвоемъ.

„А все-таки ты поприжмешь меня“,—подумалъ Заплатинъ, дожидаясь, какую плату заявить его будущій—въ нѣкоторомъ родѣ—„патронъ“.

V.

Отъ Нади Синицыной пришло вчера заказное письмо.

Она выѣзжаетъ непременно въ началѣ будущей недѣли. Значить, надо оповѣстить хозяйку той „меблировки“, гдѣ онъ нашелъ ей комнату, на Никитской.

Сначала они мечтали поселиться въ одномъ домѣ, тамъ, на Патріаршихъ-Прудахъ, куда онъ въѣхалъ. Тамъ онъ жилъ и раньше. Но номера оказались слишкомъ запущенными. Онъ самъ не выжилъ больше одного мѣсяца.

Потомъ онъ сталъ соображать, что такъ было бы неудобно.

Надѣ—если она сразу поступитъ на курсы—надо будетъ подчиняться извѣстнымъ правиламъ. Въ студенческихъ номерахъ, во всякомъ случаѣ, ей оставаться нельзя. Она еще тамъ, у себя, говорила, что, быть можетъ, попадетъ къ дальнимъ родственникамъ ея матери, гдѣ-то на Плющихѣ или въ одномъ изъ переулковъ Остоженки; но что она сначала хочетъ „осмотрѣться“. Можетъ, эти родственники окажутся и совсѣмъ „неподходящими“.

Самъ онъ переѣхалъ на Воздвиженку, гдѣ жилъ цѣлыхъ полгода, на третьемъ курсѣ; а ей подсматрѣлъ по близости, на Никитской, комнату со столомъ, у старушки, у которой живутъ только молодыя дѣвушки—почти исключительно консерваторки или слушательницы „Филармоніи“.

Его меблировка, гдѣ когда-то жилось такъ весело и дружно, тоже измѣнилась. Хозяинъ тотъ же, но завѣдуетъ номерами какой-то инородецъ, по всѣмъ примѣтамъ пройдоха, а не прежняя управительница Марья Васильевна—старая дѣвушка, дворянскаго рода, некрасивая, больная и совершенно непрактичная, но добрейшей души, точно родная мать или старшая сестра для студенческой братіи.

У нея въ комнатѣ бывали безсмысленно засѣданія „клуба“. Иные такъ днями просиживали до позднихъ часовъ ночи, ѣли, пили, жестоко курили, пѣли, возились съ Марьей Васильевной, продѣлывали надъ ней разныя дурачества.

И очень затягивали свою квартирную плату, особенно тѣ, кто тамъ же и „столовался“.

Номера теперь почище; внизу мальчикъ, исполняющій должность швейцара—не въ такомъ развращенномъ видѣ, и Петрушкинъ запахъ не такъ ударяетъ въ носъ; есть даже подобіе ковра на лѣстницѣ.

И цѣны—процентовъ на десять выше.

Но прежняя жизнь канула. Студенческая братія водится, но Заплатинъ никого не знаетъ. Все больше юнцы, изъ вновь поступившихъ, въ формѣ съ иголочки.

Съ каждымъ днемъ онъ чувствуетъ себя точно онъ постарѣлъ не на полтора года, а на цѣлыхъ десять.

Аудиторія въ одну недѣлю пріѣлась ему.

Это грозило стать неизмѣннымъ настроеніемъ.

Даже больше, чѣмъ пріѣлась. Ему было не по себѣ, почти жутко. Кругомъ все совсѣмъ незнакомыя лица. Онъ кончитъ съ тѣми, кто при немъ дослушивалъ на второмъ курсѣ. Пять-шесть человѣкъ знакомыхъ, такъ, шапочко... Особаго интереса и сочувствія ему, какъ „пострадавшему“, отъ этихъ, знавшихъ его хоть по фамиліи, онъ не замѣчаетъ.

А какой духъ у массы—онъ, до сихъ поръ, распознать еще не можетъ.

Изъ однокурсниковъ очень немногіе вернулись, а то такъ ужъ кончили, кто былъ меньше „на виду“, чѣмъ онъ.

Раза два онъ былъ скорѣе предметомъ любопытства.

Среди ровесниковъ все еще потеплѣе; но молодые преобла-

даютъ. Нѣкоторые значительно „поумнѣли“, другіе — какъ выразился Кантаковъ — „зашибаютъ“ экономическими идеями; а къ чисто студенческимъ интересамъ стали какъ-то по другому относиться.

Не воображалъ онъ, что въ какихъ-нибудь двѣ недѣли по возвращеніи своемъ въ Москву будетъ такъ одиноко себя чувствовать.

Не самолюбіе, не суетность говорили въ немъ, не желаніе играть роль вожака, рисоваться своимъ прошлымъ — ничего такого онъ въ себѣ не признавалъ. Но онъ не зналъ, какъ ему поближе сойтись и съ юнцами, и съ тѣми, кто очутился теперь въ его однокурсникахъ.

Самому отрекомендовываться или лѣзть на первый планъ — онъ не желалъ. Надо, чтобы это само собою сдѣлалось.

Можетъ быть, вдругъ и наладится; а пока не то, совсѣмъ не то.

А ходить на лекціи надо. Все тѣ же педеля и „субы“, и отгѣтки посѣщеній. Манкировать помногу — могутъ выйти и придрки передъ допущеніемъ къ экзаменамъ.

И вотъ сегодня, когда онъ долженъ пропустить цѣлыхъ двѣ лекціи, Заплатинъ какъ-то особенно расхандрился, спрашивая себя: неужели онъ только и добивается, что того званія, которое ему дастъ государственный экзаменъ?

Главное — то, что ему дозволенъ былъ возвратъ въ Москву, что онъ можетъ работать, что здѣсь подъ рукой всѣ средства, есть къ кому обратиться, у кого попросить совѣта.

Чего же ему еще? Работу онъ нашелъ и довольно даже пріятную, со второго же мѣсяца; теперь здѣсь будетъ самъ себя кормить. Любимая дѣвушка пріѣзжаетъ на дняхъ, съ ней онъ будетъ проводить всѣ свои досуги.

А онъ расхандрился!

Сегодня онъ пропуститъ двѣ лекціи потому, что Эліодоръ Пытовъ просилъ быть у него, въ его наслѣдственныхъ палатахъ, послѣ одиннадцати часовъ, и остаться завтракать, причемъ онъ получить болѣе обстоятельныя инструкціи о характерѣ работы, которая была ему предложена.

О гонорарѣ рѣчь уже шла тамъ, въ кабинетѣ конторы.

Эліодоръ оказался довольно щедрымъ. Самъ предложилъ по пятидесяти рублей за печатный листъ компилятивной работы, съ преобладаніемъ цитатъ и съ платою по рукописи, по приближительному расчету.

Больше не платятъ и въ хорошихъ журналахъ.

И Авивъ остался доволенъ, когда Заплатинъ, зайдя къ нему, сообщилъ объ этомъ.

— Только ты все-таки охулки на руку не влады! Поаккуратнѣе усчитывай рукопись. И обратись къ какому-нибудь фактору типографіи. Тамъ они насчетъ этого учета — дошлый народъ.

Не очень ему нравилось то, что Пятовъ сразу началъ приглашать его къ себѣ на „кормѣжку“. Ему бы хотѣлось установить чисто дѣловыя отношенія. Но пока что, Эліодоръ держалъ себя прилично, не обижался тѣмъ, что Заплатинъ называлъ его просто по фамиліи. Онъ тоже звалъ его „Заплатинъ“, безъ имени и отчества; но еще безъ оттѣнка хозяина, говорящаго съ своимъ „служащимъ“.

Работа могла легко дать до ста рублей въ мѣсяцъ. И куда же она лучше бѣготни по урокамъ; но ему все-таки было какъ-то не по себѣ...

Хоромы Эліодора Пятова стояли на Садовой, подальше Ильи Пророка, на высокомъ мѣстѣ, съ обширнымъ садомъ. Съ улицы бѣлѣлся только бельведеръ.

Отецъ его самъ ихъ выстроилъ, и тогдашній модный и дорогой архитекторъ предложилъ ему фасадъ во вкусъ „Итальянскаго Возрожденія“. Ему это было „все едино“, только чтобы чувствовали—какой владѣлецъ дома значительный человекъ.

Онъ жилъ въ нижнемъ этажѣ, по-старинному, а верхъ такъ и оставилъ параднымъ, для особыхъ случаевъ.

Эліодоръ, когда началъ жить одинъ въ этомъ домѣ—нижній этажъ приказалъ закрыть, временно, отдѣлавъ только нѣсколько комнатъ для себя, своей библіотеки и коллекцій, пока не будетъ готова отдѣлка огромнаго „hall“, гдѣ онъ помѣститъ и громадный шкафъ, и витрины, и разные *objets d'art*

Для этого „hall“ понадобилось проломить стѣну изъ залы въ гостиную.

Пока его пріемные покои состояли изъ кабинета, салона, курительной и обширной столовой.

Всѣмъ попадавшимъ къ нему онъ неизмѣнно говорилъ, указывая на отдѣлку:

— Все это пойдетъ на смарку. Это слишкомъ тяжело и старомодно!

А мебель была—какая считалась самой новофасонной лѣтъ тридцать-пять назадъ, въ разгаръ стиля второй имперіи.

Заплатинъ, въ первый разъ, попадалъ въ хоромы Пятова.

Чтобы не опоздать, онъ взялъ извозчика и входилъ въ сѣни съ ливрейнымъ швейцаромъ въ половинѣ двѣнадцатаго.

— Какъ прикажете о васъ доложить Эліодору Кузьмичу?— внушительно спросилъ его швейцаръ.

— Эліодоръ Кузьмичъ ждетъ меня.

— Все равно, позвольте вашу фамилію.

— Студентъ Заплатинъ.

Швейцаръ попросилъ его подождать и побѣжалъ наверхъ.

Это Заплатину не очень-то понравилось. Онъ снялъ пальто и калоши и сталъ подниматься по мраморной лѣстницѣ, освѣщенной сверху.

Съ какой стати такіе порядки? Вѣдь Эліодоръ самъ назначилъ ему время, прося остаться и позавтракать, а не пускаетъ къ себѣ безъ доклада.

— Просять!—крикнулъ ему швейцаръ съ верхней площадки.

Эліодора онъ нашелъ въ „временномъ“ кабинетѣ, который онъ передѣлалъ тоже „временно“ изъ парадной спальни родителей, гдѣ они никогда не спали.

— Не пущалъ меня вашъ швейцаръ, Пятовъ!—сказалъ Заплатинъ, подавая руку хозяину.

Пятовъ сидѣлъ, поджавъ одну ногу на диванѣ, и курилъ—въ свѣтлой полосками фланели, съ галстукомъ въ видѣ бабочки, безъ подпорки воротничкомъ его бритыхъ, пухлыхъ щекъ.

— Извините, Заплатинъ. Нельзя безъ этого. А то всякій народъ поведется. Ему данъ разъ навсегда приказъ. Курить хотите?

— Я не курильщикъ.

— Вотъ какъ! Ну, голубчикъ, мы сейчасъ приступимъ къ дѣлу. Времени не особенно много до завтрака. Будетъ мой товарищъ—Ледошагинъ... изъ уѣзда.

— Такого у насъ что-то не было?—остановилъ Заплатинъ.

— Совершенно вѣрно. Онъ не по университету, а по лицу.

Пятовъ лицестомъ поступилъ и на университетскіе курсы; но со второго курса перешелъ въ простые студенты. Тогда онъ былъ самаго „независимаго“ направленія и льнулъ въ вожакамъ разныхъ землячествъ.

— Вотъ оно что!..

Заплатинъ всегда помнилъ, что Эліодоръ воспитывался въ „лицей“—что, подъ конецъ, и сказалось въ третьемъ году, во время большихъ волненій.

— Онъ пошелъ въ военную. И уже въ отставкѣ. Ему обѣщано мѣсто начальника.

— Какого?

— Земскаго начальника.

— Вотъ оно что! — съ той же неопредѣленной интонаціей выговорилъ Заплатинъ, присаживаясь сбоку, къ дивану.

— Вы, пожалуйста, Заплатинъ, не брюскируйте его... по первому абцугу.

— Съ какой стати?

— У него свои взгляды. Онъ вѣренъ нѣкоторымъ традиціямъ. Мы съ нимъ однокашники.

— И разлюбезное дѣло! Мнѣ съ нимъ не дѣтей крестить.

— Разумѣется. Такъ вотъ—Эліодоръ грузно снялся съ дивана — здѣсь... — онъ подошелъ къ столу, покрытому книгами и брошюрами — здѣсь собрана литература по Адаму Смиту, — онъ произносилъ съ англійскимъ „th“, — какъ творцу эстетической теоріи... Работы довольно.

— Да, порядочно.

— Но не чрезвычайно. И я васъ, голубчикъ, особенно торопить не буду. Главное—искусство научной концентраціи.

И онъ началъ, немножко мямля, разъяснять, какъ слѣдуетъ дѣлать „вытяжки“, что можно и чего нельзя передавать своими словами.

Заплатинъ кивалъ головой, а про себя нѣсколько разъ сказалъ:

„Да что ты мнѣ все это размазываешь? И безъ тебя понимаю“.

Потомъ Пятовъ сталъ ему такимъ же тономъ намѣчать ходъ работы, взялъ съ письменнаго бюро листовъ бумаги, гдѣ программы были кратко намѣчены, и, подавая ему, послѣ того какъ прочелъ вслухъ, прибавилъ:

— Это будетъ вашимъ компасомъ.

— Ладно!—отвѣтилъ Заплатинъ.

Онъ нарочно держался такого тона съ Эліодоромъ, чувствуя, что если спустить его на одну зарубку, то Пятовъ изъ бывшаго однокурсника — сейчасъ же очутится въ хозяевахъ и принципахъ.

Ужъ и теперь онъ довольно-таки ломается и важничаетъ.

„Однокашникъ“ по лицу явился къ двѣнадцати.

Это былъ худой блондинъ, съ торчащими вверхъ усами и чрезвычайно напряженнымъ выраженіемъ лица—точно онъ сейчасъ собирается крикнуть во все горло:

— Смирно! Равняйся!

Пятовъ назвалъ ему Заплатина, прибавивъ, что они были

товарищи по курсу; тотъ вытянулъ губу и, ничего не сказавъ, пожалъ его руку.

Завтракъ былъ сервированъ ровно въ полдень.

Служили два человѣка во фракахъ.

Съ такой сервировкой Заплатинъ еще никогда не ѣдалъ. Какія-то длинные, врючковатые шпильки привели его даже въ смущеніе, и Пятовъ объяснилъ ему:

— Это особые вилки для раковъ. Будутъ раки *bordelaise*. Не знаю, какъ вы, господа, а я ихъ обожаю! И теперь настоящій сезонъ для привоза невскихъ раковъ.

Кандидатъ въ „начальники“ жевалъ усиленно, и когда проглатывалъ разные закуски, и когда принялся за первое блюдо завтрака. Онъ сначала помалчивалъ; но на вопросъ Пятова: скоро ли онъ будетъ „шерифомъ“—заговорилъ короткими фразами, баскомъ, и при этомъ поводилъ бровями, безпрестанно поднимая ихъ и наморщивая лобъ.

Заплатинъ долго слушалъ, наклонивъ голову надъ тарелкой, по своей всегдашней привычкѣ.

„Шерифъ“ что-то такое началъ „несуразное“ — какъ онъ называлъ про себя.

— Губернаторъ у васъ... съ душкомъ?—спросилъ Пятовъ.— Кажется, имъ не особенно довольны?..

— Кто?—перебилъ гость.—Либералишки? Такъ они добьются того, что нашу губернію раскассируютъ.

— То-есть... позвольте узнать... какъ это раскассируютъ?—спросилъ Заплатинъ, поднимая голову.—Вѣдь это только о полкахъ и эскадронахъ такъ говорится?

— Да-съ... Совершенно какъ съ полкомъ, который хотятъ примѣрно наказать!

— Въ какомъ же это будетъ видѣ?

Хозяинъ сталъ приходить въ тревожное состояніе и ерзать на стулѣ своимъ пухлымъ туловищемъ.

— Очень просто. Чтобы званія не было этой губерніи. Два уѣзда отойдутъ сюда или три. А остальное раздадутъ сосѣднимъ губерніямъ, благо мы сосѣди цѣлыхъ пяти губерній.

— И вы такой мѣрѣ сочувствовали бы?—осторожно выговорилъ Заплатинъ и поглядѣлъ попристальнѣе на „шерифа“.

— И весьма, если нельзя иначе пресѣчь крамолу.

— Да... въ этомъ смыслѣ?..

— Ну, этого, положимъ, не будетъ! — успокоительно вмѣшался хозяинъ, и его каріе глазки искали глазъ Заплатина, чтобы остановить его во-время.

Ему въ высшей степени былъ бы непріятенъ всякій рѣзкій принципиальный споръ.

— И то сказать, много чести,—продолжалъ отрывисто гость. —Небось... Они храбры только на то, чтобы кукишъ казать въ карманѣ.

— Вы это про вашихъ однословниковъ—дворянъ—говорите? —спросилъ Заплатинъ, поглядѣвъ опять на кандидата въ „начальники“.

— Я не считаю тѣхъ... однословниками,—какъ вы изволили выразиться,—кто измѣняетъ своему сословію и желаетъ полнаго разложенія и высшаго класса и крестьянства, и всего... чѣмъ держится русская держава.

— Да... вотъ въ какомъ смыслѣ! — съ тихой усмѣшкой выговорилъ Заплатинъ.

Въ эту минуту подали серебряную миску—раки *bordelaise*,—и Эліодоръ сталъ его учить, какъ обращаться съ крючковатыми вилками.

Спора не вышло. Заплатинъ разсудилъ, что будетъ „довольно глупо“ препираться съ такимъ питомцемъ „ликея“; а въ какой степени самъ Эліодоръ сочувствуетъ такимъ взглядамъ—это его мало интересовало.

На этомъ завтракѣ онъ нашелъ настоящую позицію. Пятовъ для него — давалецъ работы, и *только*; а чтобы онъ не забывался,—надо съ нимъ держаться студенческаго тона во что бы то ни стало.

VI.

Надя Синицына встала гораздо позднѣе, чѣмъ вставала у себя, дома, и все время, какъ училась въ гимназіи, въ губернскомъ городѣ.

Било девять. А въ десять хотѣлъ зайти Ваня.

Она, еще полуодѣтая, подошла къ узкому, тускловатому зеркалу, висѣвшему надъ умывальникомъ.

Лицо, съ дороги и отъ вчерашняго поздняго сидѣнья въ ресторанахъ, послѣ спектакля—не очень-то свѣжее.

А бѣлизной кожи она славилась во всей гимназіи. Типъ у нея немного восточный. Въ наружности у нихъ съ Заплатинымъ есть что-то общее.

Но у нея волосы самаго „воронова крыла“, какъ до сихъ поръ еще называютъ въ провинціи, и у нея на Волгѣ. И теперешняя прическа покрываетъ ея голову, какъ шапкой. Глаза

темные-темные, и рѣсницы бросаютъ тѣнь—такъ онѣ длинны. Ротъ немного крупенъ, но изъ-за свѣжихъ губъ выглядываютъ чудесные зубы.

Никто бы съ такой наружностью не сталъ такъ „корпѣть“, какъ корпѣла она въ гимназіи. За одну красоту ей медали бы не дали.

Еще гимназисткой, она и въ губернскомъ городѣ, и у себя, въ уѣздномъ, выслушивала признанія и предложенія „руки и сердца“.

Но сердце ея совсѣмъ еще не говорило, вплоть до знакомства съ Ваней.

Такихъ студентовъ она еще не знавала. Его „водворили“ на мѣсто жительства, и это ее сразу стало „подмывать“. Она сама съ нимъ познакомилась, и черезъ нѣсколько недѣль они уже „поженихались“.

И тогда ее стало тянуть въ Москву—учиться—сильнѣе, чѣмъ было, когда она только-что кончила гимназію.

Учиться вообще очень тянуло; но чему?

Она стала и тогда уже задумываться надъ тѣмъ, что зовутъ „привзаніемъ“.

Курсы?.. Будешь или женщиной-врачомъ, „жевѣнкой“, какъ непочтительно зовутъ краснобан, или учительницей. Другой дороги нѣтъ. Литература—беллетристика требуетъ таланта, а то вѣкъ будешь переводчицей или плохой компиляторшей.

Развѣ нельзя испробовать чего-нибудь другого?

Съ ея лицомъ, бюстомъ, ростомъ она, быть можетъ, призвана совсѣмъ не къ педагогii. Здѣсь медицинскихъ курсовъ нѣтъ, а только высшіе общіе.

Да и тутъ надо бы допросить самое себя построже: что ее сильнѣе привлекаетъ—математика съ естествознаніемъ или словесныя науки?

По математикѣ она шла хорошо; но вѣдь то гимназія, а не факультетская программа. И по словесности нынче „мода“ заниматься по разнымъ специальностямъ... Исторія, всемірная литература, или тамъ „фольклоръ“—тоже модный предметъ.

Третій день живетъ она въ Москвѣ, начались хлопоты, и врядъ ли она попадетъ на курсы.

Придется, кажется, удовольствоваться какими-то „коллективными“ уроками.

А если она будетъ принята—надо сейчасъ же подчиниться правиламъ—или жить у родственниковъ, или въ общежитіи.

Родственниковъ она отыскивала. Оказалась какая-то глухая

старуха съ племянницей, хворой дѣвицей. Съ ними была бы нестерпимая тоска жить въ одной квартирѣ, да и комнаты у нихъ свободной нѣтъ. Въ общежитіи не сразу найдешь вакансію; а если бы и нашлась—тоже не особенная сладость.

Гимназисткой она жила у дальнихъ родныхъ отца, на полной волѣ; а дома, при отцѣ, и подавно.

Хозяйка вотъ этихъ комнатъ—тоже что-то въ родѣ интерната—уже внушала ей, что позднѣе восьми часовъ вечера не рекомендуетъ принимать гостей мужского пола, „особливо господъ студентовъ“.

А вчера Ваня заходилъ за ней въ исходѣ осьмого и проводилъ изъ ресторана, поздно, въ началѣ второго. Ихъ впускалъ швейцаръ. Онъ, навѣрное, доложилъ хозяйкѣ насчетъ „новопріѣзжей барышни“.

И та ей сдѣлаетъ внушеніе.

Комната—не важная, узкая, на дворъ; еле-еле нашлось мѣста для ея вещей. Хорошо, что она привезла свои подушки, бѣлье и одѣяло. Все это отъ хозяйки очень скудное. Также и ѣда. Столоваться обязательно тутъ же. Одного обѣда—мало. Къ вечеру начинается „подводить“.

Вчера она еще могла пойти поужинать съ студентомъ въ гостиницу, гдѣ было много народу,—„подъ машину“; а когда поступить въ курсистки—этого уже нельзя будетъ себѣ позволить.

Еще менѣе—жить въ однихъ номерахъ, какъ она мечтала у себя, еще не такъ давно, и Ваня повторялъ тогда, что это можно будетъ устроить.

Теперь выходитъ не совсѣмъ такъ.

И вообще она ожидала, что Ваня здѣсь, въ Москвѣ, „развернется во всю“. Она имѣла поводъ считать его настоящимъ студенческимъ вожакомъ.

А ему какъ будто не по себѣ. Совсѣмъ у него не такой видъ, какого она ждала.

Разумѣется, онъ очень обрадовался, много цѣловалъ ее, былъ даже особенно нѣженъ.

Но въ немъ нѣтъ яркаго подъема духа, хотя онъ ни на что еще не жаловался. Дѣла его идутъ хорошо. У него есть частная литературная работа, и онъ очень доволенъ тѣмъ, что „просуществуетъ“ на свой счетъ всю зиму и внесетъ за себя, за второе полугодіе, изъ собственныхъ денегъ.

А она? Бѣдный ея „папа“ души въ ней не часть, и всѣ свои „копѣчки“ собралъ, чтобы снарядить ее... Когда она будетъ въ силахъ сама себя поддерживать?

Печататься въ газетахъ, искать уроковъ?.. Сотни ихъ жаждутъ того же. Если и перепадетъ что-нибудь насчетъ переводовъ, такъ отъ Вани. Да и не знаетъ она достаточно хорошо ни французскаго, ни нѣмецкаго,—даромъ, что получала по пяти. Читать можетъ французскія книжки; но нѣмецкія—труднѣе; да и самой надо владѣть русскимъ слогомъ, и не такъ, какъ годится для сочиненій въ гимназіи.

Все это Надя Синицына перебирала въ своей живописной головѣ, пока умывалась и приводила себя въ порядокъ.

Ваня хотѣлъ быть тотчасъ послѣ десяти. Она напоить его чаемъ.

Вотъ и насчетъ свиданій съ нимъ...

Если она поступитъ въ общежитіе—это будетъ очень стѣснительно. И къ нему ходить—тоже не особенно ловко. Онъ живетъ въ студенческой мебелировкѣ.

Не на улицѣ же видѣться?!

Они мечтали не мало о томъ, какъ заживутъ, когда онъ кончитъ курсъ; но до того времени пройдетъ чуть не цѣлый годъ.

Чтобы жениться,—студенту надо выйти, хотя на время, а это ему—въ его особомъ положеніи—совсѣмъ некстати. За мужніи курсистки, кажется, могутъ быть; по крайней мѣрѣ, она о такомъ запретѣ что-то не слыхала. Но, опять-таки, надо ждать.

Да она и не желаетъ его торопить. Когда они обручились, она, при его матери, говорила ему, не одинъ разъ:

— Знай, Ваня, я ничего обязательнаго не допускаю. Не смотри на наше обрученіе какъ на кабалу. И ты, и я—мы люди свободные. Какъ сердце скажетъ, такъ и рѣшимъ окончательно.

И это ему тогда очень по душѣ пришлось.

Вчера у нихъ, изъ-за пьесы, вышелъ горячій споръ.

Это была та самая вещь, которую Заплатинъ смотрѣлъ нѣдѣль въ театрѣ Каретнаго ряда. Она о ней читала въ газетахъ, и тамъ еще, дома, мечтала пойти, какъ только пріѣдетъ въ Москву.

Авторъ—ея любимый.

Ваня, хотъ и смотрѣлъ уже одинъ разъ, добылъ два мѣста и высидѣлъ весь спектакль.

Она была какъ въ чаду.

Въ ресторани Ваня сталъ говорить и про всю пьесу, и особенно про героиню такъ, что она не могла не возражать.

Ей было непріятно, что онъ разстроиваетъ то чувство, съ какимъ она ушла изъ театра,—своимъ разборомъ.

Спорить вплотную—она не стала, тутъ на людяхъ, въ биткомъ набитой залѣ. Но она такъ этого не оставитъ!.. Съ какой же стати будетъ она затаивать въ себѣ то, что и пьеса, и—главное—несчастливая героиня разбудили въ ея душѣ?

Несчастливая, шалая дѣвушка!

На чей взглядъ? Отчего же „шалая“?

Что она увлеклась любимымъ писателемъ? Ничего тутъ нѣтъ ни дикаго, ни постыднаго. Въ жизни все такъ бываетъ. Много ли удачныхъ влеченій? И въ нее влюбленъ былъ—тоже неудачно—герой пьесы, молодой декадентъ.

Его судьба—куда печальнѣе. И успѣхъ не скрасилъ его душевной жизни. Покончилъ съ собою онъ, а не она—жалкая, подстрѣленная птица.

У нея есть другая страсть—сцена, искусство. Она кончитъ тѣмъ, что будетъ настоящей актрисой. Она выстрадала себѣ талантъ, и въ немъ найдетъ свою высшую отраду.

Развѣ этого мало? Это—все!

Вотъ что она хочетъ развить Ванѣ, какъ только онъ придетъ.

Онъ пришелъ въ четверть одиннадцатаго, какъ говорилъ—весь красный, отъ сильнаго холоднаго вѣтра,—и стаканъ чаю былъ очень кстати.

Сидѣли они за самоваромъ добрый часъ, до одиннадцати слишкомъ, когда ему надо было идти въ университетъ „дѣлать явку“—въ аудиторію.

Онъ первый заговорилъ о вчерашнемъ.

— Почему же ты не хочешь оставить меня съ моимъ впечатлѣніемъ?—спросила она его довольно горячо.

— Я тебѣ не навязываю, Надя, своихъ оцѣнокъ... а только предостерегаю.

— Отъ чего, Ваня?

— Отъ увлеченія нездоровыми мотивами.

— Это слишкомъ пахнетъ прописью.

Надя еще въ первый разъ такъ рѣзко говорила съ нимъ.

— Отъ такой жизни пахнетъ... мертвечиной.

И онъ впадалъ въ болѣе задорный тонъ.

Но она не сдавалась и заговорила о героинѣ совершенно такъ, какъ думала за нѣсколько минутъ до его прихода.

— Несогласна я съ тѣмъ, что она—жалкая психопатка, какой ты ее считаешь, Ваня. Несогласна! Она любила бурно, съ самозабвеніемъ. А потомъ нашла себѣ призваніе.

— Дрянной актерки?

— Почему ты знаешь? Она отвратительно играла годъ, другой; а потомъ дострадалась до искры божьей. Въ этомъ—все!

Глаза Нади—и безъ того большіе—казались въ эту минуту огромными,—и онъ на нее заглядѣлся.

Въ первый разъ подумалъ онъ:

„Какая у нея богатая мимика“!

До сихъ поръ онъ иначе не думалъ о ней, какъ о будущей куртизѣ.

— Знаешь, Ваня... я отъ тебя не скрою—продолжала Надя съ такимъ же оживленнымъ лицомъ,—была такая минута... когда она пришла проститься съ несчастнымъ самоубійцей и говорить о сценѣ, объ игрѣ, о томъ, какъ она можетъ себя чувствовать передъ рампой,—я слилась точно съ ней... въ одно существо.

— Вотъ какъ!

Возгласъ Заплата былъ какъ бы испуганный.

— Это тебѣ не нравится?

— Почему же?

— Потому что ты... какъ бы сказать, Ваня... не сердись, милый... очень ужъ... вотъ, слово не дается... по одной доскѣ идешь.

— Прямолинейный—хотѣла ты сказать?

— Да... ты не обижайся, Ваня! Господи! Будь у меня хоть маленькій талантъ... только настоящій... Что можетъ быть лучше сцены?

— Весьма многое!

— Ахъ, полно! Гдѣ же—скажи ты мнѣ, пожалуйста,—можетъ женщина такъ жить, чтобы духъ захватывало? Выше не можетъ быть наслажденія: увлекать публику. И самой забывать все, превращаться въ то лицо, которое создаешь!

Надя съ дѣтства отличалась тѣмъ, что очень складно говорила, съ отчетливой дикціей, контральтовымъ голосомъ. Заплата давно соглашался, что она „рѣчиство“ его.

— Полно, такъ ли, Надя?—остановилъ онъ ее.—Это міръ—ужасный. Весь—изъ фальши и непомѣрнаго тщеславія.

— Не знаю, милый! Можетъ, оно и такъ; но только искусство—и всего больше сцена—въ состояніи такъ владѣть тобою.

— Это еще не высшая задача.

— Ахъ, полно! Ты все про задачи. Ну, разберемъ это и съ другой стороны. Ты сочувствуешь свободному труду женщины... чтобы она была вполнѣ самостоятельна?

— Еще бы!

— Ну, и отвѣтъ мнѣ: въ какой карьерѣ она можетъ достигъ того, чего достигается на сценѣ. А? Въ какой? Ни въ какой! Ни медичкой, ни учительницей, ни писательницей она на первомъ планѣ не будетъ.

— Кто это сказалъ?

— Да оно такъ, Ваня. Мужчины вездѣ стоятъ выше. Чтò же противъ этого спорить? Возьми ты литературу... за границей и у насъ... за сто лѣтъ. Ну, двѣ-три женщины, много пять—и обчелся, чтобы занимала въ свое время первое мѣсто. А на сценѣ?... Онѣ царятъ!

— Положимъ.

Заплатинъ соглашался; но ему становилось почему-то жутко отъ того—въ какую сторону шли мысли и мечты его невѣсты.

— Даже и не въ главныхъ роляхъ... Вчера та, что Машу играла... Тебя самого какъ она растрогала, а ты видѣлъ во второй разъ.

— Чудесная натура!

— Ну, хорошо... А такая натура — вообрази ее учительницей или медичкой, что-ли... Она просто будетъ нервная госпожа, какихъ сотни... Да чтò говорить!..

Надя поднялась и стала ходить по комнатѣ.

Заплатинъ слѣдилъ за ней глазами. Ея стройная фигура болыхалась въ длинномъ пальто, которое она надѣла сверхъ юбки. Голову она немного откинула назадъ и правой рукой поводила въ воздухѣ.

Онъ любовался ею.

— Гдѣ же быть, въ другой работѣ — коли уже говорить только о работѣ, о профессіи—Дузе, или Ермоловой, или другой какой артисткой, въ тѣ года, когда она владѣетъ публикой? Ты скажешь—это все тщеславіе, погоня за славой! Ну, прекрасно. Возьми трудовую сторону. Первая артистка на театрѣ получаетъ больше мужчины.

— Потому что у нея туалеты.

— Положимъ. Но еслибъ и съ даровымъ гардеробомъ—она получала бы больше... вездѣ. Тутъ, Ваня, не въ жадности дѣло, а въ томъ, что ты—не то что на равной ногѣ съ товарищами-мужчинами, а первый между ними — и никто не посмѣетъ это оспаривать!

— Согласенъ!

— Нѣтъ, выше нѣтъ дороги! И еще разъ скажу: будь у меня хоть не важный, да настоящій талантъ...

Надя не договорила и присѣла къ самовару.

— Ну, да объ этомъ что же мечтать!

И она стала его разспрашивать объ университетѣ,—кого ви-
даетъ изъ старыхъ товарищей, изъ настоящихъ своихъ одно-
курсниковъ.

— Знаешь что, Ваня,—сказала она ему тутъ же,—я вижу,
что ты точно въ чужомъ университетѣ себя чувствуешь...
Такъ ли это?

— Немножко такъ,—грустно вымолвилъ онъ.—Есть такая
оперетка... кажется „Рипъ“ называется. Такъ тамъ человѣкъ
сто лѣтъ спалъ мертвымъ сномъ—и вдругъ появился среди своихъ
земляковъ... Не то, чтобы совсѣмъ, а въ родѣ этого и я испытываю...

— А какъ рвался!.. Точно въ землю обѣтованную.

— Что же все обо мнѣ... Вотъ тебѣ-то надо своего до-
биться.

— Чуетъ мое сердце, что у меня этотъ годъ зря пройдетъ.

— Не сокрушайся. Если не удастся сразу поступить... все-
таки даромъ зима не пройдетъ... А тамъ и я—вольный казакъ.

Онъ протянулъ къ ней объ руки и влюбленно глядѣлъ ей
въ глаза, желая привлечь къ себѣ.

Надя сначала оглянулась на дверь, потомъ дала себя обнять.

— Я и здѣсь точно подъ надзоромъ,—сказала она полу-
шопотомъ. — А въ общежитіе поступлю... тогда еще строже
будетъ.

— Обойдется, милая!

И почему-то имъ обоямъ стало грустно. Ни въ ней, ни въ
немъ не было того настроенія, какое могло бы быть.

Почему-то не болталось о тысячахъ вещей, точно они боя-
лись коснуться чего-нибудь, на чемъ не сойдутся; а спорить не
хотѣли.

— Пора мнѣ идти!—сказалъ онъ, вставая.

VII.

На курсы Надю не приняли—за недостаткомъ свободныхъ
вакансій.

Заплатинъ ожидалъ этого; но все-таки сильно огорчился;
больше, чѣмъ она сама.

— На будущій годъ примутъ! Не бѣда, Ваня!—повторяла
она.

Но возвращаться домой сейчасъ же она не желала.

Да и ему была бы тяжела эта разлука, хотя про себя, рас-

кидывая такъ и этакъ, онъ спрашивалъ: „что же она здѣсь будетъ дѣлать?“

Насчетъ „коллективныхъ уроковъ“ она ничего еще не рѣшила; но что-то у нея въ головѣ бродитъ, до чего она его еще не допускаетъ.

И это начало его полегоньку глотать; но онъ не считалъ себя вправѣ допрашивать ее.

И все на одной и той же недѣлѣ случился еще непріятный для него „инцидентъ“.

Надя сразу стала „обожать“ театръ, гдѣ они видѣли пьесу, изъ-за которой у нихъ произошелъ первый крупный споръ.

Давали вещь того же автора, написанную въ такихъ же потахъ.

Онъ опять восхищался актрисой, что играла тогда неудачницу, льющую водку. И тутъ она неудачница, еще болѣе жалкая; но молодая, трепетная, съ несчастной страстной любовью, обреченная прозябать въ глуши, работая, какъ крѣпостная, на своего фразѣра, бездарнаго отставного профессора.

Они оба восторгались этой исполнительницей; вмѣстѣ и всплакнули въ одномъ мѣстѣ.

И вотъ на этомъ спектаклѣ, въ фойе, съ ними повстрѣчался Эліодоръ Пятовъ.

Онъ еще издала „воззрился“ въ Надю, первый подошелъ, попросилъ Заплатина представить его.

Нельзя же было не познакомить! Эліодоръ, сейчасъ же распустивъ свой павлиній хвостъ, пригласилъ присѣсть, началъ угощать Надю, расспрашивать про ея планы.

Они съ ней и въ публикѣ на „ты“.

Пятовъ освѣдомился—не сестра ли она или кузина, и Надя тотчасъ же объявила, что они—женихъ и неvěста.

— Вотъ видите, какой Заплатинъ скрытный!—вскричалъ Эліодоръ.—Мы съ нимъ старые товарищи, а онъ—молчокъ! Хотя бы какой намекъ на то, что онъ у себя тамъ нашелъ свою судьбу!

И въ слѣдующемъ антрактѣ Эліодоръ опять поймалъ ихъ.

Надя нашла его „интереснымъ“, совсѣмъ не похожимъ на купчика.

Онъ узналъ, что она мечтала о новыхъ курсахъ, но врядъ ли удастся поступить.

И до тѣхъ поръ Пятовъ не отсталъ отъ нихъ—они даже опоздали на послѣдній актъ—пока не взялъ слова съ Нади, что она какъ-нибудь на дняхъ „удостоитъ“ его посѣщеніемъ, вмѣстѣ съ женихомъ.

— Вотъ когда Заплатину нужно будетъ ко мнѣ, насчетъ работы—и пожаловали бы съ нимъ вмѣстѣ позавтракать.

И, обращаясь къ нему, онъ добавилъ:

— Только наканунѣ, голубчикъ, дайте мнѣ знать.

Заплатину было сильно не по душѣ, что Надя согласилась, а она, послѣ театра, когда они возвращались на извозчикѣ, стала ему говорить:

— Ты на него слишкомъ уже строго смотришь, Ваня. Онъ вовсе изъ себя не корчитъ хозяина... принципала, какъ ты называешь. Тонъ съ тобой совсѣмъ товарищескій. И такая прекрасная работа. Ея на улицѣ не найдешь.

На другой день она вернулась къ знакомству съ Эліодоромъ и спросила его:

— А развѣ ты, Ваня, не могъ бы позволить мнѣ взять на себя что-нибудь изъ твоей работы?.. Переводить отрывки, которые ты отмѣтишь полегче.

— По-англійски ты не знаешь.

— Вѣдь будутъ выписки и съ другихъ языковъ?

А когда она получила отказъ по курсамъ—Надя опять заговорила о томъ,—съ какой бы охотой она стала ему помогать.

— Пока мы рѣшимъ, какъ мнѣ толковѣе провести зиму—это было бы самой подходящей работой.

Онъ ничего не возражалъ. Можетъ, онъ и самъ бы ей предложилъ попробовать себя въ переводахъ тѣхъ отрывковъ, какіе онъ давалъ бы ей; но для него точно воль въ горлѣ было это знакомство съ Эліодоромъ и приглашеніе его пожаловать къ нему „откупать“.

Третьяго дня она ему напомнила:

— Когда же мы къ твоему Эліодору? Неловко такъ оттягивать.

Онъ долженъ былъ дать ей слово, что напишетъ ему въ тотъ же день.

Сегодня онъ весь самъ не свой, съ утра. Въ двѣнадцатомъ часу онъ долженъ зайти за Надей и вести ее туда, на Садовую, за Илью Пророка, въ хоромы своего однокурсника принципала.

Надя объявила хозяйкѣ, что остается у нея только до конца мѣсяца. На курсы она не попала, стало-быть нѣтъ ей и никакого резона подчиняться разнымъ строгостямъ этого „полуобщества“—какъ она называла эти комнаты.

А тѣмъ временемъ она подыщетъ себѣ что-нибудь по близости.

Ея отецъ далъ ей „carte blanche“. Если она и не попадетъ на курсы — пускай осмотрится и выберетъ себѣ — что ей „по душѣ“.

Онъ нашелъ Надю въ большомъ туалетѣ. Никогда еще не видалъ онъ ее такой нарядной. Видно было, что и своей прической она занималась, какъ никогда.

— Вотъ ты какъ расфрантилась! — не воздержался онъ.

— А тебѣ это не нравится? Съ какою же стати очень прибѣдливаться? Онъ все-таки купецъ. Такимъ надо показывать, что въ ихъ капиталахъ не нуждаются!

— Но вообще... я не вижу большого смысла во всемъ этомъ.

— Въ чемъ, Ваня? Въ моемъ знакомствѣ съ Пятовымъ! Ха, ха! Да мы не ревнуемъ ли?

— Вовсе нѣтъ.

Онъ немного покраснѣлъ.

— Ты не знаешь этого народа. Это не что иное, какъ желаніе обласкать... въ покровительственномъ духѣ.

— Вовсе нѣтъ! Какъ тебѣ не стыдно? Человѣкъ узналъ, что я — твоя невѣста. Ты съ нимъ товарищъ... Что же можетъ быть естественнѣе?

— Но онъ живетъ не съ матерью, а одинъ, на холостой ногѣ.

— Такъ что жъ изъ этого! Ваня, я тебя не узнаю... Ты точно классная дама какая-то... Право! А еслибъ кто изъ твоихъ товарищей пригласилъ насъ къ себѣ чайку напиться — развѣ бы ты сталъ разбирать: женатъ онъ или нѣтъ?

— Большая разница — въ отѣнкѣ.

— Ты опять скажешь: принципаль, патронъ, хозяинъ! Но вѣдь этого же нѣтъ. Если хочешь правды — ты съ нимъ гораздо больше держишь себя — знаешь, какъ у насъ говорятъ — „неглижъ съ отвагой“, чѣмъ онъ. На его мѣстѣ я бы давно обидѣлась.

— Это необходимо! Это — моя система. Пойми ты это.

— Понимаю... Но, все-таки, нѣтъ причины, Ваня, ему манкировать.

— Человѣкъ сильный въ губерніи! Ха, ха!

Возгласъ былъ съ язвой. Онъ, въ первый разъ, поймалъ себя на этомъ, и, боясь, чтобы не вышло опять непріятнаго спора, — сталъ торопить Надю ѣхать.

Дорогой они мало говорили.

И похоже было на то, что они немножко дуются другъ на друга.

Когда стали подъѣзжать къ тѣмъ мѣстамъ, гдѣ домъ Пятова, Заплатинъ называлъ ей разныя „урочища“: онъ всегда употреблялъ этотъ терминъ, говоря о разныхъ характерныхъ мѣстностяхъ Москвы.

— Видишь... бельведеръ-то высится въ воздухѣ?—указалъ онъ ей рукой, когда они выѣхали на Садовую.—Это и есть палаты Эліодора Кузьмича Пятова.

— Что жъ! Красиво! И какъ стоятъ живописно! Неужели онъ одинъ занимаетъ такой домъ?

— Одинъ... Маменька гдѣ-то спасается.

— И ни сестеръ, ни родственницъ?

— Никого.

— Обыкновенно вѣдь въ такихъ богатыхъ домахъ живутъ всѣя старушки въ заднихъ комнатахъ.

О купеческихъ повадкахъ Надя не стѣснялась шутить съ Заплатинымъ, какъ бы не считая его купцомъ. Да и въ ихъ городѣ на его мать смотрѣли какъ на „образованную“ и помнили, что она была чиновничья дочь.

Но ея отецъ и всѣ ихъ знакомые любили пройтись насчетъ купеческихъ нравовъ.

Здѣсь, въ Москвѣ, такіе вотъ „купчики-голубчики“, какъ хоть бы этотъ самый Эліодоръ—совсѣмъ другого сорта. Видно, что они давно начинаютъ ставить себя „на линію дворянъ“.

И этотъ первый визитъ въ „хоромы“ Пятова немного волновалъ Надю.

Когда ихъ извозчичья пролетка выѣхала въ ворота и поднялась къ барственному подъѣзду,—она ощутила стѣсненіе; но не желала ничѣмъ выдать себя ни передъ женихомъ, ни передъ хозяиномъ дома.

Въ такихъ „хоромахъ“ она еще не бывала. Въ губернскомъ городѣ самыя роскошныя дома, куда она попадала, были Дворянское Собраніе, губернаторскій домъ и домъ самаго большого мѣстнаго богача, гдѣ она, въ залѣ, что-то продавала на благотворительномъ базарѣ, тотчасъ по выходѣ изъ гимназій.

Ливрейный швейцаръ почтительно снялъ съ нихъ верхнее платье. Видно было, что ему былъ уже данъ приказъ насчетъ приглашенныхъ къ завтраку „особъ“.

И на верхней площадѣ лакей въ бѣломъ галстухѣ растворилъ дверь и попросилъ ихъ въ кабинетъ Эліодора Кузьмича.

Пятовъ встрѣтилъ ихъ по срединѣ комнаты и сейчасъ же подошелъ къ Надѣ и сталъ крѣпко пожимать руку.

Заплатину онъ кинулъ товарищески:

— Здравствуйте!

И рукопожатіе было совсѣмъ не такое усиленное.

— Если угодно,—приступимъ къ завтраку. Appetitъ есть?—спросилъ онъ игриво у Нади.

— Не скрываю, Эліодоръ Кузьмичъ,—есть.

— Милости прошу.

Онъ повелъ ихъ въ столовую, предложивъ руку Надѣ. Заплатинъ шелъ позади.

У закусочнаго стола хозяинъ накладывалъ Надѣ на тарелочки всякой снѣди, начиная съ свѣжей икры, и настаивалъ, чтобы она отвѣдала хоть „капельку“ выписанной изъ Кіева рябиновой настойки.

Заплатину онъ раза два сказалъ:

— Кушайте, голубчикъ, кушайте!

Надя была особенно въ ударѣ, зато ея женихъ—молчаливѣе обыкновеннаго,—и она даже разъ-другой поглядѣла на него, какъ бы желая сказать:

„Полно тебѣ дуться, Ваня!“

Явилось вино въ бутылкахъ, положенныхъ въ корзины, на парижскій фасонъ. И опять особыя вилки для раковъ, на этотъ разъ уже не рѣчныхъ, а морскихъ, и даже не омаровъ, а лангустъ.

„Скрозъ“ подавали и шампанское. Пятовъ предложилъ здоровье „дорогой гостѣ“, а потомъ и здоровье „обрученныхъ“.

Эти любезности не трогали жениха. Онъ сказалъ на ту и другую здравицы: „Спасибо, Пятовъ“, и даже не предложилъ здоровье самого хозяина.

Это сдѣлала Надя и въ такой милой формѣ, что Пятовъ покраснѣлъ какъ піонъ, всталъ и произнесъ даже нѣчто въ родѣ спича.

Вино заиграло и на щекахъ Нади. Ея большіе и длинные глаза съ удивительными рѣсницами заискрились. Она весело болтала и такъ просто, по-товарищески, точно она давно знаетъ хозяина, какъ товарища своего жениха.

Заплатинъ не хотѣлъ попасть имъ въ тонъ, и для такого завтрака былъ слишкомъ хмуръ.

— Вы знаете, Эліодоръ Кузьмичъ,—начала Надя, допивая свой стаканчикъ шампанскаго,—я теперь вольный казакъ!

— Въ какомъ смыслѣ, Надежда Петровна?—все такъ же игриво спросилъ Пятовъ.

— На курсы я не попала. Надо ждать до будущаго года.

— Будто это такое несчастье? Заплатинъ, что вы скажете?

— Неудача большая. Цѣлый годъ пропадетъ. Не шутка.

— Ну да, конечно. Но развѣ Надежда Петровна такъ уже твердо опредѣлила свою жизненную дорогу?

— Элиодоръ Кузьмичъ!—остановила Надя Пятова.—Не касайтесь этого пункта! Заплатинъ и безъ того сегодня, видите, какой хмурый. Для него всѣ должны быть: мужчины — студентами, дѣвушки — курсистками. Ха, ха!

И дотронувшись пальцемъ до локтя Заплатина, сидѣвшаго справа отъ нея, она приласкала его взглядомъ.

— Ваня! Ты не сердись! Виновать хозяинъ... и его шампанское.

— Позвольте, еще налью!

Пятовъ протягивалъ бутылку.

— Нѣтъ, не могу... И такъ я слишкомъ много выпила.

— Сколько я васъ понимаю, Надежда Петровна... вы не такъ ужъ объ этомъ сокрушаетесь... Да и въ самомъ дѣлѣ, — что же такое особенно соблазнительное въ званіи курсистки?

— Какое же другое есть средство получить серьезное образованіе?—спросилъ Заплатинъ.

— Какое? Мы съ вами, голубчикъ, знаемъ прекрасно, что лекціи — только отбываніе повинности.

— Какъ кому!

— На нашемъ съ вами факультетѣ — безъ сомнѣнія. Ну, рефераты — еще такъ; а собственно лекціи — трата времени... Десять-двадцать книгъ замѣнять вполне скучнѣйшія записки.

— Развѣ это не такъ, Ваня?—обратилась Надя къ жениху.

— Пожалуй, въ извѣстномъ смыслѣ; но для дѣвушки это совсѣмъ не такъ.

— Можетъ быть, у Надежды Петровны есть какое-нибудь влеченіе?—продолжалъ Пятовъ.—Съ ея наружностью... голосомъ...

— И прочее!..—добавила дурачливо Надя.—Прямо въ Дузы или въ Ермоловы? Ха, ха!

— А почему же нѣтъ?—горячо возразилъ Пятовъ.

— Пойдите, — остановилъ его Заплатинъ.—И тутъ нужна наука, выучка.

— Кто же говорить, что нѣтъ?—вскричалъ Пятовъ.—Въ Москвѣ цѣлыхъ два высшихъ заведенія. Курсы... при казенномъ училищѣ... и въ Филармоніи.

— Такъ и туда надо попасть, — съ нѣкоторой какъ бы грустью выговорила Надя.

— Въ училище — пріемъ труднѣе. Есть сроки, — продолжалъ Пятовъ, поглядывая на нихъ обоихъ. — Но въ Филармоніи... Если

только Надежда Петровна изъявить желаніе... въ совѣтъ у меня нѣсколько пріятелей... Съ вашими данными... вы гимназистка—если не ошибаюсь—съ медалью?

— Не ошибаетесь, Эліодоръ Кузьмичъ.

— Помилуйте!.. Это—пустое дѣло. Скажите слово, и я буду особенно счастливъ облегчить вамъ всѣ ходы и формальности.

— Страшно какъ-то, Эліодоръ Кузьмичъ...

Надя исподлобья взглянула на жениха.

Тотъ сидѣлъ съ низко опущенной головой и какъ бы не замѣтилъ этого взгляда.

Такой поворотъ разговора серьезно смущалъ его.

— Смѣлымъ Богъ владѣетъ! Право, такая дорога куда превосходнѣе того, что вамъ могутъ дать курсы!

Поднявшись, Эліодоръ провозгласилъ:

— За здоровье будущей драматической артистки Надежды Петровны Синицыной!

П. БОБОРЫКИНЪ.



НАЗВАННЫЙ ДИМИТРИЙ

НОВАЯ ПОСТАНОВКА ВОПРОСА О НЕМЪ.

Въ первыхъ годахъ XVII-го вѣка по всей Европѣ пронеслась молва о чудесномъ восшествіи на отцовскій престолъ царевича Димитрія. Генрихъ IV плѣнился сѣвернымъ героемъ; Рудольфъ II прочилъ ему въ невѣсты австрійскую эрцгерцогиню; Фердинандъ Тосканскій хлопоталъ о торговыхъ выгодахъ; въ Римѣ мечтали о соединеніи церквей и крестовомъ походѣ противъ турокъ.

Главный очагъ, гдѣ прославлялся Димитрій и откуда во всѣ стороны разносились извѣстія о немъ, былъ нѣкоторое время въ Краковѣ. Послѣ же майскаго погрома 1606 года стало преобладать мнѣніе, что Димитрій не былъ царскимъ сыномъ, а только искуснымъ проходимцемъ. Въ этомъ смыслѣ высказывались особенно нѣмецкіе, голландскіе и англійскіе писатели.

Съ теченіемъ времени накопилось такое множество сочиненій второй руки, что оно заслонило самыя древнія и важныя свидѣтельства о происшедшемъ. Настоящая статья представляетъ попытку разрѣшенія запутаннаго вопроса на основаніи современныхъ и документальныхъ данныхъ.

1.

1-го ноября 1603 года, папскій нунцій при польскомъ дворѣ, Рангони, имѣлъ аудіенцію въ Вавельскомъ замкѣ. Сигизмундъ III далъ ему первое извѣстіе о появленіи Димитрія, выдававшегося

за московскаго царевича, за сына Ивана Грознаго, и пребывавшаго тогда на Волыни у князя Адама Вишневецкаго. Изложивъ свои соображенія по этому поводу, король прибавилъ, что онъ обратился къ Вишневецкому съ требованіемъ объясненій о загадочномъ пришествіи.

Князь Адамъ исполнилъ данное ему порученіе и представилъ докладъ. Это самое раннее показаніе о Дмитріи имѣло въ исторіи странную участь. Впервые напечаталъ его Новаковскій, приурочивъ къ 1606 году, и тѣмъ самымъ обрекая его въ жертву научнаго пренебреженія. Н. И. Костомаровъ остановился на рассказѣ Товіанскаго, не замѣтивъ, что это—передѣлка доклада, и просто отбросилъ его, какъ черезчуръ легендарный и противорѣчившій истинѣ.

До какой степени докладъ Вишневецкаго пришелъ въ забвеніе между историками, видно изъ того, что въ 1895 году Археографическая Коммиссія напечатала нѣмецкій документъ, найденный г. Дворскимъ „въ архивѣ чешскаго города Индрихова Градца“, отнесла его ко второй половинѣ 1605 года, и отнюдь не догадалась, что вся первая часть этой „наиболѣе любопытной записки“ есть не что иное какъ почти буквальный переводъ княжескаго доклада.

Пора заняться этимъ документомъ, установить его происхожденіе, разобрать вѣшнюю обстановку, внутреннюю правдоподобность и указать подобающее ему по достоинству мѣсто.

Русскій историкъ долженъ здѣсь обратиться къ Ватиканскому архиву. Тамъ находится въ латинскомъ переводѣ едва ли не самый древній списокъ доклада, во всякомъ случаѣ одинъ изъ древнѣйшихъ. Его препроводилъ въ Римъ краковскій нунцій Рангони съ депешою, помѣченною 8 числомъ ноября 1603 года. Установленіе этой даты отмѣнно важно. Такимъ образомъ докладъ становится сразу первоисточникомъ и даже единственнымъ документальнымъ источникомъ того мнѣнія, что царевичъ Дмитрій былъ спасенъ въ Угличѣ. Всѣ аналогичные рассказы современниковъ относятся къ позднѣйшей эпохѣ, передаютъ только анонимные слухи и видимо основываются на текстѣ Вишневецкаго. Уже это одно обстоятельство выдвигаетъ докладъ на первый планъ.

Теперь спрашивается: кто былъ, собственно, авторомъ доклада и какъ онъ былъ составленъ? По словамъ Рангони, самъ Дмитрій рассказывалъ свою исторію Вишневецкому, а Вишневецкій только записывалъ его слова, такъ сказать, писалъ подъ его диктовку.

Сигизмундъ III придерживался того же мнѣнія, придавалъ докладу не малое значеніе и воспользовался имъ, чтобы извѣстить сенаторовъ о появленіи Димитрія и спросить ихъ совѣта объ этомъ дѣлѣ. Его окружное посланіе 15-го февраля 1604 года составлено по запискѣ Вишневецкаго. „Тотъ, который въ настоящее время выдаетъ себя за сына Иванова“, — пишетъ король, — „передаетъ слѣдующее: его учитель, человекъ благоразумный, замѣтивши, что умышляютъ на жизнь того, который порученъ былъ его опеку, взялъ — при появленіи тѣхъ, которые должны были убить Димитрія—другого младенца, отданнаго ему на воспитаніе, который ничего не зналъ объ этомъ обстоятельстве, и положилъ его въ постель Димитрія; такимъ образомъ, этотъ младенецъ, неузнанный, ночью въ постели былъ убитъ,— а того учитель укрывъ, потомъ отдалъ въ надежное мѣсто для воспитанія; подросши, уже по смерти учителя, онъ—для прикрытія себя—поступилъ въ монахи и затѣмъ отправился въ наши предѣлы; отсюда, признавшись и объявивши, что онъ сынъ великаго князя, отправился къ князю Адаму Вишневецкому, который далъ намъ знать о немъ“... Правда, нѣкоторыя обстоятельства, какъ увидимъ ниже, сглажены и переданы неточно, все же существенное заимствовано изъ доклада.

Сенаторы немедленно откликнулись на королевское посланіе. До насъ дошли десятка два такихъ писемъ, собственноручныхъ или, по крайней мѣрѣ, съ собственноручною подписью. Одна часть этихъ драгоценныхъ свидѣтельствъ находится въ Краковѣ, въ прелестномъ музеѣ князя Чарторыжскаго, и уже поступила въ научный оборотъ. Другая часть, самая важная, самая интересная, лежитъ еще въ Московскомъ Архивѣ министерства юстиціи и преспокойно ожидаетъ своей очереди явиться на бѣлый свѣтъ. Если не ошибаюсь, никто до сихъ поръ ею не воспользовался и не ссылался на нее.

Сравнивая отвѣты сенаторовъ, выводится заключеніе, что они, получивъ самый текстъ Вишневецкаго, были взяты врасплохъ. Никто изъ нихъ не имѣлъ частныхъ свѣдѣній о Димитріи. Все, что они о немъ знали, ограничивалось королевскимъ сообщеніемъ. Даже престарѣлый князь Константинъ Острожскій, которому былъ сдѣланъ особый запросъ, усердно отрецивался отъ Димитрія, и былъ ли „такъ себя называвшій князюкъ московскій“ въ монастыряхъ его патроната, этого онъ знать не зналъ и вѣдать не вѣдалъ. Исключеніе дѣлаетъ одинъ Янушъ Острожскій. Въ противоположность своему отцу, краковскій каштелянъ заявляетъ, что Димитрій ему извѣстенъ, что онъ проживалъ въ Дерман-

скомъ монастырѣ, а потомъ удалился къ анабаптистамъ. А кто онъ таковъ, Янушъ признается, что сказать не можетъ, по немѣннѣю никакихъ указаній.

Вообще, сенаторы отнеслись къ Димитрію съ недовѣріемъ. Особенно замѣчательно письмо плоцкаго епископа, Альберта Барановскаго. Онъ подчеркнулъ слабыя стороны доклада Вишневецкаго, вдумался въ обстоятельства дѣла и не упустилъ предостеречь Сигизмунда. „Этотъ московскій князикъ, — писалъ Барановскій королю 6-го марта 1604 года, — для меня очень подозрительная личность. Въ его исторіи есть весьма неправдоподобные факты. Во-первыхъ, какъ мать не узнала умерщвленнаго сына? Во-вторыхъ, къ чему было убивать еще тридцать дѣтей? Въ-третьихъ, какъ могъ монахъ узнать царевича Димитрія, котораго никогда не видѣлъ? Самозванство — вещь не новая. Бываютъ самозванцы въ Польшѣ, между шляхтою, при раздѣлѣ наслѣдства; бываютъ въ Валахіи, когда престолъ остается незанятымъ; были самозванцы и въ Португаліи: всѣмъ извѣстны привложенія такъ называемаго Севастіана. Потому безъ вѣскихъ доказательствъ полагаться на Димитрія не слѣдуетъ. Самое священное писаніе порицаетъ легковѣрныхъ, а донесенія шпіоновъ и свидѣтельство одного ливонца не имѣютъ никакого значенія“. — Такъ наставлялъ короля плоцкій епископъ, требуя вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы за Димитріемъ зорко слѣдили, не допускали бѣгства къ низовымъ казакамъ, и наконецъ, чтобы его подвергли строжайшему испытанію. Въ виду этой послѣдней мѣры, Барановскій посылалъ рядъ вопросовъ, которые выяснили бы сущность дѣла. Къ сожалѣнію, написанные на особомъ листѣ, эти вопросы не дошли до насъ.

При такомъ настроеніи умовъ не удивительно, если сенаторы отвѣчали королю уклончиво, и не рѣшались подсказывать рѣшительныхъ военныхъ мѣропріятій. Всѣ какъ бы предчувствовали, что затѣвается крупная исторія, а обстоятельства были темныя; по сбивчивымъ и сомнительнымъ даннымъ трудно было самому судить, а еще труднѣе — дать другому совѣтъ и вмѣшаться въ дѣло государственной важности. На первый взглядъ Димитрій казался хорошимъ заложникомъ, въ сношеніяхъ съ Борисомъ Годуновымъ можно было бы воспользоваться его грознымъ именемъ; но какъ, съ какими оговорками и предосторожностями, чтобы не навлечь войны на Польшу, — этого сенаторы ясно не видѣли и не сознавали. Нѣкоторые изъ нихъ ухитрились предложить двоякія мѣры, смотря по тому, докажетъ ли Димитрій, или нѣтъ, что онъ — истинный царевичъ. Янъ Остро-

рогъ изложилъ оригинальную мысль: назначить Димитрію пенсію и отправить его къ папѣ на жительство въ Римъ.

Такимъ образомъ, ничего путнаго не вытекало изъ сенаторскихъ писемъ. Только въ одномъ и очень трезвомъ мнѣніи было полное единогласіе: всѣ сенаторы требовали, чтобы дѣло Димитрія было предоставлено сейму и на немъ обсуждалось. Никто изъ нихъ не желалъ оставлять его на произволъ короля. Въ такой всенародной постановкѣ вопроса они видѣли политическую необходимость, а нѣкоторые прибавляли, что сохраненіе заключеннаго съ Годуновымъ въ 1602 году перемирія должно считать обязательнымъ и долгомъ совѣсти. Поэтому, если, въ августѣ 1604 года, Димитрій, собравъ войско, выступилъ въ походъ противъ Москвы, то отвѣтственность падаетъ на него самого, на Юрія Мнишка, на родныхъ и подручниковъ сандомирскаго воеводы, на короля, который тайкомъ имъ потворствовалъ. Польскій же народъ въ этомъ предпріятіи неповиненъ, большинство его представителей порицало двуличную политику Сигизмунда, и только очень, очень немногіе сенаторы одобряли ее, да и то тихомолкомъ. Это выяснилось на сеймѣ 1605 года: Рѣчь Посполитая не хотѣла потакать Димитрію.

Такова внѣшняя обстановка доклада. Этому официальному и, такъ сказать, государственному значенію не соответствуетъ внутренняя содержательность записки. Невольно припоминается мѣткое слово Льва Сапѣги: Димитрій сочинилъ свою исторію „хитро, но грубо“. Ужъ если сочинять, то почему не отбросить такіа нелѣпости, которыя всѣмъ бросаются въ глаза, даже незнакомымъ съ московскими порядками? Вышеупомянутый епископъ плочкій отлично подмѣтилъ три главныя неправдоподобныя черты доклада. Искусственность выдумки особенно ярко выдѣется въ разсказѣ о дѣтской рѣзнѣ. Легко предвидѣлось неизбежное возраженіе: если, вмѣсто Димитрія, убили другого ребенка, то какъ не замѣтить, что этотъ ребенокъ внезапно исчезъ? На это и дается заранѣе отвѣтъ: во время общей суматохи, разсвирѣпѣвшая чернь убила до тридцати дѣтей, — потому никто и не подумалъ дѣлать особаго розыска.

Замѣчанія Барановскаго совершенно основательны, но они сдѣланы второпяхъ. Онъ ухватился, и очень дѣльно, за верхушки; если поглубже вникнуть въ докладъ Вишневецкаго, то оказывается, что онъ содержитъ цѣлый рядъ завѣдомо ложныхъ фактовъ. Такъ, разсказывается, что Борисъ Годуновъ уговорилъ царя Ѳедора отказаться отъ управленія государствомъ и заключиться въ Кирилловскій монастырь, что не обошлось безъ казни

сторонниковъ слабоумнаго властелина. Далѣе, Годуновъ, будто бы, истребилъ вѣрныхъ слугъ, окружавшихъ Димитрія, и замѣнилъ ихъ другими, болѣе податливыми. Наставникъ Димитрія догадался, въ чему все это клонится, положилъ въ постель Димитрія его „двоюроднаго брата“, который и былъ убитъ ночью безъ всякаго сопротивленія. Родство погибшаго съ Димитріемъ есть то обстоятельство, которое Сигизмундъ, какъ выше намекалось, упорно замалчивалъ,—уже оно одно выдавало несостоятельность записки. Поразительно также, что Димитрій очень безцеремонно себя самого считаетъ мальчикомъ умнымъ и смѣливымъ, а мнимаго своего отца обзываетъ тираномъ, сыноубійцей, прелюбодѣемъ, и безъ всякой нужды распространяется о его злодѣйствахъ и развратѣ.

Съ другой стороны, въ запискѣ встрѣчаются данныя, сами по себѣ несомнѣнныя, о которыхъ въ Польшѣ едва ли знали, и которыя даже въ Москвѣ не всѣмъ были извѣстны. Такова попытка Ивана Грознаго свататься въ Англію, хотя и не на королевѣ Елизаветѣ, а на дѣвицѣ Mary Hastings. Таковъ разсказъ о гибели малолѣтняго Иванова сына, утонувшаго въ Бѣлоозерѣ. Рядомъ съ фактами, которые выводятся на свѣтъ, другіе факты, и очень важные, осторожно скрываются. Особенно кака-то таинственность соблюдается насчетъ собственныхъ именъ. Какъ назывался наставникъ, спасшій Димитрія? Кому онъ при смерти передалъ своего царственнаго питомца? По какимъ монастырямъ скитался Димитрій? Все это остается неизвѣстнымъ: ни одно лицо не выдано, ни одна мѣстность не обозначена. Ничего также не говорится о розыскѣ, бывшемъ въ Угличѣ немедленно по убіеніи Димитрія. Митрополитъ Геласій и дьякъ Клешнинъ ѣздили туда, будто бы, только для похоронъ. Замѣчательно, что Василій Шуйскій, который игралъ первую роль при этой поѣздкѣ, оставленъ въ совершенномъ забвеніи.

Подводя итогъ всему сказанному, надо признаться, что докладъ Вишневецкаго не внушаетъ довѣрія, и является крайне подозрительнымъ произведеніемъ. Грубыя ошибки сочетаются съ малоизвѣстными данными. Повсюду выглядываетъ расчетъ, какъ бы увѣрить читателя въ спасеніи царевича и умолчать о тѣхъ, которые его спасли. Самые видные дѣятели, наставникъ Димитрія и его преемникъ, даже заблаговременно умираютъ. Повсюду выступаютъ искусственность и заднія мысли: за вѣрность разсказа, кромѣ самого разсказчика, никто рѣшительно не ручается.

Если же сообразить, при какихъ обстоятельствахъ составлена была записка Вишневецкаго, то отрицательное заключеніе просто

навязывается. Димитрій продиктовалъ ее при самомъ своемъ вступленіи на новое поприще. Успѣхъ зависѣлъ отъ болѣе или менѣе прочныхъ доказательствъ его царскаго происхожденія, а доказательства его слабы, ничтожны, невѣроятны. Значить, другихъ онъ не имѣлъ, а если онъ ихъ не имѣлъ, то ихъ вообще не было. Вотъ почему записку Вишневецкаго слѣдуетъ считать самымъ явнымъ, хотя и невольнымъ, обличеніемъ самозванства Димитрія.

II.

Если Димитрій не былъ сынъ Ивана Грознаго, то естественно возникаетъ вопросъ, кто же онъ былъ и за кого его почитать? Вопросъ вѣковой, который удобнѣе рѣшить или освѣтить по частямъ, нежели цѣликомъ.

Начнемъ издалека. Спросимъ сперва, какой національности былъ Димитрій? Полякъ или русскій? Сколько догадокъ, сколько мнѣній ни высказывалось по этому поводу! Дошло до того, что вѣкоторые выдавали Димитрія за трансильванца и побочнаго сына польскаго короля Стефана Баторія, ссылаясь при этомъ на признаки атаксизма, на неуеротимую страсть къ охотѣ того и другого. Но если такъ, то почему же Димитрію не быть сыномъ Ивана, который не менѣе Баторія увлекался охотой? Въ самое послѣднее время О. Ф. Вержбовскій заговорилъ о бородавкѣ Баторія. Она ярко выступаетъ на современныхъ медаляхъ. Опять сходство съ Димитріемъ: на томъ же мѣстѣ, у праваго глаза, тотъ же наростъ. Ужъ не атаксизмъ ли?

Признаюсь, что эти доводы меня не убѣждаютъ. Есть другія доказательства совсѣмъ иного рода и, по моему мнѣнію, большаго вѣса.

24-го апрѣля 1604 года, Димитрій обратился съ собственноручнымъ письмомъ къ папѣ Клименту VIII. Это было послѣ отреченія отъ православія: онъ желалъ заручиться покровительствомъ главы римской церкви и выставить себя усерднымъ католикомъ. Письмо написано по-польски, размашисто, на трехъ большихъ страницахъ. Оно было немедленно послано въ Римъ, представлено папѣ и перешло изъ Ватикана въ инквизицію, гдѣ обсуждалось дѣло о переходѣ Димитрія въ католичество. Въ архивѣ этого вѣдомства оно и пролежало цѣлыхъ три столѣтія, и только недавно, по милостивому разрѣшенію папы Льва XIII-го, сдѣлалось достояніемъ науки.

Съ появленіемъ этого памятника назрѣла новая задача чисто

филологическаго свойства, которую можно такъ формулировать: по данному собственноручному письму на польскомъ языкѣ, съ характерными отступленіями, опредѣлить національность автора письма.

За трудный подвигъ взялись присяжные археографы, и, должно сказать, свою задачу они разрѣшили блистательно. Самыя выдающіяся работы принадлежать перу И. А. Бодуэна-де-Куртенэ и С. Л. Птапицкаго. Они сдѣлали полнѣйшій, въ строгомъ смыслѣ научный, разборъ письма, его внутренней и вѣшной стороны, въ лексическомъ, стилистическомъ, синтаксическомъ, грамматическомъ и графическомъ отношеніи. Каждое предложенье, каждое слово, каждая буква подвергались проницательному разсмотрѣнію. Оба ученые, несмотря на нѣкоторыя разногласія, пришли къ тождественнымъ выводамъ.

О внутренней сторонѣ письма С. Л. Птапицкій отзывается слѣдующимъ образомъ: „Подробное разсмотрѣніе внутренней стороны языка письма не можетъ не привести насъ къ заключенію, что составитель письма свободно владѣлъ польскимъ языкомъ. У него мы находимъ богатый лексическій запасъ чисто польскихъ словъ, легкое пользованіе синонимами, синтаксическую правильность съ хорошимъ запасомъ чисто польскихъ идиотизмовъ, которыми онъ умѣло пользуется, въ флексіи замѣчаемъ привычку въ пользованіи специально польскими грамматическими формами, а въ правописаніи—практическое знакомство съ графикой, не заставляющее его рабски держаться установившихся правилъ книжнаго правописанія. Всѣ эти соображенія приводятъ насъ къ заключенію, что составитель письма совершенно свободно и правильно владѣлъ польскою литературною рѣчью“.

Совсѣмъ иначе представляется вѣшняя сторона письма. „Всѣ эти свойства написанія, — говоритъ тотъ же С. Л. Птапицкій, — указываютъ, что лицо, писавшее письмо, знакомо было съ латинской графикой, но не имѣло навыка въ польскомъ письмѣ, оно почти на каждомъ шагѣ останавливалось и дѣлало самыя элементарныя ошибки, и что для переписки польскаго текста оно прилагало весьма много усилій, не увѣнчавшихся хорошимъ успѣхомъ“. — „Кромѣ этихъ ошибокъ общаго характера, въ письмѣ имѣются такія спеціальныя ошибки, которыя прямо указываютъ на національность переписчика и школу, изъ которой онъ вышелъ“.

А вотъ окончательный выводъ: „Въ виду такой двойственности—хорошаго текста и плохой переписки—приходится, не колеблясь, заключить, что составитель письма и его перепис-

чикъ—двѣ разныя личности, что Самозванецъ переписывалъ готовый текстъ, составленный для него лицомъ, опытнымъ въ польскомъ языкѣ. Такъ какъ письмо это переписано и подписано собственноручно самимъ Самозванцемъ, то оно свидѣтельствуешь, что Самозванецъ былъ лицомъ великорусскаго происхожденія, опытнымъ въ письмѣ московскаго характера и притомъ типа письма канцеляріи Сутунова, вмѣстѣ съ тѣмъ не чуждъ былъ греческой грамотѣ, но не имѣлъ навыка въ польской рѣчи и съ трудомъ овладѣвалъ польскою графикой“.

Филологическій приговоръ С. Л. Птапицкаго вполне подтверждается исторической обстановкой. На нее почтенный авторъ не обращалъ вниманія, что придаетъ его мнѣнію еще болшую самостоятельность. Обстановка не была внушительная. Письмо Дмитрія къ Клименту VIII помѣчено 24-мъ числомъ апрѣля 1604 года, но писано оно нѣсколько раньше, въ Свѣтлое Воскресеніе. Наканунѣ Дмитрій присутствовалъ на обѣдѣ Рангони въ самомъ помѣщеніи нунціатуры, пріобщился св. Таинъ и былъ муропомазанъ. Замѣтимъ мимоходомъ, что муропомазаніе было излишне. Въ русской церкви, какъ и въ греческой, оно дается при крещеніи, а повторенія этого таинства не допускается. Какъ итальянецъ, нунцій, очевидно, не былъ знакомъ съ чужими обрядами. Между тѣмъ, новый католикъ былъ окруженъ москвичами, которые зорко слѣдили за нимъ и, желая сохранить тайну своего обращенія, Дмитрій въ день пасхальнаго праздника не пошелъ на богослуженіе, а сидѣлъ дома и готовилъ письмо къ папѣ. За эту работу онъ взялся не самолично и одиночкой; по словамъ Рангони, ему помогалъ отецъ Савицкій, который потомъ и перевелъ письмо, хотя не совсѣмъ дословно, на латинскій языкъ.

Здѣсь кроется объясненіе той двойственности, которую подмѣтилъ С. Л. Птапицкій. Проповѣдникъ и писатель, Савицкій слылъ за образованнаго человѣка. Онъ-то и былъ опытное лицо, отлично владѣвшее польскимъ языкомъ и знавшее всѣ его тонкости. Ему, безъ сомнѣнія, принадлежит сложеніе письма или, по крайней мѣрѣ, польскаго текста, при чемъ Дмитрій исполнялъ только матеріальную работу переписыванія. Мало привычной рукою онъ сталъ чертить польскія письма и сперва сравнительно хорошо, но вскорѣ онъ утомился, началось передѣлываніе буквъ, его сбивала московская фонетика, невольнo являлись московскія формы. Сотрудничествомъ Савицкаго объясняется также выборъ польскаго языка. Еслибы Дмитрій писалъ по-русски, то его духовный отецъ не могъ бы ему помочь.

На основаніи всего вышесказаннаго, можно смѣло утверждать, что Дмитрій не былъ ни малоруссомъ, ни литвиномъ, ни трансильванцемъ, что онъ не только проходилъ русскую школу, но что онъ на самомъ дѣлѣ былъ великорусскаго происхожденія. Если вспомнить еще свидѣтельство полковыхъ священниковъ Дмитріева войска, Николая Чижевскаго и Андрея Лавицкаго, то вопросъ о національности Самозванца окажется безповоротно рѣшеннымъ. Когда, въ порывѣ усердія, Дмитрій вздумалъ учиться въ Путивлѣ, оба іезуита стали ему преподавать по-польски реторику и философію, а москвичъ переводилъ ему уроки по-русски, и это не потому, что Дмитрій не понималъ польскаго языка, но чтобъ лучше и легче усвоивать себѣ уроки. Важное, компетентное свидѣтельство, сдѣланное безъ всякаго расчета.

Опредѣливъ національность Дмитрія, спросимъ далѣе, къ какому сословію онъ принадлежалъ или, лучше, въ какой средѣ онъ вращался передъ бѣгствомъ въ Польшу? При такой обширности вопроса единогласіе источниковъ совершенно убѣдительно. Самъ Дмитрій говорилъ князю Адаму Вишневецкому въ 1603 году и писалъ папѣ Клименту VIII-му 24-го апрѣля 1604 года, что онъ долгое время скитался по монастырямъ. Всѣ русскіе источники выводятъ его изъ той или другой обители. По польскимъ источникамъ, онъ является въ Кіевѣ въ базилианской рясѣ. Было бы излишне настаивать на этомъ фактѣ, представленномъ въ такомъ видѣ.

Замѣтимъ только, что даже въ образованіи и въ рѣчахъ Дмитрія проглядываетъ церковно-монашескій элементъ. О первыхъ его преніяхъ въ Самборѣ съ бернардиномъ Анзеринимъ, Францискомъ Помаскимъ и Юріемъ Мнишкомъ ничего въ особенности неизвѣстно; зато въ Краковѣ, при свиданіи съ іезуитами Савицкимъ и Гродзицкимъ, наглядно ~~оказался~~ бывшій монастырскій питомецъ. Ему были по силамъ такіе вопросы, какъ римское папство и его власть, исхожденіе Святого Духа, двоякая обрядность причастія. Вѣтхій и особенно Новый Заветъ онъ усердно читывалъ и удержалъ довольно многое. Однажды онъ пожелалъ получить изъ рукъ Поссевина священное писаніе на русскомъ языкѣ. Монашескій бытъ былъ ему знакомъ вдоль и поперекъ, и объ этомъ предметѣ онъ охотно толковалъ. Къ черницамъ онъ относился отрицательно, не только ихъ недолюбливалъ, но даже сурово порицалъ, считалъ ихъ невѣждами, упрекалъ въ развратѣ, задумывалъ коренное монастырское преобразование и въ Путивлѣ совѣтовался объ этомъ съ іезуитами. Въ

его словахъ слышалась какая-то горечь, какъ будто онъ имѣлъ личные счеты съ монахами.

Итакъ, Димитрій—великоруссъ, побывавшій въ монастыряхъ. Но кто онъ? Какимъ именемъ его называть?

III.

Обычный приѣмъ критики—обращаться къ свидѣтелямъ, которые могутъ знать истину и хотять ее высказать, и взаимно провѣрять такого рода показанія. До нѣкоторой степени это возможно насчетъ личности Самозванца.

Въ январѣ 1605 года патріархъ Іовъ въ извѣстной своей грамотѣ впервые обличилъ Димитрія и назвалъ его Гришкою Отрепьевымъ. За патріархомъ стоялъ Борисъ Годуновъ. Это было официальное мнѣніе московскаго правительства, торжественно обнародованное, обставленное подробностями о бѣгствѣ и жизни самозванца, данное въ такихъ обстоятельствахъ, когда Годунову было чрезвычайно важно бросить въ народъ настоящее имя грозно наступающаго врага.

Н. И. Костомаровъ свѣлся съ мыслью, что Димитрій былъ названъ Отрепьевымъ наугадъ. Надо было выставить опредѣленное имя; узнали, что сбѣжалъ какой-то Гришка Отрепьевъ,—такъ и назвали Самозванца. Но доказательства, приведенныя авторомъ, слабы, и принять ихъ нельзя. Онъ ссылается на посольство Смирного Отрепьева, дяди Гришки, который, будто бы, не смѣлъ заикнуться о своемъ племянникѣ въ Краковѣ. Такъ заявляли паны въ переговорахъ съ боярами послѣ воцаренія Шуйскаго, но ихъ показаніе ложно. Русская лѣтопись, папскій нунцій, семейство Отрепьевыхъ—утверждаютъ совершенно противоположное. Рангони положительно говоритъ, что Смирной требовалъ очной ставки и общалъ признать Димитрія, если онъ истинный царевичъ, и обличить его, если онъ—самозванецъ. Понятно, что поляки отшатнулись отъ такого договора: Смирного отпустили ни съ чѣмъ.

Напрасно указываютъ также на посольство Постника-Огарева. Въ новѣйшее время взялъ на себя эту задачу Е. Н. Щепкинъ, пользуясь новымъ и цѣннымъ, имъ найденнымъ, матеріаломъ. Фактическая суть его разысканій такова. Огаревъ жаловался на Димитрія въ польскомъ севатѣ. Его слова возбудили всеобщій интересъ, и отдавая отчетъ о посольствѣ, Рангони пишетъ, что Димитрій—воръ, аріанинъ, колдунъ, отступникъ, сынъ

сапожника; какіе-то датчане заявляютъ, что онъ—бывшій слуга архимандрита и сынъ писаря. Синдикъ Гансъ Кекербартъ отмѣчаетъ, что онъ—мужицкій сынъ, а другой безымянный свидѣтель дѣлаетъ изъ него „ein Diener eines Notarii des Archimetrita“. Замѣчательное разногласіе, а источникъ единственный и тотъ же самый: передаются постоянно яко бы рѣчи московскаго гонца. Изъ этого слѣдуетъ, что иностранцы запутались въ показаніяхъ Огарева; пожалуй, онъ самъ наговаривалъ на Дмитрія, — вѣдь выдавали же его московскія грамоты одновременно за лютера, за католика и за жидовскаго поборника. Но чужіе промахи никакъ нельзя приписывать Годунову, тѣмъ болѣе, что въ наказѣ Огарева упоминается о Гришкѣ Отрепьевѣ безъ всякихъ оговорокъ. Къ слову сказать, черезчуръ поспѣшно другое заключеніе Е. Н. Щепкина, что настоящее имя Самозванца было Дмитрій Реоровичъ.

Нѣтъ, Борисъ Годуновъ и всѣ его сторонники, въ Москвѣ и за границею, съ начала до конца, твердили только о Гришкѣ Отрепьевѣ. Ужъ если признавать мгновенное колебаніе у Бориса Годунова, то оно было совсѣмъ другого рода и выразилось въ письмѣ къ императору Рудольфу II. Буде названный Дмитрій, — писалъ Годуновъ, — истинный сынъ Ивана Грознаго, то и въ этомъ случаѣ онъ не имѣетъ права на престолъ, какъ рожденный вѣнъ брака. Здѣсь слышится тревожное настроеніе, проглядываетъ какая-то робость, которая, впрочемъ, скоро исчезаетъ. Напротивъ того, наказъ, данный войску подъ Кромами, не присягать вору, который называется Дмитріемъ, ничего не доказываетъ. Князь Иванъ Голицынъ говорилъ, что такое неопредѣленное внушеніе озадачило войско, но на самомъ дѣлѣ московское правительство выражаться иначе не могло. Ему было, конечно, извѣстно, что при Дмитріи находилось лицо, носившее имя Гришки Отрепьева, и потому прямое указаніе на врага было неизбѣжно.

Однако, переворотъ совершился. Москва преклонилась предъ Дмитріемъ, и онъ занялъ престолъ Мономаха. Немедленно возникаютъ крамолы, царскій вѣнецъ переходитъ отъ Дмитрія къ Василию Шуйскому, отъ Василя Шуйскаго къ Михаилу Романову. При этомъ ведется ожесточенная партійная борьба, которую отчетливо изобразилъ С. Ѳ. Платоновъ въ своемъ превосходномъ трудѣ о Смутномъ времени. Она же доставитъ намъ возможность провѣрки.

Царствованіе Дмитрія было время тревожное. Изъ писемъ Чижевскаго и Лавицкаго видно, что заговоры начались очень

скоро, вызывая карательныя мѣры. Уже въ февралѣ 1606 года свѣдущіе и опытные люди совѣтовали проѣзжимъ кармелитамъ отправиться поскорѣе въ Персію, потому что Димитрію не устоять противъ своихъ враговъ. А какъ созывались мятежники, какъ они сплочивались, подъ какимъ знаменемъ? Василій Шуйскій дважды возставалъ противъ Димитрія. О первой попыткѣ современники говорятъ глухо и не даютъ подробностей. Но во второй разъ, въ маѣ 1606 года, онъ ужъ открыто обличалъ самозванца Отрепьева. Конечно, на вѣроломнаго Шуйскаго положиться нельзя. Онъ, смотря по обстоятельствамъ, клятвенно утверждалъ то одно, то другое. Важно только то, что въ самый разгаръ московской анархіи, когда разбушевавшаяся чернь была на все готова, другой клочки не нашлось, кромѣ Гришки Отрепьева.

По вступленіи на престолъ, Василій Шуйскій остался навсегда при своемъ мнѣніи, что названный Димитрій—не кто иной, какъ Гришка Отрепьевъ. Всевозможные источники были ему доступны, доказать самозванство Димитрія было для него необходимо, однакожъ другого имени онъ не выставилъ, а присвоилъ себѣ возрѣніе Годунова. Вслѣдъ за нимъ всѣ официальные доброты стали вторить то же самое. Особенное вниманіе заслуживаетъ такъ называемый „Извѣтъ“ Варлаама.

Варлаамъ знаетъ, и между русскими онъ одинъ знаетъ, что Яковъ Пыхачевъ былъ казненъ въ Самборѣ. Это подтверждается письмомъ Юрія Мнишка къ нунцію Рангони; тѣмъ самымъ является и компетентность знающаго такой фактъ. Варлаамъ рассказываетъ, что они втроемъ покинули родину: Гришка Отрепьевъ, Мисаилъ Повадинъ и онъ, и что первая ихъ остановка послѣ Кіева была въ Острогѣ. Это опять подтверждается вещественнымъ доказательствомъ: въ Загоровскомъ монастырѣ, на Волини, хранился экземпляръ Василія Великаго, печатанный въ „друкарнѣ“ острожской и данный, какъ свидѣтельствуемъ надпись, княземъ Константиномъ „Григорию з братею съ Варлаамомъ, да Мисаиломъ“. Позднѣйшая прибавка „царевичу московскому“ не имѣетъ значенія и не колеблетъ выводовъ г. Добротворскаго, нашедшаго эту драгоценную книгу.

Наконецъ сравненіе „Извѣта“ съ запиской Вишневецкаго еще болѣе освѣщаетъ вопросъ. Между ними есть знаменательное совпаденіе. Димитрій такъ описываетъ свой путь: Острогъ, Гошцы, Брагимъ. Точно такъ же и въ томъ же порядкѣ Варлаамъ обозначаетъ Острогъ, Гошцы и Брагимъ какъ поочередное мѣсто пребыванія Димитрія. Невозможно предположить, что они забла-

современно сговорились, а выходитъ такъ, что темный, переходный пунктъ въ исторіи Димитрія излагается у обоихъ одинаково. Можно сдѣлать слѣдующее заключеніе: лицо, коронованное въ Москвѣ въ 1605 году, тождественно съ лицомъ, бывшимъ въ Острогѣ, Гощахъ и Брагимѣ; но это послѣднее лицо тождественно съ Гришкою Отрепьевымъ; остается признать, что Димитрій тождественъ съ Отрепьевымъ.

Такое мнѣніе держалось во все время царствованія Василія Шуйскаго, и послѣ него, когда Романовы ужъ были на престолѣ, оно опять воспроизводилось. Выдающимся представителемъ этого направленія является князь Иванъ Михайловичъ Катыревъ-Ростовскій. Современникъ смуты, человекъ родовитый, женатый въ первомъ бракѣ на дочери Ѳедора Никитича Романова, сосланный на воеводство въ Сибирь при Шуйскомъ, вернувшійся въ Москву въ 1613 году, привлеченный къ дѣламъ, часто бывавшій на царскихъ обѣдахъ, онъ находился въ самыхъ счастливыхъ условіяхъ, чтобъ вывести на свѣтъ истину. Его повѣсть, — какъ говорить С. Ѳ. Платоновъ, — „выдѣляясь изъ ряда современныхъ ей историческихъ повѣствованій своими литературными достоинствами, заставляетъ видѣть въ ея авторѣ талантливаго и образованнаго человека“. Есть у него и значительная доля безпристрастія: онъ вообще не стремится проводить свои взгляды, но ставить себѣ задачей изображеніе событій. Конечно, Бориса Годунова онъ не жалуется, но признаетъ его достоинства; Василія Шуйскаго онъ не щадитъ, однакожъ и не обрушается на него. Только когда рѣчь заходитъ о „проклятомъ Разстригѣ“, онъ и по тону, и по содержанію сближается съ прочими обличителями самозванства. Исторію Димитрія онъ изучилъ самостоятельно, у него есть кой-какія черты, которыхъ нѣтъ у другихъ, но въ главномъ онъ придерживается завѣтнаго приговора, что Димитрій — бѣглый монахъ, по имени Гришка Отрепьевъ.

Вслѣдствіе такой обстановки, ходячее между книжниками, официальное мнѣніе, подкрѣпленное церковной анаемой, глубоко вкоренилось въ народѣ. Въ этомъ отношеніи весьма поучителенъ документъ, недавно изданный Е. Н. Щепкинымъ. Въ 1671 году семейство Отрепьевыхъ бьетъ челомъ царю Алексѣю Михайловичу. Они жалуются, что ихъ укоряютъ и поносятъ изъ-за Гришки Отрепьева, и это для нихъ тѣмъ обиднѣе, что они въ самозванствѣ совершенно неповинны, „ни къ какому воровству не приставали и въ измѣнѣхъ не бывали“. Напротивъ, Смирной Елизарьевъ сынъ Отрепьевъ посланъ былъ въ Литву для

обличенія своего племянника, а потомъ, въ бытность Гришки на Москвѣ, все семейство было изгнано въ сибирскіе города. И что-жь? Отрепьевы просятъ разрѣшенія „писаться инымъ прозвищемъ“, умоляютъ царя истребить „воровское Гришки Отрепьева ростриги проклятое имя“, но отречься отъ Гришки имъ даже въ голову не приходитъ: несмотря на всѣ невзгоды, они признаютъ его своимъ родичемъ. Алексѣй Михайловичъ внялъ ихъ просьбѣ и дозволилъ имъ называться впредь Нелидовыми.

Изъ всего вышесказаннаго можно заключить, что рѣшительныхъ доводовъ противъ тождества Отрепьева съ Димитріемъ въ русскихъ источникахъ нѣтъ; а положительные доводы въ пользу этого тождества выдерживаютъ, по крайней мѣрѣ, нѣкоторую провѣрку, именно потому, что всѣ московскія партіи, хотя и враждебныя между собой, единогласно выдають Димитрія за Отрепьева. Обратимся теперь къ Польшѣ и къ полякамъ.

IV.

Что думалъ о Димитріи польскій король Сигизмундъ III? Сначала онъ, вѣроятно, колебался, но уже въ іюлѣ 1606 года, послѣ того какъ разнеслась вѣсть о московскомъ погромѣ, онъ категорически объявилъ венеціанскому послу Альвизу Фоскарини, что Димитрій не былъ ни сыномъ Ивана Грознаго, ни братомъ Федора, ни царскимъ наслѣдникомъ. Конечно, при этомъ онъ себя самого обѣлялъ и сваливалъ всю вину на Мнишека и на своевольныхъ пановъ, которые, вопреки его увѣщаніямъ, изъ корыстныхъ цѣлей водворили Самозванца въ Москвѣ.

Въ 1608 году онъ еще подробнѣе объяснился съ папскимъ нунціемъ Франческо Симонетта. Это было наканунѣ московскаго похода. Король нуждался въ деньгахъ и рассчитывалъ на пособія съ римской стороны. Положеніе дѣлъ онъ такъ изображалъ: русскіе недовольны Шуйскимъ, какъ сперва они были недовольны Димитріемъ. Ихъ желаніе было бы возвести на престолъ королевича Владислава или же его отца. Объ этомъ ведутся неустанно переговоры, которые начались въ декабрѣ 1605 года и съ тѣхъ поръ никогда не прекращались. Уже тогда бояре тайкомъ жаловались на легкомысленнаго и расточительнаго Самозванца и положительно заявляли, что ему не удержаться на своемъ мѣстѣ. Сигизмундъ общалъ нунцію вручить ему, для доставленія въ Римъ, полнѣйшую записку о московскихъ

дѣлахъ. Къ несчастію, королевскій документъ до сихъ поръ не отыскался. Онъ долженъ бы находиться между депешами Симонетты, большая часть которыхъ, мимоходомъ сказать, принадлежить князю Бонкомпаньи. Пока надо довольствоваться приведенными свѣдѣніями.

Около короля были двѣ партіи. Одна, хотя численно ничтожная, смѣле и громко признавала Димитрія московскимъ царевичемъ, но особыхъ доказательствъ, кромѣ доклада Вишневецкаго, двухъ-трехъ польскихъ и нѣсколькихъ московскихъ свидѣтелей, въ своемъ распоряженіи она не имѣла. Отъ самаго виднаго дѣятеля этого кружка, воеводы Юрія Мнишка, дважды требовалось откровенное признаніе: разъ въ Москвѣ при боярскихъ переговорахъ 1608 года, другой разъ въ Варшавѣ, на сеймѣ 1611 года. Чтò онъ скрывалъ отъ русскихъ, то онъ могъ сказать полякамъ, и наоборотъ, но, несмотря на эти облегченія, вопреки своимъ выгодамъ, къ немалому своему смущенію, онъ только голословно подтверждалъ свое убѣжденіе, но обезоружить назойливыхъ противниковъ, привести побѣдоносное доказательство онъ не сумѣлъ. Бояре такъ и остались при своемъ, что Димитрій былъ Гришка Отрепьевъ.

Но была другая партія, которая враждебно относилась къ Димитрію и чуяла недоброе въ его таинственной затѣѣ. Къ ней принадлежали, какъ выше было сказано, почти всѣ сенаторы, между прочими оба канцлера, польскій и литовскій, Янъ Замоискій и Левъ Сапѣга. Замоискій шелъ прямымъ путемъ, съ презрѣніемъ смотрѣлъ на „господарчика“, требовалъ его допроса, самъ вызывался на это дѣло и умеръ, не дождавшись предвидѣнной имъ кровавой развязки. Иного рода были приемы Сапѣги. Онъ кривилъ душой, говорилъ то одно, то другое; на брачномъ торжествѣ Маринны онъ даже восхвалялъ Димитрія, — но это было только напоказъ, на дѣлѣ онъ думалъ иначе.

Левъ Сапѣга былъ человѣкъ недюжинный. Не имѣя высокаго умственного полета, которымъ отличался Замоискій, онъ все-таки слылъ за государственнаго мужа. Обширныя юридическія знанія и неутомимая дѣятельность возвышали его надъ сверстниками. Хорошій знатокъ по этой части, Стефанъ Баторій, предсказывалъ ему заранѣе блестящую будущность. Въ русскихъ дѣлахъ онъ неоспоримо первенствовалъ. Въ его канцеляріи сосредоточивались дипломатическія сношенія съ Москвой и тайные доносы развѣдчиковъ. Насчетъ Димитрія извѣстно, что Сапѣга велъ самолично переговоры съ Смирнымъ Отрепьевымъ и съ Постникомъ Огаревымъ. На сеймѣ 1605 года, когда дошла до

него очередь, онъ съ рѣшимостью высказался противъ Димитрія и его вооруженной поддержки, и рассуждалъ при этомъ такъ: если Димитрій будетъ побѣжденъ, то намъ предстоитъ война съ Москвой; если же онъ будетъ побѣдителемъ, то намъ слѣдуетъ опасаться, чтобы онъ не поступилъ съ поляками такъ, какъ поляки поступаютъ съ Годуновымъ. Сыномъ Ивана Грознаго Сапѣга его не признавалъ: истинный царевичъ взялся бы за дѣло другимъ образомъ, говорилъ канцлеръ, но кто онъ именно былъ—оставалось недоказаннымъ.

Полное освѣдомленіе о Димитріи относится къ позднѣйшей эпохѣ. Благодаря просвѣщенному содѣйствію С. А. Бѣлокурова, мнѣ удалось познакомиться въ Московскомъ Архивѣ министерства иностранныхъ дѣлъ съ тремя записками Льва Сапѣги. Написаны онѣ собственноручно, во время московской войны, безъ обозначенія числа и года, адресованы на имя короля Сигизмунда III-го, и по своему содержанію должны считаться документами первостепенной важности въ исторіи Самозванца. Здѣсь имѣется въ виду особенно та записка, которая содержитъ наиболѣе данныхъ о Димитріи. Безъ всякихъ оговорокъ, Сапѣга просто примыкаетъ къ мнѣнію Годуновыхъ, Шуйскихъ и Романовыхъ. Такъ близко сходится съ ними литовскій канцлеръ, что можетъ показаться, будто онъ только передаетъ московскіе рассказы. Такъ это вѣроятно и было; есть, однако, признаки, что Сапѣга провѣрялъ и дополнялъ добытый матеріалъ. Напримѣръ, въ лицѣ Димитрія онъ признаетъ Гришку Отрепьева, бывшаго чернца и діакона патріарха Іова, но настаиваетъ на томъ, что онъ былъ сынъ боярскій, а не изъ „подлаго дома“. Онъ отмѣчаетъ, что еще передъ вѣздомъ въ Москву нѣкоторые бояре узнали Гришку въ пришлому царевичѣ, и что ихъ довѣріе было подорвано. Поразительно сходство съ челобитной Отрепьевыхъ. Одинъ памятникъ писанъ во второмъ десятилѣтѣ XVII столѣтія, другой—въ 1671 году, а оба изображаютъ тождественно отношенія Димитрія къ несчастному семейству; тѣ же приемы, тѣ же гоненія, тѣ же ссылки. Тотъ самый Сапѣга, который нѣкогда отказывалъ Смирному въ очной ставкѣ съ Самозванцемъ, объявляетъ теперь, согласно съ челобитной, что Смирной былъ дядей Гришки, что онъ обличалъ въ Москвѣ самозванство племянника, и много выстрадалъ изъ-за этого. Словомъ, польскій сановникъ, лучше всѣхъ знакомый съ московскими дѣлами, сознается передъ сеймомъ, что Димитрій не былъ царскимъ потомкомъ, а передъ королемъ—что онъ былъ бѣглый чернецъ Гришка Отрепьевъ. Панегиристъ Сапѣги, іезуитъ Янъ Рывоцкій, вмѣняетъ ему въ

особую заслугу, что онъ не увлекся Самозванцемъ и предостерегъ своихъ соотечественниковъ. По слѣдамъ канцлера, пошли такіе писатели, какъ епископъ Лубинскій и іезуитъ Ростовскій.

Итакъ, важнѣйшій современный польскій источникъ всецѣло подтверждаетъ московское мнѣніе о тождествѣ Димитрія и Гришки Отрепьева. Остается разобрать поведеніе самого Димитрія.

V.

Въ бытность свою при польскомъ дворѣ, Димитрій часто видался съ папскимъ нунціемъ Рангони и, несмотря на свою осторожность, до нѣкоторой степени, слегка и невольно, проговорился.

Уже въ Самборѣ Димитрій измѣнилъ свою программу; но измѣненную программу онъ открыто оповѣстилъ только въ Краковѣ. Сперва дѣло представлялось очень просто: набрать казаковъ и татаръ и пуститься съ ними въ походъ противъ Москвы; о другомъ и помину не было. Такой планъ Сигизмундъ III, не знавшій подноготной работы, справедливо называлъ безуміемъ. Да и самъ Димитрій, сошедшись съ Вишневецкимъ и съ Мнишкомъ, сталъ домогаться польской помощи и намекалъ на церковные вопросы и на турецкую войну. Здѣсь бросаются въ глаза западно-польскія замашки на московской поделадѣѣ.

Съ такими предложеніями и просьбами онъ приступалъ къ нунцію, жаловался ему на Замойскаго и на Константина Острожскаго, желалъ его заступничества и ходатайства при дворѣ. Въ апрѣлѣ 1604 года онъ ужъ очень торопился: ему казалось, что успѣхъ зависитъ отъ быстроты, и, чтобы убѣдить въ этомъ нунція, — дѣлился съ нимъ своими опасеніями и надеждами.

Какъ это ни странно на первый взглядъ, но чего онъ всего больше страшился, это была преждевременная смерть Бориса Годунова. Онъ сознавалъ, что правительство могло открыть его сторонниковъ, что они сами могли разочароваться и разойтись, но внезапное исчезновеніе Годунова тревожило его гораздо сильнѣе. Будь онъ тогда еще въ Польшѣ, далеко отъ Кремля, пожалуй, возведутъ другого на его мѣсто. Какъ это бы случилось, какое право на престолъ имѣлъ бы „другой“, этого онъ, конечно, не говорилъ, и, не вдаваясь въ подробности, упорно твердилъ, что всякая проволочка въ состояніи погубить его дѣло. Въ этихъ словахъ скрывать что-то неладное.

Зато какія смѣлыя надежды воспламеняли его юношеское

сердце! Только бы ему показаться на границѣ съ горстью вооруженныхъ людей, и вся Россія пристанетъ къ нему, и онъ дойдетъ до Москвы, вступить въ кремлевскую святыню и возложить на себя бармы и шапку Мономаха. О своемъ вѣнчаніи на царство Димитрій говорилъ съ несокрушимою увѣренностью, и, будучи католикомъ, задавался вопросомъ о соблюденіи обычнаго торжества, о причащеніи изъ рукъ патріарха, на что заранѣе просилъ разрѣшенія папы.

Рангони выслушивалъ всѣ эти рѣчи, добросовѣстно передавалъ ихъ въ Римъ, но какъ итальянецъ, мало знакомый съ условіями московской жизни, врядъ ли могъ въ нихъ разобраться и оцѣнить ихъ по достоинству. Намъ же признанія Димитрія представляются въ исторической перспективѣ, въ свѣтѣ совершившихся событій, чѣмъ и пріобрѣтаютъ для насъ громадное значеніе. Въ 1603 году у него намѣчены смерть Бориса Годунова, вступленіе въ Москву и вѣнчаніе на царство. Проходятъ два года, а все такъ и сбывается, въ томъ же порядкѣ, съ причинной послѣдовательностью. Первая побѣда ни къ чему не послужила Димитрію, а послѣ полного пораженія, какъ только скончался Годуновъ, ему открывается безпрепятственно дорога въ столицу, и, по слѣдамъ Бахметева, бояре скачутъ въ Путивль. Смерть Бориса совпадаетъ съ крутымъ поворотомъ въ судьбѣ Димитрія и имѣетъ рѣшающее значеніе. Правда, изъ сказаннаго ничего нельзя извлечь для опредѣленія личности Самозванца; однако позволительно заключить, что между нимъ и московскою знатью существовали близкія и тайныя сношенія. Несмотря на то, другого имени, кромѣ Гришки Отрепьева, никто изъ бояръ и никогда не выставлялъ.

Самъ Димитрій зналъ, за кого его выдавали. Онъ былъ еще въ Польшѣ, когда Смирной обличалъ его въ Краковѣ, и вѣсти объ этомъ доходили до него. Что же онъ отвѣчалъ на позорное обвиненіе? Нѣкоторое время онъ отдѣлывался молчаніемъ; потомъ, при допросѣ Петра Хруцова, онъ подсказалъ ему отвѣтъ, что Смирной вовсе не дядя царевича; былъ бы онъ дядей, то не быть ему въ почетѣ, а въ опалѣ, и весь бы домъ его искоренили по московскому обычаю. Такой косвенный отвѣтъ подозрителенъ и крайне недостаточенъ. Смирной вовсе не упоминалъ о родствѣ съ царевичемъ, а выдавалъ себя за дядю Гришки, на что никакого возраженія не послѣдовало.

Болѣе чѣмъ годъ спустя, Димитрій спохватился и позаботился о лучшемъ опроверженіи распространяемыхъ слуховъ. Въ Путивль привели лицо, носившее имя Гришки Отрепьева, въ доказа-

тельство напраслины, взводимой на Димитрія. Кто привелъ этого новаго свидѣтеля, самъ ли онъ явился въ Самозванцу, почему о немъ прежде не упоминалось,—остается неизвѣстнымъ. Лѣтопись видитъ въ немъ услужливаго проходимца, принявшаго на себя въ данномъ случаѣ чужое названіе. Какъ относился къ нему Димитрій—трудно опредѣлить по скудости и шаткости извѣстій, особенно въ виду тѣхъ мѣропріятій, которымъ подверглись патріархъ Іовъ и монахи Чудова монастыря.

Впрочемъ, эти подробности еще не вполне выяснены. Дальнѣйшее ихъ освѣщеніе остается задачей исторической критики. Въ настоящее время можно только утверждать, что вѣское свидѣтельство Льва Сапѣги вполне согласуется съ московскими преданіями, и что тождество Димитрія съ Гришкою Отрепьевымъ выдерживаетъ хоть нѣкоторую провѣрку.

А. Пирлингъ.



ТРИ ДОРОГИ

РОМАНЪ.

I.

Это было въ 1851 году, въ юнѣ мѣсяцѣ.

Въ залѣ большого барскаго дома сельца Толкунова, Вознесенское-тожѣ, было довольно большое и странное собраніе. Были смотринны.

Около десятка крестьянскихъ дѣвушекъ, большею частью красивыхъ, молодыхъ совершеннолѣтокъ, въ новыхъ сарафанахъ, стояло впереди, а позади нихъ стояло около десятка парней, тоже молодыхъ, стояло между старичками и старушками, которые тихо перешептывались между собою—въ ожиданіи барскаго глаза.

Всей этой компаніей управлялъ бурмистръ Власычъ, который сановито и степенно стоялъ въ сторонѣ, слегка подпершись одною рукою въ бокъ. По временамъ онъ оглядывалъ бойкими, умными глазами все собраніе и выравнивалъ его, въ полголоса, короткими, но вѣскими замѣчаніями.

Черезъ полчаса, изъ внутреннихъ комнатъ торопливой походкой выступилъ слуга; за нимъ еще бѣжали двое лакеевъ.

„Идетъ, идетъ!“—пронеслось по собранію.

Все присмирѣло, всѣ вытянулись, всѣ глаза устремились на дверь гостиной, и, громко откашливаясь и тихо шурша бархатными туфлями, въ бухарскомъ матерчатомъ халатѣ, выступилъ баринъ Толкуновъ, Элизаръ Петровичъ.

Всѣ поклонились въ поясъ.

На взглядъ ему было лѣтъ пятьдесятъ. Его полное лицо точно сіяло, или, по крайней мѣрѣ, блестѣло здоровьемъ и доволь-

ствомъ. Небольшіе масляные глазки бойко бѣгали изъ-подъ большихъ, точно опухшихъ вѣкъ; немного приплюснутый носъ какъ-то мягко выглядывалъ между одутловатыхъ щекъ. Его румяныя, рѣзко выгнутыя, яркія губы очень пріятно улыбались; чисто выбритый подбородокъ былъ тройной, а гладко причесанные, короткіе волосы окаймляли довольно большую лысину надъ крутымъ, широкимъ лбомъ.

— Ну, что, какъ дѣла?—спросилъ баринъ, быстро оглядывая все собраніе.

Власычъ крикнулъ.

— Ничего. Вотъ къ вашему превосходительству насчетъ, т.-е., сватанія пришли.

— Хорошо, хорошо. А сколько нынѣшній годъ?

— Да вотъ паръ семь будетъ. Одинъ-то паренекъ годками не вышелъ, Сивухинъ Пармень... Эй, ты, выдь сюда!

Изъ толпы пробрался впередъ тщедушный, худенькій паренекъ и поклонился барину въ поясъ.

— Да ничего, Элизаръ Петровичъ, онъ къ веснѣ-то-жъ пополнится: къ Прасковѣ „задери хвосты“ какъ разъ двадцатый годъ пойдетъ...

Баринъ покачалъ головой, глядя на паренька. Онъ смотрѣлъ совершеннымъ мальчикомъ...

— Да ты... того... годишься ли для женитьбы-то?..

Паренекъ потупился.

— Ничего, ваше благородіе, годится, какъ не годится,—подхватила бойкая бабенка, что стояла сбоку паренька, мать его.— У насъ завсегда такъ: коли соху ведетъ, не гнетъ, такъ и жену сомнеть.

— Кого же ты берешь?

— А вотъ,—заговорилъ Власычъ:—Петрову Маланью брать,—и онъ указалъ на дѣву, на которую баринъ ужъ давно поглядывалъ.

— Что же, тебѣ хочется идти замужъ?—обратился къ ней баринъ, и глазки его стали еще болѣе масляными:—а?

Дѣвушка, вся красная, какъ ея красный платокъ, усиленно замигала глазками.

— Пужлива она, больно пужлива, — выѣпалась ея мать, толстая, красноносая бабенка.

— Ну, а эта не пужлива? а?—обратился баринъ къ высокой, стройной, смуглой дѣвушкѣ, которая строго, серьезно смотрѣла большими черными глазками...

— Это Дунька Запопоница!—заговорилъ Власычъ:—сирота

она, ваше превосходительство, солдатская дочь, а — работающая дѣвка, обрядница, — вотъ Степанъ Путь за себя беретъ.

И онъ показавъ на низенькаго, худенькаго, подслѣповатаго малаго, который мигалъ глазами и быстро вертѣлъ въ рукахъ шапку.

— Зачѣмъ же ты идешь замужъ? а? — спросилъ Толкуновъ дѣвушку.

— Что-жъ? Нешто въ чужой семьѣ хорошо жить? Я вѣдь сирота...

— Она, батюшка, сирота, — заговорилъ подлѣ стоявшій старикъ, отецъ жениха, съ курчавыми, сѣдыми волосами, низенькій и юркій мужичокъ: — она, батюшка, живетъ у Семена Безпятина... Ну, извѣстно, семья большая, надо всѣхъ обрядить, житье тяжелое.

Баринъ слушалъ и смотрѣлъ на дѣвушку, которая стояла передъ нимъ, потупивъ глаза, и тяжело дышала; при этомъ ея грудь рѣзко и упруго поднималась подъ холщовой рубашкой.

Думалъ ли онъ при этомъ объ ея долѣ, о томъ, что тяжела она въ чужой семьѣ, да едва ли легче будетъ и въ своей, за мужемъ вихляемъ, вахлакомъ, за тестемъ строптивымъ и каверзнымъ?..

— Ну, а это что? а? — спросилъ онъ быстро и рѣзко, набрасываясь на третій субъектъ; при этомъ его глаза сильно заиграли и занескрились, и дѣйствительно, дѣвушка, въ которой онъ теперь обратился, могла раззадорить и не такого сластену, каковъ былъ Элизаръ Петровичъ Толкуновъ. Небольшого роста, довольно стройная, полная, съ дѣтскимъ игривымъ личикомъ, съ вздернутымъ носикомъ, съ ямками на румяныхъ щечкахъ и черными масляными глазенками, которые игриво бѣгали и сверкали изъ-подъ тоненькихъ, черныхъ, дугами изогнутыхъ бровей...

— Это что? а? какихъ?..

— А это Акулина Свирь, ваше превосходительство; за вдовца идетъ, за Купріяна Сонины...

И женихъ стоялъ тутъ же, высокій бирюкъ, который смотрѣлъ ежомъ изъ-подъ густыхъ сѣдыхъ бровей.

— Какъ же? Что же ты охотой идешь? — удивился Толкуновъ, посмотрѣвъ искоса на жениха.

— Для-че нейти?.. — отвѣчала дѣвушка, играя глазами, улыбаясь и перебирая пальцами концы платка.

— Охотой, батюшка, охотой, свѣтикъ мой! — заголосила плюгавая бабенка, мать ея. — Охъ-ти, доля наша немытая, неплатаная! Двадцать насъ въ семьѣ-то... Жизнь не въ жизнь.

Спасибо, приглянулась Купріяну Сидорычу, — будетъ за него вѣкъ Бога молить.

— Да какъ же ты за него идешь? — удивился баринъ. — Вѣдь онъ тебѣ въ отцы годится.

— Не все молодыми быть. Состарится молодой — старикъ будетъ.

Ничего не отвѣтилъ на это Элизаръ Петровичъ. Онъ только многозначительно посмотрѣлъ на Власыча и покосился на жениха...

— Ну! А это что? — сказалъ онъ, обращаясь къ худенькой, высокой дѣвушкѣ, съ блѣднымъ болѣзненнымъ лицомъ, покрытымъ веснушками...

— А... это, ваше превосходительство, Аграфена Зачумихина, — она, значить, дѣвка немочная, иначе...

Но баринъ не слушалъ его; рѣзкій звукъ колокольчика отвлекъ его вниманіе. Колокольчикъ звенѣлъ дробно и весело; кто-то, видно, ѣхалъ спѣшно. Ближе и рѣзче отбивалъ онъ. Вотъ послышался стукъ колесъ и конскій топотъ, и на барскій дворъ влетѣла тройка перекладныхъ. Нѣсколько слугъ бросилось встрѣчать пріѣхавшаго. Одинъ изъ нихъ поспѣшно вернулся опять въ залу.

— Баринъ молодой, Владиміръ Элизаровичъ пріѣхамши.

— Какъ!!! — удивился старый баринъ и быстро зашагалъ на встрѣчу пріѣхавшему. Въ залу входилъ молодой человѣкъ, лѣтъ двадцати-шести, блондинъ, съ свѣтлыми, слегка выющимися волосами, съ нѣсколько загорѣлымъ лицомъ, съ легкимъ румянцемъ на немного впалыхъ щекахъ. На его высокомъ лбу собирались небольшія морщинки. Задумчивые сѣро-голубые глаза смотрѣли пріятливо; легкіе усы и борода отбѣняли лицо...

Радостно раскрылъ онъ объятія, обнялъ отца и три раза поцѣловалъ его, при чемъ Элизаръ Петровичъ какъ-то особенно сладострастно засасывалъ и причмокивалъ.

— Какъ это? Какими судьбами?... — допрашивалъ онъ, крѣпко сжимая руку сына.

— Просто сѣлъ и пріѣхалъ... Не ожидали?..

— Да, какъ же это? На перекладной... Откуда?

— На перекладной изъ Мазулихи, а туда пріѣхалъ изъ Питера, а въ Питеръ прямо изъ Дрездена...

— Экъ его носить!..

— А это что у тебя за собранье?..

— Таеъ себѣ... — и баринъ немного замаялся. — Смотрины... Ну, вы теперь ступайте, послѣ разберу! — и онъ махнулъ рукой всему

собранію, которое молча поклонилось, повернулось и подъ предводительствомъ Власыча; смиренно, на цыпочкахъ уходящаго изъ залы, отправилось во-свояси.

— Такъ какъ же ты?—спрашивалъ Толкуновъ сына, не выпуская изъ рукъ его руку и ведя его въ гостиную, убранную довольно роскошно, хотя безвкусно, и съ большимъ комфортомъ. Тутъ были кресла дѣйствительно мягкія, выписанныя прямо изъ Питера; были очень удобные диванчики и козетки, столики и этажерки, наполненные разными статуэтками, большею частью вольнаго содержанія. Полъ былъ выстланъ мягкимъ, бархатнымъ ковромъ. По угламъ стояли небольшія мраморныя Венеры и вакханки въ разныхъ соблазнительныхъ позахъ, —и между ними, по срединѣ стѣны, надъ большимъ диваномъ, какъ-то странно, какимъ-то негармоничнымъ пятномъ выдавался портретъ женщины, молодой и красивой, —портретъ покойной жены Толкунова. Сынъ молча остановился передъ нимъ. Этотъ портретъ, работы Венеціанова, словно живой смотрѣлъ на него, и рой воспоминаній изъ свѣтлаго, уже давно промелькнувшаго дѣтства закружился передъ нимъ. Онъ покосился на обстановку портрета, и отецъ угадалъ его мысль.

— Ему здѣсь не мѣсто!..—быстро заговорилъ онъ.—Я все собираюсь перенести его въ кабинетъ...—И онъ, обхвативъ рукой сына, повелъ его вонъ изъ гостиной, на пирокій балконъ, весь убранный зеленью, вьющимися растеніями и задрапированный полосатой матеріей.

Какъ-то легко и пріятно было на этомъ балконѣ, въ особеннности теперь, когда жаръ уже свалилъ и густыя тѣни ложились вокругъ его зелени, оставляя мѣстами, кое-гдѣ, свѣтлые блики. А тамъ, передъ балкономъ, яркими пятнами разстилался цвѣтникъ и благоухалъ цѣлыми клумбами левкоевъ и розановъ, посреди которыхъ бѣлѣлъ мраморный купидонъ съ чашей-раковиною, въ которую онъ пускалъ цѣлую струю воды, высоко взлетавшей къ небу и тихо, съ однотоннымъ журчаніемъ падавшую внизъ цѣлымъ дождемъ, пылью бриліантовыхъ брызгъ.

А кругомъ цвѣтника цвѣла сплошной полукруглой стѣной сирень и также благоухала; а тамъ, за ними поднимался огромный садъ-паркъ съ столѣтними, раскидистыми липами и елями.

— У тебя здѣсь хорошо!—сказалъ сынъ, жадно вдыхая полной грудью свѣжій, теплый, ароматный воздухъ.

— Да, не дурно!.. Вотъ этотъ фонтанчикъ я выписалъ третьяго года изъ Флоренціи... Но ты, я думаю, хочешь отдохнуть съ

дороги, переодѣться, — прибавилъ онъ, оглядывая сѣрый клѣтчатый дорожный костюмъ сына, на которомъ былъ порядочный слой пыли. — Хочешь помѣститься въ моемъ кабинетѣ или возьми угловую диванную, или подлѣ столовой есть отдѣльная комната.

— Нѣтъ!.. ты мнѣ отдашь одинъ изъ флигельковъ, лѣвый; вѣдь флигельки цѣлы, свободны?

— Д-да!.. — сказалъ отецъ какъ-то въ раздумьи, глядя на сына...

Дѣло въ томъ, что оба флигелька были заняты. Въ одномъ жила мамзель изъ Риги, Амалія Оедоровна, и цыганка-Дунька, по прозванію Султанша, и тутъ же, въ маленькой комнатченѣ, помѣщалась вольная солдатка Любашка. А въ другомъ жила кровная француженка прямо съ Кузнецваго-Моста, m-lle Фифи. Толкуновъ быстро сообразилъ, какъ ему извернуться въ этой трудной позиціи. Француженку никакъ нельзя было трогать, а нѣмку или Любашу можно было перевести въ бесѣдку. Въ домъ къ себѣ онъ никакъ не рѣшался перевести; флигелечки были въ тѣни, въ зелени, достаточно скрыты отъ любопытныхъ глазъ.

— Вѣдь тебѣ, я думаю, будетъ трехъ комнатъ? — спросилъ онъ ласково сына, не смотря ему въ глаза.

— О, слишкомъ достаточно. А что, развѣ остальные заняты?..

— Н-нѣтъ... Д-да! Тутъ одна женщина... дѣвушка... — и онъ сильно забѣгалъ глазами.

— Амурашка, что-ли?.. Ничего, ничего она мнѣ не помѣшаетъ... ты не стѣсняйся.

Толкуновъ свистнулъ и въ полголоса отдать прибѣжавшему слугѣ свои распоряженія.

— А теперь пока ты расположись въ кабинетѣ, а на ночь во флигель... Я думаю, въ заграничной жизни ты отвыкъ отъ нашихъ порядковъ. Черезъ полчаса мы будемъ чай пить, теперь очень жарко, а то, если хочешь съ дороги, я сейчасъ велю подать самоваръ; или, можетъ быть, ѣсть хочешь?

— Нѣтъ!.. ничего я не хочу... Пожалуйста, не стѣсняйся... Мнѣ рѣшительно все равно; я привыкъ ко всякимъ порядкамъ въ моей кочевой, цыганской жизни... Вотъ переодѣться... это — другое дѣло...

— Пойдемъ, пойдемъ!.. — И онъ торопливо потащилъ сына въ свою уборную.

II.

Комната была большая, вся устлана ковромъ, полутемная. Толкуновъ подошелъ къ туалетному столу, отъ котораго ароматъ несся по всей комнатѣ, точно отъ какой-нибудь парфюмеріи. Цѣлый строй разныхъ баночекъ и флакончиковъ стояли на немъ; тутъ были разныя притиранія и вольдь-кремы, помада для свѣженія бородавокъ, помада отъ мозолей, помада для приданія свѣжести лицу, помада для приданія блеска кожѣ, — точно аптека съ разными медикаментами; цѣлый наборъ всякихъ несесерныхъ инструментовъ лежалъ въ очень красивой серебряной лаханкѣ, на которой, въ свою очередь, лежала ничкомъ какая-то барыня, выставивъ зрителю на показъ всѣ свои самыя сокровенныя прелести.

Двери тихо отворились и въ комнату поспѣшно вошелъ уже немолодой, посѣдѣвшій слуга съ серебрянымъ рукомойникомъ.

— Здравствуйте, батюшка Владиміръ Элизаровичъ, — сказалъ онъ и низко поклонился.

— А! Илья!.. Ну, какъ поживаешь?

— Понемногу, сударь... Живемъ... Давненько, сударь, не изволили быть... Вотъ уже пятый годъ гуляете.

— Да! — сказала Толкуновъ, быстро сбрасывая пальто, жилетъ, галстухъ и засучивая рукава рубашки, — уже пятый годъ.

И какъ-то странно представлялись ему эти четыре года бродяжничества, внѣ отчаго дома, на чужбинѣ. Протянулись они точно четыре вѣка, эти четыре года постоянныхъ порываній, бросанія изъ стороны въ сторону; масса пережитыхъ впечатлѣній, масса увлеченій, уже охладѣвшихъ, опрокинутыхъ; много дѣла и бездѣлья, дѣла ненужнаго, лишняго; бездѣлья, на которомъ отдыхаютъ, концентрируются молодыя силы.

— Ну! Какъ же у васъ? — допрашивалъ онъ Илью, быстро, съ наслажденіемъ ополаскивая лицо, голову и шею, такъ что брызги летѣли во всѣ стороны. — Какъ же у васъ... все благополучно?

— Ничего-съ... благополучно... — говорилъ Илья, оглядывая искоса длинныя желтыя шагреновыя сапоги Толкунова, которые были надѣты на брюки. „Должно быть, нѣмецкой работы“, — думалъ онъ.

Черезъ полчаса Толкуновъ былъ совсѣмъ готовъ. Онъ успѣлъ даже пережѣнить бѣлье и кое-что перебрать въ своемъ чемоданѣ, который принесъ ему Илья; чемоданъ былъ небольшой, но очень

красивый и удобный, отъ котораго сильный запахъ новой кожи разносился по комнатѣ.

Когда онъ, снова пріодѣтый и освѣженный, вышелъ на балконъ, тамъ уже былъ накрытъ скатертью овальный столъ, на немъ уже кипѣлъ чистый самоварикъ, и Акулина Матвѣевна, нѣчто въ родѣ экономки, женщина уже немолодая, но когда-то, видимо, бывшая красавицей, хлопотала около него.

— А! Акулина Матвѣевна! — встрѣтилъ ее Толкуновъ. — Какъ живете-можете?..

— Здравствуйте, сударь Владиміръ Элизаровичъ... Какъ вы живете?

— Постарѣли вы, однако!

— Нн... сударь, — и она поправила чайникъ на самоварѣ, — уже пятый десятокъ идетъ мнѣ. Постарѣешь по-неволѣ...

— А вотъ и я! — сказалъ, входя на балконъ, Толкуновъ-отецъ. — Ну, чтѣ ты... какъ? — И онъ осмотрѣлъ сына съ ногъ до головы. — Совершилъ свой туалетъ? — И онъ принялся за большой, весь раззолоченный стаканъ, въ серебряномъ рѣшетчатомъ подставанникѣ. — Ну, такъ какъ же у васъ въ Европѣ?.. Вы все вотъ міровыми вопросами занимаетесь, а мы здѣсь живемъ потихоньку, по старому, по бывалому. Впрочемъ, годика два и у насъ завозились, подняли-было *question d'abolition des serfs*, — и онъ быстро забѣгалъ глазами, оглянулъ и Акулину Матвѣевну, которая, опустивъ глаза и сложивъ руки, смиренно стояла у стола, и на двухъ лакеевъ, тоже стоявшихъ на вытяжку, и казачка, оперевшагося на балюстраду, и заговорилъ тихо по-французски: — *On a voulu couper le pœud*, — ты знаешь, это у насъ быстро дѣлается. Къ счастью, нашелся одинъ умный человѣкъ, который показалъ имъ всю несостоятельность ихъ увлеченій. Онъ написалъ очень, очень умное мнѣніе. Если хочешь, я дамъ тебѣ прочесть его. У меня есть копія. Весь вопросъ онъ выложилъ какъ на ладони. Несостоятельность государственной реформы очевидна — *ils n'ont pas de base*. Теперь вся система закончена, и представляетъ стройное, замкнутое цѣлое, изъ котораго безъ наказанія нельзя тронуть ни одного винтика. Вынь хоть одну пружинку, *et tout se perd*. — Онъ заговорилъ еще тише...

Сынъ, который хладнокровно пилъ чай, заѣдая его какими-то легкими, сдобными булочками, — наконецъ махнулъ обѣими руками.

— Ты, — проговорилъ онъ, — неисправимъ, хоть брось; ты все остался такимъ же вѣрнопостникомъ, какъ и былъ.

— Mais parle français!—испуганно возразил Толкуновъ:— devant tous ces gens...

— Съ такими идеями жить теперь нельзя, — продолжалъ Толкуновъ-сынъ, по-французски.—Когда общество убѣдилось, что свобода есть первое благо для человѣка, оно поняло, что abolition des serfs—есть краеугольный камень всякаго государственнаго вопроса.

— Mais ce sont des frases ronflantes, милый мой...

Сынъ не возразилъ,—онъ въ это время закуривалъ папироску.

— Разбери дѣло проще, безъ увлеченій молодости. Чтò такое общество, чтò такое, наконецъ, человѣчество?.. Это—стремленіе жить, въ широкомъ смыслѣ этого слова; и каждый живетъ, каждый эксплуатируетъ другого. Безъ этого всякая общественная жизнь невозможна. Какое общество ни возьми, хоть ваше пресловутое американское, и тамъ этотъ законъ имѣетъ силу. Собственники вездѣ были, есть и будутъ. Точно также, какъ будутъ господа и слуги. Oh! jamais рабъ не будетъ больше своего господина. Всѣ другія отношенія—это чистѣйшая утопія. Это—постоянная мечта горячихъ фантазёровъ, которымъ дѣлать нечего.

— Можетъ быть, я имѣю несчастіе принадлежать въ числу этихъ фантазёровъ, но только я постоянно утверждалъ и буду утверждать, что тамъ, гдѣ рабство, тамъ застой, тамъ нѣтъ свободнаго, правильнаго развитія, тамъ дѣйствительно рабъ не будетъ больше своего господина, хотя будь онъ семи пядей во лбу... Возьми древній міръ...

— Полно, полно, перестань, пожалуйста! Какъ будто этому рабу всѣ пути закрыты... Коли онъ способенъ, такъ всегда выйдетъ въ люди...

— Видѣли мы, какъ выходятъ! Умираютъ на барщинѣ подъ розгами...—возразилъ сынъ, прихлебывая чай маленькими глоточками. Старикъ Толкуновъ испуганно замигалъ и замахалъ руками.

Это, милый мой, злоупотребленіе. Да, злоупотребленіе. Гдѣ ихъ нѣтъ? Человѣчество всегда злоупотребляло правами. Но все это, разумѣется, исчезнетъ, со временемъ. Человѣчность, наконецъ, должна же развиться...

— Перестань, пожалуйста!—возразилъ сынъ.—Защищаетъ рабство и толкуетъ о человѣчности! Гдѣ она у васъ, у помѣщиковъ, эта человѣчность? въ землѣ, что-ли, которую вамъ обрабатываютъ даромъ въ потѣ лица,—въ личности, которую вы при-

нижаете... А гророс, — что это за собраніе я у тебя засталъ?... Какую человѣчность ты имъ проповѣдывалъ?..

— Это...—и Толкуновъ видимо сконфузился: — это у меня каждый годъ заведено, — всѣ, которые женятся, должны являться ко мнѣ.

— А, вотъ она, человѣчность-то! Ты безъ моего позволенія и жениться не смѣй! Я тебѣ выберу невѣсту, да если она мнѣ понравится...

Толкуновъ совершенно сконфузился; онъ покраснѣлъ и обомлелъ.

— Такъ что-же изъ этого?—вскинулся онъ на сына, мигая сильно глазами.—Да. Если она мнѣ понравится... И спрашиваю тебя, какой ущербъ отъ этого и кому произойдетъ?... Если я желаю насладиться, кто мнѣ помѣшаетъ? Un pausan, мужикъ,—но развѣ онъ что-нибудь понимаетъ въ тонкости наслажденія? Какъ свинья въ апельсинахъ! Его дѣло—имѣть жену работницу. Ну, онъ ее и получаетъ. Я не даю воли его страстямъ, я своимъ разумомъ направляю его шаги, и этотъ разумъ, повѣрь мнѣ, навѣрное не ошибется... Китайцы же говорятъ, что жениться по любви безнравственно...

— Такъ ты эксплуатируешь китаизмъ? — съострилъ сынъ.— Браво, браво!..—и чуть замѣтная улыбка, въ которой сквозило презрѣніе, мелькнула на его губахъ.

— Да, мой милый, je défends le kitaïsme, потому-что китайцы удивительные философы-практики, — вотъ ужъ всякая фантазія имъ чужда. Да, притомъ, ты знаешь меня. Я не измѣнился. Je prends mon bien là, où je le trouve. Цѣль жизни — это наслажденіе. Ну, я служу наслажденію вѣрою и правдой... А тамъ... Fais que tu dois, devient que rougga...—онъ тоже улыбнулся.—Ну, мы, однако, при первой же встрѣчѣ начали ломать копыя, — заговорилъ онъ, высасывая дымъ изъ трубки-стамбули, съ длиннымъ чубукомъ.

III.

„Да, — подумалъ сынъ, — его не передѣлаешь. И къ чему мнѣ вздумалось съ нимъ сдѣлаться!“

И, дѣйствительно, его нельзя было передѣлать. Онъ былъ довольно вряжистъ въ своихъ убѣжденіяхъ. Притомъ, съ такимъ убѣжденіемъ, какъ культъ наслажденія, — трудно разстаться. Въ немъ еще жило что-то похожее на совѣсть или застѣнчивость. Но, собственно говоря, онъ боялся открыто проводить свои убѣ-

жденія. Тѣмъ болѣе, что онъ былъ на виду. Владѣлецъ двухъ тысячъ душъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ, служившій когда-то въ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ, и затѣмъ шесть лѣтъ бывшій предводителемъ дворянства, онъ былъ не послѣднее лицо въ губерніи. Притомъ, довольно значительныя связи поддерживали его въ Петербургѣ. Въ губерніи, между своей братьей дворянствомъ, онъ считался очень милымъ *bon-vivant*’омъ и амурашникомъ; очень остроумнымъ собесѣдникомъ и хорошимъ партнеромъ. Лѣтъ десять какъ онъ овдовѣлъ, и жизнь его текла такъ же свободно и весело. Крѣпкій, здоровый, онъ немного страдалъ болѣзнью почекъ, и каждое лѣто ѣздилъ въ Карлсбадъ не столько для леченія, сколько для развлеченія. Тамъ онъ выпивалъ аккуратно каждое утро три стакана шпруделя и потѣшалъ собесѣдниковъ безконечными анекдотами и каламбурами. Оттуда онъ обыкновенно проѣзжалъ въ Парижъ, гдѣ два, три мѣсяца пиршествовалъ и таскался въ *Bal Mabil* и *l’Oréga*.

Затѣмъ, нѣсколько помятый этой пріятной жизнью, онъ возвращался въ родныя поля, жирѣть на просторѣ поѣмныхъ луговъ и наслаждаться помѣщичьимъ правомъ или, лучше сказать, безправьемъ.

У него были огромныя оранжереи, гдѣ однѣхъ камелій было слишкомъ двадцать сортовъ, и Толкуновъ снабжалъ ими весь губернский городъ; была особая ананасная теплица и огромныя сараи для персиковъ и вишенъ. Поваръ у него былъ французъ, добытый прямо изъ Парижа, и при немъ три поваренка. Разныя снадобья французской кухни, гастрономическія тонкости и деликатессы тоже получались изъ Парижа, закупоренныя въ жестяныхъ коробкахъ, — страсбургскіе пироги, *dindes truffées* и груши-дюшессы.

— Ну, такъ какъ же?—допрашивалъ онъ сына:—ты опять вернулся къ роднымъ пенатамъ? Надолго ли?... Я думаю, долго не усидишь... Надоѣло, что-ли, за границей?

— Нѣтъ, не надоѣло... а пора и домой; здѣсь какъ-то спокойноѣ...

— Да, братъ, спокойноѣ, привольнѣ; здѣсь чувствуешь, что ты самъ себѣ господинъ и своимъ хвостомъ метешь. Никто тебя въ шею не толкаетъ и ты никого не толкаешь. Сосѣдями доволенъ... чего-жъ еще надо?

И онъ ударился въ безконечныя рассказы объ ихъ помѣщичьемъ житьѣ-бытьѣ. Онъ рассказывалъ хорошо, съ юморомъ и солью. Кое-гдѣ прикрашивалъ, кое-гдѣ сглаживалъ. Толкуновъ-сынъ слушалъ его, и мало-по-малу вмѣстѣ со словами отца и

подъ ладъ ихъ выплывали прежнія старыя лица и старыя отношенія и интересы. Онъ былъ чужой имъ, и какъ-то пріятно было теперь сознавать это отчужденіе, смотрѣть совершенно объективно на эту уродливую, мизерную жизнь. Чувство довольства, сознаніе почвы, родной среды, баюкало его. Онъ вѣрилъ въ силу своего молодого, теперь обновленнаго труда, въ его полезную, блестящую будущность, и слушалъ рассказы отца, какъ рассказы старой няни, о чудищахъ и богатыряхъ, слишкомъ хорошо знакомыхъ, и потому уже родныхъ и милыхъ.

А ясный лѣтній вечеръ тихо спускался на цвѣтушія сирени, на столѣтнія липы и ели. Толкуновъ смотрѣлъ на группы деревьевъ, на игру свѣта въ ихъ партіяхъ (онъ былъ немного художникъ); какъ-то мягко, нѣжно дѣлились онъ въ сумеркахъ вечера. Только кое-гдѣ, мѣстами, красноватый свѣтъ заходящаго солнца упалъ на верхушки деревьевъ. Легкая прохлада разливалась въ воздухъ; мраморный фонтанъ выдѣлялся бѣлымъ яркимъ пятномъ среди потемнѣвшей зелени. А тамъ, въ вышинѣ, на его свѣтлой струѣ игралъ лучъ солнца и дробился бриллиантовыми искрами.

Онъ всталъ и надѣлъ свою мягкую сѣрую *casquette de chasse*.

— Куда ты?—встрепенулся отецъ, который только-что приготовился рассказывать очень пикантную исторію объ одной молодой вдовѣ-сосѣдкѣ.

— Хочу пройтись. Чудный вечеръ! Хочется посмотреть на знакомыя мѣста, которыхъ давно не видалъ.

— Да...—и онъ тоже поднялся со стула.—Что же, ступай, пройди. Къ ужину, я чай, вернешься.

— Я никогда не ужинаю.

— Ну, да! Это за границей, а здѣсь надо ужинать. Это по положенію. Чего-нибудь легонькаго, такъ себѣ... майонезу съ бургонцемъ...

— Нѣтъ, не желаю...—и онъ сходилъ уже съ балкона.

Отецъ что-то еще хотѣлъ добавить, но остановился. „Ничего,—подумалъ онъ.—Пройдется, такъ проголодается“.

— Не хочешь ли, я тебя провожу?—вскричалъ онъ вслѣдъ. Но сынъ издали только махнулъ рукой.

Сквозь маленькую, хорошо знакомую калитку онъ вышелъ въ поле. Густая рожь, уже слегка пожелтѣвшая, поднималась по обѣимъ сторонамъ дороги. Она разстилалась широкимъ полемъ, на краю котораго мелькали колки деревьевъ. Ласточки чиркали и неслись по дорогѣ, чуть не задѣвая крыльями землю.

Тамъ, въ сторонѣ, по маленькой дорожкѣ, поднималась густая пыль, которая алѣла на солнцѣ.

Толкуновъ жадно впивалъ полной грудью свѣжій, ароматный воздухъ. Онъ шелъ прямо; дорожка вдали упиралась въ рощу, слишкомъ хорошо знакомую березовую рощу, которая называлась „чистенькою“. Онъ дошелъ до нея и вступилъ подъ тѣнь березъ, широко разставленныхъ одна отъ другой. Низкое солнце освѣщало бѣлые стволы... Сколько воспоминаній, дѣтскихъ, милыхъ воспоминаній, было связано съ этой рощей!

Въ ней онъ проводилъ цѣлые часы съ своей матерью. Вотъ и двѣ березы— „два братца“, подъ которыми они сидѣли. „Гдѣ они, эти невозвратимые дорогіе часы, которые летѣли такъ быстро, и гдѣ ты, родная моя? Все заросло былью, улеглось въ могилѣ“.

Онъ вышелъ изъ рощи. Опять поля—яровыя, озимыя. Какая-то коровѣнка шарилъ въ овсахъ, и, завидя Толкунова, устала на него свои большіе черные, испуганные глаза. Попался мужичокъ, старенькій, заскорузлый. Онъ, завидя Толкунова, сдернулъ свою изодранную шляпенку и все время стоялъ, опираясь на длинную сучковатую палку, что-то бормоча себѣ подъ носъ, пока Толкуновъ не прошелъ мимо него.

Вотъ и лѣсъ, заказной лѣсъ; еще съ полъ-версты пройти, и начнутся луга, поѣмные, заказскіе луга. Толкуновъ дошелъ до нихъ,—и удивительный просторъ, ширина и гладь развернулись передъ нимъ. Съ высокаго вала открылась громадная панорама луговъ и озеръ, луговъ, поросшихъ густой, аршинной травой, озеръ, окаймленныхъ тальниками и осокорами. Дорога спускалась съ горы и, извиваясь какъ змѣя, терлась въ этой широкой зеленой скатерти, которая уходила въ синѣющую даль и тамъ на горизонтѣ тонула въ мягкихъ алыхъ сумеркахъ теплаго вечера.

„Вотъ она, земля родная!—думалъ Толкуновъ.—Удастся ли что-нибудь сдѣлать для тебя? Или моему труду суждено сгинуть во времени?.. Вѣдь каждый человѣкъ мечтаетъ, въ извѣстную пору жизни, чѣмъ-нибудь заявить себя. Иначе прогрессъ былъ бы невозможенъ“.

И онъ мечталъ объ упорномъ трудѣ, который непременно долженъ принести пользу,—и странно, среди этихъ мечтаній о серьезномъ дѣлѣ, вдругъ сама собой встала посреди нихъ хорошенькая головка... Онъ вспомнилъ о другѣ дѣтства. Ему вспомнилось, какъ по этой самой дорожкѣ, на которую онъ теперь смотрѣлъ, они ѣхали цѣлой компаніей на длинныхъ дрогахъ; три собаки бѣжали около дрогъ. На немъ былъ охотничій ко-

сткомъ и въ рукахъ новенькая, только-что полученная двустволка Лебеды. Полное довольство жизнью такъ сладко разливалось по всему его существу. Лошади весело проносятся мимо зеленой, душистой травы, мимо бѣлаго донника, который ярко блеститъ на солнцѣ. Собаки съ веселымъ лаемъ пнырять по луговинѣ. А подлѣ него—она, русая дѣтская головка, съ веселымъ дѣтскимъ смѣхомъ, съ добрымъ дѣтскимъ сердцемъ.

— Зачѣмъ вы бѣдныхъ птичекъ убиваете?..—говоритъ она:—вѣдь имъ больно.

— Нѣтъ, имъ не больно... Пафъ!—и онѣ умрутъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, пожалуйста, ради меня, если вы правду говорите, что я вашъ другъ,—не убивайте ихъ, хотя только сегодня, когда мы вмѣстѣ...

И глаза ея такъ ярко блестятъ... въ нихъ видна эта просьба... и даже глубже—видно самое дно сердца.

— Извольте,—говорилъ онъ, смѣясь, и цѣлый вечеръ онъ не стрѣлялъ, и цѣлый вечеръ текли у нихъ простые дѣтскія слова и игры, и шутки и смѣхъ, смѣхъ безъ конца.

„Юность!—думаетъ онъ.—И гдѣ она?.. Я думаю, уже вышла замужъ, за какого-нибудь Нетѣхина. Вѣдь ей...“—и онъ сообразилъ, что ей уже минуло девятнадцать.

Поздно вечеромъ вернулся онъ домой и пробрался по знакомой дорожкѣ во флигелекъ. Тамъ ужъ его ждалъ слуга.

— Васъ ждутъ, сударь,—сказалъ онъ,—къ ужину.

— Я не хочу.

— Прикажете раздѣвать васъ?

— Нѣтъ, я самъ; ступай съ Богомъ, мнѣ ничего не нужно.

И долго онъ рылся въ своемъ чемоданѣ и въ небольшомъ ящикѣ, наполненномъ книгами; это—нецензурныя; но тамъ еще идетъ цѣлый транспортъ цензурныхъ. Потомъ перебиралъ свои рисунки, этюды, альбомы, записки... Былъ уже двѣнадцатый часъ, когда онъ, усталый отъ всей дневной возни и дороги, зѣвнулъ и раскрылъ окно.

Тихая, теплая ночь смотрѣла тысячами звѣздъ сквозь вѣтви вависпихъ акацій. Сторожъ колотилъ въ доску. Гдѣ-то вдали слышался какой-то однообразный, монотонный звукъ.

Какъ хорошо, отрадно было дышать! На сердцѣ дрожали слезы.

IV.

Старый берегъ Камы въ восточномъ углу К. губерніи самъ образуетъ уголъ, и этотъ уголъ съизстари былъ излюбленнымъ, насѣженнымъ дворянами, поселкомъ. Тутъ были усадьбы князей Сабаньскихъ, богатыхъ помѣщиковъ Тентелеевыхъ, Лебядкиныхъ, Горбузиныхъ, Погосовыхъ, Базяковыхъ. Маленькая рѣчонка Ахтай вытекаетъ изъ этого увала, вьется въ крутыхъ, глинистыхъ берегахъ по широкой равнинѣ и вытекаетъ въ Каму. На этомъ же увалѣ стояло село Вознесенское, помѣстье Ольги Андреевны Драевской. Помѣстье было большое, цѣнное, неразоренное и хорошо устроенное.

Ольга Андреевна была вдова, генеральша, добрая, богомольная, молчаливая старушка. Смотря на ея блѣдное, исхудалое лицо, никто бы не сказалъ, что ей уже 60 лѣтъ. На этомъ лицѣ почти не было морщинъ. Большіе добрые каріе глаза смотрѣли бодро и молодо. Кроткая, грустная улыбочка никогда не покидала ее. Только волосы, сильно посѣдѣвшіе, обличали года Ольги Андреевны. Впрочемъ, сѣдина эта была дѣло не столько лѣтъ, сколько тяжелаго горя.

Мужъ Ольги Андреевны, генералъ отъ инфантеріи, Петръ Онисимовичъ, началъ свою службу еще при Александрѣ Павловичѣ. Въ тридцатыхъ годахъ онъ былъ сдѣланъ уже бригаднымъ генераломъ на Кавказѣ, подъ начальствомъ Ермолова. Въ 1839 г. Ольга Андреевна снарядила, по настоянію мужа, старшаго своего сына Алексѣя и отправила на Кавказъ. Молодой человѣкъ, только что выпущенный изъ Павловскаго училища, прослужилъ недолго. Въ первомъ же дѣлѣ его убили при взятіи какого-то аула. Настала очередь другого, младшаго и послѣдняго сына, Константина. Осенью онъ, выпущенный изъ того же училища офицеромъ, пріѣхалъ въ помѣстье. Въ то же время пріѣхалъ туда въ отпускъ и отецъ его, — на двѣ недѣли. Молодой Константинъ Драевскій былъ, что называется, писанный красавецъ. Рослый, статный юноша, брюнетъ, съ большими глазами, онъ былъ вылитый портретъ отца и любимецъ матери.

— Ольга Андреевна, — тихо сказалъ разъ утромъ Петръ Онисимовичъ женѣ: — ты приготовишь Костю къ отъѣзду. Онъ поѣдетъ со мной черезъ недѣлю.

Ольга Андреевна поблѣднѣла.

— Петръ Онисимовичъ, — сказала она робко: — вѣдь это одинъ у насъ... послѣдній.

— Ну, такъ что-жь?—спросилъ Петръ Онисимовичъ.—Если я клялся служить вѣрой и правдой царю и отечеству и не жалѣть послѣдней капли крови, то неужели я пожалѣю родного сына? Какъ же я буду ему, царю, въ глаза смотрѣть?

Ольга Андреевна ничего не отвѣтила.

Въ это время вошелъ сынъ; она взглянула на него, какъ-то еще грустнѣе улыбнулась, и двѣ крупныя слезинки побѣжали по ея впалымъ щекамъ.

— Костя,—сказалъ отецъ,—хочешь ли остаться въ деревнѣ съ матерью, или хочешь со мной ѣхать прямо... на службу?.. на Кавказъ?..

„На убой“,—подумала Ольга Андреевна.

— Разумѣется, съ вами, папа... Какой же тутъ вопросъ!.. Милая мама не будетъ удерживать меня отъ исполненія моего долга.—И онъ, какъ бы не замѣчая ея слезъ, поцѣловалъ почтительно исхудалую ея руку.

Она, дѣйствительно, не удерживала и молча начала собирать его въ дорогу.

Съ самаго дѣтства, воспитанная подъ строгой ферулой ея отца, князя Новосельскаго, и реликовѣтской мачихи, она утратила всякую самостоятельность и покорно подчинялась и переносила чужую волю.

Черезъ двѣ недѣли отецъ увезъ сына, а черезъ три мѣсяца Ольга Андреевна получила письмо, въ которомъ извѣщалось, что послѣдній и единственный сынъ ея умеръ отъ кавказской лихорадки.

Она перенесла это горе съ той же покорностью, какъ смерть старшаго сына. Она давно уже повернула на ту дорогу смиренія передъ судьбой и Промысломъ, которая вливаетъ въ сердце восторженное чувство и даетъ твердую вѣру во что-то далекое и желанное, чувство, сродное экстазу.

Съ той же покорностью она перенесла и вѣсть о смерти Петра Онисимовича, который былъ убитъ при взятіи на Кавказѣ какого-то аула. Она выхлопотала дозволеніе перенести его тѣло въ Вознесенское—его родовое имѣніе.

За пять или за шесть мѣсяцевъ до ея замужества она была сдѣлана фрейлиной при дворѣ Александры Федоровны, и государыня, узнавъ теперь объ ея потерѣ, написала ей нѣсколько теплыхъ строчекъ соболюзнованія объ ея тяжеломъ горѣ... Она благоговѣйно поцѣловала рескриптъ и спрятала его въ ларчикъ съ ея драгоценностями, ларчикъ, прочитанный крѣпкимъ запахомъ кипариса и мускуса.

У нея оставалась надежда на дочь—хорошенькую дѣвочку лѣтъ шести или семи.

„Ее никто не отниметъ отъ меня. Не можетъ отнять!“ — думала она, и на этомъ она успокоилась. Въ этомъ былъ весь ея протестъ, глухой и безсильный.

Года залечили тяжелыя сердечныя раны, а деревенская жизнь, полная невозмутимаго мира и тишины, и впереди сулила безмятежный покой и тихія семейныя радости.

Ольга Андреевна сосредоточила всѣ свои заботы и привязанности на своей Любѣ. Покойный, ровный характеръ матери, точно цѣликомъ передался дѣвочкѣ. Рѣзвая, но тихая, она была какъ бы безучастна къ жизни, также какъ и ея мать. Но у Ольги Андреевны этотъ индифферентизмъ и пассивность выработались годами и семейной жизнью. У Любы онъ явился самъ собою, какъ наслѣдство отъ матери. Взрослая въ деревнѣ подъ ея надзоромъ, подъ надзоромъ няньки и гувернантки,—она нѣсколько дичилась общества, конфузилась, выходя къ незнакомымъ прїѣзжавшимъ гостямъ, и была покойна и довольна только между своими домашними. Она была откровенна только съ своимъ неизмѣннымъ другомъ, троюродной сестрой-пріемышемъ, которая росла и воспитывалась въ ихъ домѣ.

Это была высокая, стройная дѣвушка, брюнетка, съ легкой смуглостью въ цвѣтъ кожи. Она была такъ же мало общительна, всегда серьезна и задумчива,—но, можетъ быть, именно вслѣдствіе этой сосредоточенности и отчужденія, ее крѣпко любила Люба.

Люба и Вѣра были неразлучные, неизмѣнные друзья. Они были парой—рѣзкими контрастами, довольными другъ другомъ. Люба смотрѣла наивной розовой дѣвочкой, съ немного вздернутымъ носикомъ, съ ясными дѣтскими голубыми глазами, съ крохотнымъ ротикомъ, пухлыми губами и удивительно роскошными сѣроватыми волосами, которые придавали особенный изящный блескъ цвѣту ея лица... Вѣра въ присутствіи ея казалась нѣсколько грубоватой съ своимъ контральто... Но это только казалось. Когда она смотрѣла прямо (что рѣдко бывало), то въ ея смѣломъ взглядѣ черныхъ большихъ глазъ, чувствовалась нервная глубокая сила.

Одинъ разъ, въ жаркое іюльское утро, Люба и Вѣра сидѣли на широкой террасѣ, выходившей въ садъ. На террасѣ было прохладно. Она со всѣхъ сторонъ была заслонена отъ солнца парусинными маркизами, на которыхъ были нашиты широкія полосы кумачу.

— А вѣдь это кто-то къ намъ подъѣзжаетъ? — вскричала Люба и вскочила со стула.

Это была такая рѣдкость, когда къ нимъ кто-нибудь подъѣзжалъ, что можно было на это смотрѣть какъ на событіе.

Она тщательно всматривалась въ чашу липъ и въ густыя космы акацій, которыя заслоняли рѣшетку, отдѣлявшую садъ отъ двора, — и ничего не могла разсмотрѣть.

— Какія эти несносныя акаціи!.. Я бы ихъ всѣхъ подстригла...

И она бросилась въ гостиную, а изъ нея въ залу. Въ это время въ переднюю входилъ молодой Толкуновъ. На немъ былъ легкій сѣрый костюмъ, широкополая шляпа и цвѣтной, синій галстухъ, который придавалъ особенную живость и здоровый тонъ его слегка загорѣлому лицу.

Двое слугъ, Алексѣй длинный и Сергѣй, стояли передъ нимъ, и одинъ снималъ съ него легкую накидку.

Люба прищуривалась и пристально вглядывалась, тщетно припоминая, гдѣ, когда она видѣла этого молодого, — казалось, совершенно ей незнакомаго человѣка. Она ужъ вся вспыхнула и хотѣла бѣжать, какъ Толкуновъ быстро вошелъ въ залу и протянулъ къ ней руки.

— Любовь Петровна!.. Люба!.. Не узнали?.. Пять лѣтъ не видѣлись. Какія же вы стали большія да хорошія!

— Володя... Владиміръ... — Но тутъ память ея сконфузилась, какъ и она сама, и наотрѣвъ отказалась подсказать: какъ звали отца Толкунова?..

— Вѣра! Вѣра!.. Поди сюда! — и она обернулась.

Но Вѣра стояла ужъ на порогѣ.

— Вѣра!.. Вотъ... Ты не помнишь... Владиміра, Владимір...

— Элизаровичъ, — подсказалъ Толкуновъ. — Даже имя забыли!..

— Да нѣтъ, ты вѣрно не помнишь... Мы тогда съ тобой были такія маленькія...

— Это было только пять лѣтъ тому назадъ, — поправилъ Толкуновъ. — Только пять лѣтъ, какъ мы съ вами не видѣлись, и уже вы забыли...

— Нѣтъ... я не забыла... Вѣра! да гдѣ же мама?.. Я сейчасъ ее позову...

И она быстро обернулась и убѣжала.

— Мы старые дѣтскіе друзья съ Любовъ-Петровной, — говорилъ Толкуновъ, пожимая руку Вѣры. — Вы, дѣйствительно, были маленькія... очень маленькія, когда я... тоже ребенокъ... видѣлъ васъ здѣсь.

— Я чуть-чуть помню васъ... какъ во снѣ...—сказала Вѣра, пристально и задумчиво рассматривая Толкунова.

— А потомъ вы уѣхали или, правильнѣе, васъ увезли въ вашу деревню. И вотъ, когда васъ не было здѣсь, мы съ Любовью-Петровной видѣлись чуть не каждый день и почти по цѣлымъ днямъ проводили вмѣстѣ... Вмѣстѣ приготавливали ей уроки... Даже я помню разъ... англичанка Пипсъ дѣлала мнѣ выговоръ за то, что Люба... Любовь Петровна дурно приготвила англійскій урокъ.

— Да, она была очень строгая и смѣшная, эта неуклюжая миссъ Пипсъ.

— Я помню одинъ разъ—это было вечеромъ, зимой, мы играли въ карты, и ко мнѣ пришли все простыя карты, не фигуры... И я сказалъ: „А какъ много у меня очковъ... Now shall I have pips!“ Только, не знаю почему: сказалъ не просто: pips, а: miss Pips. И она, знаете ли, страшно обидѣлась и не позволила Любѣ... т.-е. Любови-Петровнѣ, нѣсколько дней даже говорить со мной.

Въ это время вошла Ольга Андреевна или, лучше сказать, ее порывисто ввела Люба.

Въ домѣ Ольги Андреевны всѣ двери не затворялись и никогда не запирались. На нихъ не было портьеръ, а самые косяки были рѣзные, съ высокими фризами, и самыя створки этихъ бѣлыхъ лаковыхъ, блестящихъ дверей были также покрыты мелкой рѣзкой. Эти двери Петръ Онисимовичъ заказывалъ и выпилъ изъ Петербурга, и онѣ очень дорого стоили.

V.

На лицѣ Ольги Андреевны свѣтилось радостное изумленіе.

— Давно ли? Какими судьбами?..—обратилась она къ Владиміру, когда онъ цѣловалъ ея руку, а она поцѣловала его въ високъ.

— Изъ чужихъ земель... Третьяго дня пріѣхалъ.

И онъ смотрѣлъ такъ радостно на доброе, кроткое лицо Ольги Андреевны.

„Она не постарѣла, — думалъ онъ:—а какъ-то съѣжилась. Точно усохла“.—Въ его представленіи она, казалось, должна была быть гораздо выше и нѣсколько полнѣе.

Но черты лица остались тѣ же,—тѣ же правильныя, строгія черты. Та же кроткая, добрая улыбка, которая усиливала рѣз-

вія „борозды страданія“ около основанія носа. Тѣ же глаза—ясные, радостные и покойные,—невозмутимо, свято покойные...

— Надолго?—спросила его Ольга Андреевна.—Опять уѣдете за границу?..

— Не знаю, какъ поживется.

— Мама! Онъ къ намъ на цѣлый день, непременно... Онъ не можетъ, не смѣетъ не остаться.

И она шаловливо, неожиданно для него, выдернула изъ его рукъ сѣрую мягкую шляпу, которую онъ купилъ въ Берлинѣ и которая вѣсила всего 37 драхмъ.

Онъ былъ и радъ, и не радъ этому неожиданному приглашенію. Онъ рассчитывалъ такъ, между прочимъ, завернуть на минутку и къ Драевскимъ. Ему предстояло еще два деревенскихъ визита, а впереди—работа. Онъ предположилъ работать аккуратно. Каждый день онъ долженъ былъ непременно исписать листъ бумаги, цѣлый листъ бумаги—ни болѣе, ни менѣе; а сегодня онъ вышелъ необыкновенно поздно и ничего еще не написалъ.

— Я никакъ не могу, Люба... Любовь Петровна... У меня дѣло, много дѣла...

— Ну, это дѣло вы можете оставить до завтра, а сегодня—отдохнуть.

И она быстро подошла къ дверямъ диванной, изъ-за которыхъ выглядывали двѣ, три любопытныя головы, и передала шляпу дѣвочкѣ-Стешѣ, съ приказаньемъ взять и спрятать бережно.

— Вотъ,—сказала она, обращаясь къ Владиміру,—теперь вы нашъ арестантъ...

А онъ думалъ въ это время: „Что же?.. Дѣйствительно, отчего же не остаться, не сдѣлать удовольствіе „другу дѣтства“?.. Притомъ обѣ барышни, вѣроятно, страшно скучаютъ въ затворничествѣ. Я къ нимъ попалъ, какъ сладкій плодъ на голодные зубы“.

Между тѣмъ Ольга Андреевна предлагала присѣсть. Но Люба увлекла всѣхъ въ садъ.

— Нѣтъ! Нѣтъ!.. Кто сидитъ лѣтомъ въ гостиной? Это только зимой усаживаютъ гостей въ гостиную. Идемъ въ садъ. Здѣсь у насъ хорошо...—И всѣ вышли на широкую террасу. Здѣсь жаръ еще сильнѣе давалъ себя знать, чѣмъ въ гостиной. И только по временамъ легкій вѣтерокъ пробѣгалъ и освѣжалъ воздухъ.

— Пойдемте... Мы вамъ садъ покажемъ... Владиміръ...

— Элизаровичъ,—снова подсказалъ Толкуновъ.

И вся компанія начала спускаться внизъ съ небольшой, но широкой лѣстницы.

Вѣра молча, нѣсколько поодаль, слѣдовала за ними. Владимиръ иногда бросалъ на нее взглядъ и думалъ: „А она очень, очень недурна... Что-то важное и властное въ ея лицѣ... Эти большіе черные и узкіе глаза и длинныя рѣсницы. Этотъ смуглый цвѣтъ и яркій румянецъ, и яркія алые губы... Она не дурна... Даже худощавость не портитъ ее... Но, должно быть, сама по себѣ... Сердечная затворница.

О Любѣ онъ ничего не думалъ. Для него она была олицетвореніе не красоты, но миловидности... Эти шаловливые, простосердечные, наивные и глубоко любящіе глаза; эта дѣтская, милая, простая улыбка, передъ которой всякая премудрость смолкала и падала... „Что лучше?—думалъ онъ, съ той быстротой, съ которой мысли мелькаютъ въ возбужденной головѣ человѣка,—что лучше: красота, или эта привлекающая, прямо говорящая сердцу миловидность?“

Они сошли на песокъ цвѣтника, и онъ захрустѣлъ подъ ихъ ногами. Тысячи блестящихъ, золотистыхъ искорокъ слабо заблестѣли на этомъ пескѣ.

— Ну, смотрите, какой жаръ!..—вскричала Ольга Андреевна. —Какъ же идти безъ зонта?—и она протянула вверхъ руку съ платкомъ.—Тоня, Тоня!—закричала она.

И Тоня, двѣнадцатилѣтняя юркая дѣвочка, сейчасъ же явилась. Она слѣдила за господами и стояла около балкона.

— Тоня, подай зонтикъ... мнѣ и барышнямъ!

— И мнѣ шляпу,—сказалъ Толкуновъ...

— Только скорѣе, скорѣе!—прибавила Люба.

И Тоня ринулась какъ стрѣла.

— Вотъ этого при васъ не было, — говорила Люба, показывая на двѣ новыхъ аллейки, которыя шли отъ цвѣтника лучами въ стороны, аллейки изъ густыхъ, сильно разросшихся акацій.— Не помните?

Онъ улыбнулся и сказалъ.

— Не помню...

— Вы все забыли... несносный!.. Мама, знаешь ли, онъ заблѣлъ, какъ меня зовутъ...

— Это вашъ грѣхъ, Любовь Петровна... а вы на мою голову...

Въ это время Тоня принесла зонтики и шляпу Толкунова.

— Пойдемте! Пойдемте!..—вскричала Люба... и тутъ же задержалась и указала на цвѣтникъ.

— Вотъ!.. посмотрите... Вы этихъ цвѣтовъ, навѣрное, не видали... Это все моя работа... Это выписаны... Смотрите, какія розы—точно бархатныя... Прелесть!..—И она сорвала одну, небольшую,—хотѣла воткнуть ее въ волоса,—но вдругъ протянула ее къ Владимиру.

— Вотъ вамъ—ради вашего пріѣзда.

Онъ взялъ ее,—сказалъ: „благодарю“,—понюхалъ цвѣтокъ и всунулъ его въ петлицу своего легкаго *rag-dessus*, а она вдругъ покраснѣла и неизвѣстно почему схватила Вѣру за руку...—Пойдемте,—сказала она,—на папину полянку... Это—мое любимое мѣсто.

И они всѣ, разговаривая и перебивая другъ друга, пошли на зеленый холмикъ, посреди котораго былъ небольшой цвѣтникъ. Въ немъ цвѣли розы, а въ серединѣ его возвышался бѣлый мраморный бюстъ Петра Онисимовича. Подлѣ самаго бюста была небольшая скамейка полукругомъ, а внизу блестѣлъ прудъ, обсаженный старыми, искривленными ветлами.

— Не правда ли, здѣсь хорошо?—спросила Люба.—Это безъ васъ сдѣлали...

Толкуновъ остановился передъ бюстомъ, и всѣ остановились.

— Похожъ?—спросила Ольга Андреевна.

— Очень похожъ... Гдѣ его дѣлали?

— Въ Петербургѣ, въ Академіи заказывали... какому-то молодому художнику... Онъ—ученикъ Мартоса...

— Очень похожъ.

— Это была любимая полянка папина,—сказала Люба...—Здѣсь онъ на скамеечкѣ отдыхалъ... И мое тоже любимое мѣсто...—прибавила она почти шопотомъ.—Только теперь на солнцѣ здѣсь сидѣть нельзя. А вечеромъ... съ Вѣрой... мы приходимъ сюда и работаемъ, а по этой дорожкѣ мы сходимъ внизъ,—и она повернула въ сторону отъ цвѣтника и по крутой тропинкѣ, усыпанной пескомъ, сбѣжала внизъ.

Толкуновъ подаль руку Ольгѣ Андреевнѣ и свелъ ее внизъ. Сзади нихъ шла Вѣра.

— Вотъ здѣсь,—вскричала Вѣра,—нашъ портъ... „Вознесенская пристань“... Этого тоже при васъ не было.

Большой плотъ тихо качался на широкомъ, свѣтломъ пруду, заросшемъ водяными лиліями. Двѣ, три лодки стояли на цѣпяхъ, запертыя на замки, и также покачивались вмѣстѣ съ плотомъ.

— Это,—объяснила Люба,—нашъ флотъ... Теперь нельзя кататься—а послѣ обѣда... когда жаръ спадетъ... Вотъ тамъ

видите вдали—это все нашъ трудъ... Третьяго года мы сдѣлали новую плотину... Вотъ, смотрите!

И она дернула веревку, которая была проведена къ звонку, висѣвшему на столбикѣ подъ маленькой крышечкой.

Тотчасъ же на этотъ громкій призывный звонъ выплыло изъ глубины множество крупныхъ головлей, карасей и мелкихъ бойкихъ серебристыхъ рыбешекъ...

— Видите ли, какое у насъ рыбье царство.—Только покормить ихъ нечѣмъ.—Вѣра, нѣтъ ли у тебя крошечекъ въ карманѣ?.. У меня ничего нѣтъ.

Но и у Вѣры ничего не оказалось.

— Ну, и такъ уйдутъ... Не очень церемонны... А тамъ,—и она опять указала вдали,—тамъ у насъ дикое царство. Тамъ мы удимъ съ Вѣрой. Тамъ есть у насъ милые, отличные омутки: „голубой“, „глубокій“, „желанный“, „обманный“... да много, много... Вотъ вечеромъ, если хотите, мы поѣдемъ.

Отъ пруда пошли опять наверхъ и повернули въ другую сторону, на другой холмикъ, на которомъ было выстроено крохотное шалѣ и около него столбикъ съ колечками и съ бильбоке.

— Вотъ это тоже мы очень любимъ... Она лучше меня играетъ... Хотите проежаменовать...

— Ну! Гдѣ же теперь, на солнцѣ!—запротестовала Ольга Андреевна.

Съ этого холмика повернули въ другую сторону. Осмотрѣли небольшой пчельникъ—въ двадцать улейковъ, изъ которыхъ пять были разборные. Молодой пчелякъ изъ дворовыхъ встрѣтилъ ихъ съ низкимъ поклономъ и собрался показывать пчельникъ. Но Вѣра сказала, что теперь въ жаръ нельзя осматривать ульевъ. Она боялась пчелъ.

VI.

Затѣмъ опять повернули направо и тутъ же, въ нѣсколькихъ шагахъ, въ тѣни нависшихъ вѣтвей бузины, стояло другое, маленькое, низенькое шалѣ, окруженное красивой рѣшеткой, сложенной изъ изогнутыхъ бѣлыхъ березовыхъ сучковъ, во вкусѣ Rustique.

Люба первая распахнула маленькую калитку и вошла въ это огороженное пространство. Позади шалѣ была широкая луговинка на холмикѣ, и съ этой луговинки бросилась къ входившей Любѣ цѣлая стая кроликовъ—бѣлыхъ, пестрыхъ, сѣрыхъ и

черныхъ. Она присѣла, и они лѣзли къ ней на платье, вспрыгивали на колѣни.

— Видите, какъ они любятъ меня? — спрашивала Люба. — Это все мои неизмѣнные друзья и — антипатіи моего друга Вѣры... Она ихъ терпѣть не можетъ.

— Почему же? — спросилъ Толкуновъ, наклоняясь къ кроликамъ. — Они такіе хорошенькіе!.. — И онъ погладилъ одного бѣлаго, который сидѣлъ у Любы на колѣняхъ и тотчасъ же соскочилъ и сдѣлалъ нѣсколько уморительныхъ курбетовъ, какъ-то бокомъ-бокомъ.

— Видите, какіе они веселые? — допрашивалъ Толкуновъ, обращаясь къ Вѣрѣ.

— Я потому не люблю ихъ, — сказала Вѣра пѣвучимъ контраalto, слегка покраснѣвъ, — что они ужасно глупы... Вотъ они знаютъ Любу и всегда бѣгутъ къ ней и ласкаются... А приди я и покажи имъ морковь, и они тотчасъ же бросятся ко мнѣ, хотя и не любятъ меня.

— Ну, что же?.. Вѣдь это и между людьми такъ...

— Нѣтъ, я не люблю ихъ, — настаивала Вѣра и повертѣла головой.

— Вотъ! — говорила Люба. — Смотрите... это — самый умный и... лѣнивый... Бимка! Бимка!.. Ну, поди сюда! Поди... — И она протянула руку къ кролику, который сидѣлъ въ сторонѣ и не принималъ никакого участія въ общей вознѣ и суматохѣ.

— Видите! Онъ съ бубенчикомъ... Это — старшій здѣсь. Гдѣ онъ сидитъ, тамъ и всѣ кролики вокругъ него, — точно пчелы вокругъ матки.

— И знаете ли, — вмѣшалась Ольга Андреевна, — у каждого есть свое имя. Она всѣхъ ихъ окрестила... Это кто? — допрашивала она, указывая на большого черного кролика, который лѣживо разлегся на колѣняхъ у Любы.

— Это — Чернецъ. А это Фифочка, а это — Тихій... Тихій, Тихоня... кроткій да ласковый... А это — Брумъ.

— Я думаю, они всѣ тихіе да кроткіе, — сказалъ Толкуновъ.

— Ну, нѣтъ! Вотъ это — буянъ... драчунъ, забіяка, всѣхъ колотить, — и она указала на пестраго кролика, который сидѣлъ въ двухъ шагахъ и жевалъ траву.

Нѣсколько шаговъ въ сторону, и компанія очутилась у калитки, которая вела въ фруктовый садъ. Чисто одѣтый подростокъ въ длинномъ фартукѣ отперъ калитку, и они вошли въ правильно и красиво распланированный, довольно большой садъ, въ которомъ было много парниковъ, высокихъ оранжерей, фрук-

товыхъ сараевъ и больше всего разныхъ грядокъ, прихотливо распланированныхъ треугольниками, звѣздами или просто длинными грядами, параллелограммами, на которыхъ были правильно рассажены разные овощи.

— Это мое царство,—сказала Ольга Андреевна.—Вонъ тамъ у насъ ягоды,—и она указала направо, гдѣ съ такой же правильностью были рассажены земляника и клубника, которыхъ спѣлыя ягоды почти сплошнымъ ковромъ ярко алѣли на солнцѣ. А сзади этихъ грядъ послѣдовательно, стѣнами или уступами, поднимались кусты смородины, крыжовника, малины, и все заканчивалось высокимъ грунтовымъ сараемъ, въ которомъ рдѣли прямо на солнечномъ припекѣ вишни и черешни. Множество пчелъ и осъ летало здѣсь, собирая богатую жатву сахаристыхъ соковъ. Сладкій аромат проникалъ весь воздухъ, нагрѣтый жаркимъ солнцемъ.

— А тамъ,—сказала Ольга Андреевна, указывая направо,—у насъ яблоки и груши.—И дѣйствительно; тамъ уходили куда-то въ безконечность маленькія, приземистыя, широко рассаженные деревья, обсыпанныя еще мелкими плодами.

— Пойдемте въ теплицы... Я вамъ покажу кавказскіе кусты... Мы вырастили ихъ изъ сѣмянъ, которыя прислалъ намъ покойный Петръ Онисимовичъ.—И всѣ пошли въ оранжерею, сначала въ холодныя, гдѣ было царство азалій, рододендроновъ и камелій.

— Вотъ, всѣ эти азаліи,—объясняла Ольга Андреевна,—изъ отводковъ съ Кавказа... Мы ужъ сами сдѣлали ихъ махровыми.

Вмѣстѣ съ азаліями и рододендронами было множество розъ...

— Это мои любимыя цвѣты,—объяснила Люба, и сорвала одну небольшую блѣдно-розовую розу.—Посмотрите, нѣтъ цвѣтка лучше этого... А запахъ?!—И она съ увлеченіемъ нюхала цвѣтокъ, а Ольга Андреевна вела всѣхъ дальше, въ оранжерею виноградную и ананасную.

— Я не такъ люблю цвѣты, какъ плоды! — говорила она.—Мнѣ кажется, еслибы человѣкъ могъ питаться одними плодами, овощью, то онъ былъ бы гораздо добрѣе и безгрѣшнѣе.

Толкуновъ только сказалъ на это:—Можетъ быть...

Его поразила эта мысль, и онъ ничего не встрѣтилъ въ своей памяти, опровергающаго или подтверждающаго это положеніе, хотя и читалъ, припомнилось ему, одну англійскую брошюру о вліяніи рода пищи на умъ и характеръ человѣка.

Въ каждой оранжерей былъ свой надсмотрщикъ-подростокъ.

Они всѣ были на лицо. И каждый, показавъ свой участокъ, шель вмѣстѣ съ другими дальше, такъ что наконецъ эта свита все увеличивалась и дошла почти до десяти человѣкъ.

Наконецъ къ нимъ применилъ и главный старшій садовникъ, сѣдой Елисеичъ.

— Этого вы должны помнить, Владиміръ Элизаровичъ... стараго Елисеича... а онъ васъ вѣроятно, не узнаеть. Хотя въ эти четыре года вы мало измѣнились.

— Какъ же не помнить, матушка, сударыня, сына Элизара Петровича! Позвольте, сударь, ручку поцѣловать.

— Нѣтъ. Этого я никому не позволяю, — а такъ, поцѣлуемся, коли хочешь...—И онъ поцѣловалъ стараго Елисеича, у котораго при этомъ выступили слезы на глаза, и онъ бормоталъ:

— Какъ же не помнить нашихъ отцовъ-благодѣтелей?!..

— А гдѣ же Григорій Петровичъ?—спросила Ольга Андреевна.

— А онъ въ пепиньерѣ; въ пепиньерѣ молодъ подчищаетъ... Миша, сбѣгай-ка духомъ, позови!—обратился онъ къ одному изъ подростковъ.

— Нѣтъ! Не надо, — сказала Ольга Андреевна.—Пускай трудится... Это у меня новый садовникъ. Выписанъ изъ Умани. Молодой человѣкъ.—И они вышли изъ оранжерей на просторъ солнечнаго свѣта и тихаго горячаго утра.

— Жарко!—сказала Ольга Андреевна, отирая платкомъ раскраснѣвшееся лицо.

— Да, — согласился Толкуновъ, — въ этихъ оранжереяхъ температура не наша... А послѣ нихъ, знаете ли, на воздухѣ какъ будто прохладно...

— Я вотъ немного походила, — продолжала Ольга Андреевна, — а ужъ чувствую усталость... Старость беретъ свое... Да и часъ — адмиральскій. Вотъ Петръ идетъ, вѣроятно, звать завтракать...

— А какъ же скотный дворъ?—спросила Люба?—Мы еще на скотномъ дворѣ не были...

— Ну, это въ другой разъ.

— Тамъ у насъ есть маленькая ферма и около нея бесѣдка, въ которой можно пить молоко или ѣсть простоквашу...

— Какъ же. Я вѣдь помню, — сказалъ Толкуновъ. — Это еще при мнѣ было. Помните, мы, дѣтьми, бѣгали къ старой Ненилѣ? „Тетушка Ненила, дай простоквашу“!..

— Ея ужъ нѣтъ... тетушки Ненилы!—сказала Люба.—Третьяго года въ холеру умерла.—И она перекрестилась.

VII.

Въ комнатахъ, когда онѣ вошли, пахнуло на нихъ прохладой. Въ особенности въ большой, нѣсколько мрачной, столовой, которая была увѣшана литографіями и гравюрами въ черныхъ рамахъ, изображавшихъ эпизоды изъ войны 1812-го и 1814-го годовъ. Здѣсь продувалъ вѣтерокъ изъ отворенныхъ оконъ. Но Ольга Андреевна сейчасъ же распорядилась закрыть ихъ.

— Я больше всего боюсь севознива,—сказала она.

Въ столовой, на высокихъ стульяхъ съ прямыми спинками Charles V сидѣли два толстыхъ кота, одинъ сѣрый, другой рыжій, а на полу лежала, растянувшись, старая меделянская, полу-слѣпая собака, вся покрытая крапинками, бородавками, отъ старости, точно мохомъ заросла.

— Что! Вы ужъ тутъ?—спросила Ольга Андреевна.—Вотъ подивитесь... Каждый день сгоняю ихъ со стульевъ, и не могу отучить... Въ ожиданіи завтрака непременно заберутся на стулья... Ну, пожалуйста, прочь... Бикси, Мурра...—Сѣрая Мурра соскочила тотчасъ же, но рыжій Бикси никакъ не хотѣлъ разстаться съ мѣстомъ, на которомъ онъ ожидалъ навѣрное благополучій для своего желудка.

И когда Люба взяла его въ руки, то онъ запротестовалъ тихимъ, жалобнымъ курныканьемъ и усиленно замахалъ хвостомъ.

— Какой тяжелый!—вскричала Люба.—Въ немъ будетъ по крайней мѣрѣ два пуда...—И она бросила его на полъ.

— Полноте, Любовь Петровна!—возразилъ Толкуновъ.—Вы два пуда не поднимете...

— Я не подниму? Мама, скажите, что я поднимала три пуда.

— У насъ вѣдь есть гимнастика, въ саду,—объяснила Ольга Андреевна,—и онѣ каждый день, и Люба, и Вѣра, упражняются. Встанутъ рано утромъ, выкупаются и—на гимнастику.

— Это очень хорошо. Я самъ хочу устроить у насъ гимнастику.

— Берите больше!—вскричала Ольга Андреевна.—Дайте, я вамъ положу. Это было любимое кушанье Петра Онисимовича... Рагу изъ бараньихъ почекъ... Мы его часто дѣлаемъ.

Двое слугъ и два казачка, въ бѣлыхъ нанковыхъ казакинахъ изъ простого домашнего холста, разносили кушанья. А со двора доносился глухой говоръ всѣхъ садовниковъ-подростковъ, которые собрались на нерасчищенную луговинку, зеленѣвшую передъ окнами.

— Что это они расшумѣлись, точно слѣпни,—сказала Ольга Андреевна. —Осипъ, разгони ихъ! Поди, скажи имъ, чтобы они дальше отошли отъ оконъ... Это они,—обратилась она къ Толкунову,—каждый разъ дѣлають, когда мы съ кѣмъ-нибудь осматриваемъ оранжереи. Послѣ осмотра всѣ соберутся и ждутъ подачки. Набаловались.

— Затѣмъ же вы ихъ такъ много держите? — спросилъ Толкуновъ.

— А какъ же иначе?—удивилась Ольга Андреевна. —Вѣдь у насъ садъ фруктовый—двѣ десятины. Три главныхъ оранжерей, да пять теплицъ, да два грунтовыхъ сарая, а сколько парниковъ? Я ужъ и не помню... И грядъ, и куртинъ... Одной клубники соберется пятнадцать пудовъ...

— Куда же вы все дѣваете?—спросилъ Толкуновъ.

— Какъ куда? Варимъ варенье... Отсылаемъ къ сосѣдямъ. Продаемъ, что лишнее.

— Ну, ужъ, мама!.. Ты продаешь чужимъ въ карманъ!—подхватила Люба. —Въ прошломъ году купецъ Колобошинъ пріѣхалъ торговать и давалъ, знаете, по чѣмъ?.. по тридцати коп. за пудъ. И мама уже совсѣмъ было-отдала, да Григорій вступился и устыдилъ купца. Далъ по рублю пятидесять копѣекъ.

— Ну, что же,—сказала Ольга Андреевна,—все-таки продали на сорокъ-пять рублей и деньги на бѣдныхъ въ церковь отдали. Все-таки свой трудъ... Если бы я одна была,—сказала Ольга Андреевна, обращаясь къ Толкунову, — то я, кажется, изъ саду не вышла бы все лѣто. Такъ, знаете ли, пріятно чувствовать, какъ вся эта зелень... точно понимаетъ, что ты за ней ухаживаешь, стараешься, трудишься... И въ особенности я люблю, когда почки, бутоны распускаются... Сегодня двѣ, три почки распустятся, завтра уже цѣлый десятокъ раскроетъ глазки... А какъ начнутъ наливаться ягоды и плоды... Просто прелесть!.. Солнце печетъ, а они на немъ румянятся все больше и больше... Знаете ли, иной большой ягодѣ клубникѣ, чтобы созрѣть, нужно непременно пробыть пять, шесть дней на солнцѣ.

— Да,—сказалъ Толкуновъ.—Но вѣдь она уже спѣетъ сама по себѣ, своими соками. Стебелекъ уже сухой у нея...

Во время завтрака Ольга Андреевна и Люба усердно наперебывъ предлагали Толкунову попробовать разныхъ домашнихъ шипучихъ водъ, наливокъ. И онъ пробовалъ тоже усердно, такъ что чувствовалъ, что къ концу завтрака у него въ головѣ какой-то веселый туманъ, и ему стало удивительно пріятно и пріятно

въ этой семьѣ, — какъ въ родной. Впрочемъ, родной семьи онъ не знавалъ, послѣ смерти матери...

— Вы не хотите ли послѣ завтрака отдохнуть, прилечь? — предложила Ольга Андреевна. — Я всегда послѣ завтрака немного вздремну. — И она даже теперь уже дремала.

— Нѣтъ. Теперь прокатиться было бы хорошо.

— Въ такой жаръ! — дивилась Ольга Андреевна.

— Ахъ, мама! — вскрикнула Люба, — вели заложить открытый шарабанъ. Въ полѣ не будетъ жарко... Поѣдемте!.. А? Я сейчасъ велю заложить... Григорій! Поди, скажи Андрею, чтобы онъ заложилъ открытую шарabanку.

— Охота тебѣ! — сказала Ольга Андреевна. — Всѣ загорите на солнцѣ... Лучше бы вечеромъ... когда жаръ спадетъ.

— Владиміръ Элизарычъ, — обратилась Люба къ Толкунову: — вы вѣдь хотите ѣхать?.. Вы сами же вызвались...

Толкуновъ лѣниво улыбнулся и слегка потянулся.

— Я думаю, что хорошо бы было прокатиться... Но...

— Что но?..

— Жара, дѣйствительно, несносная.

— Что-жъ?.. Вы хотите спать?..

— Нѣтъ, сохрани Богъ... а такъ, поблагодумствовать...

И всѣ рѣшились остаться и втроемъ усѣлись на террасѣ въ саду. Легкій вѣтерокъ по прежнему освѣжалъ воздухъ. Толкуновъ, да, вѣроятно, и барышни чувствовали во всемъ тѣлѣ bien-être. И говорилось имъ по душѣ, покойно и весело. Сперва слова какъ-то медленно, лѣниво сваливались съ языка, но чѣмъ далѣе шла бесѣда, тѣмъ становилась возбужденнѣе. Толкуновъ рассказывалъ полушопотомъ о послѣднихъ политическихъ событіяхъ, о декабрьскомъ переворотѣ, объ іюльской революціи. Онъ рассказывалъ съ жаромъ, горячо, оправдывая движеніе рабочихъ массъ. Для него Наполеонъ былъ узурпаторъ, насильно вырвавшій власть у народа. По временамъ онъ нервно вскакивалъ со стула и безсознательно дѣлалъ нѣсколько шаговъ по террасѣ. Все вниманіе и Любы, и Вѣры, — въ особенности послѣдней, — совершенно поглотилъ этотъ рассказъ, — и часы незамѣтно бѣжали. Солнце перешло уже на другую сторону, и тѣни незамѣтно ползли и удлинялись...

Все, что рассказывалъ Толкуновъ, было для слушателей совершенной новостью. Въ Вознесенскомъ выписывались только русскія газеты и „Magazin des familles“ (выписывались по привычкѣ). Всѣ статьи о политическомъ движеніи во Франціи были замазаны или вырѣзаны.

Послѣ сытнаго обѣда проѣхались въ открытомъ шарабанѣ, въ саженый лѣсъ, въ поля и въ старый и заповѣдный лѣсъ. Проѣхали и на окраину Камской долины, и снова развернулась передъ Толкуновымъ та широкая панорама, которая такъ поразила его третьяго дня...

Вечеромъ Люба и Вѣра долго играли на рояли, вспоминая любимые мотивы. Онѣ пѣли малороссійскія пѣсни и спѣли дуэты: „Не возмущай покоя души, желанный“. Среди тихаго вечера спокойно и грустно неслась ихъ пѣсня. Заря стояла на небѣ и робкія звѣздочки мерцали въ вышинѣ.

Когда Толкуновъ вернулся домой, то въ небольшой комнатѣ крохотнаго флигелька его охватилъ снова тотъ міръ хлопотливаго труда, который онъ хотѣлъ самъ создать, чтобы вести жизнь правильную, трудовую, уравновѣшенную. Но именно эта жизнь ему и не давалась. Посмотрѣлъ онъ на развернутую тетрадь, въ которой предположено было сегодня написать шесть страницъ, и съ досадой увидалъ, что эти страницы—пустыя.

„Не нужно было ѣздить. Вотъ что!“ — подумалъ онъ. Но тутъ же ему представилась и эта спокойная, величавая Вѣра, и эта прелестная, дѣтски-наивная и добрая Люба... Голова его слегка закружилась. Онъ сѣлъ въ письменному столу и долго сидѣлъ, смотря на потемнѣвшее небо, на эту тихую, полную невидимой жизни ночь, полную какихъ-то призраковъ милыхъ и желанныхъ, ласковыхъ и нѣжныхъ... Онъ чувствовалъ, что въ этой ночной жизни гораздо больше смысла, покойной, великой дѣятельности, чѣмъ во всей мелочной, суетливой дневной людской жизни... Но какъ же проникнуть въ эту великую тайну, въ эту незнаемую таинственную жизнь и дѣятельность?..

VIII.

На другой день Люба проснулась ни-свѣтъ, ни-заря. Солнце только-что всходило. Впечатлѣніе вчерашняго дня какъ-то расцвѣтило и оживотворило скучную, монотонную деревенскую жизнь.

— Вѣра! Ты спишь?—позвала она. Но Вѣра ничего не отвѣтила. Она спала тихо и спокойно, хотя канифасное одѣяло было сброшено на полъ.

Любѣ хотѣлось поболтать, хотя и вечеромъ она много болтала и вполнѣ подѣлилась всѣмъ тѣмъ, что пережила въ этотъ вечеръ. Но тутъ вдругъ явилась мысль:

„А что, если онъ сдѣлаетъ мнѣ предложеніе? Что мнѣ отвѣчать ему?“

И эту мысль непременно необходимо было сообщить Вѣрѣ. Подъ влияніемъ этой мысли Люба, не зная почему, улыбнулась. И тутъ же подумала: „Фу, какая я глупенькая!.. Съ чего же онъ сдѣлаетъ мнѣ предложеніе?.. Побылъ одинъ день, и то почти насильно, а тамъ опять уѣдетъ за границу и опять ни разу не вспомнить о „другѣ дѣтства“. Ему нужно жену европейски образованную... Вотъ какъ Вѣра“.

Но почему Вѣра въ ея понятіяхъ была европейски-образованная и почему Толкунову нужна была такая жена,—она этого не могла объяснить и не пыталась. Она всегда считала Вѣру выше себя. Вѣра читала нѣкоторыя книги, надъ которыми Люба засыпала. Вѣра почти самоучкой выучилась по-нѣмецки. Она читала Шиллера и Гёте въ подлинникѣ, — чего никакъ не могла сдѣлать Люба. Разумѣется, она—выше ея.

Въ это время, въ маленькомъ флигельѣ, въ которомъ жилъ теперь Толкуновъ, все спало непробуднымъ сномъ. Самъ Толкуновъ, отвернувшись къ стѣнѣ, издавалъ легкій храпъ съ умѣреннымъ присвистомъ. Впрочемъ, этотъ храпъ почти тотчасъ же былъ прерванъ страшнымъ гамомъ, который раздавался на дворѣ.

Къ крыльцу флигелька подкатили короткія дроги, на тройкѣ прекрасныхъ вороныхъ, въ гремучей сбруѣ и обвѣшанныхъ ширинками и бубенчиками.

На дрогахъ, въ открытой таратайкѣ, съ высокими крыльями, на которыхъ почти вся краска полопалась и слѣзла, сидѣло трое: молодой богатый помѣщикъ, пріятель Толкунова, Александръ Петровичъ Полистовскій; пріятель его, мелкопомѣстный помѣщикъ Захватѣевъ, и егерь, онъ же и комнатный лакей Егорка.

Шумъ и гвалтъ этой налетѣвшей компаніи увеличивались неистовымъ лаемъ дворовыхъ псовъ, которые набросились на четырехъ пріѣзжихъ собакъ: одного бѣлаго сеттера и трехъ легашей, изъ которыхъ одинъ, съ легкими подпалинами,—Марк-ворка,—была очень и очень ладненькая собачонка. Сеттеръ былъ выписной, чистокровный, полдвой масти.

Полистовскій живо соскочилъ съ дрогъ.

— Тубо! Цима!..—неистово закричалъ онъ, бросившись на собакъ съ длиннымъ хлыстомъ, въ испугѣ, чтобы онѣ не порвали его охотничьихъ псовъ, довольно цѣнныхъ.

— Онѣ не тронуть-ся, Александръ Петровичъ, — сказалъ коренастый молодой, щеголеватый вучеръ, Силантіи, сидѣвшій на

высокихъ козлахъ и ловко осадившій всю тройку.—Онѣ это съ первоначалу...

— Гдѣ онъ? Вашъ хозяинъ? — обратился Полистовскій къ какой-то заспанной личности, и, не дожидаясь отвѣта, взбѣжалъ бойко на крылечко, тяжело топая огромными охотничьими сапогами; быстро прошелъ онъ маленькія сѣнцы, распахнулъ дверь въ небольшую переднюю и вошелъ прямо въ комнату, гдѣ спалъ Толкуновъ.

Онъ засталъ его въ самомъ отчаянномъ неглиже и изумленно всплеснулъ руками.

— Такъ я и зналъ!.. Такъ я и зналъ!.. Ахъ, супостатъ лихой! Уродина!.. Дрыхалка богопротивная!

Толкуновъ не оправдывался, не извинялся... Онъ, молча, покорно улыбаясь, выслушивалъ этотъ потокъ любезностей, которыми окачивалъ его пріятель.

Дѣло въ томъ, что онъ совершенно забылъ, что сегодня въ пять часовъ, ргѣсіс, они условились, еще третьяго дня, ѣхать съ Полистовскимъ на охоту въ камскіе луга, — на „Бабыю Гривку“.

— Что же ты? ни свѣтъ ни зари, — попробовалъ онъ оправдаться.

— Смотри! Смотри!.. — кричалъ Полистовскій, подставляя ему прямо подъ носъ массивные эмалированные золотые часы съ его вензелемъ и репетиціей. — Видишь? Видишь? — И потомъ самъ онъ взглянулъ на часы. На нихъ была половина седьмого.

Въ это время Захватьевъ подошелъ къ Толкунову и протянулъ ему руку, говоря:

— Здравствуйте, Владиміръ Элизарычъ.

Но Толкуновъ не подалъ ему руки, — напротивъ, онъ обѣ руки отнялъ и проговорилъ:

— Извините! Я сейчасъ умоюсь... Эй! Степа!

Но Степа уже стоялъ тутъ же, передъ рукомойникомъ, съ мыломъ въ одной рукѣ и съ полотенцемъ на плечѣ.

Захватьевъ былъ худенькій и невзрачный человѣкъ, лѣтъ тридцати. Русая небольшая борода его росла, какъ кочки на болотѣ, вихрами, во всѣ стороны. На головѣ былъ цѣлый оvinъ волосъ, которые тоже росли во всѣ стороны.

Одѣтъ онъ былъ щегольски, въ охотничій зеленый редъ-фракъ, съ пуговицами, нарочно выписанными изъ Петербурга, съ кабаньими головами и фазанами. На шеѣ былъ повязанъ яркій, красный шелковый платочекъ. Длинные охотничьи сапоги лоснились и блестяли, какъ новенькіе, — точно также какъ и ягдташъ и тяжелое англійское ружье, которое онъ держалъ подъ

мышкой. На головѣ его была зеленая *casquette de chasse* съ длиннѣйшимъ козырькомъ.

— Вѣдь толковалъ, предупреждалъ... Не проспи... Накажи!.. Съ вечера накажи...—проповѣдывалъ Полистовскій, разваливаясь на диванѣ и въ тактъ своей рѣчи похлестывая по полу длиннымъ хлыстомъ...

— Да я наказывалъ... и предупреждалъ... Степа!.. Развѣ я тебѣ не наказывалъ?..

— Что-то запомнилъ, Владиміръ Елизарычъ!..—тихо признавался Степа, осклабляясь во весь ротъ.

— Вѣдь знаешь, что у тебя память хуже бабьяго рѣшета,—продолжалъ Полистовскій,—все хвостомъ замететь... Вильнѣтъ и замететь...

Между тѣмъ Толкуновъ, набросивъ лѣтній, легонькій и скромненькій халатикъ, поспѣшно умывался, разбрасывая брызги. А Захватьевъ развалился на креслѣ и поглядывалъ на книги, валившіяся на столѣ. Собаки вошли въ комнату и, виляя хвостомъ, начали все обнюхивать...

— Вотъ чтò я тебѣ привезъ!—говорилъ Полистовскій, указывая на Маргариту, которая, извиваясь какъ глιστα, лѣзла къ нему или, правильнѣе, ползла по полу, съ очевиднымъ желаніемъ лизнуть его прямо въ губы.—А, ты, Ванда, Вандочка, Вандашъ скверный!—говорилъ онъ, трепля собаку за уши. — А что же твоя собака?.. Когда придетъ?..

— Да на дняхъ должна придти,—говорилъ Толкуновъ, отчаянно брызгаясь во всѣ стороны.

— Ты вѣдь говоришь—отъ Чаплыгина ждешь его?

— Да... общалъ и задатокъ взялъ.

А Захватьевъ тщательно оглядывалъ всю комнату и думалъ: „Вонъ какъ живутъ богатые! (Онъ въ первый разъ былъ у Толкунова.) Богатый помѣщикъ, а обоишки скверненькіе. Вонъ зеркальце виситъ, видно, намѣсто туалета. А на стѣнѣ двѣ картинки прилѣпилъ, какія-то жалкія французскія литографіи, временъ имперіи, или даже республики“.

Самъ онъ изъ всѣхъ силъ лѣзъ подражать тѣмъ, кто былъ выше его. Разумѣется, это подражаніе ложилось на тѣхъ мучениковъ, которыхъ у него было цѣлыхъ двадцать-пять дворовъ, до тла разоренныхъ. Онъ и охоту завелъ, чтобы не отстать отъ другихъ; и легаша порядочнаго досталъ, чтобы имѣть приличную собаку.

IX.

Черезъ часъ охотники отправились на охоту. Утро было восхитительное. Ни одного облачка на ярко-матово-голубомъ небѣ. Солнце свѣтило и грѣло во всемъ блескѣ. Но утренняя свѣжесть все-же давала себя чувствовать, и роса, мѣстами, въ тѣни лежала на кустахъ и травѣ.

Тройка летѣла бойко и весело. Толкуновъ былъ весь поглощенъ этой бодрящей, возбуждающей свѣжестью яснаго утра.

Онъ съ удовольствіемъ сжималъ въ рукѣ давно знакомую и привычную двухстволку Лебеды. Онъ въ первый разъ, послѣ европейской жизни, ѣхалъ на охоту въ хорошо знакомые, родные, закамскіе луга. Ему было хорошо, какъ въ слишкомъ молодые, юные года. Онъ весь посвящалъ и расцвѣлъ. Слезы удовольствія и счастья наворачивались на глаза его. Ему хотѣлось кого-то благодарить за эту благодатную минуту. Онъ чувствовалъ, что во всей этой природѣ, въ этомъ радостномъ утрѣ, вездѣ разлита чья-то нѣжная, дѣтская ласка и серьезная, великая любовь.

По узенькой проселочной дорогѣ мимо нихъ проносились кусты и деревья мелкаго чернолѣся. Молодые и старые дубы, широколапчатые клены, молоденькія липки. Кое-гдѣ мѣстами пробрасывались колки березокъ или сѣренькихъ осинъ. И вездѣ, все пространство между большими деревьями заросло кустами жимолости, крушины, неленовъ, волчьихъ ягодъ и орѣшиной, орѣшиной безъ конца.

Легкая пыль поднималась по гладкой дорогѣ, какъ дымъ, свѣтилась на солнцѣ. Кое-гдѣ маленькія рытвинки и кочки подбрасывали легкія дроги... Масса птишекъ, пѣвучихъ и рѣзвыхъ, точно въ саженомъ садѣ, распѣвала въ лѣсу. Съ дороги слетали овсянки и стайки скворцовъ, которые цѣлыми тучами улетали на пашни. Рѣзвыя ласточки мчались по дорогѣ; чижики, зяблики, варакушки, горихвостки, чечотки, малиновки, пѣночки, всѣ голосили, свистѣли и чирикали въ тѣни густой листвы. Желтая иволга, сидя на высокомъ вязѣ, выводила свои мелодичныя фіоритурны и звала къ себѣ невзрачную самку, дивнымъ, рѣзкимъ голосомъ отзывавшуюся на ея пѣвучіе переливы и переборы. Веселыя, бойкія плиски скакали по дорогѣ, потряхивая длинными хвостиками, и съ щебетаньемъ уносились въ лѣсъ... Почти каждую птичку Толкуновъ провожалъ быстрымъ прицѣломъ ружья, упражняя руку и глазъ.

Подѣхали къ длинному, крутому спуску. Силантій задержалъ

лошадей и бережно начал спускать экипажъ. Передъ охотниками открылся просторъ закамскихъ луговъ, тонувшихъ на горизонтѣ въ синеватой дали. Коренникъ шелъ, упираясь, настороживъ уши; пристяжныя нѣхотя перебирали ногами и косились на дроги; но съ полъ-горы, когда экипажъ началъ насѣдать, онѣ начали натягивать постромки; коренникъ прибавилъ шагъ. Силантій сдерживалъ возжи, приговаривая какъ-то испуганно: „Тпру! тпру!“ Но тройка уже подхватила и несла экипажъ, подпрыгивавшій на рытвинахъ и кочкахъ... Она полетѣла, понеслась вскачь, и съ обѣихъ сторонъ дороги запестрѣли, окружили ѣхавшихъ раздольные камскіе луга.

Живая, шумящая жизнь стала еще пѣвучѣе; множество мелкихъ пташекъ перелетали и распѣвали по кустамъ, въ высокихъ, цвѣтущихъ луговыхъ травахъ, въ чащѣ перепутанныхъ сучьевъ мелкаго кустарника.

Проѣхали версты двѣ или три и свернули съ дороги, поѣхали шагомъ цѣликомъ къ ближайшему озеру.

Отсюда верстъ на восемь тянулась длинная болотистая полоса, которую называли „Бабьей Гривкой“. Колеса дрожекъ зашуршали по луговымъ травамъ, которыя были такъ высоки, что почти доставали до лицъ сидѣвшихъ на дрогахъ. Иногда черезъ мѣру поднявшійся багульникъ, или дикая зоря ударили по носу егеря, который былъ невысокъ ростомъ.

— Не спи!...—внушительно посовѣтовалъ ему Полистовскій.

— Да я не сплю... Василій Павловичъ... Вишь, проклята, прямо по глазу свиснула!—и онъ протиралъ глаза.

— А запасныхъ глазъ не взялъ?

— Никакъ нѣтъ-съ.

— Ну, и вышелъ слюняй!..

Изъ луговины выпархивали постоянно разные пташки. Одинъ разъ вылетѣлъ перепелъ и бойко, торопливо захлопалъ крыльями.

Толкуновъ взмахнулъ ружье на прицѣлъ, но птица уже скрылась за густой листвою...

Въ ясномъ небѣ высоко раздавались безконечныя трели жаворонковъ, а еще выше плавно парила какая-то хищная птица.

— Это канюкъ,—рѣшилъ Захватьевъ. Полистовскій, взглянувъ на птицу въ полъ-оборота, какъ-то пренебрежительно посмотрѣлъ на Захватьева.

— Ястребъ, а не канюкъ,—поправилъ онъ докторально.

Вдали ясиѣ и ясиѣ начало обрисовываться гладкое зеркало небольшого озера, окаймленнаго кустами. Ясиѣ и ясиѣ вырѣзывались на немъ черными пятнами стаи утокъ и гадаръ.

Пристяжные мотали головами и фыркали. Слѣпни неотступно летѣли за дрогами и садились на крупы лошадей... Легаша прижимались къ дрогамъ, полѣвый сеттеръ Цампа шнырялъ около; по временамъ вскидывая морду и нюхая воздухъ, Мареварка бѣжала слѣдомъ за нимъ. Почувъ болото, собаки кинулись впередъ. Полистовскій и Захватевъ начали кричать на нихъ.

— Цампа-а!.. Ванда! назадъ!..

Егеръ засунулъ въ ротъ два пальца и свистнулъ пронзительно. Собаки вернулись.

— Я вотъ вамъ!.. я вотъ васъ!..—кричалъ Полистовскій, грозя имъ хлыстомъ, и тѣ, смиренно опустивъ головы и хвосты, подошли къ дрогамъ и, вскинувъ морды на Полистовскаго, снова опустили ихъ и покорно побѣжали около дрогъ.

Но и у охотниковъ, также какъ и у псовъ, явилось непреодолимое желаніе встрѣтить скорѣе токующаго бекаса, барашка или тяжелаго дупеля... Они, вытягивая шеи, прищуривались, глядялись въ даль; лошади шли какъ прежде, мѣрнымъ шагомъ, пофыркивая и косясь по сторонамъ, а дроги прыгали и переваливались по кустикамъ травы.

Егеръ Егорка не утерпѣлъ и соскочилъ первый, какъ будто для того, чтобы лошадямъ было легче.

— Ты! Ты! смотри!—закричалъ на него Полистовскій и угрозилъ ему хлыстомъ.—У меня не забѣгать!

Собаки всѣ столпились около него.

Егеръ расправилъ свои густые усы, которые словно по ошибкѣ попали съ другого крупнаго лица на его крохотное, подслѣповатое личико, испещренное морщинами. Усы и носъ составляли самыя характерныя принадлежности этого лица, такъ что Полистовскій часто вликала его: „Эй, Дупель!“—или говорилъ ему:

— Ты бы, братецъ, хоть бы обрилъ твои усищи,—вѣдь они истощаютъ тебя.

— Помилуйте-съ, Василій Павловичъ, какъ возможно!—возразилъ Егорка.—Это краса-съ... Дѣвки бѣгаютъ...

Одѣтъ онъ былъ въ холщевый казакинъ, порядочно охмыщенный и потертый, но чистенькій, съ невѣроятными пуговками, чудовищной величины, споротыми съ стараго барскаго охотничьяго пиджака. На головѣ была надѣта низенькая шляпенка-блинъ съ большимъ козырькомъ, который дѣйствительно походилъ на дупелиный носъ.

Проѣхали еще нѣсколько шаговъ. Толкуновъ тоже соскочилъ...

— Ты ступай впередъ, — говорилъ Полистовскій, — возьми Ванду и ступай. Ты—голодный, новенькій... заграничный замо-

рышъ... у тебя, чай, на душѣ скребеть... добраться скорѣй до болота.—И дроги проѣхали мимо.

— Ванда!.. Ванда!.. Вандочка!—позвалъ Толкуновъ, и Ванда, послушная и вѣжливая, подошла и подползла къ нему, вилая хвостомъ и облизывая морду.

Для нея было все равно, гость ли, хозяинъ ли, только бы былъ человѣкъ съ ружьемъ и съ ягдташемъ.

Толкуновъ и Егорка, пропустивъ дроги, свернули нѣсколько въ сторону, прямо къ болоту. Полистовскій закричалъ на собакъ.

Тарантасы обогнули мочежинки, а Толкуновъ прямо погрузился въ кочкарникъ. Ванда побѣжала впереди его, наклонивъ морду и жадно обнюхивая кочки. И только-что она успѣла пробѣжать нѣсколько круговъ, какъ съ жалобнымъ пискомъ поднялись съ болота три пиголицы... Толкуновъ инстинктивно вскинулъ ружье, прицѣлился и выстрѣлилъ. Громко бацнулъ выстрѣлъ отъ залежавшагося заряда, и одна изъ пиголицъ кувиркомъ полетѣла къ его ногамъ. Стайка утокъ съ кривомъ и хлопаньемъ крыльевъ поднялась съ озера.

— Съ полемъ!—закричалъ Полистовскій, сложивъ обѣ руки вокругъ рта, на манеръ рупора, и затѣмъ отчаянно захлопалъ въ ладоши. Захватевъ поддержалъ его.

Они проѣхали еще нѣсколько шаговъ, и оба, соскочивъ съ дрогъ, направились почти бѣгомъ къ Толкунову, неистово плетая по болоту и разбрызгивая воду... У обоихъ разгорѣлась охотничья горячка.

Егорка наклонился и поднялъ несчастную пиголицу.

— Молодая...—сказалъ онъ, посмотрѣвъ на ея носъ, изъ котораго капала кровь, и блестящій, неподвижный черный глазъ на выкатѣ. Затѣмъ онъ открылъ холщевый мѣшокъ, который заимѣнялъ ему ягдташъ и на которой онъ нашилъ кусокъ грубой сѣтки, „для большого сходствія“, какъ онъ говорилъ.

— Куда же ты кладешь?..—удивился Толкуновъ.—Вѣдь никто ее не будетъ ѣсть...

Егорка нѣсколько разъ мотнулъ головой и съ таинственной улыбкой, наклоняясь къ Толкунову, прошепталъ:

— Нехорошо, сударь, первую убитую птицу зря бросать. Коли ее не бросишь... удача будетъ.

Въ это время подошли Полистовскій съ Захvatевымъ.

— Ну!.. какъ же мы распорядимся?..—спросилъ Полистовскій. — Обойдемъ кругомъ озерко-то... Это какъ называется? — обратился онъ къ Егорѣ.

— Кто его знаетъ, сударь!.. Здѣсь вѣдь ихъ цѣлая стая, сотни двѣ или три въ одной Бабьей Гривѣ будетъ...

— Мы вдвоемъ и вы вдвоемъ, — продолжалъ Полистовскій, указывая на Толкунова съ Егорьей и на себя съ Захватьевымъ, — и указавъ, тотчасъ же бойкимъ шагомъ пошелъ направо, подзававъ къ себѣ Цампу и легаша Крука, а Захватьевъ подозвалъ другого легаша — Гектора. Егорей собаки не полагались; зато, при случаѣ, онъ самъ долженъ былъ изображать собаку.

Толкуновъ отошелъ шаговъ на пять отъ Егорки — вдругъ Ванда остановилась, вытянула морду и подогнула переднюю, правую лапу.

— Ату его!... — шопотомъ поощрялъ ее Толкуновъ, держа на перевѣсѣ ружье съ взведеннымъ куркомъ. — Ату!.. Вандокъ! — голосъ его слегка дрожалъ отъ нетерпѣнія и задора.

Ванда вся вытянулась и тоже дрожала. Всѣ ее подкожные мышцы какъ будто переливались при ея медленномъ, напряженномъ движеніи. Она ползла какъ пластунъ и по временамъ въ полъ-оборота, косясь, взглядывала на Толкунова, какъ будто хотѣла сказать: береги, береги, не зѣвай!.. онъ тутъ...

— Пиль!.. — закричалъ Толкуновъ — пиль его!..

Ванда проползла еще пять или шесть шаговъ, и вдругъ изъ-подъ самой ея морды забывалъ, захопалъ, взмылъ прямо кверху юркій бекасъ, но въ то самое мгновенье, когда Толкуновъ вскинулъ ружье, онъ рѣзко юркнулъ въ сторону, и весь зарядъ пролетѣлъ мимо него. Толкуновъ тотчасъ же, не спуская съ цѣли, перевелъ ружье опять, — но птица, испуганная выстрѣломъ, метнулась прямо на него и полетѣла назадъ. Толкуновъ выстрѣлилъ, но зарядъ опять пролетѣлъ мимо. Онъ опустилъ ружье и смотрѣлъ на удаляющагося бекаса. Сердце его усиленно билось, въ немъ была горечь. Ванда начала бѣгать и прыгать кругомъ, ища птицы, которая, по ея соображеніямъ, непременно должна была быть убита съ двухъ выстрѣловъ.

Бекасъ потянулъ, виляя изъ стороны въ сторону, прямо на Егорку, который прицѣлился и хлопнулъ. Птица, подсѣченная выстрѣломъ, перевернулась кверху ногами и кувыркомъ, тяжело хлопнулась на землю. Егорка подошелъ и поднялъ ее.

Толкуновъ, ошеломленный этой первой неудачей, какъ-то растерянно подошелъ къ Егорѣй.

— Чтò, жирный?.. — спросилъ онъ, полушопотомъ, на ходу заряжая ружье.

— Страсть! — сказалъ Егорка, дуя на грудь бекаса. — Глядите-ко-сь, все бѣло!.. — И онъ пока залъ Толкунову грудь и брюшко

птицы, съ раздутыми перьями. — На-ко-сь, вездѣ жиръ... — И онъ бережно раскрылъ свой ягдташъ и осторожно положилъ въ него птицу, рядомъ съ пиголицей...

— Вѣдь вотъ, — сказалъ Егорка, — говорятъ, сударь, что нѣрна примѣта насчетъ первой птицы... Нѣтъ, она очень и очень справедлива...

Толкуновъ ничего не отвѣчалъ; онъ заряжалъ другой стволъ, какъ вдругъ маленькій куличокъ съ пискомъ налетѣлъ прямо на него. Онъ вскинулъ ружье и спустил курокъ, забывъ, что пистоны не были надѣты. Куликъ, попискивая, полетѣлъ дальше. Егорка слѣдилъ за нимъ глазами, опустивъ ружье; оно было одноствольное, и зарядъ онъ выпустилъ въ бекаса.

— Никакъ гардшнепъ, — сказалъ Толкуновъ.

— Страмида, — подсказалъ Егорка. — А какъ его признашь? — не отличишь!

Толкуновъ надѣлъ пистоны и, подзававъ Ванду, отправился впередъ. Онъ не прошелъ и трехъ шаговъ отъ того мѣста, гдѣ спугнулъ перваго бекаса, какъ Ванда снова сдѣлала стойку. Толкуновъ съ азартомъ и бѣшенствомъ, раздраженный неудачей двухъ промаховъ, закричалъ на него: — Пиль! пиль! пиль!

Собака рванулась и спугнула дупеля. Толкуновъ, почти не цѣлясь, чуть не въ упоръ выстрѣлилъ, и Ванда тотчасъ же подала птицу, но она была страшно разбита. Зарядъ кучно ударилъ прямо въ спину и разбилъ все кишки. Вся грудь была одна кровавая рана. Толкуновъ съ досадой разсматривалъ птицу, раздумывая, класть или не класть ее въ ягдташъ. „Ну, для счету годится“, — подумалъ онъ.

Въ это время Егорка выстрѣлилъ и подсвѣкъ бекаса.

„Гляди-ко! Онъ уже обстрѣлялъ меня. Ая-й!.. отсталъ я за границей!“ — думалъ онъ.

Х.

Снова заряжая стволъ, изъ котораго былъ выпущенъ зарядъ, онъ двинулся дальше.

„Нѣтъ, — думалъ онъ, — надо быть хладнокровнымъ, не торопиться, не суетиться, быть въ одно время быстрымъ и осмотрительнымъ“.

А въ это время на другой сторонѣ озера шла отчаянная пальба. Полистовскій и Захватевъ постоянно хлопали, иногда вслѣдъ другъ за другомъ, и эта пальба сильно смущала и раздражала Толкунова. Синеватые дымки маленькими клубочками

взлетали поминутно. „Что тамъ... больше, что-ли, птицы?“ — подумалъ Толкуновъ.

„Эхъ, кабы мнѣ привелъ Премудрый взять паръ десять или двѣнадцать!“ — и тутъ же подумалъ: „Да какое же дѣло Премудрому до нашихъ охотничьихъ страстишекъ, до истребленія бѣдныхъ птицъ!“ И тутъ же ему вспомнилась тирада изъ какой-то политико-экономической французской книжки: „l'homme c'est un animal, qui tue pour se nourrir, qui tue pour se vêtir, qui tue pour se parer, qui tue pour se vanter, qui tue pour s'amuser, qui tue pour tuer“... „Красиво сказано!“ — подумалъ онъ, шагая по кочкамъ, ближе къ водѣ, и не замѣчая, что Ванда давно уже стоитъ надъ какой-то птицей.

— Циль! — закричалъ онъ и, собравъ все свое хладнокровіе, приготовился къ выстрѣлу. Ванда прыгнула, и дупель прямо передъ нимъ, красиво и бойко взмылъ кверху. Толкуновъ выдержалъ въ мѣру и спустилъ курокъ. Раздался громкій, точно радостный выстрѣлъ, и дупель, два раза перекувырнувшись, полетѣлъ на землю. Толкуновъ съ торжествомъ подбѣжалъ къ нему и отнялъ его у Ванды. Затѣмъ вздохнулъ всей грудью, опомнился, и тутъ только замѣтилъ, что въ мозгу его машинально повторяется французская фраза: „qui tue pour s'amuser, qui tue pour tuer“.

Только-что онъ успѣлъ зарядить свое ружье, какъ почти изъ-подъ ногъ его выпорхнулъ бекасъ, и тотчасъ же вслѣдъ за нимъ другой. Толкуновъ ловко, какъ-то инстинктивно убилъ и того, и другого, и, разумеется, остался доволенъ своимъ подвигомъ. „Я, кажется, вернулъ старое, — подумалъ онъ, — не попортился“.

Когда-то, во дни юности, онъ былъ очень ловкимъ и мѣткимъ стрѣлкомъ. И сознаніе этого, приобрѣтеннаго долгимъ навыкомъ, искусства, теперь радовало его.

Вскорѣ, вслѣдъ за этой первой удачей, явилась еще и еще. Бекасы, дупеля и гаршнепы вылетали почти поминутно. „Экая благодарная прорва всякой дичи! — думалъ Толкуновъ. — Вотъ охотничье мѣстечко!“

Ванда съ мокрой мордой и ушами поминутно отряхивалась. Она не любила воды и рыскала, суетилась, какъ сумасшедшая...

Было уже почти одиннадцать часовъ, когда вся компанія обогнула все озеро и сошлась на другомъ концѣ его... У обѣихъ партій было чѣмъ похвастаться — ягдташи порядочно отдулись. У Захватьева, кромѣ мелкой дичи, болтались на петелькахъ двѣ здоровыя кряквы.

— Это я для людей,—оправдывался онъ:—пускай полакомятся дичью.

— А эту бестію я просто убью!—вскричалъ Полистовскій, схвативъ Крука за кольцо ошейника, и началъ его хлыстать немилосердно, изо всѣхъ силъ, длиннымъ арапникомъ. Собака визжала, прыгала и огрызалась.

— За что ты ее терзаешь?—спросилъ Толкуновъ.

— Помилуй... Растаю ее въ душу!.. Двухъ дупелей и трехъ бекасовъ упустилъ изъ-за этой свиньи.—И тотчасъ же онъ снова стихъ и, свистнувъ въ свистокъ, посмотрѣлъ направо, туда, гдѣ стоялъ и спалъ на дрогахъ Силантій.

— Эй, лѣшій!—закричалъ Полистовскій.—Что же ты, чучело,—обратился онъ къ Егоркѣ:—поди, взбудоражь его, каналью; вѣдь и поѣсть надо. У меня въ животѣ кулики пищать...—И онъ посмотрѣлъ на часы.—Вы какъ думаете, господа? четверть двѣнадцатаго!—Господа согласились перекусить, и, сойдя на сухенькое мѣсто, вся публика присѣла.

Въ это время Силантій, разбуженный Егоркой, принесъ коверъ; и оба едва дотащили ящикъ съ провизіей, который былъ вставленъ внутрь дрогъ. Силантій разостлалъ коверъ, и вся компанія пересѣла на него.

— Ну, Мухорка,—обратился Толкуновъ къ Егоркѣ,—выкладывай свои подвиги... Съ тебя, какъ съ младшаго, надо начинать.

И Егорка разстегнулъ ягдташъ и бережно вынулъ одну птицу за другой: пять дупелей, восемь бекасовъ, три гардшнепа, три куличка и пigoлицу.

— Смотрите... Какую прорву онъ настрѣлялъ!—закричалъ на него Полистовскій.—Да какъ ты смѣлъ, ракалія, господское добро стрѣлять?

— Это онъ съ подвохомъ... съ наговоромъ,—вмѣшался Захватьевъ.—Вѣдь онъ колдунъ, знахарь.

— Какое тутъ колдовство, сударь,—оправдывался Егорка,—что вы, помилуйте! Коли бы я колдовалъ, то давно бы въ сколько настрѣлялъ бы! Да и нарядъ, и приклады были у меня—все другое...—И онъ вздохнулъ.

А между тѣмъ Полистовскій быстро выкладывалъ изъ своего ягдташа, но птицы оказалось меньше, чѣмъ у Егорки. Толкуновъ тоже былъ обстрѣлянъ. А Захватьевъ взялъ только трехъ куликовъ и пять бекасовъ. Оказалось, что онъ стрѣлялъ дупелей много, а набилъ мало—больше палилъ на воздухъ... И тотчасъ же

вся компанія подняла его на смѣхъ. Онъ сильно покраснѣлъ и началъ огрызаться...

Передъ началомъ закуски, Полистовскій изъ большой фляжки налилъ въ серебряный стаканчикъ водки и поднесъ Толкунову; онъ отказался.

— Что ты?!—дивился Полистовскій.—За границей обасурманился... Вѣдь это святая... росейская... Можетъ быть, хочешь померанцевой или листовки,—у меня все есть... Эй, Силантій, гдѣ листовка?..

— Не хлопочи... Ничего мнѣ не надо... Я ничего не пью...

Полистовскій разинулъ ротъ отъ удивленія.

— Смотрите, какъ совсѣмъ испортили человѣка!.. Ну, Захватевъ, ты долженъ выпить за него и за себя... Ради любви къ ближнему.—И сказавъ это, онъ налилъ два стаканчика одинъ за другимъ и залпомъ выпилъ ихъ.

— Фу!.. Окрѣпъ... Не пить!.. А-а? Гдѣ это видано, чтобы на Руси хорошій человѣкъ не пилъ?—Онъ налилъ тоже два стаканчика Захватеву, но на второмъ стаканчикѣ тотъ захлебнулся, поперхнулся и закашлялся.—Ахъ ты, Мухродѣй заболотный! Кто это торопится?—сказалъ онъ.

И принялся за паштетъ съ курицей, за сардины и сыръ, поѣдая все это вмѣстѣ, какъ акула.

Закусивъ, компанія раздѣлилась на - двое. Полистовскій и Захватевъ осовѣли, жаловались на жару. Полистовскій велѣлъ поближе подвести дроги, лошадей выпрягли, подняли оглобли торчмя вверхъ, на нихъ растянули брезентъ, и подъ этой защитой и тотъ и другой растянулись на коврѣ и черезъ пять минутъ заснули какъ убитые.

А солнце медленно ползло по небу. Кудрявыя тучки всплывали на горизонтѣ и снова таяли. На чистомъ небѣ порой появлялись клубочки бѣловатаго пара. Облачко росло, раздвигалось и снова таяло и исчезало. Голоса птицъ замолкли... Все словно заснуло, притихло.

Жара томила все живое. Она сказывалась сонливой лѣтней и въ членахъ Толкунова. Его также тянуло прикурнуть подлѣ товарищей, на мягкой травѣ, на толстомъ бархатномъ коврѣ. Но онъ переломилъ себя, и былъ радъ этой рѣшимости. Пропало все его утомленіе, сразу соскочило, когда онъ убилъ двухъ дупелей и трехъ бекасовъ. Бодрость и свѣжесть явились къ нему, несмотря на то, что онъ обливался потомъ. Обойдя озеро, они съ Егоркой снова вернулись къ спящимъ товарищамъ. Толкуновъ потрогалъ дупелинымъ носомъ—по носу Полистовскаго.

— Что ты... почему?..— вскричалъ онъ, вскакивая съ про-
сонья.— А, это ты?.. Что?.. Пора?..

— Дупель съ тобой здороваётся, — сказалъ Толкуновъ. —
Смотри, какой здоровенный!..

Это напоминаніе объ охотѣ сразу оживило Полистовскаго.
Онъ ткнулъ въ бокъ Захватьева, пробормотавъ:

— Эй... дрыхалка!.. Вставай... не то всѣ кулики разлетятся! —
и потягиваясь, жмурясь отъ солнца, которое прямо въ глаза
взглянуло ему, подозвалъ собакъ и пошелъ, шатаясь, вокругъ озера.

— Да ты затѣмъ идешь тутъ?..— вскричалъ Толкуновъ: — мы
уже тутъ все взяли. Не шарь по пустому...

— А... Лѣшіе!.. сиволапые... не могли намъ оставить озерко?..
Силантій... Силантій!..—И затѣмъ, обратясь къ Егорѣ, закри-
чалъ на него:

— Ступай, чортова мельница, запрягайте — живо, живо...
живо!..—И онъ хлопнулъ по травѣ длиннымъ арапникомъ (Егорка
со всѣхъ ногъ бросился исполнять его приказъ). Затѣмъ, дойдя
до ковра, опять развалился на немъ, и тотчасъ же снова вско-
чилъ:—Силантій, Егорка!.. Что же воды-то?!

— Поди сюда! — сказалъ Захватьевъ, — не хлопочи! — и вынувъ
торопливо изъ коробка, стоявшаго подлѣ, двѣ бутылки съ зель-
терской водой, онъ раскупорилъ одну и разлилъ воду въ ста-
каны; опорожнивъ бутылку, онъ быстро вскинулъ ее высоко
вверхъ и неуклюжимъ движеніемъ, какъ-то присѣвъ и осунув-
шись, точно боясь, что она упадетъ ему на голову, прицѣлился
и выстрѣлилъ, — но не попалъ. И въ то же мгновеніе Толкуновъ,
сидя на коврѣ, взметнулъ ружье и ударилъ. Зарядъ попалъ прямо
въ бутылку, уже низко подлетавшую къ землѣ, и вся бутылка
разлетѣлась въ дребезги.

Выпивъ еще три бутылки и разстрѣлавъ ихъ, вся компанія
снова отправилась. Солнце уже склонялось къ вечеру. Въ воз-
духѣ чувствовалось что-то спокойное, властное. Всѣ шумы дня
словно отодвинулись, затихли; застоявшіяся лошади не стояли
на мѣстѣ, шарахнулись и поскакали по буграмъ и кочкамъ,
такъ что Силантій едва успѣлъ вскочить на дроги и, ухватив-
шись за крыло, чуть не обломилъ его.

— Что онъ?.. Что онъ?.. Вздурили? — спрашивалъ По-
листовскій, вглядываясь въ лошадей.

— Накусали ихъ, Василь Павлычъ... Муха... овода... жарь...
Тпррру!.. Оглашенные!..—И онъ изъ всѣхъ силъ останавливалъ
храпѣвшихъ лошадей. Полистовскій помогъ ему, схвативъ возжи
отъ лѣвой пристяжной и потащивъ ее изъ всей силы.

Приѣхали на третье озерко, которое называлось „Лебяжье“. И снова, съ новыми силами и новымъ задоромъ, пошли обходить его, какъ и прежде.

Но Толкуновъ шель уже лѣнливо, да и Ванда устала. Она вертѣлась у ногъ его: и тяжело дышала, высунувъ длинный синебагровый языкъ. Ноги ея слегка заплетались.

И теперь, когда охотничья страсть получила удовлетвореніе, въ воспоминаніи Толкунова ярко выступилъ вчерашній день, проведенный у Драевскихъ. И всѣхъ ярче, всего скорѣе, выступила граціозная, дѣтски ясная и простая головка Любы,— и какъ-то чудно сливался этотъ образъ съ окружающей теперь его обстановкой, съ просторомъ заливныхъ луговъ, съ пѣньемъ птицъ, съ ласковымъ свѣтомъ солнечнаго дня, съ благоухающимъ воздухомъ, напоеннымъ чуднымъ запахомъ донника и зелени. Онъ опять вспомнилъ сцену изъ далекаго юношества, когда Люба ѣхала съ нимъ на дрогахъ и говорила ему: „Ахъ, зачѣмъ вы убиваете бѣдныхъ птичекъ!“

„Да... Зачѣмъ онъ убиваетъ ихъ?..“ — подумалось ему, — и безумное наслажденіе какъ-то полиняло и потускло.

„Вчера ничего не сдѣлалъ, и сегодня тоже ничего не сдѣлалъ“, — подумалъ онъ, съ усиленіемъ шагая по высокой травѣ. „И такъ будетъ каждый день... Каждый день!“...

Но въ это время что-то большое, тяжелое съ крикомъ поднялось съ воды. Онъ быстро вскинулъ ружье и выстрѣлилъ, почти не цѣлясь. „Вѣрно, утка“, — подумалъ онъ, стрѣляя. Но это былъ большой сѣрый гусь. На близкомъ разстояніи зарядъ бекасинникомъ ударилъ кучно и почти навзлетъ пробилъ ему грудь. Птица упала плашмя на траву. Смерть наступила мгновенно. Безсознательныя судорожныя движенія еще остались. Она плавно махала красными лапами, вѣроятно воображая, что она плыветъ. Ванда вертѣлась около нея и обнюхивала со всѣхъ сторонъ. Она не привыкла къ этой крупной диковинной дичи.

Подошелъ Егорка.

— Глядите-ка!.. Какое чудо!.. Гуся застрѣлили...

И онъ торопливо нагнулся и поднялъ гуся, осматривая его со всѣхъ сторонъ.

— Это, должно быть, отъ стаи какъ-нибудь отбился; должно быть, гусыня. Да какая жирная!..

А Толкуновъ, зарядивъ снова ружье, думалъ: „Вотъ еще жертва!“ И онъ въ цѣлый вечеръ ни разу больше не выстрѣлилъ; а компанія палила съ задоромъ. Солнце уже низко опустилось; свѣтъ его сильно покраснѣлъ, когда всѣ утомленные дневнымъ жа-

ромъ, усталые отъ ходьбы и суеты, отъ постоянного нервнаго напряженія, сѣдѣли на дроги. Когда всѣ уѣхали и Сялантій выѣхалъ на дорогу, то вѣни почувствовали возможность скакать домой, подхватили дроги и понесли, и все утомленіе—какъ не бывало.

Захватывъ, славившійся своимъ чистымъ, пѣвучимъ теноромъ, съ наслажденіемъ затынулъ:

— Ахъ, ты гдѣ, жена, была?
Да гдѣ, сударыня, была?..

И вся компанія со свистомъ и гиканьемъ подхватила:

— Ахъ!.. Я была, сударь, была
У пона въ гостяхъ...
За твое, сударь, здоровье
Стаканъ меду выпила...
— Ахъ, спасибо те, жена,
Не забыла ты меня...

Лошади летѣли и фыркали. Пыль поднималась съ дороги и агѣла на солнцѣ, опускавшемся медленно на чистый, ясный горизонтъ.

XI.

На другой день погода совершенно неожиданно испортилась. Ночью еще затынуло все небо, и когда въ десятомъ часу Толкуновъ, приподнявъ штору, заглянулъ въ окно, то увидѣлъ мокрые кусты, траву и услышалъ мѣрный, шуршащій шумъ тихаго дождя... Онъ потянулся, вскочилъ и крикнулъ Степку.

„Нѣтъ,—подумалъ онъ,—сегодня уже лѣнь не накроетъ. Примусь, возьму себя въ руки и засяду, и налягу“...

И онъ началъ припоминать, на какой мысли онъ остановился и что предстояло дальше писать. Онъ вспомнилъ, что ему недоставало какой-то цифры, ему было лѣнь лѣзть въ книгу... Онъ прилегъ и задремалъ.

Скитаясь и наблюдая за границей, слушая лекціи у европейскихъ знаменитостей, знакомясь съ бытомъ рабочихъ, земледѣльцевъ, Толкуновъ не покидалъ своей мысли—извлечь изъ своихъ наблюденій что-нибудь полезное и нужное для своей родины. Съ этой мыслью онъ отправился за границу.

Онъ смутно понималъ, что въ Европѣ назрѣваетъ великій рабочій вопросъ. Онъ слѣдилъ за его, такъ сказать, огульнымъ рѣшеніемъ и смутно догадывался, что въ категорическихъ мас-

совыхъ выводахъ нельзя замѣтить ошибки, что въ этихъ цифрахъ многое беретъ на глазъ и даже на вкусъ самаго изслѣдователя. „Тутъ необходимо,—думалъ онъ,—начинать съ мелочей, начинать съ начала“. А началомъ онъ считалъ рабочую единицу, человѣческую клѣточку—семью рабочаго. „Изъ этихъ единицъ,—думалъ онъ,—складывается все дѣло. Необходимо рассмотреть, какъ обращается весь обиходъ нашего земледѣльца и кустаря и прежде всего земледѣльца“. Онъ былъ ближе къ нему какъ помѣщикъ.

Въ то время еще не выходили этюды Леплэ: „Les ouvriers contemporains et les ouvriers eugréens“. Но онъ какимъ-то инстинктомъ догадывался, что въ такихъ этюдахъ кроется начало. „Нельзя,—думалъ онъ,—вести хозяйство, не зная всего оборота крестьянской семьи“. И онъ намѣтилъ у себя нѣсколько дворовъ и приглядывался къ ихъ строю и обороту.

„Теперь они дома,—думалъ онъ.—Дождь... Косить нельзя; теперь ихъ накрыть и допросить“.

И наскоро умывшись холодной водой съ погребца и выпивъ съ аппетитомъ два стакана чаю, съ густыми сливками, онъ надѣлъ резиновый кожанъ съ капюшономъ, накрылъ имъ себѣ голову, вооружился толстой палкой и, несмотря на дождь, пошелъ, въ своихъ высокихъ сапогахъ, въ деревню.

Прежде всего ему предстояло посѣтить избу Антона Безряднаго. Это былъ еще молодой парень, только-что женатый второй годъ; парень съ достаткомъ и со смѣлкой. Онъ служилъ для Толкунова типомъ юнаго, прогрессирующаго поколѣнія.

Толкуновъ отворилъ воротца и вошелъ въ чисто прибранный небольшой дворикъ, на которомъ и теперь, въ грязное время, было сухо, благодаря песку, который былъ густо насыпанъ чуть не на четверть. Навозить его ничего не стоило. Онъ былъ тутъ же въ какихъ-нибудь ста саженьяхъ на берегу песчаныхъ обрывовъ Ахтая.

Толкуновъ взомель на лѣсенку крыльца, которая не была прикрыта навѣсомъ и на ступенькахъ ея стояли лужи.

— Эй! народы-уроды!—вскричалъ онъ, весело ступая на крыльцо и нагибая голову, чтобы войти въ низенькую дверь, небольшихъ сѣней.—Перемерли или спать?.. Отеливайтесь, коли живы!..

Дверь въ избу отворилась, и изъ нея торопливо вышелъ ему на встрѣчу молодой парень, съ сухощавымъ, задумчивымъ лицомъ и густыми бѣлесоватыми волосами, подстриженными въ скобку.

— Здравствуйте, батюшка Владиміръ Лизарычъ!.. Милости просимъ!

— Елизарычъ, а не Лизарычъ,—поправилъ Толкуновъ.

— Ну!.. Простите, ради Христа... Лизарычъ-то какъ-то способнѣе.

И Толкуновъ вошелъ, нагнувшись, въ избу. У него быстро, какъ молнія, промелькнулъ вопросъ: „А почему способнѣе?.. Не тратимъ ли мы много времени на выговоръ лишнихъ словъ и лишнихъ буквъ“?..

Въ избѣ встрѣтила его низкимъ поклономъ молодая и довольно красивая баба съ ребенкомъ на рукахъ. Она была чуть не цѣлой головой выше мужа и держала грудного ребенка на одной рукѣ.

— Здравствуйте, Владиміръ Лизарычъ! — поклонилась она низко и продолжала свое дѣло.—А мы, вишь, нонѣ въ избѣ валандаемся... Вонъ нонѣ кака мокротъ на дворѣ-ти,—ни косить, ни сѣять... Принялась-было за рядны... да вонъ Васенька-то...

Въ избѣ на Толкунова пахнуло затхлымъ тепломъ; въ сильно нагрѣтомъ воздухѣ стоялъ запахъ чего-то кислаго, квашенаго—запахъ тѣста, луку и кислой капусты. Полвилка ея стояла тутъ же, на столѣ, на синей тарелкѣ.

— А ты, баба, уברי это!—сказалъ Толкуновъ, присаживаясь къ столу и указывая на растрескавшуюся и порывѣлую тарелку съ капустой,—миѣ духъ-то противенъ.

— Ладно, сейчасъ!—вскричалъ Антонъ, и, быстро схвативъ тарелку, вынесъ ее за перегородку.

— Оно это точно...—сказала баба.—Духъ-то не больно красовитый... Вотъ мы и прибрались!—сказала она, ловко посадивъ ребенка на руки.—Вотъ мы молодцомъ... Здравствуйте, батюшка, Владиміръ Лизарычъ... Мы—ваши слуги...

Мальчикъ припрыгивалъ на рукѣ, поднимая ручонки, и смѣялся.

— Ну!..—говорилъ между тѣмъ Толкуновъ, мелькомъ взглянувъ на ребенка и вынимая изъ пальто небольшую записную книжку,—я еще не обо всемъ разспросилъ тебя. Мы записали то, что у тебя главный твой доходъ; а конопля, ленъ, горохъ, огородъ, шерсть, еще много чего не записали.

Съ первыхъ же словъ его, Антонъ тотчасъ же устылся на лавку, и притомъ поближе къ нему.

— Это вѣдь, Владиміръ Лизарычъ, пустое...

— Какъ пустое?—удивился Толкуновъ.

— Совсѣмъ пустящее... Такъ, мелкота...—и онъ махнулъ рукой.

— Однако, посмотримъ.. Картофель ты садишь?..

— Какъ же, какъ же, садимъ; безъ картофеля совсѣмъ бы оголодали... Вотъ, въ прошлую зиму картофелю-то было съ полдесятины—пудовка, а нынче и глядѣть не на что...

— Ну, а сколько въ прошломъ году снялъ?..

— Да что?.. Садилъ, знаешь, безъ малаго полдесятины, такъ, около пудовика... Маланья, помнишь?.. мы всыпали полный, какъ есть пудовка. Али нѣтъ?..

— Полный, полный... какъ есть полный!—бойко затараторила Маланья.—Я еще у Крутошки брала пудовикъ... Полну мѣру, какъ есть...

— Ну, ладно,—сказалъ Толкуновъ.—А третьяго года сколько снялъ?

— Третьяго года... третьяго года... Вотъ ужъ я и запомнилъ, сколько... не помню.

— А третьяго года ты полъ-осмины продалъ Встегневичу... Забылъ рази? Я еще ходила къ ему, еще въ дѣвкахъ была... Батюшка засыпалъ.

— Ну, такъ вотъ теперь только узнать бы, сколько въ нынѣшнемъ году будетъ,—спрашивалъ Толкуновъ.

— Не знаю, не знаю, сколько будетъ; картофель мелеа,—и полпуда не будетъ.

Толкуновъ очень хорошо понималъ, что изъ трехъ годовъ нельзя еще вывести среднюю цифру дохода. Но онъ ловилъ, что можно было собрать, чтобы хотя приблизительно вывести общую сумму доходности. „А тамъ,—думалъ онъ,—можно будетъ подправить и дополнить, когда соберется больше данныхъ“.

У Антона онъ пробылъ болѣе часа. Вопросъ о томъ, сколько даетъ горохъ, пришлось отнести къ числу неразрѣшенныхъ. Когда же свѣдѣнія перешли границу женскаго хозяйства и пришлось узнавать, сколько собираютъ посконы и льну, то дѣло необыкновенно усложнилось. На бѣду, въ избу пришла сосѣдка Акулина Возжи, съ быстро мелющимъ языкомъ, такъ что каждая статья подвергалась безконечнымъ сужденіямъ и пререканіямъ, и Толкуновъ, еслибы захотѣлъ, то могъ бы, пожалуй, узнать исторію бабьяго хозяйства цѣлой деревни.

— Что ты, бабушка!.. Что ты!—дивилась Акулина.—Она, знаешь, красны продала, когда еще животомъ-то маялась... Значить, слободна была.

— Анъ нѣтъ, дѣвѣа, поди ты... Пафнутьичъ купилъ у нея красны-то передъ тѣмъ, какъ въ кабаѣ шелъ.

— Какъ въ кабаѣ!.. Онъ зашелъ, знашь, сперва къ Василью, а оттелъ къ Акулинѣ, а оттелъ къ Сидорихѣ, а потомъ ужъ его Никитичъ накрылъ и купилъ красны-то...

Толкуновъ, насколько могъ, поправлялъ и направлялъ такіе споры, доискиваясь того, что ему было нужно. Но, наконецъ, не кончивъ дѣла, всталъ, отеръ потъ со лба и рѣшилъ, что дальше идти невозможно.

Нельзя пробыть больше часу въ этой прѣлой, затхлой, капустной атмосферѣ и не угорѣть. Наскоро простившись съ хозяевами, онъ чуть не бѣгомъ бросился на чистый воздухъ и вздохнулъ на дворѣ полной грудью.

Дождь продолжалъ моросить. Небо обложило кругомъ какой-то сѣрой пеленой. Толкуновъ предположилъ въ это утро сдѣлать два этюда. Но, уставъ отъ перваго, помышлялъ уже о завтракѣ.

„Ну, къ Бабашкѣ Мокрому зайду какъ-нибудь послѣ завтра“. Но, прошагавъ по грязи шаговъ двадцать и завидя избу Бабашки, рѣшилъ зайти теперь же и предупредить о своемъ будущемъ визитѣ.

Бабашку онъ засталъ лежащимъ на печи. Въ избѣнкѣ его было душно и тѣсно; стоялъ какой-то особенный тяжелый запахъ. Полъ былъ грязный; цѣлые комки земли были растерты на немъ. Три сына и три снохи, да больная дочь, блѣдная Дуся—всѣ были въ избѣ. Плачь ребятъ, вонь и гамъ охватили его со всѣхъ сторонъ, такъ что онъ, распахнувъ избѣнку, не рѣшался войти въ нее.

— Что у васъ?.. Адъ кромѣшный?..

При его появленіи всѣ привстали съ лавокъ и низко поклонились. Впереди всѣхъ стояла Матрена, жена Бабашки, высокая, худая старуха съ корявымъ, угловатымъ лицомъ.

— Здравствуйте, батюшка баринъ!—сказала она и поклонилась въ поясъ, а за ней всѣ присутствующіе.

— А гдѣ Бабашка?—спросилъ Толкуновъ.

— На печи лежитъ, батюшка, на печи, животомъ недуженъ, да и въ поясницу что-то вдарило,—лежитъ, мается...

— Онъ вѣчно „недуженъ“,—сказалъ съ досадой Толкуновъ. — Скажи ему, чтобы онъ скорѣе выздоровѣлъ. Я приду черезъ часъ,—слышали?..

— Слушаю-съ, батюшка, слушаю, кормилецъ нашъ!

— Да что вы оконъ не открываете? Говорили вамъ, гово-

рили, что этотъ воздухъ вреденъ для здоровья, и все не втемяшишь въ ваши пустыя головы!

— Студѣно на дворѣ-то, батюшка, студѣно, да мокрытно, а дровецъ-то нѣту-ти, всѣ прибрались,—нѣту-ти, тепло-то и бережемъ.

Но Толкуновъ быстро повернулся и вышелъ, хлопнувъ съ досады дверью. Этотъ невыносимый запахъ невольно раздражалъ его,—запахъ чего-то гнилого, прѣлаго. Ему чудились въ этомъ запахѣ всевозможныя нечистоты и отбросы. Его мутило, и онъ почти бѣгомъ выскочилъ на широкое крыльцо. Но тутъ прямо передъ нимъ распахнулся очень интересный мотивъ. Въ пролетѣ навѣсика надъ крыльцомъ, словно вставленная въ раму, стояла передъ нимъ готовая картинка. На сѣромъ фонѣ сплошного сѣраго неба рисовалась темнымъ пятномъ синевато-черная, расстрепанная туча, и на этомъ пятнѣ ярко вырѣзывалась другимъ пятномъ бѣлая лошадь. Она была привязана къ какому-то остатку забора или прясельца, а сзади нея разстилалась широкая картина ахтайской долины, тонувшая мѣстами въ сплошномъ сѣромъ туманѣ. На этомъ фонѣ по лугамъ и кустарникамъ бродили кое-гдѣ солнечныя пятна, вырѣзывая то тамъ, то здѣсь ослѣпительно яркіе куски то свѣжей зелени, то золотистаго песку, то серебристой рѣчки.

„Вѣдь это идея, мысль!.. — подумалъ Толкуновъ.—Представить эту убогую, старую клячу, которую забыли отвязать отъ прясельца, и она мокнетъ на дождѣ, пока „недужный“ Бабашка животомъ мается, а его три сына сидятъ и кейфуютъ въ вонючей избѣ, какъ монгольскіе истуканы. Вотъ она! Русь!.. На первомъ планѣ—грязь и навозъ, нестерпимая вонь и гадость, и прежде всего лѣнь... А сзади, вдали—чудная природа, ласковыя солнечныя пятна, которыя зовутъ человѣка къ иной жизни, на просторъ свѣта, на ширь чистаго воздуха“...

Онъ обернулся. Сзади него стояла въ почтительномъ молчаніи почти вся публика, наполнявшая избу.

Онъ быстро отвернулся и сбѣжалъ съ крылечка, причемъ чуть не поскользнулся объ грязь, лежавшую на его ступенькахъ. Толстая, пузатая свинья, спавшая передъ самымъ крыльцомъ въ широкой лужѣ, съ громкимъ, визгливымъ хрюканьемъ выскочила изъ своего мягкаго ложа и принялась лѣниво улепетывать по двору.

XII.

Толкуновъ, все еще подъ вліяніемъ картинки, поразившей его, обдумывалъ всѣ ея детали и пятна, и не замѣчая, какъ, бойко дошелъ до усадьбы. Первое, за что принялся онъ, это былъ ящикъ съ красками и кистями. Затѣмъ онъ развязалъ и разставилъ маленький переносный мольбертъ. Быстро, лихорадочно раскрылъ онъ ящикъ съ красками, установилъ на мольбертъ портъ-этюдь съ готовымъ кускомъ полотна, вынулъ палитру и принялся накладывать съ наслажденіемъ краски на ея новенькую, дѣвственную, лакированную поверхность. Ему былъ пріятенъ и запахъ политуры отъ этой палитры, и запахъ красокъ, и какой-то кисленькій запахъ цинковыхъ трубочекъ съ красками.

Все это было новое и все лежало забытое, заброшенное—хотя и новенькое, только-что купленное въ Дюссельдорфѣ. Старый ящикъ съ красками онъ забылъ въ Парижѣ, у хозяйки квартиры. Углемъ, вставленнымъ въ гуттаперчевый рейсфедеръ, бойко и ловко онъ набросалъ нѣсколько чертъ, въ которыхъ едва можно было разобрать контуръ лошади. Затѣмъ, схвативъ рейсфедеръ въ зубы и взявъ въ руки палитру, кисти и мусштабель,—онъ съ жаромъ принялся составлять сѣрую краску и закрашивать пейзажъ, небо и лошадей. Она выходила не совсѣмъ правильной, но онъ объ этомъ не заботился. „Это,—думалъ онъ,—я выправлю потомъ, по этюдамъ“. И при этомъ съ гордостью, самодовольно вспоминалъ, какъ онъ копировалъ лошадиную ярмарку съ рисунка Розы Бонёръ, и какъ сама она сдѣлала ему нѣсколько указаній. Онъ рисовалъ и наслаждался, почти не обративъ никакого вниманія на казачка Мишку, который былъ къ нему посланъ, звать его завтракать. Мишка, передавъ приказаніе, съ необычайнымъ удивленіемъ слѣдилъ за работой барина.

— Что? Хорошо?—спросилъ Толкуновъ.

— Страсть хорошо!..—присудилъ Мишка.—Владиміръ...—началъ онъ несмѣло:—Елизарычъ... Нарисуйте съ меня патреть... Я мамоньѣшъ пошлю въ Падорино.

— Ахъ, ты, пиголица болотная!.. Возьми булку, тѣни въ нее три раза пальцемъ—вотъ и будетъ твой патреть...—И съ этими словами онъ быстро всталъ изъ-за мольберта, положилъ палитру и, какъ будто нечаянно, ловко мазнулъ небольшой кистью съ темно-сѣрой краской Мишку по лицу.—Вотъ тебѣ и весь „патреть“!—сказалъ онъ.—Подай мнѣ руки умытъ!

Мишка побѣжалъ, смѣясь и утираясь на бѣгу полою казакина, и тотчасъ же принесъ умывальникъ и полотенце, которые были въ передней.

Толкуновъ вымылъ руки и тутъ же, по пути, сбросивъ бархатный пиджакъ, умылъ лицо съ наслажденіемъ. Онъ вообще любилъ умываться по нѣскольку разъ въ день.

Затѣмъ, довольный собой — или, лучше сказать, начатымъ эскизомъ, довольный своею памятью, которая такъ удачно схватила всѣ тона и пятна, и мечтая уже сдѣлать изъ начатаго эскиза небольшую картинку, а ла-Вуверманъ, — онъ бойко, саженными шагами, чуть не въ припрыжку, прошелъ по большому двору и легко взбѣжалъ на крыльцо дома. Въ столовой, за обѣденнымъ столомъ, уже сидѣлъ отецъ и съ аппетитомъ поѣдалъ майонезъ изъ рябчиковъ. Толкуновъ поздоровался съ нимъ.

— Гдѣ это пропадаешь?.. Завертѣлся ужъ?..

И дѣйствительно, молодой Толкуновъ тутъ только вспомнилъ, что онъ уже третій день какъ не видалъ отца.

— Ышь сперва это, — сказалъ отецъ, пододвигая къ нему тарелку, на которой лежало нѣсколько ломтиковъ балыка. — Хотите попробуй только... Роскошь!.. Третьяго дня привезли изъ Астрахани. Просто, удивленіе! Такъ и таетъ во рту.

И Владиміръ попробовалъ — сочный, маслянистый кусочекъ балыка.

— А что же води? Какой хочешь? Сладкой или горькой... Совѣтую горькую, amande amère или допель-кюммель?

— Благодарю!.. Никакой не пью...

— Не пьешь?.. — удивился Толкуновъ. — Послѣ балыка не хорошо не пить... нездорово... *post pisces vinum misces*, говорили Катоны и Сенеки...

Послѣ балыка сынъ хотѣлъ приняться за ростбифъ, который стоялъ тутъ же въ серебряной лаханкѣ, прикрытой высокой серебряной крышкой. Но отецъ остановилъ его.

— Ты сперва этого отвѣдай... майонезцу... Хорошо Степанъ, собака, дѣлаетъ, и видно, что у Феррѣ учился...

Сынъ въ нерѣзительности протянулъ руку къ майонезу, а отецъ уже наложилъ ему чуть не полную тарелку.

И вдругъ, при этомъ угощеніи и подчиваніи, въ памяти его воскресло утро третьяго дня и все, что занимало его такъ сильно въ это утро. Все это лежало въ его головѣ, тамъ гдѣ-то, въ темномъ углу, какимъ-то туманнымъ бѣловатымъ пятномъ... И вдругъ, при этомъ воспоминаніи, ему сдѣлалось свѣтло и тепло, точно его осіялъ ясный ведряный день, и образъ Любы пред-

стать ему такой наивный и сияющий. И сердце как-то трепетно задрожало.

„Надо въ нимъ еще разъ съѣздить,—подумалъ онъ.—Эта Люба... такая дѣтская прелесть“... И вмѣстѣ съ этимъ воспоминаніемъ чередой, но по порядку промелькнуло жаркое утро на болотѣ, пальба, бекасы, Полистовскій, Захватъевъ... Ясный вечеръ... И затѣмъ впечатлѣніе сегодняшняго дня... сырого, мокраго, дождливаго, и удовлетвореніе набросаннымъ эскизомъ, и все это какъ второстепенное, надъ чѣмъ всплылъ и стойко держался образъ все той же милой, наивной Любы.

— А я хотѣлъ уже вторично посылать за тобой... Я завтракаю ровно въ двѣнадцать... Тебѣ не рано?..

Но сынъ ничего не отвѣчалъ, машинально набивая ротъ вкуснымъ майонезомъ.

Отецъ понизилъ голосъ и какъ-то конфузливо признался сыну:

— Я вѣдь обыкновенно завтракаю... не одинъ... Скучно одному... какъ-то грустно, коли нѣтъ никого... Такъ я приглашу кого-нибудь изъ флигельковъ...—И онъ подмигнулъ. — И послѣ достанется на орѣхи той, которая удостоилась приглашенія... Въ особенности достается мадмуазель Фифи... Впрочемъ, она держится въ сторонѣ отъ нихъ... Не смѣшивается съ ними... И онѣ это понимаютъ...

Сынъ машинально слушалъ отца, и дивился, почему онъ ударился въ эти интимности...

— Она вѣдь дѣйствительно выше ихъ... Дочь какого-то маркиза de Chauvigneau... Ну, да вѣрно все вретъ... А такъ съ ней пріятно поболтать... *Esprit caustique*... Хочешь, въ слѣдующій разъ я позову ее?..

Сынъ не вдругъ отвѣчалъ.

— Послушай,—сказалъ онъ, рѣзко поднимаясь со стула.— Неужели ты до сихъ поръ не пришелъ къ сознанію, что всѣ такія отношенія къ женщинѣ... въ сущности, ужасная гадость!..

— Чтò такое?.. Какія отношенія?—И онъ сильно покраснѣлъ и замигалъ глазами.

— Такія, которыя ты поддерживаешь и защищаешь... Неужели и я въ твои года буду такимъ же звѣремъ-сластоуслугомъ?..

Толкуновъ-отецъ еще сильнѣе замигалъ глазами и потянулъ сына за руку, чтобы заставить его опуститься на стулъ.

— *Allons! Causons un peu*... Скажи, пожалуйста, какое я зло дѣлаю кому бы то ни было изъ такихъ отношеній?.. Вѣдь

всякая женщина, какъ и мы съ тобой, имѣть душу и тѣло... Я посягаю на ея тѣло, а до души я не касаюсь...

— Но было бы лучше... гораздо лучше, еслибы ты думалъ о душѣ ея, т.-е. не о душѣ, а объ ея нравственной личности.

— А позволь тебя спросить: что такое нравственность?.. Ne fais pas des grands yeux; ne fais pas le mal à autrui. Вотъ я все... И я никому, никому въ жизни не желалъ, и не дѣлалъ, и не дѣлаю зла... сохрани меня Богъ!..—и онъ перекрестился.—А напротивъ, всѣмъ стараюсь, по возможности, по мѣрѣ умѣнья, старанія, силъ и моихъ средствъ, приносить добро... Какая связь между тѣломъ и душой?.. Никакой... Mens sana in corpore sano... и это вздоръ... Мы часто видимъ, что у болѣзненныхъ натуръ такой глубокой, свѣтлой, талантливый взглядъ, что ихъ считаютъ геніальными людьми... Да ты, можетъ быть, не знаешь...—Толкуновъ понизилъ голосъ и сказалъ тихимъ шопотомъ по-французски:—что я каждой дѣвушкѣ—будь она моя крѣпостная или нѣтъ—выдаю отъ ста до трехъ сотъ рублей, смотря *по положенію*. И всѣ это знаютъ... Всѣ знаютъ, и нарочно лѣзутъ ко мнѣ ихъ отцы и матери... Лѣзутъ, чтобы получить приданое... Потому что сто рублей въ ихъ жизни—капиталъ, съ которымъ можно встать на ноги, а чистота тѣлесная... вздоръ,—это они всѣ знаютъ, и ста рублей на полу не найдешь.

Но тутъ Толкуновъ-сынъ рѣзко выдернулъ свою руку изъ руки отца и отшатнулся отъ него...

— Мы говоримъ съ тобой на разныхъ языкахъ... — проговорилъ онъ.—Ты говоришь о твоей прихоти, а я—о нравственной чистотѣ...

Толкуновъ-отецъ вскочилъ со стула.

— Да растолкуй ты мнѣ, сдѣлай милость,—вскричалъ онъ:—что такое эта нравственная чистота?.. Физическая—я понимаю... чистота тѣла... Она получается въ ваннѣ или въ банѣ... Но какимъ образомъ чистота тѣла вяжется съ чистотой души?.. Вѣдь самъ Христосъ сказалъ, что плоть не пользуется ни мало... Любить женщину... Это—дѣло другое... Здѣсь вкладется часть моего сердца... моей души... Но какое принимаетъ участіе чисто-физическій актъ?.. Этого я не понимаю... Это—извращеніе христіанскихъ понятій... Это—консерватизмъ... Ну, считаешь ты этотъ актъ за грѣхъ... И будь дѣйственнымъ... И не сближайся съ женщинами...

— Я такъ и дѣлаю... И уже другой годъ...

— И ничего?..

— И ничего... Какъ видишь... Живъ и здоровъ...

— Не вѣрю!.. Не понимаю и понять не могу!..

— Удалийся отъ всѣхъ мыслей и представлений нечистыхъ... Больше думай и не бадай себя ни майонезами, ни шартрэсами... И ты поймешь!..

Но Толкуновъ-отецъ ничего не возражалъ и представлялъ изъ себя живую фигуру изумленія. Глаза его почти хотѣли выйти изъ орбитъ... Руки раздвинулись... Раскрытый ротъ кривился въ насмѣшливую улыбку.

Сынъ рѣзко отвернулся отъ него и быстро пошелъ вонъ.

— Постой!.. Постой!..—закричалъ на него отецъ. — Выпей хоть рюмочку бенедиктинцу... Святой дѣвственникъ!... Это вѣдь святое вино... Отъ монаховъ... Бенедиктинцевъ...

Но молодой Толкуновъ былъ уже на крыльцѣ.

XIII.

Отецъ поставилъ передъ нимъ вопросъ ребромъ. Такъ круто онъ никогда еще не ставилъ его. Взволнованный этой постановкой, онъ, не замѣчая, быстро дошелъ до флигеля; вошелъ въ него и машинально остановился передъ эскизомъ, — при взглядѣ на него, кажется, возвратилось къ нему все давишее настроеніе, при которомъ онъ писалъ его. Но теперь онъ былъ не-свободенъ.

Громче, настойчивѣе и воіющѣ стоялъ въ его умѣ и сердцѣ одинъ вопросъ: а что если онъ (т.-е. отецъ его) правъ, хоть немного?... Вѣдь все это—аскетизмъ, это—что-то напускное, изобрѣтенное... Это—остатокъ средневѣковаго ханжества, фанатизма, монашества... Дѣйствительно, какой я грѣхъ дѣлаю, если завожу связь съ женщиной? Положимъ, въ писаніи это обозначено ясно и опредѣленно: „не прелюбодѣйствуй“. Но что же значить прелюбодѣйствовать? И онъ вспомнилъ, что всѣ энергичныя, талантливыя натуры, какъ Петръ Великій, Наполеонъ, были чувственники, не заботившіеся ни о какомъ аскетизмѣ. При этомъ онъ вспомнилъ слова отца, что онъ выдаетъ каждой дѣвушкѣ отъ ста до трехъ сотъ рублей. И всѣ знаютъ и лѣзутъ, чтобы получить это приданое. И при этомъ онъ вспомнилъ обычай одной деревни въ сосѣдней губерніи, гдѣ крестьянскія дѣвушки не иначе выходили замужъ, какъ доказавъ всему міру, что онѣ къ размноженію рода человѣческаго вполне правоспособны... Чего же имъ нужно?... кромѣ грубыхъ животныхъ чувствъ, здоровья... и чистой души, и сердца?.. Но что же это такое: эта чистая душа и сердце?..

И при этой мысли онъ невольно чувствовалъ, какъ его охватывало какое-то тихое, отрадное волненіе. Какая-то дѣтская простая тишина и ласковый, кроткій міръ облекали его какъ бы свѣтлой, свободной пеленой, и онъ ясно чувствовалъ и сознавалъ, что все существо его становилось выше, чище, свободнѣе...

— Нѣтъ...—сказалъ онъ.—Они врутъ — эти чувственники, сладострастники... Есть нѣчто свое, самобытное, независимое отъ нашей грязной физической жизни и силы и обыденности земныхъ явленій. Есть великая, чистая сила, которая хранитъ всякаго среди этого животнаго, скотскаго міра. Она чиста, жива, и она влечетъ насъ къ себѣ...

И при этой мысли онъ какъ бы въ изнеможеніи опустился на стулъ и машинально схватилъ палитру и кисти... Но тотчасъ же опять вскочилъ съ своего мѣста и весь потянулся въ какой-то сладкой истомѣ.

По странной, невѣдомой ассоціаціи идей, вмѣстѣ съ представленіемъ о чистомъ мірѣ, вдругъ въ его представленіи всталъ образъ дѣтски-наивной Любы... И онъ подумалъ: „Какая глубокая разница этой простой, чистой деревенской дѣвушки съ нашими городскими барышнями“!..

И тотчасъ же онъ снова, машинально схватилъ кисти и палитру... и, сѣвъ на стулъ, сдѣлалъ безсознательно нѣсколько мазковъ — нѣсколько поправокъ своей грубой, рѣзкой, прежней мазни...

„А къ нимъ надо непременно еще разъ съѣздить,—подумалъ онъ.—Зачѣмъ бросать несчастныхъ въ одиночествѣ!“ Онъ вспомнилъ, съ какой жадностью, и въ особенности Вѣра, слушали онъ его рассказы о французскихъ послѣднихъ событіяхъ. „А что, если отдать на ихъ сужденіе этотъ вопросъ о чистотѣ души и сердца?.. Неловко, неприлично!.. А можетъ быть, въ какой-нибудь индифферентной, аллегорической формѣ?.. Онѣ, вѣроятно, объ этомъ никогда не думали. У нихъ все просто, по-дѣтски... Вся ихъ мораль—въ этой, съ дѣтства святой для нихъ книгѣ. У нихъ святой не можетъ быть санкюлотомъ, и о социальныхъ простыхъ вопросахъ онѣ никогда и не задумывались“...

И онъ съ увлеченіемъ, инстинктивно, не зная самъ какъ, мазалъ, красилъ, портилъ, поправлялъ и не сознавалъ только одного, что въ его безсознательномъ чувствѣ встало одно твердое рѣшеніе: „завтра же отправлюсь къ Драевскимъ“. О Бабашиѣ Мокромъ онъ совершенно забылъ, и только вспомнилъ о немъ вечеромъ поздно, когда легъ въ постель, а на другой день онъ даже забылъ о своемъ рѣшеніи ѣхать къ Драевскимъ и при-

нялся писать, написал сразу четыре, почти пять листов, весь погрузился въ свои соціологическіе этюды. Болѣе набрасывалъ собственныя свои мысли, чѣмъ подбиралъ факты и дѣлалъ выводы. И только когда Мишка пришелъ доложить ему, что завтракъ поданъ, тутъ только вспомнилъ, что вчера собирался къ Драевскимъ, вскочилъ, взглянулъ на часы, схватилъ первую попавшуюся шляпу и, на ходу приказавъ, чтобы ему положили маленькій шарбанъ, побѣжалъ въ столовую.

„Можетъ быть, еще не поздно,—думалъ онъ.—Ну, не попалъ къ завтраку, попаду къ обѣду“... И тутъ только вспомнилъ свой вчерашній завтракъ, споръ съ отцомъ—и рѣшился сегодня не говорить объ этой матеріи, а молча слушать, что онъ будетъ говорить.

XIV.

Черезъ часъ онъ уже вѣзжалъ въ усадьбу Драевскихъ. По дорогѣ вездѣ стояли лужи отъ вчерашняго дождя, и по небу проносились облака, застилая солнце. У Драевскихъ онъ засталъ оживленный говоръ и смѣхъ: кто-то и что-то громко рассказывалъ, всѣ хохотали.

Всѣ сидѣли на террасѣ,—и, разумѣется, всѣ обрадовались гостю.

Люба вспыхнула и съ радостнымъ восклицаніемъ, вся сіяющая, первая не подошла, а подбѣжала къ Толкунову и крѣпко пожала ему руку.

Рассказывавшій гость былъ давно извѣстный Толкунову — Евграфъ Никитичъ Гарбузовъ. Низенькій, крѣпко сложенный, съ большой, курчавой головой—уже сильно посѣдѣвшихъ волосъ, съ большими усами, которые постоянно дергались, съ бровями, нависшими надъ маленькими хитрыми глазками, Евграфъ Никитичъ былъ типъ стараго, доморощеннаго закамскаго помѣщика. Въ его фizioноміи была удивительная смѣсь простодушія и плутовства. Въ большой компаніи, при людяхъ съ вѣсомъ онъ былъ незамѣтенъ, онъ жался въ уголку и не вмѣшивался въ разговоры; въ знакомой средѣ онъ былъ неистощимымъ въ анекдотахъ и рассказахъ о происшествіяхъ собственной жизни. Онъ былъ въ тринадцатомъ году милиціонеромъ, ходилъ съ ополченцами на югъ, даже переходилъ границу, былъ въ Европѣ, и объ этой жизни, полной юношескаго задора, онъ сохранилъ бездну глупыхъ воспоминаній.

— Мое нижайшее-съ!.. Съ пріѣздомъ-съ... Съ благополуч-

нымъ прибытіемъ!—говорилъ Гарбузовъ, низко, какъ-то бокомъ раскланиваясь, и крѣпко пожималъ обѣими руками руку Толкунова.

— Какъ изволили пребывать въ чужеземныхъ краяхъ?

— Ничего, — сказалъ Толкуновъ. — А вы какъ здѣсь проживали?

— Ась?..— И онъ повернулъ къ Толкунову свое большое, широкое, какъ лаханка, ухо.

— А вы совсѣмъ стали глухой, Евграфъ Никитичъ,—проговорила Люба.

— Чего-съ?..—И онъ быстро повернулъ къ ней голову.

Люба захохотала.

— Расскажите же, какъ дальше было?—спросила Вѣра. — Вотъ Евграфъ Никитичъ рассказывалъ объ одной кородивой деревенской дѣвушкѣ, которая у нихъ въ деревнѣ жила.

Толкуновъ поздоровался съ Вѣрой и съ Ольгой Андреевной, которая сидѣла тутъ же и вязала теплый платокъ Любѣ.

— Да-съ... — подхватилъ Евграфъ Никитичъ, — жила такъ, знаете... Христа ради... Дочь солдатики... Разъ приходитъ она на пчельникъ, а я ломалъ медъ въ ульяхъ... И, знаете ли, былъ, какъ слѣдуетъ, въ сѣтѣхъ и рукавицахъ... „Ты чтѣ, молъ, говорю, далеко стоишь?.. подойди ближе, погляди“...— „А онѣ укусятъ?“... — „Да меня же не кусаютъ, видишь... На, молъ, я тебѣ медку дамъ“... Отрѣзалъ ей ломоть хлѣба и намазалъ на него сотоваго меда... На, молъ, поѣшь, сладко... Чтѣ же вы думаете,—она, глупая, взяла это хлѣбъ... и такъ-таки прямехонько подлѣ меня сѣла... А я отнялъ втулку, отъ колоды-то, а онѣ тамъ гудятъ, бунчатъ... и тотчасъ же на нее... И всю облѣпили... Она—махать, махать, а онѣ—пуще... А я говорю: „Ничего, ничего“. И смѣшно мнѣ... А какъ ничего... онѣ ей прямо въ глаза... Такъ, знаете ли, наконецъ, она бросила хлѣбъ... Всючила и бѣжать... Платье на голову заворотила и бѣгомъ... А онѣ за ней... тучей... да подъ платье... Такъ она упала и давай кататься по землѣ.

— И вамъ ее не жаль было?—спросила Ольга Андреевна. И лицо ея изобразило глубокую жалость. А Евграфъ Никитичъ продолжалъ хохотать.

— Такъ, знаете ли, чтѣ я вамъ скажу: на другой день приходятъ ко мнѣ и говорятъ: „Дунька-то больна, у солдатики Акульки лежитъ“... „Приведите, говорю, ее ко мнѣ“... Привели... Смотрю я... батюшки-свѣты!.. лица-то у ней совсѣмъ не видать—гдѣ глаза, гдѣ носъ—ничего какъ есть не видно, одинъ

ротъ чернѣть... и говорить не можетъ... такъ какъ-то мамлить да гнусить... Вотъ я ей сейчасъ сырой земли, а потомъ напашу съ камфорой... На другой день все опало и глаза прозрѣли... Все какъ есть въ свой видъ пришло. И ужъ съ тѣхъ поръ, какъ завидитъ меня, такъ и убѣгать... А я ей вдогонку: „Дунька, Дунька, медку не хочешь, моль? сладко!“...

А между тѣмъ Толкуновъ думалъ: „И зачѣмъ здѣсь принимаютъ этого балаганнаго, неприличнаго шута?.. Я бы его на порогъ не пустилъ—а онѣ веселы, хохочутъ... Видно, женщины все равно что дѣти... только бы смѣшно было... Да полно, не все ли человечество поступаетъ такъ же и весело смѣется какой-нибудь пошлости, фарсу, буффу... Даже люди серьезные не могутъ удержаться отъ смѣха... Вѣдь смѣяться не грѣшно надъ тѣмъ, что кажется смѣшно“...

Онъ тихо, незамѣтно отошелъ въ сторону; къ нему подошла Вѣра и тихо сказала:

— А мы съ сестрой довольно долго разсуждали объ томъ, что вы намъ разсказывали... Неужели это всегда такъ будетъ?.. Всегда бѣдные и трудящіеся будутъ работать на богатыхъ и сильныхъ?...

— Нѣтъ, едва-ли это такъ всегда будетъ... Мнѣ кажется, это—вопросъ времени... до тѣхъ поръ, пока массы не могутъ сознать своего тягостнаго, зависимаго положенія и сознать свою силу, до тѣхъ поръ это продолжится... Посмотрите, напримѣръ, на Америку, на эту демократическую Америку...

— Но развѣ тамъ нѣтъ гнета капиталовъ?.. Я вѣдь читала Токвилля... Мнѣ кажется, что вездѣ одно и то же... Въ одной странѣ больше, въ другой—меньше... Мнѣ кажется, это зависитъ отъ человѣка... Онъ стремится къ удобствамъ жизни, а богатство даетъ ему эти удобства, и самое главное изъ нихъ, это—работать какъ можно меньше... а наслаждаться какъ можно больше...—И она пристально посмотрѣла на него своими блестящими, глубокими глазами.

„Какая она умница! — подумалъ Толкуновъ.—Она хватается въ самый корень“... И тутъ же ему страстно захотѣлось предложить на ея обсужденіе тотъ спорный вопросъ, который поставилъ такъ рѣзко его отецъ. Но въ это время подошла къ нимъ Люба. При взглядѣ на ея ясные, дѣтски-добрые глаза ему опять стало совѣстно своего вопроса, онъ показался ему слишкомъ грубъ, чувственъ для нея, для этой дѣтски-наивной, чистой и простой дѣвушки.

— Мы говорили о томъ, — сказалъ онъ Любѣ, — что чело-

вѣщество мучится само собою... что массы не могутъ сознать своей силы и выйти сами изъ невольнаго положенія, изъ гнета капитала... Между тѣмъ, опытовъ было довольно...—Онъ искоса посмотрѣлъ на Гарбузова и Ольгу Андреевну.—Исторія ясно говоритъ намъ, что массы всегда выходили побѣдителями... правда, не надолго... Ихъ страшныя силы могутъ ломать только въ періоды подъема духа общимъ раздраженіемъ и напряженіемъ...

— Нѣтъ,—перебила его Вѣра,—почему вы такъ думаете?.. Возьмите Швейцарію... развѣ тамъ не прочна установившаяся побѣда массы населенія,—демократовъ, либераловъ надъ консерваторами?

„У нея мужской, философскій складъ ума“,—подумалъ онъ съ удивленіемъ, но глаза его не могли оторваться отъ Любы...

„Это, положительно, лицо ангельчика... и дѣтской вѣры, и чистоты сердца“, думалъ онъ.

— А знаете ли? я думаю,—вдругъ вмѣшалась Люба и покраснѣла:—еслибы люди больше любили другъ друга и больше боялись Бога... то не было бы никакой борьбы и войнъ, и гнета...

— Да, это вѣрно!.. — тихо сказала Ольга Андреевна изъ своего дальняго угла.

„Какъ это дѣтски-наивно и мило, и просто!“—подумалъ Толкуновъ.

— Да... но вотъ въ этомъ-то и вопросъ,—сказалъ онъ:—какъ это сдѣлать, чтобы они больше любили другъ друга и боялись Бога?

— Мнѣ кажется, — сказала Люба, — что это очень просто: стоить только больше думать и заботиться о другомъ, чѣмъ объ себѣ самомъ... и, наконецъ, привыкнешь... такъ и будешь постоянно заботиться больше о другомъ, чѣмъ о себѣ самомъ... Право, такъ...

Ольга Андреевна смотрѣла на нее и думала: „Да, это вѣрно... это совершенно вѣрно... но прежде всего надо думать о Богѣ“...

Толкуновъ пристально посмотрѣлъ на нихъ обѣихъ и ничего не сказалъ; онъ думалъ: „Да, пожалуй, на словахъ все это такъ просто... а попробуй примѣнить на дѣлѣ“!..

XV.

— Я, знаете ли, не люблю, когда къ намъ прїѣзжаетъ этотъ несносный Евграфъ Никитичъ,—призналась Люба.

— Но вѣдь онъ веселый человѣкъ. Вы такъ смѣялись, когда онъ рассказывалъ его безобразный поступокъ съ бѣдной королевой...

— Н-ну, да. Это смѣшно... Притомъ онъ гость...

— А мнѣ кажется, это вовсе не смѣшно... издѣваться такъ безчеловѣчно!.. А не думали вы никогда о томъ, что многое, что не принято теперь въ нашемъ обществѣ, было принято прежде или будетъ принято потомъ, впоследствии?

И Вѣра, и Люба уставились на него.

— Знаете ли,—продолжалъ онъ,—мы не задумываемся не только надъ словами, но даже надъ нашими поступками... И вообще... Напримѣръ, что такое нравственность?.. Думали ли вы когда-нибудь объ этомъ?

— Какъ что такое нравственность?—вскричала Люба.—Это намъ указалъ Христосъ... Люби своего брата, ближняго, и не дѣлай ему зла...

— Да, вотъ, если братъ ищетъ какихъ-нибудь наслажденій, которыя общество считаетъ неприличными, даже постыдными. Хотя, въ сущности, въ нихъ нѣтъ ничего неприличнаго и постыднаго, даже вреднаго. Но братъ мой, если онъ слабъ характеромъ, не можетъ переступить препоны, которыя ставятъ ему вкусы и взгляды общества, и лишаетъ себя этого удовольствія... Вотъ, хоть бы, напримѣръ...

И онъ храбро хотѣлъ, въ приличной формѣ, выставить тотъ вопросъ, который поставилъ ему его отецъ. Но тутъ же рѣшилъ, что для нихъ этотъ вопросъ уже рѣшенъ, и что нельзя свободно обсуждать эти вопросы тамъ, гдѣ догматы стоятъ прежде всего и выше всего. И онъ замолкъ и пожалъ плечами.

— Что же?—спросила Вѣра:—вы что-то не досказываете; говорите прямо... не скрывая.

— Какъ-то странно все устроено на свѣтѣ,—сказалъ онъ задумчиво.—Человѣку даны чувства... повидимому, онъ могъ бы наслаждаться вполне тѣмъ, что они даютъ ему... А на самомъ дѣлѣ... Нѣтъ! Не смѣй. Ломай и поборай эти чувства... Принуждай себя къ лишеніямъ... Не доѣдай... Не досыпай... Стѣсняй себя во всемъ... И тогда только... тамъ, гдѣ-то... тамъ!—и онъ указалъ на небо—ты будешь стократъ блаженъ и счастливъ... Что это за нелѣпость такая!..

— Какъ же иначе?..—спросила Люба.—Вы хотѣли бы, чтобы вамъ все даромъ досталось... Всѣ блаженства просто свалились бы къ вамъ... За что?.. Почему?..

— Есть двѣ жизни,—докторально прибавила Вѣра.—Выбирайте изъ нихъ любую... Никто вамъ не запрещаетъ.

— Да нѣтъ. Позвольте же...—заторопился Толкуновъ.—Вы мнѣ объясните прежде всего слѣдующее... Вѣдь въ ту жизнь я пойду со всѣмъ тѣмъ, что я возьму отсюда... Если я привыкъ здѣсь къ разнымъ услажденіямъ, сластямъ, майонезамъ и бургонскому, такъ вѣдь тамъ же, кажется, этого ничего не подается... Вѣдь тамъ кондитерскихъ и пирожныхъ нѣтъ.

„Да,—подумала Вѣра,—тебѣ и тамъ бы захотѣлось сладкаго пирожка“.—И она отрицательно покачала головой.

— Послушайте, — сказала она, — не занимало ли васъ въ этой жизни („разумѣется, въ этой, — подумала она, — какая я глупая!“) что-нибудь сильно... очень сильно... такъ, что вы бывали и пить, и ѣсть, и даже спать не хотѣлось вамъ...

— Случалось... Но что же изъ этого?

— Ну, вотъ, это и есть та жизнь... Если бы вы полюбили кого-нибудь сильно, сильно... то у васъ бы и сонъ, и ѣда... все бы опротивѣло... Вамъ бы не хотѣлось ни ѣсть, ни спать.—И она пристально посмотрѣла на него и сильно заморгала и покраснѣла.

— То-есть, вы хотите спросить: былъ ли я когда-нибудь влюбленъ въ моей жизни?

— Нѣтъ, нѣтъ. Это совсѣмъ не то...

— Если, на примѣръ, я люблю музыку... я музыкантъ, и, разумѣется, меня тянетъ къ инструменту, къ звукамъ... то я не долженъ заниматься музыкой... долженъ бросить, бѣжать... Такъ, что-ли?

— Зачѣмъ же?—удивилась Вѣра.—Вѣдь многіе святые были музыканты... на примѣръ, св. Цецилія или св. Антоній...

— Да замѣтите, что это католическіе святые, а не наши... Ну, а если бы я былъ художникомъ... и меня бы постоянно тянуло къ краскамъ, къ цвѣтамъ, къ пейзажамъ... Я опять долженъ ломать свои чувства?..

— Совсѣмъ нѣтъ... Кто говоритъ вамъ!.. Не ломайте, а развивайте ваши вкусы художественные, вашу страсть къ изящному...

— Позвольте же, но тутъ противорѣчіе... Мнѣ, на примѣръ, нравятся изящныя портьеры, обои, ковры, золото, шелковыя матеріи, бархаты...

— Ну, зачѣмъ же? Это уже роскошь!

— Такъ вы, стало быть, ставите мѣрку... оцѣниваете на гроши искусство... Что выше этой цѣны, то по боку?..

— Нѣтъ... Это вѣдь каждый чувствуетъ... Что можно и что нельзя...

— Ну, позвольте же теперь васъ спросить,—если я изящно и дешево убралъ свою комнату, то совершилъ ли я грѣхъ, или нѣтъ?

— Какой же грѣхъ?..—удивились и Вѣра, и Люба.—Никакого грѣха въ этомъ нѣтъ.

— Ну, а если я при этомъ изящно позавтракалъ и накурить бы въ моей комнатѣ какимъ-нибудь оніміамомъ... Грѣшно это или нѣтъ? Ну, наставилъ бы вездѣ цвѣтовъ сильно пахучихъ...

— И это не грѣхъ. Какой же грѣхъ?

— А еслибы я, при такой обстановкѣ, захотѣлъ бы съѣсть что-нибудь изящное... какой-нибудь сладкій, ароматный пирожокъ... очень вкусный?..—И онъ бессознательно пристально посмотрѣлъ на Любу... И вдругъ оба одновременно, какъ бы столкнувшись мыслями, сильно покраснѣли.

— Ну, вотъ вы куда пошли!..—сказала Вѣра.—Этого опять нельзя. Это, значить, возбуждать и удовлетворять своимъ низменнымъ вкусамъ.

— А! — вскричалъ Толкуновъ. — Вы, значить, раздѣляете вкусы на низменные и возвышенные?.. Гдѣ же эта черточка, которая раздѣляетъ ихъ? Укажите мнѣ ее.

— Она лежитъ въ нашемъ сердцѣ,—сказала Вѣра.—Развѣ вы не чувствуете, что въ немъ поднимается тревога каждый разъ, когда вамъ приходится переступить черезъ эту черточку?..

— Хорошо, положимъ, это справедливо, — сказалъ Толкуновъ (и тутъ же подумалъ: „Какъ же мнѣ ни разу не приходило въ голову этотъ критерій?“).—Кто же мнѣ сказать, что эта черточка неподвижна?.. Мнѣ кажется, она передвигается и сильно передвигается съ развитіемъ общества, съ усвоенными имъ порядками, привычками, обычаями... Сегодня я считаю это правильнымъ, нормальнымъ, нравственнымъ... Я, напримѣръ, стою на точкѣ зрѣнія бедуина... Для меня всѣ виды мщенія, убійство, обманъ — подвигъ въ высшей степени нравственный, подвигъ чести... А христіанинъ говоритъ мнѣ: „не убій, не укради“.

— Ну да,—согласилась Вѣра.—Человѣкъ, т.-е. народъ, развивается.

— Кто же мнѣ поручится, что черезъ нѣсколько лѣтъ или вѣковъ мы не дойдемъ до полного оправданія аскетизма... что мы будемъ восхвалять средніе вѣка со всѣми ихъ идеальными стремленіями—до оправданія факировъ, которые всю жизнь стоятъ

на одномъ мѣстѣ на камнѣ, на столбѣ или просто на одной ногѣ... И весь міръ—и онъ показаль кругомъ—со всей его музыкой, гармоніей... поэзіей... будемъ считать за ничто, за гадость?..

— Нѣтъ. Нѣтъ. Вы опять переступили черезъ черточку... Вы опять ударяетесь въ крайность...—Но Толкуновъ, не слушая ея, доканчивалъ свою мысль.

— И если мы дойдемъ до этого аскетизма, то спрашивается: зачѣмъ же мы развивали въ себѣ это чувство красоты, гармоніи, воспитывали наши стремленія къ изящному, эстетическому?.. Вѣдь для человѣка нужно только умѣть стоять на одной ногѣ или на высокомъ столбѣ... Для него важно одно: отрѣшиться отъ всего прекраснаго и перевоспитать свое тѣло и душу... Вѣдь, замѣтите, отсюда и идетъ это раздѣленіе на одесную и опущю... Съ одной стороны—душа со всѣми ея идеальными стремленіями и возвышенными идеалами. Съ другой же—тѣло со всѣми прихотями и похотями... Что чисто и что не чисто, какъ тутъ разобраться?

XVI.

— А вы любите молиться?..—спросилъ Толкуновъ и тотчасъ же подивился, зачѣмъ онъ предложилъ такой глупый вопросъ.

— Нѣтъ!—призналась Люба, улыбнулась и потупилась.—Я молюсь, когда мнѣ хочется молиться, только это рѣдко бываетъ... Знаете ли, я люблю смотрѣть, какъ другіе молятся... Въ особенности, мама... Такое хорошее дѣлается у нея лицо... какъ будто она уходитъ вся отъ насъ... отъ всего земного... Такъ что иногда мнѣ даже страшно дѣлается... Я сижу, смотрю на нее... и вдругъ позову: „мама!“—а она ничего не слышитъ, не видитъ... не говоритъ... у нея лицо точно у статуи, только слезинки катятся изъ глазъ...

— Такое состояніе называется экстазомъ, — сказалъ Толкуновъ, — и оно опасно... Оно можетъ перейти въ религіозную манію...

— Что вы говорите!?—Лицо ея сильно поблѣднѣло...—Нѣтъ... Ей надо сказать... Я никогда не буду оставлять ее одну, когда она молится... Прежде, когда я была маленькая, то мы вмѣстѣ съ ней молились, помню, и я ей всегда мѣшала... Она поклонится въ землю, и я поклонюсь въ землю, стукнусь лбомъ и захохочу... или вскочу къ ней на спину... Я вѣдь была очень рѣзвая... Только когда я очень ужъ распалюсь подлѣ нея... то она

точно проснется, обойметъ меня и поцѣлуетъ... А потомъ, когда я подросла, я стала думать, да и теперь я такъ думаю... Я думаю, зачѣмъ усердно и много молиться?.. Вѣдь Господь все видитъ... И знаетъ, когда мнѣ надо молиться, и когда нѣтъ... Когда надо, тогда Онъ мнѣ пошлетъ и желаніе молиться... Не правда ли?..—А Толкуновъ въ это время думалъ: „Вотъ въ какія дебри она завела меня!.. Что я ей скажу“?..

— Я, право, не знаю,—сказалъ онъ:—я объ этомъ никогда не думалъ... Я полагаю, что надо жить такъ, какъ подсказываетъ намъ наша совѣсть; тогда является само собою чувство спокойствія, довольства жизнью; чувствуешь, что ты живешь правильно... А тамъ... Остальное все совершится такъ, какъ угодно судьбамъ „міра сего“!—И, сказавъ это, онъ взглянулъ на нее, и тутъ только замѣтилъ, что они оба, не зная какъ, сошли со ступеней террасы и стоятъ въ среднемъ цвѣтникѣ передъ клумбами съ левкоями и розанами...

— Любовь Петровна,—сказалъ вдругъ Толкуновъ:—простите мнѣ... откровенный вопросъ: вы довольны жизнью? У васъ есть опредѣленное занятіе, которое составляетъ цѣль жизни, которое постоянно поглощаетъ всѣ ваши труды, заботы и симпатіи?

Она вдругъ покраснѣла. Ей почудилось въ его словахъ готовое сорваться съ языка его признаніе.

— Нѣтъ...—сказала она нерѣшительно,—какое же занятіе?.. Я не знаю... Я живу, какъ всѣ живутъ.

— Ну... Да... Вы живете, какъ живутъ десятки, сотни тысячъ нашихъ барышень... Не зная и не понимая ни тяготъ жизни, ни великаго значенія человѣческаго труда.—Онъ помолчалъ немного, а она ждала разъясненія того, что онъ сказалъ...

— Я, Любовь Петровна, пріѣхалъ сюда трудиться, чтобы быть полезнымъ своимъ трудомъ людямъ—именно тѣмъ людямъ, которые работаютъ для насъ... для нашего благополучія и наслажденія... Ну, однимъ словомъ, для нашихъ крѣпостныхъ... Я здѣсь кое-что уже сдѣлалъ... очень немного,—поспѣшилъ онъ прибавить и тѣмъ успокоить свою совѣсть, которая громко подсказала ему, что онъ ничего еще не сдѣлалъ.—Я думаю, что каждый человѣкъ обязанъ трудиться... работать, чтобы больше знать... и знаніями своими быть полезнымъ, быть необходимымъ людямъ...

— Ахъ... Послушайте!—вскричала она, быстро останавливаясь передъ нимъ и всплеснувъ руками.—Какія же мои знанія и тѣмъ я могу быть полезной... другимъ, окружающимъ меня?.. Я желала бы, очень желала бы, но не могу... у меня нѣтъ умѣнья... Вотъ... помогать мамѣ я могу: когда въ нашу больницу при-

везуть какового-нибудь трудно-больного, за которымъ ухаживаетъ мама, то и я помогаю ей.

— Такъ у васъ есть больница?! — удивился Толкуновъ.

— Какъ же? А вы не знали? Третьяго года построили, и очень хорошая больница... Она — тамъ... за садомъ, недалеко отъ церкви, и отъ дома у насъ проведенъ троттуаръ къ ней, — знаете, чтобы мамѣ негрязно было ходить... Вѣдь осенью у насъ бываетъ большая грязь, въ особенности на площади передъ церковью... Только, знаете ли... Мнѣ иногда лѣнь бываетъ ходить въ нее... Прости меня, Господи! — и она перекрестилась. — Если есть трудные больные, ну, тогда уже идешь... Въ особенности утромъ... иногда тяжело бываетъ вставать... А надо...

— Вы чередовались бы съ Вѣрой Александровной...

Она съ удивленіемъ посмотрѣла на него.

— Съ Вѣрой?.. — переспросила она, и махнула рукою. — Знаете ли?.. Можетъ быть, это и не хорошо, что я выдаю ея секреты... Но вѣдь вы никому этого не скажете... Не правда ли?.. — И она пристально посмотрѣла на него своими ясными дѣтскими глазами и подумала: „Господи! какой онъ хорошенькій... въ этой шляпѣ!“ А онъ также любовался на нее и думалъ: „Какъ она прелестна въ ея дѣтской, нетронутой простотѣ!.. И почему же эта глупая простота такъ намъ нравится — эта не думающая и не умѣющая думать наивность, почему она такъ идетъ къ извѣстнымъ натурамъ и возвышаетъ ихъ красоту?“

— У Вѣры, знаете ли, — продолжала Люба, — совсѣмъ другія мнѣнія и другой взглядъ. Она думаетъ: если человѣкъ поставленъ судьбой выше другихъ по образованію, по уму... то онъ не долженъ спускаться... онъ долженъ работать на своемъ мѣстѣ, въ своей средѣ... Я не знаю, какъ это выразить, но вы меня понимаете?.. Не правда ли?.. Она говоритъ, что каждый человѣкъ на его мѣстѣ можетъ и долженъ приносить пользу: крестьянинъ — пахать... ученый — учить и просвѣщать другихъ, двигать науку... Каждый долженъ быть полезенъ въ своей сферѣ... Она даже приводила текстъ изъ апостольскихъ посланій... — Люба силилась и не могла припомнить текстъ... А его тяготила досада. „Всѣ они лѣзутъ въ Домострой... — думалъ Толкуновъ: — все это съ древнихъ временъ одно и то же, одно и то же... Догматическая этика, и чего я добиваюсь отъ нея... А какъ хороша она... Ангельски хороша!“

— Оставьте это въ покоѣ, Любовь Петровна! — сказалъ онъ. — Есть другія указанія, — указанія самой жизни, которыя приводятъ каждого думающаго человѣка къ убѣжденію, что необходимо прежде всего изучить то, что служить почвой, социаль-

наго вопроса... Вы вѣроятно не знаете... не слышали, что есть книга Тенгоборскаго: „Les forces productives de la Russie“?

— Нѣтъ... Не слыхала...—призналась скромно Люба.

— И есть этюды тоже одного очень умнаго человѣка, француза, Le Plai, подѣ названіемъ: „Les ouvriers eugoréens, les ouvriers d'Ougal“—вотъ съ чего надо начинать работу... Съ изученія почвы...

Но она не понимала и смотрѣла на него пристально своими большими, ясными глазами...

— Вы понимаете... Намъ нужно знать, какъ работаетъ нашъ народъ, наше коренное населеніе... Намъ нужно прежде всего знать весь обиходъ его домашняго хозяйства...—И вдругъ при этихъ словахъ у него явилась мысль: „А чтѣ, если она возьмется за ту же работу съ женской, бабьей стороны?.. Вѣдь работа не хитрая... А возни съ ней много“,—и онъ вспомнилъ свои допросы бабамъ.

— Скажите, вамъ никогда не приходилось разспрашивать вашихъ крѣпостныхъ бабъ объ ихъ домашнемъ хозяйствѣ, на-примѣръ: сколько каждая въ годъ нарядетъ пряжи, почему и какъ продать ее и куда?... Или сколько она наткетъ холста?..

— Нѣтъ, никогда...—призналась Люба, и покраснѣла за свое незнаніе: „Какъ это, — подумала она, — мнѣ не приходило это въ голову?“ А Толбуновъ началъ погружать ее въ глубину этого статистическаго вопроса. Онъ высказалъ ей и свои взгляды, и свои методы. И развивая передъ ней свою идею, онъ смутно чувствовалъ, что она становится его помощницей и сообщницей. Ослѣпленный ея молодостью, такой нѣжной и нѣжащей красотой, онъ не думалъ о томъ, въ состояніи ли она выполнить эту сложную задачу, достанетъ ли у нея практическаго умѣнья—добыть у деревенскихъ бабъ то, чтѣ добыть ему самому было крайне трудно. Однимъ словомъ, онъ дѣйствовалъ какъ мальчикъ, въ какомъ-то ослѣпленіи своей мечты, тѣмъ болѣе, что эта мечта являлась ему въ видѣ такого красиваго, любящаго образа.

Онъ остался у нихъ обѣдать и уѣхалъ домой довольно поздно. Онъ уже не думалъ, что праздно потерялъ свое время. Напротивъ, онъ чувствовалъ себя гораздо спокойнѣе и крѣпче, чувствовалъ, что онъ не одинъ, что у него есть помощники. Правда, Вѣра встрѣтила эту идею довольно холодно и даже враждебно.

— Предоставьте имъ самимъ, — говорила она, — справляться съ ихъ нуждами и потребностями. Повѣрьте, что ни тѣ, ни другіе нисколько не привноровлены къ нашей цивилизованной жизни—а вѣдь вы будете мѣрять вашей мѣркой, на вашъ аршинъ...

Правильно ли это будетъ, или нѣтъ?..—Это было сказано въ столовой, передъ обѣдомъ, и эта мысль поразила Толкунова. Никогда она не представлялась ему такъ просто и ясно. „Въ самомъ дѣлѣ,—подумалъ онъ,—если тамъ, въ крестьянской жизни, есть свои условія, свои законы, свои потребности, болѣе разумныя, то слѣдуетъ ли ихъ ломать, измѣнять — для того, чтобы ввести ихъ въ нашу цивилизованную жизнь, въ которой ничто не держится на правилѣ: *plus être que paraître*“. И онъ съ удивленнымъ и даже какимъ-то благоговѣйнымъ чувствомъ посмотрѣлъ на Вѣру. Она открывала ему совершенно новый взглядъ — безотносительный и, можетъ быть, глубоко вѣрный. „Какая же, однако, у нея ума палата!“ — подумалъ онъ.

XVII.

Когда, уже довольно поздно вечеромъ, Толкуновъ ѣхалъ домой, то всѣ разговоры дня проходили въ его умѣ. Онъ любовался чистымъ дѣтскимъ образомъ Любы и удивлялся уму Вѣры. Въ первый разъ, по возвращеніи изъ-за границы, онъ былъ доволенъ проведеннымъ днемъ. Онъ чувствовалъ, что дѣло его было, что онъ теперь будетъ работать не одинъ. Радостно смотрѣлъ онъ кругомъ на потемнѣвшія, какъ бы заснувшія поля, затянутыя сѣрой дымкой. Все ему теперь казалось близкимъ и возможнымъ. И такъ одобрительно мигала первая яркая звѣзда, горѣвшая на ясномъ, ярко-оранжевомъ полотнѣ вечерней зари — точно бриліантовый огонекъ или звѣздочка далекаго фейерверка. И странно казалось ему, что, вспоминая о Вѣрѣ, въ его сердцѣ ничего не шевелилось, не просыпалось — кромѣ глубокаго удивленія къ ея уму;—тогда какъ достаточно было ему вспомнить одно имя Любы, чтобы въ душѣ его, тамъ, гдѣ-то изъ сердечной глубины поднялось какое-то родственно-теплое радостное чувство... „Точно она мнѣ сестра“...—подумалъ онъ,—и тутъ же вспомнилъ ея мать, ея любящую ласку, и глубоко вздохнулъ... А шарабанъ уже въѣзжалъ на дворъ.—На крыльцѣ Толкунова встрѣтилъ Мишка.

— А у насъ, Владиміръ Лизарычъ, гость-съ...

— Кто такой?—удивился Толкуновъ.

— А Ченстоховскій Дмитрій Петровичъ... Они уже легли.

— Да гдѣ же онъ легъ?..—И онъ поспѣшно вошелъ въ комнаты.

На маленькомъ диванчикѣ, подъ коротенькимъ одѣяломъ, вы-

тянувъ длинныя и довольно грязныя ноги, которыя высунулись сверхъ ручки дивана, спалъ Дмитрій Петровичъ Ченстоховскій.

Это былъ товарищъ по гимназiи и старый другъ Толкунова. Они почти росли вмѣстѣ, не разставались, съ четвертаго класса гимназiи. Въ настоящее время Ченстоховскій занималъ мѣсто учителя въ губернской гимназiи. Теперь только Толкуновъ вспомнилъ, какъ онъ горячо желалъ видѣться съ этимъ своимъ старымъ товарищемъ, съ которымъ онъ былъ въ постоянной перепискѣ, вспомнилъ, что онъ забѣжалъ къ нему въ городъ, въ его убогую казенную квартиру въ гимназiи—квартирку изъ двухъ высокихъ и почти пустыхъ комнатъ, которыхъ вся мебель состояла изъ четырехъ плетеныхъ легкихъ стульевъ, простого кухоннаго стола, накрытаго простой черной клеенкой, протертой, изрѣзанной и закапанной чернилами,—высокаго комода, сильно полинявшаго и испарканнаго, и желѣзной кровати, которая въ серединѣ была подперта изломаннымъ старымъ, пустымъ ящикомъ. Квартира была на дворѣ, въ нештукатуренномъ каменномъ трехъ-этажномъ домѣ, который сильно напоминалъ казарму, и вела въ нее одна лѣстница, довольно узкая, съ желѣзными простыми перилами, постоянно грязная и заплесканная, напоминавшая черныя лѣстницы нѣмѣцкихъ петербургскихъ квартиръ.

Толкуновъ остановился передъ спящимъ гостемъ и молча смотрѣлъ на него, раздумывая, разбудить его или нѣтъ?

„Онъ нисколько не измѣнился, не постарѣлъ“,—думалъ Толкуновъ. Желтый, худой, костлявый, съ плохо выбритымъ лицомъ, съ длиннымъ носомъ и длинными темнорусыми волосами и неизмѣнной постоянной насмѣшливой улыбкой на толстыхъ губахъ.

Толкуновъ отвернулся къ Мишкѣ, который держалъ свѣчу и закрывалъ пламя ея рукой, чтобы свѣтъ не попалъ въ глаза Ченстоховскому.

— Тсс-съ! Тише!—сыкнулъ на него Толкуновъ—и началъ тихо, неслышно раздвѣяться и говорить шопотомъ, взглядывая по временамъ на гостя, который глухо похрапывалъ, „А у него доброе выраженiе лица, когда онъ спитъ,“—думалъ Толкуновъ.—Во свѣтъ, кажется, смолкаютъ вражда и всякая насмѣшка“.—Онъ подумалъ о характерѣ Ченстоховскаго, въ которомъ было много, даже черезчуръ много желчнаго осадка жизни. Но, можетъ быть, за это самое и любилъ его Толкуновъ; по правдѣ сказать, онъ нѣсколько боялся его,—боялся его черезчуръ грубой, прямой натуры, и только съ однимъ не могъ помириться—съ его принципомъ: „не переть противъ рожна и дѣйствовать осторожно“.

— Будешь, братъ, бить кулакомъ въ стѣну, ничего не дости-

гнешь!—говорилъ ему Ченстоховскій.—Только кулаки напрасно по пустому обобьешь и грязную стѣну твоей собственной кровью запачкаешь. Нѣтъ, ты со всѣми современными Поприщинными обходишься какъ съ заправскими сумасшедшими чистой 84-ой пробы. Ты говори ему, ракаліи: „вы, ваше превосходительство, или сіятельство, дѣйствительно прензобикуете высокими качествами души и сердца, и я удивляюсь только злобѣ всѣхъ тѣхъ неразумныхъ существъ, которые считаютъ всѣ мѣропріятія, исходящія изъ вашихъ распоряженій, нецѣлесообразными“.

И когда Толкуновъ возмущался такой политикой, и убѣждалъ пріятеля и друга, что это нечестное, безнравственное качество—такимъ образомъ притворяться и устроить, такъ сказать, засаду, то другъ и пріятель прехладнокровно пожималъ плечами и возражалъ:

— Щѣ неразумна дитина! Поживи съ мое, и тогда потолкуемъ.

Онъ былъ семью годами старше Толкунова и много тяжелаго перенесъ въ жизни.

— Я понялъ, наконецъ,—говорилъ онъ,—а на какой конецъ, не знаю,—что такъ дѣйствовать нельзя. Что сила солому ломить, и что тебя сомнута, какъ пить дадутъ...

— А ты дѣйствуй!—возражалъ Толкуновъ.—Тебя сомнута, —другіе встанутъ на мѣсто твое.

— Охъ... Много... Ужасно много этихъ другихъ!.. И попробуй-ка, ихъ погни направо и налево! Они сейчасъ и сдадутъ,—окажется кривизна, и при томъ самая благородная... Естественная и законная... Другъ милый! —выкрикивалъ Ченстоховскій своимъ сердечнымъ голосомъ, уже безъ всякаго желчнаго увлеченія. —Другъ милый, я вѣдь это все испыталъ,—я говорю по горькому, собственнымъ горбомъ испытанному опыту. На словахъ всѣ—за тебя. А на дѣлѣ у всѣхъ руки заболать и хвосты окажутся не въ мѣрку, всѣ хвосты подожмутъ. Вѣрь моей опытности—ала я тебѣ, да и никому не посовѣтую и не желаю.

Впрочемъ, этотъ задушевный, искренній тонъ очень рѣдко захватывалъ Ченстоховскаго. Онъ былъ изъ южныхъ губерній, и даже въ мягкомъ, пѣвучемъ тембрѣ его голоса слышался этотъ симпатичный тонъ. Этотъ добрый голосъ сглаживалъ и смягчалъ его желчныя, горькія и по временамъ грубыя выходки и сентенціи. Онъ вышелъ изъ простыхъ работниковъ, мастеровыхъ; являясь съ учениками уѣзднаго училища и гимназій, онъ уразумѣлъ необходимость просвѣщенія и самъ, при помощи двухъ, трехъ, болѣе толковыхъ товарищей, урывками отъ его тяжелаго

ремесленного труда, приготовился и выдержалъ экзаменъ въ четвертый классъ гимназіи. Судьба улыбнулась ему. Онъ получилъ стипендію и кончилъ гимназическій курсъ съ золотой медалью. Дорога раскрылась передъ нимъ совершенно торная. Онъ недолго задумывался надъ выборомъ факультета. Практическая смѣтка толкала его на факультетъ медицинскій или юридическій, и притомъ на его камеральное отдѣленіе. Онъ даже поступилъ на этотъ послѣдній, но, похаживъ нѣкоторое время на лекціи математическаго факультета, онъ махнулъ рукой и просилъ чтобы его перевели на этотъ факультетъ. „Что же, — подумалъ онъ, — развѣ нельзя пробыть всю жизнь скромнымъ учителемъ математики и не желать лучшаго?“ Но, осуждая себя добровольно и насильно на такое смиреніе, онъ съ однимъ не могъ помириться, — съ его привязанностью къ той средѣ, изъ которой онъ вышелъ. Тамъ было родное, съ дѣтства знакомое. И этотъ запахъ лачужекъ, и грязь и невѣжество чернорабочихъ массъ — все это онъ испыталъ, испробовалъ собственными, мозолистыми руками, вынесъ на собственномъ горбѣ. Зимой онъ любилъ шляться по окраинамъ города и въ разныхъ глухихъ пріютахъ, ресторацияхъ, кабакахъ, портерныхъ и подвалахъ, гдѣ собирался простой народъ, толковать ему, какъ земля движется вокругъ солнца, что называется планетами (а не „планидами“, какъ говорили они, эти простые простецы). Отчего солнце свѣтитъ?.. отчего бываетъ радуга? откуда и отчего вѣтеръ дуетъ? и проч. и проч. Меньшіе братья слушали его; иногда присоединялось къ этой свободной аудиторіи и лицо официальное: какой-нибудь любознательный будочникъ, собиравшій съ этой аудиторіи гроши на „самтретъ“ — бобовый табакъ; или примывалъ къ нимъ отставной палатскій строчила, насилживающій геморрой, уже пятнадцать лѣтъ въ одномъ маленькомъ чинѣ. Тогда было возможно это общеніе и братанье съ простымъ народомъ. Никто не заподозривалъ въ такомъ просвѣтителѣ „подрывателя основъ“ и разрушителя „общественнаго порядка“. Когда онъ надѣлъ гимназическій вицмундиръ, то сразу почувствовалъ, какъ онъ связалъ свою свободу и отдѣлился отъ той аудиторіи, къ которой лежали всѣ его самыя завѣтныя и непреодолимыя симпатіи. Онъ надѣвалъ эту „форму“, какъ онъ называлъ ее, только на службу, а затѣмъ сбрасывалъ и облакался въ удобный демократическій, свободный „спинджакъ“. Но одинъ разъ Толкуновъ затащилъ его въ „дворянскій“ клубъ, и тамъ его „спинджакъ“ между щегольскими бархатными петанлерками произвелъ скандальное, недоумѣвающее впечатлѣніе, — а директоръ гимназіи получилъ отъ

губернатора предписаніе, чтобы учителя гимназій, въ публичныхъ собраніяхъ и театрахъ, являлись въ „формѣ“, присвоенной ихъ должности,—въ простыхъ собраніяхъ въ вицмундирахъ, а въ торжественныхъ—въ мундирахъ и орденахъ. Съ тѣхъ поръ вицмундиръ гимназическій опротивѣлъ ему. „Что же дѣлать,—подумалъ онъ,—если таковъ взглядъ у гг. Поприщинныхъ?!“

Толкуновъ былъ обязанъ Ченстоховскому всѣмъ складомъ своего ума, всѣми своими симпатіями и антипатіями. Они были товарищами по университету. Толкуновъ съ первой же встрѣчи удивился его уму, начитанности и задумался. До тѣхъ поръ онъ былъ „розовымъ помѣщикомъ“, „Немвродомъ“, и ничего не понималъ въ общественномъ строѣ. Ченстоховскій мало-по-малу познакомилъ его съ правильнымъ, безпристрастнымъ отношеніемъ къ истинѣ.

Раздѣвшись, Толкуновъ рѣзко опустился на кровать и задрѣлъ рукавомъ серебряный портъ-сигаръ, лежавшій на столѣ. Портъ-сигаръ со стукомъ и громомъ полетѣлъ на полъ. Ченстоховскій открылъ глаза и, сильно жмурясь, посмотрѣлъ на Толкунова, затѣмъ, съ радостнымъ восклицаніемъ, потянулся и сѣлъ на диванѣ. Толкуновъ бросился къ нему, они обнялись, и Толкуновъ крѣпко, нѣсколько разъ поцѣловалъ его. Ему казалось, что Ченстоховскій такъ же глубоко тронутъ встрѣчей, что онъ такъ же крѣпко прижимаетъ его къ груди, какъ онъ самъ. Онъ не подумалъ, забылъ въ это мгновеніе, что у Ченстоховскаго были чернорабочія, желѣзныя руки. Ему даже показалось, что слезы выступили на его глазахъ, тогда какъ эти слезы радости были на его собственныхъ глазахъ.

— Ну, что, какъ, заграничный шатунъ? — спрашивалъ Ченстоховскій.—Еще не сгнила твоя „Европія“?

— Все расскажу по порядку, — говорил Толкуновъ.—Дай посмотрѣть на тебя. — Ты нисколько не измѣнился... ни точки. Такой же хорошій.

— Чего намъ мѣняться? Каковъ есть, таковъ и есть. Ты про себя расскажи... Какъ ты мѣнялся въ европейской толкотнѣ и суетнѣ? — И Ченстоховскій сѣлъ на диванъ на корточки и закутался одѣяломъ.

— Надоѣла, братъ, эта толкотня!..

— Какъ не надоѣсть... Я думаю, убѣжалъ бы отъ нея въ преисподнія земли...

— Но знаешь ли... Тамъ чувствуешь себя какъ бы взвнеченнымъ... точно въ корсетѣ ходишь... У насъ бѣдность и нужда не бросаются въ глаза, не шевелятъ сердце. А тамъ хотя люди

буквально не умирають съ голода, а все-таки ихъ не въ при-
мѣръ больше жаль, чѣмъ нашего сѣраго, лѣниваго и косолапаго
мужичка!..

— Ну... это ты оставь!.. Это твоя басурманская натура
сказалась. Еслибы ты зналъ нашего...

— Постой, постой!.. — заговорилъ быстро Толкуновъ. — Я
знаю, что ты начнешь говорить... свое излюбленное... что нѣтъ
такого феникса во всей Европѣ, въ цѣломъ свѣтѣ, какъ нашъ
сѣрый мужичокъ.

— Фениксъ не фениксъ, а почище будетъ твоихъ нѣмцевъ,
французовъ и всѣхъ европейцевъ.

— Нѣмцевъ?.. Да. Въ сердечности онъ—куда выше... нѣм-
цевъ; французовъ, итальянцевъ и вообще романской націи и въ
особенности французовъ—нѣтъ!..

— Что же твой французъ—не звѣрь!..

— А нашъ братъ, русскій—не тожь? Припомни кавказскую
войну... Звѣриной натуры больше.

— Зато больше и сердечности. У насъ... Только у насъ
сложилось выраженіе: „душа-человѣкъ“. А у французовъ оно за-
мѣнилось—„ami-cochon“.

— Ну, нѣтъ!

— Ну, да!..

И друзья-пріатели пустились въ безконечный споръ.

— Ты разбери русскаго человѣка,—предлагалъ Ченстохов-
скій. — Разбери его по косточкамъ. Давай, сейчасъ же разберемъ...
Посчитаемъ... у кого больше нравственности. — И друзья приня-
лись „прочищать“ свои взгляды. Они прошли всю первобытную
психологію простаго человѣка, не думая, что это психологія са-
мая сложная, что она гораздо сложнее благовоспитанной, стре-
мящейся къ удовлетворенію собственнаго благоденствія, психоло-
гіи цивилизованнаго городского жителя.

Бѣлый день уже занимался на востокѣ; давно уже Мишка,
забравъ барское платье и не видя конца ихъ спорамъ и раз-
сужденіямъ, ушелъ въ маленькую переднюю и тамъ, разваливъ на
крохотномъ деревянномъ диванчикѣ и подложивъ подъ голову
барское платье, спалъ и храпѣлъ какъ старая москья. Они не
замѣтили, какъ ясное бѣлосоватое утро разлилось по небу, какъ
громогласно пѣтухи встрѣтили его крикливымъ пѣніемъ. Толку-
новъ поминутно надвигался на Ченстоховскаго. Онъ машинально,
для большаго убѣжденія, тыкалъ пальцемъ въ его грудь. А Чен-
стоховскій точно такъ же безсознательно отводилъ его отъ себя,
однимъ движеніемъ желѣзной своей лапы. Головы у обоихъ на-

чали слегка кружиться и болѣть. Безконечный споръ какъ-то гипнотически дѣйствовалъ на Толкунова. Онъ, наконецъ, ничего не видѣлъ, кромѣ блестящихъ, воспаленныхъ темно-сѣрыхъ глазъ Ченстоховскаго и огонька его папиросы. Его собственная папироса гасла, и онъ поминутно зажигалъ ее о папиросу Ченстоховскаго, а тотъ курилъ папиросу за папиросой, вынимая ихъ изъ коробки, которая стояла раскрытая передъ нимъ на столѣикѣ. Наконецъ Толкуновъ первый очнулся и со словами: — Фу, однако, какъ мы накурили, даже синѣ! — быстро всталъ и распахнулъ окно. Утренній свѣжій, ароматный, озонированный воздухъ, вмѣстѣ съ пѣніемъ птицъ и чирканьемъ воробьевъ, ворвался въ небольшую комнату. Друзья улеглись и, зѣвая оглядывали комнату, гдѣ кружилъ синеватый слой дыма, на своихъ постеляхъ еще немного поспорили, но это была уже послѣдняя вспышка тѣхъ зарядовъ, которыми они были наэлектризованы, когда бодро и свѣжо принялись ломать копыя.

На другой день Толкуновъ посвятилъ своего друга во всѣ свои тайны и только остановился передъ своими чувствами къ Любѣ; хотя и являлись поводы къ признанію, но каждый разъ, какъ это признаніе готово было сорваться съ языка, Толкуновъ невольно останавливался. Дѣло въ томъ, что онъ самъ не умѣлъ дать себѣ отчета о своихъ чувствахъ. Но признаніе вылетѣло невольно, какъ-то само собой.

Утромъ оба пріятеля ѣздили въ какую-то лѣсную трущобу, посмотрѣть лѣса на Камѣ, позавтракали въ лѣсу, съѣли двѣ плошки простокваши, которая нашлась у семьи лѣсника; затѣмъ проѣхали въ эти закамскіе луга.

— Этакая масса сѣна!—восторгался Ченстоховскій.—Какъ бы намъ въ Могилевѣ хоть бы немного...

— Знаешь ли, — сказалъ Толкуновъ, — у насъ его некуда дѣвать.

— Какъ некуда дѣвать?

— Такъ... Его на поташъ жгутъ. На стеклянныхъ заводахъ.

— Т-с-с!...—покачалъ головой Ченстоховскій.—А все оттого, что не устроено хозяйство. Гдѣ здѣсь скотный дворъ, фольварекъ въ порядкѣ? Конскихъ заводовъ—этой роскоши и барской прихоти—найдешь довольно. А скотоводства, правильно устроеннаго, нигдѣ не найдешь... Вашъ братъ, закамскій помѣщикъ, не знаетъ, что земледѣліе и скотоводство — два родныхъ брата, которые другъ безъ друга жить не могутъ.

— Нѣтъ, вотъ богатые помѣщики, тѣ думаютъ объ этомъ.

Вотъ наши сосѣди Драевскіе—у нихъ порядочный скотный дворъ, головъ сотня будетъ.

— Что же дѣлають съ молокомъ?

— Бьютъ масло и продають.

— И только... Э, э!.. Масло даетъ 30⁰/₀, а сыроварня даетъ 50—60⁰/₀, только похлопочи немного.

Въ это время толпа женщинъ показалаь изъ-за кустовъ. Онѣ возвращались съ покоса. Ихъ красныя и желтыя платья ярко блестѣли на солнцѣ и выдѣлялись на зелени луговъ.

— Вотъ это—самая трудная вещь!—сказалъ Толкуновъ.

— Что такое?.. Баба-то—дѣйствительно трудная... Это надо спросить твоего родителя...

— Нѣтъ, я не о томъ говорю. Я говорю, какъ трудно собирать отъ нихъ свѣдѣнія. Путають, тараторять. Спрашиваешь объ одномъ,—отвѣчаютъ совсѣмъ о другомъ. Наводишь, наводишь, плюнешь и отойдешь. Я уже просилъ барышень Драевскихъ, чтобы онѣ помогли.

— Ну, барышни, не знаю, могутъ ли помочь тебѣ! Онѣ годятся только на то, чтобы быть барышнями. Вотъ въ игрушечной лавкѣ посмотри, сколько куколъ, и всѣ онѣ только и созданы на то, чтобы быть куклами.

— Нѣтъ, ты этого не говори! — перебилъ Толкуновъ.—Ты посмотрѣлъ бы, какая это умница—Вѣра... А другая...—Толкуновъ вдругъ замолчалъ и задумался.

— Что же—другая?..

— Знаешь ли, мнѣ она представляется въ родѣ бутона... весенней почкой какого-нибудь цвѣтка... Бѣлая, розовая, чистая... далекая отъ всѣхъ нашихъ грязныхъ житейскихъ помысловъ. Точно свѣжій, зеленый ростокъ, что вышелъ изъ земли и готовъ что-то принести... чему-то радуется.

— Да ты влюбленъ, что-ли, въ нее?

— Ахъ! Влюбленъ?.. Что значить „влюбленъ“?.. Симпатична она. Вотъ что!

— Какъ симпатична? Чѣмъ симпатична? Умомъ и сердцемъ?—Это я понимаю. А красивенькая да смазливенькая мордочка—только показываетъ твои инстинкты, и больше ничего.

— Ну, какой ты... грязный!.. У меня, при взглядѣ на нее, никакая нечистая мысль не шевелится.

— Да развѣ ты это можешь узнать, почувствовать?.. Нечистой мысли! Просто тебя тянетъ... Ты и не знаешь, что она тутъ. А она тутъ, въ ерви, и представляется тебѣ то росткомъ, то бутонкомъ. Я, впрочемъ, нисколько не желаю расхолаживать

тебя въ твоихъ матримоніальныхъ стремленіяхъ. Тебѣ, по всему, полагается быть женатымъ, солиднымъ помѣщикомъ. Чтò хорошаго, какъ я, одинокій горемыка, мірской бобыль! Тянешь лямку жизни, и все думаешь: да когда же конецъ этой чепухѣ? Право... — И онъ замолчалъ. А у Толкунова розовыя мечты, сами собой, робко и ласково заструились въ проснувшемся сердцѣ. Нѣсколько времени друзья ѣхали молча; каждый погружался въ свои собственные думы. „Да,—думалъ Ченстоховскій, — только попусти немного, такъ тебя сейчасъ же бабы и накроютъ юбкой, и начнешь мечтать о цвѣтахъ и бутонахъ“.

Вечеръ затихалъ. Чуть-чуть откуда-то, издалека, доносились звуки еще неуглешейся дневной жизни. И уже на смѣну имъ начинали робко, крадучись, выдвигаться ночные, отрывочные, нестройные крики и шумы. Сильнѣе въ вечернемъ воздухѣ запахло свѣже-скошеннымъ сѣномъ, донникомъ и всякими луговыми травами и цвѣтами. Тихо, незамѣтно спускались сумерки и розовая заря на чутько засыпавшую луговину. „Человѣкъ долженъ отдать юности свои юныя силы,—думалъ Толкуновъ. — Таковъ законъ природы. Въ физической любви нѣтъ ничего гадкаго; это мы, люди, выдумали грязь и цинизмъ. Юность каждаго должна быть освящена ветхозавѣтнымъ бракомъ. Каждый долженъ принести на алтарь Гименея свою лепту, смотря по силамъ собственнаго сердца. Пройдетъ любовь—останется тихая, милая привычка жить вдвоемъ съ добрымъ существомъ, кроткимъ и ласковымъ. Да... Необходимо только именно, чтобы это существо было кротко и ласково“.

Поздно вечеромъ, уже въ десять часовъ, друзья-пріатели вернулись домой.

XVIII.

На другой день Толкуновъ-сынъ всталъ поздно. Работа его не клеилась. Писаніе шло ужасно вяло и туго. Онъ отложилъ его въ сторону, принялся за рисовку, но принужденъ былъ оставить. Связь всякую работу ему неотвязно представлялся образъ милой, наивно-ребяческой головки.

— Чтò за чудеса!.. Неужели я плѣненъ?.. Просто съ дуру ребячьи грѣзы въ голову лѣзутъ.

Дѣло кончилось тѣмъ, что онъ велѣлъ заложить долгушку и отправился къ Драевскимъ.

— А-а... Вотъ это мило!—закричала Люба.—А мы только что объ васъ говорили, и лѣвая бровь у меня чесалась, право.

— По поводу чего же вы вспомнили обо мнѣ?..—спросилъ Толкуновъ, пожимая руки Любы и Вѣры.—А Ольга Андреевна дома?

— Мама спитъ,—проговорила Люба шопотомъ:—цѣлую ночь не спала, возилась съ больной Акулиной.

— Акулина?.. Акулина?.. Кто это? — допрашивалъ Толкуновъ, усѣвшись на плетеномъ стулѣ. Всѣ сидѣли на балконѣ.

— Какъ, развѣ вы уже забыли?.. „Акулина Савишна, не вчерашня, давшня“?..—И Толкуновъ тотчасъ жѣ вспомнилъ старушку-ключницу, сгорбленную, повязанную большимъ пестрымъ платкомъ, старушку небольшого роста, подъ пару Ольгѣ Андреевнѣ, съ такими же или еще болѣе добрыми, кроткими глазами. Въ дѣтствѣ онъ и Люба нерѣдко забирались къ ней въ кладовую и вдоволь наѣдались всего: моченыхъ яблокъ и брусники, вологодскихъ орѣховъ, миндаля, коринки, сладкаго горошку; это была цѣлая лавка съ разными припасами. Подъ главнымъ наблюденіемъ Акулины Савишны было и молочное хозяйство: запасы молока, сливокъ и простокваши. Она никакъ не могла помириться съ тѣмъ, чтобы простокваша была вчерашняя—у нея всякая простокваша была „третьеводнишняя“ или „давшняя“. Отсюда и названіе ея „Акулина Савишна не вчерашня, давшня“.

— Что же приключилось съ нашей добрѣйшей Акулиной Савишной?—спросилъ Толкуновъ.

— Да, вѣрно, простудилась, — сказала Люба.—Вчера, вы знаете, былъ очень жаркій день. Она цѣлое утро все вертѣлась около жаровни—варенье варила, вся разжарилась, раскраснѣлась, и выпила чуть не цѣлый жбанъ квасу со льдомъ... Ну, и свалилась... Цѣлую ночь не спала... Жаръ съ ней сдѣлался... Сегодня только утромъ стало немного лучше.

Вѣра прилежно читала какую-то книгу.

— Вѣра!.. Да брось! — вскричала Люба. — Точно утка въ воду носомъ уткнулась... Несносная!..

— Чтò это вы читаете?—полюбопытствовалъ Толкуновъ.

— „Méditations“, Шатобриана.

— Но вѣдь это ужасно скучно!..

— Безъ дѣла еще скучнѣе,—и она пристально посмотрѣла на него долгимъ, скучающимъ взглядомъ.

— Владиміръ Элизарычъ!—вскричала Люба:—пойдемте въ садъ... На прудъ... покатаемтесь... До обѣда еще долго... Вѣра...

— Идите,—сказала Вѣра.—Я сейчасъ приду, только докончу двѣ-три страницы,—и она перелистывала эти страницы. Люба взяла зонтикъ, стоявшій тутъ же въ углу, и быстро спу-

стилась съ лѣстницы. Толкуновъ двинулся за ней. Они молча прошли аллею изъ клёновъ и вошли подъ тѣнь вѣковыхъ липъ.

— Здѣсь у насъ тѣнь и аромать, липы начинаютъ цвѣсти,— сказала Люба.

Толкуновъ пристально посмотрѣлъ на нее. Липы, дѣйствительно, издавали аромать и какъ-то нѣжно благоухали.

Одна мысль, одно рѣшеніе быстро мелькнуло въ головѣ и сердцѣ его. Ему представилась жизнь его какимъ-то безцѣльнымъ, недоконченнымъ существованіемъ. Онъ вдругъ ясно почувствовалъ свое одиночество и свою беспомощность. Точно сѣрая мгла покрыла все, что онъ думалъ, чувствовалъ и дѣлалъ. А свѣтъ былъ здѣсь, онъ это ясно сознавалъ. Этотъ свѣтъ стоялъ тутъ, среди этихъ цвѣтущихъ липъ, въ видѣ расцвѣтающей розовой дѣвушки, которая не только можетъ освѣтить, но и согрѣеть, какъ тихая, ровная, покойная лампада, всѣ его планы, надежды, порыванья, исканія истины и больше и прежде всего исканіе тихаго пристанища, семейнаго очага. Все это быстро, въ какой-то картинѣ или панорамѣ, мелькнуло въ его возбужденномъ представленіи, и онъ громко и серьезно сказалъ:

— Любовь Петровна!..

Она съ удивленіемъ взглянула на него.

— Любовь Петровна... Вы были другомъ моего дѣтства—хотите ли вы быть моимъ другомъ на всю жизнь? Хотите ли вы быть моей женой?..—И онъ протянулъ къ ней руку. Она торопливо схватила эту руку и стиснула ее. Краска густо залила ея лицо, слезы выступили у нея на глазахъ...

— Да! — сказала она тихо, но рѣшительно, пожимая его руку.—Только я прежде маму спрошу,—и она улыбнулась, выдернула у него руку и бросилась бѣжать безъ оглядки на балконъ.

Все это произошло какъ-то быстро, неожиданно, такъ что Толкуновъ пришелъ въ недоумѣніе. Но это недоумѣніе продолжалось одно мгновеніе, и вслѣдъ за нимъ сердце усиленно забилося, и радость, жгучая, безграничная, охватила все существо его. Онъ взглянулъ на ясное небо, по которому тихо плыли серебристыя облачка, и точно и ясно почувствовалъ всѣмъ сердцемъ, что это небо стало какъ-то ближе къ нему.

Тихо, задумчиво онъ прошелъ къ дому. Со ступеней балкона сходила Вѣра.

— Что такое случилось?—спросила она Толкунова.—Куда пробѣжала Люба, какъ сумасшедшая?..

Толкуновъ не вдругъ отвѣтилъ. Онъ пристально, улыбаясь, посмотрѣлъ на Вѣру и тихо сказалъ:

— Я сдѣлалъ предложеніе Любовь Петровнѣ, и она приняла его.

Вѣра слегка покраснѣла.

— Вотъ какъ!.. Поздравляю!.. — Она задумчиво протянула ему руку. — Я глубоко вѣрю, — сказала она, — что за вами она будетъ счастлива... Вы будете любить ее.

Онъ крѣпко пожалъ ее руку и поблагодарилъ за эту вѣру. Потомъ оба задумчиво пошли по аллеѣ.

— Она еще совершенный ребенокъ, — охарактеризовала ее Вѣра. — Съ дѣтскими сердцемъ, дѣтскими поятіями и... вѣрованіями... Любя ее, изъ нея можно сдѣлать, что угодно...

Они почти дошли до липовой аллеи. Изъ дома раздался голосъ Любы.

— Владиміръ Элизарычъ... Владиміръ Элизарычъ!.. Идите сюда!.. Скорѣе! скорѣе!.. — И она появилась на балконѣ.

Толкуновъ быстро повернулся и пошелъ къ дому.

— Сюда! сюда! — звала Люба: — на верхъ, къ мамѣ!

И она повернулась и быстро исчезла.

XIX.

На верхъ вела почти прямая, широкая дубовая лѣстница съ отлогими, плоскими ступенями, устланными коврикомъ и поломкомъ и съ рѣзными дубовыми перилами. Она вела на антресоли, которыя были на задней половинѣ дома. Тамъ была небольшая комната, надъ прежней спальней; эту комнату заняла Ольга Андреевна послѣ смерти Петра Онисимовича. Сама же спальня была большая комната, роскошно меблированная, съ широкой парадной кроватью, съ полковыми занавѣсами и кистями, занимавшая всю середину комнаты. Въ ней былъ вызолоченный умывальникъ, выписанный изъ Саксоніи, огромное трюмо, пузатый комодъ и шифоньерка, довольно покойная кушетка, хотя далеко не такая мягкая, какъ нынѣшніе, пружинные пуфы и козетки; все было въ строгомъ стилѣ Empire. Когда Люба взбѣжала наверхъ, въ комнату, гдѣ спала Ольга Андреевна, то она, не помня себя отъ радости и плохо сознавая, что она дѣлаетъ, бросилась съ разбѣгу на Ольгу Андреевну и начала цѣловать ея лицо, глаза и руки.

— Что ты?.. Что съ тобой?.. Что ты?.. Что случилось?.. — допрашивала Ольга Андреевна, вскочивъ со сна и не понимая, что значитъ эта радость, эти поцѣлуи и слезы...

— Мама!.. Онъ мнѣ сдѣлалъ предложеніе...

— Кто онъ?

— Да Владиміръ Элизаровичъ... Володя... Водя...

Водя было имя, которымъ звала Люба Толкунова во время дѣтства.

— Да постой... Не цѣлуй же меня. Дай мнѣ опомниться... — И она съ трудомъ поднялась съ постели и протерла глаза. Постель, на которой она спала, былъ очень жесткій и плоскій тюфячокъ, посланный на маленькой желѣзной кровати. — Постой!.. — повторяла она и, взявъ ее за обѣ руки, посмотрѣла на нее долгимъ, пристальнымъ взглядомъ, точно хотѣла проникнуть ей въ сердце и взглянуть въ судьбу ея. На глазахъ у нея навернулись слезы. Ей жаль было разстаться съ дочерью, которая составляла ея единственную привязанность къ жизни. — Постой же, Люба... Это такъ нельзя... Давай, помолимся Господу... Отъ Него все зависить. — И она спустилась съ постели и, не выпуская изъ своей руки руку Любы, подошла въ углу къ кіоту и опустила на колѣни. Люба опустилась подлѣ нея. Кіотъ былъ большой, весь уставленный старинными образами въ дорогихъ ризахъ. Передъ образомъ Спасителя въ серединѣ горѣла неугасимая лампада.

— Господи! Милосердый Отецъ нашъ! Иже еси на небесахъ! — начала Ольга Андреевна и поклонилась въ землю. Слезы потекли у нея изъ глазъ. — Ты, Господи, все вѣдаешь и все устрояешь... Промыслитель нашъ Великій... Устрой, Господи, и союзъ сей на благо и счастье ихъ, рабовъ Твоихъ, Владиміра и Любы. Если же союзъ сей противенъ Твоей святой волѣ, то положи препону ему, и да будетъ воля Твоя святая надъ нами грѣшными всегда, нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ. Аминь.

Торжественность молитвы и положенія умилила Любу, и у нея также побѣжали слезы изъ глазъ. Поднявшись съ колѣнъ, она еще разъ крѣпко поцѣловала мать и тотчасъ же спросила:

— Ну, теперь, мама, можно его позвать сюда?

— Какъ сюда! — удивилась Ольга Андреевна: — я сойду внизъ, только переодѣнусь... Пошли ко мнѣ Василису.

— Нѣтъ, мама.... Нѣтъ... не надо, не надо переодѣваться... Онъ не осудить, не долженъ осуждать... Пусть онъ здѣсь также помолится, и ты его благослови...

— Какъ же благословить до обрученія?.. Что ты, Богъ съ тобой!..

Но Люба уже не слушала, что ей говорятъ; она опрометью бросилась внизъ, стремглавъ сбѣжала съ лѣстницы и закричала:

— Владиміръ Элизарычъ!.. Володя!.. Сюда!.. сюда!..

Толкуновъ бросился на ея голосъ.

— Идите сюда!—позвала его Люба:—мама зоветъ васъ...

Съ замираніемъ сердца онъ вошелъ на лѣстницу и затѣмъ въ спальню Ольги Андреевны.

Она стояла на порогѣ и первая заговорила:

— Вотъ, Владиміръ Элизарычъ, Люба передала мнѣ ваше предложеніе. Я согласна... Но надо, чтобъ Онъ, милосердый Отецъ нашъ, соизволилъ на это... Помолитесь ему...

И она рѣзко обернулась къ кіоту и стала спать на колѣни. Толкунова озадачила эта сцена. Онъ не вѣрилъ въ обряды. Но сердце его было такъ раскрыто, что онъ, кажется, готовъ былъ помириться со всѣми людскими вѣрованіями. Для него теперь въ цѣломъ мірѣ было только одно лицо, одна она, эта сѣро-розовая Люба. А все остальное было людскія глупости, и онъ тихо опустился на одно колѣно позади Ольги Андреевны, и рядомъ съ нимъ опустилась Люба. Ольга Андреевна повторила свою молитву, затѣмъ поднялась и, взявъ Любу за руку, протянула эту руку къ Толкунову.

— Вотъ вамъ!—сказала она.—Берите ее, если на то есть воля Господня,—и затѣмъ, вынувъ быстро платокъ изъ кармана, закрылась имъ и зарыдала.

— Ольга Андреевна!..—вскричалъ Толкуновъ:—о чемъ же?

— Мама! Милая мама... Вѣдь мы не разстанемся. . Я такъ же буду любить тебя... Крѣпко... крѣпко!..

— Владиміръ Элизарычъ, —проговорила сквозь слезы Ольга Андреевна и отняла платокъ отъ лица. — Вѣдь она... одна у меня... Для нея я жила до сихъ поръ... Возьмете вы ее, и что же у меня останется... Это грѣхъ, я знаю... мой тяжкій грѣхъ! — и она перекрестилась большимъ крестомъ. — Но, Господи!.. Я человѣкъ... Усмири мое сердце... Милосердый!..

— Ольга Андреевна... Зачѣмъ же смотрѣть такъ, какъ будто я отнимаю ее у васъ...

— Нѣтъ... Нѣтъ... Это вѣрно... Не спорьте... Послѣ... послѣ... Я вамъ все это объясню...

— Мама, милая, — прервала ее Люба, цѣлуя ея руки и глаза: — мы не разстанемся съ тобой... Я не покину тебя никогда!.. никогда!.. Вѣдь мы не разстанемся съ мамой, Владиміръ Элизарычъ?..

Ольга Андреевна молча отдавалась ея поцѣлуямъ и пристально, во всѣ глаза смотрѣла на Толкунова, какъ будто хотѣла

увидѣть его сердце, увидѣть, какъ глубока его привязанность къ дорогому ей существу.

XX.

Люба схватила Толкунова подъ-руку и сказала:—Пойдемъ внизъ!.. Скорѣй! скорѣй!.. Помнишь, какъ мы сходили черезъ ступеньку, разъ... два... разъ... два...

И они, смѣясь, сбѣжали съ верху.

— Пойдемъ сюда, въ дѣвичью.

Толкуновъ очень хорошо помнилъ эту дѣвичью — большую комнату, но невысокую, надъ которой были также антресоли, — комнату свѣтлую, съ венеціанскимъ окномъ, въ которой постоянно нѣсколько дѣвушекъ шили, вязали, вышивали въ пальцахъ и плели кружева. Это было настоящее женское царство. Комната выходила на югъ, и солнце весело освѣщало ее сквозь кисейныя шторы. Въ дѣвичьей уже догадались о событіи. Маленькія дѣвчата — Соня и Лиза — уже сообщили, что баринъ, Владиміръ Елизарычъ, женится на барышнѣ, Любовь-Петровнѣ. Всѣ вскочили, какъ только появились Толкуновъ и Люба.

Впереди всѣхъ стояла няня-старуха Акулина Степановна. Какъ только Толкуновъ и Люба подошли къ ней, она отбросила на столъ шерстяной чулокъ, который вязала, и схватила Любу обѣими руками.

— Матушка моя, родная! — заголосила она, цѣлуя ее: — вскормленница моя, воспитанница ненаглядная!..

Няня была изъ простыхъ крѣпостныхъ бабъ. Высокая, стройная, красивая женщина — она двадцати-трехъ лѣтъ вышла замужъ за одного крестьянина на той же деревнѣ. Крестьянинъ въ слѣдующемъ году ушелъ въ солдаты, отправился въ походъ и пропалъ безъ вѣсти. Акулина Степановна выпяньчила всѣхъ дѣтей Ольги Андреевны и въ особенности привязалась къ Любѣ.

— Батюшка, Владиміръ Елизарычъ!.. Поздравляю васъ, сударь, совѣтъ да любовь! — и она поклонилась въ поясъ Толкунову.

Въ это время въ дѣвичью вошла Ольга Андреевна.

— Матушка-барыня, ваше превосходительство! — заговорила, обращаясь къ ней, Акулина Степановна. — Поздравляю васъ... Совѣтъ да любовь... Господи!.. — и она обернулась къ образамъ: — Боже ты мой милостивый, пошли имъ всякую благостыню... Вотъ, матушка-барыня, — обратилась она снова къ Ольгѣ Андреевнѣ: — вспомнилось мнѣ теперь. Было ей тогда пятый или шестой годочекъ, а ему, — и она показала на Толкунова, — не болѣе десяти

лѣтъ; забрались это они на верхній прудъ и начали лодку сталкивать... Что же вы думаете, матушки мои, столкнули, всё въ грязи перепачкались, и платицы, и штанишки. Сѣли въ лодку, а съ веслами сладить не могутъ... а ихъ потянуло внизъ-то... и несетъ... „Видишь,—говоритъ наша-то баловница,—видишь, плывемъ, а я на руль буду... И какъ это, матушки мои, святители,—и она перекрестилась,—какъ это они не утонули!?. Заступница святая спасла... Лодку-то, знаешь, такъ завернуло и въ камыши. Тутъ она и застряла... Такъ онъ, матушки мои, слѣзъ, въ воду слѣзъ... И подвелъ лодку-то, а вода ему чуть не по горлышко,—вѣдь вотъ какой былъ отчаянный, а ему еще много-много девятый годокъ-то пошелъ... И все это вмѣстѣ, цѣлый день вмѣстѣ, Вода да Лада, Лада да Вода, только и слышно. Онъ ее „Ладей“ звалъ.

Одна изъ дѣвушекъ, сумрачная, но красивая, стройная, черноволосая брюнетка, Дуняша, плакала и смѣялась севозъ слезы.

— О чемъ же ты плачешь?..—удивилась Люба.

— Какъ же, барышня!.. Богъ вамъ судьбу послалъ. Вѣдь оно трогательно!..

Люба расхохоталась.

Съ той самой минуты, какъ явился Толкуновъ, она, взглянувъ на него, догадалась, зачѣмъ онъ пріѣхалъ. Всѣ послѣдніе дни она мучилась. Тоска, сердцебиеніе, приливы крови, которые бросали ее въ дрожь. „Господи!—думала она.—Неужели я влюбилась въ него?.. Да и что значить влюбиться?.. Не любить человѣкъ, не любить, а вдругъ—бацъ! Полюбить—и все перемѣнится. Вѣдь не любила же я его прежде, когда онъ былъ маленькій, когда мы играли вмѣстѣ... Отчего же теперь вдругъ, теперь онъ сталъ совсѣмъ другой?.. И отчего же мнѣ кажется близкимъ, роднымъ, какъ и тогда?“

За обѣдомъ Толкуновъ и Люба сидѣли рядомъ, и она не только видѣла, а чувствовала его присутствіе. Порой, по временамъ, ей хотѣлось обнять его, какъ родного, но она оборачивалась къ нему—онъ дождаль, обглаживалъ косточку отъ котлетки, и ей вдругъ какъ-то дѣлалось странно и неловко... Она прижималась къ стулу и отодвигалась отъ него.

Послѣ обѣда всѣ прошли на балконъ, и всѣ какъ-то сосредоточенно молчали,—но, очевидно, всѣхъ занимало одно и то же и у всѣхъ было празднично, радостно на сердцѣ.

— Мама,—сказала Люба,—а ты намъ отдашь папинъ кабинетъ и спальню... Въ кабинетѣ онъ будетъ заниматься, работать... а въ спальнѣ мы будемъ спать.

Но, проговоривъ это скороговоркой, она ужасно сконфузилась и покраснѣла.

— Мнѣ отецъ, вѣроятно, отдастъ теперь Пановку, и мы можемъ тамъ устроиться,—сказалъ Толкуновъ.

— Нѣтъ, нѣтъ!—встрепнулась Люба.—Мы обѣщали мамѣ не разставаться... и мы будемъ жить съ мамой, а не то я не хочу и выходить за васъ...—И она быстро вскочила со стула.

— Надо устроиться такъ, какъ Богъ укажетъ,—проговорила сентенціозно Ольга Андреевна,—какими путями Онъ это устроитъ. Вѣдь все, что мы видимъ, все это Его дѣло и Его воля... Я вѣдь, Владиміръ Элизарычъ,.. одно время въ моей жизни... когда я потеряла моего сына...я много думала... объ этихъ вещахъ... и много читала... Я прочла блаженнаго Августина и отца Аву Исаака Сирина; я читала даже Фіоретти—гдѣ собрано все ученіе францисканцевъ, все ученіе учредителя этого нищенствующаго ордена, Франциска изъ Ассизи...

— Вы развѣ знаете по-итальянски?

— Нѣтъ, я не могу говорить, но съ лексикономъ могу читать, и я прочла все это... Я прочла даже откровеніе блаженной Эммерихъ. Вы знаете эти книги?

— Нѣтъ, я никогда не читалъ и не слыхалъ...

— Прочтите. Это очень интересно... Все это я къ тому говорю, что я, насколько могла, воспользовалась для моего сужденія объ этихъ вещахъ разными источниками, и пришла къ заключенію, что, въ сущности, это все равно... Богъ ли католическій, или протестантскій, или нашъ, православный.

— Какъ же?—удивился Толкуновъ.—Вѣдь вы высказываете ужасную ересь...

— А вы въ это вѣруете?—спросила его Ольга Андреевна кратко и тихо.

— Нѣтъ. Не вѣрую. Я вѣрую только въ Бога.

— Въ того Бога, Который разбойника спасъ на крестѣ?—переспросила Ольга Андреевна.

— Да. Именно въ того Бога, Который спасъ даже разбойника.

— Ну. Вотъ это и главное, а остальное все—форма и толкованіе.

— Но въ такомъ случаѣ зачѣмъ же вы молитесь на иконы, на образа?

Ольга Андреевна передвинулась на стулѣ и начала говорить по-французски.

— Premièrement parceque c'est ma religion, — religion de

mon peuple... et chacun, qui existe, doit vivre et mourir dans la croyance de sa nation... Да. Непремѣнно, непремѣнно... и потому... Есть нѣчто, чего мы не знаемъ... Владиміръ Элизарычъ... Есть таинственная сила благодати, которая иногда нисходитъ на неодушевленные предметы, напримѣръ на образа... Surtout sur l'eau bénite... Эта сила низводится молитвой,—простой, но горячей молитвой... отъ всего нашего сердца, отъ нашего всего существа... Я очень хорошо понимаю, что въ духовномъ мірѣ нѣтъ вѣшняго... Но для насъ, pour notre monde matériel et corporel, необходимы переходы, и вотъ эти переходы являются въ чудотворныхъ иконахъ, въ чудотворной водѣ и разныхъ вещахъ, въ которыхъ присутствуетъ сила Бога, напримѣръ въ деревьяхъ.

Толкуновъ слушалъ съ особеннымъ вниманіемъ это толкованіе. Въ первый разъ онъ увидѣлъ, какъ глубоко продуманы и, вѣроятно, прочувствованы эти убѣжденія доброй, простой и скромной старушки, матери его будущей жены... И онъ машинально, тихо сжималъ въ своей рукѣ ручку Любы... Его сердцу было пріятно отдаваться безъ удержу, безъ разсужденій тѣмъ убѣжденіямъ, которыя были и убѣжденія его дорогой Любы... Да, онъ чувствовалъ, какъ она была дорога ему въ эту минуту.

Ольга Андреевна представилась ему теперь совсѣмъ въ другомъ свѣтѣ, и онъ былъ такъ радъ, что она будетъ его матерью. Она не замѣнитъ ему его прежнюю дорогую маму—эту стройную женщину съ добрымъ, милымъ и красивымъ лицомъ,—но она будетъ ему удивительно симпатична... „И, кажется, умна“... подумалъ онъ.

Наступила маленькая пауза.—Пойдите въ садъ!—шепнула ему Люба, и онъ тотчасъ же всталъ и пошелъ за ней.

Они спустились съ балкона, и она повернула къ нему свое радостное, сіяющее лицо.

— Знаете ли, Владиміръ Элизарычъ... теперь для меня все стало другое... все! все!—и она тихо обвела рукой кругомъ.—Теперь точно насталъ какой-то праздникъ, а до сихъ поръ были будни... Я не знаю, какъ это объяснить... я не знаю, понимаете ли вы меня?

И она схватила его руку и сжала въ своей горячей рукѣ.

— Я знаю только, что я люблю васъ, и больше я ничего знать не желаю.

И онъ нѣсколько разъ крѣпко поцѣловалъ ея руку.

— Я нашелъ то, что я долго искалъ, чего до сихъ поръ не доставало мнѣ... Теперь жизнь моя пойдетъ такъ ровно... полная счастьемъ и нашей взаимной любовью.

— Знаете ли,—перебила она его:—мнѣ тоже чего-то не доставало. Вотъ, думаешь, сегодня день пройдетъ такъ себѣ, а завтра непременно будетъ то, чего ожидаешь.

Вечеромъ они уже говорили другъ другу „ты“, и она звала его „мой Вода“,—а онъ звалъ ее „Ладей“. Они оба были убѣждены, что они будутъ счастливы, вполне счастливы въ жизни.

— Надо только любить и быть любимымъ, и будешь счастливъ,—говорилъ Толкуновъ...

— Да! Это точно... это вѣрно!—подтверждала Люба.—Ты вѣдь меня всегда будешь любить?..

— Разумѣется, всегда!.. всегда...—И онъ съ восторгомъ цѣловалъ ея руку и представлялъ, какая она будетъ старухой... Такая же, какъ Ольга Андреевна; но вѣдь онъ любитъ и ее, эту добрую, разсудительную и набожную Ольгу Андреевну.

Вечеромъ они катались на лодкѣ, вмѣстѣ съ Вѣрой. Вечеръ былъ тихій и ясный. Они опять припоминали русскія и малороссійскія пѣсни. Люба была особенно нѣжна съ Вѣрой и нѣсколько разъ принималась цѣловать ее. Она какъ будто стыдилась передъ ней за свое счастье и за свой эгоизмъ.

Поздно вечеромъ они втроемъ еще долго простояли на крыльцѣ, смотря на молодой мѣсяцъ.

— Это твой медовый мѣсяцъ, Люба,—шопотомъ сказала Вѣра.

Люба ничего не отвѣчала. Она была утомлена этимъ чувствомъ, этимъ блаженствомъ, которое нахлынуло въ ея жизнь полной свѣтлой волной. Ея нервы дрожали, она зѣвнула.

— Ну! спать пора!—сказалъ Толкуновъ и поцѣловалъ ея руку. Adieu... до завтра!..—сказалъ онъ, и прибавилъ тихо, расстроеннымъ голосомъ:—Mon ange tutélaire.—Прощайте, Вѣра!—сказалъ онъ, протягивая ей руку,—до свиданья...

Ужъ былъ первый часъ ночи, когда онъ пріѣхалъ домой. Ченстоховскій встрѣтилъ его съ кислой миной.

— Что съ тобой?—освѣдомился Толкуновъ...

— Чего, братъ!.. Съ этой непривычной ѣды... и поганого поила... животы подвело...

— Ну, а отецъ что?—освѣдомился Толкуновъ.

— Что? ничего... тоже возился, маялся съ животомъ... Посылали за однимъ, за другимъ докторомъ... За Немировскимъ.

— А? Это новопріѣзжій... Говорятъ, хорошій докторъ... Онъ—здѣшній помѣщикъ.

— Его не нашли дома.

И Толкунову при этомъ разсказѣ живо представилась эта грязная обстановка домашней жизни, и онъ почувствовалъ къ ней неодолимое отвращеніе, но въ то же самое время его сердце пѣло и радостно, тихо, торжественно и полно билось въ груди.

Говорить ему или не говорить?—подумалъ онъ.—Ну, все равно, узнаетъ отъ кого-нибудь! И тутъ же, повернувъ рѣзко отъ окна, къ которому подходилъ, радостно сказалъ:

— А меня поздравь, я женюсь.

— Вотъ какъ!—встрепенулся Ченстоховскій.— На комъ же?.. На ней?..

— На ней,—признался чуть слышно Толкуновъ.

— Ну, поздравляю. Это—лучшее, что ты избралъ. Давай, поцѣлуемся.

И они при этомъ обнялись и расцѣловались, и оба усѣлись на диванъ рядышкомъ.

— Знаешь ли,—началъ Толкуновъ:—я теперь въ такомъ блаженномъ состояніи, какого я не испытывалъ никогда во всю мою жизнь... И когда только подумаешь, что она на всю жизнь будетъ моей подругой, то такая радость охватываетъ сердце... хочется и плакать, и хохотать. Точно сердце хочетъ вырваться изъ груди... Я ничего не вижу, не слышу и не хочу знать. Хочу только быть вмѣстѣ съ ней... И любить, любить всѣмъ сердцемъ, всей душой... Господи!..—и онъ поспѣшно вскочилъ, чтобы скрыть слезы, которые выступили у него на глаза:— Господи!.. развѣ это волненіе, радостное, великое, развѣ это чувство, проникающее до глубины души—не Его дѣло?!.. Ченстоховскій! Ты вѣришь въ Бога?..

Ченстоховскій, вмѣсто отвѣта, съѣжился, схватился за животъ и проговорилъ кислымъ голосомъ:

— И кто дерзнетъ сказать: я вѣрую! Кто рѣшится сказать: не вѣрую?!..

Но Толкуновъ не слушалъ его. Онъ схватилъ шапку и чуть не бѣгомъ выбѣжалъ въ садъ.

Тишина и покой тихой ночи охватили его со всѣхъ сторонъ. Онъ поднялъ голову, взглянулъ въ самую глубину темнаго, усеяннаго звѣздами неба и мысленно прошепталъ:

— Господи! я вѣрую въ Тебя... я люблю Тебя... я благодарю Тебя—за это чувство и за это счастье.

И онъ долго и тихо ходилъ по одной аллеѣ. Онъ не мечталъ и ничего не обдумывалъ. Онъ только чувствовалъ, что въ груди его все полно какимъ-то радостнымъ, блаженнымъ трепе-

томъ. Онъ чувствовалъ, что тамъ переливаются какія-то волны, и такъ отрадно было сознавать ему это обновленіе жизни.

XXI.

На другой день онъ проспалъ, и не видалъ, какъ поднялся Ченстоховскій и какъ онъ укладывалъ свои вещи въ маленький, плоскій холщевый чемоданчикъ. Онъ проснулся въ то время, когда Ченстоховскій уже завязывалъ ремнемъ крышку этого чемоданчика.

— Какъ, ты укладываешься, уѣзжаешь?..—удивился Толкуновъ.

— А то что же мнѣ киснуть здѣсь?.. Еще, пожалуй, отецъ твой женить меня.

И въ это самое мгновеніе Толкуновъ вспомнилъ о Любѣ. Сердце его облилось радостью. Онъ удивился, какъ это онъ могъ хотя на одно мгновеніе забыть объ этой великой радости. Онъ ничего не отвѣтилъ Ченстоховскому, и началъ вставать. „Сегодня,—подумалъ онъ,—нельзя будетъ ѣхать къ завтраку; надо позавтракать съ отцомъ и переговорить съ нимъ“.

— Ты вѣдь теперь человѣкъ казенный,—началъ Ченстоховскій.

— Какъ, казенный!—удивился Толкуновъ.

— Такъ! Твоя казна—въ сердцѣ и ручкахъ Любовь Петровны. Ты уже закабаленъ и плѣненъ. Что жъ я буду путаться тутъ на твоей дорогѣ!

— Но ты у меня будешь шаферомъ.

Ченстоховскій не вдругъ отвѣтилъ.

— Шаферомъ! Какой же я шаферъ: посѣдѣлый?!..

— Ничего, это придастъ больше солидности моей свадьбѣ.

— Нѣтъ, братъ, въ этотъ обрядъ меня не путай. Я не гошусь ни для какой церемоніи. Да у меня и фрака нѣтъ; а шить для этого не стоитъ.

— Ты надѣнешь вицмундиръ.

— Вотъ-те здравствуй! Что же это будетъ! мундирная свадьба! Нѣтъ, нѣтъ, приглашай другихъ въ твой бомонъ, а меня не трогай. Да.

И Толкуновъ подумалъ: „Надо будетъ Полистовскаго пригласить; а онъ вѣрно обидѣлся,—подумалъ онъ объ Ченстоховскомъ,—что я вчера цѣлый день у Драевскихъ провелъ. Ну, да онъ, впрочемъ, понимаетъ, что это—исключительный случай“.

Уложивъ вещи, Ченстоховскій сейчасъ же хотѣлъ ѣхать, но Толкуновъ съ трудомъ уговорилъ его остаться завтракать.

— Что же ты поѣдешь въ жаръ... дѣхнута въ пылицѣ!..

— Да вѣдь все равно, братъ, я и послѣ завтрака поѣду въ томъ же жару и въ той же пылицѣ. Это не дождь, не проидеть,—возражалъ Ченстоховскій.

Но Толкуновъ категорически заявилъ, что онъ не отпустить его безъ завтрака, что на его душѣ будетъ лежать грѣхъ, что онъ его пустилъ голоднаго.—Да и отецъ будетъ ворчать на меня, что я отпустилъ тебя безъ завтрака,—прибавилъ онъ, и Ченстоховскій остался.

Но отцу въ это время было все равно. Къ завтраку онъ не вышелъ. У него сидѣлъ докторъ, такъ что молодой Толкуновъ и Ченстоховскій позавтракали одни, и въ столовую къ нимъ доносились стоны изъ отцовской спальни.

Проводивъ Ченстоховскаго, молодой Толкуновъ отправился къ отцу. Докторъ уже уѣхалъ, и больной лежалъ одинъ. Онъ лежалъ, въ халатѣ, въ постели, обложенный компрессами и съ опустившимся лицомъ.

— Охъ! Вотъ, подлецы! Опять чего-то подсунули...

— А можетъ быть, ты и самъ виновать?

Толкуновъ-отецъ замахалъ сердито обѣими руками.

— Я тебѣ говорю, чего-то подложили. Это, вѣрно, соя, которая еще отъ прошлаго года осталась. Сколько ему, подлецу, наказывать: выбрось ты совсѣмъ эту гадость!.. Наконецъ, самъ, самъ... при себѣ велѣлъ ее бросить въ печь.

— Такъ вѣдь она сгорѣла!—возразилъ Толкуновъ-сынъ.— Какую же онъ тебѣ подложилъ?

— Ужъ онъ найдетъ, что подложить!.. Это непременно! Такого мошенника поискать по всему свѣту.

— Просто, при твоей болѣзни, не надо позволять себѣ излишества... и, главное, пить шампанское...

— Да все это вздоръ!.. Нѣтъ, просто, мнѣ надо ѣхать въ Карлсбадъ. Печень опять дуритъ—да и почки, того... тоже шалить. Вѣдь я въ прошломъ году не ѣздилъ.

— Ну, что же, и поѣзжай! Только сперва жени меня.

— Какъ?! на комъ же это?

— На Драевской. Вчера я сдѣлалъ предложеніе...

Толкуновъ-отецъ вскочилъ съ постели и вытаращилъ глаза.

— Какъ же это,—не спросясь?

— У кого же я буду спрашиваться? У тебя, что-ли? Что за китайская церемонія!

— Очень радъ. Очень радъ... Давай, поцѣлуй меня!—И Толкуновъ-сынъ брезгливо поцѣловалъ его.

— Поздравляю. Поздравляю. Это—партія очень хорошая... Только что же ты мнѣ ничего не сказалъ?!

— Какъ не сказалъ? Вѣдь вотъ же пришелъ и тебѣ первому сказалъ.

— Да, первому!.. Что же она,—ничего? Вѣдь вы еще дѣтми вмѣстѣ играли, и мать твоя частенько гостила у старушки Драевской. Обѣ были тихія да богомольныя. А партія очень хорошая. Она вѣдь одна у старухи, а имѣнье чистое, незаложенное. Триста душъ въ Базяковѣ, да пятьсотъ въ Ямкинѣ... Надо только тебя отдѣлить теперь. Не знаю, какъ дядя Семенъ Элизарычъ... Ты вотъ у него не былъ до сихъ поръ. А онъ вѣдь, ты знаешь, общалъ, послѣ своей смерти, всѣ пятьсотъ оставить тебѣ. Надо только съѣздить къ нему. Да и у Драевскихъ я давно не былъ. Надо непременно съѣздить.

— Если ты отдѣлишь мнѣ Пановку, то съ меня будетъ и довольно, за глаза.

— Да! да! Отчего же и не отдѣлить? Вѣдь ты у меня одинъ наслѣдникъ.

„Неужели онъ жалѣетъ мнѣ Пановку?“—подумалъ Толкуновъ-сынъ, и вмѣстѣ съ этой мыслью сильное враждебное чувство къ отцу явилось въ его сердцѣ.

— Впрочемъ,—прибавилъ онъ измѣнившимся голосомъ:—если у тебя есть другіе виды и планы, то не стѣсняйся. Драевская предлагаетъ мнѣ поселиться у нихъ въ домѣ.

— Нѣтъ, нѣтъ! Что ты! Какъ можно въ ихъ домѣ! А впрочемъ,—прибавилъ онъ, разводя руками:—устройвайся, какъ тебѣ удобнѣе.—Когда же свадьба?—спросилъ онъ послѣ нѣкотораго молчанія.

— Недѣли черезъ двѣ или три, я думаю. Приданое еще не все готово. Ну, прощай,—сказалъ онъ,—я теперь поѣду къ нимъ!—и онъ отправился къ Драевскимъ.

Н. П. Вагнеръ.



ВЛ. С. СОЛОВЬЕВЪ

КАКЪ

ПУБЛИЦИСТЪ *).

I.

Нельзя не признать, что Философское Общество поступило весьма удачно и цѣлесообразно, раздѣливъ на части совокупность произведений Вл. С. Соловьева по ихъ содержанию и распредѣливъ ихъ для анализа между отдѣльными референтами. Только такимъ образомъ могутъ быть оцѣнены изумительная обширность его знаній и многосторонность его дарованія. Этотъ пріемъ сопряженъ, однако, съ большими затрудненіями. Необходимо представить въ самомъ сжатомъ видѣ не только то, что сдѣлалъ авторъ въ извѣстной области творчества, но и объяснить, почему онъ это такъ, а не иначе сдѣлалъ. Въ каждомъ изъ мысленно выдѣленныхъ и, такъ сказать, отрѣзанныхъ кусковъ его творчества должна сквозить его личность съ ея характерными особенностями. Личность эта была необычайно цѣльная и мало похожая на своихъ современниковъ; она была въ своемъ родѣ *уникатъ*. Своими корнями—задушевніѣйшими вѣрованіями—она напоминала тѣ давно минувшіе вѣка, когда сильнѣе дѣйствовала религія, предвосхищая истину, прежде чѣмъ истина стала доступною знанію и очевидною для разума. Вѣрованія

*) Прочтено въ Философскомъ Обществѣ при слб. университетѣ, 3-го декабря 1900 года.

Соловьева во многомъ совпадали съ вѣрованіями христіанъ первыхъ вѣковъ христіанства. Съ другой стороны, своею вершиною, своими упованіями и стремленіями душа Соловьева забѣгала, такъ сказать, впередъ на многіе вѣка, а можетъ быть, и на многія тысячелѣтія, намѣчая въ этой дали свои желательныя цѣли. Въ обоихъ этихъ отношеніяхъ Вл. С. Соловьевъ былъ лицомъ крупнымъ, великимъ и притомъ такимъ любящимъ и такимъ чистымъ, что многіе смотрѣли на него какъ на святого человѣка. Въ своемъ міросозерцаніи Соловьевъ, какъ философъ, былъ между нами совсѣмъ одинокъ; онъ не имѣлъ, кажется, послѣдователей, не образовалъ секты, не составилъ школы. Его убѣжденія казались современникамъ либо пережитками, либо утопіями. Но всѣ безъ исключенія согласны въ томъ, что онъ былъ первоклассный боецъ въ діалектикѣ, неподобный полемистъ, мастеръ наносить въ состязаніяхъ быстрые, сильные, рѣшительные удары, послѣ которыхъ противникамъ приходилось иногда только замолчать.

Изъ того, что послѣ смерти Вл. С. Соловьева было о немъ написано, видно, какъ мало его понимали даже тѣ, которые дивились его мастерству. Ему ставили на счетъ, какъ недостатокъ, что онъ не причастенъ ни къ какой партіи, что его аргументами пользовались, присвоивая ихъ себѣ, люди разныхъ направленій, что оставалось, будто бы, неизвѣстнымъ, чего онъ хочетъ и чего онъ ждетъ; что истины онъ не искалъ въ душевныхъ мукахъ; что онъ не метался безпокойно, какъ то дѣлаютъ гиганты духа, но былъ отродясь, будто бы, жизнерадостный человѣкъ, веселый и шутливый оптимистъ. Говорили, что Соловьевъ все, что проповѣдывалъ, нашелъ уже готовымъ въ славянофильствѣ; что умъ у него былъ холодный, но необычайно гибкій, что онъ былъ мыслитель-дилеттантъ, сотканный, такъ сказать, изъ противорѣчій; что, проповѣдуя безграничную свободу, онъ былъ въ то же время крутой государственникъ, допускающій законность и войны, и наказанія, то-есть такихъ, будто бы, вещей, которыя стелениваются лбами.—Мнѣ кажется, что я только тогда исполню кое-какъ взятую на себя задачу, когда сопоставлю капитальные труды Соловьева по публицистикѣ, когда ихъ изложу въ сжатомъ видѣ, въ связи съ его умственнымъ складомъ и міросозерцаніемъ, и уясню, что, по его міросозерцанію, вопросамъ, которые его занимали, могла быть дана только такая-то, а не иная постановка, которая должна была привести къ такимъ-то, а не инымъ выводамъ. Пропуская мелочи, я насчитываю только четыре, болѣе крупныя работы Соловьева—публицистическія: „На-

циональный вопрос“, „Византизмъ и Россія“, статьи о неурожаяхъ послѣдняго времени въ связи съ главами „Оправданіа добра“ объ экономическихъ отношеніяхъ народа въ связи съ нравственностью и, наконецъ, предсмертное его сочиненіе—„Три разговора“.

II.

Есть люди, которые, уже при первомъ своемъ появленіи, отличаются характерными качествами своей будущности или профессіи, которые какъ будто бы рождаются военными, артистами, чиновниками, французами, нѣмцами и тому подобными. Владиміръ Сергѣевичъ Соловьевъ былъ изъ числа такихъ людей,—внукъ православнаго священника, сынъ великаго русскаго историка, прирожденный богословъ, славянофилъ, до мозга костей патриотъ, выросшій въ историческомъ гнѣздѣ великорусской національности, унаслѣдовавшій всѣ ея преданія. Родясь патриотомъ, онъ такимъ до конца и остался, неотступно вѣрный своей родинѣ и ея святынѣ. Тайна его непреодолимой, увлекательной силы состояла въ томъ, что безъ измѣны и отступничества, послѣдовательно только дѣйствуя, онъ, по долгу совѣсти, не только разстался съ былыми своими сподвижниками, но и сдѣлался ихъ противникомъ, послѣ чего онъ сталъ по очереди выбивать каждого изъ дружинниковъ этой рати изъ его сѣдла. Онъ не усталъ въ этомъ боѣ, пока не повергъ въ прахъ самого ихъ „зооморфическаго идола“—націонализмъ, къ которому онъ приложилъ клеймо „національнаго кулачества“. Послѣднее проявленіе этого націонализма онъ обозвалъ еще болѣе злою и ѣдкою кличкою—„катковскаго ислама“. Соловьевъ о себѣ замѣчаетъ, что, по словамъ Юрія Самарина, онъ, будто-бы, морочилъ публику своимъ либерализмомъ; что другіе называли его перебѣжчикомъ изъ славянофильскаго лагеря въ западническій, но что это такая же неправда, какъ и то, что онъ, будто бы, протестантъ, римскій католикъ или, наконецъ, іудей. Соловьевъ ставитъ напрямикъ вопросъ: гдѣ же теперь славянофильскій лагерь и его представители? Теперь славянофильство не есть реальная величина. Всѣ сторонники безыдейнаго, стихійнаго націонализма сошлись нынѣ въ наиболѣе яркомъ проявленіи псевдо-національнаго начала: въ антисемитизмѣ. „Вотъ тотъ дѣйствительный лагерь,—говорилъ онъ,—моихъ противниковъ, въ которомъ я никогда не находился, а затѣмъ не могъ нигуда перейти. Конечно, въ старомъ, до-катковскомъ славянофильствѣ были зачатки ку-

лчества, но были и христіанскіе элементы. Куда же они дѣвались? Ужъ не я ли ихъ съ собою перенесъ въ западническій лагерь, гдѣ, впрочемъ, они и безъ меня присутствовали?”

Бросимъ бѣглый взглядъ на это поле, усыпанное мертвыми костями. На первомъ планѣ, въ видѣ большой головы изъ „Руслана и Людмилы“, имѣется Н. Я. Данилевскій, создатель „ползучей“, а не „крылатой“ теоріи русскаго націонализма. Сдвинувъ голову съ мѣста, Соловьевъ заприѣтилъ лежавшій подъ нею нѣмецкій булатъ, подлинникъ нѣмецкаго писателя Гейнриха Рюккерта („Lehrbuch der Weltgeschichte“, 1857), съ котораго скопировалъ Данилевскій даже и свой взглядъ на славяно-православный міръ. На этомъ же полѣ лежатъ: Страховъ, К. Леонтьевъ, Любимовъ, Астафьевъ,—публицисты „Русскаго Вѣстника“ и „Московскихъ Вѣдомостей“, сильно заимствовавшіеся у Жозефа де-Местра; наконецъ, Розановъ, съ „новомосковскимъ“ публицистомъ Львомъ Тихомировымъ. По словамъ Соловьева, Розановъ договорился до того, что объявилъ нетерпимость самымъ существомъ православія („Вѣстн. Европы“, 1894, № 2), а Тихомировъ сочинилъ такіа остроты, которыя Соловьевъ не рѣшается называть софизмами, чтобы не оскорблять памяти Протагора и Горгія. „Есть въ монастыряхъ,—говорилъ Соловьевъ,—такія службы, которыя должны быть исполняемы съ усердіемъ, по долгу послушанія“. По этому долгу, Соловьевъ выметалъ этотъ печатный соръ и мусоръ, которымъ лжепатріоты заваливаютъ въ общественномъ сознаніи насущный вопросъ религіозной свободы.

Подъ перомъ Вл. С. Соловьева складывалась курьезная исторія возникновенія и вырожденія славянофильства, этого „археологическаго либерализма“, который, якобы, нападалъ на Петра Великаго и его реформы, а между тѣмъ боролся, во имя западно-европейскихъ началъ свободы и равноправности, съ историческимъ зломъ своей же московской старины, съ черною неправдою судовъ и съ игомъ рабства, съ тѣмъ, что, по словамъ Ивана Аксакова, „сплошнаго зла стоитъ твердыня,—царить безсмысленная ложь“. Только по своей наивности могъ думать Константинъ Аксаковъ, что „кормленіе воеводъ“ было идеаломъ справедливости, но къ нему и славянофилы относились какъ къ взрослому ребенку. Славянофильство шло еще не дальше вопроса о бородѣ и платьѣ.

Новый фазисъ движенія начался въ пятидесятыхъ годахъ, когда И. В. Кирѣевскій сдѣлался ревностнымъ православнымъ человѣкомъ при видѣ народа, молящагося предъ Иверскою иконою, а обратился онъ въ православіе не потому, что онъ увѣ-

ровать, что икона чудотворная, но потому, что она ему показалась какъ бы намагниченною слезами и мольбами скорбящихъ, съ которыми онъ, какъ истый баринъ, не могъ породниться, какъ бы онъ ни опрашивался, въ ихъ вѣрованіяхъ непосредственныхъ и темныхъ. Въ то же самое время (1853 годъ) Хомяковъ печаталъ за границу брошюры противъ дѣйствительныхъ тогдашнихъ римскаго католичества и протестантства, побивая католиковъ протестантскими доводами, а протестантовъ— римско-католическими; самъ же онъ дѣйствовалъ во имя православія, но не того, какое дѣйствительно есть, со всѣми его слабыми сторонами и недостатками, а съ точки зрѣнія будущаго, какимъ желалъ бы, чтобы оно было, причемъ онъ предлагалъ иновѣрцамъ покидать свои потрескавшіеся храмины и переселиться въ чудный чертогъ, выстроенный имъ въ своемъ воображеніи. Ходъ событій послѣ крымской войны и парижскаго мира 1856 г. позволилъ передовымъ русскимъ людямъ, а въ томъ числѣ и славянофиламъ, вступить въ реальную практическую борьбу съ устарѣлымъ зломъ русской дѣйствительности, притомъ приступить къ этой работѣ не съ гордымъ самомиѣніемъ, но съ самоосужденіемъ и покаяніемъ и во имя западно-европейскаго начала человѣческихъ правъ. Всѣ убѣдились, что даже пораженіе Россіи сноснѣе, нежели тотъ бытъ, въ которомъ они изстари находились. Въ самый моментъ начатія общими силами и славянофиловъ, и западниковъ великихъ реформъ (1855 г.), Константинъ Аксаковъ, въ своей запискѣ, поданной государю, явился выразителемъ политическихъ требованій своихъ единомышленниковъ. Эти скромныя требованія сводились, по мнѣнію Соловьева, почти къ нулю. Аксаковъ утверждалъ, что, по натурѣ народа, нѣтъ въ Россіи притязаній на свободу и права политическія, что безвластный народъ можетъ и долженъ предлагать полномочному правительству, въ силу необходимой ему свободы жизни и духа, только свое мнѣніе, которое можно принять или не принять. Оказывалось, что К. Аксаковъ добивался только права слова, противопоставляемаго имъ правительственному праву *дѣйствія*. Но „слово“ есть понятіе двусмысленное; оно бываетъ частное и публичное. Частное слово не можетъ быть обуздано ни при какомъ режимѣ, а публичное слово есть уже дѣйствіе и притомъ весьма сложное,—значить, правительство можетъ его ограничить. Эта бессодержательная теорія ставилась на подкладкѣ совсѣмъ ложной, вымышленной русской исторіи, все зло выводившей изъ Петра Великаго, его реформъ и бюрократіи, между тѣмъ какъ старый строй былъ представленъ какъ будто бы ува-

жавшимъ свободу жизни и духа и выражаемаго народомъ мнѣніемъ. „Одинъ востеръ протопопа Аввакума“ достаточенъ, по словамъ Соловьева, чтобы освѣтить всю фальшь славянофильской доктрины. Насильственно были измѣняемы правительствомъ мѣстные обряды и исправляемы церковныя книги. Рядомъ съ облачающимъ древній бытъ въ его злѣ фактомъ насильственнаго подавленія раскола стоитъ другой такой же, тщательно замалчиваемый, а именно—крѣпостное право. Очевидное убожество теоріи не показалось съ перваго раза чѣмъ-то поразительнымъ только потому, что на практическомъ поприщѣ отличились своими подвигами по части реформъ другіе, кромѣ К. Аксакова, члены славянофильскаго кружка: Самарины, Ив. Аксаковъ, Кошелевъ и проч. При разборѣ ученія московскихъ пророковъ оказывается, что оно содержитъ въ себѣ смѣсь нижеслѣдующихъ элементовъ: до-петровской археологіи, не доведенной до полной сознательности христіанской морали, наконецъ соціально-политическихъ стремленій передовыхъ людей Запада. Если снять съ ученія шелуху искусственныхъ прикрасъ, то обнаружится настоящее его зерно, а именно преклоненіе передъ татарско-византійскою сущностью мнимо-русскаго идеала. За нимъ и осталась побѣда, когда восторжествовалъ исламъ бывшаго западника Каткова, который онъ проповѣдывалъ въ послѣднія двадцать лѣтъ своей жизни, то есть націонализмъ, какъ слѣпая стихійная сила, какъ обожествленіе народа и государства, въ которомъ правительство есть единственное живое слово обожествленнаго народа. Пока еще дѣйствовали первоначальные славянофилы, у которыхъ были въ ученіяхъ и здоровыя зерна, и гнилыя, Вл. С. Соловьевъ могъ быть съ ними за-одно въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ и вопросахъ; но наступило время, когда, по его словамъ („Національный вопросъ“, 3-е изданіе, стр. 117), славянофильская идея стала предметомъ рыночной торговли, когда она стала чѣмъ-то завывающимъ и хрюкающимъ; тогда-то онъ и вступилъ съ нею въ безпощадный бой. Чтобы оцѣнить значеніе его побѣды и важность ея результатовъ, необходимо взять въ соображеніе и исходную точку полемики Соловьева, и весь планъ предпринятой имъ кампаніи. Это тѣмъ необходимѣе, что большинство людей, радующихся его побѣдѣ, чужды ему по основнымъ его взглядамъ и не раздѣляютъ ихъ; значитъ, они далеко не оцѣниваютъ его дѣятельности по ея дальнобойности и по ея достоинству и заслугамъ.

III.

Намъ, современникамъ, интеллигентнымъ людямъ, вѣротерпимость столь же дорога, какъ и Вл. С. Соловьеву, но по инымъ, чѣмъ у него, мотивамъ. У насъ она неразрывно связана съ полнѣйшимъ свободомысліемъ, съ возможностью вѣрованія или безвѣрія, съ представленіемъ о томъ, что, и отрѣшившись отъ всякой религіозности, всякое лицо можетъ быть вполне нравственнымъ и достойнымъ человекомъ. Классическимъ выраженіемъ начала вѣротерпимости служить донинѣ Натанъ Мудрый Лессинга въ его рѣчи къ тамплиеру:

„Sind Christ und Jude eher Christ und Jude
Als Mensch? Wenn ich einen mehr in Euch
Gefunden hätte, dem es genügt ein Mensch
Zu heissen! ¹⁾“

Сто двадцать лѣтъ прошли съ тѣхъ поръ, какъ написанъ „Натанъ“ (1779). Съ тѣхъ поръ и донинѣ гуманизмъ не одержалъ еще рѣшительныхъ успѣховъ. Нельзя еще сказать, что его убѣжденія господствуютъ. Ихъ будетъ всегда исповѣдывать только тончайшій слой отборнѣйшихъ людей въ обществѣ, людей наиболѣе культурныхъ. Сама по себѣ, культура—вещь превосходная, но только какъ средство къ нравственному совершенству, а не какъ конечная цѣль. Если ее брать съ этой послѣдней точки зрѣнія, то она располагаетъ къ нѣгѣ, къ покою, къ тому, чтобы обходиться въ жизни по возможности безъ Христа, къ постепенному ослабленію между людьми склонности къ религіозному объединенію людей, къ тому, чтобы на землѣ было когда-нибудь одно стадо и одинъ пастырь. Бываютъ философы, какъ, напримѣръ, Гюйо, которые ставятъ вопросъ о существованіи въ будущемъ общества безъ религіи („Irréligion de l'avenir“, 1887) и озабочены приисканіемъ заступающихъ ее суррогатовъ.

Необходимо опредѣлить душевный складъ Вл. С. Соловьева въ главныхъ его чертахъ и указать, чѣмъ онъ особенно отличался отъ другихъ интеллигентныхъ современниковъ въ нашемъ обществѣ.

Соловьевъ былъ не гуманистъ, но только богословъ, весьма начитанный и обладающій всѣми данными положительнаго знанія

¹⁾ Неужели въ христіанинѣ или еврей важнѣе то, что онъ христіанинъ или еврей, нежели то, что онъ и человекъ? О, еслибы я могъ между вами найти хотя бы одного, кто бы довольствовался называться просто человекомъ!

и философіи. Не имѣя духовнаго сана и оставаясь въ свѣтскомъ званіи, онъ былъ усерднѣйшимъ поклонникомъ Богочеловѣка Христа, съ которымъ состоялъ въ духовномъ общеніи и отъ котораго получалъ вдохновеніе добра. Изъ трехъ идей и силъ, присущихъ уму и сердцу человѣка: истина, красота, добро, онъ былъ служителемъ преимущественно послѣдней, то-есть добра, которое онъ отождествлялъ съ Богомъ и которое онъ соединялъ непосредственно съ основнымъ началомъ своего философскаго богословія: *всеединствомъ всего сущаго*. Его служебное подчиненіе добру въ религіозномъ духѣ было строжайшее и радикальнѣйшее, какое только можно себѣ представить. Оно было активное и неудержимо прогрессивное, не допускающее никакой остановки, никакого вѣроисповѣднаго клерикализма, никакого сепаратизма, никакого коснѣнія въ формахъ, выработавшихся въ кристаллизирующейся постепенно старинѣ. Онъ самъ опредѣлялъ задачу своей жизни въ предисловіи къ „Исторіи и будущности теократіи“ (Загребъ, 1887): „оправдать вѣру отцовъ, возведя ее на новую степень разумаго сознанія; показать, какъ эта древняя вѣра, освобожденная отъ оковъ мѣстнаго обособленія и народнаго самолюбія, совпадаетъ съ вѣчною и вселенскою истиною“. Онъ вѣрилъ безусловно во всѣ предсказанія евангельскія, слѣдовательно и въ то, что будетъ *едино стадо и единый пастырь*, въ царствіе Божіе на землѣ. Вся его жизнь прошла въ проповѣдываніи дѣятельной любви и благовolenія, въ склоненіи людей къ созиданію царства Божія на землѣ. Съ графомъ Л. Н. Толстымъ Соловьевъ расходился радикально по вопросу о непротивленіи злу. Онъ проповѣдывалъ борьбу со зломъ, его постепенное ограничиваніе и одолѣніе, причѣмъ представленія его объ этой борьбѣ имѣли нѣкоторый оттънокъ, сближавшій его ученіе съ манихействомъ первыхъ вѣковъ христіанства. Зло для Соловьева не было только недостаткомъ или отсутствіемъ добра и не обрѣталось только въ сознательной волѣ человѣка,—оно было чѣмъ-то объективнымъ и реальнымъ. Что касается до средствъ и способовъ осуществленія задуманной Соловьевымъ вселенской задачи, то въ немъ виденъ не только русскій патриотъ, но и русскій мессіанистъ, такъ какъ задачу объединенія если не всѣхъ христіанскихъ церквей, то двухъ католичества—восточнаго и западнаго, онъ возлагаетъ на русскій народъ. По его понятіямъ, стремленіе всякой группы къ своей личной выгодѣ, къ своему особому, себѣ довлѣющему существованію, къ своему хотя бы и культурному господству—есть только эгоизмъ, смягченный видъ первобытнаго людоѣдства. Онъ любилъ ставить въ

примѣръ такого эгоизма африканскаго дикаря, который опредѣляетъ добро и зло такимъ образомъ: „добро“—когда я отниму у другихъ ихъ стада и ихъ женъ, а „зло“—когда у меня ихъ отнимутъ“. Лучше отказаться отъ эгоистическаго патріотизма, чѣмъ отъ совѣсти. Отъ такого патріотизма освободила насъ кровь Христова, пролитая патріотами въ родѣ Каиафы. Христіанскій путь къ осуществленію вселенской задачи заключается не въ исканіи привилегій, а въ обязанности служенія другимъ, начинающейся съ отреченія отъ своего патріотизма. Русскіе должны такъ точно забыть свое національное православіе, какъ забыли апостолы юдаизмъ, какъ забыли свою национальность арабы, когда распространяли свой безнародный исламъ. Русскій народъ есть по своему призванію народъ теократическій,—не даромъ онъ себя и называетъ: *святая Русь*. Такъ какъ Россія весьма могущественна и сильна, то для нея національный вопросъ не есть вопросъ о существованіи, но только вопросъ о „достойномъ“ существованіи. Русскій народъ двукратно доказалъ свой позывъ къ самоотреченію: когда призвалъ къ себѣ варяговъ, и при Петрѣ Великомъ, когда завелъ у себя западно-европейскую цивилизацію. Только одинъ русскій народъ находится въ такомъ положеніи, что можетъ дать починъ религіозному объединенію, становясь на сверхъисповѣдную, то-есть на вселенскую точку зрѣнія, если не для установленія повсемѣстнаго единства въ вѣрованіяхъ, то по крайней мѣрѣ для прекращенія раскола между двумя католичествами и для образованія—послѣ Рима языческаго и послѣ другого Рима, византійскаго—еще новаго, *третьяго Рима*, то-есть для единенія на основаніяхъ равенства, съ устраненіемъ только исключительности и съ небывалымъ до-толѣ оживленіемъ православной церковной жизни.

Великая цѣль намѣчена Соловьевымъ въ неопредѣленной дали, внѣ связи съ ближайшею дѣйствительностью; самые пути къ этой цѣли оставлены въ темнотѣ. Именно потому, что православная церковь—національная и господствующая, она гораздо слабѣе въ своемъ дѣйствіи, чѣмъ римско-католическая на Западѣ, гдѣ выработалось историческое обособленіе церкви и государства. „Истина вѣры,—говоритъ Соловьевъ („Національный вопросъ“, 1-й выпускъ, стр. 101),—стала исключительно предметомъ благочестиваго охраненія и перестала быть жизненною правдой. Наше охранительство хоронитъ правду, сдаетъ ее на храненіе въ подлежащее вѣдомство („И утвердили гробъ и запечатали камень и поставили стражу“). И вотъ стража начинаетъ пренія съ людьми, ищущими живой правды, и предлагаетъ имъ, вмѣсто

хлѣба, камень официальнаго обличенія, забывая, что у однихъ есть власть, а у другихъ нѣтъ свободы. Притомъ самые духовные пастыри и учителя пасутся жезломъ мірскихъ надзирателей. Подъ броней правительственной опеки наша церковь неуязвима для свободнаго слова. Капиталь ея спрятанъ въ надежномъ мѣстѣ и давно уже не даетъ никакой прибыли. Россіи предстоитъ духовное освобожденіе мнѣнія и мысли, которое гораздо важнѣе гражданскаго освобожденія крестьянъ. Почина со стороны церковной власти невозможно ожидать; починъ этотъ можетъ быть данъ только правительствомъ и, притомъ, только актомъ законодательной власти,—то-есть, тѣмъ путемъ, какимъ шли всѣ реформы съ Петра Великаго.

Свой взглядъ на Петра Великаго и любовь къ нему Соловьевъ заимствовалъ, конечно, не отъ славянофиловъ, но онъ ихъ получилъ по наслѣдству отъ своего отца-историка. Отдѣлившись отъ славянофиловъ по вопросу о личности Петра, онъ и до конца своего остался съ славянофилами за-одно въ своихъ политическихъ убѣжденіяхъ, приверженности къ монархизму, въ признаніи необходимости самодержавія для Россіи, въ полнѣйшемъ своемъ равнодушіи къ западно-европейскимъ идеямъ парламента и конституціонализма. Онъ только не хуже К. Аксакова стоялъ за свободу жизни и духа, за открытое въ публичномъ словѣ выраженіе своего мнѣнія, за безразличіе этого мнѣнія для верховной власти. Въ своемъ „Національномъ вопросѣ“ (стр. 103 и 107) онъ высказывалъ надежду, что въ Россіи выработается русская истинно-національная партія, что выработается и программа національной русской политики, которая будетъ усвоена правительствомъ, какъ была имъ усвоена и идея освобожденія крестьянъ; что первую статью этой программы будетъ освобожденіе русскихъ духовныхъ силъ отъ тяготящихъ надъ ними опеки и зависимости, для усиленія русскаго элемента на окраинахъ. Правительству можетъ и должна быть внушена мысль, послѣ періода національнаго эгоизма и обособленія, начать обратный періодъ *интеграции* раздѣленнаго донынѣ человечества,—иными словами, приступить къ этой новой положительной реформации. Соловьевъ такимъ образомъ заключаетъ свое предисловіе къ 3-му изданію „Національнаго вопроса“ (стр. IX). „Одно знаю навѣрное: если Россія не исполнитъ своего нравственнаго долга, если она не отречется отъ національнаго эгоизма, отъ права силы, и не повѣритъ въ силу права, если она не возжелаетъ искренно и крѣпко духовной свободы и истины,—она не будетъ имѣть прочнаго успѣха ни въ какихъ

дѣлахъ своихъ, ни внѣшнихъ, ни внутреннихъ"... Безъ этой свободы Россія не справится ни съ своимъ внутреннимъ недугомъ—церковнымъ расколомъ, ни съ политическимъ нигилизмомъ, съ его періодическими злодѣяніями, которыя гораздо сильнѣе, чѣмъ думаютъ, связаны съ внѣшнею политикою.

Безъ этой свободы не разрѣшима, по мнѣнію Соловьева, три вопроса, представляющіе собою только разныя историческія формы великаго спора Востока съ Западомъ: *польскій*; *славянскій* и *еврейскій*. Дальнѣйшихъ поясненій о *еврейскомъ* вопросѣ Соловьевъ не предлагаетъ; узелъ этого вопроса относится къ области экономической, которая слабѣ другихъ разработана въ „Оправданіи добра“. Извѣстно только, что Соловьевъ любилъ евреевъ и за нихъ передъ смертью молился. Что касается до *славянъ*, то уже то обстоятельство, что русскіе патріоты называли себя не руссофилами, а славянофилами, указываетъ на то, что они вполне чувствовали свою связь съ славянствомъ и не дали себя поглотить вполне націонализмомъ. Славянское призваніе Россіи они связывали съ ея духовными задачами. Они ошибались только въ томъ, что выдѣляли Россію изъ общаго строя европейской культуры, основывая это выдѣленіе на предполагаемомъ гніеніи, то-есть разложеніи Запада. Если жизнь народовъ опредѣляется ихъ религіей, а судьбы Россіи—православіемъ, то для Запада такое же значеніе имѣетъ римское католичество. Но если на этомъ Западъ есть признаки разложенія, то гдѣ же доказательства, что то, что гніетъ, есть Европа католическая, а не анти-католическая, что отъ міросозерцанія Данте Алигieri лежитъ прямой путь къ міросозерцанію Бюхнера, что св. Францискъ Ассизскій есть хотя бы отдаленный предшественникъ Лас-саля и что духъ Жанны д'Аркъ почилъ на Луизѣ Мишель. Главное препятствіе при рѣшеніи славянскаго вопроса есть раздѣленіе славянства между Римомъ и Византією. Западные славяне были и останутся римскими католиками. Заостренные племенными антагонизмами, религіозныя противоположности—папоцезаризмъ и цезаропапизмъ—примирятся, когда и самыя церкви примирятся, а это возможно потому, что нѣтъ догмата въ римскомъ католичествѣ, который бы устанавливалъ державныя права папы; напротивъ того римское католичество сдѣлалось несравненно сильнѣе, когда въ Италіи разсѣченъ тотъ канатъ, на которомъ оно держалось неподвижно на якорѣ свѣтской власти. Съ другой стороны, главенство царя надъ церковью не есть догматъ православія (стр. 89 „Над. в.“). Соловьевъ не высказалъ прямо, но допускалъ, что православіе можетъ признать приматство

между епископами за папою, какъ преемникомъ св. Петра. Будутъ ли приняты Западомъ условія единенія—это его дѣло, но Россія должна заявить свою готовность къ единенію. Что касается до *польскаго* вопроса, то, по мнѣнію Соловьева, умиротвореніе можетъ состояться никакъ не на соціальной и не на государственной, но только на религіозной почвѣ. Являясь передовыми борцами за Западъ, поляки видятъ въ Россіи враждебный имъ Востокъ, силу темную и имѣющую притязаніе на будущность. Польскій вопросъ является, такимъ образомъ, однимъ изъ фазисовъ великаго восточнаго, въ которомъ мусульманство играетъ хотя и важную, но эпизодическую роль. Когда русская война противъ Турціи превращается въ борьбу противъ западныхъ державъ, когда между Россією и Царыградомъ оказывается Вѣна, когда поляки вступаютъ въ турецкіе ряды противъ Россіи, а сербы въ Босніи соединяются съ мусульманами противъ Австріи, то становится яснымъ, что главный споръ не между христіанствомъ и исламомъ, не между славянами и турками, а между католическимъ Западомъ и православною Россією. Польша является авангардомъ Запада; за нею стоитъ апостольское правительство Австріи, а за Австрією Римъ. Итакъ, восточный вопросъ есть споръ перваго Рима, западнаго, со вторымъ, восточнымъ, представительствомъ котораго перешло еще въ XV вѣкѣ къ третьему Риму, Россіи. Когда третьему Риму грозила опасность невѣрно понять свое призваніе и явиться восточнымъ царствомъ, противникомъ европейскому Западу,—явился Петръ Великій, разбившій скорлупу исключительнаго націонализма, бросившій русское зерно на почву всемірной исторіи и передвинувшій третій Римъ изъ Москвы въ С.-Петербургъ, къ морскому пути.

IV.

Практическія заключенія Вл. С. Соловьева вполне совпадаютъ съ требованіями гуманистовъ-западниковъ, отстаивающихъ свободу вѣры и мысли, равноправность исповѣданій, отрицающихъ существованіе національнаго господствующаго, автокефальнаго исповѣданія, и обязательную передачу исповѣданія по одному факту рожденія, доказывающихъ свободу добровольнаго входа въ церковь и выхода изъ нея. Въ Вл. С. Соловьевѣ поразительно, въ особенности, то, что при своемъ страстномъ увлеченіи Петромъ Великимъ, онъ въ глубинѣ души славянофилъ, патриотъ съ мессіанскимъ идеаломъ, убѣжденный, что онъ принадлежитъ къ

народу, Богомъ избранному для ближайшаго осуществленія идеи вселенскаго религіознаго объединенія человѣчества. Мессіанскій идеалъ Соловьева есть элементъ вполне *мистическій*, не допускающій ни пререканія, ни разбирательства; его можно прямо исключить при разборѣ его теоріи, но затѣмъ остается открытымъ вопросъ: имѣются ли въ этой теоріи противорѣчія, изъ которыхъ, по взглядамъ нѣкоторыхъ критиковъ, соткано все ученіе Соловьева. Во всякой выдающейся личности сплочиваются обыкновенно, проникаются и примираются исключашія себя взаимно противоположности: эгоизмъ и альтруизмъ, индивидуальность и общественность, любовь свободы и властный темпераментъ. Отличительною чертою всякаго сильнаго ума бываетъ такъ называемая *полярность* его міросозерцанія. Соловьевъ по темпераменту—властный характеръ, противный анархія. Онъ самъ признавалъ себя теократомъ, но онъ не предоставляетъ церкви никакихъ средствъ внѣшняго принужденія. Онъ рассказываетъ („Вѣстн. Европы“, 1894 г., № 11), какъ онъ пришелъ къ согласованію авторитета откровенія съ свободою мышленія, когда вдумался въ Посланіе святаго Павла къ Римлянамъ (II, 14—15): „ибо когда языки—тѣ, что не имѣютъ закона по, природѣ законное творять, то они, закона не имущіе, сами себѣ законъ. Они показываютъ, что дѣло закона написано въ сердцахъ ихъ, въ чемъ сосвидѣтельствуетъ имъ совѣсть и разсужденія, промежъ себя обвиняющія или защищающія другъ друга“. Соловьевъ—сторонникъ по своему темпераменту и крѣпкой государственной власти, располагающей внушительными наказаніями для осуществленія въ той смѣшанной области, гдѣ добро борется со зломъ, той минимальной доли добра въ положительномъ законѣ, безъ принудительнаго соблюденія котораго общество не могло бы существовать. Нельзя отказать въ основательности даже и взгляду Соловьева на это отношеніе права къ нравственности, съ тѣмъ, однако, существеннымъ изъятіемъ и оговоркою, что право всегда запаздываетъ, по сравненію съ гораздо быстрѣе измѣняющеюся нравственностью, что право продолжаетъ существовать, когда его нравственные устои уже истлѣли или разложились, такъ что далеко не все то нравственно, что законно,—и наоборотъ. Наконецъ Соловьевъ хотя вселенскій человѣкъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и народникъ; онъ убѣжденъ, что всякій народъ осуществляетъ особую нравственную идею; онъ только анти-націоналистъ, не допускающій, чтобы какая бы то ни была народность могла себя эгонистически воображать какимъ-то замкнутымъ, самодовлѣющимъ дѣломъ, а не частицею единаго человѣчества.

Теократическій идеалъ представлялся уму и воображенію Соловьева въ слѣдующемъ видѣ. Въ Христѣ богословы всегда различали три достоинства или дѣйствія: *первосвященника, царя и пророка*. Въ видимой церкви всѣ тѣ три дѣйствія раздѣлены; отъ ихъ согласія зависить правильная жизнь и развитіе. Въ принципѣ они должны согласоваться, но между ними было соперничество, еще продолжающееся. Востокъ избралъ *царя* носителемъ единовластиа, Западъ — *первосвященника-папу*, съ которымъ монархи Запада не могли долго примириться. Среди борьбы двухъ выходящихъ за свои предѣлы супремаций, наступило еще болѣе незаконное проявленіе третьяго начала—свободной проповѣди или *пророчества*—протестантство. Соловьевъ—большой противникъ протестантства, въ которомъ, по его мнѣнію, теряется истина и святиня, пропадаетъ идеалъ вселенскаго единства, а остается духовная свобода только мнимая. Какъ придуть къ согласованію всѣ три основныя силы церкви—то вопросъ будущаго, не рѣшаемый Соловьевымъ, на рѣшеніе котораго онъ указываетъ, однако, своими намеками. Въ идеалѣ Соловьева имѣется одинъ бросающійся въ глаза пробѣлъ. Онъ ведетъ къ единенію на началѣ свободы разнo вѣрующихъ людей, но все-таки вѣрующихъ, но не высказываетъ совсѣмъ своего отношенія къ невѣрующимъ, къ волнѣ, приливающей все сильнѣе, вслѣдствіе религіозныхъ раздоровъ, полнаго безвѣрія, совершенной безрелигіозности,—а волна эта можетъ значительно повыситься въ будущемъ. Самъ онъ признаетъ, ссылаясь на Посланіе св. Павла къ Римлянамъ, что нерелигіозность не исключаетъ нравственности, а при наличности и нравственности, и обезпечивающаго ея минимальную, обязательную долю закона, земныя общества людей могли бы, можетъ быть, существовать. Таково убѣжденіе весьма многихъ людей. По взгляду Соловьева, преданіе церкви, то-есть все ея прошедшее, представляется священствомъ. Онъ допускаетъ образованіе международнаго священства, объединеннаго въ одномъ общемъ отцѣ или вселенскомъ первосвященникѣ (СХХ стр. предисловія къ „Исторіи и будущности теократіи“). Настоящее церкви—это народъ, раздѣленный по національностямъ, на государства, находящіяся въ сыновнемъ отношеніи къ сверхнародному, вселенскому первосвященству. Въ своей „Теократіи“ Соловьевъ съ особенною любовью относится къ третьему фактору въ церкви,—къ пророчеству. Дѣятельность первосвященника слишкомъ погружена въ прошедшее; власть царская слишкомъ занята настоящимъ. Чтобы представить далекое будущее, необходимы особыя дѣятели: пророки, ревнители особаго идеала, обладатели ключей

будущаго. Въ извѣстномъ смыслѣ пророкъ, по словамъ Соловьева, есть высшая изъ трехъ теократическихъ властей. Соловьевъ никогда не выдавалъ себя за такого пророка, но мое глубочайшее убѣжденіе—то, что онъ себя таковымъ считалъ, и что онъ имѣлъ къ тому свои основанія. Онъ дѣлаетъ попытку объяснить, что въ русской церковной исторіи дѣлали и священники, и цари. Таковъ смыслъ имѣетъ его статья „Византизмъ и Россія“ въ №№ 1 и 4 „Вѣстника Европы“, 1896 г., къ разбору которой я намѣренъ приступить.

V.

Статья „Византизмъ и Россія“—отчасти критическая, а отчасти полемическая, направленная противъ нынѣшняго исторически сложившагося православія. Онъ имѣетъ слѣдующій смыслъ. Свой „Національный вопросъ“ Соловьевъ закончилъ требованіемъ свободы православія, освобожденія его отъ государственной опеки. Онъ берется изобразить, какъ церковь попала въ эту зависимость отъ государства, не соотвѣтствующую ея достоинству. Онъ убѣжденъ, что ея благо—въ томъ, что она своевременно въ эту зависимость попала; что благо ея и то, что Петръ Великій упразднилъ патріархатъ и учредилъ вмѣсто него, какъ то дѣлаютъ протестантскія государства, духовную коллегію, руководимую знающимъ и свѣдущимъ оберъ-прокуроромъ изъ офицеровъ. Правильны ли теперь и нормальны ли эти отношенія,—на то далъ Соловьевъ отрицательный отвѣтъ въ своемъ „Національномъ вопросѣ“. Онъ признаетъ, однако, что реформа Петра была зломъ неизбѣжнымъ, какъ война, какъ наказаніе; она—только одна изъ ступеней въ процессѣ ограниченія зла и замѣны большаго зла меньшимъ.

Корень зла—въ византизмѣ. Второй Римъ принялъ христіанство только на словахъ,—оставилъ языческій складъ жизни общественной и языческія учрежденія. Онъ и не пытался охристіанить ихъ, и прикрылъ эту общественность только внѣшнимъ покровомъ христіанскихъ догматовъ и священнодѣйствій. Люди совершенствовались и каялись только самолично, но не ставили высшихъ задачъ для общества и государства. Многъ страннымъ кажется, что Соловьевъ, сильно полемизировавшій противъ ученія о непротивленіи злу, не указываетъ нигдѣ, что это ученіе такъ сильно распространяется теперь потому, что оно имѣетъ у насъ старые и глубокіе корни и что у него есть византийская подкладка. Хотя, по принятіи христіанства, императоръ признавался

церковью делегатомъ власти Христовой и засѣдалъ на соборахъ въ званіи *вышшняго епископа*, но, въ сущности, онъ весьма мало походилъ на Богочеловѣка, на Христа. Заимствованное изъ Византіи, сѣмя христіанской вѣры нашло въ Россіи мягкую, рыхлую почву, но въ теченіе многихъ вѣковъ вся дѣятельность племени была сосредоточена на задачѣ—создать сильное самодержавное государство. Вслѣдствіе почти сплошной земледѣльческой однородности населенія и отсутствія въ немъ обособленныхъ группъ феодальныхъ, городскихъ, церковныхъ, не могло выработаться въ Россіи понятіе однородное съ европейскимъ „*status*“ (*état, Staat*), какъ уравниеніемъ разныхъ сословныхъ элементовъ, а вышло *юсподарство* съ самовластнымъ верховнымъ *домовладыкою*. Образованію этого самодержавія сильно содѣйствовали русскіе іерархи и монахи, дѣйствовавшіе въ византійскомъ духѣ. Послѣ завоеванія Константинополя турками, историческимъ преемникомъ восточно-римскаго царства сдѣлалась Москва, наполнявшаяся греками, какъ насадителями просвѣщенія, благочестія, просителями милостыни и лъстецами. Оказалось, что это византійское наслѣдство—не только даръ и преимущество, но и великое испытаніе, когда носителемъ царскаго достоинства сдѣлался одинъ изъ величайшихъ изверговъ рода человѣческаго—Иванъ IV, Грозный.

Соловьевъ долго останавливается на томъ, какъ формулировать Иванъ IV-й свою царскую власть: „земля правится божіимъ милосердіемъ, Пречистыя Богородицы милостью и всѣхъ святыхъ молитвами... и *послѣди* нами, государями своими, а не судьями и воеводами“... Отрицательный конецъ формулы обозначаетъ только непререкаемый фактъ самодержавія; слово *послѣди* содержитъ признаніе делегаціи власти свыше, но въ дѣйствительности Иванъ IV-й противопоставлялъ свою злую царскую волю волѣ Божіей и заставлялъ людей этой злой царской волѣ безпрекословно повиноваться. Все царствованіе Ивана IV было личнымъ грѣхомъ царя, предававшагося Нероновымъ злодѣяніямъ, но оно опиралось на византійское двоевѣріе народа, на признаніе одновременно двухъ идеаловъ царства: христіанскаго идеала—лицетворенія въ царѣ божіей правды и милости, и языческаго идеала кесаря-бога, власти всесокрушающей, усиленной воздѣйствіемъ ближайшихъ ордынскихъ впечатлѣній.

Когда Иванъ IV-й скончался, сознаніе безбожія такой, какъ онъ ее понималъ, власти было такъ велико, что являлась необходимость поднять всенародное значеніе поруганнаго насиліемъ духовнаго христіанскаго начала; слѣдствіемъ чего было учрежде-

ніе патріархата и почти равноправность съ царемъ двухъ патріарховъ-государей: Филарета и Никона. Эта клерикальная реакція противъ вавилонскаго навуходоносоровскаго типа монарха не привела къ добру 1) потому, что, будучи созданіемъ царской власти, патріаршество не имѣло обезпеченной самостоятельности и должно было подвергнуться крушенію при неизбѣжномъ столкновеніи съ царскою властью; и 2) потому, что разъ начатое въ византійствѣ движеніе отъ вселенскаго единства къ партикуляризму, по неизбѣжному ходу вещей, должно было привести къ еще большему партикуляризму, отъ греко-восточнаго благочестія — къ національно-русскому, то-есть къ реакціи противъ византійства, но на той же почвѣ. Въ этомъ обстоятельствѣ Соловьевъ усматриваетъ оправданіе русскаго раскола. Приверженецъ вселенскаго единенія, Соловьевъ превосходно изображаетъ процессъ паденія клерикальнаго движенія въ Москвѣ, кончившійся низложеніемъ Никона, и, затѣмъ, при Петрѣ, упраздненіемъ патріархата. Всякое единеніе можетъ быть только въ животворящемъ духѣ, а не въ мертвящемъ буквализмѣ и обрядности, не въ смѣшеніи случайныхъ и временныхъ формъ религіи съ вѣчными истинами, не въ смѣшеніи мѣстнаго преданія съ вселенскимъ. Всякій партикуляризмъ въ вѣрѣ имѣетъ, притомъ, тотъ недостатокъ, что полагаетъ совершенство церкви не въ ея будущемъ, а какъ это было въ Византіи—въ прошедшемъ, въ старинѣ, въ вопросахъ, по которымъ Востокъ въ IX столѣтіи разошелся съ Западомъ: о бритіи бороды и темени у священниковъ, объ опрѣсновахъ и тому подобномъ. Никонъ, который говорилъ о себѣ: „по роду я *русскій*, а по вѣрѣ и мыслямъ *грекъ*“, былъ неправъ и непослѣдователенъ въ обоихъ отношеніяхъ. Исправленіемъ церковныхъ книгъ по византійскимъ источникамъ, съ устраненіемъ всякихъ русскихъ вариантовъ, вызванъ былъ расколъ. Въ спорѣ съ царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ изъ-за титула „великій государь“ и изъ-за вмѣшательства патріарха въ дѣла государственнаго управленія Никонъ уже не имѣлъ подъ собою никакой почвы, хотя бы даже и византійской, а былъ только подражателемъ средневѣковаго папства. Народъ, отдѣльно взятый въ своемъ совокупномъ единствѣ, не можетъ имѣть двухъ государей, двухъ самодержавій. Церковное правительство извѣстной страны не можетъ быть автокефально не по отношенію къ другимъ иностраннымъ церквамъ, но по отношенію къ государю своей страны. Патріархъ пытался быть дубликатомъ своего царя; онъ справедливо упраздненъ за ненужность. Инымъ образомъ относиться къ государственной власти могла бы только власть

вселенская въ своемъ сверхнаціональномъ средоточіи. Когда, въ декабрѣ 1666 г., судился Никонъ, на большомъ московскомъ соборѣ, при участіи приглашенныхъ двухъ вселенскихъ патріарховъ, то онъ осужденъ былъ, какъ и слѣдовало, по строгой исторической логикѣ византійской, за ту только вину, въ которой онъ не былъ византійцемъ: за сопротивленіе царю и за присвоеніе себѣ государственной власти. Но тотъ же соборъ, дѣйствуя въ томъ же византійскомъ духѣ, предаль проклятію и старообрядцевъ, какъ преступниковъ, подлежащихъ и духовнымъ, и „градскимъ“, т.-е. государственнымъ казнямъ. Соловьевъ ставитъ вопросъ, былъ ли желателенъ такой исходъ, чтобы восторжествовало старовѣрчество?—и благодарить Бога, что Россія избавлена была отъ неподвижности, отъ бездѣйности, отъ старовѣрческой китаищины, вслѣдствіе чего только и стали возможны реформы Петра Великаго.

Изъ жизни Петра Вл. Соловьевъ заимствуетъ только два дѣйствія, которыя онъ связалъ, можетъ быть слишкомъ произвольно, причинною связью: дѣло царевича Алексѣя Петровича, съ участіемъ въ немъ высшаго руссійскаго духовенства въ 1718 году, и затѣмъ упраздненіе патріархата и учрежденіе Св. Прав. Синода по духовному регламенту 1721 года. Бѣжавшій за границу и скрывавшійся въ Неаполѣ царевичъ не былъ бы выданъ отцу императоромъ Карломъ VI, еслибы самъ не согласился ѣхать въ Россію, получивъ отъ отца письмо съ слѣдующими словами: „общаюсь Богомъ и судомъ Его, что никакого наказанія тебѣ не будетъ“. Онъ былъ лишенъ правъ наслѣдства и отрекся отъ престола, но онъ ненавидѣлъ отца и его преобразованія, и самое его существованіе подвергало опасности все дѣло Петра, всѣ его насажденія и плоды его трудовъ. Петръ былъ страстный человѣкъ; онъ задумалъ судить сына и казнить его, несмотря на данное обѣщаніе пощады. Къ духовнымъ іерархамъ Петръ обратился потому, что сомнѣвался: „боюсь Бога дабы не погрѣшить“. Указывая на свое письменное вѣтвенное обѣщаніе, онъ требовалъ, чтобы они дали на письмѣ же свое наставленіе по божественнымъ заповѣдямъ и священному писанію, „дабы мы изъ того усмотря неотягченную совѣсть въ семъ дѣлѣ имѣли“. Въ числѣ іерарховъ были и такіе, напримѣръ, какъ Стефанъ Яворскій, епископъ рязанскій, который не сочувствовалъ Петру, и образъ жизни и дѣйствій его порицалъ. Всѣ іерархи, однако, а въ томъ числѣ и Яворскій, и становящійся любимцемъ Петра Теофанъ Прокоповичъ уклонились отъ прямого отвѣта на вопросъ, не сказали ни да, ни нѣтъ, не обмол-

вились ни однимъ словомъ объ общаніи пощады, а сослались только на примѣры: „аще восхощеши наказати—отъ ветхаго завета; аще благоизволишь помиловати,—имашь образъ самого Христа. Кратко рекше: сердце царево въ руцѣ Божіей, да избересть тую часть, амо же рука Божія того преклоняетъ“. Такимъ образомъ іерархи оставили Петра, сознающаго неполноту своей власти, одинокимъ и безпомощнымъ между голосомъ его совѣсти и наводненіемъ злой страсти. Отвѣтъ іерарховъ Соловьевъ называетъ образцовымъ произведеніемъ византійскаго. Въ Россіи не нашлось ни священника, ни пророка, который бы сказалъ царю во имя Божіей воли и высшаго достоинства человѣческаго: ты не долженъ, тебѣ не позволено, есть предѣлы вѣчные. Онъ обращался за разъясненіемъ своей обязанности, а ему указывали только на право его власти, въ которомъ онъ никогда не сомнѣвался, но которое онъ считалъ бесполезнымъ для рѣшенія нравственнаго вопроса. Соловьевъ оспариваетъ то мнѣніе, будто бы учрежденіемъ церковнаго соборнаго синода іерархія русская лишилась независимости и авторитета, потому что церковное управленіе уже раньше того было однимъ изъ государственныхъ вѣдомствъ и затѣмъ было только объявлено въ этомъ качествѣ официально. Испыталъ ли лично самъ на себѣ Петръ ненормальность отношенія церкви къ свѣтской власти, повліяло ли дѣло царевича на его рѣшимость упразднить давно вакантный патріархатъ (съ 1700 года, когда умеръ патріархъ Адріанъ), это—вопросы открытые. Обращеніе къ іерархамъ по дѣлу царевича можетъ быть объяснено и какъ попытка монарха, уже безповоротно рѣшившаго смерть сына, оправдать ее какъ необходимую политическую мѣру передъ исторіею и народомъ. Во всякомъ случаѣ, статья Соловьева находится въ полнѣйшемъ согласіи съ тѣмъ осужденіемъ и церковнаго, и національнаго сепаратизма, котораго главнымъ историческимъ корнемъ были византійскія преданія, а съ этими преданіями Соловьевъ велъ всю свою жизнь упорнѣйшую борьбу.

VI.

Вл. С. Соловьевъ написалъ статью „Византизмъ и Россія“ въ то время, когда онъ усиленно работалъ надъ своимъ капитальнымъ трудомъ по этикѣ: „Оправданіе добра“, вышедшимъ въ 1897 г. и значительно потомъ дополненнымъ при второмъ изданіи, въ 1899 г. Въ предисловіи ко второму изданію Соловьевъ отмѣ-

тилъ, что въ теченіе послѣднихъ девяти мѣсяцевъ онъ пять разъ прочелъ всю эту книгу, дѣлая все новыя вставки въ это руководство, устанавливающее связь истинной религіи и здоровой политики въ нравственномъ началѣ. Этотъ большой трудъ выходитъ за предѣлы моей задачи. Онъ имѣетъ видъ громаднаго храма, выстроеннаго съ изумительною послѣдовательностью въ одномъ стилѣ, богатаго рѣзбою и живописью, и поражаетъ законченностью малѣйшихъ подробностей. Храмъ этотъ мастерски освѣщенъ и проникнутъ теплотою искреннѣйшаго религіознаго чувства. Соловьевъ поставилъ себѣ задачу провести христіанское начало по всѣмъ ступенямъ и областямъ жизни человѣческой, показать, какъ должны быть охристіанены не только нравы, но и отношенія, не только церковныя, государственныя и гражданскія, но и экономическія. Послѣднія наиболѣе, можетъ быть, нуждаются въ преобразованіи потому, что они составляютъ главную болячку, дневную злобу современности. Экономическіе выводы Соловьева слагались постепенно, не безъ вліянія переживаемыхъ Европою крупныхъ политическихъ и экономическихъ событій. Его сильно заняли неурожай въ Россіи, начавшіеся съ 1891 и 1892 годовъ. Въ 1891 г. („Вѣстникъ Европы“ 1891 г., № 11) онъ написалъ статью, „Народная бѣда и общественная помощь“, а въ слѣдующемъ году („Вѣстн. Европы“ 1892 г., № 11)—другую статью: „Мнимыя и дѣйствительныя мѣры къ подъему народнаго благосостоянія“. Обѣ статьи находятся въ прямой связи съ главами „Оправданія добра“, посвященными политической экономіи, а потому я ихъ коснусь въ моемъ разборѣ слегка и мимоходомъ.

Начавшійся рядъ неурожаяевъ, грозящій превратиться въ постоянное бѣдствіе, обличаетъ крайнюю несостоятельность и нашего высшаго полу-культурнаго общества, имѣющаго, однако, десятка два высшихъ учебныхъ заведеній, около сотни ученыхъ обществъ и десятки тысячъ образованныхъ людей, и таковую же несостоятельность нашего безкультурнаго народа, который жилъ вполне такъ, какъ того требуютъ враги просвѣщенія, не отдѣлялся отъ почвы, никакой цивилизаціи не зналъ и пришелъ къ такому упрощенію, которое смущаетъ самыхъ смѣлыхъ и сытыхъ опростителей, не могущихъ, однако, признать голодную смерть нормальнымъ фактомъ. Соловьевъ разбираетъ всѣ мѣры, предлагаемыя противъ стихійнаго бѣдствія и для подъема благосостоянія, и доказываетъ ихъ практическую недѣйствительность или недостаточность (увеличеніе крестьянскихъ надѣловъ, переселенія и т. под.). Реформа 1861 г. ничего не устроила; она имѣла назначеніемъ только облегчить обществу переходъ отъ одного жиз-

пеннаго строя къ другому; между тѣмъ за послѣднія 30 лѣтъ уже приходится заботиться не объ улучшеніи народной жизни, а о ея сохраненіи. Наше высшее общество сдѣлало столько шаговъ назадъ, что неизвѣстно даже, зачѣмъ оно существуетъ. Оно занимается международною бранью и травлею инородцевъ и иновѣрцевъ, къ бѣдѣ же народной оно равнодушно. Мы все привыкли сваливать на правительство, между тѣмъ какъ у него не хватаетъ иногда средствъ для исполненія прямой его задачи. Въ Россіи есть организація церковная, хранящая религіозное преданіе и отправляющая богослуженіе. Есть также государственная организація, охраняющая народную независимость извнѣ, а законный порядокъ и нѣкоторые насущные интересы—внутри. Въ обществѣ есть много добрыхъ стремленій и намѣреній, но эта любовь, при отсутствіи организаціи, есть любовь *бездѣльная*, иными словами—обманъ. Соловьевъ предлагаетъ людямъ, имѣющимъ вѣру въ Россію и любовь къ русскому народу, оставить междоусобную брань и травлю, понять, что въ Россіи есть только два лагеря: одинъ—людей, желающихъ дѣйствительно помочь народу въ его бѣдѣ; и другой—людей, равнодушныхъ къ нему или враждебныхъ,—иными словами, что настала пора возвратить патриотизму его истинный патристическій смыслъ.

Эта проповѣдь въ пользу голодающихъ совпадала съ весьма ясно поставленною Соловьевымъ задачею—вносить нравственное чувство жалости, имѣющее высшую санкцію въ Евангеліи, въ соперничества и раздоры экономическіе, въ области матеріальнаго труда или собственности. Никакихъ непреложныхъ экономическихъ законовъ, не подлежащихъ вѣдѣнію нравственности или права, Соловьевъ не допускалъ; онъ домогался экономической организаціи; онъ называлъ анархистами сторонниковъ законѣрности матеріально экономической, выдѣляющей въ человѣкѣ дѣятеля экономического, какъ производителя, какъ собственника или какъ потребителя вещественныхъ благъ, стоящаго внѣ права и нравственности. Онъ вспоминалъ, что первое пробужденіе его сознательной жизни и мысли („Опр. Д.“, стр. 237) произошло подъ громъ разрушенія собственности въ двухъ его видахъ: раскрѣпощенія крестьянъ въ Россіи и освобожденія негровъ въ Америкѣ. Изъ повѣйшихъ социальныхъ реформаторовъ онъ всего сильнѣе сочувствовалъ сенсимонистамъ, за постановку ими покинутого потомъ начала, что матерія имѣетъ право на свое удовлетвореніе, что безъ любви къ природѣ нельзя осуществить правильной организаціи матеріальной жизни. Онъ утверждалъ не безъ основанія, что объ враждующія, во имя индивидуалистической свободы инте-

ресовъ, партіи, и социалисты, и плутократы—служители капитализма—вполнѣ согласны въ самомъ существенномъ и обѣ находятся на дурномъ пути. Соловьеву возражали, что онъ не специалистъ, что онъ ничего не смыслитъ въ политической экономіи. Онъ не претендовалъ на это знаніе, но основательно утверждалъ, что осуществленіе христіанскаго идеала въ области экономической есть дѣло христіанской политики. Онъ ограничивалъ свои требованія организаціей общественной жалости по отношенію къ неимущимъ и постановкою того начала, что тѣмъ или другимъ путемъ, правительственнаго ли почина, или общественнаго, должна быть обезпечена всѣмъ и каждому человѣку минимальная доля средствъ, необходимыхъ для поддержанія достойно своего человѣческаго существованія. Что эти требованія не суть химера, ни утопія, доказываетъ направленіе, въ послѣднее время, церковной политики въ западномъ католицизмѣ при папѣ Львѣ XIII-мъ.

VII.

За мною остается еще послѣднее произведеніе Вл. С. Соловьева, доконченное имъ въ свѣтлое воскресенье сего 1900 г.: „*Три разговора о войнѣ, прогрессѣ и концѣ всемірной исторіи, со включеніемъ краткой повѣсти объ антихристѣ*“,—сочиненіе, писанное въ полу-серьезномъ и полу-шутливомъ родѣ. Вл. С. Соловьевъ любилъ острить и осмѣивать; выпучиваніе было однимъ изъ самыхъ обыкновенныхъ боевыхъ его орудій. Для ближайшаго ознакомленія съ историческою личностью Соловьева книга эта имѣетъ весьма большое значеніе, не потому, что она талантливо написана, но потому, что она—настоящій ключъ къ его душевной организаціи и міросозерцанію. Книга эта могла бы быть загадочна, темна и непонятна, еслибы онъ не снабдилъ ее толковымъ предисловіемъ. Онъ усиленно работалъ надъ неприведенной имъ къ концу философій познанія, причемъ онъ натолкнута на вопросъ, занимавшій его постоянно,—о существѣ и происхожденіи зла. Онъ былъ всегда противникомъ оптимизма Лейбница, оправдывавшаго зло, какъ неизбѣжное послѣдствіе ограниченности и несовершенства всѣхъ сотворенныхъ веществъ. Зло, по понятіямъ Соловьева, не есть естественный недостатокъ въ мірѣ, исчезающій съ ростомъ добра, но вѣчно объективное, дѣйствительная сила, владѣющая міромъ посредствомъ всякихъ соблазновъ. По его словамъ, въ 1898 г., въ его душевномъ настроеніи произошла какая-то особенная перемѣна, которая, не измѣняя строя его мы-

слей, вызвала въ немъ только устойчивое желаніе представить наиболѣе вразумительно и популярно для простыхъ людей, не-философовъ, главныя стороны въ вопросѣ о злѣ. Такимъ-то образомъ, весною 1899 г., на Ривьерѣ сложился въ нѣсколько дней первый разговоръ, а затѣмъ два другіе—по возвращеніи въ Россію. „Не ищите здѣсь ни научно-философскаго изслѣдованія, — писалъ онъ, — ни религіозной проповѣди; задача моя была апологетическая и полемическая“. Онъ хотѣлъ разогнать туманъ, напускаемый на вопросъ о злѣ разными лжеученіями, опровергнуть разныя мнимыя религіи и обнаружить разныя дѣйствительныя обманы.

Кружокъ собесѣдниковъ въ разговорахъ не великъ. Одна дама, не принимавшая дѣятельнаго участія въ спорахъ, играетъ роль домохозяйки. Авторъ признается, что онъ себя самого представилъ въ видѣ господина Z, рѣшающаго споры какъ судья, по выслушаніи двухъ систематически состязающихся спорщиковъ, олицетворяющихъ двѣ противоположныя стороны, бывающія въ каждомъ всемірно-историческомъ процессѣ, изъ которыхъ у каждой есть своя правда, но только относительная, потому что каждая содѣйствуетъ раскрытію истины только своимъ особеннымъ манеромъ. Одинъ спорщикъ—*боевой генералъ*, пролагающій Христу путь съ оружіемъ въ рукахъ и по трупамъ его враговъ и супостатовъ; другой спорщикъ—*политикъ-дипломатъ*, надѣющійся осилить и упразднить войну, для чего не потребуетъ никакого благоволенія, а только по возможности поменьше религіи и побольше вѣжливости. Втроемъ генералъ, политикъ и Z образуютъ нѣчто похожее на тезу, антитезу и синтезъ діалектической тріады Гегеля; они—олицетворенные моменты обычнаго кругооборота мысли. Настоящій противникъ автора—это четвертый спорщикъ, князь, по имени не названный, съ которымъ, однако, каждый изъ вышеуказанныхъ вступаетъ по очереди въ единоборство. Онъ является какъ будто бы основателемъ особой религіозной секты *дыромоляевъ*,—религіи безъ содержанія, религіи полной пустоты. Авторъ обращается къ этимъ сектантамъ такимъ образомъ: зачѣмъ вы называете себя христіанами? Вы бы нашли себѣ болѣе подходящее имя: вы буддисты, вамъ нужно непротивленіе, безстрастіе, недѣланіе. Этимъ путемъ можно даже безъ мученичества сдѣлать блестящую карьеру, какъ и сдѣлалъ ее Будда.

Соловьевъ не могъ выносить равнодушно ученій, исходящихъ отъ такого „отпѣтаго типа“ людей, какъ князь; они были ему противны по двумъ одинаково важнымъ причинамъ. *Первая*—та,

что Соловьевъ, какъ вселенскій человѣкъ, не допускалъ возможности узкаго ограниченія дѣятельности христіанства областью личнаго только самоусовершенствованія отдѣльныхъ личностей, съ предоставленіемъ всего общежитія и его устройства въ неограниченное надъ ними господство злу, которому не слѣдуетъ даже и сопротивляться. Генераль, политаекъ и Z, дѣйствуя совокупно, приводятъ князя къ сознанію, что онъ безусловно будетъ соблюдать заповѣдь „не убій“, даже и въ томъ случаѣ, еслибы разбойникъ на его глазахъ насилуетъ его дочь. Князя осмѣиваютъ за то, что, по его понятіямъ, слѣдовало бы добрымъ людямъ сдѣлаться еще добрѣе, чтобы, вслѣдствіе того, злые люди утратили свою злобу и сами стали бы добрыми, такъ что Христосъ могъ бы собственно исправить и Іуду Искаріота, и злого разбойника. Трудно себѣ представить картину болѣе уморительную и потѣшную, какъ та, которую преподноситъ читателю Соловьевъ, исторію въ стихахъ камергера Деларю, которую онъ заимствовалъ отъ Алексѣя Толстого изъ неизданныхъ его произведеній. Въ непротивленіи злу Соловьевъ увидѣлъ то начало, съ которымъ онъ сталкивался и въ буддизмѣ, и въ ученіи Платона, и въ византийствѣ: противоположность міра красивыхъ идей, никогда не осуществляющихся, и плохой дѣйствительности. Новое ученіе гораздо хуже прежнихъ, потому что не прилаживается къ небожественному, не угодничаетъ ему, но имѣетъ ярко-анархическую подкладку, по самому темпераменту противную Соловьеву, какъ убѣжденному стороннику всякаго отъ Бога исходящаго авторитета. По ученію противниковъ Соловьева, послѣ Христа „церковь была искаженіемъ и гибелью истиннаго христіанства“ (стр. 135), такъ что оно даже совсѣмъ было забыто, и чрезъ восемнадцать вѣковъ потребовалось все съ начала возстановлять, отмѣняя настоящее, со всѣми его государствами, войсками, судами, университетами, фабриками (стр. 123), для возвращенія въ первое, некультурное состояніе.

Не эта, впрочемъ, анархическая сторона ученія была самая чувствительная для Соловьева, который зналъ, что никакая сила въ мірѣ не заставитъ человѣчество пятиться назадъ, въ первичное природное состояніе. Была еще *другая*, болѣе опасная. Онъ былъ убѣжденъ, что противники—самозванцы, что они наружнымъ образомъ примыкаютъ къ Христу и пользуются Его именемъ, что они не признаютъ въ Христѣ Богочеловѣка, что, умалчивая о Христѣ, они пользуются только его Евангеліемъ („Христосъ, по вашему, умеръ, а не воскресъ“... Стр. 135). Выдѣляя Христа изъ его Евангелія, ученіе заимствуетъ изъ него только

мораль, притомъ мораль упрощенную, сокращенную и урѣзанную, сведенную къ тому, что мы должны, будто бы, дѣлать и чего не должны дѣлать только *здесь* и только *теперь* (стр. 140), безъ всякаго помышленія не только о воскресеніи мертвыхъ, по Евангелію, но и о жизни загробной. По умственному складу Вл. С. Соловьева, ему немислимо было безбожіе. По его взгляду (стр. 158), и теоретическій матеріализмъ, и наивная, безотчетная вѣра давно прошли, потому что человѣчество давно переросло эти двѣ ступени философскаго младенчества. Но и эта новая этика, дѣйствующая по какому-то необъяснимому и недоказуемому основанію, похожему на кантовскій категорическій императивъ, безъ вдохновенія свыше, безъ общенія съ живымъ Христомъ, весьма немногимъ отличается отъ безбожія; она совсѣмъ антихристова. На вопросъ дамы: „не антихристъ ли князь?“ (стр. 103)—генераль отвѣчаетъ: „Ну, не онъ лично: далеко кулику до Петрова дня,—а все-таки на той же линіи“. По словамъ Z., „покуда вы мнѣ не покажете добрыхъ качествъ самого юзянна въ его дѣлахъ, а не въ словесныхъ только его предписаніяхъ рабочимъ,—я останусь при своей увѣренности, что этотъ далекій хозяинъ, требующій добра отъ другихъ, но его самъ не дѣлающій, никогда на глаза не показывающійся, а живущій за границею incognito, есть не кто иной, какъ *богъ въ насъ*“ (стр. 146), т.-е., иными словами, антихристъ.

Я дошелъ въ моей передачѣ содержанія „Трехъ Разговоровъ“ до того мѣста, съ котораго начинается повѣсть объ антихристѣ по древней рукописи. Отталкивая ногою почву знаемаго, Соловьевъ становится вполне мистикомъ; слѣдить за нимъ въ его видѣніяхъ будущаго нѣтъ никакой возможности. Изъ предисловія къ „Тремъ Разговорамъ“ оказывается, что сначала Соловьевъ хотѣлъ представить свои собственныя видѣнія объ антихристѣ и о концѣ исторіи, но что потомъ, по убѣжденію друзей, онъ согласился превратить эти видѣнія въ легкое, съ примѣсью шутки, повѣствованіе монаха, отца Пансофія. Это повѣствованіе сдѣлалось предметомъ публичнаго чтенія. Кто ближе зналъ Вл. С. Соловьева, тотъ вѣроятно не допуститъ, чтобы у него была только мысль позабавить публику своимъ художественнымъ вымысломъ. Онъ вѣроятно внушалъ и передавалъ слушателямъ свои глубочайшія и душевнѣйшія религіозныя вѣрованія и чаянія. Онъ самъ признаетъ, что повѣсть его вызвала и въ обществѣ, и въ печати немало недоумѣній и перетолкованій, которыя онъ объясняетъ недостаточнымъ знаніемъ слова Божія и первоначальнаго церковнаго преданія. Громадныя знанія Соловьева не согласо-

лись съ его вѣрованіями, носившими печать первыхъ вѣковъ христіанства, и съ внушаемыми этою вѣрою религіозными упованіями, хотя онъ признавалъ, что наивная, безотчетная вѣра въ наше вѣкъ невозможна. Знаніе — могучая сила въ жизни человѣчества, оно всегда ограничено. Многое происходящее ускользаетъ отъ нашихъ чувствъ, многіе законы жизни будутъ еще современемъ открыты, но есть и вопросы, на которые никогда не можетъ быть дано никакого отвѣта. Изъ области несознаваемого людямъ, доискивающимся смысла жизни, приходится вѣрить тому, что преподаетъ религія, или совсѣмъ не вѣрить. Никакой, однако, учитель или пророкъ не найдетъ послѣдователей, когда онъ предлагаетъ вѣрить въ физически невозможное или въ логически очевидно неразумное. Вѣрованія не бываютъ неподвижны; самъ Соловьевъ пытался возводить вѣрованія отцовъ на новыя ступени разумнаго сознанія. Вѣрованія бываютъ безконечно тягучи; совершенствованіе ихъ проявляется — либо въ томъ, что подъ смыслъ ихъ буквальный подкладывается другой, переносный, что они являются только символами чего-то иного; либо въ томъ, что извѣстное, считаемое близкимъ, событіе отодвигается въ безконечную и недостижимую даль. Въ міросозерцаніи Вл. С. Соловьева было многое, долженствующее возстановить противъ него не столько публику, сколько то интеллигентное меньшинство, въ которомъ его идеи находили никогда не прекращающуюся поддержку. Соловьевъ вѣрилъ въ реальное объективное, вѣкъ насъ, существованіе торжествующаго пороку начала зла. И вопреки генералу, и вопреки политикѣ, и, разумѣется, вопреки князю, Соловьевъ вѣрилъ не только въ совершившееся и исторически доказанное воскресеніе одного, но и въ собирательное воскресеніе въ будущемъ всѣхъ и даже въ исчезновеніе смерти на землѣ, — значить, въ неумираніе не въ переносномъ, а въ настоящемъ смыслѣ этого слова. По его понятіямъ, безъ такой вѣры въ упраздненіе смерти можно только на словахъ говорить о царствѣ Божіемъ, а на дѣлѣ выходило бы одно царствіе смерти (стр. 139). Для лично знавшихъ Соловьева, любившихъ его и безконечно дорожившихъ имъ людей, появленіе „Трехъ Разговоровъ“ было не только загадочнымъ событіемъ, но и печальною неожиданностью. Подъ самый конецъ своей жизни Соловьевъ помѣстилъ въ „Вѣстникъ Европы“ (1898, №№ 3 и 4) статью, озаглавленную: „Жизненная драма Платона“, въ которой онъ изобразилъ какъ этотъ горячо имъ любимый философъ потрясенъ былъ казнью праведника Сократа, какъ онъ помышлялъ о самоубійствѣ, какъ онъ искалъ выхода изъ міра чувственныхъ призраковъ въ дру

гой, идеальный космосъ, гдѣ правда живетъ, какъ онъ потерпѣлъ неудачу съ своей теоріей Эроса, наконецъ, какъ онъ отступился отъ своихъ юношескихъ идеаловъ и въ писанныхъ старческою рукою своихъ послѣднихъ произведеніяхъ узаконивалъ, какъ реформаторъ, главные язвы духовной жизни древней: рабство, дѣленіе людей на эллиновъ и варваровъ, и войну, какъ нормальное состояніе людей. Многимъ могла придти та мысль, не происходила ли въ душѣ Соловьева въ послѣднее время драма, нѣсколько напоминающая платоновскую? Онъ ни во что не извѣрился, ни отъ чего, чтó считалъ добромъ, не отступился, но не терзало ли его душу жесточайшее сомнѣніе? былъ ли онъ всегда такой жизнерадостный, свободный отъ душевныхъ мукъ и колебаній человѣкъ, каковымъ его стараются изобразить критики, желающіе умалить его значеніе?

VIII.

По этому вопросу мы имѣемъ слишкомъ мало данныхъ для какаго бы то ни было вывода; ихъ съ трудомъ хватить на предположеніе, что конецъ его былъ томительный и печальный. Кромѣ „Трехъ Разговоровъ“, имѣется только статья князя С. Н. Трубецкого („Вѣстникъ Европы“, 1900, № 9), описывающая его послѣднія минуты († 31 іюля) въ 12 дней послѣ его кончины. Будущее міра представлялось Соловьеву въ слѣдующемъ видѣ. Къ главной практической идеѣ его о единеніи христіанскихъ исповѣданій всѣ почти современники были равнодушны, никто не откликнулся. Ей могъ сочувствовать издали только 90-лѣтній старецъ на престолѣ св. Петра. Вл. Соловьеву представлялось, что христіанству придется вести великія войны съ такими же объединяющимися массами панисламизма и панмонголизма. Чтобы уцѣлѣть въ этихъ войнахъ и выйти побѣдителемъ, христіанству слѣдовало бы объединиться духомъ, одолѣвъ въ себѣ самомъ свое одичаніе, свой обскурантизмъ, свою собственную китаизацию, сдѣлаться для восточныхъ народовъ Востокомъ не Ксеркса, а Христа. Соловьевъ говорилъ кн. Трубецкому: „съ какимъ нравственнымъ багажемъ идутъ европейскіе народы на войну съ Китаемъ?“ и передавалъ ему свои сужденія объ убожествѣ европейской дипломатіи, проглядѣвшей надвигающуюся великую опасность, о ея мелкихъ алчныхъ расчетахъ, о превосходящей ея силы задачѣ раздѣла Китая. „Христіанства больше нѣтъ, — говорилъ онъ; — идей меньше, чѣмъ въ эпоху троянской войны, но тогда шли молодые

богатыри, а теперь идутъ дряхлые старички. Кончено все!—Магистраль всеобщей исторіи, дѣлившаяся на древнюю, среднюю и новую, пришла къ концу. Каѳедры всеобщей исторіи упраздняются". Къ этимъ чувствамъ отчаянія примѣшивалась скорбь о происходящемъ по близости отъ него, въ Финляндіи, куда Соловьевъ ѣздилъ работать въ уединеніи. Упадокъ духа въ немъ былъ только временной, скоропреходящій. Смерть встрѣтилъ онъ бодро, мужественно, по-христіански, съ полною увѣренностью въ то, что сбудется все, во что онъ вѣровалъ, если и не такъ скоро, какъ было ему желательно, то въ долготу вѣковъ. Онъ былъ разительнымъ примѣромъ того, какъ живуче религіозное чувство въ человѣчествѣ; послѣ многихъ вѣковъ помертвѣнія, оно способно опять выпускать новыя вѣтви, опять зеленѣть, покрываться листовою и цвѣсти. Конечно, ни съ одною изъ двухъ вѣръ, одинаково искреннихъ и глубокихъ, которыхъ сильное столкновеніе представляютъ собою „Три Разговора“, мы не могли бы вполне, безусловно и безъ оговорокъ согласиться; но если мнѣ, какъ одному изъ судящихъ, позволено будетъ выразить мое личное мнѣніе, то преимущественныя симпатіи мои будутъ всегда на сторонѣ дѣятельной любви, борьбы ея со зломъ и одушевленія христіанскимъ духомъ не только сердецъ нашихъ и нравовъ, но и учреждений гражданскихъ, церковныхъ, государственныхъ и международных. Эти совершенствующіяся, проникнутыя христіанствомъ формы общественности будутъ распространяться и усваиваться другими народами, будутъ обходить кругомъ шаръ земной и приведутъ народности если не къ одинаковой богослужебной обрядности, которой Соловьевъ не придавалъ особеннаго значенія, и не къ одинаковой религіозной догмѣ, то къ одной и той же этикѣ, къ однообразному служенію Богу, какъ верховному нравственному Добру. Это распространеніе этики христіанской можетъ обходиться безъ войнъ и кровопролитій, безъ водруженія повсюду силою знамени креста. Я полагаю, что сама исключительность христіанства въ ученіи Соловьева есть до извѣстной степени его недостатокъ, восполнявшійся въ немъ весьма большою любовью къ іудейству и большимъ уваженіемъ къ исламу и къ другимъ исповѣданіямъ. Я убѣжденъ, что въ далекомъ будущемъ будутъ образовываться союзы не только однихъ христіанскихъ толковъ, но и всѣхъ вообще вѣръ земного шара, ради совмѣстнаго служенія общему Богу—Добру.

В. Спасовичъ.

19 ноября 1900.



ПОГИБШАЯ НИВА

Предъ нами красовалась нива...
Какая странная краса!
Колосья, стѣя горделиво,
Тянулись кверху, въ небеса.
Влеченья ихъ къ надменнымъ позамъ
Причину я развѣдалъ ту,
Что рожь, ужъ бывшая въ цвѣту,
Побита утревнимъ морозомъ.
Вотъ и разгадка почему
Кичливый колось такъ упоренъ
Въ стремленьѣ въ высь. Увы! Ему
Понякнуть нечѣмъ. Онъ—безъ зѣренъ!..
И мнѣ представилась тогда
Умовъ и душъ людская нива,
Когда надъ ней стряслась бѣда.
Она, какъ эта,—молчалива.
Ей громко воля не дапа
Свой оплакивать утраты...
Высоко въ эти времена
Пустыя головы подъяты.

Алексѣй Жемчужниковъ.



КРУЖОКЪ „КРУГЛОЙ БАШНИ“

Изъ воспоминаній В. Д. Хрущовой 1877—78 гг. ¹⁾.

I.

...Въ концѣ іюля 1879 г. пришло извѣстіе, что въ нашъ городъ (Кіевъ) скоро придутъ больные и раненные. Городъ ожилъ; всѣ заговорили о пріемѣ, который имъ нуженъ. Всякій спѣшилъ заявить готовность послужить пострадавшимъ на войнѣ,

¹⁾ Авторъ воспоминаній—Вѣра Дмитріевна Хрущова, рожденная Полѣнова, скончалась въ С.-Петербургѣ, 7 марта 1881 года. Въ семидесятихъ годахъ она жила въ Кіевѣ, гдѣ мужъ ея былъ тогда на службѣ. В. Д.—сестра-близнецъ извѣстнаго нашего художника В. Дм. Полѣнова. Упоминаемая въ очеркѣ, сестра ея была дѣвица Елена Дмитріевна Полѣнова, замѣчательная художница; скончалась въ 1898 году, въ Москвѣ. Неподготовленная къ дѣлу ухода за ранеными, какъ и многія другія женщины ея круга, покойная Вѣра Дмитріевна была вызвана къ подвигу самими событиями. Дѣло было въ Кіевѣ, въ годъ войны, начиная съ осени 1877 и по іюнь 1878 г. Огромный наливъ раненныхъ въ Кіевѣ не только наполнилъ приготовленные къ войнѣ лазареты Краснаго Креста и военный госпиталь, но потребовалъ быстрого приспособленія къ ихъ размѣщенію многихъ и разнообразныхъ казенныхъ зданій. Тогда-то образовались, помимо Общества Краснаго Креста, особые кружки съ цѣлью помогать больнымъ и раненымъ въ военныхъ госпиталяхъ. Около каждаго вновь открытаго госпиталя образовался такой кружокъ. Передъ читателемъ дѣятельность кружка „Круглой Башни“, сперва самаго бѣднаго средствами и персоналомъ, а потомъ отвѣтственнаго на всѣ потребности больныхъ и даже распространившаго благотвореніе за предѣлы стѣнъ госпиталя, когда имъ снабжались платьемъ, бѣльемъ и деньгами отъѣзжавшіе на родину слабые и калѣки. Передъ читателемъ „очерка“ проходитъ рядъ дамъ, работавшихъ тогда въ военныхъ госпиталяхъ Кіева. Имена ихъ обозначены инициалами. Съ своими полными именами тутъ изображены солдатики и каждый съ своимъ нравственнымъ обликомъ и фізіономією. Это—рядъ живыхъ русскихъ людей

кто тѣмъ могъ. Мѣстное Общество Краснаго Креста стало готовить въ предмѣстьяхъ города помѣщенія для лазаретовъ. Предсѣдательница дамскаго комитета, неутомимо трудившаяся съ самаго начала войны, успѣла привлечь къ этому дѣлу большія денежные средства. Краснымъ Крестомъ заготовленъ былъ полный комплектъ всего нужнаго на 300 кроватей. Казалось,—чего же лучше; ожидали того, когда эти лазареты, устроенные съ такимъ вниманіемъ къ дѣлу, начнутъ дѣйствовать.

Въ началѣ августа пришелъ первый транспортъ, но онъ далеко не наполнилъ помѣщенія: было всего нѣсколько человѣкъ больныхъ; раненныхъ совсѣмъ не было. Слѣдующіе затѣмъ поѣзда были также немногочисленны. Всѣ больные легко размѣстились въ двухъ лазаретахъ. Въ послѣднихъ числахъ августа дѣла на мѣстѣ дѣйствія неожиданно приняли другой оборотъ; стали приходиться безотрадные, страшные вѣсти... Въ Кіевѣ заговорили, что помѣщенія Краснаго Креста окажутся скоро недостаточными, что изъ-за Дуная тянутся десятки поѣздовъ, переполненныхъ ранеными, что людей придется считать не десятками, а тысячами... Слухи эти вскорѣ подтвердились положительными извѣстіями. Въ теченіе слѣдующихъ двухъ недѣль лазареты Краснаго Креста наполнились ранеными. Предсѣдательница, М. А. Др..., собрала тогда своихъ сотрудницъ и предложила имъ устроить очередныя дежурства по лазаретамъ. Предложеніе было принято съ одушевленіемъ; многочисленные члены Краснаго Креста наперерывъ стали записываться на дежурства и устремились въ лазареты. Чтобы удовлетворить общему рвенію служить раненымъ, приходилось назначать по двѣ и по три дежурныхъ въ день на каждый баракъ. Я тоже принадлежала къ числу записавшихся.

Около того времени въ Кіевъ пріѣхало новое лицо, привлекавшее общее вниманіе. То была пожилая дама, извѣстная Петербургу и не разъ уже заявившая себя въ дѣлахъ благотворенія. Она была снабжена особымъ полномочіемъ по надзору за сестрами милосердія. Къ мѣстнымъ дѣламъ Общества Краснаго Креста она отнеслась вполне безучастно и заявила, что ея пріѣздъ не долженъ никому мѣшать и ничего не измѣнить. Она только оставляла за собою право непосредственно сноситься съ назначившимъ ее лицомъ. Когда насталъ день моего дежурства, я от-

въ обстановкѣ страданія и выздоровленія, а иногда въ борьбѣ со смертью. Нѣкоторые являются съ своимъ отдаленнымъ прошедшимъ, какъ, наприм., сибирякъ съ горныхъ заводовъ; другіе передаютъ свѣжія впечатлѣнія о войнѣ. Около добровольной сестры милосердія собирается свитокъ непосредственно и правдиво переданныхъ ею народныхъ разсказовъ.—И. Х.

правилась въ лазаретъ. Дамское дежурство начиналось съ 12-ти часовъ; утромъ дамы не бывали въ госпиталяхъ, чтобы не мѣшать врачамъ и сестрамъ при осмотрѣ и перевязкѣ больныхъ. Госпиталь, въ которомъ я должна была дежурить, находился въ красивой мѣстности, на крутомъ обрывѣ, надъ Днѣпромъ; онъ былъ окруженъ сосновой рощицей и обнесенъ тыномъ. Въ ясную погоду выздоравливающіе сидѣли у воротъ. Идущіе мимо останавливались и съ умиленіемъ смотрѣли на нихъ; иные вступали съ ними въ разговоръ, предлагали самыя несложныя вопросы: „давно-ли прибыли? откуда сами? какая рана?“ Солдаты, давно прислушавшіеся къ этимъ вопросамъ, отвѣчали коротко и вяло. Но народу и этого было довольно. Въ проходящихъ чувствовалось благоговѣйное чувство къ пострадавшимъ за Христову вѣру.

Случилось мнѣ разъ повстрѣчаться на улицѣ съ поѣздомъ больныхъ и раненыхъ, которыхъ везли съ желѣзной дороги въ госпиталь. Вереница жителей тянулась вдоль базарной площади. Народъ сбѣжался со всѣхъ сторонъ и старался поближе посмотреть на раненыхъ. Легко раненые сидѣли по четыре человѣка въ коляскѣ, пожитки ихъ—тутъ же: грязныя мѣшки, узелки и ранцы. У котораго перевязана рука, у котораго голова безъ фуражки перетянута платкомъ. У всѣхъ видъ изнуренный, лица блѣдныя, усталыя. Ихъ ничто не занимаетъ, лишь бы скорѣй добраться до какого бы то ни было мѣста, лишь бы отдохнуть, расправиться, обогрѣться. Тяжело-раненыхъ везутъ такъ: носилки положены вдоль всего экипажа и упираются однимъ концомъ о возлы, другимъ о кожаный верхъ коляски. Больного видно со всѣхъ сторонъ; онъ лежитъ высоко, точно на воздухѣ, и его фигура рѣзко выдѣляется. По сторонамъ стоятъ служители и придерживаютъ носилки, чтобы не свернулись. Рѣдко слышны стоны, развѣ когда тряхнетъ на рытвинѣ. Безмолвіе полное, только народъ вокругъ колышется и, завидѣвъ тяжело-раненаго, снимаютъ шапки, крестятся. И слышны изъ толпы голоса: „За насъ, грѣшныхъ, мученіе приняли воины христілюбивые!“ Нѣкоторые подходятъ къ коляскамъ, кладутъ туда булки, баранки и, крестясь, отходятъ.

Подходя къ дверямъ госпиталя, я невольно остановилась: страхъ передъ видомъ страданій, съ которыми придется стать лицомъ къ лицу, захватилъ духъ. Воображенію представились картины въ родѣ тѣхъ, которыя мастерскою рукою такъ ярко изобразилъ великій художникъ „Войны и Мира“.

Мы вошли въ просторную прихожую. Въ сосѣдней большой комнатѣ, гдѣ лежали больные, слышался говоръ и время отъ

времени смѣхъ. Я прошла въ пріемную, гдѣ меня встрѣтила старшая сестра, монахиня, назначенная въ этотъ лазаретъ вновь прибывшею попечительницею. Мать Анатолія предложила мнѣ пройти по палатамъ. Помѣщеніе прекрасное: просторно, свѣтло, почти нарядно. Бѣлье на койкахъ свѣжее, халаты на больныхъ байковые, теплые, подушки мягкія. По стѣнамъ много маленькихъ иконъ; противъ входной двери—образъ Божіей Матери, итальянской живописи. При больныхъ двѣ сестры милосердія, двѣ сидѣлки и нѣсколько санитаровъ. Всѣхъ больныхъ человѣкъ двадцать. Трудныхъ мало, трое или четверо; остальные бодры и веселы; которые играютъ въ шашки, которые въ лото; иной пересказываетъ товарищамъ прочитанное въ газетахъ. Когда мы обошли всѣ палаты, монахиня пригласила меня къ себѣ выпить чайку, въ пріемной комнатѣ.

— Наша матушка-попечительница тутъ часто со мной чай кушаетъ,—сказала она, и сегодня ее къ себѣ ожидаемъ.

Я освѣдомилась, какъ и чѣмъ могу служить больнымъ.

— Вотъ какъ принесутъ обѣдъ; вы пойдете, посмотрите... а тамъ, можетъ быть, почитаете имъ газету сегодняшнюю. Наши дамы ихъ избаловали: имъ только и подавай, что сегодняшнія газеты, старыхъ и слушать не хотятъ,—благодушно рассказывала монахиня.

— Да вообще у васъ тутъ какъ хорошо, матушка!

— Да-съ, надо Господа Бога благодарить, недостатка ни въ чемъ не имѣемъ. Велики щедроты матушки-Государыни. И въ попечительницѣ нашей имѣемъ большое утѣшеніе. Почти каждый день посѣщаетъ насъ; ужъ къ четыремъ часамъ мы всѣ такъ и сторожимъ, не ѣдетъ ли наша княгиня, — нѣсколько нараспѣвъ говорила монахиня. Эти посѣщенія составляли, повидимому, главную ея заботу, и на нихъ сосредоточивался интересъ дня.

Мнѣ уже и прежде приходилось отъ многихъ слышать про попечительницу. Ея положеніе привлекало общее вниманіе; къ тому же было извѣстно, какими средствами она располагаетъ сама и какъ ближайшая родня главнаго уполномоченнаго. Княгинѣ Е. П. К.—ой пришлось за границей изучить организацію Краснаго Креста во время франко-прусской войны.

— Вы изъ здѣшняго монастыря, матушка?

— Нѣтъ-съ, нѣтъ-съ, я не здѣшняя. Я здѣсь никого не знаю... Я бы и не поѣхала, не будь здѣсь княгини нашей. Она меня выписала, я при ней и состою.

— Значить, вашъ монастырь далеко отсюда?

— Далеко, подѣ Москвою наша обитель, во имя Введенія Пре-

святныя Богородицы. Можетъ, слышали, чудотворная икона въ нашемъ монастырѣ находится—Казанской Божіей Матери. Много богомольцевъ стекается, и многимъ она, матушка, исцѣленіе посылаетъ. А въ прежнее время еще больше народу бывало и большіе вклады получали. А послѣдніе года труднѣе стало,—совсѣмъ мало стали жертвовать. А теперь и вовсе: го' голодъ былъ, то на войну стали жертвовать. Обителѣ-то Господни, думаютъ, всегда будутъ, а война-то да голодъ не всегда. Я казначея, — со скромностью прибавила она, — такъ пожертвованія всѣ черезъ меня идутъ, и у меня между купечествомъ родство есть, богатое родство...

— А какъ же вы познакомились съ княгиней, — вѣдь она не московская?

— Это справедливо, что онѣ не московскія, а у нихъ подмосковное имѣніе есть, всего въ трехъ верстахъ отъ нашей обители. Когда онѣ пріѣзжаютъ, то завсегда за мной и посылаютъ. И къ обѣдѣ ужъ постоянно къ намъ ѣздить...

Пока мы бесѣдовали, пришли сказать, что обѣдъ принесенъ. Я пошла въ буфетъ. Въ одной изъ палатъ я увидѣла сестру милосердія, обходившую больныхъ съ бутылкою краснаго вина; за нею шла сидѣлка съ бутылкою воды. Каждый солдатъ получалъ либо большую рюмку вина, либо чарку водки.

— Вамъ чего? — спрашивала сестра. — А вамъ? говорите же скорѣе.

— А ты проси того и другого, — совѣтовалъ сосѣдъ сосѣду.

— А мнѣ шампанскаго, — шутить другой.

— Сестрица, а ужъ вы и кошечкѣ-то моей винца отлейте, — просилъ третій. У него на койкѣ спалъ котенокъ. Всѣ эти путки сопровождались взрывомъ смѣха. Сестра не обращала на нихъ вниманія и продолжала серьезно дѣлать свое дѣло. Войдя въ буфетъ, я увидѣла двѣ большія дымящіяся кастрюли: въ одной былъ борщъ, въ другой перловый супъ. Сидѣлка и два санитары разливали въ тарелки и разносили больнымъ. Тутъ же раздавались и булки. Потомъ принесли второе блюдо: битки съ макаронами. Для трудно-больныхъ были особыя порціи: куриный супъ и котлеты. Сердце радовалось на такое изобиліе. Пообѣдавъ, нѣкоторые солдатики завернулись съ головою въ халатъ, захрапѣли; другіе вяло принялись за шашки. Я предложила почитать имъ сегодняшнія газеты. „Почитайте, сударыня! мы послушать любимъ. Ковальчукъ! газеты читать будутъ, кликну изъ той палаты Петрова, онъ все тутъ ходилъ, газетки просилъ“. Они оживились. Кромѣ газетъ, я принесла съ собою иллюстраціи съ сюжетами

войны. Въ этой палатѣ лежалъ одинъ больной, очень слабый. Его заѣдала чахотка. Такъ какъ онъ не могъ вставать, то я сѣла около его койки. Прочіе расположились вокругъ. Они привели съ собой одного болгарина, который очень интересовался событіями войны, старательно слушалъ, но почти ничего не понималъ.

Товарищи старались объяснить ему. Имъ было жаль его.

— Эхъ, болгаринъ! видно, ничему-то тебя съ молодю не учили. Отчего же мы-то понимаемъ, когда ты намъ что-нибудь говоришь.

Болгаринъ только улыбался въ отвѣтъ и кивалъ головою.

— Ну, ничего, братъ! ты слушай хорошенько, — оно тебѣ само и откроется.

Мы прочитали газеты, пересмотрѣли картины, рассказывая при этомъ, что кому припоминалось.

Дежурная сестра милосердія, въ это время, расположившись въ большомъ креслѣ, читала про себя какую-то книжку.

Фельдшеръ, которому тоже дѣлать было нечего, сновалъ взадъ и впередъ.

— Ишь, мѣста себѣ не находятъ, только слушать мѣшаютъ! — ворчали солдаты, видимо не любившіе мальчишку-фельдшера. Когда слушатели мои разошлись, я осталась около чахоточнаго и спросила его, не желаетъ ли онъ чего-нибудь. Онъ благодарилъ, сказалъ, что доволенъ всѣмъ и ни въ чемъ не нуждается.

— Кто это привезъ вамъ столько иконъ? — спросила я.

Онъ не могъ на это отвѣтить, но его смущало, что иконы развѣшаны по всѣмъ четыремъ стѣнамъ: какъ ни повернись, все придется спиною къ святымъ иконамъ. Ему это не нравилось.

Около трехъ часовъ, какъ предсказывала мать Анатолія, входная дверь широко распахнулась, и привратникъ придержалъ ее. Вошла, небольшого роста, сѣдая дама, изящно и строго одѣтая.

Все пришло въ движеніе въ лазаретѣ. Прибѣжала дежурная сестра и подошла къ ручѣй. Вышла монахиня и приложилась къ плечу. Фельдшеръ направился къ своему шкафу.

— Я буду у васъ чай пить, — сказала дама, обращаясь къ монахинѣ.

Это была попечительница.

Я тоже подошла къ ней. Монахиня назвала меня и прибавила, что я сегодня дежурю одна.

Княгиня поклонилась мнѣ и попросила меня послѣдовать за нею въ палаты.

Мы пошли.

— *Rauvre homme!* — проговорила она, въ полуоборотъ, взглянувъ на меня: — *rauvre homme! ses jours sont comptés.* — Она вздохнула. Мы проходили мимо кровати чахоточнаго.

Надо замѣтить, что княгиня К. съ трудомъ выражалась по-русски; роднымъ языкомъ былъ для нея французскій языкъ — привычка долгихъ лѣтъ. Она была проникнута новымъ своимъ призваніемъ, но привычки иной жизни, взгляды и приемы прежнихъ годовъ остались въ ней. Она была изъ тѣхъ натуръ, которыя застываютъ въ извѣстныхъ формахъ и остаются живыми типами прежняго времени.

Мы продолжали нашъ обходъ.

— *Celui-là devra subir une terrible opération,* — обратилась она опять ко мнѣ, и при этомъ пожала плечами, какъ бы выражая, что нисколько въ этомъ не повинна.

Обойдя палаты, мы вернулись въ приемную.

— Я тутъ привезла... привезла... сестра, подайте мнѣ этотъ ящикъ.

Ей подали жестяной ящикъ съ англійскими бисквитами.

— Мы возьмемъ немного съ нашимъ чаемъ, а потомъ вы раздайте нашимъ больнымъ.

Мать Анатолія благодарила, кланялась и умилялась.

Такъ какъ дѣлать было больше нечего, то я откланялась и пошла домой, предоставивъ монахинѣ улаживаться бесѣдой съ своей попечительницей.

Въ половинѣ сентября пришла вѣсть, что на Кіевъ направленъ большой транспортъ больныхъ, что за этимъ транспортомъ скоро послѣдуетъ другой, и что этотъ другой будетъ не послѣдній.

Общество Краснаго Креста отказалось принимать въ свои лазареты большее, противъ установленнаго, число людей; въ виду неопредѣленнаго положенія дѣлъ за Дунаемъ, война могла затянуться, и тогда могло бы случиться, что у Общества не хватитъ средствъ вести дѣло до конца. А Общество наше отличалось самыми солидными качествами — большою осторожностью и предусмотрительностью, и ничего не предпринимало очертя голову.

Попеченіе о вновь прибывающихъ раненыхъ всею тяжестью легло на военную администрацію. На ея долю выпадала задача потруднѣе нашей, членовъ Краснаго Креста, ибо она, въ противоположность намъ, ничего не предусматрѣла и ни къ чему не была подготовлена. Приходилось начинать дѣло съ самаго на-

чала, т.-е., съ присканія помѣщеній. Въ распоряженіи военнаго вѣдомства не было свободныхъ помѣщеній, кромѣ постоянного госпиталя, стараго, массивнаго зданія, пропитаннаго міазмами. Складывать задунайскихъ больныхъ въ эти зараженные палаты никому не было охоты. На первый случай очистили казармы и на скорую руку приготовили въ нихъ пріютъ для перваго подвоза раненыхъ.

II.

То было горячее время. Военныя власти хлопотали и трудились, не зная ни отдыха, ни покою. Да и можно ли было думать о покоѣ при такихъ необычайныхъ обстоятельствахъ! Распоряженія, запросы, извѣщенія сыпались какъ градъ,—часто противорѣчили одно другому, часто весьма стройныя на бумагѣ, но непримѣнимыя на дѣлѣ. На все это надо было отвѣчать, все примирять и улаживать, а главное—къ извѣстному, очень близкому числу—требовался госпиталь на четыреста кроватей. Да и самое формированіе военно-временнаго госпиталя—дѣло далеко не такое простое и легкое, какъ бы оно могло казаться со стороны.

„Въ мирное время у насъ не существуетъ военно-временныхъ госпиталей.

„Будущія составныя части каждаго военно-временнаго госпиталя разбѣяны въ разныхъ пунктахъ имперіи, и собрать ихъ во-едино, для образованія новаго госпиталя, предоставляется нѣсколькимъ инстанціямъ...

„Матеріальная сторона госпиталя собирается по распоряженію трехъ инстанцій: военно-окружного, военно-медицинскаго и полевого управленія, частью изъ различныхъ складовъ, разбѣянныхъ по имперіи, частью же на мѣстѣ, посредствомъ купли или продажи. Очевидно, что при такомъ порядкѣ вещей, быстрота при формированіи немыслима“¹⁾...

Однако, къ чести и славѣ администраціи, госпиталь былъ открытъ къ пріѣзду транспорта, и въ него сложили больныхъ и раненыхъ.

Вслѣдъ за казармами, опростали арсеналь и тоже превратили въ военно-временный госпиталь. Къ концу мѣсяца и арсеналь переполнился больными. Но мѣста все еще было недостаточно. Послѣдовало распоряженіе очистить острогъ. Арестан-

¹⁾ Изъ книги Н. И. Пирогова.

товъ вывели и въ острогѣ приспособили наскоро помѣщеніе на пятьсотъ человѣкъ.

Въ теченіе мѣсяца въ городѣ были открыты три военно-временныхъ госпиталя, пріютившіе въ своихъ стѣнахъ въ восемь разъ больше людей, нежели лазареты Краснаго Креста.

Въ городѣ начали распространяться слухи, что въ военныхъ госпиталяхъ очень плохо,—скудость во всемъ крайняя, а въ иномъ и полные недостатки. Военныя власти обратились, частнымъ образомъ, за частною неофициальною помощью, но въ это время почти вся частная помощь уже была привлечена къ Красному Кресту.

До насъ, членовъ дамскаго комитета, тоже доходили слухи о безпомощномъ положеніи больныхъ въ военныхъ госпиталяхъ, и мы душою скорбѣли о нихъ; но при видѣ своихъ больныхъ, которымъ такъ было хорошо, которые ни въ чемъ не нуждались, мы невольно успокоивались, и, глядя на нихъ, отводили душу.

Нашлись, однако, дамы, которыя, оставивъ Красный Крестъ, начали посѣщать военные госпитали. Но таковыхъ было очень мало.

Въ числѣ первыхъ, занявшихся военными госпиталями, была молодая женщина, также какъ и княгиня К., чужая въ городѣ, и тоже пріѣхавшая издалека. Ея имя, независимое положеніе, молодые года—сразу привлекли вниманіе городского общества, и о ней много стали говорить. Сначала думали, что она находится проездомъ и направляется за Дунай, но затѣмъ узнали, со стороны, что она намѣрена поселиться въ Кіевѣ на все время войны и посвятить себя уходу за больными военныхъ госпиталей. Это извѣстіе еще болѣе привлекло къ ней интересъ общества. Всякій, видѣвшій ее или имѣвшій что-либо рассказать о ней, пріобрѣталъ особое значеніе. Сама она нигдѣ не появлялась и о себѣ никому ничего не рассказывала, такъ что по неволѣ приходилось собирать о ней свѣдѣнія со стороны и выслушивать рассказы изъ третьихъ и четвертыхъ устъ. Въ разсказахъ она являлась подвижницей—сама перевязывала и промывала раны, присутствовала геройски при самыхъ трудныхъ операціяхъ, не боялась заразы, не щадила ни здоровья, ни силъ... Цѣлые дни, а иногда и часть ночи проводила она въ военныхъ госпиталяхъ, внося не только личный свой трудъ, но помогая много и деньгами. Она располагала большимъ состояніемъ. Все это вызывало во многихъ восторженное чувство. Общество съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдило за ней и ждало, когда она, наконецъ, появится въ городѣ и объѣдетъ—если не всѣхъ, то,

по крайней мѣрѣ, главныхъ представителей дѣла попеченія о больныхъ войнахъ. Но дни проходили за днями, она не появлялась въ свѣтъ; напротивъ, она какъ будто умышленно избѣгала встрѣчи со всѣми, кто не имѣлъ прямого отношенія къ избранной ею дѣятельности, и визитовъ никому не дѣлала. Вскорѣ, тоже стороною, мы узнали, что она прямо не желаетъ примкнуть къ дамскому Обществу Краснаго Креста.

Въ это время мнѣ случилось провести вечеръ въ семьѣ К—выхъ, посѣщавшихъ военные госпитали. Семью составляли мать, дочери и племянница. Разумѣется, весь вечеръ былъ посвященъ разговору о военныхъ госпиталяхъ.

Городскіе слухи не были преувеличены. Разказы этихъ дамъ были такого рода, что мысль о томъ, что въ нашихъ лазаретахъ все такъ прекрасно, потеряла свою прелесть и даже смыслъ. У насъ была полная чаша, тамъ почти голо, скучно, безпорядокъ, недостатокъ рукъ, отсутствіе сестеръ, недостатокъ докторовъ, инструментовъ, перевязочныхъ матеріаловъ, и т. д., и т. д.

Въ теченіе мѣсяца военной администраціи пришлось устроить заново три госпиталя, въ которыхъ теперь находилось болѣе 2.000 человекъ. Никто не былъ подготовленъ и не ожидалъ такого количества раненныхъ. Въ то время, какъ мы думали, что уже овладѣли Балканами и готовились торжественно продолжать побѣдоносный путь къ стѣнамъ Константинополя, войско наше неожиданно очутилось передъ стѣнами Плевны—непреступными, несокрушимыми стѣнами, за которыми крылось для насъ столько разочарованій и всякаго горя...

— Возмущаться тутъ нечего, а надо помогать, — замѣтила м-ше К—ва.

И она сама и семья работали; одна изъ нихъ готовила небольшую подушку изъ перьевъ (въ госпиталяхъ подушки были набиты соломой); другія готовили бинты и тряпки; сама м-ше К—ва шила кисеты.

Барышни рассказывали, что онѣ учатся перевязкѣ, за отсутствіемъ сестеръ милосердія. Онѣ стали звать меня въ свой госпиталь, куда сами ѣздили ежедневно, и гдѣ проводили часто цѣлый день.

— Вѣдь у васъ, отъ вашихъ дежурствъ въ Красномъ Крестѣ, остается много времени?—спросила одна изъ барышень.

Времени оставалось сколько угодно. Да, наконецъ, я всегда могла пропустить свое дежурство безъ ущерба для больныхъ, потому что со мною вмѣстѣ всегда дежурила еще другая дама, такая же бесполезная, какъ и я сама, потому что, кромѣ насъ,

при больныхъ были сестры милосердія, монахиня и цѣлѣйшій штатъ прислуги. Я съ благодарностью приняла предложеніе заѣхать за мной завтра.

III.

На слѣдующее же утро, къ девяти часамъ, онѣ пріѣхали ко мнѣ, захватили меня, и мы отправились вмѣстѣ въ отдаленный, загородный госпиталь, гдѣ онѣ работали. Госпиталь находился въ двухъ верстахъ отъ города, въ зданіи, которое зовется *башня*. Это—самый отдаленный изъ всѣхъ военно-временныхъ госпиталей. Въ до-военное время въ немъ помѣщались арестанты.

Намъ случилось и прежде проѣзжать мимо этого неуклюжаго зданія, болѣе похожаго на крѣпостную постройку, нежели на тюрьму. Въ давно прошедшее время оно дѣйствительно составляло часть крѣпостныхъ фортификацій, нынѣ упраздненныхъ, и служило сторожевой башней. Въ массивныхъ стѣнахъ зданія пробиты вверху маленькія окна, выглядывающія изъ глубокихъ амбразуръ, перегороженныхъ чугунными рѣшетками. Въ нижней части зданія оконъ совсѣмъ нѣтъ, а только узкія отверстія, въ родѣ бойницъ, что придаетъ зданію мрачный, нежилой видъ.

Свернувъ съ шоссе, мы ѣхали пустыремъ, по немощеной дорогѣ.

Поровнявшись съ башнею, экипажъ нашъ свернулъ, и мы вѣѣхали подъ низкія, темныя ворота, похожія на туннель. Эти ворота ведутъ во внутренній дворъ тюремнаго замка—небольшой квадратный дворикъ, замкнутый съ четырехъ сторонъ стѣнами. Съ внутренней стороны тюрьма производитъ совсѣмъ иное впечатлѣніе, нежели снаружи. На дворахъ оживленіе. Служители качаютъ и черпаютъ воду. У одного изъ подъѣздовъ въ рядъ стоятъ нѣсколько экипажей, указывающихъ на присутствіе въ госпиталѣ врачей. На солнечной сторонѣ, на лавочкахъ сидятъ больные. Завидѣвъ насъ, они плотнѣе закрывались въ свои сѣрые халаты.

Коляска наша остановилась передъ одной изъ входныхъ дверей. Къ намъ на встрѣчу выбѣжали нѣсколько служителей. Екатерина Николаевна и барышни стали передавать имъ привезенные изъ дому припасы, разные узелки, бутылки, свертки...

— Д-ръ Якимовскій здѣсь?—спросила одна изъ барышень.

— Только сейчасъ пріѣхалъ, еще больныхъ не смотрѣлъ,—отвѣтилъ служитель.

— Значить, я не опоздала!—сказала барышня, поспѣшно

выходя изъ экипажа и направляясь къ противоположной сторонѣ двора.

— Ольгино отдѣленіе съ той стороны!—пояснила мнѣ Екатерина Николаевна.—Она очень озабочена двумя больными, и сама съ ними совсѣмъ измучилась. Я такъ боюсь, что она заболѣетъ. Ночью не можетъ спать, все о нихъ думаетъ,—съ безпокойствомъ говорила мать, слѣдя за дочерью.

Мы тоже вышли изъ экипажа и прошли черезъ огромныя двери, размѣромъ больше похожія на ворота, нежели на дверь, и стали подниматься по большой крутой каменной лѣстницѣ во второй этажъ, гдѣ помѣщалась бѣлая часть больныхъ.

Эта постройка поражала своею массивностью, неуязвимостью и несообразностью. Зданіе раздѣляется на нѣсколько отдѣленій, которыя сообщаются между собою холодными переходами; лѣстницы тоже не топятъ.

Отдѣленія соединены арками и дверей не имѣютъ. Вѣтеръ такъ и свищетъ сквозь маленькія наружныя оконца; замѣнутый же со всѣхъ сторонъ дворикъ задерживаетъ притокъ свѣжаго воздуха,—обстоятельство, на которое очень жалуются медики, боясь, что въ госпиталѣ засядетъ зараза...

Дочери и племянница Екатерины Николаевны разошлись каждая въ свое отдѣленіе. Мы остались съ ней вдвоемъ.

На верхней площадѣ лѣстницы, у стѣны, подъ окномъ, стоитъ койка, и на ней, покрытый съ головою сѣрымъ суконнымъ одѣяломъ, лежитъ человѣкъ; изъ-подъ одѣяла торчатъ посинѣвшія ноги.

Я сразу не поняла.

— Покойникъ,—сказала моя спутница и, перекрестясь, прошла мимо.

Служитель, шедшій за нами, звякнулъ запоромъ, толкнулъ тяжелую дверь, и мы вошли въ отдѣленіе, которое взяла подъ свое попеченіе Екатерина Николаевна. Отдѣленіе это состоитъ изъ семи палатъ, большихъ, продолговатыхъ комнатъ, съ оштукатуренными голыми стѣнами и потемнѣвшими сводами. По обѣимъ сторонамъ въ рядъ, изголовьемъ къ стѣнѣ, стоятъ койки. Десять коекъ направо, десять—налѣво. Въ одномъ концѣ комнаты окно, выходящее во дворъ; въ другомъ—два маленькія оконца, почти подъ потолкомъ, черезъ которыя свѣтъ едва проникаетъ, заслоненный толщиною стѣны и тѣнью отъ чугунныхъ рѣшетокъ.

При входѣ въ каждую палату, Екатерина Николаевна здоровалась съ больными. Они уже всѣ знали ее, и оживились при

ея появленіи, ласково и почтительно отвѣчая на привѣтствіе „ея высокопревосходительства“.

— У меня тутъ есть одинъ совсѣмъ плохой; я думала, что онъ вчера кончится, но вотъ, говорятъ, онъ до сихъ поръ еще дышетъ.

— Да ему вчера бы и надо помереть,—сказалъ старикъ-служитель, несшій провизію за генеральшей:—да фершалъ тревожилъ его.

— Что онъ сдѣлалъ?

— Душа-то ужъ совсѣмъ выходить стала, я ему и глаза полотенчикомъ прикрылъ, а фершалъ пришелъ, да капель ему какихъ-то далъ, да нюхать давалъ изъ пузырька... оживить не оживилъ, а только душѣ тягость нанесъ.

Мы входили въ палату, гдѣ мучился умирающій. Въ глубинѣ ея, на одной изъ коекъ, лежала человѣческая фигура, съ покрытымъ чистою тряпичею лицомъ. Руки были сложены сверхъ одѣяла крестообразно на груди. Время отъ времени грудь его поднималась толчками, и изъ нея вырывались уже не вздохи, а хрипая, тяжелая икота. Но и эта икота становилась разъ отъ разу слабѣе, грудь вздымалась все рѣже и рѣже. Въ палатѣ вокругъ было тихо; больные говорили между собою шопотомъ; они читли покой отходящаго товарища. Всѣ они были возмущены и роптали на фельдшера, помѣшавшаго душѣ въ мирѣ разстаться съ тѣломъ.

Мы прошли дальше. Тутъ ужъ ничья помощь не была нужна.

По пути Екатерина Николаевна подходила къ войкамъ самыхъ слабыхъ, ласково обращаясь къ нимъ и сообщая, что она привезла для нихъ изъ дому.

По всему было замѣтно, что скудость велика.

— Хотите пройти и въ другія отдѣленія?—сказала она мнѣ, когда мы дошли до послѣдней палаты.—У насъ до сихъ поръ два отдѣленія не имѣютъ сестеръ и дамъ и сиротствуютъ. Вѣдь сестеръ милосердія здѣсь совсѣмъ нѣтъ,—все общаются, но до сихъ поръ не даютъ.

Она рассказала мнѣ, какимъ онѣ застали этотъ госпиталь послѣ его открытія (онѣ были первыя, которыя вошли въ это мѣсто лишеній и скорби), что на первыхъ порахъ недостатки были еще больше и отсутствіе рукъ помощи еще ощутительнѣе. Въ то время недоставало коекъ, и больныхъ складывали на нары прямо на соломенную подстилку... Хотя теперешніе тюфяки немногимъ мягче соломенной подстилки, но все-таки это тюфяки, положенные на отдѣльные койки.

— Въ началѣ, почти одновременно съ нами, — говорила Екатерина Николаевна, — госпиталь этотъ посѣщала вмѣстѣ съ своими докторами молодая гр. П—на. Вы, вѣрно, слышали о ней? — спросила меня Екатерина Николаевна.

— Конечно, въ Кіевѣ о ней нельзя было не слышать.

— Вѣдь у нея очень большое состояніе, и надо сказать правду, она много даетъ и много помогаетъ деньгами... Но она скоро бросила нашъ госпиталь и занялась другимъ, — кажется, редуитомъ. Еще средства кое-какъ можно собрать, намъ уже и теперь многіе жертвуютъ; но, главное, намъ были нужны помощницы.

Говоря со мною, она слѣдила за старикомъ-служителемъ, который устанавливалъ на столѣ и заправлялъ версиновую кухню. Когда свѣтильни разгорѣлись, она поставила разогрѣвать молоко, привезенное ею изъ дому.

— Если вы сегодня свободны, — обратилась она опять ко мнѣ, — то я васъ сведу въ IV-е отдѣленіе. Пробудьте тамъ, хотя нѣсколько часовъ, попробуйте обѣдъ; начальниѣ госпиталей, ген. К—въ, просилъ насъ наблюдать за тѣмъ, чтобы пища всегда была свѣжа, такъ что мы имѣемъ это право... напишете имъ письма, почтаете имъ... фельдшера за все съ нихъ берутъ деньги. Тамъ есть тоже много трудныхъ и слабыхъ больныхъ, и такіе они одинокіе. А у каждой изъ насъ столько своего дѣла, что мы рѣшительно не успѣваемъ туда ходить. Тамъ у меня есть два знакомыхъ казака и двое трудныхъ... Пройдемте туда?

— Пойдемте.

Впечатлѣнія, черезъ которыя я только-что прошла, были такія новыя и потрясающія, что я растерялась. Это было состояніе, въ которомъ человѣкъ не въ силахъ дѣйствовать по своей волѣ, ищетъ опоры въ чужой волѣ и чужомъ указаніи и радъ ухватиться за все, лишь бы выйти изъ-подъ этихъ, не подъ силу гнетущихъ впечатлѣній.

— Я сейчасъ вернусь къ вамъ! — обратилась она къ вучкѣ больныхъ, столпившихся за нею и ожидавшихъ, когда она обратитъ на нихъ вниманіе.

Они разступились, и мы прошли въ входныя двери. Чтобы попасть въ IV-е отдѣленіе, надо было опять пройти черезъ холныя сѣни.

IV.

Когда мы появились, все пришло въ движеніе; больные видимо обрадовались. Многія лица засвѣтились ласковою улыбкою; тѣ, которые не были прикованы болѣзнію къ койкамъ, задвигались, стали сползать съ нихъ. Мы, повидимому, были давно ожидаемыя и желанныя посѣтительницы. По мѣрѣ того, какъ мы подвигались впередъ, къ намъ примыкали одинъ за другимъ больные. Каждый имѣлъ какое-нибудь дѣльце, что-нибудь сообщить или о чемъ-нибудь попросить генеральшу. Слабые подымали насъ къ койкѣ. Который просилъ листовъ почтовой бумаги, или конвертикъ; который—марку; который несъ уже написанное письмо, прося отправить изъ города на почту. Одинъ подавъ три копѣйки, съ просьбою поставить за его здоровье свѣчу въ Печерской Лаврѣ. Другой просилъ чистыхъ тряпокъ, утирать больные, воспаленные глаза, и показавъ намъ свою грязную, закорузлую тряпку, пропитанную гноемъ и лекарственными примочками. Со стороны все это могло показаться всѣмъ такими бездѣлицами и пустяками, но для больного, одинокаго и безпомощнаго, часто прикованнаго къ своей койкѣ, такая бездѣлица иногда представляеть великую важность.

Одинъ изъ трудно-больныхъ подозвалъ насъ къ своей койкѣ и разбитымъ болѣзнію, но вмѣстѣ раздраженнымъ голосомъ, сталъ говорить, что ему здѣсь плохо, что онъ прежде лежалъ въ хорошемъ госпиталѣ, гдѣ ихъ поили чаемъ дважды въ день и гдѣ давали вина передъ обѣдомъ и всего, что только пожелаешь, и милосердныхъ сестеръ тамъ было много; а что тутъ фельдшеръ, какъ станетъ ему рану перевязывать, каждый разъ ее хуже разбередить, да еще ругается, а ему что ни день, то хуже становится.

У него давно, видно, накипѣло на сердцѣ, и теперь, высказывая свое горе, онъ отъ нервности и раздраженія едва сдерживалъ слезы.

Екатерина Николаевна записала его имя и сказала, что постарается перевести его въ другое отдѣленіе—хирургическое. Въ слѣдующей комнатѣ къ намъ подошли три казака, — красивый, молодой народъ,—и стали усердно просить выхлопотать имъ отпущъ на родину, до полной поправки. Они томились тутъ, какъ въ тюрьмѣ, вся эта обстановка была противна ихъ вольной, удалской природѣ.

— Мы тамъ, сестрица, скорѣе поправимся, у себя на Дону,

да опять въ Турцію и махнемъ; у насъ тамъ на примѣтѣ турки остались,—лукаво улыбаясь, говорилъ одинъ изъ нихъ.

— Вотъ я вамъ новую сестрицу привела,—сказала Екатерина Николаевна, указывая на меня.—Вы теперь ужъ идите къ ней со всѣми своими дѣлами и просьбамъ.

На этотъ разъ больные оглядѣли меня внимательнѣе, кто съ любопытствомъ, а кто съ сочувствіемъ. Они уже давно прослышали, что въ тѣхъ отдѣленіяхъ, куда ѣздятъ сестры, больнымъ лучше живется и много кой-чего перепадаетъ сверхъ казеннаго положенія.

— А вотъ тутъ и мои трудные лежатъ,—сказала Екатерина Николаевна, когда мы дошли до крайней палаты. Она повернула въ глубину ея. Въ самомъ углу, на послѣдней койкѣ, лежалъ маленькій, съѣжившійся человѣчекъ, почти ребенокъ. По его лицу трудно было опредѣлить его годы: такъ это лицо осунулось и изсохло. Широкія скулы выдались, обозначаясь снизу глубокой впадиной, замѣнившей щеки; вокругъ ввалившихся глазъ образовались темные круги; ротъ былъ полуоткрытъ; нижняя челюсть тряслась отъ слабости и крайняго изнуренія, до котораго такъ быстро доводитъ эта разрушительная болѣзнь.

Екатерина Николаевна объяснила мнѣ, что это — татарченочекъ, изъ крымскихъ, и что онъ едва говорить и плохо понимаетъ по-русски.

И дѣйствительно, лежитъ онъ поодаль отъ другихъ—одинокій и чуждый всѣмъ. И болѣзнь такая, что по неволѣ уйдешь отъ него подалеже; да, кромѣ того, они всѣ знаютъ, что онъ съ турками одной вѣры, такъ что—ни участія къ нему, ни жалости... Да вѣдь и на долю прочихъ много ли перепадаетъ участія или ласки... А въ большинствѣ и сами они такъ надорваны и измучены, что имъ не до другихъ. У каждаго есть свое горе, своя забота, которая гложетъ сердце, и всѣ они чувствуютъ себя одинокими среди этой чуждой, казенной обстановки.

Екатерина Николаевна подошла къ койкѣ татарина. Вокругъ стоялъ смрадъ, который не могъ заглушить даже запахъ карболовой кислоты.

— Что ты, бѣдный,—сказала она ему,—плохо тебѣ?

— Плохо, ваще пр-ес-хо-ди-т-со,—едва передвигая пересохшими и перетрескавшими губами, съ усиліемъ проговорилъ мальчикъ. И затѣмъ, уставивъ на нее свой мутный, потерянный взглядъ, онъ снова зашевелилъ губами: — пить... пить! — едва внятно произнесъ онъ.

— Тебѣ все пить хочется!.. Я ему иногда привожу мин-

дальнаго молока изъ дому, но сегодня не привезла; а то молоко, которое приносятъ изъ аптеки, пить нельзя... *Pauvre garçon*, — продолжала она, — *le médecin l'a condamné, et on ne fait plus attention à lui.*

Но въ его видѣ поражало не то, что онъ безнадеженъ, а то, что онъ еще живъ и можетъ двигаться.

Екатерина Николаевна сдѣлала замѣчаніе палатному служителю, что больной не довольно чисто содержится.

— Да ничего не подѣлаешь, — оправдывался тотъ: — бѣлья не напасешься; каждый день смѣняю, а иной день — и два раза, — ничего не подѣлаешь, — ужъ померъ бы хоть скорѣе, — да, ей-Богу, вѣдь все равно одинъ конецъ, — ворчалъ служитель, которому, видно, не въ моготу надоѣлъ этотъ татарченкокъ.

— А вотъ тутъ и другой больной, тоже плохой, — продолжала Екатерина Николаевна, дѣлая видъ, что не слышитъ воркотни солдата. Она наклонилась надъ больнымъ. — Онъ спитъ, — понижая, по привычкѣ, голосъ, сказала она: — вчера еще онъ просилъ причаститься, но священника не застали дома. Чтò, былъ сегодня священникъ? — обратилась она къ сосѣду больного.

— Никакъ нѣтъ, ваше высокопревосходительство, не приходили еще... — привставая и сядя на койкѣ, почтительно отвѣчалъ солдатикъ.

Она опять подозвала служителя, и на этотъ разъ строгимъ голосомъ приказала немедленно сходить вторично за священникомъ и попросить его придти.

Служитель ушелъ.

— Ну, вотъ, — сказала она, обращаясь ко мнѣ, — я теперь вернусь къ себѣ, а вы... если хотите, останьтесь здѣсь. — И она ушла.

Я осталась.

Не остаться было невозможно. Всякое колебаніе или сомнѣніе разбивалось о то, чтò было передъ глазами; надо было только собраться съ духомъ, совладать съ собою и превозмочь ту робость, которая охватила душу и отняла свободу движеній и дѣйствій.

Я не знала, съ чего мнѣ начать, какъ подойти къ нимъ и завязать первыя отношенія, частью отъ застѣнчивости и непривычки къ дѣлу, частью же отъ перевернувшей всю душу жалости и какого-то смутнаго чувства виновности передъ этими людьми. Но мнѣ недолго пришлось находиться въ этомъ тяжеломъ состояніи; меня вывели изъ него больные.

— Сестрица,—позвалъ меня одинъ изъ нихъ:—сестрица, пожалуйста-ка сюда!

Я пошла машинально къ мѣсту, откуда меня позвали.

— Посмотрите, голубушка, не пора ли руку-то съ ванной вынуть? Вода-то ужъ совсѣмъ остыла, да и здоровая-то рука совсѣмъ отерпла.

Заговорившій со мною былъ раненый.

Онъ полулежалъ на койкѣ, опираясь всею тяжестью тѣла на локоть здоровой руки; больную же руку онъ держалъ въ тазу съ водою, настоенной душистыми травами. Онъ усталъ отъ этого долгаго, неестественнаго положенія, и его начало сводить судорогою.

— Фершалъ сказалъ: „Подожди полчаса, а тамъ я приду—забинтую тебѣ“. А ужъ теперь, пожалуй, и полный часъ прошелъ, а его все нѣту.

Вода, дѣйствительно, совсѣмъ остыла.

— Я даже и весь заябъ черезъ нее,—указывая подбородкомъ на больную руку, продолжалъ раненый.

Я помогла ему вынуть руку изъ тазика.

— Вотъ, сестрица, бинтикъ-то мой; надо бы маленько корпѣйки съ масломъ... да ужъ не знаю; сказалъ—принесетъ, да, вишь, до сихъ поръ нѣту.

Больной, кажется, рассчитывалъ, что у сестры найдется запасецъ; но у сестры ничего не было.

— Ничего, пока такъ забинтуемъ,—ласково глядя на меня, продолжалъ раненый:—тряпочку приложимъ; вотъ, у меня тамъ, подъ подушкой, есть положена тряпочка чистая; вы достаньте, сестрица.

Я достала тряпочку.

— Да съумѣю ли я?.. А какъ я тебѣ больно сдѣлаю?—сказала я.

Онъ посмотрѣлъ на меня и, видимо, соображалъ, что же я такое, если не умѣю руки забинтовать.

— Ничего, я вамъ покажу; она просто бинтуется.

Онъ показалъ мнѣ, откуда начать и какъ оборачивать бинтъ на стибѣ. Рана уже поджила, но рука опухала и въ ней время отъ времени дѣлалась ломота. Слѣдуя его указаніямъ, я старательно, но все-таки неловко и нетвердо стала забинтовывать ему руку. Ему, видимо, было жалко, что я трачу столько усилій на такое простое дѣло.

— Ничего, сестрица, ничего, — ободрялъ онъ меня,—лишь

бы не свалился. Видишь, какъ славно!—и онъ здоровой рукой приподнималъ забинтованную руку.—Ну, спасибо.

Пока мы занимались этимъ дѣломъ, около насъ собралось нѣсколько человѣкъ.

— Сестрица, у меня до васъ дѣльце есть,—сказалъ одинъ изъ нихъ.

— Что такое?

— Вотъ я вамъ денегъ принесъ,—купите мнѣ въ городѣ трубочку да табачку четвертку, да ужъ если будетъ ваша милость, такъ и кисетикъ... хошь какой ни на есть... простой.

— Сестрица, и мнѣ кисетикъ, пожалуй.—И мнѣ!—И мнѣ!—послышалось со всѣхъ сторонъ.—Въ тѣхъ отдѣленіяхъ сестрицы всѣмъ больнымъ кисеты пораздавали.

— Пойдите, братцы, вѣдь я первый разъ у васъ; у меня еще ничего нѣту.

— Да мы это такъ, сестрица,—можно и послѣ, когда у васъ будутъ...

Первый, попросившій кисетъ, подалъ мнѣ восемь копѣекъ на свои покупки.

— А вы что пришли?—спросила я у остальныхъ.

— Намъ бы по письмецу написать домой; намъ ужъ давно сестрицы пообѣщали написать, да все, вишь, времени нѣту.

Я пошла-было за ними, но остановилась, замѣтивъ, что больной, желавшій причаститься, ворочается на койкѣ и стонетъ. Я подошла къ нему.

Онъ, видно, крѣпко заснулъ, ибо сразу не могъ очнуться и съ просонья крестилъ лицо, прибирая молитвенныя слова. На видъ это былъ человѣкъ среднихъ лѣтъ (впрочемъ, наши опредѣленія оказывались, въ большинствѣ случаевъ, ошибочными; судя по виду, эти люди казались гораздо старше своихъ лѣтъ; такъ и тутъ—ему былъ всего тридцатый годъ, а казалось—подъ-пятьдесятъ). Большое его лицо было некрасиво, крупныя, неправильныя черты, и въ выраженіи—что-то грубое, неподвижное; но это выраженіе вдругъ измѣнялось, когда онъ принимался рассказывать или улыбался больше глазами, нежели ртомъ,—и тогда на его лицѣ свѣтилось что-то безпомощное, дѣтское и доброе...

Когда онъ увидалъ меня, его неподвижное лицо не выразило ни удивленія, ни удовольствія.

— Мнѣ бы причаститься,—медленно сказалъ онъ. Онъ уже много разъ обращался все съ той же просьбой ко всякому, кто подходилъ къ нему.

— Священникъ сейчасъ придетъ, — сказала я. Служитель принесъ уже отвѣтъ, что священникъ въ госпиталѣ, обходитъ всѣ отдѣленія.

Мы приготовили столикъ у изголовья койки, покрыли его чистымъ полотенцемъ; такъ какъ въ палатахъ иконъ не было, то служитель сбѣгалъ внизъ и принесъ свою икону. Больного приподняли и прислонили къ подушкамъ. Въ ожиданіи прихода священника, я стала читать Евангеліе. Минуть черезъ пять вошелъ батюшка.

— Есть здѣсь больные, желающіе причаститься? — спросилъ онъ.

Получивъ утвердительный отвѣтъ, онъ подошелъ къ койкѣ больного, торопливо развернулъ пелену, разложилъ ее на столѣ, поставилъ запасные св. дары, крестъ и Евангеліе, продѣлъ голову въ эпитрахиль и приступилъ къ совершенію обряда. Въ палатѣ водворилась глубокая тишина.

Больные, которые могли, стояли, а прочіе, сидя на койкахъ, кляли кресты.

Прочтя скороговоркою двѣ-три молитвы, священникъ наклонился надъ больнымъ, накрылъ его эпитрахилью, сдѣлалъ ему въ полголоса нѣсколько вопросовъ, отпустилъ грѣхи и причастилъ „раба Божія Маркелла“.

— Другихъ желающихъ у васъ нѣту? — обратился онъ ко мнѣ, окончивъ требу, и затѣмъ прошелъ въ слѣдующее отдѣленіе.

Я осталась около своего причастника и послала служителя къ Е. Н. К.—вой попросить для него чаю.

Сознаніе, что онъ исполнилъ важный долгъ и что теперь главная забота отлегла отъ сердца, благотворно подѣйствовало на больного. Выпивъ чай съ краснымъ виномъ, онъ замѣтно приободрился и желалъ побесѣдовать.

Онъ разсказалъ мнѣ, гдѣ и какъ былъ раненъ, какъ попалъ въ солдаты...

Говорилъ онъ съ разстановкою, мѣрно, немного нараспѣвъ. Время отъ времени, онъ прерывалъ свой разсказъ... остановится, отдохнетъ и опять продолжаетъ.

— Внутреня-то у меня ужъ давно повреждена; еще до некрутинны года за три я съ крыши съ церковной упалъ... крестъ мы ставили... насъ тогда четыре человѣка сорвалось. Двое померли, одинъ руку сломалъ, а я спину себѣ перешибъ, да и внутреню, должно полагать, стряхнулъ. Года съ полтора я тогда лежалъ, а потомъ сталъ поправляться, на работу началъ ходить.

— Какъ же ты это, такой разбитый, въ солдаты попалъ?

— Да оно вотъ какъ вышло, сестрица. Мнѣ бы и совсѣмъ не слѣдовало идти, по закону, значить: отецъ-то у насъ померли, а брату съ Пасхи семнадцатый годъ пошелъ,—я въ семьѣ старшой, кормилецъ,—вотъ и поплы мы съ матерью въ городъ. Иди, говорятъ, въ присутствіе. Пришли, подождали. И пришлось-то мнѣ изъ послѣднихъ идти, ужъ къ вечеру дѣло-то было, а господа-то ужъ приустали, не стали меня свидѣтельствовать,—какъ я вошелъ, прямо и говорятъ: годится, запиши его, молъ. Такъ меня и забрали. Мать туда-сюда посовалась, посовалась,—да кто же ее, бабу, слушать станеть? Тогда сказывали, что кабы отецъ былъ живъ, такъ, можетъ, и отстоялъ бы, а у насъ, значить, некому было похлопотать. Вотъ я и пошелъ.

Онъ остановился и послѣ молчанія...

— И пошелъ,—продолжалъ онъ.—Командиръ видитъ, что я ходокъ-то плохой: ты, говоритъ, садись въ транспортъ, а то ты не дойдешь, дай Богъ ему здоровья. Такъ я и поѣхалъ.

— Какъ мы за Дунай-то перешли,—тутъ ужъ въ транспортъ ѣхать было нельзя; послали меня провеянтъ разыскивать. Тутъ я съ коня почитай-что сутокъ съ пять не слѣзалъ. Тутъ ужъ много я мученья принялъ, и все больше отъ внутрени. Еще взлѣзть-то на лошадь взлѣзу, а ужъ долой слѣзть-то и не могу. Спасибо товарищамъ,—пособять, стащить, а то хоть на лошади и помирай. А потомъ поплы мы впередъ. Тутъ ужъ, значить, мы въ самую турецкую землю врѣзались. Турецка сталъ себя защищать. Пошла пальба. Стали эти гранаты прилетать; много отъ этихъ гранатъ народу погибло, много онъ нашего брата загубили. Какъ на землю съла,—закрутилась, да какъ хлопнетъ,—только ее и видѣли; а что народу было вокругъ, рѣдкій на ногахъ останется, всѣхъ уложить,—кого наповалъ, кого въ бокъ, кого въ руку али въ ногу. Мнѣ такой кусокъ въ ногу ударилъ да кость-то и раскололъ. Вотъ меня тогда и отправили въ Россію.

Мнѣ теперь начинало казаться, что онъ не такъ плохъ, что онъ могъ бы поправиться, только окружить бы его другими, лучшими условіями. Мнѣ представилась вся обстановка, все изобиліе нашихъ лазаретовъ Краснаго Креста. Когда я ему стала говорить о томъ, что онъ еще поправится, онъ нѣсколько недовѣрчиво выслушалъ меня и остался равнодушнень... Натерпѣлся ужъ очень человѣкъ!

V.

Было около 12-ти часовъ. Подошла, а затѣмъ и прошла обѣденная пора, а обѣдъ все не несли.

Больные сголодались и начинали волноваться. Они рассказывали мнѣ, что такіа замедленія повторяются очень часто, что намереннись обѣдъ принесли около 3-хъ часовъ.

— Пока пойдутъ, да пока дойдутъ, да пока очередь придетъ, да изъ котла щи нальютъ, да пока на плечи подымутъ, да назадъ принесутъ, а время-то и ушло...

Я не поняла тогда этого поясненія. Впослѣдствіи я узнала, что въ самомъ госпиталѣ кухни нѣтъ, и что служителя ходятъ за обѣдомъ и ужиномъ въ другой военно-временный госпиталь, отстоящій на полъ-версты.

Когда, наконецъ, появились служителя съ ушатами супу, то они были встрѣчены ропотомъ, и между больными и ими началась перебранка, продолжавшаяся до тѣхъ поръ, пока всѣ не получили своихъ порцій.

Обѣдъ состоялъ изъ небольшого куска на половину вываренной говядины и небольшой мисочки супу съ манной крупой и корешками. Супъ бывалъ иногда изрядный, но наваръ не могъ быть крѣпокъ, ибо та же говядина, которая служила для навару, шла и на порціи, и вынималась изъ котловъ на половину вываренною. Больнымъ этотъ супъ скоро пріѣдался, въ немъ было что-то приторное, что-то до тошноты противное.

Для раненыхъ и выздоравливающихъ приносился отдѣльно борщъ, и на этотъ борщъ они набрасывались съ жадностью. Приходилось зорко слѣдить за больными: всѣ не прочь были стащить и для себя „порцейку борща“.

Когда порціи были розданы, я прошла въ отдѣленіе Екатерины Николаевны, за почтовой бумагой и тряпками, обѣщанными больному. Тамъ я застала какихъ-то двухъ незнакомыхъ женщинъ, по платью похожихъ на сестеръ милосердія. Это были сидѣлки, присланныя графиней П. въ нашъ госпиталь съ запасомъ чаю и сахару. Но запасъ этотъ былъ все-же такъ не великъ, что его, конечно, не достало бы на всѣхъ больныхъ. Вопросъ состоялъ въ томъ, какъ распредѣлить его. Принесшія его сидѣлки только все твердили, что имъ строго-на-строго приказано раздѣлить все принесенное поровну на всѣхъ больныхъ и самимъ разнести по отдѣленіямъ. Станнымъ показалось мнѣ это послѣднее распоряженіе.

Вернувшись въ свое отдѣленіе, я застала тамъ фельдшера, который, узнавъ, что я дежурная дама отдѣленія, передалъ мнѣ горсточку чаю и десятка два кусковъ сахару, доставшіеся на наше отдѣленіе. Этого было достаточно, чтобы напоить только самыхъ слабыхъ. Я попросила фельдшера указать мнѣ на самыхъ слабыхъ больныхъ; но онъ былъ тутъ какъ въ темномъ лѣсу, пошелъ рыться въ спискахъ, въ которыхъ, однако, ничего не нашелъ, и оправдывался тѣмъ, что только на дняхъ прибылъ къ намъ новый транспортъ больныхъ. Тогда я стала обращаться къ самимъ больнымъ за указаніемъ,—и не раскаялась. Не зная совсѣмъ людей, я поднесла кружку съ чаемъ выздоравливающему.

— Нѣтъ, сестрица,—поправилъ онъ меня:—я-то ничего, а вонъ тамъ у насъ плохонькій лежитъ, ему снесите чайку.

И я снесла чайку плохонькому.

Время шло быстро,—было уже около трехъ часовъ, а мы еще не успѣли написать ни одного письма; желающихъ же писать все прибавлялось. Я подошла къ одному изъ больныхъ, который не могъ вставать. Это былъ молодой человѣкъ, котораго неотвязно преслѣдовала болгарская лихорадка. Онъ самъ написалъ что-то начерно, но письма его, кромѣ него самого, никто разобрать не могъ, и онъ желалъ, чтобы я написала ему тоже письмо да почетче.

Я примостилась около его койки.

— Ну, пишите поклоны, сестрица,—началъ онъ,—матери, прежде всего, братьямъ, сестрамъ, дядьямъ и всѣмъ роднымъ, еще крестовой матери пишите поклонъ. Послѣ всѣхъ посылаю поклонъ женѣ. Читая свое письмо, онъ диктовалъ: „Въ сентябрѣ 5-го числа заболѣлъ я лихорадкою и взяли меня изъ арміи; теперь я лежу въ городѣ Кіевѣ, все еще не могу я поправиться. Въ дѣйствиіи былъ я два раза. Слава Богу, Богъ крылъ—не раненъ. Въ Турціи побывалъ, по горамъ походилъ, высоки тѣ горы—страсть. Пули летѣли какъ мухи, такъ и визжать. А теперь я нахожусь въ городѣ Кіевѣ, во второй военной госпитали“. Онъ замолчалъ.

— Пишите еще, сестрица, чтобъ отвѣтъ писали, да чтобъ лишняго ничего не писали,—добавилъ онъ.

Затѣмъ я успѣла написать еще два письма, но тѣ я должна была сочинять сама,—больные только говорили имена родныхъ и подтверждали факты. Въ половинѣ пятаго служитель пришелъ сказать, что меня зовутъ. Несмотря на то, что я такъ неудачно себя заявила на первый разъ, больные все-таки были довольны,

что у нихъ своя сестрица, и стали просить меня завтра опять прѣзжать къ нимъ.

Передъ отѣздомъ я зашла проститься съ Маркеломъ и спросить, какъ онъ себя чувствуетъ.

— Полегче мнѣ, — отвѣчалъ онъ, — да мнѣ бы ничего лежать, только вотъ ночью-то мнѣ все не спится, и все представляется, все представляется, и какія все страсти въ голову лѣзутъ, и не приведи Богъ!

— А у васъ ночью есть огонь, горятъ лампы?

— Съ вечера зажигаютъ, а къ ночи гасятъ, — отвѣчалъ онъ.

— Сестрица, — сказалъ подошедшій въ это время служитель: — васъ тамъ одинъ больной просить.

Это оказался больной глазами, просившій тряпочекъ. Онъ ждалъ, ждалъ и, наконецъ, прислалъ служителя позвать меня къ себѣ. Самъ онъ ходилъ съ трудомъ, — у него кромѣ глазъ бо-
лѣли ноги. А я и въ самомъ дѣлѣ забыла о немъ. Я отдала ему тряпки. Онъ былъ очень доволенъ, развертывалъ ихъ и благодарилъ.

— Вчера такой зудъ поднялся, что я ихъ одѣломъ сталъ тереть; а сегодня вотъ какъ опять разѣло — и на свѣтъ не даетъ взглянуть. — Дѣйствительно, глаза его запухли игноились. Посо-
ветовавъ ему впередъ не тереть глазъ суконнымъ одѣломъ, я простилась съ нимъ и поспѣшила къ своимъ сотрудницамъ. Екате-
ринну Николаевну я нашла въ отдѣленіи ея дочери, внизу. Ее окружили больные. Было замѣтно особенное оживленіе; они на-
перерывъ протягивали руки, и каждый старался протѣсниться поближе къ генеральшѣ.

— У меня нѣту, у меня... — заявляли они.

— Мнѣ вы пообѣщали, я ужъ давно жду... И мнѣ, и мнѣ! — слышалось со всѣхъ сторонъ.

— Погодите, нельзя же всѣмъ вдругъ, и такъ не пригото-
виться... На ваше счастье, вчера добрые люди двадцать-пять по-
жертвовали...

— Что это такое раздають? — спросила я племянницу Екате-
рины Николаевны, съ которой была особенно близка.

— Тетя раздаетъ имъ кисеты, — они до нихъ такіе охотники, Если только завидать, что которая-нибудь изъ насъ пронесла кисеты, — только безногіе остаются на койкахъ, а то всѣ идутъ за вами и просятъ кисетика.

— А то какъ же, сестрица, — сказалъ одинъ изъ боль-
ныхъ: — вѣдь кисеть штука хорошая, да и всякому пригодится. А вотъ Рекуну сестрица вчера красивенькій привезла, — обратился онъ ко мнѣ, — съ золотымъ прозументомъ...

— Еще бы! онъ такой больной! — съ укоромъ обращаясь къ говорившему, сказала Ольга Г. — Ему еще и не такой будетъ послѣ операци. Тебѣ грѣхъ завидовать.

— Да я это такъ, сестрица; я безъ зависти.

— У насъ теперь всякій лоскутъ въ почетѣ, — сказала она мнѣ: — все пьемъ для нихъ кисеты. Вы приходите къ намъ вечеромъ, будемъ вмѣстѣ работать.

Было около шести часовъ, когда мы выѣхали изъ башни и направились домой.

Пробывъ въ госпиталѣ цѣлый день, я успѣла обойти только три палаты, а ихъ всѣхъ восемь, и ознакомиться съ 15 — 20-ю больными, а ихъ у меня 100. А остальные? — спросите вы. Остальные ждутъ и, можетъ быть, долго еще прождутъ... они вѣдь ужъ давно все ждутъ да ждутъ...

VI.

На слѣдующій день я вернулась и познакомилась съ докторомъ; затѣмъ я вернулась, чтобы привезти прописанныя докторомъ лекарства; затѣмъ я опять вернулась, чтобы продолжать давать эти лекарства, и привезла съ собою вина и нѣкоторые другіе припасы; и такъ день за днемъ, недѣля за недѣлей... Но объ этомъ рѣчь впереди.

Я попросила К — выхъ считать меня постоянной ихъ сотрудницей и оставить за мною четвертое отдѣленіе. Но я была и въ Красномъ Крестѣ, и тамъ оставила за собою свой дежурный день. Разныя соображенія и планы приходили въ голову, и мое отношеніе къ Красному Кресту только теперь получало для меня значеніе. Онѣ тамъ и не знаютъ, и не подразумѣваютъ, въ какомъ положеніи военные госпитали въ сравненіи съ нашими лазаретами, и поэтому блаженствуютъ, — надо, чтобъ они узнали и увидали, какъ и я...

Я подумала о попечительницѣ, съ особыми правами, и рѣшилась обратиться къ ней. Какъ-то пришлось поздно вечеромъ ѣхать въ нашъ загородный госпиталь. Было совсѣмъ темно, когда мы вѣхали во дворикъ тюремнаго замка. Вечеромъ видъ палатъ еще мрачнѣе, нежели днемъ. Подъ самымъ потолкомъ зажигаются лампы, — тусклымъ, мерцающимъ свѣтомъ освѣщаютъ онѣ часть палаты, оставляя углы въ темнотѣ. Повсюду тишина, прерываемая время отъ времени стономъ или кашлемъ, который тяжело звучитъ или раздается среди общей тишины, и чувствуется, какъ мучительно колотитъ онъ больного. Люди лежатъ

на своихъ низкихъ, жесткихъ подушкахъ бездвижныя, точно неживые, покрытыя съ головою суконнымъ одѣяломъ. Послѣ десяти часовъ гасятъ лампы, и тогда все погружается въ полный мракъ. Больничный день смѣняется больничною ночью, долгой ночью, полной усиленныхъ страданій, перемѣшанныхъ съ горячечными представленіями. Темнота окончательно разобщаетъ ихъ, и лежать они одинокіе, который съ своею тѣлесною болью, который съ тоскою или горемъ, а который и лицомъ къ лицу съ приближающейся смертію...

Когда наступилъ день моего дежурства въ Красномъ Крестѣ, я пріѣхала въ лазаретъ прямо изъ башни и прибыла уже не въ томъ благодушномъ настроеніи, въ которомъ была прежде. Я нѣсколько опоздала, но другая дама, дежурившая со мною, пришла раньше меня и занималась разговорами съ солдатами. Тутъ наше значеніе и дѣятельность были совсѣмъ иныя, нежели въ военномъ госпиталѣ. Здѣсь мы уподоблялись скорѣе нѣмецкимъ Unterhaltungsdamen, обязанность которыхъ состоитъ въ томъ, чтобы вести назидательныя и моральныя бесѣды съ ранеными. Я отыскала старшую сестру, мать Анатолію, и стала ей говорить о военныхъ госпиталяхъ. Я знала, что она близка съ попечительницей. Высказавъ ей свои мысли, я прибавила, что очень рассчитываю на ея поддержку. Монахиня сочувствовала всему, что я говорила, и готова была сдѣлать отъ нея зависящее, лишь бы было разрѣшеніе отъ начальствующихъ. Окончивъ бесѣду съ монахиней, я пошла почитать больнымъ. Но наше чтеніе вскорѣ было прервано пріѣздомъ попечительницы. Я встрѣтила ее шествующей уже по 2-ой палатѣ. Я подошла къ ней. Она вспомнила, что уже видѣла меня, и протянула мнѣ два пальца.

На этой недѣлѣ одному изъ здѣшнихъ солдатиковъ была сдѣлана операція. Больной еще раньше рассказывалъ мнѣ, какъ ему давали сонныхъ капель, какъ онъ, несмотря на это, чувствовалъ боль, и что когда онъ очнулся, надъ нимъ стояла та самая старушка, что къ нимъ ѣздитъ и гостинцы возить: „Стоитъ и платочкомъ помахиваетъ надъ самымъ моимъ лицомъ,—а отъ платочка такой духъ идетъ... Послѣ сосѣди говорили, что докторъ и самъ испугался, что я очнуться-то не могу,—кабы не эта старушка съ платочкомъ, такъ, пожалуй, и не отошелъ бы послѣ сонныхъ капель“. (Эти люди очень боятся хлороформу, и преувеличиваютъ его дѣйствіе).

Чтобы сказать что-нибудь пріятное попечительницѣ, я повторила ей рассказъ солдата.

— Oh, mon Dieu, pauvre homme! Est-ce que je pouvais faire moins? Mais c'était tout naturel, il avait tant souffert!

Она подошла къ нему.

— Ну, что, получше?

— Получше, ваше сіятельство, меньше саднить.

Когда мы, обойдя всѣ комнаты, возвращались назадъ, я сказала попечительницѣ, что имѣю поговорить съ нею о дѣлѣ, и хочу просить ея содѣйствія.

Она какъ будто немного встревожилась, но однако приняла это заявленіе и пригласила пить чай съ нею и матерью Анатоліей. Мы сѣли въ пріемной комнатѣ. Монахиня суегила, приготовляя чай, и замѣтно избѣгала проронить что-нибудь отъ себя о томъ дѣлѣ, которое я ей рассказала. Кто знаетъ, — а какъ вдругъ это дѣло будетъ негодно начальницѣ! — читалось на ея смущенномъ лицѣ.

Я высказала княгинѣ послѣднія впечатлѣнія, вынесенныя изъ военнаго госпиталя, и перешла къ самой сущности дѣла, и рассчитывая на ея сочувствіе, стала говорить о томъ, какъ бы это было теперь необходимо и своевременно помочь военнымъ госпиталямъ. При этомъ я обратилась къ монахинѣ:

— Вотъ и матушка...—прибавила я.

Но матушка замылась; она смотрѣла на попечительницу, стараясь по ея лицу прочесть, насколько это могло ей понравиться.

— Ужъ кому же лучше знать, какъ не матушкѣ-княгинѣ. Какъ она рѣшить, пусть такъ и будетъ. А мы готовы служить, — намъ всѣ равны. Прикажетъ матушка принять, мы примемъ, — а намъ въ это дѣло входить не подобаетъ, — ужъ это ихняя воля, лишь бы онѣ не оставляли насъ своимъ покровительствомъ.

Я отвернулась отъ монахини (меня раздосадовала вся эта рѣчь) и, обращаясь исключительно къ попечительницѣ, стала говорить съ нею и ужъ не такъ мягко, стараясь объяснить, что я испрашиваю не особой милости, а должнаго.

Я описывала ей наши нужды, недостатокъ ручной помощи, отсутствіе сестеръ милосердія. Говоря, что люди умираютъ отъ истощенія, я просила ее принять это дѣло къ сердцу. При этомъ прибавила, что и военныя власти желаютъ привлечь частную помощь въ свои госпитали...

— Je vous comprends, chère madame, je vous comprends, mais enfin que pouvons-nous faire? ¹⁾

¹⁾ Женатый на ея внучкѣ П. П. Д.—въ былъ главнымъ уполномоченнымъ по Красному Кресту.

Я опять повторила, что можно многое сдѣлать, на примѣръ, брать къ себѣ самыхъ трудныхъ, слабыхъ и тяжело раненныхъ. Казалось, она начинала вникать и понимать меня.

— *Seulement, je vous dirai franchement que nos conversations ne meneront à rien, parce que enfin une simple conversation entre deux dames ne peut pas être considérée comme une chose officielle.*

— Oh, je sais bien, mais vous pourriez peut-être agir par votre gendre...

— Oui, oui,—je ne dis pas non!—нѣсколько испугавшись, сказала она,—il faudra voir.

Я замолчала. Княгиня взглянула на меня.

— Et puis, chère madame, — прибавила она конфиденціально, наклонясь ко мнѣ и положивъ дружески руку на мою руку:—si même la chose pouvait s'arranger, vos pauvres malades devront passer par tant de formalités qu'ils nous arriveront ou bien morts, ou bien guéris.

Это былъ дружескій совѣтъ.

Я встала, чтобы идти. Но прежде чѣмъ разстаться съ княгиней, я попытала еще попросить ее посѣтить одинъ изъ военныхъ госпиталей, рассчитывая на впечатлѣніе, которое произведетъ на нее общій видъ ихъ.

Она общалась непремѣнно на дняхъ пріѣхать къ намъ въ башню, и стала увѣрять такъ же, какъ и монахиня, что ей всѣ солдаты равны. На этомъ мы разстались.

VII.

Дня черезъ два послѣ нашего разговора, во внутренній дворикъ нашего госпиталя въѣхала карета, и изъ нея вышла попечительница и неразлучная съ нею мать Анатолія. Я обрадовалась и сошла внизъ, чтобы встрѣтить. Мы пошли въ палаты.

Первая комната, въ которую мы вошли, предназначалась для помѣщенія будущихъ сестеръ милосердія. Неуютная, проходная, мрачная комната эта не была привлекательна. Впрочемъ, у попечительницы были весьма положительные взгляды на обязанности и положеніе сестеръ милосердія. Она находила, напр., что для сестеръ не нужны кровати, особенно покойныя кровати: *elles ne feront que dormir et ne soigneront pas leurs malades.* Ея идеалъ состоялъ въ томъ, чтобы у каждой сестры

было по креслу, и чтобы это кресло переносилось отъ одной кровати больного къ другой.

Выслушавъ внимательно это мнѣніе о положеніи сестеръ милосердія, я попросила княгиню пройти въ мое отдѣленіе.

Мы вошли. Она почти не останавливалась, не заходила въ глубь палаты и съ безгливостью поглядывала то въ ту, то въ другую сторону. А Маркель лежалъ какъ разъ въ самомъ дальнемъ углу палаты.

— Voilà dans le fond le malade, dont je vous ai parlé, madame, — сказала я.

— Ah, oui, vraiment, pauvre homme, et il y a tant de ces malheureux maintenant!

И она пошла дальше своей плавной поступью.

— Mais savez-vous, — вдругъ сказала она, — je trouve que c'est même assez propre chez vous, — она озиравлась кругомъ. — Et puis il fait clair; au fond, je ne sais pas de quoi vous vous plaignez? Не правда ли, матушка? я говорю, что здѣсь такъ чисто и свѣтло.

Въ ея тонѣ было что-то завязное. Монахиня находила, что прекрасно.

Я тоже не могла не согласиться, что у насъ чисто, хотя и не свѣтло, — но замѣтила ей, что одной чистоты недостаточно, чтобы излечивать и восстанавливать силы. Я жалѣла, что она не увидитъ, изъ чего состоитъ ихъ обѣдъ, а что кромѣ обѣда и кашицы вечеромъ они ничего не получаютъ, ни чаю, ни вина... иногда они цѣлый день сидятъ впроголодь. — Le diner d'aujourd'hui, par exemple, n'était pas mangeable...

— C'est vrai, je ne sais pas ce qu'il y a dans leurs estomacs, — отвѣчала она, пожимая плечами и какъ будто желая выразить, что она тутъ ни при чемъ.

Я вернулась къ своему дѣлу. Значить, съ этой стороны помощи ждать было нечего.

VIII.

Къ счастью, въ это время пожертвованія стали притекать въ нашу сторону. Одна добрая душа, посѣтивъ нашъ госпиталь, прислала намъ сто рублей. Такого крупнаго вклада намъ до тѣхъ поръ еще никто не дѣлалъ.

Екатерина Николаевна К — ва накупила на эти деньги гуттаперчевыхъ подушекъ и колець, которыхъ совсѣмъ не было въ госпиталѣ, а на остальные деньги — ситцевыхъ рубахъ, шер-

стиныхъ носковъ и нѣсколько бумажныхъ фуфасекъ. Въ этихъ вещахъ тоже была крайняя нужда. У многихъ не оставалось ни одной рубахи послѣ похода. Отъ пота и жара бѣлье истлѣвало на тѣлѣ, и мы часто видѣли эти истлѣвшія лохмотья, которыя они снимали, поступая на казенное госпитальное положеніе. Госпитальное бѣлье было очень порядочное, болѣе грубое, нежели бѣлье при лазаретахъ Краснаго Креста, но вполне соответствующее привычкамъ больныхъ. Пока люди находились въ госпиталѣ, они были обезпечены; но, уѣзжая въ транспортъ, т.-е. въ другую мѣстность, по системѣ постоянной эвакуаціи, или отправляясь на родину, въ отставку и на поправку, они надѣвали опять ту же одежду, въ которой пріѣхали съ похода. Всего обиднѣе и тяжелѣе становилось тѣмъ, которые шли домой въ нищенскомъ видѣ. Съ горькимъ чувствомъ одѣвали они на свое худое тѣло лохмотья, привезенныя изъ-за Дуная. Нравственное чувство чести страдало при этомъ. „Послужилъ вѣрою и правдою,—на смерть ходилъ, валькой сталъ, и идешь домой хуже арестанта всякаго“.

Прошло около двухъ недѣль съ тѣхъ поръ, какъ я начала ѣздить въ военный госпиталь. Больные моего отдѣленія сблизились со мною и обращались ко мнѣ со всѣми своими просьбами и порученіями.

Прибылъ къ намъ еще новый транспортъ изъ-за Дуная, а многихъ изъ нашихъ больныхъ отправили дальше. Татарчикъ умеръ, до послѣдней минуты повторяя ту же просьбу: „пять... пять“...

Какъ-то разъ утромъ, послѣ отъѣзда доктора, мы собрались съ нѣсколькими больными писать письма. Изъ сосѣдней палаты раздавался голосъ казака, повѣствующаго товарищамъ. Казакъ выхлопоталъ отпускъ на родину; онъ ожилъ съ тѣхъ поръ и у него теперь въ головѣ все веселыя мысли, ясныя воспоминанія.

— ...Да, братцы вы мои,—слышится и намъ отрывокъ его разсказа:—и назначили насъ, казаковъ, какъ разъ въ Софійскій соборъ, подъ самый подъ Христовъ день. Ужъ и насмотрѣлись мы тутъ, и наслушались... А генералья, генералья понаѣхало—и не сосчитать. Въ этотъ день всему генералью, хопа бы онъ нѣмецъ былъ, положено ѣхать въ соборъ. Однихъ губернаторовъ пріѣхало четыре, одинъ главный, да при немъ три помощника. Двѣнадцать архиреевъ службу отправляли... Какъ это двери царскія распахнулись, да всѣ свѣчи повсюду по потолкамъ да по закоулочкамъ на верхахъ позажигались, такъ, думаешь, попалъ ты въ царство небесное, ужъ самъ себя не слышишь. А наверху,

на хорахъ называется, стоятъ пѣвчіе, и всѣ стоятъ рядкомъ,— и такіе они все одинокіе, братцы мои, точно точенные, а промежъ нихъ стоятъ старичокъ,—старшій ихъ. Таеъ, какъ онъ рукою проведетъ, они всѣ и подхватятъ, дружно, мѣрно, въ сто голосовъ, какъ одинъ человекъ,—и пойдутъ затягивать, таеъ и разстилаютъ, таеъ и разстилаютъ, а потомъ начнутъ замирать,—таеъ въ тебѣ всю душу и повернутъ...

Въ эту минуту рассказъ прервался. Звякнулъ замокъ, и кто-то вошелъ въ палату. Съ нашего мѣста не было видно, кто именно. Казакъ замолкъ.

— Вы кто такой?—спросилъ молодой женскій голосъ, незнакомый мнѣ.

— Я — фельдшеръ, — вяло отвѣчалъ фельдшеръ, дремавшій надъ своими отчетами.

— А есть у васъ здѣсь сестры? — продолжалъ тотъ же голосъ.

— Сестры... какія сестры? штатныя?—приходятъ, да рѣдко...

— А живущихъ, постоянныхъ нѣту?

— Нѣтъ, да и съ самаго начала не было.

— А много больныхъ?

Вопросы предлагались таеъ быстро и такимъ рѣшительнымъ тономъ, что оживили и фельдшера.

— Много, вчера еще навезли, почти что всѣ отдѣленія полно наложили.

— Вадимъ Петровичъ, это ужасно!—обратился къ кому-то тотъ же звучный женскій голосъ. — По крайней мѣрѣ, достаточно ли фельдшеровъ? У васъ сколько палатъ?

— У меня восемь; говорили, помощника дадутъ, да не дадутъ до сихъ поръ. А мнѣ одному никакъ не справиться; страсть сколько больныхъ, да еще и перевязку дѣлать надо. А вчера, кажется, сказывали, что во второмъ, али въ первомъ, ужъ навѣрное не знаю сказать,—совсѣмъ фельдшера нѣтъ.

— Отчего же это нѣту?

— Да ужъ четвертый день нѣтъ,—съ субботы еще загулялъ, да и пропалъ съ тѣхъ поръ.

Фельдшеръ засмѣялся.

Я бросила писать письмо и пошла въ сосѣдную комнату.

Фельдшеръ, который не потрудился встать, разговаривая съ посѣтителями, теперь лѣниво поднялся съ мѣста. Около его столика стояла высокая, стройная фигура молодой женщины. Ея красивое, строгаго склада лицо, выражало заботу, ту горячую дѣятельную заботу, которая вся идетъ въ дѣло и не ограничи-

вается одними соболѣзнованіями. На ней былъ гладкій длинный кафтанъ, разстегнутый спереди; изъ-подъ него видѣлся бѣлый фартукъ съ краснымъ крестомъ на груди.

Подлѣ молодой женщины стоялъ господинъ среднихъ лѣтъ.

— Я могу вамъ дать нѣкоторыя свѣдѣнія объ этомъ госпиталѣ,—сказала я, останавливаясь противъ нея у столика.

— Ахъ, вотъ... я очень рада!—оживилась она.—Вы уже давно работаете въ этомъ госпиталѣ?

Я ей отвѣчала, что работаю не такъ давно, но успѣла приглядѣться и узнать главные нужды.

— Главное наше горе въ томъ, что нѣтъ сестеръ милосердія...—сказала я.

— А что же Красный Крестъ, о чемъ же они тамъ думаютъ?—сказала она, дернувъ плечами и взмахнувъ рукой.

— Мы обращались и къ Красному Кресту за помощью.

— Ну, и что же, они отказали?—жадно спросила она.

— Почти что такъ.

— Я такъ и думала! Помните, Вадимъ Петровичъ?—обратилась она къ стоявшему возлѣ нея господину.—Но какъ же вы говорите, что сестеръ совсѣмъ нѣтъ,—а?...—она смотрѣла на мой бѣлый фартукъ съ крестомъ:—а вы сами?..

— Я не сестра милосердія; я въ этомъ дѣлѣ совершенно не имѣю никакихъ правъ.

— Знаете, что,—сказала она, быстро подойдя ко мнѣ и положивъ мнѣ на плечи руки,—знаете, это очень легко выучиться—дѣлать перевязку; если только хотите, васъ сейчасъ же можно выучить. Я тоже ничего не знала, когда пріѣхала сюда, а теперь сама перевязываю,—и вотъ Вадимъ Петровичъ вамъ можетъ сказать, что довольно порядочно перевязываю; не правда ли, Вадимъ Петровичъ,—это совсѣмъ не трудно выучиться перевязывать?

— Да, оно не трудно,—подтвердилъ и онъ.

— Вотъ, Вадимъ Петровичъ будетъ ѣздить сюда, онъ бы могъ вамъ показать, самыя хотя несложныя, перевязки; впрочемъ, извините, я вамъ еще и не представила его. Д-ръ Г—въ; я—графиня П—а.

— Ахъ, какъ я рада!—сказала я.—Я много про васъ слышала. Это хорошо, что вы заглянули къ намъ. Нашъ госпиталь такой забытый и далекій, что намъ слѣдуетъ помочь...—Я назвала себя и сказала про своихъ сотрудницъ, К—выхъ.—Иныя отдѣленія и до сихъ поръ остаются порой безъ всякой помощи, тамъ даже некому и освѣдомиться о нуждахъ больныхъ.

— Да вѣдь это несправедливо, — у васъ, значить, неравно-
мѣрно распредѣляются пособія и не уравнины всѣ больные...

— Конечно, нѣтъ.

— Отчего же? — горячася и дѣлая выразительные жесты, продолжала она. — Почему же это нѣкоторые будутъ больше страдать, нежели другіе, — въ чемъ же они виноваты, что у нихъ нѣтъ дамъ... ужъ это я совсѣмъ не понимаю!.. И вы стоите за это неравенство?

— Нѣтъ, я за него не стою, но я знала, что невозможно поспѣть во всѣ отдѣленія, когда не поспѣвала и въ своемъ. Если у васъ есть время, пройдемтесь вмѣстѣ по нашему госпиталю.

— Пойдемте, пойдемте, я очень рада! — съ живостью сказала она. — Дорогой потолкуемъ о томъ, что бы предпринять. А у васъ нѣтъ тифозныхъ?

— Есть, но они отдѣлены и положены внизу.

— Вы бываете у нихъ, — или, можетъ быть, вы боитесь тифозныхъ?

— Не то, что боюсь, а доктора просили не ходить къ нимъ, чтобы не разнести заразы по всему госпиталю.

— Это совершенно напрасная предосторожность, — сказалъ докторъ, шедшій вмѣстѣ съ нами. — Неужели вы думаете, что фельдшера и служителя принимаютъ какія-либо предосторожности, сообщаясь другъ съ другомъ?

— Такъ вотъ, если хотите, если вы не боитесь, зайдемте къ тифознымъ.

— Зайдемте.

Мы продолжали идти, разговаривая о госпитальныхъ нуждахъ. Она записывала въ свою книжку и обѣщала прислать самое необходимое. Она говорила, что въ томъ госпиталѣ, гдѣ она теперь работаетъ, она застала тѣ же недостатки, что и у насъ.

— А вы никогда не были въ арсеналѣ? Вѣдь это недалеко отъ вашего госпиталя, вы проѣзжаете каждый разъ мимо...

— Да, именно, проѣзжаетъ мимо, а въ немъ никогда не были.

— Вотъ надо бы намъ куда заѣхать, — обратилась она къ доктору.

— Мы не въ силахъ заняться еще и арсеналомъ, — сказала я, — но мнѣ выпалъ случай направить туда нѣсколькихъ дамъ. — Начальницу института, со всѣмъ ея кортежемъ или свитой клас-
сныхъ дамъ, инспекторомъ, экономовъ и экономокъ...

— Что же, они берутся за это дѣло?

— Кажется, намѣреваются.

— Это отлично, а все-таки намъ бы надо туда заѣхать. Не поѣдете ли и вы вмѣстѣ съ нами?

— Анастасія Сергѣевна, да вѣдь вы общали еще стѣздить въ Большой госпиталь,—а въ часъ у насъ операція.

— Ахъ, да, да, — я забыла; пожалуй, не успѣемъ; такъ когда же?.. Этого, однако, нельзя откладывать,—завтра? Мнѣ бы очень хотѣлось поскорѣе знать, возьмутся ли ваши дамы за арсеналь. Вы сегодня же увидите эту госпожу?

— Можетъ быть, вечеромъ.

— Вотъ и отлично; а завтра я заѣду сюда, вы мнѣ и скажете,—но только, пожалуйста, скажите имъ, чтобы онѣ не тянули,—иначе я буду принижать другихъ.

Мы встрѣтились съ К—ми. Она знала ихъ. Онѣ прежде встрѣчались въ этомъ госпиталѣ. Но раскланялись онѣ довольно сухо.

Затѣмъ мы зашли въ отдѣльную палату, гдѣ лежали тифозные. Ихъ было двое. Они поправлялись, но медленно, жаловались, что мало очень ѣсть даютъ, что имъ голодно и тоскливо въ одиночествѣ.

Времени прошло порядочно; докторъ все напоминалъ, что пора ѣхать, но она увлеклась.

— Итакъ, до свиданія, не правда ли?—сказала она, прощаясь со мною и крѣпко, мужскимъ пожатіемъ пожимая мою руку.—Надѣюсь, что мы будемъ помогать другъ другу,—прощайте!—и затѣмъ, шагая или скорѣе прыгая черезъ двѣ или три ступени, сбѣжала съ лѣстницы и, добѣжавъ до своей коляски, однимъ прыжкомъ очутилась въ ней.

Докторъ далеко отсталъ отъ нея. Какъ только онъ показался въ дверяхъ, она стала громко объяснять ему что-то, энергически при этомъ жестикулируя.

Докторъ сѣлъ подлѣ нея въ коляскѣ, и они уѣхали.

IX.

Въ одно изъ своихъ посѣщеній, начальникъ госпиталей объявилъ, что въ скоромъ времени въ нашъ госпиталь придутъ сестры милосердія, на постоянное жительство, но пока мы все еще оставались однѣ.

Новый транспортъ подвезъ новыхъ больныхъ. Мы положительно выбивались изъ силъ.

Въ моемъ отдѣленіи открылся тифъ. Одинъ изъ тифозныхъ

былъ очень труденъ. Докторъ отдѣленія, старикъ лѣтъ 70-ти, приходилъ обыкновенно въ невѣняемомъ видѣ и весьма несочувственно относился ко мнѣ.

Кромѣ тифознаго, ко мнѣ положили еще страннаго больного. Онъ лежалъ на своей койкѣ, повернувшись къ стѣнѣ, ни на кого не смотрѣлъ, ни съ кѣмъ не говорилъ. Напрасно подходила я къ нему, чтобы узнать, чѣмъ онъ боленъ, и не можемъ ли мы облегчить его. Онъ упорно молчалъ и отмахивался рукой.

Молодое лицо его было блѣдное и изнуренное, и выражало безысходное уныніе. По тому, какъ страдальчески стягивали мускулы его лицо, видно было, что мѣра страданій превышала силы человѣка, душа была надорвана и переполнилась отвращеніемъ отъ всего, что онъ видѣлъ и вынесъ.

Нѣсколько врачей собрались для совѣщанія надъ нимъ. Онъ и имъ ничего не говорилъ, но во время оскультаціи стоналъ, и когда они притронулись къ желудку, громко вскрикнулъ.

— Раненый я!—выговорилъ онъ, какъ бы съ упрекомъ.

Они прописали ему примочку и лекарство внутрь.

— Его бы слѣдовало въ хирургическое отдѣленіе,—сказали они,—и пошли осмотрѣть тифозныхъ.

Одного изъ трудныхъ признали безнадежнымъ. Это былъ полякъ, тоже молодой человѣкъ. И ему они прописали нѣсколько средствъ.

— Какъ же давать лекарства? какъ часто?—я все-таки просила бы васъ дать мнѣ подробныя указанія...

— Давайте ему то, что онъ попроситъ,—развѣ вы сами не видите, что онъ совсѣмъ плохъ?—сказалъ старшій врачъ:—можете давать ему морсу, лимонаду, немного портвейну, пожалуй.

Главный врачъ и прочіе доктора ушли. Ко мнѣ подошелъ тогда одинъ изъ консультантовъ; пожилой господинъ съ просьбѣю, въ черныхъ волосахъ, съ глубокими, мыслящими глазами, одѣтый бѣдно и старомодно. Онъ мягко, какъ бы нѣхотя сказалъ мнѣ:

— Вѣдь вы знаете, что у него тифъ. Противъ тифа у насъ средствъ нѣту,—это вамъ скажетъ всякій честный врачъ; тутъ главное—уходъ, воздухъ. Вотъ, если ужъ вы такъ желаете сдѣлать для него что-нибудь,—прикажите перенести его въ крайнюю палату, выведите оттуда другихъ больныхъ, велите открывать почаще вотъ это окошечко, давайте освѣжительное питье.

Онъ говорилъ все это точно изъ желанія утѣшить меня. Въ его выраженіи было что-то задумчивое, серьезное и вмѣстѣ ласковое.

Слушая его, мнѣ казалось, что онъ придаетъ мнѣ слишкомъ большое значеніе.

— Да могу ли я такъ распоряжаться?

— А какъ же, конечно можете. Вѣдь вы же это дѣлаете, желая больному пользы. А у васъ кто докторъ?

— Л—цкій.

— Ну, вотъ видите,—такъ кому же распоряжаться, какъ не вамъ.

Онъ улыбнулся одобрительно; въ самой его улыбкѣ былъ отблескъ грусти.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, сдѣлайте, какъ я вамъ совѣтую... да... А сами не будьте слишкомъ много около него, да почаще выходите прогуливаться, хоть вотъ тутъ по двору... это я васъ прошу...

Я стала благодарить его.

— Да нѣтъ, не стоитъ, за что же меня благодарить!—какъ будто съ неудовольствіемъ отклонялъ онъ мои слова признательности.

Я протянула ему руку, и онъ ушелъ. Я распорядилась, какъ онъ мнѣ совѣтовалъ. Мы перенесли тифозныхъ въ крайнюю палату, и къ нимъ приставленъ былъ отдѣльный служитель.

Раненый мой пока еще оставался у меня. Но я предоставила его самому себѣ, перестала докучать разспросами, а только подавала ему или ставила около него то, что ему было нужно изъ пищи или лекарства.

Онъ все молчалъ. Только когда мимо его койки чья-нибудь тяжелая поступь сотрясала половицы, то онъ начиналъ тихо стонать. Я просила служителей и больныхъ ходить мимо него осторожно.

Черезъ нѣсколько дней я привезла въ госпиталь кисетовъ и мягкую подушку. Одинъ изъ такихъ кисетовъ съ чаемъ и сахаромъ я снесла ему, и положила около него на койку; я уже хотѣла идти, когда онъ вдругъ повернулся ко мнѣ, посмотрѣлъ сперва на меня, потомъ на кисетъ.

— Это тебѣ чайку немного я привезла и подушку.

Онъ остановилъ на мнѣ свой вопросительный, безучастный, пытающій взглядъ и сталъ всматриваться. Вдругъ судорога передернула его застывшія черты.

— Спасибо, сестрица!—выговорилъ онъ.

И потомъ отвернувшись, закрылся съ головою одѣяломъ и уткнулся въ подушку. Я сѣла неподалеку, чтобы никто не тревожилъ его.

Съ этихъ поръ онъ понемногу сталъ говорить, а черезъ нѣсколько дней разсказалъ, что у него изъ нутра пулю вынули, и, не давъ ранѣ зажить, отправили въ транспортъ. И что когда онъ ѣхалъ, ему туда въ нутро холоду попало, и съ тѣхъ поръ все саднить, ноетъ, ноетъ, не даетъ покою ни днемъ, ни ночью. „Насъ на воловьемъ поѣздѣ везли, такъ до того расколотило, — хуже стало, чѣмъ когда пуля во мнѣ сидѣла“.

Его черезъ нѣсколько дней перевели въ хирургическое отдѣленіе, и онъ сталъ поправляться. Впослѣдствіи онъ разсказалъ и еще другую повѣсть. — Когда они, т.-е. солдаты, во время похода, отъ палящей жары не въ силахъ были идти впередъ и ложились на землю, то приходилось ихъ подымать нагайками: „Иной вскочить, а иной такъ повалившись ничкомъ и останется“. У него самого до сихъ поръ были замѣтны рубцы, полосы на спинѣ.

— Спина-то, кажись, во всю жизнь полосатая останется, — съ ироніей, но уже со смѣхомъ, говорилъ онъ.

Вообще наши люди гораздо больше жаловались на жару, нежели на холодъ.

— Намъ морозъ-то свой братъ, не скоро проберетъ; а за то ужъ турка до него не охотникъ, смерть его боится, — какъ снѣгу въ одѣжу набралъ, тутъ все его и ехидство пропало.

Рабочій нашъ день начинался обыкновенно съ того, что мы вмѣстѣ съ врачомъ обходили больныхъ, выслушивая ихъ замѣчанія и записывая ихъ требованія. Въ мое отдѣленіе въ это время назначили другого врача, хирурга д-ра О—ва. Это былъ молодой человекъ, только-что окончившій курсъ на медицинскомъ факультетѣ.

Послѣ отъѣзда врача, мы разбирали провизію, привезенную изъ дому, и шли по очереди разогрѣвать ее на керосиновой кухнѣ, находившейся въ отдѣленіи Екатерины Николаевны.

Какъ-то разъ я, по обыкновенію, пришла въ ея отдѣленіе.

Кухонька ея топилась, а ея самой тутъ не было. Я поставила разогрѣвать провизію. И слышу, изъ сосѣдней палаты раздаются звонкіе женскіе голоса, оживленный говоръ и смѣхъ. Это чтò такое? — удивилась я.

— Кто это тамъ разговариваетъ? — обратилась я къ одному изъ знакомыхъ мнѣ больныхъ.

— Это какія-то молоденькія сестрицы понаѣхали, — отвѣчалъ онъ: — сказывали, будутъ насъ поить каждый день.

Говоръ — обрывистый, частый говоръ — не смолкалъ, точно прилетѣла стая сорокъ. Пока я варила свою провизію, въ ту па-

лату, гдѣ я находилась, явились двѣ изъ пріѣзжихъ и, увидавъ меня, устремились ко мнѣ.

— Здравствуйте, здравствуйте! — съ особенной, напускной развязностью, заговорили онѣ: — вы вѣрно удивлены, что видите насъ здѣсь сегодня? Но, видите, сегодня мы только пріѣхали познакомиться съ нашими будущими паціентами; впрочемъ, у меня и вотъ у В. И. Р — вичъ сегодня болѣе свободный день; я пропускаю только одинъ урокъ и хочу остаться здѣсь до трехъ часовъ; намъ говорили, что послѣ трехъ здѣсь нечего дѣлать, — безъ остановки и съ улыбкой самодовольства говорила маленькая фигурка, стоя передо мною и глядя на меня снизу вверхъ.

Я слушала ее, но не знала, въ чемъ все это можетъ до меня касаться.

— Это вы чтò же тутъ дѣлаете? — спросила она, подскакивая къ столику и наклоняясь надъ самой кострюльей съ овсянкой.

— Вы знаете, — продолжала она, не дожидаясь отвѣта: — мы беремъ это отдѣленіе подъ наше покровительство; съ сегодняшняго дня оно становится нашимъ, и мы уже распредѣлили между собою дежурства. Каждая изъ насъ, — насъ цѣлая компанія, — будетъ пріѣзжать разъ въ недѣлю и дежурить. Мы хотимъ организовать общество, и беремся все поставлять на наше отдѣленіе, — только ужъ, конечно, исключительно на наше! — кривляясь на всѣ лады и пытаясь поймать меня, то мою руку, то локти, говорила она.

— Да вѣдь это отдѣленіе ужъ и такъ находится въ завѣдываніи м-ше К — вой? вѣдь вы ее знаете?

— Да, но чтò же дѣлать, намъ самъ генералъ К — въ позволилъ пріѣзжать и просилъ взять одно отдѣленіе; мы, конечно, возьмемъ только такое, въ которомъ нѣтъ никакихъ заразительныхъ болѣзней, — и, конечно, хирургическое; раненые гораздо интереснѣе больныхъ, — продолжала высыпать свой неистощимый запасъ словъ маленькая классная дама, Г — ская. — Кромѣ того, та дама, которую мы желаемъ выбрать предсѣдательницей нашего общества, имѣетъ много дѣтей; а такъ какъ она сама вѣроятно будетъ иногда заѣзжать, то намъ невозможно имѣть въ отдѣленіи эпидемическихъ больныхъ.

— Какая предсѣдательница? — спросила я.

— Я не знаю, знакомы ли вы съ ней, — съ важнымъ видомъ сказала Г — ская: — она очень недавно пріѣхала изъ Москвы; это одна богатая московская аристократка, м-ше Д. Но она не будетъ выѣзжать эту зиму, а хочетъ заняться организаціей об-

щества съ цѣлью внести помощь въ военные госпитали. Ея отецъ былъ герой 12-го года...

— Евгения Ивановна, Евгения Ивановна,—раздалось изъ сосѣдней комнаты.—Пойдемте сюда!

— Сейчасъ, сейчасъ!—закричала она въ отвѣтъ.

Она быстро повернулась и помчалась отъ меня въ сосѣднюю палату.

Черезъ нѣсколько минутъ вся стая пронеслась черезъ ту палату, гдѣ я стояла. Онѣ отправились осматривать госпиталь. Осталась въ палатѣ только одна изъ нихъ, взявшая на себя обязанность писать письма солдатамъ.

— Кому писать письмо?—слышу я, раздается ея голосъ въ сосѣдней палатѣ.

— Мнѣ, сестрица.—А потомъ мнѣ...—И мнѣ!

— Ну, хорошо, кто первый просилъ, вы? Первому, значить, вамъ напишу, а потомъ по-очереди и другимъ. Ну-съ, я готова, диктуйте же мнѣ, что писать.

Я подошла къ открытому проходу, соединяющему палаты. Вижу,—она сидитъ около одного изъ больныхъ и ждетъ, чтобы онъ началъ диктовать ей.

Больной молчитъ.

— Ну, что же вы молчите? говорите же, что мнѣ писать?

Больной смотритъ на нее и добродушно ухмыляется.

— Ну, что же вы, долго это будетъ продолжаться, что вы будете молчать, а я буду на васъ смотрѣть?—вы хотите писать письмо, или не хотите?

— Желалъ бы, сестрица.

— Кому же вы хотите писать?

— Да вотъ... родителямъ, прежде всего, потомъ братьямъ, сестрѣ, и всей роднѣ...

— Ну, вотъ! Что же вы имъ будете писать? Съ чего же мнѣ начинать?

— Да ужъ вы, сестрица, сами знаете,—нѣсколько смущаясь, говорить больной. Это — молодой человекъ, очень больной и очень смирный.—Вы напишите, а потомъ и прочитайте мнѣ.

— Что же это будетъ, — заговорила она нетерпѣливымъ голосомъ:—ужъ это тогда будетъ мое письмо, а не ваше! А я думаю, вашимъ родителямъ будетъ очень неинтересно, на мѣсто письма отъ васъ, получить письмо отъ меня. Не такъ ли?

— Точно такъ, сестрица,—отвѣчаетъ больной.

— Вы согласны со мною, ну такъ и диктуйте же мнѣ, а я буду за вами записывать ваши слова. Говорите мнѣ ваши

мысли, ваши впечатлѣнія. Ну, напริมѣръ, скажите мнѣ, о чемъ вы теперь думаете, въ настоящую минуту, какія ваши мысли,—вспоминаете ли вы о вашихъ родныхъ или о походѣ... Поняли меня? Ну, такъ говорите же!

Молчаніе. Солдатики сконфуженъ. Онъ никакъ не ожидалъ, что писать письмо—дѣло такое сложное и мудреное.

Дѣвица не на шутку начинаетъ волноваться.

— Однако, вѣдь это же становится странно,—говоритъ она, и диапазонъ ея голоса поднимается:—вы же вызвали меня писать письмо, и теперь молчите,—а другіе, между тѣмъ, должны ждать; это несправедливо,—за что же ваши товарищи будутъ изъ-за васъ страдать?

— Вѣдь не въ первый же разъ въ жизни вы пишете письмо,—смигаясь, продолжаетъ она:—вы, вѣрно, уже писали вашимъ роднымъ, припомните... Писали?

— Точно такъ, сестрица, съ дѣйствующей арміи мы домой писали; фершалъ мнѣ писалъ, а отвѣту по сю пору все нѣтъ...

— Ну, и прекрасно,—вотъ мы теперь вторично напишемъ и попросимъ ихъ отвѣчать вамъ,—не такъ ли?

— Точно такъ!

Я отошла отъ арки—послышались шаги и голоса ея подругъ, возвращавшихся послѣ осмотра госпиталя.

Снова поднялась суетня и бѣготня.

— Вотъ, полчаса бьюсь и не могу ничего добиться, — покрывая голоса подругъ, раздавался раздражительный голосъ писательницы.

— Mesdames, mesdames, сейчасъ принесутъ обѣды! мы должны приготовить посуду и пробовать порціи,—хлопотала одна.

— Гдѣ же ихъ тарелки. гдѣ у васъ находятся тарелки?—спрашивала другая.

— У насъ, сестрица, чашки жестяныя, а говядину намъ такъ раздаютъ—руками.

Я ушла въ свое отдѣленіе, а послѣ обѣда отыскала Екатерину Николаевну, чтобы узнать, откуда явились эти новыя помощницы.

Екатерина Николаевна сказала мнѣ на это, что мы должны быть всѣмъ рады, что, какъ кажется, онѣ вносятъ съ собою хорошія средства, что она тоже слышала, что эта м-ме Д—ва изъ Москвы очень богата,—а что мы всячески должны стараться привлекать сотрудницъ и средства...

— Я уступила имъ свое отдѣленіе,—прибавила Екатерина Николаевна.

Нельзя было не сознаться, что она судить здраво, но впечатлѣніе всего, что пришлось видѣть и слышать, было самое отталкивающее.

Болѣе молодые мои товарищи и племянница Екатерины Николаевны тоже были возмущены.

— Не надо имъ позволять такъ хозяйничать и распоряжаться, — говорила возбужденнымъ голосомъ Ольга Ал. К—ва. — *Il faut que papa en parle au général ou bien je lui en parlerai moi-même.*

— Пойдемте въ отдѣленіе тѣти; тамъ у меня есть одинъ больной, котораго я хочу провѣдать. Пойдемте, — пригласила меня Ольга Ал. К—ва.

Мы пошли. Шуму было меньше, — часть уѣхала, — остались только двѣ дежурныя.

Взойдя въ отдѣленіе, мы отыскали больного Ольги Александровны.

Одна изъ дежурныхъ прибѣжала къ намъ.

— Что вамъ угодно, mesdames? — съ заискивающей любезностью спросила она.

— Мы пришли къ своему больному, — отвѣчала сухо Ольга.

Дежурная ничего не отвѣчала и удалилась.

Черезъ нѣсколько минутъ она опять впорхнула въ палату съ двумя кружками молока.

— Кто хочетъ молока? кто хочетъ молока? — самодовольно оглядываясь то направо, то налево, спрашиваетъ она больныхъ.

— Многимъ здѣсь совсѣмъ и нельзя молока, — говоритъ ей Ольга, не сдерживаясь долѣе: — безъ позволенія доктора нельзя давать больнымъ молока.

— Право?!... Однако молоко такая здоровая вещь, что никому не можетъ повредить.

Ольга дернула плечами, ничего не отвѣчая, и мы ушли.

— Ихъ надо вонъ, ихъ надо вонъ! — горячась, говорила она. — Это совершенно фальшивая кротость и самоотверженіе. Я не люблю играть въ притѣсенную невинность, когда отъ этого могутъ пострадать мои люди.

Когда прибѣжала къ намъ гр. П—на, Ольга Ал. К—ва рассказала ей, какъ онѣ позволяютъ себѣ распоряжаться безъ разрѣшенія доктора.

— У насъ въ арсеналѣ было хуже, — отвѣчала П—на: — какая-то баба съ улицы отъявилась и принесла цѣлую корзину зеленыхъ яблоковъ (по усердію) и раздала больнымъ... — Она громко разсмѣялась.

— Вотъ такъ одолжила! Мы были взбѣшены,—да этого такъ нельзя оставить. Я, впрочемъ, теперь имѣю полное основаніе говорить, что такимъ посѣщеніямъ будетъ положенъ конецъ...

Вечеромъ, я зашла къ К — мѣ; онѣ были не однѣ. У нихъ сидѣла незнакомая мнѣ дама, небольшого роста, съ выразительными, блестящими глазами. Одѣта она была просто, даже нѣсколько странно. На ней была синяя бархатная кофта, въ родѣ душегрѣйки, отороченная мѣхомъ, старушечья шляпа съ густымъ чернымъ вуалемъ вокругъ молодого лица. Между нею и Екатериной Николаевной шелъ дѣловыи разговоръ. Не желая мѣшать имъ, я поклонилась и прошла въ комнату Ольги, гдѣ кроились и заготавливались кисеты.

Когда мы вмѣстѣ съ барышнями вернулись въ гостиную, Екатерина Николаевна была одна, дама уже уѣхала.

— Ну, вотъ какъ отлично все устроилось!—объявила намъ Екатерина Николаевна:—м-ме Д. поступаетъ къ намъ въ со-трудницы. Эти дамы берутъ мое отдѣленіе на полное свое по-печеніе.

— Значить, эта дама была м-ме Д., т.-е. та „предсѣ-тельница“, которою такъ гордилась маленькая классная дама.

Оказалось, что она, русская, урожденная Д—ва, москвичка, и приносить съ собою хорошія средства въ госпиталь.

— И сороки будутъ ѣздить въ госпиталь?—освѣдомились мы.

— Да... онѣ всѣ составили комитетъ и будутъ по очереди ѣздить дежурить въ замокъ.

Мы поморщились.

Въ концѣ октября пріѣхали въ нашъ госпиталь давно обѣщанныя сестры милосердія. Ихъ было шесть. Онѣ пріѣхали издалека, съ береговъ Волги, и принадлежали всѣ одной общинѣ. Съ ихъ водвореніемъ водворился правильный уходъ за больными и постоянный надзоръ за фельдшерами и служителями. Давно было пора. Мы проводили въ госпиталѣ семь—восемь часовъ въ день; все прочее время больные оставались на произволъ этого грубаго, часто пьянаго люда.

Вновь прибывшія сестры были всѣ молодыя. Старшая, по званію, казалась моложе остальныхъ. Хотя онѣ были весьма различны по характеру, положенію, даже національности (между ними была одна нѣмка), но всѣхъ ихъ оживлялъ одинъ духъ—духъ самоотверженія, подвига, при этомъ сознаніе высоты своего призванія и вытекающее изъ него строгое отношеніе къ дѣлу. Впослѣдствіи намъ уже ни разу не приходилось встрѣчать въ сестрахъ милосердія такого высокаго настроенія. При этой стро-

гости въ нихъ не было тѣни суровости или педантизма,—всѣ онѣ были скорѣе веселыя, добродушныя существа, и самая ихъ веселость такъ ободряюще дѣйствовала на больныхъ.

Душою этой маленькой общины была молодая старшая сестра. Звали ее Александра Петровна К—ская; она была вдова изъ дворянокъ и поступила въ сестры милосердія послѣ смерти мужа. Когда вы ее видѣли въ первый разъ, васъ привлекала чистая, тонкая красота ея лица. На картинахъ прерафаэлитовъ встрѣчаются такія бѣлокурыя головки, между ангелами, которыхъ они изображали въ такомъ множествѣ и съ неподражаемою прелестью. Лица юношей, небесныхъ обитателей, свѣтлы до прозрачности,—но вмѣстѣ съ тѣмъ на нихъ лежитъ отпечатокъ сосредоточенности и торжественности; они проникнуты величіемъ своего служенія. Такое выраженіе строгости и вмѣстѣ ясности появлялось и на лицѣ молодой женщины въ самыя трудныя минуты ея служенія, приходило ли ей присутствовать при чрезмѣрныхъ страданіяхъ или напутствовать больного въ послѣднія минуты. На видъ она была такая хрупкая, нѣжная, но духъ въ ней былъ крѣпкій, а грубый людъ, которымъ она распоряжалась, чувствовалъ эту силу, уважалъ и даже боялся ея.

Намъ, дамамъ, стало гораздо легче дѣйствовать съ этого времени; эти сестры стали настоящими сотрудницами нашими. Александра Петровна К—ская сблизилась съ нами, и вскорѣ мы всѣ составляли какъ бы одну семью.

Мнѣ пришлось проходить черезъ третье отдѣленіе, которымъ занимались прозванныя солдатами „веселыя сестрицы“. Сегодня въ отдѣленіи тихо, и веселыхъ сестеръ не слышать. Вездѣ такъ чинно, всякій при своемъ дѣлѣ. Въ третьей палатѣ хозяйничаетъ маленькая, кругленькая сестра Поль—нѣмка. Она весело меня привѣтствуетъ. Передъ ней на полу стоитъ мѣдный кубъ съ випятакомъ, и она насыпаетъ въ него цѣлую четвертку чаю. На полу, вокругъ нея и на окнѣ рядами стоятъ оловянные кружки.

Я остановилась около сестры въ то время, какъ она считала кружки и разставляла ихъ группами по числу палатъ. Разставивъ ихъ, она обернулась ко мнѣ съ доброй улыбкой.

— Еслибы вы знали, съ какой завистью я смотрю на васъ, сестра!—сказала я.

— Да, да, вотъ какъ у насъ хорошо; теперь мы можемъ каждый день напоить больныхъ чаемъ!—съ сіяющимъ отъ удовольствія лицомъ говорила сестра.

Я спросила ее про своего больного и узнала, что онъ находится въ этомъ отдѣленіи, въ послѣдней палатѣ. Я пошла дальше.

Въ центральной палатѣ у окна стоитъ большой столъ. На немъ разставлены тарелки и другая посуда, не казенная; на ней разложена разная провизія, тоже не казенная.

Около стола на деревянномъ табуретѣ сидитъ дама съ короткими, вьющимися волосами. По блестящимъ чернымъ глазамъ, которые теперь поднялись на меня, я узнала въ ней ту самую м-ше Д., съ которой я встрѣтилась у Екатерины Николаевны К—вой. По другой сторонѣ стола стоитъ большой сундукъ, и такъ какъ онъ открытъ, то можно видѣть, что онъ до верху наполненъ чаемъ, сахаромъ, табакомъ, бѣльемъ и другими вещами.

Проходя мимо, я поклонилась м-ше Д. съ невольнымъ чувствомъ уваженія за то обиліе, которое она вносила съ собою въ это запущенное отдѣленіе. Въ тотъ же день я встрѣтилась съ м-ше Д.—вой въ комнатѣ сестеръ милосердія, и я попросила Екатерину Николаевну К—ву познакомить насъ. Мы разговорились. Я просила ее обратить вниманіе на того больного, котораго перенесли изъ моего въ ея отдѣленіе. Юлія Сергѣевна Д. стала меня расспрашивать, какіе у насъ введены порядки и по какой программѣ или системѣ мы дѣйствуемъ.

— Безъ всякой,—отвѣчала я.

— М-ше К—ва здѣсь главная; отчего же она не устроитъ чего-нибудь правильнаго?—спросила она дальше. — И неужели вы каждое утро привозите съ собою все то, что можетъ вамъ понадобится здѣсь,—и молоко, и вино, и чай, и табакъ, и лекарства и прочее?

Оно почти-что такъ и было. Чай и табакъ иногда доставляла м-ше К—ва на весь госпиталь; остальное все приходилось везти изъ дому.—Какъ это неудобно!—замѣтила она.

Расспрашивая все это, м-ше Д. вникала и соображала про себя.

— Вы приходите ко мнѣ, если вамъ что-нибудь будетъ нужно; слышите?—сказала она, разставаясь со мною и всматриваясь въ меня своими провицательными глазами.

Около этого времени и другіе военные госпитали стали посылаться частными лицами. Организовывались общества, устраивался контроль членовъ общества, вводились дежурства дамъ, по примѣру Краснаго Креста.

У насъ каждая дама работала въ своемъ отдѣленіи, посѣщая его ежедневно и занимаясь исключительно имъ. Но устраивать мы еще ничего не устраивали, а продолжали возить въ корзинкахъ, а затѣмъ, съ увеличеніемъ числа больныхъ, и въ увеличенныхъ корзинахъ, все необходимое для больныхъ.

30-го октября, утромъ, я пріѣхала въ свое отдѣленіе не одна. Со мною была моя сестра, прибывшая изъ Петербурга; она взяла подъ свое вѣдѣніе четыре палаты, изъ которыхъ теперь было образовано хирургическое отдѣленіе. Я же исключительно отдалась уходу за внутренними больными. Помощницей нашей была одна изъ казанскихъ сестеръ, молодая славная дѣвушка, здоровая, крѣпкая, веселая, съ которою скоро и мы, и больные очень сдружились.



НОВЫЕ СРУБЫ

— La charpente, par J. Rosny. Романъ изъ современныхъ нравовъ.

КНИГА ПЕРВАЯ.

I.

Утромъ 22-го марта, Жозефъ Дюгамель, географъ, издатель знаменитаго „Атласа Дюгамеля“, прогуливался въ паркѣ Монсюръ, передъ завтракомъ у своего друга Делафона. Равноденствіе занесло въ Парижъ свою неизбежную лихорадку, свои бурные, капризные токи воздуха, разражаясь ночью настоящими ураганами, распространяя днемъ сладостныя, нѣжныя дуновенія. Небо, не блиставшее яркимъ опредѣленнымъ цвѣтомъ, отливало лишь полу-тѣнями, полу-лучами—такими заманчивыми и вызывающими, что грудь вздымалась отъ безграничной жажды жизни, отъ жажды возрожденія. Кокетливыя, возбуждающіе порывы мягкаго вѣтра опьяняли животныхъ; крылья птицъ страстно трепетали. Взглядъ молодыхъ людей, казалось, какъ-то поблѣднѣвшій, блуждалъ неискренно и неопредѣленно; молодыя дѣвушки смѣялись слишкомъ звонко, двигались слишкомъ нервно. Меланхолическое настроеніе стариковъ вдругъ осложнилось какимъ-то страннымъ любопытствомъ.

На холмикѣ, вокругъ обсерваторіи, какой-то сложный приборъ поджидалъ появленіе метеора; стеклянная крыша съ большими, плоскими сосудами, тщательно собирала дождевыя капли; вертящіеся кружки на верхушкѣ мачтоваго столба опредѣляли теченія воздушныхъ волнъ; наклонные прозрачныя овалы измѣ-

ряли силу свѣта. Повсюду на площадеѣ, то возвышаясь свободно на фундаментахъ, то охраняемые будками и крышечками, видѣлись эти ловушки на стихійную мощь природы, — тонкія сѣти, протянутыя явленіямъ.

„Вотъ, — думалъ Дюгамель, — современная ловля. Чудесная засада, плѣняющая такихъ птицъ, какъ свѣтъ и электричество“...

И онъ себѣ представилъ свойственное охотнику своего рода волненіе ученаго, наблюдающаго какой-нибудь феноменъ природы или же подводящаго свои заключительные выводы.

И въ ту же минуту онъ замѣтилъ одного изъ такихъ ловцовъ-ученыхъ въ домашнемъ платьѣ, переходящаго отъ одного прибора къ другому, записывающаго цифры, наблюдающаго стрѣлки съ разсѣяннымъ и соннымъ видомъ.

„Да, спи себѣ, мой милый! — подумалъ географъ. — Какъ бы я желалъ, чтобы ты былъ настоящимъ представителемъ своей среды, а не паразитомъ, чтобы ты чувствовалъ себя счастливымъ обладателемъ всякихъ средствъ къ изученію и опыту“.

Относясь съ уваженіемъ къ призванію этого человѣка, онъ вѣрилъ всѣми силами души, что вдохновенный трудъ и радость обитаютъ въ возвышенномъ дворцѣ науки.

Дюгамель принадлежалъ къ породѣ тѣхъ химерическихкихъ мечтателей, которые всюду стремятся водворить великія мечты, великія абстракціи. Онъ былъ болѣе всего маниакомъ-моралистомъ, неспособнымъ смотрѣть на жизнь лишь какъ на взрывъ громадной, беспорядочной силы; онъ любилъ безпредѣльно истину и былъ искрененъ до крайности, — и потому постоянное противорѣчіе явленій жизни и природы съ основными законами нашей этики — приводило его въ полное отчаяніе. Все складывалось въ его мозгу въ строгія правила и положенія. Избытокъ впечатлительности съ одной стороны представлялъ ему жизнь въ мало привлекательномъ свѣтѣ — съ другой же былъ для него источникомъ безконечныхъ наслажденій. Онъ походилъ на одинъ изъ тѣхъ приборовъ, которые тамъ на площадеѣ указывали на измѣнчивость явленій, отражая въ себѣ поочередно гармонию и беспорядокъ, увѣренность и отрицаніе.

Между тѣмъ, преисполненный физической силы, здоровья, обеспеченный матеріально, онъ порывался примѣнить свою дѣятельность къ общественной жизни. Его сомнѣнія, чисто личнаго характера, не мѣшали его усиліямъ въ пользу общаго блага. Дюгамель любилъ государство любовью греческаго гражданина, къ которой примѣшивалась равная доза почти физическаго наслажденія находится среди сподвижниковъ-сочленовъ, пригото-

лять убѣдительныя рѣчи, отстаивать излюбленную мысль на конференціяхъ и собраніяхъ, агитировать въ ея пользу—и ощущать невыразимое удовлетвореніе, видя, какъ создается новая эпоха подъ властнымъ натискомъ новыхъ идей.

Вотъ почему утреннія наблюденія метеоролога заставили его такъ замечаться о томъ, чтобы наблюденія эти не оказывались лишь однимъ поверхностнымъ занятіемъ, но серьезнымъ, глубокимъ трудомъ, не грубою, простою работою, но вдохновеннымъ дѣяніемъ генія и славы.

Онъ продолжалъ свою прогулку. Небо поминутно ясняло и темнѣло, то сбрасывая съ себя облака, какъ изорванную одежду, и блистая чудною, нагою лазурью, то снова наряжаясь въ легкія, газоподобныя ткани быстро бѣгущихъ тучекъ. Все было безпрестаннымъ дрожащимъ движеніемъ:—влажный туманъ, то стремящійся вверху и затмѣвающій солнце прозрачною дымкою, то ниспадающій снѣжнымъ пухомъ на травы и цвѣты; вѣтеръ, сладостно мягкій и нѣжный, внезапно холодѣлъ, отскакивая назадъ и уступая мѣсто минутному затишью. И небо, и воздухъ, и земля—были во власти произвола... Законы, установившіеся въ мірѣ, казалось, были попорчены капризною весной; забыты осторожность, порядокъ и терпѣніе. Освобожденные стихи безсмысленно и радостно шумѣли и волновались. Въ мгновенныхъ перемѣнахъ зло быстро исчезаетъ; актъ жизни мелькаетъ такъ же внезапно, какъ потокъ свѣта или дождя. Живое существо, наравнѣ съ разыгравшейся природой, даетъ волю своимъ истинностямъ. Дюгамель воспринялъ въ эту минуту удивительно ясное ощущеніе общей съ природой возбужденности чувствъ и страстей; онъ даже какъ бы ощутилъ тягость установившихся законовъ жизни, предался цѣлымъ существомъ какой-то радости животной, импульсивной.

„Ранѣе чѣмъ удалось мнѣ извлечь изъ жизни и опыта нѣкоторые принципы, не желалъ ли я всегда инстинктивно, чтобы міръ былъ добръ и прекрасенъ, люди прекрасны и добры? Такъ что же такое страсть, если не тотъ же непреодолимый инстинктъ глубокихъ, непреложныхъ законовъ, управляющихъ нами?“

Такъ размышляя, онъ любовался паркомъ—и „глубокіе законы“ казались ему раздробленными въ тысячи арабскихъ знаковъ и буквъ на свѣжемъ фарфорѣ облаковъ, на еляхъ со вздернутыми вверхъ вѣтвями, точно углы китайскихъ пагодъ, на посвѣжѣвшихъ кустахъ, на платанахъ, испещренныхъ золотисторыжими пятнами солнца, точно узорчатая пантера.

„Вотъ эти законы, въ нихъ выросшіе и выраженные ими.

Съ дивнымъ строеніемъ этихъ деревьевъ, съ ихъ молчаливой гармоніей, съ взаимодействіемъ силъ, созидающихъ этотъ стволъ, вѣтви и листья, душа моя какъ бы сливается, какъ бы сростается въ одно. Въ нихъ мое давнее, мое древнее начало, и тихій шопотъ ихъ, ихъ очертанія и краски—это я самъ, вновь находящій себя въ могущественномъ воспоминаніи. Я—одно со всѣмъ міромъ!”

Онъ въ экстазѣ замечтался, а паркъ, казалось, шелъ на встрѣчу этимъ мечтамъ. Каштаны готовились раскрыть свои сжатые бѣло-розовые кулачки подъ первымъ солнечнымъ лучомъ, прожигающимъ ихъ смолистую плѣнку; жаворонки таскали хвостъ на гнѣзда, извиваясь съ громогласнымъ пѣніемъ промежъ вѣтвей; ящерица, выползшая изъ растрескавшейся коры, счастливая, растерянная и сонная, сидѣла неподвижно; сѣрый, круглоглазый соловей, слетѣвшій внизъ на вѣтку, колыбался въ томъ же возбужденномъ забытѣ, какъ и весь остальной міръ вокругъ него.

И однакоже, несмотря на заразительный порывъ счастья, навѣянный крыльями весеннаго вѣтра и многообѣщающими солнечными лучами, деревья еще трепетали, помня недавній холодъ; животныя все еще были жадно-голодны.

Но вотъ послышались легкіе, быстрые шаги ребенка. Ящерица мгновенно скрылась, соловей улетѣлъ выше; мелькнуло маленькое личико, тоже мечтательное по своему—и тоже возбужденное.

Дитя и взрослый взглянули другъ на друга.

— Ахъ,—глубоко вздохнулъ Дюгамель,—у меня его нѣтъ!

Въ тридцать шесть лѣтъ, когда ужъ страсти удовлетворены, опредѣлилось положеніе и выяснилась судьба,—наступаетъ время, когда ребенокъ становится единственною, страстно желаемою будущностью; нарождается жажда его обаятельнаго присутствія,—и несмотря на то, что человѣческій улей влечетъ по прежнему въ общей съ нимъ жизни, въ мысляхъ и планахъ дитя мелькаетъ неизбежно среди всевозможныхъ усилій и трудовъ,—и чувствуется новое желаніе быть уважаемымъ, превозносимымъ, благодаря этому дитяти, и возродиться въ немъ свѣжею жизнью.

Женившись по любви, Дюгамель представлялъ себѣ божественную радость имѣть любимое дитя. И вотъ, при видѣ каждаго ребенка, его меланхолическое настроеніе принимало форму простаго страданія, тѣмъ болѣе, что онъ не могъ излить своей печали передъ женой, не находя въ ней особеннаго сочувствія.

Онъ направился по аллеѣ, идущей вдоль пруда, и тихій,

точно сельскій пейзажъ, напоминающій картину фламандскаго художника конца XV вѣка, съ яркой прибрежной зеленью, большими бѣлыми гусями, блестящею водой и мирной благодатью, вызвалъ своею красотою влажную поволочу на его взволнованные, печальные глаза. Потребность излить свое горе переполнила его грудь,—та же потребность, которая создавала скорбные псалмы и вдохновляла изнывающихъ пророковъ.

„Я никогда не буду полнымъ, законченнымъ существомъ, которое переживаетъ себя, которое находитъ себя вновь. Исчезну безслѣдно—и несравненно скорѣе перваго встрѣчнаго человѣка—лишь потому, что онъ могъ быть отцомъ, а же быть имъ не могъ. О, если бы онъ былъ со мной! Я чувствую, что я бы жилъ прелестью его жизни, его удивленными восторгами, его юною подвижностью... что я бы проникся свѣжестью его дѣтства, какъ въ свое собственное второе дѣтство. Тогда бы менѣе сливалась мысль о смерти—съ мыслью о полномъ исчезновеніи, о ничтожествѣ. Вся міровая будущность, которой я придаю такое значеніе, всѣ интересы Франціи, были бы мнѣ гораздо ближе и дороже, если бы я могъ себѣ представить, что и онъ будетъ жить и пользоваться ими. О, мой малютка, мой малютка,—какъ страстно жаждалъ бы я видѣть чудный блескъ твоихъ глазокъ, отражающихъ свѣтъ моего зора!“

Передъ нимъ вдругъ открылась желѣзнодорожная плоскость, опоясанная темной лентой рельсоваго пути,—а за ней дальше и весь Парижъ отъ Эйфелевой башни до Пантеона съ ближайшими густо заселенными кварталами Де-ла-Сантѣ и Де-ла-Гаръ. Проходя по улицамъ этой обдѣлѣйшей части города, Дюгамель вспомнилъ толпу, блуждавшую здѣсь въ прошлое воскресенье,—эти лица, измученныя продолжительнымъ холодомъ, мужчинъ и женщинъ, рано завядшихъ, изможденныхъ, голодныхъ,—ужасныхъ въ яркомъ мартовскомъ свѣтѣ. Онъ съ отвращеніемъ подумалъ о томъ снѣдающемъ чудовищѣ, которое мы называемъ промышленностью. Его душа преисполнилась скорбью. И тогда новая мысль промелькнула въ его головѣ, и онъ вспомнилъ о страстно желаемомъ имъ ребенкѣ.

„Не лучше ли ему совсѣмъ не родиться въ такихъ ужасныхъ условіяхъ—не предпочтительнѣе ли невѣдѣніе такой со знанной жизни?“

Онъ опустилъ голову, поспѣшно удаляясь изъ этого печальнаго квартала.

Никогда еще измѣнчивость его души не выказывалась съ такою силой, какъ въ этотъ часъ ранней прогулки. Было ли это

отраженіемъ капризной игры весеннихъ стихій? Его сердце было въ эту минуту менѣе удовлетворено, чѣмъ когда-либо. Несмотря на свою добрую волю, свои твердыя убѣжденія, онъ чувствовалъ себя существомъ темнымъ и безсильнымъ, жертвою новыхъ сомнѣній; великія слова, — очарованіе его жизни, — справедливость, правда и добро, — казались ему подобными религіознымъ истинамъ, утѣшительнымъ и укрѣпляющимъ лишь вѣрующихъ, но мертвымъ буквамъ безъ простой вѣры. Онъ испытывалъ безконечную потребность отыскать въ себѣ прежнюю твердость и ясность вѣрованій, но онъ предугадывалъ смутно, что они не воспрянутъ съ прежнею силой, если въ какой-то новой эрѣ, открывающейся передъ нимъ, самый смыслъ этихъ словъ: добро, справедливость, правда, — не преобразится всецѣло, а вмѣстѣ съ тѣмъ и мораль, основанная на нихъ. Тѣмъ не менѣе, онъ пытался отдѣлаться отъ грусти блѣдною улыбкой.

„Не стоило бы труда быть такимъ эволюціонистомъ, какъ я, еслибы подобное преобразованіе было слишкомъ радикально... Во всякомъ случаѣ, что бы ни принесло мнѣ будущее, я хочу внести въ него по прежнему искреннюю душу“...

Его часы показывали одиннадцать. Онъ спохватился, что уже пора отправиться къ друзьямъ, которые его ждали къ завтраку. Они недавно построили себѣ на Келлерманскомъ бульварѣ элегантную, свѣженькую виллу. Дюгамель позвонилъ съ удовольствіемъ у маленькой двери за рѣшеткой. Рыжая собака, рѣдкой въ Парижѣ породы, встрѣтила его громкимъ лаемъ.

II.

Делафонъ еще не вернулся. М-мъ Делафонъ и ея младшая сестра, Алиса, приняли Дюгамеля въ маленькомъ внутреннемъ садикѣ. Женѣ Делафона было тридцать лѣтъ, молодой дѣвушкѣ — двадцать-три, и обѣ онѣ блистали красотой сѣверныхъ брюнетокъ. Черты ихъ были правильны, глаза сіяли спокойнымъ, глубокимъ свѣтомъ; серьезный, нервный ротъ изящно былъ обрисованъ — выраженіе вѣчно измѣнчивое, подвижное, при матовой, испанской бѣлизнѣ лицъ.

М-мъ Делафонъ, не такая гибкая и тонкая, какъ ея сестра, была какъ будто создана для казовой, представительной жизни — лучшей супруги и матери, соотвѣтственно сложившемуся идеалу. На первый взглядъ, ея лицо, какъ бы усыпленное счастьемъ, казалось, отражало душу, исполненную тихой благодати. Однако-

же, и этой женщи́нѣ, въ общемъ счастливой и довольной, одно лишь случайное обстоятельство—бездѣтность,—омрачало полный свѣтъ ея жизни. Въ ея существованіи этотъ желанный, но не являющийся ребенокъ воплотился въ единственно возможный, но недостижимый идеаль счастья. Не отвлекаемая ничѣмъ другимъ отъ своей вѣчной порабоощающей мечты, она страдала подѣ ея властью, и не разъ приходила въ глубокое отчаяніе. И въ эту страшную тоску о невозможномъ уходили всѣ ея лучшія силы, вмѣсто служенія окружавшему ее со всѣхъ другихъ сторонъ счастью.

Дитяти недоставало ея тѣлу и ея душѣ; это обиліе изнывающихъ напрасно материнскихъ чувствъ обрушивалось на нее самое и томило ее, какъ тяжелый ностальгическій сонъ. Въ послѣдніе два года ея глаза, устремленные въ одну сторону, ея прогулки съ одной лишь цѣлью—любоваться по паркамъ чужими дѣтьми,—внезапныя, неисполняющіяся надежды, обильныя слезы и даже крики отчаянія,—все предвѣщало, казалось, прогрессивную манію—сумасшествіе.

Делафонъ, человѣкъ умственно богато одаренный, но въ высшей степени впечатлительный, нервный и неустойчивый, сгибался подѣ тяжестью ненормальной жизни своей жены, дикихъ порывовъ ея отчаянія. Одно лишь присутствіе Дюгамеля съ его дѣйствительной, экспансивною добротой, съ его умомъ чисто отвлеченнымъ и безпрестанно занятымъ излюбленными, широкими мечтами, благотѣльно вліяло на мужа и жену.

Они его любили старинной дружбой. Кромѣ еженедѣльных поочередныхъ обѣдовъ у Дюгамелей и Делафоновъ, бывали завтраки одинъ лишній разъ въ недѣлю въ виллѣ на Келлерманскомъ бульварѣ, къ которымъ являлся акуратно Дюгамель одинъ, безъ жены. Эти завтраки имѣли прелесть полной интимности. Они напоминали товарищамъ ихъ общую жизнь въ учебные годы, впослѣдствіи же—почти семейныя отношенія Дюгамеля съ супругами Делафонъ и маленькою Алисой, когда онъ былъ еще холостъ.

Дюгамель былъ въ нѣкоторомъ родѣ духовнымъ руководителемъ Алисы. Въ самой ранней юности она его избрала истолкователемъ новыхъ понятій, посредникомъ между собой и остальнымъ міромъ, провѣрителемъ собственной совѣсти. Обыкновенно такой выборъ падаетъ на отца или на старшаго брата, но не всегда же онъ останавливается на самыхъ близкихъ людяхъ. Алиса могла бы избрать Делафона, вполне заслуживавшаго та-

кого довѣрія, но ея вѣрный инстинктъ подсказалъ предпочесть ему Дюгамеля.

И вотъ онъ укрѣпилъ и развилъ въ ней едва зарождающуюся этическую красоту, не только ввелъ въ этотъ юный мозгъ общія понятія истины, но присвоилъ ей и нѣчто освѣщающее и видоизмѣняющее эти понятія, превосходящее ихъ—сознаніе духа времени. При такомъ постоянномъ общеніи этихъ натуръ—даже слова и жесты Дюгамеля имѣли для нея особый смыслъ, незамѣтный для непосвященныхъ; они какъ бы символизировали весь міръ въ ея глазахъ. Связь между ними была такъ глубока, что они сами ея болѣе не замѣчали, какъ не замѣчаются акты неотъемлемые отъ жизни. Но съ нѣкотораго времени въ естественную, ничѣмъ не ограничиваемую привязанность Алисы проникъ какой-то новый оттѣнокъ сдержанности, быть можетъ, одна изъ завлекательныхъ ловушекъ, хитро заманивающихъ человѣческое счастье.

М-мъ Делафонъ, желая приготовить кофе по вкусу Дюгамеля, ушла изъ сада, оставляя Алису и гостя однихъ. Тогда молодая дѣвушка сказала совершенно серьезнымъ тономъ:

— Я очень недовольна Боксомъ (такъ звали собаку). Онъ снова намѣревался растерзать котенка.

— Неужели? — вскричалъ Дюгамель. — Право, Боксъ меня огорчаетъ.

— Это былъ маленькій котенокъ съ голубыми глазами... Крошка вѣдь ничего не понимаетъ. Вотъ что вооружаетъ меня противъ Бокса. Не правда ли, что сильныя животныя, въ особенности же большія собаки, уважаютъ безсиліе и невинность? Имъ нуженъ для борьбы сильный и равный врагъ... Я была просто возмущена, когда онъ бросился на котенка... Я знаю, что это страшное ребячество, но все-таки я не могу понять, какъ это *они* могутъ творить себѣ взаимно зло.

Она подчеркивала этими словами солидарность всѣхъ животныхъ въ борьбѣ ихъ съ человѣкомъ. Съ большей горечью, если не съ большей грустью, какъ Дюгамель, она возмущалась противъ мученій животныхъ. Однимъ изъ общихъ и главныхъ ихъ вѣрованій было убѣжденіе, что искупленіе человѣчества, въ смыслѣ торжества разума и добра, до тѣхъ поръ будетъ невозможно, пока будутъ продолжаться терзанія животныхъ. Какъ относиться съ милосердіемъ къ той, все-таки, высшей расѣ животныхъ, которая жестоко властвуетъ надъ поправными ея низшими породами? Какъ себѣ представить, чтобы палачи животныхъ достойны были счастья и любви?

Дюгамель пробормоталъ:

— Быть можетъ, вы возбуждали его ревность?

— Нѣтъ, я не ласкаю при немъ котенка. Пойдемте взглянуть на это чудовище.

Они обошли вокругъ дома. Боксъ высочилъ имъ на встрѣчу изъ своей будки.

Ничего не было дикаго во взглядѣ его добрыхъ, разыгравшихся глазъ.

— У тебя, однакожь, совсѣмъ невинный видъ, негодяй! — напустился на него Дюгамель. — Вы его должны приучить къ присутствію кошекъ. Наказали ли вы вчера этого разбойника?

— Еще бы! Ты помнишь ли, злодѣй, какъ крѣпко я тебя отодрала и сколько я тебѣ натоковала про кошекъ?

— Вы, впрочемъ, можете успокоиться. Котенокъ вѣдь остался невредимъ?

— О, да! Онъ только испугался.

Алисѣ показалось, что этотъ вопросъ Дюгамеля снова возстановилъ нарушенный Боксомъ міровой порядокъ. Они оба улыбнулись доброю, фамиллярною улыбкой. Однакожь, быть можетъ, то же шаловливое равноденствіе придало какой-то новый оттѣнокъ ихъ взаимной улыбкѣ, слегка смущеннымъ взглядамъ. Дюгамель замѣтилъ вдругъ яснѣе, чѣмъ когда-либо, что Алиса была удивительно хороша. Алиса же вдругъ ощутила мимолетную грусть, — и это было все.

На улицѣ показался Делафонъ въ обществѣ какого-то незнакомаго господина, и они отправились къ нему на встрѣчу, отрывъ калитку и выпустивъ собаку, бросившуюся впередъ громадными, легкими прыжками.

— Не опоздалъ ли я? — спросилъ Делафонъ, замѣтно обрадованный видомъ друга.

— Нисколько. Теперь половина двѣнадцатаго.

Делафонъ былъ средняго роста, брюнетъ со свѣтлыми глазами и высокимъ лбомъ, свидѣтельствующими о его галльскомъ происхожденіи также съ сѣвера Франціи. У него былъ нѣсколько желтоватый, желчный цвѣтъ лица, красивыя черты, сосредоточенный, горячій взглядъ и грустное очертаніе рта. Нервы переливались и дрожали на этомъ лицѣ вѣчно колыхающейся волной. Онъ былъ аристократическаго происхожденія — изъ разорившейся фамиліи маркизовъ Делафонъ д'Аррексъ, — и вынесъ, вѣроятно, изъ своего родного дома нѣкоторую наслѣдственную лѣньность, которая заставляла его предпочитать слишкомъ поспѣшныя обобщенія трудному и медленному анализу. Его жена,

также аристократка, м-ль де-Нормануаръ де-ла-Шастеллери, унаслѣдовала отъ своей семьи склонность къ частымъ разочарованіямъ, односторонность мнѣній и чувствъ, легко создающую какую-нибудь *idée fixe*.

Оба они испугалися облагораживающимъ страданіемъ грѣхи своихъ предковъ,—страданіемъ, преобразующимъ ихъ худшіе наслѣдственные инстинкты въ элементъ прогрессивнаго совершенствованія. Делафонъ, обеспеченный довольно значительнымъ доходомъ, посвятилъ себя историческимъ трудамъ; онъ вообще работалъ систематично и съ большимъ интересомъ, но вотъ уже два или три года непреодолимое паденіе духа мѣшало ему сосредоточиться на этихъ изслѣдованіяхъ, исторгало перо изъ его рукъ.

Онъ представилъ Алисъ и Дюгамелю своего гостя.

— М-сьё Бизо, старый товарищъ изъ С.-Луи, котораго я встрѣтилъ случайно на послѣдней недѣлѣ.

Послѣ обмѣна обычными привѣтствіями, Алиса вскорѣ ушла къ сестрѣ, и мужчины остались одни.

— Ты видѣлъ уже мою жену?—спросилъ Делафонъ Дюгамеля, какъ только они водворились въ гостиную.

— Да. И нахожу, что у нея хорошій видъ.

— Меня беспокоитъ ея бессонница, ея головныя боли.

— Это все пройдетъ, — сказалъ Дюгамель, привыкшій къ пессимизму Делафона, инстинктивно стараясь пріободрить и поддержать его.

Но его дружески-успокоительный тонъ не дѣйствовалъ такъ успѣшно на друга, какъ на Алису. Делафонъ возразилъ:

— Время или смерть — наше лекарство. Ничто не „проходить“, мой милый, въ обычномъ смыслѣ этихъ словъ, подъ которыми подразумѣвается участіе воли и разчета... Или, по крайней мѣрѣ... все то, что „проходить“, „устроивается“ само собой, слишкомъ хорошо намъ извѣстно, чтобы мы могли строить на этомъ наше спокойствіе и удовлетвореніе... Дѣло не въ томъ, чтобы вылечить отъ насморка, нѣтъ, отъ рака—отъ всего, что угрожаетъ нашему счастью—и ты самъ прекрасно знаешь, что есть вѣдь много неизлечимыхъ страданій, которыхъ не въ силахъ побороть ни наша наука, ни наша воля.

— Однакоже,—вмѣшался Бизо, казавшійся самымъ обыкновеннымъ счастливецомъ,—наука излечиваетъ теперь болѣзни, нѣкогда неизлечимыя.

— Да, она ихъ излечиваетъ послѣ смерти безчисленнаго множества жертвъ... Совершенствующейся медиципой пользуется

весь человѣческій родъ, но это не удовлетворяетъ личность, которая все-таки остается печальной игрушкой случая... Дюгамель прекрасно знаетъ, какъ глубоко страдаетъ моя жена — и ей нисколько не легче отъ того, что человѣчеству отъ этого не хуже.

Дюгамель ничего не отвѣчалъ, привыкшій къ этимъ вѣчно возобновлявшимся спорамъ — и вѣчно въ этомъ духѣ. Въ послѣднѣе мѣсяцы, вслѣдствіе нервно-психической болѣзни жены, пессимизмъ Делафона принялъ болѣе острую форму и часто бывалъ близокъ къ полному отчаянію. Цвѣтущее здоровье, блестящій успѣхъ въ дѣлахъ и твердость основныхъ принциповъ Дюгамеля, позволяли ему сопротивляться бурному натиску сарказма, всеомрачающимъ и злобнымъ выводамъ его друга. Кромѣ того, онъ уважалъ и жалѣлъ его отъ всей души, и это придавало силу его защитѣ.

— Нѣтъ никакого порядка, — продолжалъ лихорадочно Делафонъ, — никакихъ нравственныхъ руководящихъ законовъ. Сегодня они воздвигаются, завтра же низвергаются. Случай играетъ жизнью и смертію. На что мнѣ опереться? Инстинктъ убиваетъ, разумъ убиваетъ, вѣра убиваетъ, сомнѣніе убиваетъ! Для того, чтобы душа могла имѣть твердое руководящее начало, она должна сперва открыть его въ этомъ мірѣ. Но здѣсь, быть можетъ, и ничего нѣтъ, кромѣ грязи и зла!

— Нѣтъ, извини, — сказалъ Дюгамель, — это не совсѣмъ такъ. Положимъ, ты правъ, выдвигая несправедливость, глупость и даже преступленія природы... Конечно, наши страданія, также какъ и наши радости, не отражаются видимымъ образомъ на ней. Удары „рока“ падаютъ одинаково на лучшихъ, какъ и на худшихъ изъ насъ. Но въ этомъ фатализмъ есть вѣдь также свои опредѣленные двойственные законы: на-ряду съ началами смерти — начала жизни, низкаго озвѣренія и благороднѣйшаго совершенства, стремленіе къ путямъ истины и скользкая стезя лжи...

— То-есть, ничего безусловнаго, ничего абсолютнаго. Что бы ты ни говорилъ, условное счастье, при постоянномъ злѣ, возможно только при безчисленныхъ предосторожностяхъ и уступкахъ. Въ человѣческой жизни — также какъ и въ природѣ. Долженъ ли я снова приводить тебѣ въ примѣръ торжествующихъ негодяевъ? Въ политикѣ, въ промышленности и торговлѣ — къ чему бы привела безусловная честность? Что касается доказательствъ, почерпаемыхъ изъ природы, — ихъ безконечное множество. Торжествуютъ хищныя животныя — дикари-людоеды. Только

въ человѣческомъ мозгу живутъ опредѣленные понятія добра и зла. И это еще вопросъ—соотвѣтствуютъ ли они дѣйствительности; быть можетъ, они являются только результатомъ слабости побѣжденнаго; быть можетъ, то, что мы считаемъ съ дерзкою гордостью мировымъ закономъ, есть не что иное, какъ только слѣдствіе религіознаго гипнотизма, продуетъ лишь низшаго развитія и рабства.

— Мы часто останавливались на этомъ вопросѣ,—отвѣчалъ Дюгамель, внутренне вздрогнувъ при этомъ ударѣ въ самую отраднѣю сторону своего существованія.—И я знаю, какъ трудно его разрѣшить, но изъ моего собственнаго опыта я вынесъ убѣжденіе, что счастье—и даже только успѣхъ—зависятъ отъ уваженія къ тѣмъ *испытаннымъ* законамъ, которые мы называемъ моралью. Я согласенъ, что есть имъ извѣстный предѣлъ, что наказаній больше, чѣмъ наградъ, что наказанія эти бываютъ непропорціональны винѣ, что, наконецъ, нравственными законами играетъ страшный капризъ; но все-таки довольно *созна-*нія, что они существуютъ.

— Увѣренъ ли ты, что это не миражъ? То, что ты называешь „нравственными законами“—не простой ли продуетъ современной необходимости, возникшей лишь благодаря вчерашнему случаю, который завтра же можетъ измѣниться отъ сегодняшнихъ случайностей? Не смѣшиваешь ли ты простой „игры“ твоего организма съ такъ называемыми предустановленными законами?

— Да, я, конечно, ихъ смѣшиваю—и даже по доброй волѣ. Простая игра, о которой ты говоришь, была бы для меня тоже закономъ,—но уже древнимъ закономъ, прошедшимъ цѣлую серію животныхъ жизней, чтобы дойти до насъ... И что жъ изъ этого, мой другъ, что мы ихъ станемъ называть предустановленными или случайными законами,—если они существенны и живы! Я пришелъ уже къ этому убѣжденію послѣ самаго скромнаго опыта.

Делафонъ задумался надъ словами своего друга. Онъ дѣлалъ, казалось, усилія воспринять утѣшительное вѣрованіе Дюгамеля. Но мало-по-малу морщины снова стали собираться на его лбу, напряженное вниманіе опять обратилось въ сторону его *idée fixe*, и лицо его, омрачившееся по прежнему, приняло еще болѣе гнѣвное выраженіе, когда онъ отвѣчалъ Дюгамелю:

— У меня слишкомъ близкій примѣръ передъ глазами—дикости или отсутствія законовъ, управляющихъ нами, чтобы я могъ склониться къ твоей теоріи... Моя бѣдная жена!

— Ты долженъ признать,—сказалъ Дюгамель, раздраженный споромъ,—необходимость нѣкотораго каприза въ важномъ актѣ

возрожденія... Еслибы въ критическій моментъ нашего развитія все только зависѣло отъ насъ,—мы все бы загрязнили, быть можетъ. Я нахожу, вообще, случай ужаснымъ и даже необходимымъ для полноты, разнообразія и непредвидѣнности въ мірѣ. Я даже очень сожалею о томъ, что нѣтъ возможности приостановить излишнее размноженіе безъ большихъ опасностей, безъ ложнаго истолкованія такого стремленія среди массъ.

Бизо, со своимъ видомъ какой-то упрямой кротости, принадлежавшій, очевидно, къ породѣ людей вообще молчаливыхъ, слушалъ ихъ съ большимъ интересомъ и казался нѣсколько оглушеннымъ ихъ страстнымъ тономъ.

Делафонъ началъ снова:

— Быть можетъ, ты и правъ... Но что меня въ особенности поражаетъ—это глупость, да, именно, эта чудовищная глупость, съ которою производится такое великое дѣло. Достаточно какого-нибудь мелкаго уклоненія въ организмъ—и вотъ при полной силѣ и здоровьѣ ничего не выходитъ! Изъ-за какого-нибудь глупѣйшаго пустяка!

Бизо вникалъ въ содержаніе спора все съ большимъ удивленіемъ и интересомъ. Онъ не привыкъ затрогивать такой предметъ съ такой оригинальной точки зрѣнія: возможности или же необходимости существованія того или другого явленія или закона. Онъ мирился съ природой, съ мировыми фактами—такими, какими они себѣ сами являлись, не оспаривая ни радостей ихъ, ни печалей. Совершеннѣйшій скептикъ и безукоризненно честный человѣкъ, живущій опытомъ вчерашняго дня,—подобно тому, какъ и Бизо будущаго станутъ жить сегодняшнимъ опытомъ; одинъ изъ тѣхъ людей, которыхъ время отъ времени продолжительныя страданія очерчиваютъ своеобразно, но которые вообще мало способны къ страданію. Во всякомъ случаѣ, споръ друзей его сильно заинтересовалъ—и онъ къ нему прислушивался съ нѣкотораго рода удивленнымъ восхищеніемъ.

Делафонъ началъ снова съ горечью:

— Если моя жена не можетъ имѣть ребенка,—зачѣмъ же ей данъ въ такой мѣрѣ материнскій инстинктъ, который властно поработываетъ ее, доводитъ ее чуть ли не до гибели, до сумасшествія—при ея силѣ, ея здоровьѣ? Тысячи же людей съ невозможными и отвратительными болѣзнями, истощенныя до крайности, становятся родителями! Вотъ прекрасная логика природы! Первый встрѣчный глупецъ придумалъ бы нѣчто лучшее...

Уступая наконецъ передъ этой несомнѣнной истиной, Дюгамель ничего не отвѣчалъ, все болѣе и болѣе омрачаясь. Де-

лафонъ между тѣмъ продолжалъ все въ томъ же духѣ,—и наконецъ, замѣтивъ, что никто ему не возражаетъ, и онъ говоритъ одинъ, онъ вдругъ остановился и сказалъ съ легкимъ смущеніемъ:

— Простите меня, я васъ совсѣмъ утомилъ моими разсужденіями...

— Это равенство,—отвѣчалъ Дюгамель, улыбаясь.

— Что вы говорите о равенствѣ?—спросила м-мъ Делафонъ, вошедшая вмѣстѣ съ Алисой.

— Что это оно заставляетъ насъ такъ бунить. Не отправиться ли намъ послѣ завтрака въ Кроа-ла-Берни? Воздухъ и вѣтеръ, и облака теперь тамъ великолѣпны,—въ этихъ широкихъ равнинахъ.

— Такъ и быть, отправимся въ „широкія равнины“,—сказалъ нѣсколько веселѣе Делафонъ.

— Не забывъ, конечно, взять дождевыхъ зонтиковъ,—усмѣхнулась жена.

— Это пустыя!—замѣтилъ Дюгамель.—Мимолетные мартовскіе дожди тотчасъ же высушиваются могучимъ мартовскимъ вѣтромъ. Равнины же должны быть просто божественны, съ ихъ чуднымъ горизонтомъ, полнымъ богатыхъ метаморфозъ, какъ драмы великихъ спектаклей.

Предложеніе Дюгамеля было принято.

За завтракомъ, у стола, Бизо помѣстили рядомъ съ Алисой, и Дюгамелю показалось, что м-мъ Делафонъ обмѣнялась значительнымъ взглядомъ со своимъ мужемъ, а затѣмъ посматривала по временамъ на Бизо съ легкою ироніей, на сестру же съ нѣкоторой растроганностью. Алиса была по прежнему спокойна, изящна и мила. Дюгамель же, несмотря на всѣ свои усилія, волновался все болѣе и болѣе.

Между тѣмъ общество интересныхъ и обаятельныхъ женщинъ, дружеская интимность собесѣдниковъ, отлично приготовленный завтракъ—разсѣяли скорѣе тягостныя впечатлѣнія предъидущаго спора. Какъ въ утонченной Европѣ, такъ и у самаго дикаго племени—человѣкъ ищетъ забытья въ кратковременномъ чадѣ такихъ собраній, гдѣ изливающийся избытокъ жизни заставляетъ забыть о ея прорѣхахъ. Было затронуто множество вопросовъ. Бизо, высказывающій теперь охотно свои мнѣнія, сдѣлалъ патріотическую вылазку, когда заговорили объ идеалѣ, могущемъ замѣнить въ настоящее время умирающія доктрины.

— Простите,—сказалъ онъ,—если я позволю себѣ въ этомъ случаѣ сослаться на собственную личность. У меня былъ всегда

несомнѣнный, несокрушимый идеалъ: это — отечество. Не думайте однакожъ, что я принадлежу къ породѣ тѣхъ патріотовъ, которые мечтають объ истребленіи иностранцевъ-враговъ; я очень далеко отъ этого. Но мнѣ кажется просто подавляющей идея совершенствованія всего человѣчества... Это слишкомъ широко, слишкомъ сложно и недоступно, между тѣмъ какъ только во Франціи, съ которой меня связываетъ общность расы, языка и т. д., я могу создать себѣ идеалъ не столь туманный и отдаленный. Вы, конечно, скажете, — прибавилъ онъ, смѣясь, — что въ этомъ случаѣ я проповѣдую „распредѣленіе труда“, связанное съ такимъ идеаломъ?.. Понятно, что такъ; все другое кажется мнѣ донкихотскою борьбой съ вѣтранными мельницами. Я не люблю войны изъ-за идеаловъ; бороться въ ихъ защиту — это еще не значить работать надъ ихъ торжествомъ, но лишь надъ разрушеніемъ вѣроваій своего противника.

— Странно, — сказалъ Дюгамель: — патріотизмъ, какъ мирное соревнованіе...

— Я думаю, — вмѣшалась м-мъ Делафонъ, — что идеалъ женщины долженъ еще болѣе суживаться и ограничиваться лишь однимъ интересомъ семьи. Ваша жизнь протекаетъ въ соревнованіи въ общественномъ смыслѣ; мы же живемъ лишь самопожертвованіемъ, преданностью — и при томъ, по большей части, преданностью довольно умѣренной, — родителямъ, мужу, дѣтямъ... — При послѣднихъ словахъ лицо ея замѣтно омрачилось.

Бизо между тѣмъ обратился къ Алисѣ:

— Каковъ же вашъ идеалъ, mademoiselle?

Она отвѣчала, немного подумавъ:

— Я хотѣла бы уничтожить страданія. О, не всѣ, конечно, земныя печали, — объ этомъ не можетъ быть и рѣчи! — но, по крайней мѣрѣ, простую, грубую физическую боль...

— Народы, создавшіе идеалъ небытія, мнѣ симпатичнѣе всѣхъ другихъ, — закончилъ Делафонъ, и эти заключительныя слова распространили вокругъ тяжесть и холодъ, — не столько самъ ихъ смыслъ, сколько страшная горечь ихъ тона.

Къ счастью, подали кофе, и его возбуждающее дѣйствіе отразилось вскорѣ въ смутныхъ мечтаніяхъ собесѣдниковъ. Впрочемъ, эти мечтанія у Бизо и Делафона приняли болѣе опредѣленную форму, чѣмъ у другихъ. Первый видѣлъ въ нихъ бракъ свой съ Алисой и представлялъ ее себѣ въ соотвѣтствующей обстановкѣ; второй замечтался о великомъ счастьѣ безконечнаго сна безъ пробужденія. Настроеніе же Алисы и Дюгамеля было гораздо сложнѣе и непонятнѣе для нихъ самихъ. Одно лишь

чувствовалъ онъ ясно — дикій порывъ необузданныхъ, дерзкихъ страстей, нехорошей, нечистой волной бурлившихъ въ груди. Она же чувствовала сказочное обаяніе захватывающей всецѣло любви, — любви еще почти не сознанной, еще почти безотчетной...

III.

Они отправились отъ Орлеанскихъ воротъ въ Кроа-ла-Берни паровымъ omnibusомъ. На пути къ Бургъ-ла-Ренъ зазеленѣли имъ на встрѣчу огороды съ блѣднымъ салатомъ, съ остріями едва пробившихся листовъ цвѣточныхъ луковицъ. Въ солнечныхъ полутонахъ отливали свѣтлымъ серебромъ живо мелькающія лопаты садовниковъ; цѣлыя поля божественно дышали полураскрытыми губками фіалокъ. Въ сторонѣ Вашъ-Нуаръ тысячи фабричныхъ трубъ мгновенно вспыхивали и потухали отъ тучъ клубившагося дыма.

— Вотъ, — сказалъ Дюгамель, указывая на нихъ, — вотъ земной хлѣбъ, извлекаемый съ помощью вѣковыхъ микроорганизмовъ.

— Чѣмъ же мы имъ обязаны? — возразилъ Делафонъ: — холерой, дифтеритомъ!

— Это ужасно! — замѣтилъ Бизо: — просто страшно жить въ вѣчномъ соприкосновеніи съ этой пожирающей, носящейся повсюду матеріей!

— Наоборотъ, — отвѣчалъ Дюгамель: — утѣшительно думать, что мы легко можемъ противопоставить такимъ случайностямъ элементарныя гигиеническія средства. Если неизвѣстный паразитъ окружаетъ насъ со всѣхъ сторонъ, вѣчно стремится насъ разложить, — мы можемъ быть довольны, если, благодаря этимъ несложнымъ средствамъ, мы побѣждаемъ его и живемъ.

— Какое это можетъ имѣть значеніе въ міровой жизни, продержимся ли мы, устоимъ ли мы нѣкоторое время, или же нѣтъ? — сказалъ Делафонъ. — Къ чему бороться, если смерть и разрушеніе стремятся къ намъ со всѣхъ сторонъ?

Делафонъ курилъ, произнося слова, и его безучастный взглядъ провожалъ кольца улетаваго голубого дыма. Послѣдовало продолжительное молчаніе вплоть до Гранжъ-Ори.

Наконецъ Дюгамель отвѣчалъ:

— Такъ что же дѣлать со страданіемъ?

— Утопить его въ волнахъ морфія. Страданіе — вещь случайная. Одни страдаютъ невыносимо отъ той же болѣзни, которая другими переносится легко; одинъ зубъ гніетъ съ адскою

болью—другой весь разсыпается незамѣтно. На страданіе есть простое средство—уничтоженіе.

Дюгамель не нашелъ на этотъ разъ отвѣта. При томъ же поѣздѣ, повернувъ отъ Гранжъ-Ори до Бургъ-ла-Ренъ, помчался съ удвоенной быстротой и шумомъ, затруднявшимъ дальнѣйшій разговоръ.

Всѣ глядѣли на старинную дорогу между долиною Биевръ—сѣва, холмами Бань и Шатильонъ—направо. Призрачно-легкая, блѣдно-зеленая дымка колыхалась чуть-чуть замѣтнымъ облакомъ на угловатыхъ, острыхъ, черныхъ скелетахъ деревьевъ. Чувствовалась близость благоухающей, липкой листвы. Профиль плывущихъ тучекъ, то нѣжный, то рѣзкій—мгновенно измѣнялся. И все-таки передъ лицомъ этой весны, выглядывающей изъ-за кулисъ природы, Делафонъ не могъ отрѣшиться отъ безотрадной мысли о временномъ, о кажущемся лишь торжествѣ ея,—о вѣчно попираемой, вѣчно умирающей жизни растений, животныхъ и людей... И онъ сравнилъ себя съ инертнымъ, бессмысленнымъ и безпомощнымъ растеніемъ, выросшимъ не по своей волѣ, вырываемымъ бурей, срубаемымъ людьми, пожираемымъ животными... Къ чему расцвѣтъ и разрастаніе? Къ чему надежды и борьба?

„Я никогда не испытывалъ, — думалъ онъ, — удовлетворенія жизнью. Я только самъ страдалъ и видѣлъ страдающихъ. Какой же послѣ этого смыслъ жизни?“

И одновременно съ нимъ Дюгамель смотрѣлъ на снова воскресающія весеннія картины, прислушивался съ упоеніемъ къ первымъ легкимъ шагамъ весны,—съ радостью счастливаго обладателя всей природы. Онъ не доискивался въ ней, подобно Делафону, вѣчной эволюціонной борьбы, вѣчнаго тяжелаго перехода отъ организма къ организму, чтобы достигнуть наконецъ чело-вѣка; онъ обнималъ ее восхищеннымъ взглядомъ со всѣхъ разнообразнѣйшихъ сторонъ, со всѣми великолѣпными законами, какъ одну великую, дивную цѣлость, какъ одну измѣнчиво-вѣчную форму жизни. Онъ чувствовалъ ее въ себѣ—и себя въ ней.

Когда они подѣзжали къ Фаянсерѣ, Алиса попросила Делафона, чтобы онъ подошелъ къ женѣ. Дюгамель увидѣлъ м-мъ Делафонъ прижимающею платокъ къ глазамъ. Три маленькія дѣвочки, одѣтыя въ голубое, смотрѣли на нее съ наивнымъ любопытствомъ. Алиса осталась на платформѣ.

— Что съ м-мъ Делафонъ? Ей нездоровится?—спросилъ съ участіемъ Бизо.

— Нѣтъ, это просто одинъ изъ часто повторяющихся при-

падковъ ея горя при видѣ чарующихъ ее дѣтей. Она такъ страстно ихъ жаждетъ, и нѣтъ ихъ у нея...

— А между тѣмъ есть столько семействъ, гдѣ дѣти въ тягость.

Бизо завязалъ съ Алисой разговоръ на эту тему, вполне искренно высказывая передъ ней желаніе имѣть собственную большую семью, и въ эту минуту у него было слегка растроганное, влюбленное лицо.

— Я самъ принадлежу къ многочисленному семейству. Ничего не можетъ быть лучше этого. Одно дитя бываетъ обыкновенно слишкомъ баловано—и потомъ несчастно. Даже двоихъ дѣтей не довольно. Такія дѣти становятся худыми, нервными, боязливыми, слишкомъ рано посвященными въ жизнь взрослыхъ. Одиночество развиваетъ въ нихъ меланхолію и эгоизмъ, лишаетъ ихъ тепла братской и сестринской любви, очарованія дѣтскихъ игръ, незамѣнимой связи на всю жизнь.

Алиса слушала его съ удовольствіемъ: это было согласно съ понятіями Дюгамеля. Она говорила въ свою очередь о томъ восхитительномъ обмѣнѣ дѣтскихъ впечатлѣній, ихъ общеніи, которое такъ незамѣтно и такъ быстро развиваетъ дѣтей.

Увеличивающійся шумъ и быстрота поѣзда прервали ихъ разговоръ. На лицахъ ихъ застыла сочувственная довольная улыбка. Поѣздъ пролетѣлъ мимо Шамбора и понесся по большой, пустынной дорогѣ. Алиса держалась обѣими руками за перила платформы—до того было стремительно движеніе. Въ чертахъ ея отразилось какое-то сладкое полу-забытье, удивительно похожее на маскированную страсть, и Дюгамель, не спускавшій съ нея глазъ, почувствовалъ, что его сердце, какъ будто сжатое въ какой-то мощной рукѣ, тяжело мечется въ груди, затѣмъ слабѣетъ, какъ маленькій затихающій колокольчикъ...

Физическое ощущеніе было до боли сильно, хотя онъ не остановился еще ни на какой мысли. И тутъ уже не могло быть самообмана. Грѣховный часъ наступилъ. Передъ своею совѣстью, подобно вдругъ прозрѣвшему Адаму, этотъ человѣкъ благороднѣйшей натуры, соединенной съ глубокой проницательностью, не могъ и не хотѣлъ больше обманывать себя. Онъ понялъ, что любить Алису.

И какъ бы онъ могъ не любить ея? Это—дѣтище его духа, существо, понимавшее его болѣе всѣхъ въ мірѣ, раздѣлявшее его любовь ко всему страждущему и слабому? Ее, поклонницу чистѣйшей истины, которая наравнѣ съ нимъ жаждала бы закона, руководящаго идеальной жизнью,—но сама лично въ немъ

не нуждалась, постигнувъ его тайну, благодаря своему божественному инстинкту, своему неизъяснимо тонкому пониманію міра, благороднѣйшему общенію съ нимъ. Неисчерпаемая красота Алисы, неисчерпаемая чистота ея... Ни тѣни лжи и лицемерія, ни тѣни зла. Онъ зналъ, что не было въ мірѣ созданія, болѣе чуткаго ко всему прекрасному, болѣе жаждущаго всецеловѣческаго блага, болѣе отзывчиваго сердцемъ и болѣе при этомъ скромнаго. И несмотря на ихъ постоянное единеніе и близость, онъ до сихъ поръ никогда еще не желалъ обладать ею. Теперь же въ обращенномъ на нее взглядѣ Бизо—онъ ясно прочелъ это желаніе.

„Ахъ, — подумалъ Дюгамель, — теперь конецъ спокойнымъ радостямъ утреннихъ и вечернихъ часовъ, которые уже сами по себѣ были—днями Бытія“.

„Но вѣдь я же люблю мою жену!“

Да, онъ въ самомъ дѣлѣ любилъ жену, но несомнѣнно онъ любилъ и Алису. Любилъ ли онъ ее иною любовью? Была ли это лишь безплотная любовь? Ему было теперь достаточно одного на нее взгляда, чтобы убѣдиться въ противномъ. Божественная прелесть ея нѣжной и стройной фигуры, дышавшей юной свѣжестью и здоровьемъ, этотъ взглядъ мыслящій и глубокій, подвижный, волнующійся губки, это молодая талья, таинственно обхваченная мягкою, тонкою одеждой—казались ему страстно-желанной добычей...

Они пріѣхали въ Кроа-ла-Берни раньше чѣмъ онъ успѣлъ себя выяснитъ свои чувства. Делафонъ вышелъ изъ поѣзда рука-объ-руку съ женой. У нея были красные глаза, убитый и сосредоточенный видъ. Голубыя дѣти выбѣжали на минуту изъ вагона съ тѣмъ, чтобы опять продолжать дорогу въ Версаль. Она ихъ проводила глазами и, разразившись рыданіями на плечъ мужа, прошептала:

— О, почему, почему?!...

Мужъ былъ блѣденъ и разстроенъ, такъ же какъ и она. Онъ утѣшалъ ее бесполезными словами, пытаясь успокоить ея маниакальное горе.

Дюгамель не принималъ въ этомъ участія, всецѣло поглощенный новою драмой собственной страсти.

Бизо, нѣсколько смущенный свидѣтель, держался общества Алисы.

— Пойдемте, — сказалъ Делафонъ, — намъ нечего здѣсь дѣлать.

Бизо съ Алисой пошли впередъ, за ними—Делафонъ съ женой; Дюгамель заключалъ шествіе.

Передъ ними открывалась дорога къ Шуази-ле-Руа. Повсюду вдоль нея высокіе вязы перешептывались съ вѣтромъ. Пространная равнина, казалось, пробуждала воинственные инстинкты; глубокія волны воздуха, точно большія усилія къ какой-то отдаленной цѣли—стремились мощно впередъ. Вдали темнѣла передняя стража Парижа—возвышенности Шатильона и башня Монлери.

Дюгамель почувствовалъ, что драма, разыгрывающаяся въ его груди, вырывается на волю, широкую и безграничную—и расплывается съ силой стремительной весенней бури по этой чудной шире, на распростертыхъ свободно орлиныхъ крыльяхъ вѣтровъ.

Сознавъ и принявъ въ своемъ уединенномъ раздумьѣ фактъ несомнѣнной любви, онъ уже видѣлъ себя самобичующимся, старающимся отъ стоновъ истерзанныхъ нервовъ, отъ жажды неутолимой страсти... Но это, вѣдь, должно же пройти въ концѣ концовъ,—замереть и погаснуть. Трудъ долженъ дать забвеніе—старое, испытанное, прописное, но, кажется, вѣрное средство... Алиса выйдетъ за Бизо, несомнѣнно хорошаго человѣка,—послѣдуетъ за своей судьбой. Онъ только издали будетъ на нее глядѣть, и никогда... никогда!...

Онъ повторилъ себѣ это мысленно, но мысль эта была такъ же беззвучна въ его душѣ, какъ и не произнесенныя имъ громко выражающія ее слова.

„Забиться, уснуть всѣмъ существомъ, — путешествовать, работать... забыть... да, забыть“.

Оставалось еще одно слово—умереть. Но противъ него бурно возсталъ бушующая страсть. Умереть въ чаду наслажденія, въ опьяняющемъ безумьѣ обладанія,—умереть въ пламенномъ возбужденіи ревности или низкой измѣны,—умереть, словомъ, когда умираетъ насыщенное желаніе... такая смерть заманчива, легка. Но мысль о смерти въ холодномъ безнадежномъ отчаяніи недостижимаго влеченія—отнюдь не тотъ разрѣшающій исходъ, который могъ бы умиротворить жгучія, борющіяся стихіи въ колеблющейся душѣ. Дюгамель скептически улыбнулся.

„Впрочемъ, какая тутъ можетъ быть аргументація? Инертность, полная инертность!“

Дорога, ведущая въ Версаль, спустилась къ берегамъ рѣки; блеснули подернутыя солнцемъ высоты Фонтенэ и Робинсона. Группа гуляющихъ остановилась и смѣшалась. Бизо подошелъ

къ Делафонамъ, Дюгамель къ Алисъ. Она, казалось, поняла планы своей сестры—и была сосредоточена и молчалива; Дюгамель—тѣмъ болѣе. Но вѣроны, разсѣвающія съ трудомъ крыльями бурный воздухъ, остановили ихъ взгляды. Алиса улыбнулась.

— Они едва подвигаются впередъ!

Они оба остановились и подняли вверхъ глаза, любуясь движеніемъ птицъ. Затѣмъ взгляды ихъ встрѣтились. И этихъ четверо глазъ были равно блуждающи и неестественны, равно притворны и живы. Возбужденная красота Алисы лишилась какъ бы въ эту минуту своей обычной гармоніи, смятенная, разстроенная, точно отъ дуновенія того же бурного вѣтра. На этомъ смятенномъ лицѣ легко читалось отчаянное, трогательное признание... И тогда Дюгамель долженъ былъ призвать на помощь всю свою „инертность“, чтобы не произнести злого слова, которое срывалось съ его губъ.

IV.

Когда онъ вернулся домой къ обѣду, его встрѣтила жена съ необычайной нѣжностью, и, обнимая эту прелестную, граціозную женщину, любуясь ея золотистыми волосами, яснымъ блескомъ глазъ, красивыми движеніями,—онъ чувствовалъ, что его печаль мало-по-малу смягчается. И до того она ему показалась мимолетною, призрачною и далеко отошедшею, что онъ самъ готовъ былъ въ эту минуту содѣйствовать союзу Бизо съ Алисой. Все было бы легко забыто... И къ чему думать обо всемъ этомъ въ присутствіи близкой и несомнѣнной любви? Въ страстныхъ, трепетныхъ объятіяхъ, при замирающемъ долгомъ поцѣлуѣ дрожащихъ губокъ, въ сладкомъ туманѣ потухающихъ, влюбленныхъ глазъ... Не это ли любовь во всемъ ея очарованіи?

Дюгамель, какъ большинство „счастливыхъ въ бракѣ“ мужей, былъ ослѣпленъ во всемъ, что касалось личности его обаятельной красавицы-жены. Это предрасположеніе все видѣть въ ней въ лучшемъ свѣтѣ—уподоблялось милостиво-доброму отношенію министра къ избранному имъ самимъ, подходящему шефу бюро или главному секретарю. Оно исходитъ обыкновенно изъ понятій о собственной роли покровителя, изъ взаимной отвѣтственности этого покровителя за подчиненнаго—и наоборотъ. Въ обыденныхъ отношеніяхъ супруговъ эта отвѣтственность за мелкіе ежедневные интересы падаетъ цѣликомъ на жену, давая возможность мужу посвятить себя излюбленнымъ отвлеченнымъ

стремленіямъ, общему правящему началу, ясно опредѣленнымъ теоретическимъ формуламъ жизни. Съ особенною лѣтностью чело-вѣка, стремящагося къ свободному углубленію въ избранномъ дѣлѣ, онъ мало изучаетъ и мало провѣряетъ того, кому обя-занъ своей свободой. Онъ склоненъ къ чрезмѣрной благодарно-сти, расположенію и довѣрію, лишь бы его вѣшнія нужды были удовлетворены. И самая глупая, иногда даже самая недо-стойная изъ женъ преобразается, въ его глазахъ, въ существо, одаренное неоцѣненными качествами. Погрѣшность же, особенно бросающаяся въ глаза, легко бываетъ забыта и прощена для собственнаго удобства—сознательно или же инстинктивно.

Дюгамелю было тридцать лѣтъ, когда онъ женился на м-ль Гюдъ. До женитьбы у него была связь съ замужнею женщиной, не желавшей развода. Двое дѣтей, родившихся отъ нея, умерли тотчасъ же послѣ своего появленія на свѣтъ. За ними послѣ-довала и мать, послѣ двухлѣтней болѣзни, связанной съ несчаст-ными родами. Дюгамель былъ ей вѣренъ до смерти. Это было въ то время, когда его научный трудъ, увѣнчавшійся блестящимъ успѣхомъ, изданіе великолѣпнаго атласа, отрывало его въ зна-чительной мѣрѣ отъ другихъ личныхъ дѣлъ. Прошло еще два года—и онъ, при полной молодости сердца, оказался обладате-лемъ значительнаго дохода, гордымъ носителемъ свѣжей славы. Въ этотъ счастливѣйшій моментъ своей жизни онъ встрѣтилъ м-ль Гюдъ, дочь бѣднаго мелкаго чиновника, необыкновенно увлекательную красавицу, способную довести до безумія своимъ очарованіемъ.

Семейство Гюдъ происходило изъ мелкой буржуазіи, вышед-шей изъ среды торгашескаго мѣщанства. Все честолюбіе ма-тери направлялось къ казовой жизни сверхъ ея жалкихъ средствъ, и опьяняющая красота дочери приводила ее въ восторгъ, срод-ный съ низкою радостью сводницъ при удачномъ сбытѣ ихъ товара. М-ль Гюдъ покорялась съ гибкою способностью своей среды всему, чего требовала ея предприимчивая мать. Она по-работала надъ развитіемъ нѣкоторыхъ „пріятныхъ талантовъ“ съ успѣхомъ существа, безъ критики подчиняющагося тому, „что велятъ“. Но она вооружилась и другимъ неотразимымъ оружіемъ женщины—дивно граціозными движеніями, старательно разви-тымъ вѣшнимъ вкусомъ и „шикомъ“ и тѣмъ блестящимъ умѣ-ньемъ одѣваться, которое символизируетъ художественнымъ со-четаніемъ красокъ и линий характеръ женской красоты. Всѣ малосложныя условія жизни Гюдовъ, характеръ ихъ среды, го-лодь долгихъ лишеній, завистливая жажда богатства и изобилія

—создали одно лишь определенное стремление къ одной определенной цѣли: всѣми возможными путями добиться денегъ. Все сводилось къ деньгамъ. Стремление это было естественнымъ фатализмомъ ихъ жизни,—оно имъ замѣняло совѣсть и всѣ потребности духовной интеллектуальной жизни.

М-ль Гюдъ, блестящая жрица золотого тельца, несмотря на мелкость своего служенія, постигла въ совершенствѣ всю заманчивость ритуальныхъ формъ своего культа, пышныя церемоніи, воздающія ему хвалу, упойтельныя даже для людей непосвященныхъ.

Дюгамель поддался очарованію. Онъ также прежде добивался денегъ, но его задачи и стремленія были при этомъ гораздо сложнѣе, цѣли—богаче и разнообразнѣе. Но вмѣстѣ съ тѣмъ очень возможно, что его собственные инстинкты быстро обогащеннаго буржуа—болѣе всего способствовали легкой побѣдѣ Гюдовъ. Молодая дѣвушка казалась неглупою, довольно образованною, имѣющей приличныя понятія объ искусствѣ и литературѣ, обладающею при этомъ изящной красотой въ новомъ вкусѣ. Онъ тогда едва началъ свою новую, блестяще-измѣнившуюся жизнь,—весь еще колеблющійся между двумя своими существованіями, далекій отъ всякой практической морали, которая бы его заставляла относиться нѣсколько осторожнѣе къ такой встрѣчѣ. Эгоистическое желаніе создать счастье бѣдной дѣвушки овладѣло имъ почти наравнѣ съ бурнымъ увлеченіемъ ею. Она же съ искусною ловкостью своей среды, замѣняющей утонченную интеллигенцію другихъ сферъ, принялась за свое дѣло. Надо, однакожь, признать, что въ своемъ преувеличенномъ самомиѣніи она была убѣждена вполне искренно въ своей способности стать на высотѣ подружки мыслящаго человѣка, понять его и осчастливить.

И начало ихъ супружеской жизни было несомнѣнно счастливо. Торжество побѣды м-мъ Дюгамель окружало ее сіяніемъ утонченнаго блаженства. Она сладостно упивалась роскошью всей своей обстановки „modern style“, значительною суммой на туалетъ, присутствіемъ многочисленной прислуги. И эта новая необузданная радость владѣнія и пользованія изливалась въ ласкахъ и кокетливой нѣжности къ мужу. Онъ же принималъ эти изъясненія за страстную, глубокую любовь.

Только впоследствии все стало ему понятно.

Мало-по-малу, свыкнувшись съ ближайшими атрибутами своего „счастья“, м-мъ Дюгамель возымѣла естественное желаніе пользоваться имъ въ болѣе широкой, вѣрнѣе же, по ея понятіямъ, болѣе высокой сферѣ: тамъ, гдѣ царила жена бан-

кира-милліонера или (что было еще недостижимѣе, еще очаровательноѣе) маркиза-милліонерша. Это необъяснимое, но столь обыкновенное стремленіе проникнуть въ высшіе круги, безсознательное желаніе уничтожить въ нихъ свою личность—самоубійство своего рода.

М-мъ Дюгамель переставала постепенно интересоваться и тою скромной интеллектуальной жизнью, которая такъ много способствовала увлеченію ея Дюгамеля и была ей доступна. Нѣкоторая симпатія къ трудовымъ людямъ и общность съ ними, свойственная ей прежде, въ тяжелые моменты борьбы, теперь все болѣе и болѣе уступала мѣсто усиліямъ возвысить власть своего очарованія и, благодаря этому утонченному искусству, увеличивать значеніе своего богатства, возвышать свое положеніе.

Дюгамель почти не замѣчалъ этого медленнаго преобразенія жены, за исключеніемъ нѣсколькихъ робкихъ усилій придать болѣе блеска ихъ жизни по образцу великосвѣтской расточительности,—въ родѣ желанія обзавестись экипажемъ; его нѣсколько удивили новыя поползновенія м-мъ Дюгамель вмѣшиваться въ денежные дѣла своего мужа и большая склонность къ преувеличенной религіозности. Но въ общемъ она ему казалась почти такой же, какъ въ первый годъ ихъ совмѣстной жизни, и онъ ужасался при мысли измѣнить ей изъ-за Алисы. Онъ ощущалъ и въ себѣ нѣкоторую переменну подъ вліяніемъ нахлынувшего богатства, уступки въ собственную пользу; но его интеллектуальныя и этическія силы были слишкомъ велики, чтобы подобное уклоненіе могло быть продолжительнымъ. Еще до своего брака онъ строго распредѣлилъ порядки своей новой жизни, съ цѣлью противодѣйствія эгоистическимъ аппетитамъ. Изъ восьмидесяти тысячъ франковъ годового дохода онъ посвящалъ около пятидесяти тысячъ на различныя общественныя дѣла. Его переплетная и брошюровочная мастерскія, его типографія, его издательская контора были поставлены въ исключительныя условія. Многочисленные служащіе и рабочіе получали у него плату въ пять разъ больше обычной платы въ другихъ мѣстахъ.

Несмотря на всѣ эти предосторожности, предпріятыя для успокоенія своей чуткой совѣсти, Дюгамель этимъ не удовлетворялся. Онъ горячо агитировалъ на собраніяхъ, писалъ глубоко-убѣжденные статьи, поддерживалъ полезныя, по его мнѣнію, изданія.

Послѣ страннаго, удручающаго открытія послѣднихъ часовъ, мгновенно, казалось, измѣнившаго его отношенія къ женѣ и Алисѣ,—онъ почувствовалъ, какъ страшно былъ виноватъ передъ

первой; ставъ же съ ней лицомъ къ лицу, онъ искренно былъ обрадованъ рѣдкою прелестью этой женщины, которая поможетъ ему побѣдить злое навожденіе.

И дѣйствительно, въ теченіе всего этого вечера улыбка не сходила съ ея губъ, поцѣлуй былъ особенно кокетливъ, наивная, полудѣтская рѣчь очаровательно естественна. Онъ же былъ ей невыразимо благодаренъ за это невольное, но искусное отстаиваніе своихъ правъ. Она замѣтила его настроеніе и поспѣшила имъ воспользоваться. Вопросъ о собственномъ экипажѣ былъ поднятъ снова. Она слишкомъ утомлялась, предпочитая ходить пѣшкомъ, чѣмъ подвергаться разнымъ неудобствамъ и вульгарности наемныхъ экипажей и омнибусовъ.

— Ты знаешь, какъ я впечатлительна. Каждая мелочь меня волнуетъ. А это вѣдь ужасно! Фіакры, омнибусы съ дурнымъ, спертымъ воздухомъ, кондуктора и кучера-грубияны и невозможная публика, топчущая ноги! Обыкновенно, послѣ такой милой поѣздки я уже никуда не гожусь, я уничтожена, подавлена, принижена. Женщинѣ съ такой впечатлительною натурой... такой маленькой, избалованной капризницѣ, какъ я—эти поѣздки кажутся просто невыносимыми. Наоборотъ, какъ прекрасно я чувствовала бы себя въ моемъ купѣ, моемъ маленькомъ подвижномъ будуарѣ, отдѣленная отъ всего этого пошлаго, ненавистнаго міра!..

— Но развѣ тебѣ такъ необходимы эти вѣчныя поѣздки?

— Совсѣмъ не выѣзжать? Вѣдь это же невозможно. Я захирѣла бы отъ скуки... Когда я была маленькой дѣвочкой... О, тебѣ было бы интересно увидѣть меня въ то время!.. Хорошенькое маленькое созданіе, и тогда уже молчаливое, и тогда уже печальное... Такъ знаешь ли, мой дорогой, я и тогда любила бывать среди людей. Я любила слушать ихъ молча, усѣвшись въ большихъ креслахъ, присутствующая и отсутствующая въ одно и то же время. Такъ и нынѣ: не любя столкновенія съ толпой, я люблю ея шумъ и движеніе вокругъ меня.

— Такъ пользуясь же этимъ удовольствіемъ, сколько тебѣ угодно. Что же касается до экипажа, то ты должна отъ него отказаться... Твой туалетъ, твои маленькіе капризы, твои личные расходы—поглощаютъ десять тысячъ франковъ... Я больше не могу тратить денегъ. Будь же разсудительна, нѣсколько меньше выѣзжай, поищи какихъ-нибудь менѣе дорогихъ, но зато болѣе интересныхъ удовольствій... Или же постарайся сберечь пять тысячъ франковъ изъ тѣхъ, которые ты тратишь на свой туалетъ. Экипажъ будетъ стоять по крайней мѣрѣ пять тысячъ.

— Ну, нѣтъ, дружокъ,—у каждаго свои грѣхи. Я знаю, что виновата передъ тобой, но что же дѣлать! Туалетъ—это страсть, доводящая меня до безумія. Мнѣ нужно въ немъ постоянное разнообразіе, постоянная новизна... Увѣряю тебя, что я даже до извѣстной степени разсудительна, и что, еслибы я слѣдовала первому порыву,—не было бы никакихъ границъ моимъ фантазіямъ... Не будемъ же объ этомъ спорить. Ты—моя любовь, но ты вѣдь ровно ничего не понимаешь въ такихъ женскихъ слабостяхъ... Нѣтъ, нѣтъ! не говори ничего... Я, пожалуй, за это еще больше люблю тебя, мой прекрасный диварь! Я горжусь тобой—и ни за что бы не хотѣла видѣть тебя другимъ. Хотя я нахожу тебя... преглупымъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ... но вмѣстѣ съ тѣмъ и восхитительнымъ. О, да, да! Ты—лучшій изъ людей!..

Она заплакала. Дюгамель тихо ласкалъ ее, видя въ ней въ эту минуту только капризнаго ребенка. Она продолжала:

— Конечно, ты правъ. Ты всегда долженъ быть правымъ... А я такъ скупа. Все только для насъ двоихъ... О, еслибы отъ меня зависѣли расчеты въ мастерскихъ, я не была бы такъ щедра, какъ ты. Ты на меня сердиться? Но вѣдь у женщины нѣтъ ничего ближе ея любви; она хотѣла бы все сохранить для своихъ,—и только для своихъ.

Тѣнь пробѣжала по лицу Дюгамеля,—тѣнь, всегда появлявшаяся при возобновленіи этого спорнаго и тягостнаго вопроса.

— Такъ разсуждаетъ твоя мать, дружокъ. Ты сдѣлала бы лучше...

— Не говори объ этомъ ни слова! Я знаю, что я вѣдь ничто. У меня нѣтъ ребенка—и вотъ меня презираютъ, унижаютъ. Я никогда еще не видѣла счетоводныхъ книгъ. Отгазываются въ чемъ-либо удовлетворить меня, между тѣмъ какъ рабочіе и конторщики наживаются двадцатью тысячами франковъ болѣе, чѣмъ они получали бы во всякомъ другомъ мѣстѣ. По крайней мѣрѣ, двадцатью тысячами франковъ!

— Перестанемъ же, наконецъ, говорить объ этомъ. Да, я не опасаюсь признаться, что мои рабочіе получаютъ почти въ пять разъ болѣе того, что платили бы имъ другіе,—и возможность предоставить имъ такой заработокъ составляетъ величайшую радость моей жизни. Я ни за что не откажусь отъ нея. А слѣдовательно, всякая борьба тутъ бесполезна.

— И прекрасно. Я счастлива, что у меня нѣтъ дѣтей,—иначе имъ грозило бы разореніе!

Дюгамель поблѣднѣлъ.

— Не говори этого. Скажи мнѣ, наоборотъ, что ты была бы счастлива, еслибъ имѣла ребенка. Скажи мнѣ это, прошу тебя! Не лучшее ли это доказательство любви, Анриетта?

Онъ говорилъ горячѣ обыкновеннаго, взволнованно и строго. Она взглянула на него съ безпокойствомъ.

— Ты хорошо знаешь, что докторъ...

— Да, и я въ отчаяніи.

Онъ схватилъ ее въ объятія.

— Какое было бы счастье имѣть дѣтей!! Но вѣдь надежда еще не потеряна. Ты слишкомъ не отчаявайся.

Она ничуть не отчаявалась, она только удивлялась и немножко жалѣла себя. Да и жалость эта не была особенно чувствительна.

— Да и, въ концѣ концовъ, я не такъ сильно сложена... все-таки нѣкоторая опасность... И при томъ—развѣ намъ и такъ не хорошо? Ты хочешь, чтобы я подурнѣла?

Онъ отвѣчалъ съ досадой:

— Пожалуйста, такъ не говори! Ты знаешь, какъ страстно я жажду дѣтей. У меня не могло бы быть большей радости. Да я и не предполагаю, чтобы ты отъ этого подурнѣла. Бесплодіе также обезображиваетъ; это своего рода ненормальность, уклоненіе, дурно отражающееся на организмѣ. Одинъ ребенокъ или двое дѣтей менѣе тебя обезсилятъ, чѣмъ твои искусственные духи, твои утомительные выѣзды, неправильная, нездоровая жизнь свѣтской женщины.

— Это въ самомъ дѣлѣ нѣчто ужасное!

— Конечно, я далека отъ мысли упрекать тебя. Я люблю тебя такою, какою ты мнѣ дана—юною, очаровательной красавицей... Но только я убѣжденъ, что ребенокъ сдѣлалъ бы тебѣ болѣе добра, чѣмъ зла.

Она смотрѣла на него смущеннымъ, вопрошающимъ взглядомъ, съ инстинктивною слабостью женщины, колеблющейся между побужденіями материнства и боязнью серьезныхъ пережвѣнь. Потомъ, опуская глаза, вся розовая отъ волненія, почти рыдая, она прошептала:

— О, да! О, да! И я бы его желала.

Ихъ губы встрѣтились, и, замирая подъ этимъ поцѣлуемъ, она успокаивалась постепенно. Онъ же, ощущая въ объятіяхъ это теплое, нѣжное тѣло, почувствовалъ себя такимъ растроганнымъ и счастливымъ, что готовъ былъ въ эту минуту уступить каждому ея капризному желанію; и еслибы она догадалась

возобновить свою просьбу объ экипажѣ, онъ бы теперь ей въ этомъ не отказалъ.

V.

Супруги Дюгамель принимали у себя по четвергамъ, и въ тѣ же дни у нихъ обѣдали нѣкоторые избранные друзья. Делафоны всегда аккуратно являлись на эти обѣды; ихъ привлекало общество ближайшаго друга и нѣсколькихъ хорошихъ знакомыхъ, съ которыми они бесѣдовали съ живѣйшимъ интересомъ.

Въ первые дни, послѣдовавшіе за прогулкой въ Кроа-ла-Берни, Дюгамелю было сравнительно легко удалить отъ себя воспоминаніе объ Алисѣ; но тотъ, кто любилъ, знаетъ, что это бываетъ нетрудно даже въ самые бурные моменты страсти, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда въ ней примѣшивается ревность.

Проснувшись въ четвергъ утромъ и замѣтивъ суетливое движеніе прислуги, онъ вдругъ представилъ себѣ лицо Алисы, преисполненное божественной слабости, страстнаго забытья—выраженіе, поднявшее въ немъ, Дюгамелѣ, цѣлый ураганъ отвѣтной страсти. Но онъ тогда не измѣнилъ себѣ ни звукомъ, ни движеніемъ; тѣмъ болѣе теперь не скажетъ онъ ей никогда рокового слова, мгновенно преобразующаго судьбу людей. И вотъ опять загорѣлась въ немъ съ новою силой борьба лицемѣрной, заманчивой страсти, оправдывающей себя тысячей тонкихъ уловокъ,—со строго сдерживающимъ ее нравственнымъ закономъ. Онъ снова представлялъ себѣ Алису такъ дивно *измѣнившейся* тогда, не только прекрасною, чарующею,—но и дышащею застенною, пламенною страстью... Онъ ее видѣлъ въ жаркой мечтѣ въ моментъ ея преобразенія въ женщину, среди неожиданныхъ, таинственныхъ чаръ, окружающихъ ее легкимъ, трепетнымъ облакомъ... И тотчасъ же, отодвигая съ усиліемъ упойтельный образъ, онъ заставлялъ себя думать объ Алисѣ какъ объ инертной жертвѣ установившихся общественныхъ законовъ,—о себѣ же, напротивъ, какъ о сознательномъ борцѣ съ могучимъ искушеніемъ. Паденіе Алисы, горе ея сестры, оскорбленная честь Делафона—убили бы въ немъ навсегда надежду высокаго совершенствованія, къ которому онъ благородно стремился всю свою жизнь. И наступила бы страшная, безпѣльная душевная пустота.

Кромѣ того, Дюгамель былъ увѣренъ, что увлеченіе имъ Алисы было совсѣмъ другого рода, чѣмъ его—ею. Она его любила безъ всякихъ постороннихъ желаній, безъ будущности, безъ пламен-

ныхъ, мучительныхъ надеждъ на злое, запретное счастье. Если бы Бизо сдѣлалъ ей завтра предложеніе, она приняла бы его, быть можетъ, безропотно, не протестуя. Конечно, о счастьѣ здѣсь не могло быть и рѣчи, такъ какъ въ подобныхъ случаяхъ рѣдко вѣдъ наступаетъ запоздавшее, условное счастье, но такая развязка казалась бы ей единственнымъ, естественнымъ исходомъ. Она не могла бы себя представить другихъ послѣдствій переживаемой ею драмы. Она способна была страдать лишь оттого, что Дюгамель не свободенъ, но не томиться напрасно отъ жажды принадлежать ему.

Онъ предугадывалъ все это, глубоко изучивъ сердце Алисы, благодаря близкому общенію, инстинктивному и сознательному сочетанію ихъ душъ.

По мѣрѣ приближенія вечера, безотчетная, неопредѣленная радость стала наполнять его грудь: она была сродна той сильной физической радости, которая заставляетъ насъ пѣть и оживленно двигаться.

Въ семь часовъ онъ сошелъ въ гостиную. Еще никого не было, кромѣ м-мъ Дюгамель и ея матери, которыя тихо разговаривали, сидя на маленькомъ диванчикѣ. Дюгамелю показалось, что при его появленіи онѣ быстро перемѣнили разговоръ, и онъ ихъ вдругъ заподозрилъ въ какомъ-то дурномъ сообщничествѣ. Онъ уже готовился имъ это рѣзко замѣтить, но его сразу остановило сознаніе собственной тайной виновности передъ женой, точно пойманнаго на шалостяхъ ребенка. Такъ, значить, онъ пытается обвинить въ чемъ-либо жену—въ противовѣсъ своей собственной винѣ. И это мелкое открытіе испугало его еще болѣе, тѣмъ всѣ прежніе страстные порывы воображенія—и тогда онъ понялъ всю неувимость предстоящей борьбы съ самимъ собою.

„Каждый человѣкъ,—размышлялъ онъ,—это цѣлая толпа, это собраніе многихъ личностей. Моя борьба съ самимъ собой—это политическая борьба, въ которой окончательная побѣда зависитъ столько же отъ моей предусмотрительности и ловкости, сколько и отъ моей способности убѣждать... Я не позволю застигнуть себя врасплохъ, я буду твердо защищать мою возвышеннѣйшую личность отъ низкой черни остальныхъ, толпившихся во мнѣ“...

Но его нервы дрожали, когда онъ разсуждалъ такъ разумно, и его внутренняя „шумная толпа“ кричала въ изступленіи, какъ настоящій человѣческій сбродъ выкрикиваетъ въ безумную ночь бунта свои чудовищныя желанія и угрозы...

Онъ сѣлъ въ сторонѣ, ожидая прибытія Делафоновъ съ силь-

нымъ біеніемъ сердца. Вотъ звонокъ у подъѣзда, шумъ шаговъ на коврѣ—вотъ они... она. Какая неожиданность! Онъ не чувствуетъ болѣе ни замѣшательства, ни волненія. Алиса также совершенно спокойна. Онъ самъ улыбается, разговариваетъ съ удивительною легкостью. Такъ, значить, все было преувеличено. Онъ видѣлъ полный грѣхъ тамъ, гдѣ было только смутное признаніе, гдѣ былъ лишь слабый намекъ на грѣхъ. Онъ испыталъ радость пробужденія отъ безпокойнаго сна, и ему даже показалось, что этотъ сонъ приснился только ему одному. Алиса не могла такъ забыться, не могла бы настолько преувеличить силу невозможной любви.

Между тѣмъ гости стали мало-по-малу собираться. Сѣли за столъ. Дюгамель былъ совершенно спокоенъ и прекрасно владѣлъ собой до самаго десерта; но конецъ обѣда предвѣщалъ конецъ вечера, и тогда только онъ сообразилъ—почему онъ до сихъ поръ былъ такъ доволенъ: онъ былъ увѣренъ въ долгомъ присутствіи Алисы. Это второе открытіе пробудило въ немъ самообвиненіе и вмѣстѣ страстный внутренній трепетъ.

Онъ пристально взглянулъ на Алису. Она чуть замѣтно поблѣднѣла и похудѣла; на такихъ нервныхъ лицахъ горе столь же быстро оставляетъ свои слѣды, какъ счастье—ихъ изгоняетъ. Глаза ея стали нѣсколько серьезнѣе и строже, губы были сжаты съ затаенною скорбью. Ея рѣчь не лилась прежнею беззаботной волной, въ выраженіи не было прежней ясности и подвижности. Въ глубокомъ сознаніи своего горя, она замѣтно ужъ отдастъ себѣ отчетъ во всемъ, что думаетъ и говоритъ. Жизнь не представляется ей уже болѣе невѣдомою, сложною: она такъ просто, такъ ясно вдругъ опредѣлилась. Она жестока. Алиса знаетъ, что ея любовь къ Дюгамелю закрыла передъ ней всю свѣтлую будущность. Если радость вмѣшается случайно въ такую новую жизнь, то это будетъ развѣ лишь радость „религіозная“, самопожертвованія, торжество долгаго героическаго страданія. Вся сущность исковерканнаго бытія воплотилась бы въ поправную, замирающую страсть,—вмѣсто цвѣтущаго пышно наслажденія—изсохшій скелетъ печали.

Сойдя въ гостиную къ послѣобѣденному кофе, Алиса избѣгала сосѣдства Дюгамеля. „Къ чему?“—прочелъ онъ въ ея глазахъ. И это „къ чему“ не только само по себѣ говорило объ ея страданіи, но было вмѣстѣ съ тѣмъ и новымъ невольнымъ признаніемъ. Дюгамель мгновенно это понялъ, и глубокая горестъ, испытанная имъ въ этотъ моментъ, была такъ далека отъ сладостнаго торжества побѣды, что, напротивъ, онъ почув-

ствовавъ въ себѣ склонность къ героическому самоотверженію. Онъ хорошо зналъ, какъ много оставалось еще шансовъ счастья у Алисы. Но для этого необходимо, чтобы онъ не измѣнилъ себѣ ни словомъ, чтобы онъ совсѣмъ ступевался, исчезъ съ ея пути. Тогда, быть можетъ, мужъ... Иногда требуется такъ мало, чтобы мужъ овладѣлъ душою жены!

И въ этомъ раздумьѣ онъ все еще смотрѣлъ на молодую дѣвушку. Въ свѣтломъ, элегантномъ платьѣ еще болѣе прекрасная,—съ этимъ новымъ сосредоточенно грустнымъ выраженіемъ лица,—она казалась ему въ эту минуту стѣнной дорогой цѣны преступленія. И вдругъ, съ жестокою безжалостностью къ самому себѣ, онъ вообразилъ ее—матерью. Дѣти! ея дѣти! Дюгамель, считавшій каждаго ребенка чудесно ниспосланнымъ явленіемъ, представлялъ себѣ ея дѣтей, плоть отъ этой обожаемой плоти... И подъ могучимъ очарованіемъ новой мечты, онъ прошепталъ съ внутреннимъ стономъ:

„Это ужасно! это низко! Теперь я чувствую, что я ужъ не могу не любить ея. Я окончательно потерялъ!.. да, я погибъ, но я, по крайней мѣрѣ, не погублю ея“.

Онъ старался всѣми силами отогнать отъ себя эти мысли, вернуться къ прежнему, сравнительно спокойному настроенію.

— Ты замечтался?—спросилъ, подходя къ нему, Делафонъ.

— Да, я мечтаю.

Онъ съ удивленіемъ прислушивался къ этому знакомому голосу, не имѣвшему ничего общаго въ это мгновеніе съ его мыслями.

Делафонъ продолжалъ тихо:

— Наша послѣдняя прогулка не прошла безслѣдно.

— А!

— Да, Бизо намѣренъ просить у насъ руки Алисы.

— Онъ, кажется, превосходнѣйшій человѣкъ.

Голосъ Дюгамеля звучалъ естественно, свободно.

И дѣйствительно, онъ не испытывалъ въ этотъ моментъ укола ревности. Онъ вѣдь былъ подготовленъ къ этому извѣстію. Но что же будетъ съ этой драмой въ глубинѣ ихъ душъ? Простое лишь, скрытое броженіе, которому не суждено коснуться ихъ дѣйствительной жизни.

Делафонъ отвѣчалъ:

— Да, человѣкъ честный,—умѣреннаго ума, но съ прекраснымъ сердцемъ, съ прочнымъ положеніемъ.

— Это промышленникъ?

— Онъ компаньонъ дома „Дебарръ и Сынъ“, строительномеханическаго заведенія.

— Что же объ этомъ думаетъ Алиса?

— Какъ знать! мы ее, правда, спрашивали осторожно...

„Простое броженіе, которому не суждено коснуться дѣйствительной жизни“ — „касалось“ ея въ эту минуту цѣлымъ взрывомъ. Съ дрожащими руками, съ замирающимъ сердцемъ, онъ ждалъ конца.

—...Спрашивали осторожно. Партія хорошая. Алисъ двадцать три года. И вотъ, не отказывая сразу, она проситъ дать ей нѣсколько времени на размышленіе...

Дюгамель покраснѣлъ, какъ будто бы вся кровь его груди бросилась ему въ голову. Онъ сдѣлалъ надъ собою необычайное усиліе и спросилъ тѣмъ же спокойнымъ, невозмутимымъ тономъ:

— Вы думаете, что она согласится?

— Да, мы на это надѣмся. У Алисы нѣтъ даже полныхъ пятнадцати тысячъ франковъ; я хотѣлъ прибавить ей кое-что отъ себя, но она отказалась. Она находитъ, что содержать ее—обязанность мужа.

— Я это вполне одобряю.

— Это все прекрасно, но при такихъ условіяхъ браки бываютъ довольно рѣдки, мой другъ. Бизо, однакожъ, не требователенъ. Онъ готовъ жениться на Алисъ безъ всякаго приданого. Ей трудно будетъ найти кого-нибудь получше этого человѣка, вполне достойнаго, честнаго труженика, какъ будто созданнаго для семейной жизни.

Первымъ движеніемъ ревности Дюгамеля была невыносимая мысль, что дѣти Алисы будутъ дѣтьми Бизо,—но, строго говоря, этотъ родъ ревности скорѣе походилъ на простую зависть.

— Если она станетъ объ этомъ говорить съ тобой, ты уже предупрежденъ на всякій случай.

— Ты желаешь, чтобы я высказался въ пользу этого брака?

— Нѣтъ, я знаю, какъ ты щепетиленъ. Не требуя совѣта, я только просилъ бы тебя взвѣшивать каждое слово, когда зайдешь объ этомъ рѣчь. Довольно одного твоего намека, неосторожной шутки, чтобы все пропало.

— Ты такъ предполагаешь?

Делафонъ взглянулъ на него удивленными глазами, въ которыхъ почудилась ему проникающая догадливость.

— Мнѣ не зачѣмъ этого предполагать, я въ этомъ увѣренъ. Она и мнѣ вполне довѣряетъ, тебѣ же еще болѣе. И, кажется, ея выборъ не дуренъ. Это все, впрочемъ, говорится на случай,

еслибы Бизо былъ тебѣ почему-либо антипатиченъ... Такъ, значить, ты предупрежденъ. Дѣлай, какъ знаешь.

Делафонъ ушелъ. Дюгамель же повторялъ себѣ безпрестанно:

— Я хочу, я хочу, чтобы Бизо женился на Алисъ; я хочу, я хочу отъ всего отказаться и бѣжать.

Однакоже, чѣмъ чаще имъ повторялись эти слова, выражавшія твердую рѣшимость, тѣмъ болѣе сама рѣшимость эта казалась ему призрачною и пустою; противорѣчащія ей образы и чувства владѣли беспорядочно всѣмъ его существомъ, дѣлая его безпомощнымъ и слабымъ. Тогда онъ узналъ снова того стараго дьявола, который и раньше нашептывалъ ему цѣлую вереницу спутанныхъ мыслей и словъ, осаждая ими его „высшую совѣсть“. Онъ больше не пробовалъ бороться. Не доказали ли эзорцисты, что борьба съ дьяволомъ опаснѣе бездѣйствія? Оказывать ему слишкомъ много вниманія—это прямо бросаться въ его сѣти. Только обдуманнѣйшій нейтралитетъ, лишь косвенная защита—могутъ привести къ желанному концу...

Дюгамель опомнился и принудилъ себя принять участіе въ общемъ разговорѣ.

Послѣ кофе, оживившаяся группа гостей смѣшалась и раздѣлилась. Ежедневные посѣтители между тѣмъ все еще прибывали. Это были друзья хозяйки и хозяина—личности весьма разнообразнаго типа. На ряду съ тщеславными буржуа, гордящимися тѣмъ, что дочь ихъ учится въ томъ же пансіонѣ, гдѣ и принцесса де-Саганъ,—люди скромные, застѣнчиво высказывающіе свои убѣжденія; приходили сюда всевозможные оригиналы и страдалцы, побѣжденные жизнью,—и тѣ и другіе привлекаемые необыкновенною личностью Дюгамеля. Наконецъ ученые,—два-три профессора университета и частные представители науки.

Исчерпавъ разныя темы, м-мъ Делафонъ заговорила о дѣтяхъ. Оказалось, что большинство молодыхъ женщинъ ихъ просто боялось. Онѣ смотрѣли на дѣтей, какъ на тяжелую обузу и какъ на постоянную причину вреда для своего собственного здоровья. Пожилыя дамы оказались также рѣшительными врагами потомства. Самыми же несговорчивыми на этотъ счетъ были матери дочерей-невѣстъ. Мужчины благоразумно молчали, изрѣдка только позволяя себѣ какую-нибудь шутку; бездѣтныя дамы солиднаго возраста вовсе не принимали участія въ разговорѣ.

Въ продолженіе этой болтовни на тему любви и брака, Дюгамель разсуждалъ самъ съ собою.

Онъ много занимался важнымъ вопросомъ о народонаселе-

ніи и поощрялъ даже денежными преміями спеціальнаго общества, пропагандирующаго его исключительное значеніе для Франціи. Но, конечно, онъ не былъ такъ одностороненъ, чтобы считать это лишь однимъ изъ вопросовъ политическихъ или экономическихъ, и различалъ въ немъ, кромѣ того, элементъ нравственный, а также элементъ всеобщей эволюціи, коренящійся въ мірѣ животномъ. Уменьшеніе числа рожденій не начинается вѣдь съ чловѣка. Природа кишитъ препятствіями, тормозящими размноженіе, и животныя, всего менѣе способныя къ размноженію,—это животныя самыя совершенныя. Къ тому же, уменьшеніе числа рожденій указываетъ лишь на извѣстное состояніе общества, а не на причины самого явленія. Въ настоящее время, напримѣръ, никто еще не могъ бы сказать съ увѣренностью, доказываетъ ли этотъ фактъ самъ по себѣ нашъ упадокъ, или же, наоборотъ, прогрессъ.

Продолжая думать, Дюгамель пришелъ къ заключенію, что такъ какъ присущія чловѣку требованія совѣсти оказываютъ и въ этомъ вопросѣ несомнѣнное вліяніе, то необходимо было бы установить соответствующій нравственный законъ, который бы могъ замѣнить старый, недостаточный уже теперь, народный инстинктъ. Но точное опредѣленіе сущности этого закона пока еще ему не давалось.

Между тѣмъ, общій разговоръ становился все оживленнѣе, благодаря извѣстному ученому, доктору Грендоржу, сумѣвшему заинтересовать „интеллектуалистовъ“, которыхъ мозги отличаются вообще особенной воспримчивостью въ сферѣ отвлеченныхъ понятій. Отъ времени до времени слышались также замѣчанія со стороны присутствующихъ финансистовъ и капиталистовъ.

Грендоржъ говорилъ:

— Принято считать аксіомой, что черезъ сто-восемьдесятъ лѣтъ наше населеніе до того увеличится, что не хватитъ средствъ для его прокормленія. Но при этомъ расчетѣ забываютъ обыкновенно разныя категоріи естественныхъ препятствій, ограничивающихъ и понижающихъ извѣстную норму прироста. Между прочимъ, было замѣчено, что высокое умственное развитіе женщины очень часто бываетъ связано съ ея бесплодіемъ. Количество дѣтей находится въ значительной зависимости отъ размѣровъ и состоянія нашего мозга, и можно даже утверждать, что, вообще, дитя высшаго, такъ сказать, типа и качества съ трудомъ будетъ даваться чловѣчеству, что оно станетъ существомъ болѣе рѣдкимъ и болѣе драгоцѣннымъ. Принимая это во вниманіе, намъ нечего страшиться вырожденія и уклоненія отъ

естественнаго пути, хотя, несомнѣнно, видоизмѣненія въ общемъ ходѣ человѣческаго развитія приведутъ къ видоизмѣненіямъ въ тѣхъ или другихъ частныхъ сферахъ жизни... Другое дѣло—нынѣшніе эгоистическіе приемы, стремленіе французскихъ родителей къ пошлему благосостоянію и мелкіе расчеты, губящіе насъ, дѣлающіе изъ насъ трусовъ, скрягъ и больныхъ.

— А все-же это историческій фактъ, — возразилъ молодой профессоръ Мона, съ жидкими волосами на широкомъ черепѣ и съ четырехугольнымъ, короткимъ лицомъ, — что увеличеніе или уменьшеніе народонаселенія служитъ показателемъ эконолическаго положенія страны. Понятно, что въ наше время, когда замѣчается стремленіе къ болѣе постоянному, сравнительно медленному и, такъ сказать, предначертанному прогрессу, инстинктъ народовъ направляетъ ихъ къ искусственному нормированію числа населенія. Врядъ-ли я ошибаюсь, утверждая, что Франція, очутившись первою на этомъ пути, даетъ и въ этомъ случаѣ примѣръ, которому стануть подражать другія государства. Мнѣ кажется, что вмѣсто того, чтобы печалиться о нашей слабости и оплакивать малое число рожденій, мы должны усматривать въ этомъ задатокъ счастливаго будущаго.

— Но кого убѣдите вы въ томъ, — замѣтилъ докторъ Грендоржъ, — что другіе народы не захотятъ со временемъ воспользоваться этими малонаселенными территоріями Франціи, могущими прокормить гораздо большее число жителей?

— Да и отчего же мы первые должны начинать столь рискованное дѣло? — спросилъ сѣдой старикъ, протестантъ и патріотъ, отецъ многочисленнаго семейства. — По моему, оно мало-помалу низведетъ насъ на второстепенное мѣсто въ ряду другихъ націй. Прежде, чѣмъ думать о далекомъ будущемъ, не лучше ли подумать о настоящемъ?

Одинъ изъ капиталистовъ-радикаловъ счелъ нужнымъ поддержать профессора Мона.

— Франція должна подать міру примѣръ раціональнаго „обезлюденія“, такъ же, какъ она дала ему примѣръ революціи!

— Неужели вы не замѣчаете, — сказалъ полнокровный человѣчекъ небольшого роста, — что главная причина зла состоитъ въ недостаткѣ религіозности у французовъ?

— Вотъ какъ! Но, въ такомъ случаѣ, отчего же Испанія, страна „*rag excellence*“ религіозная, стала подражать нашей грѣховности?

Большинство общества состояло изъ анти-клерикаловъ, и въ тонѣ разговора послышались вдругъ раздраженные нотки.

— Если ужъ на то пошло, то многіе приписываютъ именно католической церкви причину этого явленія. Протестантскіе народы растутъ, процвѣтаютъ и размножаются.

— Ужъ не предложите ли вы намъ отказаться отъ католицизма?

— Церковь отпускаетъ вѣдь всякіе грѣхи!

— Я не думаю,—сказалъ Дюгамель,—чтобы церковь могла имѣть въ этомъ случаѣ существенное вліяніе—въ томъ или другомъ направленіи. Церковь въ нашей жизни является скорѣе факторомъ, регулирующимъ нравы, чѣмъ создающимъ ихъ. Что же касается сущности занимающаго насъ вопроса, то я, конечно, не стану отрицать въ немъ значенія экономическаго элемента, и извѣстная совокупность хорошо обдуманыхъ законодательныхъ мѣръ была бы, по моему мнѣнію, желательна и полезна. Но, кромѣ того, намъ необходимо стремиться къ этическому обновленію общества, соотвѣтственно его нынѣшнимъ интеллектуальнымъ понятіямъ. Однимъ словомъ, намъ нужно выработать такой идеалъ, который бы далъ нашей расѣ новый принципъ жизни и нормальнаго развитія.

Въ группѣ буржуа послышался легкій шопотъ одобренія, прерванный вдругъ ироническимъ замѣчаніемъ профессора Монэ.

— Ну, это метафизика!

— Нѣтъ, это только социологія. Но еслибы даже это и была метафизика, все-же, мнѣ кажется, не мѣшало бы подумать, въ чемъ состоитъ ея суть въ данномъ случаѣ.

— По вашему мнѣнію, конечно. Что же касается меня, то я предпочитаю полагаться на единственный вѣрный путь—экспериментальный.

Группа спорящихъ раздѣлилась. Тѣ же мнѣнія развивались ими далѣе въ болѣе интимныхъ кружкахъ.

Къ Дюгамелю подошла, между тѣмъ, довольно полная дама лѣтъ тридцати. Она все время слѣдила за разговоромъ, пристально всматриваясь въ собесѣдниковъ, какъ дѣлаютъ люди съ притушеннымъ слухомъ. Дюгамель, хорошо ее знавшій, относился къ ней всегда съ искренней симпатіей и полнымъ сочувствіемъ.

Она заговорила:

— Представьте себѣ, что я слышала почти все, по крайней мѣрѣ—общій смыслъ разговора. И мнѣ бы хотѣлось высказать вамъ, что я испытываю по этому поводу, тѣмъ болѣе, что далеко не всѣ испытываютъ то же самое. Вы не думаете, конечно, чтобы подобная мнѣ дѣвушка, некрасивая, съ ослабѣв-

шимъ послѣ болѣзни слухомъ и съ небольшимъ капиталомъ, могла мечтать о любви. Говоря чистосердечно, я бы даже ужасно боялась любви. И вотъ, вслѣдствіе этой боязни, а также и вслѣдствіе того, что я все-таки вижу иногда около себя какихъ-то противныхъ людей, готовыхъ на мнѣ жениться изъ-за моего скромнаго дохода, я кончила тѣмъ, что перестала вовсе думать о замужествѣ.

Она остановилась.

— Вы не будете шокированы тѣмъ, что я скажу?

Дюгамель сочувственно улыбнулся.

— Вы, въ самомъ дѣлѣ, точно духовникъ. Итакъ, переставъ думать о мужчинахъ, я не перестала думать о дѣтяхъ. Да, я бы желала имѣть ребенка, моего собственнаго ребенка. Что же касается его отца, то мнѣ достаточно было бы знать о немъ лишь то, что онъ не передастъ дитяти никакой болѣзни. Я говорю серьезно,—я бы желала даже не видѣть его никогда. Ну, а вы все-таки, кажется, не мало удивлены,—очень ли это дурно съ моей стороны?

Дюгамель, сначала нѣсколько сконфуженный рѣшительностью бѣдной дѣвушки, поспѣшилъ ей отвѣтить:

— Увѣряю васъ, что я не вижу въ этомъ ничего дурнаго; все, что вы мнѣ говорите, кажется мнѣ только очень смѣшнымъ.

— Да? Я была увѣрена, что вы не станете строго судить меня. И, знаете, у насъ не мало женщинъ въ моемъ положеніи. Онѣ, конечно, не такъ откровенны и не сознаются въ своихъ желаніяхъ даже сами передъ собой, но мнѣ удалось выслушать признанія многихъ. Я чувствую, что ребенокъ придалъ бы смыслъ всей моей жизни, а все-таки не рѣшаюсь на столь трудный и опасный шагъ.

— Но очень можетъ быть, что вы еще будете женой превосходнаго человѣка.

— О, нѣтъ, это было бы ужасно! Я бы его полюбила, и моя наружность и глухота стали бы тогда для меня постояннымъ источникомъ мученія. Другое дѣло—ребенокъ; будь я во сто разъ даже хуже и немогуще, онъ бы этого и не замѣтилъ.

Дюгамель взялъ ее за руку.

— Вы прелестная женщина,—сказалъ онъ,—и я увѣренъ, что вы были бы идеальной матерью.

Она вдругъ просвѣтлѣла, и въ ея неправильныхъ чертахъ отразилась живѣйшая радость.

Между тѣмъ общество, собравшееся въ залѣ, замѣтно ожи-

вилось; отдѣльныя группы обмѣнивались еще пока охотно своимъ запасомъ новостей и остроумія.

Въ той средѣ, гдѣ „интеллектуалисты“ сходятся съ образованной буржуазіей, нетрудно открыть господствующіе мотивы салонныхъ разговоровъ: это—мотивы научные. Они вводятъ ихъ болѣе или менѣе ловко и естественно въ свои разсужденія. У однихъ мотивы эти получаютъ значеніе какого-то неопредѣленнаго бога въ поднебесьѣ; у другихъ они составляютъ предметъ болѣе опредѣленнаго культа, но почти у всѣхъ служатъ основаніемъ новаго рода классификаціи, новой іерархіи, смѣняющей прежнюю іерархію, чиновъ, мѣстъ и занятій. При этомъ, каждый специалистъ строго придерживается своей роли, безпрестанно контролируемый завистливымъ взоромъ другихъ специалистовъ. Всѣ наблюдаютъ другъ за другомъ, не позволяя математику выходить изъ предѣловъ математики, а біологу—изъ біологіи. Отъ времени до времени, въ разныхъ лагеряхъ слышатся характеристическія замѣчанія:

— Да развѣ онъ въ состояніи понять эти вещи! Вѣдь онъ математикъ, а всѣ математики—мистики.

Въ отвѣтъ на это, губы математика складываются въ презрительную улыбку, и онъ принимается подчеркивать недостатки экспериментатора.

— Онъ не въ состояніи возвыситься до общихъ понятій,—это просто ремесленникъ.

Буржуазія энергически поддерживаетъ эту новую общественную ранжировку, почти такъ же преклоняясь передъ „университетскими“, какъ она преклонялась нѣкогда передъ титулами и гербами.

А все-таки Дюгамель любилъ эту среду, зная несомнѣнно, что въ ней именно встрѣчаются всего чаще избранники человечества, лучшіе и безкорыстнѣйшіе люди. Кого же, какъ не ихъ, интересуютъ, главнымъ образомъ, вопросы объ общемъ благѣ, о судьбѣ народовъ, о распредѣленіи богатствъ, объ организаціи неимущихъ классовъ? Многіе изъ нихъ посвящаютъ время и трудъ на общественныя нужды, читаютъ лекціи, устрояютъ конференціи. Возмущаясь всякою несправедливостью, они возстаютъ для борьбы съ ложью, принимаютъ на себя защиту угнетенныхъ. А все-таки, въ этотъ вечеръ, прислушиваясь къ разговорамъ объ утилитаризмѣ, о непреложныхъ законахъ исторіи, о причинахъ выдѣленія философіи изъ ряда другихъ наукъ, Дюгамель не могъ отдѣлаться отъ чувства неудовлетворенности и досады. И вдругъ ему стало ясно, что именно его отталки-

вало отъ всѣхъ этихъ специалистовъ: ихъ слова и дѣйствія плохо вязались съ ихъ теоріями. Лардъ,—выдвигавшій всюду экспериментъ, какъ единственный путь правды,—въ то же время мистически былъ преданъ культу добра и дружбы. Мона,—теоретическій врагъ метафизики,—въ обыкновенной жизни толковалъ постоянно о правдѣ, совѣсти, просвѣщеніи и т. п., придавая этимъ словамъ какое-то религіозное значеніе.

— Нѣтъ у нихъ гармоніи между словомъ, дѣломъ и помыслами — и разладъ-то этотъ, главнымъ образомъ, нравственный. Новѣйшій ученый, въ своей спеціальности, руководится въ сущности тѣми же старыми религіозными и метафизическими категоріями. Строгая логика и точный анализъ примѣняются имъ только къ его научнымъ занятіямъ; выйдя изъ ихъ опредѣленнаго круга, онъ теряется въ безднѣ противорѣчій и соціальныхъ условностей. Удерживаемый странною слабостью, боязнью смѣшнаго, воспоминаніемъ пережитой борьбы съ мистицизмомъ и метафизикою, онъ боится распространить свои побѣды и на область отвлеченныхъ понятій, и въ обыденной жизни, семейной или общественной, поддается по-прежнему смутнымъ импульсамъ прошлаго.

Дюгамель остановился, приводя въ порядокъ свои мысли. Онъ и прежде страдалъ отъ этого разлада между знаніемъ спеціальнымъ и знаніемъ общечеловѣческимъ, но никогда еще не сознавалъ его съ такою ясностью и полнотою.

— Да,—говорилъ онъ себѣ,—я чувствую, что пришла пора возвратиться къ большему единству въ нашей умственной и нравственной жизни. Мнѣ кажется слишкомъ узкимъ и одностороннимъ понимать науку какъ отдѣльную „сущность въ себѣ“, въ то время какъ мы отрекаемся отъ „сущностей“ вообще.

Тутъ онъ почувствовалъ, что кто-то дотрогивается до его плеча. Передъ нимъ стоялъ Делэфонъ, съ грустными и ласковыми глазами.

— О чемъ ты думаешь, другъ?

Дюгамель объяснилъ ему вкратцѣ ходъ своихъ мыслей.

— Какъ ты счастливъ, что можешь интересоваться этими вещами! У меня нѣтъ на это силъ. Моя душа пуста.

— Наполни ее правдою.

— Легко сказать! Правда такъ часто мѣняется, что не успѣешь ее и узнать-то хорошенько.

— Можно ее узнать путемъ опыта,—сказалъ профессоръ Мона, слушавшій ихъ правымъ ухомъ, между тѣмъ какъ лѣвымъ онъ слѣдилъ за словами своего сосѣда.

— А мнѣ думается, что и экспериментальный методъ составляетъ только одинъ изъ переходныхъ моментовъ вѣчнаго стремленія къ истинѣ.

— Извините, это—методъ окончательный; нѣтъ и не будетъ никогда другого.

— Вы все-таки можете ошибаться, Монъ,—отвѣчала Дюгамель. — Мы ничего не знаемъ о методѣ будущаго. Эволюція науки, такъ же какъ и эволюція организмовъ, заключаетъ въ себѣ много неизвѣстнаго. Миѳологія, столь далекая отъ насъ теперь, была вѣдь также нѣкогда нашимъ методомъ, и даже очень плодотворнымъ. Почему знать, можетъ быть современнымъ, когда совершенно измѣнится общее міровоззрѣніе,—и современная намъ наука станетъ чѣмъ-то въ родѣ миѳологической фигуры?

— Такъ вы ужъ лучше скажите, за-одно съ клерикалами, что наука, это—скопище противорѣчій и гипотезъ, лишенныхъ будущности!

— Нѣтъ, Монъ. Я только утверждаю, что знаніе такъ же противорѣчиво и гипотетично, какъ природа, и что экспериментальный методъ не составляетъ послѣдняго звена великой цѣпи человѣческой мысли.

— Опытъ исчезнетъ, какъ миѳологія!

— Онъ не исчезнетъ, онъ войдетъ въ составъ новаго метода, подобно тому, какъ миѳологія и метафизика вошли въ его составъ,—но онъ не будетъ уже главнымъ средствомъ знанія.

— Какъ это можно знать?—сказалъ Лардъ, видимо раздраженный, подходя къ группѣ разговаривавшихъ.

— Да и къ чему знать?—прибавилъ Монъ.

— Какъ къ чему знать?—спросилъ порывисто Делафонъ. — Если наука можетъ быть источникомъ удовлетворенія, то только лишь въ томъ предположеніи, что она имѣетъ значеніе для будущаго. Настоящее—ужасно и пошло. Мнѣ, напр., вовсе не интересно знать въ точности, какъ расположены мои внутренніе органы или волокна въ плечевыхъ мускулахъ, а также и то, что бацилла холеры размножается самымъ бессмысленнымъ образомъ,—если все это должно оставаться въ моей собственной головѣ, безъ ясной связи съ остальнымъ міромъ... Я, можетъ быть, и не очень ученъ—но, мнѣ кажется, я—„человѣченъ“. Мнѣ необходима точка опоры, смыслъ жизни,—и я не могу удовлетвориться лишь знаніемъ того, что я—обширный и сложный гнойникъ, весьма остроумнаго устройства. Не качайте головой, Лардъ. Вы можете на этомъ успокоиться, потому что, оче-

видно, все это не входитъ въ глубь вашей души, — внѣ опыта вы машинально подчиняетесь мистическимъ и метафизическимъ традиціямъ. Но я — скептикъ по природѣ и по складу ума, меня никакая традиція не удовлетворяетъ, и я не могу слѣдовать вашему примѣру.

— Но какое же мнѣ-то дѣло до того, что у васъ неопредѣленность въ душѣ и потребность надѣяться во что бы то ни стало? Долженъ ли я вамъ общать въ области науки то, что общаютъ въ политикѣ: больше масла, чѣмъ хлѣба? Я удовлетворяюсь положительными истинами, добытыми и проверенными опытомъ, и никакихъ другихъ не могу вамъ предложить. Моя ли въ этомъ вина?

Дюгамель почувствовалъ себя обезкураженнымъ. Научная борьба, такъ же какъ и кулачная, ведется обыкновенно по известнымъ правиламъ. Термины и опредѣленія, служащія въ ней оружіемъ, сжимаютъ и парализуютъ свободу мысли. Ученый подбираетъ нужныя для его соображеній словечки, такъ же какъ онъ подбираетъ атомы для своихъ химическихъ сочетаній. А между тѣмъ слова походятъ скорѣе на живыя частицы органическихъ тѣлъ, могущія безконечно видоизмѣняться при помощи самыхъ простыхъ средствъ.

Однако, убежденный моралистъ не выдержалъ и продолжалъ споръ.

— А все-таки жалко, что вы намъ не предлагаете хотя бы гипотезъ, потому что гипотезы, выводимыя изъ данныхъ современной науки, во всякомъ случаѣ больше имѣли бы смысла, чѣмъ туманныя мистическія и метафизическія внушенія, регулирующія до сихъ поръ нашу духовную жизнь... Васъ обвиняютъ нынѣ въ банкротствѣ не потому, что ваши труды тщетны и бесполезны, а потому что ваше знаніе слишкомъ удалено отъ общей жизни, что ваши чувства не соответствуютъ вашимъ понятіямъ. Когда къ вамъ прибѣгаютъ за разрѣшеніемъ какого-нибудь социальнаго вопроса, вы точно такъ же, какъ и обыкновенные смертные, преподносите намъ все тѣ же старыя, магическія, религіозныя и метафизическія формулы.

— Да это вовсе и не призваніе науки — регулировать социальные или политическіе вопросы. Будетъ ли Франція монархіей, олигархіей или демократіей — все-же ваши мозговые извилины будутъ состоятъ изъ бѣлаго и сѣраго веществъ, а микробъ бѣшенства все такъ же будетъ копошиться въ тѣлѣ кролика.

— Вотъ въ этомъ-то и заключается ваша ошибка, милѣйшій Монан. Наука зависитъ, несомнѣнно, отъ состоянія ума на-

родовъ, ее создающихъ. Будьте увѣрены, что экспериментальный методъ, которымъ всѣ мы по справедливости гордимся, такъ же отвѣчаетъ нашему социальному устройству, какъ мифологія отвѣчала социальному строю грековъ.

— Но не попадаемъ ли мы, такимъ образомъ, въ какой-то закодированный кругъ?— спросилъ профессоръ Грендоржъ, привлеченный видимымъ оживленіемъ маленькой группы.— Съ одной стороны, вы утверждаете, что наука зависитъ отъ социальнаго устройства, а съ другой—что социальное устройство должно зависѣть отъ нея?

— Положимъ, что двое людей хотятъ перелѣзть черезъ стѣну и что одинъ изъ нихъ подставитъ сначала свои плечи другому, а затѣмъ тотъ другой перетащитъ его,—гдѣ же тутъ закодированный кругъ? Всеобщая эволюція, восходящая, какъ извѣстно, отъ простѣйшаго къ болѣе сложному, совершалась всегда помощью такихъ, критикуемыхъ вами, круговъ. Тѣло создаетъ нервныя центры, а нервныя центры видоизмѣняютъ тѣло... Социальное устройство вліяетъ на науку, наука вліяетъ на социальное устройство. И нѣтъ причинъ, чтобы было иначе. Задача нашего времени, въ отличіе отъ прошлаго, состоитъ именно въ томъ, чтобы дать положительныя, научныя основанія понятіямъ и потребностямъ нравственнымъ, чтобы совмѣстить понятіе справедливости съ правдой опытной. Да, воплотить въ жизни новую гармонію, соединить въ одно цѣлое элементы разума и морали, опыта и метафизики—вотъ завидная цѣль, для которой теперь уже слѣдовало бы поработать.

— Увы,—сказалъ Делэфонъ,—опадаюсь, чтобы твоя мудреная гармонія не оказалась на дѣлѣ столь же безплотной, какъ и всѣ утопіи. Тѣмъ не менѣе, я все-таки одобряю твои начинанія, потому что нѣтъ ничего отвратительнѣе нынѣшняго *status quo*, полного лѣни и рабства.

Разговоръ прекратился. Ученые спеціалисты, погруженные въ науку, какъ чиновники въ администрацію, расходясь говорили другъ съ другомъ объ отсутствіи научнаго духа у Дюгамеля. Делэфонъ и Дюгамель остались докуривать сигары.

Двѣ вазы изъ богемскаго хрустала, стоявшія на сосѣднемъ столикѣ, дрожали отъ гула человѣческихъ голосовъ въ громадномъ залѣ. Свѣтъ лампъ мягко просачивался сквозь элегантныя абажуры, а пламя дровъ въ каминѣ какъ-то весело вспыхивало, охватывая новыя полѣнца. Дюгамелю захотѣлось испытать хоть немного того спокойнаго удовольствія, которое ему обыкновенно доставляли „четверги“, но онъ слишкомъ усталъ отъ продолжительнаго спора. И вдругъ всѣ эти умники и добрые буржуа,

все это прогрессирующее, трудящееся и увлекающееся человечество показалось ему пустымъ и суетнымъ, какъ мудрость казалась нѣкогда суетной Соломону. Міръ наслажденій, блестящія, легкомысленныя женщины, фривольные будуары, мимолетныя связи, неожиданные поцѣлуи, осыпаяющіе объѣды, все это, послѣ недавнихъ благихъ мыслей, предстало передъ его взоромъ, по закону контраста, подобно тому, какъ черное пятно смѣняетъ подъ нашими вѣками настоящее солнце, ослѣпившее глаза.

„Охъ, тѣло жаждетъ наслажденія! Погрузиться бы въ него съ ногъ до головы, до самозабвенія, до смерти... И какъ изысканно-прекрасна была бы такая смерть... въ сладкомъ изнеможеніи, безъ сопротивленія и борьбы!.. Ничего и никого—кромѣ очаровательной женщины, сіяющей тысячу прелестей, тысячу измѣнчивыхъ одѣяній, выдѣляющей изъ своего тѣла гашишъ упоеній,—усыпленіе жизни“...

Онъ увидѣлъ Алису, прелестную и блѣдную, граціозно подхихившую къ сосѣдней группѣ мужчинъ. Его сердце вдругъ радостно затрепетало, но почти въ тотъ же мигъ въ него вонзился жестокий уколъ стыда; онъ посмотрѣлъ на Делафона, неразлучнаго товарища молодости, и прошепталъ самому себѣ:

„Не быть тебѣ ни флюгеромъ, ни лицомъромъ!“

VI.

Бизо ушелъ изъ торговаго дома „Дебарръ и Сынъ“ около пяти часовъ пополудни. Онъ рѣшился именно сегодня просить руки Алисы. Апрѣль раскрывалъ свѣжіе пальчики каштановъ, солнце склонялось къ западу, и поэзія сумерокъ охватывала Бизо, не возбуждая въ немъ никакого удивленія; онъ даже ожидалъ ея, находя вполне правильнымъ, чтобы человѣкъ, идущій къ своей возлюбленной съ такими намѣреніями, испытывалъ поэтическія чувства. Тѣмъ не менѣе, нѣкоторые опасенія примѣшивались въ немъ къ прелести этого момента. Онъ вспомнилъ, что въ разныхъ книжкахъ часто говорится о томъ, какъ легко показаться смѣшнымъ въ минуту любовнаго признанія. Бизо, пораздумавъ, рѣшился объясниться самымъ простымъ образомъ. Но можно ли совмѣстить большую простоту съ естественнымъ увлеченіемъ? Припоминая разные подходящія фразы, онъ невольно останавливался на эффектныхъ словечкахъ, въ родѣ: „страсть“, „на вѣки“, и т. п., которыя были непривычны его скромности. Съ другой стороны, онъ боялся показаться чересчуръ сухимъ.

Онъ даже спрашивалъ себя—не лучше ли просто-на-просто употребить общепринятую, традиціонную фразу? Въ такомъ случаѣ, его не въ чемъ было бы упрекнуть, какъ вообще нельзя упрекать человѣка, говорящаго: „здравствуйте“, „какъ вы поживаете?“. Такихъ словъ никто даже не замѣчаетъ, а между тѣмъ ихъ можетъ произнести и самый остроумный человѣкъ. Эта мысль показалась ему практичною, и Бизо, уже безъ труда, повторилъ обычную формулу. Сдѣлавъ это, онъ продолжалъ подвигаться среди легкихъ вѣтвей. Кака-то сверхъестественная, гипнотизирующая сладость поднималась вдоль шировой дороги; всѣ развѣтвленія пути, сливающіяся на дальней точкѣ горизонта, казались свѣтящимися линіями, будто бы усыпанными блѣднымъ фосфоромъ. Бизо шелъ теперь съ спокойнымъ сердцемъ среди этой нѣги и этого свѣта, среди дремоты умирающаго дня. Онъ не ощущалъ ни трепетной приниженности крайне влюбленныхъ, ни самоувѣренности черствыхъ натуръ. Онъ предлагалъ Алисѣ свою преданность, трудолюбіе и безупречную честность. Онъ, конечно, былъ бы весьма огорченъ ея отказомъ, но на всякій случай у него имѣлась въ запасѣ и значительная доля утѣшеній, такъ какъ любовь Бизо была не менѣе здорова, чѣмъ его тѣло и образъ жизни.

Онъ воспринималъ въ себя красоту весны, подобно тому, какъ воспринималъ жизнь вообще: безъ утонченностей, безъ нѣжныхъ и безумныхъ увлеченій. Глазамъ этого мирнаго человѣка природа представлялась еще такою, какою она казалась своимъ обожателямъ прошлаго вѣка. Она разстиала зеленые ковры своихъ муравъ и золотыхъ лучей для нашей пользы и удовольствія. Небо казалось ему исполинской палаткой, устроенной для удобства человѣчества, деревья—чудесными фонтанами, обдающими насъ свѣжестью.

Бизо шелъ къ Алисѣ, которой молодая душа такъ любовно стремилась къ природѣ, какъ юная богиня стремится къ своему лучезарному богу. Онъ шелъ къ Алисѣ, просить ее, чтобы она сдѣлалась его женою, чтобы все ея обаяніе, все очарованіе ея формъ и ея сердце, привыкшее къ глубинѣ и шири Делафоновъ и Дюгамелей, стали его собственностью, собственностью простого, положительнаго человѣка.

Алиса страдала. Подобно всѣмъ молодымъ дѣвушкамъ, она много думала о замужествѣ, но мужъ оставался пока въ ея мысли лишь неопредѣленнымъ пятномъ, безъ яснаго облика. Проходили годы, но лицо его все еще не выходило изъ тумана. По прежнему только сестра, зять и Дюгамель занимали ея вообра-

женіе. Между тѣмъ, когда Делафонъ привелъ къ нимъ въ домъ Бизо, она смотрѣла на него безъ отвращенія, и сначала даже мысль о бракѣ съ подобнымъ человѣкомъ не казалась ей непріятною. Но по мѣрѣ того, какъ его намѣренія опредѣлялись, глухой ропотъ зарождался въ ея душѣ, и она не могла уже думать о Бизо, не вызывая въ то же время передъ собою образа Дюгамеля.

Между Алисою и ея другомъ начиналась какая-то роковая связь. Настойчивое, безмѣрное желаніе погрузиться вмѣстѣ съ нимъ въ замкнутый міръ любви, лишало ее силы остановиться на этомъ новомъ пути. Личные инстинкты властно возвышались въ ней голосъ, и, только удовлетворивъ ихъ эгоистическія требованія, она желала бы общенія съ остальнымъ міромъ. Прогулка въ Кроа-ла-Берни застала ее въ такомъ именно расположеніи духа. Она убѣдилась, что любить Дюгамеля и, какъ и слѣдовало ожидать отъ ученицы столь искренняго моралиста, не стала скрывать передъ собою это чувство, сознавая въ то же время свою зависимость отъ него.

Съ тѣхъ поръ она жила въ постоянномъ безпокойствѣ и сомнѣніи, готовая безпредѣльно любить своего властелина, или же терзаться отреченіемъ отъ него.

Алиса не умѣла еще страдать, какъ страдаютъ люди, испытанные горемъ. Ея душа, полная добра и кротости, взывала о помощи къ тѣмъ загадочнымъ силамъ, къ которымъ мы взываемъ въ лихорадочномъ бреду. Загадочныя силы ей не отвѣчали. Одна лишь обновленная красота неба и земли не оставляла ее въ удрученіи и тоскѣ. Молодая дѣвушка стала теперь еще прелестнѣе въ весеннихъ, свѣтлыхъ, воздушныхъ платьяхъ. Она внимательно вглядывалась въ себя, восхищалась собою, любила себя за Дюгамеля. Всматриваясь въ гибкія движенія своего стройнаго тѣла, она ощущала какую-то инстинктивную, почти животную гордость.

Все ея существо, въ теченіе нѣсколькихъ дней, предшествовавшихъ обѣду у Дюгамелей, было погружено въ бездну грусти и угнетенія. Въ полусознательныя минуты ранняго утра, или поздняго вечера, она принадлежала исключительно Дюгамелю. Но днемъ къ ней возвращалась способность разсуждать, и она ясно видѣла все неправдоподобіе своихъ грѣзъ; она даже пыталась думать о другомъ человѣкѣ, который бы помогъ ей вырваться изъ невыносимыхъ противорѣчій и отдѣлаться отъ этого кошмара.

Визитъ Бизо засталъ ее какъ бы на распутьѣ между на-

стойчивыми требованіями живой страсти и усталыми жалобами на ея безнадежность.

Это было въ большомъ саду, позади дома, среди еле распутившейся, блѣдной, апрѣльской зелени. Она смотрѣла на цвѣты и деревья, радовавшіе и удивлявшіе ее точно невиданное чудо,— и вдругъ ей захотѣлось кричать отъ боли и отчаянія—ей показалось, что судьба, похищая у нея любовь, похищаетъ въ то же время и нѣжную прелесть растений—свѣжую и невинную красоту міра.

Бизо стоялъ безъ словъ передъ этой блѣдной женщиной, смущенный ея странными глазами. Онъ чувствовалъ себя почти мальчикомъ передъ ней, едва понимавшимъ то, что происходило между ними. Алиса была ему очень благодарна за то, что онъ сумѣлъ высказать ей съ большимъ тактомъ свои чувства и планы, отодвинувъ непримѣтно на задній планъ свою собственную личность.

Безысходность любви къ Дюгамелю предстала передъ нею во всей очевидности, а вмѣстѣ съ тѣмъ и вѣроятная перспектива брака съ какимъ-нибудь другимъ человекомъ.

„Отчего же и не съ Бизо? Душа и тѣло его хороши и здоровы“... Но не успѣла она еще окончить этихъ внутреннихъ вопросовъ, какъ по всему ея тѣлу пробѣжала быстрая судорога, вызванная этимъ „чужимъ“, которому ей предстояло подчиниться, не избравъ его себѣ въ мужа естественнымъ влеченіемъ.

Она отшатнулась.

— Я бы желала, — сказала она, — подождать годъ.

— До окончательнаго рѣшенія?

— До брака. Мнѣ бы хотѣлось, чтобы мы сначала лучше узнали другъ друга, чтобы мы стали настоящими друзьями.

Бизо не принадлежалъ къ числу людей, боящихся долгихъ приготовленій.

— Если вы этого желаете, я, конечно, подчиняюсь. Для меня всего важнѣе увѣренность, что вы соглашаетесь быть моей женой. Но мнѣ уже тридцать шесть лѣтъ, и я бы очень хотѣлъ имѣть поскорѣе свой домъ и семью. Еслибы вы сочли нашъ союзъ невозможнымъ, я былъ бы вамъ благодаренъ за откровенное слово; но разъ вы мнѣ подаете надежду, я буду спокойно ждать. Я вообще терпѣливъ по натурѣ, и воспользуюсь этимъ временемъ, чтобы позаботиться какъ можно лучше о нашемъ будущемъ счастьѣ.

Алиса почувствовала въ этихъ словахъ все, что ей было нужно: во-первыхъ, доброту Бизо, затѣмъ выигранное время и,

наконецъ, увѣренность въ томъ, что онъ не потребуеъ отъ нея страстной любви, ни даже подобіи таковой любви, удовлетворяясь спокойной дружбою жены и преданностью матери его дѣтей.

Сумерки медленно ложились на природу и на ихъ взволнованныя мысли. Душа Бизо была полна обожанія; Алиса же точно каменѣла въ какомъ-то дурномъ снѣ. Сирень расправляла вокругъ нихъ свои лиловые лепестки, а рядомъ съ нею возвышалось черное, обнаженное дерево, которому не суждено уже было протянуть изсохшихъ рукъ къ трепещущей жизнью листвѣ.

Когда Дюгамель узналъ о совершившемся фактѣ, онъ старался съ нимъ примириться и въ слѣдующій понедѣльникъ не видѣлся съ Делафонами. Въ немъ происходила усиленная борьба, и ему удалось побѣдить всѣ лицемѣрныя побужденія ѣхать къ Алисѣ подъ всевозможными предлогами. Страсть улеглась въ его груди, смягченная сознаніемъ правоты. А все-таки, отъ времени до времени, поднимались въ его душѣ мечты и желанія, не имѣвшія ничего общаго съ его стоицизмомъ. Не желая мѣшать помолвкѣ Алисы, Дюгамель готовился къ продолжительному путешествію, но онъ былъ невольно задержанъ неожиданнымъ обстоятельствомъ.

VII.

Делафонъ становился день ото дня пасмурнѣе. Онъ курилъ съ какимъ-то остервенѣніемъ, насупивъ брови, сдвинувъ челюсти; въ застывшихъ чертахъ его лица видѣлись признаки жестокаго страданія. Въ его сарказмѣ чувствовалось какое-то странное презрѣніе къ самому себѣ и безнадежное отчаяніе.

Дюгамель приписывалъ все это развивавшемуся сумасшествію м-мъ Делафонъ, и пришелъ къ убѣжденію, что подобная жизнь вдвоемъ, жизнь праздная, такъ какъ Делафонъ оставилъ всѣ дѣла, была просто опасна для нихъ обоихъ, въ психическомъ отношеніи. Онъ не разъ уже хотѣлъ вырвать своего друга изъ этого состоянія, возбуждая его энергію и интересъ къ вѣшнему міру, но, не зная хорошенько, какъ за это приняться, постоянно откладывалъ свое намѣреніе.

Однажды, придя поздно вечеромъ къ своимъ друзьямъ, онъ былъ свидѣтелемъ весьма тяжелой сцены. М-мъ Делафонъ, какъ это часто съ ней бывало, улеглась спать довольно рано, а Делафонъ, оставшись съ гостемъ, не выпускалъ изо рта папиросъ, отпуская при этомъ разныя замѣчанія насчетъ жизни вообще

и повторяя постоянно эпитеты: „пустая, бесполезная, бессмысленная“.

Вдругъ дверь отворилась, и м-мъ Делафонъ, въ ночномъ туалетѣ, упала въ объятія мужа. Дюгамель былъ пораженъ страннымъ замѣшательствомъ своего друга. Въмѣсто того, чтобы успокоивать жену, какъ несчастную больную, онъ стоялъ передъ нею растерянный, сконфуженный и почти умоляющій. Она между тѣмъ плакала и держала себя какъ нервный, испуганный ребенокъ, спасающійся подъ крылышко взрослыхъ. Наконецъ, она быстро заговорила о своей „маленькой дочурѣ“, показывая жестами, какъ бы она ее сжимала въ своихъ объятіяхъ, ласкала и цѣловала. Сцена, разыгравшаяся передъ глазами Дюгамеля, была сама по себѣ крайне тяжелая, но онъ надѣялся, что эти бурные, ничѣмъ несдерживаемые порывы облегчатъ страданіе больной женщины; тѣмъ болѣе, зато, трогало его молчаливое, глухое горе Делафона.

Делафону не сразу удалось успокоить жену, и онъ самъ проводилъ ее въ спальню. Посидѣвъ тамъ немного и убѣдившись, что она уснула тѣмъ крѣпкимъ сномъ, который обыкновенно слѣдуетъ за острыми припадками, онъ вернулся въ залъ къ Дюгамелю. Сначала они сидѣли молча, и въ тишинѣ слышалось только нетерпѣливое пытаніе Делафона, сердито выпускавшаго обильные клубы дыма.

— Ты слишкомъ много куришь, — рѣшился замѣтить ему Дюгамель.

— Да, мнѣ это необходимо.

— Мнѣ, кажется, наоборотъ, тебѣ нужно прежде всего успокоить нервы. Прости меня за откровенность, но твоя слабость меня поразила. Руки у тебя дрожатъ, зрачки расширены, въ углахъ глазъ подергиваніе. Конечно, все это пока еще не имѣетъ особеннаго значенія, но ты долженъ о себѣ позаботиться и поскорѣе выйти изъ этого положенія.

— Не стоитъ заботиться; теперь и ты уже видѣлъ, до чего у насъ дошло дѣло.

— Но вѣдь твое спокойствіе всего лучше подѣйствуетъ и на жену. Вы рѣшительно вредите теперь другъ другу. Ты даже и говоришь-то съ нею не такъ, какъ бы слѣдовало, а между тѣмъ будъ у тебя настоящая энергія, она бы выздоровѣла непремѣнно.

Делафонъ долго не смотрѣлъ на Дюгамеля; наконецъ онъ бросилъ папирску и остановился передъ нимъ.

— Я хотѣлъ бы поговорить съ тобой. Но не здѣсь,—гдѣ-нибудь подальше.

— Хорошо,—сказалъ Дюгамель,—благодарю тебя за довѣріе.

— Да, довѣріе—хорошая вещь... а все-таки ты самъ увидишь, что нелегко объ этомъ говорить, даже съ тобою... Жизнь, право, очень глупа.

Они вышли, уводя съ собою Бокса.

Майская, нѣжная зелень не закрывала серебристаго, ночного мерцанія. Становилось прохладно подъ очень яснымъ небомъ. Тишина и уединеніе окружали ихъ со всѣхъ сторонъ. Боксъ, совершивъ нѣсколько большихъ экскурсій, успокоился и снова подлѣ своего хозяина, втягивая вѣтеръ въ раздутыя ноздри. Делатонъ колебался и оттягивалъ время.

— Да, я сказалъ, что это трудно. Не хочется человѣку сознаваться въ слабостяхъ... У меня просто смерть въ душѣ.

Онъ горько засмѣялся.

— Вѣришь сказать—въ тѣлѣ.

Дюгамель терпѣливо ожидалъ, хорошо зная, что полная откровенность возможна лишь въ возбужденіи, въ случайномъ безпорядкѣ словъ. И въ самомъ дѣлѣ, Делатонъ, пробовавшій-было послѣ рѣзкаго вступленія прибѣгнуть къ разнымъ оговоркамъ и умалчиваніямъ, кончилъ все-таки чистосердечнымъ разсказомъ. Прежде всего онъ остановился на главномъ мученіи своей брачной жизни—на психическомъ разстройствѣ жены—и перешелъ къ его причинамъ.

— Теперь ты понимаешь, конечно, какое исключительное значеніе имѣетъ для меня вопросъ о дѣтяхъ. Въ послѣдніе два года я только то и дѣлалъ, что погружался въ его изученіе, и изслѣдовалъ его такъ, какъ рѣдкій специалистъ. Узналъ, конечно, что бесплодіе брака можетъ зависѣть столько же отъ жены, сколько и отъ мужа, какъ бы онъ ни былъ здоровъ и повидимому нормаленъ. Но, зная это, я все-таки долго не рѣшался допустить, что именно я принадлежу къ такимъ исключеніямъ, и что, еслибы не я, моя жена могла бы быть счастливою матерью,—могла бы быть спасена.

Делатонъ остановился. Послышался свистъ локомотива, замѣнившій вой собакъ въ деревенской тѣмѣ и жалостные вопли ослонъ. Какой-то невидимый поѣздъ грузно проскрежеталъ среди мрака, направляясь къ бульварамъ. Сердце Делатона сжалось отъ тоски. Это стремительное желѣзное стадо показалось ему символомъ сиблости и побѣды, унижающимъ его самого. Между тѣмъ тяжелый грохотъ затихалъ. Осталась только вѣчная красота

чудной лазури, съ накинутаю на нее свѣтящейся кисеей звѣздъ, и глубокая тишина земли.

Раздались опять слова, какъ-то странно и рѣзко произносимыя Делафономъ. Онъ самъ не переставалъ удивляться, что онѣ ему такъ легко давались, и въ то же время чувствовалъ, что его силы окончательно истощаются.

— Подобное предположеніе само по себѣ кажется не Богъ вѣсть что такое, но для человѣка съ такими нервами, какъ мои, оно стало вдругъ важнѣйшимъ вопросомъ жизни. А между тѣмъ въ душѣ поднимался какой-то страхъ передъ полной увѣренностью. Я точно держалъ собственную судьбу въ рукахъ: сомнѣніе все-же позволяло мнѣ жить, надѣяться, работать. Подтвержденіе моихъ предположеній повергло бы меня въ глухое отчаяніе побѣжденныхъ расъ. Еслибы я не былъ принужденъ постоянно утѣшать жену, еслибы ея болѣзнь не увеличивалась,—все могло бы остаться по-прежнему, и я бы могъ не узнавать въ точности того, о чемъ желалъ бы не знать. Къ несчастію, ты самъ убѣдился, до чего уже дошли ея припадки. Я проклиналъ судьбу, не могъ удержаться отъ безумной тоски, и наконецъ рѣшился пожертвовать личными чувствами и обратиться за окончательными разъясненіями къ помощи науки. И вотъ теперь я узналъ то, чего такъ боялся, и все мое существо какъ будто разлетѣлось въ дребезги. Непреодолимая апатія мѣшаетъ мнѣ дѣлать что бы то ни было. Ложась спать, я искренно желаю вовсе не просыпаться, мнѣ просто хочется умереть, Богъ знаетъ до чего хочется!

Серебристая ночь, свѣтлая, хрустальная ночь, стала вдругъ для двухъ друзей какой-то непроходимой тьмой, въ которой сама природа, казалось, рассказывала, что не знаетъ вовсе своихъ цѣлей, не понимаетъ своихъ законовъ. Тяжелая грусть охватывала ихъ обоихъ, великая грусть нашихъ дней, осложненная столькими раскрытыми тайнами, расширенная бездной, въ которой вращаются звѣзды, и безсчетнымъ множествомъ невидимыхъ организмовъ, и всей безконечной цѣпью явленій. А среди этого громаднаго міра, созданнаго человѣческой мыслью, самъ творецъ его все такъ же падаетъ подъ бременемъ разныхъ крестовъ, какъ падали подъ ними его первобытные предки.

Дюгамель старался добыть изъ своей головы утѣшительные аргументы, но онъ дѣлалъ это такъ машинально, какъ будто выкачивалъ воду изъ колодца,—глубокій смыслъ происходившей передъ нимъ драмы былъ для него слишкомъ очевиденъ. Онъ искалъ ощупью какого-нибудь исхода, но не могъ пока ни на чемъ оста-

новиться. Въ то же время онъ думалъ и о томъ, какъ противорѣчива сама природа и какъ рѣзки бываютъ диссонансы между ея творческими усиліями, ея изумительной жестокостью и ея красотой, приводящей въ трепетъ человѣческія сердца,—и какъ глубоко разладъ между нею и человѣческимъ духомъ. Неужели большее уваженіе къ ея собственнымъ созданіямъ, больше логики въ ихъ возвышеніи и упадкѣ, въ наградѣ и наказаніи, въ болѣзни и здоровьѣ—были бы въ самомъ дѣлѣ невозможны или вредны? И какой смыслъ имѣютъ наши протесты въ виду ея несправедливости, наша жалость—въ виду ея суровости, наше стремленіе къ законности и гармоніи—въ виду ея азарта и ошибокъ?

Нѣтъ, она—вовсе не безконечная мудрость, какъ предполагаетъ иногда человѣкъ...

Возвращаясь отъ этихъ далекихъ общихъ соображеній къ горю своего друга, Дюгамель искалъ такой формулы для своего сочувствія, которая дѣйствительно могла бы проникнуть въ его душу, и такого сильнаго внушенія, которое бы соотвѣтствовало его требованіямъ. Онъ зналъ, что ни отеліки прошлаго, ни требованія отживающей морали, ни ходячія понятія о правахъ и обязанностяхъ не побѣдили бы отчаянія вполне современнаго человѣка. Такую побѣду могла бы одержать одна лишь человѣческая душа, сродная съ его душой. Дюгамель осторожно и умѣло рассчитывалъ и взвѣшивалъ свое сочувствіе и любовь, соразмѣряя ихъ съ настроеніемъ друга, и долго, сидя подъ блѣдными вѣшанами, усиливался перелить въ него новые мотивы жизни и новыя силы. Прежде всего, конечно, онъ постарался умалить по возможности причину его огорченій, естественно имъ преувеличиваемую, а затѣмъ перевелъ разговоръ на другіе интересы жизни.

— Я не отрицаю значенія семьи, воспроизводящей и умножающей жизнь, но воспроизведеніе, какъ ты самъ знаешь, можетъ быть и не матеріальное. Дѣятельность рабочихъ муравьевъ въ высшей степени плодотворна для жизни всего муравейника, хотя они и не производятъ на свѣтъ себѣ подобныхъ существъ, а только руководятъ жизнью молодыхъ поколѣній, и орудуютъ всѣми работами вообще. Въ нашемъ нынѣшнемъ обществѣ постоянно увеличивается возможность творческой дѣятельности человѣка. Отъ тебя самого зависитъ создать себѣ такую жизнь, которая была бы важнѣе для этого общества, чѣмъ еслибы ты далъ ему двадцать человѣкъ дѣтей. Оглянись только, сколько дѣла кругомъ!

Делафонъ слушалъ, заинтересовываясь мало-по-малу и мед-

ленно приходи въ себя. Но его неотступно преслѣдовала одна мысль, отнимавшая всякую надежду. Жена?!—Онъ сказалъ объ этомъ Дюгамелю.

— Видишь ли, чтобы покончить съ нынѣшнимъ состояніемъ, тебѣ необходимо особенное нравственное усиліе; это одинаково важно для васъ обоихъ. Вотъ что я тебѣ предложу. Завтра, или всего позже послѣ-завтра, поѣзжай въ Донадіе, къ твоему арендатору, и пробудь тамъ по крайней мѣрѣ недѣль шесть. Мы съ Алисой будемъ пока ухаживать за твоей женой.

Делафонъ видимо колебался. Дюгамель продолжалъ настаивать.

— Вѣрь мнѣ, временныя разлуки, столь трудно дающіяся, бываютъ обыкновенно очень полезны. Я знаю это по опыту. Не хорошо коснѣть въ одной лишь формѣ жизни. Я тебѣ обещаю, что мы вдвоемъ съ Алисой съумѣемъ утѣшить и вылечить твою жену.

— Ты въ самомъ дѣлѣ въ этомъ увѣренъ?

— Положительно увѣренъ. Мы найдемъ къ ней дорогу, когда тебя не будетъ. Въ твоемъ присутствіи она ведетъ себя какъ балованный ребенокъ, плачущій при матери и успокоивающійся при чужихъ... Я, конечно, не ставлю ей этого въ упрекъ. Я только констатирую вашу болѣзненную впечатлительность и то, что вы слишкомъ хорошо научились понимать другъ друга. Всякое безпокойство, всякое опасеніе одного изъ васъ сейчасъ же передается другому.

— Ну, хорошо,—сказалъ Делафонъ,—я уѣду.

— Это рѣшено?

— Рѣшено!

— Хорошо. А только не забывай, что тебѣ нужно передѣлать въ деревнѣ и волю, и здоровье. Кури какъ можно меньше, купайся каждый день въ рѣкѣ, старайся вообще ни о чемъ не думать и странствуй постоянно по горамъ и долинамъ. Ты увидишь, какъ тебѣ будетъ пріятно отдѣлаться отъ лихорадочныхъ приступовъ тоски и войти въ колею медленной и спокойной духовной жизни.

— Спасибо, Дюгамель!—отвѣчалъ Делафонъ, и они направились къ дому.

Въ душѣ Дюгамеля теплилась надежда на желанный исходъ тяжелаго кризиса въ семьѣ его друга. Впечатлѣнія Делафона были не менѣе отрадны. Онъ начиналъ уже чувствовать себя внѣ Парижа и своей печали.

Промежъ вѣтвей деревьевъ шель тихій говоръ, будто кроткій шопотъ преданныхъ сердецъ. Божественный свѣтъ въ вышинѣ

блисталъ во всей своей красѣ. Частица безконечности возвеличила духъ обоихъ друзей, дѣлившихся подъ покровомъ звѣздъ своими чувствами и старавшихся приблизиться къ законамъ верховной гармоніи, тождественной съ мудростью, которая не нуждается ни въ нашихъ мученіяхъ, ни въ нашей слабости.

VIII.

Дюгамель нѣсколько дней еще помогалъ Делафону въ его сборахъ, затѣмъ, проводивъ его на Орлеанскій вокзалъ, присутствовалъ при отъѣздѣ его въ Донадіе, одну изъ деревенскихъ общинъ въ Орлеанѣ. Теперь ему оставалось приступить къ своей задачѣ. Прежде всего онъ считалъ необходимымъ создать для м-мъ Делафонъ новыя условія жизни, отвлекающія ее своими постоянными требованіями отъ ея *idée fixe*. Самой подходящей для этой цѣли казалась ему подвижная, свѣтская среда, требующая извѣстнаго вниманія и усилій со стороны молодой и изящной женщины. Нельзя было, однакоже, ожидать отъ м-мъ Делафонъ, чтобы она теперь именно, въ отсутствіе мужа, открыла широко двери своего салона. Приходилось неожиданно и непримѣтно для нея самой дать новыя рамки ея существованію.

У Дюгамеля въ департаментѣ Сены и Уазы была скромная вилла, въ которой онъ обыкновенно жила въ лѣтомъ съ женой и ея матерью—м-мъ Гюдъ.

Съ помощью сосѣдей, монаховъ-доминиканцевъ, обѣ дамы познакомились сначала съ богатой семьей фабрикантовъ и землевладѣльцевъ Библѣ, а затѣмъ еще съ двумя или тремя семействами, жившими въ сосѣднихъ замкахъ. Дюгамель не разъ проклиналъ эти непріятныя знакомства, раздувавшія свѣтскія стремленія его жены и ея пустѣйшее самолюбіе, но теперь ему казалось, что онѣ какъ разъ могли бы пригодиться для его цѣлей, и онъ рѣшилъ сейчасъ же переселиться въ деревню, пригласивъ, конечно, и м-мъ Делафонъ. Алиса, само собою, должна была бы сопровождать сестру, и Дюгамель не могъ не задуматься надъ опасностью такой совмѣстной жизни.

Онъ хотѣлъ-было даже вовсе не ѣхать въ деревню, представивъ обѣихъ близкихъ ему дамъ обществу жены и тещи, но убѣдился въ бессмыслии подобнаго рѣшенія, хорошо зная, что только его присутствіе сдѣлаетъ сноснымъ ихъ общеніе, да и то еще при постоянномъ вниманіи съ его стороны.

Два дня его мысль усиленно работала надъ рѣшеніемъ этого вопроса. Два дня онъ зондировалъ свое сердце, и не могъ не замѣтить разныхъ тревожныхъ признаковъ. Образъ Алисы вызывалъ въ немъ беспокойныя желанія, и онъ съ удивленіемъ открывалъ въ себѣ странное лицемѣріе, ожидавшее, казалось, подходящаго случая, чтобы сбросить личину. Но, съ другой стороны, онъ привыкъ довѣрять своей испытанной волѣ и бодрствующей совѣсти и рѣшилъ, что стѣсняется справиться съ собою и похоронить свою драму въ душѣ. Что касается Алисы, то ея помолвка съ Бизо доказывала всего лучше ея спокойную безнадежность. Послѣ всѣхъ этихъ соображеній, Дюгамель пересталъ волноваться и думать, что совершаетъ безразсудство.

Съ начала іюня онъ устроился съ женой и ея матерью въ своемъ деревенскомъ домѣ въ Марини. Недѣлю спустя, м-мъ Делафонъ и Алиса извѣстили ихъ о своемъ прїѣздѣ, и Дюгамель, взявъ ландо, отправился встрѣтить ихъ на станцію.

День былъ прекрасный. Какая-то трепетная надежда спускалась въ солнечныхъ лучахъ на молодую зелень шпеницы и овса. Алиса, сознавая опасность нахлынувшей на нее радости, предавалась ей, однакоже, всѣмъ своимъ существомъ. Она была въ эту минуту жертвой великой предательницы—жизни, распоряжающейся по-своему нашими чувствами и захватывающей врасплохъ нашу волю, какъ сонный и усталый гарнизонъ. Всего труднѣе противиться ей въ годы Алисы. Въ двадцать лѣтъ нельзя помѣшать сердцу биться радостью и надеждой. А какая же женщина не сочтетъ своего рода надеждой—жить подлѣ любимаго человека, хотя бы она даже и рѣшилась на полную сдержанность и абсолютное отреченіе отъ всѣхъ проявленій любви. Алиса охотно бы согласилась провести такимъ образомъ всю жизнь подъ защитою Дюгамеля, слушая его и восторженно обожая. Страсть дѣлается болѣе требовательной только перешагнувъ черезъ первыя преграды; Алиса же очень мало еще имѣла понятія о ея требованіяхъ. Дюгамель зналъ ихъ, конечно, очень хорошо, но мы уже видѣли, что онъ основательно обдумалъ свой шагъ, и что былъ увѣренъ въ побѣдѣ. Тѣмъ не менѣе, и онъ не могъ отрѣшиться отъ мечты о блаженныхъ минутахъ, минутахъ братскаго довѣрія, не лишенныхъ, правда, опасности, но все-же обаятельныхъ, благодаря дружеской короткости и интимности, издавна установившихся между ними.

Домъ былъ построенъ между Віоной и Уазой, на довольно возвышенномъ плоскогорьѣ, въ странѣ высокой земледѣльческой культуры, изобилующей лѣсами, покрывавшими всѣ отлогости,

котловины и овраги, въ странѣ плодородной, но напоминавшей уже своими острыми, извилистыми линіями сосѣднюю Нормандію. Кругомъ виднѣлись столѣтніе сады, съ древними, развѣсистыми яблонями, обросшими мохомъ, какъ утесы, а подъ ихъ сѣнью—свѣтловолосыя дѣти и женщины съ голубыми, холодными глазами, недовѣрчиво глядѣвшими на „чужихъ“.

Дюгамель любилъ волнистую ширь этой равнины съ ея стройными зелеными грядами, уходящими куда-то въ дальніе горизонты. Сумерки подолгу гнѣздились между ними, а въ просторныхъ долинахъ стоялъ лѣсъ и рощи и людскія жилища, то подъ бѣлымъ сіяніемъ неба, то подъ золотымъ солнечнымъ жаромъ, то вдругъ темнѣютъ подъ угрюмымъ дождемъ, мелькая лишь иногда черными, изрѣзанными силуэтами на ослѣпительномъ фонѣ молніи.

Въ неисчерпаемомъ разнообразіи этого пейзажа, съ его широкими, утѣшительными красотою и нервною подвижностью сѣвернаго освѣщенія, было много общаго съ душою Дюгамеля.

Его колыска, запряженная парю бретонскихъ лошадей, привикшихъ больше тащить возы, чѣмъ рессорные экипажи, не скоро подвигалась по сѣрой дорогѣ.

М-мъ Делатонъ и Алиса, неопредѣленно улыбаясь, смотрѣли на своего друга. Что-то безконечно сладкое и въ то же время меланхолическое связывало ихъ между собою. Отсутствие Делатона набрасывало легкую тѣнь въ эти минуты, но выше всего поднималось въ нихъ сознаніе благороднаго духовнаго общенія, дѣлавшаго ихъ до того понятными и близкими другъ другу, что даже въ выраженіи ихъ лицъ было много сроднаго.

О. М.



СТОЛѢТНЯЯ ГОДОВЩИНА ПРИСОЕДИНЕНІЯ ГРУЗИИ КЪ РОССІИ

1801 — 1901 гг.

I.

„Грузія—лучшій перлъ въ коронѣ русскаго цара“,—сказалъ одинъ изъ русскихъ архипастырей въ привѣтственномъ словѣ императору Александру III-му въ Тифлисѣ. И вотъ, съ исходомъ XIX-го вѣка исполняется столѣтіе со дня ея присоединенія къ Россіи.

Грузія, извѣстная у классическихъ писателей подъ именемъ Иверіи, а въ западной Европѣ, у французовъ, называемая *Géorgie*, принадлежитъ къ числу весьма древнихъ культурныхъ странъ. Народы грузинскаго или картвельскаго племени¹⁾ въ занимаемой ими теперь территоріи,—въ Закавказьѣ, въ бассейнѣ рр. Куры, Ріона и Чороха,—водворились за семь вѣковъ до Р. Хр. Разселившись по рѣчной системѣ отдѣльными родовыми группами, во главѣ которыхъ стояли *масахмиси* (*paterfamilias*), они вовлечены были въ торговое движеніе, шедшее черезъ ихъ страну къ греческимъ колоніямъ на берегу Чернаго моря. На югѣ же они завязали сношенія съ Ассиріей и Финикіей, отправляя имъ рабовъ и мѣдную посуду собственного издѣлія. Въ эпоху оживленнаго торговаго сношенія Грузія съ Европой и

¹⁾ Къ картвельской семьѣ относятся народности: грузины собственные (карталинцы, кахетинцы, месхи и ингилойцы), имеретинцы, аджарцы, гурийцы, мингрелы, лазы, сванеты; всѣ они говорятъ языкомъ, не имѣющимъ родства ни съ одной изъ существующихъ группъ языковъ, исповѣдуютъ православную вѣру, лишь немногіе перешли въ католицизмъ и исламъ. Грузины нынѣ насчитываютъ до 2¹/₂ милліоновъ душъ.

Азіей на нее обратились различныя враждебныя племена. Большіе торговые города—Михетъ, Сурамъ, Шарапанъ—должны были сами взять на себя защиту торговли и безопасности страны. Съ этой минуты они стали вооружаться, окапываться стѣнами, вводить у себя военное устройство.

Вторженіе Александра Македонскаго въ предѣлы Грузіи послужило, по словамъ лѣтописи, поводомъ къ объединенію народовъ грузинскаго племени подъ властью перваго царя Фарнаваза, освободившаго страну отъ иноземцевъ и положившаго прочныя начала гражданственности. Ему, жившему въ III вѣкѣ до Р. Хр., приписывается изобрѣтеніе грузинскаго алфавита „мхедули“ (т.-е. гражданскій),—въ отличіе отъ другой грузинской азбуки „хуцури“ (или церковной), введеніе которой относится къ V в. по Р. Хр.; при немъ водворяется въ Грузіи культъ огня, насаждается ученіе Зороастра, воздвигается идолъ богу Армази, въ которомъ не трудно узнать персидскаго Ормузда. Вѣра современныхъ грузинъ въ дэвовъ и эшма, другими словами—въ геніевъ Аримана, представленіе ихъ о загробной жизни, о царствѣ грѣшниковъ—„шавети“, отдѣленномъ отъ жилища блаженныхъ волосатымъ мостомъ, трепетное почитаніе священнаго огня,—все это носить несомнѣнные слѣды воздѣйствія Зендъ-Авесты. Персидское вліяніе, отразившееся, помимо религіозныхъ вѣрованій, въ народныхъ богатырскихъ сказаніяхъ, въ родѣ Рустема и Зораба, является господствующимъ въ Грузіи до введенія въ ней христіанства.

Проповѣдь и воспринятіе ученія Евангелія въ IV в., изъ византійскаго источника, со времени св. равноапостольной Нины, послужили новымъ и мощнымъ культурнымъ рычагомъ въ развитіи грузинскаго народа. Для вновь обращенныхъ прозелитовъ нуженъ былъ переводъ на родной языкъ церковно-богослужебныхъ книгъ, и переложеніе ихъ съ греческаго языка кладетъ начало грузинской христіанской культурѣ, передъ тѣмъ носившей исключительно признаки восточной цивилизаціи. Скрещеніе этихъ двухъ противоположныхъ теченій—восточнаго и западнаго—сообщило грузинской литературѣ и искусству оригинальную своеобразность: съ одной стороны, въ ней сказывается вліяніе христіанско-византійское, отразившееся на религіозномъ характерѣ лѣтописныхъ сказаній „Картлисъ-Цховреба“, складѣ житій святыхъ, восходящемъ еще къ VI в., законодательномъ уложеніи, философскихъ, богословскихъ и апокрифическихъ сочиненіяхъ, равно въ архитектурномъ стилѣ и музыкальныхъ мелодіяхъ; съ другой стороны, на нее оказывали воздѣйствіе образцы арабско-персидской поэзіи, привившей грузинскимъ произведеніямъ свѣтскаго содержанія пышность формы, цвѣтистость техники и плѣнительную фантастичность сюжета. Эти два теченія, гармонически переработанныя

народной психологіей, слились, и въ концѣ VI-го и въ началѣ XII-го в. грузинская образованность достигаетъ блестящаго періода, такъ называемой золотой эпохи своего расцвѣта, при династіи Багратидовъ.

Начало политическаго могущества Грузіи восходитъ къ царствованію Баграта III-го, объединившаго Грузію и Абхазію, въ 985 г., въ одно государственное цѣлое. Вторженіе турокъ-сельджуковъ въ XI в. на время остановило развитіе страны и подвергло ее всѣмъ бѣдствіямъ вражескаго нашествія. Воспользовавшись событіями, происходившими въ М. Азіи и Палестинѣ, гдѣ крестоносцы бились съ сельджуками, Давидъ III, прозванный Возобновителемъ (1089 — 1125), свергнулъ магометанское иго и основалъ могущественное царство, предѣлы котораго составляли на востокъ Каспійское море, на западъ—Черное море, съ сѣвера—Кавказскій хребетъ и съ юга—нынѣшняя Карсская область. Обезопасивъ свое царство отъ враговъ внѣшнихъ и установивъ прочное единодержавіе въ Грузіи, Давидъ III обратилъ вниманіе на водвореніе порядка и развитіе образованія. Онъ раздѣлилъ царство на нѣсколько административныхъ провинцій, поручивъ ихъ управленіе отдѣльнымъ „эриставамъ“, т. е. главарямъ. Распространеніе еретическихъ ученій, низкій уровень образованности духовенства, поколебленная подъ вліяніемъ владычества иноземцевъ нравственность побудили царя Давида созвать соборъ въ 1103 г., на которомъ былъ выработанъ сводъ церковныхъ постановленій—первый законодательный памятникъ грузинскаго права. Давидъ Возобновитель, самъ любитель священнаго писанія, отъ чтенія котораго не отрывался даже на войнѣ,—открылъ, по образцу византійскихъ школъ, правильно организованныя училища, откуда по 40 молодыхъ грузинъ посылались на Аѳонъ для довершенія образованія. Аѳонскія обители, основанныя въ X в. грузинскими иноками, на ряду съ таковыми же монастырями въ Палестинѣ и Сиріи, стали центрами грузинскаго просвѣщенія: древнѣйшіе памятники грузинской письменности хранятся на Синаѣ и въ іерусалимскомъ Крестномъ монастырѣ; полный списокъ грузинской бібліи 978 года переписанъ на Аѳонѣ ¹⁾).

Отъ Давида Возобновителя до правнука его, царицы Тамары, періодъ въ 120 лѣтъ—лучшая эпоха въ жизни Грузіи. Грузинскіе лѣтописцы, пораженные величавыми дѣяніями царицы Тамары (1184—1212), называютъ ее *царемъ*, а географъ XVIII-го в., Вахштъ,—„царицей богоравной“. Народъ въ теченіе семи вѣковъ съ гордостью хранитъ память великой жены и окружаетъ ее ореоломъ поэтическихъ

¹⁾ О памятникахъ грузинской письменности см. у меня: „Очерки по исторіи грузинской словесности“, 3 выпуска. М. 1895, 1897, 1901.

сказаній, приписывая ей всё славные и грандіозные памятники искусства—храмы и замки—Грузіи. Съ ея именемъ связана масса легендъ, превратившихъ ее изъ строго-засвидѣтельствованной исторической личности въ полумифическую, съ свойствами христіанской дѣвы и языческаго божества. Достоверная исторія временъ Тамары передаетъ, что юная, одаренная всѣми чарами волшебной красоты, царица сумѣла удержать не только унаслѣдованныя отъ предковъ земли, населенныя грузинскимъ племенемъ, горскими народами, и значительную часть Арменіи, но и персидскія провинціи Иракъ, Хорасанъ, Казвинъ покорились ея оружію. Водворившійся за побѣдоносными ея шествіями миръ въ Грузіи благотворно отразился на развитіи грузинской культуры. Въ ея ознаменованъ литературною дѣятельностью романистовъ Тmogveli и Хонели, поэтовъ-одописцевъ—Шавтели и Чахруха, а надъ ними возвышается памятное имя Шоти Руставели, гениальнаго пѣвца Тамары, автора романтической поэмы „Человѣкъ въ барсовой кожѣ“¹⁾, съ правомъ, по своимъ художественнымъ достоинствамъ, занимающей видное мѣсто на ряду съ крупными произведеніями всѣхъ временъ и народовъ.

Въ эпоху царицы Тамары сношенія Грузіи съ Русью, завязавшіяся еще въ X в.²⁾, закрѣпляются прочными узами: бракомъ „немилосердной какъ дивъ“ красавицы-царицы съ русскимъ княземъ Георгіемъ, сыномъ Андрея Боголюбскаго. Бракъ оказался впрочемъ, несчастнымъ, и онъ вскорѣ былъ расторгнутъ. Дальнѣйшему же сближенію между Грузіей и Россіей воспрепятствовало татарское нашествіе на Русь, приостановившее ея движеніе къ Сѣверному Кавказу. Въ Грузіи также счастливы ея дни временъ Давида и Тамары смѣнились рядомъ обрушившихся внѣшнихъ и внутреннихъ бѣдствій. Въ XIII в., при царицѣ Русудани, Грузія испытываетъ страшное нашествіе монголовъ; въ XV в. она подвергается варварскому опустошенію Тамерлана; начало XVII в. ознаменовано неистовствами Аббаса I, шаха персидскаго. Внутреннія потрясенія, явившіяся результатомъ иноземныхъ вторженій, довершили несчастіе Грузіи: въ XVI в. она разбилась на нѣсколько самостоятельныхъ политическихъ единицъ, вступившихъ въ междоусобныя братоубійственныя распри. Небольшое по

¹⁾ Эта поэма въ отрывкахъ извѣстна на русскомъ, польскомъ, французскомъ, англійскомъ и армянскомъ языкахъ; почти полный переводъ на нѣмецкій языкъ принадлежитъ Артуру Лейсту.

²⁾ О сношеніяхъ Грузіи съ Россіей см. Броссе, „Переписка грузинскихъ царей съ русскими государями“; Блюкнуровъ, „Сношенія Россіи съ Кавказомъ“, М. 1889; Цагарели, „Грамоты и др. истор. документы, относящіеся до Грузіи“, т. I и II, Спб. 1891 и 1898; Бутковъ, „Матеріалы для новой исторіи Кавказа“, Спб. 1869, и „Акты Кавказской Археогр. Комиссіи“, т. I, Тифлисъ.

пространству и населенности грузинское государство распалось на три царства (Карталинія, Кахетія и Имеретія) и пять княжествъ (Гурія, Мингрелія, Абхазія, Сванетія и Самухе).

Внутреннія неурядицы, воцарившіяся въ Грузіи со времени ослабления единодержавной власти и расчлененія ея между крупными феодалами, обратили на эту роскошную и богатую страну жадные взоры Персіи, Турціи и дикихъ кавказскихъ горцевъ, поочередно, а нерѣдко и совмѣстно ее расхищавшихъ. Со дня взятія Константинополя турками въ 1453 г., Грузія становится въ Азіи единственнымъ христіанскимъ государствомъ среди мусульманскаго океана. Лишенный опоры и помощи противъ недруговъ Креста, грузинскій народъ ищетъ союза и поддержки у Москвы, „третьяго Рима“, возвысившагося на развалинахъ астраханскаго и казанскаго царствъ. Правда, помощи матеріальной противъ враждебныхъ мусульманъ Грузія изъ Россіи не получила, но нравственныя узы, ихъ связавшія, поддѣрпывали народъ въ неравной борьбѣ съ исламомъ. Простой обмѣнъ посольствами и щедрыми подарками между русскими государями и грузинскими царями подготавливаетъ постепенно политическія послѣдствія. Въ 1564 г., кахетинскій царь Леонъ, первый изъ грузинскихъ владѣтелей, былъ принятъ царемъ Іоанномъ IV „подъ царскую руку“. При ихъ преемникахъ,—въ Россіи при царѣ Ѳеодорѣ, а въ Кахетіи при Александрѣ II, въ 1586 г.—словесные переговоры закрѣпляются письменнымъ актомъ, устанавливающимъ взаимныя отношенія между Москвой и Грузіей. Царь Ѳеодоръ поспѣшилъ присоединить къ своему титулу слова: „государь Иверскія земли и грузинскихъ царей“, хотя все покровительство Россіи ограничивалось одной номинальной протекціей. Московскіе цари не могли исполнить своихъ обѣщаній относительно помощи противъ непріятелей Грузіи, на что очень часто жалуются послы царя Александра, архимандритъ Кириллъ и дьякъ Савва, царю Борису. Это было то тяжелое время въ жизни Грузіи, когда ее съ двухъ сторонъ терзали двѣ мусульманскія державы—Персія и Турція. Графъ А. К. Толстой, въ драмѣ „Царь Борисъ“, съ полной исторической достовѣрностью влагаетъ въ уста грузинскому послу Кириллу скорбныя слова о печальномъ положеніи Грузіи предъ московскимъ владыкой:

„Царь Александръ, твой ревностный слуга,
Тебѣ на царство кланяется въ землю.
Непусти, о царь, всея Руси,
Ему въ конецъ погибнуть! Шахъ-Аббасъ
Безжалостно, безбожно разорлетъ
Иверію. Султанъ Махмедъ Турецкій
Обрекъ ее пожарамъ и мечамъ“...

Царь Борисъ далъ клятвенный обѣтъ очистить Иверію отъ враговъ. А между тѣмъ, шахъ Аббасъ безнаказанно вторгся вторично въ Грузію, перебилъ ея населеніе, разорилъ жилища, предалъ поруганію чтимыя народомъ святыни. Помощь войсками была замѣнена предложеніемъ заключить брачные союзы между царскими семействами грузинскимъ и русскимъ. Царь Карталинскій Георгій, признавшій себя въ 1605 г. подъ державной рукой царя Бориса, согласился отдать свою дочь, Елену, за русскаго царевича. Вскорѣ, однако, послѣдовала смерть Бориса, наступили смутныя времена въ московскомъ государствѣ и прервались завязавшіяся узы дружбы и союза, которыя возобновляются только со вступленіемъ на престолъ царя Михаила Ѳеодоровича. При сынѣ его, Алексѣѣ, въ 1652 г., царь имеретинскій, Александръ, по примѣру царей кахетинскаго и карталинскаго, присягалъ московскому государю на вѣрность.

Такимъ образомъ, за два съ половиною вѣка сношеній Грузіи съ Россіей, дипломатическая ихъ переписка привела къ номинальному признанію верховной власти русскихъ государей надъ грузинскими владѣтелями, причемъ Россія ни разу не попыталась ни осуществить свои сюзеренныя права, ни оказать фактическую помощь Грузіи противъ ея внѣшнихъ враговъ. Только въ XVIII в., при карталино-кахетинскомъ царѣ Иракліѣ II, былъ сдѣланъ серьезный и обильный послѣдствіями шагъ для утвержденія русскаго владычества на Кавказѣ.

II.

Восемнадцатый вѣкъ въ исторіи грузинскаго народа является эпохою его возрожденія. Подъемомъ своихъ силъ въ политическомъ отношеніи она обязана царю Ираклію II-му (1744—1798), а въ культурномъ—царю Вахтангу VI (1675—1737), обреченному значительную часть жизни скитаться безъ скипетра внѣ предѣловъ своей страны. Въ началѣ XVIII столѣтія, Вахтангъ временно управлялъ Грузіей 8 лѣтъ (1703—1711), за вызовомъ въ Персію царя Георгія XI къ шаху, къ своему сюзерену. Въ теченіе этого небольшого періода Вахтангъ энергично занялся восстановленіемъ порядка внутри страны и огражденіемъ ея отъ внѣшнихъ вторженій лезгинъ и осетинъ. Вахтангу обязана Грузія еще тѣмъ, что онъ первый открылъ въ Тифлисѣ типографію для печатанія грузинскихъ церковно-бogosлужебныхъ и свѣтскихъ книгъ, изданію которыхъ начало положили католическіе миссіонеры, еще въ XVII в., въ Римѣ. Самъ царь, прекрасный знатокъ восточныхъ языковъ, перевелъ съ персидскаго, и сотрудничествъ грузинскаго лексикографа и баснописца С. С.

Орбеліани, „Калилу и Димну“, первообразомъ которой является индійская Панчатантра; подъ его руководствомъ собраны въ одинъ сводъ грузинскія лѣтописныя свѣдѣнія и въ одинъ кодексъ—дѣйствовавшіе издревле законы и обычаи, извѣстные нынѣ въ русскомъ переводѣ подъ именемъ „Уложенія царя Вахтанга VI“; ему же принадлежитъ весьма важный трактатъ „Дастулама“, опредѣляющій размѣры государственныхъ повинностей податного сословія и порядокъ административнаго управленія въ Грузіи.

Дѣло Вахтанга VI ¹⁾, потерявшаго престолъ изъ-за союза съ Петромъ Великимъ въ персидскомъ походѣ противъ своего сюзерена и уклоненія вступить въ дружбу съ Турціей, продолжалъ побочный его сынъ Вахушти, переселившійся, въ 1724 г., въ Москву, вмѣстѣ съ своимъ злополучнымъ отцомъ. Царевичъ Вахушти извѣстенъ какъ авторъ историческаго труда и географіи Грузіи, составитель грузино-русскаго словаря, издатель библіи въ с. Всесвятскомъ, близъ Москвы въ 1743 г., вмѣстѣ съ царемъ Бакаромъ. Умственное движеніе, начавшееся еще при царяхъ Арчилѣ († 1712 г.) и Теймуразѣ I (1663 г.), поэтовъ и риторовъ, использовавшихъ въ своихъ произведеніяхъ національные сюжеты, возрастаетъ вширь и вглубь, захватывая всѣ слои грузинскаго общества. Съ переселеніемъ царя Вахтанга VI съ огромною свитою въ Россію, центръ образованности временно перемѣщается въ Москву, гдѣ подвизается самый выдающійся поэтъ XVIII в., кн. Давидъ Гурамашвили, авторъ лирико-эпической поэмы „Давитіани“. Первая часть его произведенія посвящена политическому изображенію состоянія Грузіи въ XVIII столѣтіи, междоусобной борьбы царей—кахетинскаго Константина и картлинскаго Вахтанга. Поэтъ исполняется скорбныхъ чувствъ, льетъ горячія слезы при видѣ опустошенной родины, сдѣлавшейся добычей турокъ, персовъ и лезгинъ.

Воззваніе Гурамашвили къ національному объединенію не осталось гласомъ вопіющаго въ пустынь. Въ Грузіи начинается новое политическое теченіе, стянувшее раздробленныя народныя силы въ рукахъ достойнѣйшаго вождя страны. Этимъ незабвеннымъ понятиемъ въ благодарной памяти народа царемъ и былъ Ираклій II Теймуразовичъ.

Царствованіе Ираклія II принадлежитъ къ числу самыхъ блестящихъ періодовъ грузинской исторіи. Обладая рѣшительнымъ, твердымъ характеромъ и военнымъ гениемъ, призваннымъ Фридрихомъ Великимъ и Екатериной, царь Ираклій, этотъ „герой героев“ въ глазахъ народа, воскресилъ славу и могущество Грузіи временъ Да-

¹⁾ См. объ немъ *Соловьева*, „Исторія Россіи“, т. XVIII (М. 1868).

вида и Тамары. Онъ еще молодымъ человѣкомъ сопровождалъ Надира, шаха персидскаго, въ его походѣ въ Индію, затѣмъ воцарился въ Кахетіи (1744 г.), а въ 1760 г., послѣ отбѣзда отца его, царя Теймураза II, въ Россію, Ираклій соединилъ подъ своимъ скипетромъ два престола — Карталиніи и Кахетіи. Пользуясь слабостью Персіи, онъ сдѣлалъ своими данниками ганджинскаго и эриванскаго хановъ, смирилъ кавказскихъ горцевъ, установилъ внутренній порядокъ. Въ видахъ огражденія страны отъ смутъ и неожиданныхъ вторженій, онъ организовалъ регулярное войско, руководствуясь европейскими инструкціями; перевелъ нѣмецкое полицейское право съ персидскаго языка и сдѣлалъ его обязательнымъ для полицейскихъ распоряженій.

Водвореніе мира и усиленіе мощи объединеннаго карталино-кахетинскаго царства способствуетъ пробужденію сознанія необходимости, на мѣстѣ небольшихъ политическихъ единицъ, создать одно національное государство, въ составъ котораго могли бы войти всѣ прежнія части грузино-абхазской территоріи. Въ 1773 г. дѣлается шагъ въ этомъ направленіи и заключается союзный договоръ между Ираклѣмъ II и Соломономъ, царемъ имеретинскимъ. Къ этому договору въ 1790 г. присоединяются владѣтели Гури и Одиши, т.-е. мингрельскіе Дадіани и кн. Гуріели. „Коварная судьба“, которую предаетъ проклятію поэтъ Гурамашвили, начинала уже улыбаться Грузіи: надъ ея горизонтомъ всходила новая жизнерадостная звѣзда. Народъ, такъ долго и тѣтено жаждавшій мира, его обрѣлъ. Экономическая жизнь входитъ въ новую колею: усиленно разрабатываются руды, вызываются мастера и руководители для заводско-фабричной дѣятельности; торговля поднимается, населеніе растетъ въ численности, города разукрашиваются.

Параллельно съ матеріальнымъ подъемомъ Грузіи, открывается значительное усвоеніе европейской образованности. Воздѣйствіе Запада на грузинскую культуру, сложившуюся подъ вліяніемъ Персіи и Византіи, проникаетъ еще въ XVII в., подъ флагомъ итальянскихъ коммерсантовъ, путешественниковъ по Востоку и папскихъ миссіонеровъ, успѣвшихъ перевести не мало изъ православныхъ грузинъ въ лоно католической церкви ¹⁾. Этотъ факторъ съ XVIII в. осложнился вліяніемъ русской цивилизаціи, сказавшейся сначала въ церковной живописи, а затѣмъ и въ сферѣ школьнаго воспитанія. Въ Тифлисъ и Телавъ организуются училища по образцу славяно-греко-латинской академіи; во главѣ телавской семинаріи становится ректоромъ лицо, получившее образованіе въ Россіи, Гаіозъ, архимандритъ и политическій

¹⁾ О значеніи католической пропаганды въ Грузіи см. мою статью: „Есть ли въ нин-католики“. Кутаисъ, 1901.

дѣлецъ; поспѣшно переводятся патріархомъ Антоніемъ I и его учениками учебники по богословію, философіи, логикѣ, метафизикѣ, этикѣ, физикѣ; сочиняются руководства по исторіи географіи, грамматикѣ, катехизису; возбуждаются научные интересы и знакомятся съ выдающимися произведеніями русской литературы XVIII в.; переводятся: „Камень вѣры“ Стефана Яворскаго, „Духовный регламентъ“ Феофана Прокоповича, драмы Сумарокова, оды Державина и пр.

Ректоръ телавской семинаріи, Гаіозъ, въ актовѣ рѣчи 28-го мая 1783 г., торжественнымъ и сильнымъ языкомъ охарактеризовалъ плодотворную дѣятельность Ираклія II, и свой патріотическій восторгъ излилъ предъ обаятельною личностію царя. Указавъ въ началѣ своего слова на важность просвѣщенія въ государственной жизни, онъ обращаетъ свою благоговѣйную рѣчь къ царю Ираклію, „милостивому попеченію“ котораго обязана Грузія заведеніемъ школъ, затѣмъ онъ продолжаетъ въ нѣсколько гиперболическихъ краскахъ рисовать благосостояніе Грузіи, расцвѣтшей трудами *ревностнаго ея вожда*. „Гордится Римъ Кесаремъ Августомъ,—говоритъ онъ,—Галлія Людовикомъ XIV, Россія Петромъ Великимъ, утвердившимъ основы мудрости; гордится Македонія и вся Эллада Александромъ Великимъ, побѣдоносно обошедшимъ все лицо земли и, какъ орелъ, покорившимъ своему скипетру различныя народности, а еще болѣе гордится всякій христіанинъ Константиномъ Великимъ, равноапостольнымъ царемъ, дѣятельностію котораго цвѣтутъ всѣ христіанскіе народы. Подобно имъ, и мы должны гордиться нашимъ царемъ Иракліемъ, соединившимъ въ себѣ всѣ лучшія и добрыя качества вышепомянутыхъ царей. Посмотрите на православную нашу церковь, какъ гремитъ надъ всею вселенною проповѣдь о непоколебимой православной вѣрѣ! Но это плоды чьихъ трудовъ? Не благовѣрнаго ли царя нашего, благая дѣятельность котораго равна дѣяніямъ святѣйшаго Константина? Посмотрите на состояніе нашего государства, прежнее положеніе котораго мы сами порицаемъ! Жилища, села, мѣстечки и города теперь возобновлены. А это чье дѣло? Не побѣдоноснаго ли нашего царя, непреодолимая сила и непреклонное геройство котораго наводятъ страхъ и трепетъ на звѣроподобныхъ нашихъ враговъ“!..

Этотъ царь Ираклій II, вызывавшій въ современникахъ благодарность за умиротвореніе Грузіи и покрывшій себя громкой славой храбраго полководца и неизмѣннаго радѣтеля народныхъ интересовъ, въ цѣляхъ болѣе прочнаго установленія внутреннего мира и внѣшняго огражденія отъ сосѣдей, рѣшилъ порвать связи съ Востокомъ и вступить въ союзъ съ російскою державой. Но этотъ царь, проникнутый искреннимъ желаніемъ облагодѣтельствовать всю страну, не предвидѣлъ, что союзъ съ Россіей, вмѣсто ожидаемыхъ благъ, сдѣ-

дается сначала источникомъ многихъ бѣдствій, и Грузія, не исчерпавшая себя, накануне возрожденія европейскихъ національностей, завершить, чрезъ пять лѣтъ послѣ его смерти, кругъ самобытнаго политическаго существованія.

III.

Въ 1783 г., послѣ продолжительныхъ переговоровъ, былъ заключенъ въ гор. Георгіевскій договоръ, коимъ Грузія поставила себя въ нѣкоторыя уже вассальныя отношенія къ Россіи. Трактатъ этотъ отвѣчалъ не только интересамъ царя Ираклія II, но и видамъ императрицы Екатерины II. Онъ былъ подготовленъ предшествовавшими историческими событіями. Усвоивъ извѣстный планъ о возстановленіи византійской имперіи, двухъ братьевъ, графовъ Орловыхъ, близко стоявшихъ къ престолу, русская государыня, при началѣ турецкой войны, обратилась съ воззваніемъ противъ турокъ къ грекамъ, славянамъ и грузинамъ. Грузинскіе цари, Ираклій карталино-кахетинскій и Соломонъ имеретинскій, выразили готовность послѣдовать призыву „православной монархини“ противъ общаго врага христіанства. Екатерина II писала своему военному министру, что она подпаливаетъ Турцію съ четырехъ сторонъ, возбудивъ агитацію и на Дунай, и въ Морю, и въ Крыму, и даже за Кавказомъ—въ Грузіи. Русскому правительству удалось привлечь Ираклія къ союзу и тѣмъ „учинить со стороны Грузіи важную диверсію“ противъ Турціи. Служеніе „съ ревностью и вѣрностью“ императрицѣ обошлось Ираклію, однако, дорого, такъ какъ онъ былъ оставленъ гр. Тотлебенемъ, начальникомъ русскаго вспомогательнаго войска изъ 3.767 человекъ, въ самую критическую минуту предъ аспиндской битвой ¹⁾ (1770 г.). Ираклію удалось отрядомъ изъ 3.000 грузинъ одержать полную побѣду надъ 10-тысячнымъ турецкимъ корпусомъ, собственноручно убить лезгинскаго предводителя Малачилу. Трофеи побѣды были отправлены царемъ въ Петербургъ—25 знаменъ, 8 серебряныхъ булавъ—чрезъ особаго посла, кн. Заала Орбеліани.

Послѣ аспиндской битвы, между Иракліемъ и Тотлебенемъ начались враждебныя дѣйствія. Отъ 10 мая 1770 г., Тотлебенъ писалъ, что намеренъ взять Тифлисъ, подчинить всю Грузію русской власти, лишить Ираклія пожалованной Екатериною II андреевской ленты и отправить его въ Петербургъ или вогнать его въ Черное море. Ираклій,

¹⁾ Эта побѣда доставила Ираклію въ народныхъ пѣсняхъ славу аспиндскаго о. Грузинскіе поэты именуютъ его еще героемъ круанисскимъ за его мужественную и отважную битву на круанисскихъ поляхъ въ 1795 г. съ персидскимъ шахомъ.

съ своей стороны, жаловался, что въ его землѣ Тотлебенѣмъ заперты дороги, заняты крѣпости, разорены деревни, разграблены православная церковь и имущество арагвскаго губернатора, безъ вѣдома и согласія царя жители приводятся къ присягѣ въ подданство Россіи.

Для разслѣдованія дѣла и возстановленія порядка въ русско-грузинскихъ сношеніяхъ, былъ посланъ въ Грузію гвардіи полковникъ Языковъ, съ двумя грамотами императрицы. Одна грамота предназначалась для случая, если Тотлебенъ въ самомъ дѣлѣ успѣлъ привести въ исполненіе свою угрозу и, лишивъ царя престола, удалить его изъ Грузіи; но если бы подданные, оставшіеся Ираклію вѣрными, не пожелали безъ него воевать съ турками, тогда необходимо было бы возстановить его въ званіи царя и возвратить ему орденъ св. Андрея. Вторая же грамота предназначалась для случая, если Тотлебенъ не смогъ осуществить своего замысла, и Ираклій благополучно царствуетъ. Изъ донесеній Языкова императрица Екатерина убѣдилась въ необходимости смѣнить Тотлебена и на его мѣсто назначить генерала Сухотина съ одною миссіей: „употребить грузинцевъ противъ непріятеля“.

Грузія исполнила свое слово, оказала услуги Россіи въ турецкой кампаніи и по кучукъ-кайнарджійскому миру (1774 г.) добилась освобожденія отъ притязаній Порты. По этому же миру Имеретія и Мингрелія были признаны независимыми, подъ управленіемъ своихъ собственныхъ владѣтелей. Русскія войска, окончивъ военныя дѣйствія, удалились изъ Грузіи. Но Ираклій, ожидая все-таки много отъ покровительства Россіи, въ 1782 г. обращается на высочайшее имя съ письмомъ о принятіи Грузіи подъ верховную власть русской державы и заключеніи съ нимъ торжественнаго договора. Екатерина II, мечтая объ образованіи по ту сторону Кавказскаго хребта одного христіанскаго государства во главѣ Грузіи, зависящаго отъ Россіи, видѣла въ желаніи Ираклія первый шагъ къ упроченію русскаго вліянія за Кавказомъ и къ осуществленію своихъ предположеній. Ближайшій сподвижникъ императрицы, князь Гр. А. Потемкинъ, понявшій виды государыни, былъ избранъ исполнителемъ ея воли и предначертаній. Желая показать, что исканіе покровительства Россіи ведетъ къ многочисленнымъ выгодамъ, князь Гр. А. Потемкинъ увѣдомилъ Ираклія, что императрица разрѣшаетъ царю употреблять въ свою пользу обѣщанную имъ дань и до заключенія трактата одинъ изъ его сыновей (Юлонъ) награждается орденомъ св. Анны.

Въ началѣ 1783 г. князь Потемкинъ сообщилъ Ираклію, что для заключенія съ нимъ трактата онъ уполномочилъ своего двоюроднаго брата, генерала П. С. Потемкина, и подполковника Тамару. Ираклій, съ своей стороны, назначилъ князя И. К. Багратіона и князя Г. Р. Чавчавадзе, съ ассистентомъ архимандритомъ Гаіозомъ, знавшимъ рус-

скій языкъ. Наконецъ, 24-го іюля 1783 г., трактатъ между Карталиней-Кахетіей и Россіей былъ заключенъ въ г. Георгіевскѣ (на Сѣверномъ Кавказѣ), и послы обѣихъ сторонъ подписали артикулы этого трактата, послужившаго исходной точкой для дальнѣйшей судьбы всей Грузіи. Этотъ важный государственный актъ состоитъ изъ 13 артикуловъ и четырехъ сепаратныхъ секретныхъ статей. По трактату 1783 г. ¹⁾, царь карталинскій и кахетинскій признаетъ надъ собою верховное покровительство и верховную власть русскихъ императоровъ. Въ силу такого признанія, цари карталино-кахетинскіе, вступая на наслѣдственный престолъ, испрашиваютъ императорскаго подтвержденія съ инвеститурой и входятъ въ сношенія съ окрестными владѣльцами съ вѣдома русскаго министра при грузинскомъ дворѣ. Русскіе императоры, съ своей стороны, обѣщали признавать непріятелей Грузіи своими непріятелями, ручались за сохраненіе и цѣлость владѣній Ираклія и наслѣдственную преемственность престола въ его домѣ. Внутреннее управленіе, судъ, расправа и сборъ податей оставлены въ распоряженіи царя; грузинскій католикосъ былъ назначенъ членомъ святѣйшаго синода; грузинскому дворянству предоставлены права и преимущества русскаго дворянства; купечеству разрѣшено свободно торговать въ Россіи на правахъ природныхъ русскихъ подданныхъ, подъ условіемъ предоставленія такого же права русскимъ купцамъ въ предѣлахъ грузинскаго царства. Сепаратными секретными артикулами опредѣлялись размѣры и условія военной помощи, а также обязанность хранить добрыя отношенія Ираклія къ владѣтелю Имеретіи. Для охраненія царства отъ сосѣдей, русское правительство обѣщало содержать въ Грузіи два баталіона пѣхоты съ четырьмя пушками и давалось слово употребить стараніе о возвращеніи царю земель, издавна карталино-кахетинскому царству принадлежавшихъ. Въ случаѣ же войны, царь долженъ былъ дѣйствовать по соглашенію съ русскимъ пограничнымъ начальствомъ. Вмѣстѣ съ подписаннымъ трактатомъ, полковникъ Тамара представилъ и дополнительныя просьбы грузинскихъ уполномоченныхъ, которыя удостоились Высочайшаго утвержденія. Императрица оставила Ираклію II титулъ „умаглесоба“ (высочества), пожаловала ему корону и особымъ параграфомъ трактата предоставила право какъ Ираклію, такъ и его преемникамъ, совершать обрядъ коронованія и миропомазанія. Сверхъ того, царямъ Грузіи дозволено было бить собственную монету „съ ихъ изображеніемъ и на оборотѣ гербомъ царства карталинскаго и кахетинскаго, въ коннѣ только изображенъ будетъ орелъ двуглавый въ знакъ по-

¹⁾ П. С. З. Р. И., т. XXI; ср. Буткова, т. II, стр. 123—128.

кровительства и верховной власти Всероссийскихъ императоровъ надъ сими владѣтелями и ихъ подданными“.

Принимая извѣстіе о заключеніи трактата съ удовольствіемъ, равнымъ „славѣ изъ того приобрѣтенной и пользѣ несомнѣнно ожидаемой“, императрица пожаловала генералу П. С. Потемкину 6.000 р. и табакерку съ портретомъ, а трудившимся съ нимъ чиновникамъ—двѣ тысячи рублей. „За грузинское дѣло,—писала Екатерина II князю Потемкину отъ 18-го августа 1783 г.,—снова тебѣ спасибо. Прямо ты—другъ мой сердечный. *Voilà bien des choses défaites en peu de temps*“. 22-го января 1784 г. прибывшій изъ Петербурга въ Грузію полковникъ Тамара передалъ царю Ираклію пожалованные ему императрицей знаки инвеституры: знамя, саблю, царскую мантию, скипетръ, корону и грамоту. На другой день Ираклій II подписалъ ратификацію трактата и произнесъ присягу на вѣрность руссiйскому престолу. Русскимъ резидентомъ при грузинскомъ дворѣ былъ назначенъ полковникъ Бурнашевъ, командиръ прибывшихъ въ Тифлисъ двухъ егерскихъ баталіоновъ. Торжество по поводу ратификаціи трактата сопровождалось многими милостями императрицы членамъ Иракліевской семьи. Супругъ Ираклія, царѣвъ Даріи, былъ пожалованъ орденъ св. Екатерины со звѣздой; католикосъ Антоній получилъ брилліантовый крестъ на клобукъ; семнадцатилѣтній царевичъ Іоаннъ произведенъ въ полковники; князь Гарсеванъ Ревазовичъ Чавчавадзе, царскій генералъ-адъютантъ, принимавшій участіе въ заключеніи трактата, принять при петербургскомъ дворѣ въ качествѣ министра.

IV.

Трактатъ 1783 г. вызвалъ большія тревоги въ сосѣднихъ съ Грузіей магометанскихъ владѣтеляхъ (въ ахалцхскомъ пашѣ, азербейджанскомъ ханѣ и др.), и они, опасаясь завоевательныхъ видовъ Россіи, ополчились на Ираклія. Противъ грузинскаго царя собрался самъ персидскій шахъ, Ага-Магометъ-ханъ, бывший евнухъ Надира, въ отмщеніе за его союзъ съ Россіей и измѣну Персіи. Въ тотъ моментъ, когда Грузію терзали лезгины и турки изъ ахалцхскаго пашалыка, а надъ нею собиралась грозная персидская туча, Россіи вывела войска изъ предѣловъ покровительствуемой страны и, несмотря на воззванія о помощи, предоставила Ираклія собственной участи. Русское правительство, вопреки артикулу заключеннаго трактата защищать Грузію отъ непріятелей, отвѣчало на усердныя моленія царя коротко, а именно: „нынѣ отправлять въ Грузію войско за благо не пріемлется“. Разсвѣтѣвшій же персидскій шахъ, смиривъ по пути непокорныхъ хановъ,

вступилъ въ 1795 г. съ 70.000 арміей въ Грузію и подвергъ ее безпощадному опустошенію. Народъ бѣжалъ въ горы; частью же онъ былъ перебитъ или уведенъ въ плѣнъ; Тифлисъ превращенъ въ груды развалинъ, святыни осквернены, а митрополитъ Досіеѣй брошенъ съ Алабарскаго моста въ волны р. Куры. Старецъ Ираклій, въ теченіе болѣе сорока лѣтъ отстаивавшій честь и свободу Грузіи, не устоялъ противъ несмѣтнаго полчища враговъ и, покинутый всѣми, бѣжалъ, въ овчинномъ тулупѣ, въ Анануръ. Такова была печальная судьба Грузіи.

Варварское вторженіе Ага-Магометъ-хана произвело въ Петербургѣ крайне удручающее впечатлѣніе. Разореніе Грузіи, находившейся подъ покровительствомъ Россіи, было прямымъ оскорбленіемъ достоинства великой державы. Въ виду новыхъ угрозъ со стороны Персіи, въ защиту Грузіи былъ назначенъ гр. В. А. Зубовъ, „кызыль-игъ“ (т.-е. золотая нога)¹⁾, какъ называли его дагестанскіе горцы. Гр. Зубову были подчинены сформировавшійся кавказскій корпусъ, каспійская флотилія и войска, находившіяся въ Грузіи съ полковникомъ Сырохневымъ. Двадцатичетырехлѣтній Зубовъ открылъ экспедицію при счастливыхъ предзнаменованіяхъ. Онъ безъ особеннаго усилія взялъ г. Дербентъ и, казалось, предъ нимъ уже открывались ворота въ Персію. Вскорѣ были заняты русскими войсками города Куба и Баку. Дойдя до Старой Шемахи, каспійскій корпусъ нигдѣ не встрѣтилъ Ага-Магометъ-хана, удалившагося въ Хорасанъ, для усмиренія возникшихъ тамъ волненій.

Побѣдоносное приближеніе русскихъ войскъ обрадовало царя Ираклія II и окрылило его мечты. Однако, горькая дѣйствительность постигла разрушить его радужные планы. Вслѣдъ за восшествіемъ на престолъ Павла I отданъ былъ приказъ, приостановивъ наступательныя дѣйствія, отозвать войска въ предѣлы имперіи. Гр. Зубовъ былъ уволенъ отъ всѣхъ должностей, а ген. Гудовичу, начальнику кавказскаго края, внушено было оберегать русскія границы отъ хищниковъ, а съ царемъ Иракліемъ соблюдать лишь „пристойное сношеніе“.

Извѣстіе о вступленіи на престолъ Павла I побудило Ираклія отправить въ 1797 г. своего полномочнаго министра князя Г. Чавчавадзе, съ изъявленіемъ вѣрности и усердія, къ императору. Чавчавадзе отъ имени царя просилъ Павла I утвердить, согласно трактату 1783 г., наследникомъ престола старшаго сына его, царевича Георгія, и оставить русское войско въ Грузіи до прекращенія въ ней смутъ и раздоръ. Сверхъ того, Чавчавадзе просилъ дать Грузіи „всероссійскій за-

¹⁾ Въ Польшѣ, при переправѣ черезъ Бугъ подъ начальствомъ Суворова, ядро отъ рвало ему ногу. Зубовъ лечился за границей и вернулся оттуда съ искусственной („мотой“) ногой. Объ его экспедиціи на Кавказъ см. *Потто*, „Истор. очеркъ кавказскихъ войнъ отъ ихъ начала до присоединенія Грузіи“. Тифлисъ. 1899.

конъ для управленія государствомъ, дабы исторгнуть нѣкоторыя издревле вкравшіяся азіатскія несправедливости судопроизводства, слушающія въ противность православному исповѣданію“, и принять въ свое распоряженіе карталино-кахетинскіе рудники, которыми царь не могъ пользоваться, за неимѣніемъ знатоковъ ихъ разработки. Этими мѣрами, очевидно, Ираклій желалъ связать Грузію, помимо политическихъ узъ, экономическими отношеніями. Однако это предложеніе не встрѣтило сочувствія, и грузинскому министру было сообщено, что его „просьбы нынѣ удовлетворены быть не могутъ“. Тогда кн. Чавчавадзе, не слушаясь, сталъ требовать оказанія помощи въ силу трактата или же отреченія отъ верховенства и покровительства Грузіи, разрѣшенія Ираклію заключить „потребныя къ охраненію царства его дружественныя сношенія и связи съ азербейджанскими ханами и дагестанскими владѣльцами“. Вопросъ этотъ не былъ обсужденъ еще, когда получились тревожныя вѣсти объ опасной болѣзни царя Ираклія. Грузія не успѣла оправиться отъ вторженія Ага-Магометъ-хана, не были восстановлены добрыя отношенія къ сосѣдямъ, а престарѣлаго вѣнценосца, „железныхъ вратъ страны“, какъ поется въ народной пѣснѣ, не стало: 11-го января 1798 г. въ г. Телавѣ скончался царь Ираклій II, „среди стона народа, плакавшаго на развалинахъ домовъ своихъ, надъ трупами дѣтей, женъ, мужей и отцовъ своихъ“. Смерть этого умнаго и энергичнаго царя представлялась многимъ новой народной карой. Ираклій II оставилъ семь сыновей, изъ которыхъ старшій, Георгій, чловѣкъ болѣзненный, склонный больше къ богословскимъ преніямъ, чѣмъ къ политической дѣятельности, вступилъ на престолъ, съ утвержденія Павла I. Государь, въ силу трактата 1783 г., назначилъ наслѣдникомъ престола старшаго сына новаго царя, „вольтеріанца“ Давида, обѣщавъ, что преемники его будутъ имѣть вѣчное и непоколебимое царствованіе въ Карталиніи и Кахетіи, и прислалъ Георгію при этомъ чрезъ императорскаго министра въ Грузіи, статскаго совѣтника П. И. Коваленскаго, инвеститурные знаки: знамя, саблю, повелительный жезлъ, тронъ и мантию горностаевую. Новый и вмѣстѣ съ тѣмъ послѣдній царь Грузіи сталъ ею править подъ именемъ Георгія XII-го. Вдовствующая царица, Дареджана, третья жена Ираклія II-го, воспылала гнѣвомъ, что наслѣдникомъ по Георгію XII утверждать его сынъ, Давидъ, а не ея первенецъ—Юлонъ. А между тѣмъ ей удалось добиться отъ умирающаго мужа подписи на актѣ, къ силу котораго измѣнялся установившійся порядокъ престолонаслѣдія отъ отца къ сыну и замѣнялся порядкомъ наслѣдованія трона старшимъ въ родѣ,—другими словами, по смерти Георгія, царемъ долженъ былъ быть провозглашенъ старѣйшій его братъ—Юлонъ. Ираклій оправдывался предъ Георгіемъ въ учиненіи названнаго акта, вызвавшаго такой расколъ

среди царевичей, который привелъ къ упраздненію грузинскаго царства. Актъ этотъ Ираклій признавалъ „недѣйствительнымъ и ничтожнымъ“, и онъ былъ правъ, такъ какъ безъ согласія русскаго императора, сюзерена грузинскаго царя, не могъ быть ни измѣненъ порядокъ престолонаслѣдія, ни утвержденный наслѣдникъ по царѣ Георгіѣ устраненъ въ угоду царевичу Юлону. Георгію удалось устранить интриги Дареджаны, стремившейся захватить власть въ свои руки, но онъ былъ вынужденъ согласиться на требованія мачихи и подписать завѣщаніе о томъ, что послѣ его смерти престолъ перейдетъ не къ сыну его, а къ брату Юлону и за нимъ къ другимъ его братьямъ по старшинству въ родѣ. Сдѣлавъ еще уступку—упоминать въ церкви имя мачихи своей Даріи раньше юной царицы Маріи, Георгій вступилъ на престолъ съ значительными ограниченіями и пожертвованіями царской власти.

Однако, лица царской фамиліи не слагали оружія интригъ и, разбѣжавшись по удѣламъ, стали сѣять смуту. Благодаря ихъ усиліямъ, вся Грузія, по смерти Георгія XII-го, процарствовавшаго лишь два года († 28-го декабря 1800 г.), раскололась на двѣ партіи: одна провозгласила царемъ Давида, старшаго сына Георгія XII-го, законнаго наслѣдника престола, утвержденного таковымъ Павломъ I; другая же выдвигала кандидатомъ на тронъ Юлона, сына Ираклія, на основаніи новаго акта престолонаслѣдія, который, не будучи апробованъ русскимъ императоромъ, сюзереномъ грузинскаго царя, не имѣлъ юридической силы. Карталинія склонилась признавать царемъ Юлона, а Кахетія энергично отстаивала Давида. Русскій военный комиссаръ генералъ Лазаревъ, которому были извѣстны переговоры царя Георгія съ императоромъ Павломъ чрезъ уполномоченнаго министра князя Чавчавадзе о принятіи Грузіи въ подданство Россіи на условіяхъ сохраненія престола по праву первородства за царствующимъ домоу Багратиловъ, уклонился оказать поддержку царевичу Давиду, для утвержденія его на царство, и тѣмъ далъ поводъ усиленной агитаціи изъ-за признанія преемника Георгія XII-го. Устранивъ и того, и другого претендента на престолъ, ген. Лазаревъ организовалъ *временное правленіе* и объявилъ, что всѣ приказанія будутъ исходить за подписью „его свѣтлости царевича Іоанна“ ¹⁾). Впослѣдствіи только удалось Давиду войти въ составъ правленія и титуловаться правителемъ Грузіи.

¹⁾ См. *Дубровинъ*, „Исторія войны и владычества русскихъ на Кавказѣ“, т. III. (т. 1886.

V.

Донесеніе императору о смерти Георгія было уже отправлено ген. Кноррингомъ, начальникомъ сѣверной кавказской линіи, когда на другой день онъ получилъ манифестъ отъ 18-го или 22-го декабря о присоединеніи Грузіи къ Россіи. Изъ содержанія рескрипта ген. Кноррингу стало ясно, что обнародованіе манифеста Павла I должно было послѣдовать лишь послѣ того, какъ полномочные грузинскіе, принявъ грамоты отъ царя и народа о желаніи ихъ быть въ подданствѣ Россіи, возвращались бы съ тѣми грамотами изъ Тифлиса въ Петербургъ. Кноррингъ не рѣшился поэтому обнародовать манифестъ и писалъ, что „дѣло оное конца своего, сообразно предположеніямъ, не воспріяло, и народъ грузинскій не предваренъ о *тщательномъ созволеніи* принять ихъ подъ законы имперіи всероссійской“. Смерть Георгія уничтожила всѣ предположенія русскаго правительства въ вопросѣ о присоединеніи Грузіи къ Россіи. Все было разсчитано такъ, что послы добѣдутъ до Тифлиса, Георгій подпишетъ условія подданства, объявить ихъ народу и отправить новыхъ пословъ въ Петербургъ, а между тѣмъ грузинскіе послы, князя Палавандовъ и Аваловъ, прибыли въ Тифлисъ лишь 8-го января, т.-е. по смерти Георгія и, слѣдовательно, до подписанія условій присоединенія Грузіи. Извѣстіе о кончинѣ Георгія (28-го декабря 1800 г.) не успѣло, вѣроятно, дойти до Петербурга, когда тамъ послѣдовало, 18-го января 1801 г., обнародованіе манифеста о присоединеніи Грузіи къ Россіи.

Манифестъ Павла I-го гласилъ, что государь, снизойдя къ просьбамъ царя Георгія XII-го, принимаетъ Грузію „въ непосредственное подданство“, гарантируя „любезновѣрнымъ новымъ подданнымъ царства грузинскаго всѣ права, преимущества и собственность, законно каждому принадлежащія“, но, кромѣ того, государь обѣщаетъ имъ пользованіе и „всѣми тѣми правами, вольностями, выгодами и преимуществами, каковыми древніе подданные Россійскіе наслаждаются“. Графъ Растопчинъ объявилъ отъ имени имп. Павла грузинскому министру, князю Чавчавадзе, остававшемуся въ Петербургѣ, что императоръ назначить старшаго изъ всѣхъ членовъ царскаго дома правителемъ Грузіи, подъ наименованіемъ царя, или намѣстникомъ при томъ условіи, что онъ будетъ имѣть при себѣ постоянно „одного изъ вельможъ великороссійскихъ“. Очевидно, эта „милость“ Павла I-го соответствовала желанію царя Георгія, который въ проектѣ договора о присоединеніи Грузіи вторымъ пунктомъ выставилъ, чтобы онъ былъ оставленъ, а „по немъ и наслѣдники на престолѣ съ титуломъ царей, добровольно подвергнувъ себя и царство подданству Всероссійской

имперіи и имѣть имъ, царямъ, главное въ своемъ царствѣ правленіе по тѣмъ законамъ, кои отъ Высочайшаго двора даны быть имѣютъ". Однако, обстоятельства не позволили осуществить этотъ параграфъ договора, оставшагося нератификованнымъ, и манифестъ имп. Павла совершенно умалчиваетъ о сохраненіи за Багратидами грузинскаго трона. Идея равноправности грузинъ съ русскими должна была служить компенсацией желанія пословъ Георгія XII-го сохранить въ Грузіи званіе царя съ титуломъ императорскаго намѣстника. Такимъ образомъ, намѣчался неожиданный поворотъ въ вопросъ взаимныхъ отношеній Грузіи съ Россіей: вассальныя связи между ними замѣнились инкорпорированіемъ первой въ составъ второй.

Этотъ манифестъ Павла I-го, подписанный 18 или 22 декабря 1800 г. ¹⁾ (т.-е. при жизни ц. Георгія), обнародованный въ Петербургѣ 18 января 1801 г., былъ объявленъ въ Тифлисѣ 16 февраля 1801 г. Государь, въ ожиданіи посланниковъ отъ народа и царевичей, приготовилъ далматикъ для приведенія ихъ къ присягѣ въ торжественной аудіенціи. Присяга на вѣрность, однако, не состоялась, такъ какъ онъ вскорѣ скончался (12-го марта 1801 г.). Время отъ смерти царя Георгія до объявленія въ Грузіи манифеста имп. Павла должно быть названо періодомъ междоцарствія. Князья и дворяне раздѣлились на двѣ партіи: одна ожидала введенія русскаго управленія, а другая, напротивъ, желала сохранить своего царя, который, находясь подъ полною зависимостью отъ Россіи, управлялъ бы Грузіей по собственнымъ ея законамъ и обычаямъ. Принадлежавшіе къ послѣдней націоналистической партіи дѣйствовали не единодушно, выставляя кандидатомъ на грузинскій престолъ то Давида Георгіевича, то Юлона Иракліевича. Волненія продолжались; порядокъ не успѣлъ установиться.

Личное письмо императора къ царевичу Давиду подало ему поводъ и основаніе оповѣстить, что онъ торжественно принимаетъ управленіе наследственнымъ престоломъ, а Павлу I-му доносилъ онъ, что отдаетъ себя и царство руссійскому подданству, согласно съ прошеніями родителя своего. Такимъ образомъ, царевичъ Давидъ, самовольно устраненный ген. Лазаревымъ отъ управленія, сталъ первенствующимъ лицомъ въ Грузіи, къ которому обращались императоръ, графъ

¹⁾ Манифестъ этотъ подписанъ 18 или 22 декабря, въ точности неизвѣстно; Дубровинъ (въ назв. соч. III, стр. 343 и 372) называетъ то одну, то другую дату. Смерть *Буткова* (II, 465) не вѣрно считаетъ 22 декабря. Пл. Иоселіани, „Жизнь царя Георгія XII-го“ (на груз. яз.), стр. 264, и *Дубровинъ* (III, 343) вѣрно ставятъ 28 декабря. Надгробная надпись допускаетъ двѣ ошибки (царь погребенъ въ Мцхетѣ); во-первыхъ, не точно, что онъ уступилъ Грузію Россіи въ 1799, и, во-вторыхъ, не вѣрно, что онъ скончался въ 1800 г.

Растопчинъ и ген. Кноррингъ. Отправляя пословъ, князей Палавандова и Авалова, послѣ совѣщанія и переговоровъ, съ благодарностью за принятіе Грузіи въ подданство, Давидъ испрашивалъ у Павла I-го милостей отъ русскаго императора себѣ и *царству своему*.

Царевичъ Давидъ и царица Дарія, узнавъ о вступленіи на престолъ императора Александра I-го, поспѣшили отправить письма съ заявленіемъ своихъ просьбъ и желаній. Давидъ просилъ утвердить его царемъ Грузіи, въ виду признанія его наслѣдникомъ еще Павломъ I-мъ, а царица Дарія просила передать престолъ старшему ея сыну, царевичу Юлону, опираясь на завѣщаніе покойнаго ея мужа Ираклія II,—впрочемъ, не санкціонированное императорскою властью.

Имп. Александръ опасаясь нарушить „международныя права“ и „не увлекаясь выгодами Россіи отъ присоединенія Грузіи“, поручилъ ген. Кноррингу, главнокомандующему на кавказской линіи, удостовѣриться личнымъ посѣщеніемъ Грузіи, искренно ли убѣждены грузины, что „принятіе ихъ подъ державу руссійскую есть единое средство ихъ спасенія“. Кноррингъ совершилъ путешествіе по Грузіи, пробылъ здѣсь 22 дня и свое мнѣніе объ ней изложилъ въ рапортѣ отъ 28-го іюля 1801 г. Онъ сообщаетъ о безотрадномъ положеніи страны, гдѣ изъ 60.000 семействъ 1783 года осталось къ 1801 г. только 35.000 семействъ. Въ ней, съ умноженіемъ нуждъ царскихъ (династія состояла изъ 73 членовъ), увеличились поборы со всѣхъ продуктовъ и промысловъ, а число рукъ къ воздѣлыванію земли уменьшилось. Наконецъ, вѣншіе враги Грузіи усиливаются, а вражда въ царской семьѣ угрожаетъ странѣ междоусобіями. Поэтому,—заключаетъ Кноррингъ,—Георгій XII, рѣшившись просить подданства Россіи, „всеконечно зналъ пользы своего народа“. Изъ условій, предложенныхъ относительно подданства, извѣстенъ второй пунктъ, заставляющій предполагать, что Георгій оберегалъ вассальную зависимость Грузіи отъ Россіи и желалъ сохранить тронъ царскій за своимъ сыномъ. „Le fils aîné ¹⁾ du czar régnant, David, sera régent de la Géorgie (memquidré), et cette dignité se transmettra d'ainé en aîné à toute sa postérité“, —читается въ трактатѣ 1799 г., заключенномъ въ Тифлисѣ между имп. Павломъ и царемъ Георгіемъ. Генераль Кноррингъ также не скрывалъ предъ своимъ государемъ, что „часть недоброхотовъ своему отечеству“ желаетъ имѣть въ Грузіи своего царя.

¹⁾ См. „Itinéraire de Tiflis à Constantinople par le colonel Roffiers“. Bruxelles, 1829, p. 64—70. Этотъ договоръ не былъ формально апробованъ, и былъ испробованъ Павломъ I, подписанъ первоприсутствующимъ въ комиссіи иностранныхъ дѣлъ гр. Растопчинимъ, а со стороны Грузіи князьями Аваловымъ и Палавандовымъ. Трактатъ на французскомъ языкѣ заключаетъ десять пунктовъ, а на русскомъ языкѣ (см. „Акты Кавказск. Археогр. Комм.“, т. I), 16 пунктовъ

Однако, докладъ ген. Кнорринга послужилъ основнымъ матеріаломъ для обсужденія вопроса о присоединеніи Грузіи въ государственномъ совѣтѣ. Большинство его членовъ было за присоединеніе Грузіи къ имперіи. Графы Воронцовы, Кочубей и князь Чарторижскій не только отвергали пользу новаго приобрѣтенія, но говорили, что присоединеніе Грузіи противно выгодамъ Россіи. Вице-канцлеръ Воронцовъ находилъ присоединеніе несправедливымъ, потому что „Вагратида царствуютъ въ Грузіи не избирательнымъ образомъ, а насильственно, а поэтому присоединеніе будетъ имѣть видъ насилія“. Князь Чарторижскій предлагалъ сохранить Грузію въ вассальствѣ, въ которое она была принята Екатериной II.

Донесеніе Кнорринга и записка гр. Мусина-Пушкина, доказывавшаго, по личнымъ наблюденіямъ въ Грузіи, всѣ выгоды ея присоединенія на фактахъ, хотя ошибочныхъ и преувеличенныхъ, склонили, въ концѣ концовъ, государственный совѣтъ къ мысли о необходимости присоединить Грузію къ Россіи, что выражено въ манифестѣ Александра I-го (12-го сентября, 1801 г.): „Не для приращенія силъ, не для корысти, ни для распространенія предѣловъ и такъ уже обширнѣйшей въ свѣтѣ имперіи, пріемлемъ Мы на себя бремя управленія царства грузинскаго. Единое достоинство, единая честь и человѣчество налагаютъ на насъ священный долгъ, внявъ моленію страждущихъ, въ отвращеніе ихъ скорбей, учредить въ Грузіи правленіе, которое могло бы утвердить правосудіе, личную и имущественную безопасность и дать каждому защиту закона. А посему, избравъ Нашего генералъ-лейтенанта Кнорринга быть главнокомандующимъ посреди васъ, дали Мы ему полныя наставленія открыть сіе правленіе особеннымъ отъ имени Нашего объявленіемъ“. Кноррингу было поручено устроить училища, образовывать миссіонерства и укрѣпить „благоденствіе Грузіи на прочномъ основаніи и во всемъ сообразоваться съ правами, обычаями и умоначертаніями народа“. Для отвращенія всякаго соблазна къ вреднымъ какимъ-либо замысламъ, государь выражалъ желаніе, чтобы „обѣ царицы (т.-е. Дарія, жена Ираклія II-го, и Марія, супруга Георгія VII) и всѣ царевичи соглашены были выѣхать въ Россію“. Въ Грузіи же, въ это время, собиралъ царевичъ Давидъ подписи князей на прошеніе императору о всеобщемъ желаніи грузинъ имѣть его царемъ. Одинъ изъ грузинскихъ пословъ въ Петербургъ, кн. Заалъ Андрониковъ, писалъ къ кн. Іоанну Орбелиани, что дѣло объ участи Грузіи было устроено имъ превосходно, но вдругъ явился Кноррингъ и увѣрилъ императора, что народъ не желаетъ имѣть царя.

VI.

Броженіе умовъ, явившееся результатомъ занятія Грузіи, поддерживалось страннымъ поведеніемъ ген. Кнорринга и гражданскаго правителя Грузіи, П. И. Коваленскаго. Ни тотъ, ни другой, — говорить акад. Дубровинъ. — не стояли на высотѣ своего призванія и не пользовались добрымъ мѣтніемъ грузинъ. Кноррингъ не умѣлъ примѣниться къ народному характеру и еще при первомъ посѣщеніи Тифлиса возбудилъ противъ себя все населеніе; точно также Коваленскій, состоявшій министромъ при дворѣ Георгія XII-го, навлекъ на себя, — писалъ кн. Г. Р. Чавчавадзе, — неудовольствіе отъ царя, вельможъ и народа.

Глухой ропотъ противъ представителей русской власти шелъ съ тѣхъ поръ, какъ партіи царевичей Давида и Юлона, забывъ личные счеты и воспользовавшись промедленіемъ объявленія манифеста Александра I-го, направили свои соединенныя силы къ возбужденію народа для восстановленія политической самостоятельности Грузіи. Манифестъ о присоединеніи Грузіи отъ 12-го сентября 1801 г., былъ объявленъ въ Тифлисѣ лишь 12-го апрѣля 1802 г., одновременно съ учрежденіемъ верховнаго грузинскаго правительства. Грузія была раздѣлена на пять уѣздовъ (горійскій, лорійскій и душетскій — въ Карталинѣ, и телавскій и сигнахскій — въ Кахетіи). Правленіе дѣлилось на четыре экспедиціи: первая для дѣлъ исполнительныхъ, вторая для дѣлъ казенныхъ и экономическихъ, третья для дѣлъ уголовныхъ, четвертая для дѣлъ гражданскихъ. Правитель Грузіи, начальники и совѣтники экспедицій были члены верховнаго грузинскаго правительства. Отношенія между вновь присоединеннымъ народомъ и русскимъ правительствомъ были чрезвычайно неопредѣленны. Грузины надѣялись на широкія обѣщанія имп. Павла и полагали, состоя въ подданствѣ Россіи, быть управляемы своимъ природнымъ царемъ изъ рода Багратидовъ. Въ связи съ другими разочарованіями упраздненіе въ Грузіи престола возбудило большія неудовольствія.

Объявленіе манифеста Александра I-го сопровождалось въ Грузіи послѣдствіями, не соотвѣтствующими „ласкѣ“, какую рекомендовалъ государь Кноррингу. Собравъ всѣхъ князей, знатныхъ особъ и прочихъ обывателей Тифлиса, Кноррингъ приказалъ окружить ихъ войсками, „аки штурмомъ“, и въ такомъ положеніи совершить присягу. Народъ былъ озадаченъ такимъ приемомъ. Многіе изъ князей спѣшили оставить церковь и не хотѣли присягать насильно; за это нѣкоторые лица были арестованы. Уныніе и ропотъ перешли въ явное негодование и раздраженіе, когда ген. Тучковъ, по распоряженію Кнор-

ринга, отобралъ у царицы Маріи царскія регаліи. Были обижены также нѣкоторые изъ царевичей. Эти факты подорвали довѣріе приерженцевъ русской партіи и, возбудивъ всѣ сословія, вызвали запросъ грузинскому полномочному министру въ Петербургѣ, кн. Гарсевану Чавчавадзе, съ просьбой „не оставить увѣдомленіемъ, подлинно ли Кноррингъ поступаетъ такъ по высочайшей его величества волѣ или самовольно дѣлаетъ такіа огорченія“. Русскія власти не скрывали, что имъ приходилось прибѣгать къ силѣ, дабы удержать народъ отъ нарушенія присяги императору всероссійскому.

Появилось не мало поводовъ къ неудовольствію со стороны грузинскаго народа, ожидавшаго отъ русскихъ порядка и успокоенія. Административный порядокъ съ обнародованіемъ въ Тифлисѣ (16-го февраля 1801 г.) манифеста имп. Павла о принятіи Грузіи въ подданство Россіи, остался нетронутымъ. По учрежденіи верховнаго грузинскаго правительства въ 1802 г., дѣла мало измѣнились къ лучшему. Правитель Грузіи Коваленскій не ходилъ въ присутствіе, выдавалъ чиновникамъ жалованье не деньгами, а сукномъ, вошелъ въ сдѣлку съ богатымъ купцомъ Бегтабековымъ, для скупки шерсти въ Грузіи, имѣя въ виду сбытъ съ выгодой на строившуюся въ Тифлисѣ казенную суконную фабрику ¹⁾. Царевичъ Давидъ жаловался на расхищеніе его собственности, народъ выражалъ неудовольствіе, что никто его жалобъ не разбираетъ. „Коротко сказать,—доносили ген. Лазаревъ,—всѣ теперь столь же недовольны, сколь доднесь желали россійскаго правленія“.

Сохранился документъ, характеризующій настроеніе тогдашняго общества. Такова жалоба дворянства Кахетіи, напечатанная въ „Актахъ кавказской археографической комиссіи“. Привожу ее дословно: „Милости, обѣщанныя манифестомъ, не выполнены вами; безопасность намъ обѣщана, но въ чемъ она видна? Села и деревни терзаются лезгинами, а вы ни о чемъ не заботились; велѣно возвысить честь церквей и епископовъ, а вы отобрали отъ нихъ всѣ вотчины и крестьянъ; велѣно прибавить почести князьямъ, а между тѣмъ, которые были почтены отъ нашихъ владѣтелей и чрезъ то кормились, лишены и этой чести; права тѣхъ изъ насъ, которые управляли деревнями за великіе подвиги и пролитіе крови—нарушены; крестьянамъ государь обѣщалъ не требовать съ нихъ въ теченіе 12 лѣтъ податей; также велѣлъ остатки отъ жалованья правителя обращать на постановленіе нашего разрушеннаго города (Телава), но и это не было“.

¹⁾ Коваленскій и Кноррингъ съ ихъ злоупотребленіями власти отразились въ романѣ „Черный годъ или Горскіе князья“, В. Т. Нарѣжнаго (1829 г.), состоявшаго в 1801 г. чиновникомъ при верховномъ грузинскомъ правительствѣ.

Что позволяли себѣ русскіе чиновники въ Грузіи—можно судить по одной выпискѣ о незаконныхъ дѣйствіяхъ ананурскаго капитанъ-исправника уже въ 1804 г., т.-е. тогда, когда было больше порядка въ администраціи. „Прибыль въ Жамури,—доносить онъ,—поймалъ осетинцевъ и, наливши въ корыто, въ коемъ кормить собакъ, молоко, послѣ сыра оставшееся, и побивъ кошекъ, поклавъ въ него-жъ да также положилъ туда калъ человѣческій и тѣмъ ихъ накормилъ“. Этотъ фактъ достаточно свидѣлствуетъ „о пренебреженіи къ народу и безтолковомъ произволѣ“. Подобными несовершенствами русской администраціи объяснялось возбужденіе грузинскаго народа противъ Россіи, „единенія съ которой онъ цѣлые вѣка искалъ съ искреннимъ желаніемъ“.

Рескриптомъ, отъ 8-го сентября 1802 г., императоръ Александръ, по дошедшимъ жалобамъ и неудовольствіямъ на управляющихъ въ Грузіи генераль-лейтенанта Кнорринга и дѣйствительнаго статскаго совѣтника Коваленскаго, призналъ нужнымъ зачислить перваго по арміи, а втораго отозвать „для употребленія къ другимъ дѣламъ“, управление же гражданскою и военною частью возложить на кн. Циціанова (изъ обрусѣвшихъ грузинъ, переселившихся въ Россію въ XVIII в.). Указомъ правительствующему сенату повелѣно было предать Коваленскаго суду при 1-мъ департаментѣ сената. Со времени назначенія кн. Циціанова въ Грузіи главнокомандующимъ, начинается эра устраненія хаоса въ верховномъ грузинскомъ правительствѣ и первые прочные шаги укрѣпленія русскаго престижа въ Закавказскомъ краѣ.

VII.

Итакъ, присоединеніе Грузіи къ Россіи было результатомъ, съ одной стороны, личной инициативы царя Георгія XII, съ другой стороны—послѣдствіемъ всего общественнаго и государственнаго ея строя ¹⁾. Грузія была ослаблена нашествіемъ Персіи въ 1795 г., отомстившей ей за протекцію Россіи съ 1783 г.; наслѣдственно передававшіяся административныя должности превратились въ „кормленіе“ князей и дворянъ; страна была раздираема внутренними усобицами и вторженіями извнѣ со стороны лезгинъ. Имущественная необезпеченность и судейскія злоупотребленія довершали тягостныя неурядицы. По „барату“ имѣніе отнималось у одного и передавалось другому; правосудіе отправлялось по пристрастію или по праву сильнаго. Разстройство органовъ государственной жизни превратило добродушнаго, не

¹⁾ См. статьи *Ад. Берже* въ „Русск. Старинѣ“ за 1880 г.

слабого здоровьѣмъ царя Георгія изъ неограниченнаго монарха въ носителя фиктивной власти. Всѣ эти отрицательныя стороны политическаго состоянія Грузіи, проистекавшія изъ факта отсутствія единой сильной власти, не устраивали упованій къ возрожденію страны, по примѣру прежнихъ испытаній въ эпоху ея упадковъ вслѣдствіе вторженій арабовъ, монголовъ, персовъ и турокъ, именно въ виду слабости силъ и здоровыхъ зародышей въ самомъ народѣ. Все бѣдствіе Грузіи конца XVIII в. обусловилося непримиримыми раздорами въ царской семьѣ Ираклія II-го и Георгія XII-го.

Георгій XII былъ окруженъ съ одной стороны братьями: Юлономъ, Вахтангомъ, Антоніемъ, Миріаномъ, Александромъ и Парнаозомъ, а съ другой стороны сыновьями: Давидомъ, Іоанномъ, Ваграмомъ, Теймуразомъ. Джебраиломъ, Ильей, Окропиромъ и Иракліемъ. Въ этомъ длинномъ списокѣ лицъ, предназначеннымъ по рожденію къ государственной дѣятельности, весьма немногіе явились радѣтелями интересовъ страны и народа. Царевичъ Александръ, горячій стражъ свободы Грузіи, сначала ищетъ только устраненія отъ престола своего брата, Георгія, а потомъ, при содѣйствіи Персіи, ведетъ вооруженную борьбу съ русскими, призываетъ Омара-Хана аварскаго на защиту своихъ правъ, обращается съ воззваніями къ народу, духовенству и дворянству противъ русскихъ и кончаетъ жизнь свою непримиреннымъ съ новымъ порядкомъ въ Грузіи, вдали отъ родины, въ Персіи.

Царевичъ Вахтангъ, открыто поддерживавшій связи съ братьями—Юлономъ, Парнаозомъ и Александромъ, въ то же время способствовалъ проходу русскихъ войскъ чрезъ горы въ Грузію, владѣя Душетомъ и лежащими по военно-грузинской дорогѣ деревнями. За эту двуличную политику онъ былъ высланъ кн. Циціановымъ въ Россію. Царевичъ Давидъ, генералъ русской службы, наслѣдникъ престола, унижилъ себя въ глазахъ народа бракомъ съ армянкой и пренебреженіемъ въ началѣ къ государственнымъ дѣламъ. Гибель династіи сблизила его, въ интересахъ спасенія царскихъ прерогативъ, съ претендентомъ на грузинскій тронъ, съ царевичемъ Юлономъ ¹⁾. Претензія этого послѣдняго стать царемъ Грузіи вызвала расколъ въ Грузіи, повлекшій упраздненіе въ ней царскаго престола. Царевичъ Іоаннъ одинъ только наблюдалъ „государственную пользу“, но онъ удалился изъ столицы и предался въ своихъ деревняхъ наукѣ и философіи. Этими мирнымъ занятіямъ посвятили себя впослѣдствіи именныя политической карьеры царевичи: Теймуразъ, авторъ „Исторіи

¹⁾ О волненіяхъ въ Грузіи 1801—1804 гг. см. А. Пронели, „Грузія въ 1804 г.“ (груз. языкъ).

Грузіи“, учитель академика Броссе, Илья, вдохновлявшійся элегическими мотивами, и самъ Давидъ, которому принадлежать: переводъ „Духа законовъ“ Монтескьё, „Похожденія новомодной красавицы“ и историческій очеркъ Грузіи на русскомъ языкѣ.

Въ женскомъ персоналѣ первое мѣсто по силѣ ума и характера занимаетъ царица Дарія, матица и ненавистница царя Георгія XII. Подъ ея давленіемъ Ираклій II подписалъ злополучное завѣщаніе, незаконно измѣнявшее порядокъ престолонаслѣдія въ пользу Юлова. Дарія въ 1803 г., какъ „корень беспокойствія Грузіи“, кн. Цицановымъ удалена изъ Тифлиса въ Россію. Царица Марія, жена Георгія XII, съ материнскою эгоистичностью отстаивавшая, вопреки настояніямъ Даріи, престолъ для сына своего, Давида, была отправлена въ Воронежъ „безъ всякихъ почестей“, обвиненная въ убійствѣ ген. Лазарева. Въ письмѣ на имя императора Александра I, Марія оправдывается въ взведенномъ на нее преступленіи. Вдали отъ родины она занималась писаніемъ стиховъ, въ которыхъ изливала скорбь наболѣвшей души. Силою высланы изъ Грузіи въ Россію царевичи—Давидъ, Багратъ и Вахтангъ. Среди всѣхъ этихъ лицъ не было единоподушія и ясныхъ патріотическихъ побужденій.

Георгій XII предвидѣлъ неизбежный разладъ дядей съ племянниками въ царскомъ домѣ. Чувствуя свое безсиліе устранить угрожавшее Грузіи междоусобіе, онъ просилъ имп. Павла утвердить за нимъ преемникомъ царевича Давида Георгіевича. Такъ какъ протекція Персіи и Турціи, съ ихъ религіознымъ презрѣніемъ къ христіанскому народу, не плѣняла царя Георгія, то онъ обратилъ взоры къ единовѣрной Россіи и искалъ ея подданства. Установленіемъ вассальныхъ отношеній онъ желалъ посредствомъ военной помощи со стороны русскаго правительства доставить Грузіи внѣшнюю безопасность и самостоятельность во внутреннемъ управленіи. Онъ не покидаетъ до кончины мысли укрѣпить тронъ за своимъ сыномъ и, передавъ Грузію подъ покровительство Россіи, умереть спокойно. Такимъ образомъ, какъ видно изъ проекта оставшагося нератификованнымъ договора присоединенія Грузіи къ Россіи, царь Георгій, вслѣдствіе сложившихся невыгодно обстоятельствъ, искалъ подданства Россіи на вассальныхъ условіяхъ, но болѣе связывающихъ Грузію съ Россіей, чѣмъ это вытекало изъ трактата Ираклія II съ Екатериной II. Посланники царя, князя Чавчавадзе, Аваловъ и Палавандовъ, были истолкователями его предсмертной воли, сообщенной ими устно и изложенной отчасти письменно предъ русскимъ правительствомъ относительно исканія подданства Россіи. Послѣдовавшія за его кончиной печальныя событія среди претендентовъ на грузинскій престолъ побудили русское правительство не назначать никого изъ дома Ираклія и Георгія

царемъ Грузіи, хотя бы съ титуломъ императорскаго намѣстника, и объявить царство грузинское окончательно присоединеннымъ къ Россійской имперіи.

VIII.

Присоединеніе Грузіи къ Россіи стало базисомъ для послѣдней при дальнѣйшемъ ходѣ завоевательныхъ плановъ на Кавказѣ. Еще въ 1801 г., въ инструкціи ген. Кноррингу предлагается Александромъ I „обратить вниманіе на коммуникацію, могущую быть съ Чернымъ моремъ чрезъ Имеретію по р. Ріону или Фазису“. Цѣль этихъ изслѣдованій заключалась въ упроченіи положенія русскаго войска въ Грузіи, и потому должна была повести къ покоренію всѣхъ земель до Чернаго и Каспійскаго морей въ интересахъ вѣрнаго пути сообщенія. Отсюда произошло сознательное наступленіе и дипломатическими, и военными внушеніями. Начинается внимательное наблюденіе надъ мингрельскимъ владѣльцемъ, кн. Григоріемъ Дадіани, и имеретинскимъ царемъ Соломономъ II. Дадіани, потерявъ большую часть своихъ владѣній, которыя у него отнялъ Соломонъ II, вступилъ въ родство и союзъ съ Келешъ-беемъ, сухумскимъ (абхазскимъ) владѣтелемъ, но, утративъ надежду отстоять свою область, ищетъ покровительства Россіи. Такъ какъ Порта, имѣвшая притязанія на Мингрелію, не придавала ей значенія, по словамъ запрошеннаго по этому вопросу русскаго посла въ Константинополь, то рѣшено было послать къ кн. Дадіани полковника Майнова, для установленія просительныхъ пунктовъ о присоединеніи Мингреліи къ Россіи. 4-го декабря 1804 г. кн. Дадіани „учинилъ присягу“ на вѣрность русскому государю; Майновъ возложилъ на него орденъ св. Александра Невскаго, а княгинѣ его поднесъ соболій мѣхъ.

Царь Соломонъ имеретинскій, вступивъ въ переговоры съ Россіей о добровольномъ подданствѣ чрезъ своего посла кн. Леонидзе, желалъ сохранить титулъ царя, который у него былъ бы отнятъ при завоеваніи Имеретіи силою оружія. Александръ I, какъ при рѣшеніи о присоединеніи Грузіи, отказался отъ присоединенія Имеретіи. Но вскорѣ русской дипломатіи пришлось вмѣшаться въ дѣла Имеретіи. Поводъ къ наступленію подала участь царевича Константина, сына ек-царя имеретинскаго Давида. По ходатайству матери, царицы Анны, царевичъ былъ освобожденъ изъ заключенія. Вскорѣ война Соломона съ одишскимъ владѣтелемъ, кн. Дадіани, у котораго Соломонъ отнялъ область Течгумъ, потребовала непосредственнаго вмѣшательства русскихъ въ дѣла Имеретіи. Желаніе овладѣть крѣпостью Поті и пробиться къ Черному морю руководить при этомъ направленіемъ рус-

ской политики. Этой мысли покончить съ Имеретіей способствовали переговоры Соломона съ Россіей о подданствѣ и тайное въ то же время сношеніе съ Турціей. 20-го апрѣля 1804 г., рота егерей съ пушкой заняла имеретинскую деревню Серабай, гдѣ жители приняли присягу на подданство Россіи; а 30-го того же года Соломонъ заявилъ свою готовность служить Россіи „на условіяхъ, предложенныхъ кн. Циціановымъ“. Высочайшій рескриптъ о присоединеніи Имеретіи послѣдовалъ 4-го іюля 1804 г. на имя царя Соломона II. Царь, однако, въ надеждѣ вернуть себѣ престолъ, бѣжалъ въ Турцію, гдѣ и скончался въ 1815 г., въ гор. Трапезунтъ. Въ 1804 г., кн. Малія Гурели, владѣтель Гурин, даетъ присягу на вѣрность Россіи.

Въ интересахъ же Россіи „получить не гадательную, а существенную пользу и возвращеніе издержекъ, на Грузію чинимыхъ“, потребовалось присоединеніе всѣхъ земель, лежащихъ между Грузіей и Чернымъ моремъ. Съ прибытіемъ военныхъ судовъ въ Хопи и вступленіемъ русскихъ войскъ въ Мингрелію и Имеретію, началось фактическое владѣніе этими областями, хотя окончательное упраздненіе всѣхъ владѣльческихъ правъ произошло при Александрѣ II, въ 1867 г. именно съ добровольнымъ отказомъ отъ нихъ послѣдняго наслѣдника Мингрели, князя Николая Дадіани.

Такимъ образомъ, присоединеніе Грузіи явилось результатомъ увлеченія сначала гуманными идеями, а затѣмъ—политическаго ея неустройства, а присоединеніе Имеретіи, Гурин и Мингрели—въ силу ясно формулированныхъ задачъ, непосредственно удовлетворявшихъ экономическимъ и государственнымъ интересамъ Россіи ¹⁾.

А. ХАХАНОВЪ.

¹⁾ Принцъ Аббасъ-Мирза персидскій такъ изложилъ въ письмѣ къ Наполеону I вопросъ о присоединеніи Грузинъ къ Россіи: „Les Russes ont débité d'avoir acheté la province Géorgie et la ville Geunge des enfants d'Erglé-Khan (Heraclius)... et qu'ils n'avaient pris les armes que pour y maintenir leurs droits. Or, il y a deux choses à observer ici: 1° il est absolument faux que ces pays leur aient été vendus; 2° cette vente fût-elle même réelle n'en est pas moins illégale et contraire aux usages établis, puisqu'il est évident à tout esprit judicieux qu'un terrain ne peut être vendu que par le propriétaire légitime et non par le cultivateur et que le troupeau ne dépend que de celui à qui il appartient et non du berger. Indépendamment de cette considération il faut remarquer encore que toute vente suppose nécessairement un prix ou une contre valeur. Or, il est notoire que le seul prix qu'aient perçu les enfants d'Erglé-Khan... pour cette prétendue vente qu'on leur attribue c'est la mort de l'aîné des dits princes, nommé Gurgin-Khan (Géorge), qui a succombé aux chagrins que les Russes lui ont causés... et la dispersion du reste des enfants d'Erglé-Khan, dont plusieurs se trouvent prisonniers en Moscovie et les autres... persécutés et sans espoir réfugiés en notre cour. (Cm. „Revue d'Histoire moderne et contemporaine“, VIII, 1000, ст. E. I. Driault: „La mission Gardane en Perse (1807—1809) d'après les archives nationales et les archives du ministre des affaires étrangères“.

ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ

1 января 1901.

Начало XIX-го и начало XX-го вѣка.—Крѣпостное право и крестьянскій вопросъ.— Старые и новые суды.—Сословныя общества и самоуправленіе.—Печать и общества.—Народное образованіе.—Вѣротерпимость.—Попытки кодификаціи.—Понятіе о законности.—Вопросъ объ отношеніи губернскаго земства къ уѣзднымъ въ московскомъ губернскомъ земскомъ собраніи.

Началось новое столѣтіе. Какъ ни искусственна грань, черезъ которую мы только-что переступили, какъ ни безпочвенно предположеніе, что съ пережѣной одной цифры на другую должно измѣниться что-либо и въ реальномъ мірѣ—съ словами: *двадцатый вѣкъ* невольно соединяются какія-то смутныя ожиданія. Въ замѣчательномъ ретроспективномъ обзорѣ Уоллеса (появившемся недавно и въ русскомъ переводѣ) XIX-й вѣкъ не даромъ названъ *чудеснымъ*: приобрѣтенія его велики, разнообразны и драгоцѣнны. И тѣмъ не менѣе въ послѣднихъ впечатлѣніяхъ, имъ оставленныхъ, не много добраго и свѣтлаго. Спокойствія, удовлетворенія не видно ни въ одной изъ главныхъ европейскихъ странъ. Вездѣ на очереди стоятъ сложныя, нелегко разрѣшимыя и вмѣстѣ съ тѣмъ грозныя задачи. Не закончены и войны, окрачившія собою послѣдніе годы вѣка—и не предвидится еще конца затрудненіямъ, ихъ вызвавшимъ и вызваннымъ ими. Самый способъ веденія войнъ показалъ наглядно, сколько дикости и звѣрства таится еще подъ внѣшнимъ лоскомъ культуры. Отталкиваемая настоящимъ и ближайшимъ прошлымъ, мысль устремляется впередъ и, несмотря на столько разъ повторявшіяся разочарованія, рисуетъ картину лучшаго будущаго. Повторяется, въ громаднѣхъ размѣрахъ, то явленіе, которое, въ микроскопическомъ видѣ, переживаетъ каждый изъ насъ при наступленіи новаго года... Кажущуюся тщету и, вмѣстѣ съ тѣмъ, безсмертное право надежды ярче всего изобразилъ Шиллеръ, когда приближался конецъ XVIII-го вѣка; въ одномъ изъ лучшихъ своихъ стихотвореній—*„Hoffnung“*—онъ восклицаетъ:

„Es reden und träumen die Menschen viel
 Von besseren künftigen Tagen...
 Die Welt wird alt und wird wieder jung,
 Doch der Mensch hofft immer Verbesserung..
 Es ist kein leerer, schmeichelnder Wahn,
 Erzeugt in Gehirne der Thoren;
 Im Herzen kündigt es laut sich an:
 Zu was besserem sind wir geboren.
 Und was die innere Stimme spricht,
 Das täuscht die hoffende Seele nicht“ ¹⁾...

Чѣмъ меньше утѣшительнаго въ дѣйствительности, тѣмъ больше простора для надежды. Особенно велика, поэтому, роль, которую она играетъ среди насъ, русскихъ. Устоевъ она ищетъ не столько въ томъ, что есть, сколько въ томъ, что было. Различіе между Россіей начала XIX-го вѣка и Россіей начала XX-го в. по истинѣ громадно—и это даетъ право думать, что не меньшій шагъ впередъ будетъ сдѣланъ ею въ теченіе наступившаго столѣтія. Въ какую сторону онъ будетъ направленъ—на это также есть указанія въ прошедшемъ. Сто лѣтъ тому назадъ главной преградой на пути развитія Россіи, умственного и матеріальнаго, было крѣпостное право. Безправная, угнетенная масса оставалась неподвижной и задерживала, силой инерціи, движеніе привилегированнаго меньшинства. Не было такихъ преобразованій, которыя могли бы быть предприняты и успѣшно доведены до конца при продолжающемся порабощеніи народа. Тщетными оставались всѣ попытки поднять нравственный уровень чиновничества, сломить господство неправды въ судахъ, ускорить и упростить работу бюрократическаго механизма, создать (для дворянства, для городовъ, для государственныхъ крестьянъ) нѣчто въ родѣ самоуправленія. Ростъ образованія въ высшихъ и среднихъ классахъ парализовался глубокимъ невѣжествомъ крестьянства. И нельзя сказать, чтобы этого давно уже не сознавала центральная власть. Не даромъ мысль объ отмѣнѣ крѣпостнаго права переплетается съ самыми ранними реформами императора Александра I-го,

¹⁾ „Надѣются люди, мечтаютъ весь вѣкъ
 Судьбу покорить роковую...
 За днями несчастій дни счастья идутъ,
 А люди все лучшаго ждутъ...
 Нѣтъ, нѣтъ, не пустымъ, не безумнымъ мечтамъ
 Мы духъ отдаемъ съ колыханья,
 Не даромъ твердитъ сердце вѣщее намъ:
 Для высшей мы созданы цѣли!
 Что внутренній голосъ намъ внятно твердитъ,
 То намъ неизмѣнной судьбою горитъ!“

Мы привели выше слова Шиллера въ подлинникѣ, такъ какъ русскій переводъ, хотя и сдѣланный Фетомъ, далеко не точно передаетъ мысль автора.

не исчезая безслѣдно и въ менѣе свѣтлый періодъ его царствованія; не даромъ ея не упускаетъ изъ виду и императоръ Николай I-й. Сначала она почти не находитъ отклика среди общества и наталкивается на ожесточенную вражду вліятельныхъ сферъ; позже число отдѣльныхъ лицъ, готовыхъ служить ей словомъ и дѣломъ, увеличивается съ каждымъ годомъ—но до самаго конца не слабѣетъ противо-дѣйствіе служебной и помѣстной знати. Наконецъ, при свѣтѣ тяжкихъ уроковъ, необходимость рѣшительной мѣры становится очевидной: 19-е февраля 1861 года открываетъ собою новую эпоху русской исторіи. Такая громадная перемѣна не могла, однако, быть исчерпана и завершена однимъ законодательнымъ актомъ, какъ бы мудро онъ ни былъ задуманъ, какъ бы тщательно ни были отдѣланы его детали. Для того, чтобы „Положенія“ 19-го февраля могли дать все то, чего отъ нихъ ожидали, за ними должна была послѣдовать продолжительная, безостановочная работа, построенная на тѣхъ же основныхъ началахъ и проникнутая тѣмъ же духомъ. На самомъ дѣлѣ случилось не совсемъ то. Къ реформѣ, исполненіе которой было отдано не ея вдохновителямъ, а людямъ другого направленія и склада, сразу была поставлена точка. Крестьянскій вопросъ, въ продолженіе двухъ десятилѣтій, официально считался законченнымъ и навсегда разрѣшеннымъ. Ошибка была, наконецъ, понята, прерванное дѣло начато вновь—но не надолго: прежній застой вступилъ въ свои права и скоро уступилъ мѣсто обратному движенію. XX-й вѣкъ застаётъ крестьянскую массу юридически свободною, но все еще зависимою и неполноправною. Ея самоуправленіе имѣетъ все еще номинальный характеръ и даже въ этомъ видѣ не можетъ считаться обеспеченнымъ и прочнымъ. Отъ остальныхъ сословій она отдѣлена цѣлымъ рядомъ различій, изъ которыхъ всего больше бросаются въ глаза неизвѣстность отъ тѣлеснаго наказанія и приуроченность лица къ обществу, стѣсняющая свободу передвиженія и выборъ занятій. Матеріальному благосостоянію крестьянъ, подорванному еще въ эпоху отрицанія ихъ нуждъ (т. е. въ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годахъ) и недостаточно поднятому запоздалыми податными льготами (пониженіемъ выкупныхъ платежей, отмѣною подушной подати), нанесли тяжелый ударъ неурожайные годы, столь быстро слѣдовавшіе одинъ за другимъ въ концѣ вѣка. Постоянно растетъ бремя мірскихъ расходовъ, въ значительной мѣрѣ обусловливаемое именно замкнутостью сословія, органы котораго являются, *de facto*, низшими агентами государственной власти. Изъ этой же замкнутости проистекаетъ невозможность, на мѣстахъ, общей дѣятельности всѣхъ элементовъ населенія. Въ уѣздныхъ земскихъ собраніяхъ гласные отъ крестьянъ, послѣ реформы 1890 года, составляютъ незначительное меньшинство, далеко не свободное отъ тѣдно преодолимыхъ вліяній. Въ губернскія земскія собранія доступъ кре-

стыннамъ фактически почти закрыть. И вотъ, та преграда, которая стояла поперекъ пути въ 1801 г., оказывается все еще существующею, хотя и въ другомъ видѣ, и въ 1901-му году. Разница, и весьма важная, заключается въ томъ, что теперь далеко не такъ трудно очищеніе дороги. Крѣпостное право поддерживалось интересами, привычками, предразсудками высшихъ классовъ; устраненіе его требовало огромныхъ личныхъ и матеріальныхъ средствъ, которыхъ, въ моментъ смѣны столѣтій, не было на лицо,—да и полвѣка спустя найти ихъ, собрать и пустить въ ходъ стоило величайшихъ усилій. Ничего подобного мы не видимъ въ настоящую минуту. Идея равноправности сословій глубоко проникла въ умы. Къ совместной дѣятельности сословія привыкли въ земскихъ собраніяхъ, въ судѣ присяжныхъ. Необходимость всеобщаго, общедоступнаго обученія не составляетъ болѣе предмета спора; во многихъ мѣстахъ оно близко къ осуществленію. Грамотность разлилась такой широкой волной, что нельзя отказать народу въ средствахъ упрочить и расширить пріобрѣтенныя знанія. Случаи примѣненія тѣлеснаго наказанія (по приговорамъ волостныхъ судовъ) становятся все рѣже и рѣже, но тѣмъ острѣе впечатлѣніе, производимое каждымъ изъ нихъ. Платежъ налоговъ не рассматривается болѣе какъ удѣлъ „низшаго рода людей“; свобода отъ него не считается уже почетной привилегіей. Формы самоуправленія, основанныя на общности интересовъ *всего* мѣстнаго населенія, не вызываютъ тѣхъ возраженій, которыя дѣлаются противъ нынѣшнихъ крестьянскихъ (волостныхъ и сельскихъ) сходовъ. Все благопріятствуетъ, такимъ образомъ, возвращенію на путь, указанный „Положеніями“ 19-го февраля. Это—въ такой же мѣрѣ задача наступившаго столѣтія, въ какой отмѣна крѣпостного права была задачей XIX-го вѣка.

Другую язву до-реформенной Россіи была „черная неправда въ судахъ“, которую позъ—предшественникъ обновленія—не случайно поставилъ рядомъ съ „игомъ рабства“. Сто лѣтъ тому назадъ уничтоженіе ея было немислимо, не только потому, что нельзя было дать правый судъ безправной народной массѣ, но и потому, что слишкомъ мало было образованныхъ людей и слишкомъ крѣпко держалось предубѣжденіе противъ основныхъ началъ нормально организованнаго процесса. Нѣсколько десятилѣтій спустя, въ минуту высшаго напряженія государственныхъ и общественныхъ силъ, оба препятствія оказались устранимыми и дѣйствительно были устранены. Судебные уставы императора Александра II-го дали Россіи все то, о чемъ незадолго передъ тѣмъ, подъ страхомъ строгой кары, нельзя было и думать. Нашлись и люди для проведенія въ жизнь новыхъ началъ. Вскорѣ, однако, въ области суда совершается поворотъ однородный съ тѣмъ, о которомъ мы говорили выше. Исполненіе, и здѣсь недолго остававшееся

въ рукахъ инициаторовъ реформы, не только не пополняетъ ея пробловъ, но во многомъ идетъ прямо въ разрѣзъ съ ея существенными чертами. Ограничивается несмѣняемость судей, суживается кругъ дѣйствій суда присяжныхъ, останавливается въ своемъ развитіи самоуправленіе адвокатуры, судебная гласность ставится въ зависимость отъ усмотрѣнія, отменяется выборное начало, восстанавливается сліяніе судебной и административной власти. Въ этомъ обратномъ движеніи не замѣтно даже такихъ колебаній, какія наблюдаются въ исторіи крестьянскаго дѣла: въ нововведеніяхъ, касавшихся судебныхъ уставовъ, бывали остановки, перерывы, но не было перемѣны направленія. Нѣтъ ея и въ общемъ пересмотрѣ законоположеній по судебной части, предпринятомъ въ 1894 г. Проекты, являющіеся результатомъ этого пересмотра, не только закрѣпляютъ большую часть прежнихъ отступленій отъ духа судебной реформы, но уклоняются отъ него еще дальше, перенося, напримѣръ, часть слѣдственной власти въ руки полиціи (это—регрессъ даже въ сравненіи съ 1860-мъ годомъ), замѣняя выборныхъ почетныхъ судей назначенными, стирая послѣдніе слѣды мирового суда, уничтожая единство кассационной инстанціи... Въ связи съ измѣненіемъ текста уставовъ совершалась и перемѣна въ судебныхъ правахъ: измѣнялись или исчезали традиціи перваго періода жизни новаго суда, понижалось представленіе о цѣляхъ правосудія, ослабѣвала энергія въ служеніи имъ. Задачей, достойной новаго вѣка, было бы и здѣсь возвращеніе къ завѣтамъ эпохи реформъ, не въ смыслѣ повторенія или подражанія, а въ смыслѣ плодотворной работы, преемственно связанной съ лучшими страницами нашего прошлаго. Всѣ данныя для этого имѣются на лицо; нуженъ только толчокъ, нужно дуновеніе духа жизни, давно уже слабо чувствуемое—въ судебномъ мірѣ.

Первый годъ минувшаго вѣка принесъ съ собою восстановленіе правъ, дарованныхъ Екатериною II-ю дворянству и городамъ и отмененныхъ при Павлѣ I-мъ. Широко воспользоваться этими правами—насколько они имѣли не личный, а корпоративный характеръ,—дворянскія и городскія общества не могли ни при Александрѣ I-мъ, ни при его преемникѣ, отчасти потому, что эти права расходились съ общимъ строемъ и складомъ тогдашней жизни, отчасти потому, что мало было силъ, способныхъ къ общественной дѣятельности. Дворянскія собранія были не больше какъ избирательной машиной, дававшей продукты весьма сомнительнаго качества, городскія думы—пятымъ колесомъ въ тяжелой бюрократической повозкѣ. Болѣе реальныя, болѣе живыя формы самоуправления стали возможны только послѣ отмены крѣпостнаго права, послѣ отказа отъ старой вѣры въ единоспасающее дѣйствіе всесильной администраціи. Земское и Городовое Положенія, въ первоначальномъ ихъ видѣ, сыграли, въ этой

сферѣ, такую же роль, какъ уставы 20-го ноября въ судебномъ мірѣ. Аналогична была и ихъ дальнѣйшая участь. И здѣсь не было гармоніи между замысломъ и исполненіемъ; и здѣсь скоро начались частичныя передѣлки, нарушавшія первоначальный характеръ цѣлаго. Не остановились онѣ и тогда, когда произошла капитальная перестройка обоихъ зданій. „Положенія“ 1890 и 1892 гг. послужили исходной точкой для новыхъ мѣръ ограничительнаго свойства; послѣдніе изъ нихъ состоялись не дальше какъ въ истекшемъ году. Воскресаетъ, такимъ образомъ, предположеніе, что преимущество знанія, умѣнья и доброй воли—всегда на сторонѣ администраціи. На первый планъ, вмѣсто контроля, заключеннаго въ рамки закона, выдвигается ничѣмъ не связанное усмотрѣніе. Цѣлыя отрасли мѣстнаго хозяйства переходятъ обратно въ административное вѣдѣніе; судьба другихъ подвергается сомнѣнію и спору. Понятіе о начальствѣ и подчиненныхъ переносится туда, гдѣ для него еще недавно не было мѣста. Недовѣріе къ общественной самодѣятельности возводится на степень правила, едва допускающаго исключенія. Еще нѣсколько шаговъ въ томъ же направленіи—и самоуправленіе, земское и городское, будетъ существовать только по имени, напоминая собою „тѣневую жизнь“ (Schattenexistenz) до-реформенныхъ дворянскихъ и городскихъ обществъ. А между тѣмъ, въ противоположность этимъ обществамъ, оно соединяетъ въ себѣ всѣ данныя для настоящей жизни. Оно не разединено съ народной массой, не замкнуто въ небольшія группы, преслѣдующія только свои особые интересы; оно располагаетъ множествомъ разнообразныхъ силъ, готовыхъ, въ большинствѣ случаевъ, къ безвозмездному труду на общую пользу; оно доказало свою творческую способность, создавъ почти изъ ничего народную школу и народную медицину. Ни разу еще, съ тѣхъ поръ какъ оно призвано къ жизни, оно не дѣйствовало, вдобавокъ, при обстоятельствахъ вполнѣ благоприятныхъ; ни разу оно не было свободно отъ стѣсненій, обусловленныхъ, съ одной стороны, далекою отъ совершенства избирательной системой, съ другой—опасеніями и недоброжелательствомъ административной власти... Есть еще одно существенное различіе между началомъ XIX-го и началомъ XX-го в. Сто лѣтъ тому назадъ русское общество—кромѣ немногихъ отдѣльных лицъ—цѣнило и понимало только тѣ дары сверху, которыми обезпечивалась хоть нѣкоторая доля личной и имущественной неприкосновенности (напр. свободу отъ тѣлесныхъ наказаній, отъѣну пытки и конфискаціи); всѣ другіе оставляли его болѣе или менѣе инертнымъ и равнодушнымъ—и именно потому слабо прививались къ русской почвѣ. Совсѣмъ не то мы видимъ теперь. Значительная часть русскаго общества—или, лучше сказать, русскаго народа—жаждетъ дѣятельности, выходящей

изъ тѣснаго круга личныхъ интересовъ, потому что сознаетъ себя способной и, слѣдовательно, нравственно обязанной къ такой дѣятельности. Широкомъ поприщемъ для нея могло бы стать самоуправленіе, возвращенное на путь нормальнаго его развитія.

Другая арена, влекущая къ себѣ пробужденную общественную мысль, это—печать, въ особенности печать періодическая. Въ 1801 г. она существовала у насъ только въ зародышѣ, встрѣчая то поощреніе, то недовѣріе сверху и очень слабую поддержку снизу. Долго, очень долго она зрѣла въ тиши, среди препятствій всякаго рода—и, какъ только ослабѣло недовѣріе, оказалась неожиданно богатой талантами и силами. Законъ 6-го апрѣля 1865 г. былъ первой и до сихъ поръ единственной попыткой опредѣлить ея права и дать имъ прочную охрану. Подобно всѣмъ другимъ реформамъ того времени, онъ недолго просуществовалъ въ своемъ первоначальномъ видѣ; перемѣны начались здѣсь также скоро, оставили неприкосновеннымъ очень немного—и наиболѣе крупныя и рѣшительныя изъ нихъ относятся къ послѣднимъ десятилѣтіямъ XIX-го вѣка. Каково, въ настоящую минуту, юридическое положеніе русской печати—объ этомъ мы говорили часто и много; напомнимъ только, что отъ администраціи зависитъ по прежнему основаніе періодическаго изданія, а также и дальнѣйшая его судьба. Оно можетъ быть вовсе не допущено или пріостановлено на извѣстное время (отказомъ въ утвержденіи новаго издателя или редактора) и прекращено вовсе. Въ своей первоначальной, формѣ предварительная цензура существуетъ до сихъ поръ для всей почти провинціальной печати и для многихъ столичныхъ періодическихъ изданій. Изъятію изъ обсужденія въ печати подлежитъ каждый предметъ, касающійся и мелкой „злобы дня“, и важнаго государственнаго вопроса. Судебное преслѣдованіе проступковъ печати по закону 6-го апрѣля было общимъ правиломъ; на практикѣ оно примѣняется только по жалобамъ частныхъ лицъ.

Такимъ образомъ, задачи печати, растущія въ глубь и ширь по мѣрѣ усложненія жизни осуществляются далеко не вполне и далеко не такъ, какъ это, можетъ быть, было бы возможно при данномъ уровнѣ общественнаго развитія, и въ какомъ положеніи печать находится въ другихъ западныхъ государствахъ,—хотя бы, напримѣръ, въ сосѣдней съ нами Пруссіи.

Подобное представляют собою и наши ученые и просвѣтительныя общества. Сто лѣтъ тому назадъ и они только-что вступали въ жизнь, робкими, неувѣренными шагами, подъ властнымъ покровительствомъ, рѣдко уступавшимъ мѣсто противоположному настроенію. Характеренъ былъ, съ этой точки зрѣнія, эпитетъ *вольный*, примѣнявшійся тогда къ *частнымъ* обществамъ и учрежденіямъ (вольное экономическое общество, вольное руссiйское собраніе, вольныя типографіи); онъ какъ бы заключалъ въ себѣ признаніе, что необходима также и свободная—личная или коллективная—иниціатива, дополняющая собою неизбежныя пробѣлы официальной дѣятельности. Долго, однако, работа болѣею части обществъ оставалась скудною количественно и качественно, какъ потому, что мало было подготовленныхъ къ ней силъ, такъ и подъ вліяніемъ духа времени, не всегда благопріятствовавшего широкимъ начинаніямъ. Порою расцвѣта была и здѣсь эпоха великихъ реформъ: только она сдѣлала возможнымъ самое появленіе такихъ обществъ, какъ, напримѣръ, юридическія, историческія ¹⁾, педагогическія и т. п. Численный ростъ обществъ не остановился и теперь, но въ послѣднее время минувшаго вѣка встрѣчаются случаи перерыва въ жизни обществъ или совершеннаго ихъ закрытія. Примѣры того представляютъ комитеты грамотности (петербургскій и московскій), вольное экономическое общество, московское юридическое общество, тамбовское общество устройства народныхъ чтеній и др.

Вступивъ въ XIX-й вѣкъ съ двумя университетами, Россія выходитъ изъ него съ девятью, къ которымъ примыкаетъ длинный рядъ другихъ высшихъ учебныхъ заведеній. Еще сильнѣе выросла средняя школа (въ 1800 г. во всей Россіи было только *три* гимназій). Русская начальная школа—также почти всецѣло созданіе XIX-го вѣка; низшихъ училищъ, въ послѣдній годъ царствованія императора Павла I-го, было всего 315, а учащихся въ нихъ—менѣе 20 тысячъ (т.-е. меньше, чѣмъ теперь въ начальныхъ школахъ одного Петербурга). Менѣе утѣшительна картина, представляемая внутренней исторіей народнаго образованія. Что университетскій уставъ 1884 года составляетъ, во многихъ отношеніяхъ, шагъ назадъ сравнительно съ уставами 1863 и даже 1835 г.—это слишкомъ хорошо извѣстно; извѣстно также и то, насколько гимназія гр. Уварова выше гимназій гр. Д. А. Толстого. Въ области начальнаго обученія не было явнаго ре-

¹⁾ Уже съ 1805 г. существовало, правда, московское общество исторіи и древностей руссiйскихъ, но до шестидесятихъ годовъ дѣятельность его сводилась почти всецѣло къ изданію древнихъ историческихъ памятниковъ—да и то напечатаніе одного изъ нихъ (сочиненія Флетчера) имѣло въ 1848 г. весьма непріятныя послѣдствія для секретаря общества, О. М. Бодянского.

пресса, но и здѣсь, въ послѣднее время, многое тормазится недовѣріемъ къ земству и земской школѣ. Сосредоточеніемъ такъ-называемыхъ школъ грамоты въ вѣдѣніи духовенства замедлено движеніе, возникшее благодаря признанію за ними права на существованіе (извѣстнымъ распоряженіемъ барона Николаи). Не устранены, до сихъ поръ, и условія, мѣшающія развитію внѣ-школьнаго образованія... Первымъ десятилѣтіемъ XX-го вѣка суждено, быть можетъ, увидѣть въ Россіи всеобщее начальное обученіе; но всѣ плоды свои это великое приобрѣтеніе дастъ только тогда, когда народное образованіе перестанетъ считаться синонимомъ грамотности въ тѣсномъ смыслѣ слова.

Знаменуя собою, во всѣхъ областяхъ государственной жизни, движеніе впередъ или, по меньшей мѣрѣ, сознаніе необходимости движенія, начало XIX-го вѣка принесло съ собою первые проблески истинной вѣротерпимости. Глубокое значеніе сохраняетъ до сихъ поръ указъ 27-го ноября 1801 года: „и разумомъ, и опытомъ дознано, что умственные заблужденія простого народа, преніями и нарядными увѣщаніями въ мысляхъ его углубляясь, единымъ забвѣніемъ, добрымъ примѣромъ и терпимостью мало-по-малу изглаждаются и исчезаютъ... Увѣщанія духоворцевъ никакъ не должны имѣть видъ допросовъ, состязаній и открытаго образу мыслей ихъ насилія, но должны сами собою и непримѣтно изливаться къ нимъ изъ добрыхъ правовъ духовенства, изъ жизни ихъ, изъ поступковъ и наконецъ изъ непринужденныхъ, къ случаю и съ видомъ ненамѣренности направленныхъ на ихъ положеніе разговоровъ“. Основнымъ мыслямъ, выраженнымъ въ этомъ указѣ, императоръ Александръ I-ый оставался вѣрнымъ даже во второй половинѣ своего царствованія; это доказывается, напримѣръ, другимъ указомъ о духоворцахъ, состоявшимся 9-го декабря 1816 года, и правилами 26-го марта 1822 года, разрѣшавшими раскольникамъ имѣть свои молитвенные дома и обязывавшими ихъ поповъ вести метрическія книги. Прямо противоположнымъ духомъ отличались всѣ мѣропріятія слѣдующаго царствованія. Для раскола даже эпоха великихъ реформъ принесла мало облегченій; смягчился, конечно, образъ дѣйствій администраціи, но юридически положеніе раскольниковъ было улучшено—и то больше на бумагѣ, чѣмъ на самомъ дѣлѣ,—лишь закономъ 17-го апрѣля 1874 года (о раскольниковскихъ метрическихъ книгахъ). Кульминаціоннаго своего пункта преобразовательное движеніе достигло въ этой области позже, чѣмъ въ какой бы то ни было другой: только 3-го мая 1883 года законено, и то съ весьма существенными оговорками, существованіе раскольниковскихъ моленныхъ. Вскорѣ послѣ того вступило въ силу обратное теченіе, наиболѣе яркимъ выраженіемъ котораго служить запрещеніе (въ 1894 г.) молитвенныхъ собраній штундистовъ. Въ

концѣ концовъ, вѣроисповѣдный вопросъ въ Россіи стоитъ, при вступленіи въ XX-ый вѣкъ, приблизительно на той же точкѣ, на которой застало его XIX-ое столѣтіе. Возстановлены въ полной силѣ правила о смѣшанныхъ бракахъ, одно время отмѣненные для остзейскихъ губерній. Цѣлый рядъ процессовъ на западныхъ и восточныхъ окраинахъ показалъ, что однажды присоединенный къ православію или родившійся отъ православныхъ (или числившихся православными) родителей считается навсегда принадлежащимъ къ православной церкви, какія бы ни были его настоящіе вѣрованія.

XX-ый вѣкъ, какъ и XIX-ый, застаеъ Россію передъ кодификационными задачами. Въ одномъ отношеніи онъ теперь не представляетъ прежнихъ затрудненій. Сто лѣтъ тому назадъ была неясна даже отправная точка кодификаціи: не было приведено въ извѣстность и порядокъ дѣйствующее законодательство. Мало, очень мало было и людей, способныхъ хотя бы къ первому фазису работы. Изданіемъ Свода Законовъ было устранено одно изъ этихъ препятствій, широкимъ распространеніемъ юридическаго образованія—другое. Уложеніе о наказаніяхъ 1845 года было первымъ изъ кодексовъ, составленіе которыхъ сдѣлалось возможнымъ благодаря своду—но, суровое до жестокости, казуистичное, устарѣлое въ самый моментъ своего появленія, оно было скорѣе преградой, чѣмъ точкой опоры для развитія нашего уголовного законодательства. Болѣе свѣжимъ воздухомъ повѣяло въ уставѣ о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями; не даромъ же онъ былъ соединенъ въ одно цѣлое съ судебными уставами. Логическимъ результатомъ этой частичной реформы долженъ былъ быть общій пересмотръ уголовныхъ законовъ—но къ нему долго не приступали. Начатое, наконецъ, въ 1882 г., составленіе новаго уголовного уложенія потребовало цѣлыхъ тринадцати лѣтъ—а объ окончательномъ его утвержденіи все еще ничего не слышно. Гораздо болѣе сложной и трудной представляется другая работа, также принятая въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ—составленіе гражданского уложенія. Неудивительно, что она до сихъ поръ не приведена къ концу—но тревожнымъ признакомъ, заставляющимъ сомнѣваться въ ея успѣхѣхъ, кажется намъ масса сильныхъ возраженій, которыми встрѣчены отдѣльныя ея части, появившіяся въ печати. Уложеніе, регулирующее гражданскій бытъ многомилліоннаго народа, не можетъ быть дѣломъ однихъ профессиональныхъ юристовъ. Было бы настоящимъ чудомъ, еслибы ихъ кабинетный трудъ оказался соответствующимъ разнообразнымъ требованіямъ жизни—и это чудо не совершилось. Не настала еще, очевидно, комбинація условій, благоприятная для творческой кодификаціонной работы—не настала какъ потому, что не отошли въ прошедшее теченія, враждебныя широкимъ реформамъ,

такъ и потому, что общество остается въ сторонѣ отъ преобразованій, затрагивающихъ всѣ основы общественной и частной жизни.

Ни въ чемъ, быть можетъ, не выражается такъ ярко и сходство, и различіе между занимающими насъ историческими моментами, какъ въ положеніи вопроса о законѣ и законности. Само собою разумѣется, что среди общества — и даже среди народа — законность, благодаря, въ особенности, первому періоду дѣятельности новыхъ судовъ, понимается теперь гораздо лучше и цѣнится гораздо больше, чѣмъ сто лѣтъ тому назадъ; но это не мѣшаетъ распространенію и усиленію противоположнаго взгляда, такъ ярко отразившагося, напримѣръ, въ сужденіяхъ о судейской несмѣняемости, приведенныхъ въ нашемъ предыдущемъ обзорѣ. Въ началѣ XIX-го вѣка идея законности, слабо усвоенная общественнымъ сознаниемъ, въ правительственныхъ сферахъ была возведена на степень аксіомы, безъ всякихъ оговорокъ и ограниченій. „Въ благоустроенномъ государствѣ“ — читаемъ мы въ манифестѣ 2-го апрѣля 1801 года, уничтожившемъ тайную экспедицію, — „всѣ преступленія должны быть объемлемы, судимы и наказуемы общою силою закона“. Въ указѣ 5-го іюня того же года выражено намѣреніе „поставить права и преимущества Прав. Сената на незыблемомъ основаніи, какъ государственный законъ“, который императоръ, „силою данной ему отъ Бога власти, потщится подкрѣплять, сохранять и содѣлать на вѣки непоколебимымъ“. Въ рескриптѣ на имя гр. Завадовскаго, поставленнаго, тогда же, во главѣ вновь учрежденной коммисіи о составленіи законовъ, особенно выдаются слѣдующія слова: „Поставляя въ единомъ законѣ начало и источникъ народнаго благосостоянія и бывъ удостовѣренъ въ той истинѣ, что всѣ другія мѣры могутъ сдѣлать въ государствѣ счастливыя времена, но одинъ законъ можетъ утвердить ихъ на вѣки, въ самыхъ первыхъ дняхъ царствованія моего и при первомъ обзорѣ государственнаго управленія призналъ я необходимымъ удостовѣриться въ настоящемъ части сей положеніи. Я всегда зналъ, что съ самаго изданія уложенія до дней нашихъ законы, истекая отъ законодательной власти различными и часто противоположными путями и бывъ издаваемы болѣе по случаямъ, нежели по общимъ государственнымъ соображеніямъ, не могли имѣть ни связи между собою, ни единства въ ихъ намѣреніяхъ, ни постоянности въ ихъ дѣйствіи. Отсюда всеобщее смѣшеніе правъ и обязанностей каждаго, мракъ, облегающій равно судью и подсудимаго, бѣзсиліе законовъ въ ихъ исполненіи и удобность перемѣнить ихъ по первому движенію прихоти или самовластия“... Краснорѣчивымъ комментариемъ къ этому рескрипту служить письмо Александра I-го къ кн. Голицыной, отъ 7-го августа 1801 г., написанное по поводу

просьбы кн. Голицыной остановить взысканіе долговъ ея мужа ¹⁾. „Какъ скоро я себя дозволю нарушить законы“—пишетъ императоръ,— „кто тогда почтетъ за обязанность наблюдать ихъ? Быть выше ихъ, еслибы я могъ, но конечно бы не захотѣлъ, ибо я не признаю на землѣ справедливой власти, которая бы не отъ закона истекала; напротивъ, я чувствую себя обязаннымъ первѣе всѣхъ наблюдать за исполненіемъ его, и даже въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ другіе могутъ быть снисходительны, а я могу быть только правосуднымъ“. Прибавлять къ этимъ словамъ нечего: они говорятъ сами за себя. Возможенъ, пожалуй, споръ о томъ, были ли они своевременны въ 1801 году; но это вопросъ чисто историческій—а насъ интересуетъ преимущественно настоящая минута... Что всякое нарушение закона чувствуется теперь гораздо болѣзненнѣе и сильнѣе, чѣмъ сто лѣтъ тому назадъ—это можно доказать однимъ примѣромъ. Въ началѣ XIX-го вѣка тѣлесное наказаніе, во всѣхъ его видахъ и формахъ, было явленіемъ ежедневнымъ, зауряднымъ, можно сказать нормальнымъ. Практиковалось оно и на основаніи закона, и помимо закона, и вопреки закону, обращая на себя нѣкоторое вниманіе развѣ тогда, когда очень ужъ трагичны были его послѣдствія. Среди уголовныхъ каръ, среди средствъ полицейской расправы, среди орудій помѣщичьей власти, среди „воспитательныхъ“ мѣръ въ семьѣ и школѣ оно занимало первое, никѣмъ не оспариваемое мѣсто. Только въ 1801 г. прекратилось примѣненіе его, по суду, къ лицамъ высшихъ сословій—дворянамъ и духовнымъ. Наше время представляетъ, съ этой точки зрѣнія, совершенно другую картину. Изъ числа общихъ уголовныхъ каръ тѣлесное наказаніе давно уже исключено. Примѣненіе его волостными судами становится все болѣе и болѣе рѣдкимъ; во многихъ мѣстностяхъ оно прекратилось совершенно. Между крестьянами все больше и больше насчитывается людей, рассматривающихъ его какъ несмыслимый позоръ. Въ школахъ, не исключая сельскихъ, оно встрѣчается лишь какъ злоупотребленіе. Исполненіе приговоровъ на площадяхъ—нѣчто такое, о чемъ не только молодежь, но и люди средняго возраста знаютъ только по преданію. Нетрудно понять, въ виду всего этого, какое впечатлѣніе должны производить внѣ-законныя публичныя экзекуціи, происходящія иногда въ деревняхъ и городахъ послѣ такъ-называемыхъ волненій и беспорядковъ. Номинальная ихъ цѣль—возстановленіе порядка, но пускаются онѣ въ ходъ только тогда, когда порядокъ уже возстановленъ, и представляютъ собою настоящую кару, часто же-

¹⁾ Письмо это напечатано въ „Русской Старинѣ“ 1870 г., т. I, стр. 44; мы цитируемъ его по извѣстной книгѣ Н. К. Шильдера: „Императоръ Александръ Первый. Его жизнь и царствованіе“ (т. II, стр. 22).

стокою, еще чаще незаслуженную, одинаково унижительную для распорядителей и исполнителей, для свидѣтелей и для самихъ истязуемыхъ—и, въ добавокъ, не освобождающую отъ слѣдствія и предварительнаго ареста, отъ суда и наказанія по суду, вопреки основному началу правосудія: *non bis in idem*. Основываясь на благополучномъ, съ нашей точки зрѣнія, исходѣ недавнихъ одесскихъ безпорядковъ, мы выразили надежду, что XX-ый вѣкъ не увидитъ больше подобныхъ явленій ¹⁾; но, судя по дошедшимъ до насъ слухамъ, еще не вездѣ принять за правило образъ дѣйствій, возможность и цѣлесообразность котораго доказалъ примѣръ Одессы. Мы все-таки продолжаемъ вѣрить, что прекращеніе внѣ-законной расправы—вопросъ близкаго времени. Она исчезнетъ само собою, какъ только законъ получить у насъ подобающее значеніе и силу—то значеніе и ту силу, которыя признавались за нимъ въ 1801 г. и которыя составляютъ далеко не единственное, но безусловно необходимое условіе правильнаго развитія государственной и народной жизни.

Около года тому назадъ ²⁾ мы перепечатали въ нашемъ внутреннемъ обозрѣніи заключеніе комиссіи, выбранной московскимъ губернскимъ земскимъ собраніемъ для разработки вопроса о взаимныхъ отношеніяхъ губернскаго и уѣздныхъ земствъ. Въ средѣ собранія это заключеніе вызвало горячій споръ и было передано на предварительное разсмотрѣніе уѣздныхъ собраній (и московской городской думы). Между уѣздными собраніями также произошло разногласіе: шесть изъ нихъ высказалось противъ заключенія комиссіи, три (и московская городская дума) приняли его всецѣло, два—съ нѣкоторыми оговорками, два не высказались по существу вопроса, при чемъ одно изъ нихъ объяснило, что признаетъ его касающимся исключительно губернскаго земства ³⁾. 8-го минувшаго декабря, послѣ двухдневныхъ преній, московское губернское земское собраніе, отчасти единогласно, отчасти значительнымъ большинствомъ голосовъ приняло заключеніе комиссіи, внося въ него только небольшія поправки. Мы приведемъ буквально только тѣ два пункта, на которыхъ сосредоточивался споръ. Первоначальная редакція пункта 4-го заключенія комиссіи гласила такъ: губернское земство (при осуществленіи общей ему съ уѣздными земствами задачи попеченія о матеріальномъ и духовномъ благосо-

¹⁾ См. Внутр. Обозрѣніе въ № 11 „Вѣстника Европы“ за 1900 г.

²⁾ См. № 2 „Вѣстника Европы“ за 1900 г., стр. 809.

³⁾ Мы не понимаемъ, какимъ расчетомъ руководствуются „Московскія Вѣдosti“, утверждая, что противъ заключенія комиссіи оказался „численный пересъ“ уѣздныхъ земствъ. Шесть изъ четырнадцати—не большинство.

стояніи мѣстнаго населенія) „должно руководствоваться обдуманнѣмъ систематическимъ планомъ и опредѣленными правилами, соблюденія которыхъ оно можетъ требовать отъ уѣздовъ, какъ условія выдаваемыхъ имъ пособій“. Въ окончательной редакціи этого пункта, принятой большинствомъ 48 голосовъ противъ 27, подчеркнуты выше слова получили слѣдующую форму: „и выдавать разнаго рода пособія изъ губернскихъ средствъ не иначе, какъ при соблюденіи условий, устанавливаемыхъ правилами, вырабатываемыми губернскимъ земскимъ собраніемъ относительно назначенія и расходованія этихъ пособій“. Нетрудно замѣтить, что разница между обѣими редакціями—чисто формальная. Ничего не измѣняетъ въ смыслѣ пункта 4-го и принятое, по большинству голосовъ, примѣчаніе къ нему: „въ правилахъ, общихъ планахъ и основныхъ положеніяхъ, вырабатываемыхъ губернскимъ земствомъ, не должно быть слишкомъ детальной регламентаціи, могущей поставить ихъ въ несоотвѣтствіе съ мѣстными условіями уѣздовъ“. Это—указаніе совершенно правильное, но оно разумѣлось само собою: „детальная регламентація“, вредная вездѣ и всегда, совершенно непримѣнима къ такимъ самостоятельнымъ единицамъ, какъ уѣздныя земства. Другой спорный пунктъ, 7-ой, принять (большинствомъ всѣхъ голосовъ противъ 27) безъ всякихъ измѣненій. Содержаніе его слѣдующее: „въ случаяхъ столкновенія интересовъ и возраженій противъ установленнаго губернскимъ земствомъ со стороны одного или нѣсколькихъ уѣздныхъ земствъ слѣдуетъ: 1) тщательно обсудить, не вытекаютъ ли эти возраженія изъ мѣстныхъ условий, которыя необходимо принять во вниманіе, и 2) въ необходимыхъ случаяхъ подвергнуть пересмотру весь общій планъ, но не допускать произвольныхъ отступленій отъ даннаго случая“.

Вникнувъ въ смыслъ обоихъ пунктовъ, составлявшихъ главный предметъ спора, трудно понять, изъ-за чего было поднято столько шума, высказано столько опасеній. Никакихъ законодательныхъ вопросовъ программа дѣйствій, утвержденная московскимъ губернскимъ земскимъ собраніемъ, не возбуждаетъ и не разрѣшаетъ; никакихъ принципиальныхъ перемѣнъ въ отношенія между земствами уѣздными и губернскимъ она не вноситъ. Нѣтъ, думается намъ, такого губернскаго земства, которое не приходило бы, въ томъ или другомъ, на помощь уѣзднымъ земствамъ—и немного найдется случаевъ, въ которыхъ эта помощь оказывалась бы зря, сегодня такъ, завтра иначе, въ зависимости отъ колеблющихся настроеній. Нѣкоторая неопредѣленность возможна здѣсь лишь до тѣхъ поръ, пока размѣры помощи невелики и случаи ея рѣдки; но чѣмъ прочтѣе и многостороннѣе становится связь между земствами, чѣмъ больше раздвигается область ихъ взаимодѣйствія, тѣмъ живѣе чувствуется потребность въ установленіи твердыхъ на-

часть, съ которыми всегда могли бы сообразоваться обѣ стороны. Для уѣздныхъ земствъ важно знать, въ какой мѣрѣ и при какихъ условіяхъ они могутъ рассчитывать на поддержку губернскаго земства, для послѣдняго—какіе запросы могутъ предъявить къ нему уѣздныя земства. Совершенно естественно, что раньше всего эта потребность должна была возникнуть въ московскомъ губернскомъ земствѣ, располагающемъ обширными средствами и привышемъ широко пользоваться ими на пользу уѣздовъ. Отсюда появленіе *плана*, ничего, въ сущности, не создающаго вновь, но систематизирующаго постепенно и неизбежно сложившіеся обычаи. По справедливому замѣчанію председателя московской губернской земской управы, Д. Н. Шипова, здѣсь нѣтъ ничего похожаго ни на „просвѣщенный деспотизмъ“, ни на „бюрократическій социализмъ“; есть только основы для коллективной работы, основанной на взаимномъ соглашеніи. Насколько плодотворна такая работа — обѣ этомъ краснорѣчиво свидѣтельствуетъ тотъ фактъ, что, благодаря ей, московская губернія стоитъ на порогѣ всеобщаго обученія, въ нѣкоторыхъ уѣздахъ уже переходящаго или перешедшаго въ дѣйствительность ¹⁾. Не этимъ ли объясняются громы, которые мечутъ въ московское земство представители обскурантизма въ московской печати? Особенное раздраженіе вызываетъ въ нихъ образъ дѣйствій гласныхъ отъ города Москвы, и на этотъ разъ примкнувшихъ къ защитникамъ „земской централизаціи“,—т.-е., называя предметъ его настоящимъ именемъ, широкой земской инициативы. Уполномоченные Москвы въ губернскомъ собраніи слишкомъ далеки отъ „интересовъ колокольни“, чтобы охранять городской карманъ въ ущербъ населенію губерніи. Что процвѣтаніе послѣдняго не безразлично для Москвы — обѣ этомъ мы говорили много разъ ²⁾ и считаемъ излишнимъ возвращаться къ давно исчерпанной темѣ.

Крайне странные комментаріи постановленіе московскаго губернскаго земскаго собранія вызвало въ одной изъ петербургскихъ газетъ ³⁾, общее отношеніе которой къ земству не можетъ быть названо враждебнымъ. Въ стремленіяхъ однородныхъ съ тѣмъ, которое одержало верхъ въ московскомъ губернскомъ земскомъ собраніи, газета видитъ „покушеніе захватить земство, какъ союзъ всѣхъ сословій, во власть одного привилегированнаго сословія (т.-е. дворянства, къ которому принадлежатъ почти всѣ губернскіе гласные) и подъ команду земской бюрократіи“. Этому „покушенію“ противопоставляются попытки установить болѣе тѣсную связь между земствомъ и массою населенія,

¹⁾ См. Внутр. Обзорѣніе въ № 5 „Вѣстника Европы“ за 1896 г.

²⁾ См., напр., Внутреннее Обзорѣніе № 2 „Вѣстника Европы“ за 1900 г., по поводу полемики между Б. Н. Чичеринимъ и В. И. Герье.

³⁾ См. статью: „Земство и его друзья“ въ № 8909 „Новаго Времени“.

посредствомъ созданія мелкой земской единицы. Въ современной земской жизни происходитъ, будто бы, „борьба около дилеммы: или усиленіе уѣзднаго земства, въ болѣе или менѣе мѣрѣ сохраняющаго всесословный характеръ, или поглощеніе его губернскимъ, съ бюрократическими органами и пріемами дѣйствія“. Эта дилемма существуетъ только въ воображеніи газеты. Къ расширенію круга дѣйствій губернскаго земства, путемъ совмѣстной его работы съ уѣздными, направлены усилія губернскихъ собраній, весьма различныхъ по своему составу. Въ московскомъ губернскомъ земскомъ собраніи, какъ и во всѣхъ вообще губернскихъ земствахъ центральной Россіи, безспорно преобладаетъ элементъ дворянскій; въ вятскомъ губернскомъ собраніи онъ столь же безспорно не играетъ никакой роли—а между тѣмъ въ занимающемъ насъ вопросѣ оба собранія совершенно солидарны между собою. Земскія собранія тѣмъ и хороши, что принадлежность къ тому или другому сословію не имѣетъ здѣсь рѣшающаго значенія. Гласные группируются не по сословіямъ, а по симпатіямъ и взглядамъ. Кто же стоитъ обыкновенно за совмѣстную работу губернскаго земства и уѣздныхъ—тѣ ли гласные, которые вносятъ въ земство извѣстную долю сословной окраски, или тѣ, которые отъ нея по возможности свободны? Безъ сомнѣнія—послѣдніе. Съ особенною ясностью это выразилось въ преніяхъ о всеобщемъ обученіи, происходившихъ въ губ. собраніяхъ тамбовскомъ и харьковскомъ. Не даромъ же и въ печати главными противниками губернскихъ земствъ являются органы, всегда и во всемъ отстаивающіе узко-сословные интересы; не даромъ же борьба въ самихъ земствахъ завязывается, болѣею частью, на почвѣ расширенія школьной сѣти, въ которомъ заинтересована народная масса и за которое стоятъ защитники широкой инициативы губернскаго земства. Видѣтъ въ движеніи, охватившемъ губернскія собранія, продуктъ и отраженіе сословности, значитъ, по нѣмецкой поговоркѣ, *die Sache auf den Kopf stellen* (въ вольномъ переводѣ — опрокидывать истину). Нѣтъ, дальше, ничего несовмѣстимаго въ расширеніи круга дѣйствій губернскаго земства и созданіи мелкой земской единицы; наоборотъ, оба стремленія идутъ, обыкновенно, рука объ руку, исходятъ отъ однихъ и тѣхъ же лицъ или „партій“ (въ земскомъ смыслѣ этого слова). Возможно лучшая организація земства представляется, сплошь и рядомъ, въ слѣдующемъ видѣ: внизу—самоуправляющаяся мелкая единица, привлекающая къ участію въ мѣстныхъ дѣлахъ *ест* элементы мѣстнаго населенія; по срединѣ — уѣздное земство (съ болѣе многочисленными и болѣе самостоятельными, чѣмъ теперь, представителями крестьянства), приходящее на помощь волостямъ во всемъ томъ, что для нихъ непосильно; вверху—губернское земство измѣненное въ своемъ составѣ

соотвѣтственно измѣнившемуся составу уѣздныхъ земствъ и играющее по отношенію къ послѣднимъ такую же роль, какую они играютъ по отношенію къ мелкимъ территоріальнымъ единицамъ... Что касается до „земской бюрократіи“, то съ этимъ „страшнымъ словомъ“ мы уже встрѣчались и говорить о немъ подробно теперь не видимъ надобности, тѣмъ болѣе, что къ спорному вопросу оно притянато совершенно искусственно. Между расширеніемъ круга дѣйствій губернскаго земства и увеличеніемъ „земской бюрократической арміи“ нѣтъ неразрывной, необходимой связи. Выдача губернскимъ земствомъ пособій на устройство школъ вовсе, напримѣръ, не требуетъ приглашенія новыхъ служащихъ: завѣдываніе субсидируемыми школами принадлежитъ уѣздному земству на тѣхъ же основаніяхъ и въ тѣхъ же предѣлахъ, какъ и завѣдываніе школами не-субсидируемыми, и губернскому земству не нужно особыхъ агентовъ, чтобы переслать въ уѣздъ назначенную сумму и удостовѣриться въ соблюденіи опредѣленныхъ условій. Совершенно неудачной кажется намъ, поэтому, и эта новая попытка бросить палку подъ земскія колеса, и безъ того встрѣчающія на своемъ пути немало разнообразныхъ препятствій.



ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ

1 января 1901.

Политическое настроеніе въ Европѣ.—Воинственные порывы и оппозиціонная практика въ Англіи.—Китайскій кризисъ.—Положеніе дѣлъ во Франціи.—Событія въ другихъ странахъ за истекшій годъ.

Первый годъ двадцатаго вѣка начинается при обстоятельствахъ довольно печальныхъ. Кровопролитная война въ южной Африкѣ, объявленная уже официально оконченною, въ дѣйствительности не только не приходитъ къ концу, но принимаетъ все болѣе ожесточенный, разрушительный характеръ. Самыя худшія стороны національнаго шовинизма возродились въ Англіи, къ общему недоумѣнію всѣхъ сторонниковъ мира въ Европѣ, и—что удивительнѣе всего—этотъ воинственный пылъ англичанъ производитъ какое-то сдерживающее впечатлѣніе на континентальныя державы, заставляя ихъ какъ бы избѣгать малѣйшей тѣни несогласія съ британскою дипломатіею. Исключительное господство права силы въ международныхъ отношеніяхъ вновь провозглашается какъ единственный обязательный принципъ практической политики; этотъ же принципъ беспощадно примѣняется и къ китайскому кризису, который запутывается все болѣе и болѣе, благодаря близорукости европейскихъ представителей въ Пекинѣ. Скудость руководящихъ политическихъ идей прикрывается громкими словами и фразами, рассчитанными на возбужденіе инстинктовъ недоброжелательства и недовѣрія между народами. „Имперіализмъ“ въ Англіи и Сѣверной Америкѣ, „міровая политика“ въ Германіи—представляютъ лишь новыя формулы для стараго содержанія—стремленія къ завоеваніямъ, погони за внѣшнимъ успѣхомъ и могуществомъ путемъ соперничества и борьбы. Гагская конференція, съ ея возвышенными цѣлями и начинаніями, прошла, повидимому, безслѣдно и не оказала замѣтнаго вліянія на господствующее направленіе въ ходѣ международныхъ дѣлъ.

Побѣда надъ южно-африканскими республиками обошлась Англіи чрезвычайно дорого не только въ матеріальномъ отношеніи, но и въ нравственномъ, и въ политическомъ. Война стоила уже англичанамъ до 60 тысячъ человекъ, погибшихъ отъ оружія и болѣзней, и свыше 85 милліоновъ фунтовъ стерлинговъ деньгами (около 800 милліоновъ рублей). И что достигнуто этими огромными жертвами и усиліями?

Полное разореніе обширныхъ областей, занятыхъ бозрами, опустошеніе городовъ и фермъ, уничтоженіе хозяйства многихъ тысячъ мирныхъ жителей, обостреніе вражды между двумя главными элементами культурнаго населенія въ южной Африкѣ, упадокъ мѣстной торговли и промышленности. Территоріи Трансвааля и Оранжевой республики, присоединенныя къ британскимъ владѣніямъ, долго еще будутъ тяжелымъ бременемъ для Англіи, поглощая громадныя суммы на военную администрацію и не давая ничего взамѣнъ; расходы на одно полицейское управленіе, введенное въ Трансвааль генераломъ Бадень-Поуэллемъ, равняются почти всему государственному бюджету республики при президентѣ Крюгерѣ. Англійское правительство вынуждено, сверхъ того, дѣлать большія затраты для удовлетворенія волонтеровъ, недовольныхъ оставленіемъ ихъ вдали отъ родины на болѣе продолжительный срокъ, чѣмъ предполагалось первоначально; особыя денежныя награды назначены всѣмъ солдатамъ и офицерамъ, въ размѣрѣ отъ 5 фунтовъ стерлинговъ каждому и до 2.500 фунтовъ, выпадающихъ на долю главнокомандующаго. Фельдмаршалъ Робертсъ долженъ получить еще сто тысячъ фунтовъ стерлинговъ (немногимъ менѣе милліона рублей) отъ парламента, въ видѣ національнаго дара. Англичане привыкли щедро оплачивать военные и государственныя заслуги, и вообще они не стѣсняются средствами, когда дѣло идетъ о какомъ-либо крупномъ завоевательномъ предпріятіи. Финансовое богатство Англіи позволяетъ ей въ теченіе болѣе года вести трудную войну за океаномъ, не прибѣгая къ займамъ; несомнѣнно также, что одна только Англія могла, не разоряя себя, послать въ другую часть свѣта армію въ двѣсти-тысячъ человекъ и содержать эти наемныя войска съ такимъ комфортомъ, о какомъ и не мечтаютъ солдаты другихъ націй. Британскіе патріоты съ гордостью указываютъ на эти проявленія могущества и богатства своей страны; но очень многіе изъ англичанъ вѣроятно предпочли бы, чтобы величіе имперіи выразилось въ другихъ формахъ, не связанныхъ съ опустошеніемъ чужихъ земель и съ потерями десятковъ тысячъ человѣческихъ жизней.

Нельзя отрицать, что нравственная репутація Англіи сильно пострадала подъ вліяніемъ послѣдней войны. Непріязненное отношеніе къ англичанамъ обнаруживалось ясно и рѣзко даже тамъ, гдѣ политическіе интѣресы и расчеты заставляли искать сближенія съ британскимъ правительствомъ,—какъ, напр., въ Германіи. Повсюду печаль и общественное мнѣніе высказываютъ сочувствіе къ маленькому народу, ставшему жертвою англійской предприимчивости, и почти единодушно осуждаютъ тѣ коварныя и жестокіе способы, которые употреблены были для прочнаго завоеванія Трансвааля. Въ Соединенныхъ Штатахъ президентъ Макъ-Кинлей едва не лишился попу-

лярности изъ-за своихъ предполагаемыхъ симпатій къ Англіи, и онъ долженъ былъ прямо отречься отъ англофильства, чтобы не повредить шансамъ своего избранія въ президенты на слѣдующее четырехлѣтіе. Въ своемъ посланіи къ конгрессу, отъ 3 декабря (нов. ст.) Макъ-Кинлей уже весьма опредѣленно даетъ понять, что отношенія Соединенныхъ-Штатовъ съ Англіею далеко не столь близки, какъ съ Россіею и Франціею, и это обстоятельство было оцѣнено по достоинству въ Лондонѣ. Въ Германіи правительство идетъ противъ теченія и поддерживаетъ свою солидарность съ Англіею, вопреки преобладающему настроенію общества и печати; но уже самая необходимость оправдывать дружбу съ лондонскимъ кабинетомъ разными политическими соображеніями ставить англофильской политикѣ Вильгельма II весьма тѣсныя границы и исключаетъ мысль о дѣйствительномъ союзѣ. Такимъ образомъ, нравственные побужденія и чувства, которыми столь откровенно пренебрегаютъ дѣятели британскаго имперіализма, наносятъ вредъ и политическимъ интересамъ Англіи, затрудняя для нея пользованіе выгодами международныхъ соглашеній и вынуждая ее на уступки за дружественный нейтралитетъ отдѣльныхъ державъ. Поѣздка президента Крюгера въ Европу показала англичанамъ, что сочувствіе къ бозрамъ зависитъ не отъ искусственныхъ, случайныхъ причинъ, а отъ глубокаго, стихійнаго отвращенія народовъ къ извѣстнымъ формамъ политическаго хищничества, наиболее яркимъ выразителемъ которыхъ признается британскій министръ колоній, Чемберленъ. Восторженные оваціи, встрѣчавшія Крюгера въ Марсели, Парижѣ, Кельнѣ и Гаагѣ, остаются, конечно, безплодными въ практическомъ смыслѣ; но онѣ не были вполнѣ безразличны для англичанъ, что видно уже изъ замѣтной перемѣны тона лондонскихъ газетъ относительно „побѣжденных“ южно-африканскихъ враговъ.

Впрочемъ, нападки на политику британскаго правительства находятъ себѣ полный просторъ и въ парламентѣ, и въ печати самой Англіи. Публичныя власти этой страны всегда находятся подъ контролемъ общественнаго мнѣнія и непрерывно чувствуютъ свою отвѣтственность передъ націею за ошибочныя или несправедливыя дѣйствія, дающія обыкновенно столь благодарную пищу иностранной критикѣ. Даже въ южной Африкѣ мѣстная оппозиція имѣетъ возможность свободно высказываться противъ суровыхъ правительственныхъ мѣръ и требовать ихъ смягченія или отмены. Самъ фельдмаршалъ Робертсъ счелъ нужнымъ послать премьеру Капской колоніи оправдательную записку по поводу недавнихъ распоряженій, касающихся сожженія фермъ въ предѣлахъ непріятельской территоріи. Въ началѣ декабря собрался въ Ворчестерѣ „конгрессъ африкандеровъ“, въ составѣ до восьми тысячъ человекъ, и губернаторъ Капской колоніи,

несмотря на военное положеніе, нисколько не препятствовали собравшимся произносить рѣзкія рѣчи противъ правительства и противъ военныхъ властей, дѣйствующихъ въ странѣ бозеровъ. Конгрессъ выразилъ также порицаніе губернатору, сэру Альфреду Мильнеру, о чемъ довелъ до его свѣдѣнія черезъ особую депутацію, принятую имъ официально. Требования конгресса сводились къ тому, чтобы, во-первыхъ, положить конецъ губительной войнѣ съ ея ужасами—истребленіемъ значительной части бѣлаго населенія, разрушеніемъ жилищъ, изгнаніемъ женщинъ и дѣтей, возбужденіемъ неизгладимыхъ чувствъ горечи и ненависти, крайне опасныхъ для всей будущности европейцевъ въ южной Африкѣ; во-вторыхъ, сохранить независимость обѣихъ республикъ въ интересахъ прочнаго внутренняго мира, и въ-третьихъ, подтвердить право народа Капской колоніи устраивать свои дѣла и завѣдывать ими согласно конституціи—право, нарушаемое образомъ дѣйствій губернатора и высшаго комиссара, сэра Мильнера, за что и высказать ему „серьезное осужденіе“. Эти резолюціи были переданы губернатору депутаціею изъ пяти человѣкъ, избранныхъ изъ числа видныхъ представителей мѣстныхъ „африкандеровъ“. При приѣмѣ депутаціи, выслушавъ ея доводы въ пользу третейскаго суда и сохранения независимости республикъ, сэръ Альфредъ Мильнеръ обѣщалъ сообщить текстъ резолюцій конгресса центральному правительству, хотя онъ лично находитъ ихъ совершенно несогласными съ общими интересами имперіи. „Сомнѣваюсь,—сказалъ губернаторъ въ своей отвѣтной рѣчи,—долженъ ли я исполнить подобное желаніе (т.-е. передать сущность принятыхъ резолюцій министерству колоній въ Лондонѣ), но при господствующемъ возбужденіи лучше ужъ ошибиться въ сторону миролюбія и предупредительности. Въ виду того, что одна изъ резолюцій направлена противъ меня, я хочу избѣгнуть предположенія, что мнѣ желательно уничтожить ее“... Сэръ Альфредъ Мильнеръ пользуется репутаціею строгаго администратора, непреклоннаго защитника британскихъ интересовъ; однако онъ не усмотрѣлъ ничего обиднаго для своего официального авторитета въ осуждающихъ рѣчахъ и рѣшеніяхъ частнаго оппозиціоннаго собранія и не только не старался помѣшать устройству этого многолюднаго сходбища, но самъ же взялъ на себя роль передатчика враждебныхъ резолюцій высшему правительству. Надо сознаться, что такое отношеніе къ явной оппозиціи, притомъ въ военное время, имѣетъ очень мало общаго съ преобладающими въ другихъ государствахъ понятіями о „твердой власти“. Не въ этомъ ли кроется причина того страннаго факта, что отдаленныя британскія колоніи, при всѣхъ своихъ временныхъ несогласіяхъ съ лондонскимъ кабинетомъ, неизмѣнно и крѣпко стоятъ за сохраненіе надъ собою владычества Англіи? Наиболѣе горячіе ораторы

конгресса въ Ворчестерѣ считали долгомъ оговориться, что они— „лояльные подданные ея величества королевы“ и что ихъ протесты относятся лишь къ нынѣшней англійской политикѣ, которая можетъ и должна измѣниться. Этому не противорѣчитъ присоединеніе многихъ „африкандеровъ“ Капской колоніи къ вооруженнымъ отрядамъ боэровъ, такъ какъ участіе въ активной защитѣ независимости Трансвааля вовсе не означаетъ еще рѣшимости возстать противъ господства Англіи въ ея старыхъ колоніальныхъ владѣніяхъ. За исключеніемъ Капской области, всѣ разрозненныя части британской имперіи рѣшительно поддерживаютъ Чемберлена и оказываютъ содѣйствіе его планамъ, предлагая свои контингенты войскъ для скорѣйшаго насильственного умиротворенія южной Африки. Въ этомъ же духѣ высказалось и огромное большинство англійскихъ избирателей во время октябрьскихъ парламентскихъ выборовъ.

Краткая сессія британскаго парламента (отъ 3-го по 15-е декабря нов. ст.), созваннаго специально для назначенія добавочныхъ 16 миліоновъ фунтовъ на военные расходы, еще болѣе упрочила положеніе Чемберлена, несмотря на ожесточенную полемику противъ его личности и дѣятельности. Полемика коснулась и лорда Сольсбери, которому дѣлались ядовитые упреки по поводу нѣкоторыхъ новѣйшихъ перемѣнъ въ составѣ кабинета. Обвиненія исходили на этотъ разъ и отъ представителей консервативной партіи, или одобрялись частью консервативнаго большинства. Въ нижней палатѣ, въ засѣданіи 10-го декабря, консерваторъ Бартлей предложилъ включить въ отвѣтный адресъ на тронную рѣчь сожалѣніе о томъ, что „на правительственные должности назначено такъ много родственниковъ перваго министра“, къ несомнѣнному ущербу для авторитета правительства. Новый морской министръ, лордъ Сельборнъ, зять главы кабинета, едва ли будетъ имѣть возможность отстаивать свои взгляды при разногласіи съ тестемъ; племянникъ лорда Сольсбери, Джеральдъ Бальфуръ, также не доказалъ своей способности занимать высокій постъ министра торговли. Даже въ консервативныхъ клубахъ, по словамъ Бартлея, правительство называютъ теперь „домомъ Сесиль, съ неограниченною отвѣтственностью“. Неудаченъ и выборъ Бродрика на должность министра по военному вѣдомству, такъ какъ въ качествѣ товарища министра онъ не сумѣлъ предупредить или устранить недостатки военной организаци, раскрытые войною. Замѣчанія Бартлея встрѣтили понятное сочувствіе въ рядахъ оппозиціи, но самое предложеніе его было, разумѣется, отклонено. Въ томъ же засѣданіи внесена была другая поправка къ отвѣту на тронную рѣчь, выставляющая принципъ обязательнаго устраненія министровъ короны отъ какаго бы то ни было участія въ промышленныхъ фирмахъ и компаніяхъ, имѣю-

щихъ дѣла съ казною по подрядамъ и поставкамъ. Поддерживая и разъясняя свою поправку, м-ръ Ллойдъ-Джорджъ перечислилъ цѣлый рядъ промышленныхъ предпріятій и обществъ, въ которыхъ видными пайщиками являются—министръ колоній Чемберленъ, его братъ Артуръ, сынъ Остенъ и другіе члены его семейства. Чемберлену пришлось давать свои объясненія по этому щекотливому предмету; онъ съ негодованіемъ говорилъ о предпринятой противъ него клеветнической травлѣ, напоминалъ о своей двадцатипятилѣтней парламентской службѣ, не избавившей его, однако, отъ гнусныхъ подозрѣній, и старался фактически опровергнуть сообщенныя свѣдѣнія о характерѣ промышленныхъ связей и интересовъ его семьи. Вслѣдъ за министромъ колоній, поднялся его сынъ, финансовый секретарь казначейства, и заявилъ, что его участіе въ доходахъ извѣстныхъ компаній не имѣетъ никакого отношенія ни къ интересамъ государства, ни къ его личнымъ служебнымъ обязанностямъ и занятіямъ. Большинство палаты удовлетворилось объясненіями Чемберлена и его горячаго защитника Бальфура, тѣмъ болѣе, что сами министры и ихъ сторонники не отрицали справедливости принципа, формулированнаго оппозиціею. Подобныя же скользкіе вопросы затронуты были и въ палатѣ лордовъ. Графъ Розбери также обратилъ вниманіе на неудобство замѣщенія крупныхъ официальныхъ должностей близкими родственниками премьера, причемъ иронически поздравилъ послѣдняго съ появленіемъ такого обилія талантовъ въ средѣ его почтенной фамиліи; онъ указалъ, между прочимъ, и на привосновенность новаго товарища министра по дѣламъ Индіи, лорда Гардвика, къ одному изъ банкирскихъ предпріятій въ Лондонѣ, чѣмъ нарушается правило о несовмѣстимости торговой дѣятельности съ положеніемъ министра короны. Лордъ Гардвикъ вынужденъ былъ изложить передъ палатою обстоятельства своего поступленія въ пайщики банкирской фирмы, послѣ взятія его имѣній въ завѣдываніе администраціи, назначенной спеціальнымъ актомъ парламента; и хотя онъ не можетъ выйти изъ состава торговаго дома ради нѣсколькихъ лѣтъ предстоящей государственной службы, но онъ обѣщаетъ съ начала года не принимать участія въ веденіи дѣлъ указанной фирмы, и до тѣхъ поръ обязанности его по должности товарища министра будетъ исполнять, съ согласія премьера, министръ колоній. Трогательная рѣчь лорда Гардвика не убѣдила суроваго вождя оппозиціи, и лордъ Сольсбери призналъ нужнымъ возразить противъ теоріи лорда Розбери по существу, ссылаясь на интересы государства, требующіе свободы выбора кандидатовъ на правительственные посты изъ лицъ способныхъ и опытныхъ, независимо отъ ихъ частныхъ дѣлъ.

Такого рода публичныя пренія производятъ свое благотворное

дѣйствіе, даже когда они не влекутъ за собою непосредственныхъ практическихъ результатовъ. Парламентская критика есть только высшая форма того непрерывнаго, ничѣмъ не ограниченнаго общественнаго контроля, которому подчинены правительственные дѣятели Англіи, отъ самыхъ высшихъ до самыхъ низшихъ. Не только оппозиціонныя, но и консервативныя газеты внимательно слѣдятъ, изо дня въ день, за малѣйшими погрѣшностями администраціи, за ошибками и промахами различныхъ вѣдомствъ, за увлеченіями и слабостями отдѣльных министровъ, и даютъ вообще богатѣйшій матеріалъ для оцѣнки достоинствъ и недостатковъ всего правительственнаго механизма, такъ что иностранцы, желающіе критиковать англійскіе порядки и англійскихъ государственныхъ людей, находятъ всевозможныя для этого данныя въ англійской же печати. Иностранная критика оказывается здѣсь большею частью запоздалою и излишнею, и публицисты, не имѣющіе возможности говорить о дѣйствительныхъ злоупотребленіяхъ отечественныхъ властей, напрасно выступаютъ въ комической роли обличителей чужихъ министровъ—Чемберленовъ и Сольсбери, достаточно уже критикуемыхъ у себя дома. Чемберленъ, каковъ бы онъ ни былъ, есть только выразитель идей и чувствъ, получившихъ нынѣ безспорное преобладаніе въ Англіи, и онъ интересенъ для насъ только съ этой точки зрѣнія.

Событія въ южной Африкѣ были крайне неблагопріятны для англичанъ въ началѣ истекшаго года. Въ январѣ британскія войска потерпѣли пораженіе при Спюнскопѣ и должны были перейти обратно за р. Тугелу; только въ мартѣ, со смертію трансваальскаго главнокомандующаго, генерала Жубера, счастье рѣшительно отвернулось отъ бозровъ. Послѣ сдачи Кронье, освобожденія Ледисмита, Кимберлея и Мэфкинга, фельдмаршалъ Робертсъ, прокламаціею отъ 24 мая, объявилъ о присоединеніи Оранжевой республики, а 1 сентября—Трансваала, къ британскимъ владѣніямъ. Въ началѣ декабря (нов. ст.) Робертсъ могъ уже покинуть страну, гдѣ онъ потерялъ единственнаго сына (въ битвѣ при Тугелѣ),—предоставивъ своему бывшему помощнику, лорду Китченеру, заняться ловлею неутомимыхъ партизанскихъ генераловъ, Девета и Деларея, и докончить дѣло покоренія неприятельскихъ областей. По возвращеніи въ Англію, лордъ Робертсъ вступилъ въ отправленіе своихъ новыхъ обязанностей—главнокомандующаго всей британской арміи, на мѣсто лорда Уольслея, срокъ службы котораго истекъ 30-го ноября. Въ англійской военной организаціи предстоятъ теперь крупныя реформы, основанныя на опытѣ южно-африканской войны.

Китайскій вопросъ сильно волновалъ общественное мнѣніе куль-

турнаго міра, пока не были освобождены посланники, запертые въ Пекинѣ отрядами „боксеровъ“ и императорскихъ войскъ. Волненія, выразившіеся главнымъ образомъ въ избіеніи миссіонеровъ и туземныхъ христіанъ, приняли въ Китаѣ грозные размѣры, особенно съ мая мѣсяца; дворъ императрицы-регентши покровительствовалъ патріотамъ, возставшимъ противъ иноземцевъ, и систематически вводилъ въ заблужденіе иностранныхъ дипломатовъ, выставляя себя жертвой митейной агитаціи, противъ которой правительство, будто бы, безсильно. Странный мятежъ, среди участниковъ котораго фигурировали высшіе сановники и приближенные императрицы, начиная съ принца Туана, раскрылъ свой истинный характеръ послѣ взятія фортовъ Таку иностранными войсками, 4-го іюня. Официальныя китайскія власти открыли военныя дѣйствія противъ русскихъ вдоль Амура, одновременно съ разрушеніемъ манчжурской желѣзной дороги. Въ Пекинѣ посланники и присоединившіеся къ нимъ европейцы подверглись правильной осадѣ и бомбардировкѣ; германскій посланникъ, баронъ Кеттелеръ, былъ убитъ 7-го іюня китайскими солдатами. Попытка адмирала Сеймура придти на помощь осажденнымъ не имѣла успѣха, и его смѣшанная колонна была спасена отъ гибели подоспѣвшимъ русскимъ отрядомъ. Занятіе Тянь-Цзина войсками генерала Стесселя, 14-го іюля, подготовило болѣе обдуманнѣйшій освободительный походъ къ Пекину; наконецъ 1-го (14-го) августа цѣль была достигнута, и посланники съ ихъ семействами избавлены отъ неминуемо угрожавшей имъ мучительной смерти. Дворъ богдыхана и императрицы-регентши удалился внутрь страны, и въ столицѣ Китая водворилась власть побѣдителей-союзниковъ. Начались переговоры о томъ, какъ поступить съ Китаемъ и какія назначить наказанія виновникамъ совершившихся злодѣяній. Россія объявила въ августѣ объ удаленіи своихъ войскъ изъ Пекина, въ виду достиженія предположеннаго результата, — когда ожидалось еще прибытіе новаго союзнаго главнокомандующаго, графа Вальдерзе, на котораго возложено было осуществленіе системы карательныхъ экспедицій противъ мѣстностей и городовъ, виновныхъ въ сочувствіи къ боксерамъ. Между державами ясно обозначились двѣ группы: Германія и Англія стояли за политику возмездія и безпощадныхъ казней, а Россія съ Франціею и Американскими Соединенными-Штатами поддерживала принципы умѣренности и миролюбія. Англо-германское соглашеніе 16-го октября о неприкосновенности китайской территоріи служило только симптомомъ скрытаго разлада между кабинетами, которымъ приходилось дѣйствовать въ Китаѣ солидарно, въ качествѣ союзниковъ. Совѣщанія посланниковъ въ Пекинѣ тянулись долго и безплодно, при участіи уполномоченныхъ богдыхана, хитроумнаго Ли-Хунъ-Чанга и принца Цина.

Только 7-го (20-го) декабря установленъ окончательный текстъ дипломатической ноты, излагающей требованія державъ, и 9-го числа эта нота формально вручена китайскимъ представителямъ. Печилійская провинція съ Пекиномъ будетъ очищена союзными войсками только послѣ исполненія Китаемъ всѣхъ предъявленныхъ требованій. Кризисъ, конечно, не разрѣшится этимъ способомъ, и европейцы не избавятся отъ великихъ опасностей въ будущемъ, когда Китай, удовлетворивъ теперь иностранныя державы, примется за вооруженія и соберетъ свои многомилліонныя народныя силы для болѣе успѣшной борьбы съ Европою.

Дипломатія должна бы способствовать естественному расчлененію китайской имперіи и образованію изъ нея нѣсколькихъ самостоятельныхъ государствъ, вмѣсто того чтобы заботиться объ ея единствѣ подъ неограниченною властью богдыхановъ. Ничтожный нынѣ „сынъ неба“ можетъ имѣть грозныхъ преемниковъ, которые явятся мстителями за поруганное національное достоинство Китая, и эта перспектива дальнѣйшаго логическаго развитія китайскаго кризиса вовсе, какъ будто, не существуетъ для кабинетовъ, поглощенныхъ мелочными соображеніями данной минуты.

Во Франціи министерство Вальдека-Руссо, смѣнившее въ мартѣ кабинетъ Шарля Дюпюи, успѣшно справилось съ тяжелымъ наслѣдіемъ загадочнаго и мучительнаго дѣла Дрейфуса. Новый президентъ, Эмиль Лубе, избранный 18-го февраля, послѣ неожиданной смерти Феликса Фора, подвергся на первыхъ порахъ яростнымъ нападамъ такъ называемыхъ націоналистовъ, предводитель которыхъ, Поль Деруледъ, задумалъ даже совершить переворотъ при помощи генерала Рождѣ, въ самый день похоронъ Фора, 23-го февраля; но съ теченіемъ времени умы успокоились, особенно съ открытіемъ всемірной выставки въ Парижѣ. Осужденіе Деруледа и его союзниковъ верховнымъ судомъ было заключительнымъ эпилогомъ длиннаго ряда волненій и замѣшательствъ, вызванныхъ агитаціею по дѣлу Дрейфуса. Всемірная выставка, продолжавшаяся около шести мѣсяцевъ (съ 14-го апрѣля до 12-го ноября, нов. ст.), содѣйствовала установленію политическаго затишья, которое нарушалось только изрѣдка незначительными эпизодами партійной борьбы. Многіе были недовольны разнороднымъ составомъ кабинета, въ которомъ нашли себѣ мѣсто и социалисты, въ лицѣ Мильерана, и бывшій бонапартистъ, генералъ Галлифѣ, и умѣренные республиканцы. Въ маѣ вышелъ въ отставку Галлифѣ, и военнымъ министромъ назначенъ былъ генералъ Андре, поставившій себѣ цѣлью искорененіе оппозиціоннаго духа въ арміи.

Клерикальныя вліянія имѣли всегда большую силу среди французскихъ офицеровъ, создавая и поддерживая глухой антагонизмъ между арміею и правительствомъ республики. Военныя власти часто вступали въ пререканія съ гражданскими и признавали для себя какъ бы необязательными общіе законы; это настроеніе выражалось и въ мелкихъ, и въ крупныхъ фактахъ, которые до сихъ поръ обращали на себя мало вниманія. Генераль Андре принялся систематически преслѣдовать офицеровъ, причастныхъ въ клерикальнымъ демонстраціямъ, и если распоряженія его казались иногда неудачными и не совсѣмъ тактичными, то возражать противъ нихъ по существу было вообще довольно трудно. Заботы о военной дисциплинѣ вполнѣ естественны со стороны военнаго министра, и разсужденія нѣкоторыхъ изъ нашихъ газетъ—напр., „Новаго Времени“—о мѣропріятіяхъ генерала Андре, представляются намъ совершенно неумѣстными. „Новое Время“ не довольствуется критикою этихъ мѣръ съ точки зрѣнія иностраннаго наблюдателя, а категорически осуждаетъ ихъ съ точки зрѣнія союзниковъ, имѣющихъ право беспокоиться о судьбѣ французской арміи. Преслѣдуя оппозицію и неповиновеніе правительству въ рядахъ офицеровъ, генераль Андре вноситъ, будто бы, разладъ въ военную организацію и подрываетъ боевую способность арміи, что должно возбуждать тревогу и въ Россіи. Относительно русской арміи „Новое Время“, конечно, никогда не высказывалось въ смыслѣ допущенія въ ней анти-правительственной агитаціи, и мы не видимъ причины, почему названная газета считаетъ себя въ правѣ съ такою рѣшительностью заступаться за оппозицію и нарушенія дисциплины среди офицеровъ французскихъ войскъ. Указанія „Новаго Времени“ на безпокойство, вызываемое у насъ, будто бы, ослабленіемъ военныхъ силъ Франціи вслѣдствіе мѣръ генерала Андре, были воспроизведены въ нѣкоторыхъ французскихъ газетахъ и произвели на французовъ впечатлѣніе какого-то страннаго вмѣшательства во внутреннія дѣла ихъ отечества. Что „Новое Время“ никѣмъ не было уполномочено вмѣшиваться или намекать на возможность подобнаго вмѣшательства—это остается неяснымъ за границей, гдѣ упорно держится еще убѣжденіе о неограниченномъ господствѣ цензуры надъ русскою печатью. Необыкновенный либерализмъ, съ какимъ „Новое Время“ разсуждаетъ о чужомъ правительствѣ и о чужомъ военномъ министрѣ, имѣетъ въ себѣ нѣчто комическое, чего и не понимаютъ иностранцы; но нашимъ газетамъ слѣдовало бы по крайней мѣрѣ избѣгать напускного оффиціознаго тона и не говорить отъ имени Россіи при оцѣнкѣ внутренней политики чужого—и тѣмъ болѣе союзнаго—государства. Разумѣется, кабинетъ Вальдека-Руссо не поколебался въ своихъ идеяхъ подъ вліяніемъ оппозиціи „Новаго Времени“ и его парижскаго кор-

респондента, г. Вожина; генераль Андре продолжаетъ дѣйствовать по прежнему, и въ подтвержденіе его правоты являются все новые краснорѣчивые факты, въ родѣ недавняго инцидента съ капитаномъ Кюинье.

Правительство внесло въ палату проектъ закона объ амнистіи для всѣхъ вообще проступковъ, имѣющихъ прямое или косвенное отношеніе къ дѣлу Дрейфуса, и для ряда другихъ нарушеній, волновавшихъ въ свое время публику и не разобранныхъ еще судомъ. Цѣль этого закона—покончить съ послѣдними отголосками злополучнаго „дѣла“ объ измѣнѣ и предупредить неприятыя процессы, способные возобновить агитацію въ странѣ. Въ парламентскихъ преніяхъ по этому предмету опять затронуты были подробности дѣла Дрейфуса, вновь разгорѣлись страсти, посыпались обвиненія на правительство, и повторялись старые возгласы о „дрейфусарахъ“. Въ палатѣ зашла опять рѣчь о знаменитыхъ секретныхъ депешахъ иностранныхъ военныхъ агентовъ; депутатъ Лази заявилъ, что телеграмма полковника Паницарди, отрицающая будто бы какія бы то ни было сношенія съ Дрейфусомъ, была ложно истолкована министерствомъ иностранныхъ дѣлъ или даже просто поддѣлана, причемъ сослался на текстъ протокола, подписаннаго генераломъ Шамуаномъ и капитаномъ Кюинье. Въ то же время батальонный командиръ Кюинье обратился къ Вальдеку-Руссо съ рѣзкимъ посланіемъ, въ которомъ прямо называлъ указанную депешу Паницарди подложною. Кюинье прославился открытіемъ извѣстнаго подлога Анри, и онъ по справедливости считается однимъ изъ лучшихъ специалистовъ по дѣлу Дрейфуса. Какъ бывший делегатъ военного вѣдомства при разсмотрѣніи дѣла въ кассационномъ судѣ, Кюинье обвиняетъ министра иностранныхъ дѣлъ въ томъ, что послѣдній старался запугиваніями и угрозами побудить его признать подлинность спорной депеши. Въ засѣданіи 18-го декабря Делькассэ, въ отвѣтъ на запросъ Лази, разъяснилъ, что документъ былъ предъявленъ делегатамъ военного вѣдомства не имъ, министромъ, а его представителемъ, Палеологомъ,—что онъ поэтому не имѣлъ ни случая, ни повода убѣждать въ чемъ-либо Кюинье, и что подлинность депеши была засвидѣтельствована и почтово-телеграфною администраціею, и кассационнымъ судомъ, и военнымъ судомъ въ Реннѣ. Какъ извѣстно, Кюинье еще въ кассационномъ судѣ откровенно выражалъ свое недовѣріе къ показаніямъ и разъясненіямъ министерства иностранныхъ дѣлъ. Что сказать объ офицерѣ, который публично признается, что онъ не довѣряетъ честности и патриотизму министерства иностранныхъ дѣлъ своей страны и считаетъ его способнымъ прикрывать измѣну? Ни въ какомъ другомъ государствѣ это было бы недопустимо, а для французовъ, по теоріи „Новаго Времени“, это должно казаться нормальнымъ, въ интересахъ поддержанія боевой

готовности ихъ арміи. Генераль Андре взглянулъ на дѣло такъ, какъ принято смотрѣть на подобныя вещи въ другихъ странахъ; онъ вызвалъ къ себѣ Кюинье, поставилъ ему на видъ неправильность его обращенія къ главѣ кабинета, помимо военного начальства, и потребовалъ отвѣта на вопросъ, не онъ ли сообщилъ депутату Лази копію документа, прочитаннаго въ парламентѣ. Кюинье отказался отвѣчать военному министру, и за это явное нарушеніе дисциплины онъ подвергнутъ аресту на два мѣсяца, независимо отъ преданія его суду за обнародованіе секретныхъ актовъ военного министерства.

Поступокъ Кюинье есть одно изъ многихъ порожденій той болѣзненной подозрительности, которая создается постояннымъ исканіемъ измѣны и питается ежедневными фантастическими разсказами газетъ, промышляющихъ патріотизмомъ. Нельзя удивляться дѣйствіямъ и словамъ простаго офицера, если бывшій министръ-президентъ Мелинъ утверждаетъ въ палатѣ, что категорическія заявленія иностранныхъ посланниковъ и министровъ объ отсутствіи у нихъ какихъ-либо сношеній съ Дрейфусомъ не заслуживаютъ вѣры. Если можно не вѣрить посланникамъ и ихъ правительствамъ, то нѣтъ основанія полагаться и на слова отечественныхъ министровъ, озабоченныхъ сохраненіемъ дружественныхъ связей съ чужими кабинетами; отсюда одинъ шагъ до предположенія, что невольные или сознательные укрыватели измѣны гнѣздятся въ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ, и что они находятся повсюду, гдѣ господствуетъ духъ трусливаго миролюбія или продажности. Отыскиваніе этихъ возможныхъ сообщниковъ измѣны, окружающей армію и ставящей ей опасныя ловушки, сдѣлалось особливо и весьма выгодною профессіею для изобрѣтательныхъ журналистовъ, со времени возникновенія дѣла Дрейфуса. Газеты, обязанныя этому дѣлу своимъ процвѣтаніемъ, усердно вновь занялись удивительными разоблаченіями, за которыми внимательно и не безъ тревоги слѣдитъ довѣрчивая масса публики. Старый грѣшникъ Рошфоръ, много разъ уличенный въ завѣдомой клеветѣ и въ злостномъ сочинительствѣ, опять подогрѣваетъ теперь нелѣпую исторію о сношеніяхъ самага Вильгельма II съ Дрейфусомъ. По его словамъ, подлинное „бюро“, несомнѣнно писанное Дрейфусомъ и снабженное собственноручными отвѣтками германскаго императора, исчезло изъ архива военного министерства и замѣнено неудачною копіею, которая и послужила основою обвиненія; это произошло, будто бы, вслѣдствіе энергичныхъ настояній германскаго посла, графа (нынѣ князя) Мюнстера, причемъ тогдашній президентъ республики, Казиміръ Перье, не желавшій участвовать въ постыдной сдѣлкѣ, счелъ долгомъ выйти въ отставку. Эти и подобныя имъ секретнѣйшія исторіи излагаются съ такою обстоятельностью и точностью, какъ будто авторы сами при-

существовали при совершившихся измѣнахъ и подлогахъ. Законъ амнистіи, принятый палатою 18-го декабря послѣ четырехдневныхъ преній, кладетъ конецъ возбужденію, которое опять готово было овладѣть умами. Любопытно, однако, что годъ начался во Франціи среди шумныхъ споровъ о дѣлѣ Дрейфуса, и кончается дѣломъ Дрейфуса, — чѣмъ наглядно удостовѣряется бѣдность политическаго творчества въ современномъ французскомъ обществѣ.

Въ политикѣ Германіи проявляется больше послѣдовательности и самообладанія, чѣмъ во Франціи; но и въ германской политической жизни многое зависитъ отъ случайныхъ настроеній и пережѣвъ, въ которыхъ главную роль играетъ центральная фигура Вильгельма II. Значительныя и единодушныя усилія передовыхъ классовъ нѣмецкаго общества потребовались для того, чтобы не допустить принятія закона Гейнце, придуманнаго лицемерными охранителями народной нравственности и грозившаго ограниченіемъ свободы цѣлой обширной области искусства; только въ іюнѣ проектъ окончательно провалился. Между тѣмъ, громкіе судебные процессы постоянно напоминаютъ консерваторамъ, что порча нравовъ находитъ себѣ просторъ вовсе не тамъ, гдѣ ищутъ ее заботливые охранители. Дѣла о великосвѣтскихъ игорныхъ домахъ, недавній процессъ милліонера Штернберга, осужденнаго за развращеніе дѣвочекъ-подростковъ, и, наконецъ, раскрытіе злоупотребленій двухъ крупныхъ ипотечныхъ банковъ, руководимыхъ извѣстными ревнителями христіанства и поддерживавшихъ близкія связи съ прусскою аристократіею, — показываютъ, что не все обстоитъ благополучно въ высшихъ и богатыхъ слояхъ германскаго населенія. Параллельно съ нравственнымъ упадкомъ прусскаго юнкерства и плутократіи идетъ непрерывный ростъ соціально-демократіи, приобретающей все болѣе оппортунистскій характеръ.

Состоявшееся въ октябрѣ назначеніе графа Бюлова имперскимъ канцлеромъ на мѣсто князя Гогенлоэ оживило отчасти дѣятельность парламента: оппозиція теперь имѣетъ передъ собою боевого представителя власти, къ которому можно обращаться съ запросами и требованіями, въ надеждѣ получить своевременный и дѣловой отвѣтъ. Какъ ораторъ, графъ Бюловъ выказалъ свое искусство во всемъ блескѣ, когда ему пришлось защищать въ имперскомъ сеймѣ крайне непопулярную мѣру — отказъ Вильгельма II принять президента Крюгера и даже нежеланіе допустить его пріѣздъ въ Берлинъ. Посвященная этому вопросу рѣчь канцлера въ засѣданіи 10-го декабря можетъ быть названа блестящею, хотя она никого не убѣдила даже среди правительственныхъ партій.

Въ Австріи держится уже около года (съ 18-го января) министерство Кербера, а вопросъ о языкахъ остается въ томъ же положеніи, въ какомъ былъ. Въ Венгріи кабинетъ Банфи, въ февралѣ, уступилъ мѣсто министерству Коломана Селля. Въ Италіи убитъ, 17-го іюля, король Гумбертъ, и на престолъ вступилъ Викторъ-Эммануилъ II, зять черногорскаго князя Николая; перемѣна царствованія не успѣла еще, однако, отразиться на ходѣ политическихъ дѣлъ королевства. Министерскіе и политическіе кризисы происходили также въ Сербіи и Болгаріи, но о нихъ мы надѣмся еще поговорить особо.



ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ

1 января 1901.

— Д. М. Лёвшинъ. Т. Н. Грановскій. Опыт историческаго синтеза. Съ портретомъ. Спб. 1901.

Въ послѣднее время опять вспомнили Грановскаго. Годъ три назадъ явилось второе изданіе давней біографіи, г. Станкевича, размноженное цѣлымъ томомъ переписки; вышла книга о Грановскомъ и его времени, г. Вѣтринскаго (Чешихина), и книга того же автора: „Въ сороковыхъ годахъ“, опять связанная съ тѣмъ временемъ; въ прошломъ году явилось новое, четвертое, изданіе сочиненій Грановскаго. Естественно думать, что этотъ интересъ къ Грановскому не есть частный, привязанный къ отдѣльному лицу, хотя бы замѣчательному, а интересъ общій—къ дѣятелю извѣстной эпохи, представителю извѣстнаго литературнаго и нравственно-общественнаго направленія. Такъ оно и было: Грановскій былъ привлекателенъ какъ лицо, характеръ, но именно олицетворявшій въ себѣ жизненныя стремленія своего времени, идеальныя залогов будущаго желаемаго развитія русскаго просвѣщенія и общественности.

Такъ взглянулъ на него и авторъ книжки, заглавіе которой мы выписали. Свое предисловіе онъ начинаетъ слѣдующими словами: „Два тома сочиненій и томъ переписки,—вотъ наслѣдство профессора Грановскаго. Надо признаться, оно не велико. И несмотря на это, и на то, что прошло 45 лѣтъ со дня его смерти, имя Тимоф(е)я Николаевича и теперь, окруженное какимъ-то трогательнымъ уваженіемъ, продолжаетъ будить въ насъ благородныя стремленія къ чему-то возвышенному и напоминаетъ намъ о необходимости безкорыстно служить наукѣ, трудиться, совершенствоваться, однимъ словомъ, о всемъ томъ, что онъ дѣлалъ во всю свою жизнь“.

Авторъ указываетъ примѣры, въ которыхъ выразилась эта память общества о Грановскомъ, и затѣмъ опредѣляетъ планъ своего труда слѣдующимъ образомъ:

„Мы имѣемъ намѣреніе представить синтезъ дѣятельности Грановскаго, а для этого, предварительно, считаемъ нужнымъ: дать синтетическую картину русской общественной жизни второй половины царствованія императора Александра I и всего царствованія императора Николая I,—синтетическую картину ближайшей среды, въ которой протекла жизнь московскаго профессора, и синтезъ его духовнаго „я“. Представляя картину общественной жизни двухъ царствованій, мы въ то же время установимъ совершавшіеся тогда, въ нѣдрахъ общества, главнѣйшіе социальныя процессы; касаясь ближайшей среды, мы попутно, въ общихъ чертахъ, будемъ указывать, какъ отозвались установленныя нами социальныя процессы на этой средѣ, какъ она повліяла на Тимоф(е)я Николаевича и какъ Т. Н. повліялъ на нее; говоря, наконецъ, о его духовномъ „я“, мы попытаемся болѣе подробно прослѣдить вліяніе ближайшей среды на психическій ростъ Грановскаго. Когда эта предварительная работа будетъ готова, мы пойдемъ обратнымъ путемъ: синтезъ духовнаго „я“ сопоставимъ сначала съ синтезомъ ближайшей среды, а затѣмъ съ синтетически установленными социальными процессами. Сравнимъ добытые результаты, мы получимъ синтезъ дѣятельности того, кто былъ олицетвореніемъ и мастеромъ его и кто потому, болѣе пятидесяти лѣтъ тому назадъ, сталъ въ рядъ тѣхъ историковъ, которые за синтетическими историческими работами признавали такое же право научнаго гражданства, какъ и за критическими. Съ тѣхъ поръ потребность въ трудахъ подобнаго рода, по крайней мѣрѣ во Франціи, сдѣлалась настолько ощутительною, что въ Парижѣ, съ 1 августа нынѣшняго года, рѣшено издавать научный историческій журналъ, носящій названіе „Revue de synthèse historique“, специально посвященный изслѣдованіямъ только что названнаго характера. Предлагая вниманію читателя нашъ „опытъ историческаго синтеза“, связанный съ именемъ Т. Н.—ча и составляющій попытку синтеза взаимодѣйствія социологическихъ и психологическихъ данныхъ, мы желаемъ, съ одной стороны, отдать посильную научную дань культу Грановскаго, который къ чести русскаго общества за послѣднее время оживился, а съ другой, посильно отвѣтить—какъ намъ кажется—назрѣвшей и у насъ потребности въ изслѣдованіяхъ подобныхъ тѣмъ, для какихъ французскій журналъ намѣревается предложить свои страницы“.

Собственно говоря, нѣтъ ничего новаго въ этомъ „историческомъ синтезѣ“. Онъ практиковался очень давно не только въ „философіяхъ исторіи“, но во множествѣ изслѣдованій, ставившихъ болѣе или менѣе широкіе историческіе вопросы, и въ біографіяхъ, изображавшихъ не одного героя, но „и его время“. Вездѣ въ этихъ изслѣдованіяхъ была именно забота о томъ, чтобы связать отдѣльные раз-

бросанные факты въ одно цѣлое, какъ явленіе развитія или „эволюціи“, чтобы услѣдить общія начала, отражавшіяся въ различныхъ слояхъ жизни, путемъ вліянія и взаимодействія. Не болѣе даетъ и новый „историческій синтезъ“,—но во всякомъ случаѣ подобныя историческія обобщенія особенно желательны, потому что изъ нихъ только выясняется цѣльное значеніе отдѣльныхъ лицъ и явленій. Наши біографическіе труды именно очень часто страдаютъ этимъ недостаткомъ общаго освѣщенія,—должно сказать и то, что для исторіи дѣятелей общественныхъ такая постановка до сихъ поръ очень затруднена обычнымъ въ нашей литературѣ стѣсненнымъ положеніемъ исторической критики.

Авторъ поставилъ четыре вопроса, которымъ посвящены четыре главы его изслѣдованія: общественная среда, въ широкомъ смыслѣ слова; ближайшая среда; личность; подвигъ жизни. Для первой главы авторъ обильно воспользовался новыми трудами по исторіи нашего общества въ первой половинѣ столѣтія.

Общее заключеніе о дѣятельности Грановскаго таково:

„Ученый мыслитель, поэтъ, безукоризненно нравственный человѣкъ проявился въ профессорѣ такъ ярко, но въ то же время такъ мягко, что своимъ блескомъ не ослѣпилъ слушавшую его молодежь, а притянулъ къ себѣ ея взоры. Изумленная, очарованная, она сразу поняла, что имѣетъ передъ собою надежнаго руководителя. И не ошиблась. Пятнадцать лѣтъ подъ радъ профессоръ подъ разными формами повторялъ одно и то же: прогрессъ заключается въ нравственномъ самосовершенствованіи; совершенствуйтесь сами, и этимъ вы будете способствовать совершенствованію своего народа и даже чело-вѣчества, которое неудержимо стремится къ осуществленію нравственнаго закона.

„И дѣйствительно, кто, раньше Грановскаго, положивъ въ основу своей профессорской дѣятельности вышеприведенный этический, скажемъ больше, христіанскій принципъ, по мѣрѣ силъ и возможности обосновавъ его научно: исторически и философски, сумѣлъ, затѣмъ, неустанно внушать его, въ теченіе многихъ лѣтъ, собранной вокругъ его кафедръ молодежи и притомъ внушать въ высоко художественной формѣ?

„Вѣрно и то, что если въ чемъ особенно нуждалась современная Грановскому молодежь, сбита съ толку страстными спорами славянофиловъ и западниковъ, такъ это именно въ уясненіи сущности прогресса“.

Къ послѣднему мы сдѣлали бы одну поправку. Поученіе Грановскаго было особенно важно для современной ему молодежи не потому, что она была „сбита съ толку“ спорами тогдашнихъ литера-

турныхъ партій: эти споры не были большой бѣдой,—а главное, что она въ тогдашней школѣ вообще лишена была здраваго научнаго и нравственнаго руководства среди тяжелаго состоянія общественной жизни въ процвѣтавшемъ крѣпостномъ правѣ, испорченной бюрократіи и едва существовавшей литературѣ.

— К. Я. Гротъ. Объ изученіи славянства. Судьба славяновѣдѣнія и желательная постановка его преподаванія въ университетѣ и средней школѣ. Спб. 1901.

Книжка составила изъ нѣсколькихъ статей автора, ранѣе напечатанныхъ, которыя собраны здѣсь по единству предмета и частію дополнены. Первою является „Историческій очеркъ развитія славяновѣдѣнія“, помѣщенный въ „Энциклопедическомъ Словарѣ“ Брокгауза-Ефрона и здѣсь дополненный; далѣе: „Русское общество и славянство“—небольшая замѣтка изъ „Варшавскаго Дневника“ 1886 г.; „Знакомство съ славянствомъ какъ необходимый элементъ средняго образованія“, изъ „Новаго Времени“ 1899 г.; и новыя (кажется) статьи: „Славяновѣдѣніе въ русскихъ университетахъ“ и „Заключеніе“.

Авторъ исполненъ наилучшими намѣреніями; но въ очень многихъ пунктахъ, частныхъ и общихъ, мы съ нимъ весьма несогласны, или многое имъ недостаточно выяснено.

Исторія славяновѣдѣнія могла бы быть расширена больше, чѣмъ это сдѣлано авторомъ. Напр., въ „Энциклопедическомъ Словарѣ“ могли быть излишни біографическія указанія, потому что каждое крупное лицо тамъ же имѣетъ свою біографію;—напротивъ, въ отдѣльномъ изданіи, хотя краткія свѣдѣнія были бы очень умѣстны и полезны; рядомъ могли бы быть указаны существующія подробныя біографіи. Многіе писатели, второстепенные, указаны только по имени,—полезно было бы указать ихъ главные сочиненія.

Вторая статья возбуждаетъ нѣкоторое недоумѣніе. Нужно ли было, говоря о „русскомъ обществѣ и славянствѣ“, повторять небольшую статейку 1886 года? Предметъ таковъ, что, кажется, лучше было бы говорить о немъ вновь, тѣмъ болѣе, что нѣсколько страницъ, написанныхъ пятнадцать лѣтъ тому назадъ, далеко не объясняютъ и не исчерпываютъ очень сложнаго вопроса.

Авторъ полагаетъ вообще, что знакомство съ славянствомъ есть капитальный вопросъ нашей національной жизни, что успѣхи славяновѣдѣнія, въ частности усиленіе его преподаванія въ высшей и средней школѣ, будутъ способствовать „націонализаци“ нашего просвѣщенія и, слѣдовательно, успѣхамъ цѣлой національной жизни. Это

положеніе авторъ принимаетъ безусловно, слѣдуя старому славянофильскому ученію и не оговаривая тѣхъ возраженій, ограниченій и прямыхъ отрицаній, какія высказывались давно и не однажды.

„Для русскаго общества, или вѣрнѣе для русскаго литературнаго и ученаго міра,—говоритъ авторъ,—впервые стало раскрываться западное и южное славянство, въ его прошломъ и настоящемъ, въ учено-литературныхъ трудахъ первыхъ русскихъ славистовъ, къ которымъ въ этомъ отношеніи примыкали даровитые дѣятели московскаго славянофильскаго кружка“. Но изученіе славянства долго оставалось достояніемъ только небольшого круга специалистовъ и не переходило въ массу общества. „Значительный поворотъ въ этомъ отношеніи замѣчается лишь въ послѣдніе годы,—и все-таки это дѣло—сколько-нибудь обстоятельнаго знакомства образованной массы со славянами—подвинулось впередъ слишкомъ мало, находится почти все еще въ зародышѣ... Такую поразительную отсталость русскаго общества въ этомъ отношеніи можно объяснить только однимъ, а именно медленнымъ ростомъ славянскаго самосознанія въ немъ, которое въ историческія минуты проявлялось, правда, яркими вспышками, но затѣмъ опять какъ бы угасало, не будучи еще достаточно сильно и развито, чтобъ получить постоянное и опредѣленное воплощеніе въ общественной дѣятельности и настроеніи. По неисповѣдимой волѣ судьбы ему постоянно приходилось бороться у насъ съ весьма существенными препятствіями и тормазами, часто исходившими изъ тѣхъ именно сферъ, которыя должны бы были наиболѣе заинтересованы скорѣйшимъ его развитіемъ, какъ необходимѣйшимъ условіемъ успѣховъ Россіи въ осуществленіи ея историческихъ задачъ...

„Нечего и говорить о томъ, какая могущественная роль въ развитіи тѣхъ или другихъ сторонъ общественнаго самосознанія принадлежитъ школѣ, какъ средней, такъ и высшей. Но представляла ли до сихъ поръ та и другая достаточно благоприятныя условія для обращенія и укрѣпленія славянскаго сознанія въ подроставшихъ поколѣніяхъ—на это, мнѣ кажется, никто не усомнится отвѣчать отрицательно. Съ какими познаніями о современномъ славянствѣ и его исторіи оставляло школу и вступало въ жизнь и общественную дѣятельность до сихъ поръ русское юношество? Право, больно и стыдно подумать!...

„Между тѣмъ событія послѣднихъ десятилѣтій все болѣе выдвигали впередъ славянскій вопросъ и идею славянскаго единенія, ставили Россію лицомъ къ лицу съ ея *національно-историческими задачами*, требовали отъ нея безотлагательнаго рѣшенія великихъ вопросовъ о бытіи и будущности цѣлыхъ славянскихъ народностей. Эти событія, согласно общему признанію, застали русское общество врас-

плохъ, совершенно неподготовленнымъ, до крайности малознакомымъ съ состояніемъ славянскаго міра, и, безъ сомнѣнія, эта отсталость не замедлила отразиться прискорбными послѣдствіями на самомъ рѣшеніи вопросовъ, въ которыхъ Россія была призвана принять авторитетное участіе. Несомнѣнно, послѣдняя (турецкая) война и послѣдующія событія на славянскомъ югѣ, несмотря на всѣ испытанныя нами разочарованія, сильно двинули впередъ славянское сознаніе въ русскомъ обществѣ; но при всемъ томъ дѣло спокойнаго, безпристрастнаго и толковаго ознакомленія нашей интеллигенціи съ западнымъ и южнымъ славянствомъ въ его исторіи, этнографіи, литературѣ подвигалось до самаго послѣдняго времени чрезвычайно тихо и вяло. Урокъ исторіи оказался еще недостаточнымъ“ (стр. 40 и д.).

Автору приходится ссылаться на „неисповѣдимую волю судьбы“, и если такъ, то какъ будто бесполезно настаивать на теоріи „славянскаго единенія“, какъ на готовой, а нужно сначала ее доказать и вмѣстѣ объяснить, какъ она можетъ быть предохранена отъ случайностей, ее постигающихъ. Авторъ думаетъ тѣмъ не менѣе, что въ эпоху послѣдней русско-турецкой войны событія „ставили Россію лицомъ къ лицу съ ея національно-историческими задачами“,—подразумѣвается „рѣшеніе великихъ вопросовъ о бытіи и будущности цѣлыхъ славянскихъ народностей“. Но когда же, наконецъ, было установлено, что въ этомъ состоятъ „національно-историческія задачи“ Россіи? не есть ли это простая мечта отдѣльной группы патріотическихъ теоретиковъ? Въ самомъ дѣлѣ — и автору это вѣроятно извѣстно, — принимаемый имъ взглядъ на „національно-историческія задачи Россіи“ не только не былъ раздѣляемъ, но прямо оспаривался многими, не лишенными значенія, людьми,—напр., въ концѣ семидесятыхъ годовъ. Главные мотивы, которые тогда приводились, состояли въ слѣдующемъ. Во-первыхъ, національно-историческая задача Россіи прежде всего и выше всего состоитъ въ просвѣщеніи и процвѣтаніи самого русскаго народа, въ его внутреннемъ, домашнемъ бытіи. Въ этомъ бытіи у русскаго народа было и есть слишкомъ много настоятельныхъ нуждъ, требующихъ удовлетворенія,—и это удовлетвореніе вовсе не дается внѣшними политическими приключеніями; напротивъ, эти послѣднія могутъ даже вредить внутреннему бытію, отвлекая вниманіе отъ своего народнаго дѣла и налагая на народъ новыя матеріальныя тягости. Извѣстно впечатлѣніе, какое, во время войны, производили на русскихъ болгары: удивлялись и недоумѣвали, что „угнетенный“ болгарскій народъ пользовался матеріальнымъ благосостояніемъ, какого не имѣли освободители: болгарскій крестьянинъ былъ богаче русскаго. А затѣмъ освобожденные стали великими ругателями освободителей. Два грубые факта, которые не находятъ себѣ объясненія въ славян-

ской теоріи. Во-вторыхъ, противники этой теоріи (замѣтимъ опять: двадцать лѣтъ, и больше, тому назадъ) совсѣмъ иначе думали о національно-историческихъ задачахъ Россіи. Если обратиться къ исторіи, то она „учитъ“, что съ XV-го вѣка и до XX-го главной задачей Россіи было созиданіе сильнаго государства, на основѣ русскаго племени, и утверженіе его противъ азіатскаго востока, который съ первыхъ шаговъ русской исторіи грозилъ цѣлости и независимости племени. Государство было создано, и защита отъ востока закончилась тѣмъ, что не только были покорены ближайшія турецкія, монгольскія и финскія племена, но, съ могущественнымъ расселеніемъ русскаго народа на югъ и сѣверо-востокъ, захватывались все больше и больше народы Кавказа, Сибири и средней Азіи. На западъ Россія двигалась только въ цѣляхъ самозащиты, а съ Петра Великаго искала просвѣщенія культурными заимствованіями съ запада европейскаго. Какую роль играло въ этихъ историческихъ задачахъ славянство? Какъ будто, никакой. Въ этомъ національномъ дѣлѣ русскій народъ не думалъ о славянствѣ, и само славянство также не думало о русскомъ народѣ, и узнало или вспомнило о немъ только тогда, когда онъ сталъ могущественнымъ царствомъ, на которое славянство, поработенное турками, стало смотрѣть съ надеждами освобожденія. — потому что Россія, по своимъ интересамъ, вступила во вражду съ Турціей и побѣждала ее. Правда, было свое славянское преданіе. Нѣкогда, во времена начального лѣтописца, было представленіе о родствѣ славянскихъ племенъ были свѣдѣнія объ ихъ расселеніи въ разныхъ земляхъ, но эти свѣдѣнія въ послѣдствіи очень потускли, а съ ближайшимъ славянскимъ сосѣдствомъ, Польшей, были издавна и до позднѣйшихъ временъ только отношенія враждебныя. Нѣкогда, въ эпоху принятія христіанства, русскій народъ получилъ отъ болгаръ богослужебныя книги, и изъ этого источника возникло вѣковое господство церковно-славянскаго языка въ русской книгѣ; но уже вскорѣ письменность русская такъ возобладала надъ южно-славянскою, что преданіе было почти забыто, по крайней мѣрѣ чрезвычайно ослабѣло, и русскіе книжники думали иногда, что Кириллъ и Меѳодій перевели священныя книги именно на русскій языкъ. Послѣ паденія южно-славянскихъ царствъ подъ турецкимъ нашествіемъ, съ конца XIV-го вѣка, и затѣмъ съ укрѣпленіемъ московскаго княжества, и особливо царства, Россія заняла относительно балканскаго православнаго міра и даже вообще православнаго Востока покровительственную роль, — старыя отношенія забылись, развились новыя церковныя идеи, рядомъ съ политическими, и Москва полагала себя во главѣ восточнаго православія, отвергая наконецъ (въ извѣстной церковной фракціи) правовѣріе самихъ грековъ. Очевидно, старое преданіе отступило предъ новымъ міровоззрѣніемъ. Съ XVIII-го вѣка, —

отчасти и ранѣе,—турецкія войны Россіи не могли не привлечь живого интереса южнаго славянства, мечтавшаго объ освобожденіи; у самого русскаго правительства не однажды появлялась мысль о возможности привлечь южно-славянскіе народы къ своему дѣлу, въ качествѣ вспомогательнаго элемента,—но самое дѣло было все-таки свое, спеціально русское, какъ занятіе юга, „Новороссіи“, или какъ политическая фантазія, — напр., во времена Екатерины II „греческій проектъ“; возстановленіе византійской имперіи было бы вовсе не на пользу балканскому славянству,—о послѣднемъ и не думали. Во времена имп. Александра I, также не было особенной заботы о славянскихъ народахъ. Если въ военныхъ столкновеніяхъ съ Турціей кромѣ чисто русскаго политическаго интереса заявлялось объ освобожденіи отъ турецкаго ига угнетенныхъ народовъ, то разумѣлись обыкновенно не единоплеменники, а единовѣрцы. О послѣднихъ знали еще со временъ московскаго царства, когда съ юга приходили ходатаи о милостынѣ; но объ единоплеменникахъ или совсѣмъ не знали, или имѣли очень смутное представленіе. Послѣдняя война была единственная, гдѣ поставленъ былъ вопросъ о единоплеменникахъ; но вопросъ рѣшился крайне печально: одни изъ единоплеменниковъ получили конституціонное государство; другіе, и именно тѣ, которые подняли это дѣло освобожденія, въ Босніи и Герцеговинѣ, стали добычей Австріи. Позднѣйшія отношенія съ освобожденной Болгаріей извѣстны.

Но, говорить, все-же было въ русскомъ обществѣ большое національно-славянское возбужденіе, когда шли въ Сербію добровольцы, когда общество съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдило за ходомъ событій, — когда самая война началась изъ этого возбужденія. Да, но извѣстно, что въ то же самое время высказывались сомнѣнія, которыя, къ сожалѣнію, потомъ и оправдались. Общество охладѣло къ славянскимъ дѣламъ или, точнѣе, вернулось къ прежнему, обычному равнодушію. Самое возбужденіе вызывалось естественнымъ великодушнымъ сочувствіемъ къ гонимымъ и истребляемымъ, особенно когда это было такъ близко и когда „турецкія звѣрства“ дѣйствительно дошли до послѣдней степени безобразія. Не забудемъ, что главная заслуга ихъ раскрытія для насъ, какъ и для всего европейскаго общества, принадлежала чужому человѣку—американскому писателю... Въ послѣднее время такого же рода сочувственный интересъ возбуждало, и въ русскомъ обществѣ, совсѣмъ чужое и далекое племя, южно-африканскіе буры.

Кромѣ политическихъ, въ послѣднее время были „культурныя“ связи. Извѣстно, какую единоплеменную антипатію внушили русскому обществу другіе „братушки“—чехи и галичане, которые явились насаждать у насъ гимназическій классицизмъ.

Изъ сказаннаго нами не слѣдуетъ, чтобы мы не желали успѣховъ

нашему славяновѣдѣнію. Напротивъ, оно приносило и приносить большую научную пользу, въ изученіи нашей древности, нашей этнографіи, языка и т. д. Здѣсь въ особенности укрѣпляется почва для умственного и нравственного единенія, которое, быть можетъ, станетъ нѣкогда и осязательнымъ успѣхомъ въ общественномъ отношеніи. Но, въ нынѣшнемъ положеніи вещей, славяновѣдѣніе все еще остается спеціальностью небольшого круга ученыхъ людей, и изъ этого круга почти не выходитъ, потому что дѣйствительный интересъ общества къ славянству возможенъ лишь тогда, когда онъ будетъ соприкасаться съ внутренней жизнью самого русскаго общества и когда въ этомъ послѣднемъ возможна будетъ большая, чѣмъ теперь, широта просвѣщенія и общественности. До сихъ поръ, несмотря на всѣ успѣхи славяновѣдѣнія, изображаемые авторомъ книжки, даже въ томъ кругу, который интересуется славянствомъ, нѣтъ одного общаго представленія о славянскомъ мірѣ, о смыслѣ славянской культуры, о томъ, какія должны бы быть здравыя и справедливыя между-славянскія отношенія: чуть не къ каждому племени у насъ прилагается особая точка зрѣнія и особая мѣрка...

Авторъ надѣется, что интересъ къ славянству,—въ чемъ онъ видитъ первостепенную потребность нашей національной жизни,—возростетъ, если дано будетъ мѣсто славяновѣдѣнію въ нашей средней школѣ, и расширены каеедры его въ университетахъ; авторъ думаетъ, что несчастное рѣшеніе судьбы Босніи и Герцеговины происходило отъ слабаго развитія славяновѣдѣнія. Нѣтъ сомнѣнія, что расширеніе знаній вообще полезно; но, въ частности, положеніе Босніи, Герцеговины, Македоніи, словаковъ, угро-русовъ, галичанъ и т. д. едва ли улѣгнется отъ того, что нашему гимназисту будутъ даны лишніе уроки. Кромѣ школьныхъ уроковъ, потребовалось бы кое-что другое. Напр., во время оккупациі не установилось нормальныхъ отношеній между русскими и болгарами, и это не мало способствовало тому, что послѣ произошли прямо враждебныя отношенія. Несмотря на благоприятныя политическія условія, русскіе коммерсанты и до сихъ поръ не суждали завязать съ Болгаріей торговыхъ сношеній,—и этимъ, конечно, пользуются болѣе смѣтливые сосѣди. Словомъ, въ междуплеменныхъ отношеніяхъ важное значеніе имѣетъ не только сила политическая, но и сила культурная: что бы ни лежало въ глубинѣ „австрійской души“ (которая „коварна быть не можетъ“, по словамъ австрійскаго поэта, у Добролюбова), но австрійская культура завоевываетъ балканскій полуостровъ,—какъ бы это ни было печально для славянъ, да и для насъ.

Если обратиться къ чисто научной и литературной сторонѣ между-славянскихъ отношеній,—мы находимъ здѣсь очень разнообразныя и очень странные факты. Западные и южныя славянскія литературы

представляютъ весьма различныя ступени, напр. отъ крайней скудости у небольшихъ и политически подавленныхъ племенъ до широкаго развитія, напр., польской и чешской литературы. Думаютъ, что литература русская могла бы стать для славянства источникомъ объединенія и руководствомъ,—но это вопросъ чрезвычайно трудный. Нужно очень тѣсное нравственное и умственное общеніе, для того, чтобы языкъ, для массы чужой, могъ утвердиться въ качествѣ книжнаго,—а этого общенія нѣтъ; съ другой стороны, нѣкоторыя изъ славянскихъ литературъ,—напр. чешская, польская (въ Австріи), даже болгарская,—стоятъ выше русской по внѣшнему положенію печати: онѣ пользуются болѣею свободою слова въ политическихъ предметахъ и болѣею свободою изслѣдованія въ предметахъ научныхъ; это, конечно, не ихъ собственная заслуга,—онѣ пользуются этимъ благодаря ихъ цѣлому политическому положенію,—но это фактъ, и онъ дѣлаетъ проблематическими наши притязанія на руководство.

Есть, наконецъ, крупныя недочеты въ самой русской славистикѣ. Намъ кажется, что прежде заботы о введеніи славяновѣдѣнія въ среднюю школу надо бы думать о томъ, чтобы въ русской литературѣ были общія книги о славянствѣ. У насъ нѣтъ *ни одной* цѣльной, самостоятельной и отвѣчающей научнымъ требованіямъ книги по исторіи Чехіи, Сербіи, Польши, Болгаріи, Хорватіи, Галиціи,—есть только книга о Черногоріи, еще не законченная. Помнимъ, какъ во время послѣдней турецкой войны доискивались книгъ о балканскомъ славянствѣ, и читатели должны были довольствоваться переводами (иногда нелѣпыми) и жидкими компилированными брошюрами... За послѣднее время у насъ воспиталось довольно многочисленное поколѣніе молодыхъ славистовъ, но всѣ они (исключеній, кажется, нѣтъ) заняты были до сихъ поръ только частными, детальными вопросами языка, археологіи, исторіи (въ особенности до XIV-го вѣка), и рѣдко обращались къ предметамъ современной жизни славянства (недавно только вышла книга г. Липовскаго о хорватахъ, которой мы еще не имѣли въ рукахъ),—и не слышно, чтобы были предпринимаемы такія общія работы, которыя доступны были бы не однимъ спеціалистамъ. Если же этого нѣтъ,—откуда масса общества можетъ знакомиться съ братьями славянами, и по чему будутъ учиться гимназисты? Судя по проектамъ г. Грота о расширеніи курса славяновѣдѣнія въ университетахъ, можно думать, что невольнѣ достаточно и удовлетворительно даже университетское преподаваніе предмета.

— Юрій Веселовскій. Литературные очерки. М. 1900.

Авторъ книги недавно выступилъ на литературное поприще, и уже могъ издать томъ очерковъ (почти до 600 стр. большого формата), посвященныхъ разнымъ знаменитымъ или извѣстнымъ писателямъ западно-европейской, русской и даже восточной (армянской) литературы: это уже свидѣлствуетъ о большой его начитанности и ревностномъ трудолюбіи. Подробное заглавіе книги представляетъ, дѣйствительно, такое разнообразіе сюжетовъ, какое встрѣчается рѣдко: Джакомо Леопарди; Байронъ на островѣ св. Лазаря; Шиллеръ и его герои; Гейне какъ романтикъ; Пѣвецъ богемы XV вѣка (Франсуа Виллонъ); Расинъ; Андре Шенье; Послѣдніе завѣты Додэ; Жоржъ Роденбахъ; Княжнинъ и его трагедіи; Пушкинъ какъ европейскій писатель; М. Бешикташлянъ; Русская поэзія второй половины XVIII в.; Женская доля въ изображеніи армянскихъ литераторовъ; Народъ и искусство на Западѣ и т. д. Эти очерки появлялись въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ, но, какъ говоритъ авторъ въ предисловіи, собирая ихъ въ настоящую книгу, онъ вообще ихъ перерабатывалъ и иногда значительно расширялъ, такъ что, напр., статья о Пушкинѣ увеличилась приблизительно вдвое. Относительно писателей западно-европейскихъ, авторъ имѣлъ передъ собой обыкновенно весьма разработанныя темы, но онъ старательно собиралъ новѣйшую литературу предмета, такъ что могъ давать читателю и обстоятельное понятіе о положеніи вопроса. По своему разнообразію, живости изложенія, свидѣлствующей объ увлеченіи самого автора предметами своего труда, книга г. Юрія Веселовскаго составляетъ пріятное явленіе въ нашей литературѣ, которая не богата собственными этюдами о европейскихъ писателяхъ (нечего говорить о восточныхъ, т.-е. армянскихъ, которыми авторъ занимался специально). Рядомъ съ этимъ будутъ интересны статьи о русской литературѣ; здѣсь отмѣтимъ не мало любопытныхъ подробностей о Пушкинѣ, Грибоѣдовѣ, наконецъ о литературѣ XVIII-го вѣка, гдѣ авторъ старался раскрыть ея идейное содержаніе (статьи: Княжнинъ и его трагедіи; Народъ и деревня въ русской поэзіи второй половины XVIII вѣка; Къ исторіи борьбы съ невѣжествомъ и дурнымъ воспитаніемъ въ русской литературѣ).

— А. В. Половцовъ. Прогулка по Русскому Музею императора Александра III въ С.-Петербургѣ. Съ 39 рисунками. М. 1900.

Въ предисловіи авторъ, въ нѣсколькихъ строкахъ, указываетъ основную тему своей работы:

„Исторія вообще и исторія искусства и литературы въ частности должна идти рука объ руку съ искусствомъ.“

„Данныя, почерпнутыя изъ нихъ, могутъ лишь содѣйствовать наслажденію художественнымъ произведеніемъ.“

„Прогулка“, напоминая такія историческія и литературныя свѣдѣнія въ общедоступной формѣ, имѣетъ цѣлю оказать посѣтителямъ Русскаго Музея императора Александра III нѣкоторое подспорье въ этомъ отношеніи“.

Книжка является дѣйствительно прекраснымъ спутникомъ для посѣтителей Русскаго Музея. Въ началѣ, въ общемъ „введеніи“, авторъ говоритъ о просвѣтительной дѣятельности имп. Александра III и объ основаніи Музея, даетъ исторію и характеристику самаго зданія—бывшаго Михайловскаго дворца, въ стилѣ емпіре, теперь внутри передѣланнаго для цѣлей художественнаго музея,—и объясняетъ значеніе музея какъ новой галереи русскаго искусства.

Далѣе, въ описаніи нижняго этажа, авторъ говоритъ о собраніи христіанскихъ древностей: о развитіи византійскаго искусства, объ особенностяхъ русской иконописи, деревянныхъ рѣзныхъ изображеніяхъ, и въ заключеніе говоритъ о В. М. Васнецовѣ, въ „своеобразной живописи“ котораго „старинная условность формъ снабжена всѣмъ блескомъ и всею мощью колорита“. Въ слѣдующей главѣ авторъ рассказываетъ о „добромъ старомъ времени“, о первыхъ стараніяхъ основать въ Россіи художественную школу въ XVIII вѣкѣ, результатомъ чего было учрежденіе Академіи Художествъ, съ которой потомъ въ особенности было связано развитіе русскаго искусства: авторъ называетъ и характеризуетъ знаменитѣйшихъ представителей русскаго искусства конца XVIII и начала XIX столѣтія—Левицкаго, Боровикова, Шебуева, Егорова и ихъ менѣе извѣстныхъ современниковъ, товарищей и учениковъ.

Затѣмъ, переходя въ „верхній этажъ“, авторъ останавливается въ особенности на двухъ знаменитыхъ именахъ середины столѣтія—К. Брюлловѣ и Бруни, и потомъ ихъ „спутникахъ“: Басинѣ, гр. О. П. Толстомъ, Пименовѣ. Далѣе, идутъ художники болѣе близкой намъ эпохи и современники: Айвазовскій, Флавицкій, Ге, Коцебу, Рѣпинъ, Семирадскій, К. Маковский, О. Каменскій, Антокольскій и т. д.

Описаніе Музея соединено съ очерками изъ исторіи русскаго искусства, съ характеристиками художниковъ, съ теоретическими объясненіями, историческими эпизодами, анекдотами, воспоминаніями изъ русской поэзіи, и т. д. Книга можетъ служить въ одно время и указателемъ для обозрѣнія музея, и интереснымъ чтеніемъ по исторіи русскаго искусства. Значеніе книжки увеличивается тѣмъ, что въ концѣ приложено много рисунковъ, вообще очень хорошо исполнен-

ныхъ фототипіей, съ замѣчательнѣйшихъ картинъ и скульптуръ Музея. Небольшая, по объему и исполненію книжки, цѣна (60 коп.) дѣлаетъ ее очень доступною.

Трудъ, исполненный г. Половцовымъ для Музея имп. Александра III, невольно наводитъ на мысль о томъ, какъ мало сдѣлано у насъ для распространенія свѣдѣній по искусству, и вмѣстѣ, слѣдовательно, для распространія художественныхъ вкусовъ. Посѣтитель и любитель музеевъ съ небольшими средствами не можетъ приобрѣтать дорогихъ изданій (хотя и ихъ немного) и дорогихъ (если онѣ хороши) фотографій,—и какъ полезно было бы составить и издать описательные и иллюстрированные каталоги, на подобіе „Прогулки“ г. Половцова, для другихъ художественныхъ собраній—для разныхъ отдѣловъ Эрмитажа, для Академіи Художествъ и пр. въ Петербургѣ, для Третьяковской галереи, Румянцовскаго музея и пр. въ Москвѣ, наконецъ для многихъ частныхъ собраній.—Т.

— В. А. Бильбасовъ. Историческія монографіи. Томъ первый. Сиб. 1901.

Любителямъ и специалистамъ исторіи, особливо русской, безъ сомнѣнія доставитъ большое удовольствіе появленіе „Монографій“, въ которыхъ авторъ предположилъ собрать статьи, разбѣяныя на пространствѣ многихъ лѣтъ въ изданіяхъ, гдѣ ихъ можно разыскивать только съ помощью библіографіи. Эта разбросанность работъ—дѣло весьма обыкновенное, но и весьма неудобное для тѣхъ, кому могутъ быть нужны эти прежнія сочиненія. Г. Бильбасовъ собралъ въ „Монографіяхъ“—„ислѣдованія въ области исторіи, искусства, литературы и критики, помѣщавшіяся въ различныхъ періодическихъ изданіяхъ за послѣднія сорокъ лѣтъ“. Въ первомъ томѣ помѣщены статьи по всеобщей исторіи; во второмъ и слѣдующихъ—по русской; особенно многочисленны ислѣдованія о событіяхъ и лицахъ временъ имп. Екатерины II,—эти времена, какъ извѣстно, были за многіе послѣдніе годы предметомъ его специальныхъ изученій.

Все изданіе „Монографій“ будетъ заключать пять томовъ. Пока дальнѣйшіе томы вѣроятно еще не напечатаны, мы высказали бы одно пожеланіе. Авторъ говоритъ въ предисловіи: „Историческія монографіи печатаются въ томъ же видѣ, какъ появились первоначально, причемъ *сокращены* лишь примѣчанія: такъ какъ при каждой статьѣ указано мѣсто и время ея напечатанія, то, для удешевленія изданія, опущены выписки изъ книгъ и сохранены только мѣста, заимствованныя изъ архивовъ“. Мы сказали бы на это, что если разумѣются „выписки“ изъ книгъ легко доступныхъ, исключеніе ихъ не

составило бы особеннаго неудобства; но если выписки сдѣланы изъ книгъ рѣдкихъ, то ихъ исключеніе не было бы желательно: для справокъ опять пришлось бы перерывать старые журналы? Если сокращеніе примѣчаній будетъ заключаться только въ сокращеніи выписокъ, съ этимъ можно было бы помириться,—но по крайней мѣрѣ автору въ такихъ случаяхъ необходимо указывать эти сокращенія, для избѣжанія недоразумѣній, т.-е. возможныхъ излишнихъ поисковъ со стороны читателя. Подобныя указанія легко сдѣлать въ двухъ словахъ: „см. выписку тамъ-то“. Автору, конечно, хорошо извѣстно, что для научнаго пользованія книгой именно „примѣчанія“ имѣютъ великую важность.

Не знаемъ, насколько можетъ быть достигнуто сокращеніями „удешевленіе изданія“; но можно сказать другое,—что увеличеніе, дополненіе книги можетъ очень содѣйствовать увеличенію ея интереса для читателя. Напримѣръ, отдѣльное изданіе книги Гельбига несомнѣнно много потеряло въ интересѣ отъ исключенія тѣхъ примѣчаній, какими она была обставлена при первомъ изданіи въ „Русской Старинѣ“. Въ настоящемъ случаѣ авторъ могъ бы еще увеличить значеніе своего изданія, еслибъ расширилъ примѣчанія—напр., хотя краткими замѣтками о новыхъ книгахъ и статьяхъ, какія явились по данному предмету *послѣ* его изслѣдованія. Для серьезнаго читателя встрѣтить такое дополненіе было бы только пріятно, а для автора, съ его громадной начитанностью, не трудно.

Желаемъ полнаго успѣха интересному изданію г. Вильбасова.—А. П.

Въ декабрѣ мѣсяцѣ, въ Редакцію поступили слѣдующія новыя книги и брошюры:

Антоновъ, С. С.—Сны. Кіевъ, 900. Стр. 91. Ц. 1 р.

Баженовъ, Н. Н.—Открытое письмо д-ру П. И. Яковію по поводу его книги: „Основы административной психіатріи“. М. 900. Стр. 7.

Баринтеръ, В., д-ръ.—Что нужно знать по электротехникѣ? Съ нѣм. О. Ф. Александрова. Спб. 901. Стр. 108. Ц. 35 к.

Барсуковъ, Иванъ.—Письмо Иннокентія, митроп. моск. и коломенскаго 1865—1878 гг. Кн. 3. Спб. 901. Стр. 598. Ц. 2 р. 50 к.

Берне, Людвигъ.—Полное собраніе сочиненій. Съ нѣмецк., п. р. А. Трачевскаго и М. Филиппова, съ портр. и біограф., въ 3 т. Т. II. Стр. 455. Спб. 901. Ц. за 3 т. 5 р.

Бертранъ, Жозефъ.—Ариметика. Съ франц. М. В. Пирожкова, препод. Спб. 10-й гимназіи. Спб. 901. Стр. 346. Ц. 2 руб.

Бобынинъ, В. В.—Русская физико-математическая бібліографія. Т. III. Вып. III (послѣдній). М. 900. Стр. 207. Ц. 2 р. 50 к.

Британскъ.—Англо-бурская война и русская пресса. Спб. 900. Стр. 62. Ц. 50 к.

Бялинскій, В. Г.—Полное собраніе сочиненій, въ 12 т. Подъ ред. и съ прилож. С. А. Венгерова. Т. III. Съ прилож. портрета 1843 г. Спб. 901. Стр. 552. Ц. 1 р. 25 к.

Вальтеръ, Софія.—Печальные рассказы. М. 901. Стр. 240. Ц. 1 р. 50 к.

Ватсонъ, М.—Джусты, Джузеппе. Крит.-біограф. очеркъ. Съ портр. Спб. 900. Стр. 78. Ц. 50 к.

Водовозова, М. И.—Законодательная охрана труда. Ст. изъ Handwörterbuch der Staatswissenschaften. Съ нѣмец., п. р. М. Туганъ-Барановскаго. Спб. 901. Стр. 319. Ц. 1 р. 60 к.

Вольтманъ, Людвигъ.—Теорія Дарвина и социализмъ. Опытъ естеств. исторіи общ. Съ нѣмецк. М. А. Энгельгардтъ. Спб. 900. Стр. 362. Ц. 1 р. 25 к.

Гайка, О.—Къ вопросу объ охранѣ безопасности пассажировъ въ поѣздахъ. Кіевъ, 900. Стр. 18.

Грабинъ, А. Т.—Панъ Халивскій. Ком. фарсъ, въ 4 д. Кіевъ, 900. Стр. 75. Ц. 50 к.

Гротъ, К. Я.—Объ изученіи славянства. Судьба славяновѣдѣнія и желательная постановка его преподаванія въ университетѣ и средн. школахъ. Спб. 901. Стр. 64. Ц. 60 к.

Доброхотовъ, Анатолій.—Рутиня нашихъ уголовныхъ защитниковъ. М. 901. Стр. 16. Ц. 20 к.

Енко, П. д-ръ.—Уходъ за глазами дѣтяти. Спб. 901. Стр. 32. Ц. 30 к.

Инфантеевъ, П.—„Блуждающій огонекъ“. Стихотворенія. Новгородъ, 901. Стр. 77. Ц. 60 к.

Карасевичъ, С.—Картины изъ жизни Бетховена. Спб. 901. Стр. 79. Ц. 50 к.

Киржнеръ, А. В.—Осада Благовѣщенска. Взятіе Айгуна. Съ прил. списка добровольц. и свѣдѣн. о вольной друж., въ Айгунѣ, Сахалинѣ и Благовѣщенскѣ. Благовѣщенскъ, 900. Стр. 206. Ц. 1 р. 50 к.

Котовъ, А. Ѳ.—Къ вопросу объ организаціи VIII-хъ дополнительныхъ классовъ женскихъ гимназій. Харьковъ, 900. Стр. 16.

Котъ Мурлыка.—Повѣсти, сказки и рассказы. Т. VI. Изд. 2. Спб. 901. Стр. 351. Ц. 1 р. 75 к.

Круковский, Адр.—Религіозные мотивы въ произведеніяхъ русскихъ поэтовъ. Истор.-литер. этюдъ. Поневѣжъ, 900. Стр. 49. Ц. 25 к.

Кэпъ, Іюль.—Христіанинъ. „The Christian“. Ром. съ англійск. А. Н. Линдгрена. Спб. 901 г. Стр. 52. Ц. 1 р. 50 к.

Лункевичъ, В.—Враги и друзья человека, съ 56 рис. Спб. 900. Стр. 112. Ц. 28 коп.

Мижусевъ, П. Г.—Образованіе во Франціи низшее, среднее и высшее. Спб. 901. Стр. 202. Ц. 1 р.

Михайловъ, Ѳ. А.—Тувемцы Закаспійской области и ихъ жизнь. Этнографическій очеркъ. Асхабадъ, 900. Стр. 79. Ц. 50 к.

Ницше, Фридрихъ.—Такъ говорилъ Заратустра. Съ нѣмец. пер. Ю. М. Антоновскаго. Спб. 900. Стр. 624. Ц. 1 р. 50 к.

Нарбековъ, В., проф.—Орфей въ древне-христіанскомъ изобразительномъ искусствѣ. Казань, 900. Стр. 64. Ц. 50 к.

Олшамовскій, М.—Образцы диктантовъ. Пособіе для преподавателей. М. 900. Стр. 88. Ц. 50 к.

Острогорскій, Викторъ.—Первое знакомство съ Александромъ Сергѣевичемъ Пушкинымъ. Спб. 901 г. Стр. 411. Ц. 1 р. 25 к.

Палманъ, С. В.—Сборникъ народныхъ юридическихъ обычаевъ. Т. 2. Спб. 900. Стр. 425.

Радичъ, В.—Запорожская старина. Историч. рассказы. Спб. 900. Стр. 242. Ц. 1 руб.

Редигеръ, А.—Комплектованіе и устройство вооруженной силы. Изд. третье. Испр. и дополн. А. Гулевичъ. Спб. 900. Стр. 571. Ц. 3 р.

Семивановъ, А. Ѳ.—П. П. Максимовичъ основатель тверской женской учительской школы. Біогр. оч. съ портр. Спб. 901. Стр. 175. Ц. 1 р.

— Энциклопедія семейнаго воспитанія и обученія. Вып. XXIX. Учрежденія по призрѣнію дѣтей. Спб. 900. Стр. 32.

Скалковскій, К.—Тамъ и сямъ. Замѣтки и воспоминанія. Спб. 901. Стр. 464. Цѣна 1 р. 50 к.

Скворцовъ, А.—Основы экономики земледѣлія. Ч. 1. Ученіе о факторъ земледѣльч. хозяйства. Спб. 901. Стр. 447. Ц. 3 р.

Табина, Александръ.—Лифлянд. аграрное законодательство въ XIX ст. Съ вѣст. Т. I: Положеніе о крестьянахъ 1804—19 гг. Рига, 900. Стр. 445.

Трачевскій, А. С., проф.—Наполеонъ I, его жизнь и государт. дѣятельность. Съ портр. Спб. 900. Стр. 112. Ц. 25 к.

Уэльсъ.—Машина времени. Романъ, съ англійск. М. А. Чернявской, Ковно, 901. Стр. 259. Ц. 1 р.

Фавръ, В. В., д-ръ.—Способы общественно-государственной борьбы съ пьянствомъ. Харьковъ, 900. Стр. 58. Ц. 35 к.

Фальборкъ, Г., и *Чарнолускій, В.*—Настольная книга по народному образованію. Въ трехъ томахъ. Томъ II. Спб. 901. Стр. 715—1538.

Феррари, Паоло.—Въ борьбѣ за идею. Ист. ком. въ 4 д. Съ итальянскаго пер. Рождественскій, П. А., съ предисл. проф. А. Н. Веселовскаго М. 900. Стр. 109.

Ферри, Габріэль.—Лѣсной бродяга, въ 3 т. Т. I. Искатель приключеній. Спб. 900. Стр. 272.

Фламмаріона, Камилль.—Небесныя свѣтила (Les merveilles célestes). Съ франц. пер. Ѳ. Ф. Александрова. Съ 107 рис. Спб. 901. Стр. 317. Ц. 1 р., въ переплетѣ 1 р. 60 к.

— Богъ въ природѣ. Съ франц. пер. Е. А. Предтеченскаго. Спб. 901. Стр. 435. Ц. 1 р. 25 к.

Ходскій, Л. В., проф.—Народное хозяйство. Научно-обществ. журн. безъ предварит. цензуры. Спб. 900. Кн. 9-я. Годъ 1-й. Стр. 184. Ц. за годъ 10 р., съ доставкой въ предѣлахъ Имперіи.

Чайковскій, М.—Жизнь Петра Ильича Чайковскаго. Т. I. 1840—1877. Вып. 1. М. 900. Стр. 88. Ц. 40 к.

Черненковъ, Н. Н.—Къ характеристикѣ крестьянскаго хозяйства. Главы I-IV. Саратов. 900. Стр. 121.

Чижевъ, Александръ Ѳеодоровичъ.—Изъ жизни Благовѣщенской учительской семинаріи. Кн. 1. Уфа, 900. Стр. 102.

Шапиръ, Ольга.—Авдотьины дочки. Спб. 901. Стр. 200. Ц. 1 р.

Шарковъ.—Календарь земледѣльца на 901. Спб. 900. Стр. 73.

— La Norwège. Ouvrage officiel publié à l'occasion de l'exposition universelle de Paris 1900 année. Kristiania 900. Стр. 645.

Simmel, Georg.—Philosophie des Geldes. Leipz. 900. Стр. 554.

— Городъ Ярославль, по свѣдѣн. 1898—1899 гг., собранн. отъ домовлад.

для оцѣнки недвижим. имущ. Вып. I. Площ. гор., населенность, домовладѣніе и строенія. Съ черт. въ текстѣ и 8-ю картограммами. Ярославль, 900. Стр. 58.

— Матеріалы для исторіи Императорской Академіи Наукъ. Томъ десятый. 1749 (іюнь—декабрь) 1750. Спб. 900. Стр. 713.

— Медицинскій отчетъ С.-Петербургской Городской Санитарной Комиссіи за 1899 г. Спб. 900. Стр. 211.

— Мнѣнія иностранцевъ о реформѣ календаря въ Россіи. Спб. 900. Стр. 12.

— Объ огнеупорныхъ глинахъ и другихъ полезныхъ ископаемыхъ въ окрестностяхъ г. Воронежа. Спб. 901. Стр. 21.

— Отчетъ о дѣятельности Попечительства Имп. Человеколюбиваго Общества для сбора пожертвованій на воспитаніе и устройство бѣдныхъ дѣтей въ мастерство XVII-ый годъ: 1 янв. 1899 г.—1 янв. 1900 г. Спб. 900. Стр. 121.

— Письма ко всемъ и всюду. Письмо 1 и 2. М. 899. Стр. 39 и 60. Ц. по 25 коп.

— Сборникъ консульскихъ донесеній 1900. Вып. VI. (Министерство иностранныхъ дѣлъ). Спб. 900. Стр. 80.

— Сводный сборникъ по статистическому описанію Полтавской губ., въ 1882—1889 гг. Вып. I. Полтава, 900. Стр. 279.

— Статистика производствъ, облагаемыхъ акцизомъ, и гербовыхъ знаковъ, за 1897—98 гг. Спб. 900. Стр. 646, съ вѣдомостями.

— Энциклопедическій словарь. Вып. 1 и 2. Стр. 1—640. Спб. 901.



НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I.

Edmondo De Amicis. Memorie. Milano, 1900.

Де-Амичи, безспорно, одинъ изъ самыхъ любимыхъ и популярныхъ писателей современной Итали. Его многочисленныя сочиненія расходятся въ десяткахъ тысячъ экземпляровъ, переводятся на всевозможныя иностранныя языки и не теряютъ въ своей привлекательности и свѣжести, несмотря на измѣненія моды и вкусовъ публики. Чтобы не быть голословнымъ, приведу небольшую статистику братьевъ Тревезъ, извѣстныхъ миланскихъ книгопродавцевъ и издателей, въ изданіи которыхъ появляется большинство сочиненій де-Амичиса. Изданій in-16° и по довольно внушительной для кармана итальянскаго читателя цѣнѣ, до послѣдняго времени, было сдѣлано:

„Литературныхъ портретовъ“—3; „Воспоминаній о Парижѣ“—7; „У воротъ Итали“—8; „Стихотвореній“—9; „Романа учителя“—11; „Кареты для всѣхъ“, появившейся въ первый разъ въ 1898 г.,—12; „Друзей“ и „Марокко“—по 14; „Повѣстей“—15; „Голландіи“—19; „Романа учителя“, дешевыхъ изданій—21; „На Океанѣ“—22; „Воспоминаній о Лондонѣ“—22; „Константинополя“—26; „Очерковъ военной жизни“—45; наконецъ, „Сердца“, романа для дѣтей, не больше и не меньше, какъ 235 изданій. Но это не полный списокъ сочиненій де-Амичиса и не полный списокъ всѣхъ изданій. Надо прибавить еще роскошныя и иллюстрированныя изданія и книги, вышедшія въ изданіи другихъ фирмъ. Ни одинъ изъ живущихъ писателей Итали не можетъ похвалиться такимъ успѣхомъ. Ясно, что должны быть очень важныя причины, дѣлающія его симпатичнымъ массѣ читателей.

Эти причины—слѣдующія. У де-Амичиса есть великое свойство находить въ человѣкѣ все хорошее, какъ бы далеко оно ни было скрыто. Тѣмъ паче чувства, сердечность ощущается въ каждой его строчкѣ. Онъ и такъ же можно сказать, что тѣмъ онъ народу любезенъ, что вызываетъ добрыя чувства. Его тонкій юморъ—самаго добродушнаго и обиднаго свойства, безъ примѣси малѣйшей горечи. Въ главѣ, посвященной памяти умершаго сына, въ книгѣ, заглавіе которой нами не ведено выше, онъ указываетъ, какъ на особенно симпатичную

черту его характера, на любовь юноши къ дѣтямъ. Эта любовь, очевидно, была унаслѣдована отъ отца-писателя. Любовь къ дѣтямъ дѣлаетъ этого писателя особенно подходящимъ для дѣтскаго чтенія. Любовь не только къ дѣтямъ, но вообще ко всему слабому и безпомощному, ко всѣмъ униженнымъ и оскорбленнымъ, принимаетъ иногда у де-Амичиса форму почти сентиментализма. Это основное чувство характера его, какъ писателя, заставило его въ послѣдніе годы вступить въ ряды партіи, стремящейся къ эмансипаціи трудящихся классовъ. Блестящій стиль, богатство красокъ въ описаніяхъ природы и обрисовкѣ характеровъ (чисто-южная черта, дѣйствующая на сѣверянина, какъ нѣчто реторическое), артистическое чувство мѣры— вотъ причины его необыкновенной популярности.

„Меморіе“ представляютъ собою собраніе автобіографическихъ замѣтокъ и воспоминаній писателя о разныхъ лицахъ, изъ которыхъ многіе пользуются всемірной извѣстностью, какъ Жюль Вернъ и Сарду (главы: „визитъ у Жюля Верна“ и „визитъ у Сарду“), а другіе извѣстны въ одной только Италіи (путешественникъ Carlo Piaggia, каррикатуристъ Телъ, основавшій сатирическій журналъ „Fischietto“ („Свистокъ“), который сыгралъ такую значительную роль въ дѣлѣ объединенія королевства, и друг.). Въ концѣ, двѣ главы посвящены памяти матери романиста и памяти сына, Фуріо, молодого студента, покончившаго съ собой въ припадкѣ малодушія послѣ неудачнаго экзамена. „In tua memoria, figlio mio!“ („въ твою память, сынъ мой“) — таково заглавіе послѣдней статьи, полной самаго трогательнаго и отчаяннаго отцовскаго горя, раздѣляемаго невольнo и читателемъ.

Особенно интересны первыя главы „Воспоминаній“, въ которыхъ авторъ рисуетъ настроеніе времени гарибальдійскихъ войнъ въ маленькомъ Піемонтѣ и свое собственное участіе въ этомъ замѣчательномъ историческомъ движеніи. Де-Амичисъ родился въ 1848 году, въ Онельѣ, въ Лигуріи. Знаменитый походъ „Тысячи“, съ Гарибальди во главѣ, въ Сицилію былъ у всѣхъ на устахъ. Особенно это отразилось на молодежи и дѣтяхъ. Двѣнадцатилѣтній Эдмундъ, вмѣстѣ съ двумя товарищами по школѣ, рѣшили, во что бы то ни стало, поступить добровольцами къ Гарибальди. Они обратились къ председателю комитета, набиравшаго добровольцевъ; тотъ обѣщалъ принять ихъ, но жестоко предалъ, сообщивъ родителямъ про намѣреніе дѣтей. Такъ Эдмунду и не удалось сдѣлаться гарибальдйцемъ и драться съ оружіемъ въ рукахъ за освобожденіе отечества. Зато онъ свой воинственный жаръ излилъ въ стихахъ. Первымъ его произведеніемъ была поэма по поводу польскаго возстанія, напечатанная въ одной туринской газетѣ и открывшая ему путь къ литераторамъ и критикамъ. Ему тогда было 17 лѣтъ, и онъ учился въ ли-

цѣ въ Туринѣ. Онъ насъ знакомитъ съ своими учителями, товарищами, знакомыми, самыми оригинальными типами. Главной темой всѣхъ разговоровъ была война за освобожденіе и объединеніе. Всѣ были охвачены горячкой патріотизма. Свобода, равенство, національныя права, прогрессъ, борьба съ тьмой и тиранніей—вотъ самыя обычныя выраженія того времени.

Свободное время мальчикъ употреблялъ на чтеніе поэтовъ-патріотовъ, которыхъ онъ зналъ наизусть, на хожденіе въ театръ и на посѣщеніе нѣсколькихъ кафе, гдѣ собирались литераторы, артисты и государственные дѣятели Пиемонта. Изъ послѣднихъ многимъ суждено было позже сыграть выдающуюся роль въ новѣйшей исторіи итальянскаго королевства. Вотъ, между прочимъ, какими словами родственникъ Эдмунда указалъ ему на проходившаго Криспи: „Повернись, вотъ идетъ Криспи! Видишь, какія молніи мечутъ его глаза! А усы-то какіе! какъ у сорви-головы! Мингетти говорилъ, что когда Криспи встаетъ въ парламентъ, чтобы произнести рѣчь,—онъ боится, что тотъ выхватитъ изъ кармана пару пистолетовъ!“ Такое впечатлѣніе уже тогда производилъ Франческо Криспи, этотъ итальянскій Бисмаркъ, какъ его иногда называютъ. Въ скоромъ времени въ изданіи бр. Тревесъ выйдетъ продолженіе „Воспоминаній“ де-Амичиса, ожидаемое въ Италіи съ большимъ нетерпѣніемъ. — А. З—скій.

II.

George Rodenbach. Le Rouet des Brumes. 1901. Стр. 284.

Роденбахъ, одинъ изъ самыхъ изысканныхъ бельгійскихъ поэтовъ, отмежевывалъ себѣ особую область въ поэзіи. Ему дорога его молчаливая туманная родина; онъ проникся любовью къ неодушевленнымъ предметамъ, къ тому, что окружаетъ человѣка и переплетается съ его жизнью. Почти во всѣхъ его произведеніяхъ жизнь людей тѣсно связана съ обстановкой, въ которой они живутъ, съ настроеніями, вызванными сосѣдствомъ церквей, прогулками вдоль тихихъ каналовъ, встрѣчами съ молчаливыми монахинями—со всей характерной декорацией фламандскихъ городовъ. Это влеченіе понять и отразить въ искусствѣ сліяніе всего существующаго, людей съ міромъ неодушевленныхъ предметовъ,—своего рода пантеизмъ въ творчествѣ Роденбаха. Это не жизнерадостный, сильный пантеизмъ Гёте, а нѣчто скорѣе слабосильное, нѣсколько манерное, но несомнѣнно поэтичное заглядываніе въ таинственность жизни, примиреніе съ жизнью во имя красоты.

Таковъ Роденбахъ въ своихъ большихъ романахъ и лирическихъ стихотвореніяхъ. Таковъ же онъ въ отдѣльныхъ маленькихъ рассказахъ. Характернымъ образцомъ его вдумчиваго созерцательнаго отношенія къ жизни является вышедшій теперь посмертный сборникъ рассказовъ подъ заглавіемъ „Le Rouet des Brumes“. Странное заглавіе, „Прялка тумановъ“, соотвѣтствуетъ содержанію книги. Въ отдѣльныхъ очеркахъ передъ читателемъ проходитъ, какъ въ смутномъ туманѣ, человѣческая жизнь; отдѣльныя фигуры на минуту выдѣляются, вырисовываются болѣе опредѣленно во всей своей непонятной сложности и скрываются вдали такими же загадочными, какими появились. Въ рассказахъ большей частью нѣтъ развязки. Роденбахъ какъ бы только на минуту останавливаетъ мелькающія въ туманѣ жизни фигуры, намѣчаетъ чувства и отношенія, которыя создаетъ жизнь вокругъ каждаго человѣка, и затѣмъ снова опускаетъ завѣсу тумана. Вся жизнь представляется ему въ покровѣ таинственности, въ чередованіи отдѣльныхъ моментовъ, сосредоточенныхъ, загорающихся яркимъ свѣтомъ страстей и чувствъ, и наступающей затѣмъ неизвѣстности и тишины.

Роденбахъ—реалистъ. Онъ изображаетъ простые чувства простыхъ людей, событія, которыя всегда и всюду происходятъ. Въ рассказахъ его, однако, чувствуется углубленность настроенія; это происходитъ отъ того, что въ самыхъ обычныхъ происшествіяхъ онъ останавливается на какой-нибудь подробности, сливающей случайное и простое съ общимъ смысломъ бытія. Незаконченность всѣхъ рассказовъ усиливаетъ впечатлѣніе загадочности. Одинъ изъ самыхъ характерныхъ рассказовъ въ сборникѣ—„Une passante“. Фабула самая простая, даже банальная. Дронсаръ встрѣчаетъ въ паркѣ женщину. Его поражаетъ гармонія усталаго и страдальческаго лица молодой женщины съ осеннимъ пейзажемъ; волосы ея какъ будто дополняютъ своимъ темно-рыжимъ оттѣнкомъ цвѣтъ опадающихъ желтыхъ листьевъ. Онъ вступаетъ съ ней въ бесѣду и узнаетъ только, что она грустна и несчастна и хочетъ совершенно забыть все, что съ ней было до этой минуты. Она даже не хочетъ назвать своего имени, предлагая ему дать ей какое-нибудь новое имя, чтобы создать иллюзію возрожденія къ новой жизни. Мимо нихъ проходятъ играющія дѣвочки, одна окликаетъ другую именемъ Нелли, и это имя становится именемъ незнакомки. Случайная встрѣча ведетъ къ прочному любовному союзу. Нелли полюбила Дронсара и стала его подругой съ единственнымъ условіемъ, чтобы онъ не предлагалъ ей никакихъ вопросовъ о ея прошломъ. Нелли стала веселой, всецѣло поглощена своей любовью и видимо счастлива, — но друга ея мучить мысль о неизвѣстности, окружающей ее. Она какъ будто бы вновь родилась на свѣтъ въ день

ихъ встрѣчи. Никакихъ нитей съ ея прошлымъ онъ не можетъ установить; она остается для него незнакомкой, которую онъ любитъ за ея красоту и душевные качества. Послѣ нѣсколькихъ лѣтъ счастливой жизни Нелли тяжело заболѣваетъ, и ея другъ рѣшается спросить ее о ея родныхъ или бывшихъ друзьяхъ, для того, чтобы призвать ихъ къ ней. Но эти вопросы тяготятъ больную, для которой все ея прошлое, даже ея имя—исчезло, умерло навсегда. Она чувствуетъ по его вопросамъ опасность своего положенія, и говоритъ: „Не все ли тебѣ равно, откуда я къ тебѣ пришла? Даже если я умру, то не лучше ли, чтобы все осталось, какъ теперь. Пусть наша любовь не имѣетъ другого имени, чѣмъ то, которое мы сами ей дали. Я была Нелли только для тебя—и въ этомъ лучшее изъ всего, что мнѣ дала жизнь. Ты помнишь, что въ музеяхъ, куда ты меня водилъ, мы часто останавливались передъ портретами съ надписью: „Неизвѣстный“, и долго задумывались надъ ними. Пусть моя любовь будетъ подобна имъ—это сдѣлаетъ ее болѣе прекрасной“... Нелли умерла, и Дронсаръ не могъ дать никакихъ другихъ указаній кладбищенской конторѣ, кромѣ того, что имя умершей—„Нелли“. Вспоминая послѣдній разговоръ съ ней, онъ сдѣлалъ на могильномъ крестѣ печальную и вѣрную надпись: „Неизвѣстная“—какъ будто кладбища въ самомъ дѣлѣ музеи смерти.

Разсказъ этотъ удивительно простъ и правдивъ; искусство художника заключается въ томъ, что онъ углубляетъ простое происшествіе, видя въ случайномъ отраженіе правды всей жизни. Незвѣстность судьбы Нелли возбуждаетъ мысль объ общей судьбѣ человѣка. Прошлое и будущее темно—лишь короткая полоса жизни освѣщена страданіями или счастьемъ, тѣмъ, что человѣкъ создаетъ для себя и для другихъ вокругъ него—и грустная надпись: „Неизвѣстные“, могла бы стоять надъ всѣми могилами, выражая смыслъ жизни и пониманіе великой тайны, окружающей начало и конецъ всякой жизни. Въ другихъ разсказахъ Роденбахъ останавливается всегда на такихъ эпизодахъ, гдѣ, въ какомъ-нибудь иногда незначительномъ происшествіи, вдругъ раскрывается глубокая правда, сливающая отдѣльный случай съ общимъ теченіемъ и смысломъ жизни. Любовь играетъ большую роль въ его разсказахъ; онъ изображаетъ ее углубленной контрастами, или близостью смерти, или непонятными, но несомнѣнными вліяніями окружающихъ предметовъ, показывая такимъ образомъ, какими нитями все связано въ бытіи, какъ все говоритъ въ неодушевленной природѣ незримыми голосами и вліяетъ на чувства и настроенія. Въ разсказѣ „Любовь и смерть“ нѣсколько людей, писателей и художниковъ, ведутъ бесѣду о любви, и каждый пытается дать объясненіе

той странной связи, которая несомнѣнно существуетъ между любовью и смертью. Говоря о частыхъ самоубійствахъ отъ любви, одинъ изъ бесѣдующихъ доказываетъ, что „тотъ не знаетъ истинной глубокой любви, у котораго не было мысли умереть вмѣстѣ съ возлюбленной“. Другой развиваетъ далѣе высказанную мысль о внутренней связи между любовью и смертью и приводитъ цѣлый рядъ примѣровъ: „Если любящіе такъ часто обнаруживаютъ желаніе вмѣстѣ умереть, и въ самомъ дѣлѣ умираютъ, то это происходитъ оттого, что любовь и смерть связаны аналогіями, какъ бы подземными ходами, ведущими отъ одного къ другому. Близость смерти усиливаетъ любовь. Какъ же иначе объяснить то, что въ деревняхъ влюбленные любятъ бродить по кладбищамъ, и что души самыя простыя и самыя сложныя одинаково ищутъ близости могилъ? Мишлѣ водилъ невѣсту, которую полюбилъ на склонѣ лѣтъ, на кладбище Père Lachaise, чувствуя, что сможетъ лучше говорить ей о любви среди могилъ и видя смерть передъ собой. Извѣстно, что убійцы, совершивъ преступленіе, стараются забыться въ обществѣ женщинъ—они видѣли смерть, и это возбуждаетъ въ нихъ жажду любви. Извѣстно также, что траурный уборъ дѣлаетъ женщину болѣе обаятельною:—окружая себя атмосферой смерти, женщина тѣмъ самымъ возбуждаетъ мысль о любви“. Вспоминая слова „Пѣсни пѣсней“, гдѣ близость любви и смерти выражена въ словахъ: „любовь сильнѣе смерти“, одинъ изъ бесѣдующихъ рассказываетъ эпизодъ изъ своей жизни, подтверждающій ту же мысль. Онъ въ молодости любилъ одну женщину и провелъ однажды нѣсколько дней въ ея домѣ при очень тяжелыхъ обстоятельствахъ. Къ ней пріѣхала ея младшая сестра вмѣстѣ съ теткой, замѣнявшей ей мать. Тетка внезапно умерла. По просьбѣ своей подруги, рассказчикъ проводитъ ночь около тѣла вмѣстѣ съ убитой горемъ молодой дѣвушкой. Она боялась остаться одна вблизи мертвой, но вмѣстѣ съ тѣмъ хотѣла провести ночь около нея. Рассказчикъ говоритъ, что онъ не пытался утѣшать сироту, видя глубину ея горя, и только сидѣлъ около нея, держа ея руку, и просилъ ее не плакать. Никакой посторонней мысли въ эту грустную минуту у него не было; онъ, къ тому же, искренно любилъ сестру молодой дѣвушки. Но близость смерти породила какое-то безуміе. Дѣвушка сама прижалась къ нему, какъ бы ища утѣшенія и спасенія; онъ безсознательно наклонился къ ней, и братскія утѣшенія смѣнились горячими поцѣлуями. Онъ говоритъ объ ужасѣ этой странной сцены, когда близость смерти замѣняла любовь и уничтожала всѣ мысли. На слѣдующій день онъ не рѣшался поднять глаза на молодую дѣвушку, но она оставалась загадочной и спокойной, забывъ все, что произошло. Никакой любви между ними

не было, была только роковая близость смерти, вызывающая потребность любви.

Въ рассказѣ „Городъ“ любовь рисуется связанной не со смертью, а съ вліяніемъ окружающей обстановки. Чета влюбленныхъ уѣзжаетъ въ маленький фламандскій городъ, чтобы вдали отъ людей всецѣло жить другъ для друга, отдавшись своему чувству. Но ихъ такъ давитъ обстановка мертвого города, что любовь становится проклятіемъ. Постоянный звонъ колоколовъ, призывающихъ къ молитвѣ, молчаливыя фигуры монахинь, скользящія по тихимъ улицамъ, общее настроеніе тихаго города, погруженнаго въ молитвы и созерцаніе, составляетъ слишкомъ рѣзкій контрастъ съ ихъ жаждой счастья и радости. Они сначала борются противъ вліянія церквей, тихихъ каналовъ и молящихся фигуръ—но все это слишкомъ громко говорить имъ о смерти, и смерть постепенно, но властно побѣждаетъ любовь. Они бессознательно отдаляются другъ отъ друга и вскорѣ уѣзжаютъ каждый отдѣльно, навсегда охладѣвши другъ къ другу.

Воздѣйствіе предметовъ внѣшняго міра на внутреннюю жизнь души—одинъ изъ излюбленныхъ сюжетовъ Роденбаха. Онъ часто повторяетъ одну и ту же мысль: между неодушевленнымъ міромъ и человѣческой душой, существуютъ незримые переходы, и часто поступки и чувства можно объяснить только видомъ какого-нибудь предмета, заставляющаго вдругъ прорваться наружу то, что долго спало въ душѣ. Жизнь людей кажется ему сплетеніемъ видимаго и невидимаго; все въ жизни загадочно лишь потому, что человѣкъ считаетъ себя чѣмъ-то обособленнымъ въ бытіи и не понимаетъ своей связи съ тѣмъ, что исходитъ не отъ него, а отъ окружающаго его міра. Въ „Suggestion“ рассказана исторія одного преступленія: мужъ убилъ жену,—безъ всякой видимой причины. Адвокатъ тщетно пытается объяснить преступленіе, пока самъ подсудимый не объясняетъ ему въ точности событій рокового дня. Онъ очень любилъ свою жену, но она почему-то вдругъ почувствовала неприязнь къ нему и стала его преслѣдовать мелкими придирками: ее раздражало каждое его движеніе и слово, она не скрывала и не могла скрыть раздраженія, смѣялась надъ нимъ. Жизнь ихъ превратилась въ сплошное мученіе, хотя никакихъ внутреннихъ причинъ недовольства не было. Жена ему не изменила, онъ продолжалъ любить ее, но чувствовалъ себя постоянной мишенью ничѣмъ не вызванныхъ преслѣдованій. Но, конечно, мысль о какой-либо катастрофѣ не приходила ему въ голову. Онъ только надѣялся, что смерть положить предѣлъ совершенно безысходной жизни. Однажды, послѣ невыносимой сцены, онъ ушелъ изъ дому, идя куда глаза глядятъ, пошелъ за-городъ, съ единственной

цѣлью уйти подальше отъ людей, отъ городовъ. Вдругъ передъ нимъ блеснулъ среди мрака промчавшійся въ полѣ поѣздъ желѣзной дороги. Видъ краснаго фонаря у локомотива вдругъ пробудилъ въ немъ спящій инстинктъ—жажду совершить убійство, отмстить за поруганіе. Красный фонарь показался ему раной, разсѣкающей ночной мракъ, вся природа окуталась кровавой пеленой, — онъ спѣшитъ домой, и убиваетъ свою жену. Красный фонарь локомотива внезапно раскрытъ въ немъ невѣдомую ему самому бездну — внушилъ ему то, что, конечно, уже было въ немъ, только еще несознанное. Адвокатъ не рѣшается представить на судѣ правдивое объясненіе убійства, — связи между краснымъ фонаремъ и убійствомъ никакіе судьи не сочтутъ правдоподобнымъ объясненіемъ. Гораздо болѣе полезнымъ способомъ защиты адвокатъ считаетъ обычную ссылку на ненормальное состояніе духа преступника, хотя на самомъ дѣлѣ никакого безумія онъ не обнаружилъ,—онъ только испыталъ власть соотношеній между чело-вѣкомъ и окружающими его предметами.

Участіе неодушевленныхъ предметовъ въ душевной жизни людей Роденбахъ изображаетъ въ нѣкоторыхъ разсказахъ съ изысканной нѣжностью и поэтичностью. Какъ трогательно, напримѣръ, связь цѣлой разбитой жизни одной изъ его героинь съ звуками колокола въ ея родномъ городѣ! Молодую дѣвушку покинулъ ея женихъ. Она живетъ, однако, надеждой на его возвращеніе, и хранитъ кольцо, которое онъ надѣлъ ей на палецъ передъ отъѣздомъ. Кольцо ей кажется залогомъ вѣрности, и она вѣритъ въ то, что счастье вернется. Въ это время въ городѣ произошло несчастье. Ураганъ сорвалъ колоколъ съ башни собора, и упалъ съ высоты; колоколъ разбился. Суевѣрное населеніе видитъ въ этомъ знакъ гнѣва Господня; многіе изъ живущихъ въ сосѣдствѣ собора утверждаютъ, что въ минуту паденія они слышали злорадный смѣхъ сатаны. Лишенный обычнаго церковнаго звона, городъ кажется мертвымъ. Для приобрѣтенія новаго колокола не оказывается денегъ, и тогда духовенство прибѣгаетъ къ мѣрѣ, которая должна и дать необходимыя средства, и быть въ то же время искупленіемъ за грѣхи населенія, навлекшіе на городъ кару Божію. Жителямъ предлагаютъ жертвовать имѣющіеся у нихъ драгоценныя предметы изъ бронзы, серебра и золота для того, чтобы переплавить ихъ въ колоколъ. Въ назначенный заранѣе часъ, по городу проѣзжаютъ повозки, въ которыя жителямъ предлагается класть имѣющіеся у всякаго металлическіе предметы. Все населеніе охвачено порывомъ великодушія; всѣ толпятся у оконъ, дверей, на балконахъ, и въ проѣзжающія мимо домовъ повозки сыплются дары; женщины снимаютъ съ себя драгоценности, въ бѣдныхъ кварталахъ изъ оконъ бросаютъ

домашнюю утварь—всякій хочет участвовать въ благочестивомъ дѣлѣ. Бѣдная обманутая дѣвушка ждетъ съ замираніемъ сердца своей очереди. У нея есть одна только драгоценность — кольцо жениха. Ей кажется, что, отдавъ его, она сама уничтожить послѣднюю надежду на счастье; но ее оцѣняетъ общее воодушевленіе, — и она бросаетъ кольцо. Въ душѣ ея точно что-то отрывается, — она поняла, что совершила нѣчто непоправимое: женихъ ея умеръ для нея навсегда. Кольцо ея становится частью колокола, а любовь ея тѣмъ самымъ переходитъ въ воспоминаніе. Но жизнь дѣвушки остается связанной съ кольцомъ: ея печаль, какъ и кольцо, только измѣнила форму. Когда новый колоколъ вылитъ и повѣшенъ на колокольную, дѣвушкѣ слышится въ чередованіи его то веселаго, то печальнаго торжественнаго звона вся прошлая жизнь ея сердца. Колоколъ точно знаетъ всю ея жизнь; кто-то плачетъ въ его звукахъ и будетъ плакать цѣлые вѣка — дѣвушкѣ слышится голосъ ея кольца. Немного золота присоединилось къ бронзѣ. Такъ и любовь дѣвушки, и печаль ея перестали принадлежать исключительно ей, а слились съ общою печалью всей земли.

Самый характеръ рассказовъ Роденбаха показываетъ, что его интересуютъ исключительно нѣжныя, впечатлительныя души, для которыхъ всякое даже незначительное происшествіе можетъ стать предметомъ глубокаго переживанія. Французскіе романисты, занятые анализомъ психологическихъ тонкостей, рисуютъ большей частью міръ праздныхъ людей, свѣтскихъ женщинъ и мужчинъ высшаго общества, полагая, что только отсутствіе жизненныхъ заботъ даетъ возможность проявить въ жизни сложные оттѣнки чувствъ и настроеній. Роденбахъ идетъ по иному пути; онъ рисуетъ тоже людей, чуждыхъ жизненныхъ заботъ и потому способныхъ жить сосредоточенной жизнью чувствъ. Но не праздность освободила ихъ отъ заботъ, а простота потребностей, тихая жизнь, чуждая суеты. Люди, которыхъ рисуетъ Роденбахъ — избранныя натуры, несмотря на то, что они не обладаютъ никакими особыми талантами и никого не покоряютъ своими чарами. Простыя, наивно любящія дѣвушки, благочестивыя монахини съ невинными желаніями — вотъ міръ героинь Роденбаха. Бѣдная дѣвушка идетъ къ парикмахеру продавать свои пышные волосы, чтобы хоть какъ-нибудь спасти отъ нужды себя и своихъ близкихъ; но жертва ея напрасна — волосъ ея практичный парикмахеръ не можетъ купить, потому что они слишкомъ необыкновеннаго цвѣта и никому не пригодятся. Авторъ видитъ въ этомъ грустномъ, довольно обыденномъ происшествіи внутренней смыслъ. Дѣвушка несчастна, потому что то, что въ ней есть самаго прекраснаго — необыкновенно, не отвѣчаетъ потребностямъ толпы. Она ему кажется поэтому музой всѣхъ,

кто приносить въ міръ новыя мысли, всѣхъ тѣхъ, великое несчастье которыхъ происходитъ оттого, что они не похожи на другихъ. Изображая страданія впечатлительныхъ и нервныхъ душъ, Роденбахъ вовсе не считаетъ нужнымъ изображать какія-либо катастрофы. Иногда незначительное само по себѣ происшествіе можетъ стать для чуткой совѣсти предметомъ величайшихъ страданій, какъ, напр., у героини разсказа „Buis bénit“: въ женскомъ монастырѣ ко дню праздника не оказалось вѣточекъ зелени, доставляемыхъ обыкновенно мѣстнымъ поставщикомъ цвѣтовъ, и настоятельница предлагаетъ монахинямъ, живущимъ отдѣльными домиками, пожертвовать ко дню праздника зеленью ихъ садиковъ. Для каждой изъ скромныхъ монахинь жертва эта чрезвычайно велика, потому что воздѣлываніе сада—одна изъ немногихъ скромныхъ радостей этихъ отшельницъ. Но ни одна изъ нихъ не ропщетъ—онѣ рады отдать самое дорогое, и величіе жертвы вызываетъ въ нихъ восторженное настроеніе. Садики опустѣли, но всѣ спѣшаютъ въ церковь съ особой радостью, возбужденныя сознаніемъ исполненнаго тяжелаго долга. Одна только изъ монахинь не исполнила своей обязанности; ей стало жаль опустошить свой садикъ; она успокоила свою совѣсть всякаго рода предлогами, и не принесла своей доли въ общее дѣло. Но въ церкви она слышитъ проповѣдь священника, который говоритъ о красотѣ совершеннаго подвига, о символическомъ значеніи опустошенныхъ во славу Божію садовъ. Онъ особенно хвалитъ монахинь за то, что ни одна не уклонилась отъ своего долга. Монахиня, пожалѣвшая зелень своего сада, вдругъ понимаетъ всю глубину совершеннаго ею, хотя и никому невѣдомаго преступленія. Угрызеніе совѣсти принимаетъ грозные размѣры. Вернувшись къ себѣ, она сначала хочетъ скрыть свое преступленіе, угвариваетъ своихъ сожительницъ никого не пускать къ нимъ въ садъ, чтобы никто не увидѣлъ, что зелень въ саду нетронута. Но она до того терзается внутренно, что это наноситъ послѣдній ударъ ея и безъ того больному сердцу. Она умираетъ отъ разрыва сердца, и преступленіе такимъ образомъ обнаруживается само собой. Толпа монахинь приходитъ въ домъ умершей, и всѣ видятъ, что она уклонилась отъ исполненія долга. Зелень, которую она не хотѣла пожертвовать въ церковь, теперь срѣзаютъ для того, чтобы украсить ея гробъ. Пришлось какъ разъ вырѣзать середину ковра зелени, представлявшаго по формѣ сердце Господне, т.-е. сдѣлать какъ разъ то, что умершая монахиня не сдѣлала для церкви. Теперь вырванный кусокъ зелени кажется какой-то раной на свѣтломъ коврѣ, той раной, отъ которой умерла монахиня, нарушившая велѣніе совѣсти. Нужна, очевидно, большая изысканность чувства, чтобы видѣть преступленіе въ

столь незначительномъ поступкѣ. Но дѣло не въ самомъ происшествіи, а въ томъ, что соотвѣтствуетъ ему въ душѣ человѣка. Все, о чемъ повѣствуетъ Роденбахъ въ своихъ разсказахъ, сводится къ тому же преобладанію внутреннихъ переживаній надъ внѣшними происшествіями. Въ этомъ—сущность его поэтического творчества.

III.

George Pelissier. Etudes de Littérature Contemporaine. Paris. 1901. Стр. 312.

Жоржъ Пелисье, авторъ многочисленныхъ очерковъ по современной литературѣ, придалъ послѣднему сборнику своихъ статей нѣсколько обособленный характеръ. На-ряду съ критическими статьями объ отдѣльных писателяхъ онъ посвящаетъ рядъ очерковъ изученію современнаго французскаго общества на основаніи выведенныхъ въ литературѣ типовъ. Въ виду того, что современный романъ задается въ значительной степени реалистическими цѣлями, въ немъ очевидно должна была отразиться общественная жизнь со всѣми созданными ею типами. Пелисье подводитъ итогъ этой жизни, рассматриваемой черезъ призму романа, и—должно сознаться—приходить къ довольно печальнымъ выводамъ. Въ очеркахъ его переименованы почти всѣ извѣстные романы послѣднихъ лѣтъ, а часто онъ ссылается и на романистовъ начала и середины вѣка, на Бальзака, первые романы Зола и т. д. Такъ какъ основная тема большинства романовъ—любовь и семейныя отношенія, то Пелисье прежде всего даетъ характеристику французской дѣвушки и замужней женщины на основаніи данныхъ, почерпнутыхъ изъ романовъ. Онъ подтверждаетъ то, что уже давно было замѣчено критиками, въ особенности иностранными, относительно французскаго романа: дѣвушки играютъ въ немъ весьма блѣдную и незначительную роль. Фактъ этотъ самъ по себѣ очень странный. Казалось бы, нетронутое и непосредственныя чувства молодого сердца—наиболѣе драгоценный матеріалъ для того, кто изучаетъ вліяніе любви на жизнь; почему же французскіе психологи избираютъ исходнымъ пунктомъ своихъ изслѣдованій тотъ моментъ, когда женщина выходитъ замужъ и измѣняетъ своему мужу для втораго избранника своего сердца? Въ литературѣ другихъ странъ молодая дѣвушка играетъ первенствующую роль. Сердце ея свободно, и всѣ душевныя силы обращены въ сторону любви, которая служитъ какъ бы пробнымъ камнемъ характера и воли, направленной на исканіе красоты и правды въ жизни. Русскій романъ, скандинавская драма, а также англійская и нѣмецкая

литература создали типы дѣвушекъ, которыя соединяють нетронутость чувствъ съ твердой волей и сложностью души; онѣ свидѣлствуютъ своими смѣлыми поступками о богатствѣ своихъ духовныхъ силъ, о разнообразіи душевныхъ движеній, дѣлающихъ жизнь или прекрасной и полной смысла, или ведущихъ къ нравственному паденію. Борьба идеальныхъ влеченій человѣческой души съ искушеніями зла ярче всего выражается въ жизни молодыхъ дѣвушекъ, съ ихъ невѣдніемъ и въ то же время инстинктивнымъ пониманіемъ того, что жизнь даетъ и можетъ дать. Самыя драматичныя и поэтичныя созданія всемірной литературы—дѣвушки, стоящія на порогѣ жизни. Гретхенъ — жертва своей невинности; Джульетта—жертва своей страсти; Тургеневскія Лиза и Елена обаятельны тѣмъ, что чувства, охватившія ихъ,—первыя, составляющія не эпизодъ въ ихъ жизни, а самую сущность ея. Литература всегда связана съ жизнью, и очевидно поэтому, что во всѣхъ странахъ молодая дѣвушка живетъ достаточно глубокой и самобытной жизнью, чтобы вдохновлять искусство своимъ внутреннимъ міромъ. Почему же въ одной Франціи романисты пренебрегаютъ столь благодарнымъ и важнымъ для психологическаго анализа матеріаломъ? Отвѣтъ Пелисье очень опредѣленный: условія французской жизни дѣлають дѣвушку во Франціи совершенно безцвѣтнымъ существомъ. Консерватизмъ нравовъ во Франціи таковъ, что почти ничего не измѣнилось въ воспитаніи молодыхъ дѣвушекъ отъ XVII-го вѣка до нашихъ дней. Тогда онѣ воспитывались въ монастыряхъ, выходили замужъ, совершенно не зная выбираемыхъ для нихъ родителями мужей,—и въ настоящее время продолжаетъ дѣйствовать та же система замкнутого воспитанія и неустаннаго надзора за дѣвушками до ихъ выхода замужъ. Дѣвушки въ драмахъ Расина—тотъ же типъ безцвѣтныхъ *ingénues*, какъ и дѣвушки въ современныхъ романахъ. „*Ingénue*“, по опредѣленію Пелисье, „робкій, граціозный и глупенькій звѣрокъ. Всѣ *ingénues* походятъ одна на другую; ихъ объединяетъ одна общая имъ всѣмъ черта характера—ихъ невинность. Мольеровская Агнеса—классическій образчикъ этого типа. Она интересна не сама по себѣ, а по той пикантности, которую Мольеръ вкладываетъ въ изображеніе ея: отъ избытка невинности она говоритъ вещи очень двусмысленнаго характера“. Пикантность невинности—вотъ единственный интересъ молодой дѣвушки для извращеннаго вкуса французовъ. Серьезнаго значенія душевному міру дѣвушки они не придаютъ, зная по опыту, до чего безцвѣтенъ характеръ французской дѣвушки, живущей только надеждой на замужество и открываемую имъ свободу. Въ литературѣ послѣднихъ лѣтъ замѣчается нѣкоторое уклоненіе отъ типа *ingénue*. Пелисье указываетъ между прочимъ на рассказы и повѣсти Жюль. Она тоже

изображает невинных молодых дѣвушекъ, но всѣ онѣ одарены умомъ, остроуміемъ и смѣлостью сужденій. Никакого стремленія къ самостоятельности въ нихъ нѣтъ, но есть критическое отношеніе къ окружающему и любовь къ правдѣ, нежеланіе подчиняться условной свѣтской лжи. Онѣ тоже видятъ въ замужествѣ свою главную цѣль, но относятся болѣе серьезно къ выбору мужа, чтобы въ будущемъ не обманывать его. Такова, напр., одна изъ героинь Жипъ, шестнадцатилѣтняя дѣвушка, которую въ семьѣ зовутъ „m-lle Chiffon“. Она огорчаетъ свою мать отсутствіемъ манеръ, т.-е. тѣмъ, что она не стѣсняется говорить правду при всѣхъ обстоятельствахъ. Въ ея отвѣтъ слишкомъ старому жениху много честности, невинности и вмѣстѣ съ тѣмъ внутренней свободы: „Обманывать мужа—я, въ сущности, не знаю, чѣмъ это начинается и чѣмъ кончается — но считаю это очень дурнымъ. И вотъ, видите ли, я увѣрена, что, выйдя за васъ замужъ, я васъ буду обманывать. Я васъ люблю, очень люблю, но, мнѣ кажется, не такъ, какъ слѣдуетъ любить мужа... и я увѣрена, что, встрѣтивъ того, кого именно такъ полюблю,—я совсѣмъ, совсѣмъ не буду стѣсняться. Вы теперь понимаете, въ чемъ дѣло?—можетъ быть, я слишкомъ безцеремонно говорю вамъ правду, но было бы еще болѣе безцеремонно выйти за васъ замужъ, не говоря этого“... Такого рода дѣвушка уже представляетъ прогрессъ сравнительно съ ничтожными, наивными дурочками (*petites oies blanches*), которыхъ изображали и продолжаютъ изображать французскіе романисты, и если говорить о жизненной правдѣ, то очевидно, что и въ этомъ отношеніи Жипъ вѣрнѣе поняла дѣйствительность, чѣмъ другіе романисты. Особенно высокаго духовнаго прогресса въ ея героиняхъ не замѣтно, но все-таки, въ той узкой сферѣ, какая имъ отводится въ жизни, эти дѣвушки свидѣтельствуютъ о зарожденіи сознательнаго и болѣе или менѣе самостоятельнаго отношенія къ окружающему. Одинъ изъ современныхъ романистовъ, Марсель Превъ, тоже уклонился отъ типа *ingénue* въ изображеніи современной французской дѣвушки. Онъ „открылъ“ новый типъ и окрестилъ его именемъ „полудѣвы“ (*demi-vierge*). Типъ этотъ впрочемъ, настолько непривлекателенъ, что самъ авторъ спѣшитъ оговорить исключительность его, и противопоставляетъ ему въ видѣ идеала невинную дѣвушку прежняго типа, съ очень узкимъ кругозоромъ, но зато чуждую извращенности и грязныхъ житейскихъ помысловъ. Полу-дѣва—типъ извѣстной среды, гдѣ дѣвушки окружены искусными совратителями, и въ то же время никогда не забываютъ практическихъ цѣлей жизни, необходимости выгоднаго брака. Чтобы удовлетворить своимъ страстямъ, и въ то же время не разбить жизни какимъ-нибудь неосторожнымъ увлеченіемъ, онѣ идутъ на копромиссы, навсегда грязнящіе ихъ

душу. Прево открылъ невѣдомую сторону парижскихъ нравовъ, и обнаружилъ несомнѣнный талантъ въ изображеніи неприглядной картины, наблюденной имъ. Но, все-таки, романъ его нельзя считать шагомъ впередъ въ изученіи современной французской дѣвушки. Какимъ бы ни быть пессимистомъ, все-же нельзя допустить, что французская дѣвушка, даже въ тѣхъ печальныхъ условіяхъ воспитанія, какія существуютъ во Франціи, была бы или безцвѣтной *ingénue*, или развращенной полу-дѣвой. Если явится романистъ, который захочетъ глубже взглянуть въ душевную жизнь молодой дѣвушки, онъ вѣроятно найдетъ въ ней и поэзію, и сложность, какую находили художники другихъ странъ въ своихъ соотечественницахъ. Такого романиста еще не было во Франціи, быть можетъ, потому, что задача эта не благодарная. Читающая публика воспитана на адюльтерномъ романѣ—она любитъ пикантное изображеніе супружеской измѣны, и психологія чистой души можетъ показаться ей прѣсной и недостаточно занимательной. Вкусъ читающей публики—быть можетъ, самое большое препятствіе, мѣшающее французскимъ романистамъ изучить современную дѣвушку.

Романы, гдѣ героиней является замужняя женщина, гораздо многочисленнѣе; очеркъ, который Пелисье имъ посвящаетъ, составленъ по этому на основаніи обширнаго матеріала. Большинство современныхъ романовъ, по справедливому замѣчанію Пелисье, начинается съ вступленія женщины въ бракъ, или, вѣрнѣе, съ момента первой измѣны мужу. Интересъ фабулы сводится главнымъ образомъ къ сложности отношеній разныхъ *menages à trois*—самой типичной формулы адюльтернаго романа. Конечно, романисты не ограничиваются этимъ основнымъ положеніемъ и стараются какъ можно болѣе разнообразить его. У героини Буржэ, напр., „психологія“ начинается лишь со второго или даже третьяго избранника. Пока она обманываетъ только мужа, совѣсть ея спокойна; душевная борьба начинается лишь съ обманомъ друга дома, замѣненнаго какимъ-нибудь новымъ предметомъ увлеченія. Пелисье отмѣчаетъ очень характерный фактъ. Онъ говоритъ, что, перечитавъ болѣе двадцати наиболѣе извѣстныхъ романовъ за послѣднія десять или пятнадцать лѣтъ, онъ нашелъ только одинъ, „*Jours d'érgeuves*“, Поля Маргерита, въ которомъ мужъ и жена до конца не измѣняютъ другъ другу, причемъ, однако, много говорится объ опасностяхъ, угрожавшихъ ихъ семейному счастью. Во всѣхъ остальныхъ измѣняетъ или мужъ, или жена, чаще всего жена, и все дѣло въ томъ, какъ возстановить нарушенную гармонію: примириться ли съ фактомъ измѣны, или мстить за вину, или же, наконецъ, порвать оскверненную связь. Въ послѣднее время идея прощенія все болѣе овладѣваетъ умами романистовъ—очевидно, подъ вліяніемъ русскихъ романистовъ.

Въ „Jardin Secret“, Прево, жена сначала негодуешь на измену мужа, потомъ вдумывается въ свою собственную жизнь, находить и въ ней не мало грѣховъ, хотя фактически она мужу не изменяла. Она становится поэтому болѣе снисходительной къ винѣ мужа, внутренне прощаетъ его; по ея кроткому отношенію къ нему онъ и не предполагаетъ, что ей что-нибудь извѣстно. Въ „Tourmente“, Поля Маргерита, прощаетъ мужъ. Онъ долго страдаетъ отъ капризовъ жены, начинаетъ подозрѣвать ея измену, и наконецъ узнаетъ о справедливости своихъ догадокъ изъ признанія самой виновной. Онъ сначала не знаетъ, какъ поступить—и послѣ долгой борьбы рѣшается простить и продолжать совмѣстную жизнь, но уже видя въ женѣ только сестру. Другіе романисты не согласны съ такимъ рѣшеніемъ вопроса. Въ романахъ Эдуарда Роа, жена, узнавшая объ изменѣ мужа, настаиваетъ на разводѣ, хотя знаетъ, что разлука съ мужемъ принесетъ ей величайшее страданіе („Vie privée de Michel Teissier“). Во всѣхъ этихъ романахъ вопросъ о супружеской изменѣ все-таки поднять на высоту вопроса совѣсти. Остальные же романисты видятъ въ адюльтерѣ только какъ бы установленную форму общественной жизни, изучаютъ только отбѣнки чувствъ и настроеній, создаваемыхъ сложными любовными отношеніями къ нѣсколькимъ людямъ. Измена женщины въ романахъ этого типа болѣе частью не раскрывается; внѣшняя жизнь ея изменяется отъ перемѣны героевъ ея увлеченій; вся разница—въ томъ, въ чью gaucherie она является въ часы, назначенные для визитовъ. Никому нѣтъ дѣла до ея интимныхъ радостей и разочарованій,—нужно только, чтобы она аккуратно являлась домой къ обѣденному часу и вечеромъ принимала своихъ друзей въ салонъ своего мужа. Фигура мужа при этомъ самая неинтересная. Онъ никогда не знаетъ ничего объ интимной жизни своей жены, и въ сущности не интересуется ею. Въ жизни, основанной на лжи, исчезаетъ всякій смыслъ исканія правды. Романъ Буржэ „Mensonges“—типичный образецъ этого рода литературы. Начало и конецъ романа очень сходны. Мужъ, жена и „другъ дома“ выѣзжаютъ вмѣстѣ на прогулку невозмутимые и довольные положеніемъ вещей. Въ промежуткѣ совершается цѣлый рядъ событій,—образцовая жена и свѣтлая женщина запутываетъ и распутываетъ рядъ интригъ, но все это тщательно скрыто, и въ концѣ оказывается, что всѣ довольны—и мужъ, и жена, и „другъ дома“. Самъ Буржэ и его послѣдователи разнообразили эту картину быта на множество ладовъ, но все различіе между отдѣльными романами заключается, въ сущности, въ количествѣ мѣняющихся возлюбленныхъ и въ разныхъ подробностяхъ любовныхъ интригъ. Общая же картина—одна и та же: адюльтеръ какъ черта нравовъ, которую нужно изображать, а не считать

исходнымъ пунктомъ для возбужденія вопросовъ совѣсти. Пелисье—противникъ адюльтернаго романа, не считая его полнымъ выраженіемъ внутренней жизни французской женщины. Конечно, въ нравахъ парижскаго общества, въ особенности той праздной среды, на которой сосредоточено вниманіе романистовъ, есть многое, оправдывающее такое отношеніе къ женщинѣ и семьѣ. Но, опять-таки, можно только пожелать, чтобы явился романистъ, который глубже заглянулъ бы въ смыслъ окружающей жизни; онъ сможетъ найти и въ жизни парижанки нѣчто болѣе важное и глубокое, чѣмъ заботы о туалетѣ и посвященія изящныхъ *garçonnières*.

Изученіе французской жизни по изображеннымъ въ романахъ типамъ, Пелисье дополняетъ очерками о духовенствѣ во французскомъ романѣ, о типахъ писателей и политическихъ дѣятелей въ литературѣ. Очерки составлены обстоятельно, характеристики сдѣланы на основаніи главнѣйшихъ романовъ какъ послѣдняго времени, такъ и болѣе раннихъ. О вліяніи духовенства на французскую жизнь, въ особенности на воспитаніе юношества, онъ говоритъ, ссылаясь на романы Октава Мирбо, Эстонье и Фердинанда Фабра. Бальзакъ изображалъ еще условный типъ добродушнаго сельскаго священника, который исполняетъ свое назначеніе и вноситъ успокоеніе въ мятежныя души. Но уже Флоберъ нарисовалъ въ „м-мъ Бовари“ отрицательный типъ грубоватаго священника, занятаго мірскими помыслами и совершенно не понимающаго душевныхъ бурь бѣдной Эммы Бовари, которая ищетъ опоры противъ собственной слабости. Новѣйшіе романисты рисуютъ заткляю жизнь семинарій, воспитывающую въ будущихъ священникахъ только низменныя желанія, стремленіе къ сибаритству, желаніе устроиться какъ можно удобнѣе и спокойнѣе въ жизни. Самая возвышенная черта французскаго духовенства—честолюбіе. Фердинандъ Фабръ въ своемъ „Abbé Tigrane“ и отчасти Анатоль Франсъ въ нѣсколькихъ частяхъ „Histoire Contemporaine“ изображаютъ честолюбивыхъ священниковъ, и это—наиболѣе симпатичные типы. Всѣ остальные, въ особенности Мирбо и Эстонье, обличаютъ мелочной матеріализмъ служителей церкви, и вооружаются противъ ихъ губительнаго вліянія на молодежь. Говоря о романахъ, гдѣ дѣйствуютъ писатели, Пелисье удивляется той странной служебной роли, которая имъ отводится въ общественной жизни. Писатели представлены только въ ихъ случайныхъ сношеніяхъ со свѣтскимъ обществомъ, только героями мимолетныхъ увлеченій свѣтскихъ женщинъ. Глубокій внутренній міръ писателя, его идейная борьба, его тревоги и сомнѣнія—остаются въ сторонѣ. Пелисье приводитъ много примѣровъ, подтверждающихъ, что таково именно отношеніе къ писателю въ современномъ французскомъ ро-

манъ. Но онъ дѣлаетъ при этомъ одно очень странное упущеніе: онъ забываетъ романы Гонкуровъ, которые глубже кого-либо поняли и изобразили муки творчества и весь душевный міръ писателя, для котораго вся жизнь имѣетъ значеніе лишь какъ матеріалъ для искусства.

Кромѣ очерковъ, посвященныхъ отраженію общественной жизни въ литературѣ, Пелисье помѣстилъ въ своей книгѣ нѣсколько литературныхъ характеристикъ. Самая интересная и яркая изъ нихъ посвящена драмамъ Жюль Лемэтра. Къ писателю-импрессионисту Пелисье остроумно и даже лукаво примѣняетъ соответствующій критическій методъ, показывая, какъ одна и та же черта писателя можетъ быть истолкована и въ пользу, и во вредъ ему.—З. В.



ИЗЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ ХРОНИКИ.

1 января 1901.

Русское общество въ началѣ и въ концѣ XIX-го вѣка.—Постепенная дифференціация классовъ и сословій, общественныхъ группъ и направленій.—Нѣкоторыя черты развитія русской общественной мысли.—Возможный синтезъ главныхъ ея теченій.—

Надежды на будущее.

Русское общество, въ теченіе минувшаго вѣка, испытало еще больше крупныхъ перемѣнъ, чѣмъ русское государство. Сто лѣтъ тому назадъ тѣ группы, которыя принято соединять подъ именемъ общества, и отличительный признакъ которыхъ—если не активное участіе въ жизни цѣлаго, то, по крайней мѣрѣ, сознательный интересъ къ ея перипетіямъ,—были у насъ немногочисленны, количественно слабы и качественно сходны между собою. Одна изъ нихъ, наиболѣе вліятельная, обнимала чиновниковъ и военнослужащихъ, другая—помѣщиковъ, жившихъ въ своихъ усадьбахъ и только на время пріѣзжавшихъ въ губернскіе города или столицы. Рѣзкой, опредѣленной границы между обѣими группами не существовало: члены одной изъ нихъ безпрестанно переходили въ другую; служба, сплошь и рядомъ, вела къ пріобрѣтенію помѣстья, а владѣніе помѣстьемъ открывало доступъ къ службѣ. Такъ называемыхъ свободныхъ профессій не было, можно сказать, вовсе. Ученые, литераторы, врачи состояли почти всѣ на государственной службѣ; адвокаты—если этотъ терминъ примѣнимъ къ тогдашнимъ „ходатаямъ по дѣламъ“—выходили преимущественно изъ среды отставныхъ чиновниковъ; образованные техники, промышленники, коммерсанты еще не нарождались. Вскорѣ, однако, начинается дифференціация общества и подвигается впередъ медленно, но непрерывно. Раньше всего, благодаря необыкновенно быстрымъ успѣхамъ литературы, обособляется классъ литераторовъ. Уже въ двадцатыхъ годахъ мы видимъ писателей по профессіи. Къ сороковымъ годамъ ихъ уже немало, и еще скорѣе, чѣмъ ихъ число, растетъ ихъ значеніе. Приблизительно въ то же самое время образуется классъ научныхъ дѣятелей. Профессора, оставаясь на государственной службѣ, перестаютъ быть только чиновниками; къ нимъ присоединяются ученые, не занимающіе никакой официальной должности. Это движеніе охватываетъ собою всю область знанія, проникаетъ и въ прикладныя науки: врачи, техники всѣхъ категорій теряютъ свой исключительно служебный характеръ. Въ шестидесятыхъ

годахъ извѣстный разрывъ молодыхъ живописцевъ съ академіей художествъ знаменуетъ собою эманципацію еще одной общественной единицы. Судебные уставы создаютъ адвокатскую профессію. Съ развитіемъ промышленности и торговли, съ увеличеніемъ предъявляемыхъ къ нимъ требованій выступаютъ на сцену группы фабрикантовъ и купцовъ, съ ясно сознанными общими интересами, съ систематическимъ стремленіемъ къ ихъ охранѣ. Безформенныя аггломерации отдѣльныхъ лицъ вездѣ принимаютъ болѣе или менѣе ясныя очертанія. Въ послѣднія десятилѣтія минувшаго вѣка аналогичное явленіе происходитъ и въ народной массѣ, далеко уже не столь однородной и одноцвѣтной, какою она была еще недавно. И это зависитъ не отъ однихъ только нарушеній прежняго экономическаго уровня — нарушеній, углубляющихъ разницу между наиболѣе и наименѣе зажиточными слоями населенія. Въ такой же, если не болѣе мѣрѣ, разединеніе массы обуславливается тѣмъ, что невѣжество, еще недавно общее всѣмъ или почти всѣмъ, уступило и уступаетъ мѣсто самымъ различнымъ степенямъ развитія и образованія. Въ какія бы тѣсныя рамки ни была заключена программа начальной школы, она не можетъ служить преградой для любознательности, однажды пробужденной. Грамотность — ключъ, открывающій всѣ двери; труденъ только путь до этихъ дверей, велико разстояніе между ними. Большинство останавливается передъ первою изъ нихъ, но меньшинство идетъ дальше, съ неравною скоростью и неравнымъ успѣхомъ — и первобытное однообразіе навсегда отходитъ въ прошлое. Въ общемъ, съ этой точки зрѣнія, переживаемое нами время представляетъ прямой контрастъ съ началомъ XIX-го вѣка...

Та же дифференціація замѣтна и въ средѣ каждаго отдѣльнаго сословія. Дворянство, сто лѣтъ тому назадъ, распадалось на служащее и неслужащее, крупное и мелкопомѣстное; но эти различія сглаживались общностью интересовъ, сходствомъ образа жизни и образа мыслей. Теперь нѣтъ такого занятія, которое было бы чуждо дворянамъ, нѣтъ такого взгляда, который бы не имѣлъ представителей между ними; даже въ дворянскихъ собраніяхъ, гдѣ всего слабѣе чувствуется рознь, почти всегда обрисовываются два противоположныя теченія. Въ духовенствѣ перемѣна сравнительно невелика, но и здѣсь не могло пройти безслѣдно развитіе образованія, общаго и спеціальнаго; различія въ умственномъ уровнѣ теперь несомнѣнно рѣзче, чѣмъ въ началѣ XIX-го вѣка, когда священниковъ окончившихъ курсъ богословскихъ наукъ, было мало, и самое преподаваніе въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ было поставлено несравненно хуже. Купечество даже въ половинѣ XIX-го вѣка составляло сплошную темную массу, верхи которой очень мало отличались

отъ низинъ; достаточно вспомнить, что матеріаль для своихъ пер-
выхъ комедій Островскій находилъ не въ захолустьяхъ, а въ Москвѣ.
Какая эволюція произошла и происходитъ теперь въ неподвижномъ
еще недавно мірѣ—объ этомъ даетъ понятіе рядъ романовъ П. Д. Бо-
борыкина. Тронулось, наконецъ, и крестьянство; деревня все больше
и больше соприкасается съ городомъ, и городъ все больше и больше
проникаетъ въ деревню.

Параллельно съ расчлененіемъ общества и сословій растетъ разно-
образіе умственныхъ движеній. Сто лѣтъ тому назадъ общество, раз-
сматриваемое какъ одно цѣлое, было глубоко консервативно, не въ
смыслѣ идейной преданности господствующимъ началамъ, а въ смыслѣ
опасенія переменъ, невыгодныхъ для матеріальныхъ интересовъ обще-
ства или несовмѣстныхъ съ его излюбленными привычками. Конечно,
индивидуальная мысль и тогда пробивалась наружу севозъ нагромо-
жденные пласты косности и апатіи. Если даже XVII-ый вѣкъ могъ
произвести Котошихина, начало XVIII-го—Посошкова, то неудиви-
тельно, что къ началу XIX вѣка у насъ были Новиковъ, Радищевъ,
Каразинъ; но самая ихъ судьба свидѣтельствуетъ о томъ, какъ мало
общаго было между ними и окружающею средою. И въ официаль-
номъ мірѣ не безраздѣльно царствовала рутинна: за Бецкимъ, Сивер-
сомъ, Румянцовымъ, слѣдовали молодые совѣтники императора Але-
ксандра I-го. Общія условія и здѣсь, однако, брали верхъ надъ еди-
ничными усиліями: реформаторы или превращались въ охранителей,
какъ Новосильцовъ, или сходили со сцены, какъ Сперанскій. Колос-
сальные событія 1812-15 гг. пробиваютъ брешь въ китайской стѣнѣ
прадѣдовской рутины. Черезъ эту брешь вливаются къ намъ широ-
кою струею всѣ западно-европейскія теченія, овладѣвая не только
умомъ, но и волей наиболѣе воспримчиваго меньшинства. Рядомъ
съ созерцательнымъ мистицизмомъ возникаютъ направленія, влекущія
къ активной дѣятельности. Уже въ началѣ двадцатыхъ годовъ обри-
совываются, въ главныхъ чертахъ, различные пути, по которымъ пой-
детъ общественная мысль. Событія 1825 года надолго полагаютъ ко-
нецъ политическому броженію. На первый планъ выступаетъ инте-
ресъ къ философіи и литературѣ. Столкновенія—въ обстановкѣ, за-
глушающей всякій рѣзкій звукъ,—принимаютъ сначала самую элемен-
тарную форму. На одной сторонѣ стоятъ восторженные ревнители
просвѣщенія, на другой—безъидейные и беззащитные обскуранты.
Булгаринская „Сѣверная Пчела“ одинаково враждебна „Телеграфу“
Полевого, „Телескопу“ Надеждина, „Московскому Наблюдателю“ Бѣ-
линскаго. Въ кружкѣ Станкевича дружно работаютъ или готовятся
къ работѣ будущіе непримиримые противники. Въ сороковыхъ годахъ
• впервые слагаются опредѣленные общественныя и литературныя

группы. Не только западники отдѣляются отъ славянофиловъ, но и въ средѣ западниковъ происходитъ расколъ; Грановскій отдѣляется отъ Герцена. Между славянофилами также обнаруживается разногласіе; „Московский Сборникъ“ далеко не во всемъ сходится съ „Москвитининомъ“. Реакція, вызванная февральской революціей, сглаживаетъ только-что образовавшіяся различія, налагая молчаніе на всякую живую мысль. Когда, семь лѣтъ спустя, опять становится возможнымъ движеніе, оно встрѣчаетъ единодушное сочувствіе; никто не беретъ на себя роль апологета пережитыхъ стѣсненій. Не исчезаютъ, конечно, такъ называемыя охранительныя тенденціи; за кулисами онѣ напрягаютъ всѣ свои силы, но избѣгаютъ свѣта. Возобновляется споръ между западниками и славянофилами, но ведется безъ ожесточенія, потому что обѣ стороны сходятся въ признаніи необходимости реформъ, поставленныхъ на первую очередь. Эта *trêve Dei*, перемиріе, продолжается недолго: къ началу шестидесятыхъ годовъ борьба возгорается вновь, съ небывалой прежде силой. Усложненіе жизни естественно влечетъ за собою образованіе новыхъ группъ, болѣе многочисленныхъ, чѣмъ прежде.

Измѣняясь въ своей интенсивности и въ своихъ формахъ, этотъ процессъ продолжается до настоящаго времени. Его оцѣнка—задача будущаго, можетъ быть еще не близкаго; мы отмѣтимъ только нѣкоторыя характерныя его черты. Первая изъ нихъ — возрожденіе охранительной (вѣрнѣе — псевдо-охранительной) печати, со-всѣмъ-было переставшей существовать въ началѣ второй половины XIX-го вѣка. Оно совершилось не сразу и прошло черезъ нѣсколько различныхъ фазисовъ. Коренясь, въ силу прежней дѣятельности своего главнаго инициатора, въ умѣренномъ либерализмѣ, нео-консерватизмѣ сначала дѣйствительно былъ консервативенъ: онъ стоялъ за совершившіяся реформы, не отрицая ни цѣлесообразности отѣны крѣпостного права, ни великое значеніе судебныхъ уставовъ и земскаго положенія, ни автономію, дарованную университетамъ. Непримиримой враждой къ новизнѣ отличалась въ то время только ультра-дворянская „Вѣсть“, скоро сошедшая со сцены. Ея духомъ сталъ проникаться ея бывшій противникъ. Въ то время, когда даже петербургскіе друзья застоя ограничивались требованіемъ „точки къ реформамъ“, московскій руководящій органъ открыто сталъ на сторону реакціи. Къ началу восьмидесятыхъ годовъ не осталось ни одной великой реформы, противъ которой не высказался бы Катковъ. Его завѣтамъ неуклонно слѣдуютъ его преемники, хотя отъ преобразованій шестидесятыхъ годовъ уцѣлѣло весьма немного. У нихъ въ средствахъ борьбы столь же мало „охранительнаго“, какъ и въ цѣляхъ. Большую роль играетъ „чтеніе въ сердцахъ“, грозящее не только сво-

бодѣ слова, но и свободѣ мысли. Оно доходитъ иногда до формальнаго допроса, возможность котораго предугадывала только Салтыковская сатира, подвергаясь за то упреку въ преувеличеніи, въ незнаніи мѣры. Добровольный сыскъ входитъ въ обычай, далеко оставляя за собою аналогичные приемы до-реформенной „благонамѣренной“ прессы. Подкрѣпленія устремляются къ пунктамъ, безъ того уже достаточно или болѣе чѣмъ достаточно укрѣпленнымъ. Отсюда нарушеніе равновѣсія, къ поддержанію котораго, при болѣе нормальныхъ условіяхъ, могли бы быть направлены совокупныя усилія всѣхъ органовъ общественнаго мнѣнія. Иллюстраціи для нашей мысли приносятъ съ собою чуть ли не каждый день; ограничимся одною, случайно попавшею намъ подъ руку. „Новый генераль-губернаторъ“—читаемъ мы въ статьѣ: „Печать и цензура въ Финляндіи“ („Московскія Вѣдомости“ 16 декабря 1900 г., № 347)—„проявилъ не только терпѣніе, но гуманное и крайне снисходительное отношеніе къ печати (финляндской). За два года его управленія краемъ было запрещено имъ *всего лишь семь изданій*, а около *двадцати* газетъ подвергались пріостановкѣ на болѣе или менѣе короткій срокъ“. О значеніи самаго факта, констатируемаго этими словами, мы говорить не будемъ; насъ интересуетъ теперь только отношеніе къ нему московской газеты. Для печати, сознающей свое призваніе и уважающей свое достоинство, свобода, регулируемая однимъ лишь закономъ—лучшій залогъ нормальной дѣятельности и, слѣдовательно, высшее благо. Желать ея каждый органъ печати, какова бы ни была его окраска, долженъ одинаково и для себя, и для своихъ противниковъ; борьба привлекательна только при равенствѣ условій, при отсутствіи препятствій, едва чувствительныхъ для одного и едва преодолимыхъ для другого. Что же сказать о газетѣ, способной находить, что *семь* запрещеній и *двадцать* пріостановокъ въ теченіе двухъ лѣтъ—цифра очень умѣренная, свидѣтельствующая о терпѣніи, снисходительности и гуманности власти? Развѣ это не признакъ крайняго извращенія понятій объ обязанности и правѣ, едва ли превзойденнаго даже во времена Булгарина и Греча?..

Вторая черта, бросающаяся въ глаза при ретроспективномъ обзорѣ русской общественной жизни, заключается въ томъ, что различіе между общественными теченіями подчеркивается у насъ гораздо рѣзче, чѣмъ сходство. Это, повидимому, наслѣдство той эпохи, когда рядъ необыкновенно быстрыхъ переменъ позволялъ ожидать столь же быстро продолженія ихъ въ ближайшемъ будущемъ. Тогда могло казаться, что разногласіе относительно того, чѣмъ должно быть это будущее, весьма скоро получить серьезный характеръ и непосредственно отразится на ходѣ событій. Съ тѣхъ поръ прошло много лѣтъ, доказавшихъ тщету подобныхъ предположеній, но привычка сохраняетъ однажды

приобрѣтенную силу, и споръ, непріязненный и ожесточенный, происходитъ сплошь и рядомъ между возможными союзниками. Цѣлесообразнѣе, думается намъ, былъ бы иной способъ дѣйствій. Есть, конечно, демаркаціонныя линіи, переступить которыя хотя бы на время было бы равносильно измѣнѣ; но есть и другія, по обѣ стороны которыхъ, по крайней мѣрѣ до извѣстнаго пункта, можно идти рука объ руку, ни отъ чего не отказываясь и не отрекаясь. Совѣстная работа, не исключающая особенностей и оттѣнковъ, плодотворнѣе борьбы, граничащей съ междоусобіемъ. Мы не хотимъ впадать въ идиллію, не хотимъ разбавлять чернила розовой водой; мы очень хорошо знаемъ, что слишкомъ долго продолжающееся согласіе ведетъ къ однообразію, отъ котораго одинъ шагъ до безжизненности. Мы утверждаемъ только одно: гдѣ есть точки соприкосновенія, не поверхностныя, а существенно-важныя, тамъ возможно взаимное уваженіе или, по меньшей мѣрѣ, взаимная терпимость. Недостаткомъ терпимости объясняется, отчасти, антагонизмъ между отцами и дѣтьми, такъ ярко наложившій свою печать на русское общество XIX-го вѣка. Въ значительной степени неизбежный, вызываемый естественной смѣной настроеній и направленій, намѣченный у насъ еще прозорливымъ взглядомъ Лермонтова („Дума“), онъ обостряется въ эпоху усиленнаго и ускореннаго движенія, знаменующаго шестидесятые годы, и поддерживается радикальною противоположностью между смѣлыми порывами молодой души и медленнымъ теченіемъ жизни. Уничтожить антагонизмъ нельзя, пока существуетъ противоположность—но о *смягченіи* его не даромъ мечталъ Салтыковъ, когда писалъ свое „Большое мѣсто“. На встрѣчу молодымъ поколѣніямъ должны пойти старшія, умудренныя продолжительнымъ, почти полувѣковымъ опытомъ. Они должны понять, что явленія, повторяющіяся чуть не изъ года въ годъ, имѣютъ глубоко лежащую причину, неустранимую внѣшнимъ воздѣйствіемъ, даже самымъ энергичнымъ.

Съ главными теченіями, зарождающимися въ тиши еще до начала прошлаго столѣтія, но выходящими наружу въ продолженіе первой его трети переплетаются и перекрещиваются другія, не замыкающіяся въ опредѣленное русло. Такова, прежде всего, вѣра въ спасительную силу законовъ и учреждений. Поколебленная, въ западной Европѣ, событіями конца XVIII-го вѣка, она возрождается въ мирныя гды реставраціи, растетъ въ эпоху іюльской монархіи, слабѣетъ послѣ 1848 года, ищетъ новыхъ точекъ опоры, находитъ ихъ если не во Франціи, то въ Англіи, и постоянно, во всѣхъ своихъ фазахъ, втрѣчается отголосокъ въ русское общество. Начало XX-го вѣка застаеъ ее распатанною, но не угасшею, а только видоизмѣненною. Универсальное, самодовлѣющее, немедленно дѣйствующее лекарство

превращается въ одно изъ средствъ обновленія общественнаго организма. То же самое можно сказать и о другой, поадвѣйшей вѣрѣ—вѣрѣ въ всемогущество знанія. Въ срединѣ XIX-го вѣка она покоряла умы, стремилась къ единовластію, служила предметомъ пламенной пропаганды. Этотъ періодъ, оставившій особенно яркіе слѣды въ русской литературѣ, закончился уже давно. Слова: „банкротство науки“, произнесенныя на Западѣ, повторяются и у насъ одними—съ глубокой грустью, другими—съ злорадствомъ, свойственнымъ обскурантизму. Ошибаются, какъ намъ кажется, и тѣ, и другіе: изъ преждевременности и преувеличенности ожиданій нельзя выводить заключеніе о ихъ тщетѣ. *Вѣра въ всемогущество науки должна уступить мѣсто убѣжденію въ ея могущество...* Отчасти подѣ влияніемъ разочарованія въ наукѣ, послѣдняя четверть минувшаго вѣка отвела широкое мѣсто проповѣди личнаго усовершенствованія. Нравственность стали превозносить въ ущербъ знанію; появились ученія, отрицающія, съ этой точки зрѣнія, всѣ приобрѣтенія культуры. Одно изъ нихъ, прогрессѣвшее по всей Европѣ, принадлежитъ знаменитому русскому писателю. Велико обаяніе призыва, обращеннаго къ совѣсти и сердцу—но и ему не дано заглушить всѣ остальные. Громадныя и трудныя задачи, завѣщанныя новому столѣтію, могутъ быть разрѣшены или хотя бы приближены къ разрѣшенію только совокупнымъ дѣйствіемъ всѣхъ, силъ, личныхъ и коллективныхъ, умственныхъ и нравственныхъ. Въ началѣ XIX-го вѣка, на ближайшей очереди стояли только вопросы политическаго характера; теперь къ нимъ присоединились вопросы социальныя, еще болѣе запутанныя и грозныя. Національный вопросъ принялъ такіе размѣры, какихъ нельзя было предвидѣть столѣтъ тому назадъ. Европейскимъ государствамъ—и специально Россіи—приходится считаться съ цѣлыми частями свѣта, въ продолженіе многихъ вѣковъ жившими исключительно своею замкнутою жизнью. Безконечная, постоянно растущая сложность отношеній устраняетъ возможность панацей, но заставляетъ дорожить всѣмъ тѣмъ, что увеличиваетъ шансы нормальнаго развитія и побѣдоноснаго выхода изъ безднъ затрудненій.

Русское общество, въ теченіе минувшаго вѣка, во многомъ стало на одинъ уровень съ своими западными сосѣдями. Его пассивная роль во многомъ уступила мѣсто активной: оно не только получаетъ, но и даетъ, и нѣкоторые его вклады имѣютъ большую цѣнность. Столѣтъ тому назадъ всецѣло жившая подражаніемъ, русская литература быстро сдѣлалась самостоятельною; лучшія ея произведенія составляютъ достояніе всего цивилизованнаго міра. Все больше и больше распространяется и слава русскаго искусства—русской музыки, живописи, скульптуры. Въ русской наукѣ можно указать рядъ именъ,

пользующихся европейскою извѣстностью. Меньше посчастливилось Россіи въ области государственной жизни, можетъ быть потому, что наиболѣе даровитымъ ея дѣателямъ (назовемъ, для примѣра, Сперанскаго, Н. Милютина, С. Заруднаго, гр. Лорисъ-Меликова) не удавалось до конца начатое ими дѣло. Какъ бы то ни было, прошедшее даетъ право многого ожидать впереди—и мы смотримъ на будущее русскаго общества съ тою же надеждой, какъ и на будущее русскаго государства. Эта надежда далека отъ довѣрчиваго оптимизма, не считающагося ни съ какими трудностями и мечтающаго о близости цѣли, едва уловимой для глаза. Мы знаемъ, что не нашему поколѣнію—поколѣнію пятидесятихъ и шестидесятихъ годовъ, быстро сходящему со сцены, — суждено увидѣть пышный расцвѣтъ русской общественной жизни; для насъ достаточно убѣжденія, что онъ возможенъ, что къ нему ведетъ путь, пройденный Россіей въ XIX-мъ вѣкѣ.



ИЗВѢЩЕНІЯ

ОТЪ ОБЩЕСТВА ПОПЕЧЕНІЯ О БѢДНЫХЪ И БОЛЬНЫХЪ ДѢТЯХЪ,
СОСТОЯЩАГО ПОДЪ АВГУСТѢЙШИМЪ ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМЪ ЕЯ
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ЕЛИСА-
ВЕТЫ МАВРИКІЕВНЫ.

Съ соизволенія Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини Елисаветы Маврикіевны, Августѣйшей Покровительницы Общества попеченія о бѣдныхъ и больныхъ дѣтяхъ на изданіе, въ теченіе десяти лѣтъ, начиная съ 1900 года, Календаря „Синяго Креста“, было при-
ступлено къ изданію Календаря на 1901 годъ.

Доходъ съ этого изданія поступить, по примѣру 1900 г., въ услов-
ленной процентной долѣ, на усиленіе средствъ частію всего помяну-
таго Общества, а частію состоящей въ вѣдѣніи Коломенско-Адмирал-
тейскаго Отдѣла Дѣтской Столовой, учрежденной въ память чудеснаго
событія 17-го октября 1888 года, и въ семъ году (22-го апрѣля) за-
канчивающей первое десятилѣтіе своего существованія.

Самый Календарь „Синяго Креста“ на 1901 годъ, съ картами,
планами, портретами и рисунками, вышедшій въ концѣ 1900 года,
является подробнымъ справочнымъ изданіемъ, необходимымъ для каж-
даго; цѣна 1 руб. 50 коп. за экземпляръ въ картонномъ переплетѣ
(съ пересылкою по 2 р.).

Адресъ Редакціи Календаря „Синяго Креста“: С.-Петербургъ,
Сергіевская ул., д. № 41.

Издатель и отвѣтственный редакторъ: М. Стасюлевичъ.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТОКЪ.

Бюрократизм Сибири въ связи съ общими пере-
селенческими вопросами. Изданіе Бюро-
крации Комитета Министровъ. Стр. X+374.
Съ картой и диаграммой. Сиб. 1900.

Общественный интересъ этой книги заключается
въ томъ, что въ богатствѣ фактическаго матеріала,
широкомъ разработанномъ въ ней по новѣйшимъ
официальнымъ даннымъ, но и въ характерѣ
ея оцѣнокъ, какое дается излагаемымъ фак-
тамъ и выводамъ. Полное безпристрастіе, ин-
стинктивное обязательное принадежности офи-
циальнымъ изданіямъ, не мешаетъ авторамъ отно-
ситься съ живымъ, заботливымъ сочувствіемъ
къ участи крестьянскихъ массъ, стремившихся
въ далекомъ пустынномъ мѣстѣ Сибири ради уда-
ченія своего жалкаго матеріальнаго бита. Это
такое, сознательное отношеніе къ переделу
земельному вопросу, близкое раніе предметомъ
земельно-капеллярскихъ и земледельскихъ мѣропрі-
ятій—большую часть отрицательныхъ,—харак-
теризуетъ, какъ известно, всю дѣятельность
Комитета сибирской земледѣльной дороги въ этой
важной области внутренней колонизаціи, начиная
съ изданія 90-хъ годовъ. Обстоятельный исто-
рическій очеркъ занимаетъ вершину три главы
(въ стр. 126); остальная часть книги посвящена
описанію современныхъ условій крестьянскихъ
нужденій.

Наша колонія. Исследование П. Д. Вилушевъ I.
Крестьянская деревня. Москва, 1900. Стр.
366. Ц. 1 р. 50 к.

Въ своемъ „исследованіи“ авторъ, скрывшій
за себѣ зодѣ псевдонимомъ П. Д., рѣшительно
выступаетъ противъ сельской поземельной общины
и ее защитниковъ въ литературѣ. По его мнѣ-
нію, крестьянская община имѣла смѣсль только
при крѣпостномъ правѣ, когда она служила ор-
ганомъ купеческаго землевладѣнія помещиковъ-помещекъ.
При современныхъ же условіяхъ, „въ нашей де-
ревнѣ,—говоритъ П. Д.,—благодаря крѣпостному
общинѣ, нѣтъ ни колоніи, ни батрака; нѣтъ зе-
мельнаго собственника и нѣтъ мѣста для при-
бытка капитала, а тѣмъ менѣе—условій для
его накопленія. Однимъ словомъ, нѣтъ хозяй-
ства. Многочисленная дѣятельность нашихъ кре-
стьянъ встала на мертвоемъ изъ пустого въ
верное. Крестьяне не ведутъ хозяйства, а
продолжаютъ вести крѣпостное тагало, отъ ко-
торого государство ихъ давно освободило, и ко-
торое никому не нужно—ни обществу, ни госу-
дарству, ни помещикамъ, ни самимъ крестья-
намъ, а развѣ только пылкимъ доморожденнымъ
соціалистамъ и анархистамъ (?)“. Для помѣщи-
ковъ,—полагаетъ авторъ,—„крестьянская община
—средство разоренія, ибо лишала ихъ батра-
ковъ-работниковъ, безъ которыхъ никакого хо-
зяйства воста немыслима“ (231). Въ этихъ словахъ
заключается всенеповторимое признаніе того факта,
что земледѣльная община лишаетъ страну отъ
прежнѣйшаго общаго бездомнаго бѣднячества, изъ
которыхъ только незначительная часть могла бы
имѣть себѣ обезпеченный заработокъ у помещи-
ковъ-фабрикантъ или на фабрикахъ и заводахъ. Этотъ
важнѣйшій, основной аргументъ защитниковъ
нашей общины остается безъ вниманія безъ зна-
ченія, и самая мысль о необходимомъ развитіи

многомиллионнаго пролетаріата при отсутствіи
общаго землевладѣнія является г-ну П. Д. вѣчному
табу „любимой фразой“. Приведемъ мнѣніе
Б. Д. Кавелина, что община служитъ надежнымъ
приближеніемъ для крестьянской массы, „блго-
шейся не изъ большаго достатка, а изъ неуга-
данаго хлеба и крова для себя и семьи“, авторъ по-
казываетъ: „Такимъ образомъ, община не зем-
левладѣніе должно служить громадной богадель-
ней для русскаго народа. Можно ли было на-
писать такую критику противъ этой формы
землевладѣнія нашихъ крестьян?“ (Стр. 299).
Подобные мысли не умалить, однако, отрица-
тельной практической важности вопроса о судьбѣ
многихъ миллионныхъ крестьянъ, не имѣющихъ
никакихъ шансовъ сохранить землю и хозяй-
ство при утратѣ общины. Называть сто-
ронниковъ общины „соціалистами“, „дождевни-
ками“ и даже „анархистами“,—какъ это дѣ-
лаетъ г. П. Д.,—несправедливо и неумѣстно уже
потому, что общинный земледѣльный битъ кре-
стьянъ поддерживался у насъ правительствомъ
и защищается многими несомнѣнными конзер-
ваторами, начиная съ славянофиловъ. Впрочемъ,
при слабости своей аргументаціи, авторъ обна-
руживаетъ большую наивность и достаточ-
ное знакомство съ предметомъ, такъ что книга
можетъ быть прочитана не только съ пользой.

Полное собраніе сочиненій В. Г. Вильновскаго,
родъ ред. С. А. Венгерова. Томъ III. Съ
приложеніемъ портрета Вильновскаго. Сиб.
1900 г. Стр. VII+522. Ц. 1 р. 25 к.

Въ этомъ томѣ печатаются статьи Виль-
новскаго, печатавшіяся въ „Телеграфѣ“ и „Москов-
скомъ Наблюдателѣ“ въ 1836—38 годахъ. Кроме
некихъ рецензій, оцѣенокъ въ Солдатен-
ковскомъ изданіи, здѣсь помѣщена также со-
ставленная Вильновскимъ „Русская грамматика“,
вышедшая отдѣльнымъ изданіемъ въ 1837 году.
Въ примѣчаніяхъ, которыми г. Венгеровъ въ
изобиліи снабжаетъ текстъ, дается огромное
количество разнообразныхъ историко-литера-
турныхъ свѣдѣній; нѣкоторые изъ этихъ при-
мѣчаній разсростаются въ цѣлыя статьи, напр.,
объ отношеніяхъ Вильновскаго къ братьямъ По-
лучаевымъ (стр. 515—523) и др. Изданіе ведется
вообще съ замѣчательною добросовѣстностью и
съ рѣдкимъ знаніемъ дѣла.

Итальянская Библиотека. Джузеппе Джусти.
Критико-биографическій очеркъ М. Ват-
сонъ. Съ портретомъ Джусти. Сиб. 1900.
Стр. 78. Ц. 50 коп.

Въ брошюрѣ г-жи М. Ватсонъ содержится
краткій, но обстоятельный очеркъ жизни и дѣ-
тельности Джузеппе Джусти, одного изъ выд-
вѣнныхъ дѣятелей національнаго возрожденія Ита-
ліи въ первой половинѣ XIX вѣка. Авторъ
удачно характеризуетъ историческую обста-
новку, въ которой пришлось дѣйствовать Джу-
сти, и даетъ вѣрную оцѣнку его значенія въ
политической и литературной жизни Італіи. Въ
„Итальянскую Библиотеку“ г-жи Ватсонъ, промѣ-
щая о Джусти, возмаша она еще брѣвны
—о Кардуччи и Алд Негри.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПОДПИСКѢ

въ 1901 г.

(Тридцать-шестой годъ)

„ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЫ“

ежемесячный журналъ исторіи, политики, литературы,

выходитъ въ первыхъ числахъ каждаго мѣсяца, 12 книгъ въ годъ, отъ 28 до 30 листовъ обыкновеннаго журнальнаго формата.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА.

На годъ:	По полугодіямъ:		По четвертямъ года:			
	Ливаръ	Іюль	Инварь	Апрѣль	Іюль	Октябрь
Безъ доставки, въ Конторѣ журнала	15 р. 50 к.	7 р. 75 к.	7 р. 75 к.	3 р. 90 к.	3 р. 90 к.	3 р. 90 к.
Въ Петербургѣ, съ доставкой	16 „ — „	8 „ — „	8 „ — „	4 „ — „	4 „ — „	4 „ — „
Въ Москвѣ и друг. городахъ, съ пересл.	17 „ — „	9 „ — „	8 „ — „	5 „ — „	4 „ — „	4 „ — „
За границы, въ госуд. почтов. союза	19 „ — „	10 „ — „	9 „ — „	5 „ — „	5 „ — „	4 „ — „

Отдѣльная книга журнала, съ доставкой и пересылкою — 1 р. 50 к.

Примѣчаніе. — Высто разсрочки годовой подписки на журналъ, подписка по полугодіямъ: въ январѣ и іюлѣ, и по четвертямъ года: въ январѣ, апрѣлѣ, іюлѣ и октябрѣ, принимается — безъ повышенія годовой цѣны подписки.

Книжные магазины, при годовой и полугодовой подпискѣ, пользуются обычнымъ уступкою.

ПОДПИСКА

принимается на годъ, полугодіе и четверть года:

ВЪ ПЕТЕРБУРГѢ:

ВЪ МОСКВѢ:

- въ Конторѣ журнала, В. О., 5 л., 28;
- въ отдѣленіяхъ Конторы: при книжныхъ магазинахъ К. Риккера, Невск. просп., 14; А. Ф. Цинзерлинга, Невскій пр., 20.

- въ книжномъ магазинѣ Н. П. Карбасникова, на Моховой, и въ Конторѣ Н. Печковской, въ Петровскихъ линіяхъ.

ВЪ КИЕВѢ:

ВЪ ОДЕССѢ:

- въ книжн. магаз. Н. Я. Оглоблина, Крещатикъ, 33.

- въ книжн. магаз. „Образованіе“, Ринельевская, 12.

ВЪ ВАРШАВѢ:

- въ книжн. магаз. „С.-Петербургскій Книжн. Складъ“ Н. П. Карбасникова.

Примѣчаніе. — 1) Почтовый адресъ долженъ заключать въ себѣ имя, отчество, фамилію, съ точнымъ обозначеніемъ губерніи, уѣзда и мѣстожительства и съ названіемъ ближайшаго къ нему почтоваго учрежденія, гдѣ (ХВ) допускается выдача журналовъ, если нѣтъ такого учрежденія въ самомъ мѣстожителей подпписчика. — 2) Переимина адреса должна быть сообщена Конторѣ журнала своевременно, съ увазаніемъ прежняго адреса, при чемъ городскіе абоненты, переходя въ иногородные, доплачиваютъ 1 руб., а иногородные, переходя въ городскіе — 40 коп. — 3) Жалобы на несправильность доставки доставляются исключительно въ Редакцію журнала, если подписка была сдѣлана въ вышеупомянутыхъ мѣстахъ и, согласно объявленію въ Почтовомъ Департаментѣ, не позднее какъ по полученіи слѣдующей книги журнала. — 4) Подписка на полученіе журнала высматривается Конторой только тѣмъ или иногороднымъ или иностранцамъ подписчикамъ, которые прилагаютъ къ подписной суммѣ 14 коп. почтовыми марками.

Издатель и отвѣтственный редакторъ Н. М. Стасюлевичъ.

РЕДАКЦІЯ „ВѢСТНИКА ЕВРОПЫ“:

ГЛАВНАЯ КОНТОРА ЖУРНАЛА:

Спб., Галерная, 20.

Вас. Остр., 5 л., 28.

ЭКСПЕДИЦІЯ ЖУРНАЛА:



КНИГА 2-я. — ФЕВРАЛЬ, 1901.

I.—ДЕРМОНТОВЪ.—Владимира Соловьевъ	141
II.—ОДНОКУРСНИКЪ.—Повесть.—VIII—XVI.—Окончаніе.—И. Д. Водоразливъ	143
III.—ДВА МѢСЯЦА ОСАДЫ ВЪ ПЕКИНѢ.—Дневники: 18 мая—31 июля ст. ст. 1900 г.—И. С. Поповъ	157
IV.—БОРЬБА ЗА ЕДИНСТВО ВЪРЪ, въ IV-мъ кнѣ.—Августинъ въ монашѣ и единство церкви.—В. И. Горько	157
V.—ДВА РАССКАЗА.—I. Легенда ижеиха.—II. Подводный монастырь.—А. А. Виноградовъ	158
VI.—КРУЖОКЪ «КРУТЛОЙ ВАШИИ».—X—XI.—Изъ воспоминаній В. Д. Хрущовой	161
VII.—ТРИ ДОРОГИ.—Романъ.—Часть первая.—XXII—XXXI.—И. И. Вагнера	161
VIII.—ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕСТВЕННЫХЪ ДВИЖЕНІЙ ВЪ ЕВРОПѢ XIX вѣка.—I—VI.—Евг. Тарасъ	162
IX.—СТИХОТВОРЕНІЯ.—I—IV.—С. М. Л.—нова	164
X.—НОВЫЕ СРУБЫ.—La charpenté, par J. Bonny.—Романъ изъ современнаго времени.—Книга первая.—IX—X.—Книга вторая: I—VII.—Перев. О. М.	168
XI.—СТИХОТВОРЕНІЕ.—Старость подходитъ, но жизненныхъ силъ еще много.—И. X.	169
XII.—ХРОНИКА.—Итоги Всемирной выставки 1900 года.—Изъ письма въ Парижъ.—М.	170
XIII.—ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ.—Всесоюзный докладъ министра финансовъ о государственномъ расписаніи на 1901 годъ.—Сравнительное значеніе бюджета и закона.—Проектъ закона губернскимъ и уезднымъ училищнымъ съездамъ.—Отношеніе его къ правамъ, принадлежностямъ, по закону, училищнымъ съездамъ, земству и другимъ общественнымъ учрежденіямъ.—Вопросъ о послѣдствіяхъ его въ области начальной школы.—Директоръ министерства	171
XIV.—ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.—Перевѣда парстванія въ Англіи.—Берн-леви Викторія, какъ гражданка.—Ростъ и упроченіе англійскаго империализма.—Главныя событія въ исторіи Англіи съ начала тридцатыхъ годовъ	171
XV.—ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.—Источники Словака русскаго писателя С. А. Венгерова, Т. Е. Ааронъ—Гоголь.—А. И.—Труды И. Б. Гротъ, III: Очерки изъ исторіи русской литературы (1848—1890 гг.). Изъ п. р. Б. В. Гротъ.—Д. О.—Приморская Область. Очерки П. О. Уварова.—Загадки русскаго народа. Сборникъ загадокъ, вопросовъ, притчъ и алегорій, составл. Д. Садовникова.—Т.—Поэма книги и брошюры.	172
XVI.—НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.—I. Eug. Tavernier, Vladimir Soloviev.—А. И.—H. L. Descaves et M. Bonny, La Clairière, comédie.—III. Edm. Rostand, L'Aiglon, drame.—IV. Th. Lingin, Am Scheidewege.—З. В.	173
XVII.—ИЗЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ ХРОНИКИ.—Историческая справка по поводу законодательства: изъясненіе изъ дѣятельности Государственнаго Совета въ первомъ полугодіи XIX-го вѣка.—Право и правда.—Министръ М. А. Корфъ и дѣйствіемъ дѣлами печати.—Характерный инцидентъ въ экономическомъ уѣздномъ земскомъ собраніи.—Вопросъ, приближающійся къ окончательному дѣятели	174
XVIII.—ИЗЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ ХРОНИКИ.—I. Отъ Общества поощренія и бланки и большаго дѣла, состоящаго подъ Августинскимъ Покровительствомъ Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини Елизаветы Маріиовны.—II. Отъ Сиб. Императорскаго Университета	175
XIX.—ВИЗУАЛЬНЫЙ ЛИСТОКЪ.—Пролетанство современнаго демократіи, Макс. Ковалевскій, т. I.—Почтеніе дѣловитости по учебн. методическ. классической школы, А. Мануэля.—Почта и почта, II. Минского.—Очерки общественнаго хозяйства и экономической политики Россіи, Г. В. Шугаевъ.—Собраніе сочиненій Шиллера въ переводахъ русскихъ писателей, и. р. С. Венгерова, т. I.	176
XX.—ОБЪЯВЛЕНІЯ.—I—IV; I—VIII стр.	177

ЛЕРМОНТОВЪ *)

Произведенія Лермонтова, такъ тѣсно связанныя съ его личной судьбой, кажутся мнѣ особенно замѣчательными въ одномъ отношеніи. Я вижу въ Лермонтовѣ прямого родоначальника того духовнаго настроенія и того направленія чувствъ и мыслей, а отчасти и дѣйствій, которыя для краткости можно назвать „ницшеанствомъ“,—по имени писателя, всѣхъ отчетливѣе и громче выразившаго это настроеніе, всѣхъ ярче обозначившаго это направление.

Какъ черты зародыша понятны только благодаря тому опредѣлившемуся и развитому виду, какой онъ получилъ въ организмѣ взросломъ, такъ и окончательное значеніе тѣхъ главныхъ порывовъ, которые владѣли поэзіей Лермонтова,—отчасти еще въ смѣшанномъ состояніи съ иными формами,—стало для насъ вполнѣ прозрачнымъ съ тѣхъ поръ какъ они приняли въ умѣ Ницше отчетливо-раздѣльный образъ.

Кажется, всѣ уже согласны, что всякое заблужденіе, — по крайней мѣрѣ всякое заблужденіе, о которомъ стоитъ говорить, — содержитъ въ себѣ несомнѣнную истину, которой оно есть лишь болѣе или менѣе глубокое искаженіе,—этою истиною оно держится, ею привлекается, ею опасно, и черезъ нее же только оно можетъ быть какъ слѣдуетъ обличено и опровергнуто. Первое дѣло разумной критики относительно какого-ни-

убличная лекція, читанная въ Петербургѣ, въ мартѣ 1899 г., печатается по рукописи почившаго автора, доставленной намъ его братомъ, М. С. Гмб. — Ред.

будь заблужденія — найти ту истину, которою оно держится и которую оно извращаетъ.

Презрѣніе къ человѣку, присвоеніе себѣ *заранѣе* какого-то исключительнаго, сверхчеловѣческаго значенія — себѣ, или какъ одному я, или какъ *Я и К^о*, — и требованіе, чтобы это присвоенное, но ничѣмъ еще не оправданное величіе было признано другими, стало нормою дѣйствительности, — вотъ сущность того направленія, о которомъ я говорю, и, конечно, это — большое заблужденіе.

Въ чемъ же та истина, которою оно держится и привлекаетъ умы?

Человѣкъ — единственное изъ земныхъ существъ, которое можетъ относиться къ самому себѣ критически, подвергать внутренней оцѣнкѣ не отдѣльныя свои положенія и дѣйствія (что возможно и для животныхъ), а самый способъ своего бытія въ цѣломъ. Онъ себя судитъ, а при судѣ разумномъ и беспристрастномъ — и осуждаетъ. Разумъ свидѣтельствуетъ человѣку о фактѣ его несовершенства во всѣхъ отношеніяхъ, а совѣсть говоритъ ему, что этотъ фактъ не есть для него *только* внѣшняя необходимость, а зависитъ *также* и отъ него самого.

Человѣку естественно хотѣть *быть больше и лучше, чѣмъ онъ есть* въ дѣйствительности. Если онъ вѣзправду этого *хочетъ*, то и *можетъ*, а если можетъ, то и *долженъ*. Но не есть ли безсмыслица — быть лучше, выше или больше своей дѣйствительности? Да, это есть безсмыслица для животнаго, такъ какъ для него дѣйствительность есть то, что *его* дѣлаетъ, но человѣкъ, хотя и есть также произведеніе уже существующей, данной дѣйствительности, но выстѣпъ съ тѣмъ эта его дѣйствительность есть, такъ или иначе, въ той или другой мѣрѣ — то, что *онъ самъ дѣлаетъ* — дѣлаетъ болѣе замѣтно и очевидно въ качествѣ существа *собирательнаго*, менѣе замѣтно, но столь же несомнѣнно и въ качествѣ существа *личнаго*.

Можно спорить о метафизическомъ вопросѣ безусловной свободы выбора, но самостоятельность человѣка, т.-е. его способность дѣйствовать по внутреннему побужденію, — окончательно по сознанію долга или по совѣсти, — есть не метафизическій вопросъ, а фактъ опыта. Вся исторія состоитъ въ томъ, что человѣкъ дѣлается лучше и больше самого себя, перерастаетъ свою наличную дѣйствительность, *отодвигая* ее въ прошедшее, а въ настоящее *вдвигая* то, что еще недавно было противоположнымъ дѣйствительности, — мечтою, субъективнымъ идеализмомъ, утопій.

Внутренний, духовный, самостоятельный ростъ есть такой же безспорный фактъ, какъ и ростъ внѣшній, физическій, пассивный, съ которымъ онъ связанъ какъ съ своимъ предположеніемъ.

Теперь спрашивается, въ какомъ же направленіи, съ какой стороны жизни должно совершаться измѣненіе даннаго чело-вѣчества въ лучшее и высшее—въ „сверхчеловѣчество“?

Если чело-вѣкъ недоволенъ собою и хочетъ быть сверхчело-вѣкомъ, то вѣдь тутъ дѣло идетъ, конечно, не о внѣшней (а также и не о внутренней) *формѣ* чело-вѣческаго существа, а только о плохомъ *функционированіи* этого существа въ этой его *формѣ*, что отъ самой формы не зависитъ. Мы, напримѣръ, можемъ быть недовольны не тѣмъ, что у насъ два глаза, а лишь тѣмъ, что мы ими плохо видимъ. А чтобы лучше видѣть, нѣтъ никакой надобности чело-вѣку измѣнять морфологическій типъ зрительнаго органа, напримѣръ вмѣсто двухъ имѣть множество глазъ, потому что при тѣхъ же двухъ глазахъ могутъ раскрыться у него „вѣщія зѣницы,—какъ у испуганной орлицы“. При тѣхъ же двухъ глазахъ можно стать сверхчело-вѣкомъ, а при сотнѣ глазъ можно оставаться только мухой.

Точно также и весь прочій организмъ чело-вѣческій ни въ какой нормальной чертѣ своего морфологическаго строенія не препятствуетъ намъ возвышаться надъ нашей дурной дѣйствительностью и становиться относительно ея сверхчело-вѣкомъ. Другое дѣло—сторона *функциональная* и притомъ не только въ единичныхъ и частныхъ *уклоненіяхъ патологическихъ*, но и въ такихъ явленіяхъ, которыхъ обычность заставляетъ многихъ считать ихъ нормальными. Таково прежде всего и болѣе всего явленіе смерти и разложенія организма. Если чѣмъ мы естественно тяготимся, если чѣмъ основательно недовольны, въ своей данной дѣйствительности, то конечно—этимъ заключительнымъ явленіемъ нашего *видимаго* существованія, этимъ его нагляднымъ итогомъ, сводящимся на нѣтъ. Чело-вѣкъ, думающій только о себѣ, не можетъ примириться съ мыслью о своей смерти; чело-вѣкъ, думающій о другихъ, не можетъ примириться со смертью другихъ; значить, и эгоистъ, и альтруистъ,—а всѣ люди принадлежать въ разныхъ степеняхъ чистоты и смѣшанности къ тому или другому роду,—и эгоистъ, и альтруистъ, одинаково должны чувствовать смерть какъ нестерпимое *противорѣчіе*, т.-е. одинаково не могутъ внутренне принимать этотъ видимый итогъ чело-вѣческаго существованія за окончательный. И вотъ куда должны бы, по логикѣ, съ особеннымъ вниманіемъ смотрѣть люди, желающіе подняться выше данной дѣйствительности, — желающіе

стать сверхчеловѣками. Потому что, чѣмъ же въ особенности отличается то человѣчество, надъ которымъ они хотятъ подняться, какъ не тѣмъ именно, что оно смертно? Человѣкъ и смертный—синонимы. Уже у Гомера мы находимъ, что два главные разряда существъ—боги и люди—постоянно характеризуются тѣмъ, что одни подвержены смерти, а другіе нѣтъ, — θεοὶ τε θνητοὶ τε. — Хотя и всѣ прочія животныя умираютъ, но никому не придетъ въ голову характеризовать ихъ какъ смертныхъ, — для человѣка же этотъ признакъ не только принимается какъ характерный, но и чувствуется еще въ выраженіи „смертный“ какой-то грустный упрекъ себѣ. Чувствуется, что человѣкъ, сознавая неизбежность смерти, какъ центральной особенности своего дѣйствительнаго состоянія, рѣшительно не хочетъ съ нею мириться, нисколько не успокаивается на этомъ сознаніи ея неизбежности, въ данныхъ условіяхъ. И въ этомъ, конечно, онъ правъ, потому что если смерть совершенно необходима въ этихъ наличныхъ условіяхъ, то кто же сказалъ, что эти условія неизмѣнны и неприкосновенны? Теперь ясно, что ежели человѣкъ есть прежде всего и въ особенности *смертный*, т.-е. подлежащій смерти, побѣждаемый, преодолимый ею, то сверхчеловѣкъ долженъ быть прежде всего и въ особенности побѣдителемъ смерти, т.-е. освобожденнымъ (освободившимся?) отъ существенныхъ условій, дѣлающихъ смерть необходимою, и, слѣдовательно, исполнить тѣ условія, при которыхъ возможно или вовсе не умирать, или, умерши, воскреснуть. Положимъ, такая побѣда надъ смертью не можетъ быть достигнута сразу, что совершенно несомнѣнно. Положимъ также, — а это уже сомнительно, потому что не можетъ быть доказано, — что такая побѣда, при теперешнемъ состояніи человѣка, не можетъ быть достигнута вообще въ предѣлахъ единичнаго существованія, — пусть такъ, но путь-то, къ ней ведущій, приближеніе къ ней по этому пути, совершенствующееся, хотя бы и далекое до совершенства исполненіе тѣхъ условій, полнота которыхъ требуется для достиженія цѣли, для побѣды и одолѣнія надъ смертью, — это-то вѣдь возможно и существуетъ. Условія, при которыхъ смерть забираетъ надъ нами силу и побѣждаетъ насъ, достаточно хорошо намъ извѣстны; такъ должны быть извѣстны и противоположныя условія, при которыхъ мы забираемъ силу надъ смертью и, въ концѣ концовъ, можемъ побѣдить ее. Хотя бы и не было передъ нами настоящаго сверхчеловѣка, но *есть* сверхчеловѣческій *путь*, которымъ шли, идутъ и будутъ идти многіе, на благо всѣхъ, и конечно важнѣйшій

нашъ интересъ въ томъ, чтобы побольше людей на него вступали, прямѣе и дальше по немъ проходили.

И вотъ настоящій критерій для оцѣнки всѣхъ дѣлъ и явленій жизни человѣческой, а въ особенности справедливо и полезно прилагать этотъ критерій въ тѣхъ случаяхъ, когда люди сверхъ общаго уровня одаренные, чувствующие истинную цѣль и смыслъ нашего существованія, способные, а слѣдовательно и призванные, т.-е. обязанные болѣе прочихъ къ ней приблизиться и другихъ приблизить, превращаютъ эту общую цѣль въ личное и безплодное притязаніе, заранее отвергая необходимое условіе для ея достиженія.

Лермонтовъ, несомнѣнно, былъ геній, т.-е. человѣкъ, уже отъ рожденія близкій къ сверхчеловѣку, получившій задатки для великаго дѣла, способный, а слѣдовательно обязанный его исполнить.

Въ чемъ заключалась особенность его генія?

Какъ онъ на него смотрѣлъ?

Что съ нимъ сдѣлалъ?—Вотъ три основные вопроса, которыми мы теперь займемся.

Относительно Лермонтова мы имѣемъ то преимущество, что глубочайшій смыслъ и характеръ его дѣятельности освѣщается съ двухъ сторонъ—писаніями его ближайшаго преемника Ницше и фигурою его отдаленнаго предка.

Въ пограничномъ съ Англіею краю Шотландіи, вблизи монастырскаго города Мельроза, стоялъ въ XIII вѣкѣ замокъ Эрсильдонъ, гдѣ жилъ знаменитый въ свое время и еще болѣе прославившійся впослѣдствіи рыцарь Томасъ Лермонтъ. Славился онъ какъ вѣдунъ и прозорливецъ, съ молодости находившійся въ какихъ-то загадочныхъ отношеніяхъ къ царству фей, и потомъ собиравшій любопытныхъ людей вокругъ огромнаго стараго дерева на холмѣ Эрсильдонъ, гдѣ онъ прорицательствовалъ и между прочимъ предсказалъ шотландскому королю Альфреду III его неожиданную и случайную смерть. вмѣстѣ съ тѣмъ эрсильдонскій владѣлецъ былъ знаменитъ какъ поэтъ и за нимъ осталось прозвище стихотворца, или, по тогдашнему, рیمача—Thomas the Rhymer; конецъ его былъ загадоченъ: онъ пропалъ безъ вѣсти, уйдя вслѣдъ за двумя бѣлыми оленями, присланными за нимъ, какъ говорили, изъ царства фей. Черезъ нѣсколько вѣковъ, одного изъ прямыхъ потомковъ этого фантастическаго героя, пѣвца и прорицателя, исчезнуваго въ поэтическомъ царствѣ

фей, судьба занесла въ прозаическое царство московское. Около 1620 г. „пришелъ съ Литвы въ городъ Бѣлый изъ Шкотской земли выходецъ именитый человѣкъ Юрій Андреевичъ Лермонтъ и просился на службу великаго государя и въ Москвѣ своею охотою крещенъ изъ кальвинской вѣры въ благочестивую. И пожаловалъ его государь царь Михаилъ Ѳеодоровичъ восемью деревнями и пустошами Галицкаго уѣзда Заблоцкой волости. И по указу великаго государя договаривался съ нимъ бояринъ князь И. Б. Черкасскій и приставленъ онъ, Юрій, обучать рейтарскому строю новокрещенныхъ нѣмцевъ стараго и новаго выѣзда, равно и татаръ“. — Отъ этого ротмистра Лермонта въ восьмомъ поколѣннѣ происходитъ нашъ поэтъ, связанный и съ рейтарскимъ строемъ, подобно этому своему предку XVII в., но гораздо болѣе близкій по духу къ древнему своему предку, вѣщему и демоническому Ѳомѣ Риемачу, съ его любовными пѣснями, мрачными предсказаніями, загадочнымъ двойственнымъ существованіемъ и роковымъ концомъ.

Первая и основная особенность Лермонтовскаго генія — страшная напряженность и сосредоточенность мысли на себѣ, на своемъ я, страшная сила личнаго чувства. Не ищите у Лермонтова той прямой открытости всему задушевному, которая такъ чаруетъ въ поэзіи Пушкина. Пушкинъ, когда и о себѣ говоритъ, то какъ будто о другомъ; Лермонтовъ, когда и о другомъ говоритъ, то чувствуется, что его мысль и изъ безконечной дали стремится вернуться къ себѣ, въ глубинѣ занята собою, обращается на себя. Нѣтъ надобности приводить этому примѣры изъ произведеній Лермонтова, потому что изъ нихъ немного можно было бы найти такихъ, гдѣ бы этого не было. Ни у одного изъ русскихъ поэтовъ нѣтъ такой силы личнаго самочувствія, какъ у Лермонтова. На Западѣ это не было бы отличительною чертой. Тамъ не меньшую силу субъективности можно найти у Байрона, пожалуй у Гейне, у Мюссэ. У нашихъ же, гдѣ эта черта особенно ярко выражена, она есть подражаніе. Отличіе же Лермонтова здѣсь въ томъ, что онъ не былъ подражателемъ Байрона, а его младшимъ братомъ, и не изъ книгъ, а развѣ изъ общаго происхожденія получилъ это западное наслѣдіе, съ которымъ ему тѣсно было въ безличной русской средѣ. И не одною позой или праздною фантазіей были чувства, выраженные имъ въ раннемъ юношескомъ стихотвореніи — „Зачѣмъ я не птица, не воронъ степной“:

„На западъ, на западъ помчался бы я,
Гдѣ цвѣтутъ моихъ предковъ поля.

Гдѣ въ замкѣ пустомъ на туманныхъ горахъ
Ихъ забвенный покоится прахъ.

.....

Межъ мной и холмами отчизны моей

Разстилаются волны морей.

Послѣдній потомокъ отважныхъ бойцовъ

Увядаетъ средь чуждыхъ сибгровъ“.

Сильнѣйшее развитіе личнаго начала есть условіе для наибольшей сознательности жизненнаго содержанія, но этимъ не дается само это содержаніе жизни, и при его отсутствіи *сильное я* остается *пустымъ*. Оставаться *совершенно* пустымъ колоссальное *я* Лермонтова не могло, потому что онъ былъ поэтъ Божіею милостью, и слѣдовательно все имъ переживаемое превращалось въ созданія поэзіи, давая новую пищу его *я*. А самымъ главнымъ въ этомъ жизненномъ матеріалѣ Лермонтовской поэзіи, безъ сомнѣнія, была личная любовь. Но любовные мотивы, рѣшительно преобладавшіе въ произведеніяхъ Лермонтова, какъ видно изъ нихъ же самихъ, лишь отчасти занимали личное самочувствіе поэта, притупляя остроту его эгоизма, смягчая его жесткость, но не наполняя всецѣло и не покрывая его *я*. Во всѣхъ любовныхъ темахъ Лермонтова главный интересъ принадлежитъ не любви, и не любимому, а любящему *я*, — во всѣхъ его любовныхъ произведеніяхъ остается неразтворенный осадокъ торжествующаго, хотя бы и бессознательнаго, эгоизма. Я не говорю о тѣхъ только произведеніяхъ, гдѣ, какъ въ „Демонѣ“ и „Герое нашего времени“, окончательное торжество эгоизма надъ неудачною попыткой любви есть намѣренная тема. Но это торжество эгоизма чувствуется и тамъ, гдѣ оно не имѣется прямо въ виду, — чувствуется, что настоящая важность принадлежитъ здѣсь не любви, и не тому, что она дѣлаетъ изъ поэта, а тому, что *онъ* изъ нея дѣлаетъ, какъ *онъ* къ ней относится. Когда огромный глетчеръ освѣщается солнцемъ, то является, говорятъ, зрѣлище восхитительное.

Новая эта красота происходитъ не отъ того, чтобы солнце дѣлало что-нибудь новое изъ глетчера, — оно вѣдь его и растопить не можетъ, — а только отъ того, что глетчеръ, оставаясь неизмѣнно самимъ собою, дѣлаетъ изъ солнечныхъ лучей, различнымъ образомъ отражая и преломляя ихъ своею поверхностью. Такова же и особенная прелесть Лермонтовскихъ любовныхъ стиховъ, — прелесть оптическая, прелесть миража. Замѣьте, что въ этихъ произведеніяхъ почти никогда не выражается любовь въ настоящемъ, въ тотъ моментъ, когда она захватываетъ душу

и наполняетъ жизнь. У Лермонтова она уже прошла, не владѣетъ сердцемъ, и мы видимъ только чарующую игру воспоминанія и воображенія.

„Разстались мы, но твой *портретъ*
Я на груди моей храню;
Какъ блѣдный *призракъ* лучшихъ лѣтъ,
Онъ душу радуетъ мою“.

Или другое:

„Нѣтъ, не тебя такъ пылко я люблю,
Не для меня красы твоей блистанье,—
Люблю въ тебѣ лишь прошлое страданье
И молодость погибшую мою.
Когда порой я на тебя смотрю,
Въ твои глаза вникая долгимъ взоромъ,
Таинственнымъ я занятъ разговоромъ,
Но не съ тобой—я съ сердцемъ говорю.
Я говорю съ подругой юныхъ дней,
Въ твоихъ чертахъ ищу черты другія,
Въ устахъ живыхъ уста давно нѣмныя,
Въ глазахъ—огонь угаснувшихъ очей“.

И тамъ, гдѣ глаголь *любить* является въ настоящемъ времени, онъ служитъ только поводомъ для меланхолической рефлексіи.

„Мнѣ грустно потому, что я тебя люблю,
И знаю, молодость цвѣтущую твою“, и т. д.

Въ одномъ чудесномъ стихотвореніи воображеніе поэта, обыкновенно занятое памятью прошлаго, играетъ съ возможностью будущей любви:

„Изъ-подъ таинственной, холодной полумаски
Звучалъ мнѣ голосъ твой, отрадный какъ мечта,
Свѣтили мнѣ твои плѣнительныя глазки
И улыбались лукавыя уста.

.....
И создалъ я тогда въ моемъ воображеніи
По легкимъ признакамъ красавицу мою,
И съ той поры безплотное видѣнье
Ношу въ душѣ моей, ласкаю и люблю“.

Любовь уже потому не могла быть для Лермонтова началомъ жизненнаго наполненія, что онъ любилъ, главнымъ образомъ, лишь собственное любовное состояніе, и понятно, что такая формальная любовь могла быть лишь *рамкой*, а не содержаніемъ его я, которое оставалось одинокимъ и пустымъ. Это одиночество и пустыньность напряженной и въ себѣ сосредоточенной личной силы, не находящей себѣ достаточнаго удовлетворяющаго

ее примѣненія, есть первая основная черта Лермонтовской поэзіи и жизни.

Вторая, тоже отъ западныхъ его родичей унаслѣдованная черта—быть можетъ, видовзмѣненный остатокъ шотландскаго двойного зрѣнія—способность переступать въ чувствѣ и созерцаніи черезъ границы обычнаго порядка явленій, и схватывать запредѣльную сторону жизни и жизненныхъ отношеній.

Эта вторая особенность Лермонтова была во внутренней зависимости отъ первой. Необычная сосредоточенность Лермонтова въ себѣ давала его взгляду остроту и силу, чтобы иногда разрывать сѣть внѣшней причинности и проникать въ другую, болѣе глубокую связь существующаго,—это была способность пророческая; и если Лермонтовъ не былъ ни пророкомъ въ настоящемъ смыслѣ этого слова, ни такимъ прорицателемъ, какъ его предокъ Оома Риемачъ, то лишь потому, что онъ не давалъ этой своей способности никакого объективнаго примѣненія. Онъ не былъ *занятъ* ни міровыми историческими судьбами своего отечества, ни судьбою своихъ ближнихъ, а единственно только своею собственною судьбой,—и тутъ онъ, конечно, былъ болѣе пророкомъ, чѣмъ кто-либо изъ поэтовъ. Далѣе я приведу нѣсколько примѣровъ того, какъ ясна была для Лермонтова его судьба, а теперь укажу лишь на одно удивительное стихотвореніе, въ которомъ особенно ярко выступаетъ своеобразная способность Лермонтова ко второму зрѣнію, а именно знаменитое стихотвореніе: „Сонъ“. Въ немъ необходимо, конечно, различать дѣйствительный фактъ, его вызвавшій, и то, что прибавлено поэтомъ при передачѣ этого факта въ стройной стихотворной формѣ, причемъ Лермонтовъ обыкновенно обнаруживалъ излишнюю уступчивость требованіямъ риѐмы, но главное въ этомъ стихотвореніи не могло быть придумано, такъ какъ оно оказывается „съ подлиннымъ вѣрно“. За нѣсколько мѣсяцевъ до роковой дуэли, Лермонтовъ видѣлъ себя неподвижно лежащимъ на пескѣ среди скалъ въ горахъ Кавказа, съ глубокою раной отъ пули въ груди и видящимъ въ сонномъ видѣніи близкую его сердцу, но отдѣленную тысячами верстъ женщину, видящую въ сомнамбулическомъ состояніи его трупъ въ той долинѣ.—Тутъ изъ одного сна выходитъ, по крайней мѣрѣ, три: 1) Сонъ здороваго Лермонтова, который видѣлъ себя самого смертельно раненымъ—дѣло сравнительно обыкновенное, хотя, во всякомъ случаѣ, это былъ сонъ въ существенныхъ чертахъ своихъ *отъицй*, потому что черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ того, какъ это стихотвореніе было записано въ тетради Лермонтова, поэтъ былъ

дѣйствительно глубоко раненъ пулею въ грудь, дѣйствительно лежалъ на пескѣ съ открытою раной, и дѣйствительно уступы скалъ тѣснилися кругомъ. 2) Но, видя умирающаго Лермонтова, здоровый Лермонтовъ видѣлъ вмѣстѣ съ тѣмъ и то, что снится умирающему Лермонтову:

„И снился мнѣ сіяющій огнями
Вечерній пиръ въ родимой сторонѣ...
Межъ юныхъ женъ, увѣчанныхъ цвѣтами,
Шелъ разговоръ веселый обо мнѣ“.

Это уже достойно удивленія. Я думаю, не многимъ изъ васъ случалось, видя кого-нибудь во снѣ, видѣть вмѣстѣ съ тѣмъ и тотъ сонъ, который видится этому вашему сонному видѣнію. Но такимъ сномъ (2) дѣло не оканчивается, а является сонъ (3):

„Но, въ разговоръ веселый не вступая,
Сидѣла тамъ задумчиво одна,
И въ грустный сонъ душа ея младая
Богъ знаетъ чѣмъ была погружена.
И снилась ей долина Дагестана,
Знакомый тропъ лежалъ въ долинѣ той,
Въ его груди, дымясь, чернѣла рана,
И кровь лилась хладѣющей струей“.

Лермонтовъ видѣлъ, значитъ, не только сонъ своего сна, но и тотъ сонъ, который снился сну его сна—сновидѣніе въ кубѣ.

Во всякомъ случаѣ, остается фактъ, что Лермонтовъ не только предчувствовалъ свою роковую смерть, но и прямо видѣлъ ее заранѣе. А та удивительная фантазмагорія, которою увѣковѣчено это видѣніе въ стихотвореніи „Сонъ“, не имѣетъ ничего подобнаго во всемірной поэзіи и, я думаю, могла быть созданіемъ только потомка вѣщаго чародѣя и прорицателя, исчезнушаго въ царствѣ фей. Одного этого стихотворенія, конечно, достаточно, чтобы признать за Лермонтовымъ врожденный, черезъ голову многихъ поколѣній переданный ему геній. Теперь намъ остается посмотреть, какъ самъ Лермонтовъ принялъ этотъ задатокъ великой судьбы, и что онъ изъ него сдѣлалъ.

Въ отроческихъ и раннихъ юношескихъ произведеніяхъ Лермонтова (которыхъ сохранилось гораздо больше, чѣмъ зрѣлыхъ), почти во всѣхъ или прямо высказывается или просвѣчиваетъ рѣшительное сознаніе, что онъ существо избранное и сильное, назначенное совершить что-то великое. Въ чемъ будетъ состоять и къ чему относиться это великое, онъ еще не можетъ и на-

мекнуть. Но что онъ *призванъ* совершить его—несомнѣнно. На семнадцатомъ году онъ говорить:

„Я рождень, чтобъ цѣлый міръ былъ зритель
Торжества иль гибели моей“.

Подобныхъ этому заявленій у начинающаго поэта не обещалось, и было бы слишкомъ долго ихъ приводить. Мы могли бы смѣяться надъ самоувѣренной заносчивостью мальчика, еслибы онъ дѣйствительно не обнаружилъ, нѣсколько лѣтъ спустя, чрезвычайныхъ силъ ума, воли и творчества. А такъ какъ онъ ихъ обнаружилъ, то въ этихъ раннихъ заявленіяхъ о своемъ будущемъ величій мы должны признать не пустую претензію и не начало маніи, а лишь то вѣрное самочувствіе, или инстинктъ самооцѣнки, который дается всѣмъ избраннымъ людямъ. Отличіе Лермонтова здѣсь въ томъ, что эта высокая самооцѣнка уже отъ раннихъ лѣтъ связана у него съ слишкомъ низкой оцѣнкой другихъ,—всего свѣта,—оцѣнкой заранѣе составленной, выражающей черту характера, а не результатъ какого-нибудь дѣйствительнаго опыта. Въ томъ же стихотвореніи, гдѣ достойнымъ зрителемъ своей великой судьбы онъ признаетъ только цѣлый міръ, сейчасъ же затѣмъ слѣдуетъ:

„Что хвала иль гордый смѣхъ людей?
Души ихъ пѣвца не постигали,
Не могли души его любить,
Не могли понять его печали,
И его восторговъ раздѣлить“.

А въ другомъ, также раннемъ стихотвореніи сообщается, что жизнь научила поэта встрѣчать невольно и повсюду „подъ гордой важностью лица—въ мужчинѣ глупаго льстеца и въ каждой женщинѣ Іуду“. Болѣе замѣчательна другая черта. Такъ же часто, какъ заявленія о своемъ величій и о своемъ презрѣніи къ человѣчеству, въ раннихъ (а затѣмъ также и въ позднѣйшихъ) стихотвореніяхъ Лермонтова выражается его явственное предчувствіе неизбежной и преждевременной гибели. Нѣкоторая ходульность въ обозначеніи этой гибели могла бы тоже, по крайней мѣрѣ въ раннихъ стихотвореніяхъ, вызвать улыбку, но и охота и право смѣяться совершенно исчезаютъ при мысли, что вѣдь поэтъ въ самомъ *дѣлѣ* преждевременно погибъ. Ясно, что эти двѣ черты Лермонтовскаго самочувствія прямо вытекаютъ изъ тѣхъ особенностей его генія, о которыхъ я раньше говорилъ, т. е., его мизантропія—изъ сосредоточенности и напря-

женности въ немъ личнаго начала, а его постоянное и вѣрное предчувствіе гибели—изъ его второго зрѣнія.

Съ раннихъ лѣтъ ощутивъ въ себѣ силу генія, Лермонтовъ принялъ ее только какъ право, а не какъ обязанность, какъ привилегію, а не какъ службу. Онъ думалъ, что его геніальность уполномочила его требовать отъ людей и отъ Бога всего, что ему хочется, не обязывая его относительно ихъ ни къ чему. Но пусть Богъ и люди великодушно не настаиваютъ на обязанности геніальнаго человѣка. Вѣдь Богу. ничего не нужно, а люди должны быть благодарны и за тѣ искры, которыя летятъ съ костра, на которомъ сжигаетъ себя геніальный человѣкъ. Пусть Богъ на небѣ и люди на землѣ отпустятъ ему его медленное самоубійство. Но развѣ легче отъ этого третьему обиженному,—самому генію, который по-пусту сжегъ и закопалъ въ прахъ и тлѣнъ то, что было ему дано для великаго подъема, какъ могучему вождю людей, на пути къ сверхчеловѣчеству? Но какъ же онъ могъ кого-нибудь поднимать, когда самъ не поднялся? А поднимается человѣкъ только по трупамъ—по трупамъ убитыхъ имъ враговъ, т.-е. злыхъ личныхъ страстей. Можно ли этого требовать? Не отъ всякаго и требуется. Судьба или высшій Разумъ ставятъ дилемму: если ты считаешь за собою сверхчеловѣческое призваніе, исполни необходимое для него условіе, подними дѣйствительность, поборовши въ себѣ то злое начало, которое тянетъ тебя внизъ. А если ты чувствуешь, что оно настолько сильнѣе тебя, что ты даже бороться съ нимъ отказываешься, то признай свое безсиліе, признай себя простымъ смертнымъ, хотя и геніально одареннымъ. Вотъ, кажется, безусловно разумная и справедливая дилемма: или стань дѣйствительно выше другихъ, или будь скромнымъ. А кто не желаетъ принять этой дилеммы и безумно возстаётъ противъ такихъ азбучныхъ требованій разума, какъ противъ какой-то обиды,—кто не можетъ подняться и не хочетъ смириться—тотъ самъ себя обрекаетъ на неизбѣжную гибель.

Сознавая въ себѣ отъ раннихъ лѣтъ геніальную натуру, задатокъ сверхчеловѣка, Лермонтовъ также рано сознавалъ и то злое начало, съ которымъ онъ долженъ былъ бороться, но которому скоро удалось, вмѣсто борьбы, вызвать поэта лишь на идеализацію его.

Четырнадцатилѣтній Лермонтовъ еще не умѣетъ, какъ то слѣдуетъ, идеализировать своего демона, а даетъ ему такое простое и точное описаніе:

„Онъ недовѣрчивость вселяетъ,
 Онъ прѣзрѣлъ чистую любовь,
 Онъ всѣ моленія отвергаетъ,
 Онъ равнодушно видитъ кровь.
 И звукъ высокихъ ощущеній
 Онъ давить голосомъ страстей,
 И муза кроткихъ вдохновеній
 Страшится неземныхъ очей“.

Черезъ годъ Лермонтовъ говоритъ о томъ же:

„Двѣ жизни въ пашь до гроба есть.
 Есть грозный духъ: онъ чуждъ уму;
 Любовь, надежда, скорбь и месть,
 Все, все подвержено ему.
 Онъ основалъ жилище тамъ,
 Гдѣ можемъ память сохранять,
 И предвѣщаетъ гибель намъ,
 Когда ужъ поздно избѣжать.“

Терзать и мучить любить онъ;
 Въ его рѣчахъ перѣдко ложь...
 Онъ точить жизнь какъ скорпионъ.
Ему повѣрилъ я...“

Еще черезъ годъ, Лермонтовъ, уже юноша, опять возвращается къ характеристикѣ своего демона:

„Къ ничтожнымъ, хладнымъ толкамъ свѣта
 Привыкъ прислушиваться онъ,
 Ему смѣшны слова привѣта,
 И всякій вѣрящій смѣшонъ.
 Онъ чуждъ любви и сожалѣнья,
 Живетъ онъ пищею земной,
 Глотаетъ жадно дымъ сраженія
 И паръ отъ крови пролитой.“

И гордый демонъ не отстанетъ,
 Пока живу я, отъ меня,
 И умъ мой озарять онъ станетъ
 Лучомъ небеснаго огня.
 Покажетъ образъ совершенства
 И вдругъ отниметъ навсегда,
 И давъ предчувствіе блаженства,
 Не дастъ мнѣ счастья никогда“.

Всѣ эти описанія Лермонтовскаго демона можно бы принять за пустыя фантазіи талантливаго мальчика, еслибы не было извѣстно изъ біографіи поэта, что уже съ дѣтства, рядомъ съ самыми симпатичными проявленіями души чувствительной и нѣжной, обнаруживались у него рѣзкія черты злобы, прямо демони-

ческой. Одинъ изъ панегиристовъ Лермонтова, болѣе всѣхъ, кажется, имъ занимавшійся, сообщаетъ, что „склонность къ разрушенію развивалась въ немъ необыкновенно. Въ саду онъ то-и-дѣло ломалъ кусты и срывалъ лучшіе цвѣты, усыпая ими дорожки. Онъ съ истиннымъ удовольствіемъ давилъ несчастную муху, и радовался, когда брошенный камень сбивалъ съ ногъ бѣдную курицу“. Было бы, конечно, нелѣпо ставить все это въ вину балованному мальчику. Я бы и не упомянулъ даже объ этой чертѣ, еслибы мы не знали изъ собственного интимнаго письма поэта, что взрослый Лермонтовъ совершенно такъ же велъ себя относительно человѣческаго существованія, особенно женскаго, какъ Лермонтовъ-ребенокъ—относительно цвѣтовъ, мухъ и курицъ. И тутъ опять значительно не то, что Лермонтовъ разрушалъ спокойствіе и честь свѣтскихъ барынь,—это можетъ происходить и нечаянно,—а то, что онъ находилъ особенное наслажденіе и радость въ этомъ совершенно негодномъ дѣлѣ, также какъ онъ ребенкомъ съ *истиннымъ удовольствіемъ* давилъ мухъ и радовался зашибленной камнемъ курицѣ.

Кто изъ большихъ и малыхъ не дѣлаетъ волей и неволей всякаго зла и цвѣтамъ, и мухамъ, и курицамъ и людямъ? Но всѣ, я думаю, согласны, что услаждаться дѣланьемъ зла есть уже черта не человѣческая. Это демоническое сладострастіе не оставляло Лермонтова до горькаго конца; вѣдь и послѣдняя трагедія произошла оттого, что удовольствіе Лермонтова терзать слабыя созданія встрѣтило, вмѣсто барышни, браваго майора Мартынова, какъ роковое орудіе кары для человѣка, который долженъ и могъ бы быть солью земли, но сталъ солью, такъ жалко и постыдно обуювшею. Осталось отъ Лермонтова нѣсколько истинныхъ жемчужинъ его поэзіи, почитать которыя могутъ только извѣстныя животныя; осталось, къ несчастію, и въ произведеніяхъ его слишкомъ много сроднаго этимъ самымъ животнымъ, а главное, осталась обуювшая соль его генія, которая, по слову Евангелія, дана на поправленіе людямъ. Могутъ и должны люди почитать обуювшую соль этого демонизма съ презрѣніемъ и враждою, конечно, не къ погибшему генію, а къ погубившему его началу человѣкоубійственной жи. Скоро это злое начало приняло въ жизни Лермонтова еще другое направленіе. Съ годами демонъ кровожадности слабѣетъ, отдавая большую часть своей силы своему брату—*демону нечистоты*. Слишкомъ рано и слишкомъ безпрепятственно овладѣлъ этотъ второй демонъ душою несчастнаго поэта, и слишкомъ много слѣдовъ оставилъ въ его произведеніяхъ. И когда, въ одну изъ минутъ просвѣтленія, онъ

говорить о „порокахъ юности преступной“, то это выраженіе—увѣ!—слишкомъ близко къ дѣйствительности. Я умолчу о біографическихъ фактахъ,—скажу лишь нѣсколько словъ о стихотворныхъ произведеніяхъ, внушенныхъ этимъ демономъ нечистоты. Во-первыхъ, ихъ слишкомъ много; во-вторыхъ, они слишкомъ длинны: самое невозможное изъ нихъ есть большая (хотя и неоконченная) поэма, писанная авторомъ уже совершеннолѣтнимъ, и въ-третьихъ, и главное—характеръ этихъ писаній производитъ какое-то удручающее впечатлѣніе полнымъ отсутствіемъ той легкой игривости и граціи, какими отличаются, напримѣръ, подлинныя произведенія Пушкина въ этой области. Такъ какъ я совершенно не могу подтвердить здѣсь свое сужденіе цитатами, то поясню его сравненіемъ. Въ одинъ пасмурный день въ деревнѣ видѣлъ я ласточку, летающую надъ большой болотистой лужей. Что-то ее привлекало къ этой темной влагѣ, она совсѣмъ опускалась къ ней и, казалось, вотъ-вотъ погрузится въ нее или хоть зачерпнетъ крыломъ. Но ничуть не бывало: каждый разъ, не коснувшись поверхности, ласточка вдругъ поднималась вверхъ, и щebetала что-то невинная. Вотъ вамъ впечатлѣніе, производимое этими шутками у Пушкина: видишь тинистую лужу, видишь ласточку и видишь, что прочной связи нѣтъ между ними,—тогда какъ порнографическая муза Лермонтова—словно лягушка, погрузившаяся и прочно засѣвшая въ тинѣ.

Или,—чтобы сказать ближе къ дѣлу,—Пушкина въ этомъ случаѣ вдохновлялъ какой-то игривый бѣсенокъ, какой-то шутникъ-гномъ, тогда какъ перомъ Лермонтова водилъ настоящій демонъ нечистоты.

Сознавалъ ли Лермонтовъ, что пути, на которые толкали его эти демоны, были путями ложными и пагубными? И въ стихахъ, и въ письмахъ его много разъ высказывалось это сознаніе. Но сдѣлать дѣйствительное усиліе, чтобы высвободиться изъ-подъ власти двухъ первыхъ демоновъ, мѣшалъ третій и самый могучій—демонъ гордости; онъ нашептывалъ:—Да, это дурно, да, это низко, но ты гений, ты выше простыхъ смертныхъ, тебѣ все позволено, ты имѣешь отъ рожденія привилегію оставаться высокимъ и въ низости... Глубоко и искренно тяготился Лермонтовъ своимъ паденіемъ и порывался къ добру и чистотѣ. Но мы не найдемъ ни одного указанія, чтобы онъ когда-нибудь тяготился вѣдъ правду своею гордостью и обращался къ смиренію. И демонъ гордости, какъ всегда хозяинъ его внутренняго дома, мѣшалъ ему дѣйствительно побороть и изгнать двухъ младшихъ демоновъ, и когда хотѣлъ—снова и снова отворялъ имъ дверь...

Говоря о гордости и смиреніи, я разумѣю нѣчто вполне реальное и утилитарное. Гордость потому есть коренное зло или главный изъ смертныхъ грѣховъ, по богословской терминологіи, что это есть такое состояніе души, которое дѣлаетъ всякое совершенствованіе или возвышеніе невозможнымъ, потому что гордость вѣдь въ томъ и заключается, чтобы считать себя ни въ чемъ не нуждающимся, тѣмъ исключается всякая мысль о совершенствованіи и подъемѣ. Смиреніе потому и есть основная для человѣка добродѣтель, что признаніе своей недостаточности прямо обуславливаетъ потребность и усиліе совершенствованія. Другими словами, гордость для человѣка есть первое условіе, чтобы никогда не сдѣлаться сверхчеловѣкомъ, и смиреніе есть первое условіе, чтобы сдѣлаться сверхчеловѣкомъ; поэтому сказать, что *геніальность обязываетъ къ смиренію*, значитъ только сказать, что геніальность обязываетъ становиться сверхчеловѣкомъ. Лермонтову тѣмъ легче было исполнить эту обязанность, что онъ, при всемъ своемъ демонизмѣ, всегда вѣрилъ въ то, что выше и лучше его самого, а въ инныя свѣтлыя минуты даже ощущалъ надъ собою это лучшее:

„И въ небесахъ я вижу Бога“...

Это религіозное чувство, часто засыпавшее въ Лермонтовѣ, никогда въ немъ не умирало, и когда пробуждалось—боролось съ его демонизмомъ. Оно не исчезло и тогда, когда онъ далъ побѣду злему началу, но приняло странную форму. Уже во многихъ раннихъ своихъ произведеніяхъ Лермонтовъ говоритъ о Высшей волѣ съ какою-то личною обидою. Онъ какъ будто считаетъ ее виноватою противъ него, глубоко его оскорбившею.

Въ этихъ раннихъ произведеніяхъ тяжба поэта съ Богомъ имѣетъ, конечно, ребяческій характеръ. Лермонтовъ упрекаетъ Творца за то, что онъ сдѣлалъ его некрасивымъ; за то, что люди и особенно кузины и другія барышни не понимаютъ и не цѣнятъ его, и т. п. Но когда, въ болѣе зрѣломъ возрастѣ, послѣ нѣсколькихъ бесплодныхъ порывовъ къ возрожденію,—бесплодныхъ потому, что съ дѣтскихъ лѣтъ заведенное въ его душѣ демоническое хозяйство не могло быть разрушено нѣсколькими субъективными усиліями, а требовало сложнаго и долгаго подвига, на который Лермонтовъ не былъ согласенъ,—итакъ, когда, послѣ нѣсколькихъ бесплодныхъ попытокъ переимѣнить жизненный путь, Лермонтовъ перестаетъ бороться противъ демоническихъ силъ и находитъ окончательное рѣшеніе жизненнаго вопроса въ *фатализмѣ* („Герой нашего времени“ и „Валерикъ“),—онъ вмѣстѣ съ

тѣмъ даетъ новую, ухищренную форму своему прежнему дѣтскому чувству обиды противъ Провидѣнія,—именно въ послѣдней обработкѣ поэмы „Демонъ“. Герой этой поэмы есть тотъ же главный демонъ самого Лермонтова—демонъ гордости, котораго мы видѣли въ равныхъ стихотвореніяхъ. Но въ poemѣ онъ ужасно идеализованъ (особенно въ послѣдней ея обработкѣ), хотя, несмотря на эту идеализацію, образъ его дѣйствій, если судить безпристрастно, скорѣе приличествуетъ юному гусарскому корнету, нежели особѣ такого высокаго чина и такихъ древнихъ лѣтъ. Несмотря на великолѣпіе стиховъ и на значительность замысла, говорить съ полной серьезностью о содержаніи поэмы „Демонъ“ для меня такъ же невозможно, какъ вернуться въ пятый или шестой классъ гимназіи. Но сказать о немъ все-таки нужно. Итакъ,—идеализованный демонъ вовсе ужъ не тотъ духъ зла, который такими правдивыми чертами былъ описанъ въ прежнихъ стихотвореніяхъ гениальнаго отрока. Демонъ поэмы не только прекрасенъ, онъ до чрезвычайности благороденъ и, въ сущности, вовсе не золъ. Когда-то у него произошло какое-то загадочное недоразумѣніе съ Всевышнимъ, но онъ тяготится этой размолвою и желаетъ примиренія. Случай къ этому представляется, когда демонъ видитъ прекрасную грузинскую княжну Тамару, пляшущую и поющую на кровлѣ родительскаго дома. По Библіи и по здоровой логикѣ,—что одно и то же,—увлеченіе сыновъ Божіихъ красотою дочерей человѣческихъ есть паденіе, но для демонизма это есть начало возрожденія. Однако, возрожденія не происходитъ. Послѣ смерти жениха и удаленія Тамары въ монастырь, демонъ входитъ къ ней готовый къ добру, но, видя ангела, охраняющаго ея невинность, воспламеняется ревностью, соблазняетъ ее, убиваетъ и, не успѣвши завладѣть ея душою, объявляетъ, что онъ хотѣлъ стать на другой путь, но что ему не дали, и съ сознаніемъ своего полнаго права становится уже настоящимъ демономъ.

Такое рѣшеніе вопроса находится въ слишкомъ явномъ противорѣчіи съ логикой, чтобы стоило его опровергать.

Итакъ, натянутое и ухищренное оправданіе демонизма въ теоріи, а для практики принципъ фатализма,—вотъ къ чему пришелъ Лермонтовъ передъ своимъ трагическимъ концомъ. Фатализмъ, самъ по себѣ, конечно, не дуренъ. Если, напримѣръ, человѣкъ воображаетъ, что онъ роковымъ образомъ долженъ быть добрымъ, и дѣлаетъ добро, и неуклонно слѣдуетъ этому року, то чего же лучше? Къ несчастію, фатализмъ Лермонтова покрываетъ только его дурные пути.

Образъ его дѣйствій за послѣднее время я рассказывать не стану: скажу только, что онъ былъ не лучше прежняго. Между тѣмъ, полного убѣжденія въ истинѣ фатализма у Лермонтова не было, и онъ, кажется, захотѣлъ убѣдиться въ немъ на опытѣ. Всѣ подробности его поведенія, приведшаго къ послѣдней дуэли, и во время самой этой дуэли, носятъ ясныя черты фаталистическаго эксперимента.

На дуэли Лермонтовъ велъ себя съ благородствомъ, — онъ не стрѣлялъ въ своего противника, — но по существу это былъ безумный вызовъ высшимъ силамъ, который во всякомъ случаѣ не могъ имѣть хорошаго исхода. Въ страшную грозу, при блескѣ молніи и раскатахъ грома, перешла эта бурная душа въ иную область бытія.

Конецъ Лермонтова и имъ самимъ, и нами называется *инбеллю*. Выражаясь такъ, мы не представляемъ себѣ, конечно, этой гибели ни какъ театральнаго провала въ какую-то преисподнюю, гдѣ пляшутъ красные черти, ни какъ совершеннаго прекращенія бытія. О природѣ загробнаго существованія мы ничего достовѣрнаго не знаемъ, а потому и говорить объ этомъ не будемъ. Но есть нравственный законъ, столь же непреложный, какъ законъ математическій, и онъ не допускаетъ, чтобы человѣкъ испытывалъ послѣ смерти превращенія произвольныя, не обоснованныя его предъидущимъ нравственнымъ подвигомъ. Если жизненный путь продолжается и за гробомъ, то, очевидно, онъ можетъ продолжаться только съ той степени, на которой остановился. А мы знаемъ, что какъ высока была степень врожденной гениальности Лермонтова, такъ же низка была степень его нравственнаго усовершенствованія. Лермонтовъ ушелъ съ бременемъ неисполненнаго долга — развитъ тотъ задатокъ великолѣпный и божественный, который онъ получилъ даромъ. Онъ былъ призванъ сообщить намъ, своимъ потомкамъ, могучее движеніе впередъ и вверхъ къ истинному сверхчеловѣчеству, — но этого мы отъ него не получили. Мы можемъ объ этомъ скорбѣть, но то, что Лермонтовъ не исполнилъ своей обязанности къ намъ, — конечно, не снимаетъ съ насъ нашей обязанности къ нему. Прежде чѣмъ быть обязаннымъ относительно нашихъ современниковъ — братьевъ по человѣчеству и относительно потомства — нашихъ дѣтей по человѣчеству, мы имѣемъ обязанность къ отшедшимъ — нашимъ отцамъ въ человѣчествѣ, — и, конечно, Лермонтовъ принадлежитъ къ такимъ отцамъ для современнаго поколѣнія. Такъ не требуетъ ли отъ насъ обязанность сыновней любви и почтенія восхвалять Лермонтова за все то многое

въ немъ, что достойно хвалы, и молчать о другомъ? Я не такъ понимаю сыновнюю любовь и ея обязанность. Представьте себѣ, что мы видимъ живого отца, исполненнаго заслугъ и высокихъ дарованій, но въ настоящую минуту обремененнаго какой-нибудь тяжестью, душевною или физическою, все равно. Обязанность сыновней любви къ такому отцу, конечно, потребуетъ отъ насъ не того, чтобы мы восхваляли его заслуги и дарованія, а того, чтобы мы помогли ему снять съ себя или, по крайней мѣрѣ, облегчили удручающее его бремя. Развѣ не то же и относительно отцовъ умершихъ? Облегчить бремя ихъ души—вотъ наша обязанность. И у Лермонтова съ бременемъ неисполненнаго призванія связано еще другое тяжкое бремя, облегчить которое мы можемъ и должны. Облекая въ красоту формы ложныя мысли и чувства, онъ дѣлалъ и дѣлаетъ еще ихъ привлекательными для неопытныхъ, и если хоть одинъ изъ малыхъ сихъ вовлеченъ имъ на ложный путь, то сознание этого теперь уже невольнаго и яснаго для него грѣха должно тяжелымъ камнемъ лежать на душѣ его. Обличая ложь воспѣтаго имъ демонизма, только останавливающаго людей на пути къ ихъ истинной сверхчеловѣческой цѣли, мы во всякомъ случаѣ подрываемъ эту ложь и уменьшаемъ хоть сколько-нибудь тяжесть, лежащую на этой великой душѣ. Вы мнѣ повѣрите, что прежде, чѣмъ говорить публично о Лермонтовѣ, я подумалъ, чего требуетъ отъ меня любовь къ умершему, какой взглядъ долженъ я высказать на его земную судьбу,—и я знаю, что тутъ, какъ и вездѣ, одинъ только взглядъ, основанный на вѣчной правдѣ, въ самомъ дѣлѣ нуженъ и современнымъ, и будущимъ поколѣніямъ, а прежде всего—самому отшедшему.

Владиміръ Соловьевъ.



ОДНОКУРСНИКИ

ПОВѢСТЬ.

Окончаніе.

VIII *).

Цѣлыхъ два дня Надя была какъ въ чадѣ, послѣ завтрака у Пятова.

То, что начало носиться передъ ней въ видѣ чего-то несбыточнаго, послѣ представленія пьесы, гдѣ впервые ее повлекло на сцену,—то являлось теперь какъ нѣчто вполне осуществимое.

Серьезныхъ препятствій вѣдь, въ сущности, нѣтъ никакихъ.

Неужели только нежеланіе Вани?

Но развѣ у него есть какія-нибудь положительныя „права“ на нее, на ея волю, на выборъ такого *лично* дѣла, какъ жизненное призваніе?

Онъ ревнуетъ! Но это не резонъ.

Ревнуетъ къ своему однокурснику, къ этому миллионеру?

Такъ вѣдь это „глупости“.

Пятову она, быть можетъ, и очень нравится; но мало ли кому она нравилась и еще будетъ нравиться при ея „данныхъ“, какъ любить выражаться Эліодоръ?

Нельзя же сейчасъ смотрѣть на дѣвушку—потому только, что она обручилась съ вами—какъ на свою собственность.

Такъ Ваня на нее, конечно, не смотритъ. Онъ слишкомъ хорошій человѣкъ, и не такихъ взглядовъ на женщину, ея права и самостоятельность.

*) См. январь, стр. 51.

Но онъ слишкомъ „прямолинейный“.

Этому слову она отъ него же научилась.

Хорошо имѣть твердыя убѣжденія, но нельзя же „перебарщивать“.

Это тоже его слово.. Оно въ ходу въ Москвѣ, и она его часто здѣсь слышитъ.

Остается только вопросъ: какъ прожить? Все равно, и на курсахъ надо тратить. Бѣдный папа долженъ былъ бы раздобывать и на ея содержаніе.

Но почему же Ваня не можетъ взять ее въ помощницы по той работѣ, какую онъ имѣетъ у Пятова?

Вѣдь тому рѣшительно все равно,—кто будетъ участвовать въ переводѣ разныхъ отрывковъ,—только бы было грамотно,—а редакція будетъ принадлежать Ванѣ.

Да ей стоитъ намекнуть объ этомъ Пятову,—онъ сейчасъ же бы предложилъ ей работу. Сколько угодно—и авансъ бы далъ.

Но она ничего не сдѣлаетъ тайно отъ Вани.

Всѣ эти соображенія волновали ее и послѣ того, какъ чадъ мечтаний немного улегся.

Рѣшительный разговоръ надо имѣть, и какъ бы женихъ ея ни огорчился—она должна попробовать счастья.

И наконецъ, что она теряетъ? Все равно ей ждать зиму и лѣто либо дома, либо въ Москвѣ. Почему же не поступить на драматическіе курсы въ эту „Филармонію“? Можетъ быть, на второе полугодіе, ее освободятъ отъ платы, если найдутъ, что у нея „великолѣпныя данныя“, какъ находятъ Пятовъ: а онъ гдѣ не бывалъ?!

Когда они разговорились,—за десертомъ—послѣ завтрака, на тему театра—онъ всѣхъ знаменитостей видалъ, и въ Россіи, и за границей, даже какую-то испанскую актрису, о которой они съ Ваней никогда и не слыхали. Также и какого-то итальянскаго актера — тоже для нея совсѣмъ новое имя.

Вѣдь нельзя же Ванѣ—потому только, что онъ женихъ—предоставить диктаторскую власть?

Только здѣсь, въ Москвѣ, она задумалась надъ тѣмъ: что такое бракъ.

Ваня, передъ ихъ помолвкой, сказалъ ей:

— Надя! Ты еще такъ молода... замужство—дѣло не шуточное. Не забывай, что это — безсрочное обязательство. Оно можетъ оказаться слишкомъ тяжелой обузой.

Это выраженіе студента-юриста: „безсрочное обязательство“, пришло ей на память вотъ теперь.

Развѣ дѣйствительно „безсрочное“?

И ей стало жутко, почти страшно.

Вѣдь нынче не трудно и развестись. Вездѣ разводятся, не въ однихъ столицахъ, и въ провинціи. Ея подруга по гимназій — старше ея на два класса — успѣла уже побывать замужемъ, и когда они перестали ладить съ мужемъ, онъ далъ ей разводъ.

Это выраженіе: „дать разводъ“, нынче въ особенно большомъ ходу. Еще дѣвчуркой-подросткомъ она уже знала и употребляла его.

Мысль о разводѣ немного пристыдила ее.

Неужели они затѣмъ обмѣнялись съ Ваней кольцами, чтобы „сдѣлать опытъ“?

Она его любитъ; но любовь не должна же быть поводомъ къ тому, чтобы закабалить себя.

Стоить только обмѣняться ролями.

Положимъ, она — курсистка, даже не простая, а медичка, и наканунѣ выхода, когда она будетъ „женщиной-врачомъ“. А ея женихъ — тамъ, въ Петербургѣ, студентъ-медикъ.

И вдругъ у него объявился талантъ. Напримѣръ, хоть голосъ. Ему сулятъ блестящую будущность, и онъ чувствуетъ въ себѣ артиста.

Такіе примѣры бывали. Она даже навѣрное знаетъ, что здѣсь былъ такой любимецъ молодежи въ оперѣ, изъ студентовъ-медиковъ.

Они, женихомъ и невестой, мечтали идти рука объ руку — какъ врачи, практиковать въ одномъ городѣ, или въ одномъ уѣздѣ — гдѣ приведется, или дѣлать вмѣстѣ научныя наблюденія, печатать работы.

И вдругъ все это рухнетъ.

Неужели она была-бы такой эгоисткой, чтобы возстать противъ его настоящаго призванія: быть первокласснымъ пѣвцомъ, а не зауряднымъ медикомъ?

Въ такомъ точно положеніи находится теперь ея женихъ.

„Но кто же открылъ во мнѣ талантъ?“ — спросила она себя мысленно.

Никто еще не открывалъ — это правда; но она хочетъ сдѣлать опытъ. Не удастся — потеря пустяжная.

И опять, въ десятый разъ, повторила. она все тотъ же доводъ:

„Все равно — у меня годъ пропащій“. Вмѣсто того, чтобы тосковать по Москвѣ тамъ, у себя, она проведетъ его здѣсь, на драматическихъ курсахъ.

Въ этой возбужденной бесѣдѣ съ самой собою засталъ ее приходъ жениха.

По ея лицу Заплатинъ догадался, что ему предстоитъ рѣшительное объясненіе.

И она не хотѣла дольше тянуть.

— Ваня,—начала она сразу, подсаживаясь къ нему на кушеткѣ,—я хочу съ тобой поговорить.

Онъ взглянулъ на нее грустными глазами.

— Что жъ... сдѣлай одолженіе!—глухо промолвилъ онъ.

— Ты только выслушай сначала. А потомъ уже будешь возражать.

— Я всегда такъ дѣлаю, Надя. Съ какихъ поръ ты меня считаешь такимъ неистовымъ спорщикомъ?

— Ну да, я знаю. Ты не обижайся, милый!

Надя положила ему руку на плечо.

Отъ этой ласки онъ притихъ и опустилъ голову.

— Можно одинъ маленькій вопросъ, Надя?

— Можно.

— Онъ сдѣлаетъ лишними всякія preliminarii... Ты стремишься на драматическіе курсы? Вѣдь да?

— Да, Ваня!

И тотчасъ же она схватилась за свой главный доводъ.

— Что я теряю? Ну, скажи на милость: что я теряю? Что дома книжки читать, или ходить на эти коллективные уроки, если они еще не закроются—все равно. Годъ у меня пропасть, во всякомъ случаѣ.

Заплатинъ повелъ плечами, внутренно возражая ей.

— Позволь! Твоя рѣчь впереди!—горячо воскликнула Надя и взяла его за обѣ руки.—Позволь! Я не говорю, что отеряла сама въ себѣ талантъ, я хочу только сдѣлать опытъ. И онъ можетъ оказаться удачнымъ. Вѣдь ты не можешь это отрицать — такъ, просто?

— Положимъ,—согласился Заплатинъ.

— Не можешь! Стало—нѣтъ никакого резона противиться этому.

Тутъ онъ всталъ съ мѣста и заходилъ передъ кушеткой, ероша длинные волосы.

— Кто же противится?—возразилъ онъ.—Никто не имѣетъ права нарушать твою свободу... Ты вольна поступать и думать, какъ тебѣ угодно.

Нервные нотки задрожали въ его голосѣ.

— Стало-быть?—остановила его Надя и вскинула длинными рѣсницами.

— Ни о какомъ сопротивленіи — повторяю — и рѣчи быть не можетъ.

— Но этого мало, Ваня, милый! Я желала бы, чтобы ты согласился съ тѣмъ, что въ моемъ планѣ нѣтъ ничего ни дурного, ни нелѣпаго.

— Я этого и не говорю, Надя!

И она привела ему—въ видѣ побѣдоноснаго аргумента—примеръ, гдѣ ихъ роли были бы какъ разъ противоположныя.

Онъ выслушалъ ее, не перебивая, и доводъ—ей такъ показалось—подѣйствовалъ своей логикой.

— Это возможно, выговорилъ онъ, когда она, молча, взглядомъ своихъ черныхъ глазъ, потребовала категорическаго отвѣта.—Но мы съ тобой не знаемъ—во что это обошлось имъ обоимъ, а въ особенности дѣвушка, которая должна была разстаться съ мечтой всей жизни?

— Но они не разошлись! Они могли обвѣнчаться и жить въ одномъ городѣ, въ Москвѣ или Петербургѣ... я не знаю тамъ... Онъ пѣлъ на сценѣ, она практиковала. Въ чемъ они мѣшали другъ другу? Скажи!

— Я не могу ничего сказать. Это—воображаемый случай. Но если ихъ любовь, ихъ бракъ и не рухнулъ—не забывай... въ примѣрѣ, который ты выбрала, мужъ идетъ на сцену, а не жена.

— Развѣ это не все равно?—пылко возразила Надя.

— Нѣтъ, не все равно! Разница огромная!

Онъ присѣлъ къ ней на кушетку и самъ взялъ ея руку.

— Ты вѣдь не знаешь, Надя, что такое кулисы, театральныя подмостки. Развѣ можно, въ этомъ мірѣ, остаться тѣмъ, чѣмъ ты хочешь быть неизмѣнно въ жизни?

— Почему нѣтъ? Да въ этомъ театрѣ, гдѣ мы съ тобой были два раза, развѣ нѣтъ замужнихъ актрисъ? Я знаю, что есть. Ты самъ мнѣ говорилъ. И та, которая насъ съ тобой восхитила—замужняя.

— Да, на одной сценѣ съ мужемъ.

— Это все равно, Ваня. Все зависитъ отъ тебя, отъ того—какія у тебя правила, какой характеръ. Соблазны?! Они всегда есть. Знаешь, это уже старо—застрачиванье сценой. Я еще въ пятомъ классѣ видѣла у насъ, во время ярмарки, пьесу „Кинъ, или гений и безпутство“. Въ ней этотъ знаменитый актеръ отговариваетъ дѣвушку изъ общества. На сценѣ выходитъ очень трогательно. Но это вѣдь мелодрама, Ваня!

— Можетъ быть... только—голосъ его замѣтнѣ дрогнулъ—если ты увлечешься и, сдѣлавъ опытъ, въ эту зиму отдашься театру—тогда...

Онъ не досказалъ.

— Тогда что?

— Мнѣ слишкомъ больно говорить, Надя. Выходить такъ, точно я тебѣ препятствую—найти призваніе. Но согласись... не о томъ мы съ тобой мечтали... не къ тому готовились въ жизни?

— Такъ вѣдь я, какъ заблудшая овца, могу вернуться въ ясли? Вани! Милый! зачѣмъ вставлять себя въ тиски... сразу? Развѣ не выше всего свобода? Сколько разъ я это отъ тебя слышала? Скажи! Не криви душой!

— Свобода... да, Надя. Актрисѣ она нужна больше, чѣмъ кому-либо,—это точно.

Онъ не глядѣлъ на нее и старался подавить свое волненіе; но Надѣ показалось, что на рѣсницахъ у него блеснули слезинки.

— Твою свободу... я могу возвратить тебѣ... и теперь,—съ трудомъ выговорилъ онъ.

— Чтѣ ты? Богъ съ тобой! Развѣ я къ тому подбиралась? Вани!

Надя обняла и поцѣловала его въ щеку.

— Какъ тебѣ не грѣхъ!—промолвила она, охваченная волненіемъ.

— Все равно... Я тебѣ говорю теперь же: если ты отдашься сценѣ и тебя будетъ стѣснять тотъ обѣтъ, который мы дали другъ другу,—я возвращу тебѣ твою свободу.

Онъ чуть-чуть не разрыдался, быстро всталъ и отошелъ къ окну, чтобы она не видала его лица.

Надя подбѣжала къ нему сзади, взяла за талию и щекой приложилась къ его щекѣ.

— Полно, Вани!—вскричала она.—Это на тебя не похоже. Нервная дѣвица ты, а я на амплуа мужчины-студента съ такимъ прошедшимъ, какъ у тебя. Изъ-за чего же намъ волноваться? Все по старому. И я остаюсь въ Москвѣ... Буду при дѣлѣ. Зимой съѣзжу къ папѣ.

— Ты ему писала?—спросилъ Заплатинъ, не оборачиваясь къ ней лицомъ.

— Писала. И въ его отвѣтъ я увѣрена. И онъ вѣдь частенько говаривалъ: „Тебѣ бы, Надюля,—на сцену! Богатая вышла бы ты Катерина... И даже Дѣва Орлеанская“. Ей Богу! Я не привираю заднимъ числомъ. Можешь мнѣ вѣрить... Ну, полно! Какъ не стыдно! Даже чуть не разрюмился.

Она схватила его за плечи, повернула къ себѣ лицомъ, поцѣловала еще разъ и, подведя опять къ кушеткѣ, посадила и сѣла рядомъ, не выпуская его руки изъ своей.

— А теперь,—начала она весело-возбужденно,—надо ковать желѣзо, пока горячо. Поступить на курсы. Вѣдь и у нихъ уже прошли вступительные экзамены. Нужна протекція. И тутъ надо взять за бока твоего Эліодора.

Заплатинъ сдѣлалъ движеніе, точно хотѣлъ высвободить свою руку.

— Если ты не желаешь самъ напомнить ему,—я это сдѣлаю!—рѣшительнымъ тономъ сказала Надя.—Но я не понимаю, Ваня, съ какой стати ты такъ считаешься съ нимъ?

— Онъ можетъ мнѣ давать работу, — горячо прервалъ Заплатинъ.—Я его товарищъ, однокурсникъ...

— А я—посторонняя дѣвушка? Почему же я не могла бы обратиться къ нему... прямо, какъ къ человѣку со связями... любителю театра, даже и не будучи съ нимъ знакомой?

— Это было бы гораздо лучше.

— Полно, Ваня! Воля твоя, — ты нервничаешь! Если твой Эліодоръ не хвастунъ — онъ поможетъ мнѣ поступить на эти курсы; а хвастунъ — такъ мы и сами найдемъ дорогу. Точно то же я скажу и насчетъ работы... Нѣтъ у тебя никакого резона — не раздѣлить со мною твоего заработка, не давать мнѣ переводовъ потому только, что давалаецъ работы — Пятовъ.

Она выговорила это рѣшительнымъ тономъ.

Заплатинъ выслушалъ молча, и когда она кончила — поднялся съ мѣста и сталъ съ ней прощаться.

— Ты все еще дуешься, Ваня? Это не хорошо!

— Прости! Я притворяюсь не могу. Ты госпожа своихъ поступковъ, но я не въ силахъ радоваться тому, что, въ ближайшемъ будущемъ, чревато... всякими послѣдствіями.

— Чревато! Ахъ, Ваня! Что за книжное слово! Я не воображала, что ты... такой... не упрямецъ, а гораздо хуже — ревнивецъ.

— Будь по твоему! — тихо выговорилъ онъ и, не прощаясь съ Надей, вышелъ изъ комнаты.

IX.

Святки — на дворѣ.

У Заплатина въ его комнатѣ, въ тѣхъ же номерахъ — побольше свѣта. Онъ перебрался на улицу и платитъ пятью рублями дороже.

Снѣгъ блеститъ на крышахъ и отражается розовымъ отливомъ на стѣнахъ.

Время—морозное, настоящая декабрьская погода за нѣсколько дней до Рождественскаго сочельника.

Но на душѣ у Заплатава нѣтъ праздника.

Онъ, въ старой студенческой тужурѣ, стоитъ у окна и смотритъ уныло на улицу.

Вдоль троттуара, по той сторонѣ, идетъ чугунная рѣшетка купеческихъ хоромъ. Домъ-особнякъ въ греческомъ стилѣ — позади садика съ фонтаномъ, прикрытымъ деревяннымъ шатромъ. Деревья въ инеѣ. Такъ красиво, а любоваться не хочется.

Шныряютъ взадъ и впередъ санки. Обыватели везутъ провизію. Кульки съ гусями и поросятами весело торчатъ изъ передковъ и съ колѣнъ проѣзжающихъ — въ шубахъ и салопахъ. Все готовится къ усиленной ѣдѣ и ликованію.

А онъ не думаетъ ни о какомъ святочномъ кутежѣ. Деньги у него есть. Внести плату за свой послѣдній семестръ, и все-таки у него останется малая толика.

Въ эту минуту онъ ставилъ передъ собою категорическій вопросъ:

„Поѣдетъ онъ или нѣтъ повидаться съ матерью на зимнія вакаціи?“

Она ждетъ. Отправляя его, она повторяла:

— Хоть на недѣлку пріѣзжай, Ванюша!

Отчего же онъ не ѣдетъ? Всего три дня осталось до праздниковъ, и матери было бы особенно пріятно видѣть его при себѣ въ самый первый день праздниковъ.

Оттого, что подлое чувство гложетъ его.

Вотъ уже больше мѣсяца, какъ онъ проходитъ черезъ эти тяжелыя душевныя испытанія.

Какъ легко возмущаться позорнымъ себялюбіемъ, какое заключается въ ревности!

Шекспировскій венеціанскій мавръ—звѣрь, вызывающій жалость, не больше. Но онъ—„арапъ“, человѣкъ низшей породы, кровожадный сангвиникъ, рабъ своего неистоваго темперамента.

Но для „интеллигента“—развѣ не позорно испытывать муки не мавританской, всеокрушающей страсти, а мужского самолюбія?

Да, *самолюбія*! Въ тысячъ случаяхъ ревности девятьсотъ слишкомъ приходится на этотъ мотивъ.

„Какъ ты смѣла промѣнять меня на другой предметъ любовнаго интереса? Меня!.. Твоего первоначальнаго избранника!“

Вотъ какой червякъ начинаетъ глотать душу каждаго ревнивца!

Такая ли въ немъ клокочетъ страсть къ дѣвушкамъ, съ которой онъ, полгода назадъ, обручился?

Никогда онъ не любилъ никакой аффектаціи, никакого самобмана и рисовки.

Надя ему сразу понравилась. Прежде всего—своей наружностью. Онъ не предъявлялъ ей никакихъ особенныхъ требованій по части ума, а начитанность дѣвушки по двадцатому году развѣ можетъ быть больше, чѣмъ у порядочнаго первокурсника?

Главное—она имъ стала увлекаться, смотрѣть на него снизу вверхъ. Тамъ, въ ихъ городѣ, онъ былъ единственный студентъ, водворенный на мѣсто жительства „за исторію“.

Это преклоненіе льстило ему, поднимало въ его глазахъ обаяніе красивой, живой и способной дѣвушки, которая любила и слушать его, и дѣлиться съ нимъ своими взглядами и симпатіями, представляя ихъ на его оцѣнку и одобреніе.

А въ Москвѣ этотъ культъ „штрафнаго студента“ сталъ быстро испаряться.

Надя сразу почувствовала подъ собою другую почву—силу красоты, возможность взять отъ жизни нѣчто болѣе блестящее, чѣмъ мѣсто учительницы въ городской школѣ или, много-много, въ младшемъ классѣ женской гимназіи.

Она не ошиблась въ смутномъ чувствѣ таланта. Стоило ей поступить на драматическіе курсы—и тамъ ее тотчасъ же оцѣнили.

Руководитель курсовъ нацѣлъ въ ней „превосходныя данныя“, совершенно такъ, какъ и этотъ „оболтусъ“ Эліодоръ, съ котораго и пошелъ весь „ядъ и соблазнъ“—на оцѣнку ея несчастнаго „женишка“.

Такъ его называетъ тотъ же Эліодоръ, ухмыляясь, когда говоритъ съ нимъ о его невѣстѣ; а это неизбежный разговоръ, когда онъ бываетъ у Пятова.

Да, отъ него и пошелъ весь „ядъ и соблазнъ“. По его рекомендаціи Надю такъ легко приняли. Онъ хотѣлъ даже внести за нее плату, сдѣлать ее какъ бы своей стипендіаткой, да не допустилъ Заплатинъ. И что его особенно огорчило—это то, что Надя, кажется, приняла бы это какъ должное.

Она уже начала разсуждать такъ:

„Если очень богатый человѣкъ, любитель искусства, видитъ въ комъ-нибудь талантъ—отчего же ему не помочь?“

Она же сдѣлала такъ, что Эліодоръ первый сказалъ ему:

— Отчего же бы вамъ, Заплатинъ, не уступить часть переводовъ вашей невѣстѣ? Что полегче? Разумѣется, чтобы это не отнимало у нея слишкомъ много времени по курсамъ.

И вышло какое-то обидное для него, за Надю, участіе въ его работѣ, обидное не потому, чтобы онъ не хотѣлъ съ ней дѣлиться, а потому, что изъ этого вышло „одно баловство“. Переводила она небрежно и медленно, и гонораръ долженъ былъ ей отсчитывать онъ.

Выходило что-то некрасивое. За плохую и очень скудную количествомъ работу онъ отдѣлялъ ей, по крайней мѣрѣ, одну треть всего, что самъ зарабатывалъ; она принимала и это какъ должное.

Этого мало. Элиодоръ отъ себя, и даже не сказавъ ему, далъ ей переводить какую-то жиденькую брошюрку—съ французскаго, и заплатилъ ей авансомъ по тридцати рублей съ листа.

Не можетъ же она не видѣть, что все это—„подходы“ богатаго купчика, которому она приглянулась, и онъ, даже въ присутствіи его, Заплатина, не стѣсняется въ своемъ селадонствѣ.

Можетъ быть, они видятся и за его спиной. Какое же есть средство это контролировать? Да онъ и не унизить себя до того, чтобы разузнавать и подсматривать.

Теперь у Нади порядочная квартира, въ двѣ комнаты, въ ономъ изъ переулковъ Большой Дмитровки. Она принимаетъ кого ей угодно, цѣлыми днями не бываетъ дома, и они не видятся по двое, по трое сутокъ.

Сколько разъ приходилось ему зря заходить къ ней, даже когда ему назначали часы!

Въ какіе-нибудь два мѣсяца эти театральные курсы отлиняли на ея душѣ.

Увлеченіе искусствомъ уже пронизнуто личными, суетными—на его взглядъ — мечтами. Она уже воображаетъ себя будущей Лузе, и начинаетъ находить жалкой карьеру трудовой женщины, особенно такую, какую даютъ высшіе курсы. Она уже слышала о томъ — что можно имѣть на первомъ амплуа черезъ два-три года по полученіи аттестата — даже и въ провинціи.

Жалованье въ пятьсотъ, въ семьсотъ рублей въ мѣсяцъ — слая обыкновенная вещь.

А слава? А приемы публики? Развѣ можно сравнить ихъ съ чѣмъ-нибудь другимъ на свѣтѣ?

Между ними уже легла какая-то черта. Сценъ она ему не ставитъ; но ихъ свиданія коротки, разговоры отрывочны и не-

искренни. И Надя первая сказала ему, что „при постороннихъ“ имъ лучше бы быть на „вы“.

Онъ согласился.

И вотъ теперь онъ состоитъ при Надѣ неизвѣстно въ какомъ качествѣ.

Тайный женихъ? Обидное званіе!

Между ними выходили уже если не схватки, то очень сильныя разговоры, почти сцены.

И онъ долженъ сознаться, что каждый разъ выдавалъ себя. Надя подсмѣивается надъ его ревностью и въ послѣднее ихъ объясненіе сказала:

— Что меня бѣситъ, Ваня, это то, что ты не хочешь положить карты на столъ. Ты—ревнивецъ, а все сводишь къ принципамъ!.. Протестуешь изъ-за высшей морали. И тутъ у тебя нѣтъ искренности. Говори, что ты находишь въ моихъ поступкахъ... неблаговиднаго?

Сотни упрековъ накопились въ немъ, но главный мотивъ—тотъ, что она позволяетъ миллионщику, ворчащему изъ себя мепената, ухаживать съ очень прозрачными цѣлями.

Онъ ей такъ и сказалъ. Надя сдѣлала гримаску и отвѣтила:

— Я ему нравлюсь? Можетъ быть. А потомъ что? Когда я поступлю на сцену, я буду нравиться сотнямъ мужчинъ, въ партерѣ и ложахъ. И многіе будутъ за мной ухаживать... Какъ же съ этимъ быть? Стало, мнѣ нельзя быть актрисой? Лучше ты сразу объяви это.

Ему и слѣдовало бы крикнуть: „Да, нельзя быть актрисой, если любишь мужа!“

Но онъ задыхался и готовъ былъ чуть не кинуться на нее и крикнуть:

„Ты меня обманываешь! У тебя тайныя свиданія съ Элюдоромъ!“

Ничѣмъ и не кончилось. Только на душѣ былъ ѣдкій осадокъ—осадокъ самопрезрѣнія.

Одно уже выяснилось и теперь.

Надя дала ему достаточно понять, что она ставитъ уже теперь категорически: или сцену, или... „разойдемся во избѣжаніе дальнѣйшихъ столкновеній“.

Она по-своему права. Онъ это признаетъ, а пересудить себя не можетъ.

И вся эта Москва, и университетъ, и товарищи, и зубреніе лекцій къ государственному экзамену—все ему опостылѣло.

Чего бы лучше—уѣхать, хоть на двѣ недѣли, утѣшить свою старушку? Такъ и на это не хватаетъ рѣшимости.

— Заплатинъ, здравствуйте!—окликнули его сзади.

Онъ нервно обернулся.

По срединѣ комнаты стоялъ Григоровъ—его старшій сверстникъ по университету, но съ другого—словеснаго—факультета.

Давно они не видались. Григоровъ былъ тремя курсами выше его, и въ тотъ годъ, когда Заплатина „водворили“ на родину, пролежалъ больной почти всю зиму.

— А! Василий Михайловичъ!—вспомнилъ онъ его имя-отчество.—Вы въ Москвѣ?

— А то гдѣ же? Значить, газетъ, государь мой, не читаете?

— Читаю... Вы на всѣхъ вечерахъ—первый запѣвало.

Заплатинъ поздоровался съ гостемъ и, подведя его къ клеенчатому дивану, усадилъ. Въ лицѣ Григоровъ сильно измѣнился, похудѣлъ, кожа желтая, видъ вообще болѣзненный. Одѣтъ небрежно, въ черный скротукъ, бѣлье не первой свѣжести. Но, какъ всегда, возбужденъ, глаза съ блескомъ, рѣчь такая же быстрая, немного отрывистая.

И все такъ же „заряженъ“ — служеніемъ „общественному дѣлу“.

— Разыскали меня?—спросилъ Заплатинъ.

Они были съ нимъ на „вы“.

— Какъ видите. Вотъ сейчасъ былъ у одного паренька... У него феноменальный баритонъ. Изъ восточныхъ людей... армяшекъ.

— Небось устраиваете какой-нибудь благотворительный вечеръ?

— Всенепремѣнно!

— Меня-то ужъ никакъ не завербуете... Я — чтó называется: ни пвецъ, ни жнецъ, ни въ дуду игрецъ—по части талантовъ.

— Намъ всякаго народа надобно.

— Афиши продавать... или на мѣста разсаживать?

— Это своимъ чередомъ... Большая мизерія... Кому же и шлопотать, какъ не нашему брату?

— Все еще вѣрите, Василий Михайловичъ, въ Россійскій прогрессъ?

Вопросъ этотъ вырвался у Заплатина точно противъ воли.

Григоровъ былъ олицетвореніемъ служенія этому „Россійскому прогрессу“. Вѣчно онъ въ тихомъ кипѣніи, бѣгаетъ, ула-

живаешь, читаетъ на подмосткахъ, посѣщаетъ всевозможныя за-сѣданія, даетъ о нихъ замѣтки въ газеты, пишетъ рефераты, издаетъ брошюры, гдѣ-то учительствуетъ, безпрестанно забот-ваешь, ложится въ клинику, но и на войнѣ, больной, продо-жжаетъ хлопотать и устраивать въ пользу чего-нибудь и воо-нибудь.

— Зачѣмъ такой скептицизмъ, Заплатинъ?—отвѣтилъ Гри-горовъ, прищутивъ на него правый глазъ.—Это не порядокъ.

— Да посмотрите, чтѣ теперь царить вездѣ.

— Гдѣ? Въ такъ называемыхъ сферахъ? Пушай ихъ! Ми свою линію ведемъ.

— Не самообманъ ли это, Василій Михайловичъ?

— Почему такъ?

Григоровъ круто обернулся къ нему и полѣзъ въ карманъ за папиросницей.

— Почему?— переспросилъ онъ, поведя головой, причѣмъ вихоръ на лбу всколыхнулся.—Такими разсужденіями только имъ же въ руку играть, этимъ сферамъ. Чтѣ есть лучшаго здѣсь, на Москвѣ, самаго честнаго и передового—все это держится... нами же. Значить, нужна солидарность!..

— Положимъ...

Заплатину хотѣлось противорѣчить этому вѣчно заряженному носителю прогресса.

— А пока чтѣ, — продолжалъ Григоровъ, — приходите въ четвергъ ко мнѣ... Я все тамъ же... вы помните—въ Криво-никольскомъ, домъ Судѣева. Вѣдь вы бывали въ нашемъ кружкѣ?

— Бывалъ.

— Ну, то-то же! Рефератъ будетъ по поводу одной повѣсти на психо-соціальную тему. А черезъ двѣ недѣли ровно я на васъ разсчитываю. Будетъ не мало всякой распорядительной ра-боты. Теперь зимнія вакаціи. Удосужитесь. Не все зубрить. Вамъ стыдно было бы отказываться.

Григоровъ опять подмигнулъ ему.

„Вы, молю, изъ тѣхъ, которыхъ высылали“.

— Ладно,—удосужусь,—выло выговорилъ Заплатинъ.

Онъ рѣшительно не находилъ въ себѣ настроенія, подхо-щаго къ тону и „подъему духа“ Григорова.

— Вы, должно быть, переборщили... насчетъ зубристики? Успѣете. А я на васъ разсчитываю... И ко мнѣ приходите ве-премѣнно.

Григоровъ поспѣшно затянулся и такъ же торопливо бросилъ окурокъ.

Въ другое бы время Заплатинъ сталъ его разспрашивать про все, что дѣлается въ „интеллигентной“ Москвѣ. А тутъ—ни малѣйшей охоты бесѣдовать съ нимъ, и точно полное равнодушіе ко всему тому, изъ-за чего тотъ вѣчно хлопочетъ.

Когда Григоровъ ушелъ, ему стало еще тяжелѣе и противнѣе за самого себя.

Въ какихъ-нибудь два съ половиной мѣсяца онъ до такой степени „развихлялся“.

Развѣ онъ похожъ теперь на того возвращеннаго въ Москву студента, который шелъ по Моховой къ перекрестку Охотнаго ряда и такъ бодро и убѣжденно раздумывалъ на любезныя его сердцу темы?

Тому студенту принадлежало будущее; а этотъ только носится съ своей „постыдной“ страстью, а все остальное—точно выпущено изъ него, какъ изъ гуттаперчеваго шарика.

Опять очутился онъ у окна и сталъ смотрѣть въ ту сторону, гдѣ зданіе, куда ходитъ Надя и готовится къ своимъ будущимъ триумфамъ красавицы-актрисы, предназначенной къ тому, чтобы привлекать къ себѣ мужчинъ и отравлять ихъ душу, какъ уже отравленъ онъ—ея тайный женихъ.

X.

Совсѣмъ не такъ проводила свой день Надя.

Она и сегодня—какъ все время, съ тѣхъ поръ, какъ поступила на драматическіе курсы, чувствовала себя пріятно настроенной. Днемъ—уроки изъ общихъ предметовъ, а вечеромъ она ходитъ на упражненія, и въ нихъ-то вся суть.

На этихъ упражненіяхъ ее сразу и оцѣнили. Теперь она уже разучиваетъ отдѣльные монологи и сцены изъ „Псковитянки“, сцену у фонтана и, разумѣется, письмо Татьяны.

Читать стихи вслухъ она любила и въ гимназіи, и лучше ея въ классѣ никто не читалъ.

И въ какихъ-нибудь шесть недѣль она схватила разные „штучки“, которые требуются въ классѣ для хорошей читки.

У нея найденъ обширный „регистръ“ звуковъ. Кто-то ей даже сказалъ:

— Вы точно Баттистини!

Но нужна сноровка, чтобы владѣть этимъ регистромъ. Эта сноровка дастся ей, какъ и все остальное—и жесты, и умѣнье держаться, кланяться, ходить по сценѣ,—все, что другимъ совсѣмъ не дается.

Каждый день она въ особомъ артистическомъ настроеніи. Ее уже согрѣваетъ и тѣшитъ чувство вѣры въ себя, сознаніе того, что она выбрала свою настоящую дорогу, что она—будущая артистка, что ею довольны, что ее уже отличаютъ.

Не одна ея эффектная наружность помогаетъ этому. Есть среди ея товарокъ—и по ея курсу, и старше—хорошенькія дѣвушки. Двѣ даже очень красивыя, почти красавицы.

Но дѣло не въ одной наружности.

Это она замѣчаетъ и по тому, какъ къ ней относятся и однокурницы, и старшія. Въ ней уже видятъ опасную соперницу. Однѣ лебезятъ, другія ехидствуютъ.

Все это забавляетъ ее—точно она уже на сценѣ, въ настоящей труппѣ, или участвуетъ въ житейской комедіи, гдѣ она уже—центральная фигура.

Сегодня—послѣ двухъ лекцій—она взяла извозчика и приказала везти себя на Садовую, къ Ильѣ-Пророку.

Пятовъ ждетъ ее. Она представитъ ему переводъ одной брошюры; переводъ, кажется, вышелъ удачно.

Ванѣ она переводъ этотъ не давала выправлять. Это—ея самостоятельная работа. Онъ про нее знаетъ—и довольно!

А то начались бы непремѣнно кисло-сладкіе разговоры—и все объ одномъ и томъ же.

Онъ—ревнивецъ! Его характеръ выказался только теперь, когда пошла настоящая жизнь. И она чувствуетъ, что не нынче—завтра надо будетъ сказать ему:

„Знай, что я отъ сцены ни подъ какимъ видомъ не откажусь... Если ты будешь такой же и мужемъ—лучше намъ не связывать другъ друга“.

Онъ—хорошій, честный и умный; но днями—скучный, а когда дуется, то даже очень несносный.

Навѣрное, онъ будетъ подбивать ѣхать вмѣстѣ на зимнія вакаціи. А ей этого совсѣмъ не хочется. Она писала отцу—какъ ей теперь хорошо въ Москвѣ. А тутъ святей, театры, концерты, катанье на „голубяхъ“—парныхъ саняхъ—за заставу. Одишь онъ не поѣдетъ и будетъ здѣсь торчать безъ всякой надобности.

Вотъ и сегодняшній визитъ къ Пятову...

Она не скрываетъ, ничего не дѣлаетъ тайно; но скажи она ему вчера, что Элиодоръ ждетъ ее—навѣрное было бы объясненіе.

Конечно, Пятовъ оставить ее завтракать.

Это еще въ первый разъ. Но почему же она не можетъ позволить себѣ этого?

Потому только, что ревнуетъ женихъ?

Тогда надо бросить свою артистическую дорогу и сдѣлаться ординарной курсисткой, съ перспективой получить мѣсто учительницы тамъ, гдѣ Заплатинъ будетъ чиновникомъ или помощникомъ присяжнаго повѣреннаго.

„Элюдору“—она такъ его называла про себя—она сильно нравится; но онъ фатоватъ, слишкомъ высокаго мнѣнія о себѣ и думаетъ, вѣроятно, что „противостоять“ ему трудно.

Пока онъ ухаживаетъ не глупо, интересуется ея успѣхами въ школѣ, хвалить ее умѣло—она уже декламировала ему,—ведетъ себя, какъ товарищъ Заплатина долженъ себя вести съ его невѣстой.

Но пальца ему въ ротъ не кладѣ. Ей не трудно слѣдить за собою, когда они съ глазу на глазъ, потому что онъ ее совсѣмъ не волнуетъ.

Глупый Ваня не хочетъ понять—до какой степени такой „меценатъ“ можетъ ей быть полезенъ—не только теперь, когда она ученица, но и потомъ, при выходѣ на сцену.

Если такими пренебрегать, такъ лучше идти въ сестры милосердія.

— Вотъ и я! Не задержала васъ?

Съ этими словами Надя входила въ кабинетъ Пятова, держа тетрадку въ рукѣ.

Онъ не выпустилъ ея руки изъ своей и спросилъ, играя глазами:

— Позволите поцѣловать?

Каждый разъ онъ это спрашивалъ, и въ присутствіи жениха, и безъ него.

Это ей нравилось. Другой бы „чмокнулъ“ прямо, безъ всякаго позволенія.

— Работа готова. Думали—я буду тянуть?

— Удивительно, Надежда Петровна, какъ у васъ хватаетъ времени.

— Видите, хватаетъ.

— Благодарю васъ...

Онъ пригласилъ ее присѣсть на маленькій диванчикъ, и самъ сѣлъ рядомъ.

— Знаете... я что хотѣлъ вамъ сказать?—началъ онъ, замѣтно любуясь ею. — Вамъ что же утруждать себя переводомъ тѣхъ отрывковъ, для работы Заплатина... Это для васъ слишкомъ сухая матерія. У меня найдутся еще вещи въ такомъ же родѣ... И это поставить васъ гораздо самостоятельнѣе...

хотя милѣйшій Иванъ Прокофѣичъ и имѣть нѣкоторыя на васъ права.

— Какія это?—возразила Надя и даже сверкнула глазами.

— Женихъ!

— Этого недостаточно.

Помолчавъ, онъ потише спросилъ ее:

— Онъ, кажется, не въ особенномъ восхищеніи, что вы нашли свое истинное призваніе?

— Пускай его!

Можетъ быть, ей не слѣдовало такъ отвѣчать.

Пятовъ взялъ тотчасъ же ея руку.

— Это васъ не смущаетъ, Надежда Петровна?

— Мы уже достаточно объяснялись. Новаго отъ него ничего не услышу.

И этого, быть можетъ ей не слѣдовало говорить. Но ей пріятно было сознавать себя вполне свободной личностью.

— Но если оно такъ пойдетъ, — продолжалъ все тѣмъ же ласково-интимнымъ тономъ Пятовъ, — передъ вами встанетъ болѣе серьезный вопросъ.

— Я понимаю, Эліодоръ Кузьмичъ, что вы хотите сказать. Это уже его дѣло!

— Съ такимъ мужемъ вы не будете свободны. И до поступленія на сцену, слушательницей драматическихъ курсовъ... вы уже будете стѣснены.

— Чѣмъ же?

— Какъ чѣмъ? А если Заплатинъ будетъ—когда кончить курсъ—настаивать на свадьбѣ... не захочетъ ждать цѣлыхъ дватри года? Вы объ этомъ развѣ не думали?

— Объ этомъ... нѣтъ! У насъ есть, кажется, двѣ замужнихъ. Но тогда какое же ученье?..

— Именно!

И тутъ только она спросила себя мысленно:

„Зачѣмъ онъ меня дразнитъ этими вопросами?“

— Простите... я не хочу васъ смущать... но я такъ цѣню въ васъ будущую артистку...

— Не раненько ли, Эліодоръ Кузьмичъ?

— Вовсе нѣтъ! Вы сами знаете—какъ васъ сразу стали и тамъ цѣнить.

И, точно это было между ними условлено, онъ, вставая, спросилъ:

— Угодно перейти въ столовую? Завтракъ готовъ.

Были опять удивительныя закуски, бутылки стараго вина, въ борзинахъ, и „холодное“.

Но Надя была съ самаго начала завтрака на сторожѣ. Отъ простыхъ винъ она отказывалась, а шампанскаго выпила всего одинъ стаканчикъ.

Пятовъ сталъ даже огорчаться.

Ей надо имѣть „свѣжую голову“ для вечерняго класса. Сегодня она произноситъ монологъ изъ „Дѣвы Орлеанской“.

— У васъ еще цѣлый день впереди,—упрашивалъ Элиодоръ.
— Отдохнете въ сумеркахъ. Еще одинъ стаканчикъ холодненькаго...

Когда онъ угощалъ,—въ его интонаціи слышался ей купчикъ.

И вообще, она въ такомъ tête-à-tête, за завтракомъ, въ его собственныхъ „чертогахъ“—нисколько не увлекалась имъ.

Инстинктъ подсказывалъ ей, что этотъ „интеллигентъ“ изъ Китай-Города, готовящій внигу объ „эстетическихъ воззрѣніяхъ Адама Смита“—несомнѣнно увлеченъ ею. Его глаза, губы, вся повадка, тонъ—все это выдавало его. Да онъ и не считалъ нужнымъ скрывать то—какъ она ему нравится.

Его сдерживало, въ разговорѣ, только то, что онъ—бывшій „однокурсникъ“ ея жениха; но сегодня онъ уже нѣсколько разъ подходилъ къ вопросу ея будущей свободы, какъ артистки, и если не на словахъ, то глазами добавлялъ:

„Съ какою стати вы хотите связать свою судьбу, да еще выбравъ себѣ въ мужа такого похмураго, зауряднаго малаго, какъ вашъ Ваня?“

Не безъ умысла поставила она ему щекотливый вопросъ: какъ это такъ случилось, что онъ—товарищъ Заплата по курсу—остался „цѣлъ и невредимъ“ и благополучно сдалъ свой государственный экзаменъ?

Она хотѣла ему показать, что миллионы, въ ея глазахъ, не все, что ея женихъ, хотя онъ и заурядный студентъ, и сынъ провинціального купца третьей гильдіи, но у него есть принципы, и онъ всегда способенъ поступиться своей свободой за то дѣло, которое считаетъ правымъ.

Пятовъ даже немного покраснѣлъ и сталъ, на особый ладъ, хмыляться, поглядывая на игру пѣнистаго вина въ его стаканчикъ.

— Вашъ Ваня, вѣроятно, не мало вамъ рассказывалъ про эту исторію. Ну, конечно, и насчетъ меня прохаживался въ вѣстномъ тонѣ?

— О васъ ровно ничего не говорилъ,—отвѣтила Надя,

поглядывая на него вбоекъ, и въ это время чистила золотымъ ножомъ грушу.

— Будто?

— Увѣряю васъ. До прїѣзда сюда я не слыхала ни разу вашего имени, когда мы по цѣлымъ днямъ говорили.

— Почему же такъ?

— Вѣроятно потому, что онъ не хотѣлъ васъ осуждать, Эліодоръ Кузьмичъ.

Пятовъ выпрямилъ свою толстую грудь и выпилъ залпомъ все, что было въ стаканѣ.

— За что же осуждать меня? За то, что я не попался, какъ другіе?

— Я не знаю.

— Во-первыхъ, я тогда былъ нездоровъ. На лекціи я не ходилъ. И не потому—смѣю васъ увѣрить,—что трусилъ. Это, надѣюсь, подтвердилъ бы и Заплатинъ.

— Весьма вѣроятно,—отвѣчала Надя, все въ томъ же подшучивающемъ тонѣ, который былъ для нея въ эту минуту очень выгоденъ.

— Но еслибъ я и ходилъ въ аудиторіи и на сходки... я бы остался при своемъ мнѣніи.

— При какомъ же, Эліодоръ Кузьмичъ? Это интересно.

Она игриво посмотрѣла на него.

— Не стѣдуетъ перебирать всю эту старую исторію.

— Отчего же не стоитъ? Одно изъ двухъ: или тѣ ваши товарищи, кто поплатился, были правы, или нѣтъ. Передо мной Ваня не рисовался. Я, положимъ, была только-что соскочившая со скамьи гимназистка, но душой меня никто не считалъ. Когда онъ мнѣ рассказывалъ подробности всего, что было здѣсь, я чувствовала, что онъ готовъ былъ всю душу свою положить за дѣло товарищей.

— И вы въ него влюбились?—подсказалъ Пятовъ.

— Да, я его полюбила.

— Не слишкомъ ли быстро, Надежда Петровна?

— Не знаю... Но вы вѣдь не досказали. И еслибы вы были въ тѣ дни здоровы и ходили на лекціи и сходки...

— Какъ бы я повелъ себя? Извольте, я не постѣснюсь отвѣтить вамъ. Я бы далеко не все одобрилъ изъ того, что натворили мои товарищи.

— Чего же именно не одобрили бы?—настаивала Надя.

— Разныхъ видовъ насилія,—выговорилъ съ очень серьезной миной Пятовъ.

Надя могла превосходно представить себя—какъ такой Элиодоръ держалъ бы себя на бурной сценѣ. Онъ врядъ ли сталъ бы протестовать противъ большинства; но въ „застрѣльщикахъ“ ни въ какомъ бы случаѣ не оказался.

И ей хотѣлось своей миной дать ему это понять. Пускай обидится.

Въ этомъ разговорѣ Надя руководилась вѣрнымъ инстинктомъ красивой женщины. Элиодоръ — все-таки тщеславный купчикъ. Это свойство въ немъ—самое главное. Она ему начинаетъ сильно нравиться. И его будетъ все больше раздражать то, что ей не трудно было „раскусить“ его.

Чѣмъ бы ни кончились ея отношенія къ жениху, будетъ она женой Вани или нѣтъ—все равно: она его ставитъ выше такого миллионера, желающаго играть роль тонко-образованнаго джентльмена, сочиняющаго книжки на эстетическія темы.

Имъ надо пользоваться, но такъ, чтобы потомъ „локти не кусать“.

Все это играло въ ея красивой головѣ будущей театральной героини, и ея испытующіе взгляды подхлѣстывали самолюбіе уже влюбленнаго купчика.

— Другими словами, Элиодоръ Кузьмичъ, вы были бы на сторонѣ умѣренныхъ?

— Да-съ. По моему, совершенно нелѣпо: изъ-за того, что гдѣ-то въ другомъ городѣ съ студентами обошлись безцеремонно—выпроваживать изъ аудиторіи тѣхъ, кто пришелъ по своей обязанности читать лекціи. Рѣзкихъ споровъ я не люблю и не сталъ бы съ вашимъ женихомъ препираться объ этомъ, заднимъ числомъ; но и особеннаго геройства я въ этомъ не видѣлъ и не вижу! А по пословицѣ: „лѣсъ рубятъ—щепки летятъ“; увлекись я тогда вмѣстѣ съ другими — и меня бы водворили на мѣсто жительства.

— Куда? Вотъ въ эти палаты?

— Или заставили бы посидѣть въ Чухломѣ или Варнавинѣ.

Отхлебнувъ вина, которое онъ себя налилъ, Пятовъ продолжалъ:

— Все это прекрасно. И я не желаю умалять достоинство тѣхъ студентовъ, какъ Заплатинъ. Но позвольте мнѣ сказать вамъ, дорогая Надежда Петровна. Такой—какъ вы сами назвали его—какъ-то—прямолинейный человѣкъ врядъ-ли способенъ поддаться надъ своими, хотя бы и очень честными, взглядами на жизнь. Его—карьеру артистки, которая открывается передъ вами, гаситъ. Да онъ и не признаетъ за искусствомъ его высокаго

значенія. Что такое для него красота? Или финтифлюшки, или, хуже того, чуть не развратъ.

А глаза Пятова добавляли: „И все это вы найдете во мнѣ“.

Надя, дослушавъ его, встала и стала собираться идти, внутренне поздравляя себя съ гораздо большей побѣдой надъ хозяиномъ купеческихъ палатъ на Садовой.

И Ваня, еслибъ онъ невидимо присутствовалъ при ихъ завтракѣ, не могъ бы ни за что попенать ей.

XI.

Въ собственномъ экипажѣ Авивъ Захаровичъ Щелоковъ выѣзжалъ рѣдко. Онъ любилъ ходить пѣшкомъ во всякую погоду, особенно зимой.

И сегодня онъ пробирался въ сумерки Кремлемъ, черезъ „Кутафью“, на Воздвиженку, одѣтый не богаче опрятнаго приказчика, въ пальтецѣ съ мерлушковымъ воротникомъ и въ такой же шапкѣ.

Въ боковомъ карманѣ у него лежала тетрадка, въ осьмушку, вся исписанная его рукой. Онъ сговорился съ Заплатиннымъ — прочесть ему эту „промеморію“ — такъ онъ называлъ свое сочиненіе.

Ему хочется — и не со вчерашняго дня — втянуть такого хорошаго и развитого парня, какъ Заплатинъ, въ кругъ самыхъ цѣнныхъ для него и душевныхъ идей и стремленій.

Онъ и не пропускаетъ случая въ разговорѣ наводить Заплатина на свой „конекъ“; но сегодня, во время и послѣ чтенія его вѣроучительнаго „credo“, бесѣда должна получить болѣе рѣшительный отгвѣнокъ. У каждаго изъ нихъ будетъ болѣе поводовъ высказаться... безъ утайки. Ни бояться, ни стѣсняться другъ друга имъ нечего!

Да и помимо этого, Щелокову начало сдаваться, что Заплатинъ, въ послѣднія недѣли, сталъ впадать въ какую-то „мерехлюндію“. Тутъ что-нибудь не ладно.

Съ невѣстой своей онъ его познакомилъ. И Щелокову сразу показалось, что *такая* подруга слишкомъ для него эффектна. Ею восхищается „превыше всякой мѣры“ и Элиодоръ. Изъ всего этого могутъ выйти осложненія, врядъ-ли очень пріятныя бѣдному Заплатину. Немудрено, что онъ сталъ впадать въ задумчивость.

На женщину, любовь, бракъ, — словомъ, на все, что, по модному,

называется „феминизмомъ“ — Щелоковъ смотрѣлъ по-своему, и въ этомъ „пунктѣ“ особенно доволенъ тѣмъ, что ему, по его положенію „столовѣра“, не признающаго возможности въ настоящее время брака, какъ таинства, не обязательно налагать на себя супружескія узы.

Для него и законная жена будетъ только „посестра“ — по-друга, въ крайнемъ случаѣ мать его дѣтей—и только. Никакихъ особыхъ правъ она на его личность, на его душу, на весь его нравственный обиходъ, не должна имѣть.

Какъ Авивъ Щелоковъ, какъ человѣкъ съ образованіемъ и съ мыслящей головой—онъ не считаетъ всего этого верхомъ общественнаго и нравственнаго уклада; но это даетъ ему свободу, какой не имѣютъ „церковные“ ни въ господствующей церкви, ни въ какомъ другомъ терпимомъ исповѣданіи, и за это онъ благодаритъ судьбу, и ни на какое другое положеніе, по доброй волѣ, не промѣняетъ.

Самъ по себѣ онъ не бабникъ. Влюбчивости въ немъ не было съ той поры, когда кровь начинала играть въ жилахъ. Не зная онъ страсти, не страшился ея, какъ чего-то грѣховнаго; но и не позволялъ своему воображенію вертѣться около любовныхъ сюжетовъ. Кое-какія „шалушки“ бывали; но связи, до сихъ поръ, не было. Когда придетъ его время, онъ подыщетъ себѣ подругу жизни — „посестру“ — добрую, неглупую и грамотную дѣвушку, хотя бы и изъ бѣднаго дома.

Ни за что, ни изъ-за какой писаной красавицы онъ не промѣняетъ вѣры и не пойдетъ въ церковники, какъ сдѣлалъ это отецъ Эліодора Пытова—такой же когда-то „еодосѣвецъ“.

За это онъ отдастъ голову на отсѣченіе, и не изъ фанатизма, а потому, что онъ выше всего ставитъ свою религіозную свободу.

Положимъ, его „согласіе“ только терпится; но, „пребывая“ въ немъ, онъ—вольный казакъ; нѣтъ никакого „казеннаго“ начальства надъ его совѣстью. Онъ „самъ себѣ папа“—какъ онъ любитъ, шутя, выражаться, и самъ можетъ — когда приспѣетъ время—стать больше, чѣмъ простымъ начетчикомъ, а если на то пошло, то и вѣроучителемъ.

Пустой, суетной „истовости“ онъ въ себѣ не видитъ. Еслибъ она была, онъ хотъ бы самому себѣ сознался.

Но не можетъ онъ и оставаться все въ тѣхъ же взглядахъ, вѣрованіяхъ и упованіяхъ, какіе переданы ему отъ „стариковъ“. Онъ куда дальше ушелъ, и вотъ уже третій годъ работаетъ надъ своимъ собственнымъ „credo“.

То, что можно было, по его разумѣнію, согласить въ философіи и наукѣ, съ откровеніемъ, онъ согласилъ, но и безъ него надъ этимъ работали умы „почище“ его. У него — болѣе скромная задача: показать своимъ единовѣрцамъ новые исходы, открыть передъ ними болѣе широкіе горизонты, воздержать отъ мертвечины, буквѣдства или дремучаго изувѣрскаго мракобѣсія.

И онъ уже не первый на этомъ пути. Броженіе умовъ существуетъ: кто поглубже забирается въ своемъ „богоисканіи“, тотъ уже не можетъ повторять одно то, что отцы его считали неприкосновеннымъ.

Та тетрадка, что лежитъ у него въ боковомъ карманѣ, содержитъ въ себѣ главные выводы, до какихъ онъ дошелъ.

Не затѣмъ онъ собрался прочесть ее Заплатину, чтобы „сворачивать“ его въ свою вѣру, а затѣмъ, чтобы посмотреть, — насколько такіе вопросы могутъ вызвать сочувствіе въ среднемъ, хорошемъ интеллигентѣ.

Заплатинъ — умный, способный думать малый; онъ — не звѣзда, никакихъ особыхъ талантовъ въ немъ нѣтъ; но онъ представляется для него — Щелокова — „среднюю пропорціональную“ теперешняго развитія лучшей доли университетской молодежи.

А ему давно сдается — это онъ на дняхъ высказывалъ Заплатину, — что она, эта „лучшая доля“ — слишкомъ равнодушна къ такимъ вопросамъ.

„То-есть, къ чему же? — спрашивалъ себя онъ, когда разговаривалъ умственно съ самимъ собою, — къ чему же?“

Къ тому, что есть для человѣка самаго драгоцѣннаго — къ свободѣ совѣсти, къ ея неприкосновенности.

Вотъ сегодня, когда онъ прочтетъ Ивану Прокофичу свои „итоги“, — всего яснѣе и выступить, въ какой степени сильно это равнодушіе.

И произойдетъ уже „радикальная разборка“.

Онъ не боится за ихъ пріятельскія отношенія. Заплатинъ, разумѣется, стоитъ за полную терпимость.

Но этого мало! И забѣгая впередъ, Щелоковъ уже повторялъ въ головѣ всѣ тѣ доводы, которые у него накопились годами противъ такого „печальнаго равнодушія“, и не въ пошлой толпѣ, ничего не знающей, кромѣ своей жуирской суетлоки, а въ самой молодой, свѣжей интеллигенціи.

Охваченный своими мыслями, онъ не взвидѣлся, какъ былъ уже около Экзерциргауза, передъ Воздвиженкой.

— Ну, какъ?—спросилъ Щелоковъ, когда дочелъ послѣдній свой выводъ.

Онъ сидѣлъ у столика съ единственной свѣчей подъ абажуромъ. Заплатинъ, поджавъ подъ себя ноги, примостился на клеенчатомъ диванѣ.

Въ комнатѣ стояла почти полная темнота.

— Что-жъ... Щелоковъ... Это очень содержательно и ново. И прекрасный у тебя... вѣскій языкъ.

— Спасибо, Иванъ Провофичъ. Но это ты кладешь свое одобрение по части формы.

— Не одной формы, а и содержанія, Авивъ Захарычъ.

— Да... Но я, милый человѣкъ, хотѣлъ бы знать—какъ ты и люди твоего поколѣнія вообще относитесь къ самой сути всякаго такого свободнаго исповѣданія вѣры?

Заплатинъ помолчалъ. Онъ и слушалъ чтеніе пріятеля не такъ, какъ бы слѣдовало. На душѣ у него было все такъ же скверно, какъ и два-три дня, какъ и пять дней назадъ. Къ тому же и голова болѣла невралгически. Сонъ у него отвратительный и во всемъ тѣлѣ „прострація“.

— Какъ сказать...

— Нѣтъ, позволь, —остановилъ Щелоковъ, положивъ свою тетрадку на столъ, и подсѣлъ къ Заплатину.—Я, до сихъ поръ, Иванъ Провофичъ, изумляюсь...

— Чему?—вило спросилъ Заплатинъ.

— А тому равнодушію, съ какимъ вы, интеллигенты, принадлежащіе къ господствующему исповѣданію, трактуете все, что составляетъ суть духовной жизни цѣлаго народа.

— Изумляешься?

— А то какъ же? Положимъ, ты и сотни другихъ, прошедшихъ черезъ университетское ученіе—воображаете себя свободными мыслителями. Но это не резонъ! Ты все-таки членъ господствующей церкви. На тебя, прямо или косвенно, падаетъ отвѣтственность.

— Постой, Авивъ Захарычъ. Никакой отвѣтственности мы на себя брать не можемъ. Мы, ужъ если на то пошло, гораздо больше закрѣпощены, чѣмъ любой сектантъ.

— А отчего?—горячѣе перебилъ Щелоковъ.—Отчего? Оттого, что вы всѣ такъ постыдно равнодушны къ самому высшему благу... къ свободѣ совѣсти! Для васъ говорить о вопросахъ вѣры, о другихъ исповѣданіяхъ, о томъ, какъ насилуется совѣсть сотенъ тысячъ—праздные, почти неприличные для передового человѣка вопросы.

— Вовсе нѣтъ!

— Да такъ! Я давно, братъ, наблюдаю васъ. За все время, какъ я вращаюсь среди интеллигенціи, я не помню ни одного горячаго разговора на эти темы... у самой что ни на есть разрывной молодежи. А развѣ это фасонъ?..

— Но ты ударился въ сторону, Авивъ. Тебѣ желательно было знать мое мнѣніе о твоёмъ исповѣданіи. По существу, я не берусь толковать о немъ. Для этого надо быть и начетчикомъ, въ вашемъ старообрядческомъ смыслѣ, и человѣкомъ особаго вѣроучительнаго склада. А этого во мнѣ нѣтъ... извини!

— Мое чтеніе—я тебѣ на чистоту скажу, Заплатинъ,—было только претекстъ. Я желалъ вытянуть тебя на еоренную бесѣду вотъ о томъ, что меня изумляетъ и сокрушаетъ въ вашемъ братѣ.

— Этого въ одинъ присѣсть не рѣшишь.

— Однако! Дѣло-то въ томъ, что ни у кого изъ васъ нѣтъ ничего въ запасѣ. Вы объ этомъ не думали. Оно для васъ чуждо. А о томъ забыли, что вы, *tacito consensu*, миритесь съ всеобщей нетерпимостью, миритесь съ своимъ—какъ ты сейчасъ сказалъ—собственнымъ духовнымъ закрѣпощеніемъ. Небось, собери здѣсь дюжину одноурсниковъ, брось имъ какую-нибудь фразу, что авторъ „Капитала“ ошибается въ томъ-то и въ томъ-то. И сейчасъ дымъ коромысломъ поднимется. А тутъ духовная жизнь цѣлаго народа —и хоть бы нуль вниманія!

— Это не совсѣмъ такъ, Авивъ. Къ религіознымъ движеніямъ послѣднихъ годовъ есть интересъ въ хорошей, читающей публикѣ.

— Такъ... отъ нечего дѣлать! Или изъ общаго свободомыслія; но потребности настоящей, какъ въ томъ же простомъ народѣ—нѣтъ! А безъ Бога, братецъ мой, жить нельзя. Я тебѣ не говорю—безъ какого. Но безъ того, что обозначается словомъ *religio*, вселенской, общемировой связи—жить людямъ, причисляющимъ себя къ избранному меньшинству—нельзя!

Никогда еще Заплатинъ не слыхалъ, чтобы Щелочковъ такъ горячо и краснорѣчиво говорилъ. Даже его прибауточный, рядскій жаргонъ слетѣлъ съ него, и въ его тонѣ, выборѣ словъ, жестахъ, чувствовался не человѣкъ заурядной „умственности“, не оптовый торговецъ ситцемъ, а бывалый студентъ, который больше десятковъ своихъ товарищей думалъ и читалъ.

— Ты, пожалуй, правъ, Авивъ Захарычъ,—сказалъ Заплатинъ, спуская на полъ ноги,—но извини меня, я сегодня совсѣмъ швахъ. Въ вискѣ зудитъ. Да и вообще... не скрою отъ тебя, я никуда не гожусь. Совсѣмъ развихлялся душевно.

Щелоковъ воззрѣлся на него и въ полголоса вымолвилъ:

— Сердечныя дѣла, небось?

И тотчасъ же съ милой усмѣшкой прибавилъ:

— Иль... тяжело и съ пріятелемъ душу отвести? Ась?

Заплатинъ махнулъ рукой и отвернулся.

— Не поможетъ,—обронилъ онъ, также въ полголоса.

— Да нѣшто вышла зацѣпка какая?

Своей ревности Заплатинъ продолжалъ стыдиться. Но она не стихала.

Надя не нашла даже нужнымъ скрыть отъ него, что она, на-дняхъ, завтракала у Элюдора, съ глазу на глазъ.

Въ первый ли разъ—онъ не знаетъ.

— Ужъ не Элюдоръ ли тутъ началъ дѣйствовать? — спросилъ Щелоковъ, взглянувъ въ лицо Заплатина.

Тотъ, не отвѣчая сразу, всталъ и началъ прохаживаться по комнатѣ.

— Не хочется мнѣ объ этомъ говорить, Авивъ.

— Не хочется, такъ не говори! Я въ душу твою насильно забираться не стану. А ежели... я вѣрно угадалъ, и дѣло идетъ о женскомъ сословіи, то позволю тебѣ задать одинъ вопросъ: ты съ этой дѣвицей желаешь вступить въ законное сожительство?

— А то какъ же?

— И бракъ для тебя таинство?

Щелоковъ поднялъ голову и пристально поглядѣлъ на Заплатина. Тотъ остановился противъ дивана.

— Къ чему этотъ вопросъ, Авивъ Захарычъ?

— Можешь на него и не отвѣчать. Ежели дѣйствительно таинство, какъ для церковнаго—тогда объ этомъ рѣчь будетъ послѣ; а коли ты на него смотришь только какъ на необходимость или какъ на запись въ нотаріальной конторѣ—тогда я тебѣ, какъ твой товарищъ и пріятель, скажу: такъ не годъ, Иванъ Прокофичъ.

— Что же не годъ?

— А вотъ идти—безъ вѣры—на исполненіе обряда, который для тебя не таинство, и совсѣмъ не потому, почему мои единовѣрцы отрицаютъ святость брака до поры, до времени.

— Оставимъ мы эту казуистику. Ты любишь порядочную дѣвушку—какъ иначе освятить вашу связь въ глазахъ общества?

— Какъ? А позвольте вашу милость спросить: примѣрно, на твоемъ бы мѣстѣ былъ я, Авивъ Щелоковъ, который значится по еодосѣвскому согласію? И я пожелалъ бы „пойтъ“ съ въ супружницы дѣвицу государственнаго исповѣданія. Какъ

тогда быть? Ежели она потребуетъ отъ меня вѣнца—я долженъ ей въ этомъ отказать; а если она сама только формально принадлежитъ къ лону своей церкви—она будетъ жить со мною.

— Какъ посестра?

— Да, какъ посестра, коли ты непременно хочешь раскольниковъ жаргонное слово. Такъ оно будетъ честнѣе и проще. А ежели и ты только по принужденію церковный, такъ зачѣмъ же тебѣ совѣсть свою насиловать? Точно также и та дѣвица—буде бракъ для нея совѣмъ не таинство. Не пойдетъ она на свободное сожителство—значить, она тебя не любитъ. Отъ такой не въ примѣръ лучше отказаться, пока еще не поздно.

— Все это не то! — вырвалось у Заплатина, и онъ опять заходилъ, ероша волосы, всклокоченные отъ лежанья на диванѣ.

— Не то! Значить, началась... драная грамота? Послушай, Иванъ Прокофичъ, присядь сюда, хоть на минутку. Такъ нельзя толкомъ разговаривать.

Заплатинъ присѣлъ къ нему, и Щелоковъ взялъ его за руку, приблизивъ лицо къ его лицу.

— Жаль мнѣ тебя, друже. Ты человѣкъ и душевный, и устный—на рѣдкость! Передъ тобою долгій путь... работы, развитія, хорошихъ дѣлъ гражданина. Вотъ теперь надо приобрѣсти права. Можешь пойти по любой дорогѣ. И вдругъ—ты навѣкъ хочешь связать свою судьбу съ бабѣнкой. Извини меня. Твоя дѣвица и красива, и, быть можетъ, выше другихъ качествами изукрашена, но зачѣмъ такое безсрочное обязательство?

Выраженіе Щелокова было какъ разъ то, какое Заплатинъ употреблялъ, когда говорилъ съ Надей о бракѣ.

— Разсужденія не новыя,—выговорилъ онъ.

— За новостями въ магазины модъ ходить, Иванъ Прокофичъ... Нельзя, другъ мой сердечный, ставить все на карту изъ-за того, что природа надѣлила насъ влеченіемъ къ женскому полу. Пускай подождетъ и твоя дѣвица. Пускай сначала сама-то сдѣлается годной въ подруги не мальчику, а мужу. Это, кажется, Марина говоритъ—у Пушкина—Самозванцу. Я не проповѣдую распутства и самъ имъ не запибаюсь. Но, право, лучше уже временно согрѣшить, чѣмъ вѣкъ свой маяться... А теперь, не пойти ли намъ въ трактиръ? Хоть немного бы сбросить съ себя любовную хандру? Ась?

— Спасибо... не могу. Головѣ все хуже. Ни пить, ни ѣсть я не въ состояніи.

— А тогда ложись и не обезсудь меня за все, что я тебѣ тутъ наговорилъ.

Щелоковъ пожалъ ему руку и тихо вышелъ изъ комнаты.

ХП.

Снѣжная сиверка гуляла по улицамъ и переулкамъ Москвы. Наступилъ четвертый день праздниковъ.

Но все такъ же непразднично было на душѣ. Заплатинъ шелъ по троттуару, поднимая воротникъ, шелъ безъ цѣли. Никуда его не тянуло: ни въ зрѣлища, ни въ гости.

Никогда онъ не чувствовалъ себя такимъ одиновымъ въ Москвѣ—никогда! Вечеромъ—особенно!

Развѣ онъ могъ себѣ представить,—когда мечталъ съ Надей, тамъ у себя въ городѣ, какъ они заживутъ въ Москвѣ,—что на праздникахъ, всего недѣлю передъ Новымъ годомъ, они по цѣлымъ днямъ не будутъ видѣться!

Она каждый вечеръ—на репетиціяхъ, съ какими-то любителями,—кажется, даже тайно отъ учителя декламации, который не очень это поощряетъ.

Онъ могъ бы туда заходить, но не желаетъ. Все это „театральство“ сдѣлалось ему противнымъ до крайности.

Этотъ міръ только теперь раскрылся передъ нимъ во всей своей сути.

На примѣрѣ Нади онъ видитъ, какая растлѣвающая струя забирается въ душу.

Подъ предлогомъ увлеченія искусствомъ воздѣлываютъ въ себѣ чудовищное себялюбіе, самовлюбленность, какую-то хроническую манію. Все равно, что азартные игроки.

Нѣтъ ни Бога, ни истины, ни науки, ни отечества, ни друзей, ни ближнихъ, ни добра, никакихъ убѣжденій; а есть только пьеса, роль, публика, „приемы“, есть горячка кулисъ и театральной шумихи, состояніе опьяненія отъ хлопанья ладоней и вызововъ.

Ничего болѣе чудовищнаго въ нравственномъ смыслѣ не существуетъ! И женщину этотъ недугъ пожираетъ еще жесточе, чѣмъ мужчину.

Что будетъ изъ Нади черезъ три-четыре года? Онъ безъ ужаса не можетъ и теперь подумать.

Не къ одному миллионеру-купчику долженъ онъ ревновать; а ко всему, чѣмъ она теперь живетъ, къ каждому монологу,

который она учить наизусть, къ каждой роли, ко всему, ко всему!..

Эліодоръ—только первая ступень его испытаній, первая „зацѣпка“, какъ называлъ Щелочковъ въ томъ разговорѣ, гдѣ онъ—и какъ раскольникъ, и вообще—былъ безусловно правъ.

Не узы брака страшны сами по себѣ, а та пропасть, которая развернется между повѣнчанными, если пойти подъ вѣнецъ, какъ идутъ въ почтовую контору—получать посылки, съ расчетомъ на возможность разбѣзда или формальнаго развода.

Разсказывая ему въ игривомъ тонѣ о завтракѣ у Эліодора, Надя все давала ему понять, что ведетъ свою линію и нисколько не увлекается Пятовымъ; но нимало не прочь отъ того, чтобы онъ ея все сильнѣе увлекался.

Онъ не выдержалъ и крикнулъ ей:

— Этакъ только куртизанки ведутъ себя!

Она не огорчилась, не заплакала, не стала оправдываться, а сказала только:

— Ничего ты не понимаешь!

А потомъ прибавила:

— Право ты, Ваня, не стоишь даже того—какъ я о тебѣ говорила съ Эліодоромъ, когда онъ сталъ слегка прохаживаться на твой счетъ и предостерегать меня насчетъ нашего будущаго брака.

Въ какихъ-нибудь два съ половиной мѣсяца у нея уже всѣ свойства „жрица искусства“, для которыхъ все и вся должны служить средствомъ подниматься выше и выше, до полного апогеоза.

Что ему было дѣлать? Запретить ей имѣть такіа tête-à-tête'ы съ Эліодоромъ? Она не послушаетъ. Да и съ какого права?

Вѣдь у нея теперь свои дѣла съ Эліодоромъ. Она ему переводитъ и носить работу на домъ—вотъ и все. Эта работа—только одинъ предлогъ. Она и сама это прекрасно сознаетъ; но тѣмъ лучше. Это въ рукахъ ея—лишній козырь. Эліодоръ ей платитъ за трудъ; она—честная работница. А, играя съ нимъ, полегоньку можетъ довести его и до „зеленаго змія“. Она его не боится—это вѣрно; но если такъ пойдетъ, то она можетъ привести его къ возложенію на себя вѣнца „отъ камня честна“.

И тогда—какъ же ему—Заплатину, бѣдняку, безъ положенія—соперничать съ его степенствомъ, Эліодоромъ Кузьмичомъ Пятовымъ, на котораго работаетъ нѣсколько тысячъ прядильщиковъ, присучальщиковъ и ткачей?

Все это онъ цѣлыми днями перебиралъ, отбивался отъ работы, даже передъ своимъ „давальцемъ“—все тѣмъ же Эліодоромъ—окажется неисправнымъ работникомъ.

И къ товарищамъ его не тянетъ—отвести душу въ какомъ-нибудь горячемъ спорѣ.

Не хочетъ онъ лгать передъ самимъ собою: его чувство къ университету и студенчеству, къ своимъ однокурсникамъ—не прежнее. Онъ боится даже его разбирать.

Передъ закрытіемъ лекцій онъ испыталъ нѣчто крайне тяжелое.

Не личное столкновение, а кое-что гораздо болѣе общее, показавшее ему, что за народъ водится и среди его однокурсниковъ, изъ тѣхъ, съ которыми пришлось ему кончать курсъ.

Дѣло было такъ. Предложена была тема для реферата—предметъ интересный, но требующій большой подготовки. Вызвался—раньше другихъ—студентъ, котораго онъ увидалъ тутъ едва ли не въ первый разъ или не замѣчалъ прежде.

По типу лица и по акценту—изъ инородцевъ, и скорѣе всего еврей. Такъ оно и оказалось.

И тутъ же, когда они расходились, едва-ли не въ присутствіи этого студента, въ одной группѣ „націоналистовъ“ поднялось зубоскальство насчетъ „іерусалимскихъ дворянъ“, съ такимъ отгѣнкомъ, что онъ слушалъ, слушалъ и, на правахъ старшаго студента, осадилъ какого-то „антисемита“, и довольно-таки вѣско.

Тотъ сталъ отшучиваться и все въ томъ же антипатичномъ ему духѣ.

Онъ не захотѣлъ съ нимъ связываться, но тогда же далъ себѣ слово, что если этотъ „патріотъ своего отечества“ позволитъ себѣ какую-нибудь выходку на преніяхъ по реферату, онъ его отбьетъ и будетъ его обличать передъ всѣмъ курсомъ.

Не всѣ такіе и теперь; но онъ точно потерялъ почву изъ-подъ ногъ, и старое желтое зданіе на Моховой какъ бы перестаетъ быть для него *alma mater*. Вотъ придетъ скоро „Татьянинъ день“,—а ему не съ кѣмъ отпраздновать этотъ день.

Напиться—разумѣется, будетъ съ кѣмъ.

Въ томъ-то и бѣда его, что онъ и напиваться-то не можетъ, прибѣгать къ классическому народному средству заливать свою тоску виномъ.

Возвращаться домой, въ свой хмурый „мумеръ“—такъ прозносятъ ихъ корридорный—слишкомъ нудно. Идти на ту репе-

тицію, куда Надя разрѣшила ему заходить, — еще больше рас-
трачивать свое нутро.

Передъ нимъ, сквозь мокрую снѣжную пургу — выступилъ
цвѣтной фонарь надъ входной дверью. Это была пивная; въ
окнахъ — по обѣ стороны входа — изображено было по кружкѣ
съ пѣнистымъ пивомъ и наверху написано: „кружка пять ко-
пѣекъ“.

„Почитать хотъ газеты!“ — подумалъ онъ и вошелъ въ про-
сторную первую комнату съ нѣсколькими столиками. По срединѣ
— столъ съ газетами.

Не очень грязная пивная, въ родѣ какъ бы нѣмецкая.

Заплатинъ взялъ газету и сѣлъ къ стѣнѣ вправо.

Спиной къ нему какой-то рыжеватый блондинъ, съ плохо
причесанными волосами, держалъ также газету, и лица его не
видно было, даже въ профиль.

На немъ ваточное пальто изъ поношеннаго драпа и на шеѣ
вязанный дешевый шарфъ, какіе продаютъ въ суровскихъ ла-
вочкахъ.

Прихлебывалъ онъ пиво, не переставая читать, согнувшись,
и подносилъ ко рту кружку.

Заплатинъ почему-то вглядывался въ него.

Что-то какъ бы знакомое показалось ему.

Лохматый посѣтитель пивной обернулся въ профиль.

„Да это, никакъ, Шибаевъ?“ — спросилъ про себя Заплатинъ
и подался немного впередъ, чтобы признать — точно ли это его
бывшій товарищъ по курсу.

„Онъ, онъ!“ — мысленно подтвердилъ Заплатинъ.

Тотъ обернулся совсѣмъ лицомъ и отложилъ ту газету, ко-
торую читалъ. Теперь уже не могло быть никакого сомнѣнія.

Они оба разомъ поднялись со стульевъ и подошли другъ къ
другу.

— Вы, Шибаевъ? — первый спросилъ Заплатинъ.

Они „пострадали“ вмѣстѣ, но не держались на „ты“; на пер-
выхъ двухъ курсахъ были мало знакомы.

— Собственной особой! А вы, Заплатинъ, опять въ этой
сбруѣ?

И онъ указалъ на пуговицы студенческаго пальто.

— Какъ видите. Радъ васъ встрѣтить. Хотите ко мнѣ пере-
сѣсть? У меня будетъ поудобнѣе.

— Ладно!

Они сѣли другъ противъ друга. Заплатинъ предложилъ еще
по кружкѣ пива.

Его бывший однокурсникъ—когда онъ къ нему внимательно присмотрѣлся—сильно измѣнился. Неряшливая рыжеватая борода очень его старила. На немъ были темные очки, скрывавшіе его большие, воспаленные глаза. Онъ, должно быть, давно не былъ въ банѣ—отъ него шелъ запахъ неопрятнаго тѣла. Руки—немытыя, съ грязными ногтями и жесткой кожей.

Говорилъ онъ простуженнымъ баскомъ.

— Вы давно здѣсь? Опять приняты?—спросилъ Заплатинъ, быстро оглянувшись кругомъ.

— Нѣтъ, батенька, я съ волчьимъ паспортомъ. Да, признаюсь, еслибъ мнѣ опять и дозволили носить званіе студіозуса—я бы не прельстился.

Все это было сказано съ кислой усмѣшкой несвѣжаго рта съ нездоровыми зубами.

— Однако, разрѣшено было вернуться сюда?—потѣше спросилъ Заплатинъ.

— Временно, государь мой, временно. Да я и это не считалъ бы благополучіемъ. Я въ недалекихъ отсюда палестинахъ. Про Гуслицы слыхали?

— Да... это...

— Во время онѣ, гнѣздо фальшивыхъ монетчиковъ и иныхъ художниковъ. Округа промысловая...

— И вы?

— Въ простыхъ нарядчикахъ. Пандекты и всякіе другіе атрибуты—похерилъ. И повторяю: прими меня вотъ сейчасъ же и предоставь безъ экзамена свидѣтельство перваго разряда—я бы пренебрегъ.

— Почему же такъ, Шибаетъ?

— А потому, что извѣрился, государь мой. Намедни, когда по Моховой шелъ мимо университета—такъ меня стало съ души воротить.

— Вотъ какъ!

— Уже я о порядкахъ и не говорю. Каковы наибольшіе—такова и паства. Вотъ вы, какъ я знаю, были недурной парень. Ну, и поплатились, какъ слѣдуетъ. Въ студенческую братію я совсѣмъ извѣрился. Да и во всю нашу—съ позволенія сказать—интеллигенцію.

Заплатинъ слушалъ и не возражалъ. То, что говорилъ этотъ „нарядчикъ“ изъ штрафныхъ студентовъ—отвѣчало его настроенію. И онъ самъ не очень-то умилялся надъ своимъ голубымъ колышемъ и надъ всѣмъ, что еще не такъ давно манило его въ „обѣтованную землю“.

— Хороши молодчики гарцуютъ по Москвѣ? А? Вчера меня такой на своемъ жеребцѣ въ яблокахъ чуть не разнесъ вонъ тамъ, на перекресткѣ, у Газетнаго. Бобры, бирюзовые околыши... чѣмъ не „калетварды“?

— Они давно уже завелись. Еще Салтыковъ насчетъ ихъ прохаживался въ печати. И тогда уже были бѣлые подкладки, и теперь водятся въ достаточномъ количествѣ.

Заплатинъ выговорилъ все это вяло, точно нѣхотя.

— Все едино! И тѣ, что обшиваются въ дешевыхъ магазинахъ на Тверской, гдѣ *строятъ* студенческія формы. Все едино, братецъ ты мой! Пора повончить со всей этой маниловщиной.

— Какой, Шибаевъ?

— А вотъ насчетъ студента! Возводятъ его въ какой-то чуть не мученическій чинъ! И мы съ вами пострадали, какъ принято говорить на жаргонѣ. А что-жъ изъ этого? Десятки, сотни, кромѣ насъ. И что-жъ, Заплатинъ,—Шибаевъ подался къ нему черезъ столъ,—какъ будто мы не знаемъ, сколько тутъ очутилось зрящаго народа?..

— Панургово стадо?

— Именно! А самомнѣнія-то во всѣхъ—ведрами, ушатами. Точно преторьянцы, состоящіе при російскомъ прогрессѣ... А я—прямо говорю—за цѣлую дюжину такихъ избранниковъ одного хорошаго присучальщика не дамъ. Право слово!

Годъ тому назадъ и даже полгода, такіа обличительныя рѣчи встрѣтили бы въ Заплатинѣ сильный отпоръ. А онъ слушалъ, не возмущаясь. Онъ точно забылъ, что самъ студентъ, что на немъ пальто съ позолоченными пуговицами, что его должна связывать съ массой студентовъ особая связь.

Но дрогнуло ли у него за послѣдніе мѣсяцы сердце, проплась ли дрожь по спинѣ отъ высокаго духовнаго волненія въ аудиторіи, или въ товарищеской бесѣдѣ, на сходѣ, или на пирушкѣ?

Ни одного раза! И не потому только, что у него свой любовный недугъ; и раньше, и въ тѣ минуты, когда его такъ сильно гложетъ червякъ ревности, онъ ничего подобнаго не испытывалъ.

И много разъ ловилъ онъ себя—возвращаясь съ Моховой—на такомъ чувствѣ—точно онъ канцеляристъ, идущій изъ присутственнаго мѣста, гдѣ строчилъ „исходящія“ и перебѣливалъ отношенія.

— Вы куда же, синьоръ, собираетесь по окончаніи зако-

номъ положеннаго срока?—съ кривой усмѣшкой спросилъ Шибаетъ.

— Не знаю,—проронилъ Заплатинъ.

— Въ абламаты, небось? Или мечтаете объ ученыхъ хартияхъ? Оставляютъ при университетѣ? Въ магистранты потянетесь?

— Гдѣ же... Надо имѣть другія аттестаціи, да я и не готовилъ себя къ ученой дорогѣ.

— Бросьте!

— Что бросить?

— Бросьте всю эту претенціозную канитель! Не стоить. Я вотъ въ этотъ годъ, когда переимѣнилъ окончательно свое обличье—и внутреннее, и внѣшнее—знаете, къ какому выводу пришелъ?

— Къ какому?—живѣе спросилъ Заплатинъ.

Шибаетъ допилъ пиво, обтеръ пальцемъ пѣну на своихъ густыхъ рыжихъ усахъ и крикнулъ.

— А вотъ къ какому, милый человекъ: интеллигенція тамъ, на мѣстѣ, гдѣ жизнь-то дѣлаетъ народъ, ни къ чорту не годится.

— Пѣсня старая!

— Пойдите! Дайте досказать. Не приравнивайте вы меня, пожалуйста, къ нашимъ охранителямъ дореформеннаго типа. Я говорю только, что мы, съ нашей мозговой дрессировкой, ни къ чорту не годны, тамъ, гдѣ нужно дѣло дѣлать. На первомъ на себя я убѣдился. И прокливаю—слышите, прокливаю!—всѣ тѣ учебныя книги и книжонки, которыя зубрилъ или штудировалъ гимназѣромъ и студентомъ.

— Какъ же быть?

— Бросить все, выкинуть изъ головы горделивую дурь, что я-ста—соль земли! Какъ бы не такъ! Вы просто кандидатъ на казенный или обывательскій паекъ, потому что прошли черезъ нелѣпую процедуру, именуемую экзаменомъ. Тьфу!

Шибаетъ сильно плюнулъ на клеенчатый полъ.

И на это Заплатинъ не сталъ возражать. Онъ и самъ не лучше этого смотрѣлъ на собственную особу, какъ представителя интеллигенціи.

Но и продолжать бесѣду не было большой охоты.

Они простились съ бывшимъ однокурсникомъ, даже не сказавъ другъ другу своихъ адресовъ. Шибаетъ остался въ пивной и заказалъ себѣ еще кружку пива.

XIII.

Отъ двухъ до трехъ можно навѣрное застать Пятова въ конторѣ, въ городѣ.

Туда и рѣшилъ идти къ нему, Заплатинъ.

Онъ захватилъ съ собою свою работу. Книгъ и журналовъ накопилось много и нести ихъ было неудобно.

Продумавъ ночью, до пятого часа, Заплатинъ рѣшилъ, что завтра онъ долженъ имѣть „нешуточный“ разговоръ съ Эліодоромъ.

Расчетъ его оказался вѣрнымъ. Пятовъ сидѣлъ въ конторѣ.

Когда его впустили туда, Эліодоръ ходилъ по конторѣ, а на диванѣ сидѣлъ бѣловусый, большого роста—кажется, изъ нѣмцевъ—коммерсантъ, въ усахъ, бритый, старательно причесанный и одѣтый съ иглою. Воротничокъ и манжеты такъ и лоснились.

— Присядьте на минутку!—указалъ хозяинъ Заплатину на кресло въ сторонѣ.

Они торговались и, кажется, уже довольно давно.

Гость—вѣроятно, приказчикъ какого-то фабричнаго склада—покупалъ.

Ему нуженъ былъ миткаль или что-то въ родѣ этого. Онъ говорилъ совсѣмъ по-московски, безъ малѣйшаго акцента, и два раза употребилъ въ разговорѣ слова: „недохватка“, „заминка“ и „курси“. Эліодоръ, съ усмѣшкой въ глазахъ, ступалъ по паркетному полу конторы, маленькими шагами, переваливаясь съ боку на бокъ, и руки держалъ чисто-хозяйскимъ жестомъ—въ карманахъ панталонъ.

— Такъ какъ же, Эліодоръ Кузьмичъ?

Блондинъ всталъ и оказался дѣйствительно огромнаго роста.

— Какъ я сказалъ, Юлій Ѳеодоровичъ! Это—самая крайняя расцѣнка.

— Дорожитесь... Ну, хоть полкопѣечки бы сбросили.

— Никакъ невозможно! Шесть съ денежкой... Дешевле вы теперь не найдете нигдѣ. Не у васъ однихъ недохватка въ миткаль.

— Мы это превосходно знаемъ!

— Ergo! — пустилъ Эліодоръ латинскій возгласъ. — Стало быть, цѣна самая христіанская.

— Даже и полушки не скинете?

— Не могу-съ!

Тутъ Пятовъ вынулъ правую руку изъ кармана и повергълъ ладонью въ воздухъ.

— Позвольте сообразить.

— Да что же тутъ соображать, Юлій Ѳедоровичъ?

— Четверть копѣйки на аршинъ. Это—объектъ.

— Конечно. Даромъ никто не дастъ.

Заплатинъ слушалъ съ полу-закрытыми глазами, и его однокурсникъ, со всѣми своими интеллигентными затѣями, авторъ будущей книги объ эстетическихъ взглядахъ Адама Смита—выступилъ передъ нимъ, какъ настоящее бытовое лицо.

И какъ его короткія фразы: „не могу-съ“, „самая рѣшительная цѣна“ — отшибали Рядами, амбарами, Ильинкой, Никольской, Варваркой! Этотъ, и влюбившись, не уступить „зря“ полушки.

Коммерсантъ ушелъ, послѣ крѣпкаго пожатія, и, на-ходу, поклонился и Заплатину.

— Что, голубчикъ, — спросилъ его Пятовъ, — небось, про себя, обличали вашего товарища въ сквалыжничество?

Вмѣсто отвѣта, Заплатинъ только пожалъ слегка плечами.

— Въ дѣлахъ иначе никакъ нельзя. Вы думаете, четверть копѣйки—пустяки? А она въ иные минуты составляетъ весьма непустышную сумму. Для васъ это—хотя вы вѣдь тоже изъ торговаго сословія—тарабарская грамота. И для меня было такъ же, еще какихъ-нибудь два года назадъ. Я отстранялъ себя отъ всего этого. Презиралъ. Глумился. И тѣмъ не мало огорчалъ родителей, даже и матушку, которая была весьма пріятно удивлена, когда я изъявилъ готовность вести дѣло и серьезно къ нему присмотрѣлся. Слава Богу! Теперь мы охулки на руку не положимъ.

— Вѣрно!—выговорилъ одно слово Заплатинъ.

— Да вотъ вамъ одинъ эпизодъ изъ моихъ студенческихъ годовъ. Тогда я, какъ настоящій интеллигентъ, зашибался дешевымъ альтруизмомъ. Вышла стачка на фабрикѣ. Я и говорю матушкѣ: накиньте имъ, значить, по гривенничку на кусокъ вотъ этого самого миткаля, который теперь до-зарѣзу нуженъ на ситцевой фабрикѣ Кранцеля. Что такое гривенникъ! Однако, меня тогда не послушали—и прекрасно сдѣлали... Вотъ теперь я знаю—что такое лишній гривенникъ на кусокъ миткаля.

— А что?—спросилъ Заплатинъ.

— Чистая потеря въ семьдесятъ тысячъ рублей изъ хозяйской прибыли.

Заплатинъ промолчалъ. У него внутри шла такая работа,

что онъ не хотѣлъ вступать въ разговоръ съ Пятовымъ до той минуты, когда придетъ его чередъ.

— Ахъ, Заплатинъ! Знаете, какое я сдѣлалъ открытіе!

— Какъ же я могу знать, Пятовъ?

Тонъ у Заплатина былъ уже совершенно товарищескій, особенно въ этомъ обмѣнѣ фамилій, безъ имени-отчества.

— А вотъ какое... Мнѣ попался... у Даціаро—я заѣхалъ купить одинъ этюдъ... заграничный и выбрать нѣсколько фотографій... И вдругъ вижу кабинетный портретъ молодой женщины—скорѣе дѣвушки... въ бальномъ, съ голыми руками и цвѣтами. И въ черныхъ волосахъ. Оказывается, что я никогда не видалъ или забылъ. Мы еще тогда были съ вами въ гимназіи. Кого?

— Вы мнѣ все загадки задаете.

— Помните, кровавая трагедія, зимой, въ окрестностяхъ Вѣны... наслѣдникъ престола... эрцгерцогъ Рудольфъ...

— Австрійскій?

— Да. И красавица Вечѣра. Баронесса Вечѣра—его пассія. Оба покончили съ собою. И въ ней я нашелъ поразительное сходство—съ кѣмъ бы вы думали? Съ Надеждой Петровной! Увѣрю васъ! Да вотъ поглядите.

Пятовъ подбѣжалъ къ бюро, выдвинулъ ящикъ и досталъ фотографію.

— Я тогда прямо проѣхалъ сюда и оставилъ здѣсь. Посмотрите, посмотрите!

Онъ потянулъ Заплатина за руку и подвелъ его ближе къ окну.

— Развѣ нѣтъ сходства? А? Этотъ носъ? А рѣсницы? А поворотъ головы? Вѣдь и эта баронесса Вечѣра была, по матери, родомъ откуда-то изъ Далмаціи, кажется, или изъ Хорватіи.

— Что-то, дѣйствительно, есть,—пробормоталъ Заплатинъ.

— Какъ что-то! Все! И контуръ шеи, паденіе плечъ! Смотрите эту линію. Поразительно! И усмѣшка рта, такого же пышнаго!

Губы Пятова слегка даже прищипнули, глаза бѣгали по фотографіи, подергиваясь масляной влагой.

Въ эту минуту Заплатину хотѣлось оттолкнуть его и бросить ему въ лицо увѣсистое слово.

Но онъ сдержалъ себя.

Не выпуская фотографіи изъ одной руки, Пятовъ подвелъ его къ дивану, гдѣ сидѣлъ передъ тѣмъ нѣмецъ, и самъ присѣлъ, повернувшись къ нему всѣмъ своимъ жирнымъ туловищемъ.

— Вы не поѣдете къ себѣ домой?

— Нѣтъ, не поѣду.

— А что же такъ? Можетъ быть... недохватка? Такъ, пожалуйста, Заплатинъ, что же вы стѣсняетесь... Хотите маленький авансъ?.. А можетъ, я уже вамъ долженъ?

„Желаешь меня удалить, значить?“ — подумалъ Заплатинъ и высвободилъ руку изъ его пухлой руки.

— И вообще, голубчикъ... я все собирался поговорить съ вами о вашей карьерѣ. Вы — человѣкъ кабинетнаго труда. Вамъ прямая дорога — на кафедру. Но для этого надо... чтобы васъ оставили при университетѣ.

— Я не добиваюсь.

— Знаю... Да и не такія нынче времена. Вдобавокъ, вы не можете быть на очень хорошемъ счету у высшаго начальства. Надо время... когда все уляжется и забудется.

„Куда же ты пробираешься?“ — спросилъ про себя Заплатинъ, сидя съ опущенной головой.

— Своихъ средствъ у васъ нѣтъ... настолько. Нужна поѣздка за границу... нужно, по меньшей мѣрѣ, два года обезпеченной жизни. И тогда диссертация готова. Такъ ли? Вотъ я могу писать мою книгу хоть десять лѣтъ. Надъ нами не каплетъ. А вамъ — нельзя. И было бы крайне прискорбно, еслибы вы принуждены были искать мѣста или идти въ помощники къ адвокату. Съ какой стати?

„Кто тебя научилъ? — похолодѣвъ, вскричалъ про себя Заплатинъ. — Нада? Чтобы отдѣлаться отъ меня?“

Въ глазахъ у него стали вращаться круги и въ ладоняхъ рукъ заползали мурашки.

— Такъ вотъ я и хотѣлъ, добрыйшій Иванъ Прокофьевичъ, предложить вамъ... по пріятельству... какъ вашъ однокурсникъ... Вы, конечно, выдержите экзаменъ по первому разряду. Два года обезпеченнаго существованія... Это былъ бы простой заемъ... а вовсе не одолженіе. Вы понимаете... Я не хочу корчить изъ себя мецената. А съ другой стороны, мы съ вами не въ такихъ дружескихъ отношеніяхъ, чтобы я могъ себѣ позволить — дѣлаться съ вами моимъ избыткомъ.

Рѣчь Пытова такъ и лилась. Онъ ласково улыбался глазами, и пальцами правой руки все дотрогивался до борта скюртува Заплатина.

Тотъ дольше не могъ молчать.

— Покорно спасибо! — глухо выговорилъ онъ и всталъ во весь ростъ.

Пятовъ оставался на диванѣ.

— Вы это сказали такимъ тономъ...

— Не знаю. Но позвольте спросить васъ, господинъ Пятовъ,—вы считаете меня идиотомъ? Да?

— Съ какой стати?

— Нѣтъ, отвѣтите мнѣ сначала: идиотомъ? Вы измыслили такую тонкую комбинацію и думаете, что я ничего не пойму? Вы предлагаете мнѣ сначала удалиться на ваканцію, а потомъ взять у васъ содержаніе на два года и уѣхать въ Германію? Такъ вѣдь?

— Что же тутъ обиднаго?

— Довольно, господинъ Пятовъ! Ни въ какихъ вашихъ подачкахъ я не нуждаюсь.

— Это ни съ чѣмъ не сообразно!—брезгливо проговорилъ Пятовъ, поднявшись съ дивана, и повелъ плечами.

— Довольно!—глухо крикнулъ Заплатинъ.—Не нужно мнѣ вашей подачки. И вашу гнусную, селадонскую комбинацію вижу насквозь. Что-жъ, скажите, вы сдѣлали мнѣ это благородное предложеніе съ согласія Надежды Петровны?

— Вовсе нѣтъ!—почти взвизгнувъ Пятовъ.—Это наше съ вами дѣло... дѣло партикулярное.

— Можетъ быть, можетъ быть!

Губы вздрагивали у Заплатина.

— И вамъ одному пришла эта счастливая мысль?

— Но почему вы такъ къ этому отнеслись? Кажется, тутъ, кромѣ моего товарищескаго участія, нѣтъ ничего?

— Не нуждаюсь я въ вашемъ участіи, Пятовъ. Но повторяю: я идиотомъ никогда не былъ. И какъ бы къ вамъ въ настоящую минуту ни относилась Надежда Петровна, я вамъ прямо, по-студенчески, говорю: вы ведете себя недостойно.

— Продолжайте!

Пятовъ отступилъ два шага назадъ и сталъ спиной къ бюро, опираясь на его бортъ своимъ корпусомъ.

— Да. Недостойно! Я слова своего не беру.

— Почему же,—смѣю спросить васъ!

— Систематически развращать молодую дѣвушку, показывая ей... какіе вы на нее имѣете виды?

— А вы почему знаете, Заплатинъ, какіе именно?

— И вамъ извѣстно, что она невѣста другого!

— А — вотъ оно что! Wo liegt des Pudels Kern! Слыхали нѣмецкую поговорку?... Она—ваша невѣста? Я это знаю, и кромѣ вниманія, ей ничего не оказывалъ.

— Да, зазывая ее къ себѣ на завтраки, съ глазу на глазъ.

— Что-жъ такого! Это не свиданіе въ *cabinet particulier*. Вы изволите говорить, что я ее систематически развращаю? Ха, ха! Позвольте мнѣ вамъ доложить, милѣйшій Заплатинъ, что она насъ обоихъ, какъ бы это выразить... Вамъ извѣстно французское выраженіе: *elle va nous couler?*.. Оставимъ фразы. Дѣвушка этой двадцать лѣтъ, она на полной свободѣ, она—ваша невѣста до тѣхъ поръ, пока ей это угодно.

— А вы—другой претендентъ?

— Я не обязанъ вамъ отчетомъ въ своихъ намѣреніяхъ. Отецъ ея могъ бы мнѣ задавать такіе вопросы. Нынче не тѣ времена, милѣйшій Заплатинъ. Мой пріятель, товарищъ по лицу, привезъ въ деревню къ невѣстѣ шафера и отлучился на одну недѣлю. А шаферъ прилетѣлъ къ нему объявить, что она дѣвица желаетъ имѣть мужемъ его, а не перваго жениха. И это въ лучшемъ дворянскомъ обществѣ... на глазахъ у родителя... *Ergo!*...—выговорилъ Пятовъ такимъ же звукомъ, какъ и въ разговорѣ съ нѣмцемъ, когда онъ торговался изъ-за полкопѣйки на аршинъ миткала.

— Вы не смѣете такъ говорить! Это цинизмъ!—задыхаясь, выговорилъ Заплатинъ, подаваясь къ нему.

— Потихе! Вы, во-первыхъ, у меня; а во-вторыхъ, я, повторяю, не обязанъ вамъ ни какимъ-либо объясненіемъ, ни оправданіемъ. Если вы позволите себѣ сказать хоть одно оскорбительное слово—предупреждаю васъ, что я шутить не буду. Я стрѣляю не хуже всякаго парижскаго журналиста.

— Вотъ какъ!

Заплатину всѣ эти вызывающія фразы и фигура Эліодора показались вдругъ очень забавны.

Онъ подошелъ къ дивану, взялъ тетрадку и, подавая ее, сказалъ:

— Вотъ моя работа. Книги и прочее пришлю съ посылками. Мы въ расчетѣ. Больше я на васъ работать не желаю.

— На здоровье!

— Вы, пожалуй, правы. Если между вами и этой особой былъ уговоръ насчетъ устройства моей судьбы, то съ моей стороны слишкомъ наивно изображать изъ себя рыцаря. И я скажу: —на здоровье. На то у васъ и тятенькины милліоны, и денежка, которую вы сейчасъ выторговали у нѣмца за миткаль — тоже пригодится.

Пухляя, бритая щека Пятова стало подергивать; но крас-

ныя губы силились улыбаться. Одной ногой онъ нервно дрыгалъ, сохраняя все ту же позу на краю письменнаго стола.

— Счастливо оставаться! — кинулъ ему Заплатинъ, берясь за свою фуражку.

— Добраго здоровья! У васъ, должно быть, нервы не въ порядкѣ. А насчетъ той особы будьте благонадежны. Она окажется посильнѣе насъ обоихъ.

Что-то еще сказалъ Пятовъ; но Заплатинъ уже не слыжалъ этихъ словъ, и только на улицѣ морозный воздухъ, пахнувъ ему въ лицо, освѣжилъ голову и заставилъ овладѣть собою.

XIV.

Дни летѣли у Нади Синицыной такъ быстро, что она точно теряла имъ счетъ.

Давно ли выпалъ первый снѣгъ, а теперь уже и Новый годъ позади.

Она вспомнила о Новомъ годѣ только за день до него—такъ она была увлечена репетиціями, въ кружкѣ, пьесы, гдѣ ей сразу дали главную роль.

Вспомнила и о Ванѣ Заплатинѣ, забѣжала къ нему, не застала дома, хотѣла написать записку—и не написала.

А въ тотъ же день вечеромъ она—на репетиціи—условилась отъужинать въ складчину и встрѣтить Новый годъ на сценѣ.

Пригласить его она не могла. Ему слишкомъ противно ея театральство, а если и придетъ, то будетъ хмуръ и непріятель, пожалуй еще къ кому-нибудь приревнуеть.

Такъ и пролетѣлъ Новый годъ.

Она забѣжала домой на минутку, подъ вечеръ, чтобы переодѣться и опять на репетицію.

Репетировать будутъ въ первый разъ съ обстановкой, и она уже приготовила себѣ платье, въ которомъ должна „создать“ эту роль.

Это выраженіе она уже употребляетъ.

Хозяйкой своей мебелировки Надя очень довольна. Съ горничной она ладитъ, комнаты содержатся чисто и полная свобода насчетъ возвращенія домой въ поздніе часы.

И ѣда—сносная.

Только-что она перешла въ свою спальню—достать платье, въ которомъ будетъ играть,—изъ коридора постучали.

Это ее немного удивило. Прислуга никогда не стучитъ; а никого посторонняго она не ждала.

— Войдите! — громко крикнула она, не выходя въ первую комнату, гдѣ у нея стояло и піанино.

Послышались мужскіе шаги. Она ихъ сейчасъ же узнала.

— Это ты... Ваня? — оклинула она.

— Я, — отвѣтилъ Заплатинъ глухо.

— Сейчасъ... подожди.

Надя положила платье на кровать и вышла къ нему въ первую комнату.

Заплатинъ вошелъ прямо въ пальто и, у двери, сталъ снимать калоши, оставаясь еще въ фуражкѣ.

— Здравствуй... Съ Новымъ годомъ. Мы давненько не видались.

— Давненько, — повторилъ Заплатинъ и сталъ снимать пальто.

— Садись... вотъ сюда! — пригласила она его на угловой диванъ. — Ты все время былъ въ Москвѣ?

— А то гдѣ же?

— Я къ тебѣ заходила... Тебѣ говорили?

— Нѣтъ, никто не говорилъ.

— Какъ же, я была... Думала встрѣтить съ тобою Новый годъ.

— Думала? — переспросилъ Заплатинъ съ особымъ выраженіемъ.

— Мы встрѣчали цѣлой компаніей на сценѣ, послѣ репетиціи. Я, признаюсь, боялась, что тебѣ будетъ непріятно въ этой компаніи.

Она не договорила. Заплатинъ сидѣлъ, не глядя на нее прямо, и перебиралъ въ рукахъ оwoлышъ фуражки; потомъ бросилъ ее на стулъ, рядомъ, и тогда обернулся къ ней лицомъ.

Оно почти испугало Надю.

— Чтѣ съ тобой, Ваня? Ты нездоровъ?

— Послушай, — началъ онъ вздрагивающимъ голосомъ, — зачѣмъ ты такъ поступаешь со мною?

— Какъ?

Какъ будто испугавшись, она встала и отошла къ окну.

— Какъ?

И онъ быстро поднялся.

— Вы съ Элиодоромъ Пятовымъ, твоимъ теперешнимъ покровителемъ, надумали средство устранить меня... совсѣмъ, когда кончу курсъ.

— Не понимаю, чтѣ ты говоришь, Ваня. Какъ устранить?

— Не лги, ради Создателя! Не лги!—вскрикнулъ онъ и весь задрожалъ.

— Я не понимаю, что ты говоришь,—повторила она сильнымъ голосомъ, и чтобы показать ему, что она его не боится—сдѣлала къ нему два шага.

— Не понимаешь?.. Ха, ха! Изъ какихъ же это побуждений — изъ любви ко мнѣ, что-ли, Пятовъ на той недѣлѣ сталъ предлагать мнѣ — содержать меня, на свой счетъ, цѣлыхъ два года, чтобы я ѣхалъ за границу и готовился тамъ на магистра?

— Я въ первый разъ слышу это.

— А я не вѣрю тому, что ты говоришь. Разсчитъ, вѣдется, ясенъ — онъ хочетъ удалить меня, чтобы я не торчалъ тутъ, чтобы ты попала къ нему въ сѣти.

— Да я-то тутъ при чемъ, скажи на милость?—возразила Надя, начинавшая приходить въ себя.

— Какъ будто ты, до сихъ поръ, не понимаешь, какіе виды онъ на тебя имѣетъ!

— Это его дѣло! Можетъ, и замѣчаю. Но я имъ не увлечена.

— А бѣгаешь къ нему, принимаешь отъ него завтраки, пьешь шампанское, берешь съ него деньги за пустяшные переводы. И все это ты дѣлаешь такъ, безсознательно, не понимая, чѣмъ все это отзывается? Ахъ, Надя, Надя!

Онъ почти упалъ на диванъ и опустил голову на подушку.

Надя ждала, что онъ зарыдаетъ. Она присѣла на диванъ и начала говорить мягче, дотронулась рукой до его плеча.

— Постыдись, Ваня! Твоя ревность—просто безуміе. Ты управляешь жизнью и себѣ, и мнѣ.

— Молчи, молчи! Ради Бога!—закричалъ онъ.—Ты теряешь всякую совѣсть. Довела себя до того, что онъ—этотъ отвратительный хищникъ—говорить о тебѣ, какъ о прожженной интриганкѣ, которая—по его выраженію—насъ обоихъ проведетъ и выведетъ. И онъ имѣетъ на это право. Ты имъ пользуешься теперь, имѣешь виды и на будущее! Въ твоемъ отвратительномъ актерскомъ мірѣ и нельзя иначе ни чувствовать, ни поступать!

Слезы душили его. Онъ ихъ глоталъ и съ трудомъ могъ бросать слова.

— Ты кончилъ?—спросила Надя.

— И то, что ты мнѣ скажешь въ оправданіе, я не могу принять. Слышишь, не могу!

— Не принимай—твоя воля. Ну, хорошо, я—прожженная кокетка, хищница—подъ стать Эліодору Пятову, бездушная актриса! Такъ вѣдь? Но что же я такое сдѣлала? Познакомилъ меня съ

Пятоымъ ты... Ты и привезъ меня къ нему. Онъ помогъ мнѣ попасть на курсы. Я ему за это благодарна. Да, благодарна. Вотъ мое настоящее призваніе, а не курсы исторіи или ботаники. Тайно отъ тебя я къ нему не бѣгала. Я тебѣ говорила про тотъ завтракъ. Говорила или нѣтъ? — почти гнѣвно крикнула Надя, поднимая голову.

Онъ не отвѣтилъ.

— Неужели у тебя такъ память отшибло? Ну да, я ему правлюсь, и даже очень. Но я имъ не увлекаюсь, и не увлекаюсь. И это я тебѣ говорила.

— Такъ ты желаешь, — перебилъ онъ съ искаженнымъ лицомъ, — чтобы я сдѣлался твоимъ пособникомъ... въ родѣ тайнаго Альфонса, и чтобы мы вмѣстѣ обрабатывали, и теперь, и впоследствии, московскаго туза-мецената? Такъ, что-ли?

— Ты съ ума сошелъ!

— Нѣтъ, я правду говорю. Можетъ быть, ты его и доведешь до того, что онъ поставитъ тебѣ вопросъ ребромъ: желаете быть женой Элиодора Пятова или зауряднаго бѣдняка Заплатина? Онъ и теперь уже не сомнѣвается въ твоемъ отвѣтѣ.

— А ты?

Голосъ Нади дрогнулъ.

— Какое же можетъ быть сравненіе между нами для тебя, если онъ согласится оставить тебя на сценѣ? Я — и миллионщикъ-меценатъ!

Заплатинъ порывисто схватилъ себя за голову обѣими руками выше затылка, потомъ обернулся лицомъ къ Надѣ и, близко придвинувшись, бросилъ ей:

— Скажи теперь... скажи! Кого ты выберешь?

— Не знаю, — отвѣтила она твердо и съ недобрымъ блескомъ въ глазахъ. — Ты такъ ведешь себя со мною, что другая бы, на моемъ мѣстѣ, сейчасъ же разорвала съ тобой. Такъ слишкомъ дѣлается тяжело, Иванъ Прокофичъ, — продолжала она, мѣняя тонъ. — Я уже говорила вамъ не одинъ разъ, что въ рабствѣ не желаю быть ни у кого. Оттого что дѣвушка обручилась съ вами — она должна всю жизнь свою закабалить? Для нея открывается чудная дорога, а вы смотрите на дорогое ей дѣло какъ на гадость, на развратъ! И считаете еще себя большого развитія человекомъ... Интеллигентъ! Нечего сказать!

Она прошла по комнатѣ, взадъ и впередъ, и опять сѣла на диванъ.

Заплатинъ сидѣлъ все въ той же позѣ, охвативъ сзади низко опущенную голову обѣими руками, и нервно, ритмично качалъ ее.

И вдругъ онъ опустился на полъ, подползъ къ колѣнямъ Нади и, упавъ на нихъ головой, зарыдалъ.

Она не отталкивала его.

— Прости!— съ трудомъ выговаривалъ онъ. — Я безумный. Не могу совладать съ собою. Пойми ты это, Нада. Ежели бы тебя забрало такое же чувство, ты бы поняла и простила.

Онъ сталъ цѣловать ея руки, все еще стоя на колѣняхъ.

Ей сдѣлалось жаль его больше, чѣмъ въ другіе разы, когда между ними выходили сцены.

— Нельзя такъ, Ваня!— гораздо мягче заговорила она. — Ну... встань, сядь сюда... Поговоримъ ладкомъ. У меня есть еще полчаса свободныхъ... Ты не возмущайся — я не могу маневрировать этой репетиціей. Она въ родѣ генеральной.

Онъ слушалъ ее съ отуманенной головой. Но его сейчасъ же кольнуло въ сердце ея актерское слово.

Въ его душѣ— адъ; а она можетъ ему удѣлить только полчаса, и ей нельзя „маневрировать“ грошевой любительской репетиціей.

Вотъ что предстоитъ ему всю жизнь, если она и останется ему формально вѣрна и будетъ его женой, когда онъ сдастъ экзамень.

„Всю жизнь!“—внутренно крикнулъ онъ.

Руку его держала Нада и, склонясь къ нему головой, еще мягче говорила:

— Надо ладиться, Ваня! Всякому свое. Ты будешь профессоръ, чиновникъ или, тамъ, адвокатъ... Я не стану требовать, чтобы ты изъ-за меня портилъ свою дорогу. Разумѣется, хорошо будетъ жить всегда вмѣстѣ, круглый годъ. Но случиться можетъ, что и нельзя будетъ. Придется на сезонъ... зимній или лѣтній... въ раздѣлку. Какъ же иначе быть?

— Какъ же быть!—точно про себя повторилъ Заплатинъ, и его глаза смотрѣли въ пространство.

— Все отъ насъ самихъ будетъ зависть. Отъ согласія... отъ довѣрія. А безъ этого на что же мы пойдемъ... поженившись? На адъ кромѣшный?

Онъ крѣпко сжалъ ея руку и повернулся къ ней лицомъ.

— Ты правду говоришь, Нада. Адъ кромѣшный. И я долженъ тебя отъ него избавить.

— Какъ же это... Ты?

— По другому любить не могу. Ты сама видишь. А это гадко—такъ ревновать. Дальше пойдетъ еще хуже, когда ты поступишь на сцену. Не о себѣ я долженъ думать, а о тебѣ,

Надя... Передѣлать себя я не буду въ силахъ, до тѣхъ поръ, пока ты мнѣ дорога... какъ любимое существо.

— Надо себя побороть, Ваня.

— Выслушай меня до конца!..

Онъ перевелъ дыханіе и сталъ говорить медленнѣе, сдерживая слезы.

— Не въ состояніи я буду мириться съ тѣмъ міромъ, куда тебя тянетъ, Надя. Хотя бы ты была съ талантомъ Дузе. Нельзя такому человѣку, какъ я, быть мужемъ актрисы. Не свои мученія страшать меня, Надя, а то, что я тебѣ буду вѣчной помѣхой. И вотъ видишь, не способенъ я, въ эту минуту, ставить такой вопросъ: либо я, либо твоя сцена. Я долженъ отказаться, а не ты.

Онъ обнялъ ее и опять беззвучно зарыдалъ. Надя чувствовала, какъ вздрагиваетъ все его тѣло.

— Это ты... не зря, Ваня?—чуть слышно вымолвила она, чувствуя, какъ у нея въ груди точно все заглохло.

Долго не могъ онъ ничего произнести, потомъ отнялъ руки и откинулъ голову на спинку дивана.

— Не вини себя ни въ чемъ,—началъ онъ.—Откажись ты сейчасъ отъ сцены—я на это не пойду.

— Значить, ты самъ разрываешь то, что между нами есть?

Не было раздражающаго горя въ звукахъ голоса Нади. Она была сражена—и только, и способна на жертву. Но внутренній голосъ подсказывалъ ей—кто изъ нихъ сильнѣе любитъ другого: она или ея женихъ.

— Такъ лучше, Надя! Жертвы не хочу! Свобода тебѣ нужна теперь, какъ воздухъ.

Трепетной рукой онъ началъ снимать съ пальца обручальное кольцо.

— Зачѣмъ?—почти испуганно спросила она, замѣтивъ это.

— Не нужно никакихъ напоминаній. И тыними... отдай мнѣ. Чтобы ничто тебя не мучило.

— Ваня! Милый! Ты такъ меня...

Не договоривъ, Надя, со слезами, бросилась обнимать его.

Но оба безповоротно сознавали, что иначе нельзя.

— Такъ лучше,—повторялъ онъ, стараясь придать своему тону болѣе твердости.

И, отодвинувшись въ уголъ, онъ спросилъ:

— Не пора ли тебѣ на репетицію? Иди. Можетъ, переодѣться нужно.

Время было, дѣйствительно, на счету. Черезъ полчаса соберутся, и ей выходить въ первомъ же явленіи.

— Иди.

Они разомъ поднялись. Онъ положилъ ей обѣ руки на плечи и поцѣловалъ въ лобъ.

— Это въ послѣдній разъ!—прошепталъ онъ.—Но помни, Надя... когда ты почувствуешь, что ты на краю того оврага, куда такъ легко скатиться на сценѣ... помни, что у тебя остался товарищъ... только товарищъ, Иванъ Заплатинъ. Пошли за нимъ, когда еще не поздно.

Оба тихо заплакали.

XV.

Подъѣзжая въ Москвѣ, Заплатинъ проснулся. Онъ задремалъ, должно быть, не больше, какъ на полчаса. А ночь спалъ дурно.

Сквозь полузамерзлыя окна вагона проникалъ розовый свѣтъ морознаго утра. Въ его отдѣленіи—для некурящихъ—было пусто. На одномъ диванѣ, утнувшись въ подушку, спалъ пассажиръ, прикрытый шинелью.

Подъ колыханіе поѣзда передъ Заплатинымъ стали проходить картины его приволжской родины. Еще вчера онъ ѣхалъ, на закатѣ солнца, по рѣкѣ, вдоль длинныхъ полей. Кое-гдѣ ледъ потрескивалъ. Лошади бѣжали бойко. Ямщикъ въ верблюжемъ „оузмѣ“, съ приподнятымъ большимъ воротникомъ и въ сѣрой барашковой шапкѣ, держался еле-еле на облучкѣ кибитки, то-и-дѣло покрикивая: „Эхъ вы, родимые!“—съ мѣстнымъ „оканьемъ“, которое и у Заплатина еще сохранилось въ нѣкоторыхъ словахъ,—и правой рукой въ желтой кожаной рукавицѣ поводилъ въ воздухѣ, играя концами ременныхъ возжей.

Отъ городка до „губерніи“ нѣтъ еще, до сихъ поръ, чугунки и считается тридцать-три версты, а по льду и меньше.

Хорошо было ѣхать по накатанному пути. Полоса нѣжнаго заката тянулась то справа, то лѣвѣе, мѣняясь съ изгибами берега.

Справа все время поднимался нагорный берегъ, то покрытый сплошь снѣгомъ, то съ хвойнымъ лѣсомъ.

Тихо было на рѣкѣ. Изрѣдка попадались деревенскія пошевни съ мужикомъ въ овчинѣ и шапкѣ съ ушами или цѣлый обозъ. Кое-гдѣ у берега зимовала роспива или пароходъ.

Воздухъ былъ прозрачный, съ порядочнымъ морозомъ. Отъ пристяжныхъ шелъ паръ. Онѣ подпрыгивали въ своихъ веревочныхъ построюкахъ, съ подвязанными въ видѣ жгутовъ хвостами.

Вхалъ онъ съ побывки, послѣ двухъ недѣль безмятежнаго жия, при матери, въ ихъ домикѣ, на самой набережной. Она была сильно обрадована его внезапнымъ прїѣздомъ; только потушила немножко, что ея Ваня не встрѣтилъ съ ней Новаго года.

Но она сейчасъ же стала особенно взглядывать на него. Должно быть, и въ самомъ дѣлѣ видъ у него былъ нехорошій. Она думала даже, что онъ долго лежалъ больной и скрылъ это отъ нея.

О томъ, что онъ больше не женихъ Нади, онъ ей въ первые дни не говорилъ. Но не выдержалъ, да и нельзя же было не предупредить ее.

Не обвиняя ни въ чемъ Надю, онъ взялъ все на себя, напирая на то, что они настолько разошлись во всемъ, что бракъ, въ этихъ условіяхъ, немислимъ.

Мать его уже знала отъ отца Нади, что она желаетъ посвятить себя сценѣ, и призналась ему, что это ее стало тревожить.

— Развѣ можно связывать свою судьбу... съ актрисой? — сказала она ему, въ первый же ихъ разговоръ объ этомъ.

Но она не вѣрила тому, что онъ—по доброй волѣ—отказался отъ невѣсты. Не таковъ ея Ваня!

Спросила она его—какъ же быть съ отцомъ Нади—пойдетъ ли въ нему объясниться?

— Если онъ пожелаетъ—пойду,—отвѣтилъ онъ.—А первый не буду являться. Надя ему сама напишетъ или уже написала.

Они съ нимъ такъ и не видались.

И всѣ эти двѣ слишкомъ недѣли онъ ни у кого изъ мѣстныхъ обывателей не былъ въ гостяхъ; а только бродилъ, и днемъ, и подъ вечеръ, по набережной, уходя далеко на рѣку, толкался въ народѣ, въ дни базаровъ.

Студенческой формы онъ не носилъ, а ходилъ въ полушубкѣ.

Сколько разъ припомнились ему сердитыя рѣчи его однокурсника Шибаева.

Никогда еще, до сихъ поръ, не чувствовалъ онъ того, какъ гимназія и университетъ удалили его отъ жизни, вотъ всего юго мѣстнаго люда, всего края. Очень ужъ онъ ушелъ въ чиги, въ чисто мозговые интересы, чрезчуръ превозносилъ интеллигенцію.

Развѣ Шибаевъ не правъ? Останься онъ—полтора года—съ своимъ „волчьимъ паспортомъ“—онъ былъ бы вышибленъ изъ ихъ „пазовъ“, превратился бы въ умственного пролетарія,

ненужнаго неудачника, читавшаго книжки, съ десяткомъ отгѣтовъ по переходнымъ экзаменамъ, съ головой, набитой теоріями, рядами фактовъ и цифръ, ничего общаго съ жизнью народа не имѣющихъ.

И въ первый же разъ пришла ему мысль, что было бы лучше, еслибъ его тогда выслали изъ Москвы, безъ надежды на возможность новаго поступленія въ студенты.

Теперь онъ уже къ чему-нибудь да примостился бы, еслибъ тогда пересталъ мечтать о государственномъ экзаменѣ, другими словами, о какомъ-то китайскомъ „мандаринатѣ“, объ особомъ клеймѣ, какое налагается на тебя, чтобы ты имѣлъ скорѣйшій ходъ въ добываніи кусковъ казеннаго пирога.

И съ каждымъ днемъ стихало внутри его души. Сердечная рана сочилась; но погоня за счастьемъ, за обладаніемъ любимой дѣвушкой, такъ не дразнила его.

Онъ *долженъ* былъ отказаться отъ нея, не изъ мужского самолюбія, пока она первая не прогнала его, а изъ самыхъ чистыхъ побужденій.

Надя—какъ она теперь ни завертѣлась — поняла его, если не сердцемъ, то своей смышленой головой.

Во время своихъ прогулокъ онъ уходилъ памятью въ отроческіе и дѣтскіе годы, любовно останавливаясь на нѣкоторыхъ, особенно яркихъ воспоминаніяхъ.

Одно изъ нихъ всплывало передъ нимъ каждый разъ, какъ онъ возвращался въ сумерки домой, по близости того мѣста, гдѣ когда-то, лѣтъ пятнадцать тому назадъ, еще чернѣла глыба постройки, которой онъ, ребенку, боялся.

Это были старинныя казенныя варницы, гдѣ варили соль изъ мѣстныхъ источниковъ.

Нянька и манила, и пугала его дѣтское воображеніе разсказами о томъ, какая тамъ „большущая“ печь; а надъ печью — такая же огромная сковорода и въ ней кипитъ рассоль.

Дымъ изъ варницы казался ему тогда особеннымъ, не такимъ, какъ обыкновенный дымъ изъ трубъ обывательскихъ домовъ.

Итакъ, по восьмому году, онъ забѣжалъ туда, съ другими ребятами. Это было зимой.

И въ его памяти выступали опять образы такъ живо, точно будто это было вчера.

Въ полусумракѣ большого сарая, у печи, гдѣ свистѣла и гудѣла жаркая топка, сидѣли два истопника, а сверху темнѣла огромная сковорода и тамъ кипѣлъ рассоль, и оттуда шли густые пары, хватавшіе за горло...

Ко дню отъѣзда онъ точно забылъ, что ему надо возвращаться въ Москву. Ничто его не потревожило оттуда. Онъ не получилъ ни одного письма.

Надя не звала его.

Значить, такъ тому и быть слѣдовало.

Мать сказала ему:

— Что-жъ, Ваня... ты не отъ счастья своего отказался, а отъ тяжкихъ огорченій въ будущемъ. Ежели бы ты для нея былъ дороже всего... она бы по другому поступила.

Старушка не плакала и, когда перекрестила его, сказала еще:

— Ты теперь въ такомъ разстройствѣ. Будь поосторожнѣе. Подумай о себѣ.

Въ тихомъ настроеніи доѣхалъ онъ до губернскаго города, вчера вечеромъ; но сегодня, съ приближеніемъ къ Москвѣ, въ него опять начала проникать тревога, сначала какъ бы безпредметная.

Потомъ выплыла внезапно, безъ всякаго повода, жирная фигура Эліодора Пятова, съ его бритыми, пухлыми щеками, маслястымъ ртомъ и плутовато-фатовскими глазами.

И все опять забурлило внутри.

Вотъ онъ—новѣйшій заправила—интеллигентъ гѣрода Москвы! Его степенство, мануфактурный тузъ и вмѣстѣ меценатъ, будущій авторъ книги: „Эстетическія воззрѣнія Адама Смита“.

Вѣдь онъ — также студентъ, также выдержалъ выпускной экзаменъ, читаетъ въ подлинникѣ Софокла и Ѳукидида, и можетъ разсуждать о всѣхъ политико-соціальныхъ теоріяхъ, и объ Оскарѣ Уайльдѣ, и о Ницше, и о комъ хотите, и написать фельетонъ, или издать какіе-нибудь никѣмъ неизданные матеріалы по біографіи Беато Анджѣлико или Джордано Бруно.

Все можетъ!

И онъ еще не изъ худшихъ молодчиковъ, носившихъ и носящихъ, въ настоящее время, темно-синій или свѣтло-бирюзовый оковышъ.

Тутъ Заплатинъ вспомнилъ тѣ пошлости, которыми его однокурсники забавлялись, прохаживаясь насчетъ еврея, ихъ товарища, взявшаго тему реферата, предложеннаго профессоромъ.

Съ ними надо будетъ опять встрѣчаться и разговаривать и считать ихъ своими ближайшими товарищами.

А туда, на Моховую, въ аудиторіи Новаго Университета надо предъявиться сегодня или завтра. Лекціи уже начались. Онъ зажился дома.

Черезъ двое сутокъ Заплатинъ сходилъ съ крутыхъ ступенекъ подъѣзда передъ памятникомъ Ломоносову.

Онъ былъ въ сильномъ возбужденіи.

Фуражка сидитъ у него на затылкѣ, пальто распахнуто, щеки сильно поблѣднѣли отъ неулегшагося душевнаго взрыва.

Сейчасъ онъ схватился съ двумя „молодчиками“, и еслибъ не приходъ „суба“—онъ не знаетъ, чѣмъ бы кончилось дѣло.

На рефератѣ того однокурсника, о которомъ онъ вспомнилъ, подъѣзжая къ Москвѣ, вышло нѣчто крайне возмутившее его.

Два оппонента, вмѣсто того, чтобы возражать по существу—взапуски стали предавать его травлѣ.

Нѣсколько разъ профессоръ останавливалъ ихъ, и когда дѣлалъ резюме, то сказалъ, что „недостойно развитыхъ людей пускать въ ходъ расовые счеты“.

Онъ зааплодировалъ этимъ словамъ, и на площадкѣ—тотчасъ послѣ реферата—тѣ два „націоналиста“ подошли къ нему, и одинъ изъ нихъ, съ вызывающей усмѣшкой, спросилъ:

— Можеть, и вы изъ іерусалимскихъ дворянъ?

А другой добавилъ:

— А мы думали, что вы изъ дворянъ Господи помилуй!

Онъ далъ на нихъ окрикъ, какого они заслуживали.

Но они не унимались. Собрался кружокъ. Кто-то изъ ихъ компаніи кинулъ ему:

— Извиняйтесь, Заплатинъ! Сейчасъ же!

Извиняться! Онъ былъ въ такомъ состояніи, что у него въ глазахъ заходили круги. Поднялся гвалтъ.

И когда „субъ“ сталъ разузнавать, кто началъ эту схватку—зачинщикомъ остался онъ, Заплатинъ, и субъ, внизу, въ свѣтахъ у вѣшалокъ, сказалъ ему внушительно:

— Вамъ бы, Заплатинъ, съ вашимъ прошедшимъ, надо было себя потише вести.

Большими шагами пересѣкъ онъ дворъ и вышелъ изъ воротъ, ближе къ углу Никитской.

Въ самыхъ воротахъ его остановилъ, почти съ разбѣгу, Григоровъ въ долгополомъ пальто и высокой мерлушковой шапкѣ.

— Заплатинъ! Другъ сердечный! Тебя-то мнѣ и нужно. Нарочно бѣжалъ захватить тебя послѣ лекціи.

— Чтò нужно?

— Да что ты какой? Съѣсть меня хочешь?

— Говори! Можешь и на ходу рассказать.

— Хорошъ ты! Нечего сказать! Удралъ домой—и хотъ бы

записку... А я на тебя рассчитывал! И вышло даже нѣкоторое разстройство.

— Мнѣ не до того было!

— Ну, а теперь ты отъ меня не отвертисься.

Григоровъ, на самомъ углу Никитской, подъ часами, взявъ Заплатина за пуговицу пальто и держалъ его все время ихъ разговора.

— Голубушка! Дѣло экстренное... Афишъ не будетъ. Времени не хватитъ на хлопоты, да могутъ и не разрѣшить. Въ частной залѣ... у одной чудесной женщины—истиннаго друга всей учащейся молодежи.

— Учащейся молодежи!—повторилъ Заплатинъ.—Ты это выговариваешь, точно это званіе... въ родѣ мандарина.

— Да ты полно бурлить! Словомъ, за двоихъ до зарѣзу нужно ввести плату... Ихъ уже похерили... виѣстѣ со многими другими.

— Я-то при чемъ?

— Коли ты читать не желаешь... а я на тебя рассчитывалъ... „Три смерти“ Майкова. Я буду Сенеку... А ты бы могъ изобразить...

— Слуга покорный!

— Ну, чортъ съ тобой! Но въ распорядители по ревизіи билетовъ ты у меня не отбоярисься. Нѣтъ!

— Избавь! Не пойду!

— Но это, наконецъ, не по-товарищески, Заплатинъ,—это Богъ знаетъ, на что похоже!

— Пускай! Такъ и скажи всѣмъ, что у меня товарищескаго чувства нѣтъ... Вотъ, сейчасъ я бы тебя попросилъ полюбоваться, какіе однокурсники водятся у насъ теперь.

И онъ все еще вздрагивающимъ голосомъ разсказалъ Григорову, что вышло у него въ аудиторіи.

— Въ семьѣ не безъ уroda.

— И если не закрывать глазъ, такъ каждый день ты варвешься на такихъ же милостивыхъ государей.

— Мои не такіе!.. Клянусь тебѣ... Развѣ бы я сталъ?..

— Довольно!

Заплатинъ отвелъ его руку, которою Григоровъ придерживалъ его за пуговицу пальто.

— Окончательный отказъ—значить?

— Окончательный. И можешь разносить меня во всѣхъ дружкахъ! На здоровье! Прощай!

— Стыдно, братъ, Заплатинъ, стыдно!—крикнулъ ему Григоровъ въ догонку.

XVI.

Лампочка пахла керосиномъ, уныло освѣщая номерокъ Золотина.

Онъ лежалъ на кровати, одѣтый въ старую студенческую тушурку.

Второй день у него жаръ и боль въ затылкѣ. Къ доктору онъ не обращался. Можетъ,—инфлуэнца; можетъ,—и другое что, на нервной почвѣ.

Все равно—выходить ему не надо. На лекціи онъ не будетъ являться.

Изъ-за него вышло цѣлое „дѣло“, и если начальство придержится къ тому, что онъ изъ самыхъ „заумышленныхъ“, которыхъ не слѣдовало возвращать, то ему грозить, быть можетъ, и настоящій волчій паспортъ.

Чтожъ! Не Богъ знаетъ какая напасть не получить вожделѣннаго свидѣтельства „по первому разряду“.

Все ему глубоко опостылѣло. И чѣмъ скорѣе это будетъ, тѣмъ лучше.

Если его будутъ вызывать—онъ не явится лично. Онъ нездоровъ—пускай пришлютъ освидѣтельствовать. Да и здоровый, онъ врядъ ли бы пошелъ оправдываться на судъ начальства.

Та сходка, гдѣ на него подана была жалоба отъ „однокурсниковъ“, отъ партіи „націоналистовъ“,—до сихъ поръ гудитъ въ его головѣ, какъ только онъ зажмуритъ глаза.

Тамъ онъ не оправдывался, а громилъ пошлость и нравственное вырожденіе въ своихъ яко-бы товарищахъ. И его поддерживало меньшинство смѣло и сильно; но изъ этого вышла общая схватка, галдѣнье, чуть не рукопашная.

И зачинщикъ въ глазахъ начальства — не кто иной, какъ онъ—Иванъ Золотинъ.

Даже и то, что его поддержало самое лучшее меньшинство, не утѣшаетъ его, не можетъ снять съ души „оскомины“, тошного и подавляющаго чувства.

Хочется очутиться за тысячи верстъ отъ всего этого. Еслибъ не эта надвигающаяся болѣзнь—онъ собралъ бы свои пожитки и поѣхалъ искать Шибачева туда, въ Гуслицы.

Хорошенько онъ не зналъ, одно ли это селеніе, или цѣлая мѣстность. Въ сто разъ лучше быть простымъ нарядчикомъ. Но въ нарядчики тебя сразу не возьмутъ. Твое римское право и всѣ другія премудрости—тамъ не нужны!

Видно, такъ было ему на роду написано: кончать банкротствомъ и какъ возлюбленному, и какъ университетскому интеллигенту.

Съ тѣхъ поръ, какъ онъ вернулся съ вакацій, онъ ловить себя на малодушной тоскѣ, оттого что Надя ни однимъ словомъ не дала о себѣ знать. И въ его отсутствіе не пришло отъ нея ни записки, ни депеши.

Ничего!

Въ дверь просунулась голова корридорной дѣвушки.

— Иванъ Прокофичъ!—тихо окликнула она.

— Чтò надо?

— Къ вамъ... гость. Я думала, вы започивали. Можно впустить?

Заплатинъ сейчасъ подумалъ:

„Должно быть—педель?“

— Онъ въ форменной одеждѣ?

— Никакъ нѣтъ. Въ тулупчикѣ.

— Попросите.

Ни о комъ онъ не подумалъ изъ близкихъ знакомыхъ.

Вошелъ Кантаковъ—дѣйствительно, въ тулупчикѣ, крытомъ сукномъ, и въ большихъ сапогахъ.

Заплатинъ обрадовался ему.

— Садитесь... хоть на кровать.

— Нѣтъ. Я съ морозу... А вы—слышу—третій день изволите валяться.

И только-что Кантаковъ опустился на стулъ, поодаль отъ него, какъ спросилъ:

— Чтò за катавасія вышла у васъ тамъ, Заплатинъ? Вы, дружище, выказали себя превосходно. Я знаю всѣ подробности. И вотъ вы сами убѣдились въ томъ, какія теперь царятъ вѣянія и среди питомцевъ нашей alma mater. Но неужели вы явитесь козломъ отпущенія?

— Къ тому идетъ.

— Нелзя же такъ даваться живымъ въ руки! Призывали васъ?

— Пока еще нѣтъ. Я, все равно, не пошелъ бы.

— Это почему?

— Все опостылѣло, Сергѣй Павловичъ. Глаза бы мои не глядѣли. Волчьего паспорта я не боюсь.

— Чтò вы, дружище!

Кантаковъ быстро снялся съ мѣста и присѣлъ на край кровати.

— Мы этого не допустимъ. Ежели на сходкѣ побурлили и не хотѣли расходиться...

— Изъ-за меня. Фактъ на лицо — это во-первыхъ. А вторыхъ — я 'зачинщикъ. На кого я напалъ? На господчиковъ, которые держатся расовой вражды.

— Это не резонъ. Антисемитами въ Европѣ бываютъ и социалисты, и анархисты.

— Тѣ въ Европѣ!

— Только, безъ нужды, не брыкайтесь, Заплатинъ, даже и на случай разбирательства. Теперь вы нездоровы. Вонъ у васъ какой жаръ. Никто васъ силой не потащитъ. У меня будетъ теперь передышка... такъ, съ недѣльку. Я буду вашимъ даровымъ юрисконсультomъ.

— Спасибо! Только, Сергѣй Павловичъ, сказать вамъ на чистоту?..

— Чтѣ такое? Вамъ вдвойнѣ скверно?

Глазами Кантаковъ далъ понять, на чтѣ онъ намекаетъ.

— Одно къ одному, — вымолвилъ Заплатинъ. — Да, я не скрою отъ васъ... я потерялъ любимую дѣвушку.

— Разлюбила?

— Я самъ отъ нея отказался. Мнѣ тяжело говорить.

— И не надо. Значитъ, вы теперь въ особомъ душевномъ состояніи... въ родѣ аффекта. Вѣроятно, и въ аудиторіяхъ, и на сходехъ у васъ нервы ходуномъ ходили.

— Это мое дѣло.

— Но зачѣмъ же портить себѣ то, чтѣ можно взять отъ самой этой... *alma mater*, которая насъ съ вами такъ огорчаетъ?

— Не стоитъ биться.

— Изъ-за чего?

— Изъ-за экзамена, правъ, званія, тамъ, какого ни на есть.

— Не согласенъ съ вами!

— Въ чинуши идти?

— Зачѣмъ? Вотъ передъ вами тоже питомецъ университета... Не чиновникъ, не дѣлецъ. Вы думаете, я—когда стоялъ на распутии, какъ Иванъ-Царевичъ,—тоже не былъ заѣдаемъ скептицизмомъ? Идти въ помощники присяжнаго повѣреннаго... въ брехунцы, въ аблакаты? Чтѣ можетъ быть болѣе опошленное и жизнью, и прессой? Всѣмъ! И вотъ, я нашелъ себѣ дѣло... по душѣ.

— Удача! Кстати же талантъ!

— Талантъ—вещь наживная, Заплатинъ. Повѣрьте мнѣ. Пускай мои благопріятели прохаживаются насчетъ этой моей спеціальности... „Ловкачъ! Ищетъ популярности! Выѣзжаетъ на защитѣ народныхъ массъ, чтобы потомъ начать забирать куши!“ Не знаю: можетъ и я, съ годами, опошлѣю. Ручаться и за себя

нельзя. Но пока я комедіи не ломаю... вы мнѣ повѣрите. Разумѣется, надо пить-ѣсть. На это всегда найдутся процессы съ порядочной оплатой.

— Васъ увлекаетъ успѣхъ, Сергѣй Павловичъ.

— Положимъ! Но успѣха можно добиться и защищая разное жульё, расхитителей всякаго чужого добра—en grand и en petit.

Оживленное лицо Кантакова, его выразительность и звукъ рѣчей почему-то не дѣйствовали на Заплатина.

Бойкій, умный молодой адвокат—быть можетъ, будущая извѣстность—но въ душу ему его призывы не западали.

— Сдавайте экзаменъ и будемъ вмѣстѣ работать. Я васъ зову не на легкую наживу. Придется жить по-студенчески... на первыхъ порахъ. Можетъ, и перебиваться придется, Заплатинъ. Но поймите... Нарождается новый людъ, способный сознавать свои права, свое значеніе. Въ его мозги многое уже вошло, что еще двадцать-тридцать лѣтъ назадъ оставалось для него книгой за семью печатями. Это—трудовая масса двадцатаго вѣка. Вѣрите мнѣ! И ему нужны защитники... не изъ ловкачей, мечтающихъ о будущей наживѣ, а изъ такихъ, какъ мы съ вами.

Кантаковъ всталъ и наклонился къ изголовью.

— Къ доктору отъявлялись?

— Нѣтъ.

— Хотите, пришлю... одного пріятеля... ассистентомъ по внутреннимъ болѣзнямъ?

— Увидимъ.

— И прошу васъ, во имя нашей пріязни, безъ меня ни на что не рѣшаться. А завтра я еще забѣгу.

Помолчавъ, онъ спросилъ на ухо:

— Можетъ, перехватить желаете?

— У меня еще есть. Спасибо, Сергѣй Павловичъ, за ваше неоставленіе!..

По уходѣ Кантакова, онъ лежалъ, съ четверть часа, ни о чемъ не думая.

Разговоръ утомилъ его. Боль въ головѣ какъ будто усилилась; въ поясницѣ также ныло.

Ничего не хотѣлось, ни ѣсть, ни пить чай. И такъ придется лежать не одинъ день—можетъ, это начало воспаленія или тифа.

„И пускай!“—подумалъ онъ, безъ страха, почти съ полнымъ равнодушіемъ.

Опять голова корридорной дѣвушки выглянула изъ двери.

— Иванъ Прокофичъ!—тихо окликнула она.

— Чтò вамъ, Маша?

— Письмо... подали.

— Хорошо... положите сюда, на столикъ.

Когда она вышла, Заплатинъ долго не поворачивалъ головы къ ночному столику.

Не все ли равно, отъ кого это письмо. Отъ матери—врядъ-ли. Она писала ему на дняхъ, передавала свой разговоръ съ отцомъ Нади.

Все это позади! И никогда не возвратится.

Онъ повернулъ голову минутъ черезъ пять, и взглядъ его упалъ на конвертъ.

Онъ узналъ сразу—отъ кого. Такіе конверты—у Нади.

Сейчасъ же онъ поднялся и дотащился до письменнаго стола, гдѣ горѣла лампочка подъ стекляннымъ абажуромъ.

Пальцы его вздрагивали, когда онъ срывалъ конвертъ съ монограммой.

Почеркъ у Нади крупный и толстый—совершенно мужской.

Однимъ духомъ пробѣжалъ онъ всѣ три страницы листа.

„Ваша матушка,—писала Нади,—сказала моему отцу, что еслибы я дѣйствительно васъ любила—я бы не выбрала сцены. Можетъ быть, и вы того же мнѣнія, Заплатинъ? Но не слѣдовало, кажется мнѣ, говорить такъ моему отцу. Вы возвратили мнѣ свободу, а я не хотѣла фальшивить, не хотѣла и ломать свою жизнь потому только, что вы не хотите быть мужемъ будущей актрисы.

„Зачѣмъ все это? И развѣ оно достойно такого передового человѣка, какимъ вы считаете себя?

„Право, тотъ Эліодоръ, на котораго вы такъ презрительно смотрите, до сихъ поръ ведетъ себя какъ настоящій джентльменъ... А что дальше будетъ—это зависитъ отъ того, какъ я себя съумѣю поставить съ нимъ.

„Мнѣ, въ сущности, все равно. Напрасно только ваша матушка разстроила папу. Мы были какъ женихъ и невѣста едва-ли только не для одного Пятова. И прекрасно, что я предложила вамъ на людяхъ не говорить другъ другу „ты“.

„Никакихъ счетовъ я не желаю, Заплатинъ, и если намъ суждено встрѣтиться,—я надѣюсь, что вы воздержитесь отъ нихъ“...

— Воздержусь!...—выговорилъ онъ вслухъ, бросая листокъ на столъ.

И Заплатинъ побрѣлъ къ кровати. Голова горѣла, все тѣло было разбито.

П. БОВОРЫКИНЪ.

Бадень-Бадень,
сент. 1900.



ДВА МѢСЯЦА ОСАДЫ ВЪ ПЕКИНѢ

Дневникъ: 18 мая—31 іюля ст. ст. 1900 г.

...Въ виду движенія на Пекинъ возставшихъ полчищъ религіозно-политическаго общества „И-хэ-туань“ (патріотическое общество), или „И-хэ-цюань“ („кулакъ долга и согласія“), рѣшившихъ истребить всѣхъ иностранцевъ, вызваны были къ намъ иностранные десанты.

18-го мая.—Сегодня вступили въ Пекинъ десанты: русскій изъ 72 нижнихъ чиновъ, матросовъ съ „Наварина“ и „Сысоя Великаго“, при двухъ офицерахъ; американскій—изъ 56 матросовъ и двухъ офицеровъ; итальянскій—изъ 39 матросовъ и трехъ офицеровъ; французскій—изъ 72 матросовъ при трехъ офицерахъ; англійскій—изъ 72 матросовъ и морскихъ солдатъ и 3-хъ офицеровъ, а японскій—изъ 24 матросовъ и двухъ офицеровъ. На другой день пришелъ нѣмецкій десантъ изъ 30 человѣкъ, при двухъ офицерахъ, и австрійскій—изъ 24 человѣкъ, при двухъ офицерахъ. У американцевъ былъ пулемѣтъ Максима, у англичанъ—Норденфильдъ, у австрійцевъ—тоже пулемѣтъ и у итальянцевъ—однодвоймовое орудіе. Вотъ вся наша артиллерія. Орудіе Барановскаго, которое должно было слѣдовать при нашемъ десантѣ, почему-то не попало въ Пекинъ, хотя снаряды къ нему и были доставлены. Такимъ образомъ, весь иностранный отрядъ, не включая 7 человѣкъ нашихъ вонвойныхъ казаковъ, состоялъ изъ 409 человѣкъ при 19 офицерахъ. Съ прибытіемъ десантовъ, у всѣхъ на душѣ стало спокойнѣе.

21-го мая. — Сегодня ихэтуаньцами сожжена желѣзнодорожная станція Хуань-цунь, лежащая въ 15 миляхъ на югъ отъ Пекина, причемъ ими убито 7 человекъ китайскихъ солдатъ.

23-го мая. — Желѣзнодорожное сообщеніе съ Тяньцзинемъ прервано, и носится слухъ, что станція Ань-динъ, въ 26 миляхъ отъ Пекина, сожжена и разрушена, а полотно дороги испорчено. Слухи о предстоящемъ сожженіи главнаго католическаго сѣвернаго храма, Бэй-танъ, вызываютъ со стороны начальниковъ десантовъ усиленіе карауловъ и особенную бдительность. Дерзость ихэтуаньцевъ, начинающихъ свободно проникать изъ китайскаго города въ маньчжурскій, въ которомъ помѣщаются посольства, дошла до того, что двое изъ нихъ, проходя у министерства финансовъ, перерубили веревки палатки, въ которой помѣщались китайскіе солдаты, не встрѣтивъ со стороны послѣднихъ не только сопротивленія, но даже возраженія. Желая открыть китайскому правительству глаза на опасность для него направленнаго противъ иностранцевъ движенія ихэтуаньцевъ, нашъ посланникъ, М. Н. Гирсъ, написалъ письмо богдохану и богдоханшѣ, въ которомъ настоятельно совѣтуетъ имъ немедленно принять самыя энергичныя мѣры къ быстрому подавленію его, указывая на тѣ неисчислимыя бѣдствія для Китая и опасность для династїи, которыя будутъ неизбѣжнымъ послѣдствіемъ дальнѣйшей бездѣятельности.

25-го мая. — Опять провели день въ томительномъ ожиданіи и неопредѣленности. Желѣзнодорожное сообщеніе съ Тяньцзинемъ не восстановлено. Въ виду все болѣе и болѣе надвигающейся опасности и положительнаго бездѣйствія правительства, рѣшено было вызвать изъ Тяньцзиня новыя дополнительные десанты, но это рѣшеніе встрѣтило положительный отказъ со стороны министровъ богдохана, мотивированный тѣмъ, что прибытіе новыхъ значительныхъ десантовъ послужитъ къ большому броженію умовъ и увеличенію опасности. Въ этомъ вопросѣ достоинъ всякаго порицанія образъ дѣйствій англійскаго посланника, заявившаго будто бы, что другія посольства не нуждаются въ усиленіи десантовъ и умолившаго, чтобы ему разрѣшено было привести въ Пекинъ еще хоть 30 человекъ. Отъ нашего министерства никакихъ вѣстей не имѣется. Распространился тревожный слухъ, что наша духовная миссія будетъ сожжена въ субботу, 27-го. Посланникъ немедленно написалъ китайскимъ министрамъ, чтобы къ охранѣ ея были приняты самыя энергичныя мѣры, и что отвѣтственность за всякое несчастье всецѣло возлагается на китайское правительство. Министры распорядились отправить для

охраны миссiи десятка два оборвышей, которые, конечно, разбѣгутся при первой опасности, а скорѣе всего сами же примутъ участiе въ грабежѣ. Носится слухъ, что генералъ Нэ, у котораго состоитъ военнымъ совѣтникомъ полковникъ Вороновъ, навесъ ихэтуаньцамъ серьезное пораженiе у желѣзнодорожной станцiи Лофа, убивъ ихъ около 600 человекъ. Если это справедливо, то ихэтуаньская неуязвимость должна будетъ пострадать въ глазахъ невѣжественной толпы. А между тѣмъ мятежники, повидимому, продолжаютъ свою разрушительную работу: говорятъ, станцiи Анъ-динъ и Ланъ-фанъ сожжены и разрушены.

26-го мая.—Въ виду невозможности, по малочисленности десанта, отдѣлить изъ него какую-либо часть для защиты сѣвернаго подворья (духовной миссiи), и отдаленности его отъ посольства и возрастающей опасности,—посланнику, посѣтившему архимандрита лично, удалось наконецъ, послѣ долгихъ настоянiй, убѣдить его переселиться въ посольство. То же напряженное и развивающееся нервы состоянiе продолжается. Изданъ указъ о денныхъ и ночныхъ, конныхъ и пѣшихъ китайскихъ патруляхъ, которые, конечно, нисколько не мѣшаютъ ихэтуаньцамъ проникать въ маньчжурскiй городъ. Испанскiй министръ, деканъ дипломатическаго корпуса, Кологанъ, передалъ печальный слухъ о сожженiи первой отъ Пекина желѣзнодорожной станцiи Ма-цзя-пу, а также и электрическаго трамвая, идущаго отъ нея къ пекинскимъ южнымъ воротамъ Юнъ-динъ.

27-го мая.—Въ виду того, что сожженiе Сѣвернаго подворья назначено сегодня между 11—12 ч. утра, снова написано въ министерство о принятiи всѣхъ мѣръ къ охранѣ его. Ходитъ слухъ, что будто бы шанъ-дунскiй губернаторъ Юанъ-ши-кай, у котораго состоитъ подъ командою отрядъ тысячъ въ 8 лучшаго китайскаго войска, обученнаго нѣмцами, возмущенъ противъ правительства. До насъ дошло печальное извѣстiе о звѣрскомъ убiйствѣ нѣсколькихъ бельгiйскихъ инженеровъ и одной дамы на пути изъ Бао-динъ-фу въ Тяньцзинь,—несмотря на то, что имъ данъ былъ китайскiй конвой, разбѣжавшiйся при первомъ же нападенiи ихэтуаньцевъ. Сегодня въ 4 часа утра сожжены Grand Stand на скаковомъ кругу, при чемъ, какъ рассказываютъ, сынъ сторожа, мальчикъ лѣтъ 12-ти, былъ изжаренъ. Слухъ о сожженiи Ма-цзя-пу и погромѣ трамвая до сихъ поръ еще не подтвердился. Около Бэй-гуиня (духовная миссiя) усиленъ конвой, состоящiй изъ тѣхъ же никуда негодныхъ знаменныхъ солдатъ, но пока тамъ спокойно. Прибытiе отряда войскъ генерала Дунъ-гу-сяня, заядлаго ненавистника иностранцевъ, усилило тревогу

между иностранцами, такъ какъ эти войска хорошо вооружены и пользуются репутаціей храбрыхъ, испытанныхъ и дерзкихъ солдатъ. Наше тяжелое и почти безвыходное положеніе не мѣшаетъ любезному К. угощать подъ верандою, во время ночного и вечерняго бдѣнія, обычными салными анекдотами и мечтать о наградахъ. Въ 9^{1/2} ч. вечера одинъ изъ членовъ французскаго посольства явился въ посольство съ грозными слухами о предстоящемъ, будто бы, сегодня ночномъ нападеніи на англійскую миссію дунъ-фу-сянцевъ, ночевавшихъ въ числѣ 30—40 человекъ за нашимъ посольствомъ на Монгольской площади. Слухъ этотъ шелъ отъ главнаго инспектора таможенъ, сэра Роберта Гарта, который, со словъ секретаря Цзунъ-ли-я-мыня, передалъ англійскому посланнику, что императрица, будто-бы, раздраженная высадкою въ Дагу новаго десанта въ 900 человекъ, предоставила дунъ-фу-сянцамъ полную свободу дѣйствія. Англійскій посланникъ сообщилъ объ этомъ французскому посланнику Пишону, и результатомъ этого была новая конференція посланниковъ. Однако, по наведеннымъ справкамъ, слухъ о предполагаемомъ нападеніи дунъ-фу-сянцевъ на этотъ разъ оказался невѣрнымъ; говорятъ, что завтра они уходятъ въ южный паркъ. Часъ отъ часу нелегче. Надъ каждымъ изъ 9 воротъ маньчжурскаго Пекина, на городской стѣнѣ поставлено по 200 человекъ изъ молодого маньчжурскаго отряда. Это вызываетъ новое чувство тревоги и беспокойства. Противъ кого же направлена эта мѣра? А между тѣмъ, и въ такія тревожныя минуты, мы не перестаемъ руководиться чисто личными чувствами и побужденіями, когда, предъ лицомъ угрожающей всѣмъ опасности, казалось бы, слѣдовало хранить полное единодушіе. Г. Б. обратился къ К. съ просьбой выдать для банковскихъ студентовъ три изъ посольскихъ штуцеровъ, оставшихся свободными и притомъ съ предварительнаго разрѣшенія начальства. Но, несмотря на это, просьба сначала была встрѣчена положительнымъ отказомъ, и только послѣ продолжительныхъ урезониваній удалось наконецъ добиться ея исполненія.

28-го мая. — Пятидесятница. Утромъ пекинцы были обрадованы утѣшительною вѣстью, что десантъ силою въ 1.100 человекъ, изъ числа коихъ было 600 англичанъ и 100 русскихъ, выѣхалъ въ 9 часовъ утра изъ Тяньцзиня по желѣзной дорогѣ, которую предполагается исправлять по мѣрѣ движенія впередъ. Въ связи съ этимъ, китайскимъ министрамъ была отправлена иностранными представителями тождественная нота, о самозащитѣ каждымъ изъ нихъ жизни своихъ подданныхъ, на которую

они отвѣчали, что китайское правительство никоимъ образомъ не можетъ допустить этого.

Утромъ сожжена англійская дача въ западныхъ горахъ и при ней церковь. Телеграфъ, служившій для насъ единственнымъ сообщеніемъ съ остальнымъ міромъ, сегодня прерванъ, такъ что теперь мы совершенно отрѣзаны отъ него. Дессанты еще не пришли.

29-го мая. — Слухи о томъ, что Юань-Ши-вай, губернаторъ Шаньдуна, возмущенъ, продолжаютъ держаться. Отецъ наслѣдника престола, князь Дуань, покровитель и глава ихэтуанцевъ, назначенъ президентомъ иностранной коллегіи, при чемъ, однако, князь Цинъ, стоящій долгое время во главѣ этого учрежденія, сохранилъ свое мѣсто. Назначены также новые члены въ упомянутую коллегію: членъ государственнаго совѣта Ци-сю, сторонникъ политики князя Дуаня, Пу-сянъ, членъ министерства работъ, — говорятъ, человекъ миролюбивый, — и На-тунъ, пользующійся репутаціей хорошаго дѣльца, человекъ умный, юркій и любящий князя Цина, завѣдующій новымъ монетнымъ дворомъ.

У посланника были министры Сюй и Юань и, подъ предлогомъ усиленія волненій и беспорядковъ, пытались уговорить его приостановить движеніе отряда, отправленнаго изъ Тяньцзиня въ Пекинъ. На эту попытку министромъ данъ былъ отвѣтъ, что только безпрепятственное допущеніе этого отряда въ Пекинъ можетъ сохранить за нимъ мирный характеръ, что дѣятельность его будетъ заключаться въ охраненіи иностранцевъ и что онъ будетъ выведенъ, лишь только порядокъ восстановится.

Говорятъ, что въ Тунъ-чжоу сожжены чайные склады русскаго купца Батуева, а также одинъ изъ христіанскихъ храмовъ. Наша бѣдная няня, католичка, ходитъ какъ опущенная въ воду, ежеминутно трепеща за жизнь своей родни, проживающей въ деревнѣ, верстахъ въ 50-ти отъ Пекина, въ окрестностяхъ которой ихэтуанцы уже начали свою адскую работу.

Вчера ночью, по словамъ посольскаго письмоводителя Бао, изъ китайскаго города доносились дикіе звуки ихэтуанцевъ: „Возжигайте огниамъ и поливайте водою“ (для отгнанія чаръ). Тотъ же Бао видѣлъ на дверяхъ нѣкоторыхъ домовъ наклеенныя красныя листки, знакъ сочувствія ихэтуанцамъ, быть можетъ, вынужденнаго, которые потомъ были замѣнены лоскутками красной матеріи.

Телеграфное сообщеніе не восстановлено; поэтому о движеніи и судьбѣ отряда, выступившаго изъ Тяньцзиня 28-го числа, ничего неизвѣстно. Часа въ 3—4 урядникъ посольскаго конвоя

Батурины, отправился-было на желѣзную дорогу, чтобы встрѣтить и проводить десантъ, но принужденъ былъ, изъ ближайшихъ къ посольству воротъ Цянь-мынь, возвратиться, потому что встрѣтилъ толпы людей пѣшихъ, конныхъ и въ телѣгахъ, бѣгущихъ въ смятеніи въ маньчжурскій городъ съ крикомъ, что ворота Юнь-динъ (среднія въ южной стѣнѣ китайскаго города), вслѣдствіе смятенія за городомъ, затворены и что отрядъ Дунъ-фу-сяна въ 400—300 челов. занялъ эти ворота и объявилъ, что не пропустить ни въ городъ, ни изъ города ни одного иностранца. Очевидно, мѣра эта принята, по распоряженію правительства, для удержанія иностраннаго отряда отъ вступленія въ Пекинъ. Несчастный канцелярскій чиновникъ японскаго посольства, пытавшійся, несмотря на заявленіе дунъ-фу-сянцевъ, что иностранцевъ не пропускаютъ, пробраться черезъ ворота Юнь-динъ на станцію Ма-цзя-пу, для встрѣчи ожидаемаго отряда, сдѣлался жертвою собственной неосторожности—его убили и тѣло зарыли на мѣстѣ, у телеграфнаго столба.

30-ю мая.—Вслѣдствіе непринятія телеграммъ на Кяхту, въ 4 часа утра въ Калганъ отправленъ былъ нарочный съ телеграммою въ министерство чрезъ гг. Волосатова въ Калганъ и Коковина въ Кяхтѣ. Еще нужно было во что бы то ни стало отправить письмо въ Тяньцзинь нашему консулу Шуйскому. Послѣ долгаго разсужденія и нерѣшительности, почтовый подрячникъ, Тунъ-хэ, въ 8 ч. утра согласился, наконецъ, послать его съ тремя охотниками за 30 долларовъ. У воротъ Цянь-шанъ Тунъ-хэ слышалъ разговоръ китайцевъ, что иностранный отрядъ, будто бы, пришелъ уже въ Хуанъ-цунъ, вторая станція отъ Пекина, что у воротъ Юнь-динъ нѣтъ дунъ-фу-сянскихъ головорѣзовъ; одна часть ихъ, говорятъ, ушла въ Ихэ, загородный дворецъ богдоханши, а другая расположилась у южныхъ воротъ Южнаго парка, недалеко отъ станціи Хуанъ-цунъ. Въ городѣ замѣчается большее спокойствіе, хотя ихэтуанцы и разгуливаютъ свободно небольшими кучками въ южномъ китайскомъ городѣ.

Въ 2 ч. пополудни посланникомъ получена по кяхтинской линіи изъ Портъ-Артура телеграмма о томъ, что полевой русскій отрядъ, въ составѣ 2.000 человѣкъ, вчера, 29-го ч., посаженъ на суда и отправляется въ Дагу. Само собою разумѣется, что эта вѣсть, послѣ вчерашняго угнетеннаго состоянія, была принята всѣми съ чувствомъ непритворной радости и облегченія. Отправленіе изъ Портъ-Артура такого сравнительно внушительнаго отряда, о которомъ, конечно, тотчасъ же было извѣщено своими агентами китайское правительство, повидимому, подѣйствовало

на него отрезвляющимъ образомъ и имѣло непосредственнымъ слѣдствіемъ открытіе приѣма телеграммъ на Кяхту и посѣщеніе иностранныхъ представителей, по специальному высочайшему повелѣнію, старыми членами цзунъ-ли-я-мыня, Чжао Шу-цзяо, Сюй, Цзинъ-чэномъ, и новыми, Ци-сю и Натунемъ. Передавъ, что императрица очень заботится о семействахъ посланниковъ и другихъ иностранцевъ и проситъ ихъ не безпокоиться, Ци-сю сталъ выражать опасеніе, какъ бы присутствіе въ столицѣ значительнаго иностраннаго отряда не повело къ столкновенію съ негодными элементами, которыхъ такъ много въ Пекинѣ, и потому совѣтовалъ держать команды въ стѣнахъ посольствъ. Затѣмъ г. посланникомъ выражено было сожалѣніе, что правительство не вияло его добрымъ и благовременнымъ, дружескимъ совѣтамъ о необходимости принятія дѣятельныхъ мѣръ къ подавленію возстанія, грозящаго крайнею опасностью государству, что оно не озаботилось даже своевременнымъ врученіемъ въ подлинникъ его письма къ ихъ величествамъ и что главные вожаки ихэтуаньцевъ не арестованы и не наказаны. Послѣдній намекъ, попавъ не въ бровь, а въ глазъ, поразилъ делегатовъ богдоханши до такой степени, что они уже готовы были подняться и откланяться, какъ посланникъ поспѣшилъ заявить имъ, что онъ проситъ ихъ передать ихъ величествамъ, что и въ настоящее смутное время онъ приложить всѣ свои усилія къ сохраненію дружественныхъ отношеній Россіи съ Китаемъ и что единственною обязанностью иностранныхъ десантовъ въ столицѣ будетъ охраненіе жизни и имущества русскихъ подданныхъ и невмѣшательство въ дѣла китайскаго управленія. Послѣднее заявленіе, составлявшее, по видимому, всю суть специальной миссіи министровъ, привело ихъ въ телѣчій восторгъ, и они удалились, какъ кажется, вполне довольные успѣшнымъ выполненіемъ возложеннаго на нихъ порученія.

Часовъ въ пять вечера отъ русскихъ резидентовъ въ Калганѣ была получена телеграмма о томъ, что въ народѣ сильное волненіе и что были случаи нападенія на американскихъ миссіонеровъ, удалившихся поэтому въ Монголію; но что они сами, имѣя на складахъ массу чаявъ, не могутъ послѣдовать ихъ примѣру и просятъ русскую охрану. Не имѣя никакой возможности исполнить просьбу нашихъ соотечественниковъ въ буквальномъ смыслѣ, миссія немедленно предложила цзунъ-ли-я-мыню тотчасъ же телеграфировать чахарскому генералу о принятіи самыхъ дѣятельныхъ мѣръ къ охраненію русскихъ подданныхъ, о чемъ послѣднее также извѣщено телеграммой. Но отправлена ли она—не-

извѣстно, такъ какъ въ 7 часовъ вечера здѣшняго телеграфнаго контора извѣстила, что телеграфъ на Кяхту поврежденъ.

31-го мая.—Возвращавшійся изъ Тяньцзиня почтарь сообщилъ, что, при слѣдованіи въ Тяньцзинь 28-го числа, онъ видѣлъ на янъ-цуньскомъ желѣзнодорожномъ мосту (30 верстъ отъ Тяньцзиня) 4 орудія изъ отряда генерала Нэ, и что мостъ не поврежденъ; а затѣмъ, на обратномъ пути 29-го въ понедѣльникъ, у Ланъ-фама, въ 40 миляхъ отъ Тяньцзиня, ровно на полпути отъ Пекина, онъ видѣлъ поѣздъ съ иностраннымъ отрядомъ, двигавшійся по мѣрѣ исправленія пути, испорченнаго ихэтуаньцами.

На воротахъ китайцевъ, симпатизирующихъ, такъ или иначе, ихэтуаньцамъ, красуются уже въ значительномъ количествѣ кусочки краснаго полотна или бумаги. Особенно много такихъ украшеній въ китайскомъ городѣ, гдѣ боксеры, вооруженные копьями и саблями, свободно разгуливаютъ по улицамъ въ особенности за воротами Хада-мынь (южныя ворота на В.). Не мало вошло ихъ вчера совершенно открыто чрезъ Цянь-мынь въ маньчжурскій городъ. Въ 11 ч. 30 м., германскій посланникъ, баронъ Кетлеръ, самолично арестовалъ на Посольской улицѣ одного ихэтуанца, мальчишку лѣтъ 17. Арестъ этотъ, кажется, ускорилъ событія. Послѣдствіемъ этого было сожженіе въ тотъ же день всѣхъ христіанскихъ храмовъ и учреждений, расположенныхъ въ восточной части маньчжурскаго города: Цзянь-тана, Фу-анъ-тана, храма епископальныхъ методистовъ, жилища таможенныхъ чиновниковъ, нашего Сѣвернаго подворья и восточнаго католическаго храма. На нашей Посольской улицѣ—постоянные тревоги. Вечеромъ нѣмцы убили съ городской стѣны 7 ихэтуанцевъ изъ толпы, собравшейся подъ стѣною для упражненій. Всѣ попытки получить какія-либо свѣдѣнія о движеніи иностраннаго отряда послѣ Лофа—третья станція отъ Тяньцзиня—чрезъ китайскихъ курьеровъ оказались безуспѣшными, такъ что наконецъ китайцы, изъ боязни попасться въ руки ихэтуанцевъ, повидимому имѣющихъ строгій надзоръ за шпіонами, уже не рѣшаются отправляться на встрѣчу иностранному отряду. Ждемъ съ невыразимымъ нетерпѣніемъ иностранный смѣшанный и русскій полевой отряды, которые намъ, осажденнымъ и окруженнымъ въ городѣ, кажется, движутся съ непонятною медленностью. Толпа ихэтуанцевъ, собравшаяся на западномъ концѣ Посольской улицы и грозившая ринуться по ней, вызвала со стороны нашихъ и американскихъ моряковъ мѣру предосторожности—постройку баррикады. Въ теченіе дня было двѣ тревоги.

Обысканы всѣ дома, прилегающіе къ посольству, изъ коихъ многіе оказались пустыми. Громадное пламя въ юго-западной части маньчжурскаго города и столбы дыма, уносявшагося въ облака, сказали намъ, что горитъ южный, старинный католическій храмъ съ его орфелинами, школами и больницей. Содержатель пекинской гостинницы, швейцарецъ Шамо, съ партіей волонтеровъ изъ нѣсколькихъ человѣкъ, отправился въ южный храмъ, и ему, несмотря на толпы ихэтуанцевъ, удалось спасти все иностранное населеніе его. Въ половинѣ восьмого вечера была новая тревога, а спустя немного, на восточной сторонѣ канала, между посольскимъ и южнымъ мостами, нашими матросиками былъ схваченъ пробиравшійся у стѣны китаецъ съ пачкою зажженныхъ курительныхъ свѣчей, который, на произведенномъ ему мною допросѣ, хотя и отрицалъ принадлежность свою къ ихэтуанизму и злой умыселъ, но, очевидно, онъ былъ поджигатель; его оставили подъ арестомъ. Ночью южный городъ огласился ужасными криками многотысячной толпы: „бить, бить“, сопровождавшимися поджогами и убійствами;—это былъ настоящій адъ.

2-го іюня.—Для охраны и сопровожденія несчастныхъ католиковъ-китайцевъ, бѣжавшихъ послѣ погрома южнаго храма, отправился отрядъ изъ 18 русскихъ матросовъ, съ начальникомъ десанта, барономъ Раденомъ, во главѣ, и 10 американскихъ солдатъ съ капитаномъ Мейерсомъ. Тяжело было смотрѣть на толпы несчастныхъ, лишенныхъ крова и всего, съ малыми дѣтьми на рукахъ, слѣдовавшихъ подъ охраною нѣсколькихъ иностранныхъ воиновъ. Но среди этой массы несчастнаго люда особенно ужасную, душу раздирающую картину представляла молодая мать съ широко раскрытыми и обезумѣвшими отъ ужаса глазами, говорившая о гибели трехъ своихъ малютокъ. Возвратившійся отрядъ привелъ съ собою съ пожарища 10 грабителей, которые, вмѣстѣ съ пойманнымъ вчера поджигателемъ, были посажены подъ арестъ. Вечеромъ послѣдній сдѣлалъ было попытку освободиться и началъ выламываемыми изъ подоelonника кирпичами бросать въ часового, пытаясь въ то же время загасить лампу, но былъ убитъ изъ ружья часовымъ. Остальные плѣнники были перевязаны каждый отдѣльно. Зловѣщая ночная тишина въ китайскомъ городѣ.

3-го іюня.—Въ 10 часовъ утра страшные, густые клубы дыма въ китайскомъ городѣ возвѣстили, что ихэтуанцы продолжаютъ свою дьявольскую работу. Море волнуемаго вѣтромъ пламени въ нѣсколько часовъ истребило лучшую, торговую часть

города. Однихъ банковыхъ конторъ сгорѣло болѣе двадцати. Убытки опредѣляются десятками милліоновъ. Первыми жертвами поджоговъ явились китайскія лавки, торговавшія какими бы то ни было иностранными товарами. Жертвою пламени сдѣлалась и одна изъ башенъ Цянь-мыньскихъ воротъ, отъ которыхъ перебросило искры на западную деревянную арку Посольской улицы. Хотя изъ посольства къ ней немедленно отправился отрядъ нашихъ матросовъ, подъ командою барона фонъ-Радена, однако, изъ опасенія, какъ бы пламя не перебросилось по направленію посольства, отдано было приказаніе сломать нѣсколько китайскихъ домовъ, прилежающихъ къ его западной стѣнѣ. Цѣлый вечеръ и слѣдующее утро мы заняты были перевозкою и бросаніемъ въ каналъ лѣса изъ разрушенныхъ домовъ. Въ китайскомъ городѣ грабежи, пожары и убійства сдѣлались лозунгомъ дня. Никакіе богдоханскіе указы, грозившіе немедленною казнью, не могли остановить разбушевавшихся страстей разнузданныхъ негоднѣвъ.

Около двухъ часовъ ночи ихэтуанцы съ нѣсколькими солдатами изъ отряда Дунъ-фу-сяна открыли ружейный огонь противъ постовъ русско-китайскаго банка у городской стѣны. Поднялась тревога. Секретарю банка, г. Барбье, удалось ранить одного дунъ-фу-сянца, который, бросивъ штуцеръ Маузера 1872 года и кусокъ своего мундира, бѣжалъ, оставивъ за собою слѣдъ крови.

4-го іюня.—А десантовъ и отряда нѣтъ, какъ нѣтъ! Въ виду разныхъ тревожныхъ слуховъ и угрозъ—состояніе тяжелое, напряженное. Никто изъ китайцевъ не берется доставить письмо въ Тяньцзинь. Вечеромъ съ южной стороны банка опять тревога, сопровождавшаяся нѣсколькими одновременными залпами американцевъ, оставшимися безъ отвѣта. Оно и понятно, потому что непріятелемъ оказалась черная собака, поплатившаяся за свою дерзость жизнью. Фактъ этотъ, ничтожный и смѣшной самъ по себѣ, показываетъ, до какой степени были взвинчены нервы даже такихъ молодцовъ, какъ американскіе солдаты.

Китайцы-сосѣди выселяются изъ боязни пострадать съ иностранцами и отъ иностранцевъ. 10 грабителей, захваченныхъ нашими и американскимъ десантами, переданы китайской полиціи, какъ говорятъ, для немедленной смертной казни.

5-го іюня.—Курьеръ, отправленный въ Тяньцзинь 31-го мая, привезъ извѣстіе, что 2-го іюня вечеромъ и ночью была схватка между иностранными отрядами и ихэтуанцами у тяньцзинскаго желѣзнодорожнаго моста и у южныхъ городскихъ

воротъ, что нашъ полевой отрядъ, имѣвшій назначеніе выступить въ Пекинъ, 2-го, еще не выступалъ — и что протестантскій храмъ, западный арсеналъ и желѣзная дорога до Танъ-шань-скихъ каменноугольныхъ копей сожжены и разрушены.

Въ 4 часа по полудни, г. посланника посѣтили, по специальному высочайшему повелѣнію, министры Сюй-Цзинъ-чэнъ, Сюй-Юнъ-и, Ли-шаню и Лянь-юань, передавшіе семействамъ посланника и членовъ миссіи пустыя слова утѣшенія со стороны богдоханши и выразившіе отъ лица правительства, что вступленіе въ Пекинъ новыхъ иностранныхъ отрядовъ произведетъ новое движеніе ихэтуанцевъ, опасное для иностранцевъ, и что между первыми и послѣдними можетъ произойти столкновеніе у Фынъ-тай'я, второй желѣзнодорожной станціи отъ Пекина. На это посланникъ отвѣчалъ: „Пусть попробуютъ, и тогда узнаютъ, что и они не застрахованы отъ иностранныхъ пуль и мечей“.

Часовъ съ трехъ ночи пошелъ проливной дождь, продолжавшійся всю ночь. Я упоминаю объ этомъ совершенно обыкновенномъ явленіи потому, что засуха, продолжавшаяся чуть не цѣлый годъ, была приписана ихэтуанцами чарамъ иностранцевъ, истребленіемъ которыхъ только и могло быть восстановлено нарушенное равновѣсіе силъ природы; затѣмъ, мы полагали, что этотъ обильный дождь заставитъ массу сельскаго населенія, приставаго къ мятежникамъ по неволѣ и отъ бездѣлья, возвратиться къ своимъ сельскимъ занятіямъ. Ночь прошла спокойно, безъ особенныхъ приключеній.

6-го іюня.—Въ 4 часа послѣдовало объявленіе войны, и цзунъ-ли-я-мынемъ во всѣ миссіи было разослано сообщеніе съ указомъ императрицы объ оставленіи всѣми иностранцами Пекина въ 24 часа, такъ какъ ихъ пребываніе въ немъ признается небезопаснымъ. Императрица обѣщаетъ дать перевозочныя средства. Дипломатическій корпусъ отвѣчалъ, что иностранцы не могутъ оставить Пекинъ ранѣе чѣмъ чрезъ 48 часовъ.

7-го іюня.—Въ виду совершенно основательныхъ опасеній вѣроломства въ пути со стороны китайскаго конвоя, рѣшено остаться въ Пекинѣ, съ переселеніемъ большей части иностранцевъ въ англійскую миссію, какъ наиболѣе помѣстительную и безопасную, куда, въ случаѣ крайности, должны были собраться всѣ десанты. Всѣ дамы съ дѣтьми переселились въ нее въ тотъ же день. Въ этотъ же день былъ убитъ несчастный германскій посланникъ, который, несмотря на предостереженія и совѣты своихъ коллегъ, со свойственнымъ ему упрямствомъ отправился съ драгоманомъ Кордесомъ въ цзунъ-ли-я-мынь для объясненій

относительно перевозочныхъ средствъ. У Сянь-лянъ-цы, китайскаго пантеона, онъ былъ сраженъ пулею поджидавшаго его китайскаго отряда. Г. Кордесу, раненому, удалось встрѣтить высланный за посланникомъ нѣмецкій конвой, съ которымъ онъ и возвратился въ посольство. Вѣсть о такомъ неслыханномъ злодѣяннѣ, жертвою котораго сдѣлался представитель иностранной державы, произвела на всю иностранную колонію самое удручающее дѣйствіе, служа зловѣщимъ показателемъ того, что ихэтуаньцы, въ соединеніи съ правительственными войсками, не остановятся ни предъ чѣмъ, чтобы уничтожить горсть ненавистныхъ имъ иностранцевъ.

9-го іюня.—Раненъ въ плечевую кость г. Браунсъ, студентъ русско-китайскаго банка, въ то время, какъ онъ пытался укрыться въ квартирѣ г. Позднѣва отъ убійственнаго огня, открытаго китайцами съ городской стѣны. Въ тотъ же день былъ также раненъ въ голову, но довольно легко, урядникъ посольскаго конвоя, Батуринъ.

10-го іюня.—У насъ ранено 4 матроса, изъ нихъ двое очень серьезно. Съ тяжелымъ чувствомъ каждый изъ насъ смотрѣлъ, какъ передъ нашею квартирою въ англійскомъ посольствѣ проносили въ госпиталь этихъ несчастныхъ, пролившихъ свою кровь за насъ и въ то же время уменьшившихъ и безъ того не густые ряды нашихъ защитниковъ.

11-го іюня.—Днемъ было сильное нападеніе на посольства: американское, русское и англійское. Двухтысячная толпа ихэтуаньцевъ устремилась съ городской стѣны къ американскому посольству и русско-китайскому банку и, чрезъ дворъ иностраннаго магазина Имбека, напала на русское посольство, а отдѣлившаяся отъ нея часть сдѣлала нападеніе съ Монгольской площади на англійское посольство. Нападеніе на русское посольство было настолько сильно, что ихэтуаньцы съ ожесточеніемъ хватились за штыки нашихъ матросовъ; но русскій штыкъ—молодецъ, какъ и всегда, не ударилъ въ грязь лицомъ: ихэтуаньцы были отбиты съ большимъ урономъ и, слава Богу, безъ всякихъ потерь съ нашей стороны. Въ англійскомъ посольствѣ около сѣверныхъ конюшенъ ихэтуаньцы произвели, изъ зажженного ими Хань-линя—академіи наукъ—поджогъ и одновременно съ вспыхнувшимъ пожаромъ—нападеніе. Дружными усиліями всѣхъ пожаръ былъ потушенъ и нападеніе отражено. Жертвою пламени сдѣлалась богатая и рѣдкая бібліотека академіи.

12-го іюня.—Охваченные со всѣхъ сторонъ, словно желѣзнымъ кольцомъ, ихэтуаньцами и правительственными войсками,

мы были буквально отрѣзаны отъ внѣшняго міра; мало того, мы даже почти не знали, чтѣ творится въ самомъ Пекинѣ и въ правительственныхъ сферахъ. Но въ этотъ день одному китайцу-протестанту удалось пробраться за баррикады въ китайскій городъ и принести намъ нѣсколько нумеровъ китайской правительственной газеты, въ которой, между прочимъ, были помѣщены указы объ объявленіи войны и о побѣдахъ, одержанныхъ, будто бы, правительственными войсками надъ иностранцами въ Тяньцзинѣ 4, 5 и 6 іюня, при чемъ восхваляется безкорыстный патріотизмъ и мужество ихэтуаньцевъ, которые, безъ правительственной помощи деньгами и людьми, служатъ великую службу своему отечеству и имъ внушается продолжать проявленіе своей преданности престолу, который, само собою разумѣется, не забудетъ наградить ихъ по заслугамъ. Указъ объ объявленіи войны, какъ интересный актъ государственной важности, мы помѣщаемъ въ примѣчаніи ¹⁾.

¹⁾ „Съ основанія нашей династіи иностранцы, посѣщавшіе Китай, пользовались въ немъ хорошимъ обращеніемъ. Въ царствованіе Дао-гуана и Сянь-фына имъ разрѣшена была торговля, и они просили также дозволенія проповѣдывать свое ученіе—просьба, на которую правительство неохотно дало свое согласіе. Вначалѣ они не выходили изъ повиновенія, но за послѣднія 30 лѣтъ, пользуясь снисходительностью Китая, они стали посягать на его территорію, попирали китайскій народъ и домогаться богатствъ Китая. Каждая уступка Китая увеличивала ихъ нахальство. Они угнетали мирныхъ гражданъ, оскорбляли боговъ и святыхъ мужей, вызывая самое горячее негодованіе въ средѣ населенія. Это повлекло за собою сожженіе ихъ храмовъ и избиеніе обращенныхъ патріотами. Горячо желая избѣжать войны, правительство издавало указы, въ которыхъ повелѣвалось охранять посольства и щадить обращенныхъ. Указы, объявляющіе ихэтуаньцевъ и обращенныхъ христіанъ одинаково дѣтьми отечества, издавались въ надеждѣ устранить старую между ними вражду, и крайняя доброта издавна была оказываема иностранцамъ. Но этотъ народъ не зналъ чувства благодарности и все продолжалъ увеличивать свое давленіе на Китай. На дняхъ было получено сообщеніе Дю-Шалира (французскаго генеральнаго консула) въ Тяньцзинѣ съ требованіемъ сдачи дагускихъ укрѣпленій иностраннымъ войскамъ; въ противномъ случаѣ они будутъ взяты силою. Эти угрозы показали, что они имѣютъ въ виду захваты. Во всѣхъ дѣлахъ, касающихся международныхъ сношеній, мы всегда были вѣжливы по отношенію къ нимъ, между тѣмъ какъ они, называя себя цивилизованными государствами, дѣйствовали безъ всякаго уваженія къ праву, опираясь только на грубую силу. Мы царствовали почти 30 лѣтъ, обходились съ народомъ какъ съ нашими дѣтьми, народъ почиталъ насъ какъ божество, и въ теченіе нашего царствованія мы пользовались милостивымъ вниманіемъ вдовствующей императрицы. [агѣ, наши предки помогали намъ и боги отзывались на наши призывы, и никогда не было такого всеобщаго проявленія преданности и патріотизма. Со слезами мы бѣжали о войнѣ въ храмъ предковъ. Мы предпочли прибѣгнуть къ крайней мѣрѣ вступить въ борьбу, тѣмъ, цѣною вѣчнаго позора, искать какихъ-нибудь средствъ къ сохраненію своей жизни. Мнѣніе наше раздѣляютъ всѣ чины, и сотни тысячъ солдатъ-патріотовъ (ихэтуаньцы) собрались безъ нашего призыва; даже дѣти—и тѣ та-

13-го июня.—Всю ночь было сильное нападеніе на русское посольство, сопровождавшееся непрерывною стрѣльбою, но, къ счастью, не причинившее никакого урона въ людяхъ. Американцы, хотя и удержались на стѣнѣ, но сильно устали, и имъ послано въ помощь 10 нашихъ матросовъ и по 10 отъ другихъ десантовъ. Начальникъ нашего десанта, баронъ Раденъ, вслѣдствіе того, что не спитъ уже около трехъ недѣль, проводя всѣ ночи на баррикадѣ, страшно усталъ, исхудалъ, находится вѣчно въ возбужденномъ настроеніи духа, мрачно смотритъ на будущее, чтò, конечно, сообщается и лицамъ, окружающимъ его. Зато Врублевскій не падаетъ духомъ, хотя и не поддается иллюзіямъ.

Въ англійскомъ посольствѣ, отличающемся образцовою организаціей и порядкомъ во всемъ касающемся благосостоянія ея обитателей ¹⁾, кипитъ работа по укрѣпленію наружныхъ стѣнъ и домовъ: дамы, не покладая рукъ, шьютъ мѣшки, которые мужчины набиваютъ землею и выводятъ изъ нихъ баррикады, а также копаютъ и устриваютъ погреба отъ орудіяныхъ снарядовъ; не входящіе въ ряды волонтеровъ поочередно держатъ ночные патрули съ внутренней стороны стѣнъ посольства. Между тѣмъ пули и снаряды свистятъ и падаютъ во всѣхъ направленіяхъ. Въ занимаемой нами комнатѣ съ глубокою верандою осколкомъ гранаты пронизало дверное стекло, пробило стѣну книжного шкафа и затѣмъ самый осколокъ зарылся въ книгу; въ другой разъ пуля попала въ дѣтское платье, сложенное на стулѣ, и сдѣлала въ немъ правильный рядъ дырочекъ.

цать копѣя на службу отечеству. Иностранцы опираются на хитрость, мы же возлагаемъ надежду на небесную справедливость; они опираются на насилие, а мы—на человеколюбіе. Не говоря о правотѣ нашего дѣла, у насъ болѣе 20 провинцій, въ которыхъ болѣе 400 миллионовъ народу, и намъ не трудно будетъ поддержать достоинство нашей страны".—Докладъ обѣщаетъ щедрыя награды отличившимся въ бою или жертвовавшимъ, и угрожаетъ тяжкимъ наказаніемъ трусамъ и предателямъ.

¹⁾ Со дня переселенія иностранцевъ въ англійское посольство, въ немъ былъ организованъ генеральный комитетъ, который обязанъ былъ имѣть общее наблюденіе надъ всѣми распорядками, необходимыми для общаго благосостоянія тѣхъ лицъ, которые въ данный моментъ стали гостями британскаго посольства. Къ нему должны были обращаться со всѣми претензіями и совѣтами, касающимися общаго блага. Въ составъ этого комитета вошли слѣдующія лица: его преподобіе Е. Тіуксбери, американскій миссіонеръ, Г. Кокборнъ, первый драгоманъ англійскаго посольства, его преподобіе В. Гобартъ, американскій миссіонеръ, Е. Морисъ, первый драгоманъ французскаго посольства, Р. Бридонъ, помощникъ главнаго инспектора таможенъ, П. С. Поповъ, генеральный консулъ и первый драгоманъ російскаго посольства, и В. Крюгеръ въ качествѣ членовъ. При комитетѣ состояли слѣдующія отдѣленія: провіантское, регистраціонное, работъ, санитарное, пожарное, инженерное и конюшенное, каждое подъ управленіемъ одного или двухъ компетентныхъ лицъ.

Около 12 ч. ночи китайцы открыли ужасную пальбу залпами, которая вдруг прервала тяжелый сонъ обитателей англійскаго посольства. Раздались зловѣщіе звуки набатнаго колокола, призывающіе волонтеровъ на помощь регулярной командѣ. И въ этотъ разъ нападеніе было благополучно отбито.

14-го іюня.—Изъ главнаго укрѣпленія, маскировавшаго ворота посольства, послѣ полудня на сѣверномъ мосту была усмотрѣна доска съ наклееннымъ на ней объявленіемъ, заключавшимъ слѣдующій указъ: „Въ видахъ оказанія защиты иностраннымъ посольствамъ, стрѣльба по нимъ не дозволяется“. Далѣе, было прибавлено, что сообщеніе по этому предмету будетъ передано на мосту. Но посланные съ этимъ документомъ парламентаріи съ бѣлымъ флагомъ, испугавшись вооруженныхъ иностранныхъ солдатъ, не рѣшились приблизиться къ баррикадированнымъ воротамъ англійскаго посольства и возвратились вспять. Въ результатѣ, вмѣсто ожидаемаго затишья, получилось новое сильное нападеніе,—слава Богу, успѣшно отраженное.

15-го іюня.—До настоящаго дня было убито три русскихъ матроса, которыхъ похоронили въ саду посольства за церковью, гдѣ они лежатъ съ своими товарищами по оружію, доблестными американскими солдатами. Въ нашемъ посольствѣ, благодаря присутствію массы китайскихъ труповъ, на прилегающей къ нему Монгольской площади, чувствуется сильный трупный запахъ. Шитье мѣшковъ для баррикадъ продолжается съ неоослабною энергіей. Матеріаломъ для нихъ служатъ на ряду съ простыми тканями и богатыя портьеры, и обои изъ разныхъ дорогихъ матерій.

Къ вечеру наши враги открыли по нашему посольству огонь изъ орудія. Жутко и страшно было слушать, какъ гремѣло орудіе и рвались шрапнели; нѣсколько изъ нихъ съ оглушительнымъ трескомъ разорвались у самаго дома посланника. Счастье наше, что китайцы, окружавшіе иностранныя посольства, далеко не отличались мѣткостью стрѣльбы изъ орудій.

16-го іюня.—Стрѣльба изъ орудій продолжается по прежнему, какъ по русскому, такъ и по другимъ посольствамъ, и производитъ удручающее впечатлѣніе на всѣхъ и въ особенности на дѣтей, которыхъ насчитывается въ стѣнахъ англійскаго посольства болѣе 70 иностранныхъ и почти столько же китайскихъ. Вдобавокъ ко всѣмъ этимъ ужасамъ, вотъ уже нѣсколько дней, какъ мы стали питаться кониной, не исключая и дѣтей, которымъ, однако, по понедѣльникамъ и четвергамъ отпускалось еще немного баранины. Эта привилегія распространилась въ те-

ченіе нѣкотораго времени и на дамъ. Что касается конины, то, быть можетъ, она и вкусна въ парижскихъ ресторанахъ подъ разными соусами, но въ обыкновенномъ приготовленіи, по моему мнѣнію, она далеко уступаетъ говядинѣ и даже мясу мула, съ которымъ намъ также пришлось познакомиться.

Сегодня одному нашему матросу прострѣлили фуражку на баррикадѣ навывлетъ, нисколько не задѣвъ головы. Прежде раненые, и довольно серьезно, наши матросики Горячевъ и Ледневъ, любимцы моихъ дѣвочекъ, начинаютъ нѣсколько поправляться.

Днемъ было сдѣлано нападеніе на французское посольство, во время котораго китайцы заняли конюшни и убили двухъ французскихъ матросовъ, которыхъ, вслѣдствіе того, что изъ нихъ, для защиты сѣвернаго католическаго монастыря, на первыхъ порахъ было отдѣлено 30 ч., остается весьма немного. Нашему храброму и хладнокровному защитнику, мичману Дѣну, крайне надоѣла мѣткая стрѣльба двухъ дунъ-фу-сянцевъ, и онъ рѣшился во что бы то ни стало покончить съ ними. А стрѣлокъ онъ отличный. Просверливъ новое отверстіе въ баррикадѣ, онъ убилъ этихъ двухъ сорванцовъ наповалъ. Въ этотъ же день ему удалось убить около нашей конюшни одного, повидимому, важнаго, дунъ-фу-сянскаго офицера, который, въ сопровожденіи двухъ нижнихъ чиновъ, съ вѣромъ въ рукахъ осматривалъ позиціи. Пуля сразила его на смерть, и люди едва успѣли утащить трупъ его. Какъ видно, въ этотъ день китайцамъ не везло. Во время стрѣльбы по русскому посольству у нихъ разорвало орудіе и убило, говорятъ, массу людей. У англичанъ убитъ одинъ солдатъ въ то время, какъ онъ, возвратившись съ караула, снималъ у дверей казармы свой патронташъ.

Около 10 ч. вечера, когда разразилась ужасная гроза съ проливнымъ дождемъ, когда, въ силу традиціонной боязни дождя китайцами, менѣе всего можно было ожидать съ ихъ стороны нападенія, ими произведено было ожесточенное нападеніе на англійское посольство со стороны южныхъ конюшенъ и одновременно на русское. Трудно себѣ представить картину болѣе демоническую, адскую, какъ это ночное нападеніе въ соединеніи съ величественною грозой. Безпрерывные раскаты грома, сопровождаемые огненными вспышками молніи, сливались съ грохотомъ выстрѣловъ, представляя одну хаотическую массу звуковъ. Пули летали градомъ, то стучаясь объ стѣны, то, съ пронзительнымъ свистомъ и трескомъ, вонзались въ деревья или отрывали у нихъ цѣлыя вѣтви.

17-го іюня.—Стрѣльба китайцевъ хотя и продолжается, но

далеко не съ такимъ ожесточеніемъ, какъ наканунѣ, и наши защитники, особенно русскіе, крайне бѣдно снабженные патронами, почти на нее не отвѣчаютъ. Какъ иностранцы, такъ и китайцы неустойчиво занимаются укрѣпленіемъ своихъ позицій и возведеніемъ новыхъ баррикадъ. Китайцы возвели сильную баррикаду противъ русскихъ конюшенъ и весь день занимались укрѣпленіемъ Цянь-мыньскихъ и Хада-мыньскихъ воротъ, вѣроятно въ ожиданіи приближенія нашихъ войскъ, о движеніи которыхъ намъ-то, къ сожалѣнію, ничего неизвѣстно. Отправленіе гонцовъ въ Тяньцзинь, даже за значительное вознагражденіе, сопряжено съ большими затрудненіями и опасностями, такъ какъ китайцы весьма бдительны; притомъ же выходъ изъ города возможенъ только спускомъ со стѣны у американской баррикады, да чрезъ шлюзъ у моста. Ночью спустили двухъ японцевъ, рѣшившихся пробраться на встрѣчу арміи.

Католическій сѣверный храмъ — Бэй-танъ, въ которомъ собрано болѣе 1.500 христіанъ-китайцевъ подъ защитою 30 французскихъ и 18 итальянскихъ матросовъ, окруженный желѣзнымъ кольцомъ китайскихъ солдатъ, также подвергается постоянному бомбардированію и вѣроятно терпитъ отъ недостатка продовольствія.

На городской стѣнѣ нѣмцы потеряли трехъ убитыми и семь ранеными. Невообразимо тяжелое чувство производитъ каждая утрата изъ рядовъ нашихъ храбрыхъ защитниковъ. Въ госпиталѣ, кромѣ профессиональныхъ сестеръ милосердія, работаютъ еще русскія дамы, г-жи: Гирсъ, Корсакова, Позднѣева, Барбье и Титова, а также неустойчивый труженникъ, проникнутый глубокимъ чувствомъ самоотреченія и любви къ ближнему, нашъ глубокоуважаемый духовникъ о. Авраамій, котораго, кромѣ ухода за ранеными, видишь и съ мотыкою въ рукахъ копающимъ землю для мѣшковъ, таскающимъ бревна и доски для баррикадъ и отбывающимъ ночную дозорную службу. За исключеніемъ ухода за ранеными, тѣ же работы большую часть осаднаго времени несъ о. діаконъ Василій Ивановичъ Скрижалинъ.

18-го іюня.—Сегодня о. Авраамій отслужилъ въ столовой обѣдню, послѣ которой многіе причастились запасными дарами. Затѣмъ, воскресная служба въ посольской церкви, можно сказать подъ пулями и гранатами, продолжалась все время осады; причемъ продолжалъ пѣть нашъ хоръ, состоявшій большею частью изъ дамъ и дѣтей подъ управленіемъ Д. М. Позднѣева, которому принадлежала и честь организаціи его.

Ужасный день! Сегодня прибыло въ госпиталь около 20 че-

ловѣкъ раненныхъ, такъ что Браунса, чувствовавшего себя значительно лучше, перевели въ маленькую комнатку, служившую въ то же время и складомъ для муки и риса. Въ французскомъ посольствѣ убитъ на повалъ студентъ таможенъ, волонтеръ Вагнеръ. Американцы продолжаютъ оставаться на стѣнѣ, внизу которой строятъ баррикаду изъ мѣшковъ и кирпича. Китайцы поставили орудіе недалеко отъ французскаго посольства и, открывъ изъ него огонь, пробили брешь въ стѣнѣ. Вслѣдствіе этого французы оставили-было свое посольство на произволъ китайцевъ, но, по настоянію барона Радена, снова возвратились въ него.

19-го іюня.—Ночь прошла сравнительно спокойно. Англійскій посланникъ изъ дома своего секретаря, служившаго дозорною вышкою, и штабсъ-капитанъ Врублевскій съ городской стѣны ясно видѣли сигнальные электрическіе огни. Конечно, всѣ старались увѣрить себя, что это сигналы союзныхъ войскъ. Сэръ Клодъ утверждалъ даже, что это хорошо знакомые ему сигналы съ броненосца „Terrible“, на которомъ, будто бы, только и имѣются такіе. Китайцы постепенно оставляютъ укрѣпленія на городской стѣнѣ и направляются къ Хада-мыньскимъ—юго-восточнымъ—воротамъ; по мнѣнію однихъ, они идутъ на встрѣчу иностраннымъ войскамъ, а другіе полагаютъ, что они замышляютъ нападеніе на насъ; съ баррикадъ ихъ сняты флаги. Ночью китайцы пускаютъ раветы, какъ сигналъ для нападеній, такъ и для освѣщенія нашихъ позицій. Ночные сигнальные рожки отряда Дунъ-фу-сяна вызываютъ въ душѣ тревогу, потому что они большею частью предшествуютъ нападенію на насъ.

20-го іюня.—Въ третьемъ часу ночи соединенныя силы русскихъ, американцевъ и англичанъ, всего не болѣе 50 человѣкъ, атаковали и взяли китайскую баррикаду на стѣнѣ. Русскіе, ударивъ съ фронта, прямо попали подъ перекрестный огонь изъ 15 человѣкъ; только 8 ч. во главѣ съ Врублевскимъ, подошли къ баррикадѣ; трое по ошибкѣ попали въ спускъ; одинъ оказался между англичанами; затѣмъ, еще одинъ, подбѣжавъ къ баррикадѣ, сталъ ее ломать и поплатился за это обжогомъ глазъ, а одного ранили въ ногу. Американцы первые добѣжали до баррикады. Атаковалъ американскій капитанъ Мейерсъ (Myers). Послѣ нѣсколькихъ залповъ, китайцы, потерявъ 35 человѣкъ убитыми, побросавъ оружіе, бѣжали по направленію къ Цянь-мыньскимъ воротамъ. У американцевъ убито 2 солдата и раненъ грязною пикой въ ногу капитанъ Мейерсъ, офицеръ храбрый и хладнокровный.

21-го іюня.—Съ 10 часовъ вечера до 6 утра, китайцы бом-

бардировали наше посольство и по обыкновенію пускали ракеты. Отъ сэра Клода и другихъ въ Тяньцзинѣ отправленъ съ вѣстями четырнадцатилѣтній мальчикъ. Баронъ Раденъ замѣтилъ, что изъ дворца иногда пускались ракеты, какъ сигналъ для прекращенія стрѣльбы на нѣкоторое время.

22-го іюня. — Въ 11 ч. утра, въ паркѣ, прилежащемъ къ англійскому посольству съ с. з., при рубкѣ дерева, смертельно раненъ студентъ этого посольства Олифантъ, неблагоразумно продолжавшій работу, несмотря на приказъ командующаго офицера оставить ее. Пуля попала несчастному въ спину, задѣла печень и область желудка; онъ умеръ въ тотъ же день. По общему отзыву, это былъ храбрый и въ высшей степени дѣятельный молодой человекъ, и потому его безвременная кончина была принята всѣми съ непритворнымъ, глубокимъ сожалѣніемъ.

23-го іюня. — Было двѣ ночныхъ довольно сильныхъ перестрѣлки. У воротъ посольства усиливаютъ баррикаду и поставленъ американскій пулеметъ Максима. Послѣ завтрака наши молодые люди, Бракманъ, Мирный, Полуяновъ, Орловскій и Хитровъ, отправились въ клубъ за разными припасами. Послѣдній, къ несчастью, не возвратился, былъ убитъ на китайской баррикадѣ у французскаго посольства, на которую онъ попалъ по ошибкѣ. Тѣло его не найдено.

24-го іюня. — Ночью опять были слышны въ китайскомъ городѣ звуки раковинъ и трубъ. Австрійцы и французы говорятъ, что слышали сильную канонаду около Ма-цзя-пу. До англійскаго посольства, въ которомъ была перестрѣлка, долетали отдаленные, глухіе пушечные выстрѣлы. Изъ массы выпущенныхъ въ этотъ день гранатъ одна попала въ столовую сэра Клода, по счастью, никому не причинивъ вреда. Днемъ были ранены австрійскій морякъ и японскій attaché, — послѣдній, къ сожалѣнію, смертельно.

Желаніе дать знать въ Тяньцзинѣ о нашемъ отчаянномъ положеніи, — которое особенно обрисовалось съ тѣхъ поръ, какъ китайцы стали забрасывать насъ массою разрывныхъ снарядовъ, которыхъ въ англійское посольство въ нѣсколько часовъ было выпущено болѣе 150, — и получить вѣсточку изъ Тяньцзиня о положеніи дѣлъ тамъ, дошло до того, что Д. Д. Покотиловъ, директоръ русско-китайскаго банка, предложилъ 10.000 ланъ (14.000 р.) за доставленіе извѣстія и принесеніе отвѣта. Вызвался-было идти слуга одного бельгійскаго инженера; онъ былъ католикъ. Это послѣднее обстоятельство усложнило дѣло, такъ какъ, въ случаѣ опроса его ихэтуаньцами или китайскими солдатами: христіанинъ ли онъ? — онъ, по правиламъ религіи, не

могъ, безъ разрѣшенія патера, отвѣчать отрицательно, а патеры, съ неумѣстнымъ упрямствомъ, несмотря на наши просьбы, отказали ему въ этомъ разрѣшеніи. Но предложенный кушъ былъ слишкомъ заманчивъ, и китаецъ рѣшился идти безъ разрѣшенія. Вечеромъ все уже было приготовлено къ спуску его со стѣны, какъ въ послѣдній моментъ дѣло разстроилось, благодаря посреднику, который заявилъ, что пріятель его за 10.000 ланъ берется только доставить письмо въ Тяньцзинь, но безъ отвѣта. Такое неслыханное нахальство возмутило всѣхъ. По поводу отправленія этого гонца, два иностранныхъ посланника, при встрѣчѣ со мною, сказали: „Однако вы, г. Поповъ, должно быть, очень богаты, когда предлагаете гонцу за путешествіе въ Тяньцзинь и обратно (240 верстъ) такое громадное вознагражденіе?“ — Во-первыхъ, — отвѣчалъ я, — это предложеніе идетъ отъ русско-китайскаго банка, а во-вторыхъ, я полагаю, что нѣсколько тысячъ человѣческихъ жизней стоить дороже этихъ денегъ.

25-го *июня*. — Была обѣдня въ церкви нашего посольства. Многіе изъ русскихъ резидентовъ и вся команда причащались. Сегодня опять трое раненыхъ и убитъ командиръ австрійскаго десанта. Китайцы продолжаютъ стрѣлять изъ орудій. Наше положеніе скверное.

Сегодня въ китайской чугунно-плавильной лавкѣ отыскана была старая англійская пушка 60-хъ годовъ, изъ которой нашли возможнымъ стрѣлять снарядами нашей пушки Барановскаго, до сихъ поръ бесполезно лежавшими въ колодцѣ, куда они были опущены потому, что самое орудіе, по непростительной оплошности, не было доставлено изъ Тяньцзиня своевременно вмѣстѣ съ десантомъ. А много бы намъ помогла эта пушка, давъ намъ возможность расширить районъ нашей обороны и держать нашихъ враговъ въ болѣе почтительномъ разстояніи. Работа неустанная по укрѣпленію англійскаго посольства, при отличной организации и распредѣленіи рабочихъ изъ китайцевъ-христіанъ подъ неустаннымъ и опытнымъ надзоромъ американскихъ миссіонеровъ Тіюксбери, Гемуэла, Гобарта и Стела, кипитъ. Для итальянской пушки отливаются даже снаряды, а равно и пули для скорострѣльныхъ ружей.

30-го *июня*. — Въ 7 часовъ вечера подожжено французское посольство. На южномъ мосту четыре американца отбили атаку толпы ихэтуаньцевъ, приблизительно человѣкъ въ 200, изъ коихъ болѣе 30-ти поплатились жизнью.

П. С. Поповъ.



БОРЬБА

ЗА

ЕДИНСТВО ВѢРЫ

ВЪ IV-МЪ ВѢКѢ.

АВГУСТИНЪ ВЪ БОРЬБѢ ЗА ЕДИНСТВО ЦЕРКВИ *).

I.

Между рѣзкими контрастами, какіе таила въ себѣ римская Африка, не было контраста поразительнѣе того, который существовалъ между воззрѣніями Августина и окружавшихъ его донатистовъ. Для молодого пресвитера, только-что со всѣмъ пыломъ страсти увѣровавшаго въ Христа, новая его вѣра была откровеніемъ, охватившимъ и освѣтившимъ весь міръ. Новое ученіе не только указало ему лично его жизненный путь и внесло гармонію и единство въ его душевный міръ, обуреваемый страстями и сомнѣніями, но и раскрыло его философской мысли мировую гармонію, мировой порядокъ, управляемый единымъ Богомъ, божественный принципъ любви, объединившій все человѣчество, и въ чудномъ видѣніи озарило прошлыя судьбы этого человѣчества и его великое назначеніе.

Для донатистовъ христіанство было обрядомъ отповѣ, выстрадавшихъ и удержавшихъ его среди жестокихъ гоненій, — оно было

*) См. выше: январь, стр. 5.

имъ дорогою *мѣстною* святыней. Память о претерпѣнныхъ мученіяхъ, готовность идти на встрѣчу новымъ мученіямъ за вѣру, породили въ ихъ умахъ представленіе о Божіихъ избранникахъ, о *святыхъ* среди запятнавшаго себя предательствомъ христіанскаго люда; и къ ихъ религіозному фанатизму присоединилось чувство враждебности и отчужденія некультурнаго человѣка къ людямъ высшей или иной культуры.

Августинъ не могъ примириться съ такими воззрѣніями на христіанство; но, помимо идейныхъ и догматическихъ мотивовъ, онъ и по другимъ причинамъ не могъ оставаться равнодушнымъ зрителемъ раскола. Между донатистами и каеоликами нельзя было провести раздѣльной *межи*, хотя *полюсы* обонихъ враждебныхъ толковъ были очень удалены другъ отъ друга—приморскій Барбагенъ и горныя аулы Ауразія;—но *между* ними враждующіе братья повсюду жили вперемежку. Особенно силенъ былъ донатизмъ въ самой Гиппонѣ, на глазахъ у Августина. Приверженцы Доната превышали числомъ каеоликовъ и потому, несмотря на то, что законы государства были противъ нихъ, съ полной безнаказанностью тѣснили своихъ противниковъ. И молодой пресвитеръ вступилъ съ ними въ борьбу съ того дня, какъ оставилъ свою келью и согласился вступить въ міръ учителемъ и священникомъ. Августинъ предался этой борьбѣ съ той же страстью и пылкостью, съ какою прежде предавался созерцанію божественныхъ тайнъ,—и велъ ее неустанно въ теченіе тридцати лѣтъ, до самаго ея конца. Эта борьба наполняла его жизнь, занимая первое мѣсто въ его перепискѣ и подъ часъ въ его литературной дѣятельности; она повліяла на его воззрѣнія на церковь, на государство, на отношенія властей къ еретикамъ, на разрѣшеніе вопроса о принужденіи къ вѣрѣ и сопротивленіи злу. Установленные имъ тогда формулы получили рѣшающее вліяніе на средневѣковое міровоззрѣніе.

Но надо имѣть въ виду, что эти формулы были установлены самимъ Августиномъ не сразу. Онъ пришелъ къ нимъ послѣ долголѣтнихъ душевныхъ волненій и тяжелаго житейскаго опыта. Мы поставили себѣ задачей прослѣдить эту эволюцію воззрѣній Августина, установить генезисъ страшнаго принципа *cogere intrare*—насильнаго присоединенія къ церкви. Переписка Августина даетъ намъ для этого цѣнный матеріалъ.

Благодаря этой перепискѣ, мы знаемъ, какъ Августинъ отнесся съ самаго начала къ донатистамъ. Онъ только-что на себѣ испыталъ два самыхъ возвышенныхъ ощущенія, какія дано человѣку извѣдать въ жизни—прозрѣніе истины и силу любви къ

ближнему. Послѣ долгихъ мучительныхъ усилій и, взвѣсивши доводы за и противъ, прозрѣлъ онъ истину и увѣровалъ теперь въ ея неотразимую силу. Но, увѣровавши въ Христа, онъ ощутилъ въ себѣ всеильную любовь къ людямъ, лучшую изъ благихъ вѣстей, принесенныхъ Евангеліемъ. Вѣра въ силу истины и любви побѣдила міръ;—она дала торжество христіанству надъ язычествомъ; она же въ мысляхъ Августина должна была побѣдить и ересь донатистовъ. Для торжества надъ ними достаточно было озарить ихъ блескомъ истины и согрѣть ихъ братской христіанской любовью. И вотъ краснорѣчивый и пылкій, въ полномъ обладаніи могучихъ средствъ своего риторическаго образованія, Августинъ жаждалъ случая письменной или устной бесѣды съ епископами-донатистами, чтобы вразумить ихъ и ихъ паству, или по крайней мѣрѣ публичнымъ обсужденіемъ спорныхъ вопросовъ укрѣпить въ вѣрѣ свою паству. Такую именно цѣль имѣетъ первое письмо Августина, посвященное донатизму, адресованное къ одному изъ епископовъ въ окрестностяхъ Гиппоны. Августинъ привѣтствуетъ его обычнымъ обращеніемъ: „Господину дражайшему и почтенному брату Максимину“, и въ самомъ началѣ объясняетъ, почему такъ пишетъ: „Если я прибавилъ слово *почтенный*, то не въ томъ смыслѣ, чтобы я почиталъ твое епископство; ибо для меня ты не епископъ; не принимай это въ оскорбленіе, ибо тебѣ не безизвѣстно, какъ и всѣмъ, что ты не мой епископъ, какъ и я не твой пресвитеръ. Почтеннымъ же я тебя называю на томъ основаніи, что ты человекъ и что человекъ созданъ по образу и подобию Божію“... Поводомъ къ письму послужило извѣстіе, что Максиминъ за нѣсколько дней предъ тѣмъ перекрестилъ каѳолическаго дьякона. Августинъ, какъ онъ пишетъ, прежде слышалъ, что Максиминъ воздерживался отъ этого плачевнаго обычая, „ибо перекрестить еретика, получившаго этотъ знакъ христіанской святости—грѣхъ; перекрестить же каѳолика—ужасное преступленіе“. Въ виду этого Августинъ умоляетъ Максимина написать, правда ли это, и написать такъ, чтобы можно было его посланіе прочесть въ церкви. „Что могло бы помѣшать тебѣ написать мнѣ,—не вижу; ибо если ты перекрещиваешь, то тебѣ нечего опасаться своихъ. Если же нѣтъ, то умоляю тебя, братъ Максиминъ, усвой себѣ свободу христіанина и, глядя на Христа, не опасайся ни осужденія людскаго, ни силы людской; ибо мимолетна честь этого вѣка, преходящее честолюбіе. На грядущемъ судилищѣ Христа не будетъ ни возвышенной абсиды для епископа, ни покрытаго ковромъ сѣдалища, ни воеругъ него сонма поющихъ святыхъ дѣвъ; беззащитенъ бу-

детъ онъ, когда начнутся укеры совѣсти и судъ Того, Кто вѣдаетъ совѣсть людскую; ибо то, что здѣсь служить къ почести, тамъ послужить въ обвиненіе“. Убѣждая Максимиана въ примирительномъ тонѣ, Августинъ предлагаетъ ему „устранить пустые попреки, которыми несвѣдущіе люди обѣихъ партій взаимно обмѣниваются“. „Не ставь мнѣ въ вину времена Макарія; не стану и я говорить о неистовствахъ циркумцелліоновъ. Гумно Господне еще не очищено, еще не освобождено отъ макрии“. Августинъ успокоиваетъ Максимиана, что онъ не станетъ публично читать его письма, пока въ Гиппонѣ будетъ стоять отрада войска, а дождется его ухода, дабы всѣ поняли, что онъ стремится не къ тому, чтобы люди противъ воли были принуждаемы къ духовному общенію съ другими, но чтобы истина объявлялась въ мирѣ ее ищущимъ. Пусть минуетъ съ нашей стороны гнѣтъ свѣтской власти; пусть и съ вашей стороны исчезнетъ гроза полчищъ циркумцелліоновъ. Будемъ дѣйствовать на пользу дѣла съ помощью разума, на основаніи авторитета Священнаго Писанія; будемъ мирно и спокойно стремиться по мѣрѣ силъ нашихъ, чтобы съ Божьей помощью это безобразіе африканской земли постепенно исчезло, хотя бы въ нашей мѣстности“.

Съ высоты идеализма Августинъ вѣритъ, что истина безъ посторонней помощи сама себѣ проложитъ путь въ сердца людей, лишь бы имъ была дана возможность услышать ее. Въ виду этого онъ полонъ надежды на результаты богословскихъ преній и диспутовъ. Въ такомъ настроеніи написано его письмо къ Прокулеяну, донатистскому епископу Гиппона, написано, повидимому, въ началѣ собственнаго епископата. Обращеніе къ сопернику сопровождается обычной формулой уваженія, которую и на этотъ разъ Августинъ считаетъ нужнымъ мотивировать. По поводу титула „любезнѣйшій“ Августинъ замѣчаетъ: „любить тебя я обязанъ столько, сколько повелѣлъ намъ Тотъ, Кто любить насъ до позорной казни на крестѣ“. До свѣдѣнія Августина дошло, что Прокулеянъ не прочь „имѣть съ нимъ бесѣду“ въ присутствіи добрыхъ людей. Августинъ спѣшитъ воспользоваться даннымъ „общаніемъ“ и предлагаетъ самому Прокулеяну назначить „ассистентовъ“ лишь съ оговоркой, чтобы бесѣда была записана, такъ чтобы можно было потомъ возстановить то, что исчезло изъ памяти. Августинъ выражаетъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, готовность, — если Прокулеянъ это предпочтетъ, — снестись съ нимъ предварительно посредствомъ писемъ или устно для того, чтобы иные слушатели не ставили интереса самаго диспута выше интереса спасенія

спорящихъ, — а затѣмъ объявить народу, „на чемъ они между собою покончили“.

Дѣло это — неотложное; Августинъ успѣлъ убѣдиться во время своей пастырской дѣятельности, какое глубокое бѣдствіе представляетъ этотъ расколъ, вносящій вражду не только въ общество, но и въ самыя семьи. „Прошу тебя, скажи, какое намъ дѣло до старой распри? Должны ли по прежнему болѣть эти раны, нанесенныя намъ злобой надменныхъ людей? Отъ гноя этихъ ранъ мы даже утратили чувство боли, которое побуждаетъ обратиться къ врачу. Ты видишь, какъ велико и тяжело безобразіе, вносящее смуту въ дома и семьи христіанъ. Мужья и жены согласны относительно своего ложа, но враждуютъ между собою изъ-за алтаря Христова. Дѣти обитаютъ въ одномъ домѣ съ родителями, а не хотятъ имѣть тотъ же домъ Господень; родители желаютъ получить наслѣдство тѣхъ, съ которыми спорятъ о наслѣдіи Христовомъ. Рабы и господа терзаютъ общаго имъ Господина, принявшаго обликъ раба, чтобы, рабствуя, всѣхъ освободить“. „Люди, желающіе черезъ наше посредство вершать мірскіе споры, называютъ насъ, епископовъ, святыми и рабами Божьими, когда мы имъ нужны, чтобы покончить ихъ земныя дѣла; похлопочемъ же немного и мы сами о ихъ спасеніи и нашемъ; не о золотѣ, не о серебрѣ, не объ имѣніяхъ или стадахъ идетъ рѣчь, съ чѣмъ намъ ежедневно надоѣдаютъ, низко кланяясь, тяжущися, — но о самой душѣ нашей! А среди насъ столь пагубный и позорный раздоръ!“

II.

Августина не покидала мысль о диспутѣ съ его соперникомъ на епископскомъ престолѣ. Возмутившій его случай далъ ему новый поводъ заговорить объ этомъ. Какой-то юноша, въ изступленіи нанесшій удары своей матери и грозившій ей смертью, — чтобы избавиться отъ каты со стороны епископа, — перешелъ къ донатистамъ и былъ принятъ ими въ ихъ общину, получивъ вторичное крещеніе. Въ негодующихъ выраженіяхъ протестуетъ Августинъ въ письмѣ къ третьему лицу противъ такой снисходительности къ человѣку, „не воздержавшему своихъ нечестивыхъ рукъ отъ утробы, даровавшей ему жизнь, и еще въ такіе дни, когда строгость закона падить даже преступнѣйшихъ“; онъ протестуетъ противъ того, что извергъ, замышлявшій убійство матери, былъ поставленъ въ церкви въ бѣлой одеждѣ,

какъ бы призванный къ новой жизни на показъ передъ взорами пораженныхъ горемъ зрителей. Августинъ пишетъ, что онъ не могъ молчать объ этомъ, что онъ потребовалъ занесенія этого „святотатства“ въ офіціальные акты, чтобы впослѣдствіи нельзя было называть это вымысломъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ настаиваетъ на диспутѣ съ Прокулеяномъ. Онъ называетъ смѣшнымъ предложеніе послѣдняго отправиться въ Константинополь или Милевъ, гдѣ собирается съѣздъ епископовъ. Онъ имѣетъ дѣло не съ ними, а съ Прокулеяномъ. Если тотъ считаетъ себя неравносильнымъ въ борьбѣ, то пусть призоветъ на помощь кого угодно изъ своихъ собратій. „Впрочемъ, я не совсѣмъ понимаю, чего опасается этотъ многолѣтній, какъ онъ себя называетъ, епископъ со стороны такого новичка, какъ я, чтобы уклоняться отъ собесѣдованія со мною; если онъ опасается литературной учености, въ которой онъ, можетъ быть, не свѣдущъ, то какое отношеніе имѣетъ это къ вопросу, подлежащему разрѣшенію на основаніи Священнаго Писанія, или церковныхъ и свѣтскихъ документовъ, съ которыми онъ столько лѣтъ имѣетъ дѣло“. Въ заключеніе Августинъ предложилъ вмѣсто себя для собесѣдованія находившагося въ Гиппонѣ Самсупці, епископа турисскаго, „который ничему не учился изъ того, чего Прокулеянъ опасается“.

Прокулеянъ, однако, не только уклонялся отъ собесѣдованія съ Августиномъ, но и не захотѣлъ принимать его писемъ. Августину снова пришлось объясняться съ нимъ черезъ посредника. Относительно юноши, который билъ свою мать, донатисты оправдывались тѣмъ, что Прокулеянъ ничего не зналъ о его преступленіи. „Такъ пусть онъ теперь удалить его“, отвѣчалъ Августинъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ выставляетъ на видъ цѣлый рядъ другихъ случаевъ неправды донатистовъ. Субдіаконъ Примъ, лишенный сана за дурное поведеніе, принятъ ими и перекрещенъ; этотъ же субдіаконъ увлекъ съ собою двухъ инокинь изъ того же каеолическаго имѣнія, гдѣ онъ былъ діаконъ,—которыя также были перекрещены; а теперь онъ предается пьянству и вакханаліямъ съ толпой женщинъ-бродягъ, не желающихъ имѣть мужей, чтобы не жить по закону. Что же, развѣ и это неизвестно Прокулеяну?“

Далѣе, Августинъ рассказываетъ случай, ярко освѣщающій, какъ расколъ разжигалъ страсти, и какъ трудно при этихъ условіяхъ ужиться сторонникамъ двухъ церквей, которыя, въ сущности, раздѣляла лишь одна вражда. Донатисты сманили къ себѣ дочь каеолическаго колона, перекрестили ее и стали готовить къ монашеству; „отецъ же ея требовалъ, чтобы она возврати-

лась въ лоно церкви, и настаивалъ на этомъ побоями“. Узнавши все, Августинъ запретилъ отцу истязать дочь, не желая принимать въ свою паству „собращенную женщину“ иначе, какъ только „по ея доброй волѣ и по собственному выбору предпочитающую лучшую долю“. Несмотря на это, когда онъ проѣзжалъ черезъ имѣніе, гдѣ это и происходило, донатистскій священникъ кричалъ ему вслѣдъ: „Предатели, гонители!“—и Августинъ былъ принужденъ успокаивать сопровождавшую его толпу. „И тѣмъ не менѣе,—продолжаетъ онъ,—когда я говорю: разслѣдуемъ, кто были или суть предатели и гонители, мнѣ отвѣчаютъ: спорить объ этомъ не хотимъ, а перекрещивать хотимъ“.

Наконецъ Августину удалось имѣть, въ началѣ 398 г., столь желанное имъ собесѣдованіе съ донатистскимъ епископомъ. Но то былъ не Прокуленъ, а Фортуній, епископъ Тубурзика, черезъ который Августину пришлось проѣзжать по пути въ Цирту или Константину, столицу Нумидіи, для посвященія мѣстнаго епископа. Этотъ диспутъ описанъ самимъ Августиномъ. Онъ зналъ черезъ общихъ знакомыхъ, что Фортуній не прочь съ нимъ видѣться, и, прибывъ въ городъ, самъ посѣтилъ Фортунія въ виду его преклоннаго возраста, какъ онъ объясняетъ. Августина сопровождала немалая толпа, случайно около него собравшаяся. Во время собесѣдованія, вслѣдствіе распространенной о томъ молвы, около дома Фортунія сдѣлался еще большій наплывъ людей, которые сбѣжались какъ на „театральное зрѣлище“, а не для поученія о христіанскомъ спасеніи; шумъ былъ невообразимый. Однако диспутъ продолжался нѣсколько часовъ, насколько былъ возможенъ при постоянныхъ перерывахъ. Желая придать диспуту официальный характеръ, Августинъ настаивалъ, чтобы былъ составленъ о немъ нотаріальный протоколъ. Долго этому противился Фортуній; а когда согласился, присутствовавшіе тутъ нотаріусы не захотѣли писать. Пробовали-было записывать пренія бывшіе при Августинѣ „братья“, но имъ въ этомъ мѣшали шумъ и возгласы аудиторіи. Поэтому самъ Августинъ по памяти восстановилъ диспутъ, предложивъ Фортунію признать „протоколъ правильно составленнымъ“, или ввести въ него то, что онъ лучше помнилъ.

Собесѣдованіе началось съ необычной, на подобныхъ диспутахъ, любезности. „Фортуній,—пишетъ Августинъ,—сталъ восхвалять мою жизнь, о которой онъ слышался отъ васъ, изображавшихъ ее подъ вліяніемъ не столько правды, сколько расоложенія ко мнѣ“. Но за медомъ скрывалось жало. Фортуній прибавилъ, что заслуги его были бы велики, еслибы онъ нахо-

дился въ предѣлахъ церкви. Тогда Августинъ спросилъ, какая же это церковь, въ которой надлежитъ такъ жить? Та ли, которая, согласно пророчеству Св. Писанія, распространена по всему земному кругу,—или та, которая заключается въ небольшой части Африки? Фортуній сталъ утверждать, что его церковь повсюду на землѣ. Донатисты на самомъ дѣлѣ очень хлопотали о томъ, чтобы имѣть и за-моремъ единомышленниковъ; въ Римѣ у нихъ была небольшая община, имѣвшая своего епископа; они собирались за городомъ на какой-то горѣ, вслѣдствіе чего имъ было дано насмѣшливое прозвище *Cutzurpites-montani*.

Августинъ спросилъ, можетъ ли Фортуній дать ему „рекомендательныя письма“¹⁾ ко всѣмъ епископамъ вѣ Африки? Этимъ путемъ было бы легче всего разрѣшить ихъ споръ о томъ, какая изъ церквей Африки составляетъ часть вселенской церкви. Для Фортунія это былъ вопросъ безвыходный, и онъ перемѣнилъ предметъ спора. Онъ сталъ жаловаться на *преследованія*, ссылаясь на текстъ Евангелія отъ Маттея: „Блаженны изгнанные за правду“²⁾, ибо ихъ есть царствіе небесное“. Августинъ обрадовался тексту и заявилъ, что здѣсь сила въ словахъ: *за правду*, а потому слѣдуетъ разсмотрѣть, когда донатисты терпѣли гоненія во времена Макарія, состояли ли они въ единеніи съ церковью, или въ схизмѣ? а въ послѣднемъ случаѣ,—имѣли ли они основаніе отречься отъ общенія со всѣмъ христіанскимъ міромъ? Такъ вопросъ перешелъ къ „пресловутой болѣе, чѣмъ достовѣрной“—какъ выразился Августинъ—выдачѣ священныя книги. Донатистамъ возражали, что среди ихъ вождей было больше предателей, чѣмъ со стороны ихъ противниковъ; если же они въ этомъ отношеніи не хотятъ вѣрить письменнымъ памятникамъ каеоликовъ, то и не могутъ требовать, чтобы послѣдніе придавали вѣру ихъ памятникамъ. Устранивъ этотъ сомнительный вопросъ, Августинъ спросилъ, какъ могли донатисты правильно отдѣлиться отъ неповинныхъ ни въ чемъ прочихъ христіанъ древнѣйшихъ церквей, соблюдавшихъ у себя по всему земному кругу правильное преемство священства, и не имѣвшихъ возможности знать, кто былъ въ Африкѣ предателемъ?—Фортуній отвѣтилъ, что заморскія церкви оставались праведными до тѣхъ поръ, пока не допустили кровопролитія во время Макаріева гоненія. На это Августинъ возразилъ, могутъ ли, однако, донатисты доказать, что они, хотя бы до на-

¹⁾ *Epistolae formatae*. Каноны африканской церкви предписывали, чтобы епископы, отправляющіеся за-море, испрашивалъ у своего примата такіа письма.

²⁾ По-латыни: *qui persecutionem patiuntur*—претерпѣваютъ гоненія.

чала Макаріева гоненія, сохраняли общеніе съ восточными и другими церквами? Тогда Фортуній велѣлъ принести рукопись, съ помощью которой онъ желалъ доказать, что соборъ въ Сардиніѣ посылалъ грамоты африканскимъ епископамъ изъ партіи Доната. Дѣйствительно, въ числѣ епископовъ, упомянутыхъ въ рукописи, былъ поименованъ и Донатъ. Вслѣдствіе этого, Августинъ сталъ добиваться, какой это Донатъ, — тотъ ли, по имени котораго называютъ себя донатисты? Въ рукописи онъ не былъ названъ африканскимъ епископомъ, — и хотя имя это африканское, но оно могло принадлежать и африканцу на заморской епископской кафедрѣ; рукопись же не заключала въ себѣ ни даты, ни имени консуловъ, такъ что нельзя было опредѣлить, къ какому времени она относится. Въ это время ученикъ Августина, Алипій, шепнулъ ему на ухо и напомнилъ, что аріане когда-то пытались завести сношенія съ донатистами. Тогда Августинъ взялъ рукопись и сталъ внимательно разглядывать ее, — и дѣйствительно скоро убѣдился, что соборъ въ Сардиніѣ былъ *аріанскій*, ибо онъ высказалъ осужденіе какъ Аѳанасію Александрійскому, такъ и римскому епископу Юлію.

III.

На этой почвѣ споръ принималъ неблагоприятный для донатистовъ оборотъ: очевидно, вселенская церковь не поддерживала общенія съ ними. Но донатисты, въ сущности, и не особенно заботились объ этомъ; самое возникновеніе ихъ обуславливалось тѣмъ, что потребность *единства* была среди нихъ слабо развита, а напротивъ, преобладалъ духъ мѣстной исключительности, враждебный тяготѣнію къ Карфагену, который въ свою очередь тяготѣлъ къ Риму. На первомъ планѣ у нихъ была другая забота: страхъ передъ властью Рима и могущихъ исходить отъ имперіи мѣры въ объединенію христіанъ. Фортуній сталъ снова допрашивать Августина, кого онъ считаетъ праведнымъ, — того, кто совершаетъ гоненія, или же того, кто претерпѣваетъ ихъ? Августинъ отвѣчалъ, что вопросъ поставленъ неправильно: можетъ случиться, что оба неправедны, а можетъ быть и такъ, что болѣе праведный подвергается преслѣдованію того, въ комъ болѣе неправды. Вообще, изъ того, что кто-нибудь терпитъ гоненіе, не слѣдуетъ, что онъ болѣе правъ, — хотя болшею частью такъ бываетъ. Но такъ какъ Фортуній продолжалъ настаивать на своемъ, то Августинъ сталъ опровергать его историческими примѣрами,

ставя ему затруднительную дилемму. Онъ спросилъ, признаетъ ли Фортуній праведнымъ христіаниномъ Амвросія Медиоланскаго? Еслибы тотъ отвѣтилъ утвердительно,—Августинъ напомнилъ бы ему, что онъ, однако, находилъ необходимымъ подвергнуть и его вторичному крещенію. Но Фортуній сталъ отрицать праведность Амвросія,—тогда Августинъ напомнилъ, какимъ онъ подвергался гоненіямъ. Съ другой стороны онъ привелъ въ примѣръ епископа Максимина, отщепенца донатистовъ, претерпѣваго отъ нихъ большія гоненія. Но Фортуній стоялъ на своемъ. Онъ разсказалъ, что когда нумидійскіе епископы вступили въ борьбу противъ Цециліана, они поставили въ Кареагенѣ *замѣстителя* епископа, который былъ убитъ противниками. Кого же считать праведнымъ,—спрашивалъ Фортуній:—убійцу, или убитаго? Августинъ сказалъ, что никогда объ этомъ не слыхалъ, и прежде надо узнать, правда ли, что такъ было, ибо нельзя вѣрить всему, что говорятъ, а если и такъ было, то какъ убитый, такъ и убійца могли быть дурными людьми. Озабоченный вопросомъ о правѣ преслѣдованія, Фортуній заявилъ, что христіанамъ и праведнымъ не должно преслѣдовать даже и дурного человѣка, и спросилъ Августа, можетъ ли онъ привести примѣръ праведника, убившаго дурного человѣка? Августинъ хотя и замѣтилъ, что это не относится къ ихъ спору, однако указалъ на Илію, собственной рукой истребившаго лжепророковъ. Но Фортуній требовалъ, чтобы онъ привелъ изъ *Новаго Завѣта* случай убіенія праведникомъ человѣка преступнаго и нечестиваго. Августинъ долженъ былъ признаться, что такого случая нельзя привести, но онъ очень искусно воспользовался оборотомъ спора, заявивши, что Новый Завѣтъ служитъ яркимъ подтвержденіемъ того, что праведные должны *терпѣть* въ своей средѣ преступныхъ, слѣдуя Господу, который не лишилъ св. причастія своего предателя, уже получившаго мзду за свое преступленіе. Донатисты взволновались: этимъ неопровержимымъ доводомъ Августинъ поколебалъ самую основу схизмы—нежеланіе имѣть общеніе съ предполагаемыми предателями и ихъ приверженцами. Тщетно старались они выйти изъ затрудненія при помощи софизма, что этотъ случай относится ко времени, предшествовавшему страстямъ Господа,—и скоро пренія опять перешли къ важнѣйшему въ ту пору для донатистовъ вопросу. Фортуній заговорилъ о грядущихъ преслѣдованіяхъ и желалъ знать, какъ будетъ вести себя въ такомъ случаѣ Августинъ,—дастъ ли онъ свое согласіе на гоненія, или нѣтъ? То была знаменательная минута въ жизни Августа и въ исторіи христіанской

церкви! И великій учитель отвѣтилъ тѣмъ, кого считалъ ерети-ками, завѣряя ихъ, „что Господь видитъ его сердце, чего они не могутъ видѣть“,—что напрасно опасаются они для себя го-неній, которыя если и произойдутъ, то будутъ исходить отъ дурныхъ людей, хуже которыхъ они не имѣютъ и въ своей средѣ; и все-же онъ изъ-за этого не долженъ отдѣлиться отъ католической церкви, и если случится такое дѣло, то помимо его воли или даже вопреки ей, такъ какъ онъ наученъ миро-любію и терпимости словами апостола: „Старайтесь сохранять единство духа въ союзѣ мира“.

Затѣмъ зашла рѣчь о Генетліѣ, предшественникѣ тогдаш-няго митрополита Африки—Аврелія Кареагенскаго, и о томъ, что онъ воспротивился исполненію какого-то закона противъ донатистовъ. Всѣ присутствовавшіе на диспутѣ донатисты хва-лили и прославляли его за это. Августинъ замѣтилъ, что дона-тисты, однако, перекрестили бы самого Генетлія, еслибы имѣли на то возможность. Послѣднія слова онъ произнесъ уже стоя, такъ какъ было время расходиться. Старикъ Фортуній, прощаясь съ нимъ, замѣтилъ и, какъ показалось Августину, не безъ огор-ченія, что такой уже у нихъ установился обычай перекрещивать людей другого исповѣданія. Видно было, что онъ откровенно не одобряетъ многое „дурное“, что творилось среди донати-стовъ, и Августинъ по этому поводу вспомнилъ текстъ Іезекіиля, въ которомъ говорится о томъ, что ни сыну не должна быть вѣняема вина отца, ни отцу—вина сына. Диспутъ между та-кими искренними и благородными людьми, какъ Августинъ и Фортуній, сблизилъ ихъ и смягчилъ всѣхъ присутствовавшихъ: всѣ рѣшили, чтобы впредь на подобныхъ диспутахъ ни одна изъ сторонъ не попрекала другую насиліями, совершенными „дурными людьми“. Но вопросъ о расколѣ оставался открытымъ, и Августинъ умолялъ своего противника, чтобы онъ кроткимъ и миролюбивымъ духомъ старался выѣстъ съ нимъ объ устра-неніи раскола. Когда же Фортуній отвѣтилъ, что только онъ, Августинъ, этого добивается, другіе же вовсе нѣтъ,--они оба между собою условились, что каждый изъ нихъ привлечетъ въ дѣлу до десяти товарищей, столь же расположенныхъ къ миру и исканію истины. Августинъ только находилъ, что многолюдіе и шумная обстановка неблагопріятны для успѣшности „великаго мышляемаго ими дѣла“, и предложилъ собраться въ какой-нибудь усадьбѣ, гдѣ не было бы ни донатистской, ни католи-ческой церкви.

Но благимъ желаніямъ Августина не суждено было осущест-

виться. Какъ мимолетное, для воображенія заманчивое видѣнїе, проходить повѣствованіе объ этомъ диспутѣ черезъ мрачную кровавую исторію донатистскихъ усобицъ и гоненій. Не къ миролюбивому рѣшенію вопроса,—которое поэтому и было невозможно,—стремились обѣ стороны, а къ преобладанію посредствомъ захватовъ и насилій.

IV.

Августинъ также былъ втянутъ въ эту борьбу, и подъ ея вліяніемъ стали измѣняться его взгляды на способъ и средства побороть донатизмъ. Двѣ причины содѣйствовали этой переизмѣнѣ взглядовъ съ его стороны: зрѣлище насилій, совершаемыхъ донатистами, и полемика съ ними.

Относительно первой изъ этихъ причинъ мы находимъ нѣкоторые интересныя данныя въ письмахъ Августина. Такъ изъ его письма къ сосѣднему донатистскому епископу города Каламы, нынѣ Гвеллы, видно, что донатисты, несмотря на грозившіе имъ самимъ законы, пользовались помѣщичьей властью, чтобы совращать своихъ колоновъ въ донатизмъ. Епископъ Каламы, Криспінъ, купивши имѣніе, перекрестилъ въ немъ 80 душъ, по выраженію Августина—„робко и жалобно роптавшихъ“. Августинъ былъ особенно возмущенъ еще потому, что самое имѣніе было чиншевое, т.-е. принадлежало государю и было отдано въ долгосрочную аренду. Въ виду этого, Августинъ пишетъ Криспину: „Въ Божьемъ страхѣ слѣдуетъ тебѣ пребывать, а ты предпочитаешь самъ внушать страхъ, хотя и человѣкъ, и перекрещиваешь своихъ крестьянъ! Неужели императорскому указу быть безсильнымъ въ провинціи, а помѣщичей власти—всесильной въ усадьбѣ? Если сравнить васъ какъ личности—ты помѣщикъ, онъ императоръ; если сравнить васъ по мѣсту дѣйствія—ты распоряжаешься въ имѣніи, онъ въ имперіи; если сравнить самое дѣйствіе,—онъ озабоченъ устраненіемъ раскола, ты же стараешься о сокрушеніи единства. Хотя мы и могли бы заставить тебя уплатить 10 фунтовъ золота по закону императора, но я не хочу пугать тебя человѣкомъ; пусть лучше Христосъ устрашитъ тебя... Чтѣ, однако, толковать: если крестьяне по своей волѣ перешли въ твою церковь,—пусть они выслушаютъ насъ обоихъ; пусть то, чтѣ мы напишемъ и скрѣпимъ своею подписью, будетъ имъ передано по-пушійски, и пусть они, не страшась господской власти, выберутъ то, чтѣ имъ любо. Тогда будетъ видно, по принужденію ли они пребываютъ во лжи, или

же по своей волѣ хотѣть держаться истины. Если они въ этомъ ничего не понимаютъ, то зачѣмъ ты такъ нагло перекрестилъ неразумѣющихъ? Если же понимаютъ, то пусть выслушаютъ насъ и поступятъ по своему желанію. И если какіе сельчане отъ васъ перейдутъ къ намъ, а ты подумаешь, что это случилось по принужденію господина,—пусть и они обоихъ насъ выслушаютъ и выберутъ себѣ пастыремъ, кого захотятъ“,—заключаетъ Августинъ.

Совсѣмъ иначе, однако, отнесся Августинъ къ случаю прихвненія помѣщичей власти въ противоположномъ направленіи, какъ видно изъ его письма, написаннаго около того же времени къ сенатору Паммахію, зятю извѣстной своей дружбой съ Іеронимомъ Паулы. „Ликую“, поздравляетъ Августинъ Паммахіа съ тѣмъ, что въ самомъ сердцѣ области, гдѣ „возникли неистовства донатистовъ“, онъ своими увѣщаніями убѣдилъ своихъ коленовъ послѣдовать за такимъ выдающимся по свойствамъ и общественному положенію мужемъ, какъ онъ, и присоединиться къ церкви. „Отъ сколькихъ сенаторовъ Африки, подобныхъ тебѣ и, какъ ты, сыновей св. церкви, мы желали бы услышать о такомъ подвигѣ, какимъ ты насъ порадовалъ!“

Насилія Криспина представляютъ единичный случай. Гораздо болѣе свидѣтельствуетъ о силѣ донатистовъ и опасности отъ нихъ то, что Августинъ сообщаетъ въ разныхъ мѣстахъ о нихъ епископѣ Опатѣ. Его городъ Баган, близъ Тамгады, у подошвы Ауреса, находился какъ бы въ неприступной твердынѣ донатизма. Опатъ принадлежалъ къ типу пурпуріевъ—епископовъ-бедуиновъ, всегда готовыхъ на всякія насилія. Свой неукротимый нравъ онъ обнаруживалъ не только въ церковныхъ вопросахъ по отношенію къ епископамъ, отпадавшимъ отъ донатистовъ,—напримѣръ, въ дѣлѣ Максимиана,—но и въ свѣтскихъ дѣлахъ. Онъ былъ какимъ-то царькомъ въ своей епархіи, соединяя въ себѣ духовную власть со свѣтской. Августинъ рассказываетъ о немъ, что онъ всегда являлся въ сопровожденіи солдатъ, „не потому, чтобы онъ кого боялся, а съ тѣмъ, чтобы его воѣ боялись; онъ угнеталъ вдовъ, разорялъ сиротъ, раздавалъ чужія имѣнія, разводилъ женъ съ мужьями; продавалъ имущество людей, въ чемъ неповинныхъ, и выручку дѣлилъ съ обиженными владѣльцами“. Все это, нужно думать, относилось къ каеолическимъ христіанамъ въ его епархіи.

Въ другомъ мѣстѣ Августинъ обозначаетъ дѣятельность Опата словами, что отъ него одного цѣлыя десяти лѣтъ стонала вся Африка. Сила и безнаказанность Опата обуславливались тѣмъ,

что онъ пользовался покровительствомъ самаго могущественнаго въ то время человѣка въ Африкѣ—Гильдона. Намъ приходится поэтому указать на тѣсную связь донатизма со стремленіями къ политическому сепаратизму, къ отдѣленію отъ римской имперіи,—которыя проявляются въ это время со стороны Африки.

V.

Какъ извѣстно, вся исторія римской имперіи полна возстаній легионовъ и междоусобныхъ войнъ. Но прежнія возстанія были слѣдствіемъ неудовольствія легионовъ или честолюбія генераловъ; они были направлены не противъ Рима, а къ тому, чтобы захватить власть въ Римѣ. Въ IV в. мятежи принимаютъ характеръ провинціальныхъ возстаній и обнаруживаютъ центробѣжное стремленіе. Такъ, по крайней мѣрѣ, было въ Африкѣ. Уже въ 372 г. тиранническое и корыстное правленіе римскаго главнокомандующаго, комеса Романа, побудило населеніе Мавританіи и Нумидіи примкнуть къ возстанію Фирма, одного изъ сыновей богатаго туземца Набала. Фирмъ изъ маврскаго принца быстро сдѣлался какъ бы императоромъ Африки, и эта провинція снова была покорена Римомъ лишь благодаря необычайной энергіи и военному искусству генерала Теодозія, отца императора Θεодосіа I. Уже этотъ Фирмъ ладилъ съ донатистами, о чемъ можно заключить изъ того, что съ его стороны подвергался преслѣдованію Рогать, епископъ Картены въ Мавританіи, глава секты, отдѣлившейся отъ донатистовъ.

Въ числѣ военачальниковъ, помогавшихъ Риму побѣдить Фирма, былъ—какъ то водилось у либійцевъ—его младшій братъ, Гильдонъ, которому римское правительство въ благодарность за это предоставило громадныя, конфискованныя у Фирма помѣстья и затѣмъ званіе главнокомандующаго (комеса). Но Гильдонъ воспользовался смутами, наступившими въ Римѣ, и трагической судьбой, постигшей сыновей императора Валентиніана I. Старшій изъ нихъ, Граціанъ, погибъ въ 388 г. отъ узурпатора Максима, а младшій, Валентиніанъ II, въ 392 г. былъ принужденъ бѣжать отъ узурпатора Евгенія. Когда же Θεодосій, императоръ восточной половины имперіи, сокрушившій Максима, поднялся, чтобы возстановить въ западной половинѣ законнаго императора, Гильдонъ выступилъ на сцену, какъ самостоятельная нейтральная держава; онъ отказался подчиниться узурпатору, но не явился и на призывъ Θεодосія, который вскорѣ умеръ. Благодаря этимъ

обстоятельствамъ, Гильдонъ могъ почти самовластно управлять Африкой въ теченіе двѣнадцати лѣтъ и отложился отъ Рима; лишь въ 398 г. Гильдонъ былъ побѣжденъ опять-таки роднымъ братомъ, бывшимъ на римской службѣ, Масцезелемъ, — и Африка была снова подчинена Риму, — на этотъ разъ готовъ Стилихономъ.

Все время правленія Гильдона было, конечно, очень благоприятно для донатистовъ, и хотя такія неистовства, какія совершалъ Опатъ Багайскій, представляли исключенія, однако и въ Гиппонѣ, гдѣ жилъ Августинъ, давало себя чувствовать усиленіе донатизма, какъ видно изъ вышеприведеннаго поступка епископа Криспина. Но особенную опасность представляли *цирцелліоны*, какъ ихъ называли въ сокращеніи. Хотя они утратили тотъ революціонно-соціальный характеръ, съ которымъ выступили при своихъ вождяхъ Аксидѣ и Фузирѣ, — они и въ концѣ вѣка являлись анархической силой, готовой на всякія буйства и насилія. Характерны слова Августина, обращенныя къ донатистскому епископу Петиліану: „Развѣ мы не были бы отовсюду изгнаны изъ деревень дикимъ нападеніемъ циркумцелліоновъ, свирѣпыми толпами воюющихъ подъ вашимъ руководительствомъ, — еслибы мы не имѣли васъ заложниками въ городахъ“. Это значитъ, что безопасность каѳолическихъ помѣщиковъ и пресвитеровъ по деревнямъ обуславливалась лишь тѣмъ, что донатистскіе епископы въ городахъ могли бы быть привлечены къ отвѣтственности за насилія своихъ единовѣрцевъ. Повидимому, на самомъ дѣлѣ связь циркумцелліоновъ съ донатистами стала тѣснѣе, чѣмъ при началѣ сельскаго движенія, и эти двѣ партіи, подъ вліяніемъ общаго преслѣдованія, сплотились между собой. По мѣрѣ этого возросло и отчужденіе тѣхъ и другихъ отъ каѳоликовъ. Августинъ сообщаетъ интересный въ этомъ отношеніи фактъ, — это случилось, какъ онъ выражается, на памяти людей въ его городѣ Гиппонѣ: было тогда въ Гиппонѣ „мало каѳоликовъ и тогдашній донатистскій епископъ Фаустинъ запретилъ печь для нихъ хлѣбъ; вслѣдствіе этого одинъ изъ пекарей выбросилъ неиспеченнымъ хлѣбъ своего домохозяина, каѳолическаго дьякона, и остался безнаказаннымъ, несмотря на то, что осмѣлился прервать съ нимъ сношенія не только въ римскомъ городѣ, но и въ собственномъ домѣ“.

И въ дни Августина каѳолики въ Гиппонѣ, — хотя повидимому и составляли большинство, — не были безопасны отъ циркумцелліоновъ. Характерныя черты циркумцелліоновъ въ изображеніи Августина — все тѣ же, какъ и прежде: бродяжничество

„пьяными толпами“ монаховъ и инокинь въ постоянномъ общеніи днемъ и ночью и „кощунственное поклоненіе трупамъ самоубійцъ“. Но къ этимъ прежнимъ чертамъ прибавилась одна новая: если цирцелліоны встарину вооружались только дубинами, то теперь они стали опаснѣе, нападая на враговъ и желѣзнымъ оружіемъ. Что неистовства и безобразія цирцелліоновъ не только служили поводомъ для обличенія донатистовъ, но на самомъ дѣлѣ были бѣдствіемъ для каеоликовъ, о томъ можно заключить изъ слѣдующаго: нападки Августина на эти безобразія встрѣчаются не только въ его полемикѣ съ донатистскими епископами, которыхъ онъ укоряетъ за то, что они терпятъ или поощряютъ эти насилія и безобразія своихъ единовѣрцевъ, но и въ проповѣдяхъ Августина, обращенныхъ къ народу, гдѣ онъ могъ говорить только о томъ, что совершалось на глазахъ у всѣхъ. Въ одной изъ такихъ проповѣдей — толкованіе на псаломъ 132-й — Августинъ говорить, что кличъ: „Богу слава“ сталъ для каеоликовъ страшнѣе, чѣмъ львиный ревъ; а затѣмъ, упоминая, что донатисты ставятъ каеоликамъ въ укоръ монаховъ, сопоставляетъ ихъ съ цирцелліонами, „пьяныхъ — съ трезвыми, бѣснующихся — съ благочинными, изступленныхъ — съ простыми духомъ, бродягъ — съ братіей, собранной въ обитель“. — Жертвами изувѣрствъ цирцелліоновъ бывало въ особенности каеолическое духовенство, о чемъ неоднократно свидѣтельствуетъ Августинъ.

VI.

Не имѣя возможности повліять на донатистовъ личнымъ вѣдѣніемъ на собесѣдованіяхъ и диспутахъ, Августинъ обратился къ перу и въ цѣломъ рядѣ посланій, поученій и обличеній въ теченіе десяти лѣтъ преслѣдовалъ свою цѣль — привлеченіе къ церкви донатистовъ. Вожди этой партіи не остались въ долгу, и такимъ образомъ возникла цѣлая полемическая литература, представляющая для насъ высокій и разнообразный интересъ. Помимо художественнаго наслажденія, какое доставляютъ читателю многія страницы Августина, его полемика съ донатистами знакомитъ насъ ближе съ этой партіей, даетъ болѣе живое представленіе о предметахъ спора, чѣмъ чисто богословскіе трактаты Августина, и наконецъ служить любопытнымъ памятникомъ тогдашней христіанской культуры, уже въ значительной степени пропитавшейся языческимъ образованіемъ и усвоившей себѣ литературные приемы классическихъ риторовъ и софистовъ.

Уже въ самомъ началѣ своей пастырской дѣятельности Августинъ составилъ „псаломъ“ противъ донатистовъ. Это—братское обличеніе „вельми-надменныхъ, называющихъ себя праведными“, составленное въ стихотворной формѣ съ тѣмъ, чтобы читателю легче было запомнить, или даже выучить наизусть, доводы противъ тѣхъ, которые „прорвали сѣть Христову“ (церковь). Въ то же время, это и апологія дѣйствій католической партіи, но апологія умѣренная. Августинъ допускаетъ, что Макарій, „борецъ за единство“, превзошелъ мѣру, указанную въ христіанскомъ законѣ. Августинъ *воспѣваетъ* миръ и заявляетъ, что тотъ, въ комъ есть любовь Христа, не можетъ быть ненавистникомъ мира. Въ весьма миролюбивомъ духѣ составлено было Августиномъ, въ томъ же 393 году, сочиненіе и „противъ донатистовъ“ въ двухъ книгахъ, къ сожалѣнію до насъ не дошедшихъ. Не дошло также и опроверженіе Августиномъ „Посланія Доната“. Первое изъ дошедшихъ до насъ сочиненій Августина въ полемикѣ съ донатистами, — его трактатъ „противъ посланія Парменіана“. Этотъ Парменіанъ былъ преемникомъ Доната на епископской кафедрѣ Карфагена, человѣкъ очень образованный. Отправленные въ ссылку, во время Макаріевскаго „установленія единства“, — донатистскіе епископы познакомились тамъ съ Парменіаномъ и послѣдшіи избрать его своимъ главой по смерти Доната. Но лишь при Юліанѣ, въ 362 г., Парменіанъ получилъ возможность занять свою кафедру въ Карфагенѣ. Желая оправдать возлагаемыя на него надежды, Парменіанъ обнародовалъ сочиненіе въ защиту донатизма. Въ опроверженіе этого сочиненія св. Опатъ и написалъ въ шестидесятыхъ годахъ трактатъ „о схизмѣ донатистовъ“, которому мы обязаны историческими свѣдѣніями объ этой сектѣ. Послѣ этого Парменіанъ еще разъ выступилъ на защиту своихъ единовѣрцевъ. Донатистъ Тихоній, по свидѣтельству Августина, очень свѣдущій въ Св. Писаніи и искусный въ его истолкованіи, подошелъ въ своихъ сочиненіяхъ очень близко къ общепринятымъ взглядамъ на церковь и крещеніе. Онъ не только осуждалъ вторичное крещеніе, которое не оправдывается Св. Писаніемъ, но и утверждалъ, что ради мира слѣдуетъ терпѣть нечестивыхъ среди праведныхъ, т.-е. допускалъ возможность общенія съ *предателями*, чѣмъ уничижались самая необходимость и смыслъ донатистскаго раскола. Такая уступчивость со стороны ученаго донатиста представляла большой соблазнъ для его единовѣрцевъ, и Парменіанъ счелъ нужнымъ придти къ нимъ на выручку. Смущая въ своемъ поведеніи Тихонія вопросомъ, почему же онъ остается донатистомъ,

несмотря на преслѣдованія, Парменіанъ старается удержать его въ своемъ лагерѣ обычными аргументами. Изъ этого видно, что случай съ Тихоніемъ представлялъ для Августина большой интересъ и что „онъ не могъ не уступить настояніямъ братьевъ отвѣтить Парменіану, когда посланіе послѣдняго ему попало въ руки“. Въ опроверженіи Августина наше вниманіе преимущественно привлекаетъ къ себѣ первая книга полемическаго характера, тогда какъ послѣднія двѣ исключительно посвящены экзегетикѣ текстовъ Св. Писанія, относящихся къ спору. Въ посланіи къ Парменіану Августинъ выразилъ намѣреніе коснуться подробнѣе вопроса о крещеніи. Онъ исполнилъ это обѣщаніе въ специальномъ трактатѣ „De baptismo“ въ 7 книгахъ, въ которомъ опровергаетъ ученіе донатистовъ объ этомъ таинствѣ и кромѣ того доказываетъ, что они въ этомъ вопросѣ неправильно ссылаются на авторитетъ Кипріана, высочайшаго епископа Карфагена и мученика.

Гораздо разнообразнѣе и содержательнѣе для историка, чѣмъ оба предшествующія произведенія Августина, его три посланія противъ Петиліана, вскорѣ послѣ того написанныя. Петиліанъ былъ въ то время самымъ бойкимъ борцомъ за донатизмъ. По своему занятію онъ былъ адвокатъ въ главномъ городѣ Нумидіи, Циртѣ, и получилъ необходимое для этого званія риторическое образованіе. Родители его придерживались православія, и онъ самъ состоялъ православнымъ катехуменомъ, но былъ, по словамъ Августина, захваченъ донатистами и насильно окрещенъ въ ихъ толкъ. Впослѣдствіи же онъ былъ ими поставленъ епископомъ въ Циртѣ, а позднѣе, во время собесѣдованія въ Карфагенѣ, избранъ однимъ изъ семи представителей ихъ. Еще будучи адвокатомъ, Петиліанъ получилъ отъ своихъ единовѣрцевъ, какъ онъ хвастался, прозвище утѣшителя — Параклета. Когда сдѣлался епископомъ, онъ издалъ пастырское посланіе къ своимъ пресвитерамъ, чтобы укрѣпить ихъ въ борьбѣ съ православными. Первая часть этого посланія была доставлена Августину, когда ему случилось быть въ Циртѣ, и онъ немедленно написалъ возраженіе. Впослѣдствіи, получивши отъ „братьевъ“ полный списокъ посланія Петиліана, Августинъ написалъ противъ него свою вторую книгу, — не потому, чтобы онъ нашелъ въ этомъ полномъ текстѣ что-нибудь новое, еще неопровергнутое многократно, но ради „слабыхъ“ братьевъ, которые, прочитавши что-нибудь, не могутъ сами найти соответствующаго возраженія. Этой цѣлью Августина объясняется и форма его отвѣта. Это, такъ сказать, *подстрочное* опроверженіе словъ противника, что,

по словамъ Августина, должно было придать посланію характеръ устнаго диспута, тутъ же „нотаріально“ записаннаго. Затѣмъ, на возраженія Петиліана Августинъ отвѣтилъ „третьей книгой“.

Четыре года спустя, въ 406 г., Августинъ былъ неожиданно вовлеченъ въ новую обширную полемику съ донатистами. На этотъ разъ ему пришлось имѣть дѣло съ необычнымъ противникомъ, не съ епископомъ, а съ міряниномъ, еще не принявшимъ крещенія, и притомъ прошедшимъ, подобно ему самому, полную школу риторики. То былъ преподаватель риторики Кресконій, который вмѣшался въ полемику Петиліана съ Августиномъ и написалъ возраженіе противъ послѣдняго. Хотя Кресконій этимъ обнаружилъ, чью сторону онъ держитъ, однако онъ вздумалъ воспользоваться своимъ положеніемъ, чтобы явиться какъ бы безпристрастнымъ третейскимъ судьей въ спорѣ. Въ виду этого онъ якобы испрашиваетъ совѣта у Августина, гдѣ ему креститься, въ каеоличествѣ или у донатистовъ? На самомъ же дѣлѣ такое мнимое безпристрастіе было только личиною, подъ которой африканскій риторъ считалъ болѣе удобнымъ нападать на противника во всеоружіи тогдашней *словесной науки*, — діалектики и грамматики. Придирки Кресконія не помѣшали, однако, Августину серьезно и обстоятельно отвѣтить ему по существу. Трактатъ противъ Кресконія, въ четырехъ книгахъ, одно изъ наиболѣе пространныхъ сочиненій Августина въ дѣлѣ донатистовъ. Догматическая часть перемежается въ немъ съ исторической безъ особеннаго плана. Читатель, знакомый съ Августиномъ, встрѣтитъ въ этомъ трактатѣ много повтореній, неизбѣжныхъ, впрочемъ, при тогдашнемъ медленномъ распространеніи рукописныхъ сочиненій, — такъ какъ Августинъ желалъ, чтобы въ каждомъ изъ нихъ вопросъ о донатизмѣ былъ разобранъ по возможности полно. Въ трактатѣ противъ Кресконія преобладаетъ историческая часть и весьма подробно разобранъ вопросъ о крещеніи, которое предстояло Кресконію.

Полемика Августина съ каждымъ изъ трехъ названныхъ противниковъ представляетъ особенный интересъ, какъ по содержанію, такъ и по приѣмамъ и тону, которыхъ держится Августинъ. Но разбирать каждую изъ нихъ отдѣльно значило бы впасть въ безконечныя повторенія. Такъ какъ въ то время рукописи обращались въ публикѣ медленно и случайно, особенно въ противномъ лагерѣ, то Августинъ былъ принужденъ касаться въ каждой изъ своихъ книгъ тѣхъ же вопросовъ. Если же ради наглядности сгруппировать направленные противъ донатистовъ

обличенія по существу, то ихъ можно свести къ тремъ группамъ: 1) Обличенія историческаго характера: Августинъ пользуется исторіей самого донатизма, чтобы опровергнуть обвиненія сектантовъ противъ африканской католической церкви и доказать несостоятельность ереси. 2) Теоретическія обличенія, которыми Августинъ подрываетъ ученіе донатистовъ, противопоставляя ему ученіе церкви. Наконецъ, наиболѣе важный для насъ вопросъ— 3) мнѣнія Августина о принужденіи въ дѣлахъ вѣры и религіозномъ преслѣдованіи.

Но прежде, чѣмъ перейти къ содержанію полемики, мы должны коснуться ея формы и ея приемовъ. Христіанство IV вѣка прониклось греческимъ образованіемъ, а оно состояло въ риторикѣ и діалектикѣ. Оба эти искусства естественно развились изъ природныхъ свойствъ и житейской обстановки грековъ. Они удовлетворяли ихъ художественному вкусу и были необходимы для ихъ политическихъ учрежденій. А когда политическая свобода исчезла, они сохранили свое значеніе на судѣ и въ школахъ философовъ и софистовъ. Отъ грековъ риторика и діалектика перешли къ римлянамъ и съ ними въ римскія провинціи. Если греки, склонные къ философствованію, стали отличать отъ „судебной риторики“ философскую ¹⁾, то римляне преимущественно отдавались первой: у нихъ риторъ и адвокат обозначались однимъ словомъ: *causidica*. Ихъ риторика, какъ и діалектика, сохранила черты адвокатской казуистики и была преимущественно средствомъ защиты и нападенія.

Римская Африка въ этомъ отношеніи не отстала отъ Рима. Уже въ началѣ II-го вѣка Ювеналъ называетъ Африку „питомникомъ адвокатовъ“. Въ то время, о которомъ у насъ идетъ рѣчь, послѣ торжества христіанства и наканунѣ паденія имперіи, въ римской Африкѣ, какъ и во всемъ мірѣ, школы риторовъ, по словамъ Августина, „еще полны жизни и оглашаются шумомъ толпящихся въ нихъ студентовъ“.

VII.

Въ этой школѣ риторовъ-адвокатовъ воспитывалась христіанская полемика; многіе изъ ея представителей, какъ Петиліанъ, и въ епископскомъ санѣ оставались риторамъ-адвокатами. Иные были, какъ другой противникъ Августина, Кресконій, учителями

¹⁾ См. Hatch. „Griechenthum und Christenthum“, —изм. перев., 2-я и 5-я лекціи.

риторики. Но замѣчательно, что эти ритори оспариваютъ у своихъ противниковъ право пользоваться риторикой и діалектикой. Петиліанъ, ставши епископомъ, упрекаетъ Августина въ знакомствѣ съ риторикой и діалектикой, какъ несомнѣстными съ христіанствомъ, и великому оратору, — для котораго риторика и діалектика были не техникой, заученной въ школѣ, а природнымъ даромъ, — пришлось оправдывать себя въ томъ, что онъ прибѣгаетъ къ искусству язычниковъ для защиты вѣры. Уже Петиліанъ обвинялъ Августина въ діалектикѣ, выставляя ее на позоръ передъ судомъ народнымъ, какъ мастерицу лжи, и отождествлялъ его съ ритормъ Тертулломъ, противникомъ апостола Павла, за что получилъ отъ Августина вполнѣ заслуженный упрекъ, что онъ „не честный спорщикъ“ (*tu es non veridicus disputator*).

Особенно же запальчиво напалъ на Августина за діалектику Кресконій. Какъ человекъ, будто-бы стоящій внѣ партій, Кресконій считаетъ себя въ правѣ упрекнуть Августина въ томъ, что онъ спорщикъ (*contentiosus*), а также въ „невыносимой надменности, заставляющей его думать, что онъ одинъ въ состояніи *разрушить* то, что другимъ казалось необъяснимымъ и потому подлежащимъ одному лишь суду Божію“. Отклоняя отъ себя упрекъ, будто онъ — спорщикъ, Августинъ ссылается на авторитетъ Христа, пророковъ и апостоловъ, возвѣщавшихъ истину не только своимъ послѣдователямъ, но и врагамъ. „Пусть, — восклицаетъ онъ, — присвоиваютъ себѣ названіе и вину злобныхъ спорщиковъ тѣ, которые въ упрямомъ коварствѣ потворствуютъ лжи или превозносятъ истину изъ завистливаго тщеславія“. — Доказывая словами самого же Кресконія, что онъ не одинъ трудился надъ прекращеніемъ злосчастной распри, Августинъ ставитъ ему на видъ, что труды эти были *не безплодны*. „Еслибы Кресконій могъ знать, какъ широко и глубоко было раньше распространено это заблужденіе по Африкѣ, и какъ мало теперь осталось людей, не вошедшихъ въ лоно каѳоличества, онъ не сталъ бы называть безплодными и тщетными настоянія защитниковъ христіанскаго міра и единства“.

Всего интереснѣе въ этой полемикѣ то, что специалистъ по риторикѣ вздумалъ упрекнуть знаменитаго мастера слова въ злоупотребленіи риторикой и діалектикой. На этотъ упрекъ въ риторствѣ Августинъ отвѣтилъ Кресконію болѣе подробно. Обличая опасное для него краснорѣчіе Августина, Кресконій сослался на авторитетъ Св. Писанія, но весьма неудачно, въ доказательство, что „большимъ краснорѣчіемъ не избѣгнешь грѣха“. Ука-

завъ своему противнику, что въ приведенномъ имъ текстѣ говорится не о *краснорѣчии* (*eloquentia*), а о *многоглаголаніи* (*multiloquium*), Августинъ объясняетъ Кресконію разницу между тѣмъ и другимъ. Последнее есть излишнее словоизверженіе, — порокъ, происходящій отъ страсти говорить. Большею частью любить говорить тотъ, кто не знаетъ, что и какъ надо говорить. Краснорѣчіе же есть способность *складно* (*congruenter*) сказать то, что мы думаемъ; прибѣгать къ нему слѣдуетъ тогда, когда мы правильно (*recta*) думаемъ; — но не такъ, однако, пользовались имъ еретики...

Еще внушительнѣе отразилъ Августинъ упрекъ въ діалектикѣ. Какъ кошка съ мышкой, легко и безпощадно игралъ со своимъ противникомъ знаменитый христіанскій діалектикъ. „Что такое діалектика, — спрашиваетъ онъ Кресконія, — какъ не умѣнье спорить. Объясняю я это потому, что ты хотѣлъ меня ею упрекнуть, какъ будто діалектика не ладитъ съ христіанской истиной; потому и ученые ваши выдають меня за діалектика, котораго скорѣе нужно избѣгать и остерегаться, чѣмъ опровергать и побѣждать. Тебя, однако, они въ этомъ не убѣдили, ибо ты даже не усомнился вступить со мной въ публичное состязаніе. И однакоже ты обвиняешь меня въ діалектикѣ, чтобы обмануть неопытныхъ и восхвалить тѣхъ, кто не захотѣлъ поспорить со мною. А ты самъ развѣ не прибѣгаешь къ діалектикѣ, когда пишешь противъ меня? Зачѣмъ же ты подвергаешь себя такой опасности, если не научился спорить? — Если же ты научился, то зачѣмъ ты, діалектикъ, укоряешь другого въ діалектикѣ? Значитъ, ты или опрометчивъ, если вступаешь въ споръ, не вѣдая искусства, безъ котораго ты будешь побѣжденъ, — или же неблагодаренъ, если, пользуясь діалектикой, нападаешь на нее. Разбирая сочиненіе, которое ты противъ меня написалъ, я вижу въ немъ то обильное и красивое изложеніе, т.-е. краснорѣчіе, то тонкое и ловкое разсужденіе, т.-е. діалектику; и тѣмъ не менѣе ты осуждаешь и краснорѣчіе, и діалектику. Если это дурное дѣло, зачѣмъ же ты къ нему прибѣгаешь? если не дурное, зачѣмъ имъ укоряешь?

„Если же того слѣдуетъ называть краснорѣчивымъ, кто говоритъ не только обильно и красиво, но и правдиво, — а діалектикомъ слѣдуетъ того называть, кто не только ловко, но правдиво спорить, — то ты дѣйствительно не обладаешь ни краснорѣчіемъ, ни діалектикой; не потому, чтобы рѣчь твоя была суха и безсвязна, и не потому, чтобы аргументація твоя была неуклюжа

и нелогична, — а потому, что ты злоупотребляешь обилиемъ рѣчи и остроуміемъ для защиты лжи“.

Но діалектика не должна ни въ какомъ случаѣ служить для христіанина предлогомъ, чтобы уклониться отъ спора. „Вѣдь это искусство, — говоритъ Августинъ, — научающее лишь доказывать, что изъ чего слѣдуетъ — истина ли изъ истины, или ложь изъ лжи, отнюдь не страшно для христіанскаго ученія. И Августинъ подробно доказываетъ это положеніе примѣрами изъ Св. Писанія. „Апостолъ Павелъ не убоился стоиковъ и не пренебрегъ ими, когда они захотѣли вступить съ нимъ въ споръ (Дѣянія Ап. XVII, 18). А тебѣ извѣстно, что діалектика особенно процвѣтала у стоиковъ, хотя и эпикурейцы хвастались тѣмъ, что соблюдаютъ въ спорѣ нѣкоторые правила, безъ помощи которыхъ легко можно впасть въ заблужденіе. Стоики же превосходили въ діалектикѣ всѣ прочія философскія школы“. Въ доказательство Августинъ приводитъ слова академика Карнеада о стоикѣ Хризиппѣ, что съ нимъ необходимо спорить натошаеъ; всѣхъ же прочихъ Карнеадъ легко побѣдитъ и вставши съ обѣда. — „Такъ если сочиненія стоиковъ научили меня спорить, — продолжаетъ Августинъ, — то пусть ваши епископы поступать со мною по примѣру ап. Павла; пусть они не избѣгаютъ бесѣды со мною, подобно тому, какъ апостолъ не прогналъ отъ себя стоиковъ. — А ты еще хвалишь своихъ епископовъ за то, что они со мною, какъ съ діалектикомъ, не хотятъ вести рѣчи!“

„Но если самъ ап. Павелъ былъ діалектикъ и не боялся спорить со стоиками, потому что онъ спорилъ не только остро, какъ они, но и правдиво, — то остерегайся кого-либо укорять діалектикой, въ которой прибѣгали, какъ ты долженъ признать, сами апостолы“.

Но, защищая діалектику, Августинъ сослался еще на болѣе сильный авторитетъ, — онъ привелъ примѣръ Христа, не уклонявшагося отъ бесѣды съ фарисеями, несмотря на ихъ ухищренія изловить его на словѣ. „Если ты, — обращается Августинъ къ Кресконію, — назовешь іудеевъ діалектиками за то, что они коварно и злодѣйски хотѣли изловить Христа, — какими именно хотѣли бы вы выставить насъ, — то почему Господь имъ отвѣчалъ? — Почему, давъ имъ объясненіе, онъ довелъ ихъ до признанія истины? — Почему онъ имъ сказалъ: „почто искушаете вы меня, *лицемѣры*“, а не прибавилъ: діалектики? Вижу отсюда, какъ ты мучишься надъ опредѣленіемъ діалектика, не желая признать въ немъ ни человѣка, искуснаго въ спорахъ, — чтобы не быть вынужденнымъ похвалить то, что ты осуждалъ, — ни коварнаго ловца словъ (*verborum captator*), — чтобы тебѣ не сказали:

если съ таковыми говорилъ Христосъ, то пусть съ таковыми побесѣдуетъ и христіанинъ“.

Напрасно Кресконій укорялъ Августина діалектикой. Самъ онъ, какъ ученый словесникъ, не только прибѣгалъ къ ней, но и пользовался *грамматикой*, чтобы придираться къ Августину. Такъ, по поводу взаимныхъ пререканій между донатистами и каеоликами по обвиненію въ выдачѣ священныхъ книгъ во время преслѣдованія, Кресконій воспользовался выраженіемъ Августина: „мы съ большей вѣроятностью (*probabilius*) можемъ вамъ поставить въ вину предательство“, — и на основаніи этихъ словъ сталъ обвинять въ предательствѣ каеолическую церковь; ибо, рассуждалъ онъ, если Августинъ считаетъ свое обвиненіе *болѣе вѣроятнымъ*, то этимъ онъ признаетъ, что обвиненіе донатистовъ *вѣроятнѣе*. Какъ педантъ, Кресконій не пропустилъ при этомъ случая поучить своего противника и объяснить ему наставительнымъ тономъ значеніе *сравнительной степени*, — а именно, что она „усиливаетъ предшествующее понятіе, а не отвергаетъ его“. — Любопытно, какъ черта времени и тогдашней грамматической культуры, что Августинъ счелъ нужнымъ доказывать своему противнику, что онъ ошибается, т.-е., что не всегда сравнительная степень служить подтвержденіемъ того, что высказано въ первой степени. По обычаю того времени, доказательство ведется посредствомъ ссылокъ на авторитеты священной и мірской литературы, причемъ Августинъ снова обнаруживаетъ свою замѣчательную начитанность и память. Такъ онъ приводитъ противъ Кресконія слова, гдѣ апостолъ, упомянувъ „о землѣ, производящей тернія и волчцы, — негодной и близкой къ проклятію“ (Евр. VI, 8), продолжаетъ: „впрочемъ, о васъ, возлюбленные, мы надѣмся, что вы въ *лучшемъ* состояніи, и держитесь спасенія, хотя и говоримъ такъ“. Изъ языческой же литературы Августинъ привелъ стихъ изъ Георгіево (III, 513): „*Di meliora priis*“ и т. д., которымъ Вергілій, говоря о *лучшей* участи благочестивыхъ, вовсе не хотѣлъ сказать, что страшная судьба, ожидающая нечестивыхъ, въ его глазахъ хороша.

VIII.

Намъ понятны упреки въ діалектикѣ, которые донатисты дѣлали Августину; онъ былъ для нихъ такимъ сильнымъ противникомъ, что они невольно объясняли свои пораженія его искусствомъ. Самъ же онъ обращается съ вождями донатистовъ въ

полемиѣ весьма различно. Иногда онъ относится въ нимъ съ большимъ почтеніемъ: такъ, онъ пишетъ Эмериту, епископу Кесарійскому (въ Мавританіи — нынѣ Шершелъ): „Желанный и любезный братъ, когда я прослышу про человѣка умнаго и просвѣщеннаго въ наукахъ, — хотя не въ нихъ спасеніе души, — что онъ въ вопросѣ нетрудномъ думаетъ несогласно съ истиной, я изумляюсь и горю желаніемъ познакомиться и побесѣдовать съ нимъ; когда же это невозможно, я по крайней мѣрѣ пытаюсь расшевелить его умъ посредствомъ посланій, которыя далеко залетаютъ“.

Но, какъ признается самъ Августинъ во вступительныхъ словахъ перваго посланія къ Петиліану, тонъ этого посланія рѣзко отличается отъ прежнихъ. Если первыя посланія Августина были *мироточивы* и имѣли цѣлью поставить противниковъ на путь истины, то теперь онъ имѣлъ дѣло съ врагомъ непримиримымъ, котораго надо было сломить. Съ первыхъ словъ своего посланія Петиліанъ такъ рѣшительно *отрицалъ* своихъ „единовѣрцевъ“ отъ всякаго соглашенія съ церковью, что Августинъ не вѣрилъ, чтобы это посланіе было „произведеніемъ Петиліана, — человѣка, который славился у своихъ и ученостью, и краснорѣчіемъ“. Дѣйствительно, для того, чтобы оправдать вторичное крещеніе, которому донатисты подвергали каеоликовъ, Петиліанъ утверждалъ, что послѣдніе „подъ именемъ крещенія лишь оскверняютъ свою душу грѣховнымъ купаньемъ“.

Съ такимъ запальчивымъ противникомъ Августинъ велъ полемику страстно, пользуясь всѣми его слабыми мѣстами, раскрывая неискренность его утвержденій, ловя его на уверткахъ и преслѣдуя безпощадной ироніей.

Такъ, когда Петиліанъ сказалъ о своихъ единовѣрцахъ: „мы, нищіе духомъ, страшимся богатствъ“, и сталъ примѣнять къ нимъ слова апостола: „мы ничего не имѣемъ, но всѣмъ обладаемъ“, Августинъ спросилъ его: „Въ этомъ ли заключается страхъ богатства и бѣдность донатистовъ, что ихъ епископы покупаютъ населенныя имѣнія и перекрещиваютъ въ нихъ колоновъ, какъ Криспинъ въ Каламѣ? Удивляюсь я, — продолжаетъ Августинъ, — что эти твои слова долетѣли до меня, миновавъ его; ибо между Константиной, гдѣ ты пребываешь, и Гиппоной, гдѣ я живу, находится Калама, гдѣ живетъ онъ, — правда, ближе ко мнѣ, но все-же на пути между нами. Удивляюсь я, какъ онъ не переслалъ твоихъ словъ, чтобы они не дошли до меня, — и какъ изъ нихъ не послалъ тебѣ назадъ съ пространнымъ восхвале-

ніемъ богатства?—Вѣдь онъ не только не страшится богатства, но и любитъ его. Во всякомъ случаѣ, прежде чѣмъ распространять въ народѣ такія слова, сообщи ихъ Криспину, и если онъ послѣ этого не исправитъ ихъ, тогда я отвѣчу. Если же правда, что ты соблюдаешь бѣдность, то вѣдь при тебѣ живетъ мой братъ Фортуній (каеолическій епископъ Константины), и тебѣ будетъ легче быть съ нимъ въ согласіи, чѣмъ съ твоимъ собратомъ“. — Въ другой разъ Петиліанъ сталъ укорять каеоликовъ за то, что они ищутъ защиты у царей. „Что вамъ,—восклицалъ онъ,—до царей міра сего, которые къ праведникамъ и къ христіанамъ всегда были враждебны?“—Августинъ на это отвѣтилъ, что, пытаясь перечислить царей, угнетавшихъ праведниковъ, Петиліанъ не принялъ во вниманіе, что еще больше можно указать такихъ царей, которые благопріятствовали праведникамъ. Подтвердивъ это примѣрами изъ исторіи евреевъ, Августинъ переходитъ къ временамъ христіанства и напоминаетъ донатистамъ ихъ обращеніе за защитой къ Константину и Юліану. „Если эти императоры были враждебны христіанамъ, то почему вы апелировали къ суду перваго и ходатайствовали о защитѣ передъ другимъ?“

Петиліанъ не разъ попадался въ просакъ, когда въ полемикѣ съ Августиномъ обращался къ исторіи. Такъ, однажды онъ „дерзнулъ,—по словамъ Августина,—*стращать* своихъ противниковъ увѣреніемъ, что большая часть императоровъ и судей, ихъ преслѣдовавшихъ, *погибли*“. — „Прочитавъ эти слова,—возражаетъ Августинъ,—я съ большимъ интересомъ ожидалъ, кого ты назовешь“. И оказалось, что Петиліанъ называлъ восемь императоровъ, преслѣдовавшихъ христіанъ, начиная съ Нерона и кончая Максиміаномъ. „Ты, однако, забылъ, противъ кого ратуешь,—напоминаетъ ему Августинъ:—развѣ не всѣ они язычники и развѣ они не преслѣдовали изъ-за своихъ идоловъ всю совокупность христіанскаго имени? Опомнись же: вѣдь они не принадлежали къ нашей церкви; они преслѣдовали единую церковь, откуда мы, какъ вы полагаете, *ушли*, и откуда вы, согласно ученію Христа, *ушли*. Такъ зачѣмъ же было называть имена, не относящіяся къ дѣлу?—Да что мнѣ до нихъ; я тебѣ ихъ оставляю. Но теперь укажи мнѣ тѣхъ, кого обѣщаютъ указать,—ту большую часть погибшихъ христіанскихъ императоровъ. Или же ихъ потому не оказывается, что они погибли?“— По этому случаю Августинъ могъ бы сказать то, что онъ въ другомъ мѣстѣ замѣтилъ Петиліану: *haec verba jactare et nihil probare, quid est nisi delirare* (извергать такія слова и ничего

не доказать,—что это, какъ не бредъ!)) Если Петиліанъ осуждалъ своихъ противниковъ за то, что они пользовались покровительствомъ государственной власти,—хотя и сами донатисты прибѣгали къ защитѣ Юліана,—то это еще можно извинить забывчивостью или назвать непослѣдовательностью, — но уже никакъ нельзя не видѣть ханжества со стороны апологета донатистовъ, когда онъ хвалится, что его единовѣрцамъ всегда было чуждо насиліе въ вѣрѣ? Негодуя на изданные противъ донатистовъ законы, Петиліанъ ставилъ своимъ въ заслугу, что несомѣстно съ ихъ совѣстью кого-либо насильно обращать. Съ безпощадной силой раскрылъ Августинъ всю ложь своего противника, поставившаго донатистамъ въ заслугу ихъ безсиліе: „Подъ гнетомъ изданныхъ противъ васъ законовъ, или подъ страхомъ возбудить противъ себя злобу, или же въ сознаніи, что вы не въ силахъ бороться, не скажу—со столькими людьми, но со столькими народами каеолическими,—вы еще кичитесь тѣмъ, что будто-бы по кротости своей никого не принуждаете къ своей ереси. Но испуганный коршунъ, которому не удалось унести цыпленка, съ такимъ же правомъ можетъ назвать себя голубицей. А когда же бывало, чтобы, будучи въ силахъ, вы не творили насилій,—которыми доказали, что натворили бы больше, еслибы могли. Кто теперь въ состояніи припомнить всѣ неистовства ваши, когда Юліанъ, этотъ ненавистникъ мира Христова, отдалъ вамъ православныя церкви, и когда во вновь открытыхъ языческихъ храмахъ сами демоны вмѣстѣ съ вами лиевали?“

Казуистика, къ которой нерѣдко прибѣгаетъ бывший адвокатъ, не всегда ему удавалась, но она побуждала и самого Августина идти по этому скользкому пути. Такъ, напримѣръ, однажды Петиліанъ вздумалъ поставить своимъ противникамъ ловушку въ видѣ такой дилеммы. „Выбирайте наконецъ одно изъ двухъ: если вы неповинны, то зачѣмъ преслѣдуете насъ желѣзомъ; если же вы признаете насъ виновными и порочными, то зачѣмъ, будучи чистыми, вы ищете общенія съ нами?“—Августинъ на это отвѣтилъ: „О, какая хитроумная, или, вѣрнѣе сказать, бессмысленная болтовня!—Развѣ можно заставить отвѣчать, когда нельзя отвѣтить на дилемму? Еслибы ты предложилъ мнѣ на выборъ сказать, чисты ли мы отъ вины, или порочны, я не могъ бы сдѣлать иначе, какъ выбрать тотъ или другой отвѣтъ; но ты теперь предлагаешь мнѣ такіе вопросы, которые не представляютъ дилеммы,—чисты ли *мы*, или порочны ли *вы*,—и требуешь, чтобы я далъ отвѣтъ. Но я не хочу дать *одинаго* отвѣта, ибо я *утверждаю* и то, и другое,—и то, что за нами нѣтъ вины, и то,

что вина—на вашей сторонѣ. Мы не виновны въ томъ, въ чемъ вы насъ ложно оклеветали, ибо можемъ съ чистою совѣстью сказать, что совокупность православныхъ ни Св. Писаній не выдавала, ни идоламъ не молилась, ни убійствъ не совершала. Если же кто-либо изъ насъ,—чего вы, однако, не доказали,—что-либо подобное сдѣлалъ, то онъ себѣ, а не намъ заградилъ доступъ въ царство небесное: ибо *каждый понесетъ свое бремя* (Гал. VI, 5). Вотъ тебѣ одинъ отвѣтъ. Вы же всѣ преступны и виновны не въ тѣхъ преступленіяхъ, которыя кѣмъ-либо изъ вашихъ совершаются, но виновны въ преступномъ расколѣ, и къ этому ужасному преступленію никто изъ васъ не можетъ считать себя непричастнымъ, пока не будете въ общеніи со „всенароднымъ единствомъ“. Вотъ тебѣ другой отвѣтъ. Итакъ, я тебѣ отвѣтилъ на оба вопроса, изъ которыхъ, какъ ты желалъ, я долженъ былъ избрать для отвѣта только одинъ.

„Но ты говоришь: „если вы не виновны, то зачѣмъ вы преслѣдуете насъ желѣзомъ?“—Лучше погляди на свои полчища, которыя вооружены теперь уже не по старому обычаю предковъ одними *древками*,—но къ нимъ прибавили топоры, копья и мечи, такъ скажи, къ кому должны относиться эти слова: „Зачѣмъ вы насъ желѣзомъ преслѣдуете?“—Но ты еще говоришь: „Если мы виновны, то зачѣмъ вы, будучи безъ вины, ищете насъ?“—На это я кратко отвѣчу: оттого васъ, виновныхъ, ищутъ невинные, чтобы вы перестали быть виновными и стали невинными. Теперь ты выбирай одно изъ двухъ: неповинны вы, или виновны? Ты не можешь сказать: и то, и другое! Итакъ, если вы неповинны, то не должны удивляться, что васъ ищутъ братья для единенія съ вами въ мирѣ; если же виновны, то не удивляйтесь, что васъ изыскиваютъ правители міра сего для кары“.

Хотя, какъ изъ этого видно, Августинъ не пренебрегаетъ средствами діалектики и бьетъ противника его же оружіемъ, но онъ его превосходитъ искренностью и христіанскимъ смиреніемъ. Это особенно обнаруживается тамъ, гдѣ ему приходится защищаться отъ личныхъ нападокъ Петиліана.

IX.

Когда первая книга Августина попала въ руки Петиліана, уязвленный апологетъ донатизма поспѣшилъ отвѣтить на нее, и ухватился за недостойное оружіе—личныя нападки, не воздерживаясь даже отъ клеветы. Онъ, напримѣръ, не только поста-

вилъ Августину въ укоръ его принадлежность къ манихеямъ, но и утверждалъ, что тотъ былъ у нихъ пресвитеромъ, и что онъ былъ изгнанъ изъ Африки по приговору проконсула Мессія,—чего не могло быть уже по хронологическимъ соображеніямъ; наконецъ, Петиліанъ воспользовался какимъ-то письмомъ каламійскаго (православнаго) епископа Мегалія противъ бывшаго тогда еще пресвитеромъ Августина, хотя впоследствии Мегалій, приглашенный въ Гиппонъ на посвященіе Августина въ епископы и спрошенный объ этомъ письмѣ на собраніи епископовъ, признался, что былъ введенъ въ заблужденіе, и просилъ извиненія.

Отвѣтъ Августина на эти нападки замѣчательнъ по исполненной достоинства сдержанности и полемическому такту. Въ дѣлѣ своего личнаго оправданія онъ обращается не къ Петиліану, а къ любезнымъ братьямъ, католическимъ христіанамъ; онъ не хочетъ защищать свою жизнь, протекшую до крещенія, „отрекаясь отъ нея и осуждая ея страсти и заблужденія“,—онъ ищетъ не своей славы, а славы Того, Кто по своей милости избавилъ его отъ нея. „Когда я слышу, что кто-нибудь эту жизнь осуждаетъ,—съ какою бы то ни было цѣлью,—я не столь неблагодаренъ, чтобы о томъ скорбѣть; ибо насколько другіе порицають мой порокъ, настолько я прославляю своего врача. Такъ что же мнѣ оправдываться относительно прошлаго и искорененнаго зла, о которомъ Петиліанъ наговорилъ много ложнаго, а большаго и справедливаго не сказалъ! Что же касается до времени послѣ моего крещенія, я считаю излишнимъ говорить тѣмъ, кто знаетъ меня, о томъ, что можетъ быть вѣдомо каждому. Остается лишь то, что скрыто въ человѣкѣ, въ чемъ свидѣтельница можетъ быть одна только совѣсть, — свидѣтельство которой люди не считаютъ достаточнымъ. Петиліанъ называетъ меня манихеемъ, основываясь на чужой совѣсти; я же утверждаю противное, говоря по *своей совѣсти*. Выбирайте, кому хотите вѣрить.“—„Я человѣкъ съ гумна Христова, — говоритъ далѣе Августинъ:—если я дурной, то принадлежу къ плеведамъ; если добрый, я—пшеничное зерно. Но не Петиліанову языку быть вѣялкой на этомъ гумнѣ!“

Но эта скромность Августина не спасла Петиліана. „Зачѣмъ тебѣ нужно было,—спрашиваетъ его Августинъ,—въ дѣлѣ, имѣющемъ общественное значеніе, злословить какъ бы по личной злобѣ и порочить жизнь одного человѣка, какъ будто въ этомъ человѣкѣ дѣло?—А еслибы и я сталъ отвѣчать бранью на брань, что бы изъ этого вышло? Мы оба оказались бы клеветниками,

такъ что дѣльные читатели отнеслись бы къ намъ съ пренебреженіемъ; другіе же нашли бы въ этомъ потѣху для своихъ дурныхъ наклонностей. Тебѣ слѣдовало бы уважать сужденіе первыхъ, остерегаться ихъ укора и не давать имъ повода подумать, что ты, не находя, что возразить, задался цѣлью злословить. Но ты предпочелъ одобреніе людей легкомысленныхъ и пустыхъ, любящихъ слушать словопренія краснорѣчивыхъ хулителей изъ-за того, чтобы они, прислушиваясь, какъ краснорѣчиво ты braniшься (*convincieris*),—не замѣтили, какъ справедливо ты опровергнуть (*convincaris*). И потому еще ты такъ поступилъ,—продолжаетъ язвительно Августинъ,—чтобы я, занятый личной защитой, упустилъ изъ вида взятую на себя задачу, и чтобы истина, разъясненія которой вы опасаетесь, затемнилась для другихъ, привлеченныхъ не диспутомъ, а личными препирательствами“. Въ противоположность этому, пренебрегая личной защитой, Августинъ собирается отдаться дѣлу, съ котораго его „не собьетъ никакой обвинитель“. Приступая затѣмъ къ вопросу о вторичномъ крещеніи, Августинъ опять обращается къ читателямъ Петиліана и приглашаетъ ихъ внимательно изслѣдовать, вникая въ каждую страницу, разбирая каждую фразу, взвѣшивая каждое слово, расчленяя каждый слогъ, и затѣмъ рѣшить, отвѣтилъ ли Петиліанъ на его возраженія?

Отъ способовъ полемики между Августиномъ и донатистами обратимся къ ея существу. Какъ выше было замѣчено, въ обличеніи донатистовъ Августиномъ отведено очень большое мѣсто историческимъ доводамъ. Августинъ пользуется самой исторіей донатистовъ, чтобы отвѣчать на всѣ ихъ упреки и жалобы. Первымъ пунктомъ обвиненія противъ африканской каеолической церкви было, какъ извѣстно, увѣреніе донатистовъ, что духовенство этой церкви было рукоположено предателями временъ Діоклетиана и Константина. На это Августинъ отвѣчалъ двумя возраженіями. Опираясь на историческіе документы, онъ утверждаетъ, что увѣренія донатистовъ — клевета, что Феликсъ, рукоположившій епископа Цециліана карфагенскаго, не былъ предателемъ, и что наоборотъ, какъ видно изъ официальныхъ документовъ, предатели были среди виновниковъ донатизма, что, однако, не мѣшало другимъ епископамъ этой партіи оставаться въ общеніи съ ними. Такъ полемизируя противъ донатистскаго пресвитера, старавшагося „свернуть“ каеолическаго епископа города Константины, Генероза, Августинъ пишетъ послѣднему:

„Приведи ему муниципальные протоколы, составленные при фламинѣ Мунаціѣ-Феликсѣ, тогдашнемъ попечителѣ вашего города въ 8-е консульство Діоклеціана и 7-е Максиміана, 21-го мая (368 г.), изъ которыхъ явствуетъ, что (ихъ) епископъ Павелъ былъ предатель, а съ нимъ и его субдіаконъ, Сильванъ, и что послѣдній выдалъ сосуды Господни, даже такіе, которые были тщательно скрыты; послѣ чего нѣкій Викторъ ему сказалъ: „Была бы смерть твоя, еслибы ты этого не нашелъ“. И этого-то Сильвана, обличеннаго предателя, онъ, донатистскій пресвитеръ, еще восхваляетъ въ письмѣ къ тебѣ за то, что онъ былъ посвященъ въ епископы Секундомъ, тогдашнимъ приматомъ Нумидіи. Пусть же замолкнетъ гордый языкъ ихъ и пусть познаютъ они преступленія свои и не говорятъ въ своемъ бреду неправды. Приведи ему также, если онъ хочетъ, церковные протоколы этого Секунда, составленные на ихъ сборищѣ въ домѣ Урбана, когда онъ предоставилъ суду Божію признавшихся предателей и вмѣстѣ съ этими предателями посвятилъ Сильвана въ епископы. Приведи ему протоколы консула, Зенофила, гдѣ помѣчено, какъ нѣкій діаконъ Нундинарій, по злобѣ противъ Сильвана, за то, что былъ имъ отлученъ,—все это показалъ на судѣ, состоявшемся на основаніи несомнѣнныхъ документовъ и свѣдѣтельскихъ показаній, которыя ясныѣ свѣта“.

Но вѣдь и донатисты, обвинявшіе католическихъ епископовъ въ предательствѣ или въ общеніи съ предателями, выставляли *документы*, подлинность которыхъ оспаривалась съ противной стороны. Поэтому Августинъ не желалъ сводить вопросъ на то, кто правъ, схизматики или церковь, на, такъ сказать, нотаріальную, или, какъ мы говоримъ, архивную почву. И вотъ онъ отрывается отъ этой почвы и поднимаетъ вопросъ на высоту съ помощью силлогизма, достоинство котораго вполнѣ былъ способенъ оцѣнить бывший адвокатъ Петиліанъ. „Если и съ вашей стороны выставляются противъ нашихъ предшественниковъ какіе-либо документы, то справедливость требуетъ признать, что ваши, такъ же какъ и наши, одинаково подлинны или подложны. Если тѣ и другіе подлинны, тогда вы безъ сомнѣнія окажетесь виновными въ расколѣ, ибо вы притворяетесь, что избѣгаете общенія со вселенской церковью изъ-за преступленій, которыя совершались въ той части церкви, которую вы отсѣлили. Если же документы обѣихъ сторонъ подложны, вы опять-таки виновны въ схизмѣ, такъ какъ запятнали себя ужаснымъ преступленіемъ раскола ради вымышленныхъ преступленій предательства. Наконецъ, если у насъ есть противъ васъ документы,

а у васъ противъ насъ никакихъ, или если наши подлинны, а ваши подложны, тогда не о чемъ и спорить, и ваши уста должны смолкнуть". Затѣмъ, отрываясь отъ такого разбирательства судебныхъ актовъ и документовъ, Августинъ поднимается на высоту принципа, доказывая, что правда или неправда донатистовъ не зависитъ отъ случайной подлинности или подложности какого-нибудь муниципальнаго протокола. „Святая и истинная церковь Христова,—вослицаетъ Августинъ,—обличаетъ и побѣждаетъ васъ—даже въ томъ случаѣ, еслибы мы не представили никакихъ документовъ вашего предательства или только подложные акты, а съ вашей стороны было предоставлено много документовъ, и притомъ подлинныхъ“.

На приглашеніе предать забвенію старую распрю и возобновить общеніе съ католическою церковью, донатисты отвѣчали, что такое общеніе вовлекло бы ихъ въ храмъ, такъ какъ церковь терпитъ въ своей средѣ епископовъ, рукоположенныхъ предателями. Этимъ же донатисты оправдывали вторичное крещеніе переходившихъ къ нимъ православныхъ. Эту аргументацію Августинъ разрушаетъ указаніемъ на то, что только-что произошло въ ихъ средѣ. Какъ разъ въ критическую для донатистовъ эпоху, начавшуюся съ наложенія на нихъ Θεодосіемъ денежной пени, среди нихъ самихъ обнаружился расколъ. Преемникъ Парменіана, донатистскаго епископа на карфагенской каедрѣ, Приміанъ, въ 391 г., за гордость удалилъ отъ должности діакона Максиміана. Послѣдній нашелъ поддержку у вліятельной женщины, новой Луциллы; около нихъ составила партія, служившая привлечь симпатіи виѣ Карфагена. Повторилась исторія, случившаяся при Цециліанѣ; 43 донатистскихъ епископа съѣхались въ Карфагенъ, чтобы разсудить Максиміана и Приміана. Послѣдній на ихъ судъ не явился и велѣлъ запереть для нихъ церкви. Епископы не рѣшились произнести приговоръ надъ отсутствующимъ архіепископомъ, но, назначивъ для разбора дѣла новый соборъ въ сосѣдней провинціи, позвали туда къ отвѣту Приміана. Въ числѣ 53 они тамъ отрѣшили отсутствующаго Приміана за крутое и жестокое обращеніе съ духовенствомъ. Приміанъ, съ своей стороны, созвалъ на слѣдующій годъ соборъ въ Багаи, на окраинѣ Нумидіи, куда съѣхалось 310 епископовъ. На этотъ разъ отсутствовалъ Максиміанъ; онъ былъ осужденъ въ самыхъ оскорбительныхъ выраженіяхъ, а приверженцамъ его данъ восьмилѣтній срокъ, подъ угрозой лишенія ихъ духовнаго сана. Съ помощью римскихъ властей *приміанисты* воздвигли гоненіе на максиміанистовъ. Многіе изъ послѣднихъ сдались,

но и некоторые обнаружили всю стойкость и самоотверженность мученичества. Въ особенности прославились этимъ епископы Фелиціанъ и Претекстатъ, удержавшіеся въ своихъ епархіяхъ Мустисъ (въ Нумидіи) и Ассуръ (нынѣ Занфуръ, близъ Кефа, въ Тунисѣ), несмотря на назначеніе имъ преемниковъ. Наконецъ, послѣ долгаго сопротивленія, эти епископы, чтобы спасти свои города отъ грабежа и пожара, согласились присоединиться къ приміанистамъ и были приняты ими въ прежнемъ санѣ. Все это дѣло Максиміана было для Августина неисчерпаемымъ источникомъ обличеній. „Пусть,—воскликаетъ онъ,—донатисты поразмыслятъ о томъ, что они натворили; по-дѣломъ имъ: ихъ прежнія дѣянія снова предстали предъ ихъ очами. Спросите, благодаря какой женщины Максиміанъ, котораго называютъ родственникомъ Доната, отщепился отъ общины Приміана и какимъ способомъ онъ, собравъ партію епископовъ, засудилъ своего епископа въ его отсутствіе и былъ посвященъ на его мѣсто. Или, можетъ быть, вы захотите выставить на видъ, что Приміанъ былъ потомъ оправданъ и нашелъ поддержку со стороны прочихъ африканскихъ епископовъ противъ партіи Максиміана; а того, что Цециліанъ былъ оправданъ заморскими епископами ~~одной~~ церковью, противъ партіи Доната,—вы не хотите признать? Скажите, братья мои, развѣ многого я у васъ прошу, развѣ чего труднаго для вашего пониманія я требую? Громадна разница и безмѣрно разстояніе между авторитетомъ и численностью африканской церкви и церквами остального міра; и вся эта африканская церковь, даже еслибы въ ней господствовало единство по отношенію къ церквамъ всѣхъ прочихъ христіанскихъ народовъ,—несравненно меньше, чѣмъ партія Максиміана по отношенію къ партіи Приміана; такъ я считаю справедливымъ и прошу лишь объ одномъ, чтобы вы не придавали большаго значенія собору Секунда Тигизійскаго ¹⁾, который Луцилла смастерила противъ отсутствующаго Цециліана, противъ апостольской каведры и противъ всего міра,—чѣмъ вы признали за тѣмъ соборомъ, который какая-то другая женщина смастерила противъ отсутствующаго Приміана и многочисленныхъ африканскихъ епископовъ, державшихъ его сторону“.

Этимъ дѣломъ „максиміанистовъ“ Августинъ пользуется и въ полемикѣ противъ Кресконія, и хотя оно уже было разобрано имъ въ третьей книгѣ этой полемики, онъ ему особо посвящаетъ всю четвертую часть, чтобы на одномъ этомъ дѣлѣ до-

¹⁾ Который былъ поводомъ къ донатистскому расколу.

казать, какъ суетно и тщетно все, что сказано въ посланіи Кресконія. Августинъ, создатель теократической философіи исторіи, примѣняетъ здѣсь въ первый разъ эту теорію къ историческимъ событіямъ, придавая дѣлу максиміанистовъ провиденціальное значеніе, усматривая въ немъ особое проявленіе Божьей воли. „Необходимо, — говоритъ онъ о дѣлѣ максиміанистовъ, — внимательно отнестись къ этому благодѣянію Божьему, которое Господь соизволилъ ниспослать намъ на избавленіе, а вамъ на исправленіе. О, еслибы вы это поняли! Безъ вашего вѣдома и безъ содѣйствія съ нашей стороны Господь такъ распорядился вашими епископами, что они въ этомъ дѣлѣ явили міру полное обличеніе несостоятельности донатистовъ“.

Изъ исторіи максиміанистовъ въ особенности судьба Фелиціана и его товарища служить Августину для обличенія неприимимой вражды донатистовъ противъ католическихъ епископовъ. „Вы намъ ставите въ вину, — говоритъ онъ, — недоказанное по отношенію къ нашимъ, но вполне доказанное относительно васъ самихъ — преступленіе тѣхъ, кто подъ гнетомъ страха выдавалъ на сожженіе божественныя книги; зачѣмъ же вы приняли въ санъ епископовъ тѣхъ, кого вы сами осудили за преступленіе, раскола „правдивыми устами общаго собора“, какъ у васъ сказано, — Фелиціана и Претекстата? Если они были невинны, почему вы ихъ осудили? Если преступны, то зачѣмъ снова приняли ихъ въ свою среду? Если вы докажете, что они были вами невинно осуждены, то почему и намъ не допустить, что небольшимъ числомъ вашихъ предшественниковъ были осуждены по ложному обвиненію въ предательствѣ невинные? Если же вы докажете, что Фелиціанъ и товарищъ его были по-дѣломъ осуждены, то чѣмъ оправдать ихъ возстановленіе на епископскихъ каедрѣхъ, какъ не тѣмъ, что, признавая полезность и спасительность мира, вы пожелали доказать міру, что даже такія уступки слѣдуетъ дѣлать ради единства? О, еслибы это говорили не уста ваши только, но и сердца, тогда бы вы поняли, какъ непозволительно нарушать клеветой миръ Христа по всему земному кругу, если дозволено въ Африкѣ принять осужденныхъ за преступный расколъ въ томъ же епископскомъ санѣ, ради мира Доната“. Но еще другое основаніе донатистской ереси пошатнулъ Августинъ доводами, заимствованными изъ исторіи осужденныхъ донатистами Фелиціана и Претекстата, а именно — воззрѣнія донатистовъ на католическое крещеніе.

„Вы утверждаете, что у насъ нѣтъ крещенія Христа, и что оно обрѣтается только въ вашемъ общеніи; я могъ бы по этому

поводу многое сказать; но для чего говорить это вамъ, признававшимъ въ лицѣ Фелиціана и Претекстата правильнымъ крещеніе максиміанистовъ? Сколькихъ людей эти два епископа окрестили въ то время, когда состояли въ общеніи съ Максиміаномъ? въ то время, когда вы, какъ это показываютъ муниципальные протоколы, пытались отнимать у нихъ церкви посредствомъ беззачинной волокиты судебныхъ тяжбъ; а теперь всѣ, кого они тогда окрестили, пребываютъ съ ними и съ вами въ общеніи не только въ горькіе дни тревоги, но и въ торжественные дни Пасхи—во столькихъ церквахъ и въ большихъ городахъ пребываютъ въ единствѣ съ вами, хотя крещенные въ нечестивомъ расколѣ и потомъ не подвергнутые вторичному крещенію! А какъ скоро это такъ, то не хватитъ у насъ слезъ, чтобы оплакать осѣбленіе, съ какимъ вы признаете таинство, совершенное максиміанистами; крещеніе же, совершаемое во всемъ мірѣ, отвергаете! При этомъ безразлично, осудили ли вы Фелиціана и Претекстата, выслушавши ихъ или заочно, справедливо или несправедливо,—ибо кто изъ вашихъ, скажите, осудилъ кого изъ епископовъ, коринѳцевъ, галатовъ, ефезіанъ и прочихъ церквей?—И все-таки крещеніе Фелиціановыхъ сторонниковъ вы признаете, а крещеніе восточныхъ церквей отвергаете! Узрите же то, что бьетъ въ глаза слѣпому: лично осужденные вами за расколъ и изгнанные изъ церкви обладаютъ теперь въ вашихъ глазахъ таинствомъ крещенія; а у невѣдомыхъ вамъ, далекихъ отъ васъ, никогда вами не допрошенныхъ, никогда вами не осужденныхъ святителей, вы его отрицаете! Тѣ, которые откололись отъ отщепенцевъ Африки, обладаютъ таинствомъ, а тѣ, отъ кого Евангеліе пришло въ Африку, не обладаютъ имъ?—что же вы на это отвѣтите?“

Х.

Уважемъ, наконецъ, какъ Августинъ извлекалъ изъ исторіи донатистовъ обличеніе ихъ коренного софизма. Если поводомъ къ возникновенію ихъ раскола было то религиозное возбужденіе, которому выдача священныхъ книгъ языческимъ властямъ представлялась непростительнымъ грѣхомъ, то самое отношеніе донатистовъ къ дѣйствительнымъ или мнимымъ *предателямъ* коренилось въ болѣе глубокомъ и общемъ представленіи о церкви, какъ объ общинѣ *святыхъ*. Стремленіе къ совершенству и идеалу не разъ проявлялось среди древнихъ христіанскихъ общинъ съ такой силой, что не удовлетворялось установившимися среди нихъ

житейскими и нравственными нормами. Сторонники такихъ *пури-танскихъ* стремленій, какъ ихъ называютъ по аналогіи, находя отпоръ въ окружающей ихъ средѣ, были склонны къ обособленію и къ образованію среди церкви мірской—болѣе близкой къ христіанскому идеалу церкви *избранныхъ* или святыхъ. Такое движеніе появилось, какъ извѣстно, въ половинѣ второго вѣка въ малоазіатскихъ общинахъ, но послѣдователи Монтана не нашли тамъ благопріятной почвы. Такое же движеніе, какъ было упомянуто, дало себя сильно почувствовать, въ половинѣ третьяго вѣка, въ римской Африкѣ, но затѣмъ, повидимому, улеглось, чтобы воспрянуть съ новой силой во время Діоклеціановскихъ преслѣдованій. Это стремленіе къ обособленію во имя религіознаго идеала нашло въ Африкѣ благопріятныя для своего развитія условія въ противодѣйствіи и реакціи туземнаго элемента противъ латинской цивилизаціи и римскаго объединенія, носителями которыхъ стала въ Африкѣ церковь. Но донатисты, требуя церкви святыхъ и непорочныхъ, на самомъ дѣлѣ не только должны были ограничиться формальнымъ обособленіемъ, но, принадлежа къ средѣ грубой и склонной къ насилию, принуждены были терпѣть среди своихъ приверженцевъ проявленіе самыхъ дикихъ страстей. Такимъ образомъ, лозунгъ, подъ которымъ они шли, былъ въ полномъ противорѣчій съ дѣйствительностью, что ставило ихъ апологетовъ въ ложное положеніе и набрасывало на нихъ тѣнь ханжества и лжи. Августинъ, конечно, хорошо это видѣлъ и искусно воспользовался этой ложью для обличенія ихъ. Донатисты уклонялись отъ воссоединенія съ католической церковью подъ предлогомъ ея мнимой снисходительности къ *предателямъ*. Отвергая это обвиненіе, Августинъ настаиваетъ на томъ, что вселенской церкви мнимыя или хотя бы дѣйствительныя преступленія, совершенныя въ Африкѣ, оставались неизвѣстны; но, помимо того, утверждаетъ, что „даже завѣдомые злодѣятели не служатъ въ церкви укоромъ для праведныхъ, если тѣ не имѣютъ возможности устранить ихъ“. Подтвердивъ это различными текстами, Августинъ приходитъ къ слѣдующему заключенію. „Очевидно, не то дѣлаетъ человека нечестивымъ, если онъ подходитъ къ алтарю Христову вмѣстѣ съ какимъ-нибудь завѣдомымъ ему злодѣемъ, лишь бы онъ ему не сочувствовалъ и отдѣлялся отъ него, не одобряя его въ своей доброй совѣсти“.—„Вѣдь мы не осуждаемъ васъ,—обращается затѣмъ Августинъ къ донатистскому епископу Эмериту,—за то, что въ то время когда Опатъ Тамугадскій въ безумной власти хвастался своими буйствами, и стонъ всей Африки, не исключая

вашего собственного, служилъ его обвинителемъ,—вы не захотѣли отлучить его отъ церкви ради того, чтобы онъ не увлекъ за собою многихъ и не раскололъ вашей общины новой безумной схизмой. Но вотъ что послужить вамъ обвиненіемъ на судъ Господнемъ: считая великимъ бѣдствіемъ расколъ въ партіи Доната, вы предпочли терпѣть въ ней Оптата, чѣмъ допустить расколъ, и въ то же время вы упорствуете во злѣ, совершенномъ вашими предшественниками, отдѣлившимися отъ церкви Христа.

„Смущенный трудностью возразить что-либо противъ этого, не вздумай, братъ Эмеритъ, защищать Оптата! Не дѣлай этого, умоляю тебя. Не идетъ это тебѣ; если кому къ лицу защищать его, то, конечно, не Эмериту. Но, можетъ быть, ты не хочешь быть его обвинителемъ? Пусть будетъ такъ согласно со словами апостола. Но если, несмотря на свидѣтельство всей Африки, даже всѣхъ странъ, куда проникла молва о Гильдонѣ, съ которымъ прославился и Оптатъ,—вы не дерзнули привлечь къ суду Оптата, чтобы не осудить опрометчиво, какъ вы говорите, того, кого вы не знали,—то неужели мы можемъ или должны, по одному вашему свидѣтельству, произнести опрометчивый приговоръ надъ тѣми, кто жилъ много раньше насъ?—Ты защищаешь не Оптата, а самого себя, когда говоришь: не знаю, каковъ онъ былъ. Но еще менѣе того знаетъ восточный міръ, какіе люди были тѣ африканскіе епископы, которыхъ ты обвиняешь, зная ихъ еще менѣе, чѣмъ Оптата! Если вашего пресловутаго епископа Тамугадскаго, обезславленнаго молвой, не знаетъ и сосѣдній ему епископъ, то какимъ образомъ церковь коринѣская, эфесская, антиохійская и прочія церкви земного круга, основанныя апостолами во Христѣ, могли знать предателей въ Африкѣ, кто бы они ни были? Или какъ эти церкви заслужили ваше осужденіе за то, что не могли знать этихъ предателей? И тѣмъ не менѣе вы не хотите быть съ ними въ общеніи и, утверждая, что ихъ члены не христіане, дерзаете ихъ перекрещивать“.

Приведемъ здѣсь еще одинъ примѣръ изъ полемики Августина, гдѣ онъ язвительно укоряетъ своихъ противниковъ Оптата.

Не считая себя схизматиками и причисляя себя къ составу истинной, незапятнанной церкви Христовой, донатисты были недовольны этой приданной имъ каюоликами кличкой и, въ отместку, дали своимъ противникамъ кличку *макаріанъ*, по имени римскаго, упомянутаго нами ранѣе, начальника, истреблявшаго циркумцелліоновъ.

„Называть макаріанами вселенскій кругъ земли, объединенный Христомъ, не имѣетъ смысла,—пишетъ Петиліану Августинъ.— Но такъ какъ мы называемъ васъ партіей Доната, то вы ищете, какимъ бы именемъ насъ прозвать, и, находясь въ большомъ затрудненіи, называете такимъ именемъ, которое можетъ быть извѣстно въ Африкѣ, но вовсе неизвѣстно въ остальныхъ частяхъ свѣта. На это вамъ отвѣтить все сѣмя Авраамова со всей земли: этого Макарія, именемъ котораго вы насъ зовете, мы знать не знаемъ. Скажите же вы теперь, что вы не знаете Доната! А еслибы мы васъ стали называть партіей Оптата, то кто изъ васъ былъ бы въ состояніи сказать, что ему не извѣстенъ Оптатъ, и если не извѣстенъ, то развѣ только лицомъ, какъ неизвѣстенъ теперь и Донатъ. Но вы, конечно, гордитесь именемъ Доната; неужели, однако, вы довольны и именемъ Оптата? Поэтому къ чему вамъ послужить Донатъ, если васъ всѣхъ осквернилъ Оптатъ? Какая вамъ польза отъ трезвости Доната, когда васъ пятнаетъ пьянство циркумцелліоновъ? Какая вамъ польза отъ невинности—въ вашихъ глазахъ—Доната, если вы загрязнены грабительствомъ Оптата? Вѣдь въ томъ именно ваше заблужденіе, что вы приписываете большую силу неправдѣ чловѣка для оскверненія другого, чѣмъ праведности—для спасенія ближняго!“

Такъ Августинъ, въ исторической части своей полемики, то опровергаетъ обвиненія донатистовъ противъ церкви, то подрываетъ одно за другимъ ихъ ученіе о необходимости вторичнаго крещенія другихъ христіанъ и недопущенія въ церкви явныхъ грѣшниковъ. Но, не довольствуясь обличеніемъ донатистовъ ихъ собственной исторіей и практикой, Августинъ подвергаетъ ихъ *schedo* и теоретическому разсмотрѣнію. Особенно подробно касается онъ крещенія, которому посвятилъ отдѣльное сочиненіе; но помимо этого часто касается этого вопроса по существу и въ своихъ полемическихъ сочиненіяхъ. Остановимся на одномъ изъ этихъ мѣстъ въ полемикѣ съ Кресконіемъ, характерномъ для этого апологета донатистовъ. Не даромъ Кресконій укорялъ Августина въ діалектикѣ: онъ какъ будто признавалъ за собой право прибѣгать къ этому искусству. Онъ еще не принималъ крещенія и воспользовался этимъ обстоятельствомъ для своей полемики, заявивъ Августину, что онъ предпочитаетъ креститься у донатистовъ, такъ какъ и каеолики признаютъ силу этого таинства, не подвергая донатистовъ вторичному крещенію; послѣдніе же отрицаютъ крещеніе своихъ противниковъ. Подоб-

ными діалектическими уловками сопровождалось и все прочее, что этотъ риторъ приводилъ въ пользу воззрѣній донатистовъ на крещеніе. Такъ, извращая слова Августина, утверждавшаго, что сила крещенія независима отъ достоинства лица, совершавшаго обрядъ, Кресконій восклицаетъ: „Какъ, ты не дѣлаешь различія между вѣрующимъ и невѣрнымъ? Одно и то же для тебя благочестивый и нечестивый? Итакъ, ни къ чему честная жизнь, если то, что разрѣшается благочестивому, можетъ совершать и неправедный!“ И далѣе: „Ты хочешь,—говоритъ Кресконій,—чтобы запятнанный сдѣлалъ другого непорочнымъ, нечистый—смылъ съ него грѣхъ, невѣрующій—далъ ему вѣру, преступный—сдѣлалъ его невиннымъ?“ — „На это я коротко отвѣчу,—возразилъ Августинъ,—указывая на источникъ таинства крещенія: не запятнанъ и не нечистъ, не невѣренъ и не преступенъ Христосъ, возлюбившій церковь и предавшій Себя за нее, чтобы освятить ее, очистивъ баней водной посредствомъ слова“ (Ефес. V, 25). Отвергая крещеніе католической церкви подъ тѣмъ предлогомъ, что ея духовенство запятнало себя общеніемъ съ предателями, донатисты были принуждены все болѣе и болѣе настаивать на личномъ достоинствѣ совершающаго таинство и дойти до крайности и до абсурда. Петилианъ формулировалъ положеніе: „чистая совѣсть того, кто совершилъ обрядъ, смываетъ грѣхъ пріавшаго крещеніе“. Защищая это положеніе противъ Августина, Кресконій дошелъ до другого тезиса: „да не дерзнетъ грѣшникъ присвоить себѣ право крещенія“. Опровергая шагъ за шагомъ эти положенія, Августинъ заканчиваетъ сокрушительнымъ доводомъ—*ad hominem*: „Хотѣлъ бы я спросить каждаго, кто у васъ крестить, грѣшники ли они? Каждый изъ нихъ можетъ, конечно, мнѣ отвѣтить: я не предавалъ священныхъ книгъ, не совершалъ языческаго воскуренія, я не прелюбодѣй, не убійца, не идолопоклонникъ, не еретикъ и даже не схизматикъ; но я не знаю, найдется ли кто-либо среди васъ, кто дерзнулъ бы сказать—при всей надменности еретиковъ,—дерзнулъ бы помыслить:—я не грѣшникъ. Итакъ, если ты уже крестился, то я хотѣлъ бы знать, нашелъ ли ты кого-либо, кто, вопреки апостолу Іоанну, сказалъ бы: я не грѣшникъ? А еслибы ты и могъ найти такого человѣка, то какое же ты принялъ крещеніе отъ того, кто самого себя обманывалъ и въ комъ нѣтъ правды? Если же крестившій тебя, хоть сколько-нибудь помня смиреніе, признаетъ себя грѣшникомъ, то какъ могъ онъ, согласно съ твоими же словами, присвоить себѣ право крещенія? Если же ты еще

не крещенъ, то или исправь твое суетное заявленіе, или ищи ангеловъ, чтобы у нихъ креститься“.

Конечно, Августинъ имѣлъ полное право въ этой же книгѣ сказать ученому литератору: „Ступай теперь и клевети на *диалектиковъ*, что они предосудительнымъ хитроуміемъ достигаютъ того, что ложное становится истиной, а правда ложью“. Когда донатисты настаивали на понятіи незапятнанной церкви, Августинъ имъ противопоставлялъ понятіе о единой вселенской церкви, укоряя ихъ въ отдѣленіи отъ нея и непризнаніи ея таинствъ. Этотъ-то побѣдоносный аргументъ Августина пытался подорвать Кресконій, стараясь доказать, что церковь Августина не можетъ считаться вселенской, ибо не распространена по всей вселенной, что она не едина, такъ какъ въ ней есть ереси, и что съ своей стороны и донатистская не ограничена предѣлами Африки. Самые доводы Кресконія намъ извѣстны, къ сожалѣнію, лишь изъ возраженій Августина. Приведши тексты, въ которыхъ говорится о сѣмени Авраама, данномъ въ благословеніе всѣмъ народамъ, Августинъ восклицаетъ: „И этой-то широтѣ и обилію церкви, распространяющейся по всему земному кругу, предвѣщенной пророками, проявляющейся на глазахъ всѣхъ невѣрующихъ, такъ что смолкаютъ уста язычниковъ, которыхъ немного уже осталось, — ты дерзаешь предпочитать секту донатистовъ и утверждать, что у васъ и въ Африкѣ есть единовѣрцы, которые, однако, никому не извѣстны, и что вы посылаете къ нимъ одного или двухъ, много трехъ епископовъ, и ты попусту разсуждаешь, вопреки очевиднѣйшей истинѣ, что не весь міръ въ общеніи съ нами, потому что есть еще много варварскихъ народовъ, не вѣрующихъ въ Христа, и подъ знаменіемъ Христа многія ереси чуждаются общенія съ нами“. Разбирая главный доводъ Кресконія, что католическая церковь не можетъ считать себя вселенской, Августинъ ставитъ ему на видъ, что онъ не обратилъ вниманія и не справился у людей свѣдущихъ, какъ многія изъ варварскихъ племенъ, имъ упомянутыхъ, уже обратились къ Христу и какъ у остальныхъ Евангеліе, разростаясь, не перестаетъ давать плоды, пока не исполнится пророчество. Неужели, спрашиваетъ онъ иронически, это пророчество относится къ сектѣ Доната, которая и въ самой-то Африкѣ ежедневно убываетъ, тогда какъ католическая церковь повсюду растетъ. „О, безумная превратность людская! Ты думаешь, что заслуживаешь хвалу, вѣря въ Христа, котораго не видишь, и не думаешь, что будешь осужденъ за отрицаніе церкви, которую ты видишь, такъ какъ глава ея на небѣ, а тѣло на землѣ“.

„Ты говоришь, что востокъ не въ общеніи съ Африкой, а Африка — не въ общеніи съ востокомъ. Конечно, — замѣчаетъ Августинъ, — это вѣрно по отношенію къ плевеламъ еретическимъ, выброшеннымъ изъ гумна Господня; но что касается пшеничнаго зерна и оставшихся на гумнѣ плевель, то Африка и востокъ — въ полномъ общеніи. Правда, и здѣсь, и тамъ еретики вступаютъ въ борьбу съ распространившимся повсюду католическимъ единствомъ; и здѣсь, и тамъ встрѣчаются вѣтки, отрезающіяся въ нечестивой гордынѣ отъ ствола, отъ котораго отложились“. Но востокъ, на который указалъ Кресконій, и долженъ служить ему обличеніемъ. „Скажи мнѣ, — подступаетъ Августинъ къ противнику, — умоляю тебя, но не напускай тумана на неопытныхъ, обвиняя діалектику, когда тебѣ не подъ силу обличеніе предателей; скажи, было ли ваше дѣло съ подлинными вашими документами доведено до суда заморскихъ церквей, основанныхъ апостолами, — или нѣтъ? И если было оно доведено, то выиграли вы его, или проиграли? Если выиграли, то почему вы не въ общеніи съ тѣми церквами, на судѣ которыхъ вы остались побѣдителями?

„Ты самъ сказалъ невольно или не понимая смысла своихъ словъ, что весь міръ ежедневно грядетъ подъ знамя Христа. Такъ почему же съ этою церковью, растущей и распространяющейся по всему міру, не находится въ общеніи секта донатистовъ?“

Но у Кресконія былъ еще аргументъ: истиной часто обладаетъ меньшинство; заблуждаться — удѣлъ большинства. Августинъ не оспариваетъ этого афоризма, но отнимаетъ у донатистовъ всякую возможность воспользоваться имъ противъ церкви. Онъ иронически привѣтствуетъ ихъ съ тѣмъ, что они выдумали гумно новаго рода, на которомъ оказывается одна лишь пшеница, не нуждающаяся въ развѣяніи. Уже Парменіанъ примѣнилъ къ донатистамъ слова пророка Іереміи: „что общаго у плевель съ пшеницей?“

Августинъ видитъ въ этомъ лишь надменность донатистовъ и ужасную гордыню Парменіана и порицаетъ послѣдняго за то, что онъ — вопреки Священному Писанію и увѣщаніямъ Кипріана — прославлялъ свою секту, „какъ пшеницу, очищенную отъ плевель еще до послѣдняго суда, ожидаемаго міромъ“.

Этому самодовольству Августинъ противопоставляетъ идею церкви, какъ союза, заключающаго въ себѣ, въ своемъ земномъ явленіи, смѣшеніе добрыхъ и злыхъ, праведныхъ и нечестивыхъ. И ссылаясь на слова Книги Бытія: „И умножу сѣмя твое, какъ

звѣзды небесныя и вакъ песокъ на берегу моря“, онъ восклицаетъ: „Много звѣздъ повсюду сіяетъ по великому небосклону; такъ ихъ много, что мы не можемъ ихъ перечислить; мы говоримъ, однако, что ихъ немного по сравненію съ пескомъ морскимъ. Можетъ быть, эти звѣзды обозначаютъ духовныхъ христіанъ, а морской песокъ—плотскихъ, отъ которыхъ берутъ начало ереси и схизмы“.

Къ этому высоко поэтическому отрывку прибавимъ еще одно мѣсто изъ полемики Августина съ донатистами, гдѣ съ особенной силой единая церковь противопоставляется африканскимъ сектантамъ. Приведши рядъ текстовъ изъ Св. Писанія, обыкновенно относимыхъ къ церкви,—напримѣръ, стихъ псалма: „И Господь рече мнѣ: сынъ ты Мой, я нынѣ родилъ Тебя. Проси у Меня и дамъ народы въ наслѣдіе Тебѣ и предѣлы земли во владѣніе Тебѣ“ (Пс. II, 7, 8), Августинъ спрашиваетъ у донатистовъ: какъ могло случиться, что Христосъ утратилъ свою вотчину, разкинутую по всему земному кругу, и сохранилъ ее только въ Африкѣ, и то не вездѣ? „Нѣтъ, церковь католическая также и въ Африкѣ, такъ какъ Господь хотѣлъ, чтобы она была вездѣ, и предсказалъ ее. Ваша же партія, называемая именемъ Доната, обрѣтается не во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, къ которымъ относятся посланія, рѣчи и дѣянія апостоловъ. Не говорите, что наша церковь не католическая, а макаріевская, какъ вы ее называли; вы должны знать, и это не трудно, что въ тѣхъ мѣстахъ откуда Христосъ излилъ Евангеліе на эту землю, неизвѣстны ни имя Доната, ни имя Макарія. Такъ удостой написать намъ, чтобы мы знали, какъ могло случиться, что Христосъ утратилъ свою вотчину по всей землѣ и лишь у васъ однихъ ее сохранилъ?“ Напомнивъ въ другомъ посланіи слова нагорной проповѣди: „не можетъ укрыться городъ, стоящій на верху горы“ (Матѣ. 5, 14), Августинъ поясняетъ: „этотъ городъ—церковь католическая; оттого и называется она греческимъ словомъ *καθολική*, что распространена по всему земному кругу. Не знать ее никому нельзя; ибо, по словамъ Господа нашего Іисуса Христа, она не можетъ укрыться. Партія же Доната, обрѣтающаяся въ одной лишь Африкѣ, поносить вселенную и въ своемъ безплодіи, не желая приносить плодовъ мира и любви, не видитъ, что она отщепилась отъ того корня восточныхъ церквей, откуда пришло Евангеліе въ Африку. Когда имъ оттуда привозятъ горсть земли, они творятъ предъ ней земной поклонъ; если же придетъ къ нимъ оттуда благовѣрный христіанинъ, они дуютъ, чтобы отогнать бѣса, и подвергаютъ его второму крещенію“.

XI.

Чѣмъ обширнѣе и величественнѣе представлялась Августину въ борьбѣ съ донатизмомъ идея единой всемірной церкви, чѣмъ болѣе жалкой являлась по сравненію съ ней эта мѣстная африканская ересь, тѣмъ неизбѣжнѣе становилось для него разрѣшеніе рокового вопроса объ отношеніи этой церкви къ ересямъ и о принужденіи въ дѣлахъ вѣры. Неизмѣримо велико разстояніе отъ нагорной проповѣди и завѣта апостоламъ: „Идите, учите“ — до католической инквизиціи, и какъ былъ пройденъ этотъ путь — всегда останется однимъ изъ важнѣйшихъ вопросовъ не для исторіи только, но и для христіанской этики. Мы не задавались цѣлью разсматривать этотъ вопросъ, но предполагаемъ указать тѣ данныя изъ его исторіи, которыя можно извлечь изъ отношенія Августина къ донатистамъ. Донатизмъ сыгралъ въ этомъ отношеніи зловѣщую роль, и пылкій борецъ за единство увлекся въ этой борьбѣ за предѣлы христіанскаго идеала и собственной гуманной натурой.

Взаимная вражда африканскихъ христіанъ разожгла страсти, а полемика между Августиномъ и апологетами донатизма создала первыя формулы, на которыхъ утвердился принципъ нетерпимости въ вопросахъ вѣры. Образъ дѣйствія донатистовъ, какъ по отношенію къ каеоликамъ, такъ и между собою, представляетъ діалектикѣ Августина безконечные доводы для защиты направленныхъ противъ нихъ самихъ гоненій. Жалуются ли донатисты на то, что каеолики обращаются за поддержкой къ государственной власти, — Августинъ имъ напоминаетъ, что они сами съ этого начали: „Существуютъ неопровержимые документы въ официальныхъ памятникахъ, — пишетъ онъ Фесту, — которые ты можешь прочесть, если хочешь, которые я даже прошу тебя прочесть, — доказывающіе, что предки схизматиковъ, впервые отдѣлившись отъ міра церкви, по собственному почину, дерзнули чрезъ тогдашняго проконсула Анилина обвинить Цециліана предъ императоромъ Константиномъ. И еслибы они оказались правыми на судѣ императора, то развѣ Цециліанъ не потерпѣлъ бы отъ императора именно то самое, чему ихъ подвергъ Константинъ послѣ ихъ осужденія? Вѣдь, конечно, еслибы тогда Цециліанъ и его товарищи были по ихъ обвиненію изгнаны съ кафедръ, которыя они занимали, и упорствуя скопомъ, понесли еще болѣе тяжкое наказание (не могла же царская кара оставить безъ вниманія ихъ сопротивление), донатисты теперь хвастались бы своими попече-

ніями о благѣ церкви. Нынѣ же, такъ какъ они проиграли дѣло, не будучи въ состояніи доказать свои обвиненія, — они называютъ преслѣдованіемъ то, что терпѣть за свою неправду; и однако не только не перестаютъ бѣсноваться, но еще добиваются чести мученичества, какъ будто нынѣшніе христіанскіе каѳолическіе императоры не слѣдуютъ — по отношенію къ ихъ упрямой неправдѣ — императору Константину, авторитетъ котораго донатисты ставятъ выше голоса всѣхъ заморскихъ епископовъ!.. Я полагаю, что самъ сатана, еслибы онъ столько разъ подвергся осужденію избраннаго имъ самимъ судьи, не упорствовалъ бы съ такимъ безстыдствомъ“.

Другой постоянно повторяющійся аргументъ Августина въ оправданіе гоненій на донатистовъ — ихъ обращеніе съ сектантами въ предѣлахъ ихъ собственныхъ партій. „Что отъ васъ потерпѣлъ епископъ Рогатъ въ эпоху возстанія Фирма, можетъ засвидѣтельствовать вся Мавританія! Пусть максиміанисты скажутъ, что они испытали во времена Гильдона, потому что одинъ изъ вашихъ товарищей (Оптатъ) былъ закадычнымъ его другомъ. А Фелиціанъ, который теперь среди васъ, не рѣшится и губами пошевелить, еслибы можно было спросить его подъ присягой, не противъ ли его воли Оптатъ принудилъ его примѣнуть къ вамъ, — въ особенности еслибы спросить Фелиціана, на глазахъ бывшаго всему свидѣтелемъ населенія Муститанскаго! Но всѣ эти ваши жертвы пусть хранятъ про себя то, что потерпѣли отъ тѣхъ, съ которыми совмѣстно они то же самое причинили Рогату. Сама каѳолическая церковь, упроченная каѳолическими императорами, властвовавшими на сушѣ и на морѣ, подвергалась враждебнымъ и жестокимъ нападеніямъ со стороны вооруженныхъ шакъ Оптата. Это дѣло тогда впервые и побудило насъ ходатайствовать у викарія Серана, о примѣненіи къ вамъ того закона о пенѣ въ десять фунтовъ золота, которую, впрочемъ, еще никто изъ васъ не платилъ, и все-таки вы насъ обвиняете въ жестокости. Что можетъ быть, однако, мягче денежной пени, какъ кары за такія преступленія и какъ средства для предотвращенія зла? А кто могъ бы перечислить все зло, которое вы непосредственно натворили помимо судей или иныхъ властей, дѣйствовавшихъ въ вашу пользу — собственнымъ самоуправствомъ, каждый у себя, гдѣ кто могъ? Кто изъ нашей паствы не слышался относительно этого отъ отцовъ, или самъ не испытать подобнаго?“ Въ другомъ мѣстѣ Августинъ, отвѣчая на обвиненіе донатистовъ, предлагаетъ имъ прежде всего самимъ оправдаться отъ упрека въ преслѣдованіи тѣхъ, кто отъ нихъ отдѣлился; въ ихъ соб-

ственнымъ обращеніи съ максиміанистами они могутъ почерпнуть оправданіе преслѣдованіямъ, которымъ сами подвергаются. „Если вы скажете, что вы максиміанистовъ не преслѣдовали, мы приведемъ для обвиненія васъ проконсульскіе и городскіе протоколы. Если вы скажете, что вы правильно такъ поступали, то почему вы теперь не хотите сами тому же подвергаться? Если вы скажете: они отъ насъ отдѣлились, мы же не совершали никакого раскола,—тогда нужно рѣшить *этотъ* вопросъ, и пока никто не долженъ обвинять насъ за преслѣдованіе. Если же вы скажете, что даже схизматики не должны подвергаться преслѣдованію,—я спрошу, слѣдуетъ ли также не изгонять ихъ чрезъ посредство законныхъ властей изъ церквей, въ которыхъ они устраиваютъ засаду для соблазна слабыхъ? Если вы скажете, что и церкви не должно отнимать, тогда прежде отдайте максиміанистамъ отнятыя вами у нихъ церкви и потомъ спорьте съ нами. Если же вы скажете, что ихъ слѣдуетъ изгонять, тогда сами рѣшите, что должны потерпѣть отъ установленныхъ властей тѣ, которые, не повинувся имъ, сопротивляются постановленіямъ Божиимъ.

Нерѣдко Августинъ, оправдывая своихъ по обвиненію въ преслѣдованіи донатистовъ, старается утверждать, что эти гоненія вовсе не такъ тяжки, и донатисты не имѣютъ повода слишкомъ жаловаться. Хотя они,—пишетъ онъ,—осуждены и божественными, и человѣческими законами, христіанское милосердіе такъ велико, что они не только владѣютъ церквами, которыя ими построены послѣ раскола, но и не возвратили до сихъ поръ католическому единству всѣхъ церквей, ему когда-то принадлежавшихъ. И хотя они сами изгоняли чрезъ посредство властей, поставленныхъ католическими императорами, максиміанистовъ изъ церквей, принадлежащихъ сектѣ Доната, они сами не подвергаются изгнанію со стороны законовъ католическихъ императоровъ изъ многихъ мѣстностей, прежде принадлежавшихъ католической церкви. Въ другой разъ, отвѣчая на жалобу донатистовъ, Августинъ обращается къ нимъ съ вопросомъ: „Кто же, однако, изъ вашихъ были лишены нашими жизни? Я не помню,—продолжаетъ Августинъ,—ни одного императорскаго закона, требующаго вашей казни. Что же касается до тѣхъ двухъ людей, за которыхъ вы особенно на нихъ злобитесь, вашихъ епископовъ, Меркула и Доната, то неизвѣстно, сами ли они, по обычаю циркумцелліоновъ, ринулись въ бездну или низвергнуты туда по приказанію какого-либо изъ начальниковъ. Если вы считаете вѣроятнымъ,—продолжаетъ Августинъ иронически,—чтобъ учители циркумцелліоновъ причинили себѣ обычнымъ путемъ смерть,

то насколько менѣе вѣроятно, чтобъ римскія власти могли предписать такой необычный имъ способъ казни?" Отрицая съ одной стороны, что гоненія донатистовъ были такъ невыносимы, какъ жаловались ихъ апологеты, Августинъ старается, съ другой стороны, отнять у нихъ и заслуги мученичества. „Краснѣйте, краснѣйте, гонители,—воскликаетъ Петиліанъ, обращаясь къ Августину,—вы дѣлаете мучениковъ подобныхъ Христу, крещенныхъ, послѣ орошенія водою истиннаго крещенія, еще и кровью“. „Прежде всего на это возражу,—отвѣтилъ ему Августинъ,—что мы васъ не убиваемъ, вы же сами умерщвляете себя настоящей смертью, отсѣвая себя отъ живого корня единства. Затѣмъ, еслибы о всякомъ, кто былъ убитъ, говорить, что онъ окрещенъ кровью, тогда всѣ разбойники, нечестивцы, преступники, казненные по приговору суда, должны бы быть сочтены мучениками, ибо и они орошены своею кровью... Во всякомъ случаѣ тутъ надо различать два вопроса: одинъ—о твоёмъ крещеніи кровью, которымъ ты живо похваляешься; другой вопросъ—о моей жестокости, которую ты никогда не докажешь; ибо вѣдь я тебя не убивалъ, да ты и не утверждаешь, чтобы кто-либо лишилъ тебя жизни; а еслибы это и случилось, то не моя была бы въ томъ вина,—ни въ томъ случаѣ, еслибы ты былъ лишенъ жизни справедливо, по распоряженію законной власти, Богомъ данной,—ни въ томъ случаѣ, еслибы это было дѣломъ какихъ-нибудь плевель среди Божьей жатвы, совершившихъ это преступленіе по дурной страсти“. Но всѣ подобныя пререканія, въ которыхъ Августинъ обнаруживалъ свое мастерство въ діалектикѣ, не касались существа вопроса. Положеніе Августина становилось болѣе затруднительнымъ, когда Петиліанъ переносилъ споръ на теоретическую почву и взывалъ къ авторитету Св. Писанія. Изъ этого источника спорящія стороны старались извлекать два разряда данныхъ: историческіе прецеденты и тексты, которые обѣ стороны пытались истолковать въ свою пользу съ помощью тогдашней экзегетики. Что касается до прецедентовъ гоненій, то Августинъ сначала сдѣлалъ своимъ противникамъ большую уступку: онъ чистосердечно признался, что хотя въ Ветхомъ Завѣтѣ допускалось гоненіе за вѣру, въ Новомъ Завѣтѣ нѣтъ ни одного факта, который можно было бы привести въ оправданіе гоненій, что, конечно, равносильно осужденію религиозныхъ преслѣдованій съ точки зрѣнія христіанскаго ученія. Но уже въ полемикѣ съ Петиліаномъ онъ отступилъ отъ этой точки зрѣнія. На ряду съ гоненіемъ, которому лже-пророки подверглись отъ Іліи, Августинъ упоминаетъ о томъ, что Христосъ съ бичеваніемъ изгналъ

изъ храма нечестивыхъ торговцевъ,—отвѣчая этимъ на вопросъ Петиліана, были ли среди апостоловъ гонители. Оправдывая гоненія, Августинъ при истолкованіи текстовъ прибѣгалъ не разъ къ діалектикѣ, чтобы отнять у донатистовъ возможность на нихъ опираться. Такъ, Петиліанъ однажды сослался для осужденія гоненій на слова Христа, сказанныя ученикамъ. „Когда же будутъ гнать васъ въ одномъ городѣ, бѣгите въ другой“. Петиліанъ старался доказать, что подъ городами Израилевыми, о которыхъ здѣсь идетъ рѣчь, нужно разумѣть также города язычниковъ, преслѣдовавшихъ христіанъ, и требовалъ отъ Августина, чтобы онъ не подражалъ гнуснымъ дѣйствіямъ гонителей язычниковъ. „Или же,—спрашиваетъ онъ,—ваше богослуженіе въ томъ, чтобы губить насъ вашими руками? Заблуждаетесь вы, заблуждаетесь, жалкіе люди, если вы такъ думаете, ибо не палачей желалъ Господь имѣть іереями“. На это Августинъ отвѣтилъ, что предписаніе бѣжать изъ города въ городъ, спасаясь отъ преслѣдованій, относится не къ еретикамъ или схизматикамъ, каковы донатисты, а къ проповѣдникамъ Евангелія, которымъ они противятся. „Это мнѣ легко доказать,—замѣчаетъ онъ иронически:—вѣдь вы на виду у всѣхъ проживаете въ вашихъ собственныхъ городахъ, и никто васъ не преслѣдуетъ. Если же вы подвергаетесь преслѣдованію, то почему вы, исполняя слова Евангелія, не покидаете городовъ, въ которыхъ находитесь; затѣмъ, почему вы, съ своей стороны, творите насиліе надъ каѳолическими церквами, гдѣ только можете, съ помощью дикой толпы? Но дѣло не въ преслѣдованіи: развѣ не бываетъ того,—спрашиваетъ Августинъ,—что благочестивые изгоняютъ съ помощью законныхъ властей нечестивыхъ, и праведные—неправедныхъ, изъ мѣстъ, которыя они незаконно захватили, или, вопреки Божьей правдѣ, удерживаютъ? Отсюда слѣдуетъ, что нужно прежде всего рассмотреть вопросъ, справедливо ли или нечестиво донатисты отдѣлились отъ общенія со вселенской церковью. Если окажется, что это нечестиво, то не удивляйтесь, что на свѣтѣ есть пособники Господа, чрезъ которыхъ вы подвергаетесь бичеванію: ибо вы подвергаетесь преслѣдованію не нами, а, какъ сказано въ Писаніи, вашими собственными дѣяніями. Въ отвѣтъ на другой знаменитый текстъ, приведенный Петиліаномъ: „Всѣ, взявшіе мечъ изъ ноженъ, мечемъ погибнутъ“ (Матѣ. XXVI, 51), Августинъ иронически спрашиваетъ его: „Почему же вы этими словами не усмиряете своихъ циркумцелліоновъ? Или вы думаете, что вы впали бы въ противорѣчіе съ Евангеліемъ, еслибы стали

имъ говорить: кто станетъ нападать дубиной, тотъ отъ дубины и погибнетъ?“

Болѣе прямое отношеніе къ предмету спора имѣли приведенныя Петиліаномъ слова изъ Евангелія (отъ Іоанна VI, 44): „Никто не можетъ притти ко Мнѣ, если не привлечетъ его Отецъ, пославшій Меня“. — Указавъ на нихъ, Петиліанъ спрашиваетъ Августина: „Почему же сторонники каеолической церкви не хотятъ дозволить всякому слѣдовать своей волѣ, когда самъ Господь Богъ даровалъ людямъ свободную волю; ибо Онъ сказалъ: „Я поставилъ предъ вами добро и зло, огонь и воду, выбирайте, чтѣ хотите“. — Отвѣтъ Августина на это возраженіе заслуживаетъ особеннаго вниманія, показывая намъ, чтѣ думалъ тотъ, кто посвятилъ этому вопросу объ отношеніи благодати и свободной воли такъ много размышленій. „Если я, — пишетъ онъ Петиліану, — предложу тебѣ вопросъ, какимъ образомъ Богъ-Отецъ привлекаетъ къ Сыну людей, которымъ Онъ предоставилъ свободную волю, ты, можетъ быть, затруднился бы разрѣшить его. Какимъ образомъ *привлекаетъ*, если предоставляетъ всякому избирать то, чего онъ хочетъ? Тѣмъ не менѣе, справедливо и то, и другое; но не многіе въ состояніи вникнуть въ это умомъ. А подобно тому, какъ возможно, что Господь, даровавъ людямъ свободную волю, тѣмъ не менѣе привлекаетъ ихъ къ Сыну, — возможно и принужденіе со стороны закона безъ ущерба свободной волѣ; ибо притѣсненія и зло, которыя претерпѣваетъ человѣкъ отъ закона, побуждаютъ его подумать о томъ, изъ-за чего же онъ страдаетъ; если онъ убѣдится, что терпитъ изъ-за правды, тогда пусть избересть добро, заключающееся въ томъ, чтобы *все* переносить ради правды; если же онъ увидитъ, что то, изъ-за чего онъ страдаетъ, неправда, и что онъ бесплодно бьется и мучится, то пусть направитъ свою волю къ лучшему и одновременно избавится и отъ напрасныхъ невзгодъ, и отъ неправды, которая принесетъ ему еще болѣе тяжкій и опасный вредъ. Итакъ, если государи устанавливаютъ какія-либо мѣры противъ васъ, усматривайте въ этомъ увѣщаніе поразмыслить, за чтѣ вы терпите: если вы терпите ради правды, государи окажутся по отношенію къ вамъ тиранами; вы же, какъ блаженные, претерпѣвшіе гоненіе ради правды, будете обладать царствомъ небеснымъ (Матѣ. V, 10); если же вы терпите изъ-за неправды вашего раскола, тогда князья міра сего — не чтѣ иное, какъ ваши исправители; вы же, подобно прочимъ преступникамъ, несущимъ кару законовъ, будете бѣдствовать, какъ въ этомъ вѣкѣ, такъ и въ томъ. Итакъ, никто не отнимаетъ у васъ сво-

бодную волю, вы же тщательно обдумайте, что лучше выбрать: исправившись, вести ли мирную жизнь, или, упорствуя во злѣ, переносить подъ ложнымъ именемъ мученичества настоящее мучение“.

Конечно, передъ такой беспощадной побѣдоносной діалектикой убѣжденнымъ донатистамъ оставалось только молча склонить голову въ покорности судьбѣ и переносить гоненія изъ-за того, что они по совѣсти считали правдой. Августинъ пошелъ еще далѣе: допустивъ, что гоненія за вѣру не нарушаютъ данной человѣку свыше свободной воли, онъ счелъ себя въ правѣ утверждать, что они и не составляютъ понужденія къ вѣрѣ. Къ такому софистическому толкованію дала Августину поводъ хвастливая выходка Петиліана, который вздумалъ кичиться тѣмъ, чего у донатистовъ всего менѣе было—терпимостью. „Еслибы,—восклицалъ Петиліанъ,—слѣдовало принуждать закономъ кого-либо хотя бы въ добру,—вы сами, презрѣнные, должны были бы быть обращаемы нами насильно въ чистѣйшую вѣру. Но нѣтъ, нѣтъ, не согласно съ нашей совѣстью принуждать кого-либо въ вѣрѣ!“ — „Къ вѣрѣ,—возразилъ на это Августинъ,—никто не долженъ быть принуждаемъ противъ воли, но по волѣ строгаго и милосердаго Господа вѣроломство карается бичомъ испытаній; и если добрые поступки совершаются лишь по свободной волѣ, то развѣ дурные поступки не должны быть наказуемы строгостью закона? Поэтому, если противъ васъ изданы какіе-либо законы, то не для того, чтобы принуждать васъ къ добру, но чтобы препятствовать вамъ предаваться злу; ибо хорошо поступить никто не можетъ иначе, какъ по собственной волѣ, излюбивши то, въ чемъ онъ воленъ; страхъ же кары, хотя и не доставляетъ того удовольствія, какое даетъ чистая совѣсть, однако сдерживаетъ дурныя страсти тисками помысловъ. Но кто же издалъ законы для сдержки вашей дерзости? Развѣ не тѣ, о которыхъ сказалъ апостолъ, что они „не напрасно носятъ мечъ, а, какъ слуги Божіи и отмстители, носятъ его въ кару тому, кто дѣлаетъ зло“ (Рим. XIII, 4). Весь вопросъ поэтому въ томъ, не творятъ ли зло тѣ, кого весь міръ упрекаетъ въ преступленіи великаго раскола; если вы обойдете этотъ вопросъ,—все, что вы говорите, будетъ сказано всуе, и, живя какъ разбойники, вы кичитесь, что умираете какъ мученики“.

Признавая за государственной властью право карать за зло, Августинъ приписываетъ ей уже и право надъ жизнью и смертию ретивковъ. Поэтому на жалобы Парменіана, что императоръ Юстинианъ подвергалъ казни донатистовъ, обратившихся къ

его суду и затѣмъ упорствовавшихъ въ расколѣ, Августинъ дѣлаетъ ему вопросъ: „Развѣ эти люди не справедливо потерпѣли? Развѣ понесенная ими кара не согласна съ высочайшимъ судомъ Господа Бога Вседержителя, установившаго такое бичеваніе для предохраненія отъ вѣчнаго огня? Развѣ они понесли кару, не заслуженную ихъ преступленіемъ, и развѣ понесли ее не отъ законныхъ властей? Пусть они сначала докажутъ, что они не еретики и не схизматики, и уже тогда возвышаютъ злобный голосъ противъ будто бы незаслуженной кары? Или, можетъ быть, — спрашиваетъ онъ Парменіана, — не дѣло императора и его комиссаровъ судить о религіи? Почему же тогда послы донатистовъ являлись къ императору? Почему они поставили его судьей въ своемъ дѣлѣ, если намѣревались не слѣдовать его приговору? Или, можетъ быть, вы скажете, что хотя бы они и были уличены въ расколѣ, не дѣло императоровъ взыскивать за это и наказывать? Прошу обдумать, такъ ли это? Неужели власти должны оставлять безъ вниманія порочную или ложную религію? Однако уже не разъ заходила у васъ рѣчь о преслѣдованіи язычниковъ и демоновъ (идоловъ) императорами; развѣ и это вамъ теперь не нравится? Почему же въ такомъ случаѣ ваши, гдѣ только могутъ, низвергаютъ языческіе храмы и не перестаютъ производить это съ помощію дикихъ циркумпелліоновъ? Или насиліе частныхъ лицъ справедливѣе, чѣмъ царская забота о правдѣ?“ — Увлекаясь этой провиденціальной ролью, которую онъ приписываетъ свѣтскимъ властямъ въ религіозныхъ вопросахъ, Августинъ даже возмущается состраданіемъ къ жертвамъ правительственныхъ каръ за отступничество въ религіи. Августинъ недоволенъ, если о нихъ говорятъ, что они потерпѣли кару, соотвѣтствующую ихъ винѣ.

„У людской толпы милосердіе не въ сердцѣ, а въ глазахъ. Когда кровь истекаетъ изъ смертной плоти, всякій, кто это видитъ, содрагается; но когда погибаютъ души, отторгнутыя отъ мира Христова святотатственной ересью и расколомъ, ихъ не оплакиваютъ, потому что ихъ не видятъ! Мало того, надъ такою смертью, болѣе ужасной и плачевной, скажу прямо — смертью болѣе истинной, — обычно только издѣваются; и виновники столькихъ смертей насъ явно оскорбляютъ, не удостоивая насъ даже собесѣдованія съ ними для выясненія истины. Если же имъ приходится испытать отъ прямыхъ и законнѣйшихъ властей какое-нибудь притѣсненіе, они называютъ насъ палачами тѣла, — себя же не называютъ губителями душъ, хотя въ своемъ своеволіи они тѣла не оставляютъ въ покоѣ, ежедневно совершая посред-

ствомъ частныхъ скопищъ безумцевъ, то здѣсь, то тамъ, болѣе тяжкія притѣсненія, не уполномоченные на то никакимъ государственнымъ, ни церковнымъ закономъ. Но такъ какъ, въ силу христіанской кротости, — иронически замѣчаетъ Августинъ, — за глазъ, выбитый въ ссорѣ, гораздо строже взыскивается, чѣмъ за душу, ослѣпленную въ расколѣ, — то они еще разглагольствуютъ противъ насъ и препираются съ нами, хотя истина должна бы заставить ихъ молчать, — ихъ неправда не позволяетъ имъ смириться“.

Такъ сложилась у Августина въ борьбѣ съ апологетами донатизма теорія, оправдывавшая насильственные мѣры противъ еретиковъ, какъ кару за ихъ отступничество и какъ средство для ихъ исправленія и спасенія. Самая теорія носитъ на себѣ явные слѣды ожесточенной борьбы съ противникомъ неразборчивымъ на средства и еще болѣе склоннымъ къ насиліямъ. Но эта формулированная Августиномъ теорія не можетъ считаться единственнымъ выраженіемъ его взглядовъ въ то время. За ней во многихъ мѣстахъ просвѣчиваетъ настоящее его настроеніе, чуждое насиліямъ. Теорія гоненій навязана ему необходимостью оправдывать *своихъ*; она логически вытекаетъ изъ усвоеннаго имъ представленія о міровомъ порядкѣ, но она противна его натурѣ. Самъ онъ не хочетъ имѣть ничего общаго съ гоненіемъ. Защищая императорскихъ чиновниковъ противъ нареканій, что они лишили жизни вождей донатистовъ, и признавая это невѣроятнымъ, Августинъ требуетъ, чтобы противники доказали свое обвиненіе. „Если вы этого не докажете, — обращается онъ къ нимъ, — то ваши слова ни къ кому не относятся; если же докажете, то они не относятся ко мнѣ“.

Августинъ отстранялъ отъ себя отвѣтственность за преслѣдованія донатистовъ, потому что ихъ не одобрялъ; такъ онъ говоритъ: „Если когда-либо противъ донатистовъ было поступлено съ чрезмѣрной суровостью, не согласной съ христіанской кротостью, то это осуждается всѣми, кто принадлежитъ къ пшеницѣ на нивѣ Господней“. Но важно то, что Августинъ не только не одобрялъ излишнюю суровость, но вообще не сочувствовалъ гоненіямъ, видѣлъ въ нихъ *плотскій* способъ дѣйствія въ вопросѣ духовномъ и считая гоненія дѣломъ не истинныхъ христіанъ. Сравнивая, согласно съ извѣстной притчей, христіанское общество съ гумномъ, на которое свезены и пшеница, и плевелы, онъ приписываетъ гоненіе послѣднимъ. По поводу избіенія Маркула и Доната, онъ пишетъ: „Это дѣло, въ вашихъ глазахъ толь ненавистное, — если оно вѣрно, — какое имѣетъ отношеніе

къ пшеницѣ Господней? Пусть плевелы, вылетѣвшіе съ гумна, (донатисты), обвиняютъ плевелы, оставшіеся на гумнѣ, ибо не всѣ плевелы отдѣлены отъ пшеничнаго зерна до наступленія послѣдняго развѣянія. Поэтому,—продолжаетъ Августинъ,—на всѣ эти ненавистныя обвиненія пшеница Христова, которой суждено расти по всей нивѣ, т.-е. по всему міру, вмѣстѣ съ плевелами, вамъ возражаетъ свободно и увѣренно:—это не наше дѣло“. Тѣхъ изъ христіанъ, „которые свирѣпствуютъ“, Августинъ сравниваетъ съ Петромъ, извлечшимъ мечъ изъ ноженъ... О нихъ можно сказать, какъ о Петрѣ, что они хотя и плотскимъ способомъ воюютъ за тѣло Христова, т.-е. за католическую церковь, но и имъ сказано, какъ было сказано Петру: сидите смирно. Однако не всѣ въ католической церкви, заявляетъ Августинъ донатистамъ, думаютъ, какъ Петръ: „свирѣпствуютъ противъ васъ и воюютъ съ вами, а лишь тѣ, кто еще слабъ въ вѣрѣ“. Эти замѣчательныя слова Августина заслуживаютъ глубокаго вниманія: они могли бы служить эпиграфомъ къ нашей статьѣ, въ которой изображены усилія Августина установить церковное единство и миръ въ римской Африкѣ—въ первые годы его епископской дѣятельности. Онъ защищаетъ насиліе противъ донатистовъ, которые сами дѣйствовали насильственно; но онъ не одобряетъ этихъ мѣръ и приписываетъ ихъ людямъ, у которыхъ еще мало вѣры (*parvae adhuc fidei*). Значеніе этихъ знаменательныхъ словъ выходитъ далеко за предѣлы разсматриваемаго здѣсь вопроса. „Гоненія за вѣру исходятъ отъ людей слабыхъ въ вѣрѣ“—этотъ афоризмъ Августина представляетъ собою пробный камень религіознаго идеализма, и это—истина несомнѣнная и подтверждаемая исторіей.

В. ГЕРЬЕ.



ДВА РАЗСКАЗА

I.

ЗЕЛЕНАЯ НАВИДКА.

Кошкиной привезли съ парижской выставки зеленую навидку изъ толстаго, мягкаго драпа, очень красивую навидку,—последній крикъ моды.

Когда она явилась въ ней на лекціи, всѣ, кого она застала въ передней, примѣряли ея навидку, всѣ восхищались. Замѣчательная навидка! Удивительная! Какъ въ ней тепло, какъ удобно, какъ она идетъ ко всѣмъ, особенно къ блондинеамъ! Какая изящная!

Счастливая Кошкина! Родные ее балуютъ, деньги у нея всегда есть, и живетъ она въ огромной комнатѣ, съ электрическимъ освѣщеніемъ, съ каминомъ, съ зеркалами, съ рѣзнымъ шкапомъ для книгъ, даже съ мѣховымъ коврикомъ подъ письменнымъ столомъ. Навидка ей еще не приглядылась, и подъ разными предлогами она ее надѣваетъ и дома. Встанетъ утромъ, закутается въ свою зеленую навидку и подойдетъ къ простѣ-ночному зеркалу. Противъ него надъ диваномъ виситъ круглое зеркало, такъ что можно видѣть сзади свѣтлорусые волосы, выгодно отгѣненные зеленымъ цвѣтомъ. Если же поднять высокій воротникъ, онъ ласкаетъ бархатистымъ прикосновеніемъ шею и щеки, грѣетъ и нѣжитъ—ну, прелесть что за навидка! Почти не чувствуешь ее на себѣ, такъ легка она, и такъ ловко сидитъ, и такая нарядная! Не нарадуется Кошкина.

Разъ, совсѣмъ готовая идти на лекцію, она уже надѣла шляпку, оставалось надѣть зеленую навидку, вдругъ за дверью

раздался вопросъ:—Кошкина дома?—И вслѣдъ за тѣмъ вошли въ ней Шрейберъ и Толкачова. На Шрейберъ черная соломенная, на Толкачовой фѣТРОВАЯ шляпка были запущены первымъ свѣгомъ.

Онѣ внесли въ комнату запахъ свѣжаго воздуха, напоминающаго запахъ разрѣзаннаго арбуза, пожали ея руку холодными красными руками безъ перчатокъ, и сѣли, не раздѣвшись, на диванъ. Пришли безъ калошъ, и Кошкина, бросивъ косой взглядъ на слѣды четырехъ ногъ у двери, не особенно привѣтливо спросила ихъ сквозъ зубы:

— Вы за мной? Мимоходомъ?

— Мы къ вамъ, — сказала Шрейберъ рѣшительно, а Толкачова, оглянувъ живыми, бойкими глазами убранство комнаты, пояснила:

— Съ просьбой къ вамъ не для себя... Не носите вы англійскую шляпу!—посоветовала она Кошкиной:—съ этой прической постный видъ у васъ въ ней.

Шрейберъ сдѣлала нетерпѣливое движеніе, и вынула изъ муфты подписной листокъ; наступило молчаніе лишь на одну секунду; сообразивъ, что рѣчь опять пойдетъ о сборахъ въ чью-нибудь пользу, Кошкина поспѣшила сказать:

Нѣтъ у меня денегъ на новую шляпу. И не все ли равно? Мало ли какія ето носить... И что значить: „постный“, — не понимаю!—говоритъ она съ разсѣяннымъ и совсѣмъ, повидимому, равнодушнымъ видомъ.

Толкачова пояснила:—Волосы у васъ распущены, и получается какой-то попъ съ прямыми полями.

— Н-да? Стоить ли обращать на это вниманіе!—проговорила Кошкина, сморщивъ свой маленькій, тоненькій носъ. Она задумалась.

У нея отложена двадцати-пяти-рублевая кредитка на театръ и непредвидѣнные расходы, но... довольно ужъ съ нея собрали въ ту зиму.

Шрейберъ развернула подписной листокъ. Толкачова между тѣмъ рассказывала съ оживленіемъ:—Въ такой холодъ приходитъ въ твиновой пелеринкѣ, стараясь незамѣтно проскользнуть черезъ переднюю. Шрейберъ сидѣла съ ней рядомъ, и видѣла, какъ она все время вздрагивала.

— Всѣ признаки лихорадки,—добавила Шрейберъ.

— Бѣдняжка! — сказала Кошкина, думая про себя: „Надо будетъ подобрать волосы въ прическу съ гребеночками“... Pardon, я не вслушалась... какъ ея фамилія?

— Сипаева.

— Сипаева? Совѣтъ не знаю.

— А вотъ замужняя,—начала Шрейберъ, но Толкачова перебила ее.

— Мужъ у нея—совершенно непроизводительная статья. Безъ мѣста. Въ прошломъ году сдалъ экзаменъ и все ждетъ назначенія. Задолжали, бѣдствуютъ и скрываютъ, принадлежать въ группѣ нео...

— Не въ томъ дѣло,—прервала Шрейберъ Толкачову:—вы постоянно отвлекаетесь отъ сути. Къ той или къ другой группѣ лицъ они принадлежать, вопросъ тутъ...

— Нельзя ли безъ диссертациі?!

— Надо снабдить ее скорѣй теплой одеждой. Вѣдь она заболѣетъ, и тогда стыдно будетъ намъ всѣмъ.

— Просто позоръ, если ей не помочь!—воскликнула Кошкина, вытаращивъ глаза.—И представьте, какъ нарочно мы не шлютъ изъ деревни. Жду, жду... У насъ тамъ что-то вышло съ управляющимъ... папа писалъ... Но погодите, дайте подумать...—Кошкина потираетъ лобъ, граціозно отставивъ мизинецъ, пухлой рукой съ ямочками у пальцевъ. Еслибъ у нея кромѣ кредитки былъ еще рубль, или два, она сейчасъ бы дала, но у нея только мелочь въ портмонѣ.

— Вотъ чтó,—произноситъ она значительно:—вы обратитесь въ комитетъ...

— Ахъ, не за совѣтомъ мы къ вамъ пришли!—воскликнула Толкачова.—Комитетъ только вносить за слушаніе.

— И неужели мы сами ничего не хотимъ и не можемъ сдѣлать другъ другу?—удивляется Шрейберъ.

У нея отъ холода носъ покраснѣлъ, и, громко сморкнувъ, она подержала его въ платѣ. Подписной листокъ она положила на столъ.

— Вы дайте что-нибудь изъ стараго,—сказала Кошкиной Толкачова:—мы подстережемъ ее въ передней, и насильно одѣнемъ.

— Ничего стараго нѣтъ у меня,—со вздохомъ промолвила Кошкина,—какая досада! Жакетку я оставила въ деревнѣ.

Ея поношенная лисья шубка, запертая въ сундукъ, еще долго проносится и годится младшей сестрѣ, и мамаша разсердится, если отдать ее. Но ей не хочется показать себя скупой и безсердечной, и она съ готовностью отвѣчаетъ на вопросъ Толкачовой:

— Ну, чтó вамъ не особенно нужно,—дайте на время.

— Возьмите мою зеленую накидку.

— Это парижскую?—Шрейберъ и Толкачова, переглянувшись съ озабоченными лицами, замолчали. Кошкина настаивала въ увѣренности, что ея жертва не будетъ принята.

— Право, возьмите.

— Нѣтъ,—возражаютъ ей наперерывъ,—лучше купить что-нибудь... Ужъ у насъ собрано четыре рубля... Вы сколько дадите?

— Надо же было,—бормочетъ, понурившись, Кошкина,—надо же какъ нарочно истратиться... Ничего, кромѣ мелочи.

— Такъ ничего? Пойдемте, Толкачова.

Кошкина встала, отворила имъ дверь, и въ своемъ желаніи удержать за собой хорошую репутацію сняла съ гвоздя зеленую накидку, держитъ ее на рукѣ.

— Возьмите, возьмите!—повторяетъ она.—Мнѣ больше нечего предложить. Но мнѣ, право, такъ хочется съ своей стороны...

— Въ такомъ случаѣ давайте, пожалуй,—сказала Шрейберъ, взяла у нея накидку и ушла.

— До свиданья!—крикнула она изъ передней, пока Толкачова крѣпко пожимала Кошкиной руку, не замѣчая, что ротъ ея открытъ, глаза устремлены въ пространство отворенной двери, какъ будто прыгнуть хотятъ въ догонку за Шрейберъ, а носикъ ея побѣлѣлъ, вытянулся, придавъ испуганное выраженіе всему лицу.

— Ахъ, милая Кошкина!... Приходите скорѣй, пока не собрались профессора, мы протанцуемъ *pas de quatre*.—Сдѣлавъ пируэтъ, исчезла и Толкачова.

Кошкина опомнилась, выбѣжала въ переднюю, взглянула на вѣшалку, поглядѣла на шумно захлопнутую дверь, и развела руками.— Неужели унесли ея накидку?

Горничная, молча, съ недовольной фізіономіей вытирала полъ у ея двери.

— Вотъ теперъ и вытирайте,—замѣтила Кошкина съ раздраженіемъ,—видите, какъ натоптали! Сколько разъ я вамъ говорила: не впускать ко мнѣ безъ доклада...

— Есть мнѣ когда церемоніи разводить! — шепчетъ горничная.

— Я бы ихъ не приняла, это вы виноваты... во всемъ!.. Пожалуйста, въ другой разъ...

— Заведите свою прислугу, да и командуйте!—отвѣтила ей горничная, уходя.

Но къ ея дерзостямъ Кошкина ужъ привыкла, и не до того ей

теперь. Она пожималась, кривила ротъ, ходя съ блѣднымъ лицомъ по комнатѣ, увидѣла себя въ зеркалѣ и отвернувшись: на нее глянула взволнованная, сердитая особа старше ея лѣтъ. Состарять! Изведутъ ее!

Изволь теперь вынимать изъ сундука пальто—тяжелое, ватное, нѣсколько отсталаго покроя... Нафталиномъ пропахло... Надо провѣтривать.

Она разбиралась въ сундукѣ, но руки плохо ей повиновались. Бѣлье, книги, коробки падали на полъ. Сыпались пуговицы, ленты, катушки. Изволь теперь все это подбирать, непросто затрачивая время!

И вотъ съ утра ужъ меркнетъ въ комнатѣ отъ темной стѣны противъ оконъ, отъ темныхъ обоевъ и занавѣсей, отъ тучъ, отъ снѣга, который, густо падая, заслоняетъ незадрапированное треугольное пространство стеколъ. Читать—не видно; такъ сидѣть—скучно. Никогда она въ такое время дома не была, и тянетъ ее на улицу, а пальто отдано горничной для провѣтриванья.

Надо бы купить гребеночки подъ цвѣтъ волосъ, и заняться прической—не въ чемъ выйти... Ненавидитъ она Шрейберъ и Толкачову, особенно Шрейберъ... всегда отъ нея пахнетъ цигарнымъ кофе... препротивная. Изъ-за нея теперь будутъ пропущены двѣ интересныя лекціи... Вѣдь это просто коверканье ея жизни!... Нѣтъ, въ другой разъ она будетъ умнѣе.

Въ комнатѣ сыро и холодно, чего не чувствуешь по вечерамъ, когда топится каминъ, и все-таки весь день она будетъ дома сидѣть... и думать о человѣческой безсовѣстности. Поступаютъ на курсы безъ копѣйки въ расчетъ на чужое, на благотворительность; изволь для нихъ лишать себя необходимаго... даже воздуха!..

— Хозяйка, велите каминъ затопить!—кричитъ она нетерпѣливо и жалобно, высунувъ голову въ дверь.

— Къ ночи затопимъ, чтобъ утромъ было теплѣе вставать, —изъ глубины квартиры раздается голосъ хозяйки.

— Каково?... У меня у самой лихорадка,—говоритъ себѣ Кошкина и ложится на диванъ. Хорошо бы теперь закутаться въ зеленую макидку; такъ и чувствуется ея мягкій ворсъ вокругъ шеи... Изъ груди вырывается громкій вздохъ.

Стучали въ дверь; она не слышала, она заснула, проливъ слезинку умиленія, надъ собой, надъ своимъ безсиліемъ передъ Шрейберъ и Толкачовой, надъ своей неоцѣненной жертвой.

Проснулась она подъ трескъ затопленнаго камина и увидѣла тетю Лавровскую за письменнымъ столомъ.

Тетя тоже была курсисткой въ свое время, она интересуется ея занятіями, и часто заглядываетъ къ ней. Пожилая, представительная дама, въ дорогомъ черномъ платьѣ, она внушаетъ боязливое почтеніе квартирнымъ хозяйкамъ, ограждая тѣмъ племянницу отъ лишнѣхъ неудобствъ и столкновеній въ ея независимой жизни по нумерамъ.

У тети богатый мужъ, сынъ студентъ, свои лошади и такое множество книгъ, что неостало бы двухъ жизней перечитать ихъ всѣ, но она еще беретъ изъ библіотеки что-нибудь изъ новѣйшаго, и, давъ полежать на видномъ мѣстѣ въ гостиной, возвращаетъ обратно. На тѣхъ же столахъ въ ея гостиной появляются и лекціи профессоровъ. Вотъ почему тетя такъ усердно, съ такою дѣловой, нѣсколько туповатой серьезностью перелистываетъ ея литографированныя тетради за письменнымъ столомъ.

Тетя не смѣется, не улыбается, совсѣмъ какъ авгуръ держитъ она себя съ посторонними, но въ движеніяхъ ея плечъ и локтей иногда, если она не слѣдитъ за собой, въ ея походкѣ, въ чемъ-то во многомъ замѣчаются слѣды прошлой свободы въ манерахъ. Говоритъ она, слегка вытянувъ губы впередъ, судитъ здраво и справедливо, порой очень скучно, но въ общемъ она хорошая тетка; Кошкина любитъ ее.

— Достойная уваженія вы, тетя, нравственная вы личность! — вырвалось у Кошкиной веселое восклицаніе послѣ всѣхъ предыдущихъ размышленій о теткѣ. — Вотъ какъ васъ чествуютъ на засѣданіяхъ разныхъ тамъ вашихъ обществъ.

Тетя медленно обернулась, когда племянница подошла ее поцѣловать съ чуть уловимой все-таки улыбкой превосходства сокрушительной, несокрушимой силы молодости.

— Мы ждали тебя обѣдать, ты не пришла, я и рѣшила навѣстить тебя, — съ медлительной и точной обстоятельностью, выговариваетъ каждое слово тетя Лавровская. — И, узнавъ отъ твоей прислуги, что ты лежишь и не выходишь, — сижу тутъ. Что случилось съ тобой? Не заболѣла ли ты?

— Нѣтъ, тетя...

Тутъ, вспомнивъ о накидкѣ, Кошкина выразила на своемъ заспанномъ розовомъ лицѣ такую тоску и обиду, что тетя Лавровская взяла ея обѣ руки въ свои.

— Сядь, расскажи мнѣ, что случилось, — попросила она.

— Знаете, тетя, вѣдь у меня взяли мою накидку зеленую, — пожаловалась Кошкина, усаживаясь въ кресло, — и вотъ не въ чемъ мнѣ выйти. Пальто нафталиномъ пропахло.

— Кто взялъ у тебя твою накидку?

— Шрейберъ и Толкачова.

— Зачѣмъ же онѣ взяли ее у тебя?

— Пришли, сказали, что нечего надѣтъ какой-то бѣдняжкѣ, которую я даже не видала никогда, взяли накидку и ушли... Какъ имъ не совѣстно?

Тетя Лавровская, не повертывая лица, искоса взглянула на нее однимъ глазомъ.

— Шрейберъ я знаю, — сказала она. — Ее хвалить въ одномъ знакомомъ домѣ, куда она ходитъ на урокъ.

— Ничего противъ этого не имѣю, — вспыхнувъ и не желая сдерживаться, чуть не вскрикнула Кошкина, — пусть хвалятъ! Но подъ свѣгомъ въ соломенной шляпкѣ она ходитъ по улицамъ, стало-быть у самой ничего нѣтъ, такъ она изъ чужого кармана помогаетъ другимъ... Такимъ путемъ легко стяжать похвалы, а вотъ я собственную свою накидку дала...

— И Толкачова хорошій человекъ, насколько я знаю, — какъ бы не слыша быстрого потока ея словъ, продолжала тетя Лавровская свою медленную, обстоятельную рѣчь.

— Я дурно о ней и не говорю, только... болтуня, и какой тонъ!

— Ты вѣрно сама имъ навязала накидку? Манера твоей матери. Она всегда сама же предложить, заставить принять, и потомъ сердится, проклинаетъ.

— А вы всегда, тетя... спорите.

— Не могли же онѣ вдругъ, ни съ того, ни съ сего, взять у тебя твою зеленую накидку съ парижской выставки, подарокъ добрейшей...

— Разумѣется, я имъ сказала... Я сказала: „у меня ничего нѣтъ, кромѣ накидки“... въ такомъ смыслѣ... приблизительно... ужъ я и не помню, какъ я сказала...

— Ты навѣрно сказала: „возьмите, пожалуйста, мою накидку“, — а слово съ дѣломъ не должно идти въ разрѣзъ.

Проговоривъ это опредѣленно и вѣско, тетя Лавровская сняла свой золотой щипнось, какъ она называетъ *pinse-peux* въ цѣляхъ очищенія русскаго языка, протерла его, потомъ протерла себѣ глаза и стала въ упоръ смотрѣть обоими глазами на племянницу. Черты ея продолговатаго и полного лица являютъ что-то до такой степени установившееся и неподвижное, такъ увѣренно смотреть ея выпуклыя глаза, что не всякій рѣшается ее оспаривать. Къ тому же, и въ силу занимаемаго ею положенія тетя Лавровская отвыкла уже давно встрѣчать противо-

рѣчія; только у сына ея да у племянницы особы на это права. И Кошкина съ неудовольствіемъ ей возражаетъ:

— Право же, тетя,.. вы не хотите принять во вниманіе... Ну, если я, можетъ быть, и предложила имъ, такъ не слѣдовало пользоваться этимъ, иначе говоря,—злоупотреблять. Всякій учится для себя. Вотъ я изъ-за нихъ на лекціяхъ не была, чистымъ воздухомъ не дышала... Вѣдь для себя онѣ учатся, никто ихъ не проситъ объ этомъ,—разсуждаетъ Кошкина, поднявъ вверхъ брови. — Если нѣтъ у нихъ средствъ, такъ и оставались бы у себя въ провинціи,—тамъ онѣ могутъ быть полезны.

— Когда выучатся,—вставила тетя Лавровская.

— Высшее образованіе—недоступная роскошь для бѣдныхъ.

— Бѣднымъ оно гораздо нужнѣе.

— Наука счастья не даетъ, тетя, ни богатымъ, ни бѣднымъ.

— Для общаго счастья, для прогресса дается наука даровитымъ людямъ, которыхъ больше среди большинства. А большинство составляетъ бѣдными.

— Безъ образованія, говорятъ, легче живется, нѣтъ стремленія къ неудовлетвореннымъ высшимъ потребностямъ...

— Такъ говорить твой дѣдушка, генераль.

— Дѣдушка правъ.

Тетя Лавровская оглянулась кругомъ, и, воздѣвъ глаза на портреты Бѣлинскаго, Чернышевскаго и Писарева, подаренные ею племянницѣ, сострадательно пожала плечами.

— Дѣдушка твой—единомышленникъ Каткова,—внушительнымъ полупопотомъ проговорила она, полагая, что этимъ все сказано. И выразивъ губами отвращеніе, она надѣла *pince-nez* и опять уткнулась въ тетрадь, съ явнымъ нежеланіемъ продолжать такой разговоръ.

Встрѣчаются еще сотнями женщины—какъ тетя Лавровская. Принадлежа къ числу натуръ, достигающихъ знаній тяжелымъ, кропотливымъ трудомъ, онѣ до гробовой доски будутъ упорно и нетерпимо твердить то небольшое, что удалось имъ постигнуть въ лучшую пору ихъ жизни, и, усвоивъ разъ убѣжденія, хотя бы съ чужого голоса, не разстанутся съ ними ни при какихъ условіяхъ и не покривятъ душой ни передъ кѣмъ. И благо, если доброе сѣмя падетъ на такую почву, надежную хранительницу завѣтовъ своей эпохи. Несмотря на непріятное впечатлѣніе, производимое на тетку въ этотъ вечеръ, Кошкина все-таки не хочетъ молчать, пока не исчерпаетъ изъ себя все непріятное.

Сквозъ зубы и въ носъ, словно ноетъ, она говоритъ:

— Еслибъ я знала хоть адресъ этой бѣдняжки, какой-то

Сипаевой,—можно бы ей денегъ послать и взять у нея мою нарядку. А то продать она ее, или ужъ продала за безцѣнокъ,—такая жалость!

Тетя Лавровская молча отодвинула отъ себя тетради, встала, взяла со стола свою шляпку и молча, шурша юбками, подходит къ зеркалу. Въ то же время отворяется дверь, и горничная съ недовольной фizioноміей спрашиваетъ:

— Сипаеву примете что-ли?

Кошкина повела бровями и стала серьезна до холодного оцѣненія въ полудѣтскихъ чертахъ своего маленькаго, пухлаго лица. Готовая къ приему по возможности привѣтливому, простому, задушевному, если съумѣетъ, но съ соблюденіемъ большого разстоянія между собой и бѣдняжкой,—конечно, сконфуженной, умиленной и благодарной,—она, чтобъ выиграть время, не отвѣчая горничной, обращается къ теткѣ:

— Тетя? Уходите? Меня съ собой не возьмете? C'est la raiquette,—поясняетъ она, представляя себѣ бѣдняжку застѣнчивой, робкой, неловкой.—Просите,—возвысила она голосъ, взглянувъ черезъ плечо на горничную:—что же вы тутъ стоите?

Вошла съ веселой улыбкой высокаго роста, красивая, молодая женщина, и заговорила непринужденно, положивъ зеленую нарядку на стулъ:

— Позвольте представиться: Сипаева, жена инженера.

— Очень, очень, очень пріятно. Садитесь.

Сипаева продолжала стоять; встала и Кошкина.

— Мерси за нарядку. Я ее не надѣвала, но все равно я столько же вамъ благодарна, какъ еслибъ пользовалась ею всю зиму. Вы удивительно добры. Шрейберъ прочла вамъ панегирикъ на курсахъ. И Толкачова такъ васъ превознесла, что вы увидите—вамъ сдѣлаютъ овацію.

Въ сильномъ смущеніи Кошкина открываетъ рѣзной шкафъ, словно намѣреваясь спрятаться въ него, проворно шаритъ на полкахъ и бормочетъ, не оборачиваясь:

— Что же вы... право, напрасно... носили бы... я съ удовольствіемъ.

Она достала изъ металлической коробки свою отложенную двадцати-пяти-рублевую кредитку и неловко сунула ее въ руку Сипаевой, какъ доктору. Та положила кредитку на столъ.

Тетя Лавровская, сѣвъ въ уголъ у двери, пытливо наблюдаетъ эту сцену.

— Вы отдали свою любимую вещь,—говорила Сипаева,—и не цѣнили, чтобъ васъ не благодарили... Какая вы милая, Кошкина!

И тихо, съ восхищеніемъ смѣясь, Сипаева старается заглянуть ей въ лицо, но Кошкина отворачивается, не будучи въ состояніи поднять глаза ни на нее, ни на тетку.

Проступившая на щекахъ ея краска разгоралась, залила уши и лобъ; слезинки навертывались на глаза.

— Пожалуйста, хоть деньги возьмите, — потупившись, просить она. — Какая вы... Вы ничего не хотите принять отъ меня...

— Благодарю васъ, мнѣ ничего не нужно теперь. Временное затрудненіе уже прошло; мой мужъ получилъ мѣсто, наконецъ, и такъ встати... Шрейберъ вамъ это разскажетъ... И Шрейберъ премилая. Какъ она хлопотала съ подпиской, и представьте, насильно заставила меня носить свою шапочку, а сама щеголяла въ соломенной... Еще разъ мерсі. За учащуюся молодежь вообще я васъ благодарю, за братское отношеніе, за товарищество. До свиданія.

— Но право же... умоляю васъ, не отказывайтесь... покуда все-таки... возьмите же! — скомкавъ кредитку, опять суетъ ее въ руку Сипаевой пристыженная дѣвочка.

Сипаева погладила ея волосы, пригнулась къ ней, будучи выше ея, невольно проявля въ тонѣ и въ манерахъ ласковую снисходительность старшей годами и опытомъ. Въ заключеніе, поцѣловавъ ее, она сказала, уходя:

— За хорошій примѣръ я васъ благодарю.

Кошкина все стояла, склонивъ голову, съ протянутой въ руку кредиткой.

— Неужели не возьмете? Пойдите! Сипаева!

— Не нужно, мерсі. И у меня теперь есть возможность оказывать услуги, съ васъ я буду примѣръ братъ. Прощайте.

Весело смѣясь, удалилась Сипаева, не забывъ отвѣсить мимоходомъ поклонъ тетѣ Лавровской.

Кошкина бросила въ каминъ кредитку и ударила себя по щекѣ.

Тогда тетя Лавровская тихонько вышла и, съ педантической осторожностью притворяя дверь за собой, оставила ее ровно настолько незатворенной, чтобъ однимъ глазомъ взглянуть еще разъ на племянницу.

Кошкина быстро прошлась по комнатѣ, увидѣла себя въ зеркалѣ, отворотилась, и заплакала отъ стыда.

II.

Подводный монастырь.

Три ступеньки внизъ, темныя сѣни, обитая рогожей дверь. Почтальонъ отворилъ эту дверь и крикнулъ: — Воротынская! — Стукъ швейной машины не умолкалъ. И, перейдя двумя шагами тѣсную, загроможденную старой мебелью комнату, вѣрнѣе, кухню въ одно окно, къ столу, за которымъ кроила пожилая особа, почтальонъ повторилъ:

— Воротынская?

— Ну, Воротынская, — отвѣтила она, какъ будто онъ поставилъ ей въ упрекъ ея фамилію. Слышалось въ тонѣ ея: „Ну, что же дѣлать, Воротынская, — только во мнѣ и осталось“...

Съ того времени, какъ ей стало неловко и неудобно упоминать о своемъ дворянскомъ происхожденіи, она отвергла себя въ прошломъ. То время подготовило ее къ труду, выносливости и терпѣнію, выбросивъ ее изъ колеи привычной ей жизни.

Почтальонъ оставилъ на столѣ открытое письмо.

Она прочла его, бросила на полъ и разразилась бранью.

— Проклятые лицемѣры! Работы у меня и безъ нихъ слишкомъ много. Каково! Обшей ихъ за дешевую цѣну, тогда и помогутъ. Да мнѣ въ рынокъ задатокъ дають, а эти... филантропы! Соку выжать хотять, считаясь благодѣтелями, кровопійцы! Нѣтъ, чтобы въ-время выручить изъ бѣды... Вотъ, возьму, да и заложу ихъ батисты... дьяволы!.. Ты не слушай меня, Шура, — этого я, конечно, не сдѣлаю, но стоять они этого, стоять!

Дѣвочка, къ которой она обратилась, продолжала шить у окна на машинѣ. За стукомъ колеса не слышала она прихода почтальона, ни жалобъ матери, и ничего не видала. Пристальный взглядъ ея севозъ очки неотступно слѣдитъ за миткалевой полосой, выбѣгающей изъ-подъ иглоки; все ея вниманіе сосредоточено только на томъ, чтобы ровнѣе шла бѣлая строчка на бѣлой полоскѣ.

Въ продолженіе долгихъ часовъ изо дня въ день тянется бѣлая строчка, тянется передъ ея воспаленными глазами; колесо стучитъ и хрипитъ. Ту-ту-ту! Ту! Остановилось.

— Шура, ты хочешь кушать? — спросила ее мать.

Она не отвѣтила, и снова завертѣлось колесо. Сосетъ у нея подъ ложечкой, пора обѣдать, но, можетъ быть, нечего, такъ лучше промолчать, и до вечерняго чая съ булками работать, тачать и стучать.

Воспоминаніе о воскресныхъ прогулкахъ съ матерью по монастырскому лугу мелькаетъ, вспыхиваетъ желаніемъ бѣгать, рвать колокольчики, крапиву, щавель... Представленіе о зеленыхъ щахъ съ грудинкой шевельнуло поздри ея, слюна скопилась во рту. Но стукъ колеса подавляетъ всѣ ощущенія, глушитъ смутные проблески мысли, и когда оно остановится, оно все-таки стучитъ въ ушахъ, въ головѣ. И завтра, и всю недѣлю мать будетъ рѣзать ножницами, смѣтывать, заготавливать лоскутья и подлаживать ей подъ иголку; она будетъ тачать, стучать и скучать по зеленой травѣ, по темной сосновой рошѣ.

Устала она. Шею трудно разогнуть, слезятся глаза, и пропадаетъ изъ виду ровная строчка, и застываетъ весь лоскутокъ и вся комната, а стукъ продолжается. И кажется, что кромѣ стука ничего нѣтъ на свѣтѣ, пустота кругомъ, и въ груди пустота наполняется стукомъ до боли въ вискахъ, до удушья.

Она срывается со стула и бѣжитъ вонъ; опрометью бѣжитъ она по двору и останавливается противъ отворенныхъ воротъ.

На дворѣ было свѣтло, тепло; рѣзвились дѣти, населяющія домъ; сосѣдка чистила пескомъ чугуны; лавочникъ высаживалъ дво изъ боченка; старуха разбиралась въ грязномъ тряпѣ, и кричалъ во все горло разносчикъ: „Морожана хороша!“

Но Шура ничего не слышитъ, кромѣ машиннаго стука; въ глазахъ у нея темныя пятна, свѣтлыя искры, точки, кружки.

Она стоитъ какъ вкопанная, съ страдальчески недоумѣвающимъ вопросомъ на лицѣ, прислушивается, глядитъ въ одну точку.

Старуха, оставивъ тряпье, подходитъ къ ней и съ любопытствомъ смотритъ по направленію ея взгляда. Старуха, чтобы лучше видѣть, открыла ротъ и сдвинула его на сторону, но, ничего особеннаго не вида, спрашиваетъ ее: „Ты что это, дѣвушка, тамъ увидала?“—И чтобы хорошенько разслышать ея отвѣтъ, старуха передвинула на другую щеку свой дряблый разинутый ротъ.

Но дѣвушка ничего ей не отвѣтила.

Сосѣди, сосѣдки, проходя, и лавочникъ, и разносчикъ приостанавливались и глядѣли, куда глядѣла дѣвушка, заглядывали за ворота. Кухарка въ нижнемъ этажѣ кричала изъ окна:

— На что это смотреть? Ай похороны?

Проѣхала мимо воротъ ломовая телѣга, прошелъ мужикъ, пробѣжала собака, и опустѣла улица. Рѣшительно не на что было смотрѣть, и взрослые разошлись по своему дѣлу, остались дѣти на дворѣ.

Дѣвушка по прежнему стояла между ними, вытянувъ худенькую шею. Ярко-рыжіе волосы ея шапкой видѣлись вокругъ головы, сверкали, рассыпаясь на солнцѣ. Рыжіе волосы требуютъ красоты. Но недостаточно бѣлое, весноватое, съ опухшими вѣками за очками, съ большимъ ртомъ и неправильнымъ носомъ, лицо дѣвушки въ золотой рамѣ волосъ, рѣзко выдѣляющей его недостатки, кажется безобразнымъ. Оно неприятно бросается въ глаза, тогда какъ при другомъ цвѣтѣ волосъ было бы незамѣтнымъ.

Дѣти теребятъ за платье бѣдную дѣвушку, дразнить ее; дѣвчонка высунула языкъ; мальчишка, прыгая, выкрикивалъ:

— Рыжій, красный, человекъ опасный!..

Всѣхъ громче раздавался голосъ малютки лѣтъ пяти, который покрывалъ всѣ голоса пронзительнымъ визгомъ.

— Мартышка и очки!—кричалъ онъ, какъ обваренный.— Мартышка! мартышка! мартышка!

Она услышала его, очнулась, и просіяла довольной улыбкой: въ ухахъ ея прекратился ужасный стукъ машиннаго колеса. Она оглядѣлась кругомъ, взяла малютку на руки и благодарно поцѣловала его.

Въ это время подъѣхалъ къ воротамъ по модѣ одѣтый господинъ, расплатился съ извозчикомъ, вошелъ въ ворота и освѣдомился у нея:—„Здѣсь живетъ госпожа Воротынская?“

Она проводила его до своей двери и вернулась къ дѣтямъ; потребность жизни, потребность движенія охватила ее. Она бѣгала, догоняла, ловила дѣтей, визжала съ ними и хохотала; ей было только пятнадцать лѣтъ.

Господинъ наклонилъ голову, входя въ рогожную дверь къ Воротынской, и такъ, не разгибая шеи, онъ съ удивленіемъ осмотрѣлся исподлобья. Неужели это она? Эта сѣдая женщина, въ темномъ ситцевомъ платьѣ, съ засученными выше локтей рукавами, которая возится у плиты,—неужели Воротынская? И въ такомъ нищенскомъ помѣщеніи?

Женщина обернулась и на пожелтѣвшемъ, сморщенномъ лицѣ ея онъ узналъ глаза Воротынской; ничего прежняго на немъ не осталось, кромѣ глазъ ея,—но какъ безжизненно выраженіе этихъ черныхъ, когда-то блестящихъ глазъ! Она сбросила съ края дивана обрѣзки, бичовки, выкройки на полъ, и молча жестомъ руки пригласила его садиться. И, не стѣсняясь ея присутствіемъ, даже не спустивъ рукавовъ, она сполоснула,

наполнила, поставила на керосиновый таганъ кострюльку, помѣшала въ ней ложкой, и тогда, сѣвъ къ столу, взялась за иглу.

Но въ душѣ она не была покойна, и шила не такъ, какъ слѣдовало.

Господинъ, раздвинувъ фалды, опустился съ большой осторожностью на указанное ему мѣсто, еще разъ окинулъ взглядомъ каморку, всѣ признаки бѣдствія въ ней, и узкіе глаза его еще болѣе сѣузились, какъ бы скрывая възгравшій въ нихъ, неподходящій къ случаю огонекъ; губы его сложились трубочкой, онъ чуть не свистнулъ.

Длинноволосый блондинъ лѣтъ сорока, но уже дебелый, рыхлый и сырой, какъ старая женщина, въ темно-красныхъ перчаткахъ, въ полуботинкахъ безъ каблукъ, онъ кажется выше своего роста, объемистѣе подъ низкимъ потолкомъ тѣснаго помѣщенія. Крупныя черты его лица съ широкими бровями, густыми усами и бородой словно созданы по правиламъ живописи суздальскихъ богомазовъ. Онъ тяжело повернулся, и диванъ скрипнулъ подъ нимъ.

— Ваше прошеніе третьяго дня было прочитано на засѣданіи,—заговорилъ онъ, какъ зачиталъ, густымъ басомъ, вороша бороду обѣими руками, раздвинувъ локти и косясь на потолокъ. Я настоялъ, чтобъ дали ему ходъ безотлагательно. Я заявилъ, что лично зналъ васъ когда-то давно за особу добропорядочную, и, благодаря мнѣ, уважаемая предсѣдательница нашего общества согласилась принять въ васъ особое участіе. Ей понадобилось за-ново построить бѣлье очень встати... Иначе говоря, это просто предлогъ для безобидной, неунизительной для васъ помощи.

— Я получила отъ нея письмо сегодня,—отвѣчала ему Воротынская,—и я отказываюсь шить ей бѣлье.

— Почему это?

— Потому что я завалена постоянной рыночной работой, очень спѣшной и болѣе выгодной.

— Болѣе выгодной рыночной?—съ сомнѣніемъ покачалъ онъ головой и сталъ осторожно стаскивать съ пальцевъ перчатку.

— Ну, да. По двѣнадцати копѣекъ за штуку можно изготовлять для рынка ежедневно не менѣе дюжины бѣлья, тогда какъ за батистовымъ просидишь день надъ складками, прошивками и всякими ухищреніями, и больше одной штуки не сошьешь. И предлагаетъ ваша уважаемая предсѣдательница по сорока копѣекъ за штуку.

— Я полагалъ, что это хорошая плата, но вы лучше меня стали разсчитывать.

— Можно бы требовать и бесплатной работы съ просительницы?

— Такъ вы полагаете...

— На какое пособие могу я рассчитывать?

— Рублей пять, много десять, недѣли черезъ три, черезъ мѣсяцъ...

— Послушайте, у меня дочь слѣпнеть!—съ живостью заговорила Воротынская, не будучи въ силахъ сдерживать внутреннюю тревогу.—Помогите! За послѣднее время она часто хворала. Я все на нее пролечила, прожила, продала. Помощь нужна ей хоть унижительная, но скорая. Отдыхъ ей нуженъ, а вѣдь ее не оторвешь отъ машины; помогаетъ мнѣ добрая дѣвочка, жалѣетъ меня. Я и обратилась въ ваше общество, чтобы вы узнали... вспомнили о существованіи вашей дочери.

Произошло короткое молчаніе. Воротынская съ надеждой на него смотрѣла.

— Она умная, способная. Рисуетъ. Никто ее не училъ, сама. Вотъ, посмотрите.—Проворно снявъ съ полки, она развернула, показала ему тетрадку.—Видите: птичка, цвѣточекъ, домикъ... Въ самомъ дѣлѣ какъ настоящій домъ, и окна...

Взявъ тетрадку, онъ вытянутой рукой подержалъ ее на разстояніи, посмотрѣлъ и произнесъ критически:

— М-мъ... по правдѣ сказать, не важно... такіа же точно картины производить моя семилѣтняя...

Воротынская вырвала у него тетрадку и, съ обиженнымъ видомъ убравъ ее на мѣсто, спросила:

— А эта не ваша дочь?

— Я говорю: моя законная Любаша тоже царапаетъ карандашомъ.

— А эта не ваша?—вскрикнула Воротынская, вскочила, и глаза ея ожили, заблестали.

Такъ какъ онъ медлил отвѣтить, она подняла руки, бросилась къ нему и сильно потрясла его за плечи.

— Ваша вѣдь дочь? Говорите!

— Ну, положимъ, моя... Сядьте, пожалуйста, успокойтесь.

Испугавшись за искусную прическу своихъ длинныхъ волосъ, напущенныхъ на уши, господинъ всталъ, вытянулся, поправляетъ ее руками, накладываетъ откинутыя пряди на уши, слишкомъ большія уши, чтобы оставлять ихъ открытыми. Онъ говорить:

— Я дочь не отвергаю, но не должна она объ этомъ знать. Съ тѣмъ условіемъ я предлагалъ свое участіе, какъ вы, я думаю, помните. Самъ предлагалъ, хотя я самъ не представлялъ

для васъ ничего ровно,—вамъ только ребенокъ былъ нуженъ, в мною вы только воспользовались...

— Послушайте, — спѣшить она прервать его объясненіе, отвернувшись къ окну:—лѣтъ тринадцать тому назадъ, помнится, вы что-то обѣщали, и съ тѣхъ поръ я не видѣла васъ.

— Напрасно не обращались ко мнѣ. Гордость ваша...

— До сихъ поръ я могла обходиться безъ васъ, но теперь... вотъ до чего я дошла.

— За то вы Воротынская. Да-съ. Не захотѣли вы быть женой кутейнива Переполовенсаго, такъ и не жалуйтесь на меня. Я васъ упрасивалъ, умолялъ, я увлеченъ былъ вами.

— Вы были моложе меня; я не хотѣла связывать вашу судьбу съ моею.

— Скажите, какое идеальничанье! Не проще ли понять въ томъ смыслѣ вашъ отказъ, что ваши предки Римъ спасли, или палили бороды моимъ...

— Полноте!

— Такъ-то-съ, госпожа Воротынская, рожденная Кушелева! Фамилія моя, дѣйствительно, изъ невозможныхъ,—вы и пренебрегли-съ.

— Да полноте, я ужъ старѣла тогда, я пощадила васъ,—тихо промолвила она, не поднявъ на него глазъ и втайнѣ признаваясь себѣ, что, можетъ быть, не пощадила бы она его, еслибы любила его.

— Пощадили... И добровольно уступили меня другой. Быть можетъ, даже очень охотно-съ?

Съ едва сдерживаемой злобой, силясь придать своимъ словамъ отгѣнокъ насмѣшливаго равнодушія, онъ поднялся на цыпочки при ея легкомъ движеніи: не подскочила бы она опять трясти его.

— У васъ оно невольно, знаете, во всемъ проявлялось, словное пренебреженіе, въ отсутствіи ревности...

— Полноте!—слабо защищала она себя.

— Я былъ вашимъ наложникомъ презрѣннымъ, но удостоеннымъ.

— Фи, какъ вамъ не стыдно! Съ какой узкой точки зрѣнія вы истолковали себѣ мой отказъ! Неужели вамъ непонятно изъ благородство порыва, ни...

— Ну, ужъ вы съ своимъ благородствомъ... оставьте, пожалуйста! Не разставляли бы ловушекъ для молодежи. Иначе, какъ не ловушками, назовите-ка всѣ эти комнаты у благородныхъ дамъ, сдающіяся со столомъ и безъ онаго одинокому и холо-

стому господину. Да-съ. Позвольте васъ спросить, для чего это залавливаютъ съ улицы пришибленнаго нуждой студента?..

— Можетъ быть, для того, чтобы избавить его отъ нужды, дать ему спокойно кончить курсъ на всемъ готовомъ,—сказала она, и вздохнула.

— Положимъ, это я и безъ упрековъ помню-съ; въ противномъ случаѣ не явился бы сюда. Но воспользоваться...

— Чѣмъ это?

— Молодостью...

— О, вы были опытиѣ и практичниѣ меня, несмотря на вашу молодость, и гораздо предприимчивѣ,—вспомните-ка. Это вы меня залавливали...

— Вы очаровали меня!.. Да я не о васъ и говорю, я—вообще объ одинокихъ вдовахъ, ищущихъ жильца поинтереснѣе.

— Зачѣмъ же вы наняли у одной изъ таковыхъ?

— А зачѣмъ вы не сдали комнату женщинѣ, дамѣ?

— Оставимъ эти нелѣпыя препирательства. Еслибы не дочь, я ни за чтѣ не стала бы слушать ихъ, да еще отвѣчать вамъ на нихъ.

— Еще-бы-съ: вы Воротынская!

— Ну, Воротынская. Желаете вы помочь вашей дочери поправить здоровье?

— Всенепремѣнно-съ. У меня относительно этого довольно опредѣленное намѣреніе.

Види, что она успокоилась и взялась за работу, онъ сѣлъ, погладилъ ладонями свои полосатые брюки, и облокотясь на истертую ручку дивана изъ чернаго дерева, инкрустированнаго перламутромъ, еще разъ поглядѣлъ кругомъ. Памятенъ ему этотъ диванъ, когда-то стоявшій въ его кабинетѣ: на немъ частенько ночевалъ кто-нибудь изъ засидѣвшихся у него товарищей. Тогда на немъ потрепалась пестрая ковровая обивка, теперь онъ покрытъ черной клеенкой. Бѣдно и тѣсно, но грязи не видно; кровати опрятно убраны, а въ покроѣ дешеваго платья на ней соблюденъ вкусъ, даже изящество. „Нельзя же: Воротынская“!—подумалъ онъ съ ненавистью. Въ движеніяхъ ея еще сохранились слѣды ей свойственной надменной граціи, — но какъ она состарилась! Она была бы теперь его женой, эта старуха... И все-таки онъ не можетъ ей простить ея отказъ.

— Да, время, время,—началъ онъ,—всеразрушающая сила...

— Сколько вы можете дать ей на поѣздку въ деревню? — умышленно прерываетъ она не идущія къ дѣлу слова.

— Сколько прикажете? Но нельзя ли мнѣ хоть взглянуть

на нее? Довольно странно, согласитесь, что я даже въ лицо не знаю своей дочери. Я пріѣхалъ познакомиться съ ней. Я даже хотѣлъ бы сѣздить съ ней за городъ въ качествѣ ея родственника, узнать ее, поговорить съ ней...

— Вы сейчасъ съ ней говорили на дворѣ.

— Съ кѣмъ? Съ дочерью?

— Я видѣла въ окно, какъ она васъ проводила сюда.

— Ахъ, эта... рыжая? Позвольте, на кого же она похожа?

— Очень похожа на васъ.

Онъ призадумался. Представляя себѣ дочь хорошенькой дѣвушкой, онъ думалъ продержатъ ее года два въ школѣ, или въ подходящей семьѣ, сообщить ей нѣкоторый лоскъ, за недостаткомъ образованія, и затѣмъ, выдавъ ее замужъ, благополучно покончить съ ошибкой своей молодости. Но кто возьметъ жалкій, подслѣповатый заморышъ, видѣнный имъ на дворѣ? Красота—карьера, капиталъ для женщины, ея будущность, все; ничего безъ красоты она не можетъ достигнуть; нѣтъ любви, нѣтъ счастья для женщины безъ красоты; безъ красоты лучше ей не родиться совсѣмъ. Такъ, по крайней мѣрѣ, думаетъ господинъ Переполовенскій, озадаченный и сбитый съ толку въ своихъ намѣреніяхъ относительно дочери. Ко всѣмъ его соображеніямъ присоединялась также возможность отнять у матери дѣвочку для удовлетворенія своего неуспянаго мстительнаго чувства къ отвергнувшей его женщинѣ. Онъ сказалъ:

— Я, пожалуй, совсѣмъ ее возьму-съ.

— Нѣтъ-съ, не возьмете-съ,—отвѣтила она.

Частица съ язвительно свистѣла въ воздухъ быстро темнѣющей каморки. Влагая тонкую, какъ онъ полагалъ, иронию въ выражаемую тѣмъ почтительность къ Воротынской, рожденной Купцелевой, онъ пристегивалъ эту частицу почти къ каждому слову. И, понявъ его, она ту же почтительность возвращала по принадлежности.

— Отцовскія обязанности и права нераздѣлимы-съ.

— Не забывайте вы и материнскихъ правъ-съ!

— Ей слѣдуетъ чему-нибудь учиться въ виду неминуемаго труда-съ.

— Я кое-чему ее учила, подготовила въ языкахъ.

— Весьма одобряю. Ей, стало быть, не трудно найти мѣсто хоть сейчасъ, — говоритъ онъ, мстительно смакуя жестокость своихъ словъ.—Есть даже въ виду у меня, куда пристроить ее бонной.

— Идите вонъ!—вскрикнула Воротынская, взявшись обѣими

руками за грудь. — Вы... филантропы!.. Камень даете вмѣсто хлѣба, вы... лицомъры!

— Змѣю вмѣсто рыбы даемъ, и вмѣсто яйца скорпиона, — доканчиваетъ Переполовенскій съ цинизмомъ, съ похвальбой, съ злорадной усмѣшкой. — Да-съ, и все-таки одна надежда на насъ.

Она всмотрѣлась въ выраженіе его лица съ непритворнымъ изумленіемъ и страхомъ; она ахнула, всплеснула руками.

— Ахъ, Боже мой! Вы ужасны! Вы прежде не были злы... Какъ вы измѣнились!..

— Не ко всѣмъ-съ. И вы были рѣдкой доброты женщина, и еслибъ не сословный предразсудокъ...

— Это вы пропитаны, какъ ядомъ, сословной мнительностью...

— Теперь были бы счастливы со мной... сравнительно...

— Вы были бы несравненно несчастнѣе... Не хотите этого понять, такъ объяснять больше я не буду. Я выговаяю васъ, слышите? Городового позову.

— Не сердитесь, не сердитесь! — уговариваетъ онъ ее. — На что же сердиться?

— И на кого?! — промолвила она, отвернувшись, мгновенно успокоенная. — Дочь у меня на своемъ мѣстѣ, и лучшаго ей не найти. Только моею любовью жива хрупкая дѣвочка. Слушайте. Вѣдь у насъ все общее было въ нашемъ распоряженіи, — всё, что оставилъ мужъ. Возвратите сколько-нибудь моей... вашей дочери. Слѣпнетъ она, — о, что мнѣ дѣлать?.. Помогите скорѣй! — Она тоскливо повела руками и протянула ихъ съ мольбой, исхудалая, желтыя руки съ ясно обозначенными подъ божьей двумя костями предплечья, съ острыми локтями и сухими пальцами. Онъ помнитъ браслеты на этихъ рукахъ, когда-то бѣлыхъ и округленныхъ, съ розовыми ладонями и розовыми ногтями. Онъ самъ ходилъ закладывать массивныя золотыя браслеты... Онъ осыпалъ эти руки жаркими поцѣлуями, — ему холодно на нихъ отвѣчала госпожа Воротынская...

И странное, и рѣдкое удовольствіе испытываетъ онъ отъ созерцанія того, что осталось отъ ея рукъ, отъ ея роскошнаго бюста и роскошныхъ черныхъ волосъ.

— Ну-съ, такъ вотъ-съ, — проговорилъ онъ послѣ минутнаго раздумья: — чѣмъ могу, я готовъ вамъ служить. Угодно вамъ, чтобы я повезъ дѣвочку подышать чистымъ воздухомъ? Съ этого надо начать-съ.

— Пожалуй... Только я васъ попрошу, ради всего святаго для васъ, не говорите ей, какъ вы, бывало, говорили мнѣ, громкихъ словъ, — вообще, никакихъ рѣчей...

— Чтѣ-сѣ?

Его такъ и взорвало бѣшеной злостью. Онъ вскочилъ, онъ шагнулъ, запутался ногой въ обрѣзкахъ, нагнулся, и внѣ себя, поднявъ попавшій подъ руку утюгъ, грохнулъ имъ въ полъ. Самое слабое мѣсто его она задѣла. Его велерѣчивое фразерство, не оправданное поступками, когда-то бросили ему въ лицо товарищи и отшатнулись отъ него. Этого не можетъ онъ вспомнить безъ содроганія. Но, справясь съ утюгомъ, онъ овладѣлъ собой, и сталъ говорить, загнувъ голову набокъ и сунувъ руки въ карманы.

— Тѣ рѣчи не для такихъ женщинъ предназначались, если хотите знать-сѣ, не для васъ были сложены тѣ слова. Развѣ вы женщина, въ высокомъ значеніи этого слова? Вы даже неспособны были оцѣнить меня, или просто понять. Вы... позвольте вамъ въ глаза это замѣтить: вы—самка-сѣ. И ничего болѣе. Положимъ, и въ этомъ есть свое назначеніе; но рожать, такъ рожать здоровыхъ дѣтей,—постепенно возбуждая себя словами, поднималъ онъ голосъ; сквозь густой башъ его начали прорываться высокія, трескучія нотки.—Нѣтъ-сѣ! Воздержаться бы слѣдовало, а не вѣшать билетъ на ворота... Преступленіе—давать жизнь обреченнымъ на одно горе тварямъ, проклинающимъ, войдя во сознаніе, матерей своихъ!—кричитъ уже онъ.—Преступленіе! И... фха!—Онъ фыркнулъ, какъ разъярившійся котъ, отшвырнулъ ногой свертокъ выкроекъ, приблизился къ ней и прошепталъ:

— Задушить въ колыбели худосочное, подслѣповатое созданье, пожалуй, было бы меньшимъ преступленіемъ...

Почувствовавъ однако, что хватаетъ черезъ край, онъ замолчалъ.

Ея блѣдное, окаменѣлое лицо потемнѣло вокругъ глазъ, словно лицо покойницы; ея рука трепетала, ухвативъ уголъ стола.

Онъ посмотрѣлъ кругомъ, нашелъ чашку, налилъ воды, поднесъ къ ея губамъ. Она не разжимала губъ; она сѣла въ старое кресло, закрыла глаза, и чуть дышала, безпомощная, беззащитная.

— Не принимайте въ расчетъ всего сказаннаго!—загудѣлъ просительно его башъ.—Мало ли чтѣ скажется сгоряча. Но горячность моя доказываетъ, насколько я равнодушенъ къ участи связавшей насъ дѣвочки. Гдѣ она? Ее Маней зовутъ?

Воротынская молчала.

— Я грубъ, я кутейникъ, но вѣрьте же... выпейте глотокъ воды... я никогда...

Чтѣ-то онъ хотѣлъ сказать, но кострюлька на таганѣ зашипѣла, забрызгала, заклокотала, бѣлая пѣна полѣзла на полъ

съ плиты. Онъ шагнулъ съ растерянно поднятыми вверхъ кистями рукъ, дунулъ, завернулъ огонь и, схвативъ шляпу, вышелъ на дворъ.

Дѣти играли въ жмурки.

— Дѣвочка, поди сюда!—позвалъ онъ, махъ пальцемъ свою дочь.—Ты... ты, въ очкахъ, подойди ко мнѣ! Здравствуй!

Она подошла и сдѣлала ему реверансъ.

— Ты меня не знаешь, а я—твой дядя. Ну, дай мнѣ руку. Хочешь, поѣдемъ со мной за городъ погулять?

— Въ монастырь?

— Можно и въ монастырь.

Она подняла и уставила на него удивленное лицо, помолчала.

— Я не знаю,—сказала она,—мы еще не обѣдали.

— Тамъ поѣшь, мы захватимъ чего-нибудь.

— А мама?

— Ты поди къ ней скорѣй... Я подожду тебя за воротами.

Черезъ нѣсколько минутъ, откуда онъ торговалъ извозчика, вышла на улицу не только чисто, но и нарядно одѣтая, въ голубой юбкѣ и черной кофточкѣ, совсѣмъ приличная дѣвочка, въ хорошенькой шляпкѣ. И невольно онъ ей улыбнулся. И съ тяжелой семинарской галантностью онъ усадилъ ее въ пролетку.

— Ну, поѣдемте, барышня,—сказалъ онъ ей.

Въ монастырѣ только-что отошла вечерня, по случаю присутствія богатыхъ прїѣзжихъ особъ отслуженная самимъ владыкой. Народъ тѣснился въ воротахъ и на обширномъ дворѣ. Монашенки черной вереницей переходили съ крыльца на крыльцо, однѣ—суется и спѣша, другія, въ шолоховыхъ рясахъ со шлейфами, въ широкодонныхъ клобукахъ, спускавшихъ съ головы прозрачный флёръ до самаго подола, ступали важно и плавно. Попавъ въ привилегированное положеніе, онѣ замѣтно сторонились отъ монашенокъ въ черномъ коленкорѣ и въ колпачкахъ остріемъ вверхъ, надвинутыхъ на потные лбы. Раздавались ихъ умягченныя, благостныя восклицанія:

— Спаси васъ, Господи! Ахъ, искушеніе, искушеніе! Во имя Отца и Сына...

Переполовенскій, съ большимъ сверткомъ подъ мышкой, вылезъ за руку свою дочь изъ толпы къ ларьку подъ шатромъ, гдѣ продавались просвиры. Онъ снялъ шляпу и, вытирая лицо платкомъ, помахалъ лѣвой ногой: наступила ему на мозоль косолапая баба.

— Ну, давка!—сказалъ онъ съ досадой.

— Истинно давка, — подтвердила продавщица просвиры, пожилая, но юркая, быстроглазая монашенка въ колпачкѣ. — Кто за благословеніемъ лѣзетъ къ владыкѣ, а кто и въ чужой карманъ, всякъ по своей надобности. Вамъ просвиручку?

— Дайте пару большихъ, посвѣжѣе... Да что же вы, матушка, мнѣ даете, — это деревяшки, а не просвиры, возьмите навадь! Эхъ, вы!.. Скопили за годъ непроданные!..

— Зачерствѣли маленько, а для Бога единственно.

— Я люблю съ чаемъ, съ сливочнымъ масломъ.

— Ахъ-ахъ-ахъ, грѣхъ какой! Спаси васъ Господи и помилуй!

— А вамъ не грѣхъ подсовывать за свѣжее всякую плѣсень? — возражаетъ Переполовенскій сварливо.

— Вотъ искушеніе! Проходите, господинъ.

— Эхъ, вы, монашки!

— Да ужъ монашки не дадутъ промашки, — съ циничной усмѣшкой созналась продавщица: — для Бога трудимся, для обители.

— Въ подражаніе матери Митрофаніи? И обманъ для Бога, и ложь?

— А ложь-то во спасеніе.

— Слышала? — обращается отецъ къ дочери за сочувствіемъ. — Какое угодно изреченіе перетолкуютъ въ свою пользу... Не стану я пить чай въ монастырѣ. Мы отправимся въ деревню, и тамъ спросимъ самоваръ.

Дочь идетъ рядомъ съ нимъ степенно, не оборачиваясь, какъ воспитанная дѣвочка, и когда онъ къ ней обращается, она глядитъ на него сбоку, слегка раскрывъ губы.

Они обогнули монастырскую стѣну и начали подниматься къ рошѣ, къ желтѣвшимъ издали новымъ крышамъ деревни на возвышеніи, по ту сторону пруда.

На мосту нищій, съ палкой, съ мѣшкомъ черезъ плечо, въ живописныхъ, какъ бы снятыхъ съ картины, лохмотьяхъ, зорко оглядывался по сторонамъ. Онъ зажмурился при ихъ приближеніи и затянулъ, протягивая деревянную чашечку:

— Подайте слѣпенькому, Христа ради!

— Видѣла? — обращается отецъ къ дочери: — сейчасъ вѣдь смотрѣлъ во всѣ глаза. Чѣмъ ближе къ святой обители, тѣмъ откровеннѣе всякая ложь „во спасеніе“... Старуха! — прервалъ онъ себя, увидя на порогѣ первой избы сгорбленную маленькую старуху. — У тебя есть самоваръ? Ставь скорѣй и выноси сюда!

Они сѣли у стола, врытаго ножкой въ землю на краю воз-

вышенія, огороженного полуразвалившимся тыномъ, между по-
лынью и бузиной. Онъ развязалъ свой свертокъ, вынулъ пол-
бутылки вина и разложилъ закуски, изъ дорогихъ—подешевле:
затхлый балыкъ, омары съ легкимъ запахомъ гнили, четверть
фунта прогорклой икры, того-сего понемножку и ягодъ, цѣлыхъ
два фунта ягодъ. Угощать, такъ съ шикомъ угощать, для пер-
ваго знакомства, голодную дѣвочку. Не поскупился онъ захва-
тить и паштетъ,—правда, далеко не свѣжій, но и такого она не
видывала. Она никогда не ѣла омаровъ и пробуетъ ихъ не-
умѣренно, ѣстъ ягоды, опять омары, пьетъ молоко, потомъ чай.

Отецъ съ любопытствомъ ее разсматривалъ и узнавалъ свои
черты въ ея худенькомъ, безкровномъ лицѣ; да, она дѣйстви-
тельно похожа на него, эта безобразная дѣвочка. Но его боль-
шой ротъ скрытъ усами; выдвинутый уголъ подбородокъ не ви-
денъ подъ бородой, и здоровый цвѣтъ щекъ, составляя главнѣй-
шее, давалъ ему право считаться красивымъ мужчиной. И ду-
маетъ онъ, что его дочь не можетъ не быть хоть сколько-ни-
будь привлекательной. Глаза можно ей вылечить, веснушки свести,
здоровье поправить, подкормить ее, дать ей вздохнуть на про-
сторѣ. Не взять ли ее въ подянии къ своимъ дѣтишкамъ, подго-
товивъ къ этому жену? Пожалуй, и къ лучшему, что она не-
красива; она состарится въ его домѣ, неся преданно всѣ тя-
готы и заботы за всѣхъ.

Надо знать ему, что таятся въ ея головѣ, чѣмъ богатъ вну-
тренній міръ его я, воплощеннаго въ женщину; его дочь не
можетъ не быть умна, въ этомъ онъ твердо увѣренъ, но ее
трудно заставить разговориться. И, задавая вопросъ, онъ подли-
ваетъ въ ея чашку краснаго вина, кислаго, терпкаго, съ тем-
нымъ осадкомъ на днѣ бутылки.

— Хотѣла бы ты жить въ большой, хорошей квартирѣ,—
спрашиваетъ онъ ее,—каждый день вкусно обѣдать и постоянно
играть, какъ съ куклами, съ маленькими дѣтьми: одѣвать, раз-
дѣвать ихъ, причесывать, сажать въ ванночку, укладывать спать?
Отвѣчай мнѣ, Маруся.

— Меня Шурой зовутъ,—отвѣчаетъ она.

— Все равно: Шурой, Машурой, Марусей.

— Меня Сашей зовутъ.

— Да-да-да, Сашей!.. Забылъ. Могла бы ты привыкнуть ко
мнѣ, привязаться, жить со мной, какъ живешь съ матерью?

Дѣвочка сдержанно улыбнулась и промолчала.

— Что ты съ матерью дѣлаешь, когда не пьешь? Рисуешь?

— Мы читаемъ. Мы прежде были записаны въ библіотеку.

- Любишь читать?
- Люблю... Рисовать не умѣю.
- Какія радости бываютъ у тебя? Ну, скажи.
- Радости?—переспросила она, и задумалась.

Самоваръ остылъ, закуски всѣ перепробованы, ягоды съѣдены, бутылка пуста. Они сидѣли другъ противъ друга и смотрѣли въ разныя стороны. Подошла старуха-хозяйка, поправила загнутый краешекъ скатерти, постояла, подождала: не заговорятъ ли съ ней. Кошка ластилась у ногъ дѣвочки—костляван, жалкая, какъ всѣ деревенскія кошки, промысляющія о своемъ пропитаніи. Дѣвочка бросила ей кусокъ рыбы.

- Вы не кормите кошку,—замѣтила она.
- Когда и кормимъ,—отвѣчала старуха. — Намедни дали ей печенку протухлую.
- Намедни... А сегодня она не ѣла?
- А, ну ее... Брысь!
- Не гоните. Вотъ еще восточку ей. Вы, старушка, собираете отъ говядины кости?
- Копимъ и продаемъ. Въ тотъ мясоѣдъ на двадцать-пять копѣекъ продали.

— И мы продаемъ А бумажные мѣшки, пакеты изъ лавокъ и булочныхъ?

- Не... Какія булки у насъ!
- А мы ихъ не рвемъ и не мнемъ,—разговорила дѣвочка со старухой:—мы ихъ въ нижній комодъ складываемъ и на вѣсъ продаемъ.

— Вотъ и хорошо,—вмѣшался Переполовенскій:—соберемъ все это вмѣстѣ съ пакетами, ты матери отнесешь.

— Фи, вдругъ мамѣ объѣдки нести! — воскликнула Шура, вздернувъ свислыми плечиками, — оставимъ все старушкѣ. Она кошку покормить,—прибавила дѣвочка съ утистой улыбкой.

Онъ покраснѣлъ.

Зеленый скатъ холма еще облить живительнымъ свѣтомъ уходящаго солнца; еще тепло, но влетѣвшій снизу вѣтеръ обдаетъ душистой сыростью, вѣетъ вечерней прохладой; легли уже тѣни въ подножью и померкла поверхность пруда.

Весь монастырь отразился въ водѣ своей стройной громадой, съ густой зеленью вокругъ стѣнъ и высокими колокольнями, словно висѣлъ онъ главами внизъ. И внизу его очертанія были мягче, нѣжнѣе. Томно сіяли золотые кресты въ таинственной глубинѣ; красный огонекъ лампы передъ образомъ надъ сводчатыми воротами повторялся, тихо и призрачно мигая въ водѣ.

Шура долго, въ нѣмомъ экстазѣ, смотрѣла на прудъ; выраженіе блаженства томной улыбкой разлилось по ея лицу; она не шевельнулась, когда кошке прыгнула ей на колѣни, и съ ея колѣней на столъ. Отецъ прослѣдилъ ея взглядъ и сказалъ:

— Да, картина великолѣпная. О чемъ ты задумалась, Шура? Отвѣть мнѣ, пожалуйста.

Не отводя глазъ отъ пруда и не мѣняя выраженіе лица, она медленно проговорила:

— Хорошо, какъ во снѣ.

— А на яву тебѣ нехорошо?

— Во снѣ все лучше, дядя.

— Неужели такъ тяжело тебѣ живется, что ты хотѣла бы спать, всегда спать? Будь откровенна со мной, скажи мнѣ, чего бы хотѣла ты?

— Я хотѣла бы,—начинаетъ она мечтательно, поднявъ указательный палецъ, потомъ опустивъ его въ направленіи къ пруду, чтобы въ томъ подводномъ монастырѣ жили другія монашенки, не такія, какъ здѣсь. Чтобы одѣвались онѣ въ бѣлыя, тонкія, серебристыя ткани, какъ ангелы, и были какъ ангелы добры и прекрасны собой. Страшенъ мнѣ черный цвѣтъ. Во всемъ черномъ чернѣетъ душа, кажется мнѣ, родятся темныя мысли подъ черными колпаками.

— Колпаки и дураки нераздѣльны,—согласился отецъ.

— Я хотѣла бы свѣтлыхъ, и чистыхъ, и радостныхъ впечатлѣній для моихъ бѣлыхъ монахинь. Онѣ не должны сидѣть взаперти...

— Ругаться между собой, лгать и ханжить,—съ прозаическимъ сочувствіемъ вставилъ отецъ, глубоко заинтересованный ея фантазированьемъ.

— Онѣ должны ходить ко всѣмъ, во всѣ дома, всѣхъ знать, какъ городской, каждая въ своемъ участкѣ, заступаться за обиженныхъ, осчастливить несчастныхъ, кому что нужно—давать. Весь день онѣ должны ходить, искать и спрашивать, кому нужна ихъ помощь, и только почевать въ своемъ монастырѣ.

— Ты была бы игуменьей!

— Нѣтъ, не я, мама.—Она встала и взмахнула руками.—Такъ бы я и слетѣла туда!—воскликнула она, неожиданно засмѣявшись дѣтскимъ, пріятнымъ смѣхомъ.—Туда, туда, къ моимъ сестрамъ, къ моимъ любимымъ красавицамъ!

Онъ улыбнулся, слушая ее, той же улыбкой, съ какою ласкалъ своихъ законныхъ дѣтишекъ. Доброе отцовское чувство потягло его къ дѣвочкѣ съ чуткой художественной душой, кото-

рой только во снѣ хорошо. И томится, бредитъ юная душа исканіемъ правды, исканіемъ лучшей жизни, создаетъ себѣ другой міръ... Кто разглядитъ ея душу? Безъ красоты, которую она такъ любить и понимаетъ, кто пойметъ ее и полюбитъ, кромѣ матери... и отца? Кто дастъ ей хоть одно мгновеніе счастья? Кто станетъ вглядываться въ нее, въ призванную имъ на пиръ житейскій гостью, обдѣленную и обойденную?..

Грустное, жалостливое чувство теплой волной поднялось въ его груди, согрѣло и освѣтило выраженіемъ нѣжнаго состраданія лицо его. Медленно поднялся онъ со стула, сѣлъ передъ ней на обломки плетня и устремилъ на нее вдумчивый, виноватый взглядъ, удерживая желаніе обнять ея ноги.

Наклонясь надъ плетнемъ, она махала руками, какъ крыльями оживленная, вспыхнувшая яркимъ румянцемъ.

— Я улетаю!—вскрикивала она и смѣялась, и чѣмъ безпечнѣе, чѣмъ веселѣе звучалъ ея смѣхъ, тѣмъ нестерпимѣе жгучая жалость прилиwała къ сердцу его, тѣмъ ниже опускаетъ онъ голову.

Она можетъ шутить и палить, какъ счастливыя, красивыя, законныя дѣти; это вполнѣ естественно, нисколько онъ этимъ не удивленъ, но онъ все-таки повторялъ про себя: „она можетъ смѣяться, можетъ шутить и палить!“ Голова его склонилась на траву къ ея ногамъ. Никогда не вздыхалось ему такъ мучительно горько, и вмѣстѣ свѣжо и тепло.

— Саша! Ты хотѣла бы со мной подружиться, какъ съ равнымъ, дѣлить свои мысли и грѣзы?

— Я сейчасъ улечу, дядя, туда, въ подводный монастырь!

Онъ всталъ, болѣзненно сжимая губы, поднялъ камень и бросилъ въ воду, въ отраженіе подводнаго монастыря. И вѣковыя каменные стѣны колыхнулись, задрожали, рассыпались мелкой прозрачной зыбью...

Притихла дѣвочка, задумчиво провела рукой по лицу, и вторила, вздохнувъ:

— Какъ во снѣ хорошо!.. Но домой пора, дядя,—мамѣ скучно одной.

Онъ началъ проявлять угодливую къ ней заботливость, чувствуя съ каждой минутой опредѣленнѣе, что дорога ему стала ея хрупкая жизнь. Она уклонялась отъ его услугъ.

— Саша, роса! Я снесу тебя съ холма, чтобы ты не промочила ноги... Не бѣги, не оступись, не упади!—остерегалъ онъ ее.—Запахни кофточку, Саша!

Онъ, ласково и уважительно заглядывая ей въ глаза, упрямилъ ее: — Не напрягай глаза, не шей, береги, Саша, здо-

ровье. Съ завтрашняго дня я каждый мѣсяцъ буду присылать тебѣ денегъ. Поѣзжай съ матерью въ деревню, дачку наймите. Я буду тебя навѣщать,—желаешь ты, Саша? Ну, скажи мнѣ, скажи!.. Можетъ быть, ты привыкнешь ко мнѣ, захочешь у меня погостить... Саша?

Она молчала.

Отпустивъ дочь, Воротынская принялась съ особеннымъ усердіемъ шить на машинѣ, но стукъ колеса не подавлялъ ея ощущений. Все поднималась ея тревога по мѣрѣ проясненія мыслей, росло ея волненіе. Будущность ея дочери представлялась ей съ ужасающимъ вѣроятіемъ въ образѣ бѣдной швеи или служанки въ чужомъ домѣ, гдѣ будутъ угнетать непосильной работой, унижать ея несравненную Шуру. Воображала она ее женой бѣдняка изъ сосѣдей, равныхъ имъ по имущественному положенію, такъ какъ другихъ людей не видятъ онѣ. Воображала она дочь свою матерью, въ вѣчной тоскѣ по своимъ необезпеченнымъ дѣтямъ, воображала ее бабкой и прабабкой нищихъ, быть можетъ, воришекъ, пьяницъ, преступниковъ... Объ этомъ она не подумала, когда, въ силу непобѣдимой потребности материнства, она отдалась человѣку, чуждому ея сердцу. Тяжкій грѣхъ она сдѣлала, преступленіе. Но вложенный въ нее природой, душившій ее избытокъ энергій, избытокъ нѣжности, преданности, самоотверженной заботливости—требовалось излить на слабое существо, на ребенка. Не въ ея власти было противиться могучему велѣнію природы,—значить, природа грѣшна и преступна...

Еслибъ возможно было побороть природу въ себѣ,—давно былъ бы рѣшенъ социальный вопросъ. Еслибъ бѣдность могла извратить инстинктъ женщины до отвращенія къ материнству,—не рождались бы бѣдняки, и тогда... Половину состоянія можетъ потребовать единственная въ округѣ бѣлошвейка за дюжину бѣлья у богачекъ... Богачкѣ пришлось бы работать самой. И тогда—честь и почетъ труду! Величайшее благо—доступъ къ немногимъ труженикамъ, учителямъ труда, благодѣтелямъ человечества. Только трудъ, всякій трудъ оцѣненъ одинаково высоко, все остальное—ничтожество, прахъ. И тогда безъ теорій, системъ и насилій—общее уравненіе. Взаимное общее уваженіе, миръ, согласіе, братство...

Такія мысли слагались въ встревоженной головѣ госпожи Воротынской.

Проходилъ быстро вечеръ; засвѣтились окна сосѣдей; всѣ вернулись съ работъ и ужинали. И Шурѣ пора бы вернуться.

Другого рода безпокойство овладѣло матерью. Вспоминаетъ она всѣ сразившія ее жестокия слова Переполовенскаго,—онъ обрекалъ на смерть въ колыбели своего же младенца!.. Какъ могла она растеряться до такой степени, что довѣрила ему свою Шуру, свое сокровище? Куда онъ ее повезъ? Чтѣ съ ней дѣлаетъ?..

Много разъ выходила она спросить у сосѣдей, не вернулась ли Шура, нѣтъ ли ея на дворѣ. Она надѣла свое шерстяное платье, чтобы идти, заявить, рассказать, предпринять что-нибудь. Бездѣятельно сидѣть и ждать не могла она. Но Шура порывисто вбѣжала и обняла ее. Наконецъ!

Какъ крѣпко, какъ сильно мать прижала ее къ себѣ! Въ своемъ физическомъ наслажденіи пригрѣть ее на груди, ощущать въ своихъ рукахъ ея слабое тѣло—какъ счастлива мать! За одно это счастье она бы снова пожертвовала всѣмъ, чтѣ имѣла, и родствомъ, и связями, и репутаціей,—ничѣмъ она не дорожитъ, кромѣ данной ею жизни своей Шурочкѣ, амурочкѣ, буколкѣ, кисанькѣ, цыпѣ.

— Погоди, цыпочка, мы съ тобой далеко пойдемъ. Я добуюсь, что ты научишься рисовать, знаменитостью будешь. Жизнь откроетъ тебѣ всѣ свои блага. Тогда мнѣ не въ чемъ будетъ каяться передъ тобой, тогда я буду оправдана. Обними меня хорошенько, покажи, какъ ты любишь меня... Ну, чтѣ этотъ господинъ говорилъ тебѣ?

— Мама, онъ добрый. Онъ обѣщалъ пріѣхать къ намъ, денегъ намъ дастъ.

Стала дѣвочка рассказывать свои впечатлѣнія, съ одушевленіемъ распространяясь о бѣлыхъ монахиняхъ подводнаго монастыря.

— Улетимъ туда, мама,—проговорила она серьезно,—здѣсь радостей нѣтъ. Улетимъ!

И вдругъ она сразу умолкла. Тяжело и быстро дыша, кусая губы, легла она, не раздѣтая, на постель и глухо сказала въ подушку:

— Мама, позови городского: невыносимо!.. Меня рѣжетъ всю, больно мнѣ, жарко...

Мать встала съ своего кресла, нагнулась надъ ней. Городовой въ ихъ беззащитномъ положеніи играетъ роль, когда имъ плохо приходится. Не разъ онъ избавлялъ ихъ отъ вторженій пьяныхъ и дерзкихъ сосѣдей, посылалъ къ нимъ разносчиковъ, когда имъ нельзя было выходить за провизіей,—да мало ли услугъ онъ оказывалъ! И къ нему, единственному ихъ защитнику, прибѣгаетъ терпѣливая Шура,—стало быть, слишкомъ ей плохо.

— Тошно мнѣ, мама!—стонеть она.

— Тошно?—переспросила мать, и подозрѣніе, ужасное подозрѣніе, мгновенно захватило ее, и шепчетъ она, вода кругомъ помутившимся взглядомъ:

— На каторгу я его, на вѣчную каторгу!.. Я спасу тебя... Чего ты поѣла? Говори скорѣй, Шура!

— Стучить у меня въ головѣ машинное колесо,—вели городовому остановить...

Съ секунду Воротынская не могла сдвинуться съ мѣста, ноги ея отяжелѣли, пристали къ полу, но вдругъ, схватившись за голову, она выбѣжала на улицу и отчаянно закричала:

— Городовой?!—Тотъ подбѣгаетъ. — Частнаго доктора, какого нибудь доктора скорѣй пришлите ко мнѣ! Вы меня знаете? Я — Воротынская. Противоядіе, противоядіе... Вы понимаете меня?—И такъ какъ городской возразилъ:—Я на посту, — она бѣшено потрясла его за плечи.

— Дочь мою отравили, бѣгите! — на всю улицу закричала она.

Городовой побѣжалъ за докторомъ.

А. Виноцкая.



КРУЖОКЪ „КРУГЛОЙ БАШНИ“

Изъ воспоминаній В. Д. Хрущовой 1877—78 гг. ¹⁾.

X *).

Съ прїѣздомъ моей сестры, наша работа пошла гораздо правильнѣе и успѣшнѣе. Она привезла съ собою керосиновую печку, и около этой печки стало понемногу складываться самостоятельное хозяйство. Скоро и въ нашемъ отдѣленіи появился сундучокъ съ припасами. Сестра привезла съ собою и небольшую сумму денегъ, собранныхъ знакомыми въ пользу нашихъ больныхъ. Мы не передали этихъ денегъ м-ше К—вой. Последнее время наши отдѣленія слишкомъ часто стали забываться при общихъ раздачахъ и при распредѣленіи пособій. Эта неравномѣрность была вполне понятна. Нужды и потребности людей, которые были у нихъ на глазахъ, за которыми онѣ сами ухаживали, являлись имъ гораздо рѣзче, нежели нужды и страданія, о которыхъ онѣ даже мало и слышали, ибо времени не доставало рассказывать и расписывать крайніе недостатки своихъ отдѣленій.

Сестра моя очень сошлась съ Ю. С. Д—вой. Она, т.-е. Ю. С., все яснѣе и яснѣе высказывалась противъ той безурядицы и нестроения, которыя она застала въ нашемъ госпиталѣ. Мы начали помышлять о нѣкоторыхъ реформахъ, о введеніи удобнаго порядка.

Сестрѣ и мнѣ нравилось въ Д—вой строгое отношеніе къ дѣлу и къ разъ принятымъ на себя обязанностямъ.

*) См. выше: январь, 240 стр.

„Мы здѣсь прибѣгаемъ не себя тѣшить, а помогать и облегчать, насколько можемъ, участь этихъ людей. Я никакъ не могу позволить себѣ смотрѣть на это дѣло лично или заботиться о томъ, что могутъ думать или говорить обо мнѣ въ городѣ иногда!“ — рѣзко и не скрывая намека, говорила она.

Графиня П. ѣздила къ намъ очень рѣдко. Она вся была поглощена формированіемъ кружковъ, которые помогали бы всѣмъ военнымъ госпиталямъ города и, если возможно, и губерніи. Она особенно сошлась съ Д—вой и сестрой, и между ними иногда происходили совѣщательныя бесѣды въ отдѣленіи. Надо прибавить, что съ поступленіемъ Д—вой дежурствамъ „веселыхъ сестрицъ“ былъ положенъ конецъ. Она вскорѣ попросила ихъ удалиться и болѣе не возвращаться въ этотъ госпиталь.

Въ мое отдѣленіе въ это время положили вновь нѣсколькихъ трудныхъ больныхъ, между ними одного диссентеріа. Это былъ пожилой человѣкъ, сѣверянинъ; его крѣпкая натура вынесла его изъ болѣзни, и онъ начиналъ поправляться. Зная, какъ опасно всякое ухудшеніе въ этой болѣзни, я внимательно слѣдила за его питаніемъ и привозила ему изъ дому густую овсянку, свѣжихъ яицъ и настоенную отварную воду для его питья. Несмотря на эти предосторожности, ухудшенія все-таки повторялись.

Я разспрашивала его, какія причины этому ухудшенію.

Онъ, вмѣсто отвѣта, начиналъ клясться самыми страшными словами, что онъ ничего не знаетъ и ничего такого не дѣлалъ, что болѣзнь съ доброй воли мучитъ его. Сосѣди его при этомъ стыдили, уличали каждый разъ во лжи, — совѣтовали сознаться, что слугитель совалъ ему что-то вчера подъ подушку.

— Безбожники, что вы клепете! Не слушай ихъ, матушка, — ишь врутъ, — не слушай, Христа ради, — пособи, голубушка!.. Ей Богу, клянусь Христомъ Богомъ, ничего я не пилъ, не ѣлъ, — что только велишь, все исполняю, росинки маковой во рту не было! — причиталъ онъ, ворчась отъ боли.

Ему давали капли, обкладывали горячимъ, и онъ оживалъ.

— Спасибо, родимая, спасибо, пособила ты мнѣ, — а то, думаю, ужъ совсѣмъ и душа вонъ, — такъ всѣ вздохи и заперло, ей Богу, не чаялъ оправдаться.

Я повторяла ему свои увѣщанія и наставленія и просила его слушать меня.

— Да что ты, матушка, просишь-то меня! Ахъ, ты, голубушка, да развѣ я самъ себѣ врагъ, что-ли? Нѣтъ ужъ, небось, теперь буду и самъ знать. Ужъ надо правду сказать, — въ тотъ-

то разъ, ну, такая жажда загорѣлась, думаю—спалить все нутро; я и попросилъ служителя кваску мнѣ принести; ужъ согрѣшилъ я, голубушка, вѣрное слово — согрѣшилъ, ужъ ты не карай меня...

И опять становилось ему лучше и лучше. Я такъ была этимъ довольна, что у меня начинало проходить чувство досады на него. Онъ былъ изъ фабричныхъ, съ одной изъ фабрикъ подъ Петербургомъ, и имѣлъ при себѣ деньги. Такъ прошло нѣсколько дней.

Въ одно утро пріѣзжаю я и спрашиваю у фельдшера про Павла Маркова.

— Говорить, помираетъ,—отвѣчалъ фельдшеръ:—всю ночь мнѣ спать не далъ, все кричалъ, да стоналъ; я ему опию давалъ,—не хорошъ, по всему видно, что не хорошъ.

— Да вчера еще ему было такъ хорошо,—сказала я, и поспѣшила въ палату, гдѣ лежалъ Марковъ.

Онъ лежалъ на своей койкѣ, весь съ головою завернувшись въ халатъ и одѣяло.

— Что съ Марковымъ?—спросила я у сосѣда.

— Да говорить, что помираетъ,—отвѣчалъ больной.—Нехорошій онъ человѣкъ, сестрица,—все норовитъ васъ обмануть.

— Охъ, Господи, о-о-хъ, о-о-хъ!—застоналъ Марковъ.

Я приподняла одѣяло. Лицо больного казалось безъ кровинки. Вокругъ впалыхъ глазъ образовались темные круги, губы посинѣли, а на лбу выступали крупными каплями холодный потъ.

— Охъ, зазябъ весь!—простоналъ больной.—Голубушка, ужъ, видно, не пережить мнѣ сегодняшняго дня,—охъ, смерть моя пришла!

— Скорѣй принесите грѣлки и горячей золы въ мѣшкѣ,—скорѣй! И бѣгите, попросите старшую сестру сюда (сестра нашего отдѣленія была послана въ городъ), скорѣй, торопитесь!—растерявшись, при видѣ приближающейся смерти, говорила я.

— Голубушка, мнѣ бы священника, приобщиться бы желалъ,—охъ, конецъ мой,—конецъ пришелъ...

— Осипъ!—кликнула я служителя сосѣдней палаты:—сходи поскорѣе за священникомъ; больной желаетъ приобщиться.—Я укрыла Маркова еще другимъ одѣяломъ и обтерла потъ съ его лица.

Пришла старшая сестра.

— Александра Петровна, ему нехорошо,—сказала я.

— А вчера еще былъ такой веселый съ утра; вѣрно, опять съѣлъ что-нибудь. На него всѣ жалуются, Вѣра Дмитріевна: онъ

ужасно невоздержанъ. Что ты вчера ѣлъ? сознайся!—спросила она его строго.

— Охъ, сестрица, да что же я ѣлъ... вотъ которую они овсянку вчера оставили, да питьецо тутъ около меня поставили, такъ я и его-то за ночь всего не выпилъ,—а не что бы еще что-нибудь другое ѣлъ...

— Да ты лучше скажи правду!—уговаривала сестра:—тогда намъ будетъ легче помочь тебѣ.

Мы обложили его теплой золой.

— Надо самой горячей, а эта едва тепла,—сказала старшая сестра, щупая подушку,—надо на кухню сбѣгать, служитель, да поскорѣе... Экіе дѣлтані!—сейчасъ у меня бѣгомъ бѣги!—прикрикнула она на служителя. Тотъ убѣжалъ.

Вошелъ фельдшеръ съ грѣлкой.

— Надо полагать, что обѣлся, — сказалъ онъ, глядя на больного, котораго дергали судороги.

— Охъ, ты, басурманъ, чего я стану обѣдаться-то,—не ты ли обжормилъ?!—закричалъ больной на фельдшера.

— Тише, Павелъ, замолчи, успокойся! Помни, что ты сейчасъ будешь приобщаться.

— Ой, прости, голубушка, не стану больше, ей Богу, не стану! Господи, прости мнѣ мои прегрѣшенія, охъ, охъ!—застоналъ онъ.—Вчера махонькій кусочекъ, что порошокъ, хлѣбушка въ ротъ взялъ, да тѣмъ и заговѣлся. Да ужъ не съ эстаго, а видно ужъ мнѣ на роду написано въ госпиталѣ помереть, охъ, охъ!.. Домой-то хошь напишите, сестрица, что умеръ больной Павелъ Марковъ,—адресъ-то есть у тебя.

Мы обложили его всего горячимъ, дали выпить ему вина. Онъ немного поуспокоился. Мы стали готовить его къ причащенію, читать молитвы.

Все смолкло въ палатѣ, больные притихли. Павелъ молился.

Пришли сказать, что священникъ сейчасъ будетъ. Павелъ былъ такъ слабъ, что надо было его приподнять и подпереть подушками. Мы со старшей сестрой придерживали его, пока фельдшеръ поправлялъ и поднималъ подушки. Вдругъ что-то хлопнуло объ полъ, точно выпало изъ подушки и покатилося. Сестра перегнулась и посмотрѣла.

— Господи!—съ ужасомъ вскричала она:—посмотрите...

Я обернулась. По полу катилось большое зеленое яблоко. У меня руки упали. Сестра тоже опустила больного на подушки. Она стала рыться и достала другое яблоко, обглоданное съ одной стороны. Мнѣ стало чрезмѣрно гадко и обидно.

— Ахъ, Павелъ, Павелъ!—только выговорила я.

— Простите, простите!—взмолился онъ:—не карайте меня, будьте милосерды,—меня ужъ и такъ Господь покаралъ! Я только зубами его поскребъ. Охъ, родимая, тошнѣхонько мнѣ,—ужъ вѣдь это не съ эстова приключилось, а, видно, такова воля Божья,—прости, матушка!

Мы съ сестрой чуть не плакали.

— Пойдите, пойдите въ комнату сестеръ!—сказала мнѣ старшая сестра.—Пойдите, отдохните, я съ нимъ побуду.

Но этотъ случай не прошелъ даромъ. Черезъ нѣсколько часовъ мы собрались всѣ въ комнату сестеръ, чтобы обсудить, какія принять мѣры для того, чтобы подобные случаи не могли повторяться. У больного были при себѣ деньги, и онъ подкупилъ служителя. Подобные случаи уже нѣсколько разъ повторялись и въ другихъ отдѣленіяхъ.

Надо было навести грозу на служителей и фельдшеровъ и попросить врачей поддержать насъ въ этихъ строгостяхъ.

Въ этотъ же день сестры учинили общій обыскъ, и эти обыски должны были часто повторяться. Ответственность за то, чтобы ничего запрещеннаго не было у больныхъ, падала на служителей и фельдшеровъ.

Впослѣдствіи было устроено такъ, что больные должны были передавать всѣ деньги на храненіе въ контору. Безденежные больные были обезоружены и тѣмъ самымъ безопасны. Кроме того, мы старались аккуратно и дешевле покупать имъ тѣ бездѣлицы, въ которыхъ они нуждались.

Однако, всѣ эти мѣры уже не могли спасти Павла Маркова. Въ эту ночь онъ умеръ, безъ большихъ страданій; на другой день, когда я пріѣхала, его койка была пуста.

— Вѣра Дмитріевна, нѣтъ ли у васъ тряпочекъ или полотенчика старенькаго? Если есть, дайте мнѣ пожалуйста!—говоритъ озабоченнымъ и вмѣстѣ торопливымъ голосомъ Ольга Д. Г.—на.

— Есть, кажется; пойдите, посмотримъ.

— У насъ сегодня операція; я думаю, что сейчасъ приплотъ за мною. Да вы мнѣ дайте такую тряпочку, которую можно рвать. Эти казенныя тряпки такія жесткія, толстыя. Надо непременно просить, чтобы намъ жертвовали побольше ветоши; мы ужъ все, что у насъ было ветхаго, все перевозили сюда.

Мы подѣлились тряпками.

— А вы не придете внизъ, въ операціонную, посмотреть, какъ Рабе оперируетъ? Какой онъ искусный хирургъ!

У меня сердце дрогнуло.

— А я не помѣшаю тамъ?—спросила я.

— Нѣтъ, конечно, не помѣшаете, вѣдь вы не чужая: онъ не любитъ, когда чужіе приходятъ; но, можетъ быть, вы не выдержите? Вѣдь иные не могутъ выдерживать вида крови,—имъ дѣлается дурно. Знаете, я прежде думала, что я не въ состояніи присутствовать при операціи,—прежде мнѣ дѣлалось дурно при видѣ крови. А теперь даже смѣшно вспомнить, что могла быть такъ малодушна. Вы знаете,—во время операціи до такой степени забываешь о себѣ, такъ бываешь занятъ докторомъ и больнымъ, что и въ голову не приходитъ, что можетъ сдѣлаться дурно.

— Я никогда не присутствовала при операціяхъ,—сказала я.

— Сегодня не трудныя операціи, троихъ будутъ оперировать; вѣдь вамъ надо привыкать. Придется же вамъ идти, когда одного изъ вашихъ понесутъ въ операціонную.

Больные часто просили, чтобы сестра, къ которой они привыкли, была при нихъ въ эти страшныя минуты.

— Я теперь передала всѣхъ своихъ хирургическихъ больныхъ сестрѣ, но вы совершенно правы, надо привыкать; въ этомъ случаѣ щадить себя—непростительно малодушно. Я приду.

Въ это время пришелъ слуга и, увидавъ Ольгу Г—ну, сказалъ ей, что ищутъ ее, что больного уже понесли.

Она отправилась внизъ, а я вернулась къ своему дѣлу. Я чувствовала, что мнѣ предстоитъ что-то тяжелое, и что это тяжелое надо на себя взять.

Черезъ часъ я пошла внизъ.

Операціонная находилась въ нижнемъ этажѣ.

Передъ массивной затворенной дверью сидитъ слуга. Онъ сторожитъ у дверей, не пропуская постороннихъ. Когда я подошла, онъ всталъ, осторожно поднялъ задвижку, чтобы не было стука, и толкнулъ дверь. Я вошла въ операціонную. Неподалеку отъ окна, вокругъ высокаго стола, стояла группа людей. Они оглянулись на меня, когда я вошла, и затѣмъ молча и строго продолжали свое дѣло. На высокомъ столѣ лежитъ чело-вѣкъ. Его готовятъ къ операціи, усыпляя хлороформомъ.

Самый этотъ столъ съ своими желѣзными шарнирами и крюками, раздвижныя его доски, распростертый на немъ чело-вѣкъ, инструменты, разложенные на окнѣ, все это обдавало насъ тѣмъ-то средневѣковымъ и пахло истязаніями и пыткой.—Сравненіе невѣрное, но таково было впечатлѣніе.

У изголовья больного, придерживая его голову, стоитъ Оленька

Г—на. Съ противоположной стороны, держа пульсъ одной рукой и маску съ хлороформомъ—другой, стоитъ главное дѣйствующее лицо—операторъ, на видъ нескладный человѣкъ, короткій, съ непропорціонально длинными руками, весьма некрасивый, съ узкими, какъ щелки, глазами, но изъ этихъ узкихъ щелокъ смотрѣли умные, выразительные глаза. Время отъ времени онъ дѣлаетъ отрывочныя замѣчанія другой сестрѣ, которая стоитъ у окна, наклонившись надъ инструментами, и въ которой я въ первую минуту не узнала Ольгу К—ву. Но вотъ она выпрямилась, ея стройная фигура силуэтомъ обрисовалась на свѣтломъ полѣ окна, —она подала хирургу флаконъ съ хлороформомъ. У ногъ больного стоитъ слуга; онъ держалъ его здоровую ногу, которая дергается и стягивается судорожными движеніями. Другая нога обнажена до колѣна и лежитъ бездвижная и изсохшая на клеенкѣ. Изъ нея будутъ вынимать осколки гранаты.

Время отъ времени судорожно двигается пациентъ, широко открываетъ мутные глаза и начинаетъ дикимъ голосомъ говорить и ругаться. Тогда слуга наваливался ему на грудь и держалъ его, чтобы не дать свалиться со стола. Если эти крики и брань долго не унимаются, то операторъ строгимъ голосомъ призываетъ его замолчать.

Немного поодаль на койкѣ лежитъ другой человѣкъ. Этого только-что сняли съ операціоннаго стола и перенесли на койку, чтобы дать вполне очнуться и отдохнуть. Это—совсѣмъ молодой человѣкъ, измученный долгими страданіями. Его жалкое, худое лицо выражаетъ недоумѣніе и страхъ передъ тѣмъ-то непонятнымъ, случившимся съ нимъ. Онъ тихо стонетъ, и слезы неудержимо струятся по его недоумѣлому лицу. Около него, то подавая ему освѣжительное питье, то смачивая голову водою, стоитъ наша старшая сестра.

— Ну, полно, милый, полно,—теперь ужъ кончилось, больше не будемъ тебя мучить!—въ полголоса ласково говоритъ она.—Теперь ты у насъ станешь поправляться; мы тебя выходимъ, и посмотри, какимъ отъ насъ молодцомъ пойдешь... Полно, голубчикъ!

— Да очень еще больно, сестрица,—хуже прежняго больно, да и въ головѣ-то помутивши... охъ, и не приведи Богъ!—тихо говоритъ раненый,—и слезы все катятся и катятся.

Я подошла къ старшей сестрѣ.

— Къ чему они того-то принесли?—въ полголоса сказала она, обращаясь ко мнѣ.—Ужъ, кажется, и такъ довольно ихъ травмировать, такъ нѣтъ, все еще имъ мало... жалости нѣтъ никакой...

Я оглянулась, чтобы понять, къ чему относятся ея слова. За входной дверью на полу стояли носилки, и на нихъ тоже лежалъ человѣкъ. Его тоже должны были оперировать сегодня, и онъ дожидалъ своей очереди.

Я тихонько пробралась къ нему.

Его лицо было искажено отъ напряженнаго вниманія и ужаса. Глазами онъ точно впивался въ лежащаго на столѣ, противъ него, товарища.

Я не совсѣмъ ясно поняла слова старшей сестры.

Я заключила, что некому было унести его послѣ операціи.

— Тебѣ тоже давали сонныхъ капель?—спросила я.

— Никакъ нѣтъ, сестрица, я послѣдній пойду, послѣ этого.

— Затѣмъ же тебя такъ рано принесли?—необдуманно спросила я.

— Не могу знать,—старшій дохтуръ, что-ли, его зовутъ, такой сѣдой ходить...

— Да, старшій докторъ.

— Пришелъ сегодня къ намъ, спрашиваетъ, кому здѣсь положено операцію дѣлать; фёршалъ говоритъ: ему—мнѣ, значить. Ну, говорить, тащи его, братцы. Служителя взяли, принесли меня сюда и поставили. Дохтуръ сказывалъ, за сонными каплями ничего и не услышишь, какъ тебѣ руку отымемъ (у него была разбита кисть). Боязно мнѣ что-то, сестрица,—пожалуй, лучше кабы безъ капель: видно, ему не легко,—ишь, какъ бьется. Говорятъ, эти капли мозги тревожатъ.

Я старалась его разувѣрить и успокоить.

Оперируемый, въ это время, опять забился и сталъ крупно браниться. Ольга К—ва подошла къ намъ.

— C'est affreux comme il jure—ce sont les moments les plus désagréables; heureusement que notre médecin est un homme si sérieux, ne se permettant le moindre sourire.

— Ольга Александровна,—спросила я ее, отойдя съ ней немного въ сторону:—почему это такъ рано принесли этого несчастнаго? вѣдь такимъ образомъ онъ переноситъ двойную пытку, и еще до операціи совершенно измучится!

— Это больной не изъ нашего отдѣленія,—отвѣчала она:—я бы своего больного ни за что не дала... Это все распоряженія этого ужаснаго старшаго врача,—это такой безчеловѣчный господинъ,—я ему уже говорила объ этомъ; онъ увѣряетъ, что это—царскія нѣжности: „Богъ съ вами, барышня, да въ арсеналѣ юстоянно такъ дѣлають,—снесутъ всѣхъ въ операціонную, да

по очереди и рѣжутъ!“... Такой злой... Но этотъ вопросъ надо будетъ поднять, наши хирурги тоже возмущены.

Насъ прервали громкія ругательства.

Ольга Александровна пошла къ столу.

— Сестра, потрудитесь призвать еще служителя посильнѣе, сказалъ операторъ.—Ужъ этотъ мнѣ казенный хлороформъ! Посмотрите, вотъ уже больше получаса мы тутъ стоимъ надъ нимъ, а онъ еще какъ силенъ!

Пришелъ другой служитель.

— Держи его, когда я начну рѣзать, чтобы онъ не выбился, — слышишь?

— Слушаю, ваше высокоблагородіе.

— Подержите-ка губку съ хлороформомъ! — Онъ передалъ губку сестрѣ, а самъ отошелъ къ инструментамъ и сталъ отбирать тѣ изъ нихъ, которые понадобятся ему при операціи, называя и объясняя при этомъ ихъ употребленіе Ольгѣ К—вой. Она должна была подавать ихъ по мѣрѣ надобности. Обѣ онѣ, т.-е. Ольга Александровна и Ольга Дмитриевна, казались спокойными.

Старшая сестра помѣстилась у изголовья больного и держала одну изъ его рукъ, чтобы онъ не могъ мѣшать оператору.

Операторъ выбралъ длинный, тонкій инструментъ, нагнулся надъ раной, ощупалъ ее и затѣмъ запустилъ инструментъ въ самую рану. Онъ зондировалъ ее. Больной метнулся въ сторону и громко закричалъ.

— Держите! — сказалъ операторъ, и продолжалъ ворочать свой инструментъ въ тѣлѣ больного.

Отъ этого стона у меня кровь прилила къ головѣ, сердце точно остановилось, и въ глазахъ стало темно. Я не видала, что происходило дальше. Но вотъ раздался снова раздирающій душу вопль.

— Сестра, сестра, осторожнѣй, онъ задушитъ васъ! Возьми его руку, держи крѣпче! — еще услышала я голосъ оператора.

Больше я ничего не помню: не владѣя долѣе собою, я не помню, какъ вышла изъ комнаты, какъ очутилась среди двора... ..

Когда я очнулась, въ ушахъ все еще звучали эти крики, эти отчаянные вопли... Сердце стучало до боли, а на совѣсти лежало тягостное, унижительное сознаніе своего безсилія и малодушія.

Я прошла нѣсколько разъ кругомъ двора и, не рѣшившись вернуться въ операціонную, отправилась въ свое отдѣленіе.

По системѣ передвиженія больныхъ (эвакуаціонная система)

люди въ госпиталяхъ постоянно смѣнялись, и отправки слѣдовали одна за другой. Отправляли въ транспортъ раненыхъ, отправляли выздоравливающихъ; отправляли иногда и тяжело-больныхъ, если недоставало назначеннаго въ ордеръ комплекта.

Это дѣлалось съ цѣлью, чтобы раненые и больные никакъ не скучивались и не залеживались въ переполненныхъ, зараженныхъ помѣщеніяхъ. Система эта, сама по себѣ необходимая, примѣнялась часто весьма грубо и неудачно. При назначеніи больныхъ въ транспортъ, обязательнымъ считалось поставить именно то число больныхъ, которое было означено на бумагѣ, и дѣло сводилось къ тому, чтобы въ положенному часу на вокзалѣ находилось положенное число больныхъ изъ извѣстнаго госпиталя.

Помимо этого, ничто не бралось въ расчетъ.

Словомъ, все та же система: соблюденіе формы—буквы, за которой терялось изъ виду самое дѣло, живой смыслъ его.

И этимъ-то полнымъ отсутствіемъ содержанія, этимъ обращеніемъ всякаго живого дѣла въ дѣло бумажное, отличалась въ то время дѣятельность военнаго вѣдомства въ нашемъ городѣ.

Мы, „мягкосердцыя дамы“,—какъ говорилъ генераль К.,—не любили и боялись этихъ транспортовъ. Жаль бывало разставаться съ людьми, которые стали намъ близки, и страшно было отпускать ихъ и оставаться въ полномъ невѣдѣніи о дальнѣйшей ихъ судьбѣ. Иногда выхватывали и увозили такихъ слабыхъ, которые только-что начинали оправляться послѣ долгихъ страданій,—такихъ, въ которыхъ жизнь еще тлѣла слабой искрой. Надъ этой искрой вы дрожали, охраняя ее, поддерживая и раздувая ее. И вдругъ вамъ объявляютъ, что еще сегодня возьмутъ больного и увезутъ... Куда? Неизвѣстно.—Хорошо ли ему будетъ? Никто не знаетъ.—Ближе ли къ родинѣ? Тоже неизвѣстно.—Понятно, что сердце сжималось.

Вначалѣ мы полагали, что люди, назначенные въ транспортъ, сортируются, и что калѣки и изнуренные, которымъ предстоитъ побывка на родинѣ, дѣйствительно и приближаются къ мѣсту родины. Но это были невѣрные мысли. Все зависѣло отъ случая. Случайно больной могъ захватить далеко отъ родины, случайно онъ могъ попасть и на родину; но счастливые случаи вообще рѣдки. Бывали даже такіе случаи, что находящіеся на родинѣ увозились Богъ знаетъ куда. (См. въ официальномъ отчетѣ санитарнаго поѣзда герцогини Эдинбургской.)

Назначеніе больныхъ въ транспортъ происходило обыкновенно ночью или очень рано утромъ.

Приходилъ врачъ-консультантъ, торопливо обѣгая палаты, отмѣчалъ людей по спискамъ или по указанію заспанныхъ, ничего еще не соображавшихъ фельдшеровъ.

Случалось иногда, что утромъ, пріѣхавъ въ госпиталь, мы уже не находили больного, которому привезли лекарство и для котораго предприняли послѣдовательное леченіе. Для насъ эти консультанты представлялись чѣмъ-то въ родѣ хищныхъ птицъ, а мы передъ ними были беззащитныя курыцы...

И вотъ что случилось однажды: недостало означеннаго въ предписаніи комплекта людей для отправки. Консультанту приходилось хватиться за грудныхъ. Дѣло было ночное, темное, разбирать не было возможности, и назначили, между прочимъ, челоуѣка съ воспаленіемъ въ легкихъ. Онъ лежалъ въ безпамятствѣ. Его вынесли и повезли. На вокзалѣ его не приняли,—нашли, что слишкомъ плохъ. Его повезли обратно. Дорогой онъ сталъ кончаться, и на пути умеръ.

Съ этихъ поръ консультанты стали осторожнѣе и внимательнѣе. Дѣло это не могло быть скрыто и дошло до начальства.

Тогда позволили организаторамъ отмѣчать больныхъ, способныхъ къ передвиженію.

Около этого же времени собрался въ дорогу и мой Маркель Нуждавъ. Онъ начиналъ поправляться, прохаживался даже по палатамъ, слабый какъ ребенокъ, хватаясь за койки, чтобы не упасть, и едва переступая. Онъ прослышалъ, что на-дняхъ пойдетъ транспортъ на Москву, и загорѣлось въ немъ желаніе ѣхать.

— Отпустите меня, — просилъ онъ, — попросите дохтура, чтобы онъ меня назначилъ въ отправку.

Я отговаривала его, но онъ огорчился этимъ.

— Да ты еще такъ слабъ, — ну, куда ты такой поѣдешь, побудь у насъ...

— Нѣтъ, сестрица, ужъ вы отпустите меня, — изъ Москвы дорога-то мнѣ прямая, — говорилъ онъ, не договаривая своей мысли (онъ былъ уроженецъ казанской губерніи).

Ординаторъ сказалъ, что онъ можетъ ѣхать, о направленіи же транспорта вѣрно ничего не знаетъ, но слышалъ тоже, что назначеніе его — Москва.

Маркель уѣхалъ.

Недѣли черезъ двѣ послѣ его отъѣзда, пришло на мое имя письмо, и вотъ что въ немъ было написано: „Сестрица, В. Д., увѣдомляю я васъ въ томъ, что я прибылъ во Аршавскую губерню, вмѣсто Казанской; тамъ насъ въ большую госпиталь не приняли,

ту-жъ минуту отправили въ городъ Ловичъ, но я васъ благодарю за всѣ ваши гостинцы и тѣмъ боли за вашъ уходъ, и приписываю вамъ, что я ѣхалъ изъ Кіева очинь ни спокойно, такъ что мнѣ стало очинь трудно, стало труднѣе мнѣ тово, что было со мною прежде, такъ что я ни чаю оправдаться. А теперь мы находимся въ ошпиталѣ совсѣмъ разоренной и неустроенной. Лежимъ совсѣмъ плохо, ни доходить до насъ ни пища, ни лекарства и сестеръ около насъ нѣту. Больша была бы намъ отрада—хоть бы одна сестра находилась при насъ. Тутъ фершала, которые до насъ ни очинно прилежны. Пиши мнѣ, сестрица, если милость ваша будетъ, увѣдомтъ, если услышите, что пойдетъ транспортъ на Москву“.

Передъ каждымъ транспортомъ подымалась та же тревога, та же хлопотня; каждый хлопоталъ, чтобы какъ-нибудь попасть поближе къ своему мѣсту.

Приѣхавъ разъ въ госпиталь, мы опять застали всѣхъ въ большомъ волненіи.

Ночью многихъ отмѣтили къ отправкѣ.

Нѣсколько поѣздовъ отправлялись въ тотъ же день вечеромъ по разнымъ направленіямъ. Больные суетились, и какъ только мы появились, на насъ посыпались разспросы и просьбы. „Сестрица, куда насъ?—я московскій,—мнѣ бы на Москву“.—„А я—курскій; тамъ тоже гошпиталь есть, а наша деревня всего шестнадцать верстъ отъ губерніи,—похлопочите, матушка“.—„А я какъ же поѣду?—я еще и переступить-то едва могу; пусть другихъ везутъ, и безъ меня довольно народу“,—съ задоромъ говорить раненый изъ гвардейцевъ.—„А меня-то зачѣмъ написали?—я здѣшній; какъ же это мы съ вами, сестрица, на прошлой недѣлѣ письмо писали, мать сюда выписали; вѣдь дохтуръ сказывалъ—операцию будутъ мнѣ дѣлать“...

Тревога была общая, стонъ стоялъ по всему госпиталю. Мы были вполнѣ безсильны и въ этомъ случаѣ ничего не могли для нихъ сдѣлать.

Ко мнѣ прибѣжала сестра моя, Полѣнова.

— У меня назначили въ транспортъ одного труднаго,—встревоженнымъ голосомъ сказала она;—то-есть, нѣсколькихъ трудныхъ, но одного такого, который лежитъ въ бреду и не можетъ головы поднять. Какъ мнѣ быть?

— Послать за дежурнымъ ординаторомъ и показать ему этого больного.

Послали фельдшера съ запиской.

Черезъ четверть часа фельдшеръ вернулся и сказалъ, что

хотя докторъ и обѣщалъ сейчасъ придти, но что онъ, фельдшеръ, въ этомъ сомнѣвается. И онъ значительно улыбнулся.

— Отчего же,—что же онъ сказалъ?—допрашивали мы.

Фельдшеръ пожалъ плечами и съ тою же улыбкою повторилъ, что наврядъ-ли придетъ.

— Кто сегодня дежурный?

— Докторъ Л.

— А-а!—поняли мы. Этотъ докторъ вообще рѣдко вполнѣ протрезвлялся, а это время были какъ разъ худшіе его дни.

Однако, больной не поѣхалъ съ транспортомъ. Во время переключки его не оказалось, его не стали разыскивать, а вычеркнули его имя изъ списковъ.

Изъ нашихъ отдѣленій отправлялось на этотъ разъ много народу, между которыми было много плохихъ и едва начинающихъ оправляться.

Мы рѣшились поѣхать вечеромъ на вокзалъ, къ самому источнику,—тамъ находилось помѣщеніе эвакуаціонной комиссіи,—попытать счастья, не выхлопочемъ ли чего.

Уѣзжая въ этотъ день изъ госпиталя, мы сказали нашимъ больнымъ, которые уже снаряжались къ отъѣзду, что будемъ вечеромъ на вокзалѣ, и наказали имъ караулить насъ и не прозѣвать.

Въ девять часовъ вечера мы поѣхали на желѣзную дорогу.

Подъѣзжая къ вокзалу, мы обогнали вереницу городскихъ экипажей—дрожекъ и колясокъ, которыя тянулись вдоль бульвара и подвозили больныхъ изъ военныхъ госпиталей. Тяжело раненные и слабые ѣхали въ коляскахъ.

Въ темнотѣ мы напрасно старались рассмотреть, есть ли въ числѣ ѣдущихъ и наши, или нашихъ уже провезли раньше.

Пріѣхавъ на вокзалъ, мы пошли отыскивать коменданта и вышли на платформу. Платформа еще была пуста. На полотнѣ, выдѣляясь черными силуэтами, было нѣсколько поѣздовъ, увѣшанныхъ сигнальными разноцвѣтными фонарями. Изъ окошекъ вагоновъ струился свѣтъ. Поѣзда готовились къ приему больныхъ.

Тутъ были два санитарныхъ поѣзда и одинъ—воинскій. Одинъ шелъ на Москву, сказали намъ, другой—на Ригу, третій—на Вильну.

— Гдѣ комендантъ?—спросили мы сторожа.

— Онъ въ третьемъ классѣ, сортируетъ больныхъ.

Зала третьяго класса была отдана подъ больныхъ и раненыхъ (большой эвакуаціонный баракъ, строившійся рядомъ, еще не былъ готовъ). Мы стали пробираться севозъ густую массу

народа, толпившагося въ багажной, за немѣнѣемъ другого помѣщенія, и съ трудомъ протѣснились до дверей третьяго класса.

— Нелая-сь! — сказалъ стоявшій передъ закрытой дверью сторожъ.

— Намъ можно, — съ твердостью сказали мы: — тутъ наши больные, намъ надо ихъ видѣть, — потрудись насъ пропустить.

Сторожъ оглядывалъ насъ въ нерѣшительности.

— Намъ сказали, что и комендантъ тутъ, намъ и его надо видѣть, — отвори поскорѣе!

Дверь отворилась, и мы проникли въ залу. Огромная зала биткомъ набита солдатами и ихъ пожителями. Кто стоитъ, кто лежитъ; иные сидятъ партіями на полу, иные — вдоль стѣнъ, на лавкахъ. Когда мы вошли, насъ обдало запахомъ прѣлой овчины и сырой вожж. Воздухъ былъ сгущенъ отъ человѣческаго дыханія и испареній. Лампы горѣли тускло, и въ полумрачѣ трудно было узнавать людей. Стоялъ общій нестройный гулъ отъ тихаго говора сотенъ голосовъ, и среди этого гула, покрывая его, раздавался голосъ высокаго военнаго, который стоялъ въ противоположномъ концѣ залы и выкрикивалъ оттуда имена солдатъ. Но слова трудно было разобрать или слышать. Мы стали осторожно пробираться между сидящими и лежащими людьми, между костылями, мѣшками, узлами, ранцами, сваленными на полу, время отъ времени наклоняясь и всматриваясь въ лица — не нападемъ ли на своихъ.

— А вотъ и наши сестрицы пріѣхали! — услышали мы голосъ изъ толпы.

Нѣсколько человѣкъ поднялось съ полу. Это была партія людей изъ Башни. Они столпились, какъ бараны, и казались потерянными и жалкими. Тутъ они опять обращались въ нумера и попадали въ мракъ невѣдѣнія о дальнѣйшей своей участи.

Мы повторили имъ, чтобъ они не расходились, а дождались насъ, что мы сейчасъ идемъ просить за нихъ. Они были очень довольны.

Сестра моя, Полѣнова, въ это время разыскала своихъ трудныхъ. У нея взяли одного чахоточнаго, изъ остзейцевъ, новобранца, балованнаго и холеннаго дома матерью, и теперь возвращающагося домой на вѣроятную смерть.

— Кремницъ, закрывай плотнѣе грудь шарфомъ и не пей холоднаго дорогою!

— А гдѣ Ольшевскій?

— Вонъ онъ лежитъ, сестрица.

Это былъ тоже молодой человѣкъ изъ плохенькихъ, едва начинавшій поправляться.

Однако, надо было поспѣвать. Мы отошли отъ нихъ, направляясь къ тому мѣсту, гдѣ стоялъ комендантъ и прочее „начальство“, какъ говорили люди. •

Начальство состояло изъ группы военныхъ и двухъ или трехъ статскихъ, — вѣроятно, членовъ эвакуаціонной комиссіи. Превышая ихъ на цѣлую голову, стоялъ комендантъ, главное дѣйствующее лицо, съ кипой списковъ въ рукахъ. Возлѣ него стояли служителя со свѣчами. Но, несмотря на это, онъ съ трудомъ разбиралъ имена и выкрикивалъ большею частью совсѣмъ не тѣ, которыми звались люди, — ругая при этомъ писарей и фельдшеровъ.

Дѣло подвигалось медленно.

Когда мы подошли ближе, то увидали среди этихъ распорядителей молодую даму, одѣтую въ дорожный костюмъ и, повидимому, не постороннюю къ этому дѣлу. Она что-то объясняла одному изъ военныхъ, и онъ почтительно ее выслушивалъ. Даже колоссальный комендантъ время отъ времени наклонялся въ ту сторону, чтобы прислушаться къ тому, что она говорила.

Выличка продолжалась. Вызывали людей, отправляемыхъ съ воинскимъ поѣздомъ.

— Ты такой-то, — спрашивалъ комендантъ появляющагося передъ нимъ солдата, — такого-то полка?

— Точно такъ, ваше высокоблагородіе.

— Иди на воинскій.

И человѣкъ выходилъ изъ залы на темную платформу и исчезалъ въ темнотѣ. Если же кто былъ калѣка или очень слабый, то его выносили или выводили служителя.

Но и рѣчи не было о томъ, чтобы отбирать самыхъ трудныхъ и помѣщать на санитарные поѣзда, ни вопроса о мѣстѣ ихъ родины...

Да и гдѣ же тутъ было спрашивать, — вѣдь такъ каждый захотѣлъ бы, пожалуй, поближе къ родинѣ. Гдѣ ихъ тутъ разбирать; это такая путаница выйдетъ, что потомъ и не расхлебашь. А у распорядителей — дѣла пропасть; и такъ-то, пожалуй, за полночь затянется. Ужъ поскорѣе бы размѣстить весь этотъ народъ по вагонамъ.

Каждый разъ, что проводили калѣку или изнуреннаго въ военцѣ человѣка мимо той дамы, выраженіе жалости и участія появлялось на ея лицѣ, и она, обращаясь къ коменданту, казалось, просила его о чемъ-то, и онъ, слегка улыбаясь, сниско-

дилъ на ея желаніе и кричалъ вслѣдъ уходящему: „На санитарный поѣздъ герцогини Эдинбургской!“ Такимъ образомъ она отвоевала себѣ порядочно народу.

Мы въ это время терпѣливо ожидали, когда комендантъ со- благоволить обратить на насъ вниманіе.

— Чтѣ вамъ угодно?—спросилъ онъ, наконецъ, оборачива- ясь въ нашу сторону.

Мы объяснили ему, въ чемъ состоитъ наша просьба: на- править часть людей на Москву, а часть на Ригу, такъ какъ этимъ больнымъ предстоитъ почти всѣмъ либо отпускъ для по- правки, либо полная отставка.

— А у васъ сегодня поѣзда идутъ по этимъ направле- ніямъ.

— Гдѣ же эти люди,—вы ихъ знаете? Это, пожалуй, можно,— сказалъ онъ, удивленный, что мы все знаемъ о его поѣздахъ.

— Вотъ они здѣсь.

Мы пошли впередъ и кликнули одного изъ нашихъ. Онъ отозвался. Многіе изъ нихъ подошли.

— Да эти люди, кажется, и такъ назначены на Москву.

— Всѣ?

— Всѣ!

— А тутъ много остзейцевъ, которые просятъ на Ригу.

— Такъ отчего же они не отъѣхали, когда я вызывалъ на Ригу? Вы проситесь на Ригу? — обратился онъ строго къ двоимъ московскимъ.

— Точно такъ, ваше высокоблагородіе,—выпрямляясь передъ начальствомъ, отвѣчали они.

Мы испугались этого глупаго отвѣта.

— Они не то говорятъ! — вмѣшалась одна изъ насъ.—Вы на Москву хотите?

— На Москву, сестрица, мы отъ Москвы недалеко...

— Да вы ихъ знаете, этихъ больныхъ?—обращаясь къ намъ, перебилъ комендантъ.

— Очень хорошо знаемъ.

— Такъ потрудитесь сами отобрать: москвичей вонъ въ ту комнату, а рижскихъ поставьте поближе къ двери.

Мы такъ и сдѣлали. И когда пришло приказаніе идти са- диться по вагонамъ, они стали прощаться съ нами и благодарить насъ, и пошли, счастливые, что ѣдутъ и что приближаются къ мѣсту родины.

Въ этотъ же вечеръ намъ удалось поговорить съ однимъ изъ членовъ эвакуаціонной комиссіи. Онъ посоветовалъ намъ со

всѣми этими дѣлами обратиться къ генеральштѣ И—вой, и прибавилъ, что она теперь строитъ эвакуаціонный баракъ и очень интересуется всѣми этими вопросами.

Тутъ подошелъ и другой почтенный господинъ, тоже членъ коммиссіи, и, узнавъ, о чемъ идетъ рѣчь, подтвердилъ, что „она“, т.-е. И—ва, все для насъ сдѣлаетъ.

— Посмотрѣли бы вы, какъ она тутъ у насъ хлопочетъ,—и сама во все входитъ, сама вездѣ поспѣваетъ. Я часто думаю,—еслибы кого-нибудь изъ нашихъ барынь заставить день такъ поработать, рассыпалась бы, ей Богу, рассыпалась, а она—чистый герой-барыня, не даромъ про нее въ газетахъ столько писали. Право, обратитесь къ ней. Она на всякое хорошее дѣло сейчасъ же отзовется. Она иногда среди ночи къ намъ сюда вдругъ отъѣзжаетъ.

— Это новая сила появляется на горизонтѣ, — сказала и сестрѣ, еще далекая отъ мысли, какъ эта сила близка къ намъ въ скоромъ времени.

Послѣ этого мы опять вышли на платформу, чтобы уйти, но прежде зашли посмотрѣть одинъ изъ санитарныхъ поѣздовъ. О нихъ такъ много говорили. Кто выхвалялъ необыкновенныя удобства и приспособленія, кто нападалъ на чрезмѣрную и совершенно неподходящую роскошь. Роскошь была большая и удобства большія. Но мы оцѣнили все превосходство санитарнаго поѣзда не тогда, когда мы его осматривали, а тогда, когда, осмотрѣвъ санитарный поѣздъ, мы пошли посмотрѣть на воинскій.

Контрастъ былъ по истинѣ изумительный.

...Въ началѣ ноября привезли въ нашъ госпиталь первую партію плѣнныхъ турокъ. Измученные, измерзшіе, голодные пріѣхали къ намъ военно-плѣнные. Съ ихъ пріѣздомъ, въ госпиталь усилился караулъ; у воротъ поставили вооруженную стражу; у входа въ палаты и въ тѣ палаты, гдѣ помѣстили турокъ, поставили солдатъ. Смотритель, котораго мы прежде видали рѣдко, сталъ появляться безпрестанно.

Плѣнные были смиренные, ослабѣвшіе субъекты,—казалось, вполне понимавшіе и приниженно покорявшіеся тому отвращенію, которое они возбуждали вокругъ себя.

Солдаты-больные были въ самомъ дѣлѣ сильно ожесточены. Да и всѣ мы были надорваны долгимъ мучительнымъ ожиданіемъ плевненской развязки. Чувство мести влокотало въ людяхъ, и часто слышались угрозы: „Охъ, ужъ кабы моя воля,—всталъ бы ночью да перерѣзалъ бы этихъ собакъ окаянныхъ!“—или: „Кабы былъ я царь,—велѣлъ бы ихъ всѣхъ придушить“.

Одинъ новобранецъ, молодой солдатикъ, при видѣ турокъ приходилъ въ бѣшенство.

На его глазахъ турецкіе черкесы, поймавъ двоихъ его товарищей, начали терзать ихъ и живьемъ снимать съ нихъ кожу. Онъ не понималъ, какимъ чудомъ самъ онъ спасся. Онъ лежалъ въ кустахъ ни живъ, ни мертвъ, но все видѣлъ и слышалъ... Потомъ, когда черкесы окончили свое дѣло и уѣхали, — онъ вскопился и бросился бѣжать безъ оглядки, почти безъ сознанія, упалъ въ ровъ и расшибся о камни. Съ нимъ до сихъ поръ дѣлались истерическіе припадки, а при видѣ турокъ весь ужасъ видѣннаго ярно выплывалъ въ его памяти.

Военно-плѣнные пробыли у насъ не долго, дней десять-двѣнадцать. Приѣхавъ по обыкновенію утромъ, мы узнали, что ночью пришло распоряженіе объ ихъ эвакуаціи и рано утромъ ихъ увезли. Остались два-три тяжело-раненныхъ.

Служителя отдѣленія, гдѣ находились турки, были рады, что избавились отъ нечистыхъ тварей, съ которыми имъ по неволѣ приходилось обращаться. Особенно торжествовалъ хохоль-пріемщикъ Ткачъ, и, празднуя это событіе, онъ уже успѣлъ хлебнуть рюмочку.

Все время, что онъ долженъ былъ служить имъ, онъ огрызался на нихъ и все отплевывался.

Другой служитель, Большаковъ, общій нашъ пріятель, сибирякъ, смѣется, потѣшаясь надъ товарищемъ, и поддразниваетъ его дружбою съ турками.

— Вы его спросите, сестрица, какъ онъ турокъ своихъ снаряжалъ. Онъ ихъ соберетъ, а они у него разбѣгутся, — тутъ мы захохотались!.. — Большаковъ и теперь залился смѣхомъ.

Ткачъ погрозили ему: — Я тебѣ дамъ, ты погоди у меня!

— Ты расскажи-ка сестрицамъ, какъ они у тебя поразбѣгались, да какъ ты за ними бѣгалъ! — повторялъ Большаковъ.

— Ишь, развеселился! — тебѣ хорошо, а я такъ съ ними пятея себѣ пооббивалъ... ей Богу ну!.. — Онъ плюнулъ въ сторону.

— Что-жъ ты и не жалѣешь о нихъ нисколько? — спросила его Юлія Сергѣевна (мы были въ ея отдѣленіи).

— Чего жалѣть-то, сударыня? Ну ихъ совсѣмъ, надоѣли! — Сволько одной бѣготни-то съ ними было! Ужъ, ей Богу, радъ-радѣшенекъ, что съ рукъ сбылъ. — Онъ опять плюнулъ.

— Однако, ты ихъ живо снарядилъ.

— А какъ же, — вѣдь приказъ ночью пришелъ, и велѣно, чтобъ черезъ два часа транспортъ отправлялся... Мы повскакали — и ну ихъ будить... А они это думаютъ, что мы ихъ оду-

рачить, обмануть хотимъ,—затряслись, по отдѣленіямъ поразбѣгались да и посковались (попрятались) по куткамъ (по угламъ). Я за ними побѣгъ, половилъ ихъ; одинъ за койку вцѣпился—за балясину—такъ едва вдвоемъ оттащили... Вотъ, пособирали мы ихъ, привели въ крайнюю палату, поразсажали, посчитали... ладно—тридцать человекъ сидятъ рядкомъ. Принесли мы рубахи, ихъ одѣвать,—простыя эти рубахи, рестантскія... Не хочется надѣвать. Я ему говорю: „Это тебѣ рестантская рубаха только до вокзалу, тамъ тебѣ хорошую дадутъ“.—Такъ куда тебѣ!—обхватить себя обѣими руками, ноги подожметъ, да такъ и сидитъ. Снекнулъ, значитъ, что его, собаку, на морозъ погонять... И заготовили это всѣ: „Голла, голла, пр! пр! пр! пр!“—не гони, молъ, насъ, не гони; руками это машутъ, другъ за дружку уцѣпились. Ужъ и побился я тутъ съ ними... Только подынешь одного, возьмешь вести, опять всѣ поднимаются, кричатъ: „голла, голла, пр! пр! пр! пр!“—не хотимъ, молъ, на вокзалъ, хотимъ здѣсь оставаться. Я слушалъ, слушалъ, да какъ крикну: „Молчите, с. д., а не то я васъ!“—онъ и теперь замахнулся энергически рукою.

— Ишь, какое начальство проявилось!—не унимаясь и продолжая хохотать, замѣтилъ Большеаковъ.

— Я те дамъ начальство!—замахнулся на него Ткачъ.—Да, ей Богу, чудные! Я имъ говорю: „Развѣ вы можете здѣсь разговаривать, умныя головы? Кто васъ слушать станетъ?—приказано, такъ и надо, значитъ“. Смотритель пришелъ, сталъ считать. Трехъ недостаетъ. Онъ какъ разсердился, да какъ тупнетъ на меня ногой: „Иди, нищ, —кричитъ,—чтобъ сейчасъ всѣ были“. Я побѣгъ, двоихъ нашелъ, за койки забились и сидятъ. Опять пособирали, посчитали,—всѣ! Ну, слава тебѣ, Господи! Погнали ихъ на дворъ. Они какъ вышли на дворъ-то, завидѣли сани, да всѣ, какъ бараны, на однѣ сани и положились,—жмутся другъ къ дружкѣ... „Голла, голла, пр! пр! пр! пр!“—хотимъ, значитъ, всѣ вмѣстѣ на вокзалъ ѣхать. А лошадь-то такъ и садится. Такъ едва рассажали, за смотрителемъ ходили; ужъ онъ на нихъ кричалъ, кричалъ... Иной сидитъ-трисется, холодно... „Что, говорю, попались, морозъ-то вамъ, знать, не съ родни“... По двѣ шинели далъ принакрыться: „На-те вамъ, говорю, по второй шинели, берите, собаки, теплѣе будетъ“. Ужъ, думаю, Богъ съ ними, только бы развязаться... А какъ поѣхали, благодарить стали. „Адью, адью, пр! пр! пр! пр!“—спасибо, молъ, спасибо,—не хочется намъ отъ васъ уѣзжать, да не наша воля.—Тѣфу!..

XI.

Во время одного изъ своихъ посѣщеній начальникъ госпиталей, ген. К., объявилъ намъ, что на дняхъ выйдетъ циркуляръ, въ которомъ, между прочимъ, будетъ много говорено и о насъ, т.-е. о дамахъ, посѣщающихъ военные госпитали,—что онъ позаботился о насъ и приготовилъ билеты, въ которыхъ изложены довольно строгія правила для постороннихъ посѣтителей военныхъ госпиталей; что эти билеты можно будетъ получать исключительно у него, и что безъ нихъ никто не будетъ впускаться въ госпитали.

Въ его словахъ звучалъ тонъ прони, на его лицѣ было выраженіе удовольствія, того удовольствія, которое испытываютъ люди, когда они умышленно причиняютъ другимъ что-нибудь непріятное, и знаютъ, что на ихъ сторонѣ власть и сила.

Мы тогда и не поняли, насколько во всемъ этомъ замѣшано чувство оскорбленнаго самолюбія.

— Это касается не насъ, конечно,—сказала К—ва:—ужъ мы давно перестали быть только посѣтителями.

— Тутъ-съ будетъ и про васъ написано,—избѣгая отвѣчать прямо, сказалъ генераль:—и вамъ придется подчиниться нѣкоторымъ правиламъ, если вы пожелаете продолжать посѣщать госпитали.

— Да развѣ мы навлекли на себя чѣмъ-нибудь неодобреніе вашего превосходительства?—нѣсколько обиженнымъ тономъ спросила опять Екатерина Николаевна.

— Да нѣтъ-съ, нѣтъ-съ, развѣ я это говорю?—отвѣчалъ онъ, дѣлая гримасу, которая выражала: „какъ скучно! я такъ и зналъ, что будутъ препирательства“. — Вѣдь вы еще не знаете, какія пражія. Бѣда—имѣть дѣло съ дамами: никакъ не стоворишься; дамы непремѣнно хотятъ все перетолковать по-своему и никогда не дадутъ договорить. Дамская фантазія—преопасная вещь!—отшучивался онъ.—Завтра, увидите, я самъ привезу вамъ билеты.

На другой день намъ торжественно были вручены именные билеты, о которыхъ было говорено наканунѣ. На оборотной сторонѣ были пропечатаны всѣ правила и постановленія.

Смыслъ ихъ былъ тотъ, что постороннимъ посѣтителямъ входъ въ госпитали дозволялся лишь съ разрѣшенія инспектора или старшаго врача. Затѣмъ, постоянный доступъ въ нихъ былъ открытъ лишь лицамъ, хорошо знакомымъ инспектору; такія лица получали именные билеты.

Но и постоянныя посѣтительницы, или „дамы-покровительницы“, какъ ихъ именovali билеты, подчинялись контролю сестеръ милосердія. Вся привозимая провизія, какъ-то: чай, сахаръ, табакъ, вино и проч., должна была передаваться сестрѣ милосердія въ присутствіи дежурнаго офицера, котораго обязанность состояла въ томъ, чтобы заносить въ особую записную книгу все то, что привозилась дамой. Затѣмъ эта провизія поступаетъ въ шкафъ къ старшей сестрѣ и должна выдаваться по мѣрѣ надобности и раздаваться въ каждомъ отдѣльномъ зданіи всѣмъ больнымъ поровну. Всѣ же пожертвованія денежныя и вещевыя должны были поступать къ смотрителю и храниться у него. Затѣмъ, дамѣ и жертвователю предоставлялось право дѣлать заявленіе о приобрѣтеніи того, что они считаютъ нужнымъ для больныхъ, и передать свое заявленіе старшему врачу. Если воспослѣдовало одобреніе старшаго врача, то заявленіе это препровождалось къ начальнику госпиталей, на его разрѣшеніе.

Получивъ такое заявленіе, начальникъ госпиталей даетъ ордеръ смотрителю, который передаетъ этотъ ордеръ комиссару; комиссаръ получаетъ отъ смотрителя деньги, и требуемое дамой или жертвователемъ покупается въ тотъ же день комиссаромъ. Оставалось только спросить: какой бы это вышелъ день, этотъ „тотъ же день“, означенный въ билетахъ?

Несообразность и непримѣнимость этого новаго порядка была очевидна, и обнаружилась только при его примѣненіи къ живому дѣлу. Онъ не выдержалъ ни одной пробы.

Старшая сестра, всецѣло отдавшись уходу за больными, не выдержала первая. Она отказалась отъ навязанной ей обязанности. Ей, привывшей къ живому дѣлу, пришлось бы сидѣть въ своей комнатѣ, принимать и считать всякую мелочь, привозимую дамами для ежедневныхъ потребностей, посылать за дежурнымъ офицеромъ, записывать въ его книгу, и т. д., и затѣмъ ожидать, не будутъ ли поступать еще какія-нибудь пожертвованія. Впрочемъ, надо сказать, что ни одной изъ насъ и никому изъ жертвователей ни разу не пришлось передать что-либо смотрителю (напротивъ, по приказанію начальника госпиталей, смотритель передалъ Ольгѣ Ал. К.—вой 111 руб., вырученныхъ отъ концерта).

Начальнику госпиталей ни разу не пришлось дать ордера на покупку чего бы то ни было смотрителю; смотрителю ни разу не пришлось передавать ордеровъ комиссару; комиссару ни разу не пришлось исполнять въ тотъ же день требованія дамы-попечительницы или жертвователя, съ разрѣшенія старшаго врача.

И понятно. Въ Башнѣ дѣло съ самаго начала стояло иначе, чѣмъ въ другихъ госпиталяхъ. Тутъ дамы проводили большую часть дня около больныхъ, работали вмѣстѣ съ ординаторомъ и были ближайшими его помощницами. Имъ всего лучше были извѣстны нужды больныхъ. То, что привозилось дамою-попечительницею изъ дома,—были ли то съѣстные припасы, или теплая одежда,—предназначалось для больного по совѣту или просьбѣ ординатора. Дѣло стояло просто, и всякая вещь достигала прямо своей цѣли. Ординаторы и теперь не признали возможнымъ иной порядокъ, и дѣло повелось по старому.

Что же касается роли, навязанной главному врачу, то она оказалась тоже непримѣнимой, какъ и все остальное. Старшему врачу Б—у ни разу во все время его дѣятельности не пришлось воспользоваться ни правами, ни обязанностями, возлагаемыми на него билетами. И понятно: онъ стоялъ слишкомъ далеко отъ живого дѣла. На его попеченіи, или скорѣе подъ его наблюденіемъ, состояло около тысячи человѣкъ больныхъ, которые всѣ были одинаково ему чужды.

Гораздо позднѣе, благодаря зоркимъ глазамъ нашей председательницы, Е. Л. И—вой, мы узнали разгадку этого дѣла, и только тогда намъ стало ясно, подъ чьимъ влияніемъ создались эти странныя правила, которыя, впрочемъ, надо прибавить къ чести военнаго начальства, прошли, гдѣ слѣдовало, совершенно безслѣдно.

Дѣло въ томъ, что ген. К—ъ сильно увлекался молодой графиней П—ой и дѣлалъ ей все въ угоду. Билеты эти были составлены ими сообща. Вначалѣ гр. П—а тщательно скрывала свое участіе въ составленіи билетовъ. Уже гораздо позднѣе она созналась Юліи Сергѣевнѣ Д—ой, что это она ихъ внушила, и какія побужденія руководили ею при этомъ.

Въ жандармскихъ казармахъ, гдѣ работала гр. П—а, старшимъ врачомъ былъ военный докторъ Ш. Она имѣла къ этому человѣку безграничное довѣріе и съ экзальтаціей говорила объ его дѣятельности. Вскорѣ послѣ открытія военно-временныхъ госпиталей она устроила обѣдъ, на который пригласила всѣхъ докторовъ и сотрудниковъ своихъ, и на этомъ обѣдѣ восторженными тономъ провозгласила: „Г-да! я предлагаю тостъ за здоровье труженика Ш—а!“ Этимъ поступкомъ она сразу возстановила противъ себя всѣхъ прочихъ врачей и оказала весьма плохую услугу и самому Ш—у. Это отношеніе къ нему гр. П—ой объясняетъ то значеніе, которое билеты придаютъ старшимъ врачамъ, такъ что вездѣ, гдѣ пропечатаны слова: „старшій врачъ“,

слѣдовало бы читать: „д-ръ Ш—ъ“. Ш—ъ, дѣйствительно, былъ лучший между ними; остальные же—люди необразованные, грубые, смотрѣли на госпитали какъ на мѣсто наживы, а на насъ, добровольныхъ сестеръ—какъ на непрошенныхъ гостей.

При составленіи билетовъ имѣлся въ виду тотъ госпиталь, въ которомъ работала гр. П—а, т.-е. жандармскія казармы. Тамъ дамы-попечительницы были неудобны, а гр. П—а не умѣла падить самолюбія другихъ, и дамамъ часто доставалось отъ нея. Старшая же сестра милосердія этого госпиталя, напротивъ того, была вполне предана молодой устроительницѣ, любила свое дѣло,—оттого и дана такая первенствующая роль старшимъ сестрамъ. Давая своей старшей такую роль, гр. П—а топила всѣхъ своихъ дамъ. Дѣйствительно, дамы скоро перессорились съ сестрами, и одна за другой выбыли изъ госпиталя.

Въ первыхъ числахъ ноября пріѣхала къ намъ въ Башню г-жа Б—ъ, жена профессора, съ предложеніемъ устроить при госпиталѣ частную кухню, которая поставляла бы для трудныхъ и слабыхъ добавочныя порціи. Предложеніе г-жи Б. было встрѣчено нами съ большимъ сочувствіемъ. Мы тутъ же записались членами организующагося общества и внесли свои членскіе взносы.

Особенно энергично схватились за это дѣло Юл. Серг. Д—а, сестра моя и я. Нашъ госпиталь былъ въ это время самый бѣдный и неурядный. Въ другихъ уже устроились кружки, дежурства дамъ, очередь варки чаю и т. п.

Начальникъ госпиталей разрѣшилъ намъ готовить добавочныя порціи во вновь устроенной кухнѣ при нашемъ госпиталѣ.

Въ непродолжительномъ времени общество открыло свои дѣйствія, и стало готовить около 60 порцій въ день: онѣ состояли изъ хорошаго супу съ говядиной, молочной каши, куриного супу и яицъ.

Какъ это ни было мало на 400—500 больныхъ, но, послѣ тасканія корзинокъ, узелковъ и мѣшечковъ всякаго рода, намъ это показалось весьма усовершенствованнымъ способомъ.

Порціи дѣлились *поровну по числу отдѣленій* и раздавались больнымъ дамой-попечительницей. Такой порядокъ распределенія нельзя было назвать вполне разумнымъ и правильнымъ, ибо порціи съѣдались не отдѣленіями, а больными. Число же больныхъ по отдѣленіямъ было очень различное, родъ болѣзней—тоже; каждое отдѣленіе имѣло свои особыя потребности. Въ отдѣленіяхъ хирургическихъ требовалась преимущественно под-

кряпящая пища, въ терапевтическихъ — легкая и разнообразная, подходящая къ извѣстной болѣзни.

Но это не бралось въ расчетъ: порціи продолжали дѣлиться на 12 частей и разносились по 12 отдѣленіямъ.

Ю. С. Д., первая возстала противъ такого порядка вещей и стала говорить, что слѣдовало бы измѣнить систему и ввести что-нибудь болѣе цѣлесообразное.

Ек. Н. К — ва, съ своей стороны, упорно стояла на томъ, чтобы никакихъ измѣненій не вводилось и чтобы все оставалось по прежнему. Впрочемъ, и то сказать, что ей не могли быть замѣтны происходящія отъ нашего разобщенія несправедливости, — всѣ выгоды были на ея сторонѣ. Въ ея домѣ, въ то время, стекались всѣ пожертвованія, которыя шли преимущественно на отдѣленія, въ которыхъ работала ея семья.

Юлія Серг. нѣсколько разъ намекала ей на это. Ек. Ник. становилась все менѣе и менѣе любезна съ нами, а дочери ея видимо не сочувствовали Юліи Серг. Д — ой и сестрѣ моей.

Въ воздухѣ начинало вѣять рознью и разладомъ. Гр. П — а не любила К — ыхъ и рѣзко отзывалась о нихъ. Она ихъ считала крайне неразвитыми людьми, которые ѣздятъ въ госпитали для препровожденія времени. „Онѣ дѣлаютъ себѣ забаву изъ этого дѣла, привозятъ съ собою собаку, потѣшаются съ своими ранеными, заставляя ихъ пѣть и рассказывать небылицы“.

Семейство К — ыхъ, по давнишнимъ отношеніямъ, было очень дружно съ ген. К., но бѣдный генераль былъ такъ увлеченъ молодой графиней, что дружба его съ К — ыми блѣднѣла передъ его чувствами къ гр. П — ой.

Однажды гр. П — а пріѣхала къ намъ въ госпиталь особенно оживленно и весело, и сообщила Д — вой, что ген. К — ь самъ спросилъ ее: „не пора ли отстранить К — ву“? — „Если она не захочетъ подчиниться нашей системѣ, — прибавляла уже отъ себя молодая женщина, — то конечно. И молодая-то будутъ тормозить всякое движеніе впередъ“. Юлія Серг. была согласна съ гр. П — ой.

Д — ва чувствовала въ себѣ силу для широкой дѣятельности, созидательной, и не довольствовалась одной мелкой ежедневной работой.

Меня же возмущали такія отношенія къ К — ымъ. Но особенно неизящную и неоткровенную игру разыгрывалъ во всемъ этомъ ген. К. Онъ былъ каррикатуренъ въ своей роли обожателя молодой женщины. Онъ млѣлъ, вертѣлся передъ нею, сопташался со всѣми ея рѣзкими сужденіями и порывистыми предпріятіями, сообщалъ ей о дѣлахъ, касающихся его админи-

страціи, и выслушивалъ ея мнѣнія исполнѣ серьезно, часто примѣняя ихъ къ дѣлу.

Гр. П—а, вообще, не отличалась мягкостью рѣчи и манеръ; въ отношеніи же къ нему она являлась повелительницей, — командовала маленькимъ генераломъ, какъ хотѣла.

Цѣлой головой выше его, съ своимъ громкимъ и вмѣстѣ глубокимъ, почти теноровымъ голосомъ, съ рѣшительными манерами, она уничтожала его, сама того не замѣчая. Она вообще не умѣла вглядываться въ человѣка (да и многіе ли это умѣютъ!); она слишкомъ страстно и пылко относилась къ дѣлу, а въ окружающихъ ее людяхъ видѣла только орудія, годныя для такой-то или другой преслѣдуемой ею цѣли.

Какъ-то разъ, выслушавъ ея рѣзкіе нападки на К—выхъ, я высказала ей, — тутъ была и Юлія Серг., — что совершенно съ ними въ этомъ расхожусь и очень не сочувствую тому, какъ онѣ относятся къ К—вымъ.

— Да что вы въ нихъ находите? — спросила Д—а, которая не понимала моего пристрастія, какъ она выражалась.

— Нахожу, что онѣ работаютъ хорошо и серьезно, — что мы должны ихъ цѣнить и сдѣлать все возможное, чтобы удержать ихъ въ этомъ госпиталѣ, — а не думать о томъ, чтобы онѣ ушли. Да и какое же мы имѣемъ на это право? Старшая, по моему, идеальная сестра милосердія. Мы еще всѣ считали долгомъ сторониться отъ тифозныхъ, а она ихъ взяла подъ свое попеченіе, и теперь посмотрите, какъ ходитъ за ними!

— У нея тамъ одинъ любимчикъ, съ которымъ она всѣмъ надоѣдаетъ, — сказала П—а.

— Ну, такъ что-жъ? Это ей не мѣшаетъ ставить на ноги и другихъ больныхъ.

— Ну, молодая еще, можетъ быть, поймутъ, какъ надо относиться къ дѣлу, и применить къ намъ; но мать... все зло — въ ней.

— Она первая вошла въ этотъ госпиталь, ей принадлежать инициатива.

— Такъ что же изъ этого? — перебила меня П—а. — Неужели вы признаете, что это даетъ какое-нибудь право? Развѣ тутъ дѣло идетъ о майоратствѣ? Потому что она первая сюда попала, — ей позволить портить дѣло и вводить свои старообразныя понятія?

— Ну, вотъ этого я даже отъ васъ не ожидала! Ну, какъ это можно такъ говорить! Да вы только перемѣните имена и поставьте себя на ихъ мѣсто. Хотѣла бы я видѣть, что бы мы заговорили, еслибы онѣ такъ поступали съ нами. Я всегда стою за то, чтобы дѣйствовать открыто, — прибавила я.

Съ этимъ согласились всѣ. Гр. П—а выразила тутъ же мысль—собраться намъ всѣмъ у Екатерины Николаевны, чтобы переговорить о дѣлахъ и заставить ее высказать свое мнѣніе объ организаціи чего-нибудь болѣе правильнаго и справедливаго, нежели то, что существуетъ теперь,—наконецъ, узнать, согласна ли она на равномѣрное распредѣленіе пожертвованій и денегъ на весь госпиталь и на веденіе отчетовъ.

Такъ какъ у гр. П—ой промежутокъ между словомъ и дѣломъ не полагалось, то она сейчасъ же обратилась въ отдѣленіе Екатерины Николаевны съ своими предложеніями.

Черезъ нѣсколько минутъ она прибѣжала назадъ.

— Господа, господа!—еще издали кричала она намъ:—Екатерина Николаевна ждетъ насъ всѣхъ сегодня вечеромъ у себя. Вы можете?—спросила она, дойдя до насъ:—а вы? а вы? Ну, вотъ и, прекрасно. Такъ до свиданія.

Вечеромъ мы собрались въ домъ у К—хъ. Кромѣ ея семьи, т.-е. ея дочерей и племянницы, были Ю. С. Д—а, гр. П—а, сестра и я.

Гр. П—а, безъ всякихъ предисловій, приступила прямо къ дѣлу. Она стала рассказывать, обращаясь все время къ Екатеринѣ Николаевнѣ, о порядкахъ и системахъ, введенныхъ и вводимыхъ въ другіе военные госпитали частною помощью,—выставляя и выхваляя особенно порядки, введенные по ея мысли въ жандармскихъ казармахъ. Такое увлеченіе своимъ было естественно. Она тоже очень хвалила новый кружокъ, снабжающій добавочной пищей выздоравливающихъ.

Когда П—а окончила свою вступительную рѣчь и остановилась, Екатерина Николаевна отвѣчала ей, что все это очень интересно слышать, и что она, конечно, искренно радуется, что и въ другіе военные госпитали вносятся помощь, и что нашъ городъ показываетъ такое сочувствіе этому прекрасному и высокому дѣлу.

— Мы подали примѣръ этому дѣлу, а я не могу не называть этого дѣла прекраснымъ.

— Но развѣ вы бы не желали, чтобы и въ Башнѣ организовалось что-нибудь похожее на то, что уже принято теперь во всѣхъ другихъ госпиталяхъ?—спросила П—а.

Екатерина Николаевна совсѣмъ этого не желала; она находила, что другіе госпитали совсѣмъ для насъ не указъ, что мы работаемъ, какъ умѣемъ, больные насъ любятъ, и что она вполне довольна настоящимъ положеніемъ вещей. Она только желаетъ одного,—чтобы ближайшіе начальники продолжали быть къ ней

и ея семьѣ все такъ же расположены и любезны, какъ были до сихъ поръ.

П—а слегка вспыхнула.

— Дѣло не въ томъ, Екатерина Николаевна, — сказала она, — дѣло не въ томъ; я только говорю о вашемъ кружкѣ. У васъ вѣдь еще ничего не выработалось... вы очень разобщены, какъ мнѣ кажется. Отчего бы, напримѣръ, вамъ не устроить засѣданій, на которыхъ бы разбирались и рѣшались общіе вопросы? Дѣло вѣдь общее, поэтому оно не можетъ не вестись сообща.

— Ахъ, нѣтъ, нѣтъ! — перебила ее Екатерина Николаевна. К—ва, не дослушавъ послѣднихъ словъ: — я такъ не люблю этихъ засѣданій и комитетовъ, особенно дамскихъ! Я смотрю на это дѣло, какъ на дѣло совершенно частное. On nous permet de travailler, de soigner nos malades, nous l'acceptons avec reconnaissance et ne demandons rien de plus. Et surtout nous ne voulons pas nous mêler des choses qui concernent les autres hôpitaux et qui ne nous regardent pas.

Намекъ былъ ясный. Графиню передернуло. Но Екатерина Николаевна говорила все это съ большою мягкостью.

— Что же касается комитетовъ или какихъ-нибудь официальныхъ обществъ, я по крайней мѣрѣ рѣшительно отказываюсь принимать въ нихъ участіе. Эти комитеты непременно поведутъ къ ссорамъ и раздорамъ, — ужъ я такъ это знаю, — и вводить официальность въ нашъ дружескій, скромный кружокъ считаю совершенно лишнимъ.

П—а начинала волноваться.

— Да какъ же безъ этого вести дѣло, Екатерина Николаевна? — взмахнувъ руками, сказала она: — если вамъ, работающимъ всѣмъ вмѣстѣ въ Башнѣ, не собираться и не совѣщаться, то дѣло отъ этого будетъ страдать: будутъ непремѣнно несправедливости, неравномѣрное распредѣленіе пособій, — словомъ, неравенство во всемъ, — горячилась молодая женщина.

— Не знаю, чтъ будетъ, — сказала Екатерина Николаевна, — а до сихъ поръ все шло и идетъ хорошо.

— Нѣтъ, не совсѣмъ хорошо! — вмѣшалась Ю. С. Д—а: — наша дѣятельность слишкомъ разобщена. Я въ этомъ отношеніи вполне согласна съ графиней и, съ своей стороны, хотѣла высказать вамъ о тѣхъ неудобствахъ и несправедливостяхъ, которыя происходятъ отъ безсистемности, при которой мы работаемъ. Мы бы могли приносить гораздо большую пользу и дѣлать дѣло лучше, и т. д., — въ этомъ смыслѣ продолжала говорить Ю. Серг., указывая на недостатки настоящаго положенія дѣла.

Завязались пренія.

— Я рѣшительно не понимаю, какъ можетъ идти дѣло при такихъ условіяхъ!—опять вмѣшалась гр. П—а. — Рѣшительно не могу понять!—все болѣе и болѣе оживляясь и жестикулируя, говорила она.—Какимъ же образомъ, напримѣръ, вы узнаете о нуждахъ другихъ отдѣленій, отдѣленій вашихъ сотрудницъ, если вы не стовариваетесь? Во время работы неудобно, да и гдѣ же тамъ собираться? А вотъ ваши дочери сейчасъ говорили мнѣ, что въ ихъ отдѣленіяхъ нѣтъ хирургическихъ инструментовъ; m-lle Полѣнова заявила, что у нея нѣтъ ни ручныхъ, ни ножныхъ ваннъ, а что къ ней теперь положили нѣсколькихъ гангренозныхъ; Вѣра Дмитриевна говорила, что у нея нѣтъ ни одной гуттаперчевой подушки... Какъ же это у васъ дѣлается: кто записываетъ и удовлетворяетъ эти нужды,—кто, напр., ведетъ списки пожертвованій? Вы какъ-то высказали, что не согласны отдавать вещи, жертвуемыя вамъ лично, старшей сестрѣ. Значитъ, вы не желаете, чтобы они шли на весь госпиталь, а только на извѣстныя отдѣленія?

— Т.-е., вы хотите сказать: „на мое отдѣленіе и на отдѣленія моихъ дѣтей“,—пояснила Екатерина Николаевна.

— Да... да, я думаю, что оно иначе и не можетъ быть,—правдиво отвѣчала гр. П—а.

— Конечно,—подтвердила Ю. С.,—мы даже и не знаемъ, какія поступаютъ къ вамъ пожертвованія.

Ольга К. вспыхнула.

— Т.-е., какъ?—не знаете, какія пожертвованія поступаютъ къ матушкѣ? Чтò вы этимъ хотите сказать?

— Екатерина Николаевна сейчасъ говорила, что большая часть пожертвованій поступаетъ къ вамъ въ домъ,—сказала Д—а.

— Ужъ въ этомъ я рѣшительно не виновата!—принимая скромный видъ и съ поткой ироніей въ голосѣ, сказала К—а.—Я ничего особеннаго не дѣлала, чтобы привлечь пожертвованія, я даже очень не люблю рассказывать про свои занятія въ госпиталяхъ. Я вѣдь принадлежу къ *старому* поколѣнію и держусь *старыхъ* понятій (она отчеканивала слово: „старый“): чтобы лѣвая рука не знала, чтò творитъ правая... Я не виновата, что ко мнѣ относятся съ такимъ довѣріемъ.

— Да кто же это говоритъ,—тутъ рѣчи нѣтъ о винѣ,—это прекрасно, что къ вамъ имѣютъ такое довѣріе, Екатерина Николаевна!—говорила П—а, замѣтно сдерживаясь, чтобы не наговорить рѣзкостей на колкія замѣчанія.—Оттого-то мы и рѣшились собраться именно у васъ и просить васъ взять на себя

грудь организовать кружокъ на подобіе тѣхъ, которые уже организовались при другихъ госпиталяхъ.

— Очень благодарна за довѣріе, которое оказываютъ мнѣ мои сотрудницы,—отвѣчала Екатерина Николаевна, слегка наклоняясь въ нашу сторону,—но мнѣ кажется, что гораздо будетъ лучше продолжать дѣло, какъ оно шло до сихъ поръ.

— Да вѣдь мы уже доказали, какъ это неудобно!—съ отчаяніемъ въ голосъ сказала П—а.—Какъ же вы будете знать, сколько вы можете тратить? У васъ есть примѣрный бюджетъ прихода и расхода?—кокетничая немного всѣми этими новыми для нея терминами, говорила П—а.

— Да зачѣмъ намъ все это?—спросила Екатерина Николаевна.

П—а начинала терять терпѣніе. Разговоръ принималъ острый характеръ.

— Такъ у васъ можетъ выйти то, что въ одинъ прекрасный день вы останетесь безъ средствъ!

— Конечно, можетъ; но на это у меня есть тоже свои понятія. Я, напр., увѣрена, что Богъ будетъ посылать намъ то, что нужно. И сколько разъ уже случалось, что накануне я думала: вотъ у насъ послѣдній чай—что-то мы дадимъ больнымъ завтра? Возвращаясь домой, я всегда находила или новый запасъ чаю, или пожертвованныя деньги. Если даже и случится когда-нибудь, что намъ нечего будетъ дать нашимъ больнымъ, то мы имъ это прямо скажемъ, и они увидятъ, какъ намъ отъ этого грустно. Но насчетъ комитетовъ я, признаюсь вамъ, не только не желала бы сама принимать въ нихъ какое бы то ни было участіе, но даже не желала бы, чтобы дочери мои и племянница принадлежали къ какому-нибудь обществу или кружку,—впрочемъ, имъ я, какъ и всегда, предоставляю полную свободу.

— Вамъ, кажется, вообще непріятенъ этотъ разговоръ, Екатерина Николаевна?—съ удивительною для своего горячаго нрава сдержанностью спросила гр. П—а.—Можетъ быть, будетъ лучше совсѣмъ прекратить его.

— Ахъ, нѣтъ, зачѣмъ же прекращать? Я люблю оживленные разговоры и люблю слушать мнѣнія молодыхъ людей,—улыбаясь, сказала Екатерина Николаевна.

Замѣчая, какой оборотъ принимаетъ разговоръ и какъ мало выходитъ изъ него толку, я попыталась перевести его на другое, но нельзя сказать, чтобы выбрала удачно тему.

Обращаясь къ Д—вой, я спросила ее, что она сдѣлала съ своими веселыми сотрудницами, которыя такъ шумно принялись—

было за дѣло,—составляютъ ли онѣ еще кружокъ и куда обратили свою дѣятельность?

Юлія Серг. стала рассказывать, что она недавно окончательно съ ними разошлась, потому что онѣ ей только все путали, перессорились между собою, и что она, наконецъ, не выдержала и просила ихъ больше не бывать у нея въ домѣ.

Екатерина Николаевна выразила, что она очень рада, что нашъ госпиталь избавился отъ „этихъ нигилистокъ“.

При этихъ словахъ глаза гр. П—ой блеснули, она быстро повернулась къ Ек. Н—нѣ.

— Отчего вы думаете, что это были нигилистки и кого вы называете нигилистками?—неожиданно и рѣзко спросила она.

— Какъ кого! Этихъ стриженныхъ барышень,—сказала К—ва нѣсколько сухо.

Но гр. П—на уже не слушала ее,—она унеслась въ область абстрактныхъ своихъ идеаловъ.

Она стала говорить о томъ, какъ теперь *это слово* потеряло свое настоящее значеніе,—что для нея это слово непонятно, и она не знаетъ, какихъ людей имъ опредѣляютъ.

— Многіе,—продолжала она, увлекаясь все болѣе и болѣе,—называютъ этимъ нелѣпнымъ словомъ такихъ тружениковъ, которые работою добываютъ себѣ хлѣбъ и пробиваютъ себѣ дорогу, неспособны унижаться, чтобы просить пособія,—людей, которые слишкомъ горды, чтобы жаловаться, и озлоблены только потому, что не видятъ къ себѣ ни сочувствія, ни пониманія... и т. д., и т. д.—долго и горячо продолжала говорить на эту тему молодая женщина.

— И какъ подумаешь, какъ высока цѣль, которую преслѣдуютъ эти труженики!—уже въ совершенномъ экстазѣ говорила она, поднимая руки вверхъ,—и какъ часто они, по своимъ стремленіямъ и самоотверженію, ближе стоятъ къ идеалу христіанскому, нежели мы, которые съ такимъ презрѣніемъ отъ нихъ отворачиваемся!

Пока она говорила это, лицо ея сіяло восторженностью; можно было подумать, что передъ нею явился идеализированный и дорогой призракъ,—оттого неудержимо такъ страстно лется ея рѣчь.

Во все время этого разговора или, скорѣе, монолога Ек. Ник. К—ва нѣсколько разъ переглядывалась съ своими дочерьми. Видно, многое, что онѣ только подразумевали прежде, теперь становилось имъ ясно.

Послѣ этой profession de foi, К—ва стала еще нелюбезнѣе и

желчиѣ. Она опять стала намекать на то, что инныя дамы вмѣшиваются совсѣмъ не въ свое дѣло и мѣшаютъ другимъ, — и что она смотритъ на всѣ эти разговоры—какъ на нѣчто, ничего общаго съ дѣломъ не имѣющее.

Барышни были въ негодованіи. Онѣ даже позволили себѣ сдѣлать нѣсколько замѣчаній по-англійски, насчетъ гр. П—ой, весьма нелестныхъ. Дѣло клонилось къ разладу.

Гр. П—а еще разъ попыталась-было вернуться къ первоначальной темѣ разговора,—но мы всѣ только и желали, чтобы поскорѣе окончился этотъ томительный, тяжелый вечеръ. Наконецъ Юлія Серг. встала, чтобы ѣхать; за ней поднялась и гр. П—а. Онѣ раскланялись съ хозяйками и уѣхали. Мы съ сестрой еще остались. Намъ хотѣлось смягчить темное впечатлѣніе вечера.

Но это было мудрено. Молодые К—вы были возмущены всѣми выходами П—ой.

— Она просто неприлична, невоспитана,—говорили онѣ,—она желаетъ только всѣмъ и всѣми командовать и забрать все въ свои руки. — Она избалована и требуетъ, чтобы всѣ предъ нею преклонялись,—говорила запальчиво Ольга.

— И какъ это она позволяетъ себѣ навязывать всѣмъ свои мнѣнія и распоряженія, не спросивъ, хотятъ ли ихъ принимать и выслушивать!—говорила съ презрительной миной Ск—а.—Я, право, удивляюсь, что никто изъ васъ,—обратилась она ко мнѣ и сестрѣ,—не остановилъ ее; намъ это было неловко, потому что это происходило у насъ въ домѣ.

Но я остановила г-жу Ск—у, сказавъ, что и сама во многомъ раздѣляю мнѣніе П—ой и Д—й.

Мы вернулись домой подъ самыми грустными впечатлѣніями. Въ такое время, когда всѣ силы были напряжены и сосредоточены на одномъ, когда ихъ часто не хватало для работы, рознь и раздоръ представлялись тяжелыми. Никто изъ насъ и не ожидалъ такого осложненія. Уже и въ самомъ дѣлѣ было довольно тяжелаго и надрывающаго.

На слѣдующій день, окончивъ визиты съ докторомъ, я поспѣшила въ отдѣленіе Юліи Сергѣевны.

Она была возмущена вчерашнимъ вечеромъ и рѣзко обвиняла К—хъ.

Значить, дѣло было испорчено. Но какъ бы то ни было, а измѣнить порядки становилось необходимо.

Подвозъ больныхъ все учащался. Госпитали наполнились героями Шипки, Плевны; предстояло нѣсколько тяжелыхъ опе-

рацій. Привезли цѣлую партію людей съ отмороженными ступнями и положили ихъ въ отдѣленіе сестры моей.

Число больныхъ прибывало; вмѣстѣ съ этимъ росли и нужды, а К—вы все чаще и чаще забывали наши отдѣленія и обходили ихъ при раздачѣ пособій.

Онѣ и сами терпѣли отъ общаго безпорядка, но не хотѣли въ этомъ сознаться.

Мы, т.-е., сестра, я, иногда гр. П—а, стали собираться у Юліи Сергѣевны и обсуждать, какія предпринять мѣры, чтобы увеличить средства, ввести другую систему и, если можно, оградить себя отъ столеновенія съ К—ми, т.-е. стать матеріально независимо отъ нихъ.

Послѣднее стало скоро возможнымъ.

Наши средства и пожертвованія, дѣлаемые лично намъ, увеличились. Сестра моя, вскорѣ послѣ своего пріѣзда, разослала письма къ близкимъ намъ людямъ и описывала жалкое состояніе госпиталя, въ которомъ мы работали.

Въ отвѣтъ на ея письма, изъ Тамбова, Москвы, Петербурга посылались на наше имя ящики и тюки съ бѣльемъ, фуфайками, шерстяными носками и т. п.

Извѣстіе о высылкѣ этихъ вещей ободряюще на насъ подѣйствовало и дало возможность матеріально не зависѣть отъ К—ныхъ.

Съ наступленіемъ холодовъ, необходимость въ теплой одеждѣ становилась крайнею, безотлагательною.—Пока мы не имѣли возможности предохранять нашихъ больныхъ отъ холода, при отправѣ изъ госпиталя, всѣ наши труды и хлопоты ни къ чему не вели. Мысль объ устройствѣ склада теплой одежды стала для меня преобладающей заботой. Всѣ мои сотрудницы сочувствовали мнѣ въ этомъ, но средствъ къ осуществленію этого дѣла—въ настоящемъ, глубокомъ смыслѣ—никто изъ насъ не имѣлъ, и оно представлялось намъ,—увы,—неосуществимой мечтой...

Каждый разъ, когда я думала объ этомъ дѣлѣ, перебирая и отыскивая возможность положить основаніе такому складу, мысль моя останавливалась на И—вой; мнѣ все вспоминался тотъ серьезный отзывъ, который мы слышали отъ серьезнаго человѣка о ея дѣятельности.

Еще раньше, весною, во время ея проѣзда черезъ Кіевъ, я познакомилась съ Е. Л. И—ой у ея матери. Но это было такое мимолетное знакомство, что я не считала себя въ правѣ ѣхать къ ней съ предложеніемъ принять участіе въ нашихъ трудахъ.

Однако, желаніе привлечь ее къ нашему дѣлу было настолько соблазнительно, что я обратилась къ Ек. Ник. съ просьбою съѣздить къ г-жѣ И—й и поговорить съ ней о нашемъ госпиталѣ. Ек. Ник. была уже прежде семейно знакома съ И—ми.

Она поѣхала, но не получила никакого рѣшительнаго отвѣта.

На наше горе, въ это время усилилась въ госпиталѣ тифозная эпидемія. Городскіе слухи еще преувеличили дѣйствительность. Многія дамы испугались и покинули госпитали. К—ва приписывала нерѣшительность И—вой этой же причинѣ. Но, по моему разумѣнію, такая причина не могла вліять на такую личность, какою мнѣ представлялась тогда эта молодая женщина, и я не повѣрила Ек. Н—нѣ.

Въ самой же Ек. Ник. я замѣчала что-то странное, не вполне искреннее, что-то недосказанное каждый разъ, какъ она говорила со мною объ И—ой. Она какъ будто желала привлечь И—ву въ нашъ кружокъ, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, чего-то опасалась.

Однако мнѣ это нисколько не помѣшало еще сильнѣе привязаться къ мысли видѣть И—ву во главѣ нашего кружка.

Я знала, что она уже и теперь раздаетъ отбывающимъ солдатамъ теплую одежду, но раздаетъ только тѣмъ, которые попадаютъ ей на глаза въ своемъ нищенскомъ видѣ.

Я заговорила о своей мечтѣ съ молодыми К—ми и высказала имъ свой взглядъ на самоѣ И—у и на то значеніе, которое она могла бы имѣть въ нашемъ дѣлѣ. Дочери пересказали нашъ разговоръ матери, и она пріѣхала разгнѣванная. Встрѣтившись со мною, она заговорила о нашей дѣятельности, и прибавила, что считаетъ всякую перемѣну вредной, и что если организуется какой-нибудь комитетъ и выберутъ предсѣдательницу, то она и ея дочери оставляютъ госпиталь,—что не надо забывать, что онѣ вошли первыя и что онѣ имѣютъ право, по крайней мѣрѣ, высказывать тоже свое мнѣніе.

Я выслушала всю эту запальчивую рѣчь, выслушала колючія замѣчанія Ольги К—вой, но отъ своей мечты не отказалась. Отношенія съ К—ми становились все натянутѣе. Ольга Алекс. не скрывала своего недружелюбія къ намъ. Она была слишкомъ прямая натура, и не могла въ чемъ-бы то ни было дѣйствовать не прямо. Она не пропускала ни одного случая, чтобы сдѣлать намъ что-нибудь непріятное. Отношенія еще держались кое-какъ Оленькой Г—й, съ которой я и прежде была ближе, нежели съ другими, и которая теперь усиленнымъ вниманіемъ ко мнѣ сглаживала рѣзкія выходки своей кузины.



ТРИ ДОРОГИ

РОМАНЪ.

XXII *).

Толкуновъ засталъ у Драевскихъ гостей: къ нимъ недавно прѣѣхала въ закамское имѣнье изъ Москвы помѣщица Варвара Семеновна Салданская, съ дочерью Елизаветою; онѣ сидѣли въ угольной, диванной. Люба стояла, и на нее Варвара Семеновна примѣривала какую-то кружевную мантилью.

— Она будетъ на ней удивительно сидѣть,—говорила Варвара Семеновна,—à merveille!

Вѣра и Ольга Андреевна молча смотрѣли на эту операцію. Вездѣ на столѣ и на диванахъ были навалены цѣлые ворохи платьевъ и нарядовъ.

Люба, слышавъ голосъ Толкунова, тотчасъ же сбросила мантилью и выбѣжала къ нему.

— Милый мой! — тихо сказала она ему, увлекая его въ залу, въ то время, когда онъ цѣловалъ у нея руки. — Милый мой! Чтѣ ты какъ поздно? Онѣ меня замучили. То то примѣрили, то другое,—точно на куклу.

— Кто же это тебя замучилъ? Вѣра?

— Нѣтъ...

— Кто же? Ольга Андреевна?..

— Ахъ, нѣтъ! Варвара Семеновна и Лиза...

— Такъ ты имъ скажи просто: подите вонъ!—какъ Агаѣя Тихоновна сказала женихамъ.

*) См. выше: янв., 121.

— Ты, Водя, шутишь, а мнѣ, право же, было тяжело...

— А теперь стало легче?..

— Теперь?..—и она тихо прижалась къ нему.—Я чувствую, что мнѣ тяжело было безъ тебя... Ну, пойдемъ же, я тебя представлю имъ.

— Зачѣмъ же представлять? Я и безъ представленія ихъ знаю. Чуть не сосѣди...

— Нѣтъ, я тебя представлю, какъ моего жениха.

— Развѣ теперь я сталъ другой?..

— Да нѣтъ... Нехорошо же. Пойдемъ, пойдемъ.

И она ввела его въ угольную, гдѣ Варвара Семеновна очень серьезно и съ важностью доказывала, что теперь носятъ бѣе и мелкія оборочки.

— Очень маленькія... Plus petit que mon doigt...

И она показывала свой палецъ, который былъ вовсе не маленькій, такъ какъ она была дама высокаго роста и неизмѣримой полноты. Дочка была тоже высокаго роста, но худенькая и блѣдная. Обѣ отличались живостью и бойкостью и взапуски перебивали другъ друга, такъ что ни Вѣрѣ, ни Ольгѣ Андреевнѣ почти не приходилось говорить.

Какъ только вошли Люба и Толкуновъ, — Варвара Семеновна тотчасъ же вскочила съ дивана и, взявши руку Толкунова въ обѣ свои руки, проговорила быстро и восторженно:

— Поздравляю!.. Поздравляю. Je vous connais depuis votre enfance. J'étais si heureuse d'entendre... Поздравляю. De tout mon coeur!.. Et vous, ma chère, encore embrassez-moi une fois...

И она притянула и поцѣловала Любу.

Лиза также поздравила Толкунова; послѣ чего, почти тотчасъ же, Люба утянула его въ гостиную, а затѣмъ въ садъ.

— Знаешь ли,—сказала она:—я не знаю, что со мной дѣлается. Меня сегодня все дразнить, раздражаетъ...—Мнѣ теперь все это кажется противнымъ.

— Что это—все?—недоумѣвалъ Толкуновъ.

— Ну, всѣ эти наряды. Платья... мантильи, тряпки... Теперь мнѣ даже противно смотрѣть на все это. Но если тебѣ это нравится, то и мнѣ будетъ нравиться. Это я чувствую.

— Нѣтъ,—сказалъ Толкуновъ,—я смотрю на все это какъ на пустое... только бы женщина была одѣта просто и со вкусомъ...

— Ну, вотъ, и я такъ же думаю! Еслибы, кажется, ты не любилъ меня, еслибы мы не любили другъ друга, то ника-

кіе атласы и бархаты не дали бы мнѣ того довольства и счастья, которое теперь во мнѣ, въ моей груди.

И она крѣпко прижала его руку къ своей груди. Онъ взялъ ея другую, свободную руку и крѣпко прижалъ ее къ губамъ въ долгомъ поцѣлуѣ.

— Другъ мой! Дорогой и желанный!..—прошепталъ онъ.

— Знаешь ли, — сказала она шопотомъ, — я думала сегодня ночью... Ну, а если ты разлюбишь меня? Мнѣ это было ужасно тяжело... но я все-таки думала...

— Не бойся! Никогда... никогда я не разлюблю мою дорогую Ладю!

— Да вѣтъ! Постой, выслушай меня... Я думала, у тебя будутъ свои занятія. Ты будешь писать. Можетъ быть, много писать. А что же я буду дѣлать?

— У тебя будетъ хозяйство... семейный очагъ...

— Вотъ Вѣра говорить, что всякая женщина должна также трудиться и работать, какъ и мужчина. И мама тоже... Знаешь ли? Она ужасно много читала, и она много знаетъ. А я не могу. Я читаю романы, повѣсти. Стихи—съ наслажденіемъ. А серьезные вещи для меня скучны. Скажи, Водя, вѣдь это дурно? Это доказываетъ неразвитость, слабость ума. Ахъ, отчего я не такая умная, какъ Вѣра?.. Господи!—я всегда молюсь,—дай мнѣ ума, дай мнѣ разумѣнія!

Но тутъ Толкуновъ прервалъ ее.

— Нѣтъ, вѣтъ! Не сожалѣй, моя дорогая,—это неправильно. Для семьи немного надо ума, а много чувства, и оно у тебя, можетъ быть, слишкомъ развито... больше, чѣмъ нужно.

— Водя!—встрепенулась вдругъ Люба:—ты знаешь, что въ Евангеліи сказано: если не будете дѣтьми, то не войдете въ царствіе Божіе.

— Ну, мало ли что сказано въ Евангеліи,—возразилъ Толкуновъ.—Нельзя все, что сказано въ Евангеліи, въ точности и въ строгости примѣнять къ жизни.

— Нѣтъ, это неправда... Я часто думала, отчего же надо быть дѣтьми, т.-е., глупыми? И вотъ Вѣра точно также мнѣ часто говоритъ: „Неужели ты этого не понимаешь, ты—точно маленькая“. Значитъ, для царства Божьяго нуженъ не умъ, а теплое, горячее сердце... Не правда ли? Нужно не разсуждать, а любить. Вотъ и для семьи тоже. Значитъ, семья и есть часть царства Божія...

— Ого! Да ты начинаешь уже философствовать...

— Нѣтъ, ты мнѣ скажи, вѣдь это вѣрно?.. Для семьи нужна любовь... и для царства Божія...

— Главное — надо любить другъ друга, чтобы все выходило изъ сердца съ любовью, — сказалъ тихо Толкуновъ, наклонясь надъ ея рукой и поцѣловавъ эту руку.

— Люба! Владиміръ Элизарычъ! — раздалось съ балкона. — Гдѣ вы?

Они встали и пошли въ компань.

Салданскія уже уѣхали. Ольга Андреевна хотѣла послать за Любой въ садъ, чтобы она простилась и проводила гостей, но Варвара Семеновна рѣзко запротестовала.

— Non! non! Laissez-les... Не отрывайте! — они теперь какъ голубки воркуютъ, — пускай наслаждаются!

Послѣ обѣда Толкуновъ и Люба, какъ-то незамѣтно для самихъ себя, снова очутились въ саду, снова на той скамейкѣ, въ тѣнистомъ углу, на которой они уже привыкли сидѣть.

Толкуновъ съ жаромъ, съ увлеченіемъ высказывалъ Любѣ свою *profession de foi*.

— Я не вѣрю въ обрядности, — говорилъ онъ, — для меня всѣ религіи имѣютъ одну основу, и въ эту основу я вѣрю. Я вѣрю въ эту могучую силу, безграничную, непредѣльную, безначальную и бессмертную, т.-е., вѣчную. Я вѣрю въ нее. Я вѣрю, что она воплотилась въ Христѣ — Сынѣ человѣческомъ, и что этотъ Сынъ воплотился именно для того, чтобы передать людямъ небесный завѣтъ — всесоединяющую и всепрощающую любовь.

— Вода! — перебила его Люба и схватила за руку: — знаешь, когда ты говоришь, такъ мнѣ становится все это ясно, ясно, и такъ хорошо, отрадно. Я всегда думала, что надо любить Бога, только любить и дѣлать то, что Онъ велѣлъ. И этого довольно, вполне довольно, чтобы жить правильно, а тамъ... все остальное...

— Надо трудиться, — сказалъ шопотомъ, строго Толкуновъ. — Богъ труды любить.

— Но надъ чѣмъ же трудиться? Я сыта, одѣта. Все мнѣ всегда готово... Я помогаю бѣднымъ... На это мнѣ мама всегда даетъ и не жалѣетъ, сколько бы я у нея ни попросила.

— Надо трудиться для семьи — и мы будемъ трудиться оба, вмѣстѣ, для семьи. — И онъ, въ наплывѣ страстнаго чувства, вѣрно сжалъ маленькую ручку Любы.

— И я также думаю, что надо трудится для семьи. А вонъ мама... она другое говорить.

— Что же она говорить?

Но Люба не успѣла отвѣтить на этотъ вопросъ. Вдали, по саду, шла Вѣра и громко звала ее.

XXIII.

— Люба, Владиміръ Элизарычъ! Гдѣ вы? — И Люба тотчасъ же откликнулась.

Вѣра подошла къ нимъ и предложила ѣхать удить рыбу.

— Теперь жарко, — возразила Люба. — А впрочемъ, поѣдемте. Поѣдемъ, Водя. Хочешь?

— Какъ хочешь, — сказалъ онъ, и поднялся со скамейки.

— Мы поѣдемъ въ Кусты.

Это былъ укромный уголокъ на широкомъ прудѣ; тамъ таловые и ивовые кусты обступили полукругомъ маленькій заливчикъ и бросали на воду почти постоянную тѣнь. Тамъ, въ глубокомъ омутѣ съ чистой, прозрачной водой, брали громадные окуни-фунтовики.

Предложеніе Вѣры оживило всѣхъ трехъ и отвлекло отъ слишкомъ серьезнаго настроенія.

Все тріо бойко отправилось на ловлю.

— А чѣмъ же мы будемъ ловить рыбу? — спросила Люба, вдругъ остановившись посреди аллеики.

— А я уже сказала Митѣ, чтобы онъ сейчасъ же принесъ въ павильонъ удочки и насадку.

Всѣ трое спустились къ пруду—туда, гдѣ стоялъ небольшой quasi-китайскій павильонъ или, правильно говоря, небольшая бесѣда.

Тамъ компанія дождалась удочекъ и червей, которые принесъ толстенькій, гладко обстриженный и одѣтый въ холщевый казакинъ, мальчикъ Митя.

Всѣ, вчетверомъ, сѣли въ лодку и поплыли. Митя сѣлъ къ рулю. Толкуновъ сѣлъ въ весла. Вѣра и Люба также взяли по веслу и сѣли на первую скамейку, впереди Толкунова.

— А намъ бы лучше сѣсть на плотъ, — догадалась Люба.

— Скоро ли на немъ приплывемъ?—возразила Вѣра.

И лодка—изъ камышевыхъ зарослей и тѣни развѣсистыхъ ольхъ и ивъ—быстро выѣхала на чистое мѣсто.

— Однако, еще какъ печетъ!—сказалъ Толкуновъ.

— Жаръ скоро спадетъ, — предсказала Вѣра.

И черезъ нѣсколько минутъ они подплыли къ намѣченному мѣсту.

— Теперь тише гребите!—посоветовала Люба.

И всѣ тихонько опускали весла, а разошедшаяся лодка сама плавно и неслышно подплывала въ густую тѣнь ивъ, нависшихъ надъ водой.

Толкуновъ невольно любовался этимъ затишьемъ, этимъ гладкимъ, покойнымъ зеркаломъ затѣненной воды, отъ которой вѣло прохладой, сыростью и свѣжестью. Кусты и деревья тихо, спокойно отражались въ тихой водѣ.

Вся компанія заговорила шопотомъ, точно боялась разбудить покой и тишину этого соннаго, рыбаго, таинственнаго царства.

Всѣ молча и тихо засуетились. Начали развизывать и развертывать удочки. А Митя и Толкуновъ насаживали червей и раковыя шейки. Люба отвернулась,—ей было непріятно смотрѣть на эти мученья бѣдныхъ червей и раковъ.

— „Ахъ! Не убивайте бѣдныхъ птичекъ!“—вдругъ вспомнилось Толкунову изъ далекаго, юнаго прошедшаго. И вотъ теперь это прошедшее стало близкимъ, настоящимъ; она, его невеста, его Лада, сидитъ тутъ подлѣ него и смотритъ такъ мило на поплавокъ, который стоитъ неподвижно надъ водой.

Вдругъ она вся встрепенулась и схватила Толкунова за руку.

— Вода, Вода!.. У тебя клюетъ! — проговорила она быстрымъ шопотомъ.

Онъ взглянулъ на поплавокъ, но его уже не было и вся леса была натянута какъ стрѣла. Онъ инстинктивно крѣпко сжалъ въ рукахъ удище и хотѣлъ вытащить лесу; но Люба остановила его.

— Нѣтъ! нѣтъ!—зашептала она:—не такъ... ты дай ему ходъ... поведи его. . Вотъ такъ, вотъ такъ!

Онъ ослабилъ лесу, и заклевавшая рыба начала ходить кругами, сгибая въ дугу и подсѣчку, и удище.

— Это, вѣрно, большой окунь,—сообразилъ Толкуновъ.

И Вѣра, и Люба смотрѣли и ждали. Толкуновъ вдругъ сильнымъ взмахомъ выдернулъ лесу, и огромный, толстый окунь взвился вверхъ и тяжело шлепнулся на дно лодки.

— Вотъ вамъ, здравствуйте! —прошепталъ Толкуновъ, и тотчасъ же и Вѣра, и Люба, и Толкуновъ бросились на прыгавшую и метавшуюся рыбу, боясь, что она выкинется и упадетъ въ воду. Лодка такъ сильно закачалась, что Митя обѣими руками ухватился за ея борта.

Толкунову, наконецъ, удалось схватить съ трудомъ рыбу и вынуть крючокъ, глубоко засѣвшій въ ея горлѣ. Она дѣйствительно оказалась окунемъ, въ которомъ навѣрное было больше фунта. Митя подаль Толкунову сѣтку, и онъ, не выпуская окуня изъ рукъ, посадилъ его въ сѣтку, которую спустили въ воду.

— Съ добычей поздравляю! — сказала шопотомъ Вѣра и нѣско посмотрѣла на Толкунова.

А онъ въ это самое время недоумѣвалъ: почему у него забилось такъ сильно сердце, когда онъ поймалъ окуня? Чтѣ значать всѣ окуни во всемъ мірѣ, передъ его дорогой, ненаглядной Любой? И ему было досадно, что болѣе мелкое чувство охотничьей жадности вдругъ налетѣло на его сердце и хотя на мгновенье вытѣснило изъ него то чувство, которое онъ считалъ прочнымъ и непобѣдимымъ.

— Водя... я не слажу, — быстро прошептала Люба; онъ обернулся. Люба обѣими руками изо всѣхъ силъ держала удилице, и не могла удержать: что-то сильное утягивало лесу въ глубь... Толкуновъ схватилъ удочку обѣими руками, но въ то же самое время леса оторвалась и взметнулась вверху...

— Это былъ большой окунь... больше того, который вы поймали, — сказала тихо Вѣра...

— Нѣтъ, барышня, — заговорилъ съ жаромъ Митя: — это была щука... Право слово, щука...

— Есть запасныя леси? — спросилъ Толкуновъ...

— Какъ же, какъ же, есть! — заторопился отвѣтить Митя и вынулъ изъ кармана цѣлый удильный приборъ, который, очевидно, былъ когда-то щегольскимъ англійскимъ и, вѣроятно, стоилъ дорого, но теперь все въ немъ было изношено, потерто и ясно свидѣтельствовало, что онъ былъ въ рукахъ прислуги. Дорогія англійскія леси были на половину растеряны и замѣнены простыми, нехитрыми, доморощенными, деревенскими.

Толкуновъ и Митя быстро принялись за дѣло и начали навязывать новую лесу. Между тѣмъ Люба, которой Толкуновъ уступилъ свою удочку, вытащила небольшого окунька, и вслѣдъ за ней Вѣра также вытащила порядочнаго окуня. Солнце начало садиться, и рыба стала брать еще жаднѣе; не прошло и часу, какъ въ сѣтѣ набралось уже шесть крупныхъ окуней и нѣсколько мелкихъ окуньковъ и двѣ плотвы.

Вмѣстѣ съ жаромъ лѣтняго дня отхлынулъ отъ удильщиковъ и жаръ охотничьей горячки. Вѣра даже слегка зѣвнула отъ нервнаго утомленія.

— Будетъ, Люба, — сказала она, — я уже чаю хочу...

— Сейчасъ,—проговорила Люба,—я только одну рыбку... только одну рыбку поймаю...

Глаза ея блестѣли, полосы растрепались, лицо покраснѣло. Она съ напряженнымъ вниманіемъ смотрѣла на поплавокъ. Толкуновъ, какъ-то бокомъ, въ полъ-оборота взглянулъ на нее, и ему стало непріятно, что она, въ присутствіи его, можетъ съ такой горячей страстью увлекаться желаніемъ поймать какую-то несчастную рыбку. О собственномъ волненіи, съ которымъ онъ вытащилъ перваго окуня, онъ уже забылъ. Медленно, какъ бы въ раздумьи, онъ вытянулъ удочку и такъ же медленно началъ свертывать ее.

Люба взглянула на него, сердце ея радостно забилося, и она также вытянула изъ воды свою удочку. И вдругъ шумное настроеніе овладѣло всѣми. Всѣ оживились, заговорили, услылись на свои мѣста и отправились въ обратный путь.

Солнце уже низко подошло къ землѣ и покраснѣло. Всѣ берега покрылись косыми красными полосами, и повсюду на травѣ и на кустахъ заблестѣли красныя, яркія пятна, дѣлавшія такой рѣзкій контрастъ съ нѣжной, голубоватой зеленью всѣхъ неосвѣщенныхъ мѣстъ. Вдали заблестѣлъ красными огнями въ отраженіяхъ зеркальных оконъ и гордо отразился въ рѣкѣ большой барскій домъ-дворецъ.

XXIV.

Дядя Сементъ Петровичъ былъ старшій братъ Элизара Петровича, старый холостякъ и чудакъ, жившій полнымъ анахоретомъ. Ему шелъ 73-й годъ. Высокій, худой, съ сѣрыми глазами на выкатѣ, съ большимъ крючковатымъ носомъ и съ постоянной, не то добродушной, не то насмѣшливой улыбкой на тонкихъ, ввалившихся губахъ.

Несмотря на свои года, онъ былъ бодръ и крѣпокъ. Могъ ходить по двадцати верстъ въ день безъ отдыха. Вставалъ и ложился рано. Былъ строгъ и точенъ. Самъ вникалъ во всѣ мелочи хозяйства. Самъ выѣзжалъ на пашни и всѣ полевые работы. Былъ скупъ и прижимистъ—и, вмѣстѣ съ тѣмъ, набоженъ и богомоленъ до крайности.

— Копѣечку просчитать—значить, Бога прогнѣвить,—говорилъ онъ, и считалъ и усчитывалъ каждую копѣечку.

Ходилъ онъ, лѣто и зиму, въ казакинѣ изъ верблюжьяго сукна, подбитомъ барашковыми выпорками, въ широчайшихъ шарова-

рахъ, тоже изъ верблюжьяго сукна, и въ войлочныхъ валеныхъ ботинкахъ. Когда ему говорили, что это вредно, онъ махалъ рукой.

— Вредно, да не грѣшно, — оправдывался онъ, — и слава Тебѣ, Господи! — И всегда крестился при этомъ большимъ крестомъ.

Домъ его былъ низенькій, деревянный, старинный, изъ толстѣйшаго лѣсу. Въ низенькихъ комнатахъ было всегда жарко натоплено. И только въ сильные июльскіе жары отворялись окна, и то только на солнечной сторонѣ, а на задней половинѣ дома они никогда не отворялись и рамы не выставлялись. Всѣ стекла были въ пыли и сильно засижены мухами. Во всѣхъ комнатахъ передній уголъ былъ занятъ образами, а передъ спальней была небольшая комната, которой всѣ стѣны были увѣшаны и уставлены образами. Тутъ были цѣлые святцы. И не было ни одного святого, котораго образокъ, хотя самый крохотный, Семенъ Петровичъ не заказалъ бы и не повѣсилъ въ свою, какъ онъ называлъ, „божницу“. Въ теченіе своей долгой жизни онъ побывалъ чуть ли не во всѣхъ святыхъ мѣстахъ Европы и Азии. Изъ Іерусалима онъ вывезъ маленькій обломокъ отъ Гроба Господня и крохотную щепочку отъ Креста Господня. То и другое хранилось въ небольшомъ золотомъ ковчегѣ, который висѣлъ тутъ же, на стѣнѣ, подъ маленькимъ серебрянымъ балдахинчикомъ, а передъ нимъ день и ночь теплилась неугасимая лампада. Съ Аѳона Семенъ Петровичъ вывезъ нѣсколько ниточекъ отъ „срачицы“ Пресвятой Богородицы. Отъ кіево-печерскихъ чудотворцевъ онъ привезъ баночку съ муромъ изъ головы Іоанна Муроточиваго. Множество крохотныхъ частицъ мощей разныхъ угодниковъ было вдѣлано въ образа, покрытые дорогими ризами, украшенными жемчугомъ и драгоценными камнями.

— Тутъ у него цѣлое наслѣдство... десятки тысячъ посажены, — говорилъ Элизаръ Петровичъ. — Не знаю только, для кого вопить, кому оставить это наслѣдство?..

— Господу Богу... — говорилъ Семенъ Петровичъ, — и тутъ же, схвативъ руку брата, прибавлялъ: — Другъ ты мой любезный, Элизарушка! Знаешь ли ты, что въ Писаніи сказано?.. Чему подобно царствіе Божіе?.. Нѣтъ?.. Не знаешь?.. Оно подобно жемчужинѣ, самой драгоценной. Купецъ, увидя ее, продалъ все имѣніе, отдалъ все, что имѣлъ, и купилъ ее.

— Ну, вотъ, вотъ! — перебивалъ его Элизаръ Петровичъ, обращаясь къ третьему собесѣднику. — Вотъ какъ онъ понимаетъ Писаніе! Да ты пойми, что это сказано не о богатствѣ вещественномъ, а о духовномъ... Святая Аѳоня!..

— А если я ничего не вижу и не знаю выше и драгоценнѣе сихъ предметовъ на землѣ?.. Собираютъ же разныя рѣдкостныя коллекціи, и дрожатъ надъ ними разные музеи...

— Ну, и у тебя музей.

— Нѣтъ! Нѣтъ! Не богохульствуй!.. Тутъ — благочестіе и благообразіе... Ну, вотъ и я о томъ же хлопочу. Ты, вотъ, непотребныхъ дѣвокъ собираешь...

— Ничего я не собираю, — пробоваль оправдываться Толкуновъ-старшій. — А просто даю имъ пріютъ... дѣло благое...

— Блудное, а не благое!

Въ молодости Семенъ Петровичъ былъ порядочный кутила и богохульникъ. Но все это съ него соскочило, вслѣдствіе одного случая, который онъ принялъ за несомнѣнное указаніе свыше. Онъ, въ бурную погоду, тонулъ на Камѣ; перевозный дощаникъ чуть не перевернуло, онъ упалъ въ воду и пошелъ ко дну.

— И вотъ, милостивый вы мой государь, — рассказывалъ онъ, — иду я ко дну и думаю: главное, надо дыханіе удержать, чтобы не захлебнуться, и чувствую я, что силъ моихъ уже нѣтъ... что, вотъ, вотъ, я сейчасъ вздохну, и кончено — захлебнусь... И вижу я, что какой-то святой угодникъ стоитъ подлѣ меня и говоритъ такъ строго и сурово: „А вѣришь ли ты, что Богъ вездѣ существуетъ?..“ И думаю я, какъ мнѣ сказать... сказать: вѣрю?.. значить, я солгу; сказать: не вѣрю... такъ тутъ мнѣ и капнуть... И такъ я не далъ отвѣта. Ну, думаю, будь, что будетъ, а будетъ то, что Богъ дастъ... И какъ только я это подумалъ, т.-е., будетъ то, что Богъ дастъ, — какъ вдругъ точно кто меня изо всей силы толкнулъ въ лѣвый бокъ, и я точно проснулся... Господи, Боже милостивый!.. гляжу кругомъ... что это, никакъ нашъ Базяковский бугоръ, и лежу я совсѣмъ на сухомъ мѣстѣ?!

Но тутъ собесѣдники, которымъ рассказывалъ объ этомъ случаѣ Семенъ Петровичъ, обыкновенно раздѣлялись на двѣ партіи: одни — преимущественно женскій полъ — крестились и молились и говорили: „чудо Господне!“; другіе возражали и говорили: „да, можетъ быть, все это представилось вамъ во снѣ“; а нѣкоторые, впрочемъ весьма немногіе, утверждали, что все это была безсознательная галлюцинація, подъ вліяніемъ смертнаго страха, и что Семенъ Петровичъ даже вовсе не былъ въ водѣ, что его преспокойно въ безсознательномъ снѣ перевезли черезъ Каму, и что онъ такъ же безсознательно, подъ вліяніемъ сильнаго аффекта, пошелъ по ея берегу и очутился на Базяковскомъ бугрѣ.

Какъ бы то ни было, но жизнь Семена Петровича рѣзко

измѣнилась съ этого казуса. Онъ повѣрилъ или, правильнѣе говоря, увѣровалъ рѣшительно во все и сдѣлался чуть не аскетомъ.

— Что же ты не идешь въ монастырь спастись?—допрашивалъ его Элизаръ Петровичъ.—Развѣ въ міру можно спастись?..

— Для Господа все возможно... Въ монастырь спастись идутъ избранники Господни... А я—грѣшный человѣкъ... При томъ, можно и въ міру спастись... На каждомъ шагу соблазны... а въ монастырѣ ихъ нѣтъ... Жизнь въ міру—это, такъ сказать, сплошной искусъ... Вотъ я съ этими соблазнами и борюсь... Господь милостивый помогаетъ...—И онъ крестился.

— Юродивый ты, вотъ что!—продолжалъ разить его Элизаръ Петровичъ.—Заблудшая ты овца между нами, дворянами! Тебѣ бы родиться не въ дворянскомъ сословіи, а кутейникомъ... Всѣ пономарскія наклонности въ тебѣ.

— А позволь тебя спросить,—огрызался внезапно Семенъ Петровичъ:—какими такими качествами и добродѣтелями отличается ваше пресловутое дворянское сословіе?

— Ну! Вотъ! Вотъ!..—выходилъ изъ себя Элизаръ Петровичъ.—Вотъ, что я говорю!.. Ты—выродокъ изъ нашего дворянскаго сословія, ты даже не понимаешь—въ чемъ его обязанности, преимущества, les privilèges, права и достоинства... Нѣтъ, не понимаешь... не понимаешь.. не понимаешь!—твердилъ Элизаръ Петровичъ, не слушая и не понимая брата, и твердилъ до тѣхъ поръ, пока старый Парамонъ, слуга Семена Петровича, не позвалъ обоихъ братьевъ къ обѣду;—а за обѣдомъ шелъ тотъ же безконечный споръ—но только тономъ ниже; такъ какъ Семенъ Петровичъ вспомнилъ, что онъ хозяинъ, а братъ его гость; и то же самое вспомнилъ и Элизаръ Петровичъ. Горячка спора окончательно рушилась при появленіи чудовищной, неестественно жирной кудебяки и аршинной камской стерляди.

Но были и обратные случаи, гдѣ шансы и преимущества въ спорѣ выпадали на долю Семена Петровича. И это именно случилось въ пріѣздъ Элизара Петровича вмѣстѣ съ сыномъ.

Они пріѣхали во второмъ часу, почти передъ самымъ обѣдомъ, такъ какъ Толкуновъ-сынъ провелъ почти все утро у невѣсты—и расчитывалъ сейчасъ же послѣ обѣда вернуться и къ вечеру быть дома.

Семенъ Петровичъ распорядился, тотчасъ по пріѣздѣ брата и племянника, и разослалъ гонцовъ во всѣ концы за провизіей въ разныя мѣста, въ желаніи угостить заграничныхъ гостей закамскими деликатессами. Семенъ Безымянный былъ отряженъ за

сморчками, такъ какъ это была его спеціальность. Афросій былъ посланъ на камскій затонъ, — специальное мѣсто для самыхъ жирныхъ и нѣжныхъ стерлядей. Харитонъ Пульга былъ командированъ къ сосѣду—богатому хлѣбосолу Кадрайскому—за чудовищной спаржей (у Семена Петровича не было ни своихъ оранжерей, ни своего садовника).

А въ ожиданіи всѣхъ этихъ посланцевъ, Семень Петровичъ предложилъ перехватить чего-нибудь домашняго: полоточковъ изъ закамскихъ перепелокъ, соленыхъ грибовъ и груздочковъ, домашняго балыку изъ севрюжинки, маринованныхъ опеночекъ, или масляниковъ изъ своего лѣса. Все это было наставлено на столѣ, въ гостиной, на самой чистой, бѣлоснѣжной сеатерти,—и ко всему этому добавлены были: шанежки пухляы, пирожки съ ивишенью, пирожки съ кнелю и самыя горячія и жирныя ватрушечки. Однимъ словомъ, было столько всего, что можно бы было удовольствоваться этой, по выраженію Семена Петровича, „легонькой закуской“, которая могла вполне замѣнить самый тяжелый обѣдъ. При этомъ цѣлый строй разныхъ наливокъ—изъ вишни, малины, смородины, ананаса, клубники, шпанской земляники и княженики, или поленики—могъ также замѣнить всякія иностранныя вина.

Все это сооружено было и постоянно сооружалось ключницей, или экономкой, Пелагеей Ѳеодоровной.

Строго говоря, Пелагея Ѳеодоровна была не совсѣмъ экономка, а нѣчто большее для Семена Петровича, но надо отдать ей полную справедливость—она никогда не посягала на это большее. Она очень хорошо видѣла, что Семень Петровичъ не можетъ существовать безъ нея, что ихъ романъ, очень старый романъ, явился самъ собой, какъ необходимѣйшая необходимость. Когда Семену Петровичу было только тридцать лѣтъ, а ей только шестнадцать, то закамскій помѣщикъ распорядился съ ней на правахъ помѣщика. Но тутъ же и тотчасъ же почувствовалъ, что онъ совершилъ преступленіе, что Пелагея Ѳеодоровна была совершенно изъ другого царства.

— Конечно,—сказала она ему,—на это была ваша господская воля, но если Господь попустилъ этотъ мой великій грѣхъ, то я должна весь свой вѣкъ каяться.

И она упросила Семена Петровича отпустить ее въ Кіевъ, къ св. угодникамъ, замолить ее грѣхъ.

Отъ святыхъ угодниковъ она вернулась совсѣмъ „черницей“ и во всю жизнь свою ходила, какъ „кержачка“, въ черномъ платьѣ и покрытая чернымъ платкомъ. Разумѣется, она

могла выйти замужъ за Семена Петровича, но даже мысль эту она считала грѣхомъ.

— Какъ я могу,—говорила она,—что я такое? Господи!.. рабыня, не ученая, ничего неумѣющая, и подумаю я связать—волю дворянина столбового?.. Да спаси Господи!..

Когда Пелагея Ѳеодоровна вышла, одновременно съ закуской, къ гостямъ и поклонилась имъ въ поясъ, то Элизаръ Петровичъ встрѣтилъ ее довольно шумнымъ привѣтствіемъ.

— А! святая угодница!—какъ изволите жить, какъ поживаете?

— Слава Господу, живу его святой милостью...

— А я, вотъ, привезъ къ вамъ своего младенца. Вотъ какой, смотрите!

Въ это время Толкуновъ-сынъ, аппетитно прожевывая пирожокъ съ ивишенью, подошелъ къ Пелагее Ѳеодоровнѣ.

— Здравствуйте, батюшка, Владиміръ Элизарычъ!—проговорила она, кланяясь въ поясъ.—Привелъ еще Господь милосердый увидѣть васъ.

Толкуновъ-сынъ поклонился и сказалъ:

— Здравствуйте, „тетенька“.

Онъ съ дѣтства привыкъ звать ее „тетенькой“, и это названіе страшно скандализовало ее.

— Какъ Господу угождаете?—продолжалъ Толкуновъ-сынъ:—молитесь ли за насъ, грѣшныхъ?

— За всѣхъ молюсь, батюшка, Владиміръ Элизарычъ; всѣ мы—рабы Господни...

— Вѣдь вотъ,—заговорилъ вдругъ съ жаромъ Элизаръ Петровичъ, который присѣлъ къ закускѣ и успѣлъ уже уничтожить два пирожка съ ивишенью, пирожокъ съ капустой, двѣ ша-нежки и одну ватрушку,—вотъ твой ходячій грѣхъ-то! Что не прикрылъ его?—И онъ указалъ на Пелагею Ѳеодоровну, а она всплеснула въ ужасѣ руками и что-то прошептала.

Семень Петровичъ сидѣлъ въ это время на стулѣ, заложивъ ногу на ногу, и, обхвативъ колѣни руками, тихо покачивался. При вопросѣ Элизара Петровича онъ махнулъ безнадежно рукой.

— Д-да... Вотъ поди ты... и я постоянно твержу ей то же... Да вотъ сладъ съ ней, урезонь ее!.. „Не могу я выйти за дворянина столбового“, да и баста! только и твердить одно...

Во время этихъ послѣднихъ словъ Пелагея Ѳеодоровна тихо, незамѣтно, тѣною подошла къ столу, на которомъ стояла закуска, взяла двѣ пустыхъ тарелки и неслышно удалилась.

— Ну! вотъ... вотъ!..—съ новымъ жаромъ набросился Эли-

зарь Петровичъ на брата:—она гораздо правильнѣе тебя смотреть на твое дворянское достоинство... Она понимаетъ, какая огромная разница—между ней, простой крестьянской бабой, и благороднымъ россійскимъ дворяниномъ...

Семень Петровичъ безнадежно махнулъ рукой.

— У Господа Бога, братъ, всѣ равны... Всѣ мы—рабы Господни.

— Постой... постой!—заговорилъ Элизаръ Петровичъ, схвативъ его за руку.—Нѣтъ... нѣтъ... А почему наша церковь допускаетъ различіе? А?

— Какое различіе?

— А? ты не знаешь, какое различіе... нѣтъ? такъ я тебѣ скажу: если будутъ отпѣвать Пелагею Ѳеодоровну—дай ей Господь долгой жизни и всякаго благополучія,—то будутъ просто отпѣвать „рабу“ Божью Пелагею... А если меня или тебя будутъ отпѣвать, то будутъ отпѣвать „болярина“ Симеона или Элизара, и онъ съ гордостью сдѣлалъ особенное удареніе на словѣ „болярина“, и упроталъ въ ротъ цѣлую маленькую ватрушку.

Семень Петровичъ махнулъ рукой и отвернулся.

— Христось, братъ, не зналъ никакихъ дворянъ...—тихо сказалъ онъ.—Онъ не разбиралъ, кто ты... боляринъ или мытарь... Всѣ для Него были одинаковы, братъ... Всѣхъ равно исцѣлялъ, прощалъ и всѣмъ заповѣдывалъ: „любите другъ друга“...

— Намъ до этого далеко. А если церковь отличаетъ, то и мы должны отличать... Уши выше лба не растутъ...

Но тутъ вдругъ неожиданно Семень Петровичъ поднялся со стула, и съ жаромъ накинулся на брата.

— Что ты мнѣ все тычешь: церковь, церковь!—вскричалъ онъ.—Какой такой грѣхъ я сдѣлаю, что женюсь на простой крестьянѣ, законъ исполняя? Лучше жениться, чѣмъ жить... какъ ты живешь... точно турокъ... прости, Господи...

Неизвѣстно, чѣмъ бы разрѣшилось и закончилось это пререканіе, но въ это время вошелъ человѣкъ Артемій, и сказалъ, что на столъ подано, а Элизаръ Петровичъ вдругъ вспомнилъ, зачѣмъ пріѣхалъ съ сыномъ, и укротилъ себя.

За обѣдомъ онъ началъ рѣчь объ этомъ.

— А вотъ,—заговорилъ онъ,—молодецъ-то у меня жениться задумалъ.

— Что же, дѣло доброе, доброе дѣло!—рѣшилъ Семень Петровичъ.—Хвалю и одобряю. Лучше жениться, чѣмъ жить въ блудѣ. На комъ же?

— На подругѣ дѣтства, на своей Ладѣ, на Драевской... П —

мнишь эту барышню,—еще я звалъ ее херувимчикомъ съ вербочки.

— Доброе дѣло!—повторилъ Семенъ Петровичъ.

Семенъ Петровичъ былъ крестнымъ отцомъ Владимира Толкунова и любилъ крестника настолько, насколько позволяла ему вообще любить черствая и сухая натура. Крестникъ почти постоянно дѣльные лѣтніе мѣсяцы проводилъ въ деревнѣ крестнаго отца.

— Вотъ только теперь,—продолжалъ Элизаръ Петровичъ,—надо его снарядить какъ слѣдуетъ на семейную жизнь... Я ему отдѣляю Пановку.

— Это сто-то душъ?.. Не много расщедрился!..—укорилъ его Семенъ Петровичъ.

— Что же? послѣ смерти ему все пойдетъ въ вѣчное и потомственное.

— Съ меня довольно и Пановки!—сказалъ Толкуновъ-сынъ.

— Вотъ те на!..—удивился отецъ.—Чѣмъ же ты жить будешь?..

— Трудомъ... собственнымъ трудомъ.

Семенъ Петровичъ посмотрѣлъ на него и тихо засмѣялся.

— Землю что-ли будешь пахать?..—спросилъ онъ.

— Есть трудъ и помимо паханья земли.

— Нѣтъ... вотъ это ужъ вовсе не дворянское занятіе!..—говорилъ онъ, не слушая племянника:—на то есть мужикъ...

— А!? и въ тебѣ наконецъ заговорила дворянская жилка?—вскричалъ радостно Элизаръ Петровичъ.—А то: „всѣ мы равны, рабы Господни“!..

— Это, братъ, совсѣмъ другое дѣло... Я съ дѣтства не привыкъ къ жизни мужика... у него свои занятія, а у меня свои; а всѣ мы, и я, и онъ—рабы Господни... это вѣрно... Предъ Господомъ всѣ мы равны.

„Какая путаница понятій!—подумалъ Толкуновъ-сынъ:—и демократизмъ, и мужичій трудъ, и дворянское достоинство... и религіозныя сентенціи“...

Въ это время подали какую-то удивительную индѣйку, которую сама Пелагея Ѳедоровна откармливала грецкими орѣхами, и все вниманіе Элизара Петровича обратилось на это лакомое блюдо.

— А! а!—радостно вскричалъ онъ.—Откормленная?

— Откормленная...

— А у меня, можешь себѣ представить, — не умѣютъ, не

умѣють... Я пришлю Захара къ Пелагеѣ Ѳеодоровнѣ нарочно учиться откармливать. Не умѣють, не умѣють... Ракаліи!..

И Элизаръ Петровичъ, поглощенный откармливаемой индѣйкой, забылъ о главной цѣли ихъ поѣздки и о началѣ разговорѣ; онъ опять вспомнилъ о немъ только въ концѣ обѣда, когда подали шипучки и донское шампанское или, какъ называли его въ Закамѣ, „цымлянское“.

Выпили за здоровье и благополучіе жениха и невѣсты, и Элизаръ Петровичъ снова началъ рѣчь о прежней темѣ.

— Ну, вотъ, — сказалъ онъ, — ты теперь и благослови жениха существеннымъ... Дай крестнику приданое...

Семень Петровичъ ничего не отвѣтилъ на эту просьбу и какъ-то неопредѣленно посмотрѣлъ впередъ, а Толкуновъ-сынъ въ это время думалъ:

„Какая глупость!.. И чего отецъ добивается этого „приданого“ — точно я невѣста! Ну, отдалъ мнѣ Пановку, и баста. Мы съ Ладей проживемъ тихо и скромно и на этотъ кусокъ, — достанетъ на насъ и на дѣтей нашихъ“. И тутъ же подумалъ: „Я, кажется, сталъ настоящимъ помѣщикомъ и добиваюсь помѣстья... Да чѣмъ же можно заработать деньги — кромѣ помѣстья?.. Трудъ, свой трудъ... да куда же примѣнить его?.. Служить?.. Фи!..“ — и онъ сдѣлалъ невольное гадливое движеніе.

Служба всегда представлялась ему въ видѣ кормленія, вицъ-мундира, чиновъ и орденовъ, въ видѣ заискиванія передъ начальствомъ и въ видѣ всякихъ бумагъ: отношеній и донесеній, предположеній и заявленій. — Жить литературнымъ трудомъ?.. Но литературный трудъ представлялся ему въ видѣ постоянного голоданія, въ видѣ цыганской жизни... И онъ осудить на такую жизнь и его дорогую Ладю?.. Нѣтъ... нѣтъ!.. никогда. — Сдѣлаться промышленникомъ? Пуститься въ операціи — коммерческія, финансовыя... надувать своего брата... извертываться, сдѣлаться дѣльцомъ... пройдохой?..

Развѣ сдѣлаться художникомъ?.. Но трудъ и жизнь художника ему представлялись также въ видѣ литературной богемы.

И тутъ въ первый разъ поразило его то, что въ благоустроенномъ государствѣ нельзя жить человѣку собственнымъ трудомъ... Надо обладать или достаточной физической силой, или сильнымъ талантомъ, который не боится конкуренціи... Да и тутъ нельзя идти совершенно прямой дорогой, и тутъ надо изворачиваться — поддѣлываться подъ вкусъ публики, подъ вкусъ меценатовъ, угождать имъ...

— Чтò, Воденька?.. Задумался? Хе-хе-хе! — И Семень Петро-

вичъ похлопалъ его по плечу, потомъ нагнулся къ нему, обхватилъ его шею и прошепталъ надъ его ухомъ:—Ну, не думай, не горюй!.. я уже давно отдѣлилъ тебѣ пятьсотъ десятинъ въ закамскихъ лугахъ и Миронову... Будетъ пока съ тебя?.. А?..

Толкуновъ-сынъ вдругъ почувствовалъ приливъ какой-то нѣжной привязанности къ дядѣ. Онъ обнялъ его и крѣпко нѣсколько разъ поцѣловалъ его, причемъ замѣтилъ, что отъ него сильно пахло виномъ.

Вечеромъ, поздно, оба Толкунова, отецъ и сынъ, выѣхали изъ имѣнья Семена Петровича; онъ упрасивалъ ихъ остаться ночевать, но упрасивалъ какъ-то неуклюже, словно нѣхотя; Элизаръ Петровичъ, пожалуй, былъ бы и не прочь остаться ночевать, но Владиміръ Толкуновъ сильно запротестовалъ противъ этого желанія: онъ далъ слово—хоть поздно, хоть на минуту, заѣхать къ Драевскимъ.

Сумерки уже густымъ покровомъ ложились на засыпавшую землю, когда дормезъ медленно, осторожно спускался съ Ахтайскаго увала. Кучеръ постоянно сдерживалъ лошадей. Свѣжей сыростью несло съ поемной луговины; рѣвкіе трескучіе крики боростелей, или дергачей, какъ ихъ зовутъ въ Закамѣ, раздавались въ лугахъ. Красный, громадный мѣсяцъ торжественно выходилъ изъ-за тумана на далекомъ горизонтѣ. Толкуновъ-отецъ начиналъ уже дремать, а у сына была только одна мысль, одно желаніе, одинъ вопросъ въ сердцѣ: увидитъ ли онъ, обниметъ ли онъ, поцѣлуетъ ли онъ свою дорогую Ладу?

„Вѣроятно, уже спитъ... моя милая, моя желанная!..“—думалъ онъ.

XXV.

Какъ только вернулись домой—онъ тотчасъ же, еще не выскочивъ изъ дормеза, приказалъ закладывать сѣраго рысака, самаго быстрого, и самъ помогать закладывать. Онъ торопился и торопился. Самъ надѣвалъ старую сбрую,—она тутъ же висѣла, въ конюшнѣ,—надѣвалъ старую, маленькую дугу, которая подвернулась подъ руку.

Маленькая, легонькая таратайка стрѣлой вылетѣла изъ каретника. Толкуновъ самъ управлялъ ею. Маленькій кучеръ, Михай, выбѣжалъ за ней, подпоясываясь на бѣгу ремнемъ и крича, чтобы затворили двери сарая.

Старый, сѣдой кучеръ, Вахрамѣй, солидно подошелъ къ дверямъ и началъ задумчиво и тихо затворять ихъ.

— Ишь, баловники!—ворчалъ онъ:—по ночамъ скакать на Сѣрякѣ... Что больно приспичило?.. По ночамъ кататься... какой это порядокъ?..

А отправившіеся были уже далеко. Они быстро пролетѣли двѣ версты. Толкуновъ самъ правилъ, придерживая Сѣряка, такъ какъ у Михея не хватало для этого силы. Молодой, горячій рысакъ летѣлъ, высоко взбрасывая красивыя ноги. Онъ фыркалъ и рисовался, гордо выгибая шею.

Семиверстное разстояніе пролетѣли въ двадцать-шесть минутъ. На Вознесенскѣ лежала уже темная ночь. Большой мѣсяцъ высоко въ потемнѣвшемъ небѣ всплылъ и освѣщалъ яснымъ свѣтомъ почернѣвшій садъ и ярко бѣлѣвшій на его свѣтѣ бѣлый домъ-дворецъ.

Толкуновъ жадно вглядывался во всѣ окна, но въ окнахъ было темно; только наверху, на антресоляхъ свѣтился огонекъ.

„Она ждетъ меня!“—промелькнуло въ головѣ Толкунова, въ сердце его радостно забилося.

На подѣздѣ отперъ ему двери старый Акимъ, съ низкимъ поклономъ, сказавъ:

— Пожалуйте... Барышня, Любовь Петровна, кажется, еще не почиваютъ; я сейчасъ доложу.

Толкуновъ вошелъ въ залу,—а сверху уже летѣла радостная Люба.

И не успѣлъ Толкуновъ обернуться къ дверямъ, какъ она бросилась къ нему на шею, обняла его и поцѣловала крѣпкимъ поцѣлуемъ, отъ котораго закружилась его голова.

Она была въ легкомъ бѣломъ спальномъ пеньюарѣ,—она, очевидно, собиралась ложиться спать, и только приѣздъ его остановилъ ее.

— Милый! Радостный!—говорила она шопотомъ, не выпуская его изъ своихъ рукъ.—Что ты такъ долго?..

Онъ обхватилъ ее одной рукой, и они машинально-тихо, неслышно переступая, двинулись въ гостиную.

— Дядя задержалъ насъ... нельзя было раньше,—отвѣчалъ Толкуновъ также шопотомъ.

Они подошли къ двери балкона. Но дверь была заперта на ключъ. Они въ одно время хотѣли отпереть ее и столкнулись. Онъ прижалъ ее палецъ.

Она тихо вскрикнула и отдернула его. Онъ схватилъ ее руку и началъ цѣловать палецъ.

— Лада!.. милая!.. больно?..

— Нѣтъ, нѣтъ, ничего...

И она выдернула руку и отворила дверь балкона.

Они вышли на террасу.

Полная луна стояла прямо надъ ними и освѣщала все яркимъ, холоднымъ свѣтомъ. Все какъ-то раздвинулось—сдѣлалось шире и глубже. Терраса казалась громадной и оба конца ея терялись въ полупрозрачномъ сумракѣ. Черныя тѣни лежали впереди нихъ,—онѣ падали отъ кустовъ и высокихъ деревьевъ; всюду царила невозмутимая тишина, и каждый малѣйшій звукъ гулко отдавался въ этой ночной тишинѣ.

Воздухъ теплый, пѣжащій былъ полонъ ароматовъ отъ луговъ и цвѣтовъ и больше всего отъ левкоевъ, которые бѣлѣли и пестрѣли въ цвѣтникахъ и куртинахъ и сильнѣе пахли въ ночномъ воздухѣ, рѣзко выдѣляясь среди потемнѣвшей зелени.

Обнявшись, они сошли со ступеней, и онъ слышалъ явственно, какъ шуршало по ступенькамъ ея платье, какъ сильно билось ея сердце и какъ тяжело дышала ея грудь.

Они молча шли по главной, прямой аллеѣ.

Имъ обоимъ было хорошо, отраднo сознaвать близость другъ друга, у обоихъ сердца были полны любовью и слезами благодарности... Кому? За что?—они не разсуждали, они любили...

Машинально, не созная, какъ, они дошли до скамейки, которая была около бюста Петра Онисимовича. Не говоря ни слова, они оба разомъ опустились на эту скамейку.

Они не говорили, а понимали другъ друга: мысли, чувства, желанія ихъ какъ будто сдѣлались общими и открылись другъ другу.

Они не сознавали и не понимали, что это сдѣлала любовь, то широкое, горячее чувство, которое горѣло теперь въ ихъ сердцахъ, которое разлито было въ этой лѣтней, ласкающей, ароматной ночи.

Ничего не говоря, ни о чемъ не думая, они молча, крѣпко обнявъ другъ друга, сидѣли, едва шевелясь, едва дыша,—какъ будто боясь, что это соединяющее ихъ чувство будетъ нарушено и улетѣть, покинетъ ихъ сердца.

— Лада...—тихо прошепталъ онъ:—я люблю тебя...

Какъ будто она не знаетъ, что онъ ее любитъ!..

Она ничего не сказала, но крѣпко поцѣловала его томи-тельно-долгимъ поцѣлуемъ, и нѣга страсти разлилась по всему ея тѣлу. Голова завержилась и, какъ будто соскользнувъ, сама упала къ нему на грудь.

Онъ тяжело дышалъ, и лѣвая рука его машинально гладила

ея руку, сквозь кисейный рукавъ, а правая крѣпко сжимала ея правую руку.

— Лада,—шепталъ онъ,—еслибъ мнѣ теперь отдали весь міръ... я сказалъ бы: не надо... мнѣ нужно только одну... мою милую Ладю... Знаешь ли, я думаю, бываютъ недовольные жизнью... потому, что не любятъ.

Она ничего не сказала, она не думала, не слушала, она вся отдалась первому прикосновенію молодой, всеильной страсти. Пусть говоритъ онъ,—не все ли равно, о чемъ и что онъ говорить... только бы говорилъ его милый голосъ и сладко трепетало и дрожало сердце, все существо ея.

Онъ снова началъ:

— Лада, еслибы люди любили другъ друга, то и жизнь ихъ была бы совсѣмъ... совсѣмъ другая... Богъ могучій и всеильный далъ намъ святое, дорогое чувство... а мы... мы пренебрегаемъ имъ, топчемъ его въ грязь, забываемъ его... вмѣсто любви—ненависть... вмѣсто любви другъ къ другу—любовь къ себѣ и только къ себѣ и все для себя... Лада, моя моя!... Онъ наклонился къ ея уху и прошепталъ, такъ тихо, что она едва могла слышать его:—если у насъ будутъ дѣти, то мы воспитаемъ ихъ въ любви къ Богу, въ любви къ людямъ... Да?..

Онъ взялъ въ обѣ руки ея голову и повернулъ къ своему лицу. Лунный свѣтъ упалъ на ея лицо и отразился въ слезинкахъ, стоявшихъ въ ея закрытыхъ глазахъ.

Онъ поцѣловалъ оба эти закрытые глаза, а она обхватила его, крѣпко прижалась къ нему и опять поцѣловала его долгимъ поцѣлуемъ. Ея губы, горячія и влажныя, какъ бы искали крѣпче и больше прикоснуться къ его толстымъ губамъ.

— Вода!—прошептала она, съ трудомъ пересиливая волненіе:—Вода, милый, мы никогда не разстанемся. Мнѣ кажется, я живу только тогда, когда ты подлѣ меня... Сегодня мнѣ такъ было скучно, тоскливо безъ тебя... такъ было пусто кругомъ, что мнѣ ужасно хотѣлось плакать...—и голосъ ея слегка дрогнулъ.

— Милая моя, дорогая!—прервалъ онъ ее и, цѣлуя попеременно ея руки, повторялъ:—мы никогда не разстанемся, никогда... никогда... никогда! Зачѣмъ намъ разставаться? Къ чему? Что Господь соединилъ, того не долженъ разлучать человекъ никогда. Что можетъ насъ разлучить?.. Я вѣрю, глубоко вѣрю въ милость и благодать Господа... Мы съ тобой—дѣти Его!

И онъ показалъ рукой въ темную глубину неба, гдѣ ярко мерцали рѣдкія звѣздочки, несмотря на сильный свѣтъ и блескъ почти полного мѣсяца.

— Неужели Онъ, милосердый, разлучить насъ... превратить нашу любовь въ ненависть, въ охлажденіе и разрушить нашъ союзъ?.. Вѣдь этого не можетъ быть... нѣтъ?..

— Лада, Люба моя!—началь опять тихо Толкуновъ:—когда я былъ маленькій, я любилъ маму, и она, добрая и милая, также крѣпко любила меня. Я помню, какъ она умирала, какъ она благословила меня... Тогда мнѣ было уже десять лѣтъ... И съ тѣхъ поръ я не зналъ ничьей женской ласки. Никто не любилъ меня... Отецъ какъ бы старался избавиться отъ меня или хвалился мной, моими успѣхами и способностями. Въ гимназiи меня любили мои товарищи, но часто, очень часто на меня находили порывы неодолимой тоски. Мнѣ вспоминалась мама—какъ живая, ея ласки, ея поцѣлуи; я забивался куда-нибудь въ уголъ, я плакалъ и молился, чтобы Господь взялъ меня къ себѣ, туда, гдѣ моя мама... Я былъ малъ еще, я не понималъ, что Богъ вездѣ и всего больше въ нашемъ сердцѣ. Все это было дѣтское и исчезло вмѣстѣ съ дѣтствомъ... Потомъ я привязывался ко многимъ, но всѣ эти многіе не могли замѣнить мнѣ одну мою милую маму. Но теперь... теперь я чувствую, что я нашелъ привязанность, любовь, которая можетъ мнѣ замѣнить все, весь свѣтъ и мою дорогую маму... Она не замѣнитъ мнѣ, и я не замѣню ей...

И онъ крѣпко прижалъ ее къ своей груди, а она быстро, какъ-то порывисто, схватила его руку и поцѣловала ее крѣпкимъ поцѣлуемъ.

И это былъ послѣдній, самый высокій порывъ чувства,—имъ обоимъ вдругъ стало легко, отраднo и покойно. У обоихъ сердца кружились въ какомъ-то безконечномъ томленіи.

Проходили минуты, летѣли часы—они не замѣчали ихъ. Они оба отдавались тягучему вожделѣнiю неудовлетворенной страсти; оба, не отдавая себѣ отчета, наслаждались тѣмъ тихимъ, блаженнымъ чувствомъ платонической любви, которое не знаетъ ни разочарованiя, ни раскаянiя.

Взошли однѣ звѣзды и закатились. Они ихъ не замѣтили. Мѣсяцъ склонился къ землѣ. Востокъ заблѣлъ и началъ желтѣть. Холодный вѣтерокъ потянулъ неизвѣстно откуда. Зелень начала сѣрѣть.

Люба крѣпче прижалась къ нему, приложила голову къ его плечу. Тихій утреннiй сонъ началъ набѣгать на ея глаза. Она вѣкнула. Онъ очнулся. Его самого началъ клонить сонъ. Онъ сталъ рано и почти цѣлый день былъ въ дорогѣ.

— Лада!—тихо позвалъ онъ:—Милая!—Она тоже очнулась и съ какимъ-то тягучимъ томленіемъ потянулась къ нему и

крѣпко обняла его. И выѣстъ съ этимъ движеніемъ снова порывъ могучей, молодой страсти проснулся въ немъ и побѣждалъ по всѣмъ его жиламъ и нервамъ. Онъ быстро поднялся съ скамьи. Грудь ея тяжело дышала и волновалась. Голова у него закружилась. Жаръ страсти охватилъ все его тѣло. Онъ быстро, какъ-то испуганно-стыдливо отстранилъ ее. И она инстинктивно поняла его движеніе и сама отодвинулась отъ него, но тотчасъ же опять положила голову къ нему на плечо и крѣпко схватила его руку.

— Прощай, моя Лада, моя Лада!—прошептала онъ съ страстной дрожью.

— Нѣтъ, не такъ!—и она впилась въ него долгимъ, крѣпкимъ поцѣлуемъ.

Дрожь побѣждала по всему его тѣлу.

— Лада!..—прошептала онъ, отстраняя ее съ укоромъ.— Ты скоро будешь моя... совсѣмъ моя... Будемъ же чисты и воздержны... до церкви...

Она не поняла его и старалась проникнуть въ смыслъ его словъ, поднялась съ скамейки и тихо пошла съ нимъ по аллеѣ. Она только поняла, что что-то есть постыдное и преступное въ ея горячемъ поцѣлѣ и въ томъ страстномъ, нервномъ дрожаніи, которое пробѣгало по ней при этомъ поцѣлѣ.

А онъ тихо думалъ: „Почему человѣкъ такъ странно устроенъ: почему его натура не можетъ удовольствоваться блаженствомъ идеальной любви, а вспыхиваетъ жаромъ крови и грубой, грязной, животной страстью?“

Они вошли на балконъ, тихо отворили балконную дверь, тихо, на цыпочкахъ прошли залу, причемъ Люба приложила палецъ къ губамъ и прошептала:—Тише! мама спитъ.

Они вышли на крыльцо. Сѣрякъ стоялъ на дворѣ, привязанный къ столбу около конюшни. Михайка спалъ, развалился на таратайкѣ. На всемъ обширномъ дворѣ не было ни души; въ домѣ и въ деревнѣ все еще спало.

— Прощай, мой другъ милый, желанный!—сказалъ Толкуновъ и, взявъ въ руки голову Любы, поцѣловалъ нѣсколько разъ ея щеки и губы.—Прощай до завтра!

И затѣмъ, какъ бы оторвавшись отъ нея, быстро сбѣжалъ съ крыльца, подбѣжалъ къ таратайкѣ, разбудилъ Михайку, усѣлся, и Сѣрякъ, застоявшійся на привязи, неудержимо ринулся впередъ и полетѣлъ, полетѣлъ, высоко взбрасывая свои тонкія ноги. Онъ летѣлъ стремглавъ почти всю дорогу. Разоспавшійся Михайка

постоянно клевалъ носомъ, и Толкуновъ принужденъ былъ постоянно самъ сдерживать горячаго зноя.

XXVI.

По приѣздѣ домой, онъ, не раздѣваясь, бросился въ постель. Онъ хотѣлъ немножко отдохнуть отъ усталости, отъ дороги и отъ всѣхъ впечатлѣній дня. Голова его кружилась, руки и ноги слегка дрожали; онъ закрылъ глаза и тотчасъ же снова открылъ ихъ. Образъ Любы съ живостью галлюцинаціи всталъ передъ его глазами. Онъ весь потянулся, улыбаясь, и тихо прошепталъ: — Милая, родная, дорогая, моя Лада! — Онъ старался заснуть, но всколыхавшееся, неудовлетворенное чувство дразнило его и рисовало яркія, обольстительныя картины.

Онъ старался прекратить эту борьбу, старался не думать о Любѣ, но мысль сама собой, нечувствительно наводила на прежнія представленія, и прежнее чувство, тягучее и страстное, туманило голову.

Наконецъ онъ всталъ и, шатаясь, вышелъ въ переднюю, прошелъ мимо спавшаго Мишки, вышелъ на широкій дворъ и прошелъ черезъ калитку въ садъ. Раннее утро сказалось свѣжестью во всемъ его тѣлѣ. Солнце всходило, и первые, красные лучи его отразились на верхушкахъ высокихъ деревьевъ сада. Птицы уже трещали и пѣли на всѣ лады. Толкуновъ быстро зашагалъ по аллеямъ. Онъ старался ни о чемъ не думать, потому что прибѣгъ къ средству, которое ему всегда удавалось прежде въ его юности. Онъ началъ сочинять стихи. Ихъ мѣрный канканъ и подыскиваніе рیمъ всегда дѣйствовали какъ сильно отвлекающее средство. Онъ тихо шепталъ, проходя изъ одной аллеи въ другую:

Напрасно въ дѣвственныхъ мечтаньяхъ
Я содалъ чистый идеалъ,—
Въ своихъ бессмысленныхъ желаньяхъ
Предъ нимъ глубоко я упалъ...
Не вознестись ужъ мнѣ мечтою,
Святой любви не воскресить,
И чистой радости слезою
Мнѣ грязи помысловъ не смыть...

И стихи продолжались безъ конца. Машина мозга работала, шла, наконецъ, послѣднія силы ея не изсякли; онъ началъ зѣвать, шататься, добрался кое-какъ до своего флигеля, до своей

постели, и опять, не раздѣваясь и зѣвая, бросился на нее. На этотъ разъ сонъ, безъ церемоніи и безъ всякихъ прелюдій, тотчасъ же полновластно овладѣлъ имъ и держалъ его почти до самаго полудня. Напрасно Степанъ нѣсколько разъ приходилъ къ нему, стучалъ, кряхтѣлъ, уронилъ даже стулъ. Ничего не помогло. Онъ только въ просонкахъ перевернулся на бокъ и пробормоталъ:

— Пошелъ прочь... Не буди...

Когда же онъ окончательно проснулся, то первымъ дѣломъ набросился на Степана.

— Зачѣмъ же ты не разбудилъ меня? Вѣдь я говорилъ тебѣ толкомъ, разъ навсегда: если проспю до девяти, то буди меня безъ церемоніи!

— Да вѣдь я же будилъ васъ.

— Врешь!

— Право! Ей Богу-съ! Вы только и сказали: „Пошелъ прочь, не буди!“

И Толкуновъ окончательно опомнился и пришелъ къ заключенію, что никто въ этомъ не виноватъ, кромѣ него самого. Онъ кое-какъ умылся, одѣлся, на-скоро выпилъ обычный стаканъ кофею. Таратайка уже стояла запряженная, и Михейка качался, дремля, на возлахъ, въ ожиданіи барина.

Вѣхавъ въ Вознесенское, Толкуновъ изумился, во-первыхъ, необычайному торжественному звону, во-вторыхъ—праздничному виду. Вездѣ пестрѣлъ народъ; толпа стояла передъ дворомъ. Отдѣльныя группы стояли на дворѣ и толпились воеругъ кареты, старомодной, на высокихъ рессорахъ, запряженной четверкой лошадей, съ фореиторомъ. Тутъ онъ началъ смутно вспоминать, что сегодня праздникъ, Петровъ день. И вмѣстѣ съ тѣмъ онъ вспомнилъ, что этотъ день въ Вознесенскѣ всегда служилъ памятью о Петрѣ Онисимовичѣ, и всегда справлялись по немъ поминки.

Онъ быстро взбѣжалъ на крыльцо, вошелъ въ залу. Люба стояла въ дверяхъ. Она была блѣдна, глаза у нея были заплаканы. Но, увидавъ его, она вся просіяла и радостно пошла ему на встрѣчу.

— Чтѣ это у васъ?—спросилъ тихо онъ:—Какое собраніе?

Она хотѣла поцѣловать, обнять его, но застыдилась, и всего больше застыдилась вчерашнихъ поцѣлуевъ.

— Пойдемъ кругомъ, въ садъ! Тамъ—гости...

И она схватила его руку, увлекла въ переднюю и задними комнатами, черезъ черное крыльцо и калитку, увлекла въ садъ.

Тамъ, на свободѣ, она вдохнула и сдѣлалась опять весела и разговорчива.

— У насъ сегодня съ утра,—начала она,—много было гостей. Они всѣ ожидали параднаго завтрака или обѣда... Но мы вчера съ Вѣрой пристали къ мамѣ и уговорили ее, чтобы она ничего не дѣлала, что это похоже на купеческія поминки... И мама согласилась, что это глупо и неприлично... У насъ теперь сидятъ только Лебединскіе, Анна Сидоровна, Нестужевъ и архіерей.

— И архіерей у васъ?—переспросилъ Толкуновъ.

— Да, такой славный, добрый старичокъ. Онъ мнѣ подарилъ большую просфору. Пойдемъ къ нему.

— Зачѣмъ же ты увела меня?

— Ахъ, но тамъ этотъ противный Евграфъ Никитичъ... Онъ опять будетъ приставать съ своими поздравленіями и анекдотами.

— Ну, вотъ, видишь ли! Лучше ужъ я не увижу твоего добраго старичка архіерея,—зато ты не увидишь Евграфа Никитича...

Но Люба вдругъ схватила его за руку, потянула и побѣжала вмѣстѣ съ нимъ въ калитку, быстро проговоривъ:

— Уйдемъ, уйдемъ... вонъ онъ идетъ сюда!

И они снова, почти бѣгомъ обошли чернымъ ходомъ и вошли въ диванную подлѣ гостиной. Тамъ слышался говоръ нѣсколькихъ голосовъ.

Люба, запыхавшись отъ скорой ходьбы, крѣпко сжала руку Толкунова и приставила палецъ къ губамъ.

— Молчи и слушай!—прошептала она.

Говорило нѣсколько голосовъ; надъ всѣми преобладалъ громкій голосъ помѣщика Нестужева и тихій, смиренный голосъ Гарбузова. Порой слышался добродушный старческий голосъ, и Толкуновъ подумалъ: „Вѣрно, это архіерей“. Онъ хотѣлъ сѣсть на угловой диванчикъ и потянулъ за собою Любу, но нечаянно задѣлъ за маленькій столикъ и опрокинулъ его. На столикѣ стоялъ колокольчикъ, онъ зазвенѣлъ, и оба они присмирѣли и приложили пальцы къ губамъ. Толкуновъ быстро нагнулся и поднялъ столикъ.

— Люба! — позвала Ольга Андреевна. — Кто тамъ?.. Люба, подите сюда!

— Пойдемъ!—быстро прошептала сконфуженная Люба и потянула Толкунова за руку. Онъ сперва попробовалъ упираться, но затѣмъ быстро двинулся за ней, и она ввела его въ гостиную.

На диванѣ сидѣлъ худенькій, маленькій старичокъ въ темно-фіолетовой атласной рясѣ. На груди у него блестяли и сіяли разноцвѣтными огоньками алмазы на крестѣ-панагін. Лицо архіерея поражало своей добродушной улыбкой. На щекахъ его былъ молодой румянецъ, который удивительно шелъ къ его сѣдой бородѣ. Небольшіе, но живые глаза его блестяли ярко и на все смотрѣли привѣтливо. По временамъ онъ пристально всматривался въ говорившаго съ нимъ, приподнималъ свои густыя сѣдыя брови и говорилъ тихимъ голосомъ, но какъ-то быстро, отрывисто.

Люба подвела прямо къ архіерею Толкунова и попросила благословенія своему жениху.

• Перекрестивъ всѣхъ, архіерей самъ перекрестился большимъ крестомъ передъ образомъ и быстро двинулся въ залу.

Когда онъ уѣхалъ, то всѣ гости также начали прощаться, сообразивъ, что больше сидѣть нечего, и ничего интереснаго они не получаютъ.

XXVII.

Когда, поздно вечеромъ, Толкуновъ возвратился отъ Драевскихъ и машинально подошелъ къ своему письменному столу, то ему бросились въ глаза его замѣтки и писанье. И онъ подумалъ: „Необходимо приняться за работу“. Но тутъ же въ его воображеніи явился образъ его Лади. Онъ вспоминалъ и разговоръ, и поцѣлуи, и этотъ милый запахъ илангъ-илангъ, которымъ какъ будто было пропитано все ея бѣло-розовое существо.

Машинально онъ взялъ со стола свою записную, разграфленную тетрадь. Машинально пробѣжалъ списки крестьянъ: Антонъ Безсильный, Бабашка Мокрый, Иванъ Крюкъ, Петръ Дѣлововъ — и снова такъ же машинально опять положилъ его на столъ и сѣлъ на постель.

„Надо поскорѣе назначить свадьбу, — подумалъ онъ. — Тогда все войдетъ въ свою колею, и мы выѣдемъ, общими силами, съ моей милой Ладей, примемся за работу“.

Онъ не хотѣлъ и не могъ признаться себѣ, что отъ всякой работы теперь его постоянно тянуло къ невѣстѣ. Въ ней были всѣ его мечты и вождельнія. Почти съ каждымъ днемъ ему становилось тяжелѣе и тяжелѣе проводить время безъ нея. Чуть не по цѣлымъ днямъ они сидѣли гдѣ-нибудь въ саду. Никакая книга ихъ не занимала. Они брали ее, читали нѣсколько минутъ и бросали.

Онъ не зналъ, что у страсти есть свои законы, свои периоды, своя могучая сила. Онъ подчинялся невольно, не разбирая и не анализируя,—а время шло, и душевные июльскіе дни шли своей чередой.

Наконецъ все было готово къ свадьбѣ, и она была назначена 18-го іюля, въ воскресенье.

Чѣмъ ближе подходилъ этотъ день, тѣмъ безпокойнѣе и нетерпѣливѣе росло его волненіе.

Наконецъ осталось только пять дней до свадьбы. Но тутъ случилось обстоятельство, которое оттянуло свадьбу на цѣлыхъ двѣ недѣли и которое имѣло въ послѣдствіи весьма серьезное значеніе.

Въ одинъ очень жаркій день, когда Толкуновъ сидѣлъ у Драевскихъ, крестьянскія дѣвушки принесли нѣсколько глиняныхъ тарелочекъ съ ягодами и кузовковъ съ грибами. Это возбуждало въ Любѣ неодолимое желаніе сейчасъ же отправиться въ лѣсъ. Она была страстная охотница собирать ягоды и въ особенности грибы. Хотя принесенныя ягоды были не вполне зрѣлыя, но это была земляника, къ которой и Люба и Вѣра питали пристрастіе, въ особенности Люба, у которой видъ и запахъ земляники соединялись съ неразлучнымъ представленіемъ сосноваго бора, хвои и всякихъ травъ и цвѣтовъ, растущихъ на опушкѣ лѣса. Ее манилъ и раздражалъ этотъ лѣсной, смолистый, сосновый запахъ на солнечнымъ припекѣ жаркаго іюльскаго дня.

— Вода, милый мой, поѣдемъ въ лѣсъ!.. Теперь такъ хорошо въ лѣсу! Вѣра!?! Вѣдь ты поѣдешь съ нами въ лѣсъ?.. Да?..—И она стремительно бросилась, обняла ее и нѣсколько разъ поцѣловала.

— Да хорошо!.. Только зачѣмъ же неистовствовать и мѣшать другимъ!—сказала съ неудовольствіемъ Вѣра: она въ это время сидѣла въ углу на диванѣ за какой-то книгой.

Тотчасъ же, съ шумомъ и бѣготней, распорядились заложить тройкой длинныя дроги, на которыхъ всегда ѣздили въ лѣсъ. Ольга Андреевна, несмотря на уговариваніе и Любы, и Вѣры, и даже Толкунова, наотрѣзъ отказалась отъ поѣздки.

— Какъ же можно въ такой жаръ ѣхать въ лѣсъ?..—удивлялась она.

— Мы поѣдемъ, мама, въ дальній лѣсъ, въ Епанчинскій... Туда, сама знаешь, съ утра надо ѣхать.

— Еще какіе-нибудь бродяги нападутъ на васъ и ограбятъ... Цѣлая дѣвичья начала упрашивать, чтобы и ее взяли съ со-

боку въ лѣсъ. Но Ольга Андреевна выбрала двухъ, болѣе сильныхъ дѣвушекъ и велѣла Семену Долгому, который состоялъ при дворѣ въ качествѣ егеря, ѣхать за господами верхомъ и съ ружьемъ.

— Точно мы въ экспедицію собираемся, — замѣтила Вѣра, когда вся отъѣзжающая компанія была уже на дворѣ и лошади были поданы. Дѣйствительно, около длинныхъ дрогъ собралась цѣлая толпа. Въ дроги или тарантасы укладывали провизію, которой можно было, казалось, прокормить чуть не цѣлый полкъ въ продолженіе цѣлой недѣли. На эти сборы высыпали всѣ челядинцы изъ всѣхъ службъ.

Когда достаточно шумѣли и всѣ отъѣзжающіе уѣхали, съ крикомъ и визгомъ, на тарантасы, Толкуновъ скомандовалъ: „Трогай!“ и, снявъ шляпу, проговорилъ:

— Прощайте, шатап, — мы теперь прямо къ сѣверному полюсу!

Ольга Андреевна, стоявшая на крыльцѣ все время проводить, тихо проговорила:

— Ну, Богъ милосердный съ вами!

И тарантасы поѣхали. Тройка сильныхъ и сытыхъ лошадей бойко ринулась въ путь. Колокольцы и бубенчики загремѣли. Семенъ Долгій затрусилъ на своемъ росломъ и худомъ конѣ, точно рыцарь печальнаго образа, съ длиннымъ ружьемъ за спиною; нѣсколько дворянжекъ, съ громкимъ радостнымъ лаемъ, ноѣхало за тарантасами, и все скрылось въ облакахъ пыли.

До Епанчинскаго лѣса было не болѣе семи верстъ. Но онъ тянулся верстъ на двадцать и примыкалъ къ другому, Орѣховскому лѣсу, который, какъ увѣрили въ Закамѣ, тянулся вплоть до моря и былъ наполненъ всякими ужасами. Но и лѣсъ Епанчинскій не пользовался хорошей репутаціей. Кромѣ медвѣдей, которые въ немъ, хотя и весьма рѣдко, попадались, — здѣсь частую укрывались разныя бродяги, а не болѣе, какъ два, три года тому назадъ, въ немъ стала распоряжаться знаменитая шайка Быкова, наводившая ужасъ на всѣ окрестныя селенія и неизвѣстно гдѣ скрывавшаяся.

Черезъ полтора часа компанія доѣхала до этого лѣса и свернула съ дороги, которая могла назваться большой, сравнительно съ узенькой коленистой дорожкой, заросшей травой, которая велъ прямо въ лѣсъ, къ небольшой сторожкѣ лѣсовщика-татарина. Эта сторожка была пунктомъ, изъ котораго компанія должна была разойтись. Татаринъ-караульщикъ исполнялъ свою обязанность какъ казенщину: лѣсъ Епанчинскій принадлежалъ государству.

нымъ крестьянамъ. Изъ него никогда никто не воровалъ ни одного сучка, и присутствіе ненужнаго лѣсовщика было пустой формальностью.

Низенькій, коренастый, съ маленькими, узенькими глазками, онъ встрѣтилъ компанію добродушно, точно также какъ и жена его, Гульхара. Караульная изба была новенькая, чистая и просторная.

— Вотъ что, — сказала Люба: — мы теперь пойдемъ въ лѣсъ, а потомъ вернемся сюда и позавтракаемъ; Егоръ сдѣлаетъ намъ ячичницу, а Гульхара дастъ простокваши.

— Есть у тебя простокваша? — обратилась она къ Гульхарѣ.

Но Гульхара только ухмыльнулась, показавъ всѣ свои черные зубы.

— Есть, есть, — отвѣтилъ за нее ее мужъ.

И всѣ весело отправились на поиски.

Сначала Люба жадно обыскивала кусты и деревья, какъ бывало и прежде. Но теперь одна эта мысль, что она невѣста, — показывала ей все въ другомъ свѣтѣ, и она постоянно оглядывалась, какъ будто боясь, что ее женихъ вдругъ исчезнетъ. Но онъ былъ тутъ, подлѣ нея, ее милый Водя.

По временамъ она брала его руку и приподнимала ее къ своему лицу, къ своему сердцу, и ей не вѣрилось, что онъ съ нею и что онъ всегда будетъ съ нею. Мало-по-малу они искали лѣнивѣе грибовъ и ягодъ, все тише и медленнѣе. Наконецъ совсѣмъ остановились, усѣлись подъ большимъ красивымъ дубомъ и забыли и время, и мѣсто, и всѣ ягоды и грибы.

Воздухъ былъ душенъ, тихъ и неподвиженъ. Какія-то насекомыя, жуки или мухи, лѣниво летали, вокругъ нихъ, жужжа и щелкаясь о стволы сосенъ, на которыхъ выступала и текла янтарная смола. А вдали, кругомъ собирались кудрявые, розоватыя облака и принимали мало-по-малу сизый оттѣнокъ, синѣли на горизонтѣ и ползли все выше и выше.

Первый, неясный рокотъ грома глухо раздался гдѣ-то вдали. Они его не слышали. Высокія деревья заслоняли имъ горизонтъ и всю даль. Надъ ними было высокое, ясное, синее небо.

Громовой рокотъ перешелъ въ ясные раскаты. Они вывели ихъ изъ сладкаго томленія.

— Водя, ты слышишь?.. Громъ!..

— А ты боишься?

Она не вдругъ отвѣтила.

— Нѣтъ! — сказала она — Съ тобой я ничего не боюсь...

Кромѣ Божьяго гнѣва... Какъ я боюсь огорчить любимаго человека... тебя!..—прошептала она, припавъ къ его груди.

Но Вода не успѣла ей отвѣтить.

Страшный ударъ грома раскатился надъ вершинами деревьевъ. Они оба вскочили... И Люба перекрестилась большимъ крестомъ.

Въ воздухѣ сдѣлалось еще душнѣе. Сильнѣе запахло сосновой смолой. Синій клочокъ неба вверху затянуто тучей. Вершины деревьевъ съ шумомъ закачались.

— Гдѣ же теперь наши? — спросилъ Толкуновъ. Въ воздухѣ вдругъ потемнѣло, и крупныя рѣдкія капли, какъ бы сорвавшись съ неба, съ сильнымъ шумомъ упали на землю и затихли.

Люба закричала протяжно:

— Ау! Вѣра!..

Толкуновъ также закричалъ пронзительно-громко. Гдѣ-то вдали слѣва откликнулись женскіе голоса.

Они быстро пошли на нихъ и снова начали ахать и кричать. Черезъ нѣсколько времени голоса раздались ближе, и между деревьевъ вскорѣ показались двѣ дѣвушки, Лиза и Маша; у обѣихъ были раскраснѣвшіяся лица и полные коробки грибовъ и ягодъ.

— А барышню Вѣру Александровну не видали?—спросила Лиза, и тутъ же прибавила:—А мы ужъ цѣлый часъ ее аукаемъ, ищемъ... были ужъ и въ караушкѣ. И тамъ ихъ нѣтъ. Григорій съ Соней пошелъ направо, а мы сюда... шли... шли... наслыгавъ нашли.

Но страшный ударъ грома, который раздался, какъ пушечный выстрѣлъ, почти тотчасъ же за ярво-лиловой молніей, оглушилъ ихъ. Маша присѣла совсѣмъ къ землѣ и голову накрыла обѣими руками, а Лиза вскинула обѣ руки вверхъ и окаменѣла. Люба ухватилась за Толкунова, и въ это мгновеніе онъ почувствовалъ въ себѣ вдругъ нахлынувшій приливъ храбрости и бодрости духа. Онъ обхватилъ Любу обѣими руками, вполне готовый защитить ее или погибнуть вмѣстѣ съ нею.

Первая очнулась Маша и, выпрямившись, начала быстро креститься большимъ крестомъ, приговаривая:—Святъ, святъ, святъ, Господь Саваоѣ...

Лиза опустила руки, быстро приложила ихъ къ груди, прошептала:—Господи!—и тихо застонала и заплакала.

— Что съ тобой? Лиза!—проговорила Люба, быстро двинувшись къ ней.

— Не знаю, барышня... будто... тутъ вдарило... Господи! — Она показала на грудь, противъ сердца.

— Ничего не вдарило, — проговорилъ быстро Толкуновъ. — Просто ты испугалась. Ну, пройдишь... — И онъ быстро схватилъ ее за руку и потянулъ. — Видишь, ничего нѣтъ. И все прошло.

— Гдѣ же Вѣра? Вода!.. Господи! — вскричала Люба.

— Пойдемте, барышня, къ караушкѣ. Можетъ быть, онъ уже тамъ... Этакая страсть!..

Снова блеснула яркая молнія и, немного погодя, раскатился громовой ударъ. Въ лѣсу совсѣмъ потемнѣло, и дождь, частый и крупный, началъ хлестать кусты и деревья. Маша схватила за руку Лизу, и обѣ побѣжали впередъ. Толкуновъ велъ за руку Любу, и она быстро пошла за ними, по направленію къ караушкѣ. Они шли болѣе часа, и всѣ промокли.

Но и въ караушкѣ Вѣры не оказалось. У крыльца собралось нѣсколько татаръ, и Семенъ Долгій стоялъ тутъ же, опираясь на ружье и отирая потъ, катившійся съ лица его.

Маша и Лиза далеко опередили ихъ и принесли вѣсть, что барышня заблудилась. Всѣ громко разсуждали и переговаривали другъ друга. Толкуновъ быстро распорядился разослать татаръ и подошедшихъ бабъ въ разныя стороны, наказавъ имъ окликать и разыскивать Вѣру.

Дождь пересталъ. Снова просвѣтлѣло и засіяло солнце.

Толкуновъ и Люба усѣлись на ступенькѣ крыльца подъ навѣсомъ и тревожно ожидали: не принесутъ ли откуда-нибудь вѣсти о пропавшей Вѣрѣ? Но вѣсти ни откуда не приносили, время тянулось томительно, и сердца ихъ ныли ожиданіемъ. Люба прижалась къ Толкунову; но близость его теперь не отзывалась радостью и счастьемъ въ ея сердцѣ. Тамъ стояло черное пятно — безпокойство за дорогую сестру.

— Вода! — тихо спрашивала она нѣсколько разъ Толкунова. — Ну, а если она пропадетъ?.. Господи!.. Господи!.. — И она вся дрожала.

— Ну, какъ же можетъ она пропасть! — успокаивалъ Толкуновъ. — Ее найдутъ, непременно найдутъ. И ты не унывай, моя дорогая...

Пришелъ одинъ татаринъ, весь мокрый; онъ снялъ чапашку, и потъ градомъ катился съ его бритой головы.

— Ну, что? Ты гдѣ былъ? — обратился къ нему съ нетерпѣніемъ Толкуновъ. Татаринъ съ недоумѣніемъ развелъ руками.

— Нѣтъ его!.. Туда ходиль... сюда ходиль... до Караваева ходиль... Нѣтъ его... Нигдѣ не кричить...

Сомнѣнія, отчаяніе и неизвѣстность тяжелѣе и тяжелѣе налегали на сердце Любы.

Она дрожала и крѣпко держалась за руку Толкунова.

— Не волнуйся, дорогая моя... Ее найдутъ... Выпей воды, успокойся...

Но Люба не хотѣла и не могла успокоиться. Она продолжала дрожать и все сильнѣе и сильнѣе прижималась къ Толкунову. Она чувствовала, что онъ, ея женихъ, гораздо дороже для нея ея кузины Вѣры, и въ то же время ея воображеніе и раздумье рисовали ей картину за картиной, одну мрачнѣе другой. То ей представлялось, что Вѣру убили громъ; то она видѣла, какъ Вѣра идетъ все дальше отъ нихъ, въ глубь лѣса, что она непременно встрѣтится съ медвѣдемъ, который ее растерзаетъ; то она видѣла, что Вѣра зашла въ топкое мѣсто, что она зоветъ на помощь и медленно погружается въ болото; то, наконецъ, она видѣла, что на Вѣру напали разбойники и убили ее.

При каждой картинѣ она судорожно-истерически прижималась къ Толкунову, стараясь всѣми силами удержать слезы, которыя ее душили, а спазмы сжимали ей горло, она чувствовала нестерпимую горечь и какой-то комъ подкатывался къ ея шеѣ и не давалъ ей дышать.

XXVIII.

Послѣдняя догадка Любы была недалеко отъ правды.

Вѣра, дѣйствительно, заблудилась и попала какъ разъ въ тотъ самый оврагъ, гдѣ скрывалась шайка Быкова.

Задумавшись, она долго шла совершенно одна, не замѣчая и не слыша криковъ, которыми ее окликали. Сильный, рѣзкій ударъ грома вывелъ ее изъ этой задумчивости.

Она оглянулась, машинально перекрестилась и начала также окливать; но на ея крики не было отвѣта. Ей казалось, что мѣсто, гдѣ она остановилась, ей знакомо, что она была уже на немъ, и что отъ этого мѣста недалеко до татарской деревни Епанчина. Она быстро пошла впередъ, надѣясь, что черезъ пятнадцать-двадцать минутъ она дойдетъ до этой деревни. На этомъ пути ей встрѣтилась тропинка. Она подумала и рѣшилась идти по ней. Впереди виднѣлись двѣ ели, которыя симметрично стояли по обѣимъ сторонамъ тропинки, и на обоихъ деревьяхъ что-то висѣло—длинное, безобразное. Она подошла, взглянула, и ужасъ охватилъ ея сердце. На деревьяхъ висѣли двѣ половины тѣла

женщины, разрѣзанной пополамъ. Она не вдругъ поняла, что было передъ ея глазами. Въ слѣдующее мгновеніе ея сознаніе ясно и безпощадно освѣтило то, что висѣло передъ ней, и нестерпимый, повелительный ужасъ охватилъ ее. Она безсознательно, пронзительно закричала и бросилась бѣжать, не зная куда, бѣжать безъ оглядки, дальше отъ этого ужаснаго предмета. Платье ея путалось, зацѣплялось за кусты и деревья. Сучья еловъ били ее по лицу и царапали его. Она ничего не сознавала и не чувствовала; она только смутно понимала, что она бѣжитъ подѣ гору, что спускъ съ каждымъ шагомъ становится круче и что деревья заслоняютъ ей дорогу. Наконецъ силы совершенно оставили ее. Тихій, протяжный стонъ вырвался изъ ея стѣсненной груди, и она упала безъ чувствъ.

Когда она очнулась и сознаніе медленно начало работать въ ея отуманенной головѣ, — она услышала какой-то неясный разговоръ грубыхъ мужскихъ голосовъ, гдѣ-то около или подлѣ нея.

Одинъ голосъ сказалъ:

— Бѣдненькая!.. Испужалась очень...

И въ этомъ голосѣ звучало такое искреннее и глубокое со-
страданіе.

— Это Драевская барышня! — сказалъ другой, сильный го-
лосъ. — Я видѣлъ ее разъ въ Останкиномъ.

Она тихо повернула голову, и увидѣла двухъ мужиковъ. Одинъ былъ статный, здоровый, съ красивымъ, румянымъ лицомъ и большой окладистой темно-русой бородой. Это былъ Быковъ.

Другой былъ его эсаулъ Чикинъ. Высокій, худощавый мужикъ, блондинъ, съ крайне непріятнымъ, злобнымъ выраженіемъ лица. Жиденькая, рѣдкая бородка кое-гдѣ пучками росла на его подбородкѣ. Самое непріятное въ этомъ лицѣ были глаза его. Темно-сѣрые, небольшіе, глубоко ушедшіе въ глазныя ямы, мрачно смотрѣвшіе изъ-подъ сильно выдавшихся надбровныхъ дугъ.

— Пришибить ее... И дѣлу конецъ! — сказалъ онъ тихимъ шопотомъ, придвигаясь къ Вѣрѣ. Но она услышала этотъ шопоть, и вся похолодѣла.

— Не тронь! — сказалъ повелительно Быковъ, отстраняя его одной рукой и подходя къ Вѣрѣ.

Онъ быстро нагнулся къ ней, схватилъ ее за талю и взбросилъ какъ перышко къ себѣ на плечо.

— Не пужайся, барышня... Не пужайся! — быстро и успокоительно говорилъ онъ.

Но Вѣра, въ смертельномъ страхѣ, пронзительно закричала: — Не тронь!.. Не тронь! — и начала биться какъ птица въ силь-

ныхъ рукахъ разбойника. Этого отчаяннаго усилія достало не надолго. Въ отуманенной головѣ ея быстро мелькнула страшная картина разрѣзанной пополамъ женщины, и она вся похолодѣла. Голова ея закинулась назадъ, и сознание снова покинуло ее.

Быковъ со своей ношей, въ сопровожденіи Чикина, хватаясь за деревья, быстро спустился на дно оврага и пошелъ впередъ большими шагами. Все это дно заросло густой порослью. Оно было почти сплошь покрыто вѣрными пучками высокаго и красиваго чернаго папоротника, точно зелеными страусовыми перьями. Изъ этого общаго фона выдѣлялись мелкіе кусты и деревца орѣшники, жимолости, кленовъ, крушины и волчьихъ ягодъ. Разбойникъ бережно отводилъ вѣтки всѣхъ кустовъ отъ лица Вѣры, и невольно и безсознательно любовался имъ, какъ лицомъ хорошенкаго спящаго младенца.

Чѣмъ дальше шли они по оврагу, тѣмъ глуше и гуще становилась растущая въ немъ зелень. Наконецъ гдѣ-то вблизи слышались сдержанные голоса. Быковъ раздвинулъ кусты, и передъ нимъ предстала картина разбойничьяго притона.

Это была небольшая площадка, вымытая весенней водой. Громадные камни служили ей грунтомъ, по которому весной бѣжалъ цѣлый потокъ воды. Немного въ сторонѣ и въ глубинѣ оврага, на небольшомъ бугрѣ была другая площадка, покрытая травой, но эта трава была вся примята и устлана сѣномъ и соломой. Очевидно, это было логово, спальня разбойниковъ. Ихъ было четверо. Услыхавъ шорохъ, они быстро повернули головы, между которыми въ особенности рѣзко выдѣлялась одна, большая лысая голова, съ глубокимъ шрамомъ на высокомъ, открытомъ лбу. Лицо этого разбойника поражало умнымъ, осмысленнымъ взглядомъ. Но маленькіе, быстро бѣгающіе глаза его, коротко вздернутый къверху носъ и толстыя губы, приподнимавшіяся въ углахъ рта и выставлявшія острые клыки, производили крайне непріятное впечатлѣніе. Это былъ крестьянинъ сѣверной губерніи, волжскій бродяга, Куркановъ, по прозванію Курша.

Быковъ вошелъ въ эту компанію и бережно опустил на солому Вѣру.

— Это отколь Богъ послалъ красную птицу? — спросилъ гнусавымъ голосомъ Курша.

Всѣ разбойники обступили Вѣру.

— Подите прочь! — не громко, но повелительно вскричалъ Быковъ. — Чего не видали?.. Оглашенные...

— Мы, дяденька, съ роду не видывали такой дичи, — ска-

заль Ванька Сучокъ, приземистый мужикъ, комикъ, съ краснымъ лицомъ, синебагровымъ пятномъ на правой щекѣ и растрепанными длинными рыжими волосами.

— Ну!.. Видѣли, не видѣли... А отстань... Не пужай барышни... Подите прочь... Разойдись, братцы!—и онъ грозно поднялся съ земли.

Разбойники знали, что съ нимъ надо быть осторожными... Онъ вспыхивалъ вдругъ, и въ пылу гнѣва былъ страшенъ и дикъ. Еще сегодня утромъ онъ велѣлъ разрѣзать пополамъ несчастную женщину, Марью Егорову, бывшую его любовницу, и они буквально исполнили его приказаніе, боясь его бѣшеннаго права. Не далѣе, какъ третьяго дня, онъ заставилъ изрѣзать въ куски деревенскаго мальчика, за то, что тотъ рассказалъ, гдѣ было убѣжище шайки, и они изъ-за этого должны были перекочевать за десять верстъ, въ Епанчинскій оврагъ, а куски несчастнаго ребенка были розданы деревенскимъ собакамъ, и они съѣли ихъ и обглодали всѣ кости. Разбойники одинъ за другимъ разбрелись... Остался одинъ Чикинъ.

— А ты чего ждешь?—спросилъ его глухимъ голосомъ Быковъ:—слышалъ атаманское приказаніе?.. Али не слышалъ?..

Чикинъ посмотрѣлъ пристально въ его глаза, которые потускнѣли, и на его широкую, косматую грудь, которая тяжело поднималась и опускалась, и, привставъ съ земли, съ усмѣшкой снялъ шапку и проговорилъ:

— Таланъ да удача!.. Съ начатиємъ дѣла!..—и, пронзительно свистнувъ, медленно пошелъ и скрылся въ кустахъ.

Быковъ, тяжело дыша, снова опустился подлѣ Вѣры. Черты его лица быстро мѣнялись.

Передъ нимъ лежала настоящая барышня, генеральская племянница, и онъ не могъ рѣшить, высшее или низшее существо теперь лежитъ передъ нимъ и отдано въ его полную власть и распоряженіе.

„Блѣдная, да худенькая,—думалъ онъ,—не то что Марья Егоровна, упокой, Господи, ея душеньку! Вотъ, училась, да училась,—притомилась и стала такая мозгливая... А красива—вишь какія брови-то, какъ въ пѣснѣ говорятъ: брови соболиныя, очи соколиныя... Что же не раскрываются они?.. И не дышетъ она? Эй, барышня!—проговорилъ онъ, наклонясь къ ея уху, самымъ вѣжливымъ голосомъ, и потрясъ ее за руку. Но Вѣра не открывала глазъ и не дышала.

„Неужель померла“?..

И при этомъ вопросѣ что-то защемило сердце разбойника,

и тихая жалость проснулась въ немъ. И какъ-то странно вдругъ вспомнилось ему многое изъ его разбойничьей жизни. Точно что-то отворилъ двери въ сокровенный тайникъ его сердца, и какія-то картины сами собой мелькнули быстро и ярко въ его памяти... Вспомнилъ, какъ лежала въ забытѣи его покойная жена Груня... Но Вѣра была „куда красивѣе ея“! — подумалъ онъ. Вспомнилось ему, какъ одинъ разъ, вмѣстѣ съ Чикинымъ, лежалъ онъ въ полѣ на стогѣ сѣна, съ ружьемъ въ рукахъ. Это было недалеко отъ города, въ жаркій, томительный полдень, а мимо этого стога, по дорогѣ ѣхалъ татаринъ, и крѣпко спалъ, лежа ничкомъ въ телѣгѣ, и вспомнилъ онъ, какъ у нихъ вышелъ споръ съ Чикинымъ: попадетъ онъ или не попадетъ въ вилокъ (такъ онъ называлъ бѣлую войлочную шляпу татарина)? И только-что поровнялась телѣга со стогомъ, — онъ нацѣлился и спустил курокъ. Татаринъ вздрогнулъ и какъ-то быстро, естественно вытянулъ руки и ноги. Бѣлая шляпа его окрасилась кровью. И подумалъ Быковъ теперь: „Зачѣмъ я загубилъ тогда поганую душу?..“ И вмѣстѣ съ тѣмъ припомнилось ему, какъ онъ сдѣлался разбойникомъ. Вспомнилъ онъ то далекое время, когда онъ былъ честнымъ, добрымъ землепашцемъ и какъ легко было на его душѣ. На ней не было крови...

Въ это время Вѣра тяжело вздохнула; кровь прилила ей къ лицу и заиграла яркимъ румянцемъ на щекахъ и на красивыхъ губахъ. Она потянулась, вытянула лѣвую руку, на которой лежала, и тихо, едва замѣтно улыбнулась. Ея обморокъ нечувствительно перешелъ въ глубокой сонъ. Ей казалось, что она спитъ у себя на постели, и Люба что-то рассказываетъ ей и смѣется...

Между тѣмъ шайка Быкова расположилась въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него и Вѣры, — расположилась очень удобно, на отлогомъ мѣстѣ, въ кустахъ жимолости и орѣшника.

— Эхъ, братцы!.. — заговорилъ Курша, тяжело опускаясь на траву подлѣ куста орѣшника. — Въ крѣпостныхъ маялся... Въ Сибири мыеался... Теперь здѣсь привелось у простого мужика во холопахъ служить... Свое логово ему съ барской полюбовницей оставлять.

Чикинъ, сидѣвшій подлѣ, искоса взглянулъ на него.

— А тебѣ, что-ль, завидно? — спросилъ онъ...

— Завидно?.. Вотъ нашелъ!.. Не завидно, а обидно!..

И онъ дополнилъ эти слова грубымъ, рѣзкимъ ругательствомъ, и затѣмъ продолжалъ:

— Въ лѣсахъ сибирскихъ жилъ я вольной птицей... Никому не кланялся, самъ себѣ господинъ... И здѣсь, въ татарскомъ

царствѣ, я пожилъ малое время на вольной-волюшкѣ... да не-способно!..

— Какъ неспособно? — спросилъ его небольшого роста бродяга, Спиридонъ, на видъ совершенный мальчикъ, съ крайне неприятнымъ, худымъ и блѣднымъ лицомъ, съ красными, слезящимися глазами. Онъ былъ одѣтъ въ нищенскую одежду, въ весь оборванный и заплатанный кафтанъ. А на плечѣ его висѣлъ мѣшокъ—простая, нищенская холщевая сума.

— А такъ... неспособно...—отвѣтилъ Курша, немного помолчавъ.—Ты сунешь носъ въ какую ни на есть деревню... Сейчасъ отъ тебя сторонятся... Пойдутъ разспросы... чтобы ихъ въ плотку черти толкали!..

— А ты откуда родомъ-то?—спросилъ его Спиридонъ.

Курша прищурился, посмотрѣлъ вдаль и отвѣчалъ:

— Отсель не видать... Далеко!..

Другіе разбойники, полу-лежа на землѣ, молча слушали эту лѣнивую бесѣду и дремали.

Послѣ грозы наступила всюду тишина. Солнце ярко свѣтило, и яркія брилліантовыя капли дождя блестя на травѣ и листьяхъ кустовъ; по временамъ двѣ капли сливались въ одну и скатывались на землю. Маленькая птичка, крапивничекъ, спокойно прыгала и вертѣлась въ кустахъ орѣшника и издавала одну надоѣдную нотку.

XXIX.

Толкуновъ, Люба и всѣ отправившіеся въ лѣсъ пробыли въ немъ до поздней ночи. Толкуновъ собралъ татаръ изъ Еланчина и отправилъ ихъ рыскать по лѣсу и отыскивать пропавшую Вѣру. Самъ онъ и Люба точно также искали. Собственно говоря, искала одна Люба, а Толкуновъ сопровождалъ ее. У нея вдругъ, неизвѣстно откуда, взялась энергія. Вся раскраснѣвшаяся, съ растрепанными волосами, въ изорванномъ платьѣ, она искала Вѣру повсюду. Она ходила, шатаясь. Она звала, кричала, голосомъ, уже осипшимъ отъ долгаго крика.

Нѣсколько разъ они отходили отъ лѣсной сторожки и, пробродивъ въ напрасныхъ поискахъ часъ или полтора, снова возвращались къ ней. Нѣсколько разъ Люба, среди поисковъ, внезапно останавливалась и, поднявъ палецъ кверху, останавливала Толкунова. Ее поражалъ отдаленный крикъ, въ которомъ ей чудился голосъ Вѣры. И, простоявъ съ полминуты, она бросалась на этотъ крикъ, бѣжала, спотыкаясь, разрывая платье о

кусты. Напрасно Толкуновъ старался помочь ей, поддержать ее. Она отталкивала его.

И онъ едва поспѣвалъ за ней. Черезъ нѣсколько минутъ она уставала, задыхалась, и Толкуновъ, взявши ее подъ руку, велъ по тому направленію, куда она бѣжала. Пробѣжавъ съ полверсты, они оба останавливались и принимались кричать. Но только эхо отвѣчало имъ и сосны какъ-то грустно, однообразно шумѣли вершинами.

Наконецъ, часу въ двѣнадцатомъ ночи, когда они вернулись въ третій или въ четвертый разъ въ караулку, когда густыя сумерки разостлались по всѣмъ кустамъ и деревьямъ, всякая надежда найти Вѣру пропала.

Тогда Люба, ослабѣвшая отъ долгихъ поисковъ и сломленная горемъ, упала на простую деревянную скамью и горько зарыдала. Толкуновъ уговаривалъ и успокаивалъ ее, предлагая воды; она плакала, рыдала цѣлый часъ, рыдала истерично, съ хохотомъ, и, наконецъ, мало-по-малу успокоилась.

Толкуновъ нанялъ рабочихъ искать по всему лѣсу, усадилъ Любу и дѣвушекъ на дроги, и компанія тихо и грустно отправилась въ обратный путь.

Всю дорогу Люба ѣхала, положивъ голову на плечо Толкунова. По временамъ она чутко засыпала или забывалась на минуту, и тотчасъ же снова пробуждалась. Сонное настроеніе слетало прочь, и горькая дѣйствительность, какъ острый гвоздь, впивалась въ ея сердце.

Вернулись домой уже на разсвѣтѣ, весь домъ уже спалъ, но вѣсть объ несчастіи быстро разнеслась. Черезъ полчаса весь домъ былъ на ногахъ. Толкуновъ ходилъ одинъ по залѣ. Усталость и бессонница сказывались во всемъ его тѣлѣ, въ каждомъ суставѣ и мускулѣ. Онъ нервно вздрагивалъ, бойко ходилъ большими шагами и шатался. Въ головѣ шумѣло, точно вѣшній потокъ бурлилъ ровнымъ, однообразнымъ шумомъ. А въ домѣ шла возня, суматоха. На дворѣ бѣгали и сутились. Изъ большого сарая выкатили карету, и три кучера мыли ее. Два поваренка и нѣсколько мальчиковъ-садовниковъ стояли кругомъ и глазѣли. Всѣ нѣхотя, сонно, позѣвывая и почесываясь, угрюмо молчали.

Люба, черезъ двадцать минутъ, пришла въ Толкунову. Она была блѣдна, шаталась. Толкуновъ уговаривалъ ее лечь спать, но она говорила, что она не заснетъ до тѣхъ поръ, пока сердце ея не успокоится.

— Посмотри, какъ оно бьется! — и она прикладывала въ своей горячей груди руку Толкунова.

— Ты прими что-нибудь, — совѣтовалъ Толкуновъ, — лавровишневыхъ капель или настоя валерьяны... У васъ, вѣрно, есть?..

— Мнѣ не хочется...

— Все-таки прими... Дорогая моя!..

И онъ уговорилъ ее принять, и самъ накапалъ ей пятнадцать лавровишневыхъ капель, но накапалъ не сразу, — руки его тряслись и дрожали.

Затѣмъ онъ провелъ ее въ диванную и вмѣстѣ съ ней усѣлся на маленькомъ диванчикѣ. Это было привычное для нихъ мѣсто. Они очень часто въ ненастные дни или по вечерамъ сидѣли тутъ вдвоемъ.

Вся вздрагивая, она прилегла къ нему на плечо и вскорѣ заснула. Толкунова также клонилъ сонъ. Онъ поминутно зѣвалъ, голова его кружилась; по временамъ какой-то покойный, сонный туманъ, совершенно изъ другого нервнаго строя, заволакивалъ его мозгъ. Онъ вздрагивалъ и пробуждался къ дѣйствительности.

Черезъ часъ къ нимъ вошла Ольга Андреевна. Она была одѣта по-дорожному. Толкунова поразило выраженіе ея лица. Онъ прежде никогда не видалъ у нея этого выраженія. Оно все было полно какого-то невозмутимаго, глубокаго покоя и рѣшимости. Брови были высоко приподняты, губы строго сжаты. Взглядъ какой-то неопредѣленный, безучастный, смотрѣлъ на все тихо и покойно. Такое выраженіе Толкуновъ видалъ у монахинь или у молящихся крестьянокъ, — у лицъ, сосредоточенно ушедшихъ всѣми силами души куда-то внутрь, вглубь ея сокровеннѣйшихъ тайниковъ. Толкуновъ, не поднимаясь съ диванчика, чтобы не разбудить Любу, протянулъ руку къ Ольгѣ Андреевнѣ и спросилъ ее удивленно, шопотомъ:

— Вы ѣдете?..

— Да... Ъду въ К..., къ губернатору, — отвѣтила она такъ же шопотомъ.

И тутъ же объяснила, наклоняясь къ нему, что иначе нельзя, — что никто, кромѣ губернатора, не можетъ ничѣмъ помочь здѣсь.

— Вѣра, — говорила она, — навѣрное, была захвачена разбойниками. Въ этомъ я убѣждена... Мой внутренний голосъ, мой ангелъ-хранитель, никогда меня не обманывалъ... Онъ теперь ясно говоритъ мнѣ, что Вѣра — въ рукахъ у Быкова... Я должна ѣхать... Губернаторъ можетъ сейчасъ отрядить людей, послать окружить Епанчинскій лѣсъ въ нашей губерніи и, можетъ быть, спасти Вѣру, если она еще жива...

Она все это говорила шопотомъ, ровнымъ, спокойнымъ го-

лосомъ, какъ будто дѣло шло не объ ужасномъ несчастіи, не объ ея родной племянницѣ, а о совершенно постороннемъ человѣкѣ.

Она не знала только одного—что отряды войскъ уже не одинъ разъ были посылаемы для поимки Быкова и его шайки, и возвращались съ полной неудачей. Это случалось потому, что, съ одной стороны, было много сторожей, оберегавшихъ шайку. Почти всѣ крѣпостные и вольные государственные крестьяне, русскіе и татары, были на сторонѣ Быкова, а не на сторонѣ господъ, и охраняли его. Притомъ доносчикамъ грозила мучительная казнь. Да, наконецъ, и мѣсто, на которомъ дѣйствовала шайка, было необыкновенно пригодно для ея разбойничьихъ операцій. Это была граница двухъ смежныхъ уѣздовъ: спасскаго и лаишевскаго. Если отрядъ посылался въ спасскій уѣздъ, то шайка, на глазахъ у войска, преспокойно переходила въ лаишевскій уѣздъ и смѣялась надъ безсиліемъ отряда. Въ крайнемъ случаѣ, когда губернаторская власть предписывала одновременные поиски въ обоихъ уѣздахъ, шайка перекочевывала въ другую, смежную губернію, и тогда была въ полной безопасности, такъ какъ губернаторы этихъ смежныхъ губерній были въ постоянной ссорѣ другъ съ другомъ.

На что надѣялась Ольга Андреевна—неизвѣстно, но она твердо вѣрила, что губернаторъ найдетъ ей ея Вѣру.

— Ну, прощайте! — сказала она, протягивая руку Толкову.—Я не хочу ее будить...—И она тихонько перекрестила Любу.—Поберегите ее безъ меня... Я вернусь завтра къ обѣду... Или... если что-нибудь задержать, то—къ вечеру...

И она, на-цыпочкахъ, вышла. Въ гостиной ее ждали двѣ горничныя и приживалка Арина Семеновна съ Федоровной—экономкой. Всѣ онѣ прошли тихонько вслѣдъ за ней, въ залу, разговаривая шопотомъ.

Еще съ полчаса продолжалась въ передней и на подъѣздѣ тихая возня, отъ которой шумъ едва доходилъ до диванной. Дормезъ, запряженный шестеркой вороныхъ, съ крохотнымъ форейторомъ, Хромеемъ, на выносныхъ, терпѣливо дожидался у подъѣзда. Колокольчики были подвязаны. Двое лабеевъ посадили Ольгу Андреевну. За ней влѣзли двѣ горничныхъ. На козла усѣлся Иванъ, выездной, и всѣ, крестясь, съ шумомъ и стукомъ отправились по кленовой аллеѣ.

По отъѣздѣ Ольги Андреевны, домъ еще долго не могъ успокоиться. Всѣ ходили на-цыпочкахъ и говорили шопотомъ. Маму и Лизу заставляли безчисленное число разъ повторять, какъ и

гдѣ пропала барышня, и при этомъ приводили множество соображеній, комментаріевъ и разныхъ случаевъ и анекдотовъ о шайкѣ Быкова. Всѣ были, неизвѣстно почему, твердо увѣрены, что барышня попала въ руки этой шайки.

— Куда же ей было дѣваться?—говорилъ Осипъ:—вѣдь не сквозь землю же она провалилась.

— Вотъ чтѣ барыня, пріѣдетъ, скажетъ,—благоразумно заключила Арина Семеновна.

А барыня въ это время подъѣзжала къ Караваеву, которое считалось почти на половинѣ дороги. Здѣсь необходимо было постоять часъ или полтора, чтобы покормить лошадей.

— Ты, Герасимъ,—приказала Ольга Андреевна, выходи изъ dormёза,—управляйся скорѣе, дѣло спѣшное... Намъ необходимо до пяти часовъ быть въ городѣ... Въ пять часовъ приемъ у губернатора кончится...

— Васъ-то, матушка барыня, завсегда примутъ... Хотя въ полночь пріѣзжай... Вамъ завсегда уваженіе.

— Ну, ты не рассуждай, а торопись...

— Слушаю-сь...

И Ольга Андреевна вошла въ красную избу, прогнала изъ нея всѣхъ, заперла двери на толстый, здоровый крючокъ и, упавъ на колѣни, начала молиться. Она долго молилась дома, но она крѣпко вѣрила, что необходимо „молиться непрестанно“,—чтобы благодать святая сошла съ небесъ къ человѣку.

— Господи!—говорила она со слезами:—накажи меня, но помилуй ее, голубицу мою!.. Съ юности берегла ее и личила, не возрадивъ ее...

Слезы мѣшали ей молиться. Она невольно вспомнила при этомъ, что такъ же она молилась за своихъ сыновей, но они оба погибли.

— Господи!—говорила она:—удали мое сомнѣніе... Сгуби мысли, супротивныя волѣ Твоей... Исполни, Благій, моленіе мое... Не накажи меня гибелью голубки моей...

Она молилась болѣе часу. Лошади уже стояли и дожидались, навормленные. Около избы собрались съ цѣлой деревни бабы, мужики и дѣти. Герасимъ и Осипъ всѣмъ разсказывали, какъ пропала барышня. Бабы охали. Нѣкоторые плакали.

Только въ пятомъ часу пріѣхали въ К., въ свой домъ—большой бѣлый каменный домъ на Лядской улицѣ. Ольга Андреевна торопилась. Она на-скоро переодѣлась и отправилась въ губернатору. Дежурный чиновникъ сказалъ, что „они кушаютъ“, но, зная Драевскую, рѣшился пойти доложить объ ея

пріѣздѣ. Ольга Андреевна вошла въ залу, и почти тотчасъ же въ ней вышла губернаторша и повела ее въ столовую, говоря:
— *Quelle surprise inattendue... Est-ce qu'il est arrivé quelque chose?*

Ольга Андреевна начала рассказывать, что привело ее, и они вмѣстѣ вошли въ столовую.

Губернаторъ—высокій, сильно посѣдѣвшій старикъ, въ гвардейскомъ мундирѣ съ флигель-адъютантскими эксельбантами, всталъ ей на встрѣчу.

Всѣ дивились, ахали и ужасались. Всѣ усаживали Ольгу Андреевну. Губернаторша предлагала ей обѣдать.

— *Nous venons de commencer tout d'abord,*—говорила она.

Губернаторская дочка—почти сверстница Вѣры—была сильно поражена; даже старая гувернантка воскликнула:

— *Quelles horreurs arrivent dans votre pays!*

Губернаторъ также былъ сильно удивленъ. Онъ давно уже ждалъ отъ шайки Быкова какого-нибудь скандала, и вотъ... разразился скандалъ гомерическій, о которомъ навѣрное донесетъ въ Петербургъ жандармскій штабъ-офицеръ.

„Чтобъ чортъ его побралъ!“—подумалъ онъ про себя, и тотчасъ же послалъ казака за чиновникомъ особыхъ порученій, Карзинскимъ.

Черезъ часъ эстафеты съ курьерами полетѣли во всѣ стороны. Ко всѣмъ земскимъ властямъ были посланы строжайшія предписанія разыскать разбойничью шайку, скрывающуюся въ лѣсахъ спасскаго и лаишевскаго уѣздовъ.

Тотчасъ послѣ обѣда, губернаторъ самъ поѣхалъ къ князю Морокову, начальнику войскъ округа, и лично отъ себя просилъ его отрядить усиленные команды въ оба уѣзда.

— Это дѣло очень серьезное, и въ Петербургѣ, по всѣмъ вѣроятіямъ, сдѣлаютъ изъ него пугачевщину. Могутъ быть намъ весьма серьезныя непріятности.

Князь Мороковъ вполнѣ раздѣлялъ мнѣніе губернатора, и двѣ роты зауральскаго полка были на другой же день отправлены въ походъ,—одна въ спасскій, другая—въ лаишевскій уѣзды.

Ольга Андреевна, посидѣвъ еще немного, ради приличія, у губернаторши, отправилась домой, сопровождаемая успокоеніями и добрыми желаніями, чтобы скорѣе наплась несчастная Вѣра.

— *Comme elle est malheureuse, cette dame!*—сказала губернаторша дочери, когда Драевская уѣхала.—*Elle a perdu ses deux enfants... et voilà à présent elle perd sa nièce!.. Vraiment malheureuse femme!..*

— Богъ милостивъ,—сказала дочь,—найдется... Конечно, жаль. Elle est si belle!.. Такая хорошенькая!..

XXX.

Проводивъ Драевскую, Толкуновъ остался на томъ же диванчикѣ, на которомъ онъ сидѣлъ, и Люба такъ же мирно спала, положивъ голову ему на плечо.

Мало-по-малу, глубокая тишина въ домѣ, бессонная ночь и усталость сдѣлали свое дѣло. Толкуновъ также задремалъ и проспалъ болѣе двухъ часовъ, откинувъ голову на спинку дивана.

Черезъ два часа Люба проснулась и подняла голову. Это движеніе разбудило его. Онъ вскочилъ съ дивана, опомнился, весь потянулся. Затѣмъ опять быстро опустился на диванъ, схватилъ ручку Любы и нѣсколько разъ горячо поцѣловалъ ее,— а она сидѣла, открывъ глаза, блѣдная, утомленная всей этой тревогой и горемъ. Оно поднялось сразу передъ ней во весь его ростъ—и одинъ вопросъ теперь всталъ въ ея умѣ и сердцѣ.

Можно ли быть счастливой,—когда ея сестра, ея дорогая Вѣра, теперь томится въ плѣну у разбойника? И она вздрогнула всѣмъ тѣломъ.

— Люба, дорогая, прими еще валеріаны,—сказалъ Толкуновъ,—и онъ взялъ баночку, которую вчера поставилъ тутъ же, на столикѣ, и снова накапалъ ей въ рюмку пятнадцать капель.

Она послушно привняла и черезъ нѣсколько минутъ сказала тихо, шопотомъ:

— Пойдемъ туда... въ дѣвичью... узнаемъ...

Они пошли. Въ дѣвичей было цѣлое собраніе. Тамъ были и Арина Степановна, и Аграфена Семеновна, и Ѳедоровна, и всѣ дѣвушки. При входѣ Толкунова и Любы, всѣ молча поднялись съ своихъ мѣстъ.

— Чтѣ, няня...—спросила Люба:—никто не пріѣхалъ изъ Епанчина?

— Никто, матушка... Кому пріѣхать?.. Теперь тамъ, чай, тамаша идетъ... Всѣхъ татаръ переполошили. Ищутъ... Да гдѣ найти!.. Пресвятая Владычица!..—И она махнула рукой и всхлипнула, прижавъ къ глазамъ концы темнаго платка, которымъ была повязана ея голова.

— Даве барыня какъ молилась!.. Матушки мои!—сказала Аграфена Семеновна, обращаясь къ Ѳедоровнѣ. Ѳедоровна махнула рукой.

— Она завсегда такъ! — тихо сказала она. — Така ужъ модельная барыня.

— Матушки мои, часъ и два мы ее ждемъ. Не выходитъ наша барыня... Я говорю: Дарья Ѳедоровна, ужъ не случилось съ ней чего-нибудь?.. Спаси Господи!.. — И она перекрестилась.

— Люба, — сказалъ тихо Толкуновъ, — я теперь поѣду къ себѣ и сейчасъ же вернусь. — И онъ поцѣловалъ ея руку.

— Что же, Ѳедоровна, самоваръ? — сказала Люба, не отвѣчая ему. — Скорѣй пожалуйста. — И она потянула Толкунова въ гостиную. — Зачѣмъ ты поѣдешь?.. — спросила она. — Оставишь меня одну... совсѣмъ одну! — и голосъ ея слегка дрогнулъ. — Вѣдь твоя лошадь навѣрно здѣсь... Пошли, и тебѣ привезутъ то, что нужно.

Толкуновъ невольно оглянулся на свой грязный и измятый костюмъ.

— Даша! Оля! — закричала Люба. — Вы подадите барину умыться въ спальню.

— Въ старую спальню?

— Разумѣется, не въ молодую.

И ее вдругъ охватили хозяйственныя заботы, и воспоминаніе о Вѣрѣ потускло и уплыло въ какую-то незнаемую даль. Она вспомнила, что и она (сегодня еще не умывалась и не одѣвалась, и прошла къ себѣ наверхъ. Но, войдя въ свою комнату, она взглянула на пустую кровать Вѣры, и воспоминаніе острой, жгучей пустоты вдругъ внезапно охватило ее всю. Она упала на эту кровать и зарыдала. Она плакала долго. Затѣмъ вспомнила, что ей становилось легче всегда послѣ молитвы. И она упала на колѣна передъ образомъ и молилась долго и сосредоточенно, молилась со слезами, такъ же, какъ мать ея. Молилась и думала: „Не можетъ быть, чтобы Онъ, всемогущій и милосердый, не возвратилъ мнѣ мою милую сестру, мою дорогую Вѣру“!.. Успокоенная, она кликнула дѣвушку и начала умываться и переодеваться.

Толкуновъ послалъ Михайку съ запиской къ отцу, въ которой просилъ его прислать новый костюмъ.

Къ завтраку Михайка привезъ все требуемое, и Толкуновъ переодѣлся.

— Теперь я обновился, — сказалъ онъ Любѣ, и мы будемъ оба новыми.

Она грустно улыбнулась и за завтракомъ почти ничего не ѣла, не могла ѣсть.

Надъ цѣлымъ домомъ остановилось, какъ туча, томительное горе.

XXXI.

Къ вечеру возвратилась Ольга Андреевна.

Всѣ бросились къ ней съ разспросами, какъ будто она должна была привезти вѣсти о Вѣрѣ. Но она рассказала только о свиданіи съ губернаторомъ и передала Любѣ поклонъ и поздравленіе отъ губернаторской дочки.

Цѣлый день и вечеръ, до поздней ночи, шли разговоры объ одномъ и томъ же. Рассказывали объ неистовствахъ шайки Быкова. О томъ, какъ онъ надулъ губернскаго полиціймейстера, явившись къ нему подъ видомъ ярославскаго купца; о томъ, какъ онъ зарѣзалъ въ одинъ вечеръ пятерыхъ татаръ; о томъ, какая сила у его эсаула Чикина.

— Онъ, матушки мои,—рассказывала Аграфена Семеновна,—свалить человѣка, наступить ему на грудь, схватить за руку и такъ-таки и оторветъ руку, нѣ-прочь. А потомъ другую.

— Ну! этого не можетъ быть,—сказала Люба, нервно вздрогнувъ плечами.

— Это, Аграфена Семеновна, не любо не слушай, а врать не мѣшай!—опредѣлили Толкуновъ.—Это сказки!

— Нѣтъ, право!.. Сказывали... вѣрно.

Къ вечеру всѣ присмирѣли еще болѣе. Какъ будто съ темнотою ночи увеличилась какая-то никому неизвѣстная опасность и явился какой-то безотчетный страхъ.

Люба крѣпче прижималась къ Толкунову. Ей казалось, что Вѣра уже нежива, она убита, и что тѣнь ея непременно должна явиться ей. Когда она ходила съ Толкуновымъ по залѣ, то она съ ужасомъ вглядывалась въ темные углы залы, и ей казалось, что въ этихъ углахъ что-то шевелится, бѣлѣтся...

— Пойдемъ отсюда,—сказала она.—Мнѣ жутко въ этой большой темной залѣ.

— Чего же ты боишься? Тебя напугали эти глупые рассказы? Ты имъ вѣришь?

— Нѣтъ, я не вѣрю имъ. Но какъ-то непріятно. Мнѣ все кажется, что тамъ, въ углу... стоитъ Вѣра убитая!..—И она отвернулась и быстро увлекла его въ угольную, гдѣ горѣла лампа и гдѣ сидѣли Ольга Андреевна, Аграфена Семеновна и еще какая-то старушка, мелкопомѣстная помѣщица, Анна Спиридоновна Ковылякина.

Ольга Андреевна распорядилась, чтобы завтра были готовы лошади, что она сама поѣдетъ въ Епанчинскій лѣсъ. Въ ней,

какъ и во всякой женщинѣ, было много вѣры и еще болѣе скептицизма. Она не вѣрила, что Вѣра пропала, она сама хотѣла въ этомъ убѣдиться, сама хотѣла вложить перстъ въ рану. Съ другой стороны, ей казалось, что тамъ, на мѣстѣ, милосердый Господь укажетъ, гдѣ искать Вѣру. Да, наконецъ, ее тянуло, неудержимо тянуло посмотрѣть собственными глазами и убѣдиться въ правдѣ всего, что ей рассказывали. Ей казалось, что было бы совѣстно, еслибы она этого не сдѣлала, — не отдала бы этотъ послѣдній долгъ ея милой, дорогой Вѣрѣ.

На другой день, очень рано поутру, часу въ четвертомъ, только-что начало всходить солнце, лошади были уже готовы. Четырехмѣстный фэтонъ, запряженный четверкой въ рядъ каравовыхъ, тихихъ и смирныхъ лошадей, стоялъ передъ крыльцомъ. Люба и Толкуновъ уже ожидали на этомъ крыльцѣ.

Толкуновъ провелъ и эту ночь у Драевскихъ. Онъ долго не хотѣлъ оставаться почевать, но Люба уговорила его.

— И я, и мама будемъ покойнѣе, — сказала ему она, — если ты будешь съ нами.

И несмотря на то, что онъ остался, Ольга Андреевна все-таки распорядилась, чтобы нѣсколько мужиковъ всю ночь караулили усадьбу. Толкуновъ протестовалъ противъ этого, говорилъ, что со вчерашняго вечера ничего не измѣнилось и никакой опасности не прибавилось, но его не послушали, и на всѣ его доводы и резоны отвѣчали:

— Ну, а вдругъ! Если нападутъ? Тогда что?..

— Береженого и Богъ бережетъ, — прибавляла сентенціозно Арина Степановна.

Въ фэтонѣ усѣлись Ольга Андреевна, Люба, Толкуновъ и дѣвушка Соня. На возлы посадили другую дѣвушку, Машу. Онѣ должны были указать мѣсто, гдѣ онѣ искали грибы и ягоды, и гдѣ пропала барышня. Лизу не взяли, такъ какъ она была пуглива и забывчива, а подлѣ Маши посадили выѣзднаго Осипа, вооруживъ его парой кремневыхъ пистолетовъ, оставшихся еще отъ Петра Онисимовича. Оба пистолета были заряжены пулями. Выборъ остановился на Осипѣ, потому что у него лицо было разбойничье, внушавшее страхъ. Черное, съ густыми черными бровями и большими баками. Кромѣ того, на заднее сидѣнье посадили Кузьму, кухоннаго мужика, отличавшагося необыкновенной силой. Подлѣ него не забыли посадить поваренка, а всѣ баулы и карманы наполнили обильно провизіей. Однимъ словомъ, снарядились какъ въ дальнюю дорогу, и, провожаемые всей дворней и дворовыми собаками, отправились. Толкуновъ захватилъ съ

собой свое ружье, которое привезъ ему Михайка, и которое онъ тоже зарядилъ пулями на всякій случай.

Выѣхали смирно и молча. День былъ пасмурный. По временамъ моросилъ мелкій дождичекъ. Черезъ два часа прѣехали въ лѣсную караушку, и Ольга Андреевна, вмѣстѣ съ Любой, Толкуновымъ и дѣвушками, отправились въ лѣсъ. Соня шла впереди и указывала, какъ и куда онѣ пошли вмѣстѣ съ барышней и гдѣ онѣ раздѣлились и потеряли ее изъ виду. Осипъ, вооруженный пистолетами, шелъ сзади. Никто не зналъ, умѣетъ ли онъ стрѣлять изъ нихъ, да и самъ онъ не зналъ этого. Онъ въ первый разъ имѣлъ ихъ въ рукахъ и бережно несъ ихъ, поминутно опасаясь, чтобы они не выстрѣлили.

„Пожалуй, еще зря смерть приключать!“ — думалъ онъ.

Повади его шелъ татаринъ, лѣсной сторожъ.

Пробродили по лѣсу два часа. Соня и Маша постоянно указывали и рассказывали, какъ онѣ шли вмѣстѣ съ барышней, но рассказывали крайне неувѣренно, споря другъ съ другомъ. Притомъ лѣсъ имъ казался теперь совсѣмъ другимъ, чѣмъ третьяго дня. Тогда было солнце, другой свѣтъ и другія тѣни.

— Вотъ, Соня, — говорила Маша, — вотъ я помню хорошо и этотъ пенекъ, и эту сосенку, — вотъ мы какъ разъ дошли до этого мѣста... А тамъ... ужъ я не помню.

— Совсѣмъ нѣтъ! — спорила Соня: — Тутъ была ямка, а передъ ней колода лежала...

„При мнѣ бы этого не случилось, — думала Ольга Андреевна. — Я ни за что бы, ни на одну минутку, не покинула ее, голубку мою!“ И она шла впередъ и жадно вглядывалась въ кущи деревьевъ — большихъ сосенъ и елей. Всякій трескъ, паденіе сучья — привлекали ея вниманіе. Ей все казалось, что изъ лѣсной чащи вдругъ выступитъ Вѣра и бросится къ ней.

Татаринъ своимъ ломанымъ языкомъ рассказывалъ Осипу, какъ онъ третьяго года видѣлъ Быкова.

— Ко мнѣ въ изба ходилъ, — говорилъ онъ, — молока пилъ... Цѣла крышка выпилъ... и ушелъ... „Ну, байтъ... татарскій донгусъ, ко мнѣ ты не попадайся... Сейчасъ — секимъ башка сдѣлаю“ ...

Прояснило, и солнце уже довольно высоко взошло надъ лѣсомъ, когда вся компанія вернулась въ караушку, гдѣ расторопный поваренокъ стряпалъ, варилъ, жарилъ и очень ловко распорядился, приготовляя деревенскій завтракъ изъ привезенной провизіи.

Послѣ завтрака опять пошли на поиски. Ольга Андреевна,

вмѣстѣ съ дѣвушками, бодро шла впереди. За ними такъ же бодро шла Люба, опираясь на руку Толкунова.

Опять пошли на тѣ же мѣста и начали изо всѣхъ силъ кричать и аувать... Каждый аувалъ по-своему. Отзывалось гдѣ-то вдали только слабое эхо. Кричали и слушали долго, стоя на одномъ мѣстѣ и смотря другъ на друга съ какимъ-то недоумѣніемъ и ожиданіемъ; но, вмѣсто отклика на всѣ эти крики, грустно и однообразно шумѣлъ только лѣсъ своими высокими вершинами.

Домой вернулись поздно вечеромъ. Толкуновъ уѣхалъ къ себѣ; всѣ бродили сонные, утомленные и подавленные горемъ, и рано легли, зѣвая, спать. А на другое утро то же состояніе угнетенія, подавленности, чувствовалось всѣми.

— Барыня,—говорила Арина Степановна.—Хоть бы Господь милосердый далъ бы намъ знать,—что съ ней?.. Жива ли, или уже ее убили?.. За здравіе или за упокой ея душеньки подавать просвирку... Я сейчасъ бы вынула.

Ольга Андреевна тихо перекрестилась.

— Да будетъ воля Его святая вездѣ и во всемъ! —проговорила она съ чувствомъ.

Люба надѣла черное платье.

— Къ чему это?—сказала Ольга Андреевна:—тебѣ не нужно носить трауръ... Ты—невѣста...

— Нѣтъ, мама, ты позволь мнѣ... Мнѣ такъ легче!—и она, припавъ на грудь матери, горько заплакала.

— И это лишнее, милая моя дѣвочка,—сказала, лаская ее, Ольга Андреевна.—Надо уповать на Господа и быть покорной Его волѣ, что бы ни случилось... Приѣдетъ женихъ, увидить тебя въ черномъ платьѣ, заплаканной, и ему будетъ непріятно...

— Отчего непріятно?..—говорила Люба сквозь слезы.—Онъ также любилъ Вѣру... Она была такая милая и добрая...

Приѣхалъ Толкуновъ. И онъ былъ въ черной люстриновой визитѣ; небрежно повязанный галстухъ былъ ажурный сѣренькій шарфикъ.

Люба обняла его, припала къ его плечу и опять заплакала.

— Полно, Лада, моя милая, не разстраивай себя!.. Давай, примемъ опять валеріановыхъ капель, онѣ тебя успокоиваютъ...

И ей пріятно было его сочувствіе ея горю. Она смотрѣла своими заплаканными глазами прямо въ его лицо, и любовалась имъ, и благодарила его. На весь домъ словно налегъ невидимый трауръ. Все замолчало, какъ бы задумалось. Ни пѣсни, ни

громкаго говора. Точно въ домѣ былъ тяжкій больной или покойникъ. Всѣ встрѣчались молча и молча расходились. Всѣ чего-то ждали... слѣдующей минуты, которая, казалось, должна была вдругъ разорвать и унести это томительное молчаніе.

Всѣ вспоминали Вѣру, и всѣ теперь, наперерывъ, преувеличивая и украшая, рассказывали объ ея добротѣ...

— Третьяго года у меня племянникъ померъ, — рассказывала Ѳедоровна, — такъ она, моя матушка, поздно вечеромъ, въ сѣняхъ встрѣтила меня, обняла... „Не горюйте, — говоритъ, — Марья Ѳедоровна, — Богъ милостивъ!“ — и дала мнѣ двадцать-пять рублей на похороны.

Няня рассказывала объ ея дѣтствѣ:

— И всегда-то она была тихоня, молчаливая... Люба такъ та всегда была верченая коза, непосѣда-шалунья... А ее не слышать — есть ли она, или нѣтъ. Сидитъ себѣ, носикъ уткнетъ въ книгу. И каждую недѣлю, тихонько отъ всѣхъ, гдѣ-нибудь въ уголочкѣ, сунетъ мнѣ гривенничекъ въ руку и шепнетъ на ухо: „Это, няня, бѣднымъ... Ты отдай имъ“... — И она, тихонько перекрестясь, прибавила: — Упокой, Господи, ея душевненьку!..

— Чтѣ ты, няня! — остановила ее Аграфена Семеновна: — она, можетъ быть, еще жива...

— И-и-и, матушка!.. Гдѣ быть живой у такого чорта, прости Господи! Онъ и младенца-то ужокошить, рука не дрогнетъ.

Вечеромъ пріѣхалъ мужикъ изъ деревушки около Еланчина и рассказалъ, что въ Еланчинскомъ лѣсу нашли женщину, разрѣзанную пополамъ и повѣшенную на деревьяхъ, — и всѣ были поражены ужасомъ и подняли плачъ и вой на весь домъ.

— Это онъ, вѣрно, ее, голубушку... изувѣчилъ! — плакала няня.

— Этакій душегубъ богопротивный!.. — вскричала Аграфена Семеновна.

Ольга Андреевна и Люба всполошились. Толкуновъ успокаивалъ ихъ и говорилъ, что онъ сейчасъ отправится въ спасскій станъ и разузнаетъ все. Любѣ было страшно за него, и она угваривала его остаться.

Въ это время пріѣхалъ Евграфъ Никитичъ, и всѣ обрадовались ему, какъ новому лицу. Всѣ наперерывъ спѣшили рассказывать и упрашивать съѣздить, узнать, чтѣ тамъ такое, какая женщина убита...

— Я не думаю, чтобы это была Вѣра, — сказала Ольга Андреевна.

Гарбузовъ общался сейчасъ же отправиться въ спасскій станъ.

— Тамъ у меня становой знакомый,—говорилъ онъ,—Федоръ Михайловичъ Перепеченю. Я сейчасъ же духомъ летаю... Тройка у меня—вѣтеръ. Духъ захватываетъ! — и онъ тотчасъ полетѣлъ чуть не вскачь въ свою Гарбузовку.

— Ну,—сказалъ Толкуновъ,—онъ все разузнаетъ, но раньше завтрашняго вечера не вернется.

И всѣ какъ будто успокоились на этомъ, только сердце Ольги Андреевны жестоко ныло, и Люба вся дрожала и прижималась къ Толкунову.

Евграфъ Никитичъ былъ первый изъ сосѣдей, узнавшій о несчастіи, поразившемъ семью Драевскихъ и посѣтившій ихъ. На другой день съ утра начались безконечные визиты деревенскихъ сосѣдей и городскихъ жителей. Всѣ спѣшили засвидѣтельствовать свое соболѣзнованіе... Одни—ради формальной церемоніи, другіе—съ истиннымъ участіемъ. Раньше всѣхъ пріѣхали Салданскіи, въ глубокомъ траурѣ.

— O! quel malheur! Quelle horreur! Courage! Courage, ma bien aimée Ольга Андреевна... Я какъ услышала, со мной просто дурно сдѣлалось.—Lise! Lise!—говорю,—что же прочно въ мірѣ?.. Quel incident affreux! И это совершается у насъ, въ древней татарской столицѣ, въ большомъ городѣ!

И всѣ гости разспрашивали, какъ все случилось, и всѣмъ Ольга Андреевна должна была повторять еще и еще разъ, какъ это случилось. Наконецъ она совершенно устала. Люба и Толкуновъ старались помочь ей, замѣнить ее—и не могли. Ни она, ни онъ не привыкли къ свѣтской болтовнѣ.

Въ пятомъ часу пріѣхалъ Элизаръ Петровичъ. Это былъ его второй визитъ послѣ помолвки сына; онъ пріѣхалъ въ траурѣ, во фракѣ и со звѣздой Станислава, прибранный и раздушенный; сдержанный и почтительный.

— C'est notre pays des kosaques,—говорилъ онъ,—qui tolère et souffre des pareilles abnormités. Въ Англіи такъ перебили даже волковъ, а у насъ не могутъ защитить отъ шайки разбойниковъ, которая распоряжается, какъ у себя дома. C'est inouï!—И онъ пожималъ плечами.

Въ пять часовъ Елисей, въ парадной ливреѣ и бѣлыхъ перчаткахъ, оповѣстилъ, что кушанье подано.

И всѣ встали. Толкуновъ—отецъ предложилъ руку Ольгѣ Андреевнѣ и торжественно повелъ ее въ столовую; за ними выступалъ Толкуновъ-сынъ съ Любой. Но они не успѣли дойти

до половины залы, какъ на дворѣ раздался шумъ, звонъ колокольчиковъ, и тяжелый дормезъ, запряженный восьмеркой лошадей, подкатилъ подъ крыльцо.

— Губернаторша приѣхала! — раздалось въ передней, и Ольга Андреевна торопливо пошла въ переднюю.

„Губернаторша, навѣрно, — подумала она, — привезла какую-нибудь вѣсть о Вѣрѣ“ — и она слегка поблѣднѣла при мысли, что эта вѣсть будетъ о ея смерти. „Къ чему иначе, — подумала она, — этотъ *visite de condoléance*!“ ...

Н. П. Вагнеръ.



ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕСТВЕННЫХЪ ДВИЖЕНІЙ

въ Европѣ XIX-го вѣка.

Въ послѣднюю половину XIX-го столѣтія въ направленіи европейской общественной мысли совершился переворотъ, истинное значеніе котораго начинаетъ обнаруживаться лишь теперь; этотъ переворотъ наложилъ совершенно явственный отпечатокъ на всю умственную жизнь европейскаго общества. Подобно всякому сложному и широко развѣтвленному явленію, онъ не поддается ни широкимъ опредѣленіямъ, ни коротенькимъ кличкамъ; наиболѣе характернымъ признакомъ его является — паденіе революціонизма. Не рискуя впасть въ ошибку, можно утверждать, что вся исторія истекшаго пятидесятилѣтія заключалась въ постепенномъ исчезновеніи революціонныхъ тенденцій и чувствъ изъ умственного и моральнаго обихода европейскаго общества, и что коренныя явленія соціальной и политической эволюціи тѣсно переплетались съ этимъ основнымъ руководящимъ мотивомъ, то обуславливая его, то, въ гораздо слабѣйшей степени, сами имъ обуславливаясь; полная практическая несостоятельность какихъ бы то ни было революціонныхъ доктринъ во второй половинѣ XIX столѣтія есть фактъ общепризнанный.

Передъ 1848 годомъ европейская атмосфера могла назваться атмосферою ожиданія. На очереди въ Англіи, во Франціи, Германіи, Австріи, Италіи стояли вопросы, неотступно требовавшіе разрѣшенія тѣмъ или инымъ путемъ. Не будетъ преувеличеніемъ сказать, что въ большинствѣ случаевъ для достиженія желаемыхъ перемѣнъ путь намѣчался насильственный. Въ Англіи чартисты;

во Франціи разнообразѣйшія группы враговъ Луи-Филиппа; въ германскихъ государствахъ конституціоналисты и сторонники объединенія; въ Венгріи, Италіи и Польшѣ національныя партіи— всѣ эти политическія фракціи выражали убѣжденіе и въ необходимости переворота, и въ его близости. Ожиданіе, если оно охватываетъ большія массы, часто пріобрѣтаетъ характеръ серьезнаго двигающаго начала; это—явленіе, знакомое исторіи. Въ самомъ концѣ X вѣка, напримѣръ, предсказывали кончину міра. Ожиданіе страшнаго событія предъ 1000-мъ годомъ охватило всю Европу, отъ полуязыческой Скандинавіи до Калабріи, и сдѣлалось столь общимъ, что люди разнообразѣйшихъ слоевъ, отъ императора Оттона III до неаполитанскихъ нищихъ, готовились предстать на послѣдній судъ: одни отдавали все, что имѣли, монастырямъ, а если ничего не имѣли, то подвергали себя очистительнымъ истязаніямъ; другіе, напротивъ, предавались необузданѣйшему разврату, спѣша насладиться остаткомъ дней,—но такъ или иначе ожиданіе явилось важнымъ психологическимъ двигателемъ.

Рѣчи чартистовъ О'Бріена и Фроста, статьи Пьера Леру, Бакунина и Вейтлинга, стихотворенія Гервега,—если привести только первыя попавшіяся на память имена,—показываютъ, что подобное же ожиданіе царило и въ концѣ первой половины XIX вѣка. Такіе факты, какъ нападеніе чартистовъ на войска въ Ньюпортѣ, высадка Баратьери въ Италіи, покушеніе франкфуртскихъ радикаловъ въ 1833 году противъ союзнаго сейма, республиканскія возстанія противъ Луи-Филиппа—даютъ еще болѣе убѣдительное подтвержденіе этому мнѣнію. Конечно, эти люди смотрѣли на себя только какъ на факелъ, которому предназначено взорвать пороховой погребъ; не сойдя съ ума, они не могли съ другою мыслью пускаться въ подобныя предпріятія. *Wahrheit und Dichtung* тогдашней жизни показываютъ, что чувство, близко подходившее къ ожиданію людей X вѣка, царило въ далеко не малочисленныхъ слояхъ европейскаго общества. Дѣло, разумѣется, не въ характерѣ и не въ объектѣ ожиданія. Тогда ждали чуда; въ первой половинѣ XIX вѣка ждали человѣчески-возможныхъ и понятныхъ событій; тогда откровенно вѣрили въ неизбежность предстоящаго крушенія, теперь—прикрывали свою вѣру логическими выкладками; тогда ожидали всѣ, теперь—только извѣстныя соціальныя группы. Но и тогда, и во второй половинѣ XIX вѣка пульсъ общественной жизни былъ повышенъ однимъ и тѣмъ же чувствомъ увѣренности въ исчезновеніи существующаго и въ замѣнѣ его новымъ порядкомъ вещей. Что же питало эту вѣру

реформистскихъ партій въ свою силу? Дѣйствительно ли были онѣ сильны въ сороковыхъ годахъ?

Общаго отвѣта на этотъ вопросъ дать нельзя; чтобы попытаться разрѣшить его, нужно обратиться къ исторіи отдѣльныхъ странъ.

I.

Въ Англіи съ конца 30-хъ до конца 40-хъ годовъ можно указать всего одну группу, требовавшую радикальнаго измѣненія общественнаго режима, именно—чартистовъ.

На исторіи чартистовъ останавливаются обыкновенно меньше, нежели того требуетъ научный интересъ. Чартистское движеніе важно для насъ здѣсь именно потому, что его удобнѣе и легче всего разложить на составные элементы, выдѣлить тотъ классовый фундаментъ, на которомъ подобныя явленія выросли. Англія была единственной страной тогдашняго европейскаго міра, гдѣ полная политическая свобода почти совсѣмъ устраняла вѣдущее вѣдѣтельство государственной власти въ борьбу. Весь правительственный аппаратъ со своими отчасти классовыми, отчасти специфическими цѣлями и тенденціями почти все время оставался здѣсь внѣ игры; социальныя группы боролись одинъ-на-одинъ. Вотъ почему, при разсмотрѣніи вопроса о силѣ партіи переворота, удобнѣе всего начинать обзоръ событій съ англійскаго чартизма. Континентальныя движенія, считавшіяся постоянно съ могущественными правительственными воздѣйствіями, являются гораздо болѣе сложными феноменами.

Промышленная буржуазія, землевладѣльческая аристократія и рабочій пролетаріатъ—вотъ три силы, принимавшія участіе въ чартистскомъ движеніи. Въ теченіе 10-ти лѣтъ (1838—1848) пролетаріатъ поддерживалъ въ странѣ безпрестанное волненіе съ цѣлью добиться всеобщаго избирательнаго права; десять лѣтъ буржуазія не давала желаемого,—и побѣда осталась на сторонѣ буржуазіи. Въ нашъ планъ вовсе не входитъ давать очеркъ внѣшнихъ событій и изображать движеніе во всѣхъ деталяхъ; ограничимся лишь анализомъ тѣхъ сторонъ явленія, какія имѣютъ коренной интересъ для нашей темы.

Первая половина XIX вѣка была тяжелымъ временемъ для рабочаго класса въ Великобританіи. На почвѣ глубочайшей нищеты, 18-часовой работы, вѣчной голодовки—пробудилась мысль объ улучшеніи своего положенія, а разъ пробудившись, она тотчасъ приняла ту форму, которую послѣдовательно прини-

каза почти во всѣхъ странахъ континента. Протестъ рабочихъ применилъ къ уже существовавшей оппозиціи либеральной буржуазіи противъ аристократически настроенныхъ правящихъ круговъ. Виги, желавшіе уничтоженія „гнилыхъ мѣстечекъ“ и избирательной реформы въ концѣ 20-хъ и началѣ 30-хъ годовъ, не имѣли болѣе ярыхъ и преданныхъ союзниковъ, какъ Вильямъ Коббетъ и другіе представители интересовъ четвертаго сословія. О „коварствѣ“ и „вѣроломствѣ“ буржуазныхъ реформистовъ, „завлекавшихъ“ и обманывавшихъ рабочія массы, говорить не приходится. Врядъ-ли можно констатировать со стороны третьяго сословія столь повальный макіавелизмъ, а со стороны четвертаго сословія—такую всеобщую наивность. Смыслъ факта заключался, вѣрнѣе всего, въ томъ, что буржуазная оппозиція была уже вполне оформлена, выражена и облечена въ плоть и кровь, а рабочіе еще только чувствовали, что имъ плохо, но сознать себя особой группой съ совершенно специальными интересами—не успѣли; протестъ представлялъ собою чувство, желающее поскорѣе прорваться, и искалъ выяснившихся лозунговъ, не заботясь объ ихъ истинномъ значеніи и послѣдствіяхъ; на примѣрѣ континентальныхъ націй мы увидимъ, до чего это явленіе часто встрѣчается. Въ 1832 году реформа была дана: вмѣсто прежнихъ 435.000 избирателей, къ урнѣ было допущено 656.000, т.-е., вмѣсто прежней $\frac{1}{32}$ всего населенія, политическими правами могла теперь пользоваться $\frac{1}{22}$ часть; центръ вліянія перемѣстился отъ аристократіи къ буржуазіи. Виги были въ зенитѣ своего могущества и, конечно, не думали отступить отъ своей вполне естественной роли оберегателей существующаго режима. Демократическая пресса и маленькое парламентское меньшинство (9 человекъ) настаивали на необходимости произвести дальнѣйшую избирательную реформу, чтобы предоставить и наименѣе обеспеченнымъ слоямъ народа доступъ въ парламентъ. Виги дали этимъ притязаніямъ энергичнѣйшій отпоръ. Надо замѣтить, что въ 30-хъ, 40-хъ и 50-хъ годахъ къ вопросу о пролетаріатѣ во всѣхъ его видахъ англійскіе и континентальные либералы относились не то чтобы сурово, а какъ-то до странности упрощенно. Напримѣръ, знаменитый лордъ Брумъ, одинъ изъ блестящихъ парламентаристовъ первой половины вѣка, однажды развивалъ въ длинной рѣчи ту мысль, что стариковъ въ благотворительныхъ рабочихъ домахъ можно кормить хлѣбомъ похуже, ибо въ такомъ случаѣ человекъ, получающій даже скудный заработокъ, поспѣетъ откладывать кое-что, чтобы на старости ѣсть свой хлѣбъ, и пролетаріа такимъ путемъ исчезнуть. Столь же азбучно-

упрощенно отнеслись виги и къ заявленію парламентскаго сторонника реформы, сэра Вильяма Моллесворта, о необходимости допустить низшіе слои населенія въ урнѣ. Заявление это было сдѣлано въ первую же сессію послѣ восшествія на престолъ королевы Викторіи. Въ отвѣтъ на рѣчь Моллесворта, членъ тогдашняго (1837) кабинета, лордъ Джонъ Россель объявилъ во всеобщее свѣдѣніе, что реформы „никакой, никогда“ не будетъ, что она окончена. Произошло голосованіе,—подавляющее большинство оказалось на сторонѣ Росселя. Это знаменитое „заявленіе объ окончательности“ реформы (declaration of finality) и можетъ похвастаться исходнымъ пунктомъ чартистскаго движенія.

Въ этомъ же 1837 году, чрезъ какихъ-нибудь нѣсколько мѣсяцевъ послѣ заявленія Росселя—въ Лондонѣ, Бирмингэмѣ, Манчестерѣ и другихъ фабричныхъ центрахъ основалось нѣсколько органовъ въ пользу реформы и открылся рядъ митинговъ съ цѣлью популяризаціи идей о всеобщемъ избирательномъ правѣ. Составилось „общество лондонскихъ рабочихъ“, которое и формулировало народную хартію (people's charter); по ней стало называться все движеніе. Народная хартія требовала всеобщаго избирательнаго права, парламентовъ, выбираемыхъ каждый годъ, тайной подачи голосовъ на выборахъ. О задачахъ экономическихъ не было ни слова сказано: ихъ разрѣшеніе предполагалось, какъ естественное послѣдствіе разъ захваченной политической власти. Что политическая власть при всеобщемъ избирательномъ правѣ попадетъ въ руки рабочихъ—въ этомъ не сомнѣвались. Походя на позднѣйшую социаль-демократію этою чертою, чартизмъ рѣзко отличался отъ нея тѣмъ, что не предлагалъ въ видѣ конечнаго идеала радикальную перестройку всего народнаго хозяйства, а склонялся къ законодательнымъ улучшеніямъ въ существующемъ экономическомъ строѣ и къ поднятію матеріальнаго и духовнаго уровня рабочихъ согласно съ завѣтами Оуэна. Вообще же экономическіе идеалы чартизма никогда не получили вполнѣ ясной формулировки. Отъ альфы до омеги онъ остался движеніемъ политическимъ. Бурный, небывалый и неслыханный съ давнихъ поръ въ Англіи характеръ это движеніе приняло какъ-то сразу. Уже съ 1838 года митинги чартистовъ стали принимать грандіознѣйшіе размѣры; толпы рабочихъ собирались при свѣтѣ факеловъ, пѣли бравурныя пѣсни, кричали: „всеобщее голосованіе или всеобщее отмщеніе!“... „смерть тиранамъ!“. О'Бріентъ заявилъ въ 1840 году: „Не говорите мнѣ о министрахъ, палатѣ общинъ; всѣ они—только орудія семисотъ-тысячъ монополистовъ-заговорщиковъ противъ народа“. Въ 1839 г. была по-

дана петиція, покрытая 1.200.000 подписей; парламент отказался ее разсматривать. Образовался „конвент“, который принял на себя руководство движением. Въ Бирмингемѣ произошло жаркое столкновение съ полиціей; вскорѣ (въ ноябрѣ 1839 г.) громадная масса рабочихъ ¹⁾ напала на городъ Ньюпортъ (въ Уэльсѣ), съ цѣлью освободить нѣсколькихъ сидѣвшихъ въ тюрьмѣ товарищей. Произошла настоящая битва съ войсками, кончившаяся побѣдою войскъ. Интереснѣе всего, что чартисты желали собственно овладѣть Ньюпортомъ, и уже потомъ освободить друзей. Кончилось дѣло процессами съ нѣсколькими приговорами къ смерти и къ каторгѣ. Движеніе не прекратилось. Въ 1842 году подали новую петицію (уже больше 2¹/₂ миллионъ подписей стояло подъ ней), и опять парламентъ отказался ее разсматривать. Лѣтомъ 1841 года происходили общіе выборы, и тутъ-то произошло любопытное соединеніе чартистовъ съ аристократами-торіями; чартисты употребляли всѣ усилія, чтобы доставить побѣду торіямъ и отомстить такимъ образомъ вигамъ. Какъ извѣстно, торія, дѣйствительно, побѣдила. Въ 1843, 1844 и 1845 гг. волненіе не утихало и не теряло своего революціоннаго характера. Когда дѣйствія лиги противъ хлѣбныхъ законовъ и разѣзды Ричарда Кобдена по всей странѣ обратили на себя всеобщее вниманіе, чартисты никакъ не могли согласиться между собой относительно того, какъ имъ смотрѣть на эту ожесточенную схватку между буржуазіей и аристократіей. Отмѣна высокихъ хлѣбныхъ пошлинъ, невыгодная аристократамъ-землевладельцамъ, была всецѣло нужна и выгодна, прежде всего, буржуазіи, которой немислимо было безъ этой отмѣны удешевить производство, и рабочимъ, для которыхъ дешевизна хлѣба имѣла слишкомъ очевидную пользу. Но часть чартистовъ (во главѣ съ Фергюсомъ О'Конноромъ) полагала, что, во-первыхъ, если понизится цѣна хлѣба, то понизится и заработная плата, такъ что рабочимъ отмѣна хлѣбныхъ законовъ не принесетъ никакой выгоды; во-вторыхъ же, по мнѣнію этой группы, рабочимъ брататься съ уже обманувшими ихъ капиталистами и помогать агитаціи „комми-вождѣ по буржуазнымъ дѣламъ“, Кобдена,—нелѣпо и „позорно“. Этотъ вопросъ внесъ серьезный расколъ въ чартистское движениіе. Когда, въ 1846 году, хлѣбные законы были отмѣнены, прежняго единства въ дѣйствіяхъ чартистовъ уже не было. Февральская парижская революція 1848 года нѣсколько

¹⁾ „Times“ насчиталъ ихъ 8.000; Гамондъ полагаетъ, что ихъ было 10.000 человекъ.

оживила чартизмъ; состоялся (10 апрѣля 1848 г.) огромный митингъ и была подана петиція, покрытая 1.975.000 подписей (изъ которыхъ, впрочемъ, нѣкоторыя были поддѣльныя); петиція была на колесницѣ привезена къ парламенту, который на этотъ разъ разсмотрѣлъ ее, но оставилъ безъ послѣдствій. Движеніе съ тѣхъ поръ замирало, уменьшалось и въ 1853 году исчезло окончательно.

Таковъ внѣшній очеркъ чартизма. Что въ немъ замѣчательно—это рѣзко революціонный тонъ, столь рѣдко встрѣчавшійся въ англійской исторіи. Причинъ тому было нѣсколько. На памяти многихъ поколѣній жизнь низшихъ народныхъ слоевъ измѣнялась постоянно и исключительно въ худшему. Въ XV вѣкѣ отчасти земельные собственники, отчасти общинники, были въ слѣдующемъ столѣтіи экспропрированы, земли огорожены, наступили „голодные времена“. Возстаніе Кетта при Эдуардѣ VI (въ 1549 г.) было отчаянной и безнадежной попыткой крестьянства выйти изъ тяжелаго положенія. Въ XVII вѣкѣ дѣло обстояло еще безотраднѣе; въ XVIII вѣкѣ появились машины и паровое производство со всѣми послѣдствіями, и то меньшинство низшихъ слоевъ, которое состояло изъ самостоятельныхъ производителей, превратилось въ пролетаріевъ; наконецъ, первые годы XIX вѣка видѣли постоянную угрозу наполеоновскаго нашествія, паденіе промышленности, безработицу... Прогрессирующее обнищаніе массъ вовсе не останавливалось, а только ускоряло темпъ. Формула: „tant pis, tant mieux“—могла придти въ голову и безъ отвѣтныхъ рѣчей и заявленій лорда Росселя объ „окончателности“ реформы. Второе условіе, благоприятствовавшее бурному характеру чартистскаго движенія, заключалось въ томъ, что рабочіе подняли голову *какъ разъ тогда, когда два другихъ сословія находятся въ ожесточеннѣйшей враждѣ*. Вспомнимъ даты: въ 1832 году буржуазія вырываетъ у аристократіи парламентскую реформу; въ 1838 году начинается буржуазная агитація въ пользу отмѣны хлѣбныхъ законовъ; въ 1846 году они отмѣняются, а чартизмъ продолжался отъ 1838 до 1848 года. Антагонисты „четвертаго сословія“ не стояли предъ нимъ сплоченною массою; они ссорились между собою, нуждаясь въ союзникѣ, и вовсе не думали, соединясь, броситься на общаго врага. Это и придавало силу и увѣренность въ себѣ чартистамъ, а увѣренность въ себѣ—одно изъ коренныхъ условій того настроенія, присутствіе котораго мы констатировали во всемъ описанномъ движеніи. Далѣе, чартизмъ былъ народнымъ волненіемъ безъ вожаковъ, такъ какъ роли Бронтера О'Бріена, Фроста, О'Коннора были весьма скромныя, но все-

таки известное (хотя и второстепенное) значение имѣть въ случаяхъ, подобныхъ разбираемому, вопросъ о теоріяхъ, преобладавшихъ среди наиболѣе начитанныхъ и вліятельныхъ участниковъ движенія. Эти теоріи были, конечно, обусловлены уже слагавшимся безъ нихъ характеромъ чартизма, но, разъ пущенныя въ оборотъ, онѣ посодѣйствовали не мало сохраненію за движеніемъ его первоначальной окраски. Бронтеръ О'Бріенъ былъ усерднымъ поклонникомъ Бабѣфа и особенно практическихъ способовъ и плановъ бабувистскаго заговора. Онъ перевелъ на англійскій языкъ сочиненіе участника заговора Буанаротти, посвященное событіямъ 1796 года, и всячески популяризовалъ теорію Бабѣфа. Фростъ былъ сторонникомъ дѣйствій французскихъ революціонеровъ въ 1789 году, причемъ полагалъ, что каждая тюрьма, каждый отрядъ войскъ, должны быть для чартистовъ Бастилей, т.-е. объектомъ для нападеній. О теоретическихъ убѣжденіяхъ Фергюса О'Коннора толковать довольно затруднительно, такъ какъ онъ былъ полусумасшедшимъ человекомъ, но онъ повторялъ иногда дословно аргументы и слова Марата, безъ сомнѣнія не зная объ этомъ, какъ мольеровскій герой не зналъ, что говорить прозой. Главный распорядительный комитетъ свой чартисты назвали „конвентомъ“, въ честь французскаго собранія 1793 года. Старая доктрина жакеріи, повторенная впослѣдствіи бланкистами, о нуждающемся большинствѣ, которое сильно, и объ обезпеченномъ меньшинствѣ, которое слабо,—также была популярна. Это была одна изъ тѣхъ общедоступныхъ формулъ, которыя такъ дѣйствуютъ на политически-довѣрчивыхъ людей.

Таковы были главные причины бурнаго настроенія чартистовъ; первостепенное условіе его—преувеличеніе собственной силы вслѣдствіе раздора враговъ—имѣло наибольшее значеніе и наиболѣе реальное основаніе до проведенія хлѣбныхъ законовъ и въ моментъ этого событія. Въ 1846 году буржуазія побѣдила, но аристократія, съ тѣмъ государственнымъ смысломъ, который ее въ Англіи всегда отличалъ, сразу примирилась съ совершившимся фактомъ и приняла естественное положеніе союзницы капитализма противъ чартистовъ,—положеніе, которое диктовали ей теперь ея собственные интересы. Послѣ 1846 года чартизмъ былъ уже трупомъ, который могла еще гальванизировать французская февральская революція, но который, послѣ нѣсколькихъ судорожныхъ движеній въ апрѣлѣ 1848 года, долженъ былъ совершенно оставить свое мѣсто среди живыхъ.

II.

Въ Англіи мы видѣли три боровшіяся силы: аристократію, буржуазію и рабочихъ. Во Франціи тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ аристократія, въ качествѣ живого и дѣйствующаго политическаго элемента, не существовала. Послѣ іюльской революціи 1830 года она казалась окончательно похороненной и на сценѣ оставались только одна буржуазія и рабочіе. Крестьяне, составлявшіе болѣе $\frac{3}{4}$ всего населенія, представляли собою инертную массу, чуждую пока видимаго политическаго интереса. По всему укладу своего ума и чувства они являлись надежнымъ резервомъ буржуазіи, готовымъ въ случаѣ необходимости помогать ей отстаивать частную собственность;—сами земельные собственники со временъ первой революціи, крестьяне, на всѣ безъ исключенія правительства, начиная съ директоріи и кончая іюльской монархіей, смотрѣли только и исключительно съ той точки зрѣнія: останутся ли при нихъ земли, полученныя во время распродажи національныхъ имуществъ, или будутъ отобраны? Страхъ потери этихъ земель заставилъ крестьянство южной и центральной Франціи измѣнить Бурбонамъ въ мартѣ 1815 года и съ радостью встрѣчать возвращавшагося въ Парижъ Наполеона; тотъ же страхъ лишилъ прочности и вторую реставрацію. Луи-Филиппа крестьяне приняли съ удовольствіемъ, такъ какъ теперь уже всякая опасность со стороны аристократовъ, бывшихъ владѣльцевъ, казалась минувшею. Итакъ, крестьяне въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ были вполне спокойны и пассивны. На аренѣ дѣйствія находились только буржуазія и рабочіе; но подъ словомъ „буржуазія“ мы вовсе не въ правѣ понимать однородную массу, руководимую одинаковыми интересами; буржуазія дѣлилась на крупную, имѣвшую избирательный цензъ и являвшуюся заправительницею политики, и мелкую, т.-е. мелкихъ собственниковъ, служащихъ въ государственныхъ и частныхъ учрежденіяхъ, работниковъ либеральныхъ профессій и т. п. Крупная буржуазія, засѣдавшая въ палатѣ, группировалась вокругъ правительства; мелкая—будировала и была въ оппозиціи. Что касается до рабочихъ, то они въ огромномъ большинствѣ были рѣзко враждебны правительству. Положеніе ихъ почти во всѣхъ промыслахъ было въ высшей степени тяжелымъ. О фабричномъ законодательствѣ и нормировкѣ рабочаго дня заботились весьма мало. Въ 1841 г., наконецъ, палата рѣшилась, послѣ шести лѣтъ сборовъ, рѣчей и преній, запретить держать на работѣ больше восьми часовъ дѣтей до

двѣнадцатилѣтняго возраста; дѣти отъ двѣнадцати до шестнадцати лѣтъ должны были работать не меньше двѣнадцати часовъ въ сутки. Любопытный циркуляръ префектамъ сопровождалъ этотъ законъ объ „охранѣ дѣтскаго труда“; въ циркулярѣ указывалось, что особенно строго соблюдать этотъ законъ не предвидится надобности. Несмотря на страшный ліонскій бунтъ 1831 года, палата и правительство относились къ этому вопросу, какъ къ праздною и пустой химерѣ, которая можетъ стать опасною вслѣдствіе небрежности или попустительства властей. Послѣ бунта въ Ліонѣ весь городъ обнесли валами и снабдили эти валы артиллерійскими казармами, съ такимъ расчетомъ, чтобы ни одинъ пунктъ города не могъ укрыться отъ дѣйствія ядеръ, но положенія дѣла не улучшили.

На лицо было одно изъ главныхъ условій безпокойнаго настроенія—междоусобица въ лагерѣ противниковъ въ моментъ выступленія рабочаго класса на историческую арену. Рабочіе были воспитаны на теоріи Луи Блана, который исходилъ изъ той мысли, что для блага рабочаго класса необходимо замѣнить частныхъ владѣльцевъ орудій производства рабочими ассоціаціями. Для осуществленія этой мысли Луи Бланъ предполагалъ достаточнымъ, чтобы правительство путемъ широкаго кредита помогло рабочимъ овладѣть орудіями производства и рядомъ другихъ мѣръ уничтожило частное производство; всѣ желѣзныя дороги, страховыя общества, банкирскія конторы, склады и магазины товаровъ должны стать собственностью государства; рабочія ассоціаціи будутъ производить товары, а государство урегулируетъ и возьметъ на себя ихъ сбытъ. Изъ громаднхъ барышей, которые будутъ получаться рабочими, одна четверть будетъ отдаваться имъ, другая четверть будетъ погашать долгъ правительству (за его кредитъ при началѣ новаго соціального устройства и т. п.); третья четверть будетъ откладываться для расходовъ на стариковъ и неспособныхъ въ труду, и, наконецъ, послѣдняя часть послужитъ запаснымъ фондомъ на случай промышленныхъ кризисовъ. Мы оставимъ въ сторонѣ чисто-экономическую часть теоріи Луи Блана и сосредоточимъ все вниманіе на способѣ, которымъ предполагалось ее осуществить. Луи Бланъ въ основу всѣхъ своихъ расчетовъ положилъ мысль о кредитѣ, который будетъ оказанъ правительствомъ рабочимъ ассоціаціямъ,—и о правительственной помощи во всѣхъ ея видахъ. Эта теорія—чисто государственная, правительственная, и первое логическое требованіе, которое можно и должно ей поставить, заключается въ томъ, чтобы она въ своемъ будущемъ государственномъ устройствѣ признала пра-

вительственную власть принадлежащую рабочимъ. Конечно, Луи Бланъ и основываетъ всю доктрину на необходимости „захватить, прежде всего, власть въ свои руки“. Какъ же достигнуть этого?

По мнѣнію Луи Блана, при существованіи всеобщаго избирательнаго права, власть сама собою перейдетъ въ руки рабочихъ; весь вопросъ, слѣдовательно, сводится къ тому, чтобы избирательный цензъ былъ совершенно уничтоженъ и всѣ неимущіе получили доступъ къ избирательной урнѣ. Достигнуть этого, полагалъ онъ, возможно путемъ организаціи всѣхъ рабочихъ въ одну сильную, многочисленную партію, которая заставитъ буржуазное общество и буржуазное правительство сдаться на всѣ требованія. Луи Бланъ первый создалъ идею социаль-демократической партіи, какъ „представительство рабочаго класса“; онъ объединилъ, дѣйствительно, въ одну весьма опредѣленную группу рабочихъ Парижа, Ліона и другихъ городовъ съ сильно развитой индустріей. Теорія захвата власти путемъ всеобщаго голосованія принадлежала только ему и его послѣдователямъ, но измѣненія избирательнаго права домогалась въ сороковыхъ годахъ и мелкая буржуазія, — и домогалась съ рѣдкой для нея силой и послѣдовательностью. Крестьяне были пассивны и не имѣли никакого партійнаго представительства; крупная буржуазія являлась сама по себѣ до очевидности слабой, вслѣдствіе своей малочисленности; мелкая буржуазія (т.-е. династическая оппозиція и республиканцы), дѣйствуя за-одно съ рабочими массами, имѣла право надѣяться провести избирательную реформу, но зато и рабочіе могли питать надежды на нѣчто большее, — на крушеніе не только настоящей политической системы, но и экономического строя. Оставалась еще одна сила, бывшая всецѣло въ рукахъ крупной буржуазіи, но обладавшая и самостоятельнымъ значеніемъ: мы говоримъ о правительственномъ механизмѣ. Войско, которымъ располагалъ Луи-Филиппъ, заставило бы призадуматься рабочихъ, еслибы они дѣйствовали одни на собственный рискъ и страхъ; но когда тѣ же лавочники, которые составляли національную гвардію, называли себя ихъ союзниками, когда даже въ рядахъ постоянной арміи раздавались голоса противъ системы Гизо, рабочіе могли рассчитывать, что и армія по своему настроенію въ данный моментъ окажется столь же неоднородною, какъ и буржуазный классъ. Итакъ, настроеніе рабочаго класса въ значительной мѣрѣ объясняется указанными условіями. Разумѣется, и тутъ, какъ въ Англіи, наиболѣе модною стала та теорія, которая больше всего подходила къ настроенію массъ; эта параллель будетъ еще болѣе очевидной, если мы припомнимъ,

что еще до расцвѣта дѣятельности Луи Блана французскіе рабочіе увлекались теоріями Бабефа еще больше, чѣмъ англійскіе чартисты; Лоренцъ Штейнъ безъ колебаній называлъ время 1835—1839 гг. „эпохою бабувизма“. Трудно найти болѣе рѣзкую и рѣшительную теорію, чѣмъ доктрина казеннаго коммуниста, но именно въ эти годы, въ годы начавшагося союза между оппозиціонной буржуазіей и пролетаріатомъ, бабувизмъ оказался ко двору. Фантастическая теорія Пьера Леру никогда не пользовалась во Франціи особеннымъ вліяніемъ; но когда, съ самаго начала сороковыхъ годовъ, Луи Бланъ смѣнилъ бабувистовъ, то уже взгляды послѣдняго царили между рабочими почти безраздѣльно вплоть до февральской революціи.

Такимъ образомъ, въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ во Франціи смѣнялись теоріи; настроеніе же, какъ и въ чартизмѣ, оставалось одно. И здѣсь, и тамъ, мимолетное чувство силы подсказывало воображенію большія надежды, раскрывало передъ нимъ широкіе горизонты; и здѣсь, и тамъ, теорія не создавала движенія, а только приходила къ нему на подмогу; и здѣсь, и тамъ она была лишь его рупоромъ и цементомъ.

III.

Въ Германіи 40-хъ годовъ мы находимъ слѣдующихъ политическихъ антагонистовъ.

На первомъ планѣ стояли правительства, окруженныя вліятельнымъ дворянствомъ, сохранившимъ всецѣло феодальныя привилегіи: дворянство пополняло офицерскія мѣста въ арміи, занимало всѣ значительныя должности, пользовалось во многихъ мѣстахъ вотчинною юстиціей и обладало по закону и по обычаю безспорно первымъ мѣстомъ въ государствѣ.

Буржуазія во всѣхъ отношеніяхъ была принижена и подавлена. Не то чтобы ея было мало, не то чтобы она была матеріально слаба и ничтожна. Конечно, члены нѣмецкаго буржуазнаго класса не могли идти, по своей денежной мощи, въ сравненіе со своими англійскими и французскими собратіями: это обстоятельство иллюстрируется, впрочемъ, и тѣмъ, что въ названныхъ двухъ странахъ буржуазія являлась уже „отвѣтчикомъ“, а въ Германіи—только еще „истцомъ“ въ тѣ времена, о которыхъ идетъ рѣчь. Исключительно континентальныя границы громаднаго большинства германскихъ государствъ, необычайная политическая раздробленность и безсиліе, господство земледѣлія, войны,—все

это долго препятствовало странѣ юнкерства и крестьянства превратиться въ страну буржуазіи. Но время брало свое; въ 20-хъ, 30-хъ и 40-хъ годахъ крупная буржуазія быстро крѣпла и становилась на ноги; паровыя машины произвели въ германской промышленности такое же разрушительное и созидющее дѣйствіе, какъ и въ западныхъ государствахъ. Таможенный союзъ и появленіе доктрины Листа явились политическимъ и теоретическимъ учетомъ безспорнаго факта усиленія крупной буржуазіи. Но, кромѣ крупныхъ капиталистовъ, буржуазный классъ заключалъ въ себѣ категорію людей, причисляемыхъ обыкновенно къ такъ называемой „мелкой буржуазіи“. Члены этой мелкой буржуазіи, — „лавочники“, экономически зависимые отъ буржуазіи крупной, — являлись естественными союзниками послѣдней. Крупную буржуазію угнетали: невозможность лично отстаивать свои интересы, политическая приниженность, тысяча препятствій для правильнаго экономическаго развитія, которыя ставились вѣломъ, безжизненной, несвѣдущей политикой тридцати-шести правительствъ устарѣвшаго типа; мелкая буржуазія страдала отъ придворъ и притѣсненій бюрократіи, отъ неувѣренности и необеспеченности всѣхъ своихъ житейскихъ отношеній. Конституція въ каждомъ изъ государствъ Германіи, объединеніе Германіи въ видѣ конституціонной имперіи — вотъ идеалы, сильно варьировавшіеся, но въ указанныхъ рамкахъ составлявшіе все теоретическое содержаніе буржуазной оппозиціи (республиканизмъ типа Геккера и Густава Струве не имѣлъ многихъ адептовъ).

Нѣмецкое крестьянство состояло изъ мелкихъ фермеровъ, изъ батраковъ и наемныхъ работниковъ въ большихъ и среднихъ дворянскихъ помѣстьяхъ. Этотъ классъ съ еще большимъ правомъ можетъ быть снятъ со счетовъ, чѣмъ французское крестьянство, такъ какъ послѣднее, хотя было инертно до и во время революціи (1848 г.), но, какъ увидимъ, сыграло несомнѣнную роль впоследствии, — нѣмецкіе же крестьяне, и до, и во время, и послѣ движенія, оставались инертными.

Рабочій классъ былъ малочисленъ; положеніе его было неизменно тяжело. Въ 20-хъ и 30-хъ годахъ въ Пруссіи пятилѣтнія дѣти работали съ короткими перерывами днемъ и ночью за два гроша въ сутки. Объ охранѣ рабочаго труда, о фабричномъ законодательствѣ не было и помину, если не считать послѣдовавшаго въ началѣ 30-хъ годовъ королевскаго приказа, ограничивающаго работу дѣтей 10-ю часами въ сутки. Больше рѣшительно ничего не было предпринято въ Германіи въ пользу рабочихъ за всю первую половину XIX-го столѣтія.

Настроение буржуазии было бурным уже вследствие того, что на рабочих она могла надеяться, как на естественных и непреклонных союзников в борьбе с тем, что неточно, но характерно называлось тогда „феодализмом“. Только этим и можно объяснить себя ничем не оправдываемое радостное отношение буржуазных оппозиционных кругов к силезскому рабочему волнению. С своей стороны немецкие рабочие—в полицейских условиях, в административных действиях видели препятствие своему освобождению, а на буржуазию—еще искреннее, чем она на них—смотрели, как на желанную союзницу.

И здесь, значит, как и в западных странах, борьба обуславливалась и стала возможной вследствие полного разлада между теми социальными группами, которые только после взрыва поняли, где находится истинная для них опасность.

Объ аристократии, буржуазии и крестьянства Габсбургской монархии можно с небольшими изменениями повторить то, что было сказано о государствах германского союза. Следует особенно отметить лишь два обстоятельства, объясняющие воинственное настроение оппозиционных кругов в Австрии в 40-х годах,—настроение, несомненно более повышенное, чем в государствах северной Германии. Прежде всего, правительственный механизм государства Габсбургов под ферулою Меттерниха приобрел в гораздо большей степени, чем в других местах, характер совсем особого социального организма с самостоятельными интересами и целями: классовой или национальной окраски на нем было заметно очень мало. Аристократия не лепилась вокруг венского правительства так, как юнкерство вокруг прусского; немецкие же националисты, начиная видеть опасность в панславизме, конечно, ненавидели режим Меттерниха еще больше, чем панславизм. Итак, буржуазия, стремившаяся к либеральным реформам, и пролетариат, думавший о нужных для него переменах, могли рассчитывать на меньшее сопротивление, чем в других местах. Мало того. Национальный вопрос в Чехии, в итальянских владениях Австрии, в Венгрии—со всеми своими проявлениями и осложнениями, давал надежду буржуазии и пролетариату, что в решительный момент у них найдутся внешние союзники.

Конечно, разединенность остальных классов общества—аристократии и буржуазии—и здесь, как вездь, повышала настроение правительства; конечно, взгляд на пролетариев, как на безусловных друзей, не имевших собственной программы, к свою очередь и здесь придавал много силы оппозиционной

буржуазіи; но эти два только-что отмѣченные особенныя, мѣстные условія—одиночество и обособленность правительственныхъ интересовъ и національныя броженія въ провинціяхъ—не могли не оказать также своего вѣдѣнія на усиленіе движенія въ столицѣ государства.

IV.

Мы разсмотрѣли въ самыхъ бѣглыхъ чертахъ соотношеніе общественныхъ классовъ въ четырехъ государствахъ западной Европы, послужившихъ ареною событій 1848 года. Для полноты характеристики приведемъ нѣкоторыя выдержки изъ вліятельныхъ литературныхъ произведеній того времени, чтобы показать, до какой степени нетерпимый тонъ литературы оппозиціонныхъ круговъ обусловился ихъ тогдашнимъ представленіемъ о своей силѣ и слабости враговъ,—и окрашивался происходившими отсюда чувствами. Чартизмъ имѣлъ возможность, вслѣдствіе политическихъ условий и привычекъ Англіи, высказываться самымъ недвусмысленнымъ образомъ; поэтому мы будемъ цитировать его ораторовъ, а не поэтовъ. На митингѣ въ Ньюкэстлѣ (1-го января 1838 года) популярнѣйшій проповѣдникъ Стивенсъ, примкнувшій къ движенію съ самаго начала, между прочимъ, сказалъ слѣдующее: „Народъ не потерпитъ этого (т.-е. продолженія существующаго порядка); раньше чѣмъ его отцы и матери, дочери и сыновья умрутъ съ голоду, а его жены и сестры надѣнутъ тюремную одежду,—онъ (народъ) возстанетъ, зажжетъ Ньюкэстль и кровью враговъ потушитъ пожаръ“. Въ Ливерпульѣ, въ 1839 году 15.000 человекъ бѣшено аплодировали слѣдующимъ словамъ чартиста Дункана: „Проклятые убійцы, *mignons of tyrannical government*, я надѣюсь, находятся теперь между нами и передадутъ лорду Джону (Росселю, тому самому, который заявилъ, что реформы больше не будетъ), что ему не позволять шутить съ народными правами. Пусть онъ знаетъ, что это не голосъ одного, а крики сотенъ тысячъ... Сотни тысячъ людей находятся теперь въ такой нищетѣ, что для нихъ поле битвы и смерть не представляютъ ничего особеннаго... Народъ или освободитъ свою страну, или погибнетъ въ общемъ пламени“. Ораторъ Лоури вызвалъ неменьшія одобренія такимъ заявленіемъ: „Народъ не хочетъ мира и спокойствія, сопряженныхъ съ угнетеніемъ и несправедливостью. Онъ хочетъ сражаться съ этой системой (*battle with that system*)“. Въ 1848 году Гарней, ораторъ, который могъ назваться въ эту эпоху процвѣтанія чартизма сравни-

тельно умѣреннымъ, призывалъ своихъ многочисленныхъ слушателей: „Клянитесь, что вы добьетесь своего и навсегда уничтожите кровавый деспотизмъ“. 6-го марта 1848 года, толпа приблизительно въ 20.000 человекъ прошла по Глазго съ крикомъ: „Хлѣбъ или революція!“ Этими же словами заключилъ свою статью въ „Northern Star“ О'Конноръ, недѣлю спустя.

Еслибы взяты за выписываніе рѣчей О'Коннора, Фроста, Джонса, за изложеніе статей О'Бріена и т. д., еслибы передать всѣ многочисленные эпизоды на митингахъ, весьма часто кончавшихся самыми бурными криками, то пришлось бы написать объ этомъ объемистую книгу. Какъ это очевидно, чартисты были въ себѣ увѣрены, и ясно это выражали. Но въ Англіи мы имѣемъ дѣло уже, такъ сказать, съ революціей „въ настоящемъ“, съ движеніемъ, бывшимъ въ 40-хъ гг., до европейскихъ потрясеній, еще въ полномъ ходу; здѣсь показателемъ настроенія массъ являлись самый чартизмъ *en chair et os*, и *дѣйствіа* участниковъ движенія,—и этотъ показатель еще болѣе ярокъ и характеренъ, чѣмъ всякія рѣчи и статьи. Если же отъ Англіи перейдемъ къ континенту, то по неволѣ должны будемъ обратиться къ литературѣ, какъ первоисточнику для выясненія общественнаго настроенія предреволюціонной эпохи.

Въ германскихъ государствахъ изъ двухъ оппозиціонныхъ слоевъ не только одна буржуазія имѣла идейное представительство, хотя весьма долго (и до, и послѣ 48-го года) исключительно ея поэты и публицисты были на виду. Дѣло въ томъ, что ближайшая, непосредственная цѣль—установленіе конституціонныхъ гарантій и (до извѣстной степени) національное объединеніе—была у обоихъ слоевъ общая, средства дѣйствія подсказывались и буржуазіи, и пролетаріату также одинаковыя; вотъ почему публицистика Бёрне, стихи Гервега и Гейне, представляли въ 30-хъ и 40-хъ годахъ нѣчто большее, чѣмъ стремленія того класса, къ которому принадлежали эти (и другіе, имъ подобные) литературные дѣятели. Съ своей стороны, пролетаріатъ выдвинулъ уже изъ своей среды одну любопытную фигуру—Вейтлинга, но Вейтлингъ былъ извѣстенъ и читаемъ мало сравнительно съ названными писателями.

„Столь бурныхъ восторговъ, какъ тѣ, которые вызвалъ Гервегъ во время своей триумфальной поѣздки (по Германіи), никогда не видѣлъ ни одинъ нѣмецкій поэтъ отъ серьезныхъ и взрослыхъ людей, и могло показаться, что поэзіи суждено гордо войти въ нашу національную жизнь и занять въ ней широкое мѣсто. Но на самомъ дѣлѣ это увлеченіе было чисто политиче-

скимъ (rein politisch)“. Такъ характеризуетъ Трейчке оваціи, предметомъ которыхъ дѣлался—и не разъ, а всегда, когда появлялся въ публикѣ, — Гервегъ. Кто же былъ этотъ Гервегъ? Поэтъ второго ранга, передававшій иногда хорошими стихами, но чаще рубленой прозой свои мысли о будущемъ Германіи и свои чувства. „Только тотъ свободенъ ¹⁾“,—восклицалъ онъ,—кто самъ можетъ свободу заработать въ битвѣ!“—„Вырывайте кресты изъ земли, — приглашалъ онъ своихъ соотечественниковъ, — пусть всѣ они превратятся въ мечи, Богъ на небѣ проститъ!“ ²⁾ Гимнъ „противъ кроткихъ“ предназначенъ для порицанія тѣхъ, кто не обуревается чувствами поэта. „Мы достаточно любили, — говоритъ онъ въ другомъ стихотвореніи ³⁾, — теперь мы, наконецъ, хотимъ ненавидѣть!“ Вся поэзія Гервега проникнута однимъ и тѣмъ же чувствомъ,—и вотъ почему его популярность—совсѣмъ не въ мѣру очень скромнаго поэтического таланта—такъ многозначительна и интересна. Конечно, Гервегъ былъ не единственнымъ въ своемъ родѣ. Отставному офицеру 40-хъ годовъ, Фридриху фонъ-Саллету, который считалъ себя почему-то обязаннымъ писать стихами, принадлежать слова, сдѣлавшіяся знаменитыми, пріобрѣвшія значеніе пароля и лозунга: „Entweder—oder!“

Фрейлигратъ, пѣвецъ азіатскаго востока, „плюнулъ“, по выраженію одного тогдашняго энергичнаго фельетониста, на жи-раффовъ, слоновъ, верблюдовъ и арабовъ и посвятилъ себя также политической поэзіи. Направление его было почти столь же рѣзкимъ, какъ Гервега и Саллета; популярность ему на долю выпала, пожалуй, не мѣньшая, чѣмъ Гервегу. Дингельштедтъ и плеяда менѣе замѣтныхъ, но все-же усердно читавшихся поэтовъ подражали ему. О Берне и Гейне, ихъ тенденціяхъ и значеніи, мы говорить не будемъ, во-первыхъ, потому, что этотъ сюжетъ слишкомъ хорошо извѣстенъ, а во-вторыхъ, потому, что ихъ слава, между прочимъ, можетъ быть объяснена и громаднымъ литературнымъ талантомъ этихъ людей, и съ точки зрѣнія „при-

¹⁾ „Der ist allein ein freier Mann
Und seiner sei gedacht,
Der sich selbst verdienen kann
Die Freiheit in der Schlacht“ (Wer ist frei? „Gedichte
eines Lebendigen“. Stuttg. 1877, стр. 12).

²⁾ „Reisst die Kreuze aus den Erden!
Alle sollen Schwerter werden:
Gott im Himmel wird's verzeihen!“

³⁾ „Dass Lied vom Hasse“, I. c., стр. 52.

знака времени“ ихъ всегерманская знаменитость менѣе любопытна для историка, чѣмъ слава такихъ дѣятелей, которые были обязаны ею не своимъ дарованіямъ, а только и исключительно духу современной эпохи. Замѣтимъ лишь въ нѣсколькихъ словахъ, что Гейне любили, какъ скептика, „либрѣ-пансѣра“, любили за смѣхъ надъ настоящимъ, а Бёрне—за его совершенно не знавшую предѣловъ вѣру въ будущее, которая такъ сказывается въ его произведеніяхъ. По крайней мѣрѣ, эти качества ихъ современники особенно выставляли на видъ.

V.

Философія, какъ весьма произвольно, но, по обыкновенію, афористически, говорилъ Марксъ, является точнѣйшимъ, хотя и весьма сложнымъ показателемъ направленія жизни нѣмецкаго народа въ ту или иную эпоху. Тотъ, кому этотъ афоризмъ кажется слишкомъ рѣшительнымъ, имѣетъ полное основаніе замѣнить въ приведенной фразѣ слово: „философія“ словами: „выводы изъ философіи“. По крайней мѣрѣ анализъ отношеній самого Маркса къ системѣ Гегеля вполне оправдалъ бы такую замѣну. Переходя теперь къ двумъ теоретикамъ четвертаго соловія, Марксу и Вейтлингу, мы сразу останавливаемся передъ любопытнѣйшимъ явленіемъ. Марксъ считаетъ необходимымъ дать философское обоснованіе своимъ мнѣніямъ о будущемъ торжествѣ рабочаго класса. Для буржуазіи, стоявшей уже недалеко отъ своего торжества, незачѣмъ было слишкомъ углубляться въ спекулятивныя теоріи, чтобы подтвердить законность своихъ требованій: все это уже было прожито ею во Франціи и теоретически пережито въ Германіи. Марксъ, совершенно устраняя категорію законности, выдвигалъ впередъ понятіе неизбежности; дѣлалъ ли онъ такъ вслѣдствіе присущаго ему отвращенія къ старымъ привычкамъ мысли, или вслѣдствіе склонностей своего ума,—но разъ такимъ образомъ вопросъ перенесся съ моральной почвы на интеллектуальную, насущной необходимостью для автора являлось снабдить свои выводы надежнымъ фундаментомъ. Идеалистическая философія дала, конечно, только методъ, и путемъ примѣненія этого метода къ соціальному вопросу возникло представленіе о смѣнѣ капиталистическаго государства соціалистическимъ. Въ міровой исторіи Гегель видитъ непрерывное саморазвитіе *духа*, логоса. Марксъ видитъ въ ней непрерывное саморазвитіе *матеріи*. Одна сторона системы Гегеля,—въ сущ-

ности, вовсе не играющая въ его философіи рѣшающей роли, — „логика противорѣчій“, — особенно привлекла вниманіе Маркса. Тезисъ — частная собственность — смѣняется своимъ антитезисомъ — почти полнымъ сосредоточеніемъ собственности въ рукахъ немногихъ капиталистовъ, а въ результатъ воспослѣдуетъ синтезъ: — орудія производства навсегда перестанутъ быть частною собственностью, а потребительныя средства по прежнему будутъ составлять предметъ частнаго владѣнія. Варіировалась еще эта схема такъ: тезисъ — первобытный коммунизмъ — смѣнился своимъ антитезисомъ — капитализмомъ, а этотъ послѣдній, въ свою очередь, уступить мѣсто синтезу — социалистическому государству. Увѣренность построения этой схемы, смѣлость мысли, не боящаяся приложить самое острое, самое неподдающееся компромиссу оружіе чистаго идеализма къ мертвой и живой хаотической громадѣ историческаго матеріала — все это дѣйствительно весьма сложная, но отъ этого еще болѣе яркая иллюстрація повышенныхъ чувствъ теоретика рабочаго класса. Эти же чувства сдѣлали возможными тѣ слова Маркса, которыя напечатаны въ „Deutsch-französische Jahrbücher“ и которыя такъ глубоко интересны, что я позволю себѣ привести ихъ цѣликомъ: „для Германіи утопическій сонъ — не всеобщая человѣческая эмансипація, но скорѣе частичная перемѣна, только политическая“. — „На меньшемъ (чѣмъ общечеловѣческое счастье) онъ не помирится!“

Эти послѣднія слова кажутся какъ бы прямымъ продолженіемъ фразы Маркса, хотя они были произнесены почти сорокъ лѣтъ спустя въ Москвѣ, на Пушкинскомъ праздникѣ, Достоевскимъ. Это совпаденіе, при всей видимой странности и неожиданности, довольно знаменательно. Не въ фразѣ изъ „Deutsch-französische Jahrbücher“ заключается здѣсь главный интересъ, а въ томъ отеліи, который нашли себѣ эти слова. „Есть рѣчи, — значеніе ихъ темно иль ничтожно, но имъ безъ волненія внимать невозможно“, — писалъ русскій современникъ изданія „Deutsch-französische Jahrbücher“. Въ данномъ случаѣ „ничтожнымъ“ смыслъ рѣчей не былъ, но общія условія времени сдѣлали то, что онъ не показался и темнымъ. При такихъ обстоятельствахъ сдѣлался, наконецъ, возможнымъ, „манифестъ“ съ его призывами и предсказаніями. Въ манифестѣ выступила явственно еще одна черта, дополняющая фізіономію всего теченія: невозможность ждать какихъ бы то ни было улучшеній отъ буржуазнаго общества являлась въ глазахъ авторовъ „манифеста“ аксіомой, не требующей доказательствъ.

Мы рассмотрѣли, вѣриѣ, упомянули въ самыхъ бѣглыхъ чертахъ, о литературномъ выраженіи нѣмецкаго революціонизма конца 30-хъ и 40-хъ годовъ. Почти ни одного скептическаго слова, ни одного неспокойнаго предчувствія, ни одного признака тревоги нельзя найти въ этихъ литературныхъ произведеніяхъ. Язвительная насмѣшка надъ настоящимъ и сантиментальное отношеніе къ будущему, презрѣніе къ тому, что есть, и почти-тельное довѣріе къ тому, что будетъ, обиліе ироніи надъ врагами и догматизмъ по отношенію къ друзьямъ, словомъ, всѣ явленія, сопровождающія рѣшительный перевѣсъ чувства надъ анализомъ, здѣсь на-лицо. И какъ будто, чтобы отгнать картину, Шопенгауэръ пишетъ во Франкфуртѣ свои произведенія, которыя издатель не хочетъ печатать; Максъ Штирнеръ работаетъ надъ „Der Einzige und sein Eigenthum“, — и оба остаются въ полномъ пренебреженіи; всякій свободомыслящій семинаристъ тюбингенскаго богословскаго факультета, компилирующій Бруно Бауэра, можетъ разсчитывать на большее вниманіе, чѣмъ оба философа, пришедшіе совершенно не ко двору своему отечеству, которое стояло на порогѣ революціи. Одновременный успѣхъ Шопенгауэра и Вейтлинга, даже въ предположеніи, — такой же очевидный nonsens, какъ вѣтеръ, развѣвающій дымъ изъ одной и той же трубы въ противоположныя стороны.

Не только ученіе Вильгельма Вейтлинга, — вся его жизнь была одной сплошной романтикой; исторія нѣмецкаго народа знаетъ много желѣзныхъ характеровъ, много большихъ и непреклонныхъ умовъ, много яркихъ, запечатлѣвающихся фигуръ, но она не знаетъ другой жизни, которая производила бы, даже при первомъ, бѣгомъ знакомствѣ съ нею, такое своеобразное впечатлѣніе. Отъ нея вѣетъ чѣмъ-то совсѣмъ далекимъ отъ насъ, выбивающимся изъ общаго строя нашего опыта и нашихъ привычекъ; приходитъ на память сказка объ очарованномъ миннезингерѣ, прославшемъ много вѣковъ и вдругъ проснувшемся среди новыхъ людей и въ новой странѣ. Вейтингъ родился въ 1808 году въ Магдебургѣ; незаконный сынъ совершенно нищей семьи, онъ съ ранняго дѣтства зарабатывалъ себѣ пропитаніе въ качествѣ подмастерья у портного. Двадцати-двухъ лѣтъ отъ роду онъ первый разъ былъ замѣшанъ въ противоправительственныхъ беспорядкахъ, разыгравшихся въ Саксоніи. Тутъ начинаются его скитанія; въ началѣ 30-хъ годовъ онъ явился въ Вѣну и здѣсь занялся выдѣлкою искусственныхъ цвѣтовъ и другихъ принадлежностей женскаго туалета. Одна изъ его знатныхъ заказчицъ возбудила къ себѣ любовь молодого ремесленника и отвѣтила

взаимностью; на свою бѣду, Вейтлингъ оказался счастливымъ соперникомъ австрійскаго эрцгерцога и принужденъ былъ бѣжать изъ Вѣны. Послѣ долгихъ странствій, мы его застаемъ въ Парижѣ, уже къ концу 30-хъ годовъ. Напрасно было бы думать, что Вейтлингъ былъ безпокойнымъ человѣкомъ по темпераменту; это была тихая, кроткая, мечтательная натура, теоретизирующая и углубляющаяся, типъ сектанта-реформатора, сентиментальнаго не только на практикѣ, но и въ теоріи, и даже, главнымъ образомъ, въ теоріи. Въ 1838 году Вейтлингъ издалъ книгу подъ названіемъ: „Человѣчество какъ оно есть и какъ оно должно быть“; за этой первой работой послѣдовали: „Гарантіи гармоніи и свободы“ и „Евангеліе бѣднаго грѣшника“. Чтобы показать, насколько фантастическіе сны и воздушные замки владѣли умомъ этого человѣка, я нарочно приведу нѣкоторыя черты изъ его картины общественнаго строя, поскольку она выясняется въ названныхъ трехъ произведеніяхъ. Въ будущемъ Вейтлинговскомъ обществѣ каждый способный къ труду человѣкъ обязанъ работать шесть часовъ. Всѣ рабочіе извѣстнаго округа составляютъ „компанію мастеровъ“; каждая такая компанія избираетъ изъ своей среды комитетъ, несущій мѣстныя административныя обязанности, и, кромѣ того, выбираетъ также одного представителя въ „центральную компанію мастеровъ“ (такимъ образомъ, у каждой націи есть своя центральная компанія). Эта центральная компанія выбираетъ трехъ лицъ, стоящихъ во главѣ всего общества: великаго врача, великаго физика и великаго механика... Еще очень много въ такомъ родѣ писалъ Вейтлингъ объ идеалѣ будущаго общества, но и приведеннаго достаточно, чтобы опѣнить общій характеръ этихъ мечтаній; были тамъ еще и академіи, помогающія тремъ философамъ управлять обществомъ; были общественныя бухгалтерскія книги, въ которыхъ на одной сторонѣ записывается число отработанныхъ даннымъ лицомъ часовъ, а отъ противоположной страницы отрывается квитанція, дающая этому лицу право на соотвѣтственное количество „наслажденій“. Теперь взглянемъ на тѣ мѣры, которыми Вейтлингъ думалъ добиться осуществленія своей утопіи; въ этомъ отношеніи онъ совершенно примыкаетъ къ Луи Блану, Марксу и Энгельсу, хотя здѣсь можно установить скорѣе логическую, чѣмъ фактическую связь. Вейтлингъ также полагаетъ, что „дѣло освобожденія пролетаріата зависитъ отъ самихъ пролетаріевъ“, и точно также вѣрить въ близкое наступленіе соціальной перемѣны, которая „начисто смететъ“ всѣ существующія условія общественнаго быта. Мало того, Вейтлингъ призывалъ въ кадры

борьбы людей, существованіе которыхъ объясняли себѣ, но были далеки отъ мысли эксплуатировать другіе реформаторы эпохи. Уголовные преступники, въ частности воры, должны, по мнѣнію Вейтлинга, примѣнать къ революціи и содѣйствовать ея побѣдѣ. Красная нить, связывающая въ одно цѣлое его курьёзные и сбивчивыя воззрѣнія, заключается въ той основной тенденціи, которую можно формулировать словами: чѣмъ хуже, тѣмъ лучше. Только при свѣтѣ этой руководящей тенденціи въ чадѣ его грѣзъ можно различить очертанія того пути, по которому, какъ онъ полагалъ, направится будущее. Чѣмъ больше нищеты и страданій, чѣмъ меньше частичныхъ улучшеній, и, главное, чѣмъ меньше надеждъ на эти улучшенія, тѣмъ, по мнѣнію Вейтлинга, для пролетаріата лучше, такъ какъ скорѣе наступитъ крушеніе общественныхъ порядковъ.

Успѣхъ идей Вейтлинга въ Швейцаріи, въ южной Германіи и вообще въ странахъ нѣмецкаго языка былъ чрезвычайный. При полнѣйшей невозможности сравнить Вейтлинга и Маркса по силѣ мышленія, необходимо признать, что, какъ организаторъ и практическій дѣлатель, первый гораздо больше былъ на виду въ сороковыхъ годахъ. Ремесленники, рабочіе, поденщики, приказчики, мелкій служащій людъ—увлекались Вейтлингомъ весьма сильно. Замѣчательно, что какую бы полную и несомнѣнную нелѣпость ни проводилъ Вейтлингъ, всегда онъ умѣлъ облечь ее въ изящную, простую форму, подкупавшую какой-то наивнѣйшей искренностью. Ландшафты смѣняются въ его произведеніяхъ перспективами, перспективы—новыми ландшафтами, все больше и шире раздвигаются рамки будущаго „гармоническаго общества“, все ближе и яснѣе становятся контуры свазочнаго замка. Есть такія литературныя произведенія, относительно которыхъ критическая работа ума почти необходима; читатель долженъ овладѣть такимъ произведеніемъ, потому что иначе произведеніе овладѣетъ имъ. Теперь книги Вейтлинга уже слишкомъ архаичны, мысли его отцвѣли и поблекли; даже чисто историческое значеніе сохранила за собою не его утопія, а тотъ религіозный духъ, который вѣетъ съ этихъ забытыхъ страницъ. Но въ 40-хъ годахъ, когда Вейтлингъ пѣшкомъ бродилъ по Германіи и Швейцаріи, проповѣдывалъ тайные союзы, вербовалъ сектантовъ,—его понимали, и онъ всѣхъ понималъ. Раздражительный, уничтожающе строгій критикъ, считавшій возможнымъ рѣзко и отрицательно отнестись къ Прудону, авторъ „*Misère de la philosophie*“, писалъ объ этомъ же Вейтлингѣ, котораго онъ впоследствии такъ жестоко уничтожалъ: „Пусть сравнятъ посредственность нѣмец-

вой литературы съ этимъ громаднымъ и блестящимъ дебютомъ нѣмецкихъ рабочихъ!“ Это—„исполинскіе сапоги пролетаріата“, по мнѣнію Маркса, въ которыхъ онъ далеко уйдетъ впередъ. По сочиненіямъ Вейтлинга,—именно, по ихъ теоретическимъ достоинствамъ,—четвертому сословію, какъ думаетъ критикъ, можно предсказать „гигантскій ростъ“.

Опьяняющей должна быть та атмосфера, которая такъ кружитъ головы; сильной должна была оказаться и та буря, которая эту атмосферу если не очистила, то круто и невозвратно измѣнила. Но, прежде чѣмъ перейти къ слѣдамъ, оставленнымъ этой бурей, вспомнимъ одну черту общественныхъ воззрѣній описываемаго періода. Мы уже отмѣчали ее, когда говорили о Вейтлингѣ: формула „безпримѣснаго революціонизма“—*чѣмъ хуже, тѣмъ лучше*, встрѣчается не только у Вейтлинга и не только въ той формѣ, какъ у Вейтлинга. Основной взглядъ Маркса, оказавшійся однимъ изъ наиболѣе долговѣчныхъ наслѣдій этой эпохи, заключается въ томъ предположеніи, что капитализмъ сыграетъ роль не только лучшаго, но и единственнаго орудія собственнаго уничтоженія. И здѣсь, какъ у Вейтлинга, будущее торжество „добраго Ормузда“ предполагается дѣломъ рукъ „злого Аримана“; разница лишь та, что, склонный къ моральнымъ категоріямъ, Вейтлингъ надѣется на „отчаяніе пролетаріевъ“, а стремившійся къ „научности“ методовъ Марксъ основывалъ свои расчеты на скоромъ наступленіи „синтеза“. Самая мысль о законмѣрности капитализма являлась у Маркса вполне новою, и ея появленіе составляетъ своего рода эпоху въ исторіи этихъ доктринъ. Въ концѣ нашего этюда мы увидимъ, что это воззрѣніе оказалось болѣе эластичнымъ, чѣмъ могло сразу представиться.

„Донъ-Кихоть революціи не идетъ у меня изъ головы. Суровый, трагическій типъ этотъ исчезаетъ,—исчезаетъ, какъ бѣловѣжскій зубръ, какъ краснокожіе индѣйцы, и нѣтъ художника, который намѣтилъ бы его черты—старая, рѣдкая“... Эти слова написаны въ 1862 году. Человѣкъ, написавшій ихъ, еще съ 1847 года зналъ Европу и сжилъ съ нею и со всякими разновидностями ея интеллектуальныхъ пластовъ. Онъ нашелъ возможнымъ сравнить исчезновеніе революціонеровъ съ вымираніемъ бѣловѣжскихъ зубровъ, и сдѣлалъ это черезъ какихъ-нибудь полтора десятка лѣтъ послѣ выступленія „донъ-кихотовъ“ на исторической аренѣ.

Что же дало ему дѣйствительное право такъ увѣренно говорить объ этомъ? Вѣдь всѣ перерывы между революціями до

тѣхъ поръ бывали больше пятнадцати лѣтъ; вѣдь далеко не все, чего желали названные дѣятели, было достигнуто, — напротивъ, многое изъ стараго погибло. Почему же эти слова были произнесены и, что важнѣе всего, оказались справедливыми? Мы подошли, поставивши такой вопросъ, къ поворотному пункту новѣйшей исторіи, — къ 1848 году.

VI.

Центръ тяжести исторической драмы 1848 года лежалъ въ томъ обстоятельствѣ, что союзъ оппозиціонныхъ элементовъ распался тотчасъ же послѣ ихъ побѣды, и что одинъ изъ нихъ, — именно, во Франціи мелкая буржуазія, а въ германскихъ государствахъ весь буржуазный классъ — примкнулъ къ только-что побѣжденному врагу и вмѣстѣ съ нимъ уничтожилъ рабочихъ. Это вполнѣ естественное разслоеніе, разумѣется, и не было особенной неожиданностью: революція могла произойти и могла не произойти, но буржуазія должна была начать борьбу противъ четвертаго сословія тотчасъ же послѣ своей побѣды, т.-е. добившись, хотя бы на одно короткое мгновеніе, расширенія и упроченія своихъ политическихъ правъ. Въ Англіи буржуазія безъ всякой насильственной революціи (но при дѣятельной поддержкѣ рабочаго класса) одержала въ 1832 году побѣду надъ аристократіей, и затѣмъ не дала и не могла дать своему союзнику ничего. Во Франціи буржуазная оппозиція могла безъ революціи достигнуть расширенія избирательныхъ правъ (не забудемъ, что для такихъ наблюдателей, какъ Прудонъ и какъ сами устроители банкетовъ, февральскія событія оказались неприятною неожиданностью), но фантастично было бы предполагать, что партія Одилона Барро допустила бы затѣмъ своихъ союзниковъ къ раздѣлу власти. Король Фридрихъ-Вильгельмъ IV и императоръ Фердинандъ могли бы дать буржуазіи то небольшое, чего она домогалась, безъ всякихъ кровавыхъ столкновеній, но трудно усомниться, что на другой день послѣ этой мирной уступки правительство и буржуазія не кончили бы соединенными силами съ притязаніями пролетаріата.

При помощи революціи или безъ нея, буржуазія, хотя бы даже на одно мгновеніе, должна была эмансипироваться; при помощи кровавыхъ усмиреній или безъ нихъ, пролетаріатъ не могъ не потерпѣть пораженія въ борьбѣ противъ всего буржуазнаго класса во Франціи и — противъ коалиціи буржуазіи и

правительства въ средней Европѣ, такъ какъ, не взирая на вѣсь пышныя фразы, онъ былъ слабъ и могъ стать только калифомъ на часъ.

Оппозиціонная буржуазія въ эту эпоху сыграла роль гири, наклонявшей ту чашу' вѣсовъ, на которую ложилась. Сто-восемьдесятъ-три убитыхъ въ Берлинѣ, нѣсколько десятковъ убитыхъ въ Парижѣ, упрямство Луи-Филиппа, поведеніе гвардіи Фридриха-Вильгельма передъ окончательнымъ взрывомъ — все это факты, которые могли быть и могли не быть, но общій результатъ этихъ фактовъ—временное торжество оппозиціонной буржуазіи—являлся неминуемымъ. Кровавыя февральскія и мартовскія столеновенія—почти столь же случайныя и побочныя явленія, какъ мелкія спибки въ большой долголѣтней войнѣ, гдѣ также реальное соотношеніе силъ въ концѣ концовъ рѣшаетъ дѣло. И здѣсь, и тамъ революціи и сраженія могли развѣ только вліять на хронологическую сторону процесса. Но цѣлой цѣпи случайностей было угодно, чтобы историческое дѣло новаго и рѣзкаго раздѣленія буржуазіи и четвертаго сословія обставилось драматическими подробностями, ярко оттѣнившими этотъ процессъ.

Кончились перипетіи борьбы, и вечеромъ 24 февраля французское правительство было въ рукахъ республиканцевъ, радикаловъ и социалистовъ; въ качествѣ полиціймейстера города Парижа имѣлся якобинецъ и заговорщикъ Коссидьеръ. Абсолютно неограниченная свобода печатнаго и устнаго слова, сходокъ и ассоціацій была установлена и подтверждена въ ближайшіе дни. Были жаркіе разговоры о замѣнѣ трехцвѣтнаго знамени краснымъ, символомъ „соціальной“ республики; были „депутаты барикады“, которыхъ ласково выслушивало временное правительство; были заботы и циркуляры министра внутреннихъ дѣлъ Ледрю-Роллена о томъ, чтобы „какъ можно скорѣе воспитать страну въ республиканскомъ духѣ“. Врядъ ли еще гдѣ-нибудь и когда-нибудь въ XIX-мъ вѣкѣ дѣйствительность сказывалась столь „утопичной“, какъ въ Парижѣ въ концѣ февраля и въ мартѣ 1848 года.—Прошло всего 4—5 лѣтъ послѣ этой эпохи —и министръ Фортуль особымъ постановленіемъ предлагаетъ профессорамъ французскихъ университетовъ брить или, по крайней мѣрѣ, подстригать усы и бороду, „чтобы этимъ изгнать послѣдніе слѣды безпорядка“; префектъ департамента Кальвадосъ сажаетъ за „подозрительную внѣшность“ трехъ человекъ въ тюрьму, держитъ ихъ тамъ двѣ недѣли и потомъ выпускаетъ съ тѣмъ условіемъ, чтобы они впредь приобрѣли менѣе безо-

воющий видъ; театральная цензура Парижа не позволяетъ ставить на сценѣ гоголевскаго „Ревизора“, разрѣшеннаго въ до-реформенной Россіи; газета „Phare de la Loire“ получаетъ предостереженіе отъ префекта за слѣдующія слова: „Императоръ произнесъ рѣчь, которая, по сообщенію агентства Гаваса, возбуждала многократные клики: Vive l'empereur!“ Предостереженіе было мотивировано тѣмъ, что эти слова газеты „не даютъ достаточно сильнаго изображенія того энтузіазма, съ которымъ была принята рѣчь его величества“. Въ операхъ запрещается речитативъ: „Къ оружію“; ежемѣсячно, то здѣсь, то тамъ, производятся высылки въ Гвіану и на тихоокеанскіе острова, причемъ иногда причиною служатъ найденныя при обыскахъ стихотворенія Виктора Гюго... Эта любопытная метаморфоза, совершившаяся съ страной въ какихъ-нибудь сорокъ мѣсяцевъ, объясняется, главнымъ образомъ, тѣмъ, что въ 1848 году крупная и мелкая буржуазія были въ разладѣ, и этотъ разладъ привелъ къ торжеству революціи, а въ ближайшую эпоху крупная и мелкая буржуазія соединились противъ общаго врага, и это соединеніе привело къ установленію безконтрольной власти. Не нужны были мелкой буржуазіи крайности революціи въ 1848 г., не нужны были ни ей, ни крупной буржуазіи крайности обратнаго движенія въ 50-хъ годахъ. Но если тѣ или нныя комбинаціи сильнѣйшихъ общественныхъ классовъ приводятъ къ установленію нужнаго для нихъ правительства, то это далеко не значитъ, что они, сильнѣйшіе классы, могутъ контролировать всѣ варіаціи правительственной политики. Въ срединѣ вѣка правительство до извѣстной степени есть самостоятельное социальное существо, имѣющее свои потребности и свою фізіономію, а вовсе оно не есть только щитъ и мечъ создавшихъ и поддерживающихъ его классовъ. Въ особенности этого не надо забывать, имѣя дѣло съ фактами французской исторіи.

Приглядимся теперь къ событіямъ, такъ необыкновенно ускорившимъ политическое воспитаніе мелкой буржуазіи, воссоединеніе ея съ крупной, пораженіе пролетаріата и, наконецъ, установленіе фактическаго абсолютизма. Вопросъ, на которомъ порвалась слабая связь мелкой буржуазіи съ пролетаріатомъ, заключался въ „національныхъ мастерскихъ“. Дѣло въ томъ, что, какъ извѣстно, на другой же день послѣ 24 февраля правительство, къ величайшей радости все еще возбужденныхъ и все еще вооруженныхъ рабочихъ, декретировало „право на трудъ“ и обязывалось доставить работу тѣмъ лицамъ, которыя въ ней нуждаются. Это являлось довольно существенной, хотя не самой

коренной изъ реформъ, осуществленія которыхъ четвертое сословіе ожидало въ ближайшемъ будущемъ. И уже тутъ собственно февральскіе побѣдители были очень неувѣренны въ разумности этой мѣры; по крайней мѣрѣ, семь (изъ 11) членовъ временнаго правительства имѣли впослѣдствіи случаи заявить о своемъ недоумѣніи относительно ими же одобреннаго предпріятія. Вторымъ результатомъ побѣды для четвертаго сословія явилось учрежденіе „люксамбургской комиссіи“, подъ предсѣдательствомъ Луи Блана, для измышленія законопроектовъ на пользу рабочихъ; эти законопроекты должны были быть представлены на разсмотрѣніе будущему національному собранію. За эту мѣру стояло всего двое лицъ среди правительства: Луи Бланъ и рабочій Альберъ; девять остальныхъ называли эту комиссію „вздоромъ“ или „гибельнымъ вздоромъ“. Но они еще пока боялись своихъ союзниковъ и уступили.

Извѣстно, что произошло дальше. Люксамбургская комиссія по самой сущности своей ничего не могла сдѣлать непосредственно, но уже своимъ существованіемъ удерживала рабочихъ отъ какихъ бы то ни было эксцессовъ. Луи Бланъ всячески старался разъяснить имъ неумѣстность иныхъ чувствъ въ правительству, кромѣ полного довѣрія. Значить, будущее пока было обезпечено: буржуазія вздохнула свободнѣе, и выборы произошли при полномъ спокойствіи. Извѣстны циркуляры Ледрю-Роллена префектамъ, чтобы тѣ сдѣлали крестьянъ республиканцами какъ можно скорѣе; извѣстна горячка, пережитая временнымъ правительствомъ въ ожиданіи вотума страны; извѣстна также и палата, избранная 23 апрѣля всеобщимъ голосованіемъ, на которое первая половина вѣка такъ сильно рассчитывала: изъ 900 представителей врядъ ли полторы сотни были расположены думать объ интересахъ „четвертаго сословія“. Собраніе было строго однороднымъ: уже теперь мелкая и средняя буржуазія шла рука объ руку съ крупной; уже теперь распался ея февральскій союзъ съ пролетаріатомъ. Большою ошибкою было бы думать, что буржуазія въ 1848 году во Франціи (и въ центральной Европѣ) покидала рабочихъ, когда начинала бояться ихъ; она покидала ихъ тогда, когда они становились ей ненужны. Иногда, впрочемъ (напримѣръ, въ Пруссіи), оба эти момента совпадали.

Итакъ, надо было распорядиться съ національными мастерскими. Трагичнѣе всего было то, что рабочіе уже поняли свое отчаянное положеніе, поняли, что хотя ихъ въ національныхъ мастерскихъ 110.000 человѣкъ, но на побѣду рассчитывать

нельзя, и тѣмъ не менѣе рѣшили бороться. 15-го мая 1848 г. они (и съ ними малочисленная, крайняя группа бланкистовъ) устроили манифестацію въ видѣ протеста противъ „антиреспубликанскаго“ направленія палаты. Послѣ манифестаціи началось дѣятельное преслѣдованіе людей, признанныхъ опасными для порядка. Именно эта странная майская затѣя показала, что люди борются здѣсь больше отъ отчаянія, чѣмъ въ ожиданіи побѣды; именно эта демонстрація, яростно встрѣченная всею провинціею, показала собранію, что бояться ему рѣшительно нечего. Значить, прямая выгода требовала ускоренія развязки, т.-е. закрытія мастерскихъ. Только такое закрытіе могло избавить казну отъ расходовъ, буржуазію—отъ тревоги; въ случаѣ сопротивленія, казалось нетруднымъ окончательно раздавить своихъ февральскихъ союзниковъ въ синихъ блузахъ. Все случилось какъ по писанному: собраніе вотируетъ, наконецъ, закрытіе національныхъ мастерскихъ, но, какъ бы сомнѣваясь, что эта мѣра повлечетъ нужное возстаніе, министръ общественныхъ работъ приглашаетъ къ себѣ любимаго начальника національныхъ мастерскихъ, Эмиля Тома, единственного человѣка, которому они вѣрили и который могъ бы попытаться отворить кровопролитіе, и говорить ему: „Вы сейчасъ же должны выѣхать вонъ изъ Парижа!“ Томъ отказывается; министръ зоветъ своихъ чиновниковъ и проситъ ихъ проводить г. Тома до дверей; чиновники ведутъ Тома на улицу, передаютъ его полиціи, послѣдняя сажаетъ его въ карету и увозитъ изъ Парижа.

23 іюня 1848 года, ровно черезъ четыре мѣсяца послѣ февральской революціи, началось, наконецъ, возстаніе,—возстаніе безъ надежды на побѣду, нелѣпое, мрачное и отчаянное. Кавеньякъ раздавилъ рабочихъ вполне; на двадцать-два года они лишились и рукъ, и голоса. Моральное пораженіе было еще ярче, чѣмъ матеріальное: болѣе пятидесяти тысячъ чело-вѣкъ крестьянъ и провинціаловъ явилось по собственной инициативѣ въ Парижъ, на случай, еслибы они понадобились Кавеньяку ¹⁾; ощущеніе слабости и оброшенности должно было превратиться въ увѣренность. Десять тысячъ сражавшихся (рабочихъ и солдатъ) было убито и ранено въ эти четыре дня; іюльская революція 1830 года, февральская 1848 года, взятіе Бастиліи въ 1789 году—могли бы показаться, по числу жертвъ, событіями малыхъ размѣровъ сравнительно съ іюньскими днями.

Буржуазія побѣдила, но, какъ это ни неожиданно, послѣ по-

¹⁾ „Annuaire historique“ 1848 г., стр. 250.

бѣды ея настроеніе оказалось менѣе повышено, менѣе твердо, чѣмъ до сраженія: размѣры борьбы, даже и побѣдоносной, произвели неизгладимое и пугающее впечатлѣніе. Обратное движеніе съ его все усиливавшимся тѣмпомъ, начавшееся на другой день послѣ побѣды и окончившееся отреченіемъ буржуазіи отъ всѣхъ своихъ политическихъ правъ и передачей диктатуры принцу Луи Бонапарту,—это движеніе, опредѣлившее исторію Франціи, зависѣло уже отъ боязни предъ побѣжденнымъ, отъ чувства, которому не было мѣста до борьбы. Если рабочіе окончательно удостовѣрились въ своей слабости, а буржуазія—въ своей силѣ, то побѣжденные надолго перестали искать себѣ союзниковъ въ другихъ классахъ, побѣдительница же пришла къ заключенію о необходимости для собственнаго блага реставрировать сильный правительственный механизмъ. Затронутое іюньскими днями самосохраненіе оказалось сильнѣе стараго политическаго фразерства и конституціонныхъ привычекъ. Подобно тому государствовѣду, который говорилъ, что формальности суть пошлина, платимая за законность, буржуазія посмотрѣла на отказъ отъ парламентаризма какъ на пошлину, которою слѣдуетъ расплатиться за безопасность.

Такъ окончилась драма 1848 года во Франціи. Когда десятого декабря изъ семи милліоновъ избирателей почти пять съ половиною милліоновъ высказались за принца, а республиканскіе кандидаты на президентскій постъ получили ничтожное число голосовъ,—республика стала совершенно очевиднымъ анахронизмомъ.

Евг. Тарле.



СТИХОТВОРЕНІЯ

I.

Опять обманутый судьбой коварной,
Ты вопли къ небу плешь, измученный глупецъ,
И меркнеть прежній образъ лучезарный,
И снова въ терніяхъ твой шутовской вѣнецъ...

Но затаи тревогъ напрасныхъ ропотъ,
И скорбь ненужную отъ сердца отзови.
Пусть слышится одной молитвы шопотъ:
Любовь нетлѣнная, все презри и живи!

II.

Спускается тихая ночь,
И сонмы безплотныхъ видѣній,
Не вѣдая нашихъ томленій,
Несетъ эта тихая ночь.

Скользятъ по заснувшей землѣ
Одѣтыя въ сумракъ созданья,
И грезятся чьи-то лобзанья
Усталой, заснувшей землѣ...

Мгновенный, не вѣчный покой!
Но близится узъ разрѣшенье
И жалкихъ тревогъ одолѣнье—
То смертному вѣчный покой.

III.

Повѣяло тепломъ и съ запада, и съ юга,
 Разливъ окутался тумана пеленой,
 Гремить грозою Богъ, и вдохновенья вьюга .
 Проносится, какъ встарь, надъ перстію земной.

Зеленымъ пологомъ поля едва прикрыты,
 Но почки на вѣтвяхъ ужъ рвутся на просторъ;
 Ручьями вешнихъ водъ овраги всѣ изрыты,
 И стай щебечущихъ ужъ начался дозоръ.

Тревогъ ненужныхъ и безплодныхъ злое бремя
 Дай сбросить съ плечъ долой, о, юная весна!
 Пусть къ лѣту мощному скорѣе мчится время
 И спящихъ въ зимней спячѣ будить ото сна...

IV.

Въ бездонной пропасти сіянья голубого
 Лампада кроткая мерцаетъ надо мной,
 Возженная въ тиши рукою неземной,—
 Въ бездонной пропасти сіянья голубого.

Далекихъ чудныхъ странъ скиталица нѣмая,
 Тебѣ я шлю привѣтъ, не прощенный тобой.
 Ты въ путь безъ ропота возьми его съ собой,
 Далекихъ чудныхъ странъ скиталица нѣмая!..

Скажи тому, кто въ міръ тебя послалъ унылый,
 Что тяжело намъ безъ вѣстниковъ небесныхъ жить
 И вѣчно лишь боговъ невѣдомыхъ молить,—
 Скажи тому, кто въ міръ тебя послалъ унылый!..

С. М. Л—новъ.



НОВЫЕ СРУБЫ

— La charpente, par J. Rosny. Романъ изъ современныхъ нравовъ.

КНИГА ПЕРВАЯ.

IX *).

Вставъ ранѣе обыкновеннаго послѣ безсонной и безпокойной ночи, Дюгамель вошелъ въ свой маленькій рабочій кабинетъ, гдѣ онъ обыкновенно писалъ и занимался. Нѣсколько влажный и мягкій воздухъ врывался въ раскрытыя окна. Дюгамель чувствовалъ, что его блуждающія мысли такъ же мало могли сосредоточиться и улечься, какъ блуждающія по небосклону легкія облака, когда они то сливаются, то снова дробятся, догоняя другъ друга. Онъ бросилъ работу и сѣлъ у окна, выходившаго въ садъ.

И въ этомъ уединеніи и тишинѣ, какъ бы въ рамкѣ благоухающей идилической зелени—вдругъ показалась Алиса. Она также не спала ночью. Поднявшись почти съ разсвѣтомъ, она пыталась облегчить свою грусть прогулкой по пустыннымъ дорожкамъ сада, окаймленнымъ зеленымъ бархатомъ травъ. Молодая дѣвушка казалась выше и блѣднѣе обыкновеннаго въ волнистой утренней одеждѣ, съ чудно рассыпавшимся узломъ волосъ, отънявшихъ нѣжный овалъ ея лица.

Сколько гордой граціи было въ ея фигурѣ, свободы въ изящныхъ движеніяхъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, какая захватывающая грусть въ чертахъ, преисполненныхъ тайнаго томленія!..

*) См. выше: январь, стр. 285 и сл.

Дюгамель пытался сопротивляться своему старому врагу — внутреннему смятенію, губящему самую устойчивую добродѣтель.

Не чувствовалъ ли онъ себя еще такъ недавно подготовленнымъ къ такимъ неожиданностямъ, вооруженнымъ противъ нихъ? Не противопоставилъ ли онъ имъ глубоко прочувствованныхъ убѣжденій, стоическихъ цитатъ, суровыхъ какъ жандармъ?

Но ничто не дѣйствовало. Страсть пробивалась сильнымъ потокомъ сквозь всѣ преграды, обманывала бодрствующую воздержность и совѣсть, какъ разыгравшаяся праздничная толпа. Онъ долженъ былъ сознаться, что затѣялъ слишкомъ серьезную игру съ опаснымъ противникомъ, исконнымъ побѣдителемъ человека.

— Вся эта устроенная мною комедія, это приглашеніе ея сюда, есть не что иное, какъ измѣнническая ловушка моего собственнаго лицемѣрія.

Но горечь угрызений не мѣшала просачиваться въ его сердце сладостному яду страсти. Онъ пробовалъ работать, но вмѣсто бѣлыхъ страницъ мелькали передъ нимъ складки бѣлаго платья, прильнувшего къ стройной, обольстительной фигурѣ... И цѣлая вереница жаркихъ, опьяняющихъ образовъ затуманила его глаза, его мысли. И его снова потянуло къ окну. Алиса задумчиво глядѣла на отдаленные холмы или же наклонялась къ цвѣтамъ.

Это былъ сезонъ розъ. Ихъ нѣкоторые кусты блистали свѣжими, искристыми листками нѣжно-зеленаго цвѣта; темная зелень другихъ, точно обожженная мѣстами коричневымъ оттѣнкомъ, смѣшивалась съ пепельною окраской третьихъ. И въ эти спутанные, разно-зеленые кудри вплеталось множество то едва распцвѣтшихъ, то уже осыпающихся цвѣтовъ. Ихъ дивный запахъ, мгновенно замирающій и пробуждающійся вновь отъ капризныхъ чередованій затишья и вѣтерка, проникалъ всюду. Густая листва деревьевъ, изрѣзанная темными чертами стволовъ и вѣтвей, походила на обширную клѣтку, наполненную распростертыми крыльями и щебетаніемъ птицъ, свободно ускользящихъ изъ нея въ голубую высь и добровольно возвращающихся подъ ея тѣнистый кровъ... Въ серебристомъ отдаленіи, у подшвы холмовъ, мелькала маленькая деревенька съ миниатюрною колокольней не выше сосѣдняго великолѣпнаго голубятника, остатка роскоши древне-дворянской усадьбы. На бѣлой, туманноматовой картинѣ дальняго небосклона рѣзко обрисовывались очертанія большого темнаго лѣса.

Все это казалось Дюгамелю лишь чуднымъ аккомпаниментомъ къ бурной мелодіи страсти, властно поработившей его и

Алису. Въ минуту внезапнаго, неудержимаго увлеченія, онъ сдѣлалъ порывистый шагъ къ дверямъ, чтобы погрузиться вмѣстѣ съ ней въ упоительную атмосферу ихъ внутренняго міра въ соединеніи съ этими прелестями вѣшняго. Но при этомъ движеніи ему снова сдѣлалось ясно—какое разстояніе дѣлитъ короткіе порывы его страсти отъ его глубокой, настоящей любви. Онъ понялъ, что выше всего цѣнится медленность оболышенія, что страсть безъ долгой, послѣдовательной борьбы самаго возвышеннаго характера, не могла бы имѣть никакой будущности, никакого захватывающаго интереса. И по странному, чисто человѣческому противорѣчію, онъ болѣе всего дорожилъ этимъ *завтра*, судорожно преодолевая сегодняшнюю жажду. Онъ весь сгибался подъ тяжестью внутренней борьбы, чувствуя въ себѣ пламя страстнаго обожанія Дегріе и Манонъ, здоровую любовь Гектора и, наконецъ, сложное томленіе нашихъ временъ, мистическіе порывы, умѣренные искуснымъ расчетомъ очарованія.

„О, Алиса! ты должна любить меня съ равною силою и самоотверженіемъ,—или же вся моя душа переполнится и разорвется“.

Какъ святой, прибѣгающій къ защитѣ распятія, онъ старался устоять передъ соблазномъ, вразумляя себя своими заветными словами:

„Зачѣмъ? Зачѣмъ весь этотъ ужасъ? Не могу ли я безъ терзаній испытать рѣдкое, истинное блаженство самоотверженной любви обожателя-друга?“

Но передъ его глазами упрямо носился образъ Алисы въ очаровательной таинственности шелковистыхъ одеждъ, съ неотразимой прелестью блестящихъ глазъ и влажныхъ устъ... И въ этомъ смѣшеніи вѣшняго обаянія съ прежде извѣданнымъ наслажденіемъ общности душъ—онъ самъ себѣ не могъ отдать отчета, любилъ ли онъ ее болѣе изъ гордости, или изъ ревности,—изъ-за чуждыхъ, запретныхъ сокровищъ ея красоты, или же за прекрасное, свободное сліяніе ихъ сродныхъ душъ?

Онъ стоялъ у окна, не отрывая хищнаго взора отъ этой нѣкогда „маленькой дѣвочки“, отъ воспитаннаго имъ дитяти, теперь предмета его жгучаго желанія. Въ ея молодыхъ, дивно-восприимчивыхъ чертахъ онъ читалъ въ эту минуту самыя сложные мотивы ихъ общихъ чувствъ и помысленій, самыя тайныя движенія взволнованнаго существа.

Онъ закрылъ глаза, пытаясь удалить отъ себя побѣдой сосредоточенной мысли этотъ образъ, лишающій его способности владѣть собою. Къ счастью, когда онъ раскрылъ ихъ снова.

вздохъ облегченія вырвался изъ его груди. Онъ увидѣлъ м-мъ Делафонъ, гуляющую рядомъ съ Алисой. Тогда вдругъ снизошло къ нему удивительно мирное настроеніе. Онъ тотчасъ же сошелъ въ садъ къ сестрамъ; онъ окружилъ нѣжнѣйшимъ дружескимъ вниманіемъ м-мъ Делафонъ, стараясь заинтересовать ее то своеобразною прелестью видовъ, то вычурными породами розъ, то разсказами о мѣстныхъ жителяхъ. Его побуждало стремленіе создать для нея новый кругъ понятій, желаній и даже нѣкоторыхъ мелкихъ безпокойствъ, такъ какъ все это могло оторвать ее отъ предмета вѣчной горести,—все было предпочтительнѣе опасной склонности къ сумасшествію.

М-мъ Гюдъ и ея дочь уѣхали въ полдень съ какимъ-то визитомъ, сестры и Дюгамель остались одни. Они по прежнему бесѣдовали о предметахъ, которые ихъ всегда интересовали, о законахъ, руководящихъ жизнью или присущихъ красотѣ. Алиса слушала Дюгамеля съ упоеніемъ. И въ эти часы его утреннія терзанія исчезли безслѣдно. Она же наслаждалась счастіемъ его присутствія съ внезапно лишь налетающими перерывами мимолетной печали. Они сидѣли въ бесѣдѣ, крытой соломой, окруженные цвѣтами, деревьями, полями и небомъ, и ихъ мысли такъ неразлучно сливались съ обнявшею ихъ природой, что они болѣе не знали, гдѣ оканчиваются однѣ и начинается другая. Чистый профиль Алисы, въ зависимости отъ ея движеній, то рисовался на фонѣ свѣжихъ виноградныхъ листьевъ, то на небесной лазури, и Дюгамель любовался имъ наравнѣ съ этой изумрудной листвою, съ ярко-цвѣтущимъ небомъ, съ далекимъ, блѣднымъ кружевомъ холмовъ.

Но погода вдругъ стала измѣняться. Сначала легкій туманъ паровъ понесся снизу вверхъ, затѣмъ уже заволохались изорванные лохмотья облаковъ и, наконецъ, неуклюжія массы тучъ повисли на небосклонѣ, отсвѣчивая лишь по краямъ серебристою каймой. Но эта горняя драма со скрытымъ еще громомъ, съ невидимою молніей, какъ бы недвижно застыла въ поднебесьи.

— Исповонъ вѣбовъ, — сказалъ Дюгамель, — облака какъ будто выражали борьбу земли и неба. Не даромъ греки воздвигли свой Олимпъ въ ихъ подвижныхъ волнахъ. И я въ нихъ склоненъ видѣть мозгъ вселенной.

— Мозгъ! — воскликнула м-мъ Делафонъ, смѣясь: — но если бы нашъ міръ могъ мыслить, у него нашлись бы болѣе разумныя идеи.

— Но вѣдь самыя глубокія и основательныя мысли въ на-

чалѣ бывають лишь чѣмъ-то въ родѣ разсвѣта, — проговорила задумчиво Алиса.

— Въ самомъ дѣлѣ, — продолжалъ Дюгамель, — это мозгъ вселенной и даже самая важная его часть — начало созидающее. Не замѣчаете ли вы, что если солнце является зарождающей силой, которая растетъ и развивается въ мощной работѣ жизни, то облака — не что иное, какъ первыя средства борьбы, передовые посланники воюющей земли. Ихъ легкіе, пугливые легионы то поднимаются съ влажныхъ полей со слезнымъ протестомъ, то съ обожженныхъ засухой пашень устремляются въ высь черной, бѣшеной толпой, и, разразившись электрическимъ гнѣвомъ, въ злобщей перестрѣлкѣ молній, при оглушающемъ грохотѣ орудій — громовъ, побѣдными потоками испѣляющаго ливня возвращаются къ материнскому лону земли. Въ этой производительной борьбѣ, въ вѣчныхъ усиліяхъ сліянія и сопротивленія и есть то творящее начало, которое я называю мозгомъ вселенной.

М-мъ Делафонъ наслаждалась музыкой этихъ фразъ. Алиса же, болѣе глубоко вникавшая въ смыслъ столь понятныхъ для нея словъ Дюгамеля, — проговорила въ раздумьи:

— Это такъ согласно со всѣмъ тѣмъ, что мы знаемъ о насъ самихъ. Онъ, этотъ міръ, мыслящій въ необъятномъ пространствѣ, обдумываетъ, также какъ и мы, въ нервномъ и измѣнчивомъ настроеніи, то, что въ послѣдствіи остается во вѣки нерушимымъ, какъ глыбы его крѣпчайшихъ скалъ...

Она рѣдко выражалась съ такою твердою увѣренностью; она была обязана ея своему любовному горю, удалившему отъ нея все суетное, постороннее, сосредоточивающему, углубляющему ея мысль. Сестра посмотрѣла на нее съ удивленіемъ. И они всѣ трое впали въ глубокую задумчивость.

Но тутъ ужъ наступилъ конецъ ихъ спокойствію. Ими овладѣло тайное волненіе, точно они сами исходили изъ этихъ неуловимо-измѣнчивыхъ сферъ мірового настроенія, о которомъ говорила Алиса. М-мъ Делафонъ опять предалась неотвязчивымъ, безотраднымъ мыслямъ о своей бездѣтности, Дюгамель — страстному трепету любви; Алиса же, угадывающая, дрожащая, не смѣла глядѣть на своего „друга“, не спускавшаго съ нея жгучаго взгляда.

М-мъ Дюгамель, чувствуя, что слезы навертываются на ея глаза, ушла въ свою комнату.

Алиса и Дюгамель остались одни.

Они не въ состояніи были проронить ни слова; ихъ губы разохли отъ порывистаго дыханія, тѣло ослабѣвало отъ внутрен-

няго волненія. Никогда еще Дюгамель не испытывалъ болѣе ужасныхъ мученій—и никогда онъ еще не выказалъ столько нравственнаго мужества и силы. Затихшій и подавленный, онъ ждалъ, какъ избавленія, быстро растущей печали; и вотъ она мало-помалу стала распространять по всему его организму болѣзненный, жестокий холодъ поправнаго искушенія... У нихъ былъ видъ бѣдныхъ, избитыхъ дѣтей, брошенныхъ на произволъ судьбы—въ эти долгія минуты молчаливаго признанія, убійственной борьбы, скрытыхъ воплей терзаемой души.

И когда наконецъ послышались шаги м-мъ Гюдъ, м-мъ Дюгамель и Делафонъ, они взглянули въ первый разъ другъ на друга—испуганными, грѣховными и героическими глазами.

Измученные, разбитые дневной борьбою, они только къ вечеру обрѣли нѣкоторое спокойствіе подъ тихимъ дыханіемъ благоухающаго сумрака. Обѣдъ прошелъ среди вялой тишины, и всѣ поспѣшили разойтись по своимъ комнатамъ.

Около двухъ часовъ по полуночи Дюгамель проснулся. Онъ снова переживалъ въ воспоминаніи пламенный день. И сонъ вдругъ отъ него отлетѣлъ при новой игрѣ пробужденнаго возбужденія. Онъ не могъ оставаться въ постели. Одѣвшись, онъ вышелъ въ корридоръ и направился къ двери комнаты Алисы. Ключъ отъ нея былъ снаружи. Не было сомнѣнія, что еслибы онъ проникъ въ эту дверь, еслибы повѣрилъ ей всѣ свои муки,—чуждыя дѣвичьи объятія простерлись бы къ нему съ полнымъ забвеніемъ... Онъ зналъ, онъ чувствовалъ ея слабость... И сердце его колотилось такъ сильно, что еслибы кто-нибудь попалъ въ этотъ темный корридоръ въ тотъ роковой часъ ночи, онъ слышалъ бы громкій стукъ человѣческаго сердца, какъ громкій стукъ часовъ...

Однакоже онъ стоялъ неподвижно, бормоча только слова ласки, цѣлуя, какъ сумасшедшій, холодную ручку двери, между тѣмъ какъ передъ нимъ носился образъ Алисы въ легкой ночной одеждѣ, задыхающейся отъ страстнаго волненія, испуга и счастья...

Онъ прикоснулся къ ключу—и этотъ безумный жестъ возвратилъ ему разсудокъ. Онъ тогда понялъ, что въ сущности онъ еще очень далекъ отъ такого забытья. Вернувшись къ себѣ, онъ бросился одѣтымъ на постель и пробормоталъ съ подавленнымъ рыданіемъ:

— Такъ я не чтò иное какъ безсознательная тварь! Быть можетъ, завтра увижу себя яснѣе...

X.

И онъ увидѣлъ себя яснѣе. Это было страданіе подобное тому, какое не разъ испытываетъ художникъ передъ первымъ эскизомъ своей картины — нерѣшительность, сомнѣніе, скептицизмъ. Въ такія минуты является мысль о самоубійствѣ, — объ успокоеніи небытія. Но подобно тому, какъ художника ободряютъ воспоминанія о прежнихъ сомнѣніяхъ, разсѣянныхъ успѣхами, такъ и онъ понемногу успокоивался, сознавая въ себѣ силу неоднократныхъ побѣдъ въ борьбѣ, твердую волю, всегда всплывавшую наверхъ въ этомъ хаосѣ искушеній и даже сознательныхъ самообмановъ, и это его вырывало изъ страстнаго порою, порой же апатичнаго, холоднаго отчаянія.

Почти съ разсвѣтомъ онъ уходилъ въ дальнія прогулки по безконечнымъ дорогамъ, изрѣзывающимъ равнину. Онъ блуждалъ въ легкихъ утреннихъ туманахъ, принимавшихъ молочную бѣлизну надъ Віоной. И вдыхая этотъ укрѣпляющій чудный воздухъ, онъ вдыхалъ, казалось, наравнѣ съ нимъ и облегчающее сознаніе мощи, которая не замедлитъ возродиться — подобно раненымъ героямъ Илиады.

Между тѣмъ дни протекали среди чудныхъ встрѣчъ и продолжительныхъ прогулокъ. То одинъ, то въ обществѣ дамъ, блуждая въ измѣнчивую погоду по равнинѣ, въ сухую же и солнечную — по холмамъ и тѣнистымъ рощамъ, Дюгамель замѣчалъ, что безумные порывы накипавшего кризиса его страсти мало-по-малу затихаютъ; главная, рѣшающая побѣда была имъ одержана. Любовь, по прежнему сильная и живая, замкнулась въ строго начертанныхъ границахъ.

Она же перерождалась и въ душѣ Алисы подъ безпрестаннымъ дѣйствіемъ словъ ея друга, превозносившаго, со свойственной ему убѣдительностью и очарованіемъ рѣчи, внутренній свѣтъ чистыхъ душъ, правду и мощь самосознанія. Ея молодость не могла противуставить въ этой борьбѣ никакихъ средствъ опыта, но зато она внесла въ нее всѣ благороднѣйшіе инстинкты своей натуры, наслѣдственную энергію и тотъ оригинальный родъ болѣе сложныхъ психическихъ мотивовъ, которыми она всецѣло была обязана Дюгамелю.

Однакожъ, несмотря на свое, стоически-примиренное въ общемъ настроеніе, дѣлавшее честь ея руководителю, она не разъ переживала жестокія минуты, которыми требованія природы и дѣйствіе окружающей среды и обстановки потрясаютъ душу лю-

бящей женщины. Могущественный законъ природы превозмогалъ ея дѣвственную чистоту. Страсть, подавляемая тысячею внѣшнихъ препятствій, не говоря о постоянномъ регулированіи ея волею, обуревала все ея существо... Томный бредъ прерывалъ ея безпокойный сонъ, грудь ея ведалась отъ страстного ожиданія, губы шептали слова безумной ласки. Но это была полу-сознательная слабость, какъ сновидѣніе, руководимое фантазіей безъ участія разума. И она снова возвышалась отъ сладостныхъ волненій плоти до благороднаго отрѣшенія своей любви, до той божественности отвлеченнаго чувства, изъ котораго они себѣ создали великолѣпный міръ.

Они, казалось, снова возвратились къ прежней чистотѣ и братской нѣжности, надѣясь направлять свою страсть къ необъятнымъ мечтамъ и къ неизвѣданному блаженству новаго общенія въ самоотверженной любви... Но возможно ли примиреніе страсти съ такимъ нейтральнымъ положеніемъ? Можетъ ли она освободиться отъ тѣхъ естественныхъ требованій, которыя мы унаслѣдовали отъ безчисленныхъ животныхъ существованій? Нѣтъ, безъ сомнѣнія. Страсть, подобно самому человѣку, жаждетъ жизни,—и она умираетъ отъ устойчивой добродѣтели, какъ отъ тяжелой болѣзни и отъ порока. Живучая въ живомъ существѣ, она, правда, строитъ себѣ извѣстныя преграды и препятствія до извѣстныхъ границъ,—въ концѣ концовъ всегда преодоливаемыя,—но безъ побѣды нѣтъ для нея жизни.

КНИГА ВТОРАЯ.

I.

М-мъ Дюгамель не замедлила возобновить свои мѣстные знакомства тотчасъ же послѣ своего пріѣзда,—и вотъ однажды, въ полдень, передъ маленькой вилой остановилась коляска м-мъ Бардомбъ, владѣлицы сосѣдняго замка, пріѣхавшей съ визитомъ въ сопровожденіи своей невѣстки, м-мъ Леберанъ. М-мъ Дюгамель ихъ узнала, и сердце ея забилося безумной радостью. Она выбѣжала на встрѣчу къ гостямъ, и въ то время, какъ м-мъ Бардомбъ отвѣчала съ большою учтивостью на ея суетливыя привѣтствія, м-мъ Леберанъ удерживала на почтительномъ разстояніи польщенную и растроганную буржуазку.

Леберанамъ принадлежало помѣстье Нанкуръ, въ нѣсколькихъ километрахъ отъ Маринъ, восемьсотъ гектаровъ земли съ садами, паркомъ и лѣсомъ, съ величественнымъ, хоть и не особенно изящнымъ замкомъ. Они были преисполнены гордаго чванства богачей не-дворянскаго происхожденія, соединенныхъ близкими свѣтскими узами съ настоящими аристократами. М-мъ Дюгамель благоговѣла передъ ними за то, что они сдѣлали ей честь, открывъ передъ ней двери своего дома. Она была у нихъ нѣсколько разъ и даже однажды на званомъ обѣдѣ, въ обществѣ де-Кальяровъ, Дашо и де-Розбелль.

Итакъ, м-мъ Леберанъ приняла холодно изъясненія ея восторга. Это была женщина худощавая и сухая, съ мужскими приемами и рѣзкими чертами лица, одѣтая въ дешевую матерію, плохо скроенную неискusstvenной камеристкой. Она страдала истерическою нервною, выражавшеюся въ стремительныхъ, безтактныхъ выходахъ и беспокойныхъ капризахъ въ родѣ слишкомъ смѣлаго спорта, кончившагося однажды вывихомъ ноги и легкимъ переломомъ руки. По странному упорству она скрывала эти неудачи, не желая отречься отъ своихъ фантазій. Эта дерзкая смѣлость и скрытничаніе, также какъ и болѣзненные припадки раздраженія, сопровождаемые цѣлымъ потокомъ неудержимой учерской брани, доказывали сильный прогрессирующій неврозъ.

М-мъ Бардомбъ, ея невѣстка, маленькая, кругленькая женщина, прекрасно одѣтая, брюнетка съ правильнымъ горбатымъ носикомъ, съ прелестными глазами и улыбкой—была, напротивъ, чрезвычайно обаятельна. Никто лучше ея не сумѣлъ бы управлять такимъ громаднымъ имуществомъ, распространять вокругъ себя довольство и благосостояніе, создавать въ окружающей средѣ такое невозмутимое спокойствіе и гармонію. Какъ въ собственной жизни, такъ и въ отношеніяхъ ко всѣмъ прикосновеннымъ къ ней, она руководилась простымъ и безыскусственнымъ понятіемъ о долгѣ, любви и справедливости въ ихъ братскомъ сліяніи въ несложную, но неуклонную мораль. Эти простые принципы были равно удалены какъ отъ всякихъ крайностей, такъ и отъ всякихъ сомнѣній. М-мъ Бардомбъ была, въ сущности, настоящей матеріалисткой, мало интересующеюся наукой, литературой и искусствомъ, преданной одной лишь домашней жизни, людямъ, ее окружающимъ: своему сыну, своему „другу дома“ и своимъ слугамъ. Это была въ своемъ родѣ утонченная форма эгоизма, вазавшаяся на первый взглядъ безграничною добротой, въ особенностяхъ въ этомъ мірѣ суженныхъ скупостью и предразсудками интересовъ.

— Она смазываетъ свою жизнь, какъ колесо, — говорилъ одинъ изъ близкихъ ея знакомыхъ. — И дѣйствительно, никто не долженъ былъ стонать, ни мучиться вблизи ея; она спѣшила съ немедленною помощію и дѣлала все отъ нея зависящее, чтобы успокоить страданія. А затѣмъ, спокойная и довольная, она замыкалась въ этомъ кругу улыбающихся лицъ, сіяющихъ предметовъ, чуждая всѣмъ внѣшнимъ заботамъ. Страстью всей ея жизни былъ нѣкій молодой человѣкъ, съ весьма ограниченными способностями, значительно моложе ея годами, вѣчно и безуспѣшно добивавшійся бакалаврскаго диплома; онъ былъ безпрѣлѣно привязанъ къ ней изъ-за того баловства и угожденій, которыми она его окружала и въ которыхъ ему отказывали скупые родители. Она когда-то горячо стремилась къ браку съ нимъ, но семья молодого человѣка воспротивилась этому союзу по многимъ причинамъ; главными же изъ нихъ было, во-первыхъ, то обстоятельство, что милліоны м-мъ Бардомбъ переходили къ ея сыну; во-вторыхъ же, что разница въ возрастѣ этой четы могла бы сдѣлать бракъ смѣшнымъ. Она продолжала вдовствовать, не особенно объ этомъ сожальѣя, увѣренная въ преданности своего возлюбленнаго.

Обѣихъ дамъ пригласили въ гостиную, въ которой онѣ были представлены м-мъ Делафонъ и Алисъ Нормануаръ.

— Нормануаръ? — встрепелась тотчасъ же м-мъ Леберанъ, которой настольными книгами былъ „L'Annuaire des châteaux de France“ и другія генеалогическія изданія. — Есть родъ Нормануаровъ де ла-Шастеллери, — ихъ земли въ Анжу...

— Это мои двоюродные братья, — отвѣчала просто Алиса: — я и сестра происходимъ изъ старшей линіи Нормануаровъ.

— Изъ старшей линіи? — воскликнула м-мъ Леберанъ, вдругъ просіявъ чрезвычайной любезностью. — Нынѣшній глава этой линіи — графъ де-Рокуръ?

— Именно, — сказала м-мъ Делафонъ, — графъ де-Рокуръ нашъ родной дядя; но нашъ отецъ давно ужъ разошелся со своимъ братомъ.

М-мъ Дюгамель остолбенѣла отъ удивленія.

— Въ первый разъ это слышу! — воскликнула она, обуреваемая при этомъ открытіи самыми противоположными чувствами — радости, зависти, гнѣва и восхищенія, и до такой степени, что она была готова разразиться рыданіями.

— Какъ! ваши друзья этого не знали?!

— Къ чему все это? — отвѣчала м-мъ Делафонъ: — всѣ наши отношенія съ родственниками давно уже прекратились! Да и

притомъ наши средства ограничены, и убѣжденія моего мужа не позволяютъ намъ поддерживать сношенія съ людьми, которые со своей стороны нисколько не интересуются нами.

— Да, вы правы, — подтвердила м-мъ Леберанъ съ отгнѣвомъ гордости: — титулъ безъ денегъ ровно ничего не значитъ въ наше время.

— Я думаю, что при всякихъ условіяхъ и во всѣ времена онъ ровно ничего не значитъ, — замѣтила Алиса.

М-мъ Леберанъ взглянула на нее съ вызывающей дерзостью.

— А, вотъ какъ! такъ вы философствуете!

— Мы обѣ съ сестрой, — вмѣшалась съ живостью м-мъ Делафонъ, — не думаемъ, чтобы нынѣшнія условія жизни были хуже прежнихъ.

— Однакоже, въ былыя времена король бы не оставилъ Нормануаровъ прозябать въ ничтожествѣ.

— Напротивъ, — воскликнула Алиса, — такая королевская милость была бы униженіемъ!

— Вы, однакоже, нисколько не защищаете собственныхъ интересовъ, — сказала м-мъ Бардомбъ.

М-мъ Дюгамель, еще до сихъ поръ не пришедшая въ себя отъ неожиданнаго открытія, вмѣшалась въ разговоръ съ нѣкоторымъ отгнѣнкомъ ревности.

— Мои друзья — крайніе демократы, — сказала она. — Кромѣ того, обѣ эти дамы раздѣляютъ убѣжденія моего мужа и мосѣ Делафона.

— Несомнѣнно, — сказали Дюгамель, не проронившій до сихъ поръ ни слова, — мы съ Делафономъ знаемъ и понимаемъ другъ друга, какъ два пальца одной и той же руки.

Здѣсь уже истерія м-мъ Леберанъ высказалась съ неудержимою грубостью:

— Какъ два пальца загрубѣлой руки...

— Да, загрубѣлой! — воскликнула м-мъ Делафонъ, блѣднѣя при этомъ нападеніи. — Благородной загрубѣлой, трудовой руки!

— Конечно, „благородной загрубѣлой руки, но не руки *благороднаго*“...

— Сударыня, — вмѣшался холодно Дюгамель, желавшій избавить м-мъ Делафонъ и Алису отъ напраснаго волненія, — я долженъ, къ сожалѣнію, исправить вашу невольную ошибку: мой другъ вѣдь тоже маркизъ де-ла-Фонъ д' Эрлѣ; но еслибы онъ былъ здѣсь, онъ бы вамъ сказалъ, какого онъ мнѣнія о своемъ „благородномъ происхожденіи“.

Послѣдовала минута эффектнаго молчанія, въ теченіе которой

м-мъ Дюгамель не могла опомниться отъ новаго сюрприза, въ то время какъ м-мъ Леберанъ и Бардомбъ, не менѣе ея пораженные неожиданностью, погрузились въ эту странную мистификацію, возникшую изъ простой болтовни о титулахъ и родствахъ. Ими овладѣло то неуловимое и какъ бы невольное благоговѣніе, которое питаетъ къ аристократіи даже самая интеллигентная французская буржуазія. Благоговѣніе это увеличивается даже отъ ея собственной насмѣшливой критики, отъ гнѣвной, безсильной зависти. Титулъ приобрѣтаетъ тѣмъ большее значеніе, чѣмъ болѣе онъ ничего не значитъ, чѣмъ болѣе онъ химериченъ, и только страстная ревность и гордость дѣлаютъ изъ него въ нѣкоторомъ родѣ ужасную дѣйствительность. Впрочемъ, всѣ, собственно говоря, общественныя различія возростаютъ лишь благодаря раболѣпію низшихъ сословій. Въ глазахъ законнаго сына незаконнорожденность можетъ не имѣть равно никакого значенія; но она всегда бываетъ страшнымъ бременемъ для незаконнаго сына.

Титулъ бѣднаго Делафона произвелъ чудеса. Истерическая гостья сдѣлалась мягкой какъ воскъ; простая вѣжливость м-мъ Бардомбъ преобразилась въ утонченную обходительность. Визитъ закончился въ изысканно-дружелюбномъ настроеніи. Было рѣшено, что м-мъ Дюгамель пріѣдетъ въ помѣстья Леберановъ и Бардомбовъ въ сопровожденіи м-мъ Делафонъ и Алисы.

Когда эти дамы наконецъ уѣхали, между тремя друзьями завязался продолжительный разговоръ; жена и теща Дюгамели вышли изъ гостиной.

Дюгамель замѣтилъ, что онъ не ошибся въ своемъ расчетѣ, что встрѣча съ этими ничтожностями подзадорила м-мъ Делафонъ множествомъ глупыхъ мелкихъ обидъ и возбудила въ ней какое-то раздраженное любопытство. Алиса же, посвященная въ тайну Дюгамелемъ, ловко поддерживала это настроеніе. И съ тѣхъ поръ, — отчасти тоскуя объ отсутствующемъ мужѣ, отчасти воспринимая чарующее и смягчающее дѣйствіе природы, отчасти же интересуясь мелкими суетами окружающей жизни, — м-мъ Делафонъ хотя и не совсѣмъ отрѣшилась отъ своихъ черныхъ мыслей, но, по крайней мѣрѣ, онѣ стали все болѣе и болѣе отступать на задній планъ, подъ вліяніемъ новыхъ впечатлѣній и чувствъ. Сонъ ея послѣ длинныхъ прогулокъ становился спокойнѣе и правильнѣе. Къ ней даже вернулась нѣкоторая энергія. Письмо отъ горячо любимаго мужа принесло ей также свою долю радости. Онъ хорошо себя чувствовалъ, начиналъ превозмогать себя, надѣялся даже приняться вскорѣ за работу. На-

конецъ, приглашеніе въ обѣду у Леберановъ возбудило вопросъ о туалетѣ, который поглощалъ вниманіе всѣхъ дамъ въ теченіе цѣлой недѣли.

II.

Наступилъ четвергъ, день званого обѣда. М-мъ Леберанъ просила пріѣхать какъ можно раньше, такъ что пришлось тронуться въ путь уже съ четырехъ часовъ. Коляска подвигалась въ яркомъ солнечномъ свѣтѣ, среди свѣжихъ придорожныхъ травъ, съ декораціей разбросанныхъ группъ деревьевъ, закутанныхъ въ зеленые мѣха густой листвы. Широкія полосы тѣней на переднемъ планѣ, далѣе желтыя поля, блѣдныя контуры холмовъ—и все вокругъ насыщено яркою лазурью небеснаго фона. Въ переднемъ экипажѣ ѣхали м-мъ Дюгамель съ м-мъ Делафонъ, въ другомъ—м-мъ Гюдъ, Алиса и Дюгамель. Молодые женщины были восхитительны въ своихъ изящныхъ туалетахъ и въ своемъ возбужденіи пріятной новизны. Сидя на передней скамейкѣ напротивъ тещи и Алисы, Дюгамель жадно искалъ глазами, на чемъ бы остановиться среди этой шири, лишь бы не упиваться близостью любимой дѣвушки. Его блуждающіе взоры сопровождались блуждающей рѣчью, точно мимолетнымъ, талантливымъ эскизомъ съ натуры. Алиса же сама не знала, вслушиваясь въ знакомые звуки дорогого голоса,—природа ли пробуждаетъ красоту въ ея душѣ, душа ли Дюгамеля создаетъ красоту этихъ лицъ неба и земли, взаимно отражающихъ другъ друга и отраженныхъ въ ея восторженномъ существѣ.

М-мъ Гюдъ, сіяя веселостью старухи, пользующейся всевозможнымъ комфортомъ и перспективою выходящаго изъ ряда удовольствія—въ обществѣ миллионеровъ и аристократовъ, съ блескомъ роскошныхъ туалетовъ и великосвѣтскихъ манеръ, вставляла по временамъ кисло-сладкія фразы дешевыхъ восторговъ.

Между тѣмъ коляска уже покатились по землямъ Нанкуръ. М-мъ Дюгамель вдругъ повернулась къ ѣхавшему за ней экипажу и, указывая рукой на лѣса, фермы, поля, плетни и каменную ограду парка,—вскричала издали:

— Все это имъ принадлежитъ!

М-мъ Гюдъ продолжала въ томъ же тонѣ:

— Восемьсотъ гектаровъ земли!

Объ онѣ, подчеркивая чужое богатство, какъ будто старались выказать сравнительное ничтожество ихъ мужа и зятя.

Онѣ точно упивались могуществомъ этихъ милліоновъ съ восхищенною завистью.

Дюгамель смотрѣлъ на жену. Прехорошенькая въ своемъ возбужденіи, она казалась ему въ эту минуту просто отталкивающей. Онѣ предугадывалъ въ ней низкое созданіе, готовое продать себя этому міру, столь далекому отъ всего, что мыслить и что любить. Деньги! И онѣ подумалъ объ Иисусѣ, подозрѣвавшемъ Иуду, потому что его слишкомъ занимали деньги.

Преисполненный горечи, онѣ взглянулъ на Алису. Она неопредѣленно улыбалась словамъ матери и дочери. Дюгамель подумалъ: „Почти всѣ люди цѣнятъ богатство выше нравственной стоимости. Это мрачное рабство объясняется множествомъ сложныхъ причинъ, и невозможно даже никого обвинять въ этомъ; остается только констатировать ихъ безсовѣстность... Лучше умереть Алисѣ, чѣмъ соблазниться деньгами!“

И вдругъ имѣ овладѣлъ припадокъ ревности; онѣ представилъ себѣ Алису улыбающеюся какому-нибудь милліонеру или маркизу, очарованною блескомъ этихъ милліоновъ или же титула. И онѣ сказалъ громко, съ презрѣніемъ:

— Я считаю просто низостью пользоваться значеніемъ, основаннымъ лишь на богатствѣ и на происхожденіи, на какихъ бы то ни было пустыхъ, поверхностныхъ отличіяхъ.

Онѣ при этомъ снова взглянулъ на Алису; но м-мъ Гюдъ почувствовала себя обиженной, хотя она сама не владѣла ни титуломъ, ни милліонами, ни даже аристократическою важностью. Она была только однимъ изъ голосовъ, создающихъ іерархію, и она возмущалась.

— Нельзя же такъ строго къ этому относиться, — сказала она. — Возвышенныя натуры встрѣчаются во всѣхъ сословіяхъ и условіяхъ. Обвинять поголовно всѣхъ титулованныхъ людей не вѣжески и особенно достойнымъ, ни милосерднымъ.

Дюгамель прекрасно понималъ эти лицемерныя слова, произносимыя обыкновенно въ защиту социальнаго порядка, будто бы, во имя добродѣтели, совершенно упускаемой изъ виду въ подобныхъ случаяхъ.

— Вы правы, — отвѣчалъ онѣ, — но все-таки я остаюсь при своемъ мнѣніи, принадлежащемъ, впрочемъ, и всѣмъ тѣмъ людямъ, которые могутъ хладнокровно судить „избранниковъ сего міра“ и взвѣшивать ихъ личность... людямъ, убѣжденнымъ въ существованіи предметовъ повыше и поблагороднѣе богатства и внѣшняго значенія.

Произнося эти слова, онѣ вопрошалъ упрямымъ взглядомъ

Алису. Поняла ли она этотъ вопросъ, повиновалась ли она его неотразимому влиянію, но она произнесла въ полголоса:

— Это вѣдь, кажется, Конфуціево изреченіе: „человѣкъ болѣе низменный занимается дѣлами; болѣе возвышенный—законами“.

— Да, да! — подтвердилъ онъ горячо.

— Но,—сказала м-мъ Гюдь,—законы не могутъ же быть отдѣляемы отъ дѣлъ—иначе рѣшенія судовъ никого бы не удовлетворяли.

Дюгамель и Алиса улыгнулись при этой смѣшной игрѣ словъ. Законы, подразумеваемые Конфуціемъ, приспособленные вдругъ къ обязанностямъ нашихъ судебныхъ чиновниковъ,—давали такой точный образъ понятій м-мъ Гюдь, что ни тотъ, ни другой не сочли возможнымъ продолжать пренія въ этомъ духѣ.

Они вѣхали черезъ открытыя рѣшетчатые ворота на обширный дворъ, весь раззолоченный солнечнымъ свѣтомъ, разостланнымъ по желтому песку, къ маленькому элегантному подъѣзду направо.

Большой и свѣжій домъ былъ построенъ изъ свѣтлаго „мелничнаго камня“. Желая придать ему видъ аристократическаго дворца, Лебераны намѣревались къ нему пристроить еще два боковыя крыла съ башенками, но въ половинѣ работъ они отступили отъ своихъ плановъ, устранившись значительныхъ расходовъ. Это вызвало шутку ихъ сосѣдей, Библѣ, что „Либераны отбивались лишь однимъ крыломъ“. Несмотря, однакоже, на это, смѣшной, неправильный домъ съ однимъ длиннымъ крыломъ въ центрѣ большой лужайки, въ тѣни старыхъ, великолѣпныхъ деревьевъ, съ прекрасными цвѣтниками, казался все-таки величественнымъ и презентабельнымъ. Это вполнѣ удовлетворяло всѣхъ знающихъ о настоящихъ размѣрахъ богатства Леберановъ.

М-мъ Гюдь и м-мъ Дюгамель входили въ эту дверь съ радостнымъ трепетомъ; м-мъ Делафонъ и Алиса слѣдовали за ними равнодушно; Дюгамель же испытывалъ тягостное чувство, свойственное страсти, при каждомъ новомъ обстоятельстве, могущемъ повліять на нее неизвѣстнымъ образомъ. Съ грудью, полною подавленныхъ вздоховъ, слѣдовалъ онъ за прелестной фигурой молодой дѣвушки. Лакей-грумъ молодого Леберана провелъ ихъ въ гостиную.

М-мъ Леберанъ, сидѣвшая въ креслахъ у камина, гдѣ она проводила почти цѣлые дни, приподнялась на встрѣчу гостямъ. Она съ вычурною любезностью обратилась къ „маркизъ де-ла-Фонъ“ и къ м-ль Нормануаръ, и гораздо безцеремоннѣе—къ Дюгамелямъ и м-мъ Гюдь.

Все вокругъ нея свидѣтельствовало о скупой и низменной натурѣ. Гостиная, если не принимать во вниманіе ея большихъ размѣровъ, показалась бы вульгарной даже провинціальному портѣ. Узоры обоевъ—сѣрые на сѣромъ фонѣ съ черною каймой. Три плохихъ портрета временъ Людовика XVI—украшали голыя стѣны. Два большихъ дивана самой заурядной формы, покрытые безвкуснымъ кретономъ, занимали одну изъ стѣнъ этой обширной комнаты; подъ другою—нѣсколько креселъ временъ третьей имперіи, обтянутыхъ той же дешевой матеріей. Этажерка съ сомнительными рѣдкостями, унаслѣдованными м-мъ Леберанъ отъ ея отца, нотариуса въ Камбрѣ, и нѣсколько книгъ въ родѣ: „L'Annuaire de châteaux de France“, „La Revue de Deux Mondes“, а также громадная, безобразная и дешевая ваза — дополняли „чистый стиль“ безвкусія этой гостиной. Еслибы не красивыя растенія, нѣсколько оживлявшія этотъ мертвенный домъ, — глазамъ не на чемъ было бы остановиться.

М-мъ Делафонъ и Алиса были подавлены отвратительностью обстановки этихъ скупцовъ-милліонеровъ. Все было здѣсь истрепанное, попорченное и обветшалое; даже прелести нѣкоторыхъ обновокъ здѣсь не было замѣтно. Алиса ужаснулась при видѣ узкой полосы стараго, истрепаннаго, простого коврика, наивно разостланнаго передъ каминомъ.

Дюгамель входилъ въ этотъ залъ съ тѣмъ же грустнымъ удивленіемъ, какъ и во всѣ предыдущіе годы, представляя себѣ жалкій умственный уровень этихъ богачей, владѣющихъ своимъ имуществомъ какъ чѣмъ-то отвлеченнымъ—безъ малѣйшаго побужденія украсить и возвысить свою жизнь.

Этой бѣдности обстановки соотвѣтствовала еще въ большей степени скудость стремленій, жалкія притязанія поддержать свой престижъ путемъ самыхъ необходимыхъ свѣтскихъ приличій. Они заботились о возможно меньшемъ числѣ обѣдовъ со строго рассчитаннымъ числомъ блюдъ, о самомъ топорномъ ремонтѣ или перестройкѣ, о самыхъ глупыхъ претензіяхъ воображаемаго шика—лишь для поддержки связей съ мѣстною знатью. Отсюда вдругъ появлялись новые обои или же новая меблировка какого-нибудь маленькаго кабинетика въ стилѣ Людовика XVI, или же, наконецъ, начинало строиться пресловутое „крыло“, — затѣмъ слѣдовалъ паническій страхъ передъ лишнимъ „большимъ“ расходомъ и мгновенное прекращеніе работъ. Присутствіе въ Нанкурѣ рѣдкихъ цвѣтовъ и растеній, оранжерей и садовниковъ, объяснялось также лишь тѣмъ, что всѣ люди съ ихъ средствами и положеніемъ позволяли себѣ подобныя затѣи.

Послѣ нѣсколькихъ минутъ банальнаго разговора, м-мъ Леберанъ предложила гостямъ прогулку по саду и парку. Было только пять часовъ; ранѣе шести никого не ожидали къ обѣду.

М-мъ Леберанъ, взявъ подъ руку м-мъ Делафонъ, повела своихъ гостей, холодно принимая льстивую угодливость не отлучавшихся отъ нея м-мъ Дюгамель и м-мъ Гюдъ. Въ солнечныхъ просвѣтахъ тѣнистаго парка — совсѣмъ жалкою казалась фигура владѣлицы помѣстья въ поношенномъ, безвкусномъ платьѣ, — въ виду серьезной красоты м-мъ Делафонъ съ ея прелестнымъ, грустнымъ лицомъ, рядомъ съ благороднымъ силуэтомъ Алисы, и элегантной привлекательностью хорошенькой м-мъ Дюгамель.

Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ дома они встрѣтили Леберана, одѣтаго въ коричневую бархатную пару, рослаго, тяжелаго мужчину, съ грубыми чертами, съ голубыми глазами, лишенными всякаго блеска, здоровымъ цвѣтомъ лица — и всей топорной фигурой, дышащей физическою силою. Происходя изъ мелкой буржуазіи, онъ былъ всецѣло поглощенъ величіемъ своего богатства. Онъ дѣлалъ большія усилія надъ собою, чтобы не говорить безпрестанно объ этомъ богатствѣ, — и страхъ лишь показаться смѣшнымъ „рагвену“, какъ не разъ его предупреждала семья, заставляя его удерживаться отъ разныхъ кичливыхъ выходокъ. Онъ съ удовольствіемъ купилъ бы себѣ титулъ, еслибы ему не мѣшала та же боязнь насмѣшекъ и притомъ довольно крупная издержка. Зато онъ вознаграждалъ себя, въ качествѣ отъявленнаго роялиста, дикою ненавистью къ республикѣ и республиканцамъ и носилъ даже трауръ со всѣмъ своимъ семействомъ по Генрихѣ V-мъ. Этотъ жалкій человѣкъ былъ мэромъ своей общины съ тремя сотнями душъ, — и въ этомъ заключалась вся его общественная дѣятельность. Онъ, правда, усидчиво дремалъ въ своей мэрской пріемной — и этимъ исчерпывались его административныя снособности. Въ концѣ концовъ, онъ символизировалъ собой типъ миллионера, вошедшаго въ связи съ родовой аристократіей, существа безъ всякой будущности, раба собственнаго богатства, — человѣка, въ сущности, съ мѣньшимъ значеніемъ въ обществѣ, чѣмъ даже рабочій, раскалывающій камни по большимъ дорогамъ.

Гордость отражается на этомъ грубомъ лицѣ, и когда жена произноситъ фамилію маркизы де-ла-Фонъ и м-ль де-Нормануаръ, онъ наклоняетъ низко голову, по примѣру маркизовъ, сгибающихся въ изящныхъ поклонахъ передъ герцогинями на разныхъ картинахъ и картинкахъ; но зато съ какой небреж-

ной холодностью привѣтствуетъ онъ супруговъ Дюгамель и м-мъ Гюдь!

Алиса скрывала насмѣшливую улыбку, слѣдуя за надутымъ владѣльцемъ Нанкура, ведшимъ впередъ гостей по прекрасному саду и парку. Роскошныя и рѣдкія породы фруктовыхъ деревьевъ поражали своимъ изобиліемъ и красотой, напоминая сантиментальныя эстампы съ пастушками, застигающими спящихъ пастушекъ среди баснословной, райской зелени.

Они любовались превосходнымъ полемъ земляники, когда къ нимъ подошелъ молодой человѣкъ лѣтъ двадцати-восьми—тридцати, такъ же крѣпко сложенный, такой же широкоплечій и здоровый, такой же груболицый, какъ и Леберанъ, одѣтый въ нѣсколько поношенный шевіотовый костюмъ. Легко въ немъ было узнать единственного сына хозяина, Кловй. На его губахъ вѣчно видѣлась насмѣшливая улыбка. Онъ еще ревностию отца вель точный счетъ своимъ богатствамъ, не забывая о нихъ ни на минуту и не теряя случая принизить людей со скромными доходами.

Судя по небрежному туалету отца и сына, м-мъ Делафонъ предположила, что они любители садоводства и принимаютъ въ немъ личное участіе, и она сказала молодому человѣку:

— Любуясь вашимъ прекраснымъ садомъ, легко можно догадаться, что вы и сами въ немъ работаете съ любительскою ревностью.

Кловй саркастически засмѣялся. Титулъ маркизы не защитилъ м-мъ Делафонъ ни отъ нахальнаго взгляда, ни отъ насмѣшливаго отвѣта:

— Могу васъ увѣрить, что нога моя почти въ немъ не бываетъ,—въ особенности же къ нему не прикасается моя рука, которой я вовсе не намѣренъ пачкать работой. На то у насъ есть садовники.

— Но это вѣдь чудесное занятіе, — возразила Алиса.

Онъ вздернулъ слегка плечами, и по этому пренебрежительному жесту можно было догадаться, что онъ превосходно знаетъ о сравнительной бѣдности молодой дѣвушки. Онъ засмѣялся на этотъ разъ еще грубѣе и нахальнѣе и отвѣчалъ:

— Да, конечно, для нѣкоторыхъ людей.

— Для нѣкоторыхъ королевъ,—вмѣшался, весь вспыхнувъ, Дюгамель.

Кловй не сразу отвѣчалъ, такъ какъ онъ былъ крайне необразованъ и боялся показаться смѣшнымъ; но все-таки онъ прекрасно зналъ, что въ свѣтѣ, къ которому онъ принадлежитъ, безусловно презирается ручной трудъ.

Поэтому онъ отвѣчалъ съ убѣжденіемъ:

— Да, по странному только капризу, быть можетъ... Но мы съ отцомъ вообще не капризны—и мы ненавидимъ трудъ.

М-мъ Дюгамель и м-мъ Гюдъ смотрѣли на него съ восхищеніемъ. Имъ казалось вполне естественнымъ такое презрѣніе ко всему, что не находилось въ связи съ богатствомъ и наслажденіемъ жизнью; Дюгамель же почувствовалъ странный холодъ въ вискахъ и ушахъ. Онъ былъ блѣденъ, Алиса также. Но м-мъ Делафонъ, которую односторонняя печаль не разъ совершенно отрывала отъ дѣйствительности, мечтательно проговорила:

— Ухаживать за садомъ, воспитывать дитя—это лучшая мечта женщины...

— Неужели? — воскликнула м-мъ Леберанъ.—Во всякомъ случаѣ, это не моя мечта, могу васъ увѣрить. Это можетъ быть только желаніемъ человѣка, примиреннаго съ самой скромной дѣйствительностью...

М-мъ Делафонъ взглянула съ удивленіемъ на эту неказистую, плохо одѣтую женщину, осмѣливавшуюся унижать большую часть человѣчества какимъ-то королевскимъ презрѣніемъ. Она хотѣла было отвѣчать, но ея склонность къ грусти взяла верхъ. Вся покраснѣвъ отъ усилія подавить въ себѣ чувство обиды при рѣзкомъ нападеніи на страстную мечту ея жизни, она тоскливо замолчала.

— Такъ что же вы дѣлаете, въ концѣ концовъ?—спросила съ невольной вспыльчивостью Алиса, обращаясь къ молодому чловѣку.

— Я полагаю, ничего,—отвѣчалъ за него со своимъ грубымъ смѣхомъ отецъ.—Что, собственно, хотите вы, чтобы онъ дѣлалъ?

— Но вѣдь существуетъ же политика, наука, литература, всевозможныя умственные занятія. Мало ли что, въ концѣ концовъ, могло бы найтись для интеллигентнаго чловѣка!

Всѣ Лебераны готовились разразиться. Кловъ отвѣчалъ за всѣхъ:

— Вотъ это вы хорошо сказали, мадемуазель: для *интеллигентнаго* чловѣка. Этимъ словомъ маскируются и пользуются нынче всѣ сильно нуждающіеся люди—это ихъ жалкій лозунгъ... Въ нашемъ же мірѣ относятся съ равнымъ отвращеніемъ къ „интеллигенту“, какъ и къ печнику; это для насъ все равно.

Трое кичливыхъ богачей сплотились между собою, преисполненные вызывающей дерзости. Они смотрѣли съ ненавистью на трехъ красивыхъ, прелестно одѣтыхъ женщинъ, на возмущенное,

гордое лицо Дюгамеля. Въ первую минуту, онъ готовъ былъ бросить имъ въ лицо отвѣтное оскорбленіе; потомъ онъ сообразилъ всю бесполезность такого взрыва, и представилъ себѣ радостное торжество этого сброда, если онъ разразится гнѣвомъ. Его взглядъ потухъ, и на губахъ показалась тонкая улыбка.

— По моему мнѣнію, это, конечно, все равно, — сказалъ онъ. — Я уважаю печника и „интеллигента“, если и не совсѣмъ въ равной мѣрѣ, то все-таки однимъ и тѣмъ же родомъ уваженія.

И онъ прибавилъ со спокойной кротостью:

— Я полагаю, впрочемъ, что никого не слѣдуетъ презирать, кромѣ людей безчестныхъ и... глупцовъ.

И произнося эти слова, онъ глядѣлъ прямо въ глаза Кловй Леберана. Алиса покраснѣла отъ удовольствія; жена же и теща Дюгамеля, принимая сторону молодого Леберана, ужаснулись, въ ожиданіи возможнаго взрыва. Но Лебераны не могли никоимъ образомъ оскорбиться, не признавъ себя въ такомъ случаѣ глупыми.

М-мъ Леберанъ только возразила:

— Мы раздѣляемъ мнѣніе Брюнетьера: мы, наравнѣ съ нимъ, не вѣримъ въ прогрессъ науки. Мы должны быть вполне удовлетворены одними лишь религіозными чувствами. Я ничего болѣе не желаю для своего сына, какъ полноты религіозныхъ вѣрованій и исполненія имъ сословныхъ обязанностей. Книги развиваютъ лишь лживость и сомнѣніе. Кловй совсѣмъ не читаетъ, не думая сдѣлать изъ этого никакого употребленія...

— О, да! Онъ въ этомъ совершенно правъ! — воскликнула насмѣшливо подзадоренная Алиса.

Родители-Лебераны не поняли намека; молодой же человѣкъ весь покраснѣлъ отъ гнѣва; но онъ былъ настолько ознакомленъ со свѣтскими приличіями, чтобы отложить свою месть до будущихъ временъ. Онъ даже любезно предложилъ свою руку молодой дѣвушкѣ, и они продолжали прогулку.

Миновавъ первую ограду, они очутились на возвышенности, откуда открывался видъ на обширныя владѣнія Нанкура. Видъ былъ великолѣпный. Солнце садилось — этотъ неисчерпаемый золотой потокъ жизни, въ столкновеніи съ которымъ возбуждается разнообразнѣйшая энергія земныхъ силъ. Оно озаряло послѣдними лучами шелковисто-зеленую ткань луговъ, блестящіе пески, точно массы разсыпанныхъ булавокъ, рядомъ съ черною полосой пашенъ, точно траурной креповой каймой; озаряло пеструю отъ рѣдкихъ тѣней и свѣтлыхъ пятенъ листву и стволы де-

ревьевъ, точно перерѣзанныхъ пополамъ, съ золотымъ низомъ и пепельнымъ верхомъ. Солнце медленно удалялось, пробуждая цвѣта, дремлющіе въ прозрачныхъ тѣлахъ, создавая невиданные оттѣнки на поверхности окружающихъ предметовъ. И все это мало-по-малу объединялось, сливалось въ величественномъ прощальномъ объятіи свѣтила: лужайки и рощи, поля и дороги, холмы и облака...

Но часъ обѣда приближался. Дюгамель и Алиса, одни лишь вкушавшіе дивное очарованіе этой божественной природы, сплетавшейся съ божественностью ихъ любви, должны были оторваться отъ своего тихаго созерцанія. На возвратномъ пути Лебераны старались быть чрезвычайно любезными хозяевами, но разговоръ ихъ вращался преимущественно около ихъ велико-свѣтскихъ отношеній; громкія фамиліи владѣльцевъ замковъ не сходили съ ихъ губъ, также какъ и упоминаемыя ими, будто бы невзначай, названія ихъ собственныхъ земель и угодій. Сынъ былъ по прежнему насмѣшливъ и дерзокъ, но въ то же время и робокъ, какъ школьникъ, при каждомъ болѣе сложномъ оборотѣ разговора.

Безполезность мышленія при богатствѣ казалась имъ столь же естественной, какъ и безполезность труда. Когда Дюгамель, со свойственной ему убѣжденностью и простотой, высказывалъ которую-нибудь изъ своихъ отвлеченныхъ гипотезъ о природѣ и существѣ бытія, отецъ и сынъ дипломатически молчали; одна м-мъ Леберанъ протестовала какою-нибудь мелочною выходкою. Было очевидно, что она считала нѣкотораго рода посягательствомъ на ея собственныя владѣнія такіе необыкновенные взгляды на природу ея помѣстья, на ея деревья, ея луга, облака, носящіеся надъ ними, животныхъ и птицъ, наполняющихъ ихъ жизнью. По ея мнѣнію, единственнымъ назначеніемъ этихъ растений было ростъ и процвѣтать въ ея пользу, животныхъ—летать, бѣгать и множиться лишь для ея удовольствія и употребленія. И даже самая мысль, что кто-либо могъ лучше ея знать весь этотъ мѣстный міръ,—ея, счастливой его обладательницы,—была ей невыносима.

Приближаясь къ дому, они увидѣли м-мъ Бардомъ съ ея мною, Шарлемъ, вѣзжавшую въ ворота въ элегантномъ шарабанчикѣ, запряженномъ осломъ. Бросивъ возжи маленькому оруму, она пошла навстрѣчу къ нимъ. Сынъ ея, высокій, худощавый юноша, съ тонкими чертами лица и золотистыми волосами, напоминалъ молоденькаго англійскаго аристократа. Ласки матери, ея умѣнье привлекать всѣхъ къ себѣ, поддерживали тѣс-

ную связь этихъ двухъ существъ. Прелесть этой женщины, ея наружность, туалетъ, полный вкуса, мягкія, граціозныя словечки и милыя движенія, въ одинъ мигъ измѣнили натянутую атмосферу небольшого общества. Улыбки показались на деревянныхъ лицахъ Леберановъ; даже Кловй, не выказавшій особенной привѣтливости при ея видѣ, выразилъ на своемъ лицѣ какое-то почти животное довольство. Всѣ почувствовали себя какъ-то успокоенными. Однакожъ Дюгамель замѣтилъ, что разговоръ, вмѣсто того чтобы оживиться, скорѣе замеръ: болѣе величія и интереса — въ тяжелыхъ впечатлѣніяхъ войны, чѣмъ въ пріятной атмосферѣ мира.

М-мъ Бардомбъ вносила съ собою все то, что называютъ, обыкновенно, тактомъ и вкусомъ, и что въ дѣйствительности есть не что иное, какъ извѣстная рутина въ мысляхъ и чувствахъ болѣе посредственныхъ и ограниченныхъ натуръ. Искусно отстраняя всѣ новыя, болѣе сложныя идеи, такія личности мѣшаютъ каждой смѣлой мысли взлетать выше начертаннаго уровня, хотя и не допускаютъ его пониженія какими-нибудь жалкими выходками. Въ этомъ отношеніи онѣ еще болѣе Леберановъ, не совсѣмъ порѣшившихъ со свѣжей традиціей своего ремесленно-промышленнаго обогащенія, являются представителями крупной праздной буржуазіи или даже, скорѣе, довольно дѣятельной и дѣловитой въ сферѣ собственныхъ удобствъ и наслажденія жизнью.

III.

Послѣ краткаго разговора на лужайкѣ передъ домомъ при сгущавшихся сумеркахъ и умолкавшемъ щебетаніи птицъ, общество возвратилось въ залъ; безобразіе этой безвкусной и даже жалкой гостиной смягчалось бархатисто-сѣрыми волнами полу-мрака, придававшего нѣкоторую прелесть обширной комнатѣ съ исчезнувшей въ темнотѣ ея безобразной обстановкой.

Лебераны прекрасно себя чувствовали въ обществѣ м-мъ Бардомбъ и ея сына. Оживленный разговоръ сосредоточился исключительно на общихъ знакомыхъ, сосѣдяхъ и родственникахъ, на воспоминаніяхъ объ охотахъ, скачкахъ и т. д. М-мъ Дюгамель и м-мъ Гюдъ принимали въ немъ нѣкоторое участіе; что же касается до Дюгамеля, Алисы и м-мъ Делафонъ, то предметы этой болтовни были имъ совершенно чужды. По временамъ, желая имъ напомнить объ ихъ „ничтожествѣ“, Кловй ихъ спрашивалъ о де-Нуартье, Бондескю, Тайльферъ, Фитюдо, но онъ никогда не получалъ удовлетворительнаго отвѣта.

— Такъ маркизь де-ла-Фонъ совсѣмъ не знакомъ со своими родственниками?—спросилъ онъ съ дерзкою улыбкой.

— У моего мужа есть несомнѣнно основательныя причины знать или не знать своихъ родственниковъ, — сухо отвѣчала м-мъ Делафонъ.

Наконецъ, скучный разговоръ былъ прерванъ появленіемъ де-Розбеллей, Библѣ, де-Фитюдо, Деларбровъ.

Де-Розбелли пріѣхали со своимъ сыномъ. Они принадлежали къ самой изысканной французской аристократіи; отецъ и сынъ высокаго роста, съ элегантными манерами, старшій плотнаго тѣлосложенія, младшій тонкій и стройный; мать—маленькая, полная женщина, съ лоснящейся кожей, изъѣденной косметиками, и черными, приглаженными космами волосъ. Единственной задачей жизни этихъ аристократовъ былъ бракъ ихъ сына на богатѣйшей наслѣдницѣ, который могъ бы поправить ихъ дѣла, разстроенныя двойною роскошью жизни—въ замкѣ Доминаль, въ провинціи, и въ прекрасномъ парижскомъ отелѣ близъ Елисейскихъ Полей.

Библѣ происходили изъ буржуазіи, но изъ крупнѣйшей буржуазіи, нажившейся съ давнихъ временъ и окруженной особымъ почетомъ среди высшихъ финансовыхъ сферъ. До сихъ поръ, вѣрные традиціямъ своего рода, они владѣли еще нѣсколькими фаянсовыми заводами, первоначальными источниками ихъ богатства. Отецъ—умный и симпатичный человѣкъ. Овдовѣвъ очень рано, онъ не могъ утѣшиться послѣ смерти горячо любимой жены; но, желая продолженія своего рода и чувствуя недостатокъ въ хозяйкѣ и въ почетной управительницѣ-владѣлицѣ своего пышнаго дома, онъ рѣшился съ большимъ трудомъ на вторичный бракъ. Онъ предупредилъ откровенно свою вторую жену, что, кромѣ блестящаго положенія и роскошной жизни, онъ ничего ей предложить не можетъ, и она легко примирилась съ такими условіями. Ея существованіе было заполнено ревностнымъ и нетруднымъ представительствомъ и управленіемъ своими замками—и всевозможными наслажденіями изысканной жизни великосвѣтской милліонерши. Ея наружность высокой, полной брюнетки дышала довольствомъ. Сыновья Библѣ пережились на представительницахъ лучшихъ аристократическихъ родовъ, согласно исконному идеалу буржуазіи; но зато дочь довольствовалась избранникомъ изъ своего сословія, человѣкомъ очень остроумнымъ, интеллигентнымъ и много занимающимся дѣлами фирмы Библѣ. Его звали Деларбръ.

Ихъ громадное и давнее богатство, постоянная преданность

вѣрѣ и роялизму—еще до заключенія родственныхъ связей со знатью—соединили ихъ тѣсными связями съ аристократическими фамиліями. Несмотря на то, что въ минуты зависти или досады аристократы вспоминали ихъ мѣщанское происхождение или же называли ихъ продавцами фаянса,—вступленіе ихъ въ заповѣдную сферу было, въ концѣ концовъ, признано; послѣ же аристократическихъ браковъ эта связь стала наслѣдственною, и положеніе Библѣ въ высшемъ обществѣ окончательно и просто установлено. Они представляли лучшій примѣръ проникновенія свѣжаго, мощнаго элемента буржуазіи въ слабѣющій высшій классъ,—элемента, обновляющаго въ то же время силы высшей коммерціи и крупнѣйшей промышленности. По отношенію къ Леберанамъ они охотно принимали манеру знати, безпощадно насмѣхаясь надъ ихъ скупостью и самодурствомъ и даже позволяя себѣ разныя злыя мистификаціи. Такъ, на примѣръ, однимъ изъ молодыхъ Библѣ была продана Кловй Леберану весьма плохая лошадь, побѣдившая, будто бы, нѣкогда на скачкахъ,—по очень дорогой цѣнѣ. Но Кловй, боясь насмѣшекъ, предпочелъ молча перенести обиду, несмотря на рану, нанесенную его скупому сердцу.

Бѣдная „маркиза“ де-ла-Фонъ и ея сестра сдѣлались предметомъ общаго любопытства. Окруженные со всѣхъ сторонъ маркизами де-Фитюдо, Деларбрами и Леберанами, онѣ не успѣвали отвѣчать на обращаемые къ нимъ вопросы. Ихъ генеалогическое дерево, издавна уже ими забытое, выросло вдругъ снова съ необывалою пышностью. Онѣ оказались родственницами фамилій: Ла-Рошфуко, д'Атиль, де-Фитюдо и де-ла-Круа д'Энэ. Онѣ всѣмъ отвѣчали съ едва примѣтной ироніей, удивляясь такому большому числу родственниковъ и своей принадлежности къ старшей, особенно „благородной“ линіи.

М-мъ Дюгамель и м-мъ Гюдъ, совершенно подавленные общимъ презрительнымъ невниманіемъ, видя возрастающимъ съ каждою минутой значеніе своихъ друзей,—болѣе радовались надеждѣ проникнуть, благодаря этой дружбѣ, въ закрытые до сихъ поръ передъ ними салоны знати, чѣмъ завидовали ихъ крупному успѣху.

Между тѣмъ де-Фитюдо продолжали надоедать Алисѣ своимъ односторонне-скучнымъ разговоромъ, оскорбляя самыя деликатныя ея чувства и не замѣчая ея холодности и нетерпѣнія. Старшій маркизъ де-Фитюдо былъ, притомъ, однимъ изъ самыхъ смѣшныхъ типовъ комедіи. Его комическія выходки были всѣмъ извѣстны. Недавно онъ встрѣчалъ новобрачную невѣстку, при возвращеніи молодой четы изъ свадебнаго путешествія, передъ подъѣздомъ

своего зѣмка, напыщенною рѣчью объ ея обязанности по отношенію къ мужу и его отцу, носителямъ великаго имени,—не забывшая перешептыванія и смѣха собравшейся прислуги. Какова была жизнь бѣдной молодой женщины—между скупымъ гордецомъ тестемъ и грубымъ, смѣшнымъ, мало-воспитаннымъ мужемъ—можно себя представить. Быть можетъ, впрочемъ, молодая маркиза находила нѣкоторую отраду въ обществѣ матери мужа, добродушной маленькой женщины съ далеко не аристократической наружностью. Старая маркиза выѣшлась въ разговоръ чрезвычайно рѣзкимъ и громкимъ голосомъ, точно надорвавшийся колокольчикъ.

— Да, да, дорогая м-ль де-Нормануаръ, мы съ вами, кромѣ того, родственницы и по женской линіи. Сестра моей родной бабушки, м-ль де-Мэгрфиль, была замужемъ за Шарлемъ Нормануаръ!..

При этомъ м-мъ Деларбръ, урожденная Библѣ, проговорила за спиной де-Фитюдо, шутливо закрывая себя уши и улыбаясь Алисъ:

— О, не говорите такъ громко,—ваша почтенная бабушка услышитъ васъ изъ нѣдръ своей могилы.

— Отчего бы ей этого не слышать? — возразилъ маркизъ, не понявшій, въ чемъ дѣло.

Алиса этимъ воспользовалась, чтобы избавиться отъ Фитюдо и Леберановъ и обратиться къ м-мъ Деларбръ, привлекавшей ее красивой наружностью и умнымъ выраженіемъ лица. Одѣтая съ обаятельною роскошью, слегка картавящая, что придавало ей рѣчи особую дѣтскую прелесть, несмотря на нѣкоторую склонность къ насмѣшливости и колеости,—она очень нравилась Алисъ. Онѣ сначала весело болтали, какъ двѣ элегантныя молодыя женщины, объ изящныхъ капризахъ моды и шика, о туалетахъ и матеріяхъ. Но мало-по-малу онѣ перешли къ театрамъ, искусству и литературѣ, съ крупными представителями которыхъ м-мъ Деларбръ была очень недурно ознакомлена, обладая при этомъ врожденнымъ вкусомъ. Въ свою очередь, молодая женщина была поражена оригинальностью сужденій Алисы и ея изощренностью, какъ въ легкомъ мірѣ моды и шика, такъ и въ серьезныхъ вопросахъ, тѣмъ болѣе, что изъ мѣстной хроники она уже знала, что молодая дѣвушка бѣдна. Онѣ болтали съ особеннымъ оживленіемъ пансіонерокъ, встрѣтившихъ неожиданно „новую подругу по вкусу“, въ особенности м-мъ Деларбръ, которая сильно заинтересовалась пикантной новизной оригинальнаго ума Алисы,—когда къ нимъ подошелъ красивый молодой чело-

вѣкъ, лѣтъ тридцати-пяти—сорока, и повелонился м-мъ Деларбръ. Она ему протянула руку.

— Маркизь д'Эскруа,—представила она его Алисъ,—м-ль де-Нормануаръ.

— М-ль де Нормануаръ,—сказалъ маркизь,—я имѣю честь быть хорошо знакомымъ съ вашей тетусшкой, графиней де-Рокуръ.

— Вы въ этомъ отношеніи счастливѣе меня, — отвѣчала Алиса.

Маркизь смотрѣлъ на нее съ тою неуловимою, но несомнѣнной дерзостью, которая такъ ловко покрывается неподвижностью маски свѣтской знати. Это былъ извѣстный побѣдитель сердецъ. Разоренный двадцати лѣтъ отъ роду безумной расточительностью своего отца, онъ испыталъ горькую нужду и скучный тяжелый трудъ чуть ли не мелкаго чиновника въ одномъ изъ крупныхъ административныхъ бюро.

Невольныя сношенія со скромною буржуазной средой, вечера, проводимые въ недорогихъ кафѣ, скромныя женщины, искренно его любившія не изъ-за денегъ и не изъ-за титула, вызывавшія и съ его стороны нѣсколько отвѣтныхъ искреннихъ чувствъ, единственнаго платежа, находившагося въ его власти—все это преобразило кровнаго по происхожденію и привычкамъ аристократа въ совсѣмъ особеннаго въ своемъ кругу человѣка. Эти нѣсколько лѣтъ лихорадочной дѣятельности способствовали его умственному развитію, заставляя его много учиться и читать, чтобы пробить себѣ дорогу, выйти изъ грустнаго ничтожества, словомъ, посвятить себя всему тому, что въ его свѣтѣ бываетъ презираемо и что теперь сдѣлало его головой выше этого свѣта.

Онъ сдѣлалъ нѣсколько оригинальныхъ замѣчаній о красотѣ весны, о своеобразной прелести окраски майскихъ полей въ сумракѣ нарождающагося вечера и объ усыпляющемъ вліяніи этихъ свѣтовыхъ отбѣнковъ, дѣйствующихъ сильнѣе дневной усталости.

— Это невѣроятно,—сказала, смѣясь, м-мъ Деларбръ,—во всякомъ случаѣ они не усыпляютъ быка; онъ, было, съ яростью устремился ко мнѣ, когда я шла при солнечномъ закатѣ вдоль плетня, одѣтая въ красное платье.

Онъ выпутался изъ затрудненія съ шутливымъ остроуміемъ:

— Сколько мужчинъ оживилось бы при такомъ видѣ!

Потомъ, вдругъ, нѣсколько смѣлыхъ аттакъ ловкаго, веселаго флирта, какъ первый пробный огонь. Онъ зорко наблюдалъ Алису, желая опредѣлить—принадлежитъ ли она къ той категоріи женщинъ, которымъ можно сказать очень многое въ туманѣ улыбокъ и изысканныхъ формъ? По ея тонкой, презрительной усмѣшкѣ и

и небрежно-гордому тону ея отвѣтовъ онъ понялъ, что не туда попалъ. И тотчасъ же, съ необычайной ловкостью и удивительнымъ инстинктомъ, онъ придавъ разговору оттѣнокъ искренней простоты, взгляду же—выраженіе почтительнаго удивленія,—и вскорѣ исчезъ всякій слѣдъ первой неудачи.

Такъ же быстро, какъ понялъ онъ насмѣшливое отношеніе Алисы къ первымъ приемамъ своего флирта, онъ сразу замѣтилъ, какимъ путемъ можетъ привлечь ея сочувственное вниманіе. Онъ создалъ себѣ о ней мгновенное представленіе, какъ о сантиментальной педанткѣ, но это ему не помѣшало восхищаться ея необычайной красотой. Онъ до сихъ поръ любилъ только глухыхъ красавицъ, утверждая, что интеллигентная женщина профанируетъ свою красоту. Но въ этомъ случаѣ всѣ его упрямые теоріи разлетѣлись въ прахъ. Завязать съ Алисой совсѣмъ особенную интригу или, по крайней мѣрѣ, неизвѣданный до сихъ поръ пикантный флиртъ до послѣднихъ предѣловъ возможности—показалось ему чѣмъ-то чрезвычайно заманчивымъ. Въ своемъ пресыщеніи побѣдами онъ даже предпочиталъ первое возбуждающее наслажденіе поцѣлуевъ и трудно дающихся ласкъ полному обладанію.

Онъ считался въ Парижѣ одною изъ самыхъ блестящихъ партій, послѣ полученія громаднаго тридцати-милліоннаго наслѣдства отъ своего овернѣйскаго дяди, чудака, жившаго всегда въ уединеніи. Съ нѣсколькими молодыми товарищами, представителями извѣстныхъ аристократическихъ родовъ, онъ велъ утонченно-расточительную жизнь, не задумываясь расходовать сорокъ тысячъ франковъ на мелочи въ родѣ галстуховъ. Благодаря нѣсколькимъ подобнымъ безумцамъ, всегда создается среди буржуазіи легенда о щедрости и „благородной“ расточительности аристократовъ, которые, напротивъ, отличаются въ общемъ страшною скарденностью.

Д'Эскруа, стоявшій выше всѣхъ своихъ великосвѣтскихъ пріятелей, благодаря своей трудовой молодости, изощрившей его недюжинныя способности, былъ далекъ отъ восхищенія ими. Только желая освободиться отъ своихъ недавнихъ привычекъ бѣдняка, которыхъ онъ стыдился, желая самъ забыть свое прошлое и заставить забыть о немъ другихъ, онъ пустился въ эту ослѣпительно-роскошную жизнь, не находя въ ней особенной прелести. Онъ презиралъ куртизанокъ, всюду ища настоящихъ любовныхъ побѣдъ. Въ предъидущемъ году онъ усиленно ухаживалъ за м-мъ Дюгамель въ образѣ прекраснаго меланхолическаго скептика, до сихъ поръ интереснаго въ глазахъ женщинъ этой категоріи. Но,

встрѣтивъ тогда энергическій отпоръ,—такъ какъ у м-мъ Дюгамель все-таки довольно глубоко вкоренились принципы консервативной добродѣтели ея среды,—онъ отступилъ, не особенно сожалѣя о своемъ пораженіи. Однако съ тѣхъ поръ развращающее вліяніе все сильнѣе и сильнѣе разгоравшихся аппетитовъ молодой буржуазки возымѣло свое прогрессирующее дѣйствіе. Явное ухаживаніе маркиза за Алисой воспламенило въ ней неожиданную ревность. Ревность эта выказалась съ такою ясностью, что когда молодая женщина приблизилась къ ихъ группѣ, маркизу достаточно было одного взгляда, чтобы угадать ея чувства. Ему теперь показалось очень просто сдѣлать м-мъ Дюгамель своей любовницей, что нисколько бы не помѣшало интересному флирту съ Алисой; и онъ дѣйствовалъ одновременно въ двухъ направленіяхъ,—опутывая молодую женщину томными взглядами, выказывая въ бесѣдѣ съ молодой дѣвушкой самыя блестящія стороны своихъ способностей. И надо сознаться, что впечатлѣніе, произведенное имъ на Алису, было довольно лестное. Она была убѣждена, что видитъ передъ собой блестяще одареннаго аристократа, который на многое могъ бы быть способенъ, еслибы ему не мѣшало во всемъ глубоко вкоренившійся скептицизмъ. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, ее шокировали строго опредѣленные взгляды маркиза, которые свидѣтельствовали о порядочной дозѣ его снобизма. И такъ какъ онъ постоянно ее спрашивалъ:—Развѣ вы со мной не согласны?—то она отвѣчала:—Да, я съ вами согласна, но только со всѣмъ съ другой точки зрѣнія.

Между тѣмъ въ обществѣ быстро возросло оживленіе; все чаще и чаще раздавался рѣзкій голосъ маркизы Фитюдо, веселія возраженія м-мъ Деларбръ и Бардомбъ и дерзкій смѣхъ Кюви Леберана, издѣвавшася въ избранномъ кругу пріятелей надъ философскими воззрѣніями м-мъ Делафонъ, по неволѣ примиренной съ бѣдностью женщины. Въ этой средѣ, не знающей ни милосердія внѣ границъ, предписанныхъ религіей, подобно ритуальнымъ церемоніямъ Китая—застыли лишь однѣ строго начертанныя, формальныя отношенія къ остальному человѣчеству.

Прибыли, наконецъ, послѣдніе приглашенные: м-мъ де-Ребель, молодая обаятельная вдова, и ея племянникъ, мосье де-Берикъ, лейтенантъ драгунскаго полка, съ разстроеннымъ здоровьемъ и дѣлами. Ихъ познакомили, согласно ихъ желанію, съ м-мъ Делафонъ, Алисой и Дюгамелями.

Моралистъ бесѣдовалъ въ это время съ умнымъ старикомъ Библѣ. Онъ характеризовалъ въ энергическихъ чертахъ относительную цѣнность европейскихъ расъ. Эта характеристика при-

влекла вниманіе м-мъ де-Ребелль, которая вслушивалась въ нее съ захватывающимъ интересомъ. Удивленный и восхищенный ея разумнымъ и тонкимъ участіемъ въ разговорѣ, Дюгамель едва отвѣчалъ возражавшему ему Библѣ, желая познакомиться ближе съ занимательной собесѣдницей. Она же вся радостно восторгалась при его прямомъ обращеніи къ ней, привлеченная вдругъ звуками этого рѣдкаго голоса. Ее, однакоже, поразили нѣкоторые его взгляды, и она потребовала ихъ объясненія. Она, напримѣръ, была удивлена, что онъ связывалъ геній съ дикостью первобытной натуры, тогда какъ самые великіе люди вышли изъ нѣдръ высшей цивилизаціи. Онъ отвѣчалъ:

— Дѣло въ томъ, что одного генія не достаточно для созданія великой личности... По многимъ причинамъ великіе люди являются продуктомъ распредѣленія труда, позволяющаго цѣлымъ родамъ держаться одного и того же призванія, совершенствуясь въ немъ чуть ли не столѣтіями.

— Въ такомъ случаѣ можно было бы разводить великихъ людей, какъ разводять хорошія лошадиныя породы.

— Да, но такой фабрикаціи мѣшаетъ необходимость приоровляться къ вѣчно измѣняющимся формамъ прогресса. Неуклонное слѣдованіе по одному и тому же пути усиливаетъ несомнѣнно нѣкоторыя давнія организаціи; а между тѣмъ цѣль бытія или рода—не спеціализація, но универсальность или многосложность. И это—единственная причина упадка цивилизованныхъ расъ и очередного развитія дикихъ или сравнительно дикихъ элементовъ человѣчества, еще не обладающихъ отвлеченными понятіями, но зато богато-одаренныхъ непочатыми источниками силы, новыми средствами, самородной геніальностью...

Графиня де-Ребелль слушала его съ волненіемъ, благоговѣйно воспринимая эти новыя мысли, казавшіяся ей крайне глубоко-мысленными. Нѣкоторыя женщины проникаютъ въ самыя сложныя понятія лишь благодаря оплодотворяющей силѣ чувства, самаго сильнаго средства проникновенія въ бытіе другого существа.

Двери столовой распахнулись, и Дюгамель предложилъ руку своей собесѣдницѣ, маркизъ д'Эскруа—Алисѣ. Молодая дѣвушка оперлась съ нѣкоторымъ удовольствіемъ на руку блестящаго аристократа, освобождавшую ее въ эту минуту отъ внезапнаго назойливо-восторженнаго поклоненія, которое высказывалось въ растерянныхъ словахъ и взглядахъ лейтенанта де-Берика.

IV.

Столовая имѣла тотъ же убогій видъ, какъ и залъ. Эллиптическія углубленія на креслахъ массивнаго краснаго дерева, временъ Лун-Филиппа, свидѣтельствовали о нѣсколькихъ обѣдавшихъ здѣсь поволѣніяхъ. Но столъ былъ блестяще сервированъ и богато украшенъ цвѣтами.

Застольные разговоры начались замѣчаніями Розбелля, Библѣ и д'Эскруа о лошадяхъ, принимавшихъ участіе въ послѣднемъ состязаніи. Лошади этого рода составляютъ, вообще говоря, лучшіе символы аристократіи и способны всегда заинтересовать великосвѣтскіе умы, вращающіеся въ весьма ограниченномъ кругу вкусовъ и помысловъ.

Похваливъ *своихъ* лошадей, они заговорили о *своихъ* растеніяхъ, о *своихъ* лѣсахъ и даже о *своей* прислугѣ и о *своихъ* крестьянахъ.

Затѣмъ пришла очередь анекдотовъ объ оригинальныхъ и страстныхъ охотникахъ, кучерахъ и жокеяхъ и, наконецъ, о животныхъ—бѣшеныхъ кроликахъ, замѣчательныхъ котахъ и необыкновенныхъ собакахъ.

— Удивительная смѣсь!—сказала г-жа де-Ребелль, выразительно глядя на Дюгамеля. — Вы, должно быть, терпѣть этого не можете.

— Напротивъ, — отвѣчалъ Дюгамель, — я наблюдаю здѣсь даже съ нѣкоторымъ удовольствіемъ свободную манію, свойственную всѣмъ классамъ нашего общества, манію „типификаціи“, какъ я ее называю. Въ простонародьѣ, въ мелкой и крупной буржуазіи, въ дворянствѣ—именно типъ, въ разныхъ его видахъ, выбивается на первый планъ. Онъ такъ присущъ законченнымъ, неподвижнымъ социальнымъ организаціямъ, что не беспокоитъ никого и вызываетъ одобреніе вполне опредѣлившихся классовъ. Съ этой точки зрѣнія становятся понятны слова Юлія Цезаря о безпкойныхъ и легковоспламеняющихся умахъ,—преобладающихъ типахъ той эпохи: „Ихъ я не боюсь, но я боюсь этихъ блѣдныхъ людей“.

— А все-таки найдутся и весьма вредные типы. Вѣдь вотъ нынѣшній самый модный типъ—это типъ мошенника, типъ...

— Да, мошенника и живодера, хотя это мошенничество и живоде́рство и прикрываются разными гуманными масками. Но всѣ вообще требуютъ главнымъ образомъ типа. Это вовсе не значитъ—идеала или морали, а только продолженія всѣмъ извѣстныхъ и понят-

ныхъ свойствъ, привычнаго воплощенія даннаго содержанія и формъ. Если же ихъ воплотитель захочетъ выйти изъ опредѣленныхъ предѣловъ, если онъ даже будетъ стремиться лишь къ дальнѣйшему развитію типа—онъ вызоветъ всеобщій гнѣвъ и мщеніе и сдѣлается также однимъ изъ „блѣдныхъ людей“ Юлія Цезаря.

— Это правда!—сказала м-мъ де-Ребелль.

И какъ бы въ подтвержденіе этой правды, Библѣ, д'Эскруа и Розбелль принялись рассказывать съ снисходительной ироніей и даже добродушіемъ о мошенническихъ продѣлкахъ нотариуса, о грабительскихъ попыткахъ арендаторовъ, о подличаньѣ лакеевъ, точно все это было въ порядкѣ вещей.

Затѣмъ, повинувшись природному влеченію, они перешли къ насмѣшкамъ надъ вольнодумцами и франмасонами—первѣйшими глупцами, по ихъ словамъ. Безграничное презрѣніе охватило весь столъ. Религія—для нихъ—это не только дѣло чувства и убѣжденія,—это кромѣ того, пожалуй даже преимущественно, дѣло хорошаго тона и благовоспитанности. Только грубые раг-венус и разночинцы могутъ хвалиться беззастѣнчивостью. Кто не по-сѣщаетъ церкви, тотъ показываетъ прямо свое происхожденіе—происхожденіе „грязныхъ рукъ“.

Дюгамель, внимательно прислушиваясь къ ихъ рѣчамъ, думалъ: какъ практично и разсудительно они понимали роль церкви; ея общественное значеніе пріобрѣтало ей болѣе союзниковъ, чѣмъ все краснорѣчіе ея проповѣдниковъ и все великолѣпіе обрядовъ.

Да, по ихъ понятіямъ, просто неприлично быть нерелигіознымъ, и религія принимаетъ въ ихъ глазахъ характеръ кодекса благовоспитанности, навязываемаго ими и неимущимъ; она является сводомъ формулъ почтительности, воплощающимъ въ себѣ одну изъ формъ силы и господства. Церковь, въ глазахъ богатаго, не только санкціонируетъ его собственность, но и доставляетъ ему возможность быть счастливымъ безъ труда и угрызѣній совѣсти. Она мирится съ подчиненностью и неволей, хотя сама по себѣ и не навязываетъ ихъ. Вообще говоря, эта великая церемоніймейстерша съ большимъ искусствомъ примѣняется ко всякимъ социальнымъ преобразованіямъ, чтобы идти въ уровень съ потребностями времени. Конфуцій, въ устройствѣ своей церкви, былъ очень послѣдователенъ и снабдилъ Китай систематической организаціей „обрядовъ приличія“, въ которыхъ мистицизмъ уходитъ на задній планъ.

Въ то время какъ Дюгамель былъ занятъ этими мыслями, Библѣ рассказывалъ про новаго викарія мѣстнаго прихода. Этотъ молодой священникъ, выведенный изъ терпѣнія тупостью своихъ

прихожанъ, сказали имъ однажды: „Вѣдь не могу же я такъ по-идіотски жить, какъ вы,—я читаю, занимаюсь наукой“.

— Это новая школа духовенства, — замѣтилъ Леберанъ. — Церковная карьера сдѣлалась теперь почти исключительно карьерой простонародья...

— Грязныхъ рукъ, — пробормоталъ Кловѣ.

— Да, да! — воскликнулъ возмущенный Фитюдо. Ихъ перестала удовлетворять наивная вѣра нашихъ предковъ, они не цѣнятъ простоты... Его святѣйшество, папа, долженъ бы былъ подвергаться наказаніямъ возгордившихся священниковъ.

— Ужъ не намѣренъ ли нашъ викарій попасть въ интеллигенты? — спросилъ д'Эскруа.

Дюгамель не могъ удержаться отъ улыбки, думая, какъ удачно они иллюстрировали его размышленія.

— Не замѣчаете ли вы, — сказалъ онъ вдругъ громко, привлекая къ себѣ вниманіе всѣхъ этихъ птичьихъ мозговъ, — не замѣчаете ли вы, что вы дѣлаете задачу церкви въ высшей степени тяжелой? Если она васъ послушаетъ и закоснѣетъ въ древней традиціи, она прежде всего оттолкнетъ отъ себя буржуазію, составляющую теперь несомнѣнно большинство господствующихъ классовъ. Къ несчастію, буржуазія имѣетъ притязанія на интеллигентность и поклоняется наукѣ.

— Это правда, — отвѣтилъ Библѣ, но, съ другой стороны, интеллектуализмъ разрушаетъ древнія вѣрованія самого духовенства и подрываетъ въ корнѣ религію.

— Вотъ это-то и доказываетъ, — сказалъ Дюгамель, — что всеобщая эволюція имѣетъ смыслъ, которому нужно повиноваться, подъ угрозой самоуничтоженія. И въ самомъ дѣлѣ, церковь и старается къ этому примѣниться...

Слова эти прозвучали слишкомъ рѣзко въ средѣ, только къ тому и стремящейся, чтобы остановить эволюцію на точкѣ ея собственнаго преуспѣянія. Послышались сердитыя возраженія:

— Церковь не имѣетъ надобности примѣняться къ чему бы то ни было. Она сама руководитъ міромъ и показываетъ ему его идеалы, — сказала мадамъ Леберанъ.

— А этотъ идеалъ — послушаніе и смиреніе! — воскликнулъ Фитюдо.

— Да, кромѣ того, мнѣ не совсѣмъ ясно, что такое собственно г. Дюгамель называетъ эволюціей? — вмѣшался д'Эскруа. — И я когда-то вѣрилъ въ прогрессъ, но пересталъ, не находя его нигдѣ... Древніе, по-моему, далеко насъ превосходятъ... Биб-

лія стоить навѣрное выше—ну, хоть „Легенды вѣковъ“, а Иліада не менѣе интересна, чѣмъ „Саламбо“.

Шопоть одобренія послѣдовалъ за тонкими и ѣдкими словами маркиза, а затѣмъ воцарилось мгновенное молчаніе, въ ожиданіи отвѣта Дюгамеля.

— Вашъ пессимизмъ объясняется тѣмъ, что вы, очевидно, смѣшиваете чувство прекраснаго, т.-е. относительное совершенство, формальное проявленіе его, съ полнымъ совершенствомъ, съ суммой дѣйствительныхъ цѣнностей и приобрѣтеній.

— Я васъ не понимаю.

— Вы считаете Иліаду прекраснѣе другихъ литературныхъ произведеній, и съ этой точки зрѣнія судите объ ея превосходствѣ. А между тѣмъ не нужно забывать, что Библия и Иліада—это энциклопедическіе сборники всевозможныхъ элементовъ цѣлыхъ эпохъ. Чтобы получить эквивалентъ этихъ великихъ книгъ, заключающихъ въ себѣ искусство, знаніе и философію трехъ или четырехъ тысячъ лѣтъ, нужна была бы въ наши дни такая же энциклопедія, которой бы никто изъ насъ не читалъ, но въ которую вчитывались бы несомнѣнно люди будущаго. Такимъ образомъ наша Библия находится еще въ фазѣ создаванія. „Легенда вѣковъ“ или „Саламбо“—это лишь ея незначительные эпизоды.

Общество вслушивалось въ голосъ Дюгамеля съ недоброжелательнымъ вниманіемъ и осталось въ недоумѣніи.

Лицо Алисы сіяло кроткою радостью, выводившею изъ себя маркиза д'Эскруа, Ему хотѣлось кричать Богъ знаетъ что, лишь бы не вазаться побѣжденнымъ, но какая-то непреодолимая сила заставляла его молчать. Онъ сдѣлалъ презрительную гримасу, и какъ только Дюгамель пересталъ говорить, обратился къ своей сосѣдкѣ съ лѣвой стороны, мадамъ Фитюдо, съ вопросомъ о какой-то собацѣ, раненой на послѣдней охотѣ. .

И вотъ, злое презрѣніе стало выливаться со всѣхъ сторонъ неудержимымъ потокомъ. Маркизъ Фитюдо рѣшительно заявилъ, что всякое чтеніе опасно, за исключеніемъ нѣкоторыхъ дозволенныхъ книгъ.

— Я никогда не позволялъ моему сыну читать Жюль Верна, потому что этотъ авторъ никогда не упоминаетъ имени Господня,—я боялся развращенія мальчика, вслѣдствіе таковаго индифферентизма.

— Вы совершенно правы,—отвѣтила мадамъ Деларбръ, смотря на сына Фитюдо, слишкомъ извѣстнаго своей грубостью и безпорядочной жизнью:—вы отлично умѣете воспитывать юношество.

— Что касается меня,—сказалъ Леберанъ,—то я вполне раздѣляю мнѣніе маркиза д'Эскруа. Очень можетъ быть, что будутъ изобрѣтаты все новыя машины, но это намъ нисколько не мѣшаетъ постоянно идти назадъ, потому что нравы становятся просто ужасны, а правительство—въ рукахъ панамистовъ и вестернаровъ.

— Виѣ церкви нѣтъ нравственнаго прогресса,—прибавилъ Библѣ.

Общество, выступившее противъ чуждыхъ ему элементовъ, набиралось постепенно смѣлости, и наконецъ де-Розбелль могъ высказаться вполне откровенно и при всеобщемъ одобреніи слушателей:

— Наука не сдѣлала людей ни лучшими, ни болѣе счастливыми. Она создала только множество сбившихся съ пути личностей. Всѣ кругомъ мечтаютъ лишь о томъ, чтобы стать выше своего положенія. Религія же утѣшаетъ несчастныхъ, учитъ ихъ покорности и послушанію. Я нисколько не сомнѣваюсь, что міръ былъ несравненно лучше, когда онъ еще не зналъ цѣлаго вороха прекрасныхъ, но бесполезныхъ вещей, а зато скромно осущестлялъ христіанскія добродѣтели.

— Не нужно такъ много знанія, чтобы воздѣлывать землю Господню,—проговорила мадамъ Библѣ.

— Наука оказалась несостоятельной, вотъ лозунгъ дня,—прибавилъ Кловъ Леберанъ.

Послѣ этого разговоръ прекратился, и Дюгамель не хотѣлъ и не зналъ даже, что могъ бы отвѣтить этимъ людямъ. Тихія, благовоспитанныя рѣчи, сдержанный смѣхъ мягкими звуками наполнили воздухъ столовой. Два лакея, съ помощью горничной, разносили серебряныя блюда; капли пота лоснились на ихъ вискахъ.

М-мъ Библѣ, рассказывала своему сосѣду—де-Бериеу, что она не нанимала прислугу безъ свидѣтельствъ объ исповѣди. А де-Бериеу, человѣкъ весьма нервный, фанатикъ и изувѣръ, готовъ былъ разразиться потоками бѣшенства по адресу Дюгамеля.

Алисѣ досадно было смотрѣть на это общество, вѣтренное и ребячески-поверхностное, играющее въ разговоры, какъ оно играетъ въ *lawn-tennis*, и ничѣмъ серьезно не интересующееся. Оно упорно отталкиваетъ отъ себя всякую идею, требующую напряженія мысли, и попадаетъ постоянно въ сотню противорѣчій, нисколько этимъ не огорчаясь.

Въ годы Алисы, тѣ или другія идеи способны еще производить въ самомъ дѣлѣ коренныя перемѣны въ настроеніи и во

всей жизни. Она не могла думать безъ гнѣва о свѣтскомъ индифферентизмѣ, не могла удержаться отъ нѣсколькихъ рѣзкихъ словъ, обращенныхъ къ молодому сосѣду.

Когда маркизъ, любезно наклонившись, спросилъ ее съ иронической улыбкой, что она думаетъ о наукѣ, она отвѣчала:

— Я думаю, что она вообще слишкомъ трудна для велико-свѣтскихъ мозговъ.

— А не думаете ли вы, что свѣтъ пренебрегаетъ ею потому, что имѣетъ возможность пользоваться болѣе интересною и прекрасною дѣйствительностью?

— Какая же это дѣйствительность?—воскликнула она.— Ни искусство, ни наука, ни жизнь!.. Это существованіе птицъ, не умѣющихъ связать вчерашняго дня съ сегодняшнимъ!

Маркизъ приготовилъ-было комплиментъ, но неожиданный тонъ Алисы его остановилъ. Онъ былъ особенно чутокъ къ малѣйшимъ отгѣнкамъ презрѣнія, этого любимаго оружія его класса, и задался мыслью доказать Алисѣ, получившей вдругъ большое значеніе въ его глазахъ, что онъ вовсе не глупъ. Это желаніе, вспомогаетое стаканомъ вина, блескомъ хрустали и общимъ оживленіемъ, возбудило въ немъ нѣчто въ родѣ любви къ молодой дѣвушкѣ. Она показалась ему еще красивѣе въ плотно прилегающемъ платьѣ, изящно обрисовывающемъ ея прелестныя формы. Салонный флиртъ улетѣлъ изъ его ума, уступая мѣсто болѣе сильному чувству.

Въ то же самое время, де-Берикъ не сводилъ глазъ съ пріятельницы Дюгамеля. Сердце таяло въ его груди, глаза широко раскрывались, точно въ гипнозъ или экстатическомъ возбужденіи. Два или три раза въ теченіе этого вечера онъ даже окончательно терялъ сознание въ мгновенныхъ припадкахъ эпилепсіи, никѣмъ, правда, не замѣченныхъ, но вызывавшихъ на его глаза слезы страсти и нервнаго возбужденія. Онъ хотѣлъ страдать во имя Алисы, жаждалъ мученической смерти, лишь бы только могъ дать, облитый кровью, къ ногамъ возлюбленной и испустить духъ, съ признаніемъ на устахъ. Волнуясь такимъ образомъ, онъ не переставалъ, однакоже, думать, какъ это хорошо, что Алиса аристократка по рожденію, такъ какъ, въ противномъ случаѣ, нечего было бы и мечтать о женитьбѣ.

Между тѣмъ, м-мъ де Ребель чувствовала ясно, что ея влеченіе къ Дюгамелю все усиливалось. Ей нравились его нѣсколько суровыя манеры, его тонъ сдержаннаго энтузіазма и постоянное стремленіе къ истинѣ, заставлявшее его по временамъ останавливаться въ нерѣшительности или же критиковать

самого себя. Она считала себя также поклонницей истины, потому что, разочаровавшись во многомъ, предпочитала ясныя и точныя формы выраженія, кажущіяся искренностью въ ея условномъ и поверхностномъ *свѣтѣ*.

Когда прекратился общій разговоръ о вопросахъ религіи и прогресса, она вдругъ сказала Дюгамелю:

— Моя вѣра выше всего. Ничто не въ состояніи ее поколебать.

Дюгамель улыбнулся.

— То, что вы говорите, далеко не религіозно.

— Какъ такъ?

— Вѣра тогда только и цѣнна, когда она доступна колебаніямъ и сомнѣніямъ—и выходитъ изъ нихъ побѣдительницей. Сама церковь, допуская искушенія святыхъ, понимаетъ ее именно такимъ образомъ. Вѣра должна торжествовать,—но не стоять внѣ испытаній. По моему, эта идея—одна изъ высочайшихъ идей современной философіи вообще, хотя, конечно, существуютъ громадныя разницы въ ея примѣненіи.

— О,—сказала она,—вы все-таки меня не убѣдите въ добродѣтели искушенія.

Говоря это, она улыбалась, но ея лицо было непроницаемо. Дюгамель подумалъ, что она права, увѣряя въ своей непоколебимости, но что она называла вѣрой только извѣстныя соціально-религіозныя правила, которымъ покорялась, а вовсе не состояніе своей совѣсти.

— Слова сомнѣнія,—сказалъ онъ серьезно,—дрожали даже на устахъ самого Христа,—гдѣ же намъ искать примѣра поучительнѣе этого?

Она промолчала, живо представляя себѣ патера-доминиканца, управлявшаго ея совѣстью, и разныя религіозныя общества и дѣла, въ которыхъ она принимала участіе. И она почувствовала себя такъ же далекой отъ сомнѣній, какъ любой генералъ далекъ отъ анархизма. Но ея чувство къ Дюгамелю нисколько отъ этого не ослабло,—у свѣтскихъ женщинъ сфера религіозная и сфера любовная не мѣшаются другъ другу, и природа торжествуетъ у нихъ довольно часто надъ воспитаніемъ и дисциплиной.

Ей удалось очень ловко перевести разговоръ на милосердіе и благотворительность, казавшіяся ей такой нейтральной областью, въ которой самыя различныя характеры и убѣжденія могли дружески сойтись.

— Нѣтъ ничего трогательнѣе христіанскаго милосердія; самыя невозмутимые, повидимому, люди выказываютъ часто на

этой почвѣ крайнюю чувствительность. Даже строгій генералъ Рамбо, присутствующій всегда лично при разстрѣливаніи провинившихся солдатъ, не могъ слушать безъ слезъ отчетовъ своей племянницы о положеніи бѣдняковъ, бывшихъ на ея попеченіи.

„Нѣтъ типа,—подумалъ Дюгамель,—болѣе эксплуатируемаго, чѣмъ типъ невозмутимаго человѣка, проливающего слезы. Съ помощью этихъ слезъ стараются обыкновенно доказать глубину его сокровенныхъ чувствъ, а между тѣмъ это совершенно ложно. Кромвелль, повидимому, плакалъ очень легко, а Бисмаркъ принадлежитъ къ числу усерднѣйшихъ историческихъ плакальчиковъ... Даже Наполеонъ начиналъ плакать, когдѣ скоро дѣло касалось его самого... Въ сущности, слезы—это остатокъ ребячества, и въ зрѣломъ возрастѣ плачутъ всего чаще вслѣдствіе мелкихъ, эгоистическихъ причинъ... Плачутъ ради себя“...

— Вы улыбаетесь?—спросила, нѣсколько обидѣвшись, м-мъ де Ребелль.

— Я думаю о томъ, какъ легко у меня самого подступаютъ слезы,—напримѣръ, въ театрѣ; а между тѣмъ мои глаза остаются сухи, глядя на настоящія человѣческія бѣдствія.

— Вамъ, значить, кажутся слезы генерала театральнымъ жестомъ?

— Конечно, — сказалъ онъ. — Въ нашемъ мірѣ довольно распространены символы, имѣющіе свойства лука,—стоитъ только ихъ показать, чтобы вызвать слезы и аханье. Это, конечно, своего рода облегченіе въ нашей жизненной роли, но въ этомъ нѣтъ ничего общаго съ настоящимъ чувствомъ.

Она сидѣла нѣсколько огорошенная, съ полуоткрытымъ ртомъ, показывая великолѣпные зубы. Лакеи мѣняли тарелки. Дюгамель продолжалъ:

— Нищіе отлично понимаютъ этотъ сантиментальный символизмъ. Они знаютъ, что мы подаемъ милостыню не столько ради нихъ, сколько ради насъ самихъ, и стараются употреблять такіе именно приемы, которые всего лучше могутъ насъ удовлетворить.

— Ахъ,—сказала она,—вотъ что значитъ разрушить нѣсколькими остроумными словами все значеніе милосердія. •

— Совсе нѣтъ, — отвѣтилъ Дюгамель:—потому что милосердіе, удовлетворяющее насъ, можетъ быть такимъ, какимъ намъ будетъ угодно,—оно можетъ быть столь же великимъ, какъ и существо, которое проявляетъ его. Но обыкновенно мы дѣлаемъ годачки въ видѣ самозащиты, покупая такимъ образомъ удовольствіе условнаго благотворенія.

— Но что вы скажете о самопожертвованіи моей тетушки де-Берикъ, раздавшей бѣднымъ все свое состояніе и доведшей себя до крайней нужды... Ея подвигъ имѣетъ тѣмъ болѣе значенія, что она—истая аристократка и презираетъ народъ...

— Въ такомъ случаѣ, она совершила то, что обыкновенно называется мученичествомъ,—отвѣчалъ Дюгамель.

— Разориться во имя идеала—развѣ это не героизмъ?

— Это, дѣйствительно, такъ называемое героизмъ; но что касается меня, то я предпочелъ бы менѣе рабское пониманіе идеала—и самопожертвованіе не столь автоматичное.

— Автоматичное самопожертвованіе!

— Конечно, оно очень часто такимъ бываетъ. Индусы, бросающіеся подъ колеса яггернаута, или японцы, добровольно зарывающіеся въ фундаменты своихъ домовъ,—это именно автоматы и въ то же время—герои.

— Они мнѣ кажутся просто фанатиками,—сказала графиня, со сдержаннымъ гнѣвомъ.

— Героизмъ, значить, не по плечу индусамъ или японцамъ... Но ставить милосердіе и благотворительность м-мъ де-Берикъ и генерала Рамбо подъ знамя Христа—это, по-моему, горькая насмѣшка...

Она опустила голову, возмущенная до глубины своей аристократической души, и въ то же время ощущая нѣчто подобное радости, вызываемой въ женщинахъ ея круга бесѣдами съ строгимъ духовникомъ.

Къ концу обѣда была подана ароматная, свѣжая земляника изъ нанкурскаго лѣса, и м-мъ Леберанъ сдѣлала знакъ перехода въ гостиную. Все общество вдругъ оживилось. Де-Розбелль вышелъ первый, подъ руку съ м-мъ Леберанъ, затѣмъ по очереди остальные пары застольныхъ сосѣдей.

М-мъ Леберанъ думала объ издержкахъ, причиненныхъ обѣдомъ, и находила ихъ слишкомъ большими, но, продолжая начатую фразу, она рассказывала Розбеллю:

— Да, я очень чувствительна; я проливала слезы надъ „Пичіолой“ Сентэна.

— А я не очень люблю романы. Мое любимое чтеніе—это „Исторія Франціи“—Дюрюи.

Самъ Леберанъ нѣсколько беспокоился, все-ли у него такъ было, какъ въ другихъ домахъ, и разсѣянно слушалъ то, что ему говорила, своимъ острымъ голосомъ, м-мъ де-Фитюдо объ интересныхъ картинахъ какой-то молодой художницы,—идеалистки и христіанки.

Маркизь д'Эскруа, наклонившись къ Алисъ такъ близко, что почти касался ея плеча, говорилъ съ жаромъ:

— Такъ вы не вѣрите въ то, что всего драгоценнѣе въ мірѣ—въ красоту, изящество, свѣтскую элегантность...

— Все это слова, — сказала она, — очень легко мѣняющія значеніе. Свѣтское изящество, какъ извѣстно, основано вполне на сдержанности, — слѣдовательно, это изящество отрицательное. Еслибы вы заговорили объ изяществѣ акробатки—тогда другое дѣло!

М-мъ де-Ребелль, опираясь на руку Дюгамеля, говорила ему со страстной и вмѣстѣ съ тѣмъ жалобной покорностью:

— Не разрушайте такимъ образомъ всѣхъ радостей существованія, всего, что для насъ свято, сокровенно, на чемъ отдыхаетъ человѣкъ... Ахъ, вы мнѣ кажетесь страшной силой, вы меня прельстили и—ужаснули!

Онъ задрожалъ отъ ласки этого голоса. Онъ поблѣднѣлъ и почувствовалъ давно неиспытанный приливъ искушеній, жажду легкаго наслажденія и безграничнаго обладанія этой очаровательной женщиной. Его глаза обратились къ Алисъ, улыбавшейся въ эту минуту маркизу д'Эскруа. И ему показалось, что онъ очутился вдругъ въ какой-то безднѣ противорѣчій, среди внушеній сладострастія, ревности и стыда, боровшихся другъ съ другомъ. А между тѣмъ, въ словахъ и жестахъ Дюгамеля не было и слѣда подобныхъ ощущеній, и, поддерживая разговоръ съ графиней де-Ребелль, онъ самъ удивлялся разногласію своихъ фразъ съ чувствами.

— Увы, графиня, вы высказываете ужасную истину, будто радости, душевные сокровища и святыни міра аристократіи и богачей находятся въ разладѣ съ грядущею правдою... Подумайте, что эти именно радости, святыни и кумиры составляютъ орудія, убивающія величайшихъ людей и прекраснѣйшія начинанія!

Она насупилась и проговорила:

— Развѣ мы въ этомъ виноваты?

— Нѣтъ, — по крайней мѣрѣ, не болѣе тигра, давящаго ягненка; но отчего же вы желаете, чтобы человѣкъ, привыкшій анализировать міровыя явленія, соболѣзновалъ уставшимъ когтямъ и зубамъ тигра?

— Наши радости и святыни—это хищные когти?

— Это подобныя имъ орудія. Всѣ свѣтскія радости основаны на невольничествѣ, всѣ святыни — это средства къ власти и господству. Таковъ міровой законъ, — положимъ, — но міръ, роко-

вымъ образомъ ему подчиненный, не долженъ имъ ни хвалиться, ни возвеличивать его передъ судомъ совѣсти.

У нея были большіе голубые глаза, съ часто моргавшими вѣками; свѣтлые и необыкновенно густые волосы ея, высоко подобранные на затылѣ, спускались надъ красивымъ лбомъ золотистыми волнами; подбородокъ былъ энергичный, губы страстныя и нѣжныя, носъ небольшой, съ легкимъ горбикомъ. Какая-то физическая горделивость выбивалась наружу во всемъ ея прекрасномъ станѣ, и она имѣла осанку сильной и стройной героини любви.

Она покорила Дюгамелю, польщенная тѣмъ, что онъ, очевидно, считалъ ее достаточно умной, чтобы не обидѣться столь рѣзкой философіей. Ея кокетничанье становилось къ концу вечера почти серьезной страстью. Она съ волненіемъ прислушивалась ко всему, что онъ говорилъ, не интересуясь ничѣмъ болѣе въ этомъ обществѣ. Это не могло не обратить вниманія Алисы. Когда молодая дѣвушка увидѣла это женское лицо, постоянно обращенное къ ея милому герою, она почувствовала жестокую ревность.

До сихъ поръ она не имѣла понятія о ревности, не чувствуя ея никогда къ м-мъ Дюгамель. Теперь же все ея существо точно раздвоилось.

Вообще, въ соприкосновеніи съ этой легкомысленной средой, съ ея неустойчивостью и противорѣчіями, честность и прямота Алисы нѣсколько ослабли. Ревность разстроила ее еще больше, и она сама ужаснулась, открывая въ себѣ такую бурю чувствъ. „Ни для какой другой женщины,—думала она,—не должно звучать его сильное слово; пусть никакая другая не пользуется его близостью и не раздѣляетъ стремленій его души!“

Алиса почувствовала, что подобная соперница была бы ея несчастіемъ, и даже ея смертью, что она не могла бы выйти замужъ за Бизо и что осталась бы на всю жизнь разбитымъ, замученнымъ существомъ.

Все, все, лишь бы не это! Она готова была отказаться отъ всѣхъ радостей жизни, только бы Дюгамель былъ съ ней по прежнему откровененъ и чистосердеченъ и предпочиталъ бы ее всѣмъ остальнымъ женщинамъ. И вдругъ кокетство поднялось въ ней изъ глубины душевнаго волненія. Она стала мечтать о томъ, чтобы отнять его у графини, увлечь его и удержать навсегда. Въ эти минуты цѣломудріе и сдержанность были далеки отъ нея. Она находилась вполне во власти всемогущей силы, играющей нами и нашими чувствами и создающей, съ помощью простыхъ, повидимому, средствъ, всю необъятную сложность міра.

V.

Послѣ обѣда, пріѣхало еще нѣсколько сосѣдей провести вечеръ въ замѣѣ, такъ что обширный залъ казался почти тѣснымъ. Пока подавали кофе, общество раздѣлилось на маленькія группы по разнымъ угламъ.

Кловй Леберанъ, Шарль Бардомбъ, Поль де-Фитюдо и де-Берикъ окружили м-мъ Делафонъ и Алису. Темой разговора, веденнаго въ нѣсколько ироническомъ тонѣ, служили нравы модныхъ приморскихъ курортовъ, въ которыхъ великосвѣтская молодежь могла встрѣчаться съ семьями купцовъ и промышленниковъ. Чувствовалось ясно презрѣніе настоящихъ богачей и аристократовъ къ этому скромному міру, отнявшему у нихъ власть. Съ большимъ уваженіемъ относились они къ крупнымъ финансистамъ и съ сдержаннымъ сарказмомъ выражались о Перейрахъ, Ротшильдахъ, Эфрусси, Данварѣ и другихъ властелинахъ буржуазіи, сближенныхъ съ аристократіей, снабжающихъ ее деньгами и помогающихъ ей въ борьбѣ съ новыми стихіями.

М-мъ Делафонъ и Алиса храбро отстаивали свои горячія симпатіи ко всякаго рода труженикамъ. Думая о Бизѣ, молодая дѣвушка замѣтила:

— Положимъ, что большинство этихъ людей и не отличается высокимъ умомъ и образованіемъ, но оно поклоняется интеллигенціи, и это поклоненіе ведетъ постепенно и ихъ самихъ, и ихъ дѣтей, на вершины человѣческой мысли, науки и искусства.

— А все-таки,—сказалъ Шарль Бардомбъ,—художники надъ ними насмѣхаются.

— Ну и отлично!—отвѣтила м-мъ Делафонъ:—вѣдь насмѣшка—превосходное возбуждательное средство. Я вполне согласна съ сестрой, что у нашей наивной, грубоватой, пожалуй даже тупоумной буржуазіи существуютъ влеченія, ведущія ее прямо въ центръ высшей жизни. Вѣдь почти всѣ наши великіе люди выходятъ изъ ея рядовъ.

— Это смотря потому, кого вы называете великими людьми!—воскликнулъ де-Берикъ.—Я имѣю въ виду великихъ представителей искусства, знанія, литературы.

— Значитъ, интеллигентовъ!—насмѣшливо отчеканилъ Кловй Леберанъ.

— Да, интеллигентовъ.

Четверо мужчинъ засмѣялись презрительнымъ смѣхомъ, и Кловй выразилъ, вѣроятно, общія имъ всѣмъ чувства, замѣтивъ:

— Но вѣдь они—нищіе!

— Отлично можно было бы безъ нихъ обойтись,—прибавилъ Поль де-Фитюдо.

Бѣдный молодой человѣкъ говорилъ вполне искренно. Онъ не зналъ даже приблизительно, что такое наука, и каждый телеграфистъ казался ему ученымъ. Другіе были немногимъ образованнѣе его, но не рѣшались такъ откровенно высказываться. Между тѣмъ общій разговоръ сосредоточился снова на лошадяхъ. Библѣ, де-Фитюдо, Деларбръ и м-мъ Леберанъ погрузились въ вопросъ о домашней прислугѣ. Отъ времени до времени д'Эскруа или Деларбръ пробовали-было выйти изъ этого шаблоннаго круга, но, убѣдившись въ неудачѣ, не слишкомъ настаивали, подчиняясь свѣтской дисциплинѣ.

Алиса подошла къ Дюгамелю, оставшемуся безъ своей дамы, куда-то увлеченной м-мъ Деларбръ. Ему нисколько не хотѣлось возобновлять какіе-либо споры среди этихъ людей, да они и не допустили бы до этого. Они слишкомъ привыкли къ разговорамъ, дѣйствующимъ на нихъ такъ, какъ рѣчная вода дѣйствуетъ на камешки—округляя и обтачивая ихъ. Они оказываютъ этимъ мягкимъ волнамъ какъ можно менѣе сопротивленія, употребляя остатки своей энергіи не на то, чтобы идти впередъ, но лишь на то, чтобы удержаться хоть на нынѣшнемъ уровнѣ, и сохраняютъ только въ извѣстной степени отжившій мозгъ отжившихъ поколѣній.

Въ это именно время вечеръ достигъ высшей точки оживленія. Общество болтало такъ же, какъ оно танцовало, то-есть, слѣдуя заученнымъ правиламъ и фигурамъ и соблюдая законы благозвучія. Алису все это тѣмъ болѣе удивляло, что она въ первый разъ въ жизни очутилась въ подобномъ салонѣ. Внимательно, хотя и незамѣтно, наблюдая этихъ суетливыхъ, повидимому всѣмъ интересующихся дамъ, и этихъ господъ, переходившихъ отъ группы къ группѣ, она замѣтила разные видоизмѣненія одного и того же явленія, а именно—автоматизма.

За исключеніемъ двухъ, трехъ, всѣ эти люди жили не собственными мыслями, но присвоенными ихъ роду жизни и бывшими лишь наслѣдіемъ безъимяннаго человѣчества. Вслѣдствіе того, эти мысли отличались нѣкоторой неизмѣнной логикой, обусловливаемой тѣми же самыми потребностями и привычками. Онѣ всегда соприкасались другъ съ другомъ той или иной стороной, а потому и салонные разговоры походили на игру въ домино, основанную на опредѣленныхъ комбинаціяхъ однѣхъ и тѣхъ же восточекъ.

Алиса пришла къ тому же самому заключенію, какъ и Дюгамель. Существуют общественные элементы, не имѣющіе личной души, и общечеловѣчскій приливъ кончается въ нихъ средѣ съ жалкимъ однообразіемъ. Глядя на нихъ, можно иногда надѣяться, что и они доступны обновляющему вліянію времени, подобно свободнымъ, избраннымъ человѣческимъ существамъ, но затѣмъ приходится убѣдиться, что каждый изъ этихъ элементовъ воплощаетъ въ себѣ лишь извѣстный общественный строй, съ отличительными различіями не людей, но классовъ. Смотря по тому, бѣдны ли эти классы, или же богаты и родовиты, они пассивно воспринимаютъ разные круги идей и прежнихъ вліяній.

Алиса еще болѣе убѣдилась въ основательности своихъ наблюденій, когда де-Берикъ, подсѣвъ наконецъ къ ней поближе, сталъ развивать, не стѣсняясь, свои взгляды и желанія.

Она сначала ничего не отвѣчала. Но когда, ободренный ея молчаніемъ, онъ сталъ съ нетерпимостью ханжи высказывать ей свою ненависть къ скептицизму и сомнѣнію вообще, она сказала:

— Господь Богъ, должно быть, не очень-то польщенъ вашею преданностью.

— Это почему?

— Развѣ роль Его защитниковъ такъ трудна, что благо-разумнѣе прятать Его во тѣмъ безсознательной вѣры?

— Нѣтъ, но вѣра должна быть предполагаема а priori, какъ нѣчто незыблемое и не могущее ослабѣть.

— Значитъ, эта вѣра и есть вашъ Богъ, потому что вы ставите ее передъ Нимъ. Да и не во имя ли вѣры былъ распятъ Христосъ?

Молодой человѣкъ поблѣднѣлъ и сталъ заикаться отъ гнѣва.

— Я васъ ненавижу, когда вы говорите подобныя вещи...

И онъ сталъ приводить ей разныя доказательства и аргументы, служащіе обыкновенно для восхваленія умственной неволи.

Алиса, не привыкшая къ такому самоувѣренному фанатизму, чувствовала, какъ въ ней поднимался бѣшенный гнѣвъ, вызываемый странными, мученическими звуками этого голоса и всѣми тѣми возвышенными словами, которыми онъ старался побѣдить здравый смыслъ. Когда онъ еще разъ сказалъ:—Я презираю невѣрующихъ людей, не преклоняющихся передъ религіей и папою...,—она не могла болѣе удержаться и отвѣчала:

— Такъ презирайте же и меня, потому что я вообще не допускаю безсознательнаго поклоненія.

Она сейчасъ же пожалѣла объ этой фразѣ слишкомъ лич-

наго свойства, допускавшей опасныя возраженія. И дѣйстви-
тельно, де-Берикъ не замедлилъ ею воспользоваться, и поспѣ-
шилъ отвѣтить:

— Васъ презирать! васъ! О, нѣтъ, — невозможно, чтобы
столь чудное лицо прикрывало потерянную душу. Но я бы желалъ
васъ обратить. Я бы хотѣлъ пролить за васъ кровь и раскрыть
свои жилы, чтобы Господь Богъ раскрылъ ваши глаза.

Произнося эти слова, онъ вдругъ вонзилъ ногти въ свою лѣ-
вую руку и, въ самомъ дѣлѣ, нанесъ себѣ рану, изъ которой
кровь хлынула ручьемъ.

Алиса отвернулася съ ужасомъ и отвращеніемъ. Этотъ жестъ
показался ей нецѣлomorphicнымъ. Благородная умственная атмо-
сфера Алисы, въ которой она пребывала съ Дюгамелемъ, была
слишкомъ далека отъ подобныхъ истерическихъ припадковъ. Ей
стало противно и слушать, и смотрѣть на де-Берика; она по-
чувствовала потребность въ утѣшеніи и защитѣ, и побѣжала къ
Дюгамелю, предоставивъ прекрасному лейтенанту самому во-
зиться съ перевязкой раны.

Дюгамель находился въ то время въ группѣ, состоявшей изъ
Библѣ, д'Эскруа, де-Розбелль и нѣсколькихъ дамъ. Благодаря
присутствію колей и подзадоривающей м-мъ де-Ребелль, всѣ
эти господа должны были нѣсколько поднять тонъ разговора, но
Алиса замѣтила, что имъ этого вовсе не хотѣлось, и что всѣ
они инстинктивно сплотились противъ Дюгамеля. Словами, же-
стами, неожиданными возраженіями, иногда даже вызывающими
замѣчаніями, они ему мѣшали развивать свои мысли, прерывали
даже самыя простыя фразы, казавшіяся имъ почему-либо опас-
ными или неприятными.

Влюбленная дѣвушка цитировала себѣ мысленно „Моисея“ —
де-Виньи:

Sitôt que Votre souffle eut rempli le berger,
Les hommes se sont dit: il nous est étranger.
(Лишь только духъ Твой въ пастыря вступилъ,
Сказали люди—теперь онъ намъ чуждъ!)

VI.

Былъ уже двѣнадцатый часъ, когда они простились съ нан-
курскимъ обществомъ. Хозяинъ нанятыхъ Дюгамелемъ лошадей
прислалъ вмѣсто двухъ волясовъ одно помѣстительное ландо, въ
которомъ можно было удобно уѣсться въпятеромъ. Дамы одѣли

накидки, хотя было еще очень тепло, и экипажъ покатылся по темной аллеѣ. Дюгамель сидѣлъ задумчивый, вспоминая всѣ человѣческія фигуры, видѣнныя имъ въ теченіе этого дня. Онъ вдругъ почувствовалъ неистовое желаніе уничтожить, раздавить ихъ бессмысленное высокомеріе, но скоро овладѣлъ собой и успокоился. Вѣдь всѣ тѣ, думалъ онъ, которые хотѣли-было бороться съ этимъ кругомъ, дѣлались сами жертвою свѣтской пустоты. Всего опаснѣе оставить для ложнаго самолюбія хоть малѣйшую точку опоры, хоть ничтожный кусочекъ душевной территории. Намъ слѣдуетъ считать этихъ людей просто несуществующими и относиться къ ихъ пренебреженію—какъ къ мимолетному дуновенію вѣтерка. Бѣда тому, кто придаетъ имъ значеніе. Они сами—не чтѣ иное, какъ ядъ, оставшійся въ наслѣдіе отъ былого величія аристократіи. А ихъ высокомеріе—это все та же старая отравка, разъѣдавшая ихъ всегда и подтачивающая ихъ и до сихъ поръ.

Экипажъ выѣхалъ за ограду и очутился на большой дорогѣ. Дюгамель сидѣлъ между м-мъ Делафонъ и Алисой. Онъ ощутилъ вдругъ плечо своей несравненной ученицы подлѣ своего—и все ступсывалось въ его памяти. Онъ весь преисполнился безграничнаго блаженства, и ему стало казаться, что какія-то чудныя фосфорическія струи текутъ на землю съ небеснаго свода.

Дюгамель всей душой сливался съ Алисой. Гордое сознаніе ихъ взаимной любви безконечно его радовало и удовлетворяло. Дорога вилась среди засѣянныхъ полей; все утопало и смѣшивалось въ ночной тьмѣ, кромѣ нѣсколькихъ мельницъ, чернѣвшихъ на возвышеніи. Лошадиный топотъ то ускорялся, то замедлялся, то выходилъ изъ монотоннаго такта, то снова въ него попадалъ. Какая-то бѣлая стѣна казалась вдругъ озеромъ,—туманъ казался цѣлымъ моремъ. Иногда, съ вершины пригорка, взору открывалась темная масса лѣса, поляны котораго представлялись длиннѣйшими аллеями.

Онъ испытывалъ чувство довольства, сидя въ этомъ покойномъ экипажѣ, а затѣмъ и стремительные приливы чувственности, мгновенно низводившіе его любовь къ Алисѣ на степень зауряднаго увлеченія. Его совѣстливость показалась ему теперь простой бессмыслицей. Жизнь и такъ трудна,—зачѣмъ осложнять ее еще выдуманными сомнѣніями?.. Алиса сдалась бы ему такъ легко!..

Но вдругъ онъ весь возмущился. Ночь и бѣда, очевидно, его убаюкали, и въ этомъ полу-снѣ выползли наружу его грубѣйшіе инстинкты. Онъ чуть-ли не возвелъ ихъ даже въ основные сти-

мулы жизни. Да, нужно быть на сторожѣ; лишь полная сознательность позволяетъ намъ владѣть собою.

— Какъ восхитительна м-мъ Розбель!—проговорила вдругъ м-мъ Гюдъ.—Какое изящество, какая корректность тона и манеръ! Сейчасъ видно, что это—настоящая аристократка.

— Фитюдо также настоящіе аристократы,—послѣнно возразила м-мъ Делафонъ,—а я рѣдко встрѣчала людей вульгарнѣе ихъ.

— Я этого вовсе не нахожу,—сказала м-мъ Дюгамель.—Это люди большого тона.

— У нихъ у всѣхъ большой тонъ, но ихъ глупость еще больше,—замѣтила Алиса.

— Не нужно отъ нихъ требовать того, чего они дать не могутъ,—сказалъ Дюгамель.— Они принадлежатъ къ отживающей общественной категоріи, и имъ бы потребовались неимоверныя усилія, чтобы выйти изъ этого положенія. А они не любятъ усилій.

М-мъ Дюгамель не отвѣчала, но она состроила въ темнотѣ презрительную гримасу, и объяснила по-своему ихъ слова:

— Все это говорится лишь изъ зависти!

VII.

День, проведенный у Леберановъ, подѣйствовалъ на м-мъ Делафонъ такъ, какъ этого можно было желать. Свѣтъ, представшій предъ нею въ столь оттапливающемъ видѣ, отнялъ у нея часть ея болѣзненной тоски. Она съ ужасомъ думала, что ея ребенокъ могъ бы жить среди подобныхъ людей, что онъ могъ бы даже на нихъ походить,—и она не смѣла уже такъ страстно его желать. Она едва успѣла переварить свое раздраженіе, когда было получено приглашеніе отъ Библѣ,—провести нѣсколько дней въ ихъ замкѣ Сэмѣ.

Дюгамель настоялъ на томъ, чтобы оно было принято; маленькое общество отправилось въ среду, какъ было условлено, наканунѣ торжества, приготовляемаго м-мъ Библѣ, по случаю раздачи наградъ ученицамъ мѣстной монастырской школы.

Ихъ сначала пригласили въ отведенныя имъ комнаты, а затѣмъ состоялся обѣдъ въ обществѣ хозяевъ и четы Деларбровъ. Сыновья Библѣ должны были явиться поздно вечеромъ. Около десяти часовъ всѣ разошлись по своимъ комнатамъ.

Утромъ было подано въ отдѣльныя спальни кофе или шоко-

ладъ. М-мъ Гюдъ, привыкшая вообще рано вставать и жаждавшая поскорѣе насладиться всѣми прелестями замка, уже въ восемь часовъ подошла къ своей двери,—но, къ своему удивленію, не могла ее открыть и должна была вступить въ борьбу съ какимъ-то невидимымъ препятствіемъ. Наконецъ, послѣ сильнаго толчка, ей удалось его преодолѣть, и въ то же время что-то жесткое больно хлопнуло ее по щекамъ. Это была толстая резиновая подвязка, съ одной стороны привѣшенная къ дверной рамѣ, съ другой—къ открывавшейся половинѣ двери. Едва она постигла эту махинацію, какъ дождь золы посыпался ей на голову и вынудилъ закрыть глаза. Она стала кричать... За дверью слышались вервьи сдерживаемаго хохота, легкій топотъ быстро удалявшихся шаговъ и скрипъ нѣсколькихъ запираемыхъ дверей.

М-мъ Гюдъ поняла наконецъ, что она сдѣлалась жертвою шутки, и спрашивала себя—принято ли въ большомъ свѣтѣ смѣяться въ такихъ случаяхъ, или же, наоборотъ, обижаться?

Вернувшись къ туалетному столу, она стала приводить въ порядокъ свои волосы, но тутъ же послышался громкій крикъ ея дочери, спавшей за стѣной ея комнаты. Она устремила къ ней. Сторы были еще спущены, и пожилая дама едва могла различить во мракѣ кровати и полу-лежавшую на ней дочь, пораженную ужасомъ и указывающую ей на стѣну. Оказалось, что потаенная дверь была открыта, и на ея порогѣ стоялъ улыбающійся господинъ во фракѣ, съ пальцемъ на губахъ и съ револьверомъ въ другой рукѣ.

Мать вплотную подошла къ дочери, и тогда только закричала:

— Что вамъ угодно? Уходите, уходите,—мы никому не скажемъ!..

И опять сдержанный хохотъ послышался въ корридорѣ и звукъ быстро удалявшихся шаговъ. Человѣкъ во фракѣ все еще стоялъ въ своей глупой позѣ. Наконецъ, м-мъ Гюдъ рѣшилась рассмотреть его поближе,—и увидѣла фигуру съ восковымъ лицомъ.

— Это жула,—сказала она.

М-мъ Дюгамель опустила снова на постель, ослабѣвшая и сердитая. Ея мать заперла дверь; обѣ онѣ печально молчали, не зная, какъ себя держать среди этихъ фарсовъ, которые онѣ все-таки не рѣшались считать вульгарными.

Спустя нѣсколько минутъ, м-мъ Дюгамель сочла нужнымъ засмѣяться, а м-мъ Гюдъ побѣждала запереть манекена въ его шкапчикъ.

— Какъ это устроено?—спросила она громко.

— Не знаю, — отвѣчала дочь. — Я позвонила горничную, и вдругъ услышала скрипъ открывающейся шпалной двери, оборачиваюсь и вижу этого глупаго молодца, улыбающагося и ужаснаго.

— А горничная вовсе не явилась?

— Да, теперь я все понимаю, — сказала м-мъ Дюгамель, нажимая пуговку электрическаго звонка. Обѣ женщины невольно вздрогнули, увидѣвъ снова раскрывшійся шпалчикъ и восковую фигуру на его порогѣ.

И на этотъ разъ спрятала его м-мъ Гюдь.

— Это очень остроумно! — громко воскликнула она наконецъ, и рассказала дочери свои собственные приключенія.

— Да, я бы должна была имѣть это въ виду, это ужъ такая традиція у Библѣ. У нихъ даже возникло когда-то серьезное дѣло по этому поводу и окончилось въ судѣ.

Оказалось, что всѣ новые гости подверглись разнымъ сюрпризамъ. Дюгамелю были поданы къ шоколаду картонныя булочки; кофе Алисы исчезло подъ двойнымъ дномъ ея чашки.

— Этотъ кофе могъ бы служить символомъ моего счастья, — сказала Алиса, меланхолически улыбаясь.

Съ нѣкоторыхъ поръ ей все труднѣе становилось справиться съ приливами грусти и возстановить прежнее спокойствіе и самообладаніе.

Она теперь сильно ревновала, а ревность всего мучительнѣе именно тѣмъ, что ея источники находятся внѣ насъ самихъ. М-мъ де-Ребелль казалась Алисѣ воплощеніемъ всевозможныхъ прелестей, неотразимыхъ и неизвѣстныхъ ей соблазновъ. Кромѣ того, она казалась ей воплощеніемъ всѣхъ вообще женщинъ, которыхъ могъ бы полюбить Дюгамель. Волненія ея страсти становились тѣмъ сильнѣе и безпорядочнѣе, что ихъ источникомъ было чистое воображеніе, смутныя воспоминанія, безсвязныя впечатлѣнія, преувеличенныя и видоизмѣненныя страхомъ.

Еще одна причина дѣйствовала раздѣляющимъ образомъ на дѣвичью душу Алисы: она подвергалась вліянію окружающей ее теперь среды, всей этой лжи, разногласія между словами, мыслями и дѣлами, позволяющаго женщинамъ толковать о чистотѣ въ ту самую минуту, когда онѣ готовы отдаться своимъ обожателямъ, а мужчинамъ — увѣрять ихъ въ своей почтительности даже и тогда, когда они пускаютъ въ ходъ насилие...

Конечно, твердыя основы ея жизни не были разрушены, но она слишкомъ любила Дюгамеля, чтобы не поддаться сумасбродному опьяненію при мысли объ ихъ любви. Никакая среда, од-

накоже, не могла бы торжествовать надъ ея чистотою и скромностью, еслибы дѣло шло о комъ бы то ни было, кромѣ Дюгамеля. Она мечтала о Дюгамелѣ и жаждала совместной съ нимъ жизни,—но никогда еще не признавалась себѣ въ этихъ мечтахъ и желаніяхъ,—не только изъ стыдливости, но также и потому, что задача счастья Дюгамеля казалась ей не такой простой, какъ ея собственная. Новый мотивъ, введенный ревностью, сталъ теперь побуждать ее къ борьбѣ.

Она ни въ какомъ случаѣ не хотѣла допустить торжества м-мъ де-Ребелль. Пусть онъ остается вѣренъ своимъ семейнымъ обязанностямъ, пусть подчиняется необходимости, разсчету и нравственнымъ соображеніямъ, но пусть не считаетъ нужнымъ щадить ее, Алису. Она вѣдь вся его. Онъ для нея—весь міръ, и она постоянно дрожитъ за его жизнь... Алиса вспомнила, какъ однажды, во время катанья на рѣкѣ, ихъ лодка стала наполняться водой, и какъ она, во все время опасности, думала лишь о томъ, чтобы цѣною собственной жизни спасти Дюгамеля. Она могла бы даже согласиться выйти замужъ за Бизо, лишь бы Дюгамель былъ живъ, лишь бы она знала, что онъ счастливъ. Однако вовсе не нужно, чтобы онъ заблуждался на ея счетъ и приносилъ изъ-за нея напрасныя жертвы...

Эти ужасныя вещи приходили ей въ голову почти въ лихорадочномъ бреду, но тѣмъ не менѣе она чувствовала ихъ жестокую правду.

Иногда ей даже казалось, что она готова ихъ высказать, что она окончательно на это рѣшилась. Присутствіе любимаго человека останавливало ея смѣлость,—но все-таки могла придти минута, когда у нея вырвалось бы роковое признаніе.

Въ это утро, какъ и всегда, какъ и во всѣ часы, проводимыя Алисой вдали отъ Дюгамеля, она думала о своихъ отношеніяхъ къ нему. Иногда онѣ ей казались вполне ясными, иногда же снова затемнялись, но эти мысли не оставляли ее никогда, подобно старымъ, вѣрнымъ слугамъ, не покидающимъ своего господина.

Окончивъ туалетъ, она вышла изъ своей комнаты. Чтобы пробраться въ садъ, ей пришлось пройти рядъ великолѣпно меблированныхъ комнатъ, въ которыхъ ее поразило обиліе прекрасныхъ зеркалъ, безъ рамъ, съ косо срубанными кантами, украшавшихъ двери, окна и даже замѣнявшихъ ширмы. Что же касается остального, то это было обыкновенное великолѣпіе богатей, благородныхъ или не-благородныхъ, но любящихъ роскошь. Золоченая мебель, шкафы, инкрустированные мѣдью, ви-

тринны съ атласной обивкой, прекрасныя шелка, чудесныя матеріи, богатые, всюду растянутыя ковры. Все это, въ общемъ взятое,—ни красиво, ни гадко, но цѣнно, ослѣпительно, блестяще—и нисколько не интересно.

Зато большой, широкій садъ, со множествомъ цвѣтовъ, съ большой, неправильной полянкой, на которой возвышались отдѣльныя деревья, какъ часовые передъ двумя рощами, показался Алисъ, въ это свѣтлое утро, настоящею роскошью.

Двое садовниковъ работали на грядкахъ, передъ домомъ. Другіе, еще со вчерашняго дня, занимались украшеніемъ зала, въ которомъ должна была происходить раздача школьных наградъ.

Алиса направилась къ дорожкѣ прорѣзывающей маленькую рощу и ведущей къ пруду. Ей сразу же понравился этотъ уголокъ, уединенный среди трехъ черныхъ, итальянскихъ тополей. Со всѣхъ сторонъ поднимались рефлексы отъ мелкихъ зеленоватыхъ волнъ; блестящія точки колыхались и порхали на границахъ тѣни, на листьяхъ густыхъ кустовъ. Юнь красовался со всею пышностью своего расцвѣта; всевозможные оттѣнки зелени, прихотливѣйшіе изрѣзы и формы листвы дрожали въ чистомъ, сіяющемъ воздухѣ. Весь этотъ маленький міръ дышалъ какою-то заманчивой красотою, придающей таинственность вербѣ съ развѣвающимися вѣтками, бѣлымъ ольхамъ, высокимъ чернымъ тополемъ и нѣжной, бѣловатой пыли, покрывающей нѣсколько орховыхъ деревьевъ.

Алиса оперлась рукой на огромное дерево, корни котораго и начало изогнутаго ствола виднѣлись на противоположномъ берегу пруда. Она съ дѣтской непосредственностью наслаждалась утромъ, смотрѣла на игру лучей, на свѣжую тѣнь, на путаницу волнистыхъ травъ, на рыбокъ, выплывавшихъ вдругъ на поверхность воды, на полетъ дикаго голубя, распластаннаго на сіяющемъ небѣ, на множество крошечныхъ картинокъ, изящныхъ и холодныхъ, отражавшихся въ волнахъ.

Мало-по-малу, среди всѣхъ этихъ свѣтлыхъ вещей, чувство Алисы становилось реальнымъ. Ей показалось, что это такъ просто—любить и быть любимой. Въ ней было въ эти минуты сердце животнаго, окруженнаго въ лѣсу и забавляющагося опасными изворотами, отъ которыхъ зависитъ, однако, его жизнь. Приливы страсти вздымали ея молодую грудь. Сложная любовная исторія высшаго общественнаго круга превращалась въ любовь деревенской дѣвушки или городской работницы, почти не имѣющей силъ сопротивляться. Жестокія и блаженныя минуты, вызы-

вающія столь часто презрѣніе къ женщинѣ, усложняющія таинство любви и придающія болѣе значенія вѣрности, чѣмъ всѣ пальмы мученичества!

И ничто не могло устоять передъ силою этого мірового инстинкта,—ни сознаніе опасности, ни религія, ни нравственность, ни обычай. Онъ сказывается въ развратѣ—среди молитвъ и набожныхъ сентенцій, въ грубѣйшемъ безстыдствѣ—среди утонченной культуры. Онъ прибѣгаетъ къ помощи лжи, вкладываетъ эротическія фразы въ уста искушаемыхъ монахинь и выворачиваетъ на изнанку святыхъ души, несмотря на ихъ неусыпныя упражненія въ добродѣтели.

Правдивая и изыщная натура Алисы не была способна къ низкимъ формамъ страсти, но влюбленная дѣвушка осмѣливалась уже сознательно желать, чтобы Дюгамель взялъ ее въ объятія и увесъ въ область таинственныхъ ощущеній безпредѣльнаго счастья.

Въ такомъ именно настроеніи она стояла, ускоренно дыша и съ блаженной улыбкой на устахъ, опираясь на дерево, когда ея уединеніе было неожиданно нарушено. Сначала послышался легкій отзвукъ шаговъ, а затѣмъ промежъ двухъ густыхъ кустовъ показались м-мъ Дюгамель и д'Эскруа. Алиса инстинктивно спряталась за вѣтви. Они между тѣмъ приближались. Дорожка издалека окружала дерево, и гуляющіе прошли мимо, не замѣтивъ молодой дѣвушки. Мѣстность показалась имъ очевидно уединенною и тихою, и д'Эскруа, оглянувшись нѣсколько разъ направо и налево, обнявъ вдругъ за талію жену Дюгамеля. Сначала она, какъ будто, защищалась, но затѣмъ поддалась поцѣлуямъ молодого аристократа, державшаго долго свои губы на ея хорошенькомъ ротикѣ.

До этой минуты никакая надежда не проникала въ душу Алисы. Теперь же ихъ поцѣлуй, потрясая и возмущая все ея существо, отрывалъ вдругъ передъ нею такія опредѣленные надежды, что молодая дѣвушка едва не лишилась чувствъ, въ то время какъ элегантная парочка скрылась за зеленою чащею.

Вскорѣ послѣ того Алиса вернулась къ замку. День становился жаркимъ. Библѣ устроили на полянкѣ lawn-tennis. Сыграли нѣсколько партій. Д'Эскруа не былъ единственнымъ изъ приглашенныхъ, пріѣхавшихъ такъ рано: кромѣ него явились—де-Берикъ, м-мъ де-Ребелль, двѣ невѣстки Библѣ и ихъ мужья: Морисъ и Жераръ. Одна только Алиса замѣтила возвращеніе маркиза и м-мъ Дюгамель; они непринужденно болтали, и то приближались, то удалялись другъ отъ друга, какъ бы случайно встрѣчаясь во время прогулки.

Она должна была, между тѣмъ, выслушивать безсмысленные комплименты де-Берика, и даже д'Эскруа въ продолженіе нѣсколькихъ минутъ разсыпался передъ нею въ любезностяхъ, но она отвѣчала имъ довольно рѣзко и поспѣшила присоединиться къ партіи тенниса Деларбровъ. Д'Эскруа отошелъ весьма недовольный. Уже и прежде его тяготило пренебреженіе Алисы, и онъ много думалъ о немъ въ продолженіе недѣли. Онъ мечталъ также о томъ, чтобы отомстить Дюгамелю, выказывая съ своей стороны тонкость и глубину ума.

Жюль де-Берикъ не заглядывалъ такъ далеко. Онъ былъ влюбленъ въ Алису, и рѣшился, при первомъ удобномъ случаѣ, просить ея руки, съ условіемъ, однако, чтобы она подчинилась великимъ принципамъ, управлявшимъ его жизнью, такъ, какъ вѣтеръ управляетъ флюгеромъ.

Наконецъ возвѣстили о завтракѣ, и нѣсколько минутъ спустя все общество сидѣло уже за столомъ.

Династія Библѣ умѣло поддерживала свое денежное величіе. Отецъ—высокаго роста, нѣсколько сторбленный, съ прямымъ носомъ и бѣлыми усами, держалъ себя съ непринужденнымъ изяществомъ, одѣвался просто и элегантно, хотя его бѣлые воротнички и нагрудникъ были все-таки бумажные. Что касается его сыновей, то Морисъ, поменьше ростомъ, всѣмъ недовольный и все преувеличивающій, былъ постоянно занятъ разными мелкими предпріятіями и дѣлами. Какъ фанатическій роялистъ, онъ ненавидѣлъ нынѣшній режимъ и всегда готовъ былъ накинуться на франмасоновъ и вольнодумцевъ вообще. Другой изъ нихъ, Жераръ, молодой человекъ высокаго роста, съ черными усами, съ медленными движеніями и съ приподнятой всегда головой, держалъ себя до того важно и чинно, что даже съ невѣстой былъ крайне церемоненъ до самаго дня свадьбы. Онъ былъ не менѣе усерднымъ роялистомъ, чѣмъ и его братъ. Оба молодые Библѣ женились на барышняхъ изъ аристократическаго круга, одинъ на бѣдной, другой—на богатой. Бѣдная, казалось, вовсе не имѣла собственной души,—подобно народнымъ полишинелямъ, на маску которыхъ она даже походила. Жизнь ея была наполнена всякою суетой. Со второго же дня послѣ брака, она всюду показывалась въ прекрасныхъ экипажахъ и прекрасныхъ туалетахъ, наслаждаясь всѣми эффектами богатства. Жена Жерара не испытывала этихъ низменныхъ радостей, такъ какъ она сама по себѣ была богата. Она была хорошаго роста, стройна и недурна собой, но вообще ничтожна. Обѣ онѣ, впрочемъ, отличались гордостью и неучтивостью—этими высшими добродѣтелями

дворянства. Кромѣ того, они приводили въ отчаяніе родителей Библѣ беспорядочностью воспитанія, лѣнью, пустотою и высоко-мѣріемъ, съ которымъ онѣ принимали всякое замѣчаніе насчетъ ихъ поведенія.

Старикамъ лучше удалось выдать замужь дочь, хотя Деларбръ вовсе не былъ богатъ; несмотря на нѣкоторые пороки, свойственные этой средѣ, онъ былъ въ сущности порядочный человекъ, равнодушный къ добру и справедливости. Его красивая, воинственная осанка прельстила дочь Библѣ, сокровище семьи, изящную молодую женщину, съ нѣжнымъ лицомъ, черными глазами и прекрасными волосами, всегда превосходно одѣтую. Если она и спорничала до известной степени съ своими *belles-sœurs* въ колкости и рѣзости тона, то, по крайней мѣрѣ, она была гораздо остроумнѣе.

М-мъ Библѣ хорошо и спокійно предсѣдательствовала за обѣдомъ. Это была крупная, красивая женщина, носившая богатые, шуршащіе платья, вѣроятно потому, что она особенно любила шелковыя матеріи.

Вся эта семья, глава которой вышелъ изъ богатой буржуазіи, страстно тяготѣла къ аристократіи. Вскорѣ уже Библѣ должны были окончательно раздѣлаться со всѣми промышленными предпріятіями, сохранившимися въ ихъ рукахъ и составившими нѣкогда ихъ нынѣшнее громадное состояніе. Съ каждымъ днемъ они все глубже и глубже погружались въ механизмъ аристократическихъ предрасудковъ, столь губительныхъ для всякой аристократіи.

Тутъ же, рядомъ съ ними, сидя за ихъ столомъ, потомки древняго дворянства старались достойнымъ образомъ поддержать свое званіе, выказывая, съ помощью весьма тонкихъ оттѣнковъ, свое превосходство, а также различіе отношеній къ богатѣйшему Библѣ или къ скромной буржуазіи, представителемъ которой былъ Дюгамель. Между тѣмъ, само присутствіе въ этомъ обществѣ миссъ Монитаймъ, американки-милліонерки, и крайняя внимательность, оказываемая ей въ особенности со стороны де-Розбеллей, напоминали слишкомъ очевидно о могуществѣ денегъ и о значеніи ихъ въ жизни аристократіи.

Дюгамель думалъ о томъ, что, повидимому, весьма немного нужно, чтобы низвести титулованнаго человѣка съ его высоты. Онъ самъ, напримѣръ, помогалъ деньгами разорившимся Деларошъ-Сурсамъ, жившимъ только заработкомъ женщинъ изъ своей семьи, которая получала по тридцати су въ день, за шитье кукольныхъ нарядовъ; мужчины же проводили весь день почти въ

постели, чтобы избѣгнуть униженій. Имъ всѣ очень сочувствовали, но знакомые, не узнавая ихъ, проходили мимо... А виконтъ Анри де-Лоншанъ,—прежде аптекарскій ученикъ, а затѣмъ продавецъ газетъ? И все-таки, несмотря на отсутствіе реальныхъ принциповъ существованія, дворянство остается и до сихъ поръ основной соціальной организаціей старой Европы. Оно не перестаетъ привлекать къ себѣ людей, потому что и въ настоящее время является неоспоримымъ авторитетомъ и представителемъ силы. Оно привлекаетъ къ себѣ прежде всего разбогатѣвшихъ буржуа, ликвидирующихъ дѣла и боящихся возвышенія новыхъ общественныхъ элементовъ. Аристократическая форма авторитета нравится имъ всего больше. Получается новая смѣсь соціальныхъ факторовъ, вырабатывающая, мало-по-малу, новый общественный типъ. Библѣ, Лебераны, м-мъ Гюдь и м-мъ Дюгамель—все это разновидности одного и того же стремленія...

Дюгамель продолжалъ еще размышлять на эту тему, когда Библѣ назвалъ вдругъ его фамилію, и всѣ взоры обратились на него.

— Такъ какъ вы любите философствовать, м-сье Дюгамель, то вы можете въ этомъ упражняться съ графомъ де-Латорель.

Де-Латорель улыбнулся, услыхавъ эту глуповатую фразу Библѣ. Это былъ красивый молодой человѣкъ лѣтъ тридцати-пяти, съ густой бородкой, живыми глазами, съ кроткимъ, неопредѣленнымъ и по временамъ нѣсколько суровымъ лицомъ. Послѣ извѣстной связи съ знаменитой парижской актрисой, онъ женился на Бланшъ Арклѣ, дочери крупнаго финансиста изъ евреевъ, и получилъ многомилліонное приданое. Дюгамель зналъ послѣднюю театральную пьесу этого плодовитаго аристократа: „Фетишъ“. Онъ представлялъ въ ней борьбу науки съ религіей, и эта послѣдняя торжествовала по всѣмъ правиламъ драматическаго искусства, въ которомъ довольно часто приходилось видѣть:

Льва гигантскаго сложенія,
Брошеннаго на зѣмь человѣкомъ...

Де-Латорель, спросилъ:

— М-сье Дюгамель—писатель?

— Нѣтъ,—отвѣчалъ Дюгамель,—я географъ.

Разговоръ прекратился, къ великому огорченію де-Розбелля, надѣявшагося быть свидѣтелемъ погрома злополучнаго моралиста. Д'Эскруа также очень хотѣлось, чтобы Латорель открылъ огонь. Вѣдь не напрасно же выписалъ онъ себѣ читанныя когда-то философскія книжки, даже какое-то „резюме“ Герберта Спенсера,

и долбилъ ихъ, какъ студентъ, всю недѣлю, лишь бы только, при первомъ удобномъ случаѣ, поднять свой престижъ въ глазахъ Алисы.

Но, очевидно, этотъ завтракъ не годился для такой цѣли. Всѣ торопились, тѣмъ болѣе, что не все еще было готово у м-мъ Библѣ въ устройствѣ торжества.

Три мальчика и двѣ дѣвочки изъ лучшихъ окрестныхъ семействъ готовились играть какую-то пьеску и ожидали въ сосѣдней гостиной, чтобы кто-нибудь занялся съ ними репетиціей,—они главнымъ образомъ надѣялись на Латореля. Это былъ рядъ легкихъ и веселыхъ сценъ. Разныя комбинаціи старыхъ словъ, милые и забавные жесты юности, лукавые приемы дѣвочекъ, самоувѣренность мальчиковъ—приводили въ восторгъ родителей. На сценѣ чувствовалась атмосфера все той же среды, обожающей изящное веселье, недолгое и несложное, „распускающееся въ воздухѣ“, какъ сказалъ бы Верленъ.

Латорель очень любезно занялся репетиціей, заставилъ повторить нѣкоторые сцены; остальные же показались ему безупречными, также какъ и зрителямъ.

Между тѣмъ, къ обществу присоединялись вновь пріѣзжающіе гости, и вся гостиная наполнилась веселымъ гамомъ, благодаря присутствію дѣвочекъ-подростковъ, уже очень кокетливыхъ, и ухаживавшихъ за ними молодыхъ людей въ миниатюрѣ.

Дюгамель, наблюдая этихъ юношей, замѣчалъ ихъ граціозную непринужденность и утонченную вѣжливость, отличающую вообще воспитанниковъ духовныхъ орденовъ. Въ нихъ не было и слѣда угловатости, неловкости, дикости и дѣтской жадности, свойственныхъ ученикамъ свѣтскихъ школъ... Какой соблазнъ для родителей—такое воспитаніе! Да, къ тому же, какъ оно практично, какъ легко усваивается, какъ далеко отъ педантизма!.. Оно сглаживаетъ контрасты, имѣетъ въ виду гармонію личности съ ея прирожденной средой и вырабатываетъ совѣсть не индивидуальную, но общественную, основанную на уваженіи къ законамъ, традиціи, обычаямъ, совѣсть дисциплинированную, счастливую и—ничтожную.

Церковь не тратитъ времени въ напрасныхъ поискахъ за неизвѣстнымъ. Она учитъ жить согласно требованіямъ данной эпохи и общественного круга и отечески устраняетъ химеру—какъ вредный кошмаръ. Она воспитываетъ простолюдина какъ простолюдина, а аристократа—какъ аристократа.

„Такимъ образомъ,—думалъ Дюгамель,—она права, называя

себя вѣчной и непреходящей; она примѣняется, къ обстоятельствамъ, но остается всегда одна и та же“.

Радостныя восклицанія прервали его мысли. Всѣ устремились къ окнамъ и смотрѣли на монахинь, ведущихъ ряды маленькихъ дѣвочекъ въ бѣлыхъ платьяхъ. Эти ряды направились къ обширной постройкѣ, служащей обыкновенно для храненія садовыхъ орудій и нѣсколькихъ экипажей. Бѣлыя платья блестѣли на солнцѣ. Дѣвочки шли очень чинно двумя длинными колоннами, стараясь подражать неподвижному выраженію лицъ своихъ руководительницъ—„сестеръ“.

Тѣмъ не менѣе, чувствовалась дѣятельная и бдительная сила, неуклонно и терпѣливо направлявшая это молодое стадо къ строго опредѣленнымъ пашнямъ.

Роскошь зеленыхъ полянокъ, чудесныхъ деревьевъ, цвѣтущихъ грядокъ, служила великолѣпными рамками для бѣлыхъ платьевъ маленькихъ крестьянокъ. У нѣкоторыхъ изъ нихъ были нѣжныя и мечтательныя личики, но большинство принадлежало къ настоящему деревенскому типу, —широковостному и крупному.

Дюгамель представлялъ себѣ съ грустью ожидавшую ихъ судьбу, вспомнилъ пессимизмъ своего друга Делафона и не могъ удержаться отъ восклицанія:

— Маленькое стадо, ты тоже идешь на бойню и также этого не знаешь, какъ и настоящіе бараны!

Но онъ вскорѣ овладѣлъ собой, стараясь воспроизвести въ своемъ умѣ великую мечту, въ которой отдѣльное существо было лишь тѣмъ-то въ родѣ символа міровыхъ законовъ и въ которой само страданіе было только одною изъ неизвѣстныхъ величинъ увлекательной проблемы.

О. М.



СТИХОТВОРЕНІЕ

Такъ я, заживо отпѣтый,
Одинокій средъ людей,
Самъ пою свою легенду
Въ злой безсонницѣ своей.

К. П. А. Вяземскій.

Старость подходитъ; но жизненныхъ силъ еще много;
Лишь опытомъ духъ усмирень, и стало яснѣе сознанье.
Съ чутостью новой теперь различать начинаю я строго
Правды прямые лучи и кривды позорныя пятна.

Краткость годовъ предстоящихъ, однакожъ, мертвитъ вдохновенье.
Планы задуманныхъ дѣлъ и новыхъ созданій наброски,—
Васъ не удастся исполнить! и нѣтъ ужъ на это желанья.
Мечта не впередъ, а обратно къ былому несется,
Творчески вновь оживляя дѣянія лѣтъ промелькнувшихъ.

Цѣлой жизни своей становлюсь я невольнымъ судьбою:
Ошибки мнѣ ясны судьбы, какъ ясны мои преступленья.
Какъ сталъ бы теперь я въ быломъ поступать по иному!
Какъ ту, что дѣлила со мною и радость и горе, съумѣлъ бы теперь я
Беречь и лелѣять, любуюсь прекраснымъ осеннимъ закатомъ!

Но, скорбный, лишень я вечерняго тихаго свѣта;
Падаетъ духъ, и тоска затемняетъ сознанье—
Словно надъ бездной стою, какъ бѣглець, потерявшій дорогу,
Чующій гибель вблизи, посылающій дому—прости!..

И. Х.

17 октября
1900 г.



ИТОГИ ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКИ

1900 года.

Письмо изъ Парижа.

I.

Праздникъ конченъ, и занавѣсъ, послѣ семимѣсячной фееріи, упалъ на апофеозъ. Послѣдній день былъ одинъ изъ лучшихъ по успѣху. День солнечный, свѣтлый, хотя и осенній. Толпа была громадная (369 тыс.), несмотря на то, что это былъ понедѣльникъ; она быстро неслась впередъ чуть не бѣгомъ, безъ оглядки, стараясь въ послѣдній разъ обойти возможно большее пространство,—„нахвататься“ побольше выставки. Вездѣ слышалось сожалѣніе о томъ, что выставка закрывается, что такія громадныя затраты сдѣланы только для какихъ-нибудь четырехъ мѣсяцевъ;—*le dernier jour d'un condamné*—говорили въ толпѣ...

На другой день къ вечеру въ витринахъ уже ничего не было, а затѣмъ она походила на скорлупу, изъ которой вынули все, что въ ней было интереснаго, изображая вполне отходящій вѣкъ, отъ котораго у насъ остаются великіе образцы литературы и искусства, а главное—почти вся наука и столько великихъ изобрѣтеній...

Имѣла ли выставка успѣхъ? По нашему мнѣнію,—несравненно большій, чѣмъ выставка 1889 г., которой успѣхъ былъ тогда такъ еще небывалымъ.

Прежде всего, по числу входовъ 50.860.893 ¹⁾ она далеко превъ

¹⁾ Въ 1889 г., входовъ было 32.350.297.

наетъ всѣ существовавшія до сихъ поръ выставки. И замѣчательно то, что наибольшее число входовъ приходится на послѣдніе мѣсяцы—сентябрь и октябрь. Въ воскресенье, 9-го сентября, было 600 тысячъ входовъ, и тогда всѣ ахнули—ничего подобнаго ни на одной выставкѣ еще не было. А въ воскресенье, 7-го октября (н. с.), было 652 тыс. входовъ—почти вдвое, чѣмъ въ день наибольшаго числа входовъ въ 1889 году. Объясняется такой неслыханный наплывъ посѣтителей необыкновенной дешевизной входныхъ билетовъ, тикетовъ. Въ послѣдніе дни сентября и началѣ октября цѣна ихъ упала—было до 12½ сантимовъ (нѣсколько меньше 5 коп.). При такой платѣ за входъ въ воскресенье рабочіе и мелкіе приказчики отправлялись на выставку цѣлыми семьями на цѣлый день и на цѣлый вечеръ, забирая съ собою необходимые припасы на день жизни. Удовольствіе такое семьѣ, даже въ 7 членовъ, обходилось около франка (коп. 40).

Дешевизна же билетовъ объясняется очень просто. Когда составляли проектъ выставки, расходы на ея устройство оцѣнены были въ сто милліоновъ франковъ. Изъ нихъ 20 пожертвовало государство, 20—городъ Парижъ, а 60 добыты, собственно говоря, при помощи лотереи. Выпущено было на 65 милліоновъ выигрышныхъ билетовъ, „bons de L'Exposition“ (3 милл. 850 тыс. билетовъ по 20 фр. каждый), которые участвовали, начиная съ выпуска 1896 года, въ 29 тиражахъ съ выигрышами, и кромѣ того каждый „bon“ давалъ право на 20 тикетовъ. Въ публикѣ такимъ образомъ оказалось въ обращеніи 65 милліоновъ тикетовъ. Такъ какъ даже въ 1889 году число входовъ было меньше числа выпущенныхъ тогда тикетовъ ¹⁾, то и на этотъ разъ допустить, что число входовъ увеличится болѣе чѣмъ вдвое по сравненію съ послѣдней выставкой, было недопустимо. Поэтому немедленно, въ первый же день выставки, цѣна тикета была сразу ниже номинальной (1 фр.). Въ первые дни они еще продавались по 65 сантимовъ, потомъ они мало-по-малу дошли до 12½ сант. Чтобы поднять нѣсколько цѣну тикетовъ, администрація подѣ разными предлогами устраивала на выставкѣ празднества (празднество на Сенѣ, празднество по случаю сбора винограда), и въ дни такихъ празднествъ взи-мали за входъ по 5 тикетовъ съ человѣка. Тикеты, поэтому, поднялись даже во вторую половину октября до 25 сант. ²⁾.

¹⁾ Въ 1889 году выпущено было 30 милл. тикетовъ, а поглощено было входами на выставку 28.149.352 тикета.

²⁾ Случилось даже за четыре дня до закрытія выставки, въ день праздника автомобилей, что у нѣкоторыхъ воротъ у обыкновенныхъ продавцовъ—„camelots“—тикетовъ не хватило, и цѣна въ теченіе часа дошла до 1½ франка. Правда, публика до того раздражилась, что стала вриваться на выставку совершенно безъ тикетовъ.

Всѣхъ тикетовъ поступило обратно въ кассы выставки 47.076.539—значить, въ публикѣ безъ употребленія осталось около 18 милл. тикетовъ.

Съ денежной стороны, таковъ вѣратцѣ балансъ, опубликованный на дняхъ. Сметъ въ 100 милліоновъ перерасходована на $16\frac{1}{2}$ милл., которые частью покрываются доходами почти въ $14\frac{1}{2}$ милл. (нѣсколько меньше), такъ что придется доплатить 2 милл. 40 тыс. фр. ¹⁾. До сихъ поръ только двѣ выставки дали прибыль, т.-е. излишекъ дѣйствительныхъ доходовъ надъ предвидѣнными, такъ что ассигнованныя государствомъ и городамъ субсидіи были уменьшены: выставка 1867 года дала около трехъ милл. фр., а выставка 1889 года дала въ дѣйствительности больше *одиннадцати милліоновъ*, не считая оставшихся тогда послѣ выставки построекъ (два дворца и машинная галерея на Марсовомъ-Поле), которыя стоили больше 13 милл.—успѣхъ совершенно еще до сихъ поръ неслыханный.

И на этотъ разъ дефицитъ собственно фиктивный ²⁾. Парижу остаются дворцы, мостъ Александра III и роскошный новый бульваръ, чтѣ вмѣстѣ стоило вѣроятно около 30 милл. Большой дворецъ остается, правда, собственностью государства.

Ни на одной выставкѣ у администраціи не было такихъ крупныхъ доходовъ отъ мѣстъ, отданныхъ подъ рестораны, театры, панорамы, разныя увеселительныя заведенія, кіоски и т. д. Эти доходы дошли до 8.864.442,19 фр., изъ которыхъ 318.151,35 пришлось возвратить этимъ заведеніямъ въ видѣ вознагражденія за убытки; осталось около $8\frac{1}{2}$ милл. чистаго дохода.

Никогда мѣста, которыя отдавались съ торга, не доходили до такихъ неслыханныхъ цѣнъ, какъ на этой выставкѣ. За мѣсто подъ кіоскъ въ 8 или въ 10 квадр. метровъ платили отъ 10 до 30 тыс. фр.! И случилось это вотъ почему: выставка 1889 года устраивалась при самыхъ неблагоприятныхъ обстоятельствахъ. Почти всѣ европейскія государства, въ виду тѣхъ событій, которыя выставка должна была вспоминать и чествовать, отказались принять въ ней официальное участіе; участвовали только мѣстные комитеты. Въ самой Франціи послѣдніе два года, предшествовавшіе выставкѣ, были довольно смутные въ политическомъ отношеніи: сначала исторія Вильсона, потомъ буланжистская агитація, казалось, всецѣло поглощали всѣ умы, и никто

¹⁾ Счетъ такъ составленъ, что если разобрать его подробно, то дѣйствительный дефицитъ оказывается только въ 400 тыс. фр.

²⁾ Тогда смета была составлена въ 43 милл., и не только не было перерасхода, но былъ даже *недорасходъ* въ $5\frac{3}{4}$ милл. Даже по работамъ истрчено было меньше сметн. Всего израсходовали почти 39 милл., а выручили 50 милл. слишкомъ. Часть прибыли была потомъ истрчена на устройство новаго поля для военныхъ эзерциій внѣ города, такъ какъ Марсово-Поле съ дворцами осталось собственностью города. Такъ что, въ концѣ концовъ, прибыль сведена была на 2.307.679 фр. Въ 1878 году дефицитъ оказался въ $21\frac{1}{2}$ милл.; отъ нея, правда, остался дворецъ Трокадеро, который обошелся въ $18\frac{1}{2}$ милл., а первоначально оцѣненъ былъ въ сметѣ въ $7\frac{1}{2}$ милл.

о выставкѣ не думалъ. 27-го января 1889 г., за четыре мѣсяца до открытія выставки, Парижъ, въ одинъ изъ тѣхъ припадковъ сумасшествія, которыми несомнѣнно страдаетъ „городъ-свѣтъ“ (la „Ville-Lumière“) Виктора Гюго, выбралъ знаменитаго тогда генерала,—впослѣдствіи столь печально покончившаго съ собою,—своимъ депутатомъ громаднымъ большинствомъ. Повторяемъ, о выставкѣ, никто тогда даже въ Парижѣ не думалъ; печать о ней не говорила. Думалъ о ней только одинъ человѣкъ, ея администраторъ, г. Жоржъ Бержэ, нынѣ, какъ и тогда, депутатъ отъ города Парижа, котораго энергіи тогдашняѣ выставка и обязана была своимъ осуществленіемъ и небывалымъ успѣхомъ.

При такихъ обстоятельствахъ вѣра въ успѣхъ тогдашней выставки была до того слаба, что когда тогдашняя администрація обратилась къ парижскому синдикату рестораторовъ съ предложеніемъ снять оптомъ всѣ кофейныя и рестораны почти даромъ, за небольшую поденную плату—пропорціонально числу входовъ,—то синдикатъ отказался. Администрація выставки пришлось искать охотниковъ снимать мѣста и на такихъ условіяхъ. За мѣста подъ кіоски для продажи съѣстныхъ припасовъ и напитковъ была установлена одна общая для всѣхъ цѣна въ 150 фр. ¹⁾).

Когда впослѣдствіи успѣхъ выставки оказался съ первыхъ же дней блистательнымъ, то упомянутый синдикатъ сталъ хлопотать о томъ, чтобы вечеромъ рестораны на выставкѣ были закрыты. Ему, разумѣется, въ просьбѣ отказали. Всѣ содержатели ресторановъ, кофейныхъ, кіосковъ, нажили тогда большіе барыши. Указывали, напр., на одну семью, которая, собравъ все, чтò у нея было и позанивъ еще у родныхъ, сняла и устроила одинъ изъ ресторановъ рядомъ съ главнымъ входомъ, и она черезъ шесть мѣсяцевъ ушла съ нажитымъ полумилліономъ франковъ чистаго барыша. Указывали на содержателей кіосковъ, которые нажили десятки и даже сотни тысячъ франковъ. Рассказы обо всѣхъ этихъ найденныхъ на выставкѣ счастьяхъ сидѣли у многихъ въ головѣ, и когда администрація нынѣшней выставки открыла торги на рестораны и кіоски,—охотниковъ явилось множество. Разсчитывали почему-то, что нынѣшняя выставка превзойдетъ прошлую болѣе чѣмъ вдвое, что наплывъ иностранцевъ будетъ громаднѣйшій, и что нажива будетъ роскошнѣйшая. Администрація, правда, всячески поддерживала эти убѣжденія. Поэтому за мѣста подъ ресто-

¹⁾ Тогда отъ ресторановъ и разныхъ концессій, подъ которыя мѣста даны были даромъ, выручено было, благодаря пропорціональному числу входовъ налога, 2.387.997,40 фр.; въ смѣтъ этотъ доходъ предвидѣлся только въ 1 милл. Налогъ варіировалъ, смотря по мѣсту, отъ 0 фр. 004 до 0 фр. 007, съ 1000 входовъ за каждый квадратный метръ.

раны платили сотни тысячъ, подъ маленькіе кіоски—по нѣскольку десятковъ тысячъ франковъ. И почти всѣ ошиблись въ расчетахъ.

Ошиблись также въ расчетахъ почти всѣ предприниматели развлеченій и приманокъ, которые воображали, что толпа та же, что въ 1889 году:—значить, она пойдетъ на тѣ же развлечения.

Жалобы рестораторовъ и содержателей всякихъ питейно-закусочныхъ никого особенно не трогаютъ,—они стремились нажиться на счетъ желудковъ, кормили и поили дурно и за неслыханныя цѣны. Публика отравляться не хотѣла, и ее за это порицать нельзя.

Что же касается до жалобъ предпринимателей развлеченій, то онѣ даже могутъ радовать, потому что доказываютъ, насколько громадная, небывалая толпа оказалась выше той, на которую они рассчитывали.

II.

Чѣмъ же насъ забавляли? Забавляли насъ всевозможными панорамами, и большими, и малыми. Изъ большихъ—двѣ были интересныя: „Вокругъ Свѣта“ (le Tour du monde) и „Подвижная мареорама“. Первая изображала рядъ видовъ изъ всѣхъ странъ земли, причемъ первые планы—между зрителемъ и полотномъ—были какъ бы дѣйствительные: видъ изъ Японіи съ десяткомъ настоящихъ, благообразныхъ японокъ, въ настоящей японской лѣтней виллѣ, которыя сидѣли по-японски, распивали чай, рисовали и... вѣроятно, скучали; видъ изъ Китая, съ настоящими китайцами и китаянками на первомъ планѣ, и т. д. „Мареорама“ представляла корабль, который помощью машины то покачивался, то получалъ толчки, дававшіе ощущенія влеченія впередъ, а кругомъ корабля развертывалось полотно панорамы; такъ что, въ общемъ, получалось впечатлѣніе плаванія въ морѣ—отъ Константинополя до Марселя черезъ Грецію и всю Италію. Обѣ панорамы посѣщались многочисленной публикой, особенно послѣдняя, несмотря на дороговизну входа въ нее (3 франка). Но отмѣтимъ, что обѣ были для публики поучительны. Остальные развлечения главнымъ образомъ сводятся, такъ сказать, къ двумъ цикламъ: циклъ „danse du ventre“ и циклъ „Montmartre“.

На выставкѣ 1889 года, на улицѣ Каиро, занимавшей западный край Марсова-Поля (улица оставила по себѣ очень веселую память), какіе-то сомнительные египтяне устроили залъ, гдѣ еще болѣе сомнительныя двѣ восточныя красавицы танцовали „danse du ventre“. Танецъ имѣлъ успѣхъ, вызвалъ любопытство, и залъ всегда былъ полонъ; но въ него не пускали ни барышень, ни юношей—за этимъ полиція строго смотрѣла. Какъ все имѣющее успѣхъ, „la danse du ventre“

быстро акклиматизировался, и въ первые годы послѣ выставки—чуть ли не до послѣдняго времени—не было въ Парижѣ ни одного увеселительно-танцевально-шантаннаго заведенія, сколько-нибудь уважающаго себя, на афишахъ котораго не выдѣлялись бы громадными буквами слова: „la danse du ventre“. Предприниматели развлеченій на этой выставкѣ не могли не подумать о „danse du ventre“—успѣхъ тутъ былъ заранѣе обезпеченъ. И вотъ снова пріѣхали египтяне, и на этотъ разъ съ большой труппой, устроили большой театръ, и стали давать этотъ танецъ въ теченіе часа, подъ предлогомъ какаго-то театральнаго представленія. Пріѣхали тунисцы и устроили у себя тотъ же танецъ. То же сдѣлали алжирцы, турки и др. восточные промышленники; такъ что на Трокадеро и отчасти на Марсовомъ-Полѣ такихъ „dances du ventre“ оказалось съ десятокъ... И всѣ эти заведенія, несмотря на всякія зазыванія, почти всегда оставались пустыми и потерпѣли убытки. Публика упорно отказывалась смотрѣть на „danse du ventre“, и танецъ обанкрутился. За одиннадцать лѣтъ публика измѣнилась, выросла, и развлеченіями въ родѣ „danse du ventre“ больше не интересуется, чего предприниматели развлеченій не знали и въ расчетъ не приняли.

Такимъ же почти образомъ обанкрутился и „Montmartre“.

Но тутъ требуется нѣкоторое объясненіе того, что такое „Montmartre“, вѣрнѣе—въ какомъ смыслѣ мы употребляемъ это слово.

III.

„Montmartre“—читатель, можетъ быть, это знаетъ—есть названіе одной изъ частей Парижа—самой сѣверной части, составляющей въ административномъ отношеніи XVIII-й округъ и расположенной на горѣ „Montmartre“. Отсюда, собственно, и названіе части города ¹⁾. Гора и кварталъ на обыкновенномъ разговорномъ языкѣ парижанъ, а особенно обитателей квартала—квартала не въ чисто административномъ смыслѣ, а въ смыслѣ болѣе общемъ: части города вообще—называются „la butte Montmartre“, или просто „la butte“ (крутой холмъ). Говорятъ, напр.: „je demeure sur la butte“ (я живу на холмѣ), подразумевается: „sur la butte Montmartre“. И это не потому, чтобы въ

¹⁾ Въ административномъ отношеніи Парижъ раздѣленъ на 20 округовъ (arrondissement), и каждый округъ подраздѣленъ на 4 квартала (quartier). Депутаты избираются по округамъ—каждый округъ дѣлится на столько избирательныхъ частей (circonscriptions), сколько ему причисляется депутатовъ (по одному на 100 т. жит., и дробь этого числа считается за цѣлое), а муниципальные совѣтники (гласные думы)—по кварталамъ: каждый кварталъ выбираетъ одного.

Парижъ былъ одинъ только холмъ—холмовъ и горъ въ Парижѣ нѣсколько, какъ гора св. Женеьевы, высоты Трокадеро и Пасси, Бельвиль, les buttes-Chaumont, —тѣмъ не менѣе, butte просто обозначаетъ только „Montmartre“. Подобно тому какъ въ Парижѣ имѣется только одинъ „quartier“ (кварталь), несмотря на свои 80 кварталовъ (quartiers) въ административномъ отношеніи. На языкѣ образованнаго парижанина „le quartier“ обозначаетъ Латинскій кварталъ, особенно если этотъ парижанинъ—бывшій, настоящій или будущій воспитанникъ какой-нибудь большой школы.

Уроженцы Montmartre'a извѣстныхъ, не особенно высокихъ классовъ имѣютъ свой акцентъ, который ихъ выдаетъ. Люди они, вообще, съ убѣжденіями не особенно твердыми: были коммунарами—печальной памяти коммуна началась на Montmartre'ѣ—потомъ долго крайними—все, что угодно, потомъ буланжистами—Буланжé специально былъ выбранъ на Montmartre'ѣ,—а теперь въ большинствѣ они—националисты. Но кромѣ туземнаго населенія, на Montmartre'ѣ есть населеніе пришлое, гораздо болѣе интересное. Оно состоитъ въ значительной мѣрѣ изъ, такъ сказать, молодыхъ всходовъ литературы и искусствъ. Множество художниковъ, поэтовъ и романистовъ начали свою художественную или литературную жизнь бѣдствованиемъ гдѣ-нибудь „sur la butte“. Тамъ можно жить баснословно дешево—за небольшую сумму можно имѣть большую, очень приличную мастерскую съ комнатою. Поэтому здѣсь живетъ масса молодыхъ, начинающихъ художниковъ, которые хотя часто и бѣдствуютъ, но трудятся, выдумываютъ новые способы, новые жанры въ искусствѣ, новые образцы, новые предметы для художественной промышленности, и выходятъ часто въ знаменитости. Парижъ славится своими ювелирными произведеніями, и отдѣлъ французскаго ювелирнаго дѣла (bijouterie) былъ однимъ изъ большихъ украшеній выставки. Въ этомъ отдѣлѣ самое достопримѣчательное была витрина Lalique'a, выдумавшаго совершенно новый жанръ художественныхъ украшеній. Этотъ Lalique открытъ былъ знаменитой Sarah Bernhardt—на Montmartre'ѣ. Всѣ лучшіе каррикатуристы живутъ на Montmartre'ѣ. Тамъ же молодые художники устраиваютъ свои увеселенія: „le bal des quat'z'arts“ или „праздникъ Монмартрской музы“ (la fête de la Muse de Montmartre). Можно сказать почти безъ преувеличенія, что колыбель новѣйшаго французскаго вкуса—Montmartre.

Есть еще третій Монмартръ—художественныхъ кабаковъ („cabarets artistiques“). Это странное сочетаніе двухъ словъ обозначаетъ мѣсто, гдѣ подъ предлогомъ какихъ-то претензій на искусство продаютъ дорого сквернѣйшее пиво. Исторія ихъ не очень стара, коротка и не лишена, можетъ быть, интереса. Въ началѣ семидесятыхъ годовъ

на Montmartre'ѣ появился кабаччикъ Salis, который возымѣлъ оригинальную мысль завлекать въ свой сквернѣйшій кабачокъ, прозванный имъ „Chat Noir“, публику посредствомъ гаерства. Прозвалъ онъ себя Gentilhomme Salis, являлся передъ своей публикой то одѣтый рыцаремъ, то пѣпой, окруженнымъ кардиналами, и вызвалъ всеобщій смѣхъ брошюрой „Qu'est-ce que Montmartre? Rien! Que doit-il être? Tout!“¹⁾. Но самое умное, что онъ сдѣлалъ для своихъ интересовъ— это эксплуатація одной части парижской „богеми“. Ловкимъ образомъ,— давая отъ времени до времени кружку пива въ долгъ,—онъ устроилъ такъ, что его кабачокъ сталъ ея сборнымъ пунктомъ, открылъ въ ней нѣсколько дѣйствительныхъ талантовъ, настоящихъ поэтовъ-пѣсельниковъ, которые согласились распѣвать свои собственныя пѣсни по вечерамъ въ его кабацѣ. Этого только Салису и нужно было. Скоро не только весь веселящійся Парижъ, но и значительная часть интеллигентнаго Парижа стали посѣщать кабачъ „Chat Noir“, какъ театръ, чтобы послушать знаменитыхъ тогда пѣсельниковъ: Jules Jouy, Mac-Nab, Ханго и др., изъ которыхъ особенно первый, нынѣ уже умершій, оставилъ по себѣ память очень крупнаго таланта. Сюжетомъ пѣсенъ была всегда злоба дня, и нѣкоторыя, какъ „le bal de l'Hôtel de Ville“, никогда, вѣроятно, не потеряютъ своей „современности“.

Дѣла Салиса пошли такъ блистательно, что въ началѣ восьмидесятихъ годовъ онъ изъ грязнаго кабачка на бульварѣ Клиши перешелъ въ обширный отель, гдѣ онъ все повелъ на очень широкую ногу. Само собою разумѣется, что успѣхи „Chat Noir“ вызвали подражателей. Скоро на всемъ протяженіи названнаго бульвара, илущаго по склону знаменитой „butte“ и въ ближайшихъ улицахъ, какъ грибы выросли кабаки съ самыми эффектными кличками: въ однихъ пѣли пѣсни, въ другихъ что-то изображали—гдѣ адъ, гдѣ рай, гдѣ что-нибудь другое,—но всѣ претендовали на искусство—„художественные кабаки“. Вездѣ сбывали болѣе или менѣе дурное пиво. Дѣла ихъ не всегда процвѣтали: они исчезали такъ же скоро, какъ появлялись. Одинъ только „Chat Noir“ процвѣталъ, и результатомъ предпріятій Салиса было то, что увеселительный центръ Парижа перемѣстился—изъ Латинскаго квартала онъ перешелъ на Montmartre. Салисъ умеръ года четыре тому назадъ, но уже въ послѣдніе годы его жизни „Chat Noir“ сталъ падать; главная его опора, Jules Jouy, сошелъ съ ума. Изъ другихъ пѣсельниковъ, однихъ переманили его конкуренты, другіе устроили собственныя лавочки, гдѣ вмѣстѣ съ пивомъ лились ихъ пѣсни. И артистическихъ кабаковъ расплодилось слишкомъ много. А

¹⁾ Пародія на знаменитую въ концѣ прошлаго вѣка брошюру аббата Сіаса: „Qu'est-ce que le Tiers Etat?“.

между тѣмъ новыхъ талантовъ не нарождалось; расплодился бездарности съ претензіями, которые изощряли свое остроуміе все больше на монолѣ и бѣлыхъ гетрахъ президента Форэ. Послѣ смерти Форэ, для нихъ большой источникъ изсякъ. На Монмартрѣ несомнѣнно начинался кризисъ, мода на кабачки стала проходить. Выставка являлась для нихъ манной небесной. На „gare de Paris“, специально посвященной на выставкѣ развлеченіямъ, и куда они перевели свои операциі, они заняли цѣлую сторону улицы и стали зазывать публику всякими балаганными способами. А публика не пошла, потому что никому ни ихъ пѣсни, ни ихъ пьесы, ни ихъ живыя картины—интересными не показались. Еще тамъ, на высотахъ Монматра, при той обстановкѣ, въ чаду табачнаго дыма, было можно, при извѣстномъ отупленіи головы, находить всѣ ихъ представленія забавными. А тутъ, на выставкѣ, на берегу Сены, при другомъ освѣщеніи, при другой публикѣ, отъ Монматра ничего не осталось. Такъ онъ и прогорѣлъ, и вѣроятно—навсегда.

Изъ всѣхъ приманокъ, которыя были устроены на „gare de Paris“, одна только заслуживала вниманія. Это—японская труппа, игравшая въ театрѣ извѣстной танцовщицы Лои Фуллеръ—изобрѣтательницы „серпантины“. Какъ практическая американка, Лои Фуллеръ, вѣроятно, сообразила, что одна она привлечь много публики не можетъ,—ея серпантину уже вездѣ видѣли,—и пригласила она къ себѣ японскую „звѣзду“, г-жу Сада-Якко, съ г. Каваками, ея мужемъ, и ихъ труппу. И публика повалила на представленія этой „звѣзды“ такъ, что, несмотря на то, что ежедневно давались три представленія, ни одного мѣста нельзя было найти, хотя мѣста были довольно дороги. И до самаго послѣдняго вечера театръ Лои Фуллеръ былъ биткомъ набитъ.

Давались всего двѣ коротенькія пьесы—одна на каждомъ представленіи, которое продолжалось всего около получаса: въ одной, „Гейша и рыцарь“ ¹⁾, Сада-Якко умираетъ отъ разрыва сердца; въ

¹⁾ Вкратцѣ вотъ содержаніе этихъ пьесъ:

1-ая. Рыцарь, вѣроятно просто дворянинъ, попалъ въ кварталъ Гейши и тамъ влюбился въ одну изъ нихъ; та также влюблена въ него. Но у него невѣста, которая приходитъ въ кварталъ и оттуда увлекаетъ своего жениха; они прячутся отъ Гейши въ храмъ Дожоги. Гейша туда приходитъ, очаровываетъ боязъ танцами въ честь Будды, входитъ въ храмъ, находитъ свою соперницу, хочетъ ее убить. Но женихъ вступается; онъ вдругъ узнаетъ Гейшу, которая, увидѣвъ, что ея возлюбленный принадлежитъ другой, умираетъ отъ разрыва сердца.

2-ая. Кеза путешествуетъ съ матерью и съ прислугой. На нихъ нападаютъ разбойники и похищаютъ Кезу, оставляя мать раненой. Приходитъ рыцарь; мать въ слезахъ рассказываетъ ему случившееся и обѣщаетъ ему руку своей дочери, если онъ ее спасетъ. Рыцарь отправляется въ вертепъ разбойниковъ и спасаетъ Кезу. Черезъ нѣкоторое время этотъ рыцарь встрѣчаетъ Кезу на одномъ приѣмѣ—она за-

другой, „Кеза“, Каваками въ отчаяніи распарываетъ себѣ животъ по-японски. И вотъ, чтобы видѣть эти двѣ драматическія смерти—каждая продолжалась не больше двухъ минутъ—весь Парижъ приходилъ толпою въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ. Публика особенно устремлялась на первую пьесу—на смерть Сада-Якко; она сразу рѣшила, что Сада-Якко умираетъ не хуже, а пожалуй даже лучше, чѣмъ Сара Бернаръ въ „l'Aiglon“. И дѣйствительно, умирала Сада-Якко съ потрясающимъ реализмомъ: въ объятіяхъ своего возлюбленнаго, стоя, съ включенными волосами; все ея красивое лицо вдругъ искривляется, вѣки зеленѣютъ на глазахъ у зрителя, глаза меркнутъ, голова медленно падаетъ на грудь, каждая прядь волосъ падаетъ медленно одна за другой—и живой человѣкъ превращается въ блѣдный, зеленоватый трупъ. Сада-Якко—актриса, несомнѣнно, очень талантливая: все въ ней изящно, и фигура, и голосъ, и жестъ, и движеніе, особенно въ танцахъ, и при этомъ у нея костюмы изъ роскошныхъ тканей, по подбору красокъ, вышитыхъ тканей.

О Сада-Якко въ Парижѣ печатали и рассказывали цѣлыя легенды. Рассказывали, что она въ Японіи—первая женщина, которой, за ея необыкновенный талантъ, позволили вообще играть на сценѣ; до нея женскія роли игрались актерами. Само собою разумѣется, она—первая японская „звѣзда“ и пріѣхала она въ Парижъ по особому разрѣшенію японскаго императора.

Дня за четыре до закрытія выставки, осматривая въ послѣдній разъ японскій отдѣлъ образованія, который меня очень заинтересовалъ, я встрѣтился съ завѣдующимъ отдѣломъ, представителемъ отъ японскаго министерства народнаго просвѣщенія, и вступилъ съ нимъ въ бесѣду. Послѣ очень интересныхъ объясненій относительно выставленныхъ предметовъ и многихъ другихъ вопросовъ, разговоръ зашелъ о Сада-Якко. „Что, она—дѣйствительно первая у васъ актриса?“—спросилъ я его.—„Amator, pas actor“,—отвѣтилъ мой собесѣдникъ. Оказалось, что Сада-Якко—дама-любительница, которая въ Токио пользуется, дѣйствительно, нѣкоторой извѣстностью, но не особенно большою; въ Японіи давнымъ-давно женщины играютъ на сценахъ, и онѣ

мужемъ за другимъ. Рыцарь хочетъ убить мать Кезы за то, что она выдала свою дочь за другого. Кеза вышнвается и соглашается, чтобы спасти свою мать, принадлежать рыцарю, если онъ убьетъ ея мужа. Она ему тутъ же передаетъ ключъ отъ ея дома и отъ спальни. Ночь. Кеза, подъ предлогомъ шума въ саду, уводитъ мужа изъ спальни въ садъ, а сама ложится на его мѣсто. Рыцарь приходитъ и разрываетъ Кезу, думая, что онъ убиваетъ ея мужа. Входитъ мужъ съ фонаремъ и находитъ въ спальнѣ рыцаря; послѣдній догадывается, что онъ убилъ Кезу, и пока мужъ, убивавшій въ ужасѣ за людьми, отсутствуетъ,—рыцарь въ отчаяніи распарываетъ себѣ животъ.

мнѣ называлъ ихъ настоящую „звѣзду“, прибавивъ съ нѣкоторымъ пафосомъ: „Вотъ эта—Сара Бернаръ!“

IV.

Итакъ, банкротства разныхъ предпринимателей развлеченій являются однимъ изъ многихъ доказательствъ того, что толпа на нынѣшней выставкѣ была другая, болѣе серьезная, чѣмъ одиннадцать лѣтъ тому назадъ, на выставкѣ 1889 года. Очень было любопытно наблюдать эту толпу. По духу—это была настоящая демократія. Въ извѣстной части такъ-называемаго высшаго свѣта, клерикально-националистическаго направленія, особенно между снобами новѣйшей лже-аристократіи, считалось „шикомъ“ утверждать, что на выставкѣ нѣтъ ничего интереснаго, что ей составили незаслуженную славу—„l'exposition est surfaite“,—поэтому посѣщать ее не слѣдуетъ. И они, дѣйствительно, ее не посѣщали. Изъ парижанъ на выставку шли средніе классы и рабочіе—люди болѣе серьезные, чѣмъ лже-аристократическіе снобы,—затѣмъ, чуть ли не вся провинція. Изъ иностранцевъ больше всего было нѣмцевъ изъ разныхъ нѣмецкихъ странъ. Въ первый разъ, вѣроятно, въ Парижѣ нѣмецкій говоръ слышенъ былъ гораздо больше англійскаго. И нѣмцы изучали выставку старательно. Англичанъ было сравнительно мало; аристократія англійская почти вся въ траурѣ, а средніе классы прямо „бойкотировали“ выставку за карикатуры французскаго художника Villette'a на англійскую королеву. Было много американцевъ изъ разныхъ частей Америки и много было русскихъ. И громадное большинство этой міровой толпы стремилось на выставку съ цѣлью любознательной. Они шли туда, гдѣ было интересно, поучительно. Ни на одной изъ предшествующихъ выставокъ разные отдѣлы не были такъ переполнены народомъ, какъ на послѣдней. Чувствовалось, что въ толпѣ существуетъ жажда приобрести полезныя свѣдѣнія—и это характерно для толпы конца XIX-го столѣтія. Вездѣ, гдѣ давали какія-нибудь объясненія, гдѣ показывали какіе-нибудь опыты, немедленно образовывалась толпа. Кругомъ „жидкаго воздуха“ въ американскомъ отдѣлѣ толпа всегда стояла громаднѣйшая, потому что американцы показывали разные опыты съ жидкимъ воздухомъ. Къ сожалѣнію, объясненій было слишкомъ мало. И новизна будущихъ выставокъ должна состоять въ устройствѣ ежедневныхъ, въ опредѣленные часы, чтеній о выставленныхъ предметахъ. Уже на этой выставкѣ чтеній было даже много, только по нашему мнѣнію, они были не совсѣмъ цѣлесообразны.

Еще до открытія выставки, по внушенію нѣкоторыхъ представи-

телей французскаго министерства народнаго просвѣщенія, устроилась, подъ предсѣдательствомъ бывшаго министра, г. Буржуа, „Международная школа выставокъ“, цѣль которой—знакомить публику посредствомъ чтеній и обходовъ по выставкѣ съ успѣхами искусства, науки и промышленности. Школа распадается на группы по націямъ: были группы французская, англійская, бельгійская, нѣмецкая, голландская и русская подъ предсѣдательствомъ извѣстнаго русскаго соціолога, Макс. Макс. Ковалевскаго, бывшаго профессора московскаго университета. Группы всѣ функционировали; каждая устроила большое число весьма поучительныхъ чтеній, часто на своемъ національномъ языкѣ, съ прогулками по выставкѣ. Русская группа устроила 53 чтенія; всѣ члены группы были очень дѣятельны; одинъ изъ нихъ, г-жа Мари (урожд. Закревская), устроила интересные сеансы русской музыки съ чтеніями объ исторіи этой музыки. Все это было чрезвычайно интересно, поучительно, полезно, но все-таки не цѣлесообразно. Для того, кто прїѣзжаетъ на выставку въ іюнѣ на двѣ недѣли и желаетъ познакомиться со Средней Азіей, нѣтъ никакой пользы въ томъ, что о Средней Азіи было чтеніе въ маѣ или будетъ въ августѣ. Кромѣ того, чтенія носили характеръ въ нѣкоторомъ смыслѣ аристократическій: за слушаніе нужно было платить сравнительно дорого,—полтора франка, и по самой формѣ они назначались для публики уже образованной, даже утонченной. На выставкѣ должны быть чтенія очень популярныя и ежедневныя. При тѣхъ милліонахъ, которые были израсходованы на выставку, устройство такихъ даровыхъ чтеній увеличило бы расходы на сумму сравнительно ничтожную.

Насколько потребность обширныхъ объясненій чувствовалась вездѣ, это видно изъ громадной *выставочной литературы*. Ни одна всемирная выставка не оставитъ по себѣ такой разнообразной литературы, какъ послѣдняя. Каждая страна, принимавшая участіе въ выставкѣ, старалась разъяснить европейской публикѣ печатнымъ словомъ всю свою внутреннюю жизнь. Получилось, что почти каждая страна опубликовала, во-первыхъ, обширный каталогъ своей выставки и большой общій томъ о жизни страны вообще, и, кромѣ того, почти каждый отдѣлъ издалъ свои спеціальныя книги и брошюры. И все это, въ большинствѣ случаевъ, роскошнѣйшія изданія.

Маленькой Финляндіи принадлежитъ въ этомъ отношеніи одно изъ первыхъ мѣстъ: роскошнѣйшій in-4-to на французскомъ языкѣ: „Финляндія въ XIX-мъ вѣкѣ“, и кромѣ того около десяти отдѣльных томовъ, между которыми „Finia“—превосходнѣйшая географія съ большимъ, великолѣпнымъ атласомъ.

Германія издала на двухъ языкахъ роскошнѣйшій толковый каталогъ всѣхъ отдѣловъ вообще, съ интересными статьями о разныхъ

отрасляхъ производительности страны, и специальный, очень роскошный томъ о химической промышленности; кромѣ того: два in-4-to, одинъ—описание на трехъ языкахъ нѣмецкихъ минеральныхъ водъ; другой—описание воздухо-лечебныхъ станцій, и 15 брошюръ по отдѣлу „соціальной экономіи“,—между прочимъ, брошюры о германской системѣ страхованія рабочихъ, чѣмъ Германія болѣе всего въ правѣ гордиться и чѣмъ она затмѣвала всѣ другія націи: *за 15 лѣтъ уплачено рабочимъ болѣе трехъ миллиардовъ въ видѣ пенсін.* Швеція и Норвегія, каждая отдѣльно, издали, кромѣ каталоговъ, по обширному тому, заключающему рядъ статей, отдѣльныхъ монографій о различныхъ сторонахъ культурной жизни страны.

Австрія издала 12 роскошнѣйшихъ иллюстрированныхъ томиковъ по 12 группамъ, въ которыхъ она участвовала; каждый томикъ включаетъ въ себѣ, кромѣ каталога группы, интереснѣйшія свѣдѣнія объ отрасли культуры, составляющей предметъ группы.

Венгрія издала около 30 книгъ или брошюръ,—изъ нихъ нѣкоторые роскошнѣйшіе in-4-to,—напр., томъ о техническомъ образованіи въ Венгріи.

Соединенные-Штаты, кромѣ каталога, издали и раздавали даромъ всѣмъ, кто хотѣлъ брать, 20 отдѣльныхъ монографій по народному образованію и столько же монографій по соціальной экономіи.

Англія на этой выставкѣ была представлена далеко не соотвѣтственно ея дѣйствительному значенію. Это отразилось и на изданіяхъ: кромѣ каталога и двухъ или трехъ брошюръ, ничего не было. Зато англійскія колоніи были болѣе щедры на изданія. Канада издала 19 томовъ и брошюръ; индійскія колоніи опубликовали также нѣсколько интересныхъ книгъ.

Бельгія, кромѣ толковаго толстаго каталога со статистикой по всѣмъ отраслямъ промышленности, издала около 20 брошюръ по разнымъ родамъ образованія и несмѣтное количество брошюръ по соціальной экономіи, особенно очень интересныя данныя о кооперативныхъ обществахъ

Не отстала и маленькая Данія: кромѣ каталога, она издала прекрасно иллюстрированное описание Копенгагена и нѣсколько иллюстрированныхъ изданій о странѣ.

Въ русскомъ отдѣлѣ долго брошюры и книги раздавались—и очень щедро—только въ первой группѣ—„образованія и воспитанія“. Группой завѣдывалъ Е. П. Ковалевскій, и у него все было устроено образцово—и самая группа, и изданія по народному образованію. Раздавалъ онъ брошюры и книги около сорока! Но изданія, которыя исходили отъ комиссаріата, всегда запаздывали. Уже совершенно въ концѣ выставки, недѣли за три до закрытія, появились два тома: „Россія въ

концѣ XIX вѣка“ и „Окраины Россіи“ на русскомъ языкѣ и во французскомъ переводѣ. Кромѣ того, министерство пут. сообщ. издало нѣсколько брошюръ о сибирской дорогѣ и большой „Путеводитель по большой сибирской жел. дор.“ на русскомъ языкѣ и такой же томъ на французскомъ. Только министерство, вмѣсто того, чтобы раздавать путеводитель интересовавшимся имъ, продавало его и довольно дорого—за 16 франковъ. Это—весьма неудачный способъ знакомить Европу съ Сибирью. Продано было, вѣроятно, очень мало экземпляровъ. Гораздо лучше было бы ихъ раздавать; это было бы хотя цѣлесообразно. А то теперь все изданіе, вѣроятно, будетъ лежать въ какомъ-нибудь складѣ 1).

Изъ другихъ интересныхъ русскихъ изданій для выставки нужно указать на замѣчательную карту Азіатской Россіи г. Коверскаго. Карта драгоцѣнная, и спросъ на нее отъ разныхъ учреждений былъ

1) Вообще, Россія показала себя на этой выставкѣ, не знаю уже—благодаря кому, какой-то корыстолюбивой, въ чемъ, кажется, обыкновенно, ее упрекнути, по крайней мѣрѣ до сихъ поръ, нельзя было: отдали треть Трерадерскаго павильона подъ кафе-ресторанъ спальныхъ вагоновъ. Онъ устроилъ совершенно невозможную панораму сибирской дороги, въ которой всѣ сибирскіе города были нарисованы по одному шаблону, и ни одинъ не былъ похожъ на настоящій сибирскій городъ. За входъ въ панораму брали дорого, 2 франка, и при этомъ еще публику на половину обманывали. Ресторанъ былъ устроенъ въ пяти спальныхъ вагонахъ, и по общему смыслу афиши можно было понимать, что показывается путешествіе изъ Москвы въ Пекинъ. Публика понимала, что ее пустятъ въ спальный вагонъ, передъ которымъ вращалось полотно панорамы. Но на одномъ изъ многочисленныхъ объявленій, которыхъ публика не замѣчала, значилось маленькими буквами, что желающіе видѣть панораму изъ вагона должны доплатить еще полтора франка. Обыкновенно, публика входила въ панораму, т.-е. въ сарай, и когда за входъ въ вагонъ отъ нея требовали платы, начинались споры, крики, брань, точно на толкучкѣ въ Москвѣ. Для полноты картины оно, можетъ быть, такъ и слѣдовало, но передъ Европой все-таки было стыдно. Въ другой части павильона показывали, опять-таки за плату,—мало изащунную картину коронаціи. Все это вмѣстѣ—деньги за панораму, деньги за картину—производило очень грустное впечатлѣніе. А между тѣмъ въ отдѣльныхъ павильонахъ другихъ націй никогда ничего не взидали: въ бельгійскомъ показывали роскошную коллекцію брусельскаго богача Самзэ—даромъ; въ англійскомъ—коллекцію обоевъ по рисункамъ Вигне Жюве и картины, изъ частныхъ коллекцій, англійскихъ художниковъ начала нынѣшняго вѣка, особенно великолѣпные портреты Гэнсбору, Рейнольдса и пейзажи Кэнстебла—даромъ; въ германскомъ—коллекцію Фридриха Великаго: воспроизведеніе въ настоящемъ видѣ нѣсколькихъ комнатъ Фридриха Великаго во дворцѣ „Sans-Soucis“—все даромъ; въ шведскомъ—двѣ панорамы: чудную картину сѣверной зимней ночи и ночь въ Стокгольмѣ—все даромъ; въ испанскомъ—великолѣпная королевскія коллекціи обоевъ и принадлежностей средневѣковаго рыцарскаго вооруженія: шлемы Карла V-го, его же оружіе, броню, доспѣхи королей и разныхъ знаменитыхъ рыцарей—все, разумѣется, даромъ. А тутъ за невозможную панораму, которую бы лучше совсѣмъ не показывать, брали большія деньги, за ничтожную картину брали деньги, за путеводитель—опять деньги. Это было неприлично

громадный, а экземпляровъ этой карты было сравнительно немного, такъ что завѣдывавшій отдѣломъ комитета по переселенію въ Сибирь, г. Сосновскій, не зналъ, какъ ихъ распредѣлить. Интересны также изданія и карты самого комитета; но ему, за недостаткомъ мѣста, — все было отдано подъ кабаки спальныхъ вагоновъ, — отвели чуть ли не конуру, куда заходили только посвященные, т.-е. тѣ, которые знали, что такой отдѣлъ существуетъ въ той конурѣ.

О французскихъ изданіяхъ по случаю выставки мы скажемъ только, что ихъ было несмѣтное множество. Въ отдѣлѣ образованія были громадные томы in-4-to по школьной статистикѣ. Въ отдѣлѣ социальной экономіи былъ цѣлый рядъ интересныхъ статистическихъ картъ, таблицъ и кривыхъ, подъ названіемъ „Соціальный инвентарь вѣка“. Кривыми, напр., показывается какъ во Франціи въ теченіе вѣка мѣнялась стоимость жизни рабочаго, и его заработная плата, стоимость жизни въ Парижѣ и т. п.

Если собрать всѣ выставочныя изданія и прибавить къ нимъ еще отчеты ¹⁾ всѣхъ 127 конгрессовъ, которые собирались въ Парижѣ во время выставки, то получится громадная библіотека — великолѣпнѣйшій памятникъ всей человѣческой культуры едва отошедшаго XIX-го вѣка.

V.

Что же на выставкѣ было самое интересное въ отношеніи новизны? По всеобщему мнѣнію, на этой выставкѣ было одно изобрѣтеніе совершенно новое, до выставки еще почти неизвѣстное, которому, вѣроятно, суждено сдѣлать эпоху въ передачѣ телефонныхъ и даже телеграфныхъ сообщеній. Это — телефонографъ, изобрѣтенный датчаниномъ Паульсеномъ (Poulsen). Приборъ этотъ игралъ на этой выставкѣ такую

¹⁾ Изъ такихъ отчетовъ самые интересные — отчеты конгресса физиковъ — „перваго“ по счету. Обыкновенно подготовительная коммиссія конгресса заранее устанавливаетъ вопросы, которые будутъ предложены на его обсужденіе, и члены коммиссіи, или члены будущаго конгресса, составляютъ заранее предварительные отчеты по этимъ вопросамъ, т.-е. излагаютъ настоящее ихъ положеніе. Затѣмъ, уже во время конгресса, эти отчеты обсуждаются, читаются доклады, сообщенія и т. д. И все это собирается и составляетъ потомъ книгу отчетовъ конгресса. Физики поступили иначе, и гораздо благоразумнѣе. Они опредѣленныхъ вопросовъ заранее не установили, а обратились къ физикамъ всего міра съ предложеніемъ составить отчеты, собственно монографіи, по вопросамъ, которыми они или специально занимаются, или особенно интересуются. И всѣ эти монографіи, изъ которыхъ многія написаны самими великими современными физиками, собраны въ три крупныхъ тома, резюмирующіе состояніе физической науки въ концѣ отошедшаго и началѣ настоящаго вѣка и дающіе представленіе о пріобрѣтеніяхъ науки за весь XIX-й вѣкъ.

же роль, какъ телефонъ Бэля на выставкѣ 1878 года. Суть изобрѣтенія—слѣдующая. Каждый образованный человѣкъ знаетъ, какъ передается рѣчь помощью микрофона и телефона: когда говорятъ передъ микрофономъ, отъ него идутъ волнообразные токи по линіи, которые, пробѣгая по обмоткѣ телефона, измѣняютъ его магнитное состояніе и вызываютъ колебанія телефонной пластинки, воспроизводящей рѣчь. Паульсенъ вставляетъ въ цѣпь очень маленькій подковообразный электромагнитъ—такъ, что волнообразные токи, идущіе къ телефону, проходятъ черезъ этотъ электромагнитъ. Между двумя полюсами этого очень маленькаго электромагнита—величиною въ послѣдній суставъ мизинца—тянется во время рѣчи, при помощи двухъ цилиндровъ, тонкая стальная проволока; она сматывается съ одного цилиндра и наматывается на другой. Эта проволока, заранѣе намагнитченная *поперечно* и равномерно ¹⁾, подъ вліяніемъ волнообразныхъ токовъ, идущихъ по электромагниту во время рѣчи, мѣняетъ свое *поперечное* магнитное состояніе и, должно быть, волнообразно, т.-е. каждое ея *поперечное* сѣченіе намагничивается, такъ сказать, въ созвучіи съ тѣмъ токомъ, который въ данный моментъ проходитъ по электромагниту, или съ тѣмъ звукомъ, который былъ произнесенъ въ микрофонѣ. Въ проволоку, въ то время, записывается рѣчь при помощи этого *поперечнаго* магнетизма. Если потомъ такимъ образомъ *поперечно* намагнитченную проволоку провести обратно между полюсами маленькаго электромагнита, то ея волнообразный магнетизмъ вызываетъ, въ свою очередь, волнообразные индуктивные токи, которые дѣйствуютъ на телефонъ, подобно микрофоннымъ токамъ, и телефонъ воспроизводитъ рѣчь. Такова, вѣрнѣе, вся суть изобрѣтенія.

Приборъ прежде всего—новый фонографъ, въ которомъ звуки записываются не механически на восковомъ цилиндрѣ, а *магнитно* въ проволоку. Проволока замѣняетъ восковой цилиндръ для *сохраненія* рѣчи.

Во-вторыхъ, даетъ возможность имѣть копію отъ телефонной рѣчи, подобно тому, какъ на бумажной лентѣ сохраняется копія отъ телеграммы.

Въ-третьихъ, аппаратъ даетъ возможность говорить нѣсколькимъ лицамъ одновременно по одной проволоку.

Г. Паульсенъ нашелъ возможнымъ усилить *магнитное изображение* проволоки двумя способами и такимъ образомъ—усилить звукъ воспроизведенной рѣчи.

Я могу прибавить, что нѣсколько русскихъ стиховъ, сказан-

¹⁾ Для этого по электромагниту пускаютъ постоянный токъ и, пока онъ намагнитченъ такимъ образомъ, между его полюсами протягиваютъ проволоку.

ныхъ въ приборѣ Poulsen'a, воспроизведены были съ необыкновенной отчетливостью,—несравненно чище, нежели въ хорошемъ фонографѣ. Со мной былъ товарищъ, который слушалъ эти воспроизведенные стихи одновременно со мной, и онъ отлично узналъ голосъ.

Изъ другихъ изобрѣтеній, такъ сказать, общаго характера наиболѣе интересными намъ показалась, во-первыхъ, американская машина для приготовленія жидкаго воздуха. Первая большая машина для приготовления большихъ количествъ жидкаго воздуха построена была нѣмцемъ Линде, и его машина работала въ нѣмецкомъ отдѣлѣ химическихъ продуктовъ. Но американецъ Триплеръ ее усовершенствовалъ. Какъ и у Линде, воздухъ охлаждается при помощи расширения воздуха же—и сдвливается до сгущенія. Самъ воздухъ, сначала сдвиненный, охлажденный, а потомъ быстро расширенный, служитъ охладителемъ другой порціи воздуха, часть котораго вытекаетъ изъ крана въ видѣ бѣлой жидкости. Линде сохраняетъ этотъ воздухъ въ стеклянныхъ колбахъ съ двойными стѣнками; внутренняя посеребрена, а между стѣнками—пустота. Закупоривается колба пробкой изъ ваты. Испаряется жидкій воздухъ, особенно въ сосудѣ, очень медленно, потому что теплота испаренія очень велика. Линде сохраняетъ въ своихъ колбахъ воздухъ жидкимъ въ теченіе двухъ недѣль. Но у Линде къ воздуху примѣшана твердая угольная кислота, дающая воздуху нѣсколько молочный видъ. У американца воздухъ чистъ отъ кислоты и совершенно прозраченъ, какъ вода. Кромѣ того, онъ сохраняется не въ стеклянныхъ сосудахъ, а въ громадныхъ мѣдныхъ цилиндрахъ съ двойными, даже тройными стѣнками, между которыми прокладывается войлокъ. На выставкѣ стоялъ всегда громадный цилиндръ, наполненный жидкимъ воздухомъ, и его черпали кострюлькой и разливали какъ воду. Г. Триплеръ примѣняетъ жидкій воздухъ къ автомобилизму. Въ теченіе двухъ мѣсяцевъ одинъ автомобиль каждый день разъѣзжалъ помощью жидкаго воздуха.

На выставкѣ еще показывали въ первый разъ электрическую лампочку Нернста. Она уже года два тому назадъ была описана въ специальныхъ журналахъ. Эта лампочка накаливанія—самая обыкновенная электрическая лампочка, только въ ней накалившее вещество свѣтится не въ пустотѣ, а на воздухѣ. Свѣтъ ея очень бѣлый, и она находится къ обыкновенной электрической лампочкѣ въ такомъ же отношеніи, въ какомъ ауэровская горѣлка находится къ обыкновенной газовой горѣлкѣ. Вотъ въ чемъ сущность изобрѣтенія: извѣстно, что многія тѣла, не проводящія тока при обыкновенной температурѣ, становятся проводниками при болѣе или менѣе высокой температурѣ. Нернстъ выдумалъ смѣсь, аналогичную смѣси, изъ которой дѣлается ауэровская рѣшетка. Смѣсь эта и обладаетъ свойствомъ проводить

токъ въ нагрѣтомъ состояніи. Изъ смѣси этой сдѣланъ маленькій цилиндрикъ, который вставленъ между двумя металлическими проводниками—двумя проволоками. Если нагрѣть столбикъ спичкой и пропустить сильный токъ, то онъ накаливается потому, что, нагрѣтый, онъ сталъ проводникомъ съ очень большимъ сопротивленіемъ. Во избѣжаніе постояннаго употребленія спичекъ, столбикъ нагрѣвается автоматически при помощи окружающей его платиновой спирали: когда пропускаютъ токъ, то онъ черезъ цилиндрикъ не проходитъ, а накаливаетъ спираль; послѣдняя нагрѣваетъ цилиндрикъ, онъ накаливается, и тогда черезъ спираль токъ больше почти не проходитъ. Показывавшіе лампочку нѣмцы рассказывали про нее, что она требуетъ вдвое меньше электрической энергіи, чѣмъ обыкновенныя лампочки на единицу свѣта,—такъ что тутъ большая экономія. Но эта экономія, по моему, только кажущаяся. Дѣло въ томъ, что самая наименьшая свѣтовая сила лампочки—25 свѣчей, т.-е. такая сила, которая рѣдко употребляется въ обыкновенныхъ комнатахъ,—она черезчуръ ослѣпительна; и такая лампочка поглощаетъ приблизительно столько же энергіи, сколько обыкновенная 16-свѣчная лампочка. Быть можетъ, эти лампочки будутъ очень дешевы—но объ этомъ свѣдѣній не давали.

Въ американскомъ специально-типографскомъ отдѣлѣ работало нѣсколько наборныхъ машинъ, которыя производятъ теперь переворотъ въ типографскомъ дѣлѣ. На машинѣ наборъ идетъ механически—наборщикъ играетъ на клавишахъ, какъ на пишущей машинѣ, а затѣмъ, когда строчка набрана, она сама автоматически отливается. Все остальное, какъ полученіе отпечатка и отливка стереотипа, дѣлается почти по обыкновенному способу. На выставкѣ, на очень небольшомъ пространствѣ, одна машина набирала, а другая скоропечатная машина печатала ежедневно 50 тыс. экземпляровъ газеты „The New York Times“; она выходила въ 4 часа. Во всѣхъ странахъ эти наборныя машины уже работаютъ, вытѣсняя массу наборщиковъ. Въ Парижѣ много газетъ набирается помощью этой машины. Единственный пока еще недостатокъ—трудность поправокъ, трудность корректуры: нужно передѣлывать цѣлыя строчки изъ-за одной буквы. Тѣмъ не менѣе, въ Парижѣ, напр., масса наборщиковъ изучаетъ машину, и всѣ большія типографіи готовятся ввести ее въ употребленіе.

VI.

Роздано наградъ множество: 2.827 большихъ премій (grands prix), 8.106 золотыхъ медалей, 12.244 серебряныхъ, 11.615 бронзовыхъ и 7.938 почетныхъ отзывовъ. Кромѣ того, роздано 50 тыс. дипломовъ со-

трудникамъ. Разумѣется, масса недовольныхъ вездѣ—одни только французскіе художники относятся къ этимъ наградамъ скептически. Награды, можетъ быть, полезны заводчикамъ-мануфактуристамъ, купцамъ: они могутъ ихъ пропечатать на своихъ фактурахъ. Но что значить награда для художника? Что извѣстные господа жюри признаютъ его произведенія болѣе или менѣе хорошими. Столько было случаевъ, гдѣ произведенія, которыя считались никуда негодными или посредственными въ одно время, въ другое время попадали въ величайшія произведенія искусства—излишне даже приводить примѣры, что эти награды не имѣютъ ни малѣйшаго значенія. Раздавали же эти награды такъ, что тѣмъ, которые не получили ничего, не должно быть обидно; а тѣ, которые получили хотя бы самыя большія преміи, не могутъ ими гордиться. Съ иностранцами жюри, въ которомъ большинство были французы, было очень, даже чересчуръ любезно. Правда, „общество французскихъ художниковъ“ заранѣе объявило, что медали, данныя иностранцами для его салоновъ, считаются не будутъ. И если нѣкоторые русскіе представители жюри увѣряютъ, что они не могли получить той или другой награды для того или другого художника, то это значить, что они не были достаточно энергичны, вѣроятно—нѣсколько наивны: они могли бы получить все, что хотѣли.

„А что дали Попову?“—„Какому это, чайному?“—„Нѣтъ, не чайному, а русскому, теперь всѣми признанному изобрѣтателю телеграфіи безъ проводовъ“. И чиновникъ отвернулся, удивленный моимъ вопросомъ. Оказалось, что въ русскомъ комиссариатѣ никто о другомъ Поповѣ, кромѣ „чайнаго“, не зналъ. Въ специальной канцеляріи по экспертизамъ какой-то именующій себя химикомъ и знавшій Попова-физика, даже, какъ онъ увѣрялъ, лично, объяснилъ, что какимъ-то неизвѣстнымъ образомъ Поповъ попалъ въ „hog's concours“, а самъ химикъ даже не былъ вполне увѣренъ въ томъ, что Поповъ дѣйствительно изобрѣлъ первый приборъ для передачи сигналовъ безъ проводовъ. Онъ даже прибавилъ, что Попову слѣдовало немедленно, еще въ 1895 г., напечатать о своемъ приборѣ въ заграничныхъ изданіяхъ. Подобное мнѣніе странно въ устахъ представителя русской экспертизы, признающей, что русскія ученыя общества (физико-химическое) и его изданія сами по себѣ какъ бы не считаются, и вообще такой способъ отстаиванія правъ великаго русскаго изобрѣтателя показался намъ совершенно непонятнымъ и шелъ даже въ разрѣзъ со всѣмъ тѣмъ, что мнѣ приходилось слышать отъ соотечественниковъ за послѣдніе годы.

Было время, когда пріѣзжавшіе за границу русскіе восторгались безгранично всѣмъ: все тутъ было чудесно, а у себя все нехорошо. Потомъ какъ-то вдругъ все измѣнилось: тутъ все скверно, а дома все хорошо. Противъ этого ничего особеннаго сказать нельзя. Но мнѣ

стали повидимому совершенно игнорировать все заграничное. Приѣзжали сюда люди очень образованные, преподаватели, правда, специальныхъ предметовъ, которые не знали, что такое палата депутатовъ; но и это бы еще ничего. Зато былъ одинъ весьма пріятный господинъ,—онъ тоже что-то гдѣ-то читаетъ,—съ которымъ я случайно подошелъ къ афишѣ, съ росписаніемъ лекцій извѣстнаго „Collège de France“, и къ великому моему изумленію замѣтилъ, что онъ не знаетъ ни одного изъ великихъ французскихъ именъ, фигурировавшихъ на афишѣ: ни имени Берглю, ни имени Бертрана, ни Маскара, ни Ренана онъ не знаетъ, хотя по образованію самъ былъ изъ технологическаго института. И это не единственный примѣръ. Но и противъ этого опять ничего сказать нельзя. Зато хотъ слѣдуетъ быть послѣдовательнымъ. Если уже все заграничное больше недостойно вниманія, то когда является рѣдкій случай отстаивать передъ Европой права русскаго физика, у котораго была гениальная мысль, слѣдуетъ хотъ по меньшей мѣрѣ выставить хорошее его изобрѣтеніе и настаивать энергично, чтобы за нимъ было признано первенство этой мысли. Къ стыду русскаго комиссаріата нужно сказать, что приборъ г. Попова—первый приборъ телеграфіи безъ проволокъ,—который во всѣхъ другихъ странахъ показывали бы съ благоговѣніемъ,—выставленъ былъ такъ, что найти его было невозможно, и безъ нумера; я нашелъ его только благодаря указаніямъ конструктора, Ducretet. Посмотрите, какъ датчане, народъ маленький, выставили телефонографъ Poulsen'a. Для него въ отдѣлѣ „электричества“ былъ отдѣльный обширный кіоскъ, и стоялъ онъ одинъ,—кромѣ этого прибора датчане въ отдѣлѣ электричества ничего не выставили. И они совершенно правы: ничто, никакая громадная машина не можетъ сравниться съ гениальнымъ изобрѣтеніемъ. Интересно еще отмѣтить, что распинался за Попова и добился того, что за весь міръ призналъ заслугу указаннаго изобрѣтенія французъ, конструкторъ Ducretet, а не кто-нибудь изъ соотечественниковъ Попова—тѣ только прятали его приборъ, такъ, чтобы его никто не нашелъ, забыли даже нумеръ на немъ приклеить. Кто же этимъ завѣдывалъ? Кто былъ русскимъ представителемъ въ жюри?

Изобрѣтеніе телеграфа безъ проволокъ есть въ нѣкоторомъ смыслѣ изобрѣтеніе франко-русское. Французъ г. Эдуардъ Бранли, профессоръ физики въ парижскомъ католическомъ институтѣ—фактъ этотъ просимъ запомнить—нашелъ, что металлическіе порошки (какъ опилки), расположенные извѣстнымъ образомъ, напр. въ стеклянной трубкѣ, между двумя металлическими проводниками, которые обыкновенно почти не пропускаютъ электрическаго тока, пропускаютъ его вдругъ, если на нѣкоторомъ разстояніи отъ трубочки произвести искру рядомъ электрической машины или индукціонной катушки (катушки

Румкорфа). Разрядная искра производит то, что физики называют „Герцевыми электрическими волнами или лучами“, а эти лучи, падая на опилки, мгновенно увеличивают их способность проводить электрический токъ. Если послѣ дѣйствія лучей, то-есть послѣ того какъ сопротивление опилокъ электрическому току сильно уменьшилось, сообщить имъ механическое сотрясеніе, встряхнуть ихъ, ударивъ слегка по трубочкѣ, то опилки возвращаются въ свое прежнее состояніе, т.-е. снова не пропускаютъ тока. Если такую трубочку съ опилками и проводами подвергать попеременно то электрическимъ лучамъ, то механическимъ сотрясеніямъ, то она будетъ то пропускать, то прерывать токъ. Источникъ электрическихъ лучей — индукціонная катушка—можетъ быть на значительномъ разстояніи отъ трубочки съ опилками, которую г. Бранли называетъ „лучепроводникомъ“ (radio-conducteur), а другіе называютъ „когереръ“ (cohéreur). Это разстояніе зависитъ отъ силы искры, т.-е. отъ силы катушки, и въ настоящее время оно уже дошло до 70 верстъ въ морѣ.

Трубочки съ опилками являются, во-первыхъ, приборомъ очень чувствительнымъ для констатированія присутствія электрическихъ лучей или электрическихъ колебаній въ какомъ-нибудь пространствѣ—это открылъ Бранли. Но, кромѣ того, понятно, что такой лучепроводникъ съ индукціонной катушкой можетъ служить для передачи сигналовъ. Достаточно расположить на извѣстномъ разстояніи отъ индукціонной катушки трубочку съ опилками и включить ее въ дѣль небольшой батарее. Послѣ разряда катушки электрическіе лучи дѣйствуютъ на опилки, и токъ отъ батареи проходитъ черезъ нихъ, а онъ можетъ привести въ дѣйствіе обыкновенный телеграфный аппаратъ, т.-е. произвести извѣстный сигналъ. Нужно теперь, чтобы послѣ разряда опилки встряхивались автоматически. Это достигается такимъ образомъ. Тотъ самый токъ, который прошелъ черезъ опилки, приводитъ въ дѣйствіе электрической звонокъ, котораго молоточекъ ударяетъ по трубочкѣ. Такимъ образомъ, разрядная искра дѣлаетъ опилки проводникомъ, черезъ нихъ проходитъ токъ, который отбѣчаетъ телеграфный сигналъ; но въ то же время онъ приводитъ въ дѣйствіе молоточекъ звонка, котораго ударъ приводитъ опилки въ прежнее состояніе дурного проводника: токъ прерывается. Новая искра, новый сигналъ, снова ударъ и перерывъ тока, и т. д. ¹⁾ Во всемъ этомъ—и въ самой мысли воспользоваться открытіемъ Бранли, его „лучепроводникомъ“ для передачи сигналовъ, и въ устройствѣ подходящаго прибора—и заключается изобрѣтеніе г. Попова.

¹⁾ На дѣлѣ не самъ токъ, проходящій черезъ опилки, производитъ сигналъ; онъ только помощью электромагнита замыкаетъ другую дѣль, которою токъ производитъ сигналъ. Такъ что лучепроводникъ служитъ только *телеграфнымъ релѣ*.

Но случилось съ этимъ изобрѣтеніемъ нѣчто весьма любопытное, дающее весьма наглядную иллюстрацію того склада мыслей, до котораго въ современной Франціи дошли люди весьма солидные, подъ вліяніемъ долговременной партійной борьбы. Г. Бранли—сказали мы—профессоръ въ католическомъ институтѣ. Но онъ, кромѣ того, бывшій воспитанникъ „Высшей нормальной школы“, откуда выходитъ большинство учителей и громадное большинство университетскихъ профессоровъ.

Когда, въ 1875 году, послѣ проведенія въ версальскомъ національномъ собраніи закона о свободѣ высшаго образованія, католическія конгрегаціи получили возможность основать свои университеты, имъ нужно было набрать составъ профессоровъ. Кликнули они кличь по всѣмъ государственнымъ университетамъ и специально обратились къ нѣкоторымъ молодымъ адъюнктамъ, ассистентамъ, съ весьма заманчивыми предложеніями. Но изъ бывшихъ воспитанниковъ высшей нормальной школы—разсадника либерализма—на зовъ вновь учреждавшихся подъ вѣдомствомъ, по крайней мѣрѣ официальнымъ, высшаго католическаго духовенства университетовъ, отвѣтилъ только одинъ—г. Бранли. Онъ былъ тогда помощникомъ директора одной изъ двухъ физическихъ лабораторій парижскаго университета и однимъ изъ самыхъ выдающихся молодыхъ физиковъ. Казалось бы, что въ поступкѣ г. Бранли нѣтъ ничего страшнаго: учреждаются университеты, новые разсадники науки,—отчего не принять предложенія быть въ такомъ университетѣ профессоромъ? Но борьба съ клерикализмомъ, особенно въ то время, была до того обострена, а въ университетскихъ сферахъ, особенно молодыхъ, ненависть ко всему клерикальному была до того сильна, что на поступокъ г. Бранли университетъ посмотрѣлъ, какъ на измѣну, и всѣ его товарищи сразу отъ него отшатнулись, порвали съ нимъ всякія отношенія. Съ тѣхъ поръ прошло двадцать четыре года: разладъ между либерализмомъ и клерикализмомъ прошелъ черезъ разные фазисы; но государственные университеты продолжаютъ относиться къ католическимъ какъ ко враждебнымъ конкурентамъ, несмотря на то, что послѣдніе далеко не процвѣтаютъ, а еле-еле живутъ, и отношенія между университетами и г. Бранли почти не измѣнились. Подъ вліяніемъ этихъ отношеній и могъ случиться слѣдующій совершенно невѣроятный фактъ. Черезъ годъ послѣ того, какъ г. Поповъ опубликовалъ въ Россіи свое изобрѣтеніе, англичанинъ Маркони преспокойно присвоилъ себѣ и открытіе Бранли, и изобрѣтеніе Попова, и взялъ привилегію на телеграфію безъ проволокъ. Протестовалъ противъ этой привилегіи конструкторъ Дюкретэ (Ducretet), который въ то время самъ построилъ—было нѣсколько имъ же усовершенствованныхъ приборовъ Попова, и въ печати, въ

брошюрахъ, въ ученыхъ обществахъ сталъ доказывать, что Маркони только присвоилъ себѣ чужое добро, что дѣйствительными изобрѣтателями телеграфіи безъ проводовъ являются Бранли и Поповъ. И любопытно то, что г. Дюкретэ вначалѣ не нашелъ даже поддержки между своими соотечественниками, несмотря на то, что дѣло шло о сохраненіи заслуги большого открытія за французомъ. Но въ нѣкоторыхъ средахъ затаенная и какая-то бессознательная вражда ко всему клерикальному до того сильна, что многіе рады были бы приписать названное открытіе Маркони. Одна только энергія г. Дюкретэ превозмогла все, и результатомъ его хлопотъ было то, что на выставку Маркони даже не явился, а заслуги Бранли и Попова признаны всѣми. Бранли присудили большую премію и, кромѣ того, ему дали орденъ почетнаго легіона. О Поповѣ, какъ мы уже сказали, никто не хлопоталъ. Обошли и г. Дюкретэ. Какъ конструктору, ему дали большую премію—онъ одинъ изъ лучшихъ конструкторовъ физическихъ приборовъ. Но онъ усовершенствовалъ приборъ Попова и создалъ полный составъ аппаратовъ и приспособленій для телеграфіи безъ проводовъ,—такъ сказать, оборудовалъ ее; его приборы употребляются теперь вездѣ, между прочимъ, и въ Кронштадтѣ—самимъ г. Поповымъ. Разсчитывалъ онъ, что ему за это дадутъ слѣдующую офицерскую степень почетнаго легіона—первая у него уже лѣтъ пятнадцать—и не дали, весьма возможно, потому, что онъ отстоялъ права г. Бранли.

VII.

Въ заключеніе, позволимъ себѣ высказать нѣсколько общихъ соображеній, на которыя насъ навело довольно тщательное изученіе выставки.

Когда выставка приближалась къ открытію, между иностранцами носились слухи, что нѣмцы до того затмятъ французовъ, что устроятъ имъ промышленный Седанъ. Случилось даже такъ, что французы опоздали къ открытію больше нѣмцевъ, и вообще иностранные отдѣлы были установлены раньше французскихъ,—и вотъ почему: зданія выставки не были готовы, внутренняя и наружная отдѣлка продолжалась еще нѣкоторое время послѣ открытія. Французы, у которыхъ экспонаты у себя дома, подъ рукой, заявили, что они ихъ привезутъ и установятъ, когда не будетъ больше пыли, т.-е. ни каменщиковъ, ни штукатуровъ. Иностранцамъ же, которыхъ экспонаты были уже на выставкѣ, въ ящикахъ, пришлось волей-неволей ихъ разставить по назначеннымъ мѣстамъ. Нѣмцы, несомнѣнно, сдѣлали большое усиліе: они вездѣ почти вполне были готовы ко дню открытія, а въ ма-

шинномъ отдѣлѣ они въ шесть мѣсяцевъ выстроили громадную электрическую станцію и первые были готовы снабдить выставку электрической энергіей.

Но потомъ, когда все было въ ходу, все установлено и все работало, ясно было, что общій уровень производства въ отношеніи качества уже теперь почти одинаковый. Французы, нѣмцы, бельгійцы, англичане, швейцарцы, голландцы, шведы, норвежцы и даже русскіе строятъ теперь машины одинаково хорошо. Даже въ отношеніи новизны идеи двѣ французскія электрическія машины оказались самыми новыми, а въ отношеніи изобрѣтеній маленькая Данія затмила всѣхъ. Но это теперь уже случайности, а вообще, что касается машиннаго дѣла, уже теперь цивилизованные народы другъ въ другъ не нуждаются. До сихъ поръ,—и выставка показала это блистательнѣйшимъ образомъ,—Франція остается царицей вкуса, и въ предметахъ, гдѣ нужно показать вкусъ, какъ шолоковыя ткани, керамика и вообще вся художественная промышленность, Франція еще стоитъ гораздо выше всѣхъ. Но вкусъ можетъ развиваться и въ другихъ странахъ, и онъ, дѣйствительно, развивается—по крайней мѣрѣ, вездѣ стараются о его развитіи, вездѣ основываютъ художественно-промышленныя школы, поощряютъ искусства. Въ эпоху „Возрожденія“ вкусъ былъ исключительно въ Италіи; отсюда онъ перешелъ въ другія страны, между прочимъ и во Францію, гдѣ онъ, правда, съ тѣхъ поръ держится, а въ Италіи почти совершенно испортился. Но онъ сильно развивается въ Америкѣ, въ Австріи и скандинавскихъ странахъ, и можно съ достовѣрностью сказать, что скоро цивилизованные народы будутъ прибѣгать одинъ къ другому только за тѣми произведеніями почвы, которыхъ нѣтъ у нихъ: шампанское, настоящее, всегда будетъ идти изъ Франціи, рейнвейнъ—изъ Германіи и т. д. Но уже теперь это „мирное состязаніе“, какъ называютъ выставку, есть состязаніе такого рода, послѣ котораго противникижимаютъ другъ другу руки, чувствуя другъ къ другу полнѣйшее уваженіе. Въ этомъ—лучшій итогъ выставкѣ.

Если распредѣлить награды по успѣхамъ, сдѣланнымъ въ послѣднія десять лѣтъ, то первую пришлось бы, можетъ быть, дать Японіи. Это—поразительный народъ, и поражаетъ не только своими безподобными вышитыми тканями, своей керамикой, своимъ цвѣтоводствомъ, своими художественными произведеніями, а еще своимъ народнымъ сознаніемъ. Вотъ одинъ фактъ: въ отдѣлѣ „Краснаго Креста“ всѣ націи выставили разныя приспособленія для оказанія помощи раненымъ: носилки, кровати, палатки и т. д. Въ японскомъ отдѣлѣ „Краснаго Креста“ ничего этого не было: вы входите въ совершенно пустую комнату во второмъ этажѣ „машинной галереи“; въ серединѣ

комнаты—простенькій столикъ съ какой-то тетрадью: на одной стѣнѣ прибита была большая карта Японіи, а рядомъ съ картой, на картонѣ—надпись золотыми буквами: „Grand prix“ (большая премія). За что?—вѣдь тутъ же „Красный Крестъ“, а ничего нѣтъ, даже самыхъ простыхъ носилокъ? Все дѣло, оказывалось, въ картѣ. Это была карта размѣщенія членовъ „Краснаго Креста“ въ Японіи. Карта показывала, что въ Японіи въ обществѣ „Краснаго Креста“ числится болѣе 600 тыс. членовъ, приблизительно одинъ членъ на 75 жителей. Ничего подобного нѣтъ ни въ одной европейской странѣ.

Въ одномъ изъ японскихъ павильоновъ были выставлены старинные предметы японскаго искусства изъ музеевъ и частныхъ коллекцій. Оказывается, что у японцевъ рѣзьба—собственно скульптура—на деревѣ стояла въ IX-мъ вѣкѣ такъ же высоко, какъ въ Италіи въ эпоху „Возрожденія“, а наша новѣйшая керамика существовала у нихъ еще въ XVI-мъ вѣкѣ.

Японцы очень гордятся своей цивилизаціей: они говорятъ—и печатаютъ,—что въ Европѣ было нѣсколько цивилизацій: египетская, греческая, римская... всѣ онѣ исчезли одна за другой,—только въ Японіи цивилизація сохранилась отъ самыхъ древнихъ временъ и развивалась безъ перерывовъ. Вирочемъ, это не мѣшаетъ имъ перенимать и очень быстро у Европы все, что въ ней лучше, чѣмъ у нихъ...

М.

Парижъ, 23-го декабря 1900 г.



ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ

1 февраля 1901.

Всеподаннѣйшій докладъ министра финансовъ о государственной росписи на 1901 годъ.—Сравнительное значеніе наказа и закона.—Проектъ наказа губерскимъ и уѣзднымъ училищнымъ совѣтамъ.—Отношеніе его къ правамъ, принадлежащимъ, по закону, училищнымъ совѣтамъ, земству и другимъ общественнымъ учрежденіямъ.—Возможныя послѣдствія его въ области начальной школы.—Циркуляръ министра юстиціи.

Государственная роспись на 1901-ый годъ представляетъ собою, какъ и всѣ предшествующія ей за время съ 1891-го и въ особенности съ 1895-го года, значительное увеличеніе государственныхъ доходовъ и расходовъ. Общая сумма доходовъ, обыкновенныхъ и чрезвычайныхъ, опредѣлена въ 1.731.596 тыс. руб.,—болѣе противъ 1900-го года на 136 милліоновъ; общая сумма расходовъ, обыкновенныхъ и чрезвычайныхъ—въ 1.788.482 тыс.,—болѣе противъ 1900-го года на 31 милл. рублей. Разницу между доходами и расходами, доходящую почти до 57 милліоновъ, предполагается покрыть изъ свободной наличности государственнаго казначейства, исчисленной, на 1-ое января 1901-го года, въ суммѣ 123 милліоновъ рублей; остатокъ свободной наличности составить, затѣмъ, до 66 милл. рублей.

Въ продолженіе истекшаго десятилѣтія свободная наличность подвергалась сильнымъ колебаніямъ: 1-го января 1892 г. она не превышала, напримѣръ, 35 милл.; черезъ три года возрасла до 355 милл.; еще черезъ четыре года упала до 134 милл., а къ 1 января 1900 года вновь поднялась до 259 милліоновъ. Быстрое пониженіе ея въ теченіе минувшаго года объясняется, между прочимъ, покрытіемъ изъ нея военныхъ расходовъ, вызванныхъ войною съ Китаемъ, въ размѣрѣ свыше 61 милл. Необходимо замѣтить, что въ составъ чрезвычайныхъ расходовъ, предусматриваемыхъ на 1901-ый годъ, военныя издержки, продолжающіяся и въ настоящее время, не включены; вся сумма чрезвычайныхъ расходовъ (почти 132 милл.), за исключеніемъ лишь

7¹/₂ милл. на вознагражденіе частныхъ лицъ и учреждений за отчужденіе принадлежавшаго имъ права пропинаціи, предназначена на расширеніе желѣзнодорожной сѣти и развитіе желѣзнодорожнаго хозяйства. Если текущій годъ не принесетъ съ собою новаго, крупнаго избытка доходовъ сравнительно съ расходами, свободная наличность можетъ, поэтому, значительно сократиться или даже совершенно исчезнуть. Между тѣмъ, всеподданнѣйшій докладъ министра финансовъ приписываетъ ей особенно важное значеніе. Возражая противъ мнѣнія, по которому избытки доходовъ составляютъ излишнее бремя для населенія и должны вести или къ болѣе широкому удовлетворенію государственныхъ потребностей, или къ пониженію налоговъ,—министръ финансовъ находитъ, что это мнѣніе примѣнимо только къ государствамъ съ малою задолженностью, или хотя и съ крупнымъ долгомъ, но помѣщеннымъ внутри страны: такіа государства могутъ, безъ ущерба для своихъ финансовъ, покрывать свои чрезвычайныя издержки, въ особенности производительныя, путемъ займовъ. Не таково положеніе Россіи: она обременена крупнымъ долгомъ, немалая доля котораго размѣщена за границею и заключена, въ прежнее время, не для производительныхъ цѣлей, а для покрытія расходовъ военнаго времени. Увеличеніе задолженности, безъ серьезной къ тому необходимости, поставило бы русское государственное хозяйство на опасный путь. Оно нуждается въ нѣкоторомъ запасѣ средствъ и потому, что чрезвычайныя издержки, по самому существу своему, нерѣдко возникаютъ неожиданно, а доходы, какъ бы осторожно они ни были исчислены, могутъ иногда поступить въ меньшемъ размѣрѣ противъ первоначальныхъ соображеній. Съ другой стороны, необходимость запаса выводится министромъ финансовъ изъ опыта неурожайныхъ годовъ (1891, 1892, 1898), когда понадобилась почти двухсотъ-милліонная затрата на народное продовольствіе, и изъ международнаго положенія Россіи, требующаго постоянной готовности къ непредвидѣннымъ затратамъ. Не отрицая значенія этихъ указаній, мы думаемъ, однако, что ими не опровергается цѣлесообразность обращенія *нѣкоторой части* излишковъ государственнаго дохода какъ на пониженіе налоговъ, такъ и на повышеніе текущихъ, обыкновенныхъ расходовъ. Средства, образующія свободную наличность, идутъ далеко не на одни только *непредвидѣнные* расходы; значительная ихъ часть употребляется на расходы хотя и именуемые чрезвычайными, но предусматриваемые заранѣе и далеко не всегда оправдывающіе свое названіе. Лучшимъ доказательствомъ этому служить, напримѣръ, тотъ фактъ, что до прошлаго года въ категорію чрезвычайныхъ расходовъ вносились затраты на приобрѣтеніе подвижнаго состава не только для вновь строящихся, но и для

остальныхъ желѣзныхъ дорогъ ¹⁾—затраты, не заключающія въ себѣ ничего экстраординарнаго и въ настоящее время, на основаніи Высочайше утвержденнаго 22-го мая 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта, включенныя въ число обыкновенныхъ расходовъ. Между другими расходами, хотя и предопредѣленными заранѣе, но чрезвычайными въ смыслѣ одновременности и неповторяемости, несомнѣнно есть такіе, которые ничуть не болѣе настоятельны и неотложны, чѣмъ многіе обыкновенные расходы, напрасно ожидающіе очереди включенія въ государственную роспись. Достаточно было бы уменьшить на одну десятую часть громадныя суммы, ассигнуемыя, прямо или косвенно, на расширеніе желѣзнодорожной сѣти (не считая сибирской желѣзной дороги—почти 112 милліоновъ рублей), чтобы сдѣлать рѣшительный шагъ впередъ въ области народнаго образованія. Если отъ улучшенія путей сообщенія ожидается, и не безъ основанія, увеличеніе народнаго богатства, а слѣдовательно и государственныхъ средствъ, то въ такой же или еще гораздо болѣе степени этотъ результатъ могъ бы быть достигнутъ уменьшеніемъ невѣжества, тормозящаго развитіе народныхъ силъ, и притомъ не только матеріальныхъ, но и нравственныхъ. Абсолютный ростъ бюджета министерства народнаго просвѣщенія давно уже отличается у насъ крайнею медленностью, а отношеніе его къ общей цифрѣ обыкновенныхъ расходовъ, во второй половинѣ семидесятыхъ годовъ достигшее $2\frac{1}{2}\%$ и въ слѣдующемъ десятилѣтіи державшееся приблизительно на той же высотѣ,—теперь упало до 2% (33 милліона изъ 1656). Раздѣленный на количество населенія, бюджетъ министерства народнаго просвѣщенія, по вычисленію профессора Свирщевскаго, давалъ, въ 1897 г., по 21 коп. на душу; немногимъ больше эта цифра и въ настоящее время, тогда какъ въ Англіи она составляетъ 2 руб. 84 коп., во Франціи—2 р. 11 к., въ Пруссіи—1 р. 89 к., даже въ Австріи—64 коп. Еще поразительнѣе становится наша отсталость, если разсматривать только одно начальное образованіе: въ бюджетѣ министерства народнаго просвѣщенія оно занимаетъ самое послѣднее мѣсто, а ростъ земскихъ расходовъ на этотъ предметъ ограниченъ прошлогоднимъ закономъ, положившимъ предѣлъ увеличенію земскихъ смѣтъ. Будущему историку конца XIX-го и начала XX-го вѣка трудно будетъ повѣрить, что, при колоссальномъ повышеніи русскихъ государственныхъ доходовъ, на долю народнаго образованія вообще и начального обученія въ частности (если и принимать въ расчетъ ассигновки на церковно-приходскія школы) выпадали только крупицы.

Немало найдется и другихъ производительныхъ расходовъ, на ко-

¹⁾ См. Внутр. Обзоріе въ № 2 „Вѣстника Европы“ за 1900 г.

торые съ величайшею пользою могла бы быть обращена та или иная доля прироста государственныхъ доходовъ: достаточно назвать улучшение сельскаго хозяйства, развитіе общественнаго призрѣнія, разные виды государственнаго страхованія. Не менѣе благотворными были бы и реформы въ системѣ налоговъ, направленные къ облегченію народной массы (напр. пониженіе выкупныхъ платежей) или къ отміѣнѣй аномалій, давно осужденныхъ жизнью и наукой (напр. страховой пошлины). Повторяемъ еще разъ: вопросъ состоитъ не въ томъ, быть или не быть въ государственномъ казначействѣ запасу средствъ на черный день, а въ томъ, — слѣдуетъ ли увеличивать этотъ запасъ цѣною оставленія въ силѣ несправедливыхъ или преувеличенныхъ налоговъ и отказа въ удовлетвореніи насущныхъ потребностей. Въ концѣ концовъ, значительная часть накопившихся суммъ все-таки идетъ на расходы, въ которыхъ нѣтъ ничего непредвидѣннаго — и свободной наличности, при наступленіи обстоятельствъ дѣйствительно чрезвычайныхъ, можетъ не оказаться вовсе или оказаться сравнительно мало. Шестидесятъ-шесть милліоновъ, остающіеся свободными, за отчисленіемъ 57 милліоновъ на чрезвычайные расходы 1901-го года, — вѣдь это почти такая же сумма, какая была истрачена въ 1900 г. на войну съ Китаемъ! Конечно, въ 1901-мъ году опять *можетъ* оказаться превышеніе доходовъ надъ расходами — но рассчитывать на него съ достовѣрностью никакъ нельзя.

Заключительная часть всеподданнѣйшаго доклада министра финансовъ посвящена, на этотъ разъ, возвеличенію внѣшняго могущества Россіи. Ближе къ цѣли, преслѣдуемой министерствомъ финансовъ, подходили доклады на 1899 и 1900 гг., касавшіеся одного изъ больныхъ мѣстъ нашего государственнаго организма. Способствовать поднятію народнаго благосостоянія, обусловливающего собою, въ концѣ концовъ, и положеніе государственныхъ финансовъ, указаніе недостатковъ — и средствъ къ ихъ устраненію — можетъ въ гораздо болѣе мѣрѣ, чѣмъ перечисленіе достоинствъ. Два года тому назадъ министр финансовъ находилъ „довольно вѣскимъ“ мнѣніе, связывающее хозяйственную отсталость нашихъ крестьянъ съ недостаточнымъ распространеніемъ образованія въ средѣ народа. Онъ признавалъ, что „народное просвѣщеніе представляетъ собою существенный факторъ экономическаго преуспѣянія страны“. Еще болѣе важное значеніе онъ придавалъ „неопредѣленности имущественныхъ и общественныхъ отношеній крестьянъ“. Законодательство о сельскихъ обывателяхъ казалось ему не только неполнымъ, но и недостаточно соответствующимъ „потребности населенія въ прочномъ *правопорядкѣ*“. Этотъ недостатокъ, по мнѣнію министра, не можетъ быть устраненъ „частичными измѣненіями“: необходимо разрѣшеніе *общихъ принципиальныхъ*

вопросовъ сельскаго устройства. Та же самая мысль повторена, съ меньшею лишь обстоятельностью и настойчивостью, и въ прошлогоднемъ докладѣ министра финансовъ: однимъ изъ главныхъ препятствій къ упорядоченію податной системы и здѣсь выставлены дѣйствующія узаконенія о крестьянахъ, во многомъ „устарѣлыя и страдающія существенными пробѣлами и недостатками“. Въ настоящую минуту возвращеніе къ этой темѣ было бы, какъ намъ кажется, особенно своевремененно и умѣстно. Въ 1899-мъ году, когда она была затронута въ первый разъ, въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ былъ предпринятъ пересмотръ положеній о крестьянахъ. Правда, работы по этому предмету подвигались впередъ медленно и вяло, но все-же необходимость преобразованія была признана въ принципѣ. Теперь, повидимому, оно совершенно снято съ очереди—а между тѣмъ соображенія, приведенныя въ его пользу министромъ финансовъ, сохраняютъ всю свою силу. Даже внѣшнее могущество государства не можетъ считаться вполне обеспеченнымъ, пока значительная часть его населенія лишена „прочнаго правопорядка“.

Разбирая, въ свое время ¹⁾, указанія министра финансовъ на ненормальность юридическаго положенія крестьянъ, мы выразили убѣжденіе, что „двухъ прочныхъ правопорядковъ въ благоустроенномъ государствѣ быть не можетъ“. Правопорядокъ, достойный этого имени, возможенъ только одинъ, обнимающій всѣ классы, всѣ сословія, всѣ взаимныя отношенія гражданъ, всю сферу дѣйствій государственной власти. Въ составъ правопорядка, такимъ образомъ понимаемаго, входитъ, между прочимъ, неуклонное охраненіе силы закона, какъ въ области законодательнаго творчества, такъ и въ области исполненія законовъ, т.-е. въ сферахъ административной и судебной. Въ области законодательной — сила закона можетъ считаться огражденной лишь тогда, когда изданіе новыхъ законовъ, а также дополненіе, измѣненіе и отмѣна законовъ прежнихъ, происходятъ исключительно въ установленномъ для того порядкѣ. Этотъ порядокъ прямо опредѣленъ ст. 50 и 73 Зак. Основн., за силою которыхъ всѣ предначертанія законовъ разсматриваются въ Государственномъ Совѣтѣ и потомъ восходятъ на Высочайшее утвержденіе, а отмѣна закона существующаго совершается тѣмъ же порядкомъ, какой назначенъ для составленія законовъ. На основаніи ст. 160, 161 и 162 Учрежд. министерствъ, Государственный Совѣтъ есть средоточіе, куда должны поступать всѣ представленія министровъ о необходимости новаго закона

¹⁾ См. Внутр. Обзорѣніе въ № 2 „В. Европы“ за 1899 г.

или объ отмѣнѣ прежняго. Никакое положеніе, подлежащее предварительному рассмотрѣнію и уваженію Госуд. Совѣта, не представляется Его Императорскому Величеству помимо Совѣта. Объ отмѣнѣ или измѣненіи дѣйствующихъ законовъ министры входятъ въ Госуд. Совѣтъ съ представленіями не иначе, какъ испросивъ на то предварительно Высочайшее разрѣшеніе (*измѣненіе закона*, такимъ образомъ, прямо приравнено къ его отмѣнѣ—и это вполне понятно, потому что всякое измѣненіе закона есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, либо частичная его отмѣна, либо дополненіе его, т.-е. созданіе новаго законодательнаго опредѣленія). Относительно значенія и важности всѣхъ этихъ постановленій между нашими государствовѣдами существуетъ полное единогласіе. „Конкурирующая съ Государственнымъ Совѣтомъ роль министровъ, ихъ комитета и сената“—говоритъ, на примѣръ, проф. Романовичъ-Славатинскій—„должна ограничиваться сферою аутентическаго толкованія смысла и силы существующаго закона“, ни въ чемъ, слѣдовательно, его не измѣняя и не дополняя. По словамъ проф. Коркунова, обособленіе законовъ и Высочайшихъ указовъ ¹⁾ „не только возможно и въ абсолютной монархіи, но составляетъ и въ ней, какъ и вездѣ, необходимое условіе правильнаго развитія государственной дѣятельности“ ²⁾. На практикѣ всѣ эти безспорныя положенія часто упускаются изъ виду: существенно важные вопросы, несомнѣнно законодательные по своему свойству, направляются къ разрѣшенію въ порядкѣ, установленномъ для текущихъ административныхъ дѣлъ, или по такому пути, который закономъ вовсе не предусмотрѣнъ. Широкое развитіе законодательства повлекло за собою, въ послѣднее время, значительное увеличеніе числа инструкцій или наказовъ, разъясняющихъ способъ примѣненія закона. Такіе указы полезны и даже необходимы, но лишь настолько, насколько они, ни въ чемъ не противорѣча закону, ничего въ немъ не измѣняя и ничего къ нему не прибавляя, даютъ практическія указанія, естественно вытекающія изъ его смысла. Этому условію не соответствуетъ проектъ наказа училищнымъ совѣтамъ, составленный въ министерствѣ народнаго просвѣщенія и разосланный, въ концѣ минувшаго года, на заключеніе губернскихъ училищныхъ совѣтовъ, благодаря чему содержаніе его, по крайней мѣрѣ отчасти, оглашено

¹⁾ Въ категорію *указовъ*, какъ ее понимаетъ проф. Коркуновъ въ книгѣ: „Указъ и законъ“, входятъ, безъ сомнѣнія, и Высочайше утвержденныя положенія комитета министровъ, а также Высочайше одобренныя представленія министра или министровъ.

²⁾ Болѣе подробный разборъ даннаго вопроса см. въ январскомъ Внутр. Обозрѣніи 1895-го года.

въ печати ¹⁾. Расширяя власть директоровъ и инспекторовъ народныхъ училищъ, проектъ наказа существенно ограничиваетъ права, предоставленныя закономъ съ одной стороны училищнымъ совѣтамъ, съ другой — общественнымъ учрежденіямъ, участвующимъ въ содержаніи начальныхъ школъ. По закону переносить *нѣкоторыя дѣла*, рѣшенныя уѣзднымъ училищнымъ совѣтомъ, на разсмотрѣніе губернскаго совѣта можетъ, при несогласіи съ большинствомъ, только председатель уѣзднаго училищнаго совѣта, т.-е. уѣздный предводитель дворянства; проектъ наказа уполномочиваетъ на то, безъ всякой оговорки (т.-е. по *всѣмъ дѣламъ*), инспектора народныхъ училищъ. Законъ возлагаетъ на директоровъ и инспекторовъ народныхъ училищъ, отдѣльно отъ училищныхъ совѣтовъ, только завѣдываніе учебною частью; наказъ идетъ гораздо дальше, предоставляя на усмотрѣніе директоровъ и инспекторовъ вносить вопросы, касающіеся *постановки и веденія учебно-воспитательной части, или* на разсмотрѣніе училищнаго совѣта, *или* на разрѣшеніе начальства, а также *принимать соответственныя мѣры собственною властью*. Единоличныя распоряженія инспектора, по смыслу закона, могутъ быть отмѣняемы уѣзднымъ училищнымъ совѣтомъ; наказъ переноситъ это право на губернский училищный совѣтъ. По закону кругъ единоличныхъ распоряженій инспекціи, замѣняющихъ собою постановленія училищнаго совѣта, ограниченъ *случаями надобности*; наказъ не содержитъ въ себѣ такой оговорки. Законъ требуетъ присутствія въ засѣданіи уѣзднаго училищнаго совѣта инспектора *или* другого члена отъ министерства народнаго просвѣщенія и вовсе не регламентируетъ, въ этомъ отношеніи, наличный составъ губернскаго училищнаго совѣта; наказъ устанавливаетъ, что по дѣламъ, касающимся учебно-воспитательной части, открытія и закрытія училищъ и поремѣнъ въ личномъ составѣ учащихся, въ засѣданіи уѣзднаго совѣта непременно долженъ присутствовать инспекторъ, въ засѣданіи губернскаго совѣта — директоръ. По справедливому замѣчанію земскихъ членовъ харьковскаго училищнаго совѣта, проектируемое правило можетъ привести, на практикѣ, къ совершенному изытію цѣлаго ряда дѣлъ изъ вѣдѣнія училищныхъ совѣтовъ: инспектору стоить только не явиться въ засѣданіе совѣта — и затѣмъ, хотя бы на другой день, разрѣшить своею властью всѣ дѣла, которыя, за его отсутствіемъ, не были разсмотрѣны совѣтомъ. Законъ ставитъ временное закрытіе училища въ зависимость отъ соглашенія председателя уѣзднаго училищнаго совѣта съ инспекто-

¹⁾ См., напр., замѣтки о наказѣ №№ 8918 и 8919 „Новаго Времени“ и № 354 „Русскихъ Вѣдомостей“. Особенною обстоятельностью и вѣскостью отличаются замѣчанія земскихъ членовъ харьковскаго губерн. училищнаго совѣта, гг. Деларю и Н. Н. Ковалевскаго.

ромъ народныхъ училищъ, по личномъ удостовѣреніи ихъ въ происшедшемъ безпорядкѣ или вредномъ направленіи училища; а за силою наказа эта чрезвычайная мѣра можетъ быть принята, въ нетерпящихъ отлагательства случаяхъ, по распоряженію инспектора или предсѣдателя совѣта, при чемъ о предварительномъ личномъ удостовѣреніи не говорится ни слова. Повторяя постановленіе закона объ утвержденіи уѣзднымъ училищнымъ совѣтомъ учителей, допущенныхъ инспекторомъ къ преподаванію, наказъ умалчиваетъ объ основанномъ на томъ же законѣ правѣ лицъ не допущенныхъ жаловаться на инспектора училищному совѣту. По закону право выбора для школъ книгъ и учебныхъ пособій принадлежитъ училищному совѣту; наказъ передаетъ его инспектору. Вопреки смыслу закона, наказъ обуславливаетъ право членовъ училищнаго совѣта на осмотръ училищъ письменнымъ по этому предмету предложеніемъ совѣта.

Еще важнѣе отступленія отъ закона, клонящіяся къ умаленію правъ земства, а также другихъ общественныхъ учреждений и частныхъ лицъ, на счетъ которыхъ содержатся начальныя школы. Законъ предоставляетъ инспектору *допущеніе* учителей (т.-е. *дозволеніе* имъ преподаванія), училищному совѣту—ихъ *утвержденіе*; отсюда само собою слѣдуетъ, что самый *выборъ* учителя принадлежитъ, прежде всего, учрежденію или лицу, содержащему школу. Оно *можетъ* остановить свой выборъ на лицѣ, указанномъ инспекторомъ, но вовсе къ тому не *обязано*. Въ этомъ именно смыслъ законъ разъясняетъ еще въ 1875 г. министромъ народнаго просвѣщенія (гр. Д. А. Толстымъ), и никакихъ недоумѣній по этому предмету на практикѣ не возникало. Между тѣмъ, наказъ возлагаетъ на инспектора не только допущеніе, но и *выборъ* учителей, безъ всякой оговорки относительно законныхъ правъ учрежденія или лица, содержащаго школу; *распоряженіе* инспектора сообщается имъ только для *содѣнія* ¹⁾. Не повторено въ наказѣ и, слѣдовательно, какъ бы предназначено къ упраздненію установленное закономъ право жалобы губернскому училищному совѣту на отказъ въ открытіи новаго училища. Законъ предоставляетъ земскимъ учрежденіямъ участіе въ завѣдываніи содержимыми на счетъ земства школами, причемъ подъ именемъ земства или земскихъ учреждений понимаются, безъ сомнѣнія, какъ земскія собранія, такъ и земскія управы; между тѣмъ, за силою наказа, земство участвуетъ въ завѣдываніи училищами черезъ посредство земскихъ членовъ училищныхъ совѣтовъ и попечителей училищъ, а на земскія управы *можетъ быть* (слѣдовательно *можетъ и не быть*?) возлагаемо завѣдываніе хозяйственнымъ

¹⁾ Большая часть сказаннаго ниже примѣнима какъ къ земству, такъ и къ городскимъ и сельскимъ обществамъ.

частью училищъ. Постановленія земскихъ собраній объ открытіи и содержаніи училищъ законъ нигдѣ не ставитъ подъ особый спеціальный контроль, допуская только опротестованіе ихъ на общемъ основаніи; наказъ обязываетъ земское собраніе составить особое росписаніе расходовъ по содержанію училищъ, а председателя училищнаго совѣта и инспектора—заботиться о томъ, чтобы въ росписаніи точно опредѣлялись и обезпечивались суммы какъ на жалованье преподавателямъ, такъ и на прочіе расходы. Законъ не воспрещаетъ земству и другимъ общественнымъ учрежденіямъ закрывать основанныя и содержимыя ими училища; наказъ ставить закрытіе училищъ, тѣмъ бы оно ни было вызвано (напр. недостаткомъ средствъ, открытіемъ училища въ другомъ мѣстѣ, болѣе въ немъ нуждающемся), въ зависимость отъ согласія училищнаго совѣта, распространяя это правило даже на частныхъ лицъ, которыхъ, повидимому, ни въ какомъ случаѣ не слѣдовало бы вынуждать къ продолженію затратъ, принятыхъ ими на себя совершенно добровольно. По закону размѣръ содержанія и порядокъ отчетности въ денежныхъ суммахъ по начальнымъ училищамъ устанавливаются тѣми вѣдомствами, земствомъ, городскими и сельскими обществами и частными лицами, на счетъ которыхъ училища учреждены и содержатся; въ распоряженіи по всѣмъ этимъ предметамъ члены училищныхъ совѣтовъ не входятъ. Въ прямое нарушеніе закона наказъ предоставляетъ училищнымъ совѣтамъ (или, *de facto*, инспекторамъ народныхъ училищъ) регламентировать объемъ и планъ школьныхъ помѣщеній, размѣръ вознагражденія преподавателей, снабженіе ихъ квартирой и прислугой, устройство школьныхъ библіотекъ. Законъ не ограничиваетъ земство въ назначеніи денежныхъ пособій служащимъ, требуя только рѣшенія подобныхъ вопросовъ закрытой баллотировкой; наказъ обуславливаетъ выдачу пособия учащему въ земской школѣ ходатайствомъ училищнаго совѣта. Вопреки естественному порядку вещей, въ силу котораго учитель, завѣдуя хозяйственною частью училища, не можетъ быть совершенно независимъ отъ хозяина, т.-е. отъ земства, наказъ устанавливаетъ, что учителя, утвержденные въ должности, подчиняются въ служебномъ отношеніи *только* уѣздному училищному совѣту и инспектору народныхъ училищъ. Онъ создаетъ новую должность завѣдывающего училищемъ, причемъ отъ училищнаго совѣта зависитъ назначить на эту должность не учителя, а законоучителя. Онъ облакаетъ училищный совѣтъ функціями уголовного суда, предоставляя ему увольненіе учителя отъ службы съ лишеніемъ учительскаго званія и съ воспрещеніемъ педагогической дѣятельности.

Все сказанное выше показываетъ съ полною ясностью, что проектъ наказа, составленный въ министерствѣ народнаго просвѣщенія, заклю-

часть въ себѣ множество отступленій отъ закона, могущихъ восслѣдовать не иначе, какъ въ законодательномъ порядкѣ. Не слѣдуетъ ли, однако, видѣть въ проектѣ наказа именно законопроектъ, подлежащій, на общемъ основаніи, разсмотрѣнію Государственнаго Совѣта? Въдѣ законы, по ст. 53-й Зак. Основн., могутъ быть издаваемы, между прочимъ, въ видѣ наказовъ или инструкцій. Всякое сомнѣніе по этому предмету устраняется Высочайше утвержденнымъ 25-го мая 1874 г. мнѣніемъ Государственнаго Совѣта (пун. VIII), которымъ министру народнаго просвѣщенія предоставлено составить, измѣнивъ инструкціи инспекторамъ, наказъ губернскимъ и уѣзднымъ училищнымъ совѣтамъ и *внести его на разсмотрѣніе комитета министровъ*. Послѣднія слова удостовѣряютъ, что съ *законопроектомъ* настоящій проектъ наказа не имѣетъ и не долженъ имѣть ничего общаго. Если въ нашемъ сводѣ и можно найти наказы, имѣющіе характеръ законовъ (напр. наказъ министерствамъ, инструкція генералъ-губернаторамъ), то въ новѣйшее время наказы или инструкціи все больше и больше пріобрѣтаютъ значеніе разъясненій, основанныхъ на законѣ. Служивается, вмѣстѣ съ тѣмъ, и содержаніе наказовъ, ближе прежняго подходи къ самому понятію: *наказъ*. По своему происхожденію, по своей цѣли, наказъ есть наставленіе, данное учрежденію или должностному лицу, регулирующее *его* образъ дѣйствій и, собственно говоря, вовсе не касающееся тѣхъ, съ кѣмъ это учрежденіе или лицо имѣетъ дѣло. Права и обязанности частныхъ лицъ опредѣляются *закономъ*: онъ же намѣчаетъ, въ главныхъ чертахъ, и функціи власти, но подробная ихъ регламентація составляетъ предметъ и задачу наказа. Возьмемъ, для примѣра, наказы судебнымъ мѣстамъ: они содержатъ въ себѣ, по закону (Учр. суд. устан. ст. 166), „правила, относящіяся до внутренняго распорядка и дѣлопроизводства въ судебныхъ мѣстахъ“, причемъ *общій* наказъ имѣетъ силу для всѣхъ судебныхъ мѣстъ, *особый*— для каждаго судебного мѣста отдѣльно. Въ тѣхъ же предѣлахъ долженъ, очевидно, оставаться и наказъ училищнымъ совѣтамъ: онъ не можетъ ни облечь ихъ новыми правами, ни лишить ихъ правъ, имъ принадлежащихъ, ни, тѣмъ менѣе, отмѣнить или ограничить права другихъ учреждений и частныхъ лицъ. Подобно тому, какъ общій наказъ судебнымъ мѣстамъ не можетъ, на примѣръ, объявить безапелляціонными постановленія суда, подлежащія апелляціи на основаніи судебныхъ уставовъ, наказъ училищнымъ совѣтамъ не можетъ признать окончательными тѣ распоряженія инспекціи, на которыя положеніе о начальныхъ училищахъ разрѣшаетъ жаловаться въ училищный совѣтъ. Подобно тому, какъ общій наказъ судебнымъ мѣстамъ не можетъ наложить на тяжущихся платежъ судебныхъ издержекъ, не предусмотрѣнныхъ судебными уставами, наказъ училищнымъ совѣ-

тамъ не можетъ обязать земство, городъ или частное лицо къ про-
долженію затратъ, отъ которыхъ они, по закону, въ правѣ отказаться.
Сохраненіе въ полной силѣ различія между закономъ, какъ нормой
дѣятельности для всѣхъ, и наказомъ, какъ нормой дѣятельности (въ
предѣлахъ закона) для присутственныхъ мѣстъ и должностныхъ лицъ.
имѣетъ громадное теоретическое и практическое значеніе: теорети-
ческое—потому что оно выставляетъ въ яркомъ свѣтѣ самую идею
закона, практическое—потому что оно служитъ гарантіей неприкос-
новенности правъ и границей административнаго усмотрѣнія.

Мы говорили до сихъ поръ только о формальной сторонѣ проекта,
о несогласованности его съ закономъ; но столь же мало онъ соотвѣт-
ствуетъ и требованіямъ жизни, столь же мало удовлетворителенъ и
по содержанію. Въ самомъ дѣлѣ, что показываетъ намъ дѣйствитель-
ность? Несмотря на крайне ограниченныя права земства по отноше-
нію къ заведыванію открываемыми имъ школами, несмотря на измѣ-
ненія въ составѣ земства и въ организациі мѣстнаго управленія, умень-
шившія число и подорвавшія самостоятельность гласныхъ отъ кре-
стьянъ, земская школа росла и растетъ количественно, улучшалась и
улучшается качественно. Урѣзка школьнаго бюджета — явленіе на-
столько же рѣдкое, исключительное, насколько обыкновеннымъ и
нормальнымъ представляется (или, по крайней мѣрѣ, представлялся
до сихъ поръ, пока не существовало фиксаціи земскихъ смѣтъ) про-
грессивный ростъ его. Чрезвычайно рѣдки были и случаи передачи
земствомъ своихъ школъ въ духовное вѣдомство. Матеріальное обезпе-
ченіе учащихся, устройство просторныхъ, гигиеническихъ школьныхъ
помѣщеній, уменьшеніе заболѣваемости среди учащихся, организациа
школьныхъ библіотекъ, снабженіе школъ учебниками и учебными по-
собіями, обученіе необязательнымъ предметамъ (напр. гѣнію, ручному
труду)—все это было и продолжаетъ быть предметомъ заботливости
земствъ (и городовъ), заботливости свободной, никѣмъ и ничѣмъ не вы-
нужденной. Гдѣ же, затѣмъ, основаніе для введенія другой системы, прямо
противоположной—системы, при дѣйствіи которой земства (и города) пе-
рестанутъ быть самостоятельными даже въ распоряженіи своими денеж-
ными средствами? До чего доходить регламентациа, создаваемая проек-
томъ наказа—объ этомъ можно судить по слѣдующему примѣру. Сани-
тарный осмотръ училищъ, по ст. 145-ой проекта, производится врачами
не иначе какъ по приглашенію или съ согласія училищнаго совѣта,
снабжающаго врачей „особыми удостовѣреніями на предметъ предъ-
явленія таковыхъ въ училищахъ“; врачи посѣщаютъ училища по воз-
можности въ неучебные часы и не могутъ присутствовать при клас-
сныхъ занятіяхъ. Итакъ, земскій врачъ, живя рядомъ съ училищемъ и
слыша со всѣхъ сторонъ отзывы о его анти-санитарномъ состояніи, о

безпрестанныхъ заболѣванійхъ учениковъ, не будетъ въ правѣ войти въ училище, пока не получить на то разрѣшенія отъ училищнаго совѣта! Другими словами, врачу придется писать въ управу, управѣ — въ училищный совѣтъ, собирающійся весьма рѣдко (по проекту — не менѣе шести разъ въ годъ), и затѣмъ ожидать отвѣта нѣсколько недѣль или даже нѣсколько мѣсяцевъ, несмотря на возможное *regis-lum in mora*! Если даже разрѣшеніе на осмотръ согласится выдать, вмѣсто училищнаго совѣта, инспекторъ, то и на это уйдетъ немало времени: инспекторъ бываетъ, болѣею частью, одинъ на два или на три уѣзда, по которымъ постоянно разъѣзжаетъ, и бумага управы можетъ иногда дойти до него весьма нескоро. Далѣе: чтобы санитарный осмотръ школъ достигъ своей цѣли, его нужно, въ большинствѣ случаевъ, произвести именно въ учебное время: только тогда и можно опредѣлить степень испорченности воздуха и вліянія ея на учениковъ, только тогда можно застать въ сборѣ всѣхъ учащихся и привести въ извѣстность, нѣтъ ли между ними заразныхъ больныхъ. Не бѣда, если посѣщеніе врача повлечетъ за собой короткій перерывъ классныхъ занятій; но, помимо экстренныхъ случаевъ, этого легко избѣжать — стоить только врачу дожидаться окончанія начатаго урока. Классныя занятія въ начальной школѣ — не тайна, которую нужно бережно скрывать отъ посторонняго глаза: а проектъ наказа разсматриваетъ ихъ именно какъ тайну, запрещая присутствовать при нихъ не только врачамъ, но и лицамъ, уполномоченнымъ со стороны земства наблюдать за хозяйственною частью училищъ (въ томъ числѣ, слѣдовательно, и предсѣдателя, и членамъ уѣздной земской управы!). Между земствомъ и его любимымъ созданіемъ — земской школой — проектъ наказа тщательно воздвигаетъ китайскую стѣну, при существованіи которой немислима взаимная близость, немислимо сердечное отношеніе къ учащимъ и учащимся, составлявшее и составляющее до сихъ поръ лучшую сторону земской дѣятельности въ сферѣ народной школы. Совершенно ошибочно было бы думать, что мѣсто земства могутъ занять, въ этомъ отношеніи, училищные совѣты. Они не располагаютъ никакими матеріальными средствами, кромѣ тѣхъ, которыя иногда добровольно предоставляетъ имъ земство. Изъ числа лицъ, принадлежащихъ къ ихъ составу, далеко не всѣ стоятъ близко къ дѣлу начального обученія. Членомъ уѣзднаго училищнаго совѣта отъ министерства внутреннихъ дѣлъ состоитъ, обыкновенно, уѣздный исправникъ, до крайности обремененный занятіями по своей должности и рѣдко интересующійся народной школой. Не всегда преданъ ей интересамъ и второй (послѣ инспектора) членъ совѣта со стороны министерства народнаго просвѣщенія (болѣею частью — инспекторъ городского училища, поставленнаго совершенно иначе, чѣмъ началь-

ныя школы). Членъ совѣта со стороны духовнаго вѣдомства нерѣдко раздѣляетъ вмѣстѣ со своимъ вѣдомствомъ нерасположеніе къ земской школѣ. Остаются, затѣмъ, уѣздный предводитель дворянства, два члена отъ земства и инспекторъ народныхъ училищъ. Въ тѣхъ уѣздахъ, гдѣ предводитель, способный и готовый къ труду, сознаетъ и чувствуетъ себя земцемъ, онъ весьма полезенъ для земской школы. Вмѣстѣ съ членами отъ земства, вмѣстѣ съ лицами, приглашенными на основаніи ст. 41-ой Положенія о народныхъ училищахъ, онъ можетъ достигнуть того, что ни одна школа въ уѣздѣ не останется безъ попеченія и заботы со стороны совѣта. Далеко не всегда и не вездѣ, однако, условія слагаются такъ благопріятно: немало предводителей несутъ эту должность только по имени, избѣгаютъ вообще всякой работы, къ школамъ относятся совершенно равнодушно или даже несочувственно, и правомъ, предоставленнымъ имъ ст. 41-ой, не пользуются. Инспектора народныхъ училищъ могутъ быть раздѣлены на три категоріи. Одни горячо принимаютъ къ сердцу процвѣтаніе начальной школы, во всемъ готовы оказать поддержку учащимъ, относятся къ нимъ не какъ къ подчиненнымъ, а какъ къ младшимъ товарищамъ, стараются идти рука объ руку съ земствомъ, хорошо знаютъ свое дѣло и умѣютъ передавать свои познанія. Другіе исполняютъ свои обязанности тщательно, но формально, строго слѣдятъ за внѣшнимъ порядкомъ въ школахъ, требуютъ отъ учащихся точнаго соблюденія данныхъ имъ указаній, одинаково избѣгаютъ какъ прямыхъ пререканій съ земствомъ, такъ и общей съ нимъ работы. Третьи вступаютъ съ земствомъ въ открытую борьбу, при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ показываютъ свою власть и, больше имѣя общаго съ полицейскими чиновниками, чѣмъ съ педагогами, мало думаютъ о результатахъ преподаванія, лишь бы только между преподавателями господствовала должная дисциплина. Мы едва ли ошибемся, если скажемъ, что инспекторовъ первой категоріи было и продолжаетъ быть весьма немного. Для нихъ не служатъ помѣхой ни училищный совѣтъ, ни земская управа, ни земское собраніе; наоборотъ, это для нихъ желанные союзники, потому что одному лицу, какъ бы велика ни была его рабочая способность, какъ бы безгранично ни было его усердіе, не по силамъ всюду поспѣть и за всѣмъ усмотрѣть въ двухъ или трехъ уѣздахъ. Не тяготятся своимъ настоящимъ положеніемъ и инспектора, отнесенные нами ко второй, наиболѣе многочисленной категоріи: работать надъ мало интереснымъ дѣломъ легче въ большомъ обществѣ, чѣмъ одному. Новый порядокъ пришелся бы по сердцу только инспекторамъ третьей категоріи, которыхъ теперь немного, но тогда стало бы гораздо больше. Очутившись „господиномъ положенія“, инспекторъ, въ большинствѣ случаевъ,

направить бы свои усилія, къ окончательному обезсиленію и обезличенію училищнаго совѣта, для чего имѣлъ бы въ рукахъ вполне достаточныя средства. Въ члены училищнаго совѣта отъ земства идутъ теперь, обыкновенно, гласные, живо интересующіеся школьнымъ дѣломъ и готовые потрудиться на его пользу; но едва ли такія лица будутъ дорожить участіемъ въ учрежденіи, дѣятельность котораго фактически можетъ быть сведена къ нулю. Скажемъ болѣе: новое ограниченіе круга дѣйствій, отведеннаго земству—и его уполномоченнымъ—въ области начальной школы, неизбежно привело бы къ пониженію уровня земскихъ собраній, въ среду которыхъ многихъ влечетъ теперь именно возможность плодотворной работы на пользу народного образованія.

Современную нашу общественную жизнь можно сравнить съ залой, наполненной громадною толпою. Дышать становится все труднѣе и труднѣе—а толпа продолжаетъ расти, и росту ея не предвидится конца. Нужно открыть окна, распахнуть двери въ сосѣднія комнаты, дать просторъ движенію, свободный доступъ свѣжему воздуху; вмѣсто этого предлагаютъ закрыть вентиляторы, законопатить всѣ щели. Толпѣ остается только задохнуться—или уйти изъ залы, куда она собралась для важнаго дѣла... Съ распространеніемъ образованія, съ развитіемъ интереса къ общему благу, все больше и больше становится число людей, способныхъ принимать участіе въ общественной жизни и стремящихся къ этому участію, какъ къ необходимому дополненію ихъ личнаго существованія. Между тѣмъ, путей, ведущихъ къ цѣли, остается все меньше и меньше. Проектъ наказа училищнымъ совѣтамъ грозитъ загражденіемъ одного изъ этихъ путей, и притомъ такого, съ которымъ особенно сроднилось наше общество. Будемъ надѣяться, что русскому просвѣщенію не суждено понести столь тяжелый уронъ. Земскія собранія, до которыхъ успѣла дойти вѣсть о проектѣ, какъ, на примѣръ, полтавское, с.-петербургское и другія, возбудили ходатайства, прямо или косвенно направленные противъ предполагаемыхъ нововведеній. Едва-ли останется равнодушнымъ и дворянство, которому нынѣ дѣйствующій порядокъ отводилъ до сихъ поръ столь важную роль въ область начальной школы...

Въ концѣ минувшаго года министръ юстиціи обратился къ предсѣдателямъ и прокурорамъ судебныхъ мѣстъ съ указаніемъ на цѣлый рядъ „процессуальныхъ недостатковъ“, замѣчаемыхъ, въ послѣднее время, въ сферѣ обвиненія и суда. Циркуляръ министра удостоверяетъ, что предметомъ уголовного преслѣдованія становятся иногда дѣянія, не заключающія въ себѣ признаковъ наказуемости, т.-е. не

запрещенныя закономъ подѣ страхомъ уголовной кары; что слѣдственныя производства страдаютъ то существенными пробѣлами, то чрезвычайною полнотою; что слѣдователи слишкомъ часто прибѣгаютъ къ личному задержанію обвиняемыхъ; что въ обвинительные акты вносятся много лишняго, не подлежащаго обсужденію на судѣ; что не всегда остается въ должныхъ предѣлахъ и самое судебное слѣдствіе; что бывають, хотя и рѣдко, случаи забвенія „элементарныхъ требованій“, обязательныхъ для суда — требованій, въ силу которыхъ онъ долженъ „подавать примѣры дѣстунности и доброжелательства, учтивости и вѣжливости, спокойствія и сдержанности, умѣренности и достоинства“. Что матеріаловъ для такихъ указаній современная дѣйствительность даетъ немало—въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія: достаточно вспомнить хотя бы факты, приведенные въ двухъ прошлагодныхъ нашихъ хроникахъ (январской и декабрьской). Въ судебномъ вѣдомствѣ безспорно существуютъ теченія, идущія въ разрѣзъ съ духомъ судебныхъ уставовъ. Не бесполезно, конечно, официальное осужденіе этихъ теченій—но не отъ него можно ожидать существеннаго улучшенія въ судебныхъ правахъ. Они слагаются подѣ вліяніемъ двухъ главныхъ факторовъ: закона—и общаго направленія государственной и общественной жизни. Наибольшей высоты наше судебное вѣдомство достигло вслѣдъ за введеніемъ въ дѣйствіе судебныхъ уставовъ, именно потому, что между обоими факторами господствовало тогда внутреннее согласіе: они оба дѣйствовали въ одномъ и томъ же смыслѣ. Теперь положеніе дѣлъ совсѣмъ иное: правосудіе разсматривается подѣ другимъ угломъ зрѣнія, а въ законѣ—т.-е. въ судебныхъ уставахъ — отчасти уже произведены, отчасти готовятся перемѣны, чуждыя первоначальнымъ цѣлямъ судебной реформы. „Наше предварительное слѣдствіе“, по словамъ циркуляра, „нуждается въ болѣе быстрой производствѣ при такой его содержательности, которая исчерпывала бы всѣ существенныя для выясненія дѣла данныя и въ то же время не переходила бы въ загроможденіе излишними подробностями и побочными обстоятельствами... Пагубно вліяетъ на полноту слѣдствія одностороннее его направленіе подѣ давленіемъ первоначально сложившагося убѣжденія или предубѣжденія въ виновности кого-либо“. Все это совершенно справедливо—но какой отсюда вытекаетъ практический выводъ? Очевидно—необходимость такой постановки слѣдствія, при которой слѣдователь, вполне подготовленный къ исполненію своей трудной задачи, могъ бы сосредоточить на ней все свое вниманіе, всѣ свои силы. Между тѣмъ, проектъ устава уголовного судопроизводства, составленный комиссіею подѣ предсѣдательствомъ Н. В. Муравьева, передаетъ дознанія въ болѣшомъ числѣ отчасти въ руки полиціи, безусловно къ тому некомпетентной, отчасти

въ руки участковыхъ судей, обремененныхъ другими обязанностями. Можно ли ожидать, при такомъ порядкѣ, „исчерпывающей содержательности“ слѣдствій и свободнаго отъ односторонности безпристрастія слѣдователей?.. „При разсмотрѣніи уголовныхъ дѣлъ“ — читаемъ мы въ другомъ мѣстѣ циркуляра, — „гласность есть общее, основное правило, а закрытіе дверей засѣданія — мѣра исключительная и чрезвычайная; тѣмъ не менѣе судъ не имѣетъ основанія колебаться въ пользованіи своимъ правомъ ограниченія судебной гласности, когда она можетъ явно вредить кореннымъ устоямъ государственнаго и общественнаго быта, которые далеко превосходятъ полезное значеніе публичности. Въ этихъ и имъ подобныхъ, сравнительно вовсе не частныхъ случаяхъ нельзя не видѣть, что ограничительныя распоряженія, какъ бы они ни были встрѣчены заинтересованными лицами, ограждаютъ не одно правильное отправленіе правосудія, но и общественное спокойствіе“. Мы думаемъ, что *основнымъ* правиломъ русскаго уголовного процесса гласность перестала быть уже со времени изданія закона 12-го февраля 1887-го года, главныя черты котораго остаются неизмѣненными и въ проектѣ новаго устава уголовного судопроизводства. Теперь ограниченія гласности, вызываемыя соображеніями государственнаго и общественнаго порядка, исходятъ обыкновенно отъ министра юстиціи; подъ влияніемъ циркуляра къ нимъ нѣсколько чаще, быть можетъ, будутъ прибѣгать сами судебныя мѣста. Видѣть въ этомъ перемѣну къ лучшему мы никакъ не можемъ. Что „коренные устои государственнаго и общественнаго быта“ важнѣ публичности судебныхъ засѣданій — это безспорно; но трудно представить себѣ такіе случаи, въ которыхъ первымъ грозила бы дѣйствительная, серьезная опасность со стороны послѣдней. Несовиѣстнымъ съ цѣлями правосудія слѣдуетъ признать, во всякомъ случаѣ, не ограничительное, а наоборотъ, распространительное толкованіе узаконеній о закрытіи дверей засѣданія.



ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ

1 февраля 1901.

Переѣзна царствованія въ Англіи. — Королева Викторія, какъ правительница. — Ростъ и упроченіе англійскаго монархизма. — Главныя событія въ исторіи Англіи съ конца тридцатыхъ годовъ.

Въ Англіи произошла переѣзна царствованія—и въ то же время переѣзна династии. Королева Викторія, скончавшаяся 22 (9) января въ Осборнѣ, на 82-мъ году жизни, была послѣднею представительницею Ганноверскаго дома на англійскомъ престолѣ; преемникъ ея, король Эдуардъ VII, принадлежитъ уже, по отцу, къ владѣтельной фамиліи Кобурговъ. Ганноверская династія воцарилась въ Англіи въ 1714 году, послѣ королевы Анны, сынъ и наслѣдникъ которой, Георгъ, былъ курфюрстомъ въ Ганноверѣ; съ тѣхъ поръ англійскіе короли—четыре Георга и Вильгельмъ IV—были также ганноверскими монархами. Личная унія между Англіею и Ганноверомъ прекратилась лишь со вступленіемъ на престолъ королевы Викторіи, въ 1837 году, такъ какъ въ Ганноверѣ имѣлъ силу салической законъ, устраняющій женщинъ отъ наслѣдованія земель; ганноверскимъ королемъ сдѣлался тогда братъ умершаго Вильгельма IV, герцогъ Кумберлендскій, Эрнестъ-Августъ.

Отецъ королевы Викторіи, четвертый сынъ Георга III, герцогъ Кентскій, женатый на принцессѣ Кобургской, находился въ весьма стѣсненныхъ обстоятельствахъ, когда, въ маѣ 1819 года, у него родилась дочь, которой суждено было впослѣдствіи стоять во главѣ величайшей въ мірѣ имперіи. Чтобы переѣхать съ женой изъ Германіи въ Лондонъ, герцогъ Кентскій вынужденъ былъ прибѣгнуть къ займу, и долго еще матеріальное положеніе семьи оставалось весьма скромнымъ. Маленькая принцесса, какъ крестница императора Александра I и своего старшаго дяди, принца-регента Георга, получила имя Александры-Георгины, а въ честь матери дано было ей еще третье имя—Викторія. Въ дѣтствѣ ее звали Александриной, а при вступленіи на престолъ она пожелала именоваться только Викторіею. Обстановка жизни и воспитанія будущей королевы была довольно печальная. Ей не было еще года, когда умеръ ея отецъ въ 1820 году; мать ея чувствовала себя иностранкою и не пользовалась расположеніемъ двора. Король Георгъ III, царствовавшій съ 1760 до 1820 года—цѣлыхъ шестьдесятъ лѣтъ,—проводилъ послѣдніе свои годы въ полномъ сума-

сшествіи; сынъ его, принцъ Уэльскій, давно разошелся съ своею женою, Каролиною брауншвейгскою, и какъ только сталъ королемъ, подъ именемъ Георга IV, тотчасъ же затѣялъ скандальный процессъ о разводѣ, возбудившій сильное неудовольствіе въ странѣ и потерпѣвшій рѣшительную неудачу въ парламентѣ. Единственная дочь его, вышедшая замужъ за принца Леопольда Кобургскаго (позднѣе, короля бельгійскаго), умерла еще въ 1817 году; наслѣдникомъ Георга IV былъ братъ его, бездѣтный герцогъ Йоркскій, а за смертью его въ 1827 году — другой братъ, герцогъ Кларенскій, также бездѣтный, ставшій съ 1830 года королемъ Вильгельмомъ IV. Съ взоареніемъ послѣдняго, принцесса Викторія была уже ближайшею наслѣдницею престола, въ качествѣ преемницы правъ старшаго изъ остальныхъ сыновей Георга III. Въ 1840 году, будучи уже королевой, она вступила въ бракъ съ своимъ двоюроднымъ братомъ, принцемъ Альбертомъ Кобургскимъ, человекомъ глубоко просвѣщеннымъ и гуманнымъ, оказавшимъ на нее самое благотворное вліяніе. Это былъ единственный романъ въ ея жизни, прерванный лишь неожиданною кончиною „принца-супруга“ въ 1861 году.

Королева Викторія обладала всѣми семейными добродѣтелями; она была заботливою матерью, расчетливою и бережливою хозяйкою, строгою блюстительницею добрыхъ нравовъ, мягкой и простодушною въ обращеніи, но твердою и послѣдовательною въ своихъ взглядахъ, симпатіяхъ и привычкахъ. Живя тихо и уединенно, съ оттѣнкомъ неизгладимой грусти со времени потери мужа, она исполняла свои сложныя политическія обязанности съ замѣчательнымъ тактомъ и съ безукоризненною добросовѣстностію. Руководящимъ принципомъ ея было уваженіе къ законамъ страны, къ интересамъ и желаніямъ населенія, представляемаго парламентомъ; она никогда не позволяла себѣ нарушать ходъ государственной машины какими-либо закулисными вліяніями и не поддавалась придворнымъ внушеніямъ при выборѣ или отставкѣ министровъ, или въ видахъ противодѣйствія политикѣ даннаго кабинета, какъ это часто бывало при Георгахъ и Вильгельмѣ IV. Въ этомъ смыслѣ она была первою вполнѣ конституціонною государынею Англіи, и ея шестидесяти-трехлѣтнее правленіе окончательно утвердило традиціи британскаго парламентаризма, какъ непоколебимой основы политическаго строя и быта имперіи. Изъ этого не слѣдуетъ, однако, заключить, что королева Викторія довольствовалась лишь чисто-пассивною ролью и не принимала прямого участія въ рѣшеніи государственныхъ вопросовъ; напротивъ, она старательно пользовалась своими законными правами и прерогативами для того, чтобы по мѣрѣ надобности оказывать давленіе на мини-

стровъ, способствовать смягченію опасныхъ кризисовъ и готовить ихъ мирную развязку.

Сдерживающее и регулирующее воздѣйствіе ея чувствовалось всякій разъ, когда мѣры и проекты правительства встрѣчали слишкомъ сильную оппозицію въ обществѣ или народѣ, и когда обстоятельства указывали на разладъ между парламентомъ и значительною частью общественнаго мнѣнія; въ этихъ случаяхъ королева стремилась къ распущенію палаты общинъ и производству новыхъ выборовъ, чтобы дать избирателямъ возможность высказаться съ надлежащею опредѣленностью и свободой въ ту или другую сторону, — и обыкновенно она достигала своей цѣли, несмотря на возраженія вліятельныхъ членовъ кабинета. Быть можетъ, нѣкоторые смѣлыя начинанія Гладстона, — какъ и воинственные планы Пальмерстона или Биконсфильда, — не могли быть осуществлены, отчасти благодаря этой тактикѣ королевы. По своему характеру и темпераменту, королева Викторія всегда склонялась къ мирному, спокойному теченію дѣлъ, особенно въ области внутренней политической жизни, непосредственно затрагивающей большинство населенія; поэтому она предпочитала вообще консервативныхъ министровъ, предприимчивость которыхъ направлялась въ сферу вѣншихъ задачъ, болѣе или менѣе далекихъ и притомъ соблазнительныхъ съ точки зрѣнія величія и могущества Англіи. Сознывая свою обязанность руководствоваться не случайными совѣтами приближенныхъ, а потребностями и желаніями страны, королева не считала себя солидарною съ какою-нибудь правительственной партіею и смотрѣла на оппозицію не какъ на враждебную силу, а какъ на необходимое и законное орудіе государственнаго управленія. Ей было чуждо и незнакомо побужденіе — бороться съ общественнымъ мнѣніемъ, дѣйствовать наперекоръ лучшимъ прогрессивнымъ элементамъ націи, стѣснять въ чемъ-либо свободу печати и собраній, — побужденіе, столь часто овладѣвавшее правителями на материкѣ Европы подъ вліяніемъ бюрократіи, заинтересованной въ устраненіи публичной критики и контроля. Въ Англіи нѣтъ того смутнаго антагонизма между властью и народомъ, который отравляетъ внутреннее существованіе и развитіе другихъ странъ; англійская администрація, подчиненная парламентскимъ министерствамъ, лишена возможности злоупотреблять авторитетомъ короны и прикрывать имъ свои особые интересы, свое самовластіе или корыстолюбіе. Королева съ одинаковымъ довѣріемъ призывала къ власти дѣятелей разныхъ партій, въ зависимости отъ господствующаго настроенія, выражаемаго парламентомъ, и эти партійные дѣятели, выдвинутые на первый планъ свободною парламентскою борьбою, доставили странѣ цѣлый рядъ знаменитѣйшихъ министровъ и государственныхъ людей, кото-

рые наибольше прославили послѣднее царствованіе. Имена Роберта Пила, Пальмерстона, Гладстона, Биконсфильда принадлежать несомнѣнно къ числу самыхъ громкихъ именъ современной политической исторіи. Эти крупные и разносторонніе таланты, отдававшіе себя на службу государству, не могли бы проявиться ни въ замѣнутыхъ бюрократическихъ учрежденіяхъ, ни въ спертой атмосферѣ принудительнаго общественнаго застоя и молчанія; они выросли и развивались только на широкой, общедоступной аренѣ публичнаго слова, составляющей важнѣйшее преимущество Англіи передъ другими западно-европейскими монархіями. Выдающіеся министры королевы Викторіи держались не придворными интригами и не покровительствомъ сильныхъ, а своими собственными дарованіями и заслугами, критическая провѣрка которыхъ производилась постоянно, безъ всякихъ стѣсненій; оттого въ ихъ среду не попадали тѣ безцвѣтные, самоувѣренные карьеристы, которые вырабатываются и процвѣтаютъ на почвѣ бюрократіи.

При этихъ условіяхъ, англичане и въ политическомъ отношеніи, какъ и въ торгово-промышленномъ, имѣютъ шансы успѣха въ международномъ соперничествѣ. Свободный, ничѣмъ не задерживаемый ростъ національнаго развитія, возбуждающая обстановка энергической и плодотворной общественной жизни, широкій просторъ, даваемый всякому умственному и политическому движенію, безпрепятственная конкуренція даровитыхъ людей въ парламентъ и внѣ его,—все это создало изъ Англіи первостепенную міровую державу, поражающую богатствомъ и разнообразіемъ своихъ силъ. Въ связи съ этими особенностями англійскаго быта бросается въ глаза одинъ существенный и поучительный фактъ, противорѣчащій обычнымъ теоріямъ континентальныхъ охранителей: при полной свободѣ всевозможныхъ идей и мнѣній—въ томъ числѣ и „превратныхъ“,—монархическое начало не только не ослабѣло въ Англіи, но окрѣпло и утвердилось на незыблемыхъ основаніяхъ. Королева Викторія оставила британскій королевскій тронъ несравненно болѣе прочнымъ и надежнымъ, чѣмъ онъ былъ при ея предшественникахъ, наклонныхъ къ самовластию и стремившихся еще къ ограниченію правъ парламента. Авторитетъ короны усилился, благодаря всегдашнему фактическому единенію ея съ народомъ въ лицѣ его законнаго представительства; прекратились революціонныя вспышки, волновавшія общество при Георгахъ, и королевская власть популярнѣе и сильнѣе теперь въ Англіи, чѣмъ когда бы то ни было. Власть стала болѣе самостоятельной и сильной именно потому, что, вмѣсто подчиненія совѣтамъ немногихъ приближенныхъ лицъ, она опирается на согласіе съ національнымъ общественнымъ мнѣніемъ и на сознательное сочувствіе народныхъ массъ.

Это сочувствіе высказывалось по случаю смерти королевы во всѣхъ частяхъ свѣта, гдѣ господствуютъ и живутъ англичане, — въ самыхъ отдаленныхъ и заброшенныхъ колоніяхъ, связь которыхъ съ метрополіею долго казалась лишь эфемерною. Добровольное тяготѣніе колоній къ Англіи, стремленіе сблизиться съ нею въ видѣ единой британской федераціи, есть также продуктъ многолѣтняго царствованія королевы Викторіи, послѣдствіе того обаянія, которымъ она пользовалась, и которое она умѣла поддерживать при различныхъ и иногда крайне трудныхъ обстоятельствахъ.

Современная Англія мало похожа на ту, какою она была при вступленіи на престолъ королевы Викторіи. Могущественная олигархія, державшая въ своихъ рукахъ парламентъ и правительство, лишилась, правда, нѣкоторой доли своихъ привилегій, съ изданіемъ билля 1832 года объ избирательной реформѣ; но низшіе классы по прежнему были устранены отъ участія въ парламентскихъ выборахъ, а открытая подача голосовъ дѣлала это участіе фиктивнымъ для избирателей, находившихся въ матеріальной зависимости отъ землевладѣльцевъ и крупныхъ капиталистовъ. Населеніе страдало отъ налоговъ и отъ искусственной дороговизны хлѣба, вслѣдствіе высокихъ пошлинъ на привозные сырые продукты; аристократія сохраняла и отстаивала эти пошлины, въ видахъ обезпеченія неприкосновенности своихъ поземельныхъ доходовъ. Народная бѣдность достигла ужасающихъ размѣровъ подъ вліяніемъ экономическихъ замѣшательствъ и кризисовъ, вызванныхъ, съ одной стороны, введеніемъ машинъ во многія отрасли крупной промышленности, а съ другой — унаслѣдованныхъ еще отъ эпохи наполеоновскихъ войнъ. Рабочіе волновались, не видя исхода своимъ бѣдствіямъ; они съ увлеченіемъ откликнулись, въ 1838 году, на призывъ основателей союза „народной хартіи“, выставившихъ смѣлую программу демократическихъ реформъ. „Хартисты“ (или, по англійскому произношенію, чартисты) требовали всеобщаго права голоса, ежегоднаго обновленія парламента, отміны ценза для избираемыхъ, вознагражденія для членовъ палаты общинъ, образованія равномѣрныхъ избирательныхъ округовъ и введенія тайной подачи голосовъ. Чартизмъ получилъ быстрое распространеніе и игралъ затѣмъ видную роль въ усиліяхъ, приведшихъ къ законодательнымъ мѣрамъ въ пользу фабричныхъ рабочихъ. Около того же времени вспыхнуло возстаніе въ Канадѣ, которое было съ трудомъ подавлено въ 1838 году. Министество лорда Мельбурна едва въ состояніи было справиться съ возникавшими затрудненіями, внутренними и внѣшними; только лордъ Пальмерстонъ достигъ нѣкотораго успѣха въ иностранной политикѣ, убѣдивъ Россію, Австрію и Пруссію помочь Турціи въ борьбѣ противъ Мегемета-Али-паши египетскаго, въ 1840 году. Годъ спустя, при консерватив-

номъ кабинетѣ сэра Роберта Пила, произошла катастрофа въ Афганистанѣ, гдѣ британское войско почти совершенно погибло; противъ Китая предпринята была война въ наказаніе за уничтоженіе груза опиума, ввезеннаго англичанами, и въ 1842 году китайское правительство вынуждено было уступить Англіи Гонгъ-Конгъ и открыть нѣкоторые порты для внѣшней торговли. Сэру Роберту Пилу удалось отчасти поправить государственные финансы установленіемъ постоянного налога на доходъ, введеннаго впервые во время войнъ съ Франціею и отмѣненнаго въ 1816 году. Безпорядки въ Ирландіи продолжались, несмотря на суровыя репрессаліи; О'Коннелль возобновлялъ свою агитацію, добиваясь расторженія уніи съ Англіею,—за что былъ преданъ суду, обвиненъ присяжными, но оправданъ палатою лордовъ.

Въ 1846 году, послѣ долгой и настойчивой борьбы со стороны Ричарда Кобдена и его „лиги“, уничтожены были ненавистныя народу хлѣбныя пошлины, и Англія рѣшительно отреклась отъ системы протекціонизма. Страшный голодъ 1846—47 годовъ довелъ ирландцевъ до отчаянія; за эти два года населеніе Ирландіи уменьшилось на три милліона; Смитъ О'Бріенъ пытался въ 1848 году устроить возстаніе, но былъ взятъ въ плѣнъ и присужденъ къ ссылке. Въ Лондонѣ начались опять волненія чартистовъ; созывались грандіозные митинги, и петиція съ огромнымъ количествомъ подписей (около двухъ милліоновъ) была представлена парламенту. Либеральное министерство лорда Росселя, смѣнившее въ 1846 году кабинетъ Пила, имѣло, въ сущности, вполне консервативный характеръ; тогда еще употреблялись старинныя названія партій — „виги“ и „торіи“, и существовавшая между ними разниа далеко не совпадала съ позднѣйшимъ различіемъ между консерваторами и либералами. Сэръ Робертъ Пиль, будучи торіемъ, провелъ значительныя внутреннія реформы въ либеральномъ и прогрессивномъ духѣ, а преемники его, виги, нерѣдко высказывали взгляды не только охранительные, но и реакціонные. При лордѣ Росселѣ случился, между прочимъ, любопытный эпизодъ, характеризующій степень участія королевы Викторіи въ дѣлахъ внѣшней политики. Получивъ извѣстіе о государственномъ переворотѣ, произведенномъ 2-го декабря 1851 года принцемъ Луи-Бонапартомъ, лордъ Пальмерстонъ поручилъ британскому послу въ Парижъ выразить одобреніе и сочувствіе принцу-президенту. Королева узнала объ этомъ изъ отвѣтной депеши посла, лорда Норманби, и тотчасъ же написала главѣ кабинета письмо, въ которомъ весьма рѣзко заявила свое неудовольствіе по поводу самовольнаго и совершенно неумѣстнаго поступка Пальмерстона; послѣдній долженъ былъ немедленно выйти въ отставку.

Въ 1852 году образовалось министерство лорда Эбердина, и

въ составѣ его впервые обратилъ на себя вниманіе знаменитый впослѣдствіи Гладстонъ, выступившій вскорѣ горячимъ сторонникомъ войны съ Россією. Парижскій миръ 1856 года былъ подписанъ уже при кабинетѣ лорда Пальмерстона, которому выпало на долю вести кровопролитную войну въ Индіи, гдѣ возстаніе сипайевъ едва не подорвало господства англичанъ. Съ подавленіемъ возстанія, Остъ-Индія перешла въ непосредственное владѣніе Англіи, и старая остъ-индская компанія упразднена парламентскимъ биллемъ 1858 года. Лордъ Пальмерстонъ вторично пострадалъ за свою слабость къ французскимъ бонапартистамъ: онъ обнаружилъ готовность допустить дипломатическіе переговоры объ ограниченіи права убійства для иноземныхъ заговорщиковъ и агитаторовъ, проживающихъ въ Англіи, какъ о томъ хлопотала французская дипломатія послѣ покушенія Орсини на жизнь Наполеона III; но негодованіе, вызванное этою уступчивостью и нашедшее сильную поддержку со стороны королевы Викторіи и ея „принца-супруга“, заставило кабинетъ Пальмерстона уступить мѣсто консервативному министерству Дерби-Дизраэли. Съ тѣхъ поръ установилось твердое и неизмѣнное правило, что Англія даетъ пріютъ изгнанникамъ всѣхъ націй, хотя бы и виновнымъ въ политическихъ преступленіяхъ, не допуская никакого посторонняго вмѣшательства по этому предмету. Около того же времени, въ связи съ событіями въ Китаѣ, возвѣщено было другое начало, которое также прочно вошло въ международную практику Англіи: оскорбленіе британскаго флага и нарушеніе правъ англійскаго подданнаго, соединенные съ насиліемъ, составляютъ законныя причины войны, если заинтересованное государство добровольно не дастъ своевременнаго и полнаго удовлетворенія. „Всякій англичанинъ, гдѣ бы онъ ни былъ,—говорилъ позднѣе лордъ Пальмерстонъ,—долженъ чувствовать себя неприкосновеннымъ, какъ нѣкогда римскій гражданинъ: за нимъ стоитъ все могущество великой державы, готовой вмѣшаться при малѣйшемъ нарушеніи его правъ“. Согласно этому принципу, Англія начала военныя дѣйствія противъ Китая изъ-за произвольнаго задержанія частнаго англійскаго судна туземными войсками близъ Кантона; къ англичанамъ присоединились французы, и въ Тянь-Цзинѣ подписанъ былъ въ 1858 договоръ, открывшій иностранцамъ новые китайскіе порты, а когда въ слѣдующемъ году этотъ договоръ не былъ приведенъ въ исполненіе, то предпринята была дальнѣйшая англо-французская экспедиція 1860 года, окончившаяся взятіемъ Пекина и сожженіемъ лѣтняго дворца богдыхана. Пальмерстонъ, возвращенный къ власти либеральнымъ большинствомъ парламента въ мартѣ 1859 года, управлялъ политикою Англіи еще въ теченіе шести лѣтъ, причемъ канцлеромъ казначейства и „лидеромъ“ палаты общинъ

былъ Гладстонъ. Въ началѣ 1860 года Франція заключила съ Англіею извѣстный торговый трактатъ, положившій начало практическому господству идей свободной торговли въ значительной части Европы. Когда вспыхнула междоусобная война въ Сѣверной Америкѣ, англійское правительство не скрывало своего намѣренія способствовать распаденію Соединенныхъ-Штатовъ признаніемъ самостоятельности южной рабовладѣльческой федераціи. Задержаніе англійскаго судна, на которомъ находились южно-американскіе делегаты, въ ноябрѣ 1861 года, послужило поводомъ къ такому же рѣшительному заступничеству Англіи, какъ и при конфликтѣ съ Китаемъ; американскія власти должны были официально извиниться, для избѣжанія серьезнаго столкновенія.

Парламентскіе выборы 1865 года состоялись среди усилившагося общественнаго движенія въ пользу избирательной реформы, которая не была еще завершена въ надлежащемъ демократическомъ смыслѣ со времени билля 1832 года. Образовались популярныя лиги для пропаганды реформаторскихъ требованій: одни, болѣе умѣренные, предлагали дать право голоса всѣмъ хозяевамъ квартиръ или домовъ (household suffrage); другіе добивались всеобщаго голосованія или предоставленія права голоса всѣмъ совершеннолѣтнимъ лицамъ мужского пола. Дѣло шло о распространеніи активныхъ политическихъ правъ на низшіе классы и, слѣдовательно, о коренномъ преобразованіи всего политическаго строя, основаннаго на владѣчествѣ привилегированнаго меньшинства населенія. Гладстонъ выработалъ проектъ, который, однако, не удовлетворилъ приверженцевъ реформы и вмѣстѣ съ тѣмъ вызвалъ раздраженіе въ лагерѣ противниковъ; группа либераловъ, которую Брайтъ заклеили названіемъ „адулламитовъ“, примкнула къ консерваторамъ, и министерство Росселя-Гладстона пало въ іюнѣ 1866 года, просуществовавъ ровно восемь мѣсяцевъ со времени смерти Пальмерстона. Власть перешла къ торіямъ, хотя большинство въ парламентѣ принадлежало вигамъ; главою кабинета сдѣлался лордъ Дерби, но душою правительства былъ Дизраэли, соединявшій въ себѣ талантъ романиста-мечтателя съ дарованіями оратора и энергическаго государственнаго дѣятеля. На этотъ разъ,—какъ это было и при Робертѣ Пилѣ,—консервативное министерство взяло на себя осуществленіе либеральной программы; оно рѣшилось исполнить желаніе страны, выражавшееся съ необыкновеннымъ единодушіемъ въ печати и на митингахъ. Дизраэли и Дерби пошли даже дальше Гладстона въ основныхъ положеніяхъ и нѣкоторыхъ частностяхъ своего билля; самый законъ, предложенный ими и принятый парламентомъ въ 1867 году, получилъ официальное названіе „акта о представительствѣ народа“,—что уже характеризуетъ

сущность и направленіе произведенной реформы. Въ городахъ и мѣстечкахъ избирательныя права предоставлены всѣмъ плательщикамъ податей, къ которымъ причисляются, кромѣ владѣльцевъ недвижимаго имущества, всѣ обыватели, занимающіе особый домъ или наемную квартиру пѣною не менѣ десяти фунтовъ стерлинговъ въ годъ; впрочемъ, лица послѣдней категоріи заносятся въ списки только по собственному желанію, причемъ они одновременно включаются въ число плательщиковъ налоговъ. Въ графствахъ считаются избирателями арендные владѣльцы поземельныхъ участковъ, приносящихъ не менѣ пяти фунтовъ стерлинговъ ежегоднаго дохода, а также фермеры, занимающіе дома или земли, податная оцѣнка которыхъ — не ниже двѣнадцати фунтовъ стерлинговъ. Города и мѣстечки съ населеніемъ отъ пяти до десяти тысячъ жителей избираютъ по одному депутату; число представителей отъ нѣкоторыхъ крупныхъ промышленныхъ центровъ увеличено съ двухъ до трехъ. Дѣйствіе билля распространено въ слѣдующемъ году на Шотландію, съ нѣкоторыми только видоизмѣненіями. Въ Ирландіи избирательный цензъ въ графствахъ оставленъ прежній — въ двѣнадцать фунтовъ стерлинговъ; въ городахъ и мѣстечкахъ онъ пониженъ до четырехъ фунтовъ.

Введеніе тайной подачи голосовъ съ 1872 года и новыя избирательныя правила, установленныя закономъ 1884 года, опредѣлили тотъ парламентскій порядокъ, который дѣйствуетъ въ Англіи понынѣ. Значительная часть народной массы привлечена къ участію въ государственной жизни; политика и законодательство страны прониклись демократическимъ духомъ, и въ старыя сословныя формы постепенно вливается новое содержаніе. Аристократія сохранила свои привилегіи только потому, что она перестала противопоставлять себя народу и отчасти отдала свои силы на служеніе общимъ интересамъ націи; богатые промышленные классы обладаютъ еще многими политическими преимуществами, но ослабляютъ ихъ значеніе тѣмъ, что сами идутъ на встрѣчу желательнымъ преобразованіямъ и уступкамъ въ пользу трудящагося большинства населенія. Такъ какъ члены парламента не получаютъ денежнаго вознагражденія, то на практикѣ доступъ въ палату общинъ открытъ только для лицъ обезпеченныхъ и зажиточныхъ: рабочіе не могутъ еще поэтому разсчитывать на представительство, соотвѣтствующее ихъ численности; — но этотъ недостатокъ возмѣщается, во-первыхъ, все болѣе частымъ появленіемъ убѣжденных защитниковъ рабочаго класса въ рядахъ буржуазіи и, во-вторыхъ, существующею организаціею рабочихъ союзовъ, располагающихъ крупными матеріальными средствами и имѣющихъ возможность проводить и поддерживать кандидатовъ изъ своей среды.

Такимъ образомъ неуклонно совершается въ Англіи великій исто-

рический процесс демократизаціи, налагающій особую печать на всю исторію царствованія королевы Викторіи. Изъ страны строго-аристократической и затѣмъ односторонне-буржуазной Англія превращается въ самоуправляющуюся демократію, руководимую представителями высшихъ и среднихъ классовъ, подъ общимъ главенствомъ короны. Государственный механизмъ приобрѣлъ эластичность, допускающую приспособленіе его ко всякимъ условіямъ и обстоятельствамъ, безъ ущерба для старинныхъ учреждений, которыя остаются лишь живыми символами прошлаго. Въ народѣ и въ массѣ рабочихъ укоренилось сознаніе, что самыя радикальныя реформы могутъ со временемъ осуществиться мирными способами, путемъ надлежащихъ парламентскихъ выборовъ, и что для революціонныхъ попытокъ и усилій нѣтъ болѣе почвы въ Англіи. Чартизмъ съ его воинственными порывами совершенно немислимъ въ настоящее время; рабочее движеніе, даже въ періоды страстной борьбы съ хозяевами-капиталистами, не выходитъ изъ предѣловъ законной свободы и вдохновляется исключительно легальными цѣлями,—ибо. нѣтъ такихъ требованій и нововведеній, которыя не имѣли бы шансовъ успѣха при помощи настойчивой, упорной пропаганды, при нынѣшнемъ демократическомъ характерѣ англійскаго парламентаризма.

Изъ одного этого бѣлаго очерка можно видѣть, что исторія царствованія королевы Викторіи есть въ то же время исторія Англіи въ самый интересный и богатый событіями періодъ ея широкаго національнаго развитія. Избирательная реформа 1867 года раздвинула рамки политической дѣятельности, сообщила большій просторъ программамъ и стремленіямъ партій и придала большую правильность и плавность всему ходу государственной машины. Прежніе виги растворились въ новой, болѣе обширной либеральной партіи, въ которую входятъ также вновь образовавшіяся группы радикаловъ и представителей рабочаго класса; бывшіе торіи слились съ умѣренными консерваторами и съ консервативными либералами стараго буржуазнаго типа. Обѣ главныя партіи чередуются въ управленіи, сообразно перемѣнамъ въ составѣ большинства палаты общинъ. Дизраэли, который въ началѣ 1868 года замѣнилъ заболѣвшаго графа Дерби въ должности премьера, продержался лишь до конца этого года. При немъ была предпринята и доведена до успѣшнаго конца абиссинская экспедиція, вызванная арестомъ нѣсколькихъ англичанъ по приказанію негуса Θεодора; англійскія войска, подъ начальствомъ Непира, взяли штурмомъ Магдалу, освободили плѣнныхъ и послѣ самоубійства негуса очистили страну, безъ какихъ-либо дальнѣйшихъ домогательствъ въ пользу Англіи,—такъ что кровавое, дорого стоившее предпріятіе не имѣло другой цѣли, кромѣ спасенія двухъ или трехъ британскихъ подданныхъ: рѣдкій примѣръ без-

корыстнаго примѣненія гордаго принципа, упомянутого нами выше и формулированнаго впервые лордомъ Пальмерстономъ.

Съ 1868 года, благодаря совершившейся избирательной реформѣ, начинается рядъ крупныхъ законодательныхъ преобразованій, въ которыхъ главнымъ двигателемъ и руководителемъ былъ знаменитый противникъ Дизраэли въ палатѣ общинъ, Гладстонъ. Нѣкогда консерваторъ, сторонникъ Роберта Пия, Гладстонъ мало-по-малу, подъ освѣжающимъ вліяніемъ новой атмосферы народныхъ выборовъ, сдѣлался прогрессистомъ и затѣмъ почти радикаломъ, проповѣдникомъ смѣлыхъ нововведеній и улучшеній. Онъ выступилъ прежде всего съ проектами реформъ для Ирландіи, и на этой почвѣ одержалъ верхъ надъ консерваторами на выборахъ 1868 года, послѣ распушенія палаты министерствомъ Дизраэли. Въ качествѣ премьера, съ декабря того же года, онъ поставилъ себя задачей уничтожить вопиющую несправедливость, связанную съ положеніемъ господствующей англиканской церкви въ Ирландіи. Въ силу акта англо-ирландской уніи, англиканская церковь пользовалась въ Ирландіи такими же правами и привилегіями, какъ и въ Англіи, и содержалась такъ же точно насчетъ населенія;—предполагалось какъ будто, что единая церковь есть дѣйствительно единая для обѣихъ странъ, и что условія ея господства одинаковы въ Англіи и Ирландіи. Между тѣмъ жители послѣдней въ огромномъ большинствѣ—католики, и наложенная на нихъ обязанность доставлять средства на содержаніе чуждой имъ церкви была одною изъ причинъ частыхъ волненій и протестовъ въ Ирландіи. Чистый доходъ съ мѣстныхъ имуществъ и земель, принадлежавшихъ церкви, простирался до 560 тысячъ фунтовъ стерлинговъ въ годъ; сверхъ того взымались деньги на жалованье духовенству. Въ 1869 году Гладстонъ провелъ законъ, которымъ это пенормальное положеніе протестантской церкви въ католической странѣ упразднялось; ирландскіе епископы перестали засѣдать въ палатѣ лордовъ, и назначены были особые комиссары для завѣдыванія церковными имѣніями въ Ирландіи, въ видахъ ликвидаціи отчужденныхъ владѣльческихъ правъ. Правительство устроило постепенную распродажу церковныхъ земель, небольшими участками, мѣстнымъ фермерамъ и крестьянамъ, чѣмъ положено было начало организаціи крестьянскаго землевладѣнія въ Ирландіи при содѣйствіи государства. Стоявшій издавна на очереди поземельный вопросъ въ Ирландіи послужилъ предметомъ „ирландскаго поземельнаго акта“ 1870 года, ограничившаго произволъ владѣльцевъ въ области арендныхъ отношеній; въ Ольстерѣ возведенъ на степень закона старинный обычай, по которому собственникъ земли не можетъ ни прекращать аренду, ни увеличивать плату, если арендаторъ исправно исполняетъ свои обязательства, и прекращеніе аренды возможно только

путемъ выкупа, съ возмѣщеніемъ арендатору реальной цѣнности произведенныхъ имъ улучшеній. Въ трехъ другихъ провинціяхъ Ирландіи, кромѣ Ольстера, эти же начала введены въ болѣе условной формѣ и съ существенными отступленіями въ частности; лорды могли заключать съ своими арендаторами свободные договоры о срочной арендѣ, и этимъ способомъ легко устранилось примѣненіе закона, предусматривавшаго лишь обычную, а не договорную аренду.

Изъ общихъ реформъ этой эпохи заслуживаетъ вниманія организація школьнаго дѣла: актомъ 1870 года о первоначальномъ образованіи введенъ принципъ обязательнаго народнаго обученія, устроены выборные школьные совѣты съ обширнымъ полномочіями, и все учебное вѣдомство преобразовано на новыхъ основаніяхъ. Благотворные результаты реформы не замедлили обнаружиться на дѣлѣ;—въ 1870 году въ Англіи было всего 8.280 школъ съ 1.225.764 учащимися, а въ 1878 году число школъ превышало уже восемнадцать-тысячъ съ 2,461.698 учащимися, причемъ школы были въ дѣйствительности приспособлены къ приему 3.957.366 дѣтей. Далѣе—актомъ 1871 года признано и регулировано законное существованіе рабочихъ союзовъ (тредъ-юніоновъ); судебное преобразование 1873 года внесло единство и порядокъ въ устарѣлую систему судебныхъ учреждений.

Министерство Гладстона, совершившее въ короткое время столько крупныхъ дѣлъ, не получило, однако, большинства на выборахъ 1874 года, и съ февраля этого года, въ продолженіе шести лѣтъ, управлялъ страню Дизраэли, перешедшій въ 1876 году въ палату лордовъ съ титуломъ графа Биконсфильда. Реформаторское движеніе законодательства не остановилось и при господствѣ консервативной партіи; такъ, въ 1875 году приняты были парламентомъ двѣ важныя мѣры—либеральный законъ объ отношеніяхъ между хозяевами и рабочими и билль о стачкахъ рабочихъ. Въ 1877 году изданы новыя постановленія о тюрьмахъ. Но главныя заботы Дизраэли были направлены на вѣншнюю политику, въ виду обострившагося съ 1876 года турецкаго кризиса; роль Англіи и ея премьера въ тогдашнихъ событіяхъ хорошо извѣстна. Чтобы наглядно показать или, вѣрнѣе, напомнить міру, какое положеніе занимаетъ Англія на азіатскомъ материкѣ, Дизраэли предложилъ парламенту поднести королевѣ титулъ „императрицы Индіи“. Во время русско-турецкой войны лордъ Биконсфильдъ съ замѣчательнымъ искусствомъ пользовался слабостью русской дипломатіи, ея колебаніями и ошибками, для смѣлой и энергической охраны британскихъ интересовъ, и по возвращеніи съ берлинскаго конгресса 1878 года онъ справедливо принятъ былъ въ Лондонѣ какъ триумфаторъ. Меньше славы доставили ему войны съ афганцами (1878—80) и зулусами (1879 г.); внутреннія за-

трудненіи и задачи снова выступили на первый планъ. Въ Ирландіи, рядомъ съ лигою въ защиту автономіи или „гомруля“, дѣйствовала „національная земельная лига“, основанная и руководимая Парнеллемъ, который впервые пустилъ въ ходъ систему обструкціонизма въ парламентѣ. Гладстонъ произносилъ горячія рѣчи противъ политики Биконсфильда, указывая на ея бесплодность и пустоту. Министерство рѣшилось тогда прибѣгнуть къ обычному способу проверки общественнаго настроенія; въ мартѣ 1880 года палата общинъ была распущена, назначены новые выборы, и въ результатъ получилось значительное либеральное большинство, независимо отъ 60 ирландскихъ „гомрулеровъ“.

Гладстонъ смѣнилъ Биконсфильда, но не имѣлъ на этотъ разъ успѣха; онъ не могъ удовлетворить ирландцевъ новыми поземельными льготами и встрѣтилъ упорнаго и даровитаго врага въ лицѣ Парнелля. Борьба съ партіей ирландскихъ автономистовъ приняла крайне острый характеръ; возродились традиціи феніевъ, приверженцевъ террора, и на репрессивныя мѣры правительства ирландцы отвѣчали убійствами должностныхъ лицъ и динамитными взрывами. Къ этому присоединились еще внѣшнія осложненія, относительно которыхъ Гладстонъ обнаруживалъ вообще неустойчивость и непоследовательность взглядовъ. Большинство въ палатѣ общинъ перестало слѣдовать за нимъ, и лѣтомъ 1885 года онъ вышелъ въ отставку, уступивъ мѣсто официальному вождю консерваторовъ, лорду Сольсбери. Произведенные въ томъ же году парламентскіе выборы вернули Гладстона къ власти, но поставили его въ зависимость отъ ирландской группы гомруля: ирландскіе представители, въ числѣ 86 членовъ, могли въ каждую данную минуту свергнуть кабинетъ, присоединившись къ его противникамъ, и сдѣлались такимъ образомъ рѣшителями судебъ британскаго парламента и правительства. Чтобы покончить съ этимъ ненормальнымъ положеніемъ, Гладстонъ задумалъ радикально разрѣшить вопросъ въ духѣ ирландскихъ національных требованій; онъ выработалъ проектъ полной автономіи для Ирландіи, съ особымъ парламентомъ, и началъ энергическую борьбу въ палатѣ и внѣ ея, для осуществленія своей новой программы. Но это смѣлое рѣшеніе вызвало расколъ въ либеральной партіи; радикальная группа, съ Чемберленомъ во главѣ, отдѣлилась отъ нея, выстѣ съ умѣренной фракціей либераловъ, предводимыхъ маркизомъ Гартингтономъ, нынѣ герцогомъ Девонширскимъ, и образовалась новая смѣшанная партія сторонниковъ уніи съ Ирландіею, или „уніонистовъ“, главную массу которыхъ составляютъ консерваторы. Часть либераловъ и радикаловъ слилась съ прежними торіями, подъ знаменемъ національнаго патріотизма, и прежняя группировка партій совершенно измѣнилась. Въ

дѣлахъ внутреннихъ консерваторы, подъ вліяніемъ своихъ союзниковъ, стали прогрессистами, и либеральная партія осталась какъ бы безпочвенною, обреченною на безсиліе. Съ послѣдствіями этой метаморфозы англійскіе либералы не справились до сихъ поръ.

Гладстонъ потерпѣлъ пораженіе на выборахъ 1886 года, и уніонистское министерство лорда Сольсбери постаралось оправдать свой двойственный характеръ практикою національнаго имперіализма во внѣшнихъ дѣлахъ и либеральными мѣрами и реформами внутри. Между прочимъ, въ 1888 году была радикально преобразована система англійскаго самоуправленія, въ которомъ главная роль принадлежала прежде поземельной аристократіи; административныя полномочія мировыхъ судей-землевладѣльцевъ переданы совѣтамъ графствъ, избираемыхъ всѣми плательщиками податей; эти выборные совѣты сосредоточиваютъ въ своихъ рукахъ мѣстную власть, съ правомъ устанавливать налоги и дѣлать займы на мѣстныя нужды. Въ 1894 году, то же выборное начало примѣнено и къ приходамъ или сельскимъ обществамъ, въ которыхъ образованы приходскіе совѣты для завѣдыванія мѣстными дѣлами.—Несмотря на испытанную неудачу, престарѣлый Гладстонъ съ поразительною энергіею продолжалъ съ 1891 г. свою кампанію въ пользу ирландскаго гомруля, и въ іюлѣ 1892 года опять добился большинства, хотя и незначительнаго, въ новой палатѣ общинъ. Последнее министерство Гладстона представляло собою героическую попытку „великаго старца“ убѣдить и увлечь общественное мнѣніе доводами справедливости и высшаго благоразумія; вновь переработанный имъ проектъ ирландской автономіи, послѣ необыкновенныхъ ораторскихъ усилій главы кабинета, былъ наконецъ принятъ палатою общинъ, въ іюлѣ 1893 г., но затѣмъ отвергнутъ въ палатѣ лордовъ подавляющимъ большинствомъ. Гладстонъ вышелъ въ отставку и отказался отъ дальнѣйшей политической дѣятельности (на 84-мъ году жизни), а мѣсто его занялъ лордъ Розбери. Палата лордовъ, чувствуя себя солидарною съ массою англійскихъ патріотовъ, съ одной стороны—возвысила свое значеніе и авторитетъ отклоненіемъ гомруля, а съ другой—дала поводъ противникамъ поднять щекотливый вопросъ о неудобствѣ существованія наслѣдственныхъ законодателей, независимыхъ отъ населенія. Агитація разрѣшилась выборами 1895 года, возстановившими большинство уніонистовъ, и съ тѣхъ поръ управленіе не выходитъ изъ рукъ министерства Сольсбери-Чемберлена.

Разрозненные элементы прежнихъ партій, группирующіеся около нынѣшняго британскаго правительства, соединились въ одно цѣлое, подъ знаменемъ имперіализма, на почвѣ воинственныхъ чувствъ и стремленій, пробудившихся въ англійскомъ народѣ съ неожиданной силою. Царствованіе королевы Викторіи, связанное съ крупнѣйшими

и благотворнѣйшими преобразованіями внутренней жизни страны, окончилось возрожденіемъ и торжествомъ порывовъ кроваваго насилія, направленныхъ противъ чужой культурной народности въ южной Африкѣ. Новое империалистское настроеніе овладѣло и ослабѣвшими силами королевы, какъ видно изъ предсмертныхъ ея распоряженій относительно нѣкоторыхъ подробностей похоронной процессіи. Военный характеръ погребенія, съ помѣщеніемъ гроба на лафетъ орудія, не имѣетъ, конечно, ничего общаго съ дѣйствительными и наиболѣе выдающимися чертами этого долгаго царствованія. Англія при королевѣ Викторіи выросла и возвеличилась не путемъ войны, а другими способами, болѣе сложными и трудными, но въ то же время и болѣе надежными. Можно думать, что воинственные инстинкты улягутся съ устраненіемъ причинъ и условій, благопріятствовавшихъ ихъ временному расцвѣту, и что британская нація избѣгнетъ участи государствъ, полагавшихся только на внѣшнюю физическую силу.

Таковы вкратцѣ итоги политической исторіи Англіи въ царствованіе королевы Викторіи. Съ конца тридцатыхъ годовъ выработались и твердо установились тамъ тѣ конституціонныя правила и традиціи, которыми управляется теперь британская государственная машина. Учрежденія преобразовались, партіи переродились до неузнаваемости, и въ числѣ многихъ общественныхъ направленій нѣтъ только одного, наиболѣе вреднаго для спокойнаго внутренняго развитія народовъ на материкѣ Европы, — направленія реакціоннаго. Въ Англіи есть консерваторы, и даже крайніе консерваторы въ точномъ смыслѣ этого слова, но нѣтъ реакціонеровъ, проповѣдниковъ ломки произведенныхъ уже реформъ; эта особенность именно и обезпечиваетъ англичанамъ мирный, постепенный ходъ политической жизни, иногда съ остановками, но безъ неразумныхъ скачковъ назадъ, безъ напрасныхъ и раздражающихъ попытокъ повернуть колесо исторіи въ сторону угасшаго прошлаго.



ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ

1 февраля 1901.

— Источники Слова русскіхъ писателей. Собралъ С. А. Венгеровъ. Т. I. Ааронъ-Гоголь. Сиб. 1900.

Это—новое, широко задуманное предпріятіе неутомимаго изслѣдователя,—какъ говорилъ въ шутку Вл. С. Соловьевъ, „завѣдующаго личнымъ составомъ русской литературы“. Кромѣ „Критико-біографическаго Словаря“, „Русскихъ книгъ“, „Русской поэзіи“, г. Венгеровъ предпринималъ еще издать, въ порядкѣ Словаря, ту массу бібліографическихъ свѣдѣній, какія накопились у него относительно біографій русскихъ писателей.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ онъ обратился къ Русскому Отдѣленію Имп. Академіи Наукъ съ ходатайствомъ относительно изданія его матеріала, которое онъ рассчитывалъ приблизительно на два большихъ тома. Приводимъ извлеченіе изъ записки г. Венгерова (она была напечатана въ „Извѣстіяхъ“ Русскаго Отдѣленія за 1896 годъ), которая вѣроятно будетъ любопытна читателю тѣмъ, что введетъ его въ самую лабораторію нескончаемаго бібліографическаго труда.

„Цѣною десятилѣтнихъ усилій и значительныхъ денежныхъ затратъ,—говорилъ г. Венгеровъ,—собралъ я около 400.000 записей на отдѣльныхъ карточкахъ, совокупность которыхъ представляетъ собою *только законченный* бібліографическій остовъ словаря русскихъ писателей и ученыхъ. Изъ моихъ карточекъ можно узнать: 1) гдѣ и когда появились о данномъ писателѣ какія-либо біографическія свѣдѣнія; 2) гдѣ и когда появились критическіе отзывы о его произведеніяхъ; 3) что данный писатель напечаталъ въ видѣ отдѣльныхъ книгъ или брошюръ; 4) что онъ напечаталъ въ періодическихъ изданіяхъ.

„Для полученія всѣхъ этихъ свѣдѣній я прежде всего долженъ былъ привести въ ясность то, что сдѣлано было до меня для составленія словаря русскихъ писателей. У меня имѣются выборки изъ слѣ-

дующихъ *сборниковъ* біографій: 1) *словарей писателей*: *Новикова* и другихъ мелкихъ словарей, перепечатанныхъ *П. А. Ефремовымъ* въ его „Матеріалахъ для исторіи русск. литературы“; *Евгенія, Евгенія-Сенирева, Русова, Билевича, князя Голицына, Діева, Строева, Бантыша-Каменскаго, Змѣева, Павла Люботытнаго, Геннади*; 2) *словарей профессоровъ* университетовъ: *Московского, Кіевского, Петербургскаго*; 3) *словарей энциклопедическихъ*: *Плюшара, Военно-Энциклопедическаго, Старчевскаго, Толя, Березина, Брокгауза-Ефрона, Граната*. Въ словарѣ *Брокгауза-Ефрона* отдѣлъ исторіи литературы редактирую я, и біографіи русскихъ писателей и ученыхъ часто пишутся на основаніи моего бібліографическаго собранія. 4) *Исторій академій*: *Пекарскаго, Сухомлинова, Чистовича, Смирнова, Глинскаго, Знаменскаго, Терновскаго*; 5) *исторій университетовъ*: *Шевырева, Григорьева, Булича, Маркевича*; 6) *исторій отдѣльных наукъ*, въ родѣ „Исторіи русской этнографіи“ *Пытина*, „Обзора русской философіи“ *Колубовскаго*, „Исторіи русской медицины“ *Рихтера*, „*Arçen des travaux géographiques*“ барона *Каульбарса*, „Матеріаловъ для исторіи русской зоологіи“ *Боданова*; 7) *исторій учебныхъ заведеній* разнаго рода, какъ-то: *Лицей кн. Безбородко, Воронова, Исторія петербургскаго учебн. округа*; отдѣльныя исторіи петербургскихъ и московскихъ гимназій и т. д.; 8) *біографическихъ сборниковъ* разнаго рода: *Альбома Семевскаго, портретной галлерей Мюнстера, портретной галлерей Баумана, „Звѣзды“, календаря писателей Бродовскаго, Обзора трудовъ умершихъ писателей Языкова, Словаря кавказскихъ дѣятелей, юбилейной записки Московскаго археологическаго Общества и много друг.*; 9) *Сочиненій по исторіи литературы*: „Обзора“ *Филарета*, „Исторіи новѣйшей литературы“ *Скабичевскаго*, примѣчаній къ академическому изданію *Державина* подъ ред. *Я. К. Грота*, къ изданію *Батюшкова* подъ редакціею *Л. Н. Майкова*, и многихъ другихъ. Отъ выборокъ изъ нѣкоторыхъ *сборниковъ* біографій я себя освободилъ, потому что это уже сдѣлано до меня; таковы, напр., использованные въ словарѣ *Змѣева* „Матеріалы для исторіи медико-хирургической академіи“ *Прозорова*, исторіи нѣкоторыхъ духовныхъ семинарій, дѣятели которыхъ перечислены въ „Исторической бібліографіи“ *Межова* и т. д.

„Послѣ этого свода *сборниковъ*, я приступилъ къ труднѣйшей части своей задачи — къ регистрированію источниковъ случайныхъ, разбросанныхъ по періодическимъ изданіямъ. Для журналистики 18 вѣка я расписалъ на карточки перечень *Неустроева*, для 10-лѣтія 1855—1864 мнѣ пришла на помощь „Историческая бібліографія“ *Ламбина*, для слѣдующаго десятилѣтія 1865—1876 ту же услугу мнѣ оказала „Историческая бібліографія“ *Межова*. Но для первой половины 19-го вѣка и для 20-лѣтія 1876—1896 уже никакихъ серьезныхъ пособій нѣтъ,

и пришлось непосредственно просматривать всѣ журналы. Изъ журналовъ первой половины 19-го вѣка просмотрѣны всѣ неспеціальныя журналы: Ореады, Журналъ для сердца и ума, Кабинетъ Аспазіи, Русскій музей, Современный наблюдатель русской словесности, Другъ Россіянъ (...перечислено до пятидесяти названій) и мн. друг. Изъ журналовъ послѣднихъ 20 лѣтъ просмотрѣны всѣ главнѣйшіе: Вѣстникъ Европы, Отечественныя Записки, Дѣло, Русскій Вѣстникъ, Русская Мысль, Сѣверный Вѣстникъ, Историческій Вѣстникъ и друг. Съ особенною тщательностью просмотрѣны Русская Старина и Русскій Архивъ. Изъ нихъ біографическія данныя извлечены не только въ томъ случаѣ, когда данному писателю посвящена цѣлая статья, но и тогда, когда о писателяхъ говорится въ статьѣ, посвященной другому предмету. Это сдѣлано въ виду обилія печатающихся въ названныхъ журналахъ мемуаровъ, часто мимоходомъ сообщающихъ весьма интересные біографическія матеріалы.

„Чтобы покончить съ описаніемъ собранныхъ мною бібліографическихъ матеріаловъ, скажу еще нѣсколько словъ о моемъ архивѣ автобіографій. Желая заручиться вполнѣ достовѣрными біографическими и бібліографическими данными относительно современныхъ писателей и ученыхъ, я обратился къ нимъ съ циркулярнымъ письмомъ, въ которомъ предложилъ рядъ вопросовъ, касающихся ихъ жизни и литературной дѣятельности. Большинство лицъ, къ которымъ я обратился, почтили меня своими отвѣтами, и въ настоящее время въ моемъ архивѣ имѣется около тысячи собственноручныхъ автобіографическихъ записокъ писателей и ученыхъ самыхъ различныхъ сферъ дѣятельности и общественнаго положенія. Путемъ этихъ непосредственныхъ сообщеній выясняется очень много бібліографическихъ указаній“.

Какъ мы сказали, г. Венгеровъ предполагалъ объемъ своего труда въ два большихъ тома, около 100 печатныхъ листовъ. Но въ то время, въ 1896, выписки заглавій журнальныхъ статей были доведены у него только до конца 1880-хъ годовъ; потомъ его записи обняли и 1890-е годы, и при сильномъ разростаніи періодической печати число записей, по словамъ г. Венгерова, „увеличивается прямо въ геометрической прогрессіи“. Далѣе, онъ сталъ пользоваться, кромѣ источниковъ систематическаго характера, и источниками случайными—мемуарами, собраніями сочиненій видныхъ писателей, общими обзорами разныхъ наукъ и т. п. Въ концѣ концовъ произошло чрезвычайное возростаніе цѣлой работы. При планѣ 1896 года, Словарь, по предположеніямъ самого г. Венгерова, въ первомъ томѣ (т.-е. первой половиной цѣлаго) долженъ былъ дойти до „Ломоносова“; теперь, въ вышедшемъ первомъ томѣ, онъ дошелъ только до „Гоголя“, что приблизительно составляетъ только $\frac{1}{5}$ цѣлаго. „По такому масштабу, все изданіе будетъ состоять

изъ пяти такихъ же томовъ, какъ первый (т.-е. около 50 печ. листовъ мелкой печати), т.-е. вмѣсто предполагаемыхъ 100 листовъ требуется 250.

Вышедшая нынѣ первая часть „Источниковъ Словаря“ есть огромный томъ, больше 800 страницъ мелкой печати и заключаетъ множество біографическихъ и бібліографическихъ данныхъ, которыя будутъ драгоценны для историковъ литературы и для обыкновенныхъ справокъ. Для примѣра скажемъ, что Бѣлинскимъ занято здѣсь *двадцать* страницъ, Гоголемъ—*двадцать-восемь* страницъ однихъ краткихъ цитатъ. Въ цѣломъ, это—громадный трудъ, который свидѣтельствуетъ о рѣдкой выдержкѣ и великой любви къ изученію русской литературы.

Относительно самаго плана мы не совсѣмъ или совсѣмъ несогласны съ г. Венгеровымъ. Въ существѣ это—такой же планъ, какой былъ принять имъ въ „Критико-біографическомъ Словарѣ“: г. Венгеровъ считалъ возможнымъ прямо начать исполненіе въ такомъ обширномъ размѣрѣ, что для довершенія этого Словаря въ томъ же масштабѣ не хватило бы человѣческой жизни. Первый томъ „Критико-біографическаго Словаря“ (1889), почти въ тысячу страницъ, не исчерпалъ даже буквы А; четвертый томъ (1895) началъ букву В; но пятый томъ (1897) долженъ былъ опять возвратиться къ буквѣ В, а затѣмъ уже совсѣмъ нарушить алфавитъ и помѣщать статьи изъ дальнѣйшихъ буквъ,—и чтобы ориентироваться въ „Словарѣ“, надо было помѣстить при послѣднемъ, пятомъ, томѣ указатель ко всѣмъ вышедшимъ томамъ. Такимъ образомъ, принципъ Словаря, азбучный порядокъ, не былъ выдержанъ уже на первыхъ буквахъ азбуки.

Намъ казалось давно, что въ подобныхъ предпріятіяхъ слѣдуетъ имѣть въ виду два основныя требованія—цѣльность работы и вниманіе къ насущнымъ образовательнымъ цѣлямъ литературы. Правильная организація труда, удовлетворяющая этимъ требованіямъ, у насъ еще не вошла въ обычный пріемъ научной работы, какъ она вошла, напр., въ литературѣ нѣмецкой: оттого у насъ бываетъ такъ много начатыхъ и неконченныхъ работъ, къ которымъ иногда самъ авторъ, или издатель, охладѣваетъ. Къ такимъ недостаткамъ самой организаціи труда относятся и слишкомъ широкіе планы, недоступные силамъ одного человѣка и возможные развѣ только для цѣлаго кружка или общества. Для нашей литературы несомнѣнно очень былъ бы нуженъ біографическій словарь, и каталогъ книгъ, и списокъ біографическихъ источниковъ: на дѣлѣ мы имѣемъ или маленькій словарь, въ родѣ учебника, А. В. Арсеньева, или громадное предпріятіе, гдѣ первый томъ, почти въ тысячу страницъ, не исчерпалъ даже буквы А. Невозможно было ожидать цѣльности изданія при такомъ размѣрѣ, и пока, въ лучшемъ случаѣ, въ теченіе десятковъ лѣтъ выходили бы

дальнѣйшія буквы словаря, все-таки не было бы цѣльной работы: тѣмъ временемъ первыя буквы словаря оказывались бы требующими дополненій и устарѣлыми при новыхъ изслѣдованіяхъ, являлись бы новыя писатели на буквы А, Б, и т. д. Насколько болѣе удобно для исполненія и прямо полезно было бы изданіе, задуманное въ болѣе скромномъ размѣрѣ, но цѣльное, которое поставило бы себѣ опредѣленный хронологическій предѣлъ и сообщило краткія основныя свѣдѣнія по біографической исторіи литературы. Можно было бы ожидать большаго успѣха подобному изданію тома въ два сжатой печати, которое впослѣдствіи могло бы быть расширяемо равномерно, умножая какъ подробности изъ прежняго запаса, такъ и данныя изъ позднѣйшей литературы: эти дальнѣйшія изданія могли бы дополняться сколько угодно, но, сохраняя цѣльность и равномерность, могли бы служить драгоцѣнной настольной книгой. При другомъ способѣ изданія, какъ бы ни было оно успѣшно, первые томы будутъ неизбѣжно отставать отъ послѣдующихъ по сроку своихъ данныхъ, и требовали бы безконечныхъ дополненій.

Подобное видимъ и въ новомъ трудѣ г. Венгерова. Выше упомянуто, что съ тѣхъ поръ, какъ начато было изданіе „Источниковъ“ въ 1896 году, по предполагавшемуся тогда „вполнѣ законченному“ плану, размѣръ цѣлаго труда увеличился отъ 100 печатныхъ листовъ до 250.

„Первый томъ печатался четыре года,—говоритъ г. Венгеровъ.—Поэтому явилась хронологическая неравномѣрность указаній: на А они не идутъ дальше 1896 г., конецъ Б захватываетъ 1898 годъ (юбилей Вѣлинскаго), въ указаніяхъ о Гоголѣ есть данныя 1899 года. Въ дальнѣйшихъ томахъ, чтобы поставить себѣ извѣстныя рамки, мы не идемъ дальше 1900 г. (исключительно). Мы продолжаемъ регистрацію литературныхъ явленій 1900 г. и надѣемся вести ихъ и позднѣе, но это уже составитъ предметъ особыхъ продолженій“.

Быть можетъ, что простыя предположенія и испытанный на дѣлѣ опытъ о „геометрической прогрессіи“ возростанія матеріала требуютъ особеннаго вниманія къ существенному вопросу, какимъ является самая организація дѣла. Очевидно, что „геометрическая прогрессія“ будетъ продолжаться и впредь: если теперь г. Венгеровъ рѣшилъ не идти въ печатаніи дальше данныхъ 1900 года, то та же самая трудность, т.-е. Сизифова работа, возвратится въ „продолженіяхъ“. Съ другой стороны, вѣроятно, возможна большая сжатость въ изложеніи, напр. когда въ позднѣйшихъ обстоятельныхъ біографіяхъ истерпаны старыя данныя, причемъ изслѣдователь, который желалъ бы имѣть *все* данныя, имѣлъ бы все-таки возможность найти ихъ самъ

по цитатамъ. Для важнѣйшихъ писателей могла бы быть сохранена большая полнота указаній.

Но, какъ ни желательна болѣе точная организація подобныхъ предпріятій,—необходимость ея призналъ и г. Венгеровъ въ приведенныхъ выше словахъ,—и то, что имъ сдѣлано теперь, составляетъ чрезвычайно важное приобрѣтеніе нашей библиографической литературы. Трудолюбіе составителя „Источниковъ“, выдержка въ стремленіи къ давно намѣченной цѣли, представляютъ рѣдкій примѣръ въ нашей литературѣ; задачи, которыя г. Венгеровъ ставитъ въ своихъ библиографическихъ предпріятіяхъ, составляютъ дѣйствительно насущную потребность для нашихъ историко-литературныхъ изученій. Все это внушаетъ уваженіе къ его неустанной дѣятельности, и нельзя не желать, чтобы могли быть приведены къ концу такія важныя изданія, какъ „Русскія книги“, „Русская поэзія“, „Источники словаря русскихъ писателей“.—А. П.

— Труды Я. К. Грота. III. Очерки изъ исторіи русской литературы (1848—1893). Біографіи, характеристики и критико-библиографическія замѣтки. Изданы подъ редакц. проф. К. Я. Грота. Спб. 1901.

Для изучающихъ исторію русской литературы будетъ пріятно встрѣтить собраніе относящихся сюда трудовъ Я. К. Грота, разбросанныхъ во множествѣ книгъ на пространствѣ полустолѣтія. Редакторъ изданія замѣчаетъ, что въ собраніи оказывается „довольно существенный пробѣлъ“ съ пропускомъ многочисленныхъ статей о Державинѣ (съ 1845 до 1867 года), но по его же словамъ пробѣлъ достаточно оправдывается тѣмъ, что эти статьи были болѣе или менѣе исчерпаны въ извѣстномъ изданіи сочиненій Державина и въ его жизнеописаніи: то, что изъ тѣхъ статей не было уже здѣсь исчерпано, редакторъ предполагаетъ помѣстить, въ видѣ приложений, къ будущему новому изданію „Жизни Державина“.

Предметъ собранныхъ здѣсь статей—русская литература XVIII—XIX вѣка, отъ Ломоносова до Пушкина и Гоголя, и кромѣ того нѣсколько статей относятся къ трудамъ и исторіи Русскаго Отдѣленія Академіи Наукъ.

Какъ изслѣдователь, Гротъ отличается вообще старательнымъ изученіемъ фактовъ, и работы его много послужили разъясненію литературной исторіи. Но не всегда можно было согласиться съ его освѣщеніемъ этихъ фактовъ. Его историческая критика имѣла много существенныхъ достоинствъ: всегда умѣренная, осторожная, она избѣгала рѣзкостей, говорила спокойнымъ языкомъ, старалась быть безпристрастной. Гротъ былъ послѣднимъ могоиканомъ „Арзамаса“, пре-

данія котораго приходили къ нему непосредственно отъ Плетнева, и отсюда онъ между прочимъ почерпалъ высокую оцѣнку старыхъ писателей, къ которымъ послѣдующая критика начинала относиться съ большими требованіями. Преданія „Арзамаса“ идутъ отъ Карамзина. Въ статьѣ о Жуковскомъ, Гротъ говоритъ:.... „Литературные взгляды Карамзина вообще сдѣлались закономъ для цѣлой школы писателей, гордившихся названіемъ его послѣдователей: не искать легкаго успѣха въ одобреніи мало смыслящей толпы, дорожить только сочувствіемъ немногихъ, но просвѣщенныхъ судей, не унижать своего достоинства ни дѣломъ, ни словомъ,—таковы были правила, которымъ слѣдовали приверженцы Карамзина еще до образованія арзамасскаго общества, которыя ранѣе всѣхъ наслѣдовали отъ него Жуковский, которыя позднѣе принялъ и Пушкинъ“ (стр. 177). Желанія—прекрасныя; „не унижать своего достоинства ни дѣломъ, ни словомъ“ есть долгъ всякаго здравомыслящаго человѣка,—но правило „не искать легкаго успѣха въ одобреніи мало смыслящей толпы“ и т. д. въ примѣненіи къ литературной жизни не такъ просто: „легкій успѣхъ“ достается не только легкимъ вещамъ, писаннымъ для „толпы“, но достается и великимъ твореніямъ искусства, какъ произведенія Пушкина и Гоголя, и „толпа“ не есть непремѣнно „мало смыслящая“. Несомнѣнно, не одни только „просвѣщенные судьи“ создаютъ успѣхъ великихъ произведеній. но впечатлѣнія цѣлой массы (толпы?) общества, а „судьи“ всего чаще уже только впослѣдствіи предпринимаютъ составленіе своихъ эстетическихъ приговоровъ,—а иной разъ даже вовсе ихъ не составляютъ. И кто устанавливалъ „просвѣщенныхъ судей“ въ ихъ званіи? Въ „Арзамасѣ“ эти судьи предполагались именно въ его кружкѣ. Въ немъ дѣйствительно бывали люди образованные и со вкусомъ, или художественнымъ чувствомъ,—но, какъ показали послѣдствія, не судьи „Арзамаса“ установили потомъ правильную (по времени) оцѣнку какъ цѣлаго хода нашей новѣйшей литературы, такъ и значеніе главнѣйшихъ ея дѣятелей,—установилъ пренебрегаемый или ненавидимый ими Бѣлинскій... Но въ этомъ представленіи себя верховнымъ литературнымъ ареопагомъ была своя неудобная сторона: ареопагъ обратился въ исключительный кружокъ, который, въ концѣ концовъ, сообщилъ его членамъ обычныя свойства замкнутыхъ круговъ—нетерпимость и односторонность. Въ позднѣйшей формѣ этого кружка, Пушкинъ, конечно, стоялъ выше всѣхъ и по своимъ критическимъ взглядамъ; но послѣ него односторонность кружка стала бросаться въ глаза. Такъ, напримѣръ, онъ не выносилъ Бѣлинскаго. Нѣкоторый отголосокъ этого мы встрѣтимъ и у Грота. У него, конечно, нѣтъ той непримиримой враждебности, какая господствовала въ кружкѣ въ сороковыхъ годахъ: Бѣлинскій давно

умеръ, за нимъ утвердилось историческое имя,—но и въ отзывѣхъ Грота мы читаемъ, напимѣръ, слѣдующее. „Бѣлинскій писалъ такъ много и такъ скоро, что нельзя ожидать одинаковой обдуманности во всѣхъ его статьяхъ; онъ былъ такъ мало *приготовленъ къ своему дѣлу ученіемъ*, а съ другой стороны такъ впечатлительнъ, что искать въ его сужденіяхъ *постоянной основательности и послѣдовательности* было бы также несправедливо“,—т.-е. чего требовать отъ впечатлительнаго недоучки?—: „изъ этихъ двухъ источниковъ происходили его всегдашнее многословіе, его частыя повторенія и противорѣчія, его недостаточное знакомство съ положительной стороной (?) предметовъ, о которыхъ онъ разсуждалъ“ (стр. 355). Указавъ недостатки, Гротъ признаетъ и достоинства Бѣлинскаго: „ему нельзя отказать въ свѣтломъ и проницательномъ умѣ, который, при *поверхностномъ* его образованіи въ молодости, поражаетъ насъ разнообразіемъ *приобрѣтенныхъ имъ*, позже, свѣдѣній и начитанности; нельзя отказать ему также въ искреннемъ сочувствіи всему великому и прекрасному и въ врожденномъ эстетическомъ чутьѣ, которое руководило его очень вѣрно, когда онъ не былъ *ославленъ* какимъ-нибудь предубѣжденіемъ. Ошибки его были замѣтны только самымъ образованнымъ читателямъ“... Такимъ образомъ и самыя „достоинства“ Бѣлинскаго признаются только съ большими оговорками. Конечно, Бѣлинскій не былъ свободенъ отъ ошибокъ; но для полнаго безпристрастія слѣдовало бы нѣсколько точнѣе разобрать средства и пути его дѣятельности, а затѣмъ ея результаты. Недостатки образованія, взваленные на Бѣлинскаго, происходили частью отъ личныхъ тяжелыхъ условій его молодости, частью были получены отъ неудовлетворительности самой школы. Вспомнимъ разсказы о тогдашнихъ преподавателяхъ словесности, которыхъ онъ слушалъ въ московскомъ университетѣ: очевидно, Бѣлинскому нельзя было извлечь изъ этого „ученія“ ничего кромѣ зрѣлища устарѣвшей безплодной рутины. Далѣе, Бѣлинскій не по доброй волѣ долженъ былъ оставить московскій университетъ. Молодой кружокъ Станкевича, къ которому онъ примкнулъ, стоялъ выше тогдашняго университетскаго преподаванія литературы и эстетики, по своей точнѣ зрѣнія, запросамъ и самымъ *приобрѣтеніямъ*. И гдѣ вообще въ *тогдашнемъ* литературномъ кругу примѣры широкаго *ученія*? Эти примѣры явились лишь нѣсколько позднѣе, когда наше молодое поколѣніе стало проходить нѣмецкую школу. Что касается результатовъ, собранныхъ дѣятельностью Бѣлинскаго, то не требуетъ доказательствъ тотъ фактъ, что *за то время* никто изъ „самыхъ образованныхъ людей“ (см. выше: видѣвшихъ ошибки Бѣлинскаго) не далъ такой широкой картины художественнаго развитія новой русской литературы, никто не объяснилъ такъ горячо и убѣ-

дительно творчества Пушкина и Гоголя, не установилъ такъ прочно эстетическихъ требованій литературной критикѣ. И въ свое время Бѣлинскій, несмотря на краткость его литературнаго поприща, занималъ уже исключительную и авторитетную роль въ русской критикѣ, и донинѣ онъ одинъ, изъ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, вспоминается какъ писатель, богатый поученіемъ и для настоящихъ поколѣній,—несмотря на его „поверхностное ученье“, „малую приготовленность къ своему дѣлу“, „ошибки“, „ослѣпленіе“, и т. д.

Эта исключительность и недоувѣрчивое, иногда какъ бы враждебное отношеніе къ Бѣлинскому были несомнѣнно результатомъ вліяній послѣ-пушкинскаго кружка, — какъ подобнымъ результатомъ было отношеніе Гоголя къ писателямъ другого круга, между прочимъ въ особенности почитавшимъ его творенія. Это была отчужденность, имѣвшая ту вредную сторону, что мѣшала людямъ прежняго поколѣнія правильно понять новые запросы литературы. Людямъ того поколѣнія казалось вообще, что, напримѣръ, литературное движеніе пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годовъ было дѣломъ какой-то новой „партіи“, а не именно проявленіемъ новыхъ запросовъ жизни,—существовавшихъ и гораздо ранѣе, но теперь только получившихъ нѣкоторую возможность высказаться. Слово „партія“, особенно въ нашихъ нравахъ, имѣетъ въ себѣ нѣчто неблагополучное: это—люди, въ чемъ-то сговорившіеся, стакнувшіеся, съ какой-то предвзятой мыслью и цѣлью, — въ глазахъ противниковъ, обыкновенно цѣлью и мыслью превратной, даже зловредной. Такое значеніе слова прочно установилось въ теченіе прошлаго, XIX-го, столѣтія и господствуетъ донинѣ. Извѣстно, до какой степени оно злоупотреблялось: сколько разногласій, въ вопросахъ чисто теоретическихъ, а также важныхъ вопросахъ общественныхъ, извращалось, въ особенности именно съ такъ называемой консервативной стороны, ссылками на „партію“. То же повторилось и въ вопросахъ литературныхъ. Споръ противъ новыхъ литературныхъ направленій считался какъ будто рѣшеннымъ—ссылкой на „партію“, на „исключительно-отрицательное“ направленіе. Къ сожалѣнію, такая нетерпимость встрѣчалась и у Грота (стр. 356, 362 и др.). Странно было, напримѣръ, сказать, будто почитатели Бѣлинскаго (около 1860 года) „повлонились Бѣлинскому только потому, что имъ нуженъ былъ идолъ“, и что почитатели, однако, не умѣли правильно понимать Бѣлинскаго, и т. п. Въ дѣйствительности, почитатели его въ половинѣ пятидесятыхъ годовъ впервые указывали его великое историческое значеніе,—въ началѣ иносказательно, потому что самое имя Бѣлинскаго тогда было еще подвергнуто цензурному ostracismu, и „поклонились“ Бѣлинскому именно потому, что совершенно сознательно видѣли въ немъ самаго талантливаго и крупнаго дѣятеля художественно-

исторической критики. Такимъ образомъ положеніе литературы было таково, что имя Бѣлинскаго надо было реставрировать для новаго поколѣнія читателей. И если затѣмъ нѣкоторые изъ новыхъ писателей, полагаемыхъ „учениками“ Бѣлинскаго, отступали отъ буквальныхъ его мнѣній, это показывало уже, что въ Бѣлинскомъ имъ нуженъ былъ вовсе не „идолъ“. Утвержденіе Грота оказывалось невѣрнымъ. Съ другой стороны, почитатели Бѣлинскаго обвинялись въ „исключительно-отрицательномъ“ направленіи: въ чемъ оно заключалось, противники его обыкновенно не давали себѣ труда опредѣлять. Очевидно, однако, что говорить серьезно объ „отрицательномъ направленіи“ было бы невозможно, не опредѣливъ того, въ чемъ заключается отрицаніе, что и въ силу чего отрицается...

Это былъ въ особенности разладъ поколѣній, литературныхъ школъ, и должно отдать справедливость Гроту, что у него онъ сказывался меньше, чѣмъ у другихъ писателей его поколѣнія. Это видно, напримеръ, на его отношеніи къ Бѣлинскому: у него нѣтъ той ожесточенной, непримиримой вражды, какую питали къ Бѣлинскому люди его стараго кружка; напротивъ, Гротъ указываетъ не одни недостатки, но и его большія достоинства. Онъ старается быть безпристрастнымъ, и во многихъ историко-литературныхъ взглядахъ онъ съ Бѣлинскимъ соглашается.

Но кромѣ этой черты времени, занимающей, впрочемъ, немного мѣста въ трудахъ Грота, его другіе труды посвящены обыкновенно спокойному историческому изслѣдованію, гдѣ ему принадлежит великая заслуга. Въ тѣхъ разысканіяхъ, которыя съ конца сороковыхъ и начала пятидесятихъ годовъ направлены были на литературное прошлое, Гроту принадлежит почетное мѣсто, и настоящее изданіе его историко-литературныхъ изслѣдованій, всегда исполненныхъ внимательно и точно, будетъ одною изъ настольныхъ книгъ у специалистовъ, и можетъ вообще послужить для всякаго образованнаго читателя. — Д. О.

— Приморская Область. 1856—1898 г. Очеркъ. Съ двумя картами, двѣнадцатью таблицами и 15 рисунками. П. Ф. Унтербергера. Спб. 1900 (изъ „Записокъ“ И. Р. Географическаго Общества, по отдѣленію статистики).

Въ предисловіи авторъ указываетъ особое политическое значеніе Приморской области при важныхъ событіяхъ, какія совершаются теперь на побережьи Тихаго океана, когда всѣ націи, имѣющія въ тѣхъ краяхъ политическіе и торговые интересы, стремятся установить тамъ свое вліяніе и занять твердое положеніе. Русское правительство за послѣднія двадцать лѣтъ принимало мѣры къ оживленію этой отда-

ленной окраины, между прочимъ, чтобъ быть готовымъ къ возможнымъ случайностямъ. Закладка, въ 1891 году, и затѣмъ постройка сибирской желѣзной дороги являлись дѣйствительно „мировымъ событіемъ“; послѣдствія его трудно было разсчитать, но во всякомъ случаѣ новый путь долженъ былъ произвести великую перемѣну въ экономическомъ и культурномъ положеніи Сибири. Китайскія дѣла послѣдняго года привлекли новое усиленное вниманіе къ дальнему востоку и практически показали обще-государственную важность вопросовъ восточно-сибирской жизни.

До появленія книги г. Унтербергера, большой интересъ возбудили его доклады въ Географическомъ Обществѣ, и книга является какъ нельзя болѣе кстати.

„Цѣль настоящаго труда,—говоритъ авторъ,—познакомить въ бѣгломъ очеркѣ читателей, которые заинтересовались бы краемъ, съ постепеннымъ развитіемъ жизни въ области за первые 42 года ея существованія, т.-е. до 1898 года.

„Въ очеркѣ этомъ я старался въ сжатой формѣ коснуться всѣхъ наиболѣе важныхъ факторовъ, вліявшихъ такъ или иначе на культурное развитіе отдѣльныхъ частей этого отдаленнаго края и тѣмъ дать возможность, между прочимъ, вновь приѣзжимъ лицамъ, которымъ пришлось бы принимать участіе въ разрѣшеніи и направленіи разныхъ вопросовъ, касающихся области, имѣть историческую справку о тѣхъ изъ нихъ, которые уже раньше тамъ разрабатывались.

„Знакомство съ исторіей разныхъ мѣропріятій въ административной сферѣ дѣятельности въ особенности важно въ этомъ юномъ краѣ, гдѣ жизнь не вылилась еще въ опредѣленные формы и гдѣ идетъ еще и теперь, почти по всѣмъ отраслямъ управленія, постоянная организационная работа. Мѣстные условія въ области настолько еще своеобразны, что нерѣдко мѣропріятія, вполне соответственные при нормальныхъ условіяхъ жизни населенія, оказываются тамъ пока трудно или вовсе непримѣнными.

„Пробывъ на службѣ въ Восточной Сибири 33 года и оставивъ ее въ 1897 году, я былъ за этотъ промежутокъ времени не только наблюдателемъ всѣхъ совершавшихся на нашемъ дальнемъ востока событий, но и принималъ въ большинствѣ изъ нихъ непосредственное участіе. Въ виду этого, я излагалъ въ настоящемъ очеркѣ, доведенномъ до 1898 года, затронутые въ немъ вопросы и факты такъ, какъ они сложились въ моей памяти по личному знакомству съ дѣломъ, извлекая изъ находившихся въ моемъ распоряженіи матеріаловъ главнымъ образомъ лишь статистическія данныя“.

Въ нашей литературѣ мало примѣровъ, чтобы подобнымъ образомъ примѣняли свое практическое изученіе лица, стоявшія близко или

во главѣ мѣстнаго управленія: такими примѣрами была замѣчательная книга г. Энгельгардта о сѣверномъ архангельскомъ краѣ, встрѣченная въ литературѣ съ большимъ сочувствіемъ; таковы были средне-азиатскія изслѣдованія и описанія г. Гродекова, Куропаткина. Къ нимъ присоединяется и трудъ г. Унтербергера.

Авторъ даетъ обстоятельное административно-экономическое описаніе края отъ самаго образованія Приморской области и до послѣднихъ лѣтъ: ея географическій составъ, населеніе, земельныя отношенія, промыслы (земледѣльческіе, рудные, морскіе, кустарные), торговля, колонизація, дѣло народнаго образованія, санитарныя условія, миссіонерская дѣятельность, пути сообщенія и т. д.—таковы предметы, на которыхъ останавливается авторъ, приводя въ приложеніяхъ и массу официальныхъ цифръ.

Въ списокѣ генераль-губернаторовъ и военныхъ губернаторовъ, управлявшихъ Приморскою областью,—приведенномъ въ концѣ книги,—находимъ и имя почтеннаго автора: изъ 33 лѣтъ своей службы въ Восточной Сибири, онъ былъ военнымъ губернаторомъ Приамурской области съ 1888 до 1897 года. Такова была возможность изученія края, и заслуживаетъ особеннаго сочувствія этотъ трудъ, которымъ авторъ вноситъ въ литературу результаты своего многолѣтняго изученія и опыта.

Къ книгѣ приложены двѣ отчетливо исполненныя карты: общая карта Приморской области съ раздѣленіемъ на округа, и подробная карта южной ея части, наиболѣе оживленной и населенной—Уссурийскаго края. Пятнадцать рисунковъ взяты изъ фотографій, большая часть которыхъ снята самимъ авторомъ.

— Загадки русскаго народа. Сборникъ загадокъ, вопросовъ, притчъ и задачъ. Составилъ Д. Садовниковъ. Спб. 1901. Изданіе А. Суворина.

На заглавномъ листѣ не сказано, что это есть второе изданіе очень извѣстной книги, вѣроятно уже вышедшей изъ продажи. Первое изданіе появилось въ 1876 году. Составителемъ сборника былъ ревностный этнографъ Д. И. Садовниковъ, которому принадлежитъ также любопытное собраніе „Сказокъ и преданій Самарскаго края“. Садовниковъ былъ и талантливый поэтъ. Новое изданіе его „Загадокъ“ является очень кстати, если первое уже разошлось; но жаль, что новое изданіе осталось только простой перепечаткой. Составитель книги давно умеръ; слѣдовало сообщить о немъ хотя бы краткія біографическія свѣдѣнія, а вмѣстѣ съ тѣмъ было бы полезно указать и то, что было сдѣлано по этому предмету послѣ Садовникова. — Т.

Въ теченіе января, въ Редакцію поступили слѣдующія новыя книги и брошюры:

Абрамовъ, Я. В.—Старый и Новый Свѣтъ. Одинъ изъ итоговъ XIX в. и одинъ изъ важнѣйшихъ вопросовъ XX ст. Спб. 901. Стр. 88. Ц. 50 к.

Азовецъ, Н. В.—Подневольные. 17 рассказовъ. Спб. 901. Стр. 324. Ц. 1 р. 25 коп.

Анцструберъ, Людвигъ.—Рассказы. Съ нѣм. Л. И. Коганъ. М. 901. Стр. 112. Ц. 20 к.

Амротъ, П. Ф.—Призрѣніе бѣдныхъ въ Англіи. Съ нѣмец. М. Красновъ. Спб. 901. Стр. 616. Ц. 2 р. 50 к.

Безобразова, П. В.—О современномъ развратѣ. М. 901. Стр. 90. Ц. 30 к.

Бертинъ, М.—Рассказы. Спб. 901. Стр. 281. Ц. 1 р.

Бичеръ-Стоу, Гарриэтъ.—Хижина дяди Тома. Съ кратк. біогр. автора. Съ англійск. М. 901. Стр. 312. Ц. 50 к.

Бодановичъ, Т.—Современный Китай. Элементы востая и прогресса въ китайской жизни. Спб. 901. Стр. 166. Ц. 75 к.

Бодановъ-Березовскій, М., д-ръ мед.—Положеніе глухонѣмыхъ въ Россіи. Съ обзоромъ современнаго состоянія вопроса о восстановленіи слуха у глухонѣмыхъ. Съ предисловіемъ проф. Имп. Воен.-мед. Акад. Н. Н. Симановскаго. Изданіе Попечительства Государини Императрицы Маріи Θεодоровны о глухонѣмыхъ. Спб. 901. Стр. 293.

Бородинъ, М.—Поэтическое творчество А. Н. Майкова. Сообщ. слѣл. 21 апр. 900 г. въ кружкѣ имени Я. П. Полонскаго. Спб. 901. Стр. 74. Ц. 50 к.

Бочкаревъ, К. П.—Очерки Лубенской старини. Вып. I. Съ старини. плаваномъ и видами г. Лубенъ. М. 901. Стр. 39. Ц. 1 р.

Боцяновскій, В. Θ.—Максимъ Горькій. Критико-біограф. этюдъ. Съ портрет. Спб. 901. Стр. 94. Ц. 50 к.

Бриллиантовъ, П.—„Досужій получасъ“. Рассказы. М. 900. Стр. 378. Ц. 90 к.

Будницевъ, Ал. Н.—Лучшій другъ. Романъ. Спб. 901. Стр. 252. Ц. 1 р.

Бумбергъ.—Гарольдъ. Историческая повѣсть. Спб. 900. Стр. 144. Ц. 50 к.

Вандервельде, Э.—Притягательная сила городовъ. Съ франц. Л. Винци. Спб. 901. Стр. 62. Ц. 40 к.

Владиміровъ, Л. Е., проф.—Психологическое изслѣдованіе въ уголовномъ судѣ. М. 901. Стр. 291. Ц. 2 р.

Галль, Мари-Робертъ.—Исторія одного маленькаго человѣка. Съ франц. М. Гранстремъ. Изд. 3-е. Спб. 901. Стр. 244. Ц. 2 р. 25 к.

Гейеръ, И. И.—Путеводитель по Туркестану. Съ 2 карт. и 1 портрет. Изд. 1-е. Ташкентъ. 901. Стр. 250. Ц. 1 р. 50 к.

Герасимовъ, П. Н.—Наши офицеры. Спб. 901. Стр. 196. Ц. 1 р. 50 к.

Гетчинсонъ.—Вымершія чудовища и животныя прошлыхъ геологическихъ эпохъ. Съ 48 табл. и 133 рис. Перев. М. В. Павловой. Съ предисл. проф. А. П. Павлова. М. 899. Стр. 466.

Гиббинсъ, Г.—Исторія торговли Европы. Съ англ. Е. Ч. Съ картами. Спб. 901. Стр. 213. Ц. 85 к.

Гиндичъ, П. П.—Купальные огни. Ром. Спб. 901. Стр. 752. Ц. 2 р.

Горовицевъ, А.—Трудовая помощь, какъ средство призрѣнія бѣдныхъ. Спб. 901. Стр. 437. Ц. 2 р.

Гринъ.—Краткая исторія англійскаго народа. Вып. III. Съ англійскаго Н. Н. Шамонынъ. М. 900. Стр. 402. Ц. 50 к.

Дернбуриъ, Генрихъ, проф. Берлин. универс.—Пандекты. Обязательственное право. Съ нѣмца. П. Соколовскаго, проф. Моск. универс. М. 900. Стр. 490. Ц. 2 р. 50 к.

Джорджъ, Генри.—Великая общественная реформа. Съ англійск. С. Д. Николаева М. 901. Стр. 40. Ц. 25 к.

Жанъ, П.—Основные принципы промышленнаго электричества. Съ франц. М. Габерцетель и Е. Лекачевскій. Спб. 901. Стр. 328. Ц. 2 р. 40 к.

Забѣлинь, Ив. — Домашній бытъ русскихъ царицъ въ XVI и XVII ст. Третье изданіе съ дополненіями. М. 901. Стр. 738. Ц. 4 р.

Зальскій, В. Ф.—Къ вопросу о реформѣ средней школы. Казань. 900. Стр. 92. Ц. 1 р.

Заринъ, А.—Скрипачъ. Повѣсть изъ послѣдн. лѣтъ крѣпостнаго права. Спб. 900. Стр. 144. Ц. 50 к.

Засодимскій, П.—Сара Гальборкъ. Повѣсть. Рис. Л. П. Альбрехта. Спб. 900. Стр. 102. Ц. 75 к.

Зеленинъ, А. В.—Путешествія Н. М. Пржевальскаго. Съ рис. и картами. Спб. 900. Стр. 490. Ч. II.

Икфантаевъ, П.—На другой планетѣ. Повѣсть изъ жизни обитателей Марса. Новгородъ. 901. Стр. 142. Ц. 50 к.

Касторскій, Ф. Л., д-ръ.—Весѣлы по школьной гигиенѣ. Съ 1 рис. и табл. диаграммъ на отдѣльн. листѣ. М. 901. Стр. 52. Ц. 15 к.

Катицъ, А.—Евреи въ Китаѣ. Съ нѣм. Левъ Майзелъ. Варшава. 900. Стр. 37. Ц. 35 к.

Кизеветтеръ, А. А.—Петръ Великій за границей. М. 900. Стр. 24. Ц. 10 к.

Киплинъ, Р.—Человѣкъ-волкъ. Индійскіе рассказы. Спб. 900. Стр. 243. Ц. 30 к.

Князьковъ, С.—Какъ сложилось и какъ пало крѣпостное право. Историч. очеркъ. Подъ ред. А. А. Кизеветтера. Спб. 900. Стр. 123. Ц. 15 к.

Ковалевскій, Максимъ.—Происхожденіе современной демократіи. Т. I. Ч. I и II. Изд. 2-е. М. 901. Стр. 696. Ц. 3 р.

Кони, А. Ф.—Федоръ Петровичъ Гаазъ. Біографич. очеркъ. Съ портретомъ. 2-е изд. Спб. 901. Стр. 174. Ц. 50 к.

Кнопницкая, М.—Христа. Рассказъ. Съ польскаго. Кіевъ. 899. Стр. 36. Ц. 6 к.

Корзенко, В.—Рѣка играетъ. Эскизы изъ дорожнаго альбома. М. 901. Стр. 40. Ц. 12 к.

Кузьминъ-Карлаевъ, В. Д.—Законъ 12 іюня 1900 г. о фиксациі земскаго обложенія. Спб. 900. Стр. 31. Ц. 50 к.

Курнина, С. В.—Что читать дѣтямъ. Пособіе при изученіи дѣтской литературы. М. 900. Стр. 164. Ц. 60 к.

Левицкая Е. и *Жаринцова*, Н.—Новая школа въ Англіи и въ Россіи. Настоящая брошюра сост. изъ 3 ст.: Бидальская школа Дж. Г. Бэдлей. Впечатлѣнія, вынесенныя изъ Бидальской школы и Школа. Спб. 901. Стр. 112. Ц. 60 к.

Лежневъ, М. Н.—Марксъ и Кантъ. Критико-философская параллель. Николаевъ. 900. Стр. 83. Ц. 75 к.

Лермонтовъ, М. Ю.—Мцыри. Пѣснь. Изд. 2. Вятка. 900. Стр. 32. Ц. 3 к.

— Демонъ. Пѣснь. Вятка. 900. Стр. 48. Ц. 4 к.

—— Бѣла. Ватка. 900. Стр. 62. Ц. 5 к.

Лефевръ, Жюльенъ. — Сжиженіе газовъ и ихъ примѣненія. Съ франц. С. И. Ламанскаго. Съ 38 рис. Спб. 901. Стр. 156. Ц. 1 р.

Ле-Форъ, Жоржъ. — Ради золота. Бурь и англичане въ южной Африкѣ. Съ франц. М. Гранстремъ. Спб. 901. Стр. 228. Ц. 2 р. 25 к.

Литовскій, А. Л. — Хорваты. Славянскіе народы. Съ прилож. карты Хорватіи, Славоніи и Далмаціи. Спб. 900. Стр. 156. Ц.

Литвиненко, П. — Разсказъ изъ украинскаго быта. Съ рис. П. Е. Литвиненко. М. 900. Стр. 47. Ц. 30 к.

—— Въ своемъ гнѣдышкѣ. Разск. изъ естественной ист. Съ рис. М. 900. Стр. 57. Ц. 30 к.

—— Огоньки. 1. Маленькій грѣшникъ. 2. Харита. 3. Пятизлотникъ. Сборникъ дѣтскихъ разсказовъ. Съ рис. М. 900. Стр. 54. Ц. 30 к.

Лукашевичъ, К. — Старый Памфилычъ. Разсказъ съ иллюстрац. М. 901. Стр. 44. Ц. 25 к.

—— Баринъ и слуга. Разсказъ для дѣтей. М. 901. Стр. 56. Ц. 25 к.

Лукинъ, А. П. — Отголоски жизни. Т. I. М. 901. Стр. 444. Цѣна за оба тома 2 р. 50 к.

—— Отголоски жизни. Наблюденія и замѣтки. Т. II. М. 901. Стр. 428. Цѣна за 2 тома 2 р. 50 к.

Маевскій, Э. — Профессоръ Допотопновъ. Съ польскаго. Ч. I. Спб. 900. Стр. 163. Ц. 50 к.

Максимовъ, А. — Что сдѣлано по исторіи семьи. Оч. соврем. положенія вопр. о первобытныхъ формахъ семьи и брака. М. 90. Стр. 171. Ц. 80 к.

Мануиловъ, А. — Понятіе цѣнности по ученію экономистовъ классической школы. М. 901. Стр. 220. Ц. 1 р. 50 к.

Марко Вовчокъ. I. Выкупъ. II. Свекровь. III. Отецъ Андрей. Кіевъ. 899. Стр. 30. Ц. 5 к.

Мачетъ, Григорій. — Въ святое утро. Изъ путев. воспоминаній. Кіевъ. 99 г. Стр. 16. Ц. 3 к.

—— Пять тысячъ. Разсказъ вuida. Кіевъ. 99. Стр. 33. Ц. 5 к.

Меллеръ, В. — Полезныя ископаемыя и минеральныя воды Кавказскаго края. Дополн. и исправ. по новѣйшимъ свѣдѣн. М. Денисовъ. Съ картою. Изд. 3-е. Спб. 900. Стр. 531.

Миулинъ, П. П. — Русскій государственный кредитъ. (1769—1899). Опытъ историко-критическаго обзора. Т. II. Харьковъ. 900. Стр. 578. Ц. 2 р.

Минскій, Н. М. — Новыя пѣсни. Спб. 901. Стр. 118. Ц. 1 р.

Минцловъ, С. — Кладъ. Повѣсти для дѣтей. Спб. 900. Стр. 158. Ц. 50 к.

Мюссе, де, Альфредъ. — Избранныя сочиненія. 1810—1857. Съ франц. В. Е. Чехихина и др. Спб. 901. Стр. 245. Ц. 50 к.

Никитинъ, В. — Минералы Вогословскаго горнаго округа. II-я часть отчета по геологическимъ изысканіямъ округа, производившимся въ 1894—1899 гг. Спб. 901. Стр. 171.

Нѣмоескій, Андрей. — Листопадъ. Съ польскаго А. Тихова. М. 900. Стр. 66. Ц. 25 к.

Озаровскій, Ю. Э. — Вопросы выразительнаго чтенія. Кн. II. Съ прилож. очерка Б. В. Варнеке: „Античная декламація“. (Гл. истор. декламація). Спб. 901. Стр. 152 и Прилож. стр. 20. Ц. 1 р. 30 к.

Осадчий, Т. И. — Козацкій батько Палій. Очеркъ изъ истор. стар. козацкой Украины. Кіевъ. 900. Стр. 48. Ц. 8 к.

— Советы къ улучшенію крестьянскаго хозяйства. 2-е изд. Кіевъ. 900. Стр. 48. Ц. 6 к.

Осиповъ, Андрей.—Бобыль. Историч. повѣсть. XVI в. Иллюстр. А. Эйснера. Спб. 901. Стр. 234.

Пантюховъ, И. И., д-ръ. — Ингуши. Антрополог. очеркъ. Тифлисъ. 901. Стр. 34. Ц. 25 к.

Петтинъ, Т. С.—Страна Рабочихъ клубовъ. Съ англ., съ предисл. И. Озерова. М. 901. Стр. 123. Ц. 50 к.

Перельманъ, Н. И.—Дѣтню порою. Сцены изъ жизни птицъ, насѣкомыхъ и растений. Перевелъ и собралъ съ рис. П. Е. Литвиненко. М. 900. Стр. 46. Ц. 30 к.

— Жизнь на волѣ. Разск. изъ естественной ист. Съ рис. П. Е. Литвиненко. М. 900. Стр. 45. Ц. 30 к.

— Божья мысль.

Петерсонъ, О.—Сервантесъ, его жизнь и произведенія. Біограф. очеркъ. Спб. 901. Стр. 118. Ц. 1 р.

Подъяпольскій, П.—Мимикрія или подражательность, какъ частный случай приспособляемости въ животномъ и растительномъ царствѣ. 7 табл. фототипій. Саратовъ. 900. Стр. 38. Ц. 1 р.

Позняковъ, Н.—Канцеляристъ. Разсказъ. Съ иллюстрац. М. 901. Стр. 43. Ц. 25 к.

Поливанова, Н.—Переводъ. Исторія одного Котенка. Съ рис. П. Е. Литвиненко. М. 900. Стр. 66. Ц. 40 к.

Постоловъ, С.—Разсказы о дикихъ животныхъ Россіи. Кн. первая: Бѣлый медвѣдь, Лось, Волкъ, Бобръ, Тигръ. Съ иллюстр. Спб. 900. Стр. 64. Ц. 15 к.

Пыпинъ, А. Н.—Дѣла о пѣсняхъ въ XVIII вѣкѣ (1704—1764). I—V. Спб. 900. Стр. 37. Ц. 30 к.

Рахитскій, М. С.—Методъ обученія грамотѣ. Спб. 901. Стр. 74. Ц. 50 к.

Рескинъ, Джонъ.—Современные художники. 1. Общія принципы и правда въ искусствѣ. Съ англійск. П. С. Когана. М. 901. Стр. 473. Ц. 2 р. 25 к.

Ромеръ, Ф.—Подъ разными флагами. Ром. въ 3 ч. М. 901. Стр. 240. Цѣна 1 р. 50 к.

Русселъ, Л.—Въ странѣ чудесъ. Изъ жизни и природы Индіи. Съ франц. М. Гранстремъ. 2-е изд. Спб. 901. Стр. 248. Ц. 2 р. 25 к.

Саводникъ, В.—Поэзія Вл. С. Соловьева. М. 901. Стр. 25. Ц. 25 к.

Сейфъ, Джонатанъ.—Путешествія Гулливера по многимъ отдаленнымъ странамъ свѣта. Пер. съ англійск. П. Канчаловскаго и В. Яковенко. М. 901. Стр. 330. Ц. 1 р. 50 к.

Селивановъ, А. Ф.—П. П. Максимовичъ. Основат. тверск. женск. учительск. школы. Біограф. оч. съ портрет. Спб. 901. Стр. 175. Ц. 1 р.

Семеновъ, Дм. Дм.—Городское самоуправленіе. Очерки и опыты. Спб. 901. Стр. 387. Ц. 1 р. 50 к.

Сибирцевъ, Н. М.—Его жизнь и дѣятельность. Составили: П. Ф. Баранковъ, К. Д. Глинка, Н. А. Богословскій, А. Ф. Форгунатовъ, К. А. Маѣвичъ, А. Р. Ферхминъ и П. В. Отоцкій. Съ 2 портретами. Спб. 901. Стр. 39. Ц. 60 к.

Соловьевъ, Н. М.—О славѣ. Сообщеніе, сдѣланное 3-го марта 1900 г. въ кружкѣ имени Я. П. Полонскаго. Спб. 900. Стр. 80. Ц. 50 к.

Соловьевъ, Вл. С.—Библиографическій списокъ сочиненій и переводовъ по-

четнаго члена Отдѣленія русскаго языка и словесности. 1873—1900 гг. Спб. 900 г. Стр. 14.

Стеерова, Н. Б.—„Эта“, повѣсть, съ иллюстраціями И. Е. Рѣпина. Спб. 900. Стр. 342. Ц. 1 р. 50 к.

Толстой, Л. Л.—Въ голодные года. Записки и статьи съ иллюстраціями. М. 901. Стр. 180. Ц. 1 р.

Трачевскій, Александръ, проф.—Учебникъ средней исторіи. 3-е испр. изд. Со 111 рис. Спб. 901. Стр. 330. Ц. 1 р. 50 к.

Триллингъ, Ф.—Практическій учебникъ (франц. языка. 1-ый годъ „Въ школѣ и дома“. М. 901. Стр. 92. Ц. 45 к.

Трубиновъ, К. В.—Богатства Россіи. Исслѣдованія, наблюденія и характеристики. Ч. I. Спб. 901. Стр. 208. Ц. 1 р. 50 к.

Уйда.—Свигирь. Съ англійск. Е. Некрасовой. Съ иллюстрац. М. 901. Стр. 43. Ц. 30 к.

Ульяновъ (Вѣнчиковъ).—Коюноушка. Разсказъ. Съ иллюстрац. М. 900. Стр. 27. Ц. 15 к.

— Старый башмакъ. Сказочка. М. 900. Стр. 16. Ц. 10 к.

— Залчья елка. Сказочка съ иллюстр. М. 900. Стр. 20. Ц. 15 к.

Ферри, Габріэль.—Лѣсной бродяга. Въ 3 томахъ. Т. II. Красный караванъ. Спб. 900. Стр. 269.

Финъ, Я. А.—Генрикъ Ибсенъ. Критическіе этюды. М. 901. Стр. 102. Ц. 50 к.

Фрикенъ, фонъ, А.—Итальянское искусство въ эпоху возрожденія. Ч. IV. Изд. К. Т. Солдатенкова. М. 901. Стр. 310. Ц. 2 р.

Фромъ, Вѣра.—Завоеваніе Мексики Фердинандомъ Кортесомъ. М. 900. Стр. 48. Ц. 5 к.

Харузина, В.—Царевна—Каменное Сердечко. Сказочная повѣсть. Спб. 899. Стр. 49. Ц. 30 к.

Ходскій, Л. В.—Основы государственнаго хозяйства. Пособіе по финансовой наукѣ. 2-е изд. Вып. 2-й. Спб. 901. Стр. 550. Ц. 3 р. 50 к.

Чайковский, М.—Жизнь Петра Ильича Чайковского. Т. I. 1840—1877. Вып. II. М. 900. Стр. 168. Ц. вып. 40 к.

Череванскій, Вл.—Миръ Ислама и его пробужденіе. Историческая монографія. Ч. I. Спб. 901. Стр. 328.

— Ч. II. Ц. за 2 ч. Спб. 901. Стр. 255. Ц. 2 р. 50 к.

Чеховъ, Антонъ—Пьесы. I. Медвѣдь. II. Предложеніе. III. Ивановъ. IV. Лебединая пѣсня. V. Трагикъ по-неволю. VI. Чайка. VII. Дядя Ваня. Спб. 900. Стр. 258. Ц. 1 р. 50 к.

Чубинскій, М. П.—Мотивъ преступной дѣятельности и его значеніе въ уголовномъ правѣ. Ярославль. 900. Стр. 350. Ц. 2 р. 50 к.

Шарковъ.—Календарь земледѣльца на 1900 г. Спб. 899. Стр. 136.

Шванебахъ, П. X.—Денежное преобразованіе и народное хозяйство. Спб. 901. Стр. 237. Ц. 1 р. 50 к.

Щетинскій, А.—Практическое руководство къ собранію и составленію естественно-историческихъ коллекцій. Съ 76 ориг. пояснит. рис. въ текстѣ. Псковъ. 900. Стр. 125. Ц. 1 р. 50 к.

Яковсонъ, Л. Я., д-ръ.—Другъ матери. Календарь для матерей на 901 г. Ред. Н. П. Гундобина. Съ рис. Спб. 900. Стр. 308. Ц. 1 р. 25 к.

Ярмонкинъ, В.—Письма идеалиста. Седьмое письмо. Спб. 900. Стр. 233. Ц. 1 р. за 7 писемъ.

Khakhanoff, M. A., Professeur.—Histoire de Géorgie. Paris. 900. Стр. 112.
Zabel, Eugen.—L.^eN. Tolstoi. Leipz. 901. Ц. 4 марки.

— Еврейскія народныя пѣсни въ Россіи, собраны и изданы [подъ ред. и съ введеніемъ С. М. Гинзбурга и П. С. Марека. Спб. 901. Стр. 329. Ц. 2 р. 50 коп.

— Краткія справочныя свѣдѣнія о нѣкоторыхъ русскихъ хозяйствахъ. Изд. 2. Вып. I. Спб. 900. Стр. 475.

— Крестьянское скотовладѣніе въ Вятской губерніи въ 1898—99 гг. Лошади и крупный рогатый скотъ. Вятка. 900. Стр. 179.

— Матеріалы для выработки программы текущей статистики въ Вятскомъ земствѣ (съ приложеніями). Вятка. 900. Стр. 132.

— Отчеты и изслѣдованія по кустарной промышленности въ Россіи. Т. VI. Изд. М. З. и Г.^еИ. Спб. 900. Стр. 397.

— Отчетъ Особого Отдѣла по предупрежденію слѣпоты за 1899 годъ. Составленъ, подъ редакціей проф. Л. Г. Беллярмина, прив.-доц. В. Н. Долгановымъ. Спб. 900. Стр. 179.

— Отчетъ по лѣсному управленію Мин. Земледѣлія и Государств. Имуществъ за 1899 г. Сост. Статистическимъ Отд. Лѣсного Департамента. Спб. 900. Стр. 553.

— Отчетъ членовъ Губернскаго Училищнаго Совѣта Н. Н. Ковалевскаго и М. Д. Деларю за 1899 г. Харьк. 900. Стр. 34.

— Сельско-хозяйственный Обзоръ Вятской губ. за 1900. Вып. II. Стр. 113. Тоже. Вып. III. Стр. 47+31.

— Списокъ сельско-хозяйственныхъ обществъ. Изд. М. З. и Г. И. Спб. 900. Стр. 62.

— Статистическій сборникъ по Ярославской губ. Вып. 9. Ярославль. 900. Стр. 59.

— Статистическое описаніе Ярославской губерніи. Т. I. Мышкинскій уѣздъ. Вып. 1. Таблицы свѣдѣній о крестьянскомъ населеніи, землевладѣніи и хозяйствѣ. Ярославль. 900. Стр. 695+XXV.

— Труды перваго Всероссийскаго съѣзда представителей городскихъ общественныхъ банковъ. Съ 15-го по 24-е мая 1900 г. въ г. Харьковѣ. Харьк. 900. Стр. 259.

— Японія и японцы. Изд. ред. журн. „Русская Мысль“. М. 901. Стр. 178. Ц. 35 к.



НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I.

Eugène Tavernier. Vladimir Soloviev. Extrait de „La Quinzaine“ du 16 Novembre 1900.

Авторъ этой брошюры зналъ Вл. С. Соловьева, повидимому, съ 1888 г., когда изданы были „L'Idée russe“ и „La Russie et l'Eglise universelle“. Въ то время Тавернье принималъ дѣятельное участіе въ разборѣ вопроса, поднятаго Соловьевымъ о возможности (или невозможности) соединенія церквей. Вопросъ былъ историческій и теоретическій, или, скорѣе, идеалистическій. Во всѣхъ своихъ стремленіяхъ Вл. С. Соловьевъ былъ идеалистъ такой высокой степени, что въ нашей литературѣ нѣтъ, кажется, другого подобнаго примѣра. Его мысль всегда витала въ самыхъ возвышенныхъ и самыхъ трудныхъ вопросахъ знанія, вѣры и нравственности; все онъ хотѣлъ объяснить себѣ философско-богословскимъ ученіемъ, которое должно было опредѣлить и прошедшія судьбы человѣчества, и основы его нравственной жизни. Одной изъ важнѣйшихъ задачъ этого рода представлялся давній, вѣками не рѣшенный вопросъ о единеніи церквей. Его мысли объ этомъ предметѣ встрѣтили и сочувствія, и протесты, но, кажется, ни та, ни другая сторона не поняла его въ дѣйствительномъ характерѣ его мысли и настроенія: Соловьевъ въ философіи и въ богословіи былъ также и поэтомъ.

Французскій писатель былъ въ числѣ горячихъ сторонниковъ Соловьева и, какъ многіе другіе, понималъ единеніе церквей, о которомъ тотъ говорилъ, въ традиціонной грубой формѣ уніи, или прямого принятія католичества и цѣлованія папской туфли. Въ статьѣ Тавернье читаемъ слѣдующее: „Почему этотъ неустрашимый защитникъ религіознаго единства, ревностный русскій христіанинъ, который, не боясь предразсудковъ, ненависти и тюрьмы, защищалъ верховную власть папы, почему онъ не сдѣлался католикомъ?“ Авторъ понимаетъ, что это—вопросъ трудный и сложный, и рѣшаетъ его тѣмъ, что Соловьевъ не хотѣлъ разорвать связи съ русскою жизнью, съ обществомъ, гдѣ онъ являлся проповѣдникомъ,—и что будто бы, дѣйствительно, „его бесѣды, его сношенія съ писателями, людьми свѣтскаго круга, съ людьми самыми мелкими, имѣли характеръ проповѣди“: онъ, будто

бы, хотѣлъ остаться проповѣдникомъ въ русской средѣ. Отвѣтъ не сходитъ съ фактами. Во-первыхъ, Соловьевъ никогда не отказывался отъ научной критики, которая не позволила бы ему слѣпо увѣровать въ католицизмъ, и еслибы у него были временныя увлеченія въ смыслѣ всемірности католичества (мы не знали его лично въ ту пору), то впоследствии эти увлеченія охладѣли и, можетъ быть, совсѣмъ исчезли. Во-вторыхъ, мы, много лѣтъ знавши Соловьева, никогда не видѣли его въ той роли проповѣдника, которую приписываетъ ему французскій авторъ.

Не входя въ эти подробности брошюры Тавернье, укажемъ лишь небезынтересныя впечатлѣнія, какія производила на него самая личность Соловьева. Онъ рассказываетъ о самомъ появленіи книжки Соловьева „L'Idée russe“.

„25 мая 1888, оригинальное собраніе происходило въ Парижѣ, въ салонахъ княгини Витгенштейнъ (рожд. Барятинской). Около шестидесяти человѣкъ, всего больше изъ Сень-Жерменскаго предмѣстья, нѣсколько русскихъ, почти ставшихъ парижанами, нѣсколько духовныхъ лицъ иностраннаго происхожденія, три-четыре публициста разной величины, слушали рефератъ, читанный по-французски писателемъ, недавно прѣхавшимъ изъ Петербурга. Онъ излагалъ „Русскую идею“, сюжетъ знакомый тамъ въ литературномъ и политическомъ кругу; болѣе или менѣе извѣстный, но не довольно изучаемый у русскихъ, живущихъ или наѣзжающихъ въ Парижъ; почти совсѣмъ неизвѣстный во Франціи. Кто былъ этотъ лекторъ? Сами его соотечественники, за исключеніемъ нѣкоторыхъ, знали только, что это былъ сынъ одного изъ лучшихъ историковъ Россіи; что онъ, очень молодымъ, занималъ кафедру въ московскомъ университетѣ; что въ книгахъ и журналахъ онъ занимался главнымъ образомъ вопросами философскими и религиозными; что, какъ говорятъ, онъ любилъ парадоксальныя теоріи и что, съ оригинальными манерами, онъ велъ какъ бы кочевую жизнь.

„Французы смотрѣли на него и слушали его съ любопытствомъ. Онъ былъ высокаго роста, очень худощавый; съ длинными волосами, съ просѣдою, откинутыми назадъ; съ длинной, но рѣдкой бородой; съ великолѣпными глазами, чрезвычайно мягкими, ясными и глубокими, блестящими, несмотря на близорукость; голосъ съ оттѣнками, съ замѣчательной звучностью, важной или ласкающей; съ манерами скромными, почти робкими, съ несравненнымъ тономъ смѣлой и упорной энергіи,—таковъ былъ Владиміръ Соловьевъ.

„Что хотѣлъ онъ сказать намъ и какой спеціальный интересъ могла представить эта „Русская идея“? Имѣла ли она больше важности или больше ясности, чѣмъ „Идея“ французская, англійская, нѣмецкая или итальянская? Рѣчь не была длинна, но произвела впе-

чутлѣннѣ силы. Скоро аудиторія увидѣла, что лекторъ излагалъ мысли, касавшіяся самой сущности народа и заключавшія въ себѣ цѣлый кризисъ умственный и нравственный“...

Авторъ говоритъ о громадныхъ знаніяхъ Соловьева въ богословіи, философіи, исторіи, литературѣ: „...эти знанія, наклонность къ символизму и мистикѣ, поэтической талантъ,—столько дарованій возбуждали его во всѣхъ направленіяхъ. Не достигая цѣли, онъ не терялъ мужества, даже не утомлялся, и приступилъ къ инвентарю и классификаціи понятій, собранныхъ на столькихъ путяхъ. Христіанство доктринальное и живое представлялось ему какъ единственный синтезъ... Онъ увидѣлъ въ христіанскомъ догматѣ существенныя черты истинной религіи: абсолютную нравственную чистоту и полную всемірность; онъ прекрасно зналъ, что это черты нераздѣльныя“.

Въ первомъ философскомъ трудѣ Соловьева авторъ отмѣчаетъ вліяніе Канта и Шопенгауэра, но и эти труды „указываютъ тенденции, имъ руководившія, также какъ удивительныя средства его диалектики, ловкой, сильной, находчивой и остроумной. Его большая книга о нравственности, „Оправданіе добра“, заключаетъ собраніе анализовъ, которые могли бы послужить образцомъ даже для уточненныхъ мыслителей Запада. Я не упомянулъ еще о дарѣ ясности, который, казалось, господствовалъ въ немъ среди столькихъ замѣчательныхъ способностей и управлялъ бурнымъ и мистическимъ воображеніемъ. Читатели, которые познакомятся съ его книгой: „La Russie et l'Eglise universelle“, изданной въ Парижѣ, будутъ поражены изяществомъ и увѣренностью, съ какими Соловьевъ владѣлъ нашимъ языкомъ“.

Приводимъ еще нѣсколько словъ французскаго почитателя Соловьева. Хотя Соловьевъ носилъ характеръ проповѣдника, онъ не любилъ проповѣдывать. „Онъ боялся наводить скуку; онъ былъ веселъ оригинальной веселостью, мягкой, привлекательной и шумной. Съ самой изумительной гармоніей, его замѣчанія глубокаго мыслителя смѣшивались съ увлеченіями и взрывами дѣтской радости. Его манера была скромная, уступчивая, но онъ преображался вдругъ, когда ему говорили о предметѣ важномъ. Эта высокая, худая фигура, казавшаяся такой слабой, внезапно выпрямлялась, какъ бы поддерживаемая стальной арматурой. Съ лицомъ, блестящимъ энергіей и ясностью, полнымъ голосомъ, онъ развивалъ объясненіе, въ которомъ быстро слѣдовали, одни за другими, разсужденія и факты. Это былъ правильный и могущественный водопадъ идей. Немногіе люди бывали въ такой мѣрѣ властителями своей мысли“.

Авторъ говоритъ, наконецъ, и о безконечной добротѣ Соловьева. Кто близко зналъ Соловьева,—найдетъ въ этихъ строкахъ много

вѣрныхъ замѣчаній о вѣншемъ и внутреннемъ складѣ этого характера. Но французскому писателю не часто удается правильно понять личность изъ русскаго круга. — А. П.

II.

Lucien Descaves et Maurice Donnay. La Clairière. Comédie. Стр. 296.

Люсьенъ Декавъ, извѣстный авторъ „Les Sous-offs“, „Biribi“ и другихъ романовъ, повѣстей и драмъ изъ быта французскихъ солдатъ и рабочихъ, справедливо считается знатокомъ народной среды. Онъ — беспощадный натуралистъ, и часто сгущаетъ краски, останавливаясь предпочтительно на мрачныхъ и уродливыхъ подробностяхъ жизни. Общій тонъ его описаній — обличительный; указывая на зло милитаризма, рисуя типы, созданные казарменнымъ бытомъ, и деморализацію на всѣхъ ступеняхъ военной іерархіи, онъ бросаетъ вызовъ буржуазному обществу, которое видитъ въ военной организаціи свой оплотъ. Разоблаченія Декава производили при своемъ появленіи именно впечатлѣніе смѣлаго вызова, возбуждая раздраженіе и возмущеніе лицемѣрныхъ патріотовъ, которые боятся истины, грозящей ихъ душевному спокойствію. По самому замыслу этихъ произведеній, отъ нихъ нельзя было ожидать ничего другого, кромѣ беспощаднаго изображенія дѣйствительности. — „Вотъ какова ваша хваленая армія“, — говорилъ Декавъ въ своихъ правдивыхъ и яркихъ характеристикахъ разныхъ военныхъ чиновъ, въ своихъ наводящихъ ужасъ описаніяхъ дисциплинарныхъ баталіоновъ. Никакого исхода онъ не указываетъ, давая этимъ понять, что частныя мѣры не могутъ помочь тамъ, гдѣ нужны коренныя преобразованія.

Въ новѣйшемъ своемъ произведеніи Декавъ нѣсколько измѣнилъ своему прежнему пессимизму. Въ сотрудничествѣ съ драматургомъ Доннэ (авторомъ „Doulougeuse“, „Amants“ и др.) онъ написалъ весьма интересную по замыслу пьесу подъ заглавіемъ „La Clairière“ (Просѣлка). Въ ней онъ попрежнему не идеализируетъ своихъ героевъ, представителей народной массы и буржуазіи, а напротивъ того, отмѣчаетъ мелочность и нравственное паденіе людей, воспитанныхъ среди суровой борьбы за жизнь, влекущей за собой подозрительность, зависть и злобу. Но въ этой мрачной картинѣ Декавъ увидѣлъ „просвѣтъ“. Онъ вѣритъ въ возможность того, что можетъ наступить мигъ просвѣтлѣнія въ не совсѣмъ еще испорченныхъ жизнью натурахъ. Онъ могутъ понять, что жизнь станетъ болѣе ясной и легкой, когда люди начнутъ относиться другъ къ другу съ любовью и жить дружно, вмѣ-

сто того чтобы строить свое благополучіе на борьбѣ съ другими. Такіе люди могутъ понять, что единеніе болѣе плодотворно, чѣмъ борьба человѣка съ человѣкомъ. Понявъ это, даже немногіе люди могутъ собрать вокругъ себя единомышленниковъ, и съ ихъ помощью создать зерно будущаго общества, построеннаго на свѣтлыхъ началахъ любви и взаимопомощи. Пусть осуществленіе подобной затѣи—утопія; пусть дѣйствительность разрушить смѣлыя начинанія, — они все-таки принесутъ свои плоды, доказавъ, что только переживанія слишкомъ долго длившагося эгоистическаго строя мѣшаютъ людямъ сразу переродиться. Отраднo и то, что въ отдѣльныхъ людяхъ зарождается вѣра въ возможность согласной жизни. Вѣра однихъ заражаетъ другихъ; каждая попытка влечетъ за собою другія, пока еще тоже одиночныя, подготавливая почву для общаго просвѣтлѣнія въ будущемъ. Такова основная мысль Декава въ пьесѣ, изображающей именно неудавшуюся, утопическую попытку создать небольшую общину, объединенную взаимнымъ довѣріемъ и любовью всѣхъ членовъ. Община распадается по внутреннимъ причинамъ, но основатели ея не считаютъ свое дѣло проиграннымъ; они довольны тѣмъ, что заронили зерно истины—хотя бы и въ неподготовленную почву. Они увѣрены, что ни одинъ свѣтлый порывъ души не теряется въ жизни, что ихъ идея возродится при другихъ, болѣе благопріятныхъ обстоятельствахъ, и въ концѣ концовъ восторжествуетъ. Въ такомъ освѣщеніи община, которую рисуетъ Декавъ, перестаетъ быть фантастической утопіей, такъ какъ онъ принялъ во вниманіе все, что препятствуетъ ея осуществленію въ дѣйствительности. Идеалистическій замыселъ соединяется у него съ трезвымъ изображеніемъ слабыхъ, ничтожныхъ людей, неспособныхъ сплотиться для общаго дѣла. Самое названіе пьесы указываетъ на скромность замысла автора. Онъ не мечтаетъ о преобразованіи всего общественнаго строя, а только о томъ, чтобы вырубить просѣку въ мрачномъ лѣсу уродливой современной жизни. Чуждый всякой идеализаціи, онъ показываетъ, что и эта мечта неосуществима. Оптимизмъ его вывода заключается только въ томъ, что онъ признаетъ пользу даже и неосуществимыхъ стремленій къ истинѣ.

Пьеса Декава и Доннэ имѣла выдающійся успѣхъ въ Парижѣ, въ театрѣ Антуана; это, однако, объясняется скорѣе ея замысломъ, нежели художественными достоинствами. Въ ней слишкомъ много теоретическихъ разсужденій, и психологія дѣйствующихъ лицъ сдѣлана поверхностно. Нѣкоторые лица совершенно шаблонны, какъ, напр., муниципальный совѣтникъ, для котораго политика служитъ средствомъ устроить свою карьеру. Онъ преслѣдуетъ учительницу, соблазненную его сыномъ, агитируетъ на выборахъ, слишкомъ явно преслѣдуя только личныя выгоды, выживаетъ всякими неблаговидными способами не-

удобныхъ ему, т.-е. слишкомъ честныхъ людей, и т. д.,—все это избитые приемы, которыми слишкомъ часто пользовались для обличенія французскихъ общественныхъ нравовъ. Гораздо важнѣе было бы показать несостоятельность самого строя, не сваливая всей вины на недобросовѣстность отдѣльных его представителей. Основатели и члены общины тоже обрисованы слишкомъ односторонне; одни слишкомъ идеальны, другіе слишкомъ погрязли въ грубости и порокахъ, причемъ характеры отдѣльных лицъ совершенно невыяснены. Откуда взялась у простого мастерового, портного Руфье, высота духа, охраняющая его душу отъ злобы даже тогда, когда дѣло его гибнетъ вслѣдствіе неискоренимой испорченности его собственныхъ товарищей? Почему именно онъ и еще два человѣка, сочувствующие ему, способны совершать подвиги человеколюбія, а другіе, воспитавшіеся въ той же средѣ, какъ и они, губятъ попытку общественнаго обновленія упорствомъ своихъ злобныхъ инстинктовъ? Эти произвольные контрасты нужны для выясненія идеи автора, но художественность общаго впечатлѣнія отъ этого сильно страдаетъ.

Дѣйствующія лица драмы принадлежатъ къ тремъ категоріямъ: созидатели общины, противники ея, и люди, которыхъ сама жизнь заставляетъ искать спасенія въ общинѣ. Последняя категорія—наиболѣе важная, такъ какъ цѣль авторовъ—доказать необходимость какого-нибудь исхода для жертвъ современнаго общественнаго строя. Первый актъ драмы обрисовываетъ жизнь нѣсколькихъ людей, подвергающихся несправедливому преслѣдованію общества и совершенно не предвидящихъ конца своей бесплодной борьбы съ обстоятельствами. Молодой докторъ Алеирасъ пользуется любовью населенія и скромно живетъ вмѣстѣ со своей подругой; она не можетъ стать его законной женой, такъ какъ онъ не въ состояніи добиться развода со своей первой, давно покинувшей его супругою. Близость любимой женщины стоитъ ему съ самаго начала многихъ жертвъ,—его собственная мать прервала съ нимъ всякія сношенія. Но ему предстоитъ еще много другихъ испытаній. Онъ навлекъ на себя неудовольствіе муниципальнаго совѣтника тѣмъ, что не захотѣлъ помочь ему отдѣлаться отъ мѣстной учительницы—тоже одной изъ жертвъ общественнаго эгоизма. Муниципальный совѣтникъ Вердье, онъ же владѣлецъ большой типографіи, а также издатель мѣстной газеты, начинаетъ мстить Алеирасу; вскорѣ жизнь молодого врача становится мукой. Мѣстная газета преслѣдуетъ его разными инсинуаціями; его незаконное сожителство становится предметомъ насмѣшекъ; про его подругу распространяютъ грязныя сплетни; каждый день, открывая газету, Алеирасъ находитъ въ ней какую-нибудь новую выходку противъ себя. Результаты этой травли очень скоро обнаруживаются: Алеирасъ теряетъ мало-по-малу своихъ

пациентовъ, тѣмъ болѣе, что его врагъ выписалъ въ городъ другого доктора и пользуется своимъ вліяніемъ для того, чтобы вся практика Алейраса перешла къ его конкуренту. Жанна, подруга молодого врача, въ полномъ отчаяніи, — она видитъ, что оставаться имъ въ городѣ нельзя, что придется вернуться въ Парижъ, гдѣ ихъ, конечно, снова ожидаетъ нужда, гдѣ нужно вновь пробивать себѣ дорогу послѣ того, какъ жестокость и несправедливость людей разрушила положеніе, достигнутое путемъ огромнаго труда. Но Алейрасъ понимаетъ, что возвращеніе въ Парижъ не спасетъ его. Тамъ, или во всякомъ другомъ городѣ, гдѣ онъ можетъ поселиться, ихъ вѣроятно встрѣтитъ та же злоба, тѣ же преслѣдованія, если онъ не захочетъ вступить въ стачку съ эксплуататорами и въ свою очередь угнетать другихъ. Но у него есть другой исходъ. Онъ поддерживаетъ дружескія сношенія съ маленькой рабочей общиной „La Clairière“, приходитъ туда лечить больныхъ; члены общины — простые рабочіе, но они умѣютъ уважать трудъ и свободу личности. Въ самый критическій для молодого доктора моментъ, когда онъ озлобленъ безпощадностью своихъ враговъ, къ нему является основатель „Clairière“, предлагаетъ ему поселиться у себя и общаетъ ему построить лабораторію для его научныхъ работъ. Докторъ и Жанна съ удовольствіемъ принимаютъ приглашеніе, къ великой радости предсѣдателя общины и его друзей; они считаютъ благодѣяніемъ со стороны человѣка науки то, что онъ согласенъ раздѣлять ихъ скромную жизнь и содѣйствовать своимъ умомъ и своими знаніями дѣлу, начатому простыми рабочими. Рабочая община, еще до вступленія въ нее доктора, обогатилась однимъ членомъ изъ интеллигентной среды. Мѣстная учительница, Елена Суриссэ, изъ-за которой докторъ навлекъ на себя вражду муниципальнаго совѣтника, тоже очутилась въ безвыходномъ положеніи. Одинокая, тоскующая среди своихъ утомительныхъ и однообразныхъ занятій (строго опредѣленная школьная программа не давала ей возможности проявить какую-либо личную инициативу), она рада была знакомству съ сыномъ муниципальнаго совѣтника, парижскимъ студентомъ, который, пріѣзжая домой на каникулы, часто заходилъ къ ней и развлекалъ ее разговорами. Но знакомство это погубило Елену. Пользуясь беззащитностью красивой дѣвушки, молодой Вердье соблазнилъ ее и бросилъ, когда узналъ, что она готовится стать матерью. Отецъ его, чтобы выпутать сына изъ непріятной исторіи, задумываетъ хитрый планъ: онъ хочетъ выхлопотать отпускъ для учительницы, подъ предлогомъ ея нездоровья, и затѣмъ, въ ея отсутствіе, потребовать ея увольненія. Къ Алейрасу онъ обратился за докторскимъ свидѣтельствомъ; но когда тотъ узналъ отъ самой дѣвушки всю правду, онъ никакого свидѣтельства не даетъ, а убѣждаетъ Елену вступить въ общину. Тамъ, къ тому же, чрезвы-

чайно нуждаются въ учительницѣ, для того чтобы не посылать дѣтей въ коммунальную шеолу. Такимъ образомъ, въ рабочей общинѣ при-мыкають пролетаріи интеллигентнаго класса, столь же страдающіе отъ эксплуатаціи и несправедливости буржуазнаго общества, какъ и рабочій классъ.

Какова же сама община, дающая пріютъ жертвамъ буржуазнаго строя? Основныя ея начала очевидно навѣяны ученіемъ гр. Льва Толстого. Трудъ долженъ замѣнить деньги. Всѣ работаютъ, каждый по своей специальности, обмѣниваясь продуктами труда. Все, что, нужно для удовлетворенія жизненныхъ потребностей, производится самими членами общины; кромѣ того, они продають въ городѣ свои издѣлія, и вырученныя деньги покрываютъ общіе расходы. Частной собственности нѣтъ, но никто ни въ чемъ не нуждается, потому что дружный, исполняемый съ готовностью и радостью трудъ обезпечиваетъ всѣмъ извѣстное благосостояніе. Члены общины имѣють даже возможность давать пріютъ старымъ и увѣчнымъ рабочимъ, которые приходятъ къ нимъ отдохнуть. Всѣ члены совершенно свободны; они могутъ въ каждую данную минуту уйти или вернуться послѣ временнаго отсутствія. Къ слабостямъ и порокамъ своихъ сочленовъ основатели общины относятся съ любовью и снисходительностью. Есть между ними закоренѣлые пьяницы и лѣнтяи — но ихъ не преслѣдуютъ, и эта доброта, готовность поработать за товарища, отдавагося слабости, благотворно дѣйствуетъ даже на самыя испорченныя натуры. Члены общины — менѣе всего мятежники; они аккуратно платятъ налоги и только воздерживаются отъ подачи голосовъ на выборахъ, такъ какъ это не составляетъ обязательнаго гражданскаго долга, а они по опыту знаютъ, что парламентскіе депутаты заботятся только о своихъ личныхъ дѣлахъ, а не объ исполненіи своихъ обязанностей. Цѣль общины — не борьба противъ государственнаго строя, а попытка нравственнаго перевоспитанія въ духѣ любви и взаимопомощи. Есть между ними одинъ только болѣе рѣшительный противникъ существующаго порядка, — рабочій, уклонившійся отъ воинской повинности во имя своихъ убѣжденій. Но онъ это дѣлаетъ на свой страхъ и живетъ въ общинѣ подъ чужимъ именемъ. Когда его тайна раскрыта, онъ уходитъ, чтобы нести одному всю отвѣтственность за свои дѣйствія.

Драматическій узелъ пьесы основанъ на томъ, что во всякомъ начинаніи есть двѣ стороны — идейная основа и люди, проводящіе ее въ жизни. Основа общины „La Clairière“ — идеальная, но не утопическая. Основатели сами — люди простые, безъ всякихъ отвлеченныхъ теорій; они вѣрятъ въ добрую волю другихъ людей и стремятся только поставить трудъ въ лучшія условія. Они приняли во вниманіе всѣ человѣческія слабости и мирятся съ ними; ихъ заблужденіе только въ

томъ, что они не понимаютъ всей глубины нравственной испорченности людей, не понимаютъ, что даже для собственной пользы большинство людей не въ состояніи освободиться отъ вкоренившихся въ нихъ злобныхъ инстинктовъ. Жизнь маленькой общины могла бы сложиться идеально, но отдѣльные члены сами вносятъ въ нее смуты. Одинъ изъ рабочихъ записъ, — основатель общины готовъ ему это простить и не тяготится тѣмъ, что работаетъ на пользу недостойнаго, — но другіе возмущаются и поднимаютъ разговоръ о неравномѣрномъ распредѣленіи труда. Въ нѣкоторыхъ обитателяхъ „La Clairière“ сказывается столь характерная для французскаго крестьянина черта — жадность: они обчитываютъ общину, не отдають всѣхъ денегъ, вырученныхъ за продажу общиннаго скота, копятъ гроши и прячуть ихъ по угламъ. Женщины оказываются особенно неспособными проникнуться идеей общинной жизни; онѣ занимаются сплетнями и доносами; каждая хотѣла бы пользоваться для себя трудомъ другихъ, но раздражается тѣмъ, что ея собственные труды не идутъ всецѣло на ея пользу. Сцены внутреннихъ раздоровъ представлены чрезвычайно живо; Декавъ обнаруживаетъ въ нихъ большое пониманіе узкости и мелочности некультурной народной среды. Великолѣпнень, напр., хитрый мужикъ, который представляется дурачкомъ, невыгодно продавшимъ скотъ, для того, чтобы не отдать въ общую кассу всѣхъ вырученныхъ имъ денегъ. Остроуміе, смыслѣнность французскаго рабочаго сказывается въ особенности въ сценѣ съ муниципальнымъ совѣтникомъ, который приходитъ въ общину агитировать въ пользу своего кандидата. Рабочіе очень тонко его вышучиваютъ, говоря, что не любятъ азартной игры: они знаютъ, что все равно, выйдетъ ли красное, или черное, — выигрываетъ только банкъ. Они объясняютъ ему также, что какъ ни хороша программа кандидата, — ей несомнѣнно будетъ недоставать одного — исполненія. Вѣдь не обяжется же онъ добиться дароваго и обязательнаго распредѣленія хлѣба по всей странѣ — а въ этомъ вся суть. Агитаторъ уходитъ ни съ чѣмъ. Роковыя для общины смуты наступаютъ со вступленіемъ въ члены „интеллигентовъ“. Въ Елену влюбляется одинъ изъ рабочихъ — это возбуждаетъ противъ нея и противъ ея подруги Жанны женщинъ, живущихъ въ общинѣ; кромѣ того, присутствіе образованныхъ людей, внесенныя ими привычки комфорта, даже обстановка, которую докторъ Алеярасъ подарилъ общинѣ, раздражаетъ свывшихся съ убогой жизнью рабочихъ и ихъ женъ. Всѣ усилія новыхъ членовъ побѣдить предубѣжденіе ни къ чему не приводятъ. Они понимаютъ всю прелесть свободной трудовой жизни; Елена ожила, гуляя съ дѣтьми по полямъ, занимаясь съ ними не по сухимъ программамъ, а побуждая ихъ любить и понимать природу, — ей нравится также полюбившій ее интеллигент-

ный рабочий, и она мечтает о томъ, что сумѣетъ сойтись со всѣми членами общины. Но всѣ усилія напрасны. Внутреннее несогласіе привело къ фактической гибели общины. Доносъ одной изъ женщинъ заставляетъ уличеннаго въ дезертиствѣ члена общины уйти изъ нея; уходитъ также одинъ изъ рабочихъ, котораго тянетъ къ прежней жизни. Основатели общины понимаютъ, что дѣло ихъ проиграно, но утѣшаются тѣмъ, что въ будущемъ общины будутъ основываться въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ, и создатели ихъ сумѣютъ побѣдить злобу и несправедливость въ отношеніяхъ людей. Неудачу своей попытки они объясняютъ тѣмъ, что въ ихъ общинѣ не было естественнаго сліянія между интеллигенціей и народной средой. Докторъ и Жанна явились въ общину благодѣтелями; другіе члены чувствовали въ ихъ поведеніи какую-то снисходительность, и самолюбіе рабочихъ было оскорблено; тотъ же дезертиръ, полюбившій Елену, пошелъ въ общину безъ достаточной вѣры въ возможность единенія, — онъ и внесъ духъ сомнѣнія, не вѣрилъ въ людей, окружавшихъ его, и этимъ создалъ разладъ. Наиболѣе виновна Елена, — она внесла любовь, чувство, наиболѣе разъединяющее людей тѣмъ, что оно обращено не на всѣхъ, а на одного. Пьеса заканчивается подведеніемъ итоговъ, разъясненіемъ именно этихъ, препятствующихъ единенію причинъ. Искоренимы ли онѣ — вотъ вопросъ, которымъ заканчивается драма. Можно ли изъять изъ человѣческихъ душъ сомнѣніе и любовь, можетъ ли исчезнуть культурное и уметвенное неравенство? Конечно, въ будущемъ мыслимо единеніе между людьми — нужно только воспитать коренныя свойства человѣческой души такъ, чтобы они служили не во вредъ, а на благо человѣчеству.

III.

Edmond Rostand. L'Aiglon. Drame en six actes, en vers. Paris, 1900. Стр. 263.

Эдмондъ Ростанъ, авторъ столь популярной во Франціи и за ея предѣлами, — между прочимъ и въ Россіи, — „Принцессы-Грѣзы“ (*La princesse lointaine*), занимаетъ неопредѣленное положеніе въ литературѣ. Публикѣ онъ чрезвычайно нравится своими эффектными драмами; каждая изъ нихъ занимаетъ публику еще задолго до ея появленія на сценѣ, такъ какъ и самъ авторъ, и знаменитая актриса, для которой онъ пишетъ свои пьесы, Сара Бернаръ, чрезвычайно искусно умѣютъ рекламировать себя. „Premières“ комедій и драмъ Ростана являются обыкновенно событіемъ парижскаго сезона; пьесы его выдерживаютъ огромное количество представленій. Литература же, въ лицѣ

лучшихъ представителей критики, относится отрицательно къ этому любимцу публики. За нимъ признають несомнѣнный версификаторскій талантъ, блескъ стиха, умѣнье дѣлать мастерскія поддѣлки подъ разные стили, искусство создавать сценическіе эффекты, но всѣ согласны съ тѣмъ, что за этой вѣшной талантливостью не скрывается истинной художественной силы, способной создавать что-либо значительное и оригинальное. Ростанъ занимаетъ въ поэзіи приблизительно такое же мѣсто, какъ Жоржъ Онэ въ области романа. Публика зачитывается романами Онэ, увлеченная сложностью интриги и эффектнымъ, хотя и совершенно фальшивымъ изображеніемъ жизненныхъ положеній и характеровъ. Точно такъ же и въ стихотворныхъ драмахъ Ростана чувства и характеры совершенно фальшивы, но его герои и героини нравятся именно ихъ условнымъ благородствомъ. Оно кажется пошлостью болѣе утонченному художественному чувству, но влечетъ къ себѣ толпу своей почти наивной фальшью.

У Ростана есть несомнѣнный талантъ,—но это талантъ фабриканта поддѣльныхъ изображеній жизни. Онъ по природѣ скептикъ, жизнерадостный во французскомъ смыслѣ слова, умѣющій найти во всемъ смѣшную сторону, и находящій въ смѣхѣ разрѣшеніе всѣхъ загадокъ и всѣхъ страданій. Вся его философія сводится къ пониманію жизни какъ игры самолюбія. Герой—тотъ, кто умѣетъ найтись во всякомъ положеніи и выйти побѣдителемъ, благодаря удачно сказанному словцу. Душевныхъ страданій, отъ которыхъ нельзя бы было спастись остроуміемъ, онъ не знаетъ; таинственность жизни не существуетъ для него, такъ какъ все разрѣшается для него фехтованіемъ на словахъ. Съ такимъ складомъ души и ума легко воссоздавать вѣщныя формы всевозможныхъ чужихъ настроеній, не затрагивая ихъ сущности. Комедія, легкая сатира, пародія—вполнѣ соответствуютъ дарованію Ростана; въ нихъ онъ проявляетъ цѣлую бездну остроумія и пониманія комическихъ сторонъ жизни. Его первая комедія „Романтики“—чрезвычайно выдержанная каррикатура сентиментальности. Ростанъ высмѣиваетъ влеченіе къ романтическимъ аксессуарамъ жизни у буржуазныхъ натуръ, которымъ нечѣмъ заполнить пустоту души. Въ такихъ сюжетахъ, гдѣ все держится на вѣшнемъ остроуміи, на оригинальности положеній, обличающихъ смѣшную сторону и суетность мелкихъ характеровъ, Ростанъ оказывается на высотѣ своего таланта, очень изысканно шутитъ, играетъ стихомъ, поражаетъ неожиданностью и богатствомъ рѣчь и создаетъ особую атмосферу легкой и нарядной жизни, напоминая каждой сценкой игривую и искусственную грацію картинъ Ватто. Вся пьеса—поддѣлка подъ стиль XVIII-го вѣка. Пикантность комедіи заключается въ томъ, что отжившіе идеалы вѣка, обожавшаго все красивое въ жизни, перенесены въ буржуазную совре-

женную среду и стали вслѣдствіе этого уже не наивно-поэтичными, а комичными. Ростанъ воспроизводитъ воздушную грацію отжившей эпохи, но склоненъ видѣть въ ней преимущественно то, что дѣлаетъ ее смѣшной въ глазахъ трезваго матеріалиста-буржуа.

Еще болѣе удачно выбранъ сюжетъ второй изъ наиболѣе удачныхъ пьесъ Ростана—„Сирано де-Бержеракъ“. Этотъ рыцарь ума, или даже вѣрнѣе—не ума, а остроумія, воплощаетъ собою идеаль Ростана. Онъ съ безконечной любовью и настоящимъ вдохновеніемъ воссоздаетъ образъ уродливаго поэта XVII-го вѣка, одерживающаго побѣды надъ сердцами красавицъ, побивающаго всѣхъ соперниковъ,—какъ бы они ни были красивы и привлекательны,—только силой своего краснорѣчія, остроуміемъ своихъ выходовъ. Сирано умѣетъ сильно чувствовать и страдать—но не это въ немъ занимаетъ Ростана. Ему важно показать торжество ума надъ красотой. Даже болѣе высокія, душевныя качества его героя—его великодушіе, рыцарскія чувства и благородство—являются лишь слѣдствіемъ стремленія завоевать жизнь блескомъ ума. Сирано имѣетъ много основаній страдать и чувствовать себя несчастнымъ, но въ каждомъ положеніи онъ видитъ возможность проявить свое умственное превосходство, и сказанная удачно фраза, побѣда въ поединкѣ на словахъ, удовлетворяетъ его самолюбіе и разрѣшаетъ всѣ страданія. Храбрость и великодушіе для него тоже—не внутренняя потребность души, а болѣе утонченное средство въ борьбѣ за жизненный успѣхъ, затрудненный его физическимъ уродствомъ. „Сирано де-Бержеракъ“—несомнѣнно лучшая вещь Ростана, вслѣдствіе духовной близости автора и его героя. Вся пьеса—опять поддѣлка подъ стиль XVII-го вѣка, поддѣлка очень блестящая, эффектная, но лишенная внутренняго значенія, такъ какъ никакого оригинальнаго освѣщенія поэтъ не даетъ жизни и характеру данной эпохи; основная идея Сирано сводится къ игрѣ остроумія, къ восхваленію качествъ ума, направленнаго не на исканіе истины, а на достиженіе мимолетнаго успѣха у окружающихъ.

Ростанъ не ограничивается, однако, въ своихъ поддѣлкахъ сюжетами, соответствующими его собственному складу ума. Онъ хочетъ доказать, что ему доступны всякія настроенія—не только игривость и легкомысліе, а мистическія чувства и героизмъ. Когда въ моду вошелъ идеализмъ, и въ литературѣ заговорили о мистическомъ влеченіи къ далекой, неосуществимой красотѣ, Ростанъ поспѣшилъ низвести это сложное, обусловленное развитіемъ философской мысли теченіе до уровня толпы—и написать свою знаменитую „Принцессу-Грёзу“. Въ ней хороша только искусная поддѣлка языка средневѣковой поэмы; внутреннее же содержаніе отзывается глубокой фальшью, потому что самому автору совершенно чуждо настроеніе его героя.

Влеченіе Бертрана къ невѣдомой, далекой принцессѣ не имѣетъ никакого психологическаго оправданія. Ростанъ настолько не умѣлъ войти въ духъ своего сюжета, что превратилъ его въ довольно плоскій „адултерный“ романъ. Несмотря на старанія автора, ничего „мистическаго“ нѣтъ въ исторіи флирта заоблачной принцессы съ другомъ Бертрана, и вся пьеса, съ ея полу-водевильной интригой, является искаженіемъ средневѣковой поэтической легенды, поддѣлкой подъ символизмъ.

Новая пьеса Ростана „Орленокъ“ („Aiglon“) прошумѣла въ Парижѣ во время послѣдней выставки, главнымъ образомъ, благодаря обаянію Сары Бернаръ. „Орленокъ“—драма, почти трагедія, на тему, соблазнявшую не разъ художниковъ. Основная идея сводится къ тому, что въ положеніи, требующемъ геройства, очутился человѣкъ безконечно слабый и, главное, сознающій свое безсиліе. Въ мечтахъ и желаніяхъ онъ способенъ совершать подвиги, чувствуетъ величіе возложенной на него судьбой миссіи, готовится къ выполненію ея съ безконечнымъ жаромъ и рвеніемъ; но когда приходитъ моментъ дѣйствія—онъ безсиленъ, не можетъ преодолѣть перваго и самаго легкаго препятствія, и гибнетъ въ сознаніи безысходности своей судьбы. Психологическій замыселъ пьесы очень интересенъ; но Ростанъ, не углубляясь въ анализъ сложныхъ душевныхъ движеній, ограничивается внѣшними эффектами, картинностью положеній. Неспособный къ вполнѣ оригинальному творчеству, къ свободной игрѣ фантазій, Ростанъ и на этотъ разъ ищетъ поддержки въ документахъ. Прежде онъ подлаживался подъ характеръ французской жизни то XII-го, то XVII-го или XVIII-го вѣка; на этотъ разъ онъ взялъ опредѣленный историческій сюжетъ. Его трагическій герой, погибающій отъ разлада между внутреннимъ безсиліемъ и положеніемъ, требующимъ геройства,—не созданіе творческой фантазій автора, а историческое лицо—сынъ Наполеона I, юный герцогъ Рейхштадтскій. Послѣ паденія Наполеона, онъ живетъ, вмѣстѣ съ матерью, въ Австріи, подъ строгимъ надзоромъ своего дѣда, австрійскаго императора, и во власти Меттерниха. Историческихъ данныхъ о герцогѣ Рейхштадтскомъ не много: существуетъ портретъ необычайно красиваго, блѣднаго и слабаго юноши; извѣстно, что онъ умеръ очень молодымъ въ Шенбрунѣ; что французскіе бонапартисты, въ союзѣ съ республиканскою партіей, пытались воспользоваться именемъ Наполеона II-го для борьбы съ Бурбонами. Несомнѣнно также, что Австрія дорожила тѣмъ, что у нея въ рукахъ наслѣдникъ Наполеона, и пользовалась имъ для запугиванія французскаго правительства. Существуютъ данныя и о неудавшемся заговорѣ съ цѣлью возведенія на престолъ Наполеона II-го; въ заговорѣ участвовала двоюродная сестра герцога Рейхштадтскаго, гра-

финя Камерата. О характеръ молодого герцога ничего опредѣленнаго неизвѣстно, — и поэтъ создалъ, на основаніи историческихъ данныхъ, совершенно фантастическій образъ своего героя. На это онъ, конечно, имѣлъ полное право, и нельзя ставить въ упрекъ Ростану несоотвѣстствіе его „Орленка“ съ историческимъ герцогомъ Рейхштадтскимъ. Напротивъ того, слабость его произведенія — въ томъ, что онъ недостаточно фантазировалъ, а только растянулъ на цѣлыхъ шесть актовъ нѣсколько скудныхъ положеній, данныхъ ему исторіей. Слѣды геройства и слабости въ характерѣ герцога Рейхштадтскаго является въ пьесѣ какимъ-то механическимъ слѣдствіемъ самыхъ положеній. Фантазіи автора принадлежать только отдѣльныя эффектные сцены, опять-таки вытекающія изъ внѣшнихъ фактовъ, а не изъ внутреннего изученія характера. Въ пьесѣ нѣтъ никакой цѣльности. Это рядъ чередующихся отдѣльныхъ картинъ; въ каждой изъ нихъ взято извѣстное по исторіи положеніе, причемъ авторъ, посредствомъ шаблонно-краснорѣчивыхъ тирадъ, пригоняетъ къ нимъ сочиненный имъ образъ героя. Никакого внутреннего развитія характера въ пьесѣ нѣтъ, — есть только опредѣленные положенія и сочиненныя къ нимъ слова. Извѣстно, что Марія-Луиза, мать герцога Рейхштадтскаго, не любила Наполеона, не понимала его величія, и чувствовала себя гораздо лучше въ атмосферѣ австрійской придворной жизни, чѣмъ во время своего пребыванія во Франціи. Извѣстно также, что Меттернихъ былъ искуснымъ политикомъ и дипломатомъ; извѣстно, что романтически-настроенная французская молодежь чувствовала симпатію къ сыну великаго императора, а что касается молодого герцога Рейхштадтскаго, то можно предположить, что онъ тяготился своимъ положеніемъ полу-цѣлѣнника при австрійскомъ дворѣ и мечталъ о славѣ отца. Вотъ всѣ данныя, извѣстныя о лицахъ, выведенныхъ въ драмѣ Ростана, и ничего новаго поэтъ къ этому не прибавляетъ. Онъ только сочиняетъ эффектную *mise en scène* для внѣшняго изображенія историческихъ персонажей. Суетность австрійскаго двора изображена въ сценахъ придворной жизни съ ея пустыми забавами. Марія-Луиза грустна, но не потому, что она думаетъ о Наполеонѣ, а потому что умеръ ея вѣрный другъ, графъ Нейпергъ. Она любитъ и заботится о своемъ сынѣ, — но еще болѣе; чѣмъ его здоровье, ее волнуетъ исчезновеніе ея любимого попугая; она возгается гнѣвомъ на французскаго посланника за то, что онъ называлъ ее высочествомъ, а не величествомъ, и т. д. Такого рода мелкими чертами Ростанъ намѣчаетъ атмосферу, окружающую герцога Рейхштадтскаго. Самъ молодой герцогъ изображенъ романтическимъ мечтателемъ эпохи байронизма. Меттернихъ является въ драмѣ хитрымъ политикомъ, который, однако, всегда говоритъ о тайнахъ своихъ дипломатическихъ плановъ; онъ объясняетъ

французскому attaché свою систему воспитанія герцога, котораго онъ старается держать въ полномъ невѣдѣніи относительно исторіи его отца. Въ изложеніи всѣхъ этихъ данныхъ проходитъ очень растянутый первый актъ. Сочинительство Ростана проявляется только въ одной сценѣ; Марія-Луиза, скучающая по парижскимъ модамъ, выписала оттуда портного для сына и портнику для себя—въ увѣренности, что новый нарядъ развеселитъ герцога. Оказывается, что подъ видомъ закройщика и закройщицы изъ моднаго магазина къ герцогу явились заговорщики, уговаривающіе его бѣжать изъ Австріи и провозгласить себя императоромъ. Сцена примѣрки платья очень эффектна. Сначала идутъ разговоры о модахъ,—и въ нихъ Ростанъ щеголяетъ обиліемъ подробностей, причемъ слова и сравненія портного производятъ тоже впечатлѣніе шика, изящества и нарядности, какъ платье, вышедшее отъ моднаго артиста-портного. Герцогъ отвергаетъ образцы, предлагаемые портнымъ, и заказываетъ ему костюмъ по выдуманному имъ самимъ фасону,—причемъ и зрители, и портной, сейчасъ же понимаютъ, что дѣло идетъ объ изготовленіи знаменитой *petite redingote* Наполеона I-го. Тогда мнимый портной открывается герцогу, радуется тому, что въ сынѣ Наполеона живетъ духъ его отца, и возбуждаетъ въ юношѣ желаніе дѣйствовать или, по крайней мѣрѣ, подготовиться къ дѣйствию, для котораго онъ еще не считаетъ себя созрѣвшимъ. За сценой съ портнымъ слѣдуетъ другая, еще болѣе эффектная сцена урока исторіи. Вопреки стараніямъ Меттерниха и приставленныхъ имъ къ герцогу учителей, герцогъ оказывается великолѣпно освѣдомленнымъ о побѣдахъ и подвигахъ своего отца; онъ приводитъ въ ужасъ своихъ учителей пламеннымъ изложеніемъ скрываемой отъ него исторіи Наполеона. Въ слѣдующихъ актахъ идетъ тоже чередованіе отрывочныхъ историческихъ свѣдѣній съ отдѣльными эффектными сценами. Обстоятельства все болѣе и болѣе требуютъ геройства отъ молодого герцога, а въ душѣ его растетъ сомнѣніе въ своихъ силахъ. Онъ думаетъ, что окруженъ врагами, а между тѣмъ приставленный къ нему Меттернихомъ шпионъ оказывается старымъ наполеоновскимъ солдатомъ, готовымъ положить жизнь за сына великаго полководца. Одна изъ самыхъ удачныхъ сценъ въ драмѣ—та, гдѣ заговоръ уже на-половину подготовленъ, и старикъ Фламбд, мнимый шпионъ Меттерниха, стоитъ на часахъ передъ комнатою герцога въ Шенбруннѣ. Онъ самъ утратилъ сознаніе дѣйствительности: ему кажется что онъ въ старомъ Шенбруннѣ, что за дверью спитъ великій императоръ, а онъ, его вѣрный слуга, охраняетъ его покой. Фламбд оправляетъ свой изношенный мундиръ, беретъ изъ собираемой герцогомъ коллекціи наполеоновскихъ реликвій гренадерскую шапку и саблю, закручиваетъ усы и радуется тому, что снова похожъ на гренадера великой арміи.

Въ комнату входитъ Меттернихъ, не замѣчающій сначала солдата. Онъ видитъ на столѣ треуголку Наполеона (герцогъ Рейхштадтскій оставилъ ее на столѣ, какъ сигналъ для заговорщиковъ) и предается воспоминаніямъ о Наполеонѣ, говоритъ о своей ненависти къ великому императору. Ему тоже кажется, что здѣсь все по-старому, какъ во время присутствія императора въ Шенбруннѣ. Вдругъ передъ нимъ вырастаетъ фигура наполеоновскаго гренадера. Фламбѣ совершенно вошелъ въ роль и начинаетъ допрашивать Меттерниха о томъ, какъ онъ смѣлъ попасть сюда, говоритъ языкомъ наполеоновскаго времени, спрашиваетъ Меттерниха, какъ его пропустили въ покои императора мамелюкъ и придворный маршалъ. Меттернихъ совершенно растерялся среди этого кошмара, и когда Фламбѣ говоритъ ему, что за дверью—императоръ, онъ почти готовъ вѣрить. Но въ дверяхъ показывается герцогъ Рейхштадтскій, разбуженный шумомъ, и очарованіе исчезаетъ. Меттернихъ самъ сознается, что готовъ былъ повѣрить такъ живо разыгранной комедіи; Фламбѣ тоже утверждаетъ, что все, что онъ говорилъ и дѣлалъ, ему казалось дѣйствительностью, и онъ выскакиваетъ въ окно, чтобы спастись отъ преслѣдованій отрезвившагося Меттерниха. Сцена эта сдѣлана съ захватывающимъ пафосомъ и, несомнѣнно, одна изъ самыхъ удачныхъ въ пьесѣ. Самъ заговоръ и печальный исходъ его изображены игрушечно и блѣдно. Меттернихъ устроилъ маскированный балъ. Этими пользуются заговорщики. Графиня Камерата очень похожа фигурой и лицомъ на своего кузена и одѣта въ одинаковое платье съ герцогомъ; у нихъ только разные плащи; въ условленный моментъ они мѣняются плащами; настоящій герцогъ скрывается вмѣстѣ со своими приверженцами. Камерата остается на балу, окруженная любезничающими съ нею дамами, тоже участницами заговора, чтобы дать время герцогу спастись бѣгствомъ. Но герцогъ слабъ и неспособенъ совершить подвигъ, на который его толкаютъ друзья. На поляхъ Ватерлоо, куда онъ является со своими приверженцами, онъ чувствуетъ, что не можетъ идти дальше. Онъ узнаетъ, что его отсутствіе подвергаетъ опасности Камерату, которую могутъ убить, принявъ за него (онъ назначилъ свиданіе любящей его дѣвушкѣ; на это свиданіе отправилась переодѣтая въ его платье Камерата, и герцогъ узнаетъ, что братъ дѣвушки собирается убить соблазнителя сестры). Герцогъ хочетъ бросить все, вернуться, — его удерживаютъ; но замедленіе становится роковымъ: приближаются австрійскія войска, и—все кончено. Герцогъ остается одинъ у трупъ своего вѣрнаго Фламбѣ, всѣ его приверженцы разсѣяны, ему чудятся голоса всѣхъ павшихъ на этомъ полѣ, онъ понимаетъ, что безсиленъ воскресить прошлое и возвращается въ Шенбруннѣ; тамъ онъ умираетъ, окруженный заботами любящихъ его женщинъ. Такъ заканчивается драма,

состоящая изъ разбросанныхъ отдѣльныхъ картинъ и нѣсколькихъ эффектныхъ сценъ. Психологія дѣйствующихъ лицъ выражается не въ дѣйствіяхъ, а въ растянутыхъ монологахъ, расколаживающихъ читателя и зрителя. Серьезный замыселъ пьесы превысилъ чисто внѣшній талантъ Ростана, и онъ воспользовался своимъ сюжетомъ только для отдѣльных „выигранныхъ“ сценъ, связанныхъ между собою или простымъ изображеніемъ событій, или ходульными монологами.

IV.

Thekla Lingen. Am Scheidewege. Berlin, 1900. Стр. 99.

Текла Лингенъ—нѣмецкая поэтесса, живущая въ Россіи. Первый сборникъ ея лирическихъ стихотвореній, подъ заглавіемъ „Am Scheidewege“ („На перепутьи“), встрѣченъ былъ очень сочувственно въ Германіи. Въ настоящее время вышло второе, дополненное изданіе, которое тоже несомнѣнно найдетъ цѣнителей въ читающей публикѣ. Не будучи ни особенно оригинальной, ни смѣлой поэтессой, Текла Лингенъ привлекаетъ искренностью своихъ настроеній, человечностью своихъ порывовъ, а также художественностью стиха, фактура котораго обнаруживаетъ внимательное изученіе Гётевской лирики и знакомство съ лучшими образцами классическаго нѣмецкаго стиха. Текла Лингенъ выражаетъ очень простые чувства, но вкладываетъ подкупающую страстность въ свои впечатлѣнія. Весь сборникъ, состоящій изъ отдѣльныхъ короткихъ стихотвореній, представляетъ цѣльную исторію души, прошедшей черезъ рядъ душевныхъ бурь и нашедшей въ самой себѣ источникъ примиренія съ жизнью и полной гармоніи.

Три момента душевной жизни отражены въ чередующихся стихотвореніяхъ. Первая часть посвящена задору пылкихъ молодыхъ чувствъ, возмущенію противъ всякаго стѣсненія свободы, упоенію молодостью, красотой и счастьемъ. Очень сильно достается „семейному очагу“ отъ свободолюбивой поэтессы; картины семейной скуки, которыя она рисуетъ, представляютъ мало привлекательнаго. Въ стихотвореніи „Warnung“ она молить освободить ее: „Отпусти меня, дай уйти навсегда,—слишкомъ тѣсенъ твой домъ, не по силамъ борьба—верни мнѣ свободу скорѣй“. Въ случаѣ отказа, она даже грозитъ поддаться соблазняющему ее грѣху. Радости свободной любви воспѣты нѣсколько въ тонѣ цыганскихъ романсовъ („И черная роза“... „Ты осѣдланъ, мой горячій конь“... и др.); всѣ эти стихотворенія въ художественномъ отношеніи мало интересны. Позже, общее настроеніе

дѣлается болѣе серьезнымъ. Является любовь, осложненная страданіемъ, надеждами на неосуществимое; основнымъ мотивомъ становится борьба со страстью,—то полное повиновеніе ея призыву, то смутное исканіе иной, болѣе высокой правды. Стихотвореніе „Ohnmacht“ передаетъ свободнымъ, страстнымъ стихомъ безсиліе борьбы противъ природы, и чувствуется большой подъемъ настроенія въ безсильномъ ропотѣ протеста: „Къ тебѣ, природа, я вызываю съ жалобой. Зачѣмъ ты дала мнѣ стройный станъ, аллы губы и бѣлизну плечъ, сверканіе глазъ, улыбку устъ, сердце, которое бьется въ груди жаждой радости и наслажденій,—если ты отиѣтила мое чело холодной печатью воздержанія?“ Нѣтъ, конечно, новизны въ этомъ мятежномъ настроеніи, но оно выражено сильно и художественно.

Въ первыхъ стихотвореніяхъ торжество всегда на сторонѣ страсти, которая кажется молодому чувству побѣдой надъ рабствомъ жизни. А во второй части настроеніе углубляется внутренней борьбой противъ искушеній, причемъ побѣда надъ ними достигается не во имя вѣшняго долга, а путемъ внутренняго просвѣтленія. Въ стихотвореніи „Ohne Gott“, возмущеніе противъ ига семьи замѣняется возмущеніемъ противъ лжи, заключающейся въ измѣнѣ. Она не хочетъ „отнимать и красть счастье у другого“, зная, что это не дастъ счастья. „Я бы должна была осквернить храмъ истины, въ которомъ я всегда молилась, и вырыть собственными руками могилу дорогой моему сердцу любви“. Голосъ истины радается не извнѣ, а изъ глубины собственной души, и она должна ему поэтому повиноваться. „Пусть другія женщины вызываютъ къ Богу въ трудный часъ. Я же могу только сама себя простить, потому что сама дала себя законъ“. Въ тяжелый часъ искушенія оплотомъ ей служить материнское чувство. Въ „Versuchung“—два голоса слышатся молодой женщинѣ, которая сидитъ одна въ комнатѣ при мерцаніи догорающей свѣчи. Съ улицы какъ будто смотреть въ освѣщенное окно человѣкъ и говорить: „Если ты моя,пусти меня взглянуть на мерцаніе твоей свѣчи; если ты отвергаешь меня, затуши свѣчу“. Ее смущаетъ грѣхъ. Она не знаетъ—открыть ли дверь счастью, которое озаритъ ея комнату тысячею огней, или повиноваться долгу и затушить свѣчу. Душа ея рвется къ счастью, къ живому счастью, и вызываетъ въ глубокой мукѣ: одинъ разъ, одинъ только разъ унитися радостью и свѣтомъ. Она подноситъ свѣчу къ окну, но въ это время слышитъ голосъ ребенка: „Мама, погаси свѣчу“... „На улицѣ, въ ночной тиши, стоитъ человѣкъ, устремивъ взоръ къ темному окну“. Цѣлый рядъ другихъ моментовъ мучительной борьбы отражается въ страстныхъ, мятежныхъ стихахъ. Тяжелые сны свидѣтельствуютъ о томъ, какъ слабая душа бродитъ въ темномъ лѣсу; воспоминаніе объ утраченномъ сокровищѣ становится неотступной

тѣнью и смущаетъ сердце, жаждущее счастья. Что-то тяжелое и усталое ложится на душу, вызываетъ слезы и будитъ новыя желанія чистоты. Стихотвореніе „Усталость“ заканчивается словами: „Я изранила себѣ ноги на длинномъ пути къ счастью. Я со смѣхомъ побѣжала искать его, и вернулась такой усталой и притихшей“. Последній аккордъ настроенія выраженъ въ призывѣ смерти: „Приди, единственная, великая, тихая; я люблю тебя. Ты одна осталась отъ всѣхъ желаній, отъ всѣхъ поцѣлуевъ, отъ всѣхъ тяжелыхъ мукъ и страданій. Приди и полюби меня“... Это стихотвореніе, написанное въ страстномъ молитвенномъ тонѣ,—одно изъ лучшихъ въ сборникѣ.

Жажда смерти и успокоенія вызываетъ затѣмъ новое настроеніе. Третья часть могла бы быть названа возрожденіемъ. Сердце, уставшее въ борьбѣ, нашло въ самомъ себѣ покой и примиреніе. Новая жажда проснулась въ душѣ: слишкомъ глубоко заснули всѣ желанія, и встревоженная душа ищетъ ихъ возрожденія. „Слишкомъ долго длился покой, и если желаніямъ суждено умереть тихой смертью уставшихъ, исчезнуть прежде чѣмъ сила ихъ сказалась въ подвигѣ, я буду горько плакать надъ ихъ ранней могилой. Ихъ умертвилъ покой. Я хотѣла только дать имъ заснуть, и призвала этимъ смерть. Теперь мнѣ странно передъ ночью—о, еслибы они проснулись къ новой жизни!“ Молитва о возрожденіи исполняется:—желанія, а вмѣстѣ съ ними и сама душа оживаетъ, но въ ней проснулась иная гармонія. Природа со всѣмъ, что въ ней движется и живетъ, вѣтры, говорящія о странствіяхъ и блужданіяхъ, солнце, побѣждающее туманъ и ночь, движеніе и рокотъ волнъ, зелень и цвѣты въ садахъ,—все будитъ уставшую душу къ новымъ пѣснямъ и новой жизни и говоритъ громкими голосами: „Приснись! Неужели ты чувствуешь себя одинокой, неужели ты не можешь пѣть? Все должно придти, все должно пройти, и то, чего нельзя было одолѣть, должно было случиться. Торжествующая жизнь идетъ своимъ путемъ. Пусть одинокая слеза не задерживаетъ движенія. Подними заплаканные глаза къ свѣту. Живи своей жизнью и не бойся ея!“

Всѣ дальнѣйшія пѣсни говорятъ объ освобожденіи и просвѣтленномъ сознаніи. Нѣтъ раскаянія относительно прошлаго. Свободная душа отражается въ короткомъ смѣломъ стихотвореніи: „Die Trotzige“: „Что бы я ни сдѣлала, я беру все на себя. Никого это не касается, никто не смѣетъ ничего сказать. Все, что я сдѣлала, я сдѣлала сама. Мое счастье мнѣ принадлежитъ, и печаль моя тоже, и я одна буду нести ее“. Побѣда приноситъ съ собой примиреніе, любовь и близость ко всѣмъ людямъ. Въ стихотвореніи: „Die Schwestern“, поэтесса требуетъ отъ бѣдной дѣвушки, чтобы она не относилась съ презрѣніемъ къ пробѣжавшей мимо разряженной дамѣ, потому что ихъ соединяють одинаковыя страданія, одинаковое иго рабства. Въ „Die Alte“, она говоритъ

о встрѣчѣ со старой нищенкой въ паркѣ и о томъ, что чувствуетъ духовное родство съ ней. Она хочетъ только свободы и равенства между людьми, требуетъ, чтобы всякій отворялъ дверь, когда въ нее стучатся: „Смотри, я стою передъ твоей дверью, пусти меня! Смотри, я приношу тебѣ мою душу—она твоя“. Сборникъ заканчивается гимномъ къ жизни: „Я люблю тебя, жизнь, и хочу тебѣ служить, великая, прекрасная и жестокая. Дай мнѣ свой кубокъ, полный страданій! Я выпью его во славу тебѣ... Я преклоняюсь, славослова все, что ты даешь, прекрасная, побѣдная!“

Такъ заканчивается сборникъ, который по связности отдѣльных настроеній представляетъ законченное цѣлое — исторію слабой человеческой души съ ея борьбой, паденіями и побѣдами. Есть много чисто женскаго въ стихахъ Теклы Лингенъ,—но она и говоритъ о женскихъ чувствахъ и слабостяхъ, о женской судьбѣ. Нѣтъ въ ней желаній новыхъ гармоній, минутное возмущеніе кончается подчиненіемъ роковымъ законамъ; но есть несомнѣнное обаяніе въ умѣньѣ свободно принять судьбу и все, что даетъ жизнь.—З. В.



ИЗЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ ХРОНИКИ.

1 февраля 1901.

Историческая справка по вопросу о законности: эпизоды изъ дѣятельности Государственнаго Совѣта въ первой половинѣ XIX-го вѣка.—Право и права.—Мнѣніе барона М. А. Корфа о завідываніи дѣлами печати.—Характерный инцидентъ въ вологодскомъ уѣздномъ земскомъ собраніи.—Вопросъ, приближающійся къ сорокалѣтней давности.

Говоря выше, во „Внутреннемъ Обзорѣ“, о проектѣ наказа училищнымъ совѣтамъ, мы затронули вопросъ о значеніи порядка, въ которомъ создаются, измѣняются и отижаются законы. Теоретическія соображенія, приведенныя нами по этому предмету, находятъ весьма существенное дополненіе—и подтвержденіе—въ исторической справкѣ, заимствуемой нами изъ интересныхъ записокъ барона (впоследствии графа) Модеста Андреевича Корфа. Онѣ напечатаны въ „Русской Старинѣ“ за 1899 и 1900 гг. и обнимаютъ собою промежутокъ времени съ 1831 по 1851 г., когда бар. Корфъ былъ сначала управляющимъ дѣлами комитета министровъ, затѣмъ государственнымъ секретаремъ, наконецъ—членомъ Государственнаго Совѣта.

Въ 1839 г., въ Государственномъ Совѣтѣ разсматривался проектъ о преобразованіи денежной системы (переходъ съ ассигнацій на серебро). Въ соединенныхъ департаментахъ законовъ и экономіи произошло разногласіе, повторившееся и въ общемъ собраніи совѣта: семь членовъ согласились съ проектомъ министра финансовъ (гр. Канкриномъ), а семнадцать, съ предсѣдателемъ совѣта (кн. И. В. Васильчиковымъ) во главѣ, высказались противъ него. Одновременно съ совѣтской меморіей на разсмотрѣніе государя поступила записка гр. Канкринина, предлагавшаго новое, среднее мнѣніе—и считавшаго возможнымъ осуществить его безъ новаго пересмотра дѣла въ Государственномъ Совѣтѣ, послѣ совѣщанія, въ которомъ приняли бы участіе только кн. Васильчиковъ, гр. Канкринъ и бар. Корфъ. Государь выразилъ на то согласіе. Какъ скоро вѣсть объ этомъ дошла до кн. Васильчикова, онъ пришелъ въ сильное волненіе. „Не быть“—говорилъ онъ бар. Корфу и потомъ самому Канкрину,—„не быть этому безъ новаго разсмотрѣнія дѣла опять въ Совѣтѣ. Теперешняя мысль совсѣмъ новая; она идетъ не отъ государя, а отъ министра, и потому порядокъ требуетъ предварительнаго ея обсужденія, котораго я никакъ не намѣренъ брать на себя лично. Пока есть Совѣтъ, нельзя имъ такъ играть“. По личному докладу кн. Васильчикова, императоръ Николай I-ый повелѣлъ „сдѣланное министромъ новое предложеніе

разсмотрѣть въ Совѣтѣ и представить Его Величеству о заключеніи онаго". Въ частномъ разговорѣ съ бар. Корфомъ гр. Канкринъ старался доказать, что образъ дѣйствій кн. Васильчикова нарушаетъ права монарха, но, по словамъ бар. Корфа, „изъ-подъ личины какой-то защиты самодержавія просвѣчивало явное опасеніе“ гр. Канкринъ за судьбу его проекта. Въ концѣ концовъ гр. Канкрину удалось предупредить новый пересмотръ дѣла въ Государственномъ Совѣтѣ: передъ самымъ началомъ засѣданія кн. Васильчиковъ получилъ собственноручную записку государя, съ указаніемъ на желательность принятія средняго мнѣнія. Это было принято за выраженіе Высочайшей *воли*—и никакихъ преній по существу вопроса не происходило. Въ послѣдовавшемъ затѣмъ личномъ объясненіи кн. Васильчиковъ „особенно настаивалъ на томъ, сколь преступны намѣренія и дѣйствія людей, старающихся „внушить подозрѣніе и недовѣріе къ Совѣту“, и заключилъ словами: „Вы сами поставили меня на такую степенъ, гдѣ откровенность передъ Вами есть мой долгъ: долгъ этотъ я свято исполняю теперь, какъ и всегда привыкъ исполнять его въ сорокавосемилѣтнюю мою службу“ ¹⁾.

Въ слѣдующемъ, 1840-мъ г., на разсмотрѣніе Государственнаго Совѣта перешло изъ Сената дѣло о калмыцкихъ земляхъ, въ которомъ были заинтересованы съ одной стороны оренбургскій военный губернаторъ (впослѣдствіи генералъ-губернаторъ и графъ) В. А. Перовскій, съ другой—министръ государственныхъ имуществъ, гр. Киселевъ. Въ департаментѣ экономіи и затѣмъ въ общемъ собраніи Государственнаго Совѣта принято было единогласно мнѣніе, неблагопріятное для В. А. Перовскаго. Послѣдній, узнавъ объ этомъ, представилъ государю оправдательную записку, которую государь препроводилъ къ кн. Васильчикову, съ надписью, что онъ находитъ оправданія Перовскаго убѣдительными. Кн. Васильчиковъ, чтобы оградить достоинство Совѣта, предложилъ направить дѣло такъ: поручить военному министру истребовать объясненія отъ Перовскаго и затѣмъ, по сношеніи съ министромъ государственныхъ имуществъ, представить въ Государственный Совѣтъ окончательное ихъ (т.-е. обоихъ министровъ) заключеніе. Съ предложеніемъ кн. Васильчикова согласился государь; но военный министръ (кн. Чернышевъ), безъ сношенія съ гр. Киселевымъ, испросилъ Высочайшее повелѣніе на рѣшеніе дѣла въ смыслѣ прямо противоположномъ мнѣнію Сената и Государственнаго Совѣта. Негодованіе кн. Васильчикова противъ кн. Чернышева не знало предѣловъ. „Я никогда не позволялъ себѣ“—говорилъ онъ бар. Корфу—„присвоивать своему лицу вліяніе на рѣшенія государя по совѣтскимъ дѣламъ; но гдѣ идетъ рѣчь объ охраненіи неприкосновенности собствен-

¹⁾ См. № 7 „Русской Старинѣ“ за 1899 г., стр. 16—22.

ной Его воли, и правъ Совѣта, дѣйствующаго Его именемъ, тамъ я долженъ вступитья всѣми своими силами, или все бросить и уйти". На другой день кн. Васильчиковъ поѣхалъ къ государю и возвратился съ полнымъ торжествомъ, получивъ согласіе на объявленіе кн. Чернышеву Высочайшаго повелѣнія слѣдующаго содержанія: „Государь Императоръ соизволилъ возвратить дѣло сіе въ тотъ порядокъ, какой указанъ оному былъ монаршею волею, объявленною мною Государственному Совѣту и сообщенною вамъ въ отношеніи государственнаго секретаря“. Это было исполнено—и когда дѣло, въ 1841 г., вновь поступило въ Государственный Совѣтъ, оно было разрѣшено въ примирительномъ смыслѣ, среднемъ между обоими крайними взглядами; только одинъ кн. Чернышевъ остался при мнѣніи, которое онъ, въ 1840 г., объявилъ кн. Васильчикову въ видѣ Высочайшаго повелѣнія ¹⁾. Особенно яркій свѣтъ на вышеприведенные факты бросаютъ слова, сказанныя императоромъ нѣсколько позже (въ 1843 г.), въ бесѣдѣ съ бар. Корфомъ, Вахтинымъ и Ханьковымъ: „министерства слишкомъ стали мучить меня непосредственными докладами, и оттого я подтвердилъ, чтобы о всѣхъ законодательныхъ предметахъ они впредь представляли не иначе какъ черезъ Совѣтъ. Въ совращеніи отъ этого порядка виною, впрочемъ, отчасти я самъ; но меня вынуждала къ тому необходимость. Нѣкоторыя части, получившія новыхъ начальниковъ, оказались въ такомъ запущеніи, что всякое представленіе о перемѣнѣ или исправленіи, обнаруживъ прежнее состояніе, само собою приняло бы видъ укора или нареканія прошедшему, а этого мнѣ не хотѣлось оглашать, изъ личныхъ уваженій“ ²⁾. Такова была, въ тѣ времена, главная причина отступленій отъ установленнаго порядка, ненормальность которыхъ столь ясно сознавалась верховною властью. Теперь эта причина не существуетъ: нѣтъ болѣе такихъ „запущенныхъ“ вѣдомствъ, какія встрѣчались въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ—а еслибы „запущеніе“ и повторилось, то не было бы возможности сохранить его въ тайнѣ. Какъ ни многочисленны еще преграды, съ которыми должна считаться гласность, сравнительно съ первой половиною XIX-го вѣка она все-таки сдѣлала большой шагъ впередъ, и трудно закрыть ей доступъ въ административныя сферы.

Менѣе близка къ нашей главной темѣ, но весьма знаменательна сама по себѣ еще одна черта изъ жизни Государственного Совѣта, сообщаемая бар. М. А. Корфомъ. До 1849 г. всѣ дороги, кромѣ пошесейныхъ, были подвѣдомственны министерству внутреннихъ дѣлъ. Въ

¹⁾ См. № 8 „Русской Старины“ за 1899 г., стр. 273—278.

²⁾ См. № 11 „Русской Старины“ за 1899 г., стр. 269.

1849 г., по непосредственному, безъ сношенія съ министромъ внутреннихъ дѣлъ (гр. Л. А. Перовскимъ), докладу гр. Клейнмихеля, вся вообще дорожная часть была передана въ видѣ опыта, на три года, въ вѣдѣніе главнаго управленія путей сообщенія и публичныхъ зданій. Графъ Перовскій, въ нѣсколькихъ запискахъ на Высочайшее имя, домогался возстановленія прежняго порядка. Возникшій такимъ образомъ вопросъ повелѣно было рассмотреть въ Государственномъ Совѣтѣ. Соединенные департаменты нашли, что разрѣшеніе его по существу было бы преждевременно, такъ какъ Высочайше утвержденное Положеніе 1849-го года во всякомъ случаѣ должно оставаться неизмѣннымъ до истеченія назначеннаго въ немъ трехлѣтняго срока. Въ общемъ собраніи Государственнаго Совѣта наслѣдникъ цесаревичъ (будущій императоръ Александръ II-й), присоединясь къ мнѣнію соединенныхъ департаментовъ относительно сохраненія въ силѣ, до окончанія срока, Положенія 1849-го года, произнесъ слѣдующія замѣчательныя слова: „чтобы не быть намъ поставленными въ такое же непріятное положеніе когда-нибудь и впредь, я считаю совершенно необходимымъ и справедливымъ ходатайствовать у Государя именемъ Государственнаго Совѣта о подтвержденіи всѣмъ министрамъ и главноуправляющимъ, чтобы на будущее время, по дѣламъ, прикосновеннымъ къ другому вѣдомству, никто изъ нихъ не могъ входить съ докладами или испрашивать Высочайшихъ повелѣній, даже временно или въ видѣ опыта, иначе, какъ по сношенію и соглашенію съ тѣми, до кого предметъ касается“. „Нельзя вообразить себѣ“—замѣчаетъ бар. Корфъ—„электрическаго дѣйствія, которое эта рѣчь произвела на всѣхъ присутствовавшихъ. Цесаревичъ выразилъ то, что было въ мысли у многихъ, но чего никто, кромѣ именно его, не могъ и, можетъ быть, не смѣлъ выговорить. Клейнмихель не нашелся сказать ни слова; между всѣми прочими членами пробѣжалъ общій пошотъ одобренія“. Государственный Совѣтъ утвердилъ заключеніе соединенныхъ департаментовъ съ прибавкою, предложенною цесаревичемъ. Государь вполне одобрилъ все сказанное цесаревичемъ, но съ тѣмъ, чтобы вмѣсто внесенія его рѣчи, соответственно общему порядку, въ журналъ Совѣта, сущность ея была облечена въ форму Высочайшаго повелѣнія, какъ бы непосредственно отъ государя исходящаго, и въ этомъ видѣ объявлена Комитету министровъ ¹⁾. Итакъ, уже полвѣка тому назадъ, при условіяхъ, мало, повидимому, благопріятствовавшихъ развитію и укрѣпленію чувства законности, въ высшихъ государственныхъ сферахъ ясно сознавалась вся важность разъ навсегда установленнаго порядка, вся нежелательность какихъ бы то ни было отъ

¹⁾ См. № 6 „Русской Старины“ за 1900 г., стр. 522—526.

него уклонений. Это — историческій фактъ, съ которымъ нельзя не считаться и въ наше время. Онъ тѣсно связанъ съ другимъ фактомъ, еще болѣе отъ насъ отдаленнымъ — съ тѣми взглядами на законъ, которые, въ самомъ началѣ XIX-го вѣка, были выражены императоромъ Александромъ I-мъ ¹⁾.

Какъ ни велико значеніе законности, она составляетъ далеко не единственное условіе правильнаго движенія государственной и народной жизни. „Еще болѣе важными, чѣмъ гарантія точнаго исполненія закона“ — говорили мы два года тому назадъ ²⁾, — „слѣдуетъ признать гарантію его нормальнаго развитія. Гдѣ нѣтъ на лицо первыхъ, тамъ трудно мечтать о послѣднихъ. Ограниченность правъ всегда идетъ рука объ руку съ ихъ необезпеченностью — и наоборотъ, увѣренность въ приобретенномъ служитъ залогомъ дальнѣйшихъ приобретений... Подъ знаменемъ законности соединяются мнѣнія и группы, во многомъ другомъ существенно несогласныя между собою — соединяются именно въ виду *элементарности* этого блага, для всѣхъ одинаково необходимаго и всему служащаго основой и опорой“. Мысль о недостаточности *права*, какъ формы, о необходимости *правъ*, какъ содержанія, прекрасно выражена въ статьѣ: „Право и права“, помещенной въ № 2 журнала „Право“. „Несомнѣнно“ — читаемъ мы здѣсь, — „что наличность и неуклонное дѣйствіе права являются основнымъ условіемъ здоровья всякаго государственнаго организма... Алчущіе закона обыватели ищутъ въ немъ, однако, не только нормъ для своей дѣятельности, не только объективнаго права, но, кромѣ того и главнымъ образомъ, отсутствія пути для самостоятельности и субъективныхъ правъ... Не одно *право*, но и *права* — таковъ долженъ быть лозунгъ друзей *истинной* законности и правомѣрности... Чѣмъ больше въ націи культурныхъ силъ, тѣмъ больше усложняется національная жизнь, утончается культурно-духовная организація русскаго человѣка, чѣмъ больше вырастаетъ личность, тѣмъ недостаточнѣе для культурныхъ цѣлей становится система объективнаго права, тѣмъ настоятельнѣе выдвигается задача *отверженіи въ правъ правъ*... Кто мнитъ задачу національной жизни разрѣшить путемъ усвоенія промышленной техники и созданія совершеннаго объективнаго права, проводимаго въ жизнь образцовой бюрократіей, и полагаетъ, что права личности — отъ лукаваго запада; что они объективно не нужны; что безъ нихъ русская культура можетъ двигаться впередъ, — тотъ питаетъ мечту, которая была бы пагубной и грозила бы поставить нашу родину *лицомъ къ обдорамъ*, спиной къ Европѣ — еслибы она не была совершенно

¹⁾ См. Внутр. Обзорніе въ предыдущей книжкѣ нашего журнала (стр. 377—379).

²⁾ См. Внутр. Обзорніе въ № 1 „Вѣстника Европы“ за 1899 г., стр. 348.

утопической. Никакая техника и никакой объективный правопорядокъ недостаточны для великой, развивающейся и усложняющейся культуры современной Россіи. Чѣмъ больше въ этой культурѣ наличныхъ и скрытыхъ силъ, чѣмъ больше въ ней жизни и великихъ возможностей, тѣмъ неосуществимѣе становится мысль заставить эту богатую національную жизнь протекать въ формахъ, исключающихъ широкое индивидуальное творчество и групповую самостоятельность". Въ этихъ немногихъ словахъ содержится цѣлая программа, заслуживающая полнѣйшаго сочувствія.

Яркимъ примѣромъ преобладанія формы надъ содержаніемъ служить періодически воскресающая мысль о передачѣ печати изъ вѣдѣнія министерства внутреннѣхъ дѣлъ въ вѣдѣніе особаго, ad hoc созданнаго учрежденія. Поводомъ къ новымъ разсужденіямъ на эту тему послужилъ для „Новаго Времени“ (№ 8922) разсказъ г. Пятковского (въ книгѣ: „Князь В. О. Одоевскій и Д. В. Веневитиновъ“) объ аналогичномъ проектѣ барона М. А. Корфа. „По идеѣ Корфа“—говорить г. Пятковский,—„печать не должна быть втиснута въ рамки никакого министерства, такъ какъ всякое министерство, изъ инстинкта сохраненія или подъ давленіемъ другихъ вѣдомствъ, сейчасъ же и начнетъ сокращать предѣлы свободнаго обсужденія въ печати. Въ устраненіе этихъ естественныхъ попытокъ, печать, какъ огромная общественная сила, не должна дѣлаться предметомъ себялюбиваго бюрократическаго попеченія, но, какъ законное и открытое пользованіе гражданскимъ, а отчасти и политическимъ правомъ, должна имѣть особаго министра предъ лицомъ монарха или статсъ-секретаря докладчика“. Къ этому г. Пятковский добавляетъ, относительно судьбы законопроекта: „статсъ-секретаріатъ Корфа, задуманный въ началѣ 60-хъ годовъ, въ пору толковъ объ освобожденіи печати отъ предварительной цензуры, не вышелъ изъ предѣловъ проекта, и даже слухи о немъ не попали своевременно въ печать“. Не знаемъ, сказано ли было что-нибудь по этому предмету въ тогдашней печати, но въ обществѣ, какъ мы очень хорошо помнимъ, слуховъ о проектѣ бар. Корфа ходило не мало, только не въ началѣ 60-хъ годовъ, а въ концѣ 50-хъ, когда еще не было рѣчи объ освобожденіи печати отъ предварительной цензуры. Въ созданіи особаго, самостоятельнаго управленія по дѣламъ печати усматривалась тогда скорѣе опасность, нежели льгота, тѣмъ болѣе, что свѣжа еще была память о бар. Корфѣ, какъ членѣ, а потомъ предсѣдателѣ негласнаго комитета 2-го апрѣля 1848 г., болѣе семи лѣтъ тяготѣвшаго надъ русскою литературой. Допустимъ, однако, что проектъ бар. Корфа вновь выступилъ на сцену нѣсколькими годами позже, когда измѣнились и обстоятельства, и взгляды самого автора: едва ли и тогда осуществленіе его оказалось бы полезнымъ для печати. Въ статсъ-секретарѣ по

дѣламъ печати „инстинктъ самосохраненія“ и „бюрократическое себя-любіе“ дѣйствовали бы не съ меньшей силой, чѣмъ во всякомъ другомъ министрѣ; не меньше было бы и „давленіе“ на него остальныхъ вѣдомствъ. Весьма вѣроятно даже, что лицу, кругъ дѣйствій котораго былъ бы ограниченъ одною печатью, устоять противъ „давленія“ было бы еще труднѣе, чѣмъ министру, для котораго завѣдываніе печатью—только одно изъ многихъ дѣлъ, и притомъ не самое важное. Такой министръ можетъ найти точку опоры въ независимости его — дѣйствительной или предполагаемой—по другимъ, подвѣдомственнымъ ему отраслямъ управленія. У статсъ-секретаря, завѣдующаго одною печатью, не было бы ничего похожаго на этотъ щитъ; ему приходилось бы встрѣчать каждое нападеніе лицомъ къ лицу — а это требуетъ гражданскаго мужества, возможнаго развѣ въ видѣ рѣдкаго исключенія. Пока печать составляетъ только предметъ надзора и репрессивныхъ мѣропріятій, до тѣхъ поръ въ положеніи ея не можетъ произойти существенной, прочной перемѣны къ лучшему. *Снисходительность* къ ней, точно такъ же какъ и *строгость*, возможны со стороны каждаго вѣдомства, независимо отъ его именовація и круга дѣйствій; но *справедливость* по отношенію къ печати возможна только тогда, когда за нею признана и обезпечена достаточная *свобода*. Мы остаемся, повѣтому, при убѣжденіи, высказанномъ нами полтора года тому назадъ, по поводу газетныхъ разсужденій о передачѣ печати въ вѣдѣніе Государственнаго Совѣта ¹⁾: изъ современнаго положенія печати существуетъ только одинъ нормальный выходъ — подчиненіе ея исключительно суду и закону. Само собою разумѣется, при этомъ, что судъ долженъ пользоваться полною самостоятельностью, а закону должны быть чужды драконовскія кары.

Чрезвычайно характернымъ, особенно въ виду новаго проекта наказа училищнымъ совѣтамъ ²⁾, кажется намъ инцидентъ, происшедшій, какъ сообщаетъ вологодскій корреспондентъ ярославскаго „Сѣвернаго Края“ (1901 г., № 12), во время послѣдней сессіи вологодскаго уѣзднаго земскаго собранія. За годъ передъ тѣмъ, это собраніе выразило мѣстному инспектору народныхъ училищъ, г. Знаменскому, благодарность за успѣшную постановку и организацію учебнаго дѣла въ уѣздѣ, о чемъ и постановило довести до свѣдѣнія попечителя с.-петербургскаго учебнаго округа. На это г. попечитель отвѣтилъ уѣздной земской управѣ, что дѣло земства заключается лишь въ ассигнованіи средствъ на содержаніе существующихъ и открытіе новыхъ

¹⁾ См. Внутр. Обзорѣнія въ №№ 6 и 7 „Вѣстника Европы“ за 1899 г.

²⁾ См. выше, Внутреннее Обзорѣніе.

начальныхъ училищъ; „насколько же улучшается организація школъ и постановка въ нихъ учебнаго дѣла и насколько въ семъ отношеніи заслуга принадлежитъ мѣстному инспектору народныхъ училищъ, учебному начальству было доподлинно извѣстно и до сообщенія управы; которая, какъ и земское собраніе, несомнѣнно обладаетъ меньшими средствами для всесторонней и правильной оцѣнки этой стороны школъ и служебной дѣятельности инспектора“. По словамъ корреспондента, этотъ отвѣтъ возбудилъ въ собраніи оживленныя пренія. „Гласные Дмитріевъ и князь Волконскій доказывали, что отвѣтъ попечителя въ высшей степени оскорбителенъ для вологодскаго земства; что попечитель не имѣетъ права относиться такъ пренебрежительно къ заявленіямъ земскаго собранія, и что во всякомъ случаѣ земскимъ людямъ постановка школьнаго дѣла въ уѣздѣ должна быть лучше извѣстна, чѣмъ сидящимъ въ Петербургѣ чиновникамъ. Уѣздная управа привела историческую справку, относящуюся къ началу 80-хъ годовъ. Вологодское уѣздное земство выразило благодарность бывшему въ то время инспектору г. Тимофееву за его труды по народному образованію и просило губернатора довести объ этомъ до свѣдѣнія г. министра народнаго просвѣщенія. На это отъ министра (кажется, барона Николая) было получено увѣдомленіе, что, кромѣ награжденія г. Тимофеева орденомъ, ему была объявлена признательность министерства народнаго просвѣщенія за его дѣятельную помощь мѣстному земству въ дѣлѣ развитія народнаго образованія. „Да,—говорили по этому поводу гласные,—то было время, а теперь другое; тогда дорожили нашими заявленіями, а теперь, повидимому, не хотятъ ихъ и знать“... Собраніе единогласно постановило принять предложеніе гл. Дмитріева и возбудить жалобу предъ министромъ народнаго просвѣщенія на попечителя учебнаго округа „за невнимательное отношеніе его къ заявленіямъ вологодскаго уѣзднаго земства“. Прежде г. Знаменскій присутствовалъ, обыкновенно, въ засѣданіяхъ земскаго собранія, посвященныхъ вопросамъ народнаго образованія; на этотъ разъ онъ въ собраніи не появлялся, и о причинахъ его отсутствія, по выраженію корреспондента, „гласные могли только догадываться“...

Итакъ, въ официальныхъ сферахъ все еще существуетъ взглядъ, по которому дѣло земства заключается лишь въ ассигнованіи средствъ на содержаніе начальныхъ училищъ. Совершенно иначе опредѣляетъ задачу земства „Положеніе о земскихъ учрежденіяхъ“, предоставляющее ему „попеченіе о развитіи средствъ народнаго образованія и установленное закономъ участіе въ завѣдываніи содержимыми на счетъ земства школами и другими учебными заведеніями“. Это, несомнѣнно, нѣчто гораздо большее, чѣмъ простое, механическое „ассигнованіе средствъ“, исключаящее возможность разсуждать о способѣ ихъ упо-

требленія. Еще яснѣе роль земства намѣчается въ сохранившей до сихъ поръ полную силу статьѣ 28-й „Положенія о начальныхъ народныхъ училищахъ 25-го мая 1874-го года“, на основаніи которой земскіе члены училищныхъ совѣтовъ, какъ губернскихъ, такъ и уѣздныхъ, „обязываются представлять земскимъ собраніямъ ежегодно свѣдѣнія о состояніи въ губерніи или уѣздѣ народныхъ училищъ, въ содержаніи которыхъ участвуетъ земство“. Нельзя же допустить, что, получивъ такіа свѣдѣнія, земское собраніе должно выслушать ихъ молча и „пріобщить къ дѣлу“, не вникая въ ихъ сущность, не выводя изъ нихъ никакихъ заключеній. Право знать все касающееся *состоянія* училищъ неразрывно связано съ правомъ обсужденія и оцѣнки. Земство, въ дѣлахъ начальной школы—не касса, платящая по ассигновкамъ, а живая сила, пекущаяся о „развитіи средствъ народнаго образованія“. Уже по этому одному нельзя отказать ему въ знакомствѣ съ тѣмъ, о чемъ оно печется. Оно прямо заинтересовано въ результатахъ своего попеченія; оно не можетъ идти впередъ, не убѣдясь въ томъ, что раньше сдѣланныя имъ затраты достигли и достигаютъ своей цѣли. Кому же, притомъ, положеніе земскихъ школъ и можетъ быть лучше извѣстно, чѣмъ земству? Не говоря уже о членахъ училищнаго совѣта и земской управы, всѣ или почти всѣ гласные стоятъ близко къ тѣмъ или инымъ школамъ, одни—въ качествѣ попечителей, другіе—въ качествѣ уполномоченныхъ отъ волостей или сельскихъ обществъ, несущихъ на себѣ часть школьныхъ расходовъ, третьи—въ качествѣ родителей или родственниковъ учащихся. Сумма всѣхъ этихъ свѣдѣній не можетъ не быть гораздо больше той, которою располагаетъ инспекторъ, часто завѣдующій двумя, иногда тремя уѣздами и далеко не всегда успѣвающій побывать въ каждомъ училищѣ хотя бы одинъ разъ въ теченіе года. Въ отчетѣ земскихъ членовъ харьковского губернскаго училищнаго совѣта за 1899 г. приведена слѣдующая любопытная выписка изъ отчета директора народныхъ училищъ харьковской губерніи: „тамъ на каждого инспектора (не считая земскихъ, имѣющихся въ трехъ уѣздахъ) приходится по 111 училищъ. При такомъ количествѣ учебныхъ заведеній, ввѣренныхъ надзору инспектора, онъ не въ состояніи ни основательно ихъ изучить, ни ближайшимъ образомъ руководить ими. Посѣщенія инспектора рѣдки, мимолетны, наблюденія поверхностны. Обстоятельства заставляютъ его ограничиваться при ревизіи училищъ внѣшними, формальными отношеніями, а такіа отношенія препятствуютъ ему имѣть то влияніе, какое онъ могъ бы имѣть, какъ руководитель“. Въ уѣздахъ ахтырскомъ и лебединскомъ изъ 82 училищъ осталось неосмотрѣнными 22 (27%); въ уѣздахъ валковскомъ и змиевскомъ изъ 92 — 39 (42%); въ купянскомъ и изюмскомъ изъ 142—84 (59%)... Между тѣмъ,

для высшаго учебнаго начальства, разъ что оно придаетъ значеніе только свѣдѣніямъ официальнымъ, донесенія и отчеты инспектора — почти единственный источникъ знакомства съ положеніемъ начальныхъ школъ. Директоръ народныхъ училищъ, обремененный перепиской и имѣющій въ своемъ вѣдѣніи цѣлую губернію, рѣдко посѣщаетъ школы и по необходимости смотритъ на нихъ глазами инспектора, съ которымъ, болѣею частью, солидаренъ и второй членъ уѣзднаго училищнаго совѣта со стороны министерства народнаго просвѣщенія. Немного данныхъ имѣется у директора и для того, чтобы судить о личной дѣятельности инспектора. Онъ можетъ узнать изъ отчета инспектора, сколько разъ послѣдній посѣтилъ школы, можетъ составить себѣ приблизительное понятіе о требованіяхъ, предъявляемыхъ имъ къ учащимъ и учащимся — но не можетъ опредѣлить ни степень вліянія инспектора, ни характеръ отношенія его къ школамъ. Для этого необходимо постоянное соприкосновеніе съ инспекторомъ, необходимы постоянныя встрѣчи съ нимъ на общей почвѣ, за общей работой. Такъ встрѣчаются съ инспекторомъ именно и только земскіе дѣятели. Или, быть можетъ, земскій „ограниченный умъ“ неспособенъ, въ данномъ случаѣ, составить себѣ вѣрное понятіе о проявленіяхъ ума бюрократическаго? Не думаемъ, чтобы въ столь простомъ дѣлѣ, какъ руководство учащими и учащимися въ начальной школѣ, представитель учебнаго вѣдомства имѣлъ сколько-нибудь замѣтный перевѣсъ надъ представителями мѣстнаго населенія, изъ числа которыхъ многіе, быть можетъ, отнюдь не уступаютъ ему по своему образовательному цензу. Сумма педагогическихъ навыковъ, которыми долженъ обладать инспекторъ народныхъ училищъ, невелика и вполне доступна для каждаго, кто, получивъ извѣстное общее развитіе, въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ интересовался ходомъ занятій въ начальной школѣ. Русская грамота, первыя четыре правила ариѳметики — не такіе предметы, въ которыхъ компетентны только одни спеціалисты; еще менѣе можетъ быть рѣчь о недоступности для „профановъ“ тѣхъ элементарныхъ педагогическихъ приѣмовъ, отъ которыхъ зависитъ успѣхъ начального обученія и воспитанія... Лучшіе изъ инспекторовъ народныхъ училищъ никогда не избѣгали совмѣстной дѣятельности съ земствомъ, цѣнили одобреніе земскихъ собраній, не отказывались являться въ ихъ засѣданія, дѣлились съ ними своими свѣдѣніями о ходѣ начального обученія, обращались къ нимъ съ указаніями на ту или другую потребность училищъ. Взглядъ на земство, какъ на одну изъ главныхъ силъ, двигающихъ впередъ народное образованіе, раздѣляло когда-то и министерство народнаго просвѣщенія; случай, приведенный вологодскою уѣздною земскою управою, въ восьмидесятихъ годахъ едва ли былъ единственнымъ въ своемъ родѣ... Нужно надѣяться, что добрыя традиціи

одержать верхъ надъ новыми вѣяніями, категорически отрицающими пользу общественной самодѣятельности. Все наше прошлое свидѣтельствуеть о томъ, что бюрократія, предоставленная собственнымъ силамъ, не можетъ создать, въ глубинѣ народнаго быта, ничего прочнаго, жизнеспособнаго, и что считать себя—все знающею и понимающею лучше другихъ (припомнимъ непере译имое нѣмецкое выраженіе: *Besserwissenerei*) она не имѣетъ ни основанія, ни права.

Гдѣ бы ни была выражена правильная, разумная мысль, она имѣетъ одинаковое право на вниманіе и сочувствіе. Такое право безспорно принадлежитъ статьѣ: „Академическая среда и безпорядки“, появившейся въ № 8938 „Новаго Времени“. „Не только сотни“—говоритъ газета,—„а пожалуй даже тысячи русскихъ семей, на которыхъ непосредственно больно отразились карательные итоги послѣднихъ студенческихъ безпорядковъ, но и весь нашъ образованный классъ (а къ нему же принадлежитъ и наша бюрократія) не могутъ наблюдать безъ горькаго чувства такой картины: на сотни молодыхъ людей пополнились временно ряды нашей арміи, о чемъ военное вѣдомство не просило, и въ чемъ оно не нуждалось, и настолько же убило въ рядахъ людей, отъ высшаго образованія которыхъ родина могла ждать культурной работы. Пусть скажутъ: такая образовательная убыль или даже, въ извѣстной части, только отсрочка культурной работы—лишь слабый порѣзъ на гигантскомъ тѣлѣ Россіи. Но врачъ лечитъ всякія раны, а когда порѣзы повторяются, человекъ въ повязкахъ производитъ тягостное впечатлѣніе, и невольно приходитъ мысль о профилактикѣ... Врядъ ли можно отрицать, что въ нынѣшнемъ положеніи нашей академической среды имѣются своего рода открытыя двери для всякихъ неблагопріятныхъ вѣяній со стороны... Какъ умножились эти открытыя двери, извѣстно всякому. Огромныя массы студенчества выросли съ теченіемъ времени въ нашихъ университетахъ, и слава Богу, что онѣ растутъ на благо родинѣ, которая такъ нуждается въ людяхъ просвѣщенныхъ. Но параллельно съ этимъ ростомъ студенческихъ массъ естественно умалалось и умалается значеніе власти ректора и прочаго университетскаго начальства. Студенчество, гдѣ каждый—отдѣльная единица, похоже на море, куда могутъ впадать какія угодно теченія. Это—масса, не имѣющая въ себѣ никакой организаціи, никакого скелета. Передъ этимъ моремъ, передъ этой неорганизованной толпой слушателей приходится становиться ректору и его помощникамъ по части инспекціи и въ трудныя минуты академической жизни убѣждаться, какъ было и въ Кіевѣ, что собственными силами ничего сдѣлать нельзя... Въ результатѣ — по истинѣ прискорб-

ныя аномаліи, мѣшающія учиться огромному спокойному и трезвому большинству русскаго студенчества и горько отзывающіяся на судьбѣ самихъ виновниковъ этихъ аномалій. Сколько сотенъ отцовъ и матерей жгучими слезами уже оплакали итоги буйной „обструкціи“ части кievскаго студенчества? Ихъ тяжкая печаль понятна и близка русскому обществу; оно не можетъ не жаждать исцѣленія зла въ его корнѣ. Мы не беремся дать программу этого врачеванія, но едва ли оно можетъ состоять въ чемъ иномъ, кромѣ организаціи здоровой и твердой академической среды и жизни въ нашихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ... Мы въ Петербургѣ имѣемъ на глазахъ удачный примѣръ подобной организаціи — въ военно-медицинской академіи, гдѣ спокойно осуществлено постоянное соучастіе учащихся и учащихся въ обиходныхъ дѣлахъ студенческой жизни, осуществлено и даетъ до сихъ поръ прекрасные результаты. Подобная организація особенно драгоцѣнна, какъ сложившаяся твердая самопомощь въ тѣ критическіе моменты молодого организма, когда вчерашній гимназистъ желаетъ вѣрить, что ничто студенческое ему не чуждо... Не явныя организаціи опасны для учащейся молодежи и общества, но организаціи случайныя и потому уже „тайныя“, хотя, конечно, всегда всѣмъ и каждому изъ заинтересованныхъ извѣстны... Не слѣдуетъ ли, наконецъ, дать спокойно работающему большинству дѣйствительную и прочную возможность быть не только пассивнымъ, но и дѣятельнымъ противовѣсомъ нарушителямъ университетской жизни и ея настоящей свободы? Не сосредоточить ли неотложныя заботы на правильной организаціи академической среды, каковая у насъ до сихъ поръ прискорбно отсутствуетъ, о чемъ такъ нерѣдко приходится вспоминать?“

Мы привели обширныя выписки изъ статьи „Новаго Времени“, конечно, не потому, чтобы въ ней было что-нибудь новое, а потому, что она появилась въ-время и кстати. Съ несравненно болѣею убѣдительностью и силой та же основная мысль высказывалась и въ другіе тревожные моменты нашей университетской жизни — напр. кн. С. Н. Трубецкимъ, въ прекрасныхъ статьяхъ, появившихся весною 1897 года, въ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ“. Скажемъ болѣе: она не переставала носиться въ воздухѣ съ тѣхъ поръ, какъ произошли у насъ, въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, первые крупныя университетскіе беспорядки. Нѣкоторый историческій интересъ представляетъ собою, съ этой точки зрѣнія, передовая статья, напечатанная, 1-го ноября 1863 года, въ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ“ редакціи В. О. Корша, въ то время, какъ и всѣ газеты и журналы, выходившихъ подъ предварительной цензурой. Вотъ нѣсколько отрывковъ изъ этой статьи, вызванной только-что обнародованными

тогда „правилами для студентовъ с.-петербургскаго университета“—правилами, во многомъ сходными съ нынѣ дѣйствующими постановленіями.

„На основаніи новыхъ правилъ,—говорилось тогда,—въ зданіяхъ университета не допускается никакихъ постороннихъ учрежденій, не состоящихъ въ завѣдываніи университетскаго начальства, какъ-то: особыхъ студенческихъ библіотекъ, читаленъ, вспомогательныхъ или ссудныхъ кассъ, и т. п. Постановление это, очевидно, состоитъ въ связи съ запрещеніемъ студенческихъ сходокъ и *сборищъ*. Составители правилъ, вѣроятно, предполагали, что учрежденіе читальни или библіотеки, основаніе кассы, избраніе библіотекаря и кассира невозможно безъ общаго собранія студентовъ,—собранія, въ свою очередь невозможнаго безъ нарушенія порядка или по крайней мѣрѣ безъ опасности для порядка. Въ основательности перваго предположенія позволительно усомниться, если и допустить справедливость послѣдней мысли. Участіе студентовъ въ устройствѣ читальни или кассы могло бы быть ограничено выборомъ лицъ для завѣдыванія этими учрежденіями; самые выборы, во избѣжаніе безпорядковъ, могли бы быть производимы не общимъ собраніемъ студентовъ, а отдѣльно по курсамъ и по факультетамъ. Студенты одного и того же курса и одного и того же факультета, пока они находятся въ аудиторіи, образуютъ *собрание*, котораго не предупреждать никакія правила; предоставить этому собранію, одинъ разъ въ годъ, подачу голосовъ при выборѣ библіотекаря или кассира, не значило бы, кажется, сдѣлать изъ него *сборище*, побудить его къ нарушенію порядка. Намъ могутъ возразить, что выборъ кассира или библіотекаря могъ бы дать поводъ къ произнесенію рѣчей, вовсе не идущихъ къ дѣлу; мы замѣтимъ на это, что произнесеніе подобныхъ рѣчей *возможно* каждый день, въ ожиданіи профессора или послѣ его ухода... Но, можетъ быть, мы не такъ поняли мысль, руководившую составителями правилъ; можетъ быть, учрежденіе читальни, кассы и т. п. запрещено не потому, что оно требовало бы допущенія сходокъ, а потому, что оно бесполезно или даже вредно для студентовъ. Можетъ быть, составители правилъ раздѣляютъ мнѣніе, выраженное по этому предмету „Сѣверной Почтой“ (тогдашнимъ органомъ министерства внутреннихъ дѣлъ). По словамъ этой газеты, читальни и кассы отклоняли студентовъ отъ прямого и единственнаго назначенія ихъ—учиться. Какимъ образомъ существованіе кассы можетъ помѣшать ученію — „Сѣверная Почта“ не объясняетъ; зато она старается доказать, что касса невозможна, ненужна, безнравственна, опасна. Касса *невозможна*—потому что студентъ не есть человѣкъ самостоятельный; онъ ничего не производитъ, ничѣмъ своимъ не располагаетъ, потому что у него нѣтъ ничего своего, и слѣдовательно, не можетъ быть какого-нибудь избытка. Касса *ненужна*, потому что молодой

человѣкъ, вступившій въ университетъ, долженъ имѣть вполне обезпеченныя средства къ жизни. Источники обезпеченія—общественная и частная благотворительность, лишь бы только она приходила прежде, чѣмъ юноша рѣшится посвятить себя университетской наукѣ. Касса *безнравственна*, потому что она устанавливаетъ матеріальную зависимость однихъ студентовъ отъ другихъ, нарушаетъ равенство между ними; она *опасна*, потому что при расходованіи собранныхъ денегъ могутъ быть допущены злоупотребленія... Но если касса невозможна, то зачѣмъ запрещать ее? Зачѣмъ принимать мѣры противъ того, что само по себѣ неосуществимо? По нашему мнѣнію, она возможна именно потому, что большинство студентовъ живетъ своимъ собственнымъ трудомъ—трудомъ тяжелымъ, непрочнымъ. Безспорно, было бы гораздо лучше, еслибы студентъ могъ посвятить себя исключительно наукѣ, отказаться отъ всякихъ постороннихъ занятій; въ теоріи все это очень легко и пріятно, но на практикѣ *желательное* уступаетъ мѣсто необходимому, и забывать о требованіяхъ жизни—плохое средство устранить ихъ. Правда, постороннія занятія студента оплачиваются довольно скудно; но онъ постоянно рискуетъ вовсе потерять ихъ, и потому изъ *немногого*, получаемого имъ, долженъ сберегать хоть что-нибудь на тотъ случай, когда не будетъ получать ровно ничего. За границей, особенно въ Германіи, вспомогательныя кассы распространяются въ бѣднѣйшихъ слояхъ населенія—и чѣмъ бѣднѣе человѣкъ, тѣмъ болѣе важною поддержкой служить для него подобная касса. Не говоримъ уже о нравственномъ значеніи кассы, приучающей молодыхъ людей разсчитывать на самихъ себя, имѣть довѣріе къ своимъ собственнымъ силамъ. Не знаемъ, многіе ли изъ будущихъ студентовъ согласятся искать себѣ покровителей, о которыхъ говорить „Сѣверная Почта“; не знаемъ, также, много ли найдется людей, готовыхъ принять на себя роль покровителя и издержки, сопряженныя съ этою ролью. Сословія и общества далеко не всегда сознаютъ потребность въ образованныхъ дѣятеляхъ, а если и сознаютъ ее, то не всегда принимаютъ на себя ея удовлетвореніе. Стипендіи, учрежденныя правительствомъ, доступны не для всѣхъ и притомъ, по справедливому замѣчанію „Сѣверной Почты“, назначаются за оказанные уже успѣхи въ наукахъ. Поступать въ университетъ могутъ, на основаніи устава, безразлично люди достаточные и бѣдные. Пока существуетъ это правило, желаніе „Сѣверной Почты“, чтобы всѣ студенты были обезпечены въ средствахъ къ жизни, такъ и останется желаніемъ, мечтою; пока между студентами есть бѣдные люди, они будутъ принуждены содержать себя посторонними занятіями; пока большинство студентовъ живетъ своимъ собственнымъ трудомъ, до тѣхъ поръ вспомогательная касса была бы для нихъ учрежденіемъ

далеко не бесполезнымъ. Унизительнаго въ полученіи пособій изъ кассы, образованію которой содѣйствуетъ своими взносами, нѣтъ ровно ничего; злоупотребленія возможны вездѣ и всегда, и одна возможность ихъ не есть еще препятствіе къ осуществленію полезнаго дѣла... Противъ учрежденія читальни или студенческой библіотеки „Сѣверная Почта“ приводитъ слѣдующіе доводы: „Въ чтеніи современныхъ газетъ и журналовъ какъ бѣдные, такъ и богатые студенты вовсе не нуждаются. Внимательно слѣдить по газетамъ и журналамъ за тревогами современныхъ вопросовъ и вмѣстѣ съ тѣмъ внимательно же углубляться въ науку студенту рѣшительно невозможно. Поэтому мы рѣшительно не видимъ основанія, почему студенты должны заводить въ университетахъ собственную библіотеку или читальню, независимо отъ библіотеки, существующей при университетѣ“. Специальное изученіе современной политики, безъ сомнѣнія, требуетъ много времени и несовмѣстно съ успѣшными занятіями въ университетѣ; но нельзя сказать того же самаго о бѣгломъ просмотрѣ извѣстій, интересныхъ, можетъ быть даже важныхъ для студента, какъ и для всякаго другого лица. Можно желать, чтобы студенты не читали газетъ и журналовъ; но желаніе это такъ же неудобноисполнимо, какъ и другія *ria desideria* „Сѣверной Почты“. Замѣтимъ еще, что въ журналахъ обсуждаются не одни только вопросы современной политики, что статьи ученаго содержанія, въ особенности критическія, могутъ быть весьма полезны для студентовъ, даже съ точки зрѣнія „Сѣверной Почты“. Зачѣмъ же лишать однихъ студентовъ—бѣднѣйшихъ—образовательнаго пособия, доступнаго для другихъ—болѣе достаточныхъ?.. Студентамъ воспрещена присылка депутацій; явившіеся къ университетскому начальству въ качествѣ депутатовъ отъ студентскаго общества подвергаются увольненію изъ университета. Тому же наказанію подвергаются студенты, подписавшіеся на поданномъ университетскому начальству прошеніи за общую подписью. Мотивированы эти правила тѣмъ, что студенты считаются отдѣльными посѣтителями университета, и потому не могутъ совершать дѣйствій, носящихъ на себѣ характеръ корпоративный. Мы не оспариваемъ того начала, что студенты не составляютъ корпорации; но въ практической жизни не всегда благоразумно доводить извѣстное начало до его крайнихъ логическихъ послѣдствій. Признать, что студенты не составляютъ корпорации, не значитъ еще уничтожить нѣкоторую общность интересовъ, неизбежно существующую между ними. Пояснимъ нашу мысль примѣромъ. Положимъ, что инспекторъ или одинъ изъ помощниковъ его употребляетъ во зло свою власть, видитъ нарушеніе правилъ тамъ, гдѣ нѣтъ ничего подобнаго, грубо обращается съ студентами, вызываетъ ихъ на дѣйствія, могущія подвергнуть ихъ

отвѣтственности передъ университетскимъ судомъ. Отдѣльныя жалобы студентовъ на инспектора никогда не будутъ имѣть той убѣдительности, той внутренней силы, какую могла бы имѣть общая жалоба, принесенная письменно или черезъ депутатовъ. Первыми обнаруживаются только отдѣльные случаи, изъ которыхъ трудно вывести общее заключеніе; посредствомъ второй можетъ быть раскрыта цѣлая система, можетъ быть доказана необходимость смѣнить инспектора. Право жаловаться законнымъ путемъ—лучшая гарантія противъ безпорядковъ. Намъ могутъ возразить, что коллективныхъ жалобъ на университетское начальство ни въ какомъ случаѣ допустить нельзя, что при нихъ была бы невозможна никакая дисциплина. Чтобы предупредить это возраженіе, приведемъ примѣръ другого рода. Положимъ, что часы лекцій распредѣлены крайне неудобно, что промежутки между ними слишкомъ незначительны или слишкомъ длинны. Самый строгій блюститель порядка и дисциплины едва-ли откажетъ студентамъ въ правѣ желать устраненія подобныхъ неудобствъ. Но въ какой формѣ должно быть заявлено ими это желаніе? Выраженное нѣсколькими студентами, отдѣльно отъ прочихъ, оно не можетъ имѣть никакой силы, потому что начальство не можетъ знать, раздѣляется ли оно всѣми или, по крайней мѣрѣ, большинствомъ студентовъ. Отчего бы не допустить въ такомъ случаѣ подачу общаго прошенія, хотя бы отъ лица студентовъ одного и того же курса, одного и того же факультета? Отчего бы не исчислить тѣхъ предметовъ, по которымъ подача общихъ прошеній и присылка депутацій безусловно воспрещается, и не разрѣшить тотъ или другой способъ объясненій съ начальствомъ по всѣмъ остальнымъ предметамъ“?..

Со времени появленія этой статьи прошло болѣе тридцати-семи лѣтъ: многое измѣнилось въ университетахъ и вокругъ университетовъ, но неизмѣннымъ остался официальный взглядъ на студентовъ, какъ на „отдѣльныхъ посѣтителей университета“, ничѣмъ не связанныхъ между собою. Въ началѣ шестидесятыхъ годовъ существовало предположеніе, что всякая попытка корпоративнаго объединенія должна послужить источникомъ безпорядковъ, подорвать дисциплину, затруднить управленіе университетомъ. Несмотря на отсутствіе объединенія, такъ называемыя „университетскія исторіи“ слѣдовали, однако, одна за другою. Ихъ приписывали, сначала, университетскому уставу 1863-го года, слишкомъ, будто бы, ослабившему начало власти — но онѣ не прекратились съ изданіемъ устава 1884-го года и даже приобрѣли еще болѣе стрый характеръ. Не подтверждаются ли этимъ все больше и больше слова кн. Трубецкого: „недопущеніе среди студентовъ правильной и законной организаціи создавало и создаетъ почву

для организаціи нелегальной, анти-академической? Если извѣстная система, въ продолженіе нѣсколькихъ десятилѣтій, даже въ моменты своего крайняго напряженія, не достигала цѣли—не указываетъ ли это на необходимость испытать другой порядокъ, существенно отличный отъ прежняго?

О П Е Ч А Т К И.

Выше, на стр. 829, строка 2 св., сдѣлавъ, по недосмотру, пропускъ цѣлаго слова: сказано — „передаетъ дознаніа“, а слѣдуетъ сказать: „передаетъ дознанія и слѣдствія“.

Въ январьской книгѣ с. г., на стр. 240, строка 1 св., напечатано: „Въ концѣ іюля 1879 г.“ — слѣдуетъ: 1877 г.

ИЗВѢЩЕНІЯ

І.—Отъ Общества попеченія о бѣдныхъ и вольныхъ дѣтяхъ, состоящаго подъ Августѣйшимъ Покровительствомъ Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини Елисаветы Маврикіевны.

Съ соизволенія Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини Елисаветы Маврикіевны, Августѣйшей Покровительницы Общества попеченія о бѣдныхъ и больныхъ дѣтяхъ на изданіе, въ теченіе десяти лѣтъ, начиная съ 1900 года, Календаря „Синяго Креста“, было приступлено къ изданію Календаря на 1901 годъ.

Доходъ съ этого изданія поступить, по примѣру 1900 г., въ условленной процентной долѣ, на усиленіе средствъ частію всего помянутого Общества, а частію состоящей въ вѣдѣніи Коломенско-Адмиралтейскаго Отдѣла Дѣтской Столовой, учрежденной въ память чудеснаго событія 17-го октября 1888 года, и въ семь году (22-го апрѣля) заканчивающей первое десятилѣтіе своего существованія.

Самый Календарь „Синяго Креста“ на 1901 годъ, съ картами, планами, портретами и рисунками, вышедшій въ концѣ 1900 года, является подробнымъ справочнымъ изданіемъ, необходимымъ для каждаго; цѣна 1 руб. 50 коп. за экземпляръ въ картонномъ переплетѣ (съ пересылкою по 2 р.).

Адресъ Редакціи Календаря „Синяго Креста“: С.-Петербургъ, Сергіевская ул., д. № 41.

II.—ОТЪ ИМПЕРАТОРСКАГО КАЗАНСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.

Къ столѣтнему юбилею, наступающему въ 1904 г., Совѣтъ Казанскаго Университета постановилъ выпустить въ свѣтъ исторію Университета и біографическій словарь его профессоровъ и преподавателей, и въ видахъ достиженія возможной полноты изданій обращается ко всѣмъ учрежденіямъ и лицамъ, которыя располагаютъ соотвѣтствующими матеріалами, съ покорнѣйшей просьбой не отказать въ заблаговременной доставкѣ таковыхъ въ Казанскій Университетъ на имя г. Ректора. Все доставленное будетъ принято Университетомъ съ глубокой благодарностью и сохранено въ цѣлости до востребованія.

Издатель и отвѣтственный редакторъ: М. Стасюлевичъ.

СОДЕРЖАНІЕ

ПЕРВАГО ТОМА

ЯНВАРЬ. — ФЕВРАЛЬ. 1901.

Книга первая. — Январь.

	ОТР.
Борьба за единство варв, въ IV-мъ вѣкѣ. — Римская Африка. — I-V. — В. И. ГЕРЬЕ	5
Однокурсники. — Повѣсть. — I-VII. — П. Д. БОВОРЫКИНА	51
Названный Дмитрій. — Новая постановка вопроса о немъ. — А. ПИРЛИНГА	101
Три дороги. — Романъ. — Часть первая. — I-XXI. — Н. П. ВАГНЕРА	121
Вл. С. Соловьевъ, какъ публицистъ. — В. Д. СПАСОВИЧА	211
Погибшая нива. — Стих. А. М. ЖЕМЧУЖНИКОВА	239
Кружокъ „Круглой Башни“. — Изъ воспоминаній В. Д. ХРУЩОВОЙ	240
Новые сруен. — La charge, par J. Rosny. — Романъ изъ современныхъ нравовъ. — Книга первая. — I-VIII. — Съ франц. О. М.	285
Хроника. — Столѣтняя годовщина присоединенія Грузии къ Россіи. — 1801—1901 гг. — А. ХАХАНОВА	340
Внутреннее Овозрѣніе. — Начало XIX-го и начало XX-го вѣка. — Крѣпостное право и крестьянскій вопросъ. — Старые и новые суды. — Сословныя общества и самоуправленіе. — Печать и общества. — Народное образованіе. — Върогтерпимость. — Попытка кодификаціи. — Понятіе о законности. — Вопросъ объ отношеніи губернскаго земства къ уѣзднымъ въ московскомъ губернскомъ земскомъ собраніи	367
Иностранное Овозрѣніе. — Политическое настроеніе въ Европѣ. — Воинственныя порывы и оппозиціонная практика въ Англіи. — Китайскій кризисъ. — Положеніе дѣлъ во Франціи. — Событія въ другихъ странахъ за истекшій годъ	384
Литературное Овозрѣніе. — Т. Н. Грановскій, Д. М. Левшина. — Объ изученіи славянства, К. Я. Грота. — Литературные очерки, Юр. Веселовскаго. — А. В. Половцевъ. Прогулка по Русскому Музею имп. Александра III. — Т. — Историческія монографіи, т. I, В. А. Бильбасова. — А. П. — Новыя книги и брошюры	398
Новости Иностранной Литературы. — I. Edm. De Amicis, Memorie. — А. З-скій. — II. G. Rodenbach, Le Rouet des Brumes. — III. G. Pelissier, Etudes de Littérature Contemporaine. — З. В.	415
Изъ Общественной Хроники. — Русское общество въ началѣ и въ концѣ XIX-го вѣка. — Постепенная дифференціація классовъ и сословій, общественныхъ группъ и направленій. — Нѣкоторыя черты развитія русской общественной мысли. — Возможный синтезъ ея теченій. — Надежды на будущее	432
Извѣщенія. — Отъ Общества попеченія о бѣдныхъ и больныхъ дѣтяхъ, состоящаго подъ Августѣйшимъ Покровительствомъ Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини Елисаветы Мавриковны	440
Библиографическій Листокъ. — Колонизація Сибири, въ связи съ общимъ переселенческимъ вопросомъ. — Наша деревня, вып. I. П. Д. — Полное собраніе сочиненій В. Г. Бѣлинскаго, п. р. С. А. Венгерова, т. III. — Итальянская Библіотека: Джузеппе Джусти, М. Ватсонъ	
ОБЪЯВЛЕНІЯ. — I-IV; I-VIII стр.	

Книга вторая. — Февраль.

ЛЕРМОНТОВЪ.—ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕВА . . .	441
ОДНОКУРСНИКИ.—Повѣсть.—VIII-XVI.—Окончаніе.—П. Д. БОБОРЫКИНА . .	460
Два мѣсяца осады въ Пекинѣ.—Дневникъ: 18 мая—31 іюля ст. ст. 1900 г.— П. С. ПОПОВА . . .	517
БОРЬБА ЗА ЕДИНСТВО ВѢРЬ ВЪ IV-мъ вѣкѣ.—Августинъ въ борьбѣ за единство церкви.—В. И. ГЕРБЕ . . .	537
Два разсказа.—I. Зеленая накидка.—II. Подводный монастырь.—А. А. ВИ- НИЦКОЙ . . .	589
Кружокъ „Круглой Башни“.—X-XI.—Изъ воспоминаній В. Д. ХРУЩОВОЙ . .	618
Три дороги.—Романъ.—Часть I.—XXII-XXXI.—Н. П. ВАГНЕРА . . .	651
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕСТВЕННЫХЪ ДВИЖЕНІЙ ВЪ ЕВРОПѢ XIX-го вѣка.—I-VI.—ЕВГ. ТАРЛЕ . . .	702
СТИХОТВОРЕНІЯ.—I-IV.—С. М. Л.—НОВА . . .	731
НОВЫЕ СРУБЫ.—La charpente, par J. Royau.—Романъ изъ современныхъ нра- вовъ.—Книга первая: IX-X.—Книга вторая: I-VII.—Перев. О. М. . .	733
СТИХОТВОРЕНІЕ.—Старость подходитъ, но жизненныхъ силъ еще много.—И. Х. ХРОНИКА.—Итоги Всемирной выставки 1900 года.—Письмо изъ Парижа.—М. ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ.—Всеподданнѣйшій докладъ министра финансовъ о го- сударственной росписи на 1901 годъ.—Сравнительное значеніе наказа и закона.—Проектъ наказа губернскимъ и уѣзднымъ училищнымъ совѣ- тамъ.—Отношеніе его къ правамъ, принадлежащимъ, по закону, училищ- нымъ совѣтамъ, земству и другимъ общественнымъ учрежденіямъ.—Воз- можныя послѣдствія его въ области начальной школы.—Циркуляръ ми- нистра юстиціи . . .	815
ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.—Перемена царствованія въ Англіи.—Королева Вик- торія, какъ правительница.—Ростъ и упроченіе англійскаго монар- хизма.—Главныя событія въ исторіи Англіи съ конца тридцатыхъ го- довъ . . .	831
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.—Источники Словаря русскихъ писателей. Собралъ С. А. Венгеровъ. Т. I: Ааронъ—Гоголь.—А. II.—Труды Я. К. Грота. III: Очерки изъ исторіи русской литературы (1848-1893 гг.). Изд. п. р. Б. Я. Грота.—Д. Ф.—Приморская Область. Очеркъ П. Ф. Унтербер- гера.—Загадки русскаго народа. Сборникъ загадокъ, вопросовъ, притчъ и задачъ, состав. Д. Садовниковъ.—Т.—Новыя книги и брошюры . .	846
НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.—I. Eug. Tavernier, Vladimir Soloviev.— А. II.—II. L. Descaves et M. Donnay, La Clairière, comédie.—III. Edm. Rostand, L'Aiglon, drame.—IV. Th. Lingens, Am Scheidewege.—З. В. . .	864
ИЗЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ ХРОНИКИ.—Историческая справка по вопросу о законности: эпизоды изъ дѣятельности Государственнаго Совѣта въ первой половинѣ XIX-го вѣка.—Право и правда.—Мнѣніе барона М. А. Корфа о заведеніи дѣлами печати.—Характерный инцидентъ въ вологодскомъ уѣз- номъ земскомъ собраніи.—Вопросъ, приближающійся къ сорокалѣтней давности . . .	884
ИЗВѢЩЕНІЯ.—I. Отъ Общества попеченія о бѣдныхъ и больныхъ дѣтяхъ, со- стоящаго подъ Августѣйшимъ Покровительствомъ Ея Императорскаго Височества Великой Княгини Елисаветы Мавриковны.—II. Отъ Спб. Казанскаго Университета . . .	901
БИБЛИОГРАФИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ.—Происхожденіе современной демократіи, Макс. Ковалевскаго, т. I.—Понятіе дѣятели по ученію экономистовъ класси- ческой школы, А. Мануилова.—Новыя пѣсни, Н. Минскаго.—Очерки об- щественнаго хозяйства и экономической политики Россіи, Г. ф. Шульце- Геверница.—Собраніе сочиненій Шиллера въ переводѣ русскихъ писа- телей, п. р. С. Венгерова, т. I.	
ОБЪЯВЛЕНІЯ.—I-IV; I-VIII стр.	

БИБЛОГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТОКЪ.

Маяковъ Ковалевскій. Происхождение современнаго демократіи. Третья часть. Част. I и II. М. 901. Изд. 2-ое. К. Т. Соколовскаго. Стр. IX+687. Ц. 3 р.

Это второе издание, посвященное авторомъ „памяти Московскаго юридическаго общества“, значительно отличается отъ перваго, вышедшаго въ свѣтъ въ 1883 году: многа архивная данія послужили матеріаломъ для переработки и дополненія главъ о французской промышленности и ея законахъ устройствъ въ швейцарской четвѣрти XVIII вѣка, а новѣйшіе литературные труды, относящіеся къ до-революціонной эпохѣ, побуждали автора расширить отдѣлы, въ которыхъ излагаются исторія, распространеніе во Франціи павантунъ ремеселъ, Капитальное исследование М. М. Ковалевскаго пользуется уже заслуженною извѣстностью, но только у насъ, но и за границей, и вновь переработанный первый томъ представляеть, конечно, серьезный вкладъ въ нашу историческую литературу.

А. Мануиловъ. Понятіе чѣстности по ученію экономистовъ классической школы. М. 901. Стр. VIII+220. Ц. 1 р. 50 к.

Теорія чѣстности составляетъ любимый предметъ „научныхъ“ разсужденій и исследований экономистовъ той промышленной школы, которая получила свое развитіе въ Англіи и разрабатывается съ необыкновеннымъ усердіемъ въ англійской спеціальной литературѣ. По этому предмету существуетъ уже огромный литературный запасъ, составляющій съ каждымъ годомъ, и тогда не мѣня, по свидѣтельству г. Мануилова, ученіе о чѣстности „не только не установилось, но находится въ настоящее время въ еще менѣе устойчивомъ состояніи“, чѣмъ въ предыдущихъ годахъ XIX столѣтія. При такой дѣйствительности „исследованій“, направленныхъ въ эту сторону, невольно возникаетъ предположеніе, что они по существу не могутъ привести ни къ какому положительному результату, въ виду часто-схоластическаго характера своихъ вопросовъ; но г. Мануиловъ думаетъ, что наука и впередъ должна неутомимо заниматься тѣмъ же предметомъ и что „едва ли необходимо оправдывать выборъ такой темы для научной работы“. Въ своемъ трудѣ авторъ обстоятельно разбираетъ теоріи Адама Смита, Рикардо и ихъ послѣдователей, а также возраженія англійскихъ экономистовъ, Валера, Веби-Валерия и другихъ, — хотя отъ такого разбора самый вопросъ не поднимается ни на шагъ впередъ, оставаясь по-прежнему предметомъ безнужныхъ и ненужныхъ споровъ.

Н. Мансий. Новая пѣсня. Сиб. 901. Стр. 120. Ц. 1 р.

Изъ „новыхъ пѣсенъ“ г. Манскаго, вышедшихъ въ этого сборникѣ, самое удачное по замыслу и исполненію слѣдуетъ признать „Генсиманскую пѣсню“, написанную, впрочемъ, уже довольно давно. Остальные стихотворенія, приключившія побѣду безотрадныхъ pessimismовъ, срисованы пѣлаторомъ паничемствомъ тона и чрезмѣрнымъ обиліемъ риторикъ; въ встрѣчаются и истинно-поэтическіе строфы, — напр.: „Надъ арфой она сложилась“, „О, блѣдная мадонна“ и др.

Гергартъ фонъ-Шульце-Гезерландъ, проф. въ Фрейбургѣ. Очерки общественнаго хозяйства и экономической политикѣ Россіи. Переводъ съ нѣмецкаго языкъ редакціей В. В. Авдеева и П. П. Румянова, съ предисловіемъ Петра Струве. Сиб. 901 г. Стр. XIV+506. Ц. 2 р. 50 к.

Авторъ этой интересной книги, извѣстный нѣмецкій экономистъ, изучалъ русскую экономическую жизнь въ московскомъ промышленномъ районѣ и въ различныхъ сельско-хозяйственныхъ хозяйствахъ Россіи, въ началѣ 90-хъ годовъ; онъ обнаруживалъ также основательное знакомство съ нашей экономической литературой, и многія замѣчанія его весьма дѣланы и поучительны для русскихъ читателей. Собранные авторомъ факты, освѣщенные съ беспристрастной точки зрѣнія ученаго иностранца, относятся къ тѣмъ основнымъ вопросамъ нашей промышленности „эволюціи“, которые пользуются у насъ особенно популярностью въ настоящее время, а потому трудъ фонъ-Гезерландъ несомнѣнно встрѣтитъ у насъ сочувственное вниманіе, каково еще вѣроятнѣе заслуживаетъ по своему содержанию и характеру. Книга раздѣляется на шесть главъ о предметѣ, земледѣльчествѣ, о хлопчатобумажной промышленности средней Россіи, о сахарно-фабрикѣ и пивоваренствѣ, о торговлѣ политикѣ 90-хъ годовъ и о земельных отношеніяхъ и о земельной реформѣ. Русскій переводъ отличается не только точностью въ передачѣ текста, но и дѣлостью и легкостью изложенія, — что должно рѣшить въ нашей переводной литературѣ.

Совѣдникъ сочиненій Шиллера въ переводѣ русскихъ писателей. Подъ редакціей С. А. Венгеровъ. Съ историко-литературными комментаріями, вѣдѣниями, и рисунками въ текстѣ. Изд. Брокгаузъ-Ефронъ. Т. I. Сиб. 1901. Изд. 1—II.

Новое изданіе сочиненій Шиллера, подъ редакціей г. Венгеровъ, имѣетъ всѣ признаки и достоинства т. п. „роскошныхъ“ изданій, удовлетворяя въ то же время требованіямъ научной обстоятельности. Очеркъ вступительнаго очерка жизни и дѣятельности Шиллера, составленный проф. А. Кирпичниковымъ, вѣдѣніе теперь для анализа содержитъ въ себѣ стихотворенія, драматическую фантазію „Севастъ“, съ объяснительной статьёю проф. О. Зализняка, и „Разбойничья“ (въ переводѣ Мих. Достоевскаго, дополненіемъ г-жеи Зин. Венгеровой), со статьей г. Кирпичникова. Стихотворенія даны въ лучшихъ изъ существующихъ на русскомъ языкѣ переводахъ, изъ которыхъ въ переводѣхъ много, специально для этого изданія. Тѣмъ же управленію рисунками, живописованными изъ нѣмецкихъ роскошныхъ изданій, и превосходными фототипіями, которыя въ изданіи составили второе изданіе швейцарской Кнудбаховской „Schiller-Galerie“ и исполнены тѣмъ же самымъ издателемъ — Брунновскимъ. Издательница въ издѣлкахъ при библиографіи Шиллера впервые занимается въ настоящее изданіе по фотографіямъ, собраннымъ редакторомъ въ Веймарѣ и въ роднѣ Шиллеровъ Марбахѣ.

въ 1901 г.

(Тридцать-шестой годъ)

„ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЫ“

ЕЖЕМЯСІЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ ИСТОРИИ, ПОЛИТИКИ, ЛИТЕРАТУРЫ,
выходить въ первыхъ числахъ каждаго мѣсяца, 12 книгъ въ годѣ,
отъ 28 до 30 листовъ обыкновеннаго журнальнаго формата.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА.

На годъ:	По полугодіямъ:		По четвертямъ года:			
	Январь	Іюль	Январь	Апрѣль	Іюль	Октябрь
Безъ доставки, въ Конторѣ журнала	7 р. 75 к.	7 р. 75 к.	3 р. 90 к.	3 р. 90 к.	3 р. 90 к.	3 р. 50 к.
Въ Петербургѣ, съ доставкой	8 „ — „	8 „ — „	4 „ — „	4 „ — „	4 „ — „	4 „ — „
Въ Москвѣ и друг. городахъ, съ перес.	9 „ — „	9 „ — „	5 „ — „	4 „ — „	4 „ — „	4 „ — „
За границей, въ госуд. почтов. союзѣ	10 „ — „	9 „ — „	5 „ — „	5 „ — „	5 „ — „	4 „ — „

Отдѣльная книга журнала, съ доставкой и пересылкою—1 р. 50 к.

Примѣчаніе.— Выбсто разсрочки годовой подписки на журналъ, подписка по полугодіямъ: въ январѣ и іюлѣ, и по четвертямъ года: въ январѣ, апрѣлѣ, іюлѣ и октябрѣ, принимается—безъ повышенія годовой цѣны подписки.

Книжные магазины, при годовой и полугодовой подпискѣ, пользуются обычнымъ уступкою.

ПОДПИСКА

принимается на годъ, полугодіе и четверть года:

ВЪ ПЕТЕРБУРГѢ:

- въ Конторѣ журнала, В. О., 5 л., 28;
- въ отдѣленіяхъ Конторы: при книжныхъ магазинахъ К. Риккера, Невск. просп., 14; А. Ф. Циверлинга, Невскій пр., 20.

ВЪ МОСКВѢ:

- въ книжномъ магазинѣ Н. П. Карбасникова, на Моховой, и въ Конторѣ Н. Печковской, въ Петровскихъ линіяхъ.

ВЪ КІЕВѢ:

- въ книжн. магаз. Н. Я. Оглоблина, Брешатскъ, 33.

ВЪ ОДЕССѢ:

- въ книжн. магаз. „Образованіе“, Ришельевскій, 12.

ВЪ ВАРШАВѢ:

- въ книжн. магаз. „С.-Петербургскій Книжн. Складъ“ Н. П. Карбасникова.

Примѣчаніе.— 1) *Почтовый адресъ* долженъ заключать въ себѣ имя, отчество, фамилію, съ точнымъ обозначеніемъ губерніи, уѣзда и мѣстожителства, и съ названіемъ ближайшаго къ нему почтоваго учрежденія, гдѣ (NB) *допускается* выдать журналъ, если нѣтъ такого учрежденія въ самомъ мѣстожителствѣ подписчика. — 2) *Перемѣна адреса* должна быть сообщена Конторѣ журнала своевременно, съ указаніемъ прежняго адреса, при чемъ городскіе подписчики, переходя въ иногородніе, доплачиваютъ 1 руб., и иногородніе, переходя въ городскіе—40 коп. — 3) *Жалобы* на несправность доставки доставляются исключительно въ Редакцію журнала, если подписка была сдѣлана въ вышеупомянутыхъ мѣстахъ и, согласно обязательствъ отъ Почтоваго Департамента, не позже какъ по полученіи слѣдующей книги журнала. — 4) *Выбсто* на полученіе журнала высылаются Конторѣ только тѣмъ изъ иногороднихъ или иностранныхъ подписчиковъ, которые прилагаютъ къ подписной суммѣ 14 коп. почтоваго марашка.

Издатель и отвѣтственный редакторъ М. М. Стасюленичъ.

РЕДАКЦІЯ „ВѢСТНИКА ЕВРОПЫ“:

Спб., Галерная, 20.

ГЛАВНАЯ КОНТОРА ЖУРНАЛА:

Вас. Остр., 1 л., 28.

ЭКСПЕДИЦІЯ ЖУРНАЛА:

